Корней Чуковский

Душа освобождается
порывами. Это не сплошная
песня, а припадки. Когда
Еще прозрачно
на
и
Я
ее
Чуковского, Пушкина,
Алексея Толстого —
она мне тоже родная —

Корней Чуковский

Корней

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

Чуковский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

ДНЕВНИК. 1922–1935

МОСКВА 2013

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
Ч-88

Файл книги для электронного издания подготовлен
в ООО «Агентство ФТМ, Лтд.» по оригинал-макету издания:
Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 12. –
М.: ТЕРРА–Книжный клуб, 2006.

Составление, подготовка текста и комментарии
Е. Чуковской

Оформление художника
С. Любаева

На обложке:
фотография К.И. Чуковского
работы М. Наппельбаума. 1920-е гг.

Чуковский К. И.

Ч-88 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 12: Дневник (1922–1935) / Коммент. Е. Чуковской. – 2-е изд., электронное, испр. – М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2013. – 656 с.

В книгу включены записи 1922–1935 гг. Записи вместили многие литературные события эпохи, приметы и противоречия времени. На страницах дневника впечатляющие портреты – Анны Ахматовой, Замятина, Волошина, Пильняка, Зощенко и мн. др. Особенно интересны страницы, касающиеся деятельности издательства «Всемирная литература» и журнала «Русский современник».

В эти годы написаны и впервые изданы многие сказки Чуковского. Идет борьба с чуковщиной. Появляются первые издания «От 2 до 5» и книга «Рассказы о Некрасове». Заболевает и умирает от туберкулеза младшая дочь Мурочка.

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

© К. Чуковский, наследники, 2013
© Е. Чуковская, составление,
подготовка текста, комментарии, 2013
© Агентство ФТМ, Лтд., 2013

1922[1]

1 января. Встреча Нового года в Доме Литераторов. Не думал, что пойду. Не занял предварительно столика. Пошел экспромтом, потому что не спалось. О-о-о! Тоска — и старость — и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать Новый год. Мы заняли один столик с Фединым, Замятиным, Ходасевичем — и их дамами, а кругом были какие-то лысые — очень чужие. Ко мне подошла М. В. Ватсон и сказала, что она примирилась со мной. После этого она сказала, что Гумилев был «зверски расстрелян». Какая старуха! Какая ненависть. Она месяца 3 [назад] сказала мне:

— Ну что, не помогли вам ваши товарищи спасти Гумилева?

— Какие товарищи? — спросил я.

— Большевики.

— Сволочь! — заорал я на 70-летнюю старуху — и все слышавшие поддержали меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так. И, конечно, мне было больно, что я обругал сволочью старую старуху, писательницу. И вот теперь — она первая подходит ко мне и говорит: «Ну, ну, не сердитесь...»

Говорились речи. Каждая речь начиналась:

— Уже четыре года...

А потом более или менее ясно говорилось, что нам нужна свобода печати. Потом вышел Федин и прочитал о том, что критики напрасно хмурятся, что у русской литературы есть не только прошлое, но и будущее. Это задело меня, потому что я все время думал почему-то о Блоке, Гумилеве и др. Я вышел и (кажется, слишком неврастенически) сказал о том, что да, у литературы есть будущее, ибо русский народ неиссякаемо даровит, «и уже растет зеленая трава, но это трава на могилах». И мы молча почтили вставанием умерших. Потом явился Марадудин и спел куплеты — о каждом из нас, причем назвал меня Врид Некрасова (временно исполняющий должность Некрасова), а его жена представила даму, стоящую в очереди кооператива Дома Литераторов, — внучку

[1] Продолжение. Начало см.: Дневник. 1901–1921 (Т. 11 наст. изд.).

Пушкина по прямой линии от г-жи NN. Я смеялся — но была тоска. Явился запоздавший Анненков. Стали показываться пьяные лица, и тут только я заметил, что большинство присутствующих — евреи. Евреи пьяны бывают по-особенному. Ходасевич еще днем указал мне на то, что почти все шкловитяне — евреи, что «формально-научный метод» — еврейский по существу и связан с канцелярскими печатями, департаментами. Потом пришли из Дома Искусств два шкловитянина: Тынянов и Эйхенбаум. Эйхенбаум печатает обо мне страшно ругательную статью — но все же он мне мил почему-то. Он доказывал мне, что я нервничаю, что моя книжка о Некрасове неправильна, но из его слов я увидел, что многое основано на недоразумении. Напр., фразу «Довольно с нас и сия великия славы, что мы начинаем»* он толкует так, будто я желаю считать себя основоположником «формально-научного метода», а между тем эта фраза относится исключительно к Некрасову.

Тынянова книжка о Достоевском мне нравится*, и сам он — всезнающий, молодой, мне нравится. Уже женат, бедный.

Потом Моргенштерн читал по нашему почерку — изумительно: Анненкову, которого видит первый раз, сказал: «У вас по внешности слабая воля, а на деле сильная. Вы сейчас — в самом расцвете и делаете нечто такое, от чего ожидаете великих результатов. Вы очень, очень большой человек».

Меня он определял долго, и все верно. Смесь мистицизма с реализмом и пр.

О Замятине сказал: это подражатель. Ничего своего. Натура нетворческая.

Изумительно было видеть, что Замятин обиделся. Не показал: жесты его волосатых рук были спокойны, он курил медленно, — но обиделся. И жена его обиделась, смеялась, но обиделась. (Анненков потом сказал мне: «Заметили, как она обиделась».)

Потом меня подозвал к себе проф. Тарле — и стал вести ту утонченную, умную, немного комплиментарную беседу, которая становится у нас так редка. Он любит мои писания больше, чем люблю их я. Он говорил мне: «У вас есть две классические статьи — классические. Их мог бы написать Тэн. Это — о Вербицкой и о Нате Пинкертоне. Я читаю их и перечитываю. И помню наизусть...» И стал цитировать. Рассказывал свой разговор со скульптором Иннокентием Жуковым. «Я говорю ему: знаете в Лувре — Schiavi[1] Микель Анджело. Я только теперь, будучи в Париже, всмотрелся в них как следует. Какая мощь и проч. А он мне: — Да,

[1] рабы *(итал.)*.

французы по части техники — молодцы». Французы! Микель Анджело — француз! И каково это: по части техники!

Анненков попросил Тарле дать текст к его портретам коммунаров*. Тот согласился.

А в зале происходили чудеса. Моргенштерн — давал сеансы спиритизма. Ему внушили выхватить из четырех концов залы по человеку. Он вошел, стал посередине, а зала — большая, а народу много, и вдруг как волк, быстро, быстро, кинулся вправо, влево! хвать — хвать — в том числе и меня, без раздумья выстроил в ряд. И т. д., и т. д.

Утром мы пошли домой. Говорят, в Доме Искусств было еще тоскливее.

Коля рассказывает, что Анна Николаевна Гумилева (вдова), несмотря на свое вдовье положение — танцевала вчера вовсю — накрашенная до невероятия. Это — идиотка — в полном смысле этого слова. Она пришла к Наппельбауму, фотографу: там висит ее портрет и портрет Анны Ахматовой. Она возмутилась: «Почему Ахматову повесили выше меня? Ведь Ахматова была разведенная жена Гумилева, а я настоящая». У нее с Ахматовой отношения тяжкие: обе бабы доводят друг дружку до истерик.

Боба говорит, что он помнит войну — 14-й год.

Приехал из Ростова театр — ставит «Гондлу»*.

Хочется мне пойти и поздравить Сологуба. Был у Белицкого — по поводу своей книжки о Блоке. О! как я ошибался в этом человеке. Это паучок из самых тихеньких. Вежливо и деликатно — он высосет из вас все, что у вас есть, — а вы даже и не заметите.

У него был Шкловский с обритой головой, желтый — после вчерашнего пьянства. Говорит веско, отрывисто. С Белицким — угловат и угрюм, — это на того действует.

2 января. Пишу для Анненкова предисловие к его книге*. Он принес мне проект предисловия, но мне не понравилось, и я решил написать сам. Интересно, понравится ли оно ему.

Писал о Мише Лонгинове*. Хочу переделать ту дрянь, которая была написана мною прежде.

13 февраля. Щеголев живет на Петербургской Стороне. Это человек необыкновенно толстый, благодушный, хитроватый, приятный. Обаятелен умом — и широчайшей русской повадкой. Недавно говорит мне: «Продайте нам («Былому») две книжки». Я говорю: «С удовольствием». Изготовил две брошюры о Некрасове, говорю: «Дайте пять миллионов!» Щеголев: «С удовольстви-

ем». Потом ходила моя жена, ходил я, не дает ни копейки. Дал как-то один миллион — и больше ничего. — «У самого нет». И правда: сын его сидит без папирос, — дальше некуда. А у меня ни одного полена. Я с санками ходил во «Всемирную», выпросил поленьев двенадцать, но вез по лютому морозу, без перчаток, поленья рассыпаются на каждом шагу, руки отморозил, а толку никакого. Я опять к Щеголеву: «Ради бога, отдайте хоть рукописи». — «Да вам деньги на что?» — «А мне на дрова». — «На дрова?» — «Да!» — «Так что же вы раньше не сказали? Завтра же будут вам дрова. Пять возов!» Я в восторге. Жду день, жду два. Наконец моя жена идет сама к дровянику (адрес дровяника дал Щеголев) — и тот говорит: «С удовольствием послал бы, но пожалуйте денежки, а то г-н Щеголев и так должен мне слишком много». Мы купили у него воз, — а я достал денег, отнес Щеголеву миллион и взял назад свои рукописи. С тех пор мы стали приятелями. Оказывается, он знаменит своим *несдержанием слова*. Это тоже в нем очаровательная черта — как это ни странно. Она к нему идет. Еще никогда он не сдержал своих обещаний. Вчера я с Замятиным были у него в гостях. Чтобы оживить вечер, я предложил рассказать, как кто воровал, случалось ли кому в жизни воровать. Щеголев медленно, со вкусом рассказал:

— Есть в Москве Мария Семеновна... Или была, теперь она пострадала от Чеки — а может, и снова возникла... У нее можно было пообедать и выпить. Очень хорошая женщина. И так у нее хорошо подавалось: графинчик спирту и вода *отдельно*. Хочешь, мешай в любую пропорцию. Ну вот, я у нее засиделся, разговорился, а потом ушел — очень веселый. А были там еще какие-то художники — пили. (Пауза.) Художники казались ей подозрительны. Почему-то. На следующий день прихожу к ней, она ко мне: «Как вы думаете, не могли ли художники унести у меня одну вещь?» — «Какую?» — «Стакан — драгоценный, старинный». — «Неужели пропал?» — «Пропал!» — «Нет, говорю, художники едва ли могли». — «Тогда кто же его взял?» Она в отчаянии. Прихожу я домой и NN рассказываю о воровстве, NN идет к шкафу и достает стаканчик! «Вы, говорит, вчера сами его принесли, показывали, расхваливали, — неужели это чужой?»

Даже при рассказе все огромное лицо Щеголева порозовело. Кроме нас с Замятиным были у Щеголева Анна Ахматова и приехавший из Москвы Чулков. Ахматова, по ее словам, «воровала только дрова у соседей», а Чулков и здесь оказался бездарен.

Он очень постарел, скучен, как паутина, и умеет говорить лишь о Тютчеве, которым теперь «занимается». Душил нас весь вечер рассказами о том, как он отыскал такую-то рукопись, потом такую-то, и сначала был «*один процент неуверенности*», а потом и

этот «*один процент*» исчез, когда к нему пришел покойный Эрнест Эдуардович Кноппе и сказал: был у меня в Париже знакомый и т. д. ...

Ахматова прочитала три стихотворения: одно черносотенное, для меня неприятное (почему-то) — потом два очень личных (о своем Левушке, о Бежецке, где она только что гостила) и другое о Клевете*, по поводу тех толков, которые ходят о ее связи с Артуром Лурье.

Замечателен сын Щеголева, студент 18 лет, напускает на себя солидность, — говорит басовито, пишет в «Былое» рецензии — подетски мил — очарователен, как и отец.

Очень смеялась Ахматова, рассказывая, какую рецензию написал о ней в Берлине какой-то Дроздов: «Когда читаешь ее стихи, кажется, что приникаешь к благоуханным женским коленям, целуешь душистое женское плятье»*. Врочем, рассказывал Замятин, а она только смеялась.

Щеголев-сын рассказал, что И. Гессен ругает в «Руле» Тана, Адрианова, Муйжеля за то, что те согласились печататься в советской прессе, «а впрочем, как же было не согласиться, если тех, кто отказывался, расстреливали».

— И как они могут в этой лжи жить? — ужасается Ахматова.

14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стукнул — дверь сразу открыли: открыла Ахматова — она сидит на кухне и беседует с «бабушкой», кухаркой О. А. Судейкиной.

— Садитесь! Это единственная теплая комната.

Сегодня только я заметил, какая у нее впалая, «безгрудая» грудь. Когда она в шали, этого не видно. Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны.

— То же самое говорит и Володя (Шилейко). Он говорит, если бы Пушкин пожил еще лет десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, зло?..

Дала мне сардинок, хлеба. Много мы говорили об Анне Николаевне, вдове Гумилева. «Как она не понимает, что все отношения к ней построены на сочувствии к ее горю? Если же горя нет, то нет и сочувствия». И потом по-женски: «Ну зачем Коля взял себе такую жену? Его мать говорит, что он сказал ей при последнем свидании:

— Если Аня не изменится, я с нею разведусь.

Воображаю, как она раздражала его своими пустяками! Коля вообще был несчастный. Как его мучило то, что я пишу стихи лучше его. Однажды мы с ним ссорились, как все ссорятся, и я сказала ему — найдя в его пиджаке записку от другой женщины, что «а

все же я пишу стихи лучше тебя!» Боже, как он изменился, ужаснулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный! Он так — во что бы то ни стало — хотел быть хорошим поэтом.

Предлагали мне Наппельбаумы стать синдиком «Звучащей Раковины»*. Я отказалась».

Я сказал ей: у вас теперь трудная должность: вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин — все в одном лице — даже страшно.

И это верно: слава ее в полном расцвете: вчера Вольфила устраивала «Вечер» ее поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней — с утра до вечера. — Дайте хоть что-нибудь.

— Хорошо Сологубу! — говорит она. — У него все ненапечатанные стихи по алфавиту, в порядке, по номерам. И как много он их пишет: каждый день по нескольку.

15 февраля. Вчера весь день держал корректуру Уитмэна. «Всемирная Литература» солила эту книгу 2 года — и вот наконец выпускают. Коробят меня кое-где фельетонности, но в общем ничего. Вчера наконец-то нам выдали семейный паек. Слухи о том, что Волынский хочет издавать казенную газету, подтверждаются. Собираю матерьялы для журнала.

17 февраля. Пятница. Мурке скоро 2 года. Она упражняется в говорении весь день, делает всевозможные словесные опыты, поет. Однажды по инерции она сказала:

— Мама-ама!

Я сказал ей: *мама* вовсе не *ама*, внушив ей таким образом, что ама сказуемое, имеющее характер порицания:

— Мама — хорошая, мама вовсе не ама.

Она мгновенно уловила этот оттенок и теперь, когда сердится на меня, говорит:

— Папа-апа!

Когда сердится на Зину:

— Диди-иди!

Занят переделками: футуристов и «Ахматовой».

Кашу Мура называет бля-бля.

19 февр. 1922. Анненков: как неаккуратен! С утра пришел ко мне (дня три назад), сидел до 3 часов и спокойно говорит: «Я в час должен быть у Дункан!» (Дункан он называет Дунькой-коммунисткой.) Когда мы с ним ставили «Дюймовочку»*, он опаздывал на репетиции на 4 часа (дети ждали в лихорадке нервической), а

декорации кончал писать уже тогда, когда в театре стала собираться публика! Никогда у него нет спичек, и он всегда будет вспоминаться, как убегающий от меня на улице, чтобы прикурить: маленький, изящный, шикарно одетый (в ботиночках, с перстнями, в котиковой шапочке), подкатывается шариком к прохожим: «Позвольте закурить». Один ответил ему:

— Не позволю!

— Почему?

— Я уже десяти человекам подряд давал закуривать, одиннадцатому не дам!

Потом он ужасно восприимчив к съестному — возле лавок гастрономических останавливается с волнением художника, созерцающего Леонардо или Анджело. Гурманство у него поэтическое, и то, что он ел, для него является событием на весь день: вернувшись с пира, он подробно рассказывает: вообразите себе. Так же жаден он к зрительным, обонятельным и всяким другим впечатлениям. Это делает из него забавного мужа: уйдя из дому, он обещает жене вернуться к обеду и приходит на третьи сутки, причем великолепно рассказывает, *что, где* и *когда* он ел. Горького портрет* начал и не кончил[1]. С Немировичем-Данченко условился, что придет писать его портрет, да так и не собрался, хотя назначил и день и час. Любят его все очень: зовут Юрочкой. Поразительно, как при такой патологической неаккуратности и вообще «шалости» — он успевает написать столько картин, портретов.

Вчера был с Замятиным у «Алконоста»*: он говорит, что в первой редакции мои воспоминания о Блоке разрешены. Неужели разрешат и во второй? Сяду сейчас за Игоря Северянина.

21 февраля. Как отчетливо снился мне Репин: два бюстика, вылепленные им, моя речь к его гостям. Ермаков на диванчике (и я во сне даже подумал: почему же Репин называл Ермакова сукиным сыном, а вот беседует с ним на диванчике!) — и главное, такая нежная любовь, моя любовь к Репину, какая бывает только во сне.

Третьего дня был я у одного из нынешних капиталистов, у него фабрика духов, лаборатория.

— Как называется ваша фирма? — спросил я.

— Никак, но очень хотелось бы дать ей подходящее имя.

— Какое?

— Дрянь... Торговый дом «Дрянь».

— Почему?

[1] Он сделал только половину лица, левую щеку, а правую оставил «так», ибо не пришел на сеанс. — *К. Ч.*

— Мы изготовляем такие товары, за которые надо бы не деньги платить, а бить. Вот, напр., наши духи...

И он побежал в другую комнату и принес две бутылочки — я понюхал: ужас, не зловоние, но и не аромат, а просто запах вроде жженой пробки.

— И берут?

— Нарасхват. Пудами. Нынешние дамы любят надушиться.

— Вот такими духами?

— Ну да. Платят огромные деньги. Мы продаем в магазины по 5 миллионов ведро — а те разливают в бутылочки с надписью «Париж».

А хороший человек. Совестливый. Он говорит, что вся торговля в Питере только такая.

Нужно держать корректуру Уитмэна — переделывать Северянина. Сегодня долго не хотел гореть мой светлячок: в керосине слишком много воды.

22 февраля. У Анненкова хрипловатый голос, вывезенный им из Парижа. Он очень застенчив — при посторонних. Войдя в комнату, где висят картины, — он, сам того не замечая, подходит вплотную и обнюхивает их (он близорук) и только тогда успокоится, когда осмотрит решительно все.

25 февраля. Вчера было рождение Мурочки — день для меня светлый, но загрязненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме. Беленсоны подарили Мурке колясочку с двигающейся и визжащей фигуркой, Абрам Ефимович — торт, Слонимская — матрешку и куклу, наши дети — слона, Слонимская — другого слона, Вейтбрехт — другую колясочку, Моргенштерн — чашечку, и т. д., и т. д., и т. д. Бедная девочка была ошарашена, нервы ее взвинтили до черт знает чего, и я боялся только одного: как бы не пришел еще один гость и не принес ей еще одного слона.

Анненков действительно великолепный медиум — он даже угадал задуманное слово: *конференция*. Всякая возможность мошенничества была исключена. Очень было интересно, когда на Анненкова влияло третье лицо — через посредство Моргенштерна. Но в общем все это смерть и тоска.

Игорь Северянин тормозится.

28 февраля. В субботу (а теперь понедельник) я читал у Серапионовых братьев лекцию об O'Henry и так устал, что — впал в обморочное состояние. Все воскресение лежал, не вставая... Был у

Кони. Он очень ругает Кузмина «Занавешенные картинки», — за порнографию. Студенты Политехникума сообщили мне, что у них организовался кружок Уота Уитмэна. — Мурка говорит слово: Бамба (мою секретаршу зовут Памба). — Колька жалуется на то, что у него левое легкое болит. — Лида больна, лежит, жар. — Боба колет дрова. — Я опять похудел, очень постарел. Чувствуется весна, снег тает магически. Читаю Henry James'a «International Episode»[1]. У Кони я был с Наппельбаумом, фотографом, который хочет снять Анатолия Федоровича. Тот, как и все старики, испугался: «Зачем?»... Но сам он, несмотря на 78-летний возраст, так моложав, *красив*, бодр — просто прелесть. Особенно когда он сидит за столом; у себя, в своей чистенькой, идиллической комнатке (которая когда-то так возмущала своей безвкусицей Д. Вл. Философова). Но жизнь уже исчерпала его до конца. Настоящего для Кони уже нет. Когда говоришь с ним о настоящем, он ждет случая, как бы при первой возможности рассказать что-нибудь о былом. Мысль движется только по старым рельсам, новых уже не прокладывает. Я знаю все, что он скажет по любому поводу, — это даже приятно.

29 февраля. Вчера в Доме Литераторов было собрание литературной группы, получающей паек: серые, истрепанные люди, кандидаты в покойники. Кого ни встретишь, думаешь: Ай, как поседел! Ой, как постарел! Да неужели это такой-то? Ленский-Абрамович сед, как я. Боцяновский совсем патриарх. Ясинский из желто-седого стал бел, как сахар. Мариэтта Шагинян, глухая, не слышала ни единого слова, поэтому я сел рядом с нею — и записывал ей все, что говорили. Редько — тоже седой — председательствовал. Докладчиком был молью траченный Ирецкий. Оказывается, что КУБУ (Комиссия по улучшению быта ученых) на волоске. Правительство не имеет средств ее содержать. Надо писателям сплотиться — и поддержать КУБУ, благодаря которой они все живы. Если бы не КУБУ, ведь мы были бы еще седее, тусклее, мертвее. Постановили избрать троих уполномоченных: Волковыского, Анну Ганзен и одного пролетария — и взымать с каждого по 50 коп. (золотом) в месяц. Все это хорошо, но вот что непонятно: почему все так обозлены на КУБУ? Где, в какой стране, на какой Луне, на каком Марсе, — существует такой аппарат для 12 000 людей: подошел, нажал кнопку, получил целую гору продуктов — ничего не заплатил и ушел!! А между тем прислушайтесь в очереди: все брюзжат, скулят, ругают Горького, Родэ, всех, всех — неизвестно за что, почему. Просто так! «Черт знает что! Везде масло как

[1] «Случай из международной жизни» *(англ.)*.

масло, а здесь как стеарин! Опять треску! У меня еще прежняя не съедена. Сами, небось, бифштексы жрут, а нам — треска». Такой гул стоит в очередях Дома Ученых с утра до вечера.

Какое? 9-е или 10-е марта 1922. Ночь. Уже ровно неделя, как я лежу больной. У меня в желудке какие-то загадочные боли. Врач был однажды — да и то по детским болезням — Конухес. Не вынимая папиросы изо рта, он нажал в одном месте живот, спросил — больно? — я сказал: нет! Он ушел и прописал опий. На другой день мне стало гораздо хуже. Я не ем почти ничего, думаю взять голодом, но, видно, этого лечения недостаточно. Хлеб кислый, тухлый. У меня болит голова, и я чувствую себя какой-то тряпочкой.

Лежа не могу не читать. Прочитал Henry James'a «Washington Square»[1]. Теперь читаю его же «Roderick Hudson»[2]. Прочитал (почти все, потом бросил) «T. Tembarom» by Burnette[3] и т. д., и т. д. И от этого у меня по ночам (а я почти совсем не сплю) — английский бред: overworked brain[4] с огромной быстротой — вышвыривает множество английских фраз — и никак не может остановиться. Сейчас мне так нехорошо, болит правый глаз — мигрень, — что я встал, открыл форточку, подышал мокрым воздухом и засветил свою лампадку — сел писать эти строки — лишь бы писать. Мне кажется, что я не сидел за столом целую вечность. Третьего дня попробовал в постели исправлять свою статью о футуристах, весь день волновался, черкал, придумывал — и оттого стало еще хуже. Был у меня в гостях Замятин, принес множество новостей, покурил — и ушел, такой же гладкий, уверенный, вымытый, крепенький — тамбовский англичанин, — потом был Ефимов и больше никого. У меня кружится голова, надо ложиться — а не хочется.

Сейчас вспомнил: был я как-то с Гржебиным у Кони. Гржебин обратился к Кони с такой речью: «Мы решили издать серию книг о «замечательных людях». И, конечно, раньше всего подумали о вас». Кони скромно и приятно улыбнулся. Гржебин продолжал: «Нужно напоминать русским людям о его учителях и вождях». Кони слушал все благосклоннее. Он был уверен, что Гржебин хочет издать его биографию — вернее, его «Житие»... — «Поэтому, — продолжал Гржебин, — мы решили заказать вам книжку о Пирогове...» Кони ничего не сказал, но я видел, что он обижен.

[1] «Площадь Вашингтона» *(англ.)*.
[2] «Родерик Хадсон» *(англ.)*.
[3] «Т. Тембаром» Барнетта *(англ.)*.
[4] переутомленный мозг *(англ.)*.

Он и вправду хороший человек, Анатолий Федорович, — но уже лет сорок живет не для себя, а для такого будущего «Жития» — которое будет елейно и скучно; сам он в натуре гораздо лучше этой будущей книжки, под диктовку которой он действует.

12 марта. Только что, в 12 час. ночи, кончил Henry James'a «Roderick Hudson» и просто потрясен этим мудрым, тончайшим, неотразимым искусством. У других авторов, у Достоевского, напр., — герой как на сцене, а здесь ты с ними в комнате — и как будто живешь с ними десятки лет. Его Mary Garland и Кристину я знаю, как знают жену. Он нетороплив, мелочен, всегда в стороне, всегда в микроскоп, всегда строит фразу слишком щегольски и хладнокровно, а в общем волнует и чарует, и нельзя оторваться. В русской литературе ничего такого нет. И какое гениальное знание душ, какая смелость трактовки. Какой твердой безошибочной рукой изображен гений — скульптор Roderick, не банальный гений дамских романов, а подлинный — капризный, эготист, не видящий чужой психологии, относящийся к себе, к своему *я*, как к святыне, действительно стоящий *по ту сторону*. И Кристина Лайт, красавица, с таким же отношением к своему *я*, кокетка, дрянь, шваль, но святая. И безупречный джентльмен, верный долгу, очень благородный (совсем не манекен), который оказывается все же в дураках — как это тонко и ненавязчиво показано автором, что Rowland все же банкрот — что каждая его *помощь* причинила только зло, что в жизни нужно безумствовать, лететь вниз головой и творить, а не лезть с моральными рецептами. Fancy such a theme in an American novel! It was written (as I found in a dictionary) in 1875[1]. Уже предчувствовался Ницше, Уайльд — и вообще *неблагополучие* в романах и мыслях. I wonder whether this extraordinary novel had a good reception on its native soil[2]. В нем чувствуется много французского — флоберовского. Порою весь этот дивный анализ James'a пропадает зря, to no purpose[3]. Прочтешь — спрашиваешь: ну, так что? Такое было мое чувство, когда я кончил «International Episode». Но «Washington Square» и «Hudson» — другое дело. В «Washington Square» тоже показана моральная победа сильного, стихийного, цельного духа over the concocted trifle[4].

---

[1] Вообразите — такая тема в американском романе! Он написан (как я узнал из словаря) в 1875 *(англ.)*.

[2] Интересно, как этот удивительный роман был принят на родине автора *(англ.)*.

[3] бесцельно *(англ.)*.

[4] над искусственными пустяками *(англ.)*.

1922 Однако уже три четверти первого. Сейчас погасят электричество. А нервы у меня взлетели вверх — едва ли я засну эту ночь. Сегодня я писал о Василии Каменском. Это все равно, что после дивных миниатюр перейти к маляру. О'Непгу меня разочаровал понемногу. Принесли мое новое пальто. Я еще не примерял его. Болезнь моя проходит. А как мне хочется читать еще и еще! Мне больно видеть у себя на полке книгу, которой я еще не проглотил! $^{3}/_{4}$ 3-го ночи. Не могу заснуть. Уж я считал до сотни, уж я пробовать писать о Каменском, уж я ходил в спальню к Мурке, которая, несмотря на бром, все не спит, не давая спать ни Марье Борисовне, ни Зине, — я рассказывал ей сказки — сна нет ни в одном глазу.

Я засветил свою лампаду и разыскал еще одну книгу James'a «Confidence»[1] — попробую хоть немного отвлечься от грусти, которая душит меня во время бессонницы... Нет, прочитал 20 страниц и бросил. Это очень плохо в Джеймсе, что каждый кусок его повести равен всякому другому куску: всюду та же добротная ткань, та же густая, полновесная фраза с иронической интонацией — часто тот же сюжет: «Confidence» — опять Рим, опять художник и девушка, опять Любовь, опять brilliant dialogue[2] и главное — опять бездельники — богатые люди, которые живут всласть, ничего не делая, кроме любви («making nothing but love»)[3].

Ночь на 15-ое марта 1922 г. Которую ночь не сплю. Луна. Вчера впервые вышел. Dizziness[4]. Но в общем ничего. Читаю Thomas Hardy «Far from the Madding Crowd»[5]. Здорово! Сейчас вспомнил, как Гумилев почтительно здоровался с Немировичем-Данченко и даже ходил к нему в гости — по праздникам. Я спросил его, почему. Он ответил: «Видите ли, я — офицер, люблю субординацию. Я в литературе — капитан, а он — полковник». — «Вот почему вы так учтивы в разговоре с Горьким». — «Еще бы, ведь Горький генерал!» Это было у него в крови. Он никогда не забывал ни своего чина, ни чужого.

Как он не любил моего «Крокодила»! И тоже по оригинальной причине. — «Там много насмешек над зверьми: над слонами, львами, жирафами». А он вообще не любил насмешек, не любил юмористики, преследовал ее всеми силами в своей «Студии», и всякую обиду зверям считал личным себе оскорблением. В этом было что-то гимназически милое.

---

[1] «Исповедь» *(англ.)*.
[2] блестящий диалог *(англ.)*.
[3] ничего не делая, кроме любви *(англ.)*.
[4] Головокружение *(англ.)*.
[5] «Вдали от обезумевшей толпы» *(англ.)*.

Есть возможность съездить в Москву, но как я ненавижу себя невыспавшегося. Покуда же сон у меня не наладится — Москва только вызовет у меня тошноту. У меня завелась секретарша Памба, очень полненькая барышня, очень неглупая, с юмором, стихотворица. Нуждается весьма. Работает отлично. Мурка страшно ее полюбила. И называет ее: Бумба. Скажет «Бумба» и засмеется. Чувствует, что это слово смешное.

6 часов. Потушу светлячок и лягу. Авось усну. Очевидно, мне опять умирать от бессонницы. Бессонница отравила всю мою жизнь: из-за нее в лучшие годы — между 25 и 35 годами — я вел жизнь инвалида, почти ничего не писал, чуждался людей — жил с непрерывной мутью в голове. То же начинается и теперь. Как бороться с этим, не знаю.

В Питере возникло Уитмэнское Общество. Написанное на обороте принадлежит основателю общества — студенту Барабанову, Борису Николаевичу*. Он был у меня несколько раз. Шинель у него поразительно порванная, в сущности, состоит из трех или четырех отдельных частей, лицо красивое, каштановые (но грязные) локоны, выражение лица такое, будто у него болят зубы. Я разыскивал его в общежитии — на Бассейной (общежитие Педагогического Института) — там по всем лестницам снуют девицы и юноши, в каждой комнате кучи народу, все знают Барабанова, он очень популярен среди них — нечто вроде вождя, «талант», — и никто из этих девиц не догадается зашить ему шинель.

16 марта. 6 час. утра. Вчера был у нас Петя Гагарин, я угощал его и, будучи уверен, что выздоровел, съел две карамельки. Дети говорили, что они из чистой патоки. А потом ночью боли, опять все по-старому, тем не менее я встал и — вот за письменным столом.

Вчера на ночь читал Macaulay «Earl of Chatham»...[1]

Статья о Каменском, кажется, удалась мне.

Перечитал вчера свой набросок о Леониде Андрееве: боюсь, не мало ли я выразил его добродушие, простодушие, его детскость. Он был, в сущности, хороший человек, и если бы я не был критиком, мы были бы в отличных отношениях. Но он имел единственное, ничем не объяснимое качество: он боялся, ненавидел критиков. Помню, однажды я пришел к нему пешком (босиком) — (это 12 верст) — вместе с Ольдором. Андреев принял меня, как всегда, сердечно, но Ольдора еле удостоил разговора. Ольдор действительно скучный и неумный остряк. Я спросил Андреева: «Отчего вы так равнодушны к вашему гостю?» — «Ну его! —

[1] «Граф Чатхэмский» *(англ.)*.

ответил Андреев, — он в 1908 году написал на меня пародию». А так он был добр чрезвычайно. Помню, сколько внимания, ласки, участия оказывал он, напр., бездарному Брусянину: читал его романы, кормил и одевал его, выдавал ему чеки (якобы взаймы) и проч. Или его доброта к Н. Н. Михайлову. Или к Фальковскому. Он всегда искал, к кому прилепиться душой и даже так: кому поклониться. Однажды пришел в апогее своей славы к С. А. Венгерову, просидел у него целый день и как гимназист «задавал ему вопросы». Скромный и недалекий Венгеров был, помнится, очень смущен. Недавно Горнфельд рассказывал мне, что такой же визит Андреев нанес ему. И тоже — нежный, почтительный тон. Он любил тон товарищеский. Вдруг ему казалось, что с этим человеком можно жить по-кунацки, по-братски. Он даже табак подавал этому человеку особенно. Но хватало пороху только на три дня, потом надоедало, он бросал. Такой же тон был у него с Анной Ильиничной, его женой.

17 марта. Мороз. Книжных магазинов открывается все больше и больше, а покупателей нет. Вчера открылся новый — на углу Семеновской и Литейного, где была аптека. Там я встретил Щеголева. Он входит в книжный магазин, как в свое царство — все приказчики ему низко кланяются:

— Здравствуйте, Павел Елисеевич, — и вынимают из каких-то тайников особенные заветные книжки. С ним у меня отношения натянутые. Я должен был взять у него свои статьи, так как он не платит денег. Он встретил меня словами:

— Вы ужасный человек. Никогда не буду иметь с вами дело...

А уходя, подмигнул:

— Дайте чего-нибудь для «Былого». Бог с вами. Прощаю.

И я дам. Очень он обаятельный.

Если просидеть час в книжном магазине — непременно раза два или три увидишь покупателей, которые входят и спрашивают:

— Есть Блок?

— Нет.

— И «Двенадцати» нет?

— И «Двенадцати» нет.

Пауза.

— Ну так дайте Анну Ахматову!

Только что вспомнил (не знаю, записано ли у меня), что Маяковский в прошлом году в мае страшно бранил «Двенадцать» Блока: — Фу, какие немощные ритмы.

18 марта. Был вчера в кружке уитмэнианцев и вернулся устыженный. Правда, уитмэнианства там было мало: люди спорили, вскрикивали, обвиняли друг друга в неискренности, но — какая жажда всеосвящающей «религии», какие запасы фанатизма. Я в последние годы слишком залитературился, я и не представлял себе, что возможны какие-нибудь оценки Уитмэна, кроме литературных, — и вот, оказывается, благодаря моей чисто *литературной* работе — у молодежи горят глаза, люди сидят далеко за полночь и вырабатывают вопрос: *как жить*. Один, вроде костромича, все вскидывался на меня: «это эстетика!» Словно «эстетика» — ругательное слово. Им эстетика не нужна — их страстно занимает мораль. Уитмэн их занимает как пророк и учитель. Они желают целоваться, и работать, и умирать — *по Уитмэну*. Инстинктивно учуяв во мне «литератора», они отшатнулись от меня. — Нет, цела Россия! — думал я, уходя. — Она сильна тем, что в основе она так наивна, молода, «религиозна». Ни иронии, ни скептицизма, ни юмора, а все всерьез, in earnest[1]. И я заметил особенность: в комнате не было ни одного еврея. Еврей — это древность, перс — культурность, всезнайство. А здесь сидели — истомленные бесхлебьем, бездровьем, безденежьем — девушки и подростки-студенты, и жаждали — не денег, не дров, не эстетических наслаждений, но — веры. И я почувствовал, что я рядом с ними — нищий, и ушел опечаленный. Сейчас сяду переделывать статью о Маяковском. Вчера на заседании «Всемирной Литературы» рассказывались недурные анекдоты о цензуре.

1922

У Замятина есть рассказ «Пещера» — о страшной гибели интеллигентов в Петербурге. Рассказ сгущенный, с фальшивым концом, и, как всегда, подмигивающий — но все же хороший. Рассказ был напечатан в «Записках Мечтателей» в январе сего года. Замятин выпускает теперь у Гржебина книжку своих рассказов, включил туда и «Пещеру» — вдруг в типографию является «наряд» и рассыпает набор. Рассказ запрещен цензурой! Замятин — в военную цензуру: там рассыпаются в комплиментах: чудесный рассказ, помилуйте. Это не мы. Это Политпросвет. Замятин идет на Фонтанку к Быстрянскому. Быстрянский сидит в большой комнате один; потолок хоть и высоко, но, кажется, навис над самой его головой; очки у него хоть и простые, но кажутся синими. Замятин говорит ему: — Вот видите, январский номер «Записок Мечтателей». Видите: цензура разрешила. Проходит два месяца, и тот же самый рассказ считается нецензурным. А между тем вы сами видите, что за эти два месяца Советская Республика не погибла. Рассказ не нанес ей никакого ущерба. Быстрянский смутился и, не

[1] всерьез *(англ.)*.

читая рассказа, разрешил печатать, зачеркнув запрещение. Оказывается, что запрещение исходило от некоего тов. Гришанина, с которым Быстрянский в ссоре!

19 марта 1922 г. Был вчера вновь у уитмэньяков; в разговоре с ними между прочим спросил: а были среди вас евреи? — нет, — ответили они. — У нас главное требование — искренность, а Головушкин сказал, что евреи не бывают искренни, и мы согласились с Головушкиным. Евреи не бывают ни искренни, ни хорошие товарищи. Мы и постановили их не приглашать.

Такова интеллигенция первого призыва.

Новые анекдоты о цензуре, увы — достоверные. Айхенвальд представил в цензуру статью, в которой говорилось, что нынешнюю молодежь убивают, развращают и проч. Цензор статью запретил. Айхенвальд думал, что запрещение вызвали эти слова о молодежи. Он к цензору (Полянскому): — Я готов выбросить эти строки.

— Нет, мы не из-за этих строк.

— А отчего?

— Из-за мистицизма.

— Где же мистицизм?

— А вот у вас строки: «умереть, уснуть», это нельзя. Это мистицизм.

— Но ведь это цитата из «Гамлета»!

— Разве?

— Ей-богу.

— Ну, погодите, я пойду посоветуюсь.

Ушел — и, вернувшись, со смущением сказал:

— На этот раз разрешаем.

Все это сообщает Замятин. Замятин очень любит такие анекдоты, рассказывает их медленно, покуривая, и выражение у него при этом как у кота, которого гладят. Вообще это приятнейший, лоснящийся парень, чистенький, комфортный, знающий, где раки зимуют; умеющий быть со всеми в отличных отношениях, всем нравящийся, осторожный, — и все же милый. Я, по крайней мере, бываю искренне рад, когда увижу его сытое лицо. Он мещанин с головы до ног: у него есть и жена, и девочка для удовольствий; он умело и осторожно будирует против властей — в меру, лишь бы понравиться эмигрантам. Стиль его тоже — мелкий, без широких линий, с маленькими выдумками маленького человека. Он изображает из себя англичанина, но по-английски не говорит, и вообще знает поразительно мало из английской литературы и жизни. Но — и это в нем мило, потому что, в сущности, он милый малый, никому не мешающий, приятный собеседник, выпивала.

Сейчас получена книжка В. Евгеньева-Максимова «Великий гуманист» (о Короленко), посвященная полемике со мною. Но книжка написана так скучно, что я не мог прочитать даже тех строк, которые имеют отношение ко мне. Бедный Короленко! О нем почему-то пишут всё скучные люди. Сам он был дивный, юморист, жизнелюб, но где-то под спудом и в нем лежала застарелая русская скука, скука русских изб, русских провинциальных квартир, русских луж и заборов.

Боба страшно смешлив. Читая Марка Твена, он смеется над всякой, даже еле заметной, остротой. Я разыскал для него сегодня «Янки при дворе короля Артура», — и он погрузился с головой. Проходя мимо одного окна, он вдруг громко расхохотался. — Что такое? — Вот, смотри! — Я смотрел и ничего смешного не видел. — Что такое? — Смотри, — сказал он, — видишь, это сельскохозяйственный магазин, тут на стекле наклеена бумажка:

«Средство наилучшего сохранения картофеля». Видишь? Теперь посмотри на картошку. Видишь, гнилая — ни к черту не годная. Вот и сохранили!

Такие вещи он подмечает в секунду.

Сейчас была сестра Некрасова, Люция Александровна, и подарила Лиде роскошный японский альбом. Я наотрез отказался принять его. Она расплакалась: вы меня оскорбляете. Пришлось взять.

Она — старушка, маленького роста, бывшая артистка: голос у нее удивительно чистый, выработанный. Чувствуется долгая жизнь на сцене. Только актрисы умеют говорить так отчетливо, нарядно, с видимым удовольствием от каждого слова.

20 марта. Сегодня устраивал в финской торговой делегации дочь Репина Веру Ильиничну. Вера Ильинична — тупа умом и сердцем, ежесекундно думает о собственных выгодах, и когда целый день потратишь на беготню по ее делам, не догадается поблагодарить. Продавала здесь картины Репина и покупала себе сережки — а самой уже 50 лет, зубы вставные, волосы крашеные, сервильна, труслива, нагла, лжива — и никакой души, даже в зародыше. Я с нею пробился часа три, оттуда в Госиздат — хлопотать о старушке Давыдовой — пристроить ее детские игры, оттуда в Севцентропечать — хлопотать о старушке Некрасовой. Опять я бегаю и хлопочу о старушках, а жизнь проходит, я ничего не читаю, тупею. Какая *дурацкая* у меня доброта! В Финской делегации — меня что-то поразило до глупости. Вначале я не мог понять, что. Чувствую что-то странное, а что — не понимаю. Но потом понял: новые обои! Комнаты, занимаемые финнами, оклеены новыми обоями!! Двери выкрашены свежей краской!! Этого чуда я не ви-

дал пять лет. Никакого ремонта! Ни одного строящегося дома! Да что — дома! Я не видел ни одной поправленной дверцы от печки, ни одной абсолютно новой подушки, ложки, тарелки!! Казалось даже неприятным, что в чистой комнате, в новых костюмах, в чистейших воротничках по страшно опрятным комнатам ходят кругленькие чистенькие люди. О!! это было похоже на картинку модного журнала; на дамский рисунок; глаз воспринимал это как нечто пересахаренное, слишком слащавое...

Читаю Томаса Гарди роман «Far from the Madding Crowd» — о фермере Oak'e, который влюбился. Читаю и думаю: а мне какое дело. Мне кажется, что к 40 годам понижается восприимчивость к художественному воспроизведению чужой психологии. Но нет, это великолепно. Сватовство изображено классически: какой лаконизм, какая свежесть красок.

21 марта 1922. Снег. Мороз. Туман. Как-то зазвал меня Мгебров (актер) в здание Пролеткульта на Екатерининскую ул. — посмотреть постановку Уота Уитмэна — инсценированную рабочими. Едва только началась репетиция, артисты поставили роскошные кожаные глубокие кресла — взятые из Благородного Собрания — и вскочили на них сапожищами. Я спросил у Мгеброва, зачем они это делают. «Это восхождение ввысь!» — ответил он. Я взял шапку и ушел. — «Не могу присутствовать при порче вещей. Уважаю вещь. И если вы не внушите артистам уважения к вещам, ничего у вас не выйдет. Искусство начинается с уважения к вещам»... Ушел и больше не возвращался. Уитмэн у них провалился.

Да, Вера Репина — беспросветная дура, но она — действительно несчастна. У нее ни друзей, ни знакомых, никого. Все шарахаются от ее страшного мещанства. Что удивительнее всего — она есть верная и меткая карикатура на своего отца. Все качества, которые есть в ней, есть и в нем. Но у него воображение, жадность к жизни, могучий темперамент — и все становится другим. Она же в овечьем оцепенении, в безмыслии, в бесчувствии — прожила всю жизнь. Жалкая.

Эпоха: Мурка, вместо: «Диди» говорит «Дидя». (Так она звала Зину).

Мне казалось, что сегодня я присутствовал при зарождении нового религиозного культа. У меня пред диваном стоит ящик, на котором я во время болезни писал. (Лида говорила по этому поводу: у тебя в комнате 8 столов, а ты, чудной человек, пишешь на ящике.) В этом ящике есть дырочка. Мурке сказали, что там живет *Бу*. Она верит в этого Бу набожно и приходит каждое утро

кормить его. Чем? Бумажками! Нащиплет бумажек и сунет в дырочку. Если забываем, она напоминает: Бу — ам, ам! Стоит дать этому мифу развитие — вот и готовы Эвripиды, Софоклы, литургии, иконы.

22 марта 1922. Стоит суровая ровная зима. Я сижу в пальто, и мне холодно. «Народ» говорит: это оттого, что отнимают церковные ценности. Такой весны еще не видано в Питере.

Ах, как чудесен Thomas Hardy. Куда нашим Глебам Успенским. Глава Chat[1] — чудо по юмору, по фразеологии, по типам. И сколько напихано матерьялу. О! о! о!

Сегодня был опять у чухон — устроил для Репина все — и деньги (990 марок), и визу для Веры Репиной — а у самого нет даже на трамвай. На какие деньги я сегодня побреюсь, не знаю. Видел мельком Ахматову. Подошла с сияющим лицом. «Поздравляю! Знаете, что в Доме Искусств?» — «Нет». — «Спросите у Замятина. Пусть он вам расскажет». Оказывается, из Совета изгнали Чудовского! А мне это все равно. У меня нет микроскопа, чтобы заметить эту вошь.

Был у Эйхвальд. Она служит у американцев. Рассказывает, что нас, русских, они называют: «Natives»[2].

Был на заседании Восточной Коллегии «Всемирной Литературы», которая редактирует журнал «Восток». Там поразительно упрям проф. Алексеев. Он дает много хламу (он очень глупый человек). Когда ему доказывают, что это для журнала не подходит, он в течение часу доказывает, что это отличный матерьял. Я сказал акад. И. Ю. Крачковскому, что их коллегию можно назвать «Общество для борьбы с Алексеевым». Он зовет Алексеева «желтой опасностью».

Послезавтра Лидины именины, а у меня ни копейки нет.

Вышла книжка Наппельбаум «Раковина»*. В ней комические стихи Иды Наппельбаум: змея вошла ей в рот и вышла «тайным проходом».

Есть там поэт Вагинов. Лернер предлагает назвать его Влагалищев. Действительно, фамилия невозможная.

Только теперь узнал о смерти Дорошевича. В последний раз я видел его месяца два назад — при очень мучительных для меня обстоятельствах. Сюда, в Питер, приехали два москвича: Кусиков и Пильняк. Приехали на пути в Берлин. На руках у них были шалые деньги, они продали Ионову какие-то рукописи, которые были проданы ими одновременно в другие места, закутили, и я случай-

[1] Болтовня *(англ.)*.
[2] «Туземцы» *(англ.)*.

но попал в их орбиту: я, Замятин и жена Замятина. Мы пошли в какой-то кабачок на Невском, в отдельный кабинет, где было сыро и гнило, и стали кутить. После каторжной моей жизни мне это показалось забавно. Пильняк, длинный, с лицом немецкого колониста, с заплетающимся языком, пьяный, потный, слюнявый — в длинном овчинном тулупе — был очень мил. Кусиков говорил ему:

— Скажи: бублик.

— Бублик.

— Дурак! Я сказал: республика, а ты говоришь: бублик. Видишь, до чего ты пьян.

Они пили брудершафт *на вы*, потом *на мы*, заплатили 4 миллиона и вышли. Пильняка с утра гвоздила мысль, что необходимо посетить Губера, который живет на Петербургской Стороне (Пильняк, при всем пьянстве, никогда не забывает своих интересов: Губер написал о нем рецензию, и он хотел поощрить Губера к дальнейшим занятиям этого рода). Он кликнул извозчика — и мы втроем поехали на Петербургскую Сторону. От Губера попали в дом Страхового общества Россия, где была Шкапская, с которой Пильняк тотчас же начал лизаться. Острили, читали стихи — и вдруг кто-то мимоходом сказал, что в соседней комнате Дорошевич.

— То есть какой Дорошевич?

— Влас Михайлович.

— Не может быть!

— Да. Он болен.

Я не дослушал, бросился в соседнюю комнату — и увидел тощее, мрачное, длинное, тусклое, равнодушное нечто, нисколько не похожее на прежнего остряка и гурмана. Каждое мгновение он издавал такой звук:

— Га!

У него была одышка. Промежутки между этими *га* были правильные, как будто метрономом отмеренные, и это делало его похожим на предмет, инструмент, — а не на живого человека. Я постоял, посмотрел, он узнал меня, протянул мне тощую руку, — и я почувствовал к нему такую нежность, что мне стало трудно вернуться к тем, пьяным и *еще живым*. Дорошевич никогда не импонировал мне как писатель, но в моем сознании он всегда был победителем, хозяином жизни. В Москве, в «Русском Слове» это был царь и Бог. Доступ к нему был труден, его похвала осчастливливала[1]. Он очень

[1] Как стремился Маяковский понравиться, угодить Дорошевичу. Он понимал, что тут его карьера. Я все старался, чтобы Дорошевич позволил Маяковскому написать с себя портрет. Дорошевич сказал: ну его к черту. — *К. Ч.*

мило пригласил меня в «Русское Слово». Я написал о нем очень ругательный фельетон*. Мне сказали (Мережковские): это вы непрактично поступили: не бывать вам в «Русском Слове»! Я огорчился. Вдруг получаю от Дорошевича приглашение. Иду к нему (на Кирочную) — он ведет меня к себе в кабинет, говорит, говорит и вынимает из ящика... мой ругательный фельетон. Я испугался — мне стало неловко. Он говорит: вы правы и не правы (и стал разбирать мой отзыв). Потом — пригласил меня в «Русское Слово» и дал 500 р. авансу. Это был счастливейший день моей жизни. Тогда казалось, что «Русское Слово» — а значит и Дорошевич — командует всей русской культурной жизнью: от него зависела слава, карьера, — все эти Мережковские, Леониды Андреевы, Розановы — были у него на откупу, в подчинении. И вот — он покинутый, мертвый, никому не нужный. В комнате была какая-то высокая дева, которая звала его папой — и сказала мне (после, в коридоре):

— Хоть бы скорее! (т. е. скорее бы умер!)

23 марта. Принял опий, чтобы заснуть. Проснулся с тяжелой головой. Читал «Wisdom of Father Browns», by Chesterton. Wisdom rather stupid and Chesterton seems to me the most commonplace genius I ever read of[1].

Мура указала мне на вентилятор. Я запел:

Вентилятор, вентилятор,
Вентилятор, вентиля.

Она сразу уловила tune[2] и запела:

Паппа папа папа папа
Паппапапапапапа.

Очень чувствительная к ритму девица.

24 марта. Нет ни сантима. Читаю Chesterton'a «Innocence of Father Brown» — the most stupid thing I ever read[3].

25 марта. Тихонов недавно в заседании вместо Taedium vitae[4] несколько раз сказал Te Deum vitae[5]. Ничего. Мы затеваем втроем

[1] «Мудрость отца Брауна» Честертона. Мудрость довольно глупая, и Честертон представляется мне самым заурядным гением, какого мне доводилось читать *(англ.)*.

[2] мелодию *(англ.)*.

[3] «Неведение отца Брауна» — ничего глупее не читал *(англ.)*.

[4] Отвращение к жизни *(лат.)*.

[5] Гимн жизни *(лат.)*.

журнал «Запад» — я, он и Замятин. Вчера было первое заседание*. Сейчас я отправлюсь к Сергею Федоровичу Ольденбургу — за книгами.

26 марта. Очень неудачный день. С утра я пошел по делам: к Беленсону по поводу книги Репина, — не застал. В типографию на Моховую по поводу своей книги об Уайльде, — набрана, но так как издатель Наппельбаум не платит денег, то книга отложена. Между тем цены растут, нужно торопиться, человек погубит мою книгу. Я пошел к нему, к Наппельбауму. Не застал. Оставил ему грозную записку. Оттуда к Алянскому — не застал. Сидит его служащая, рядом с буржуйкой, кругом кипы книг и ни одного покупателя. Даже Блока 1-й том не идет. Алянский назначил за томик Блока цену 400 000 р., когда еще не получил счета из типографии. Получив этот счет, он увидел, что 400 000 — это явный убыток, и принужден был повысить цену до 500 000. А за 500 000 никто не покупает. Мой «Слоненок» лежит камнем*. Ни один книгопродавец не мог продать и пяти экземпляров. На книжки о Некрасове и смотреть не хотят*. Наш разговор происходил на Невском — в доме № 57, в конторе издательства «Алконост» и «Эпоха». (В окно я видел желтый дом № 86 и вспомнил вдруг, что в оны годы там был Музей восковых фигур, где находилась и Клеопатра, описанная Блоком в известных стихах:

Она лежит в гробу стеклянном*.

Помню, я встретился там с Александром Александровичем, и мы любовались змеею, которая с постоянством часового механизма жалила — систематично и аккуратно — восковую грудь царицы.)

Из «Алконоста» я пошел в издательство «Полярная Звезда», отнес корректуру Некрасова и мечтал, не получу ли денег. Но Лившица не застал. Наткнулся на тараканоподобного, приторновежливого Браудо.

Напрягая все силы, чтобы не испытывать отчаяния, голодный — иду на Васильевский Остров к Ольденбургу, в Академию Наук. У Ольденбурга мне нужно получить Рабиндраната Тагора. Ольденбург болен. Он живет на первом этаже во дворе, в Академии Наук. Куча детей, внучат и еще каких-то, женщины, которые гладят, толкут, пекут, горшок в передней, и на диване свеженький, как воробей, Ольденбург. С наигранной энергией он говорит обо всем, но увы, Рабиндраната у него нет. Он сказал, что много книг есть у приехавшей только что из-за границы профессорши Добиаш-Рождественской, которая живет в университете. Я в университет. Сперва — в канцелярию. — Где живет Рождественская? — Не знаю! — отвечает красноносая старуха. Наконец я

добрался. Позвонил. Долго не открывают. Потом открыла какая-то низкорослая, полуседая:

— Я не открывала, так как думала, что голодающие!

Добиаш-Рождественской нет! Она действительно вернулась из Парижа, но книг еще не получила: они в багаже!

Голодный, утомленный, иду назад. Сегодня сдуру я назначил свидание Анне Ахматовой — ровно в 4 часа. Покупаю по дороге (на последние деньги!) булку, иду на Фонтанку. Ахматова ждала меня. На кухне все убрано, на плите сидит старуха, кухарка Ольги Афанасьевны, штопает для Ахматовой черный чулок белыми нитками.

— Бабушка, затопите печку! — распорядилась Ахматова, и мы вошли в ее узкую комнату, три четверти которой занимает двуспальная кровать, сплошь закрытая большим одеялом. Холод ужасный. Мы садимся у окна, и она жестом хозяйки, занимающей великосветского гостя, подает мне журнал «Новая Россия», только что вышедший под редакцией Адриянова, Тана, Муйжеля и других большевиствующих. Журнал действительно подмоченный, гниленький, гаденький — и я показал ей смешное место в статье Вишняка и сказал, что фамилию издателя *Френкеля* нужно понимать так — фракция русско-еврейских национально-коммунистических езуито-лакеев. Но тут заметил, что ее ничуть не интересует мое мнение о направлении этого журнала, что на уме у нее что-то другое. Действительно, выждав, когда я кончу свои либеральные речи, она спросила:

— А рецензии вы читали? Рецензию обо мне. Как ругают!

Я взял книгу и в конце увидел очень почтительную, но не восторженную статью Голлербаха*. Бедная Анна Андреевна. Если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди! — Этот Голлербах, — говорила она, — присылал мне стихи, очень хвалебные. Но вот в книжке о Царском Селе — черт знает что он написал обо мне*. Смотрите! — Оказывается, в книжке об Анне Ахматовой Голлербах осмелился указать, что девичья фамилия Ахматовой — Горенко!! — И как он смел! Кто ему позволил! Я уже просила Лернера передать ему, что это черт знает что!

Чувствовалось, что здесь главный пафос ее жизни, что этим, в сущности, она живет больше всего.

— Дурак такой! — говорила она о Голлербахе. — У его отца была булочная, и я гимназисткой покупала в их булочной булки, — отсюда не следует, что он может называть меня... Горенко.

Чтобы проверить свое ощущение, я сказал поэтессе, что у меня в Студии раскол между студистами: одни за Ахматову, другие против.

— И знаете, среди противников есть тонкие и умные люди. Например, одна моя слушательница с неподвижным лицом, без жестов, вдруг в минувший четверг прочитала о вас доклад — сокрушительный, — где доказывала, что вы усвоили себе эстетику «Старых Годов», курбатовского «Петербурга», что ваша Флоренция, ваша Венеция — мода, что все ваши позы кажутся ей просто позами.

Это так взволновало Ахматову, что она почувствовала потребность аффектировать равнодушие, стала смотреть в зеркало, поправлять челку и великосветски сказала:

— Очень, очень интересно! Принесите мне, пожалуйста, почитать этот реферат.

Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе — и еле живет другим. Показала мне тетрадь своих новых стихов, квадратную, большую: — Вот, хватило бы на новую книжку, но критики опять скажут: «Ахматова повторяется». Нет, я лучше издам ее в Париже, пусть мне оттуда чего-нибудь пришлют!

За границей, по ее словам, критика гораздо добрее. — В Берлине вышла «Новая Русская Книга»* — там обо мне — да и обо всех — самые горячие отзывы. Я — гений, Ремизов — гений, Андрей Белый — гений.

— Ну, что, у вас теперь много денег? — спросил я. — Да, да, много. За «Белую Стаю» я получила сразу 150 000 000, могла сшить платье себе, Левушке послала — вот хочу послать маме в Крым. У меня большое горе: нас было четыре сестры, и вот третья умирает от чахотки*. Мама так и пишет: «умирает». В больнице. Я знаю, что они очень нуждаются, и никак не могу послать. Мама пишет: «по почте не посылай!»

Заговорили о голодающих. Я предложил ей свою идею: детская книга для Европы и Америки. Она горячо согласилась.

В комнате стало жарко. Она сварила мне в кастрюле кофе, сама быстро поставила столик, чудесно справилась с вьюшками печки, и тут только я заметил, как идет ей ее новое платье.

— Это материя из Дома Ученых!

Я достал из кармана булку и стал уплетать. Это был мой обед.

Она жаловалась на Анну Николаевну (вдову Гумилева): — Вообразите, у Наппельбаумов Вольфсон просит у нее стихов, а она дает ему *подлинный автограф* Гумилева. Даже не потрудилась переписать. — Что вы делаете?! — крикнула я и заставила Иду Наппельбаум переписать. Вот какая она некультурная.

Потом сама предложила: — Хотите послушать стихи? — прочитала «Юдифь»*, похожую на «Три пальмы» по размеру.

— Это я написала в вагоне, когда ехала к Левушке. Начала еще в Питере. Открыла Библию (загадала), и мне вышел этот эпизод. Я о нем и загадала.

Пришел Лурье, с тихими ужимками мужа: к себе на квартиру, к своей жене. Мы пошли с ним в отдельную комнату — в бывший кабинет Сергея Судейкина. Это очень интересная комбинация.

Был Судейкин и Судейкина-Глебова.

Судейкин бросил Судейкину.

Судейкина сошлась с Лурьей.

Лурье бросил Судейкину.

Лурье сошелся с Анной Ахматовой.

Ахматова разошлась с Шилейкой.

И теперь в комнате, которая была комнатой Судейкина и Судейкиной на законном основании живут Лурье и Ахматова. Вместо x — y установился m — n путем постепенной подмены одного члена:

x — y ; x — m; m — y; m — n.

Лурье гордится своей связью; имеет вид благосклонный и торжественный.

Сейчас вошел Коля и прочитал мне, страшно волнуясь, свою новую идиллию «Козленок» — очень изящную, насквозь поэтическую — вольное подражание «Вареникам» одного еврейского поэта, с которым он познакомился в переводе Владислава Ходасевича*.

Я уже был готов гордиться Колей; но сегодня же вечером, вернувшись с Марией Борисовной от Слонимской (которую мы ходили навещать: она больна), мы узнали, что Коля зверски избил Бобу. Хотя было уже 10 $^{1}/_{2}$ час., Боба еще не спал (он ложится в 7—8 час.), лицо разгоряченное, в слезах. — Что с тобою? — Колька побил! — Почему? — Он хотел съесть весь хлеб, а я сказал : «оставь Мурке!» Он сказал: «к черту Мурку!» — и швырнул полхлеба под стол. Я засмеялся, а он накинулся на меня и давай меня бить по щекам.

Марья Борисовна в ужасе, я тоже, но мне немного жаль вспыльчивого Кольку. У него огромный аппетит, он вечно голоден — и с голоду теряет рассудок. Неужели — опять — нечего есть?

27 марта. Не спал всю ночь: читал Thomas'a Hardy и Chesterton'a. Гарди восхищает меня по-прежнему: книга полна юмора. Это юмор — не отдельных страниц, но всей книги, всего ощущения жизни. Все же в Честертоне есть что-то привлекательное.

Он, конечно, пустое место, но культурные люди в Европе *умеют быть* пустыми местами, — на что мы, русские, совсем неспособны. У нас, если человек — пустое место, он — идет в пушкинисты, или вступает в Цех поэтов, или издает «Столицу и Усадьбу» — в Англии же на нем столько одежд и прикрытий, что его оголтелость не видна; причем Честертон шагает такой походкой, будто там, под платьем, есть какая-то важнейшая фигура.

Наша Зина страстно жаждет учиться. Она, бедная, переобременена работой, но каждую свободную секунду читает. О, как мало у нее этих свободных секунд! Боба очень покровительствует ее любознательности: достает ей книги, читает ей вслух, когда она занята. Он сбегал к Рувиму достать ей «Гекльберри Финна» и — это самые блаженные часы, когда он и она на кухне, и он может почитать ей с полчаса.

29 марта. Мурка сидит у меня на колене и смотрит, как я пишу. О Доме Искусств. В период черных годов 1919—1921 я давал оглушенным и замученным людям лекции Гумилева, Горького, Замятина, Блока, Белого и т. д., и т. д., и т. д. Волынский так павлинился, говорил, что есть высшие идеи, идеалы и проч., и проч., что я подумал, будто у него и в самом деле есть какая-то высокая программа, в тысячу раз лучше моей — and resigned[1]. Лекции, предложенные мною, были:

— О Пушкине

— О Розанове

— О Шпенглере

— О Врубеле

и еще три детских вечера — но Волынский сказал: «Нет, это не программа. Нужна программа» — и прочитал декларацию, пустопорожнюю и глупую. Я ушел в отставку — и вот уже 2 месяца ни одной лекции, ни одного чтения, Студия распалась, нет никакой духовной жизни, — смерть. Процветает только кабак, балы, маскарады — да скандалы.

Детей восхищает мысль, что сегодня *первое апреля*. Бобины сотоварищи решили: нарядить одного мальчика девочкой и сказать директору (Ю. А. Мовчану), что в школу поступила новенькая.

По случаю своего рождения я решил возможно дольше поваляться в постели — до 12 часов! Первый раз в жизни!

Погода дивная! Солнце. Я сегодня начал делать записи о Честертоне. Снег тает волшебно. Но сколько луж!

[1] и подал в отставку (*англ.*).

Вечер. Был в Доме Искусств на заседании. Истратил часов 6 на чепуху. Оказывается, в Доме Искусств нет денег. Изобретая средства для их изыскания, Дом Искусств надумал — устроить клуб: ввести домино, лото, биллиард и т. д. Вот до чего докатилась наша высокая и благородная затея. Я с несвойственной мне горячностью (не люблю лиризмов) говорил, что все это можно и нужно, но во имя чего? *Не для того,* чтобы 40 или 50 бездельников, трутней получали (неизвестно отчего и за что) барыши и жили бы припеваючи, а для того, чтобы была какая-то культурная плодотворная деятельность, был журнал, были лекции, было живое искусство, была музыка и т. д., и т. д. Домой я шел с Тихоновым, и он сказал мне интересную вещь о Чехове: оказывается, Тихонов студентом очень увлекался Горьким, а Чехов говорил ему:

— Можно ли такую дрянь хвалить, как «Песня о Соколе». Вот погодите, станете старше, самим вам станет стыдно.

— И мне действительно стыдно, — говорит Тихонов.

Расставшись с ним, я пошел к Арнольду Гессену в его книжный магазин (бывший Соловьева). Ко мне пристрастился Пяст, который ходит по всему Петербургу, продает «Садок Судей». Гессен купил у него эту любопытную книжку за 500 тыс. р. — и подарил мне «Весь Петроград».

Придя домой, я нашел у себя на столе плитку шоколаду, 8 перьев и 1 карандаш. Перья идеальный подарок, так как давно уже у меня нечем писать.

Вчера во «Всемирной Литературе» было много страстей. Акад. И. Ю. Крачковский с великолепной четкостью, деликатностью, вескостью доказал Коллегии, что многие места в статьях Алексеева глупы и пошлы. В статьях действительно много отступлений, полемических выпадов, бестактных и бездарных. Я восхищался Крачковским, он был так неумолимо ясен, точен, — и главное, смел: нужна великая смелость, чтобы спорить с этим тупоголовым китайцем. Тихонов потом сказал мне, что Крачковский накануне своего выступления не спал всю ночь. Но произносил он свою критику обычным ровным, усыпительно-бесстрастным тоном — как всегда, не повышая, не понижая голоса, и если не смотреть на него, можно было бы сказать, что он равнодушно читает какую-то книгу, которая ему неинтересна и даже — непонятна. Алексеев устроил величайшую бурю: заявил о своем уходе и проч. — но через часа 3 его укротили, и он пошел на уступки. Это была трудная и сложная работа, которую производили сразу и проф. Владимирцов, и Ольденбург, и Тихонов.

Ольденбург уже выздоровел. У него манера: подавать при встрече две руки и задавать вам бодрые, очень энергичные, но

внутренне равнодушные вопросы: «ну что, как? Что вы делаете?» Я от этого нажима и наскока всегда теряюсь.

Чем больше я думаю, тем больше увлекает меня моя будущая статья о Честертоне. Думаю завтра утром встать и сейчас же приняться за нее.

У Гумилева зубы были проедены на сластях. Он был в отношении сластей — гимназист.

Однажды он доказывал мне, что стихи Блока плохи; в них сказано:

В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача*.

«Блок, очевидно, думает, что лихач — это лошадь. А между тем лихач — это человек».

Убили Набокова*. Боже, сколько смертей: вчера Дорошевич, сегодня Набоков. Набокова я помню лет пятнадцать. Талантов больших в нем не было; это был типичный первый ученик. Все он делал на пятерку. Его книжка «В Англии» заурядна, сера, неумна, похожа на классное сочинение*. Поразительно мало заметил он в Англии, поразительно мертво написал он об этом. И было в нем самодовольство первого ученика. Помню, в Лондоне он сказал на одном обеде (на обеде писателей) речь о положении дел в России и в весьма умеренных выражениях высказал радость по поводу того, что государь посетил парламент. Тогда это было кстати, хорошо рассчитано на газетную (небольшую) сенсацию. Эта удача очень окрылила его. Помню, на радостях он пригласил меня пойти с ним в театр и потом за ужином все время — десятки раз — возвращался к своей речи. Его дом в Питере на Морской, где я был раза два, — был какой-то цитаделью эгоизма: три этажа, множество комнат, а живет только одна семья! Его статьи (напр., о Диккенсе) есть, в сущности, сантиментальные и бездушные компиляции. Первое слово, которое возникало у всех при упоминании о Набокове: да, это барин.

У нас в редакции «Речь» всех волновало то, что он приезжал в автомобиле, что у него есть повар, что у него абонемент в оперу и т. д. (Гессен забавно тянулся за ним: тоже ходил в балет, сидел в опере с партитурой в руках и т. д.). Его костюмы, его галстухи были предметом подражания и зависти. Держался он с репортерами учтиво, но очень холодно. Со мною одно время сошелся: я был в дружбе с его братом, Набоковым Константином, кроме того, его занимало, что́ я, как критик, думаю о его сыне-поэте*. Я был у него раза два или три — мне очень не понравилось: чопорно и не по-

русски. Была такая площадка на его парадной лестнице, до которой он провожал посетителей, которые мелочь. Это очень обижало обидчивых.

Но все же было в нем что-то хорошее. Раньше всего голос. Задушевный, проникновенный, Бог знает откуда. Помню, мы ехали с ним в Ньюкасле в сырую ночь на верхушке омнибуса. Туман был изумительно густой. Как будто мы были на дне океана. Тогда из боязни цеппелинов огней не полагалось. Люди шагали вокруг в абсолютной темноте. Набоков сидел рядом и говорил — таким волнующим голосом, как поэт. Говорил банальности — но выходило поэтически. По заграничному обычаю он называл меня просто Чуковский, я его просто Набоков, и в этом была какая-то прелесть. Литературу он знал назубок, особенно иностранную; в газете «Речь» так были уверены в его всезнайстве, что обращались к нему за справками (особенно Азов): откуда эта цитата? в каком веке жил такой-то германский поэт? И Набоков отвечал. Но знания его были — тривиальные. Сведения, а не знания. Он знал все, что *полагается* знать образованному человеку, не другое что-нибудь, а только это. Еще мила была в нем нежная любовь к Короленко, симпатиями которого он весьма дорожил. Его участие в деле Бейлиса также нельзя не счесть большой душевной (не общественной) заслугой. И была в нем еще какая-то четкость, чистота, — как в его почерке: неумном, но решительном, ровном, крупном, прямом. Он был чистый человек, добросовестный; жена обожала его чрезмерно, до страсти, при всех. Помогал он (денежно), должно быть, многим, но при этом четко и явственно записывал (должно быть) в свою книжку, тоже чистую и аккуратную.

К таким неинтересным людям, как О. Л. Д'Ор, он не снисходил: о чем ему, в самом деле, было разговаривать с еврейским остряком дурного тона, не знающим ни хороших книг, ни хороших манер! Теперь Олд'ор отмстил ему весьма отвратительно. Фельетон О. Л. Д'Ора гнусен — развязностью и наигранным цинизмом*. После этого фельетона еще больше страдаешь, что убили такого спокойного, никому не мешающего, чистого, благожелательного барина, который умудрился остаться русским интеллигентом и при миллионном состоянии.

Кстати: я вспомнил сейчас, что в 1916 году, после тех приветствий, которыми встретила нас лондонская публика, он однажды сказал:

— О, какими лгунишками мы должны себя чувствовать. Мы улыбаемся, как будто ничего не случилось, а на самом деле...

— А на самом деле — что?

— А на самом деле в армии развал; катастрофа неминуема, мы ждем ее со дня на день...

Это он говорил ровно за год до революции, и я часто потом вспоминал его слова.

Поразительные слова — пророческие — записаны о нем у меня в Чукоккале:

Почтит героя рамкой черной
И типографскою слезой
П. Милюков огнеупорный,
И будет Гессен сиротой*.

Милюков оказался воистину огнеупорным — fire proof. Это сочинено Немировичем еще в 1916 году.

2 апреля, воскресение. Целый день писал письма. С тех пор как от меня ушла Памба, моя работа затормозилась. Был у Беленсона: сумеречничал с Анненковым. Анненков устраивал бал-маскарад в филармонии. Рассказывает, как голодают художники. Например, Петр Троянский. Он не ел уже несколько дней, наконец — на балу сделал чей-то портрет и получил за это 500 000. Пошел в буфет, съел шницель — и мгновенно заболел, закричал от боли в желудке! Несчастного увезли в больницу.

У Беленсонов я вспомнил, как Ольдор подвизался в качестве Омеги в «Одесском Листке». Однажды он написал некую кляузу об Уточкине, знаменитом спортсмене. Уточкин его поколотил. Встретив Уточкина, я с укоризной:

— Как вы могли побить Омегу?

— Вот так, — ответил Уточкин, думая, что я спрашиваю у него о технике битья. — Я в-в-вошел в редакцию, встретил м-м-мадам На... на... на... на... (вот это) Навроцкую (он заика), поцеловал у нее ручку, иду дальше: — Кто здесь Омега? — Я Омега. — Я взял Омегу — вот так, положил его на левую руку, а правой — вот так, вот так — отшлепал его и ушел. Иду по лестнице. Настречу мне m-me Навроцкая. У вас, говорит, галстух съехал назад. Поправляю галстух — и ухожу.

История О'лдора теперь патетична. Его жена была в Финляндии. Он в Питере. Она зубной врач, женщина белая, рассыпчатая. Жила там недурно, сошлась с каким-то мужчиной. Муж узнал об этом и устремился в Финляндию. На границе его поймали и посадили в Чеку. Он отсидел недели две — и вышел еще большим коммунистом. Жене была послана депеша: «Если не приедете в Россию, Ольдор умрет». Она взяла детей и приехала. Думала: работать в качестве зубного врача. И вот оказалось, что он продал ее зубоврачебное кресло. О, ужас! О, трагедия! Вот и приходится О. Л. Д'Ору писать гнусь, чтобы кормить каждый день свою свору. Бедный, на него даже невозможно сердиться...

Ну вот и кончен мой дневник. Кончен Сорокалетний Чуковский. Посмотрим, что дальше.

It's rather interesting thing what Life has in store for me. Through all my youth and middle age I was laden with such a heavy burden[1], и нес его, не снимая, — нес, как раб, — и больше не могу!

4 апреля. Был у меня журналист Кливанский, бывший сотрудник «Русского Слова». Он рассказывает, что его знакомому, Ионову, Волынский продал свою книгу о Леонардо да Винчи за 35 тыс. рублей, а потом продал ту же книгу другому издателю. Верно ли это, не знаю. С Волынского станется. Было замечательно, когда он Харитону и Волковыскому говорил восторженно речи о их «Летописи Дома Литераторов» («наконец-то настоящий истинно литературный журнал»), а потом чуть ли не в тот же день в заседании Совета Дома Искусств назвал этот журнал ничтожной, антилитературной, безграмотной репортерской затеей.

Ходят упорные слухи, будто Гумилев и Ухтомский живы. Будто вдова Ухтомского узнала от одного солдата, что ее муж не расстрелян, а сослан в Архангельскую губернию. Она обратилась за справкой в Ч. К. Там сказали ей то же самое. Вот было бы великолепно, изящно, — но нет, я не верю. На улице снег, туман, холод.

Сегодня ночью было холодно спать. Вчера приходили толковать со мной о журналах «Мир Приключений» М. Гр. Воронов и еще кто-то, но у нас ничего не вышло. Правлю с омерзением Синклера. Безграмотнейший перевод грубой американской дешевки*. Сравнить со стилем Синклера стиль Томаса Гарди — все равно что с обезьяной сравнить человека.

5 апреля. 1922. Сейчас у меня была Пономарева, друг Кони. Просила, нельзя ли издать ее книжку «К лучшему будущему». — Я не хочу быть в тягость Анатолию Федоровичу. Я поселилась с ним для того, чтобы ему помогать — ну, книжку взять с полки, ну, продиктовать что-нибудь, — а вместо этого я бегаю весь день по урокам — и зарабатываю 5 мил. в месяц. А я хочу все свое время, все свои силы отдать Анатолию Федоровичу. Она влюбилась в него барышней — и с тех пор обожает 80-летнего старика слепо и нежно!

7 апреля. 4 апреля во вторник во «Всемирной Литературе» состоялось чествование Уитмэна. Пришли уитмэнианцы, а в кабинете шло заседание Союза Писателей. Пришлось ждать, пока начнется заседание «Всемирной Литературы». Никто из профес-

[1] Очень интересно, что припасла для меня жизнь. Через юность и зрелые годы я протащил такое тяжелое бремя *(англ.)*.

соров и литераторов не хотел этого чествования, все вели себя так, как будто оно было им навязано. Лернер даже сбежал! А между тем вышло весьма интересно. Я прочитал вслух несколько пассажей из «Democratic Vistas»[1]. Волынский по поводу прочитанного сказал великолепную речь, которую я слушал с упоением, хотя она и была основана на большом заблуждении. Волынский придрался к слову: «трансцендентный общественный строй» — и стал утверждать, что Уитмэн *отрицал сущее* во имя должного, метафизического. Словом, сделал Уитмэна каким-то спиритуалистом иудейской окраски. Но речь была превосходна, с прекрасными экспромтами — чем дальше он говорил, тем лучше.

«Я не верю в народный эпос! Толстой все же лучше былин!» — закончил он. Я написал Замятину, что Волынский во многом ошибся, Замятин прислал мне такую записку о Уитмэне —

[Вклеена записка, почерк Евг. Замятина. — *Е. Ч.*]

> И его религия — вовсе не рационалистическая, не мозговая, а телесная. В его иконостасе — не кривые, не геометрия трансцендентальная, а камни, паровозы, полицейские, воры, проволоки, зерна, черви.

Он всегда мыслит такими труизмами. Потом то, что здесь написано, он сказал своими словами, а потом заговорили уитмэнианцы. Все они — рядом с нами дикари, но в них чувствуется дикарская сила. Они наивны, но сильны своей наивностью. О своем обществе один из них сказал так: о Уитмэне мы узнали случайно. Сначала мы хотели назвать наше общество — «Общество Истинных Людей». Когда мы познакомились с Уитмэном, мы увидели, что он к нам подходит. Вокруг нас безвремение, у нас нет никаких критериев, никаких рулей и ветрил. В нашем институте было около 20 кружков и организаций, все они разрушаются. Нам нужен такой учитель и руководитель, как Уитмэн.

Потом сидящий у камина угрюмый Головушкин стал канителить о том, что Уитмэн ему не подходит. Уитмэн говорит: кто бы ты ни был, ты идешь по пути снов. Сам Уитмэн прет по пути снов и самообманов. А самообманами заниматься — дело малоинтересное. Для Уитмэна существуют только квадрильоны, миллионы, все в этом космосе для него одинаковы, человек никогда не может быть в таком положении. Каждый человек именно в силу того, что он — именно он — имеет известные единицы. Нельзя лю-

[1] «Демократические дали» *(англ.)*.

бить всех. Нужны критерии. Все уитмэнство грандиозно, восторженно, но в сущности как будто пусто.

Так мы почтили 30-летнюю годовщину со дня смерти Уота Уитмэна. Головушкин — всем показался похожим на Горького. Та же скудость душевной жизни, тот же учительный и безапелляционный тон, те же куцые, но крепкие мысли, засевшие в голове, как бревна. Потом я пошел к нему в общежитие и беседовал с ним часа два: это нигилизм в новой маске. Головушкин никогда не слыхал имени Анны Ахматовой, не слыхал ни о Волынском, ни о Замятине, но обо всем судит веско и твердо — даже повелительно. В своей среде он — авторитет.

Денег у меня нет ни копейки, завтра понесу кое-что продавать. Сегодня с утра солнце — я не выходил, корпел над Натом Пинкертоном. Сейчас Лида взяла у меня перевод Синклера, исполненный Гаусман, и чудесно стала редактировать его. Подумать только, что 15-летняя девочка исправляет работу пожилой квалифицированной переводчицы.

8 апреля. Изумительно: английские писатели не умеют кончать. Лучшие из них — к концу сбиваются на позорную пошлость. Начинают они превосходно — энергично, свежо, мускулисто, а конец у них тривиальный, сфабрикованный по готовому штампу. Я только что закончил «Far from the Madding Crowd»[1], — кто мог ожидать, что даже Томас Гарди окажется таким пошляком! Все как по писаному: один неподходящий мужчина в тюрьме, другой — в могиле, а третий, самый лучший, после всех препон и треволнений женится наконец на уготованной ему Батшибе. Почему все романисты считают, что самое лучшее в мире — это жениться? Почему они приберегают, как по заказу, все настоящие женитьбы к концу? Я хотел бы написать статью «Концы у Диккенса», взять все концы его романов — и укатать биологическую, социологическую и эстетическую их ценность!

10 апреля. Снег. Мороз. Солнца как будто и на свете нет. Безденежье все страшнее. Вчера я взял с полки книги и пошел продавать. Пуда полтора. Никто из книготорговцев и смотреть на них не захотел. Купили пустяк, фунта три, — дали два гроша, так я и пропутешествовал даром. Милый Шевкуненко ходил продавать мой одеколон, подаренный мне Клячкой, не продал, говорят: подделка. О! О! О! Какао вышло. Я вчера ходил на Гороховую к Морской, чтобы попросить у Miss Weiss щепоть какао, но не за-

[1] «Вдали от обезумевшей толпы» *(англ.)*.

стал ее дома. Мои мечты о писательстве опять разлетаются. Нужно поступить на службу, но куда?

Был я у Кони. Он жалуется на нищету. На Мурманской железной дороге, где он читает лекции, ему не платили с сентября, в «Живом Слове» — с октября. Книги он продает, но ему жалко расставаться с книгами. Полон планов. Я предложил ему съездить в Москву, — он с восторгом согласился. Он крепок и оживлен. Рассказывает анекдоты. Рассказывает, как однажды его кучер оставил пролетку и пошел послушать его лекцию, а потом будто обернулся к нему и сказал:

— Вас беречь нужно, потому что вы — свеща́.

Это я слышал от него раза три, но с удовольствием послушал и в четвертый. Также рассказал все о самоубийцах: русский стреляется так-то, француз так-то, немец так-то. Это я слышал раз восемь, но у старика были такие милые синие глаза, что я не смел перебить его.

Лившиц тоже отказался издать моего Уайльда, в последнюю минуту, после того как мы договорились обо всем.

11 апреля. Видел в книжном магазине «Некрасовский сборник», где между прочим много выпадов против меня, и не имел денег купить этот сборник! Боба страшно увлекается машиной: водяной мельницей, которую стряпает с большим остроумием. Дров нет. Я ломал ящик для книг и поцарапал себе ладонь. Но не беда! Настроение почему-то бодрое и даже веселое. Вчера — с голоду — зашел к курсисткам на Бассейной, в общежитие. Оказывается, они на Пасху получили по 8 фунтов гороху, который и едят без хлеба, размоченным в воде — сырой. И ничего. Сяду опять за Ахматову, надо же кончить начатое. Футуристы, проданные мною Лившицу, тоже, по-видимому, в печать не пойдут.

25 апреля 1922 г. Самое французское слово на русском языке: посконь дерюга́. Помню, у Некрасова, читая его, я всегда представлял себе: Posquogne de Ruguas!

В субботу встретил Сологуба. Очень он поправился, пополнел. Глазок у него чистый, отчетливый, и вообще он весь как гравюра. Он сказал мне у Тенишевского училища: слушайте, какую ехидную книжку вы написали о Блоке. Книжка, конечно, отличная, написана изящно, мастерски. Хоть сейчас в Париж, но сколько там злоехидства. Блок был не русский — вы сами это очень хорошо показали. Он был немец, и его «Двенадцать» — немецкая вещь. Я только теперь познакомился с этой вещью — ужасная. Вы считаете его великим национальным поэтом*. А по-моему, весь

свой национализм он просто построил по Достоевскому. Здесь нет ничего своего. России он не знал, русского народа не знал, он был студент-белоподкладочник.

Так мы долго стояли у входа в Тенишевское училище — против «Всемирной Литературы». Говорил он медленно, очень отчетливо и мило. Я сказал ему: давайте зайдем к Замятину. Пошли по лужам по лестнице — дым. Замятина не было. Сологуб в пальто сел у открытого окна и стал буффонить. У Людмиды Николаевны в платье был небольшой вырез, она сидела низко на диванчике, а он «заглядывал» и говорил:

— Я все вижу!

Она должна была пойти в другую комнату и достать себе платок.

Очень игриво говорил он о своих плагиатах. «Редько, — говорил он, — отыскал у меня плагиат из дрянного французского романа и напечатал en regard[1]. Это только показывает, что он читает плохие французские романы. А между тем у меня чуть ли не на той же странице плагиат из Джордж Элиот, я так и скатал страниц пять, — и он не заметил. Это показывает, что серьезной литературы он не знает».

Я рассказал ему историю с Короленко.

— Вот какой благородный человек Короленко! Нет, я прямо: плохо лежит, нужно взять!

Сегодня я с 10 ч. утра хожу по городу, ищу три миллиона и нигде не могу достать. Был у Ахматовой — есть только миллион, отдала. Больше нет у самой. Через три-четыре дня получает в Агрономическом институте 4 миллиона. Дав мне миллион, она порывисто схватила со шкафа жестянку с молоком и дала. — «Это для маленькой!»

29 апреля. Опять тоска, безденежье. Болит горло. Перевожу «Cabbages and Kings»[2]. Видел вчера Сологуба.

— Почему же вы не придете ко мне?

— Голова болит — вот это место.

— Вам нужно трепанацию, — с удовольствием сказал Сологуб. — Трепанацию, трепанацию, непременно трепанацию черепа... — Я двинулся уходить...

— Послушайте, — остановил он меня. — Знаете, какое — гнуснейшее стихотворение Пушкина? Самое мерзкое, фальшивое, надутое, мертвое...

— Какое?

---

[1] параллельным текстом *(франц.)*.

[2] «Короли и капуста» *(англ.)*.

— «Для берегов Отчизны дальной». Оно *теперь* мне так омерзительно, что я пойду домой и вырву его из книги.

— Почему теперь? А прежде вы его любили?

— Любил! Прежде любил. Глуп был. Но теперь Жирмунский разобрал его по косточкам, и я вижу, что оно дрянь. Убил его окончательно.

Жирмунский уже года два в разных газетах, лекциях, докладах, книгах, кружках, брошюрах разбирает стихотворение Пушкина «Для берегов Отчизны дальной». Разбирает добросовестно, учено, всесторонне — и нудно...

25 мая. Сию минуту умирал. Лежал возле больной Лиды. Потом пошел к себе в комнату — и чувствую: во мне совершается смерть. Ухожу, ухожу, вся сила уходит из меня, и меня почти нет. С интересом, с упоением и ужасом следил за собою. Вот уже больше месяца — лежу в постели: инфлуэнца, бронхит. Сегодня впервые 36.5°. Мария Борисовна тоже больна. Лида тоже. Лежим рядом — в трех комнатах и переговариваемся. У тебя сколько градусов? А у тебя? А у тебя?

Дня три назад надоело лежать, я встал и пошел в Летний Сад. Оказывается: заколочен. — Лезьте через забор! — сказал милиционер. Оказывается, наш Горсовет, народолюбивый чемпион бедноты, взимает теперь плату с людей, которые желают подышать свежим воздухом в общественном саду. Я перелез, устал и снова слег.

Очень интересную беседу с пильщиком-красноармейцем рассказала мне Вера Ал. Сутугина. Она пилила с ним дрова. Он спросил ее:

— А что слышно о Конкуренции (Конференции)? Там головатый парень, этот — как его — Жорж Борман (Ллойд Джордж) — но и он не может против нашего Ленина. — Почему не может? — А поглядите, какой у Ленина лбище. Огромный. Ни у кого нет такого.

С Мурой все это время я разговаривал «по-турецки» — на заумном языке. Когда она очень весела, слова так и прут из нее, а что говорить, она не знает, не умеет, и потому у нас происходит такой разговор.

Я: Карачура.

О н а: Майдабиля.

Я: Бум.

О н а: Бидядь.

Я: Навуходоносор.

О н а: Мамамекиляби.

Потом она говорит такие слова — с необычайной словоохотливостью:

— Бэданилли! — Бадяба!
— Лявы. Ливотявы. Ман.
— Д'апэн и т. д.

Я записал. Это она говорит только в возбужденном состоянии, когда словесной энергии в ней очень много. Боба читает Диккенса без особого удовольствия. Тихонов все не едет, не везет известий о том, продал ли он мою книгу об Уайльде в Москве.

Май — дивная жара — зелень нежная, яркая, ветер — даже мне, больному, постаревшему, весело. Все 37° без конца. С Лидой мы запоем играем в шахматы. Ослабела воля. Не могу сидеть за столом. Вспоминаю Осипа Дымова. Некоторые его остроты были гениальны.

26/V. Чудесно разговаривал с Мишей Слонимским. «Мы — *советские* писатели, — и в этом наша величайшая удача. Всякие дрязги, цензурные гнеты и проч. — все это случайно, временно, и не это типично для советской власти. Мы еще доживем до полнейшей свободы, о которой и не мечтают писатели буржуазной культуры. Мы можем жаловаться, скулить, усмехаться, но основной наш пафос — любовь и доверие. Мы должны быть достойны своей страны и эпохи».

Он говорил это не в митинговом стиле, а задушевно и очень интимно.

В воскресение он приведет ко мне «Серапионовых братьев». Жаль, что так сильно нездоровится. Если бы ввести в роман то, что говорил М. Слонимский, получилось бы фальшиво и приторно. А в жизни это было очень натурально.

Вырвал мне Коушанский зуб.

28 мая. Вчера, в воскресение[1] были у меня вполне прелестные люди: «Серапионы». Сначала Лунц. Милый, кудрявый, с наивными глазами. Хохочет бешено. Через два месяца уезжает в Берлин. Он уже доктор филологии, читает по-испански, по-французски, по-итальянски, по-английски, а по внешности гимназист из хорошего дома, брат своей сестры-стрекозы. Он, когда был у нас в «Студии», отличался тем, что всегда говорил о своей маме или о папе. (Его папа имел здесь мастерскую научных приборов — но и сам захаживал к нам в студию.) У Левы так много рассказов о маме, что в Студийном гимне мы сочинили:

А у Лунца мама есть,
Как ей в Студию пролезть?

[1] В мае 1922 года воскресенье — 28-го.

Он очень благороден по-юношески. Ему показалось недавно, что Волынский оскорбил Мариэтту Шагинян, он устроил страшный скандал. За меня стоял горою в Холомках. Замятин считает его лучшим из «Серапионовых братьев», то есть подающим наибольшие надежды.

Потом пришли два Миши: Миша Зощенко и Миша Слонимский. Зощенко темный, молчаливый, застенчивый, милый. Не знаю, что выйдет из него, но сейчас мне его рассказы очень нравятся. Он (покуда) покладист. О рассказе «Рыбья самка» я сказал ему, что прежний конец был лучше; он ушел в Лидину комнату и написал прежний конец. О его предисловии к «Синебрюхову» я сказал ему, что есть длинноты, он сейчас их выбросил. Все серапионы говорят словечками из его рассказов. «Вполне прелестный человек», «блекота» и пр. стало уже крылатыми словами. Он написал кучу пародий, — говорят, замечательных. К «Синебрюхову» он нарисовал множество рисунков.

Миша Слонимский, я знаю его с детства. Помню черноглазого мальчишку, который ползал по столу своего отца, публициста Слонимского, и дрался со своим братом Колей, тут же, возле чернильницы. Старик не обращал на это никакого внимания, он так же мерно раскачивался за столом и ровненько писал свои строки о Чемберлене, рейхстаге и Дрейфусе.

Потом пришел Илья Груздев — очень краснеющий, критик. Он тоже бывший мой студист, молодой, студентообразный, кажется, не очень талантливый. Статейки, которые он писал в студии, были посредственны. Теперь все его участие в Серапионовом Братстве заключается в том, что он пишет о них похвальные статьи.

30 мая. Был у меня сегодня Волынский с Пуниным — объясняться. Он в Совете Дома Искусств неуважительно отозвался о работе прежнего Совета. Мы все заявили свой протест и ушли. Теперь, чтобы вернуть себе сочувствие большинства, он придумал новую уловку: он свалил все на Литературный отдел, который и выругал гнусно. «У Литературного отдела не было высших идеалов... Литературный отдел — макулатура и т. д., и т. д., и т. д. О чем Чудовский прислал мне бумагу. Я написал Волынскому такое письмо:

Дорогой Аким Львович.

Я получил за подписью гр. Чудовского очень странный документ, который при сем прилагаю. Содержание документа столь чудовищно, что ни я, ни мои друзья не верят, что это действительно официальная бумага, написанная с Вашего ведома. Я считаю

ее чьей-то неуместной шуткой. Если это не так, прошу Вас подписать эту бумагу, чтобы я мог отнестись к ней серьезно.

Душевно Ваш *Чуковский.*

Ах, как ловко и умно он сегодня извивался и вилял: он меня любит, он обожает Серапионов, он глубоко ценит мои заслуги, он готов выбросить вон Чудовского, он приглашает меня заведовать Литературным отделом и проч., и проч.

Я сказал ему всю правду: бранить нас он имел бы право, если бы он сам хоть что-нибудь делал. Он за пять месяцев окончательно уничтожил Студию, уничтожил лекции, убил всякую духовную работу в Доме Искусства. Презирать легко, разрушать легко.

Лучше таланты и умы без программы, чем программа без умов и талантов и т. д. Но он был обаятелен — и защищался тем, что он идеалист; ничего земного не ценит. Пунин тоже в миноре. А давно ли эти люди топтали меня ногами.

31 мая, вечер. Всю ночь писал сегодня статейку о «Колоколах» Диккенса* и получил за нее 14 миллионов. О проклятие! Четырнадцать рублей за пол-листа. Весь день болит голова — Боже, Боже, — хоть бы скорее приходили посылки от Каплуна. Сегодня вечером, несмотря на дождь, вышел пройтись и, сам не знаю почему, попал к Замятину. Там сидели Добужинский и Тихонов. Они встретили меня веселым ревом. Добужинский закричал: «Это я, это я своей магией притянул вас к себе». Оказывается, они все время обсуждали, как реагировать на наглое послание Чудовского. Решили: обидеться. Посылаем в Совет письмо, что письмо Чудовского еще сильнее оскорбило нас. Решили составить комитет: председательница Анна Ахматова, Добужинский — заведующий Художественным отделом, я — Литературным, Замятин — тов. председателя, Радлов — тов. председателя и проч.

Потом Добужинский рассказал забавный анекдот о Сологубе. Сологуб был у Сомова и там рассказал:

— Сижу я на бульваре, курю. Подбегает мальчишка: «Товарищ, дай закурить!» А я ему: «Мандат имеешь?» Он так и кинулся прочь.

Потом к Замятину пришли Серапионы: Слонимский и Лунц. Замятин выругал их за то, что они тяготеют (?!) к печатанию в «Правде» (?). Всеволод Иванов и Коля Никитин возражали ему. Слонимский произнес большую речь.

1/VI. Опять канитель с Волынским. Он вошел сегодня в кабинет Тихонова и говорил больше часу. Были только Тихонов и я.

Дал нам понять, что, если кого обожает, так это нас обоих. Если кого ненавидит, то Чудовского. Так как Пунина с ним не было, он сказал: «Что общего могло быть у меня с Пуниным?» Мы оба говорили с ним ласково, потому что он в этой роли мил и талантлив. Замятин, войдя, не подал ему руку. Я скоро ушел. Сегодня весь день переводил «Королей и капусту»* — и заработал 10 мил. рублей. Вечером впервые после болезни читал лекцию в Доме Литераторов. Потом с Лидой в шахматы. Потом записывал современные слова*. Решил с сего дня записывать эти слова: собирать. У меня есть для этого много возможностей. Сегодня весь день был дождь. Переводя О' Генри, я придумал большую статью о мировой и нынешней литературе: обвинительный акт. О'Генри огромный талант, но какой внешний: все герои его как будто на сцене, все эффекты чисто сценические, каждый рассказ — оперетка, водевиль и т. д. Большинство рассказов о деньгах и о денежных операциях. Его биография очень интересна, но это связано именно с упадком словесности. Биографии писателей стали интереснее их писаний.

На ночь я теперь читаю «A Chronicle of the Conquest of Granada», by Washington Irwing[1]. Усыпительнейшая вещь. Но как отлично написана! Почему я с детства столь чувствителен к хорошему книжному стилю? Почему для меня невыносим Евгеньев-Максимов, историк Покровский и так восхищает меня изящное словотечение у Эрвинга.

10/VI воскресение[2]. Третьего дня иду по Моховой. Едет извозчик, и кто-то кричит: «Корней Иванович, Корней Иванович!»

Подбегаю. Жена Пинкевича. «Альберт Петрович приехал. Приходите завтра в 7 час. Он сделает доклад о своей поездке за границу».

Пришел я на кв. Гржебина — на Потемкинскую, в тот самый дом, где жили Мережковские. У подъезда экипаж, у вешалки лакеи. Секретарь Дома Ученых бегает как угорелый. Пришло человек сорок. Первый кинулся мне в глаза Ольденбург Сергей Федорович. «Ну что, как?» И не дожидается ответа. Прыгает как воробей. Все книжки перетрогал, со всеми переговорил, глазом подмигивает (у него тик). Жмет у всех руки с удесятеренной энергией. Бесталанный старикан, пишет напыщенно и неграмотно (я читал в корректурах его пересказы «Индусских сказок») — но есть в нем и милое. Потом увидел я учителей из Тенишевского. Неподвижные семинарские лица, с любопытством провинциальным,

[1] «Хроника завоевания Гренады» Вашингтона Ирвинга *(англ.)*.
[2] В июне 1922 г. воскресенье — 11-го.

скрытным. Группой явились учителя из Казани — цыганского замухрышного вида. Проф. Марр, седой, поэтический. Тихонов, очень пополневший. Замятин — точь-в-точь как Тихонов. И очень много лысых из Дома Ученых — не ученых, но кассиров, лабазников, наследников и ставленников Родэ. Общество разнообразное. Всем угодить было трудно. Но себе Пинкевич угодил. Всюду портреты Горького с надписями «дорогому другу». Книги от Ал. Ремизова, обезьянья грамота от него же, большое фото, где сняты вместе: Ал. Ремизов, Горький, Пинкевич, Ал. Толстой и Родэ.

Учителя и казанцы, перед которыми Пинкевич козырял, — смотрели на этот вздор с благоговением, но я, голодный, больной, раздавленный, думал:

«Карьерист. Бездарный писака, учителишка, пробившийся благодаря связишкам в профессора, какой ты румяный, и стройный, и сытый. Где нужно — большевик, где нужно — правый, с Родэ на «ты», всем милый друг, — он орел, персона, историческое лицо. Анненков делает его портрет, жена его разъезжает на извозчиках, объехал на казенный счет всю Европу — а медный лоб, заурядная мелочь».

Он же в это время говорил:

— В Швеции есть странный обычай: печатать в газетах портреты сколько-нибудь заметных людей. Вот например, приехал туда Голсворти, английский романист, сейчас же портрет. Вот.

И показал нам портрет Голсворти [Голсуорси]— и показал так, что все мы увидели рядом с Голсворти — Пинкевича!

Когда он говорил о Праге, он сказал: вместе с учеными, литераторами и др. я сидел в одном кабачке. Председатель произнес речь, где между прочим сказал:

— Странное совпадение: двести лет тому назад в этом самом доме жил Петр Великий. Сто лет назад — Суворов. А теперь — вы.

Очевидно, он разыгрывал там за границей важную птицу. Иностранцы ведь не знали, что это — Пинкевич. Он видал Масарика, Киршеншнейдера и проч., его снимали, интервьюировали и пр.

Я сам не понимаю той острой вражды, которую я почему-то испытал к этому приятному, общительному, моложавому человеку. Это просто потому, что я болен. Прости ему Боже, что́ он говорил: только учителя могут так подробно, жевательно, поучительно канителить всякую банальщину: немцы работоспособны, Финляндия похожа на Швецию, в Швеции чистота, шведские школы поставлены лучше русских и пр., и пр., и пр. Изо всего, что он говорил, мне понравилось только, что в Берлине тот омнибус, который ездит из эмигрантских кварталов, называется «жидовоз»,

что немецкий полицейский, который стоит на посту в русском квартале, повесился с тоски по родине, и проч. Я шел домой — была такая талантливая белая ночь, и я забыл о бездарном профессоре. Мало ли я их видел в своей жизни. Взять хотя бы Ляцкого: пройдоха, тупица, вон даже книгу сочинил о Гончарове. Я видел, как он доил всех и вся. Этакие Дю Руа* — триумфаторы. И главное, без подлости, просто, с чистыми глазами. Пинкевич так уверен в своем праве фигурировать рядом с Голсворти.

Оттуда с Замятиным и Тихоновым я пошел к Тихонову пить чай. Говорили о социализме, о будущем человечестве — и ели котлеты. Потом Тихонов пошел меня провожать — я вернулся и не мог заснуть. Собор Спаса Преображения — весь в зелени — нестерпимо поэтичен в белую ночь.

13 июня. Вчера заседание во «Всемирной». Браудо делал доклад о Германии. Доклад тусклый, тягучий. Лернер написал мне прилагаемое [вклеен листок, почерк Н. О. Лернера. — *Е. Ч.*]:

> Слушаю эти слова, широкие, как дырявый мешок, в который можно все что угодно сунуть, и все вываливается, и мне хочется сказать что-нибудь простое, конкретное... Какие честные, прямо мыслящие люди сапожники, дворники, красноармейцы. Из неумных людей книга делает черт знает что.

Тихонов потом читал статью Шпенглера и вместо тедиум витэ сказал таедиум витэ[1]; Волынский готовит громовую речь о Шпенглере к будущему заседанию. Сегодня среда[2], в пятницу выборы, он перед выборами стал как шелковый — заискивает перед молодежью, мне подарил булочку к чаю. Но так как доклад Браудо был все же удушлив, то мы переговаривались с Лернером о другом. Волынский, которому Браудо в докладе говорил комплименты («Стефан Цвейг считает книгу Акима Львовича гениальной»), очень добивался, чтобы все мы слушали. Тогда Замятин написал мне такое [вклеен листок. — *Е. Ч.*]:

Учитель на Вас косится все время. Сбавят за поведение.

Лернер приписал: У меня и так 3—.

[1] Te deum vita — гимн жизни; taedium vitae — отвращение к жизни *(лат.)*.
[2] В июне 1922 года среда — 14-го.

Только что пришел я домой, записка от Тихонова — вернитесь на заседание. Пришел Добужинский. Мы собрались у Замятина и так чудесно обсудили все дело: опять выбираем Волынского, опять весь прежний состав. Зачем же было огород городить? На заседании присутствовала Людмила Николаевна. Добужинский сказал ей:

— Вы участвуете в заседании с правом выхода.

Вчера получены две повестки от Ара*. Коля вчера впервые пошел на службу: он контролер кино. 75 мил. в месяц, но служба невеселая. Пропадают все вечера. Считай головы всех посетителей. Он теперь затевает журнал, и я верю, что дело у него выйдет. Органический, простой, поэтический парень, без затей. Весь на ладони, за это его и любят. Вчера [низ страницы отрезан. — *Е. Ч.*]

19 июля. Весь день на балконе. Это моя дача. Сижу и загораю. Был вчера у Анненкова. Вместе с Алянским. Он прочитал свою статью о смерти искусства, написанную в бравурном евреиновском тоне. Есть отличные куски, и вообще он весь — художественная натура. Много дешевых мыслей — для читателя, а не для себя самого — но есть и поэзия, и остроумие, и хороший задор. Сегодня была Фаина Афанасьевна, был Лунц (едет корреспондентом Известий ВЦИКа на Волгу), был вечером Анненков, сел со мною рядом на кровати и требовал, чтобы я ему переводил новый американский журнал. Я в два часа перевел ему почти весь номер, он жадно слушал, не пропустил ни одного объявления: «А это что? Здорово!» Очень изящно одет, сидел у меня в перчатке. Я редактирую Бернарда Шоу* — для хлеба. Уже три дня не на что купить хлеба. [Низ страницы отрезан. — *Е. Ч.*]

Июль. Встретил Анну Ахматову. Шагает так, будто у нее страшно узкие башмаки. Летом, в белом платье она очень некрасивая, видно, какою она будет старухой. (Зубы кривые, выщербленные.) Заговорила о сменовеховцах. Была в Доме Литераторов. Слушала доклад редакторов «Накануне». «Отвратительно! Я сказала Волковыскому: представьте мне редактора «Накануне». Мы познакомились. Я и говорю: — Почему вы напечатали мои стихи?* — Мы получили их из Москвы. — Но ведь я в Москве не была 7 лет. — Не знаю, справлюсь в Берлине и напишу вам. — Нисколько эти люди не теряют равновесия ни в каких случаях».

Кажется, 27 июля 1922. Ольгино. После истории с Ал. Толстым*, после бронхита, плеврита, Машиной болезни, Лидиной болезни, безденежья уехал в Ольгино отдохнуть. Здесь с первого

же дня начался водевиль. Здешний зимогор, проф. Виттенбург, заведующий экскурсионной станцией, страшный патриот Лахты, предоставил мне бесплатно дивную комнату с балконом — но под условием, что я напишу картину с видом Лахты. Ему сказали, что я не живописец, а критик. — Ну что ж? Критик? Пусть тогда напишет критику на все картины Альберта Бенуа, украшающие Лахтинский музей. Я отказался и теперь у меня в кармане такая бумажка:

«Р.С.Ф.С.Р. Ком. Нар. Просв. Лахтинск. Экск. Ст. и Музей природы Северн. Побережья Невской губы. 22 июля 22 г. № 603. Лахта Сестр ж. д. Удостоверение. Дано сие Чуковскому, Корней Ив. в том, что он состоит научным сотрудником Лахтинской Экскурс. Станции и Музея природы северного побережья Невской губы и что ему поручено составление очерка «Лахта в свете поэзии».

Ну вот и слава Богу. Что это за очерк, я не знаю, не имею никакого понятия, но я сижу на балконе с утра до ночи — и читаю, пишу, сортирую свои бумажки, готовлюсь засесть за «Нечаева». Три дня я блаженствовал: знакомых ни одного человека — весь день можно работать. Ходил бриться в здешнюю парикмахерскую. Крайняя хибарка в поле. Бреют двое: брат и сестра — подростки. Семья огромная. В ней два Николая: младший и старший. Младшего зовут Николай II-й. Иногда прибавляют «кровавый». Девушка рассказывала, как в 18-м году, когда ей было 13 лет, она ходила к немцам в деревню за 12 верст и брила все село за пуд картошки, которую и таскала на себе — падая в дороге. Сейчас они и бреют, и косят. Работают и косой, и бритвой. Здешние дачники живут сытно и весело — все хорошо. Но вот в тот дом, где я живу, приехала барышня, Тамара Карловна. Ее комната внизу, подо мною. Мы чуть-чуть познакомились и прожили день, не мешая друг другу. И вдруг вечером — (после целодневного дождя) — говорят, что она на улице у самых рельсов за версту от нас лежит на земле и бредит. Я побежал туда вместе с Татьяной Васильевной — моей соседкой (певица сопрано и — зубной врач), видим у дороги, буквально в луже, в белом платье лежит эта самая барышня. Мы разостлали мое пальто и пронесли ее с помощью ее родственниц на нашу дачу, причем часто, изнемогая, клали на землю. Теперь — бред, врач, суматоха. Вот тебе и отдохнул Корней, уединился! Уехал на 2 недели проветриться. Мне показалось, что в ее бреде есть какая-то литературность и поза. Может быть, я и ошибся. Сегодня утром награда за мои труды: розы и горшочек простокваши! Сяду писать «Тараканище».

31 июля. «Тараканище» пишется. Целый день в мозгу стучат рифмы. Сегодня сидел весь день с 8 часов утра до половины 8-го

вечера — и казалось, что писал вдохновенно, но сейчас ночью зачеркнул почти все. Однако в общем «Тараканище» сильно подвинулся. Сегодня, сидя на балконе, увидел двух поселян — как будто загримированных в Художественном театре — они говорили о злобе здешнего дня, о том, что змея укусила козу. Коз здесь очень много — Козье болото. Говорил, собственно, один, а другой был наперсником. Говорящий — хромой, очевидно пастух, интонации задушевные, — как у плохих актеров, которые играют пастухов. Он долго рассказывал, как он увидел, что коза держит ножку вот так — как он позвал женщину, уложил козу в мешок (не козу, а козленка) и понес лечить, как лечили козленка нашатырным спиртом и йодом и проч., и проч. По этому случаю служанка Мечниковых Мария Афанасьевна (с наивными бровями восьмилетки) сказала, что от змеиного укуса коз лечат только заговором, что если человека укусит змея, человек должен бежать к воде — скоро, скоро, — потому что змея тоже побежит к воде: если змея окунется раньше человека, человек умрет, а если человек поспеет раньше, умрет змея, так как у нее не вырастет новое жало взамен старого, которое она теряет при укусе. Это она слыхала «от самой заговорщицы».

Вот как идиллически мы здесь живем.

Но есть и трагедии. Девица, которую я принес домой, оказалось — сейчас после аборта. Это она поведала мне сама — со странной откровенностью. Причем отец ее убитого ребенка — врач по женским болезням — с пошловатым именем Анатолий Евгеньевич — пришел лениво раза два, посидел, побарабанил пальцами и ушел. А она горит, у нее жар, вся в поту, кровотечение. Положение ее отвратительное — ни денег, ни еды, ни участия. Но спасает ее тот сумбур, который у нее в голове. Она читает йогов, пишет стихи, жаждет музицировать.

Вечер был сегодня изумительный. Я много гулял с Ильей Ильичем Мечниковым.

3 августа. «Тараканище» мне разнравился. Совсем. Кажется деревянной и мертвой чепухой — и потому я хочу приняться за «язык». Дождик милый и мирный. Внизу Татьяна Васильевна заиграла что-то дождевое. Вдруг сердцесосущие звуки трубы. Загорелась лавка — в двух шагах. Не хотел идти, но пошел. Помогал таскать мешки, ларьки, оторвал (вместе с другими) багром дверь, смотрел, как шумно и весело горели березки, как будто им очень приятно гореть — вспомнил Достоевского — о веселии всех во время пожара, и все никак не могу настроиться писать. Кишка у пожарных текла...

1922 **10 августа.** Мура больна. Кровавый понос. Я не узнал ее — глаза закатываются, личико крошечное, брови и губы — выражают страдание. Смотрел на нее и ревел. Как она нюхала розы, как мухи ползали по ее лицу, как по мертвому. Слава Богу, сейчас легче. Как я счастлив, что достал деньги: купили лекарств (я ночью ездил в Знаменскую аптеку) — купили спринцовку — денег не было даже на полфунта манной. Деньги я достал у Клячко — милый, милый. Он дал Марье Борисовне 100 мил. и мне 100 миллионов. За это я организовываю для него детский журнал «Носорог»*. Были мы вчера утром у Лебедева — Владимира Васильевича. Чудесный художник, изумительный. Сидит в комнатенке и делает «этюды предметной конструкции». Мы привезли к нему его же рисунки — персидские миниатюры — отличная, прочувствованная стилизация. Клячко захотел купить их (они случайно были у меня). Клячко спросил:

— Сколько вы желаете за эти шесть рисунков?

— Ничего не желаю. Эти рисунки такая дрянь, что я не могу видеть их напечатанными.

— Но ведь все знатоки восхищаются ими. Ал. Бенуа говорил, что это работа отличного мастера. Добужинский не находил слов для похвал...

— Это дела не меняет. *Мне* это очень не нравится. Я не желаю видеть под ними свое имя.

— Тогда позвольте нам напечатать их без вашего имени.

— Не могу. И без того печатается много дряни. Я не могу способствовать увеличению этого количества дряни.

И как бы оправдываясь, сказал мне:

— Вы сами знаете, К. И., я человек земляной. Даже не земной, а *земляной*. Деньги я очень люблю. Вот продаю книги — деньги нужны. (Действительно, на табурете груда книг по искусству — для продажи.) Но — взять за это деньги — не могу.

Даже Клячко почувствовал уважение к этому, как он выразился, «фанатику» и рассказал всего один анекдот. Он сказал: «я-то верю вам, что теперешние ваши кубики и палочки — есть высокое искусство. Но поверят ли читатели? Один еврей увидел, как за другим бежала собака и лаяла. Еврей сказал: Мойше, Мойше, чего ты боишься? Разве ты не знаешь, что собака, которая лает, не кусается? Мойше ответил: я-то это знаю, но знает ли собака?»

Был в Публичной библиотеке. Видел Саитова, Влад. Ив. Это тоже «фанатик». Он так предан *русскому отделению,* которым заведует, что, кажется, лучше умер бы, чем нанес, напр., какой-нибудь ущерб карточному каталогу, который у него в отменном порядке. Вчера подошел ко мне. «Я хочу показать вам один культурный поступок — что вы скажете». И показал, что в какой-то большевист-

ской брошюре, где есть портрет Троцкого, печать П. Б. (Публичная библиотека) поставлена на самое лицо Троцкого, так, что осталось одно только туловище. Влад. Ив. с великой тоской говорит:

— Я и сам не люблю Троцкого, с удовольствием повесил бы его. Но зачем должна страдать иконография? Как можно примешивать свое личное чувство к регистрации библиотечных книг?

Я видел, что для него это глубокое горе. Лет 8 назад он захворал. Ему предоставили двухмесячный отпуск — в Крым. Он стал собираться, но остался в библиотеке. Не мог покинуть русское отделение. Остался среди пыли, в духоте, вдали от зелени, без неба — так любит свои каталоги, книги и своих читателей. С нами он строг, неразговорчив, но если кому нужна справка, он несколько дней будет искать, рыться, истратит много времени, найдет. Оттого-то в его *Отделение* входишь, как в церковь. Видел вчера мельком в библиотеке Лемке. Он ершится и щетинится. Не говорит, а буркает. Со мною не раскланивается. Читаю я теперь барона Гакстгаузена «Исследования внутренних отношений народной жизни», очень увлекательно. Вот так умный немец! Немудрено, что свихнул и Герцена, и славянофилов, и народников! Что делали бы они, ежели бы он в 1843 году поехал не в Россию, а напр., в Абиссинию.

Тут есть одна девочка, фамилия которой Скоропостижная.

Вчера в вагоне, когда шел дождь и сильно протекало, одна женщина открыла зонтик и ехала под зонтиком в вагоне.

Ехали вместе с нами какие-то удалые добрые молодцы, вроде солдат. Каждому лет по 26. Курят, спят.

— А пушки у вас есть? — спрашивает один.

— Есть. А вы разве покупаете?

— А вы разве продаете?

— Кто же пушки продает?

— Мы продавали. Немцам. О-го-го. Пушки, лошадей, что угодно. Такую ярмарку завели, что ой-ой-ой!

И опять заснул.

Вообще Боба очень покладистый малый, услужливый, с юмором, опора всей нашей семьи, но вдруг на него находят припадки упрямства и яростной глупости. Так, вернувшись с грибной экскурсии — он весь промок. Я снял с него верхнюю курточку и отнес сушить к соседям. Он сопротивлялся, не давал мне снять, уверял, что она сухая. Я накормил его и увидел, что он весь дрожит, на руках пупырышки. Стал надевать на него рубаху — ни за что. Я надел *силою* на него фуфайку, он со слезами кинулся на балкон, желая спрыгнуть вниз и пешком идти в город. Я закрыл двери на ключ и сказал ему, что через пять минут, если он не будет буше-

вать, я отпущу его на все *четыре стороны*. Он стих, но в это время пошел дождь.

— Ты должен выпустить меня — ты сказал, что отпустишь на все четыре стороны.

— Но ведь дождь...

— Все равно, что дождь... Ты должен, ты обещал!..

Я открыл дверь и сказал: ты свободен, но лучше подожди, пока пройдет дождь, и я принесу тебе курточку.

Он согласился — но сейчас находится в страшной ажитации. Подбегает к часам, молча топает ногой и что-то шепчет. Надо идти за курточкой.

15 августа. Ну вот и я заболел дизентерией...

20 августа. Воскресение. Вчера был Спас. Уехал на дачу опять — желтый, выжатый. «Поправлюсь!» Перед глазами тощее, красноносенькое, злое, несчастное лицо Мурочки — крошечное, изглоданное болезнью. Брови как у медузы, рот страдальческий — слова без выражения, упрямо повторяемые тысячу раз. Как сумасшедшие ликовали мы с Машей, когда нам показалось, что она выздоравливает. Слова появились у нее во время болезни новые: ей предлагали кисель и сказали: «хочешь кис-кис». «Кис» напомнило ей кошку, и она сказала «мяу-ам». Теперь она всегда называет кисель «мяу-ам». Меня страшно волнует, как она провела ночь. Бедная Маша. Да и все мои дети — весь дом — все мы болеем Муркой. Ни о чем не думаем, ничем не живем. А я не спал всю ночь. С вечера задремал, разбудила Тамара — и я пропал.

Лахта. Ольгино. Пятница. [25 августа]. Ну вот и уезжаю. Вчера напугали какие-то официальные люди, которые ходили по дачам и накрывали буржуев, у которых имеется в доме прислуга. Теперь прислугу принято скрывать — большинство нянь проживают в качестве теть, а кухарки — «подруги» хозяек! Вчера пришли два таких блузника к М., а кухарка сдуру так и ляпнула: «я подруга самой», а в другом месте служанка сказала: «я барынина знакомая». В третьем месте нянька выдала себя за тетку и все сошло благополучно, но уходя посетители невинно спросили у «тетки»: «И давно вы служите?» Она ответила: «А уж пятый годок».

Погода дивная, я целый день на балконе. Третьего дня обнаружилось, что тут, в Ольгино, проживает Т. Л. Щепкина-Куперник. Мы пошли к ней с Зинаидой Ивановной приглашать ее на детское утро. Она живет в двух шагах за углом — в женском царстве — с какой-то художницей, приезжей из Москвы, с сестрой (венериче-

ским доктором) и с какой-то старухой. У сестры двое детей. Татьяна Львовна такой же «пончик» лет 45-ти. Очень радушна, сердечна, внимательна — хорошие интонации голоса. Читать на детском утре согласилась с охотой, а в концерте отказалась участвовать: «Для концерта у меня нет платья; только и есть, что это ситцевое. Для детей сойдет, я его выстираю». У ее сестры двое детей — мальчики. Они знают моего «Крокодила» наизусть, и вообще, я с изумлением увидел, что «Крокодил» известен всему дому. Сестра Щепкиной-Куперник даже сказала, что Крокодилица — по ее ощущениям — еврейка.

Все было приятно, покуда Татьяна Львовна не стала читать свое стихотворное переложение «Дюймовочки» Андерсена. Унылая, рубленая проза, длинная, длинная, усыпительная, с тусклыми рифмами. Один из мальчиков назвал ее *мутной*. Она сама почувствовала, что вещь неудачная, и обещала поискать другую. Провожала и Зинаиду Ивановну, и меня — дружески. Завтра я дам ей заказ от «Всемирной Литературы» на перевод Рабиндраната Тагора. Здесь я писал — или, вернее, мусолил свою статью о Некрасове и деньгах*. Статья плоская, без движения, без игры.

1 сентября. Ольгино. Тамара Ташейт:

— К. И., вы не помните, кому я вчера дала свои башмаки? Дала кому-то, а кому, не помню.

В этом она вся: доброта и путаница. Говорит и каждую минуту прерывает себя: сейчас я скажу ужасную глупость. Рассказывает мне при Лиде:

— К. И., я сейчас была у одних знакомых. А у меня белья нет, один купальный костюм. Было жарко, я сняла этот купальный костюм и забыла. Ушла без костюма. А платье у меня тонкое — и все видно... (*Краснеет.*) Ах, какую я глупость сказала!

Когда она узнала, что у меня дизентерия, она купила на последние деньги две бутылки сырого молока и привезла мне в 12 ч. ночи в город.

— Я думала, что при дизентерии лучше всего молоко!

В Ольгино я снова заболел: она дала мне пузырь на живот (с кипяченой водой), но забыла предупредить, что пузырь течет — у меня промок весь тюфяк:

— Ой, я забыла. Вот какая рассеянная!

Детское утро в Ольгино — вышло не слишком удачно. Щепкина-Куперник читала долго и нудно. Романсы пелись самые неподходящие. Должно быть, поэтому мой «Тараканище» имел наибольший успех. Но у меня муть на душе — и какие-то тяжелые предчувствия.

1922

5 сентября. Вчера познакомился с Чарской. Боже, какая убогая. Дала мне две рукописи — тоже убогие. Интересно, что пишет она малограмотно. Напр., перед *что* всюду ставит запятую, хотя бы это была фраза: «Не смотря ни на, что». Или она так изголодалась? Ей до сих пор не дают пайка. Это безобразие. Харитон получает, а она, автор 160 романов, не удостоилась. Но бормочет она чепуху и, видно, совсем не понимает, откуда у нее такая слава.

20 сентября. У детей спрашивают в Тенишевском училище место службы родителей. Большинство отвечает: *Мальцевский рынок,* так как большинство занимается тем, что продает свои вещи.

29 сент. Тамара Карловна недавно сказала: у меня нет крова *под* головой.

Вчера я был у Анненкова — он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет невнятно. Но глаза хитрые — и даже в пьяном виде, пронзительные. Он вообще жох: рассказывал, как в Берлине он сразу нежничал и с Гессеном, и с советскими, и с Черновым, и с накануневцами — больше по пьяному делу. В этом «пьяном деле» есть хитрость — себе на уме; по пьяному делу легче сходиться с нужными людьми, и нужные люди тогда размягчаются. Со всякими кожаными куртками он шатается по разным «Бристолям», — и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни — умнейшим и пройдошливейшим человеком. — «Я с издателями — во!» Анненков начал было рисовать его карандашом, но потом соблазнился его рыжими волосами и стал писать краской — акварель и цветные карандаши*. После сеанса он повел нас в пивную — на Литейном. И там втроем мы выпили четыре бутылки пива. Он рассказывал берлинские свои похождения: Лундберг из тех честолюбивых неудачников, которые с надрывом и вывертом. Он как-то узнал, что я, Белый и Ремизов собираемся читать в гостях у Гессена в пользу Союза Писателей, и сказал мне: «Что вы делаете? Вы погубите себя. Вам нельзя читать у Гессена». Я (т. е. Пильняк) взял и рассказал об этом Гессену, Гессен тиснул гнусную заметку о Лундберге, и т. д., и т. д. Лундберга назвали советским шпионом и т. д. — Ну можно ли было рассказывать Гессену — пусть и глупые речи несчастного Лундберга? Потом говорил о Толстом, как они пьянствовали и как Толстой рассказывал похождения дьякона и учителя. Учитель читает книгу и всюду ставит нота бене. А дьякон... и т. д. Много смешных анекдотцев. Потом — о Горьком вто-

рой раз: заночевал я у Горького и утром рано захотел пройти в ту комнату, где у меня были вещи. Знаете, за его кабинетиком? Иду, не стучусь — и что же, там Марья Игнатьевна, и от нее в подштанниках Алексей Максимович. Сконфузился и — сел за стол, да и сидит в подштанниках, и барабанит пальцами. Все рассказы Пильняка в таком роде.

Анненков: мы в тот же вечер отправились с ним в Вольную Комедию. Вот талант — в каждом вершке. Там все его знают, от билетерши до директора, со всеми он на ты, маленькие актрисы его обожают, когда музыка — он подпевает, когда конферансье — он хохочет. Танцы так увлекли его, что он на улице, в дождь, когда мы возвращались назад: «К. И., держите мою палку», и стал танцевать на улице, отлично припоминая все па. Все у него ловко, удачливо, и со всеми он друг. Собирается в Америку. Я дал ему два урока английского языка, и он уже:

— I do not want to kiss black woman, I want to kiss white woman[1].

Жизнь ему вкусна, и он плотояден. На столе у него три обложки: к «Браге» Тихонова, к «Николе» Пильняка и к «Кругу». Он спросил: нравятся ли они мне, я откровенно сказал: нет. Он не обиделся.

За обедом он рассказал Пильняку, что один рабочий на собрании сказал:

— Хочь я в этом вопросе не компенгаген.

30 сентября. Был с Бобой в Детском театре на «Горбунке». Открытие сезона. Передо мною сидели Зиновьев, Лилина и посередине, между ними, лысый розовый пасторовидный здоровый господин — с которым Лилина меня и познакомила: Андерсен-Нексе, только что прибывший из Дании. «Горбунок» шел отлично — постановка старательная, богатая выдумкой. Текст почти нигде не искажен, театральное действие распределяется по раме, которая окаймляет сцену. Я сидел как очарованный, впервые в жизни я видел подлинный детский театр и все время думал о тусклой и горькой жизни несчастного автора «Конька-Горбунка». Как он ярок и ослепителен на сцене, сколько счастья дал он другим — внукам и правнукам — а сам не получил ничего, кроме злобы. Эту мысль я высказал сидящему рядом со мною господину с вострым носом, который оказался весьма знаменитым сановником. Потом Пильняк и Всеволод Иванов явились за этим датчанином и повезли в Дом Искусств. В Доме Искусств на субботе Серапионов был устроен диспут об искусстве. Андерсен оказался банальным и прес-

[1] Я не хочу целовать черную женщину, я хочу целовать белую женщину *(англ.)*.

ным, а Пильняк стал излагать ему очень сложное credo. Пильняк говорил по-русски, переводчики переводили не слишком точно. Зашел разговор о материи и духе (Stoff und Geist), и всякий раз, когда произносили слово *штоф,* Пильняк понимающе кивал головой. Замятин был тут же. Он либеральничал. Когда говорили о писателях, он сказал: да, мы так любим писателей, что даже экспортируем их за границу. Пильняк специально ходил к Зиновьеву хлопотать о Замятине, и я видел собственноручную записку Зиновьева с просьбой, обращенной к Мессингу: разрешить Замятину поездку в Москву. Анненков, когда увидел эту записку, долго говорил со мною, что, ежели Замятин такой враг советской власти, то незачем ему выпрашивать у нее записочки и послабления. Вся *борьба* Замятина бутафорская и маргариновая.

На прошлой неделе была засада у Клячко: вот глупость. Клячко лояльнейший человек, с самого начала был врагом саботажа, считает советскую власть единственной необходимой для России. Когда вышел фельетон Троцкого, Клячко был в таком восторге, что хотел издать этот фельетон отдельной книжкой — и вдруг ночью являются к нему, пугают его жену, как будто он Бурцев или, по крайней мере, Протопопов.

Когда-то давно случилось мне кататься по Волге, и на пароходе я познакомился с семейством Унковских. Он — сановитый старик с величавыми жестами, она — седая петербургская барыня. У них была волоокая дочь. В дороге мы много баловались, хохотали, снимались на фотографии. Теперь, через 10 лет читаю я в Доме Литераторов лекцию, и мне подает свои стихи какая-то потрепанная дама. Стихи подписаны: Унковская-Веселовская. Я спросил ее, не родственница ли она тех Унковских. Оказывается, дочь, — та самая волоокая победоносная дочь, к которой... липли тогда какие-то великосветские студенты. Теперь она в кудряшках, жалкая. Вот наш разговор:

— Как поживает ваш папа?

— Спасибо, он умер в Чрезвычайке.

— Вы замужем?

— Да.

— Где ваш муж?

— Он выбросился из 5-го этажа.

— А отчего?

— Он хотел стать священником под влиянием Введенского, а я сказала: «Смотрите на этого шута горохового», — он и выбросился.

Я не заметил в ее голосе горя. Скорее похвальба.

— И что же, у вас есть дети?

— Да, сын. Но...

Я ожидал услышать и о нем что-нб. такое же печальное.

— Но... он получает ученый паек.

— Ученый паек. Сколько ему лет?

— Шесть.

— Шесть лет — и ученый паек?

— Да (сказала она, и тут впервые в ее голосе послышалась тоска), да, он пишет стихи, прозу, у него необыкновенный мозг, его мозг исследовали профессора, поразительный мальчик. Он уже имел романы с женщинами.

— В шесть лет!

— Да.

И ученый паек! Бедная мать. Я ушел потрясенный.

9 октября. Был у Кони и, конечно, потерял весь день. Он опять рассказывал все те анекдоты — очень умело, наизусть, без суфлера: о своем отце, который будто бы ответил Гедеонову, что он пишет пьесы для людей, но не для скотов (когда Николай потребовал, чтобы в его пьесе было побольше лошадей), о своем вещем сне (когда он в минуту смерти Марии Ераковой видел во сне ее сестру Веру в трауре, причем через месяц обнаружилось, что он видел Веру в той самой шляпе, которую она на самом деле носила; он намекнул, что Вера была в него влюблена, но что он не отвечал ей взаимностью) и т. д. Но несколько вещей были для меня новы; первая: как Стасюлевич очень хотел заручиться сотрудничеством Лескова, но боялся уронить свое достоинство, а второе — о вечере «памяти Блока», устроенном в Доме Литераторов. «Я и не думал выступать на этом вечере, но Нестор Котляревский («лукавый человек») отказался «и вот Волковыский поймал меня в трамвае, когда я ехал в университет, и буквально на коленях упросил председательствовать. Я против воли согласился. Первое слово принадлежало Волынскому. Волынский придрался к «Двенадцати» и посвятил всю речь оплеванию Христа: Христос низкий, негодяй и т. д. Нужно быть жидом, чтобы ругать Христа таким образом. Я несколько раз порывался встать, но Волковыский, Екатерина Павловна Султанова и др. удерживали. И после нашлись такие, которые аплодировали Волынскому, — и никого не нашлось, кто бы имел смелость ему шикнуть. Если бы кто-нб. шикнул, то зашикали бы многие вслед за ним, потому что после заседания многие выражали мне возмущение этой речью. Кончив речь, Волынский прошел мимо стола, глядя на меня как именинник. Но я громко — так, чтобы и другие слышали, — сказал: «Как я жалею, что я принужден был присутствовать во время вашей воз-

мутительной речи!» Он так и присел. Была там и Анна «Лохматова» (Ахматова) — и читала стихи, очень скучные. Вы знаете, был у меня курьер — и когда в суде впервые шло дело о психопатке и впервые этот термин вводился в судебные прения — он спросил меня: — Сегодня, ваше превосходительство, будет дело об этой... о психоматке?

Так вот и Анна Лохматова представляется мне такой психоматкой. Все о своей матке» (и он указал на живот). Вид у него отличный. Вокруг него женщины — жены-мироносицы. Одна из них (Елена Васильевна Пономарева), желая сделать мне приятное, ввела в комнату к нему трех детей, которые стали очень мило декламировать все зараз моего «Крокодила», он заулыбался — но я видел, что ему неприятно, и прекратил детей на полуслове.

Читал вчера с великим удовольствием книгу о Бакунине, написанную Вячеславом Полонским. Очень, очень хорошая книга. Потом рассказ Федина о палаче* — гораздо лучше, чем я думал.

27 ноября 1922. Я в Москве три недели — завтра уезжаю. Живу в 1-й студии Художественного театра на Советской площади, где у меня отличная комната (лиловый диван, бутафорский, из «Катерины Ивановны» Леонида Андреева) и электрическая лампа в 300 свечей. Очень я втянулся в эту странную жизнь и полюбил много и многих. Москву видел мало, т. к. сидел с утра до вечера и спешно переводил «Плэйбоя»*. Но пробегая по улице — к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечал одно у всех выражение — счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса — целые вагоны на каждом шагу, — любовь к вещам и удовольствиям страшная, — танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю напиться, работают ногами без отдыху: дикси, фокстрот, one step[1] — и хорошие люди, актеры, писатели. Все живут зоологией и физиологией — ходят по улицам желудки и половые органы и притворяются людьми. Психическая жизнь оскудела: в театрах стреляют, буффонят, увлекаются гротесками и проч. Но во всем этом есть одно превосходное качество: сила. Женщины дородны, у мужчин затылки дубовые. Вообще очень много дубовых людей, отличный матерьял для истории. Смотришь на этот дуб и совершенно спокоен за будущее: хорошо. Из дуба можно сделать все что угодно —

[1] уанстеп (*англ.*). — название танца.

и если из него сейчас не смастерить Достоевского, то для топорных работ это клад. (Нэп.)

28 ноября 1922. Уезжаю. Мне даже с мышами и клопами жалко расстаться, так хорошо мне было в этой комнатенке, хотя мышка ползала по карнизу у меня на глазах и пачкала мою манную кашу, а клопы в лиловом диване развели такую колонию, словно это не диван Художественного театра, а кушетка в еврейской гостинице.

Ну вот актеры: Алексей Денисович Дикий, умный, даровитый, себе на уме — вроде Куприна — чудесный исполнитель Джона в «Сверчке»* — без высших восприятий, но прочный и приятный человек. На лице у него детски хитрое, милое выражение, играет он четко, обдуманно, работает, как черт, и режиссерствует без суеты, без криков, но авторитетно. Я сказал ему, что нельзя ставить любовную сцену в «Плэйбое» в тех тонах, в каких ставит он, что это баллада и проч. — он согласился, принял все мои указания и уже две недели работает над этой сценой. Его жена Катерина Ивановна*, молоденькая монголка с опьянелым тихим лицом, за которым чувствуется отчаянная, безумная кровь. Я видел, как она пляшет, отдавая пляске всю себя. Лидия Ив. Дейкун, добрая, в пенснэ, жена молодого Аркадия Ив. Добронравова*, матрона, угощавшая нас макаронами. Гиацинтова, Софья Владимировна, и Попова — знаю их мало, но чувствую: работящи, любящи, уютны. Высокий, ленивый и талантливый Либаков — художник, музыкант, танцор, — и Ключарев, молодой человек, 24 лет, который будет играть неподсильную ему главную роль — умница, начитанный, любит стихи, играет на бегах — и волнуется своей ролью очень. Марк Ильич Цыбульский — толстый жуир.

Эти люди и не подозревают, как много они сделали для меня, введя меня в свою среду как равного.

15 декабря 1922. Бездельничаю после Москвы. Все валится из рук. Печатаем «Мойдодыра» и «Тараканище» — я хожу из типографии в литографию и болтаюсь около машин. Недавно цензура запретила строчку в «Мойдодыре» «Боже, Боже», ездил объясняться*. Вчера забрел к Анне Ахматовой. Описать разве этот визит? Лестница темная, пыльная, типический черный ход. Стучусь в дверь. Оттуда кричат: не заперто! Открываю: кухонька, на плите какое-то скудное варево. Анны Андреевны нету: сейчас придет. Кухарка сидит посреди кухни и жалуется: шла она (кухарка) вчера за пайком, поскользнулась, вывихнула ногу и теперь «хоть кричи». Развернула грязную тряпку, показала ногу. На полу навален-

ные щепки. («Солдат рубил, сама не могу!») Вошла седая женщина — стала собирать щепки для печурки. Тут вошла Анна Андреевна с Пуниным, Николаем Николаевичем. Она ездила к некоей Каминской, артистке Камерного театра, та простужена, без денег, на 9-м месяце беременности. Я обещал сказать американцам, чтобы они оказали ей медицинскую помощь. Мы пошли в гостиную бывш. Судейкиных с иконами на стенах (что всегда коробит меня) и завели разговор. Но уже не светский, а домашний, потому что нынче Ахматова в своей третьей ипостаси — дочка. Я видел ее в виде голодной и отрекшейся от всего земного монашенки (когда она жила на Литейном в 1919 г.), видел светской дамой (месяца три назад) — и вот теперь она просто дочка мелкой чиновницы, девушка из мещанской семьи. Тесная комната, ход через кухню, маменька, кухарка «за все» — кто бы сказал, что это та самая Анна Ахматова, которая теперь — одна в русской литературе — замещает собою и Горького, и Льва Толстого, и Леонида Андреева (по славе), о которой пишутся десятки статей и книг, которую знает наизусть вся провинция. Сидит на кушетке петербургская дама из мелкочиновничьей семьи и «занимает гостей». Разговор вертелся около Москвы. Ахматовой очень хочется ехать в Москву — но она боится, что будет скандал, что московские собратья сделают ей враждебную манифестацию. Она уже советовалась с Эфросом, тот сказал, что скандала не будет, но она все еще боится. Эфрос советует теперь же снять Политехнический музей, но ей кажется, что лучше подождать и раньше выступить в Художественном театре. Она крикнула: «Мама». В комнату из кухни вошла ее мать. — «Вот спроси у К. И., что ты хотела спросить». Мама замялась, а потом спросила: «Как вы думаете, устроят Ане скандал в Москве или нет?» Видно, что для семьи это насущный вопрос. Говорили о критиках. Она говорит: «Вы читали, что написал обо мне Айхенвальд. По-моему, он все списал у вас. А Виноградов... Недавно вышла его статья обо мне в «Литературной Мысли» — такая скучная, что даже я не могла одолеть ее*. Щеголев так и сказал жене — раз даже сама Ахматова не может прочитать ее, то нам и Бог велел не читать. Эйхенбаум пишет книгу... тоже». Я ушел, унося впечатление светлое. За всеми этими вздорами все же чувствуешь подлинную Анну Ахматову, которой как бы неловко быть на людях *подлинной* и она поневоле, из какой-то застенчивости, принимает самые тривиальные облики. Я это заметил еще на встрече у Щеголева: «вот я как все... я даже выпить могу. Слыхали вы последнюю сплетню об Анненкове?» — вот ее тон со знакомыми, и как удивились бы ее почитатели, если б услыхали этот тон. А между тем это только щит, чтобы оставить в неприкосновенности свое, дорогое. Таков был тон у

Тютчева, например. Читаю Шекспира «Taming of the shrew»[1] — с удовольствием. О, как трудно было выжимать рисунки из Анненкова для «Мойдодыра». Он взял деньги в начале ноября и сказал: послезавтра будут рисунки. Потом уехал в Москву и пропадал там 3 недели, потом вернулся, и я должен был ходить к нему каждое утро (теряя часы, предназначенные для писания) — будить его, стыдить, проклинать, угрожать, молить — и в результате у меня есть рисунки к «Мойдодыру»! О, как тяжело мне бездельничать — так хочется с головой погрузиться в работу!

20 декабря 1922 года. Клячко исправил мне пальто, но оно расползлось. Я отдал свое пальто в починку портному Слонимскому — и сегодня щеголяю в летнем. Обвязал шею шарфом и прыгаю по Невскому, как клерк мистера Скруджа. Добежал до мистера Гэнтта, американского доктора, и подал ему прошение о той несчастной Каминской, о которой говорила Ахматова. Каминская беременна, от кого неизвестно, и кроме того простужена. Он согласился помочь ей, но спросил, кто отец ребенка. Я сказал: отца нет. Он нахмурился. Очевидно, ему трудно помочь необвенчанной роженице. Это было вчера. А сегодня мы должны с ним в 5 часов поехать к Каминской, а пальто у меня все нету, а холод отчаянный, а я простудился и всю ночь страдал желудком. Вчера у меня пропало полдня у Клячко. Обсуждали с приехавшими представителями издательства «Накануне», как и за сколько продать моего «Мойдодыра» и «Тараканище». Я сказал, что я требую сию минуту вперед 10% с номинала. Они согласились, но Клячко сговаривался с ними еще полдня — я не поспел в Публичную библиотеку. Из Американской помощи — вечером во «Всемирную» — на заседание Коллегии. Забавно. Сидят очень серьезные: Волынский, С. Ф. Ольденбург, Н. Лернер, Смирнов, Владимирцов, Тихонов, Алексеев, Лозинский — и священнодействуют. Тихонов разделывал Браудо за его гнусную редактуру немецкого текста. Браудо делал попытки оправдаться, но Волынский цыкал на него. Потом я предложил начать во «Всемирной» особую серию «Театральных пьес». Потом Браудо со всеми китайскими ужимками. «Теперь, когда я получил заслуженную кару за мою несовершенную работу, я знаю, что я не пользуюсь вашим сочувствием, но для дальнейшей работы мне необходимо ваше сочувствие»... и стал читать рецензию на свою книжку о Гофмане. Книжка глупая, рецензия глупая, никто не заметил ни той, ни другой, но он полчаса говорил, чрезвычайно волнуясь. Все слушали молча, только Лер-

[1] «Укрощение строптивой» (*англ.*).

нер писал мне записочки — по поводу Браудо (его всегдашняя манера). В связи с прочитанной рецензией, возник вопрос: как перевести «Teufel's Elexir». Эликсир сатаны, или дьявола, или черта. Четверть часа говорили о том, какая разница между чертом и дьяволом, в прениях приняли участие и Ольденбург, и Волынский. И хотя все это была чепуха, меня вновь привели в восхищение давно не слышанные мною тембры и интонации культурной профессорской речи. Клячко и Розинер так утомили мой мозг своей некультурной атмосферой, что даже рассуждения о черте, высказанные в таких витиеватых периодах, доставили мне удовольствие. Я, как Хромоножка в «Бесах», готов был воскликнуть: «по-французски!» Оттуда домой — весь иззябший, ничего не евший. (У Клячко перехватил колбасы, копченой, железоподобной.) Дома — М. Б. лежит больная, измученная, читает «Девяносто третий год» — и возле нее Мурка. У Мурки сегодня был интересный диалог с собою. Она стучала в дверцу ночного столика и сама боялась своего стука. Стукнет и спрашивает: *кто там?* (испуганно) *Лев? или* (спокойно) *я? Лев или я?* (И ручки задирает к голове, за шею, — всегда, когда взволнована).

22 декабря. Написанное на этой странице есть стенографическая запись Муркиных разговоров. Она разговаривает со всеми, даже с неодушевленными предметами. Говорит все слова, но это тени настоящих слов: оте — хочешь, ди — иди, пать — спать и т. д. Кто-то — то, дума — думаешь. Глаголы почти всегда в неопределенном наклонении: Я там пать. Я записал во время ее утреннего визита, но обычно она говорит интереснее. Ей Аннушка сказала: я съем твою кошку. Она спрашивает: «Ти — лев?» Сегодня утром запишу еще больше. По утрам она приходит ко мне убирать мою комнату, — и любит, когда я даю ей бумажку бросить в корзину. Я грозным голосом кричу: в корзину! Она сейчас же берет бумажку и идет с нею кругом стола. Когда ей читают непонятные ей стихи, она думает, что в них вообще нет смысла, и потом берет книгу и часами предается глоссолалии:

Та ра ма ка та ла ла,
Та ра му ка я.

Причем всякая вторая или третья строчка имеет у нее дактилическое окончание. Эти строчки она произносит с особым удовольствием. Вчера вечером я лежал с нею на кровати и сказал: «у меня плохие глаза, я плохо вижу». А она протянула руки к моим глазам и давай разжимать мне веки. Я говорю: «мне нужны очки». Она: «Не, ты не дядя, ты папа». Она знает, что очки свойственны

дяде (Маршаку), что это его главный и основной признак. Все слова, которых она не может выговорить, для нее а-а-а или у-у-у — это универсальные слова с универсальным значением. Иногда целая фраза «Я а-а-а ава и потом у-у-у».

Был с американцем у Каминской — и, конечно, Каминская набрехала, она сказала, что у нее жар, американец взял ее за руку и сказал: жару нет. Вообще она произвела впечатление одесситки дурного тона.

Потом у Чехонина. Чехонин сделал для американца — поздравительную карточку: Best Wishes — Happy New Year — Merry Christmas[1]. Тот очень рад. На карточке есть тройка, сани, в санях сидит он сам, Dr. A. R. A. Gantt (Baltimore). Посередине Петропавловская крепость, слева Исаакиевский собор, словом, квинтэссенция январского снежного Петербурга. Очень хороши оснеженные, нарядные петербургские деревья. Тут же Чехонин пожелал сделать мой портрет. В воскресенье еду к нему на сеанс.

Тихонов сказал мне, что Браудо критиковал во «Всемирной Литературе» рецензию о себе потому, что, как думают коллеги, эту рецензию писал Лернер!!!

Вчера случилось великое событие: я после 8-летнего перерыва (или шестилетнего?) заказал себе новый костюм. Сейчас буду редактировать «Робинзона Крузо», а потом примусь писать о Синге. Был у меня вчера вечером Бенедикт Лившиц.

23 декабря, суббота. Видел вчера во «Всемирной Литературе» Ахматову. Рассказывает, что пришел к ней Эйхенбаум и сказал, что на днях выйдет его книга о ней, и просил, чтобы она указала, кому послать именные экземпляры! «Я ему говорю: — Борис Михайлович, книга ваша, вы должны посылать экземпляры своим знакомым, кому хотите, при чем же здесь я?» И смеется мелким смехом.

Она очень неприятным тоном говорит о своих критиках: «Жирмунский в отчаянии, — говорит мне Эйхенбаум. — Ему одно издательство заказало о вас статью, а он не знает, что написать, все уже написано».

Эфрос приготовляет теперь все для встречи Анны Ахматовой в Москве. Ее встретят колокольным звоном 3-го января (она со Щеголевым выезжает 2-го), Эфрос пригласил ее жить у себя.

— Но не хочется мне жить у Эфроса. По наведенным справкам, у него две комнаты и одна жена. Конечно, было бы хуже, если бы было наоборот: одна комната и две жены, но и это плохо.

[1] Добрые пожелания — Счастливого Нового года — Веселого Рождества *(англ.)*.

— Да он для вас киот приготовляет, — сказал Тихонов. — Вы для него икона...

— Хороша икона! Он тут каждый вечер тайком приезжал ко мне...

Тихонов смеясь рассказал, как Эфрос условился с ним пойти к Анне Андреевне в гости и не зашел за ним, а отправился один, «а я ждал его весь вечер дома».

— Вот то-то и оно! — сказала Ахматова. Она показала мне свою карточку, когда ей был год, и другую, где она на скамейке вывернулась колесом — голова к ногам, в виде акробатки:

— Это в 1915. Когда уже была написана «Белая Стая», — сказала она.

Бедная женщина, раздавленная славой.

С моим «Тараканищем» происходит вот что. Клячко в упоении назначил цену 10 миллионов и сдвинуться не хочет. А книжники в книжных магазинах, кому ни покажешь, говорят: дрянь-книжка! За четыре лимона — извольте, возьмем парочку! И я рад, ненавижу эту книжку. Книжная торговля никогда не была в таком упадке, как теперь. Книг выходит множество, а покупателя нет. Идут только учебники. Вчера я купил роскошное издание «Peter and Wendy» с рисунками Bedford'a* за 1 $^{1}/_{2}$ миллиона, то есть за 10 копеек! (Трамвай —750 тысяч.) Клячко сейчас в Москве, интересно, с чем он вернется. Он должен мне за мои книги 6 миллиардов, а книги и не вышли до сих пор. «Мойдодыр» все брошюруется. Обложка до сих пор не просохла!

Мурка, если чего не понимает, спрашивает: где? Вчера я сообщил ей потрясающий факт, что на улице две курицы с петухом дерутся. Она: «где? Ти сам виде?» У нее понятия о собственности: Памба сказала: Боба мой, а не твой. — Боба, ты Памба монь (мой)? (ты собственность Памбы?). Боба: Я мой монь. Она не поняла: Какаля монь?

Вчера вечером нагрянул на меня американец с другим доктором — по поводу чехонинского рисунка.

24 декабря 22 г. Впервые в Муриной песне звук *к*:

Лика лика лика кака,
Лика лика лика кака!

Серьезно заболела Марья Борисовна. У нее что-то в пояснице. Лежит плашмя, не в силах повернуться. Сейчас побегу за Конухесом. Был я вчера у Чехонина; он хочет писать мой портрет, но кажется, мне сегодня к нему не добраться. Нездоровится очень.

Вчера встал в 4 часа утра и лег в половине две- **1922**
надцатого...

Первое длинное слово, которое произнесла Мурка, — *Лимпопо*. У Бобы есть привычка вместо хорошо говорить «Лимпопо», кроме того Мура слыхала, что Боба идет в Пэпо* — и вот сегодня, играя с куклой, она говорит ей: Ляля, ты да топ-топ? Т. е. Ляля, ты куда идешь? И отвечает от имени куклы: Я лимпопо топ-топ.

25 декабря. Вчера был у Гэнта и подъехал к нему как раз в ту минуту, когда он и два других американца, выпив под праздник, вышли по направлению к Мариинскому театру. Гололедица страшная. Они то и дело падали в шубах и, сидя на земле, хохотали, как школьники. Потом Гэнт затащил меня в театр на Петрушку, но я посмотрел чуть-чуть и сбежал. Сегодня с Колей решил организовать артель для распространения книг. Принял ванну, лежу, правлю «Королей и капусту». Утром была тоска до слез. После ванны заснул. Спал до 5. В 5 ч. Клячко по вопросу о распространении книг. У Розинера идея: везти книги в Мариинский театр, сегодня там еврейский вечер. Коля с Симой Дрейденом берут извозчика, везут книги в театр, сидят за столиками в фойе — и продают «Еврейскую Летопись», «Тараканище» и «Мойдодыра». Я иду к Бенуа. Он тут же рядом — на ул. Глинки, 15. Он опять потолстел, похож на сановника, весь в картинах, книгах, детях, гостях. Есть в его доме что-то библейское, еврейское. Тут же внук его, Татан, красавец, крупный, с золотыми кудрями. Он встретил меня тепло, широко, угостил кофеем и сам рядом ел, чавкая, с удовольствием. Картинки Анненкова одобрил, Чехонина — нет*. Напевал мотивы из «Петрушки» и спрашивал, откуда это? За столом три молодые дамы — жена Бенуа-младшего, дочь Бенуа Черкесова и еще какие-то. Чувствуется большая гармония, спетость. Бенуа посадил на колени своего внука и прочитал ему «Мойдодыра». Тут же за столом ребенок рассматривал десятки других картинок — в ребенке видна привычка смотреть картинки. Бенуа любит внука до ярости. «Посмотрите на эту уродину, — говорит он с диким любовным рычанием, — ну видали вы такую мерзкую рожу?» Если есть в доме ребенок, избалованный, и, так сказать, центральный, это, несомненно, Ал. Бенуа. Все в доме вертится вокруг него, а дом — полная чаша, атмосфера веселия и работы. Он сейчас занят по горло, работает для театра, но согласился сделать картинку для «Радуги». Подали огромную коробку конфет — их принес Ф. Ф. Нотгафт, издатель «Аквилона», по случаю выхода в «Аквилоне» новой книжки Бенуа «Версаль». «Ешьте, ешьте, К. И., а то я все съем», — говорил он, поглощая огромную уйму конфет. От Бенуа я ушел (унося атмосферу праздника) в Мариин-

ский театр. Сидит Коля за столиком. Он не продал ни одного экземпляра. Дорого. Подходят, берут в руки и кладут обратно. 25 миллионов — дорого. Сима продал один экземпляр! Сложили книги и поехали к Розинеру. Нехорошо я живу, по-обывательски. В моей жизни слишком много Розинера и слишком мало Ал. Бенуа.

30 декабря. Вчера самый неприятный день моей жизни: пришел ко мне утром в засаленной солдатской одежде, весь потный, один человек — красивый, изящный, весь горящий, и сказал, что у него есть для меня одно слово, что он хочет мне что-то сказать — первый раз за всю жизнь, — что он для этого приехал из Москвы, — и я отказался его слушать. Мне казалось, что я занят, что я тороплюсь, но все это вздор: просто не хотелось вскрывать наскоро замазанных щелей и снова волноваться большим, человеческим. Я ему так сказал; я сказал ему:

— Нужно было придти ко мне лет десять назад. Тогда я был живой человек. А теперь я литератор, человек одеревенелый, и изо всех людей, которые сейчас проходят по улице, я последний, к кому вы должны подойти.

— Поймите, — сказал он тихим голосом, — не я теряю от этого, а вы теряете. Это вы теряете, не я.

И ушел. А у меня весь день — стыд и боль и подлинное чувство утраты. Я дал ему письмо к Оршанскому, чтобы Оршанский помог ему (ему нужно полечиться в психиатрической больнице). Когда я предложил ему денег, он отказался.

Третьего дня я был у Оршанского. Деревянный флигель при лечебнице для душевнобольных. Жена — седая, без кухарки, замученная. Множество переполненных детскими книгами шкафов — в нескольких комнатах. Оршанский только что вернулся из Берлина и привез целые ящики новинок по художеству, литературе, педагогике, медицине и пр. Я так и впился в эту груду. А жена Оршанского сказала: «Я до сих пор еще не удосужилась даже перелистать эти книги». Приняли меня радушно, показали все свои богатства, и я так увлекся, что позабыл, что не обедал, и впервые (после завтрака) вкусил пищу в 10 $^{1}/_{2}$ ч. ночи, вернувшись домой. Оршанский указал мне комнату, где жил Врубель, — вверху, по деревянной лестнице, ход из кабинета.

У него собрание игрушек, которых я не успел осмотреть.

Сам Лев Григорьевич седоусый, простой, без пошлости, без роли — без позы, очень усталый и добрый.

Сегодня утром я должен написать предисловие о Синге — и все отлыниваю. А между тем пьеса уже набрана. Откладываю дневник и берусь за статью.

Снился Илья Василевский. К добру ли? **1922**

Муркино утреннее. Мурка уговаривает Лидку встать: и ава Тоби встала, собака Джими встала, много собак Тоби тать, и ава Дими тать...

Побежала за Аннушкой: Анюта, папе или какалю, или тяй! (или какао, или чай)

Говорят ей: ну, скажи дяде спасибо!

— Он и так дал!

А вчера было очень забавно. Она пристала ко мне, чтобы я нарисовал ей лошадку. Я по инерции сказал, не думая:

— Дай сто рублей, нарисую.

И занялся чем-то, забыл о ней. Вдруг смотрю, бежит и несет измятые бумажки. — На, га-га. (На, рисуй.)

Вот и Новый Год. 12 часов 1923 года. Вчера у нас обедал Бенедикт Лившиц. Я весь день редактировал Joseph'a Conrad'a*, так как денег нет ниоткуда, Клячко не едет, не везет гонорара за мои детские книги. Очень устал, лег в 7 часов, т. е. поступил очень невежливо по отношению к Лившицу, моему гостю. Проснулся внезапно, побежал посмотреть на часы; вижу: 12 часов ровно. Через минуты две после того, как я встал, грохнула пушка, зазвонили в церкви. Новый Год. Я снова засяду за Конрада, — вот только доем булочку, которую купил вчера у Бёца. 1922 год был ужасный год для меня, год всевозможных банкротств, провалов, унижений, обид и болезней. Я чувствовал, что черствею, перестаю верить в жизнь и что единственное мое спасение — труд. И как я работал! Чего я только не делал! С тоскою, почти со слезами писал «Мойдодыра». Побитый — писал «Тараканище». Переделал совершенно, в корень свои некрасовские книжки, а также «Футуристов», «Уайльда», «Уитмэна». Основал «Современный Запад» — сам своей рукой написал почти всю *Хронику* 1-го номера, доставал для него газеты, журналы — перевел «Королей и капусту», перевел Синга, — о, сколько энергии, даром истраченной, без цели, без плана! И ни одного друга! Даже просто ни одного доброжелателя! Всюду когти, зубы, клыки, рога! И все же я почему-то люблю 1922 год. Я привязался в этом году к Мурке, меня не так мучили бессонницы, я стал работать с большей легкостью — спасибо старому году! Сейчас, напр., я сижу один и встречаю Новый год с пером в руке, но не горюю: мне мое перо очень дорого — лампа, чернильница, — и сейчас на столе у меня моя милая «Энциклопедия Британника», которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова. Ну, пора мне приниматься за Синга, нужно же наконец написать о нем статью!

Вот что такое 40 лет: когда ко мне приходит какой-нибудь человек, я жду, чтоб он скорее ушел. Никакого любопытства к людям. Я ведь прежде был как щенок: каждого прохожего обнюхать и возле каждой тумбы поднять ногу. **1923**

Вот что такое дети, большая семья: никогда на столе не улежит карандаш, исчезает, как в яму, и всегда кто-нб. что-нибудь теряет: «Дети, не видали ножниц?», «Папа, где моя ленточка?», «Коля, ты взял мою резинку?»

2 января 1923. Мурка стоит и «читает». Со страшной энергией в течение двух часов:

Ума ня́у, у́ма ня́у, ума ня́у, уманя́,

перелистывает книгу, и если ей иногда попадется под руку *слово,* вставляет и его в эту схему, не нарушая ее. Раньше ритм, потом образ и мысль.

Мурку исцарапала белая кошка, случайно вторгшаяся в нашу кухню. Кошку стали выгонять. Мурка плакала, но кричала: я люба мяу! Я люба мяу. Мяу не бебя!

Мура вообще очень чувствительна. Я хотел ей дать книжку. — Цю эту нику (не хочу эту книжку). — Почему? — Мяу ам титю, а я не люба. (Там кошка ест птицу, а я не люблю.) Интересно: «хочу» у нее — хотю, а «не хочу» — цю.

3 января. Вчера Замятин читал свой роман «Мы»: скучно и неумно. Обывательская идейка. Я зевал, зевал, встал и ушел. У Замятина трусливое и блудливое дарованьице.

4 янв. Нечего записывать. Тоска. Едят меня Маршаки, Клячки, Розинеры — и просвета не видно.

Боба клеит к елке украшения. Сейчас пришел взять бумагу на барабан. Мурка за ним — палец в рот. Сегодня днем она сидела на обеденном столе и барабанила на пишущей машине.

5 янв. Человек рождается, чтобы износить четыре детских пальто и от шести до семи «взрослых». 10 костюмов — вот и весь человек. Вчера получил телеграмму из Студии Художественного театра: переменить «Плэйбоя» на «Героя». Вчера к вечеру я сказал Мурке, что она — кошечка. Она вскочила с необыкновенной энергией, кинулась на пол, схватила что-то и в рот. «Митю ам!» (Мышку съем.) Так она делала раз 50. Остановить ее не было воз-

можности. Она только твердила, как безумная: «Еще де митя?» (где еще мышь) — и торопливо, торопливо, в большом возбуждении хватала, хватала, хватала. Это испугало меня (самый *темп* был страшен). Я сказал: кошка отдыхает, спит. Она легла на минутку, но потом опять: а где еще пиня? (птица). И пошла глотать маленьких пташек.

Я пробовал показать ей картинки. *Я – мяу!* – закричала она.

Вчера весь день сидел в канцелярии Публичной библиотеки, отыскивал в «Academy» рецензии о Syng'е.

6 янв., ровно 3 часа ночи. Сочельник. Встал, чтобы снова написать о Синге. Принимаюсь писать третий раз, все не удается. Напишу и бракую. Вчера портной Слонимский принес мне костюм. Первый раз костюм не доставил мне удовольствия. Клячко дал мне новый миллиард, но за это я целый день был в обществе Розинера — что тягостно, т. к. это очень подавляющий меня пошляк.

8 часов. Мурка была в кровати, когда ей сказали, что Дедка Мороз, может быть, принес ей на елку подарки. Как она закричала: куку, куку (куклу), и торопила, чтобы ее одевали. Топ-топ, топ к елке, и не знает, куда смотреть. Легла на живот, глядит под елку, видит куклу — и как зачарованная. Потом к маме: «Ти дума, это яя (зайчик), а это кука». Я опять за Синга.

8 янв. Был у Кони. Он выпивал мою кровь по капле, рассказывая мне анекдоты, которые рассказывал уже раз пять. И все клонится к его возвеличению. Предложил мне написать его биографию — «так как я все же кое-что сделал». Рассказал мне, как он облагодетельствовал проф. Осипова (которого я застал у него). Так как этот рассказ я слушал всего раза два, я слушал его с удовольствием. Новое было рассказано вот что: в одной своей статье о самоубийстве он приводит цитату из предсмертного письма одного рабочего. Письмо написано в 1884 году. Рабочий пишет: «Худо стало жить и т. д».. Цензура потребовала, чтобы Кони прибавил: «худо стало жить при капиталистическом строе. Да здравствует коммуна!»

Вчера ночью во «Всемирной» был пир. Старый кассир Дмитрий Назарыч плясал русскую — один — было очень смешно. Ему 62 года. Хороша была испанка, плясавшая с ножом, — и ее любовник. Хороша была газета «Всемирная Литература». Центр пьяной компании — Анненков. Он перебегал от столика к столику, и всюду, где он появлялся, гремело ура. Он напился раньше всех. Пьяный

он приходит в восторженное состояние, и люди начинают ему страшно нравиться.

Я сидел за столиком с его женой, — сестрой жены, Липочкой, — инженером Куком, — инженером Ш-овским, и т. д. Он подводил к нашему столу то того, то другого, как будто он первый раз видит такое сокровище, и возглашал:

— Вот!

Даже Браудо подвел с такими одами, как будто Браудо по меньшей мере Лессинг. Какую-то танцорку подвел со словами:

— Вот, Тальони! Замечательная! Чуковский, выпей с нею, поцелуйся, замечательная... Ты знаешь, кто это? Это Тальони, а это — Чуковский, замечательный.

Когда уже подводить было некого, всех подвел, всех расцеловал, он пошел вниз, в швейцарскую, обнял Михаила, швейцара, и повел его к нам:

— Вот, рекомендую, Михаил, замечательный, он говорит: «раньше своей смерти не умрешь», замечательно. Дай ему бутылку вина. Ведь это Михаил, понимаешь?

Второй замечательный персонаж был Щеголев. Он сидел в полутемном кабинете у Тихонова, огромный, серый, неподвижный, на спинке кресла у его плеча примостилась какая-то декольтированная девица, справа тоже что-то женское, — прямо Рубенс, Рабле, — очень милый. А тут в отдалении где-то его жена и сын, Павел Павлович. Михаил подошел ко мне и сказал: «В жизни все бывает, и у девушки муж помирает». Ни с того ни с сего.

Умственная часть вечера была ничтожна. Замятин читал какую-то витиеватую, саморекламную и скучноватую хрию — «История “Всемирной Литературы”», где были очень злобные строки по моему адресу: будто я читал пришедшим меня арестовать большевикам стихи моего сына в «Накануне»* и они отпустили меня на все четыре стороны, а он, Замятин, был так благороден, что его сразу ввергли в узилище. Хитренькое, мелконькое благородство, карьеризм и шулерство.

10 янв. 1923. Мурка цитирует «Крокодила» —

Тут голос раздался Тотоши:
А можно мне кушать калоши?
Но Ваня ответил: ни-ни,
Боже тебя сохрани!

Моня мне ам топ-топ?
Ваня хаха: ни не!
Дя (нельзя) ам топ-топ!

1923

12 янв. 1923. Четыре раза написал по-разному о Синге — и так, и сяк — наконец-то удалось, кажется. Писал с первого января по одиннадцатое, экая тупая голова. Оказалось, что у бухгалтера из «Всемирной» (вот который так веселился) украли ночью часы, там же на балу. Он не знал, что пляшет накануне такого большого несчастья.

Чехонин пишет (т. е. рисует углем) мой портрет; по-моему, сладко и скучно — посмотрим, что будет дальше. Он очень милый, маленький, лысоватый, добрый человечек в очках, я его очень люблю. Всегда сидит за работой, как гном. Придешь к нему, он встанет, и зазвенят хрустали на *стоящих* светильниках 18 века. У него много дорогих и редкостных вещей, иконы, картины, фарфор, серебро, но я никогда не видел, чтобы такая роскошь была в таком диком сочетании с мещанской, тривиальной обстановкой. Среди старинной мебели — трехногий табурет. На роскошной шифоньерке — клизма (которая не убирается даже в присутствии дам: при мне пришла к нему О'Коннель). На чудесную арфу он вешает пальто и костюм, и гостям предлагает вешать. «Очень удобная арфа!» — говорит он. Во время сеанса он вспоминал о Глебе Успенском, которого знал в Чудове, о Репине (учеником которого он был: «Репин рассказывал нам об японцах, здорово! Мастерище! Не скоро в России будет такой второй!») Очень хорошо он смеется — по-детски. Его дети, — двое, мальчики, — тоже имеют тяготение ко всяким ручным трудам: один сделал из бумажной массы замечательную маску с огуречным носом. Чехонин говорил про Гржебина: — Вот сколько я ему сделал работ, он ни за одну не заплатил — и ни разу не возвратил рисунков. Напр., иллюстрации к стихам Рафаловича. Даром пропала работа. (Потом, помолчав): — А все-таки я его люблю.

У Замирайлы на двери висит гробоподобный ящик для писем, сделанный из дерева самим Замирайлой. Черный, с бронзовым украшением — совсем гроб. Третий раз пытаюсь застать Замирайлу дома, когда ни приду, заперто.

14 января 1923. Мурка называет Петукой — Шурку Дрейдена. Дразнит его: «какаля петука!» А петуха зовет петук. Теперь у нее сосуществуют две формы: «мяу» и «котя». Чехонин третьего дня писал меня вдохновенно и долго. Рассказывал о Савве Мамонтове, о княгине Тенишевой. «Репин был преподавателем школы, основанной Тенишевой. Мы были его ученики: я, Чемберс, Матвеев и др. Потом Репин поссорился с Тенишевой и стал преподавать только в Академии. Но мы не захотели идти в Академию и основали свободную школу, без учителя».

Портрет мой ему удается — глаза виноватые, лицо жалкое, — очень похоже*.

Получил телеграмму из 1-й Студии. Приглашают на первое представление. Ехать ли?..

Читаю глупейший роман Арнольда Беннета «The Gates of Wrath»[1]. Я и не знал, что у него на душе есть такие тяжкие грехи. Был вчера с Тихоновым у Оршанского. У него восхитительный музей детских книг и игрушек. Мне понравилась мадонна — кукла испанских детей. Оршанский добр и очень рад показывать свои сокровища. Показывает их суетливо, несдержанно, навязчиво, — и страшно напоминает Исаака Владимировича Шкловского (Dioneo). С Замятиным у меня отношения натянутые*.

17 янв. У Ю. П. Анненкова познакомился с сыном Павла Васильевича Анненкова, «друга Тургенева». Рамоли окончательный. Остаточки какой-то визиточки, мутный глаз, седина и перстенек на мизинце. Интересуется больше всего генеалогией рода дворян Анненковых — ради чего и приходит к Юрию Павловичу и рассматривает вместе с ним листы, где изображено их древо. — Был дня два назад у м-ра Keeny и его жены — рыжей уроженки Георгии — южного штата Америки. Единственный американец, который интересуется искусством, литературой. Они дали мне книгу нашумевшего Mencken'a «Prejudices»[2]. Ничего особенного. Я писывал и лучше в свое время. Сегодня утром был у окулиста — иду покупать очки.

Вчера купил очки. Лида: я думаю: как хорошо устроена человеческая голова — специально для очков. Не было бы ушей, гвоздики пришлось бы вбивать. У Мурки такое воображение во время игры, что, когда потребовалось ловить для медведя на полу рыбу, она потребовала, чтобы ей сняли башмаки. Сейчас она птичка — летает по комнатам и целыми часами машет крыльями.

20 янв. Был у американцев. Обедал. Американцы как из романа: Brown из Бруклина, Renshaw — в черных очках и д-р Гэнт, нескладный и милый. Мы сидели в parlour[3] и разговаривали о литературе. Браун дал мне дивный роман «Babbitt» by S. Lewis[4]. Я сижу и упиваюсь. Ой, сколько навалили корректуры: Некрасов (от Гржебина), журнал «Современный Запад» и проч.! Когда я с этим справлюсь? Вчера был в ложе у Конухесов на первом выступле-

[1] «Ворота ярости» *(англ.)*.
[2] «Предрассудки» *(англ.)*.
[3] гостиная *(англ.)*.
[4] «Бэббит» С. Люиса (*англ.*).

нии Н. Ф. Монахова в «Слуге двух господ» — первом после его выздоровления. Эту пьесу я уже видел — раз — сидел в той же самой ложе *у Блока:* тогда Блок привел нас и в тех местах, где ему казалось, что мы должны смеяться, оглядывался, смеемся ли мы, и очень радовался, если мы смеялись. Я первый раз почувствовал себя сорокалетним: сидел с двумя пожилыми дамами (m-me Конухес и madame Клячко) как с равными, шутил по-сорокалетнему. Не хватает только в карты играть. Вчера было Крещение, мы во «Всемирной» условились, что будем слушать Замятина. Пришли Волынский, Ольденбург, Владимирцов, я. Ольденбург, слушая, спал и даже похрапывал. Владимирцов дергал головою, как будто его жмет воротник. Тихонов правил корректуры. Волынский, старенький, сидел равнодушно (и было видно, каким он будет в гробу; я через очки впервые разглядел, что, когда он молчит, у него лицо мертвеца). Ой, как скучно, и претенциозно, и ничтожно то, что читал Замятин. Ни одного живого места, даже нечаянно. Один и тот же прием: все герои говорят неоконченными фразами, неврастенически, он очень хочет быть нервным, а сам — бревно. И все старается сказать не по-людски, с наивным вывертом: «ее обклеили улыбкой». Ему кажется, что это очень утонченно. И все мелкие ужимки и прыжки. Старательно и непременно чтобы был анархизм, хвалит дикое состояние свободы, отрицает всякую ферулу, норму, всякий порядок — а сам с ног до головы мещанин. Ненавидит расписания (еще в «Островитянах» смеется над Дьюли, который даже жену целовал по расписанию), а сам только по этому расписанию и пишет. И как плохо пишет, мелконько. Дурного тона импрессионизм. Тире, тире, тире... И вся мозгология дурацкая: все хочет дышать ушами, а не ртом и не носом. Его называют мэтром, какой же это мэтр, это сантиметр.

Слушали без аппетита. Волынский ушел с середины и сделал автору только одно замечание: нужно говорить не Егова, но Ягве. (Страшно характерно для Волынского: он слушал мрачно и мертво, но при слове Егова оживился; второй раз он оживился, когда Замятин упомянул *метафизическую субстанцию.*) Потом Волынский сказал мне, что роман гнусный, глупый и пр. Тихонов — как инженер — заметил Замятину, что нельзя говорить: *он поднялся кругами;* кругами подняться невозможно, можно подняться спиралью*, и все заговорили о другом. Ольденбург — о пушке. Оказывается, Пулковская обсерватория уже не дает сигнала в крепость, когда наступает 12 часов. Сигнал дается только на почтамт, поэтому пушке доверять нельзя. И стал читать свою статью — о «Новом Востоке», которая после замятинских потуг показалась и свежей и милой. Ах, я забыл сказать, что Гэнтт повел меня round the

corner[1] в Мариинский театр, и там в ложе я увидел двух дам — очень пышных. Когда они оглянулись — это оказались С. А. Гагарина и Оболенская — очень-очень простые — а для американцев Princesses[2].

26 января. Мура была вчера на улице: «была не ночь, а луна топ-топ». Это ее очень удивило.

В Доме Искусств — матримониальные новости. И. Я. Билибин, находящийся ныне в Каире, вдруг воспламенился похотью и послал признание в любви находящейся в Доме Искусств художнице Щекотихиной. Телеграмма требовала: отвечай только нежными словами. Цензура заподозрила здесь шифр, но потом, узнав в чем дело, рассмеялась и благословила благородную страсть. Щекотихину я помню — полунищую, в страшном унижении в холодной комнате Дома Искусств. Теперь она окрылена и счастлива. Мы с Клячко, зная, что Щекотихину посещает почти ежедневно Замирайло (он приходит к ней в 6 часов топить печку; изменил милейшей Анне Александровне Врубель), сунулись к ней в номер. Клячко увидел ее и обалдел: «вот эту женщину вызывают в Египет! Бедный Египет. Разве в Египте не хватает уродов!»

А тут, рядом, в комнате Екатерины Павловны Султановой — другое матримониальное дело: сын ее Юра, недоросль, женится. «Пришел, упал на пол, поцеловал мою ногу и говорит: мама, прости!» Я так и догадалась: — «Женишься?» — «Женюсь». Он без мамы — даже штанишек не мог расстегнуть, до 30 лет жил с нею в одной комнате, и был совершенно проглочен ею, а теперь — вот! Женится!

Навалилась на меня лавина гржебинской корректуры и раздавила меня!

Мура читает: «Котя, Котя, то ти отя?»

30 января. Вынырнул из некрасовской корректуры! Кончил Мюнгхаузена. Прибежала Мурка:

— Дай Моньдондынь! (Мойдодыр)

Третьего дня был у Розинера, встретился там с Сытиным. Бессмертный человек. Ласков до сладости. Смеется каждой моей шутке. «Обожаемый сотрудник наш»; и опять на лице выражение хищное. Опять он затеял какие-то дела. Это странно: служит он просвещению бескорыстно — а лицо у него хищное, и вся его шайка (или «плеяда») — все были хищные: Дорошевич, Руманов, Григорий Петров — все становились какими-то ястребами — и

[1] за угол *(англ.)*.
[2] княгини (*англ.*).

был им свойствен какой-то особенный сытинский хищный азарт! Размашисты были так, что страшно, — в телеграммах, выпивках, автомобилях, женщинах. И теперь, когда я сидел у Розинера — рядом с этим великим издателем, который кланялся (как некогда Смирдин) и несколько раз говорил: «я что! я ничтожество!», я чувствовал, что его снова охватил великий ястребиный восторг.

И опять за ним ухаживают, пляшут вокруг него какие-то людишки, а он так вежлив, так вежлив, что кажется, вот-вот встанет и пошлет к ... матери.

Вчера утром был у Замирайло. На лестнице у него нестерпимо пахнет кислой капустой и кошками. Он в сюртуке, подпоясан кушаком, красив и ясен. С радостью взялся иллюстрировать мои сказки. Руки в копоти — топит печку. В комнате шесть градусов. Пыль. На стене гравюра Дорэ («суховато», говорит он; «но ведь Дорэ не был гравер») и два подлинных рисунка Дорэ (пейзаж в красках и карандашный рисунок), лупа на каком-то стержне и дешевая лубочная картинка о вреде пьянства. «Очень мне нравится, — говорит он, — сколько народу и как скомпоновано». У него на столе недоконченный (и очень скверный) рисунок, дама с господином, вроде Евг. Онегина. Это иллюстрации, заказанные ему издательством «Красный путь» (!) — к роману Анатоля Франса «Боги жаждут». «Черт возьми, не люблю я Франса — делаю против воли — за-ради денег». Я поговорил с ним о Щекотихиной. «Да, ей Билибин присылал такие теплые письма и телеграммы, что в Питере становилась оттепель: все начинало таять. Вот она вчера уехала, и сегодня впервые — мороз!» (Вчера действительно было впервые 10 градусов, а до сих пор погода — как на Масленицу: тает и слякотно.)

Сегодня Замирайло был у Клячко и принял заказ. Его так увлекли мои сказки, что, по его словам, он уже в трамвае по дороге сюда — рисовал на стекле танцующего Кита. Замечательно возрождение of old aristocracy in Russia[1]. Я вчера был в одном доме — вечером и почувствовал, что я осужден навеки за то, что я в коричневом костюме. Хозяин дома — бывший барон, его жена — бывшая княжна, гостит у них бывшая княжна — и все так церемонно, благовоспитанно, как прежде. И ездят к ним американцы и устраивают суаре и балы — и тон очень заносчивый и высокий.

Доктор у Чехонина рассказывал, что рабочий (больной) сказал ему: вот погодите, поколотим Францию — легче будет жить. Изумительно забывчив русский народ. Не помнит вчерашнего дня.

[1] старой аристократии в России (*англ.*).

Говорять, в Америке
Ни во что не верують.
Молоко они не доют,
А в жестянках делають.

———

Сяду я в автомобиль
На четыре места —
Я уж больше не шофер —
Председатель треста.

———

В «Балаганчике» пою,
Дело не мудреное,
Никто замуж не береть,
Говорять: Зеленая.

———

Были гости у меня,
Человечков двести.
А потом они ушли
С обстановкой вместе.

———

Есть калоши у меня,
Пригодятся к лету,
А по совести сказать:
У меня их нету.

Но в театре мало народу. Актеры шутят через силу. Все как будто только и ждут, чтобы скорее уйти. Как будто за кулисами у них серьезная печаль, а пред публикой, перед гостями, они должны to keep appearance[1]. Замирайло сказал мне третьего дня: «Нет, знаете, я отдам Клячко то, что обещал, потому что я ненавижу заказанные мне вещи и не хочу хранить их дома. А вам изготовлю что-нибудь из головы». Про Дорэ: «Жаль, что он умер, не дождался меня. Если бы он был жив, я бы его разыскал, пошел бы к нему». Лупы у него на рычагах для гравюры.

Я дал Мурке кусочек шоколаду, который послала ей Mrs. Keeny (?). Она взяла, попробовала, увидела, что вкусный, и сказала:

— Дай и Петуке, и Бобе! [Дальше вырваны страницы. — *Е. Ч.*]

[1] соблюдать приличия *(англ.)*.

1923 ...Оттуда в Госиздат — хлопочу о старухе Гариной. И так вся жизнь: унижаюсь, прошу о других, а другие — только лгут на меня и кусают за пятки. Заболела Аннушка. Болен Боба. Больна Мура.

Февраль 12, понедельник. Над Сингом моя работа была особенно докучна и трудна. Ни одной книжки о Синге найти невозможно в Питере, поэтому, соображая время постановки его пьес, я рылся в старых номерах «Academy» и «Athenaeum'a», отыскивая крошечные и беглые рецензии о «Playboy'e». Так как иностранный отдел Публичной библиотеки заперт, я был вынужден сидеть в канцелярии, людной и шумной, и перелистывать журналы страница за страницей, примостившись у окна. В журналах по большей части не было оглавлений — и уходило часа 2 на то, чтобы разыскать нужные строки. Так я собирал матерьял. Потом началось писание — о, какое трудное! У меня и сейчас сохраняются три статьи, которые я забраковал, — только четвертая хоть немного удовлетворила меня. И что же! напечатали ее таким мелким шрифтом, что читать нельзя было. Тихонов велел перебрать. Перебрали. Вдруг из Москвы бумага: «Так как Чуковский выражает свои собственные мысли — выбросить предисловие». Еду в Москву бороться — за что? с кем? Признаюсь, меня больше всего уязвило не то, что пропала моя долгая работа, а то, что какой-то безграмотный писарь, тупица, самодовольный хам — смеет третировать мою старательную и трудно давшуюся статью, как некоторый хлам, которым он волен распоряжаться как вздумает:

«Первую часть предисловия Чуковского (гл. I и II), содержащую ценные фактические данные о жизни и об отзывах английской печати о произведениях Синга, оставить, выпустить последний абзац первого столбца. В остальной же части предисловия Чуковский выражает свой собственный взгляд на творчество автора. Его анализ — извращенно индивидуалистический. Признавая «всечеловеческое значение (чего?) и отрицая социальные мотивы творчества, Чуковский приписывает Сингу «логику безумия» и оправдание «мировой чепухи». Чуковский отрицает совершенно тон иронии у автора в изображении быта ирландского крестьянина. Чуковский выдает талантливое изображение автором ограниченности и тупости ирландских фермеров и кабатчиков, как выражение талантливости, богатства натур.

Начиная с третьей главы до конца предисловие Чуковского неприемлемо, и потому эту часть следует выпустить или же лучше написать совершенно новое марксистское предисловие, в край-

нем же случае издать пьесу без всякого предисловия, ограничившись прекрасным предисловием самого автора».

Самое убийственное в этом смешном документе — что он так неграмотен: «выдает талантливое изобра*жение* автор*ом* (?) *как* (?) выра*жение*». Этакий болван скудоумный. Но видно, что сам он своей ролью чрезвычайно доволен — даже не прочь и сам пойти в критики — и показать мне, как нужно писать. Его критическая статья превосходна — как будто из Щедрина, Козьмы Пруткова или Зощенки. Все банальные газетные фразы собраны в один фокус.

«Произведение Синга написано живо, увлекательно и читается с большим интересом. Автор умело, ярко и колоритно (ярко *и* колоритно!) передает быт ирландских фермеров. Большое богатство, *безыскусственность в передаче непосредственности в переживаниях действующих лиц.* (Какова фраза.) Ханжество, ограниченность и тупость крестьянской психики нашли в пьесе рельефное и ироническое отражение. Герои убивают отца или мужа (мужа-то убивают героини) и совершают всякие пакости «с помощью божьей». В известной степени это является сатирой на религиозные убеждения. По всем этим соображениям пьесу издать следует».

Подпись *Старостин.*

Из этого документа так и вылезла на меня морда такого хамоватого тупицы, каких, бывало, ненавидел Чехов. Пусть бы зарезали статейку, черт с нею, но как-нибудь умнее, каким-нб. острым ножом. И в итоге такая щедринская приписка:

В редакционный сектор Госиздата

По распоряжению тов. Яковлева возвращаю вам корректуру Джон Синга «Плейбой» с отзывом тов. Старостина и резолюцией тов. Яковлева:

Издать без предисловия Чуковского.

Секретарь редакционно-инструкторского отдела
подпись: Волков № 7 7/II-23 года

Тихонов, передавая мне эту бумагу, думал, что я буду потрясен. Художник Радаков говорит: «Если бы такая беда случилась со мною, я запил бы на две недели». А я, что называется, ни в одном глазу. Мне так привычны всякие неправды, уколы, провалы, что я был бы удивлен, если бы со мною случилось иное. Черт с ними — жаль только потерянных дней. Да и какая беда, если никто не прочтет предисловия, — ведь вся Россия — вот такие Старостины, без юмора, тупые и счастливые. Я написал вчера бумагу, что Синг не писал сатир, что я не отрицаю социальных мотивов творчества и т. д., и т. д., и т. д. Вкрапил язвительные уколы: только тот, кто зна-

ет прочие сочинения Синга, кто знает Ирландию, кто знает английскую литературу, может судить о том, прав я или нет. Но это больше для шику. Вот Коган или Фриче знают английский язык, а что они понимают. *Lord, what do they understand!*[1]

Вчера был у Розинера. Все торгуемся насчет «Крокодила».

Клячко оказался мелким деспотом и скувалдой. Чехонину не платит, мне не платит, берется за новые дела, не рассчитавшись за старые, мое стремление помочь ему рассматривает как желание забрать все в свои руки...

Читаю роман Arnold'a Беннета «The Card»[2] — очень легко, изящно, как мыльная пена, но, боже, до чего фельетонно — и ни гроша за душой. Автор ни во что не верит, ничего не хочет, только бы половчее завертеть фабулу и, окончив один роман, сейчас же приняться за другой.

Февраль 13, вторник. Суета перед отъездом в Москву. Мура больна серьезно. У нее жар седьмые сутки. Очень милые многие люди в Ара, лучше всех Кини (Keeny). Я такого человека еще не видал. Он так легко и весело хватает жизнь, схватывает все знания, что кажется иногда гениальным, а между тем он обыкновенный янки. Он окончил Оксфордский Университет, пишет диссертацию о группе писателей Retrospective Review[3] (начало XIX в.). Узнав о голоде русских студентов, он собрал в Америке среди Young Men Christian Association[4] изрядное количество долларов, потом достал у евреев (Hebrew Students[5]) небольшой капитал и двинулся в Россию, где сам, не торопясь, великолепно организовал помощь русским профессорам, студентам и т. д. Здесь он всего восемь месяцев, но русскую жизнь знает отлично — живопись, историю, литературу. Маленький человечек, лет 28, со спокойными веселыми глазами, сам похож на студента, подобрал себе отличных сотрудников, держит их в дисциплинированном виде, они его любят, слушаются, но не боятся его. Предложил мне посодействовать ему в раздаче пайков. Я наметил: Гарину-Михайловскую, Замирайло, жену Ходасевича, Брусянину, Милашевского и др. А между тем больше всех нуждается жена моя Марья Борисовна. У нее уже 6 зим подряд не было теплого пальто. Но мне неловко сказать об этом, и я не знаю, что делать. На днях я взял

[1] Боже, что они понимают! *(англ.)*
[2] «Карта» *(англ.)*.
[3] Ретроспективный обзор *(англ.)*.
[4] Христианский союз молодежи, более известный как ИМКА (YMCA) *(англ.)*.
[5] еврейские студенты *(англ.)*.

Кини с собою во «Всемирную». Там Тихонов делал доклад о расширении наших задач. Он хочет включить в число книг, намеченных для издания, и Шекспира, и Свифта, и латинских, и греческих классиков. Но ввиду того, что нам надо провести это издание через редакционный сектор Госиздата, мы должны были дать соответствующие рекомендации каждому автору, например:

Боккаччо — борьба против духовенства.
Вазари — приближает искусство к массам.
Петроний — сатира на нэпманов и т. д.

Но как рекомендовать «Божественную Комедию», мы так и не додумались.

Уходя с заседания, Кини спросил: «What about copyright?»[1] Я, что называется, blushed[2], потому что *мы* считаем copyright пережитком. Кини посоветовал издать Бенвенуто Челлини. Вчера в поисках денег был я у Клячко. Там Радаков (он иллюстрирует «Зайчиков» Полонской) рассказывал, как великолепен русский язык. В Москве под Новый год он видел рабочего пьяного. Рабочий стоял у стены и вдруг его вырвало. Извозчик сказал:

— Вот, харчами хвастает.

А милиционер прибавил:

— Ключ от ж. потерял.

Последняя фигура действительно прекрасна: он и открыл бы сзади, да ключ потерял.

Волынский: адвокат. Его пафос всегда пафос оратора. К Достоевскому он подошел именно как талмудист, тонко разбираясь в религиозной символике, но больше ничего не увидел, ибо он чувствует только расовое — и больше ничего. Три четверти его писания — графоманство. Он часто неграмотен. Эрудиция у него — адвокатская: для цитат и пускания пыли в глаза. Эстетика дурного тона. Фразы с загогулинами. Я не верю в его книгу о Леонардо, ибо о Леонардо легче написать, чем, напр., о Замирайло или Ал. Бенуа, потому что о Леонардо написаны горы. А живых ощущений литературы Волынский не имеет. Он не умел бы ни звука сказать о Пильняке, о Блоке (как поэте), о Слонимском. То, что когда-то он писал о Чехове, о Гиппиус, о Бунине — просто вздор. Что же хорошо у Волынского? — Поза. Его позиция борца

[1] «А как насчет копирайта?» *(англ.)*.
[2] покраснел *(англ.)*.

за «идеализм», пострадавшего от реалистов, натуралистов и пр. Этим он мил и дорог всем, этим он создал себе крупное имя. Остальное миф.

14 февраля 1923. Поездка в Москву. Едет какой-то промышленный комитет — Гучковы — нет билетов. Меня научил Влад. Влад. Браун — спас. Очень удобно. Первый раз спал в вагоне — правда, под утро. Но спал. В Москве мороз. В Студию — комнат нет. Встретили растерянно, уклончиво: никому нет дела. Из уклончивых ответов я понял, что Синг провалился. Всю вину они возлагают на Радакова. «Мы видели, что он губит пьесу, но было уже поздно...» Нелюбовь к Радакову чувствуется во всех отзывах о нем. «Он никогда не мыл шеи. Никогда не умывался. В его комнату войти нельзя было: грязь, вонь; помадит свои вихры фиксатуаром. Лентяй, ленив до такой степени, что, созвав всех малевать декорации, сам лег спать» и т. д. Напившись в Студии чаю — в Госиздат. Новое здание — бывший магазин Мандля — чистота. Там Тихонова нет. Встречаю Марию Карловну Куприну — и с ужасом вижу, что она уже старушка. Мексин — о «Крокодиле». Оттуда в «Красную новь» — издательство вонючее, как казарма. Грязь, табачный дым, окурки, криво поставленные столы. Там Вейс и Николаев — о «Крокодиле» и Уитмэне. Устал. Снова в Студию — там часа два канитель с устройством комнаты. Потом в Госиздат, опять — о, bother![1] Заседание, Шмидт, Калашников, Тихонов. Тихонов гениально всучивает им нашу программу, а они кряхтят, но принимают, разговаривают, как дипломаты двух враждебных держав, вежливо, но начеку. Изумительный документ Старостина был показан мною Мещерякову. Мещеряков был очень сконфужен и сказал, что завтра вынесет резолюцию. Ругал цензора сам. Потом с Тихоновым ужинать, разговор о Замятине, потом в Студию, оказывается, никто не приготовил ни одеяло, ни простыни, и я в обмороке. Наконец-то лег и спал минут 40. [Страницы вырваны. — *Е. Ч.*]

После 26 февраля. ...обычно скрывают «у меня жена хорошая, но скучная», «я хочу сделать себе рекламу», «я продал свою рукопись двум издательствам сразу»... Был я с ним у Анненкова в бывшем Институте благородных девиц. На большом столе среди красок, кистей — ветчина, огурцы и бутылка с керосином. Над этой бутылкой стали все смеяться. Пильняк нюхал ее несколько раз... Я читал в Доме Печати о Синге, но успеха не имел. Никому не интересен Синг, и вообще московская нэпманская публика, по-

[1] О, морока! *(англ.)*

сещающая лекции, жаждет не знаний, а скандалов. Все оживились, когда Юлий Соболев стал разносить постановку «Героя», и смотрели на Дикого сладострастно, ожидая, как-то он отделает Соболева. Но Дикий сказал, что статья Соболева ему нравится, и все увяли: мордобой не состоялся.

Из Дома Печати мы всей ватагой: я, Анненков, Пинкевич, Пильняк, Соболев, Ключарев — пошли к Васе Каменскому: он живет наискосок, через дорогу. Вся комната оклеена афишами, где фигурирует фамилия Васи. Иные афиши сделаны от руки — склеены из разноцветных бумажек, и это придает комнате веселый, нарядный вид; комната похожа на Васины стихи. С потолка свешивается желтое полотнище: «Это поднесли мне рабочие бумазейного треста — на рубаху».

Вася умеет говорить только о себе, простосердечно восхищаясь собой и своей приятной судьбою, а неприятного он не умеет заметить. Играл на гармонике, показывал письмо от Бурлюка из Японии, которое он повесил на стенку. Он ждет Евреинова. Евреинов едет в Москву — читать лекцию о наготе... (нэп! нэп!) Анненков побежал куда-то за вином и скоро вернулся с большой корзиной.

На другой день вечером все сошлись у меня: Вася, Пильняк, Пинкевич. Анненков надул. Пинкевич и Пильняк были в бане и привели с собой какого-то сановника из Госиздата — молодого, высокого и важного. Впрочем, он снизошел к нам настолько, что съел у меня несколько орехов и выпил бутылку вина. Анненков здесь совсем запутался с бабами и после блинов (которые были у Дикого) ушел с Тихоновым заканчивать ночь у каких-то «дам», к большой тревоге Липочки. У меня большая грусть: я чувствую, как со всех сторон меня сжал сплошной нэп — что мои книги, моя психология, мое ощущение жизни никому не нужно. В театре всюду низменный гротеск, и, например, 20 февр. я был на «Герое» Синга: о рыжие и голубые парики, о клоунские прыжки, о визги, о хрюкание, о цирковые трюки! Тонкая, насыщенная психологией вещь стала отвратительно трескучей. Кини сказал мне: «О Синге говорили, что его слова пахнут орехами (nuts). Но nuts в Америке значит также и дураки». Мне было не до смеху: я чуть не плакал... Видел 3-го дня «Потоп». Очень разволновался. Чудесно играли Волков и Подгорный. Вчера видел «Эрика XIV»*. Старательно, но плохо. И что за охота у нынешнего актера — играть каждую пьесу не в том стиле, в каком она написана, а непременно навыворот. Был я вчера у актера Смышляева, он ставит «Укрощение строптивой» бог знает с какими вывертами. Сляй видит себя во сне: получается два Сляя, один ходит по сцене, другой сидит в зрительном зале.

1923 В Госиздате я подслушал разговор Мещерякова о себе: «По-моему, я скажу Чуковскому, что он не прав, и цензору сделаю выговор». 26 вечером мы гурьбою прошли в бывший театр Зона, который ныне официально называется Театр Мейерхольда. Публики тупомордой — нэпманской — стада. Нас долго не пускали; когда же наконец я достал билеты, заставили снять пальто. Мы опять ругались... [Вырваны страницы. — *Е. Ч.*]

...Новое помещение, только что крашеное (бывший конфексион Мандля), с утра набивается писателями, художниками, учеными, которые дежурят у разных дверей или мечутся из комнаты в комнату. Вначале, часов до двенадцати, лица у них живые, глаза блестящие, но часам к двум они превращаются в идиотов. На каждом лице — безнадежность. Я встретил там Любочку Гуревич, Сергея Городецкого, Володю Фидмана, скульптора Андреева, Тулупова, Дину Кармен, у всех тот же пришибленный и безнадежный взгляд. Тихонов там днюет и ночует. Я еще не знаю о судьбе Синга, но Мещеряков ко мне теперь гораздо ласковее: он прочитал «Мойдодыра» и горячо полюбил эту книгу. «Читал ее два раза, не мог оторваться». «Мойдодыру» вообще везет: все хвалят его, и вчера в Госиздате Корякин (жирный человек) громовым голосом декламировал:

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам, —

но никто и не подумает дать об этой книжке рецензию, а напротив, ругают как сукина сына. Видел «Доктора Мабузо» в кино* — вместе с Марком Ильичем, Либаковым, Ключаревым. Кто-то вчера пожаловался: всюду иностранные слова. Ну к чему говорить «Общество зодчих», когда по-русски так хорошо сказать: «Общество архитекторов»?

Дикий о портрете Троцкого: «фармацевт, *обутый* в военный костюм».

В Москве теснота ужасная; в квартирах установился особый *московский* запах — от скопления человеческих тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно опускание клозетной воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочка: один звонок такому-то, два звонка — такому-то, три звонка такому-то и т. д.

27 февраля. Вчера сидел в Госиздате с 11 ч. до половины 5-го и, наконец, подписал договор. О, как болела голова, сколько раз по лестнице вверх и вниз. Два раза переписывали.

Оттуда в ГУМ (универсальный магазин), там в рядах (в Пассаже) денежная биржа. Ходят какие-то и шепотком говорят: долла-

ры, червонцы! доллары, червонцы! Как будто груши продают. Я хожу совершенно беспомощный. Вдруг навстречу Жуховецкий. Идет, мордочка добренькая. Я к нему. Он повел меня в Комерческий банк, где он служит, и мне дали 50 червонцев, оттуда к Жуховецким — она очень радушно приняла меня. Разговорились. С мужем она не живет, а есть у нее поклонник из Еврейского театра и т. д.

На следующий день я был у Пильняка, в издательстве «Круг». Маленькая квартирка, две комнатки, четыре девицы, из коих одна огненно-рыжая. Ходят без толку какие-то недурно одетые люди — как неприкаянные — неизвестно зачем — Буданцев, Казин, Яковлев и проч. Все это люди трактирные, Пильняк со всеми на *ты*, рукописей ихних он не читает, не правит, печатает что придется. В бухгалтерии — путаница: отчетов почти никаких. Барышни не работают, а болтают с посетителями — особенно одна из них, Лидия Ивановна, фаворитка Пильняка. Деловою частью ведает Александр Яковлевич Аросев — плотный и самодовольный. В распоряжении редакции имеется автомобиль, в котором чаще всего разъезжает Пильняк. Я с Пильняком познакомился ближе. Он кажется шалым и путаным, а на самом деле — очень деловой и озабоченный. Лицо у него озабоченное — и он среди разговора, в трактире ли, в гостях ли — непременно удалится на секунду поговорить по телефону, и переход от разговора к телефону — у него незаметен. Не чувствуется никакой натуги. Он много говорит теперь по телефону с Красиным, хочет уехать от Внешторга в Лондон. Очень забавна его фигура, длинное туловище, короткие ноги, голова назад, волосы рыжие и очки. Вечно в компании, и всегда куда-нибудь идет *предприимчиво*, с какой-то надеждой. Любит говорить о том, что люди [вырвана страница. — *Е. Ч.*].

...Городецкий! В палатах Бориса Годунова. С маленькими дверьми и толстенными стенами. Комнаты расписаны им самим — и недурно. Электрические лампы очень оригинально оклеены бумагой. Столовая темно-синего цвета, и на ней много картин. «Вот за этого Врубеля мы только что заплатили семь миллиардов», — говорит Нимфа. Нимфа все та же. Рассказывает, как в нее был влюблен Репин, как ее обожал Блок, как в этом году за ней ухаживал Ф. Сологуб. Они были в Питере и пили с Сологубом в «Астории». Пришел Сергей — и показался мне гораздо талантливее, чем в последние годы. Во-первых, он показал мне свой альбом, где действительно талантливые рисунки. Во-вторых, он очень хорошо рассказывал, как он спасал от курдов армянских детей — спас около трехсот. В комнате вертелся какой-то комсомолец — в *шапке*, нагловатый. У Нимфы на пальцах перстни — манеры аристократические, — велико-

светский разговор. Городецкий такой же торопыга, болтун, напомнил прежние годы — милые.

Вечером у Маяковского. Кровать Лилина в порядке. Над кроватью надпись: «на кровать не садятся». Пирожное и коньяк. Ждут Мс Кау'я. Наконец начинает читать. Хорошо читает. Произнося по-хохлацки *у* вместо *в* и очень вытягивая звук *о* — Маякоооуский. Есть куски настоящей поэзии, и тема широкая, но в общем утомительно. Он стоял у печки, очень милый, с умными глазами, и видно, что чтение волнует его самого. Был художник — Родченко, Брик, две барышни, слушавшие Маяковского благоговейно. Я откровенно высказал ему свое мнение, но он не очень интересовался им. Потом прочел довольно забавную «агитку» — фельетон в стихах о том, что такое журналист, — в журнал «Журналист»*. Потом в коридоре, уходя (Мс Кау не пришел), я при Л. Ю. Брик сказал ему, что его упоминание о нас в автобиографии нагло, что ходил он ко мне не из-за обедов и проч.* Он обещал в следующем издании своей книги это переделать.

...Я сказал Маяковскому, что Анненков хочет написать его портрет. Маяковский согласился позировать. Но тут вмешалась Лили Брик. «Как тебе не стыдно, Володя. Конструктивист — и вдруг позирует художнику. Если ты хочешь иметь свой портрет, поди к фотографу Вассерману — он тебе хоть двадцать дюжин бесплатно сделает».

19 марта 1923. Вот уже неделя, как я дома, — и все ничего сделать не могу. Вчера читал на вечере, данном в честь Леонида Андреева, свои воспоминания о нем. И не досидев до конца, ушел. Страшно чувствую свою неприкаянность. Я — без гнезда, без друзей, без идей, без своих и чужих. Вначале мне эта позиция казалась победной и смелой, а сейчас она означает только круглое сиротство и тоску. В журналах и газетах — везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что — чужой. Был у Ахматовой. Она со мной — очень мила. Жалуется на Эйхенбаума — «после его книжки обо мне мы раззнакомились»*. Рассматривали Некрасова, которого будем вдвоем редактировать. Она зачеркнула те же стихи, что в изд. Гржебина зачеркнул и я. Совпадение полное. Читая «Машу», она вспомнила, как она ссорилась с Гумилевым, когда ей случалось долго залеживаться в постели — а он, работая у стола, говорил:

Только *м*уженик *т*руж белолицый*.

Вечером был у меня негр — ах, как он понравился Коле. Коля слушал его с открытым ртом и внезапно заговорил по-английски.

Негр — между прочим поэт, между прочим коммунист, а главное и основное — авантюрист, жадный к жизни человек, очень любящий вино, женщин, автомобили, общее внимание, но вместе с тем уютный и славный парень, по-настоящему преданный своему народу*. С ним вместе был еще коммунист-шотландец (забыл как его зовут), и оба согласно решили — в разговоре, что выше всех... Бальфур, самый благородный из общественных деятелей.

24 марта 1923. Мурка гуляет с Аннушкой в садике. Лужи. Аннушка запрещает ей ходить по лужам. Когда Мурке хочется совершить это преступление, она говорит: «Аннушка, дремли, дремли, Аннушка».

У Ахматовой. Щеголев. Выбираем стихотворения Некрасова. Когда дошли до стихотворения:

В полном разгаре страда деревенская,
Доля ты русская, долюшка женская,
Вряд ли труднее сыскать! —

Ахматова сказала: «Это я всегда говорю о себе». Потом наткнулись на стихи о Добролюбове:

Когда б таких людей
Не посылало небо —
Заглохла б нива жизни*.

Щеголев сказал: «Это я всегда говорю о себе». Потом Ахматова сказала: — Одного стихотворения я не понимаю. — Какого? — А вот этого: «На красной подушке первой степени Анна лежит»*. Много смеялись, а потом я пошел провожать Щеголева и чувствовал, как гимназист, что весна.

27 марта. Вчера был в Конфликтной комиссии в споре с домкомбедом, который требует с меня, как с лица свободной профессии, колоссальную сумму за квартиру. Я простоял в прихожей весь день — очень тоскуя. На стене висит печатная афиша:

> «28 марта в среду 1923 г. суд над гражданином Киселевым по обвинению его в заражении своей жены гонореей, последствием чего было ее самоубийство. «Митинговый зал Дворца труда».

Я думал, как скромен наш Питер по сравнению с Москвой. В Москве такая афиша вчетверо больше, в Москве на таком суде фигурирует не жена, а проститутка, и зараза не какая-нб. гонорея,

а сифилис. Прибедняется Питер. Москва так прямо и хвастает: суд над проституткой, заразившей красноармейца сифилисом. Тут каждое слово вкусное. В Москве красноармеец, а в Питере всего-навсего — гражданин. Постный Петербург, худосочный. Каково быть гражданином Петербурга, я познал на конфликтной комиссии. Мое дело было правильное — я действительно работаю во «Всемирной Литературе», но у меня не случилось какой-то бумажки, которую достать — раз плюнуть, и все провалилось. Притом я был в крахмальном воротничке. Портфель мой был тяжел, я очень устал, попросил позволения сесть, не позволили — два раза не позволяли — а среди них было две женщины, и то, что мне не позволили сесть, больше взволновало меня, чем два миллиарда, которые я должен заплатить. О, о! тоска! Все деньги ушли, а я так и не засел за работу. Редактирую хронику для третьего номера. Это мелочная труднейшая работа, мешающая заниматься делом. Вчера в Доме Ученых я читал о Некрасове. Было человек двадцать — старушки. И была сестра Кони, Грамматчикова. Она читала из «Русских женщин», фальшиво, манерно, а потом я должен был ее провожать — Бог знает куда — и увидел, что она такая же эгоцентристка, как Анатолий Федорович. Всю дорогу говорила о себе с упоением, умиленно. Плохо спал. Читаю Аросева.

29 марта. Мурке дают карамельки — и говорят: соси, а когда карамелька станет маленькой, можешь грызть. Она каждую минуту открывает рот и спрашивает: *а* или *у*? т. е. большая или маленькая.

Замятин рассказывал мне, что Пильняк был с ним, Замятиным, у Каменева, хлопоча о нем, о Замятине. Много говорили — и вдруг зашла речь об одном писателе. И Пильняк сказал: «Ну что ж, Лев Борисович. Ведь он почти не писатель, не то, что *мы с вами*».

Как мне нужно поехать по России!

Из Дома Литераторов, закрытого осенью, теперь вывозят книги в Дом Искусств. К этому привлечены рабфаки. Розенблюм рассказывает, что они — для какого-то озорства — мочились в... [две строчки отрезаны. — *Е. Ч.*] ...гомерически: электрические лампы, звонки, французские замки. Представитель Откомхоза увидел на стенке часы — и сообразил, что завтра их украдут. Поэтому он заранее спрятал их в шкаф. Приходит назавтра: нет часов! Он собрал всех рабфаков. Чтобы сейчас же были часы! Те отпираться. А потом, оказалось, кто-то посторонний видел, что часы в кладовой!! Откомхоз туда — нашел часы — не успели вынести. С книгами распоряжаются зверски, упадет книга — не поднимут,

ходят по ней. А в общем, должно быть, славные ребята, влюбчивые и на гитаре играют.

1 апреля 1923. Вот мне и 41 год. Как мало. С какой завистью я буду перечитывать эту страницу, когда мне будет 50. Итак, надо быть довольным! Когда мне наступило 19 лет — всего 22 года назад — я написал: «Неужели мне *уже* 19 лет?» Теперь же напишу:

— Неужели мне *еще* 42-й год?

Игра сыграна, плохая игра — и нужно делать хорошее лицо. Вчера купил себе в подарок Илью Эренбурга «Хулио Хуренито» — и прочитал сегодня страниц 82. Не плохо, но и не очень хорошо: французский скептицизм сквозь еврейскую иронию с русским нигилизмом в придачу. Бульварная философия — не без ловких — в литературном отношении — слов. Но у этого ничевока — еврейская религиозная душа — несмотря ни на что.

4 апреля. Все сановники наивны. Вчера у нас во «Всемирной» был милейший Мещеряков из Москвы — [верх страницы отрезан. — *Е. Ч.*] Во всяком случае в Мещерякове не чувствовалось цинизма или хамства, он был простодушен и говорил от чистого сердца. Волынский приветствовал его такими словами: «к нам прибыло сюда лицо, занимающее в Москве высокий пост. Третьего дня, на празднике книги, я услышал из уст Н. Л. Мещерякова слова, которые меня сердечно порадовали. Н. Л. выразил признательность тем беспартийным, которые содействуют власти насаждать просвещение. Пафос этих слов был горячо прочувствован всеми присутствующими». Потом заговорил С. Ф. Ольденбург. Он говорил от лица «Востока», что в средние века очень хорошо понимали восток, теперь позабыли о нем, но, кажется, вновь начинают интересоваться им; чтобы понять настоящее, нужно понять прошлое; нельзя подавлять востоковедение... и т. д.

Мещеряков ответил: «Да, я был один из тех, кто противился изданию «Китайской лирики». Но я стоял на коммерческой точке зрения. Мне казалось, что эта книга не найдет покупателя. Я человек очень скупой — когда дело касается интересов государства. Я не возражал против «Востока» по существу, но только спрашивал: будет ли сбыт?»

Эти слова очень задели Алексеева; после ухода Мещерякова он говорил: «значит, нас...» [Срезано строк 10. — *Е. Ч.*] ...прочитал в одну ночь. Теперь пишу для «Современного Запада». У меня такое впечатление, что я только и пишу по праздникам. На Новый Год я писал о Синге, на Пасху о Генри.

1923 Мурка вбежала: папа, вот! — у нее длинные белые чулки и панталонцы с кружевцами. Христосовался с Аннушкой. Была вчера Софья Андреевна Гагарина — пришибленная: здоровье ужасное, легкие больные, брат в тюрьме.

20 апреля. Дни идут. Я раздавлен «Хроникой» «Современного Запада». Замятин пальцем о палец не ударил, всю работу взвалил на меня; это работа колоссальная: достать матерьял, выбрать наиболее интересное, исправить неграмотные заметки Рейнтца, Порозовской и др. Был несколько дней тому назад на премьере «Мещанина в дворянстве» — постановка Ал. Бенуа. Это то, что нужно нашей публике: бездумное оспектакливание. Пропала мысль, пропало чувство — осталось зрелище, восхитительное, нарядное, игривое, но только зрелище. Ни сердцу, ни уму, а только глазу — и как аплодировали. Бенуа выходил раз пять, кланяясь и пожимая актерам руки (его манера: когда вызывают его, он никогда не выходит один, а в компании с другими, аплодируя этим другим). На следующий день я был у него. Кабинет. Стол. Буржуйка. Возле буржуйки сохнут чулочки его обожаемого Татана. На столе письмо, полученное им накануне от Юрьева: оказывается, что Бенуа на генеральной репетиции так не понравился Кондрат Яковлев в роли Журдена, что сгоряча он потребовал, чтобы спектакль отменили. Юрьев в письме убеждает Бенуа этого не делать. «Трудный актер Яковлев, трудный, упрямый, обидчивый, себе на уме», — говорит Бенуа.

Был у меня вчера Ник. Тихонов — хриплым голосом читал свои лохматые вещи. Он очень прост, не ломака, искренен, весь на ладони. Бедствует очень, хотя мог бы спекулировать на своей славе. (Луначарский написал о нем, как об одном из первейших русских поэтов — а он, оказывается, даже не знал этого.) Бываю я в Аре — хлопочу о различных писателях: добыл пайки для Зощенко, П. Быкова, Брусяниной и проч. Сегодня иду к Монахову — об этом хлопочет д-р Конухес. Его жена (Конухеса), мало знакомая со мною, в первый же день, что я пришел к ним с визитом, — стала рассказывать мне, что ее муж — легкомысленный, что он изменяет ей, что он клялся ей со слезами, будто это последний раз, а потом изменил опять. Я сказал ей: зачем вы мне, незнакомому, рассказываете об этом. Она сказала: что у кого болит, тот о том и говорит.

Мурка, ложась спать:

— Мама, я укрыта? — Да. — А мне тепло? — Да. — Ну, я буду пать.

Марья Борисовна была в клубе «Серапионовых братьев». Ее видела Оля* и написала стишки:

Красивая, торжественная дама,
«Жена Юпитера» — вы скажете о ней.
А муж ее, ну, знаете, тот самый,
Точно на винтиках держащийся Корней.

21 апреля 1923. Был вчера в «Былом». Очень забавен Щеголев. Лукавая детская улыбка, откровенный цинизм и лень, — сидит в редакции, к нему приходят всякие люди, он с ними торгуется и дает в десять раз меньше, чем они просят. Вчера у него был Ник. Никитин, который долго считал, сколько ему должен Щеголев, а когда исписал цифрами страницы три — и перевел на золото, то оказалось, что не Щеголев ему, а он — Щеголеву должен огромные суммы. Так подводит людей золотая валюта. Щеголев смеется, Никитин скребет затылок. Я спросил недавно Щеголева, читает ли он «Былое», которое он редактирует. «Да что его читать... такая скука», — сказал он. От Щеголева я к Ал. Бенуа. Бенуа в духе, играл на рояле, щекотал Татана, приговаривая каббалистические стихи, очень смешно рассказывал о Теляковском. Нынче Теляковский опять вынырнул: он напечатал в «Жизни и Искусстве» статью о Мейерхольде* в таком забавном бюрократическом духе, как будто пародия Зощенки. «Я призвал к себе Мейерхольда в кабинет и...» Бенуа рассказывал: «Года три назад кто-то хотел возобновить балаганы в «Народном Доме» — т. е. не в самом Доме, а возле. Пригласили нас, экспертов. Снег, тоска, мы молчим. Вдруг вижу: с красным носиком, с самоделковым чемоданом стоит на снегу камергер Теляковский. Его тоже почему-то пригласили. Смотрел он властям в глаза искательно, был на все готов, и мне казалось, что он с того света... Сегодня едет в Питер Мейерхольд: поздравляться и чествоваться. Здесь его будут всем синклитом величать: я теперь боюсь даже мимо Александринки пройти, как бы не поздравить нечаянно». Анна Карловна Бенуа говорит, что на дальнейших представлениях «Мещанина в дворянстве» Яковлев играл еще хуже. «Хам такой, он даже роли не знает: вместо герцогиня говорит княгиня». Оттуда к Розинеру: он купил у меня книжку о Блоке. Оттуда к Форш: чудесный вечер, был Ст. П. Яремич, М. Слонимский, Пяст. Пяст читал свои стихи о мировой войне, написанные в 1915 г. «Грозою дышащий июль», — в них он с той наивностью, которая была присуща нам всем и от которой ничего не осталось, прославляет «святую» Бельгию, «благородную» Францию, проклинает Вильгельма и т. д. Стихи местами очень хороши. Как будто читаешь в стихах старые «Биржевые Ведомости».

24 апреля. Опять негр Мак-Кэй. Потолстел, но говорит, что это от морозу: отмороженные щеки. Очень много смеется, но внут-

ренне серьезен и когда говорит о положении негров в Америке — всегда волнуется. Я сдуру повел его к Клячко; с изумлением увидел, что Клячко не знает, что негры в Америке притесняемы белыми. «Как же так? — спрашивал он. — Ведь там свобода! Ай да американцы!» и т. д. Мак-Кэй ждет к себе в гостиницу Wine-merchant'a[1], про которого он говорит, что доктор — двоюродный брат Александра Блока. Wine-merchant снабжает его бесплатно вином. Гулял с Анной Ахматовой по Невскому, она провожала меня в Госиздат и рассказывала, что в эту субботу снова состоялись проводы Замятина. Меня это изумило: человек уезжает уже около года, и каждую субботу ему устраивают проводы. Да и никто его не высылает — оббил все пороги, накланялся всем коммунистам — и вот теперь разыгрывает из себя политического мученика.

7 мая. Был у Сологуба неделю назад. Он занимает две комнатки в квартире сестры Анастасии Чеботаревской. Открыла мне дверь племянница Анастасии, Лидочка. В комнате Сологуба чистота поразительная. Он топил печку, когда я пришел, и каждое полено было такое чистенькое, как полированное, возле печки ни одной пылинки. На письменном столе две салфеточки — книги аккуратны, как у Блока. Слева от стола полки, штук 8, все заняты его собственными книгами в разных изданиях, в переплетах и проч. Заговорили о романе Замятина «Мы». «Плохой роман. В таких романах все должно быть обдумано. А у него: все питаются нефтью. Откуда же они берут нефть? Их называют отдельными буквами латинской азбуки плюс цифра. Но сколько букв в латинской азбуке? Двадцать четыре. На каждую букву приходится 10 000 человек. Значит, их всего 240 000 человек. Куда же девались остальные? Все это неясно и сбивчиво».

Заговорил о здоровье. У него миокардит. Сердце не болит, если он не волнуется. Но волноваться приходится часто. «Если напр., я спорю с друзьями, хотя бы расположенными ко мне; если я читаю свои стихи, хотя бы в самом тесном кругу, — я волнуюсь. И по лестнице всхожу очень медленно».

Заговорил о стихах. — У меня ненапечатанных стихов (он открыл правый ящик стола) — тысяча двести тридцать четыре (вот, в конвертах, по алфавиту). — Строк? — спросил я.

— Нет, стихотворений... У меня еще не все зарегистрировано. Я не регистрирую шуточных, альбомных стихов, стихов на случаи и проч.

Это слово «регистрирую», «зарегистрировано» он очень любит.

[1] виноторговца *(англ.)*.

— Французских стихотворений у меня зарегистрировано пять, переводных сто двадцать два. А стихотворений ранних, написанных в детстве, интимных, на шесть томов хватило бы.

Заговорили о рецензиях.

— Рецензий я не регистрирую. Вот переводы у меня зарегистрированы. Меня переводили на немецкий язык такие-то и такие-то переводчики, на французский такие-то, а на английский такие-то.

И он вынул из среднего ящика карточки и стал читать одну за другой, дольше, чем следовало.

Я понял: эгоцентризм, доведенный до культа. Сологуб стоит в центре мира, и при нем в качестве придворного историографа, библиографа, регистратора состоит Сологуб же. Это я подумал без насмешки, а сочувственно. В такой саморегистрации — для Сологуба спасение. Одинокий старичок, неприкаянный, сирота, забытый и критикой и газетами — недавно переживший катастрофу*, утешается саморегистрацией.

— Моих переводов из Верлена у меня зарегистрировано семьдесят.

Окошечки у него в кабинете маленькие, но вид оттуда — широкий. На стене портреты А. Н. Чеботаревской. Она с ним за чайным столом, она с ним на диване, она с ним в Париже, все чистенько, по-немецки и без вкуса развешано.

— Не хотите ли вина?

— Я не пью. Да и вам вредно.

— Нет, немного можно. Хорошее вино. Не можете ли вы пристроить в Госиздате мой роман «Творимая легенда»?

— Ну, Госиздат такой вещи не возьмет.

— Почему? Мне говорили, что этот роман читала Клара Цеткин с восторгом. Вот бы она написала предисловие.

— А теперь вы пишете прозу?

— Нет. Вышел из этого ритма. Не могу писать. У меня это ритмами. Как болезни. Я, например, в январе всегда болен. Всю жизнь. Непременно лежу в январе.

— А стихи?

— Стихов я всегда писал много. Вот, напр., 6 декабря 1895 года я написал в один день *сорок* стихотворений. Вернее, цикл. «История девочки в гимназии». Многие из них не напечатаны, но часть попала в печать в виде отдельных стихотворений.

Заговорили о Некрасове. Он стал читать наизусть, сбиваясь, «Где твое личико смуглое...», «Когда из мрака...», «Все рожь кругом...», «Если пасмурен день...».

1923 Был вчера у Ахматовой Анны. Кутается в мех на кушетке. С нею Оленька Судейкина. Без денег, без мужей — их очень жалко. Ольга Афанасьевна стала рассказывать, что она все продала, ангажемента нету, что у Ахматовой жар, температура по утрам повышенная, я очень расчувствовался и взял их в театр на «Чудо святого Антония». Нужно будет о Судейкиной похлопотать перед американцами.

Был у меня ночью Мак-Кэй. Он написал стихи о Первом мае и хочет, чтобы я переводил. Очень ругательно отзывался об Аре, я защищал, мы поругались. Я уже чувствую, что он в свои будущие очерки о России внесет много клевет, сообщенных ему всякой сволочью. Много сообщает ему Mrs. Stark, жена Горлина, — и врет как на мертвых.

10 мая. Нет, нет, уехать отсюда завтра же. Что мне нужно? Устроить дела и фюить. Эти два дня особенные. Вчера я бродил из конца в конец, не находя себя. Тоска. Выбит из колеи — полгода без дела. Был вчера у Блока, потянуло на его квартиру, прошел пешком с Невы, по Пряжке; мальчишки барахтались на берегу. Вот *его* грязно-желтый дом, — грязно-зеленый подъезд, облупленный черный ход. Звоню. Кухарка открыла. Слева в прихожей телефон, где сохранился почерком Блока перечень телефонных номеров — «Всемирная Литература», Горький и т. д. Вышла ко мне навстречу тетка, Бекетова Марья Андреевна. Бекетова — поправилась, стала солиднее, видно, внутренне она в гармонии с собой. — «Вот живу в комнате покойной сестры!» — сказала она. Это белая узкая комната, где за тонкой перегородкой матросы. На стене большой портрет Блока работы Т. Н. Гиппиус, множество карточек, и вот тетка сидит среди этих реликвий и пишет новую книгу о Блоке — текст к фотокарточкам, которые хочет издать к годовщине смерти Блока Алянский. Я сел за столиком у окна и стал перелистывать журнал «Вестник», издававшийся Блоком в детстве. О, как гениально все это склеено, переплетено, сшито, сколько тут бабушек, тетушек, нянюшек. Почерк совсем другой — и весело, весело. А карточки трагичны. Особенно та, где Блок отвернулся от стола — от всех — Лермонтовым, и глядит со страхом вперед; и даже по детским карточкам видно, что бунтарь. Руки очень самостоятельно — в детстве. Марья Андреевна стала читать мне свою рукопись, там, конечно, нет и догадки, кто такой Блок, там мирный и банальный Саша, любимец, баловень, а не — «Ночные часы». Интересно только, как он посдирал платья с гвоздей, чуть его за-

перли в чулан, — да и то анекдот. О, какое страшное лицо у него на балконе, на Пряжке! Тетка об этом не знает ничего. И все чувствуется какое-то замалчивание — замалчивается роль Любовь Дмитриевны, замалчивается та тягость, которую наложила на Блока семья, замалчивается сам Блок. Про Любовь Дмитриевну она сказала: «Люба сюда своего портрета не дает (в альбом). Она хочет остаться в тени. (Помолчав.) Такая скромность!» Это не утешило меня, и я пошел к Ершову (певцу, Ивану Васильевичу). Он живет в том же доме, где жил Блок, и Блок так хорошо отзывался о нем. У Ершова молодая жена, 6-летний сын, в каске, плохие картины, «Ара». По приемам он похож на архиерейского певчего, — простодушен, в потертой шляпе, жалуется на бедность (получаю раз в неделю 300 рублей и больше ничего! триста миллионов!). О Блоке ничего путем вспомнить не может. «Вот портрет С. Рахманинова, работы Ционглинского продаю, не купят ли ваши знакомые, хочу уехать». Очень бранит Экскузовича, директора Государственных Актеатров, который всех прижимает, а сам спекулирует на валюте. — От него я к Розинеру, не застал, он в Москве. Я к Ольге Форш. Она одна — усадила — и начала говорить о Блоке. Говорила очень хорошо, мудро и взволнованно, о матери Блока:

— Да она ж его и загубила. Когда Блок умер, я пришла к ней, а она говорит: «Мы обе с Любой его убили — Люба половину и я половину».

Много говорила о стихах Блока — я стал успокаиваться, но пришли С. П. Яремич и Сюннерберг. Я попрощался и ушел к Выгодскому. У него гости — евреи какие-то. Я наскочил на сборник украинских стихов, зачитался, но скоро ушел.

Теперь все говорят о том отвратительном ультиматуме, который Англия предъявила России*. По общему мнению, ультиматум не грозит войной, но я чувствую, что война будет. Коля читал газету вслух и вдруг сказал:

— Эх, пойду воевать и так раскокаю этих англичан и вообще чухонцев.

На бирже нехорошо. Я по рассеянности не разменял вчера своих денег, полученных за Панаеву, и потерял долларов 25. Но я обтерпелся — и уже не волнуюсь. Спать, однако, вторую ночь не могу. — Прочитал без удовольствия «Университеты» Горького, «Аэлиту» Толстого, «Председателя» Аросева, «В лесу» Микитова. Все — так себе, полухалтура.

Мура называет Жозефину Фифифина.

14 мая. Колин товарищ Леня Месс — красивый, матоволикий скульптор. Небольшого роста, молчаливый, изящный, значитель-

ный. Мы с Колей зашли за ним и пошли втроем в Эрмитаж. Долго ходили по залам скульптуры, потом смотрели немцев, голландцев, англичан — перед «Данаей» Рембрандта я умер от упоения. Мне слышалась музыка, как будто я вижу первую в жизни картину. Другие картины хороши или плохи, а эта — абсолютна, на веки веков. И еще поразила меня маленькая (сравнительно) картина Тициана — женский портрет в круглой зале — и больше ничего. Остальное — литература. Эрмитаж полон. Интерес к искусству сильно вырос в массах. Но бедные зрители. Ходят неприкаянные, скучая, не зная, куда смотреть, а руководители экскурсий мелют вздор — и так громко, что мешают смотреть.

Очень интересна сегодняшняя газета*.

Был у Ахматовой. Она показывала мне карточки Блока и одно письмо от него, очень помятое, даже исцарапано булавкой. Письмо — о поэме «У самого моря». Хвалит и бранит, но какая правда перед самим собой...* Я показал ей мои поправки в ее примечаниях к Некрасову. Примечания, по-моему, никуда не годятся. Оказывается, что Анна Ахматова, как и Гумилев, не умеет писать прозой. Гумилев не умел даже переводить прозой, и когда нужно было написать предисловие к книжке «Всемирной Литературы», говорил: я лучше напишу его в стихах. То же и с Ахматовой. Почти каждое ее примечание — сбивчиво и полуграмотно. Напр.: Добролюбов Николай Александрович (1836—1861), современник Некрасова *и* имел с ним *более или менее* общие взгляды.

— Клейнмихель главное лицо по постройке...

— Байрон имел сильное влияние *как* на Пушкина, *так* и на Лермонтова.

Я уже не говорю о смысловых ошибках. Элегия — «форма лирического стихотворения» и т. д. В одном месте книги, где у меня сказано: «пьесы ставились», она переделала: «одно время *игрались*».

Я не скрыл от нее своего мнения о ее работе и сказал, что, должно быть, это писала не она, а какой-то мужчина.

— Почему вы так думаете. Мужчина нужен только чтобы родить ребенка.

Сейчас иду в «Былое» к Щеголеву.

15 мая. Анна Ахматова стилизуется под староверку. Вчера очень подчеркнуто радовалась, что наступило первое мая, «Настоящее первое мая»*. К Щеголеву пришли при мне жена Замятина и О. А. Судейкина и соблазняли: выпьем, давайте кутить по случаю 1-го мая. Вчера Мура поссорилась с Бобой. Я сказал: иди, Мура, я тебя поцелую.

18 мая. Возле Веры Александровны (нашей секретарши) стоят Ф. Сологуб, Б. Лившиц и Лозинский и сочиняют дифирамб. — Какая рифма к слову Моховую? — спросил Сологуб. — Вскую, — ответил Лозинский, и Сологуб сказал:

Скажи мне вскую,
Красней пурпура,
На Моховую
Идешь ты, дура?

После этого он спросил у нас, куда мы идем. Я сказал: туда же, куда вы.

— Куда один баран, туда и все стадо! — сказал он.

К Щеголеву в «Былом» его служащая обратилась за деньгами.

— Проживете! — сказал Щеголев.

Она вышла из кабинета вся в слезах. Через несколько минут он выкатил свое бочкоподобное брюхо — к ней. — Ну-ну, так бы вы и говорили, — и стал совать ей в руку один червонец, который она долго отодвигала, а потом взяла.

Мурочка была в ритмической школе со мною и М. Б. и почувствовала себя там так хорошо, что не хотела уходить.

Ах, какая канитель с репинскими деньгами*. Опять Абрам Ефимович затягивает платежи. А я решил сегодня послать их. Вести о том, что разгромлена моя дача, не ужасают меня, и я ужасаюсь под диктовку Марии Борисовны. Мне гораздо больнее, что разгромлена моя жизнь, что я не написал и тысячной доли того, что мог написать.

Был у Серапионов. Читал мне свои стихи Антокольский — мне вначале они страшно нравились, он читает очень энергично, — но потом я увидел, как они сделаны, и они разнравились.

Полонская читала так себе. Несколько раз вбегала Мариэтта Шагинян. Каверин говорил резкие вещи с наивным видом. Напр., Антокольскому сказал:

— А все же в ваших стихах — не обижайтесь — много хламу.

Лунц (больной ревматизмом) сказал Коле:

— Знаешь, твои стихи начинают повторяться. Все веточки, букашки, душа, и непременно что-нибудь «колышется».

Тон очень простой, наивный и труженический. Потом домой по полубелой ночи.

25 мая. Удивительно точный сон, от которого я проснулся. Будто я депутат думы и стою не у той двери, где надо. Нужно мне голосовать, нужно сказать что-то хорошее, я (еще с одним) бегаю

по коридорам, ищу ту дверь, какая нужна (без пиджака, подтяжки), не нахожу, бегаю, бегаю. Снова оказываюсь не у той. Предо мною картина Репина «Государственный Совет». Я думаю, нужно будет написать Репину, что его картина в Думе, и тут же соображаю: нет, Дума разогнана, картина взята в музей, должно быть. Надеваю пенснэ и вижу, что картина — на диване сидят шестеро: три помятых генерала и три старые бойкие дамы, я к ним — они живые, разговаривают. Я говорю с одной дамой и ухожу. В руках у меня «Чукоккала» и какая-то картина Репина, украденная мною в Гос. Думе. Дело в Москве, хотя мне и надо на Загородный. Надо, главным образом, спрятать картину. Где спрятать картину? Я мечусь по всей Москве. Где спрятать картину? Тоска. Идет снег. Со мною женщина — сестра m-me Шабад. Где спрятать картину? Жду какого-то трамвая — и бегу от него прочь. И вот возмездие. Оказывается, дама ушла — унесла с собою «Чукоккалу», а картина оказалась олеографией, а я упал в яму (ясно помню снежок, глину, камни на дне), летел, летел туда довольно долго, головой вниз, глядя на предстоящие мне камни, — и разбился, и проснулся с тем чувством, что и в жизни со мною то же: не знаю, в какую дверь, не знаю, в какую дверь — и яма.

27 мая. М. Б. Мурке: надо дома быть. Мурка (хочет гулять): — Это не панель, это не удила (улица), это не небо!

Вечером буря. Град, гром. На Муру огромное впечатление. Во время грозы она кричала:

— Г(р)ом! пошел вон, — и топала на него ногами. И так запугала себя, что в конце концов спросила:

— Что это там на корзинке?

— Бобин ранец.

— А я думала: г(р)ом!

30 мая. Был вчера у Кони и заметил, что у него есть около двенадцати методов для невиннейшей саморекламы. Напр.: как трогательно было. Я читал лекцию, а два матроса — декольте вот такое! — краса и гордость русской революции — говорят мне: «Спасибо, папаша!»

Второй способ — бранить кого-ниб., противопоставляя его себе. Вот так: вообразите себе, как утеряно теперь моральное чувство: одна дама, узнав, что я отношусь отрицательно к покойному Николаю II, сказала:

— Прочтите лекцию о нем, мы вас озолотим.

Я сказал:

— Сударыня, понимаете ли вы, что вы говорите?

— А что?

— Да ведь кости его еще не истлели, а вы хотите, чтобы я публично плевал на его могилу.

Третий способ такой: ах, как я освежился в Москве. Я прочел там четыре лекции, ах, какую приветственную речь сказал мне проф. Сакулин! И вы знаете, в каком я был неприятном положении.

— Почему вы были в неприятном положении?

— Да как же: чествовало меня Юридическое общество. Ну, сказали похвальные речи, причем взяли октавой выше, а я должен был ответить, но что сказать? Ужасно неприятно. Промолчать — выйдет, что я согласен со всеми хвалами, сказать, но что? Я встал и сказал:

— Жалею, что в этом зале не присутствует Потемкин-Таврический.

Они переглянулись: с ума сошел старик. Но я продолжаю:

— Когда Потемкин увидел пьесу Фонвизина, он сказал: «Умри, Денис, лучше не напишешь». Мне бы он сказал: «Умри, Анатолий, лучше не услышишь».

Очень бранит Евреинову за ее мочеполовую книжонку о Достоевском*. Рассказывает, что в «Живом Слове» студент встал и сказал по поводу дуэли: что такое женская честь? ерунда. Женщина — самка и проч. И как он, Кони, остановил студента. — Говорят: у него склероз развивается.

Был у жены Блока. Она очень занята театром, пополнела. Пристал ко мне полуголодный Пяст. Я повел его в ресторан — и угостил обедом. Вечером был у Клячко, где за мною (как за знаменитым писателем) ухаживали три сорокалетние дамы.

Канторович: О да, у меня туда есть рука.

— Какая?

— Да мой дядя врач по венерическим. Они все у него лечатся.

Замятин напомнил мне, как я вовлек Блока в воровство. Во «Всемирной Литературе» на столе у Тихонова были пачки конвертов. Я взял два конверта — и положил в карман. Конверты — казенные, а лавок тогда не было. Блок застыдился, улыбнулся. Я ему: «Берите и вы». Он оглянулся — больше из деликатности по отношению ко мне — взял два конверта и, конфузясь, положил в карман.

1923 [**Коктебель. Сентябрь**[1]]. It is very mortifying to notice that everyone feels me alien — not unifies with me — quite apart. All these young people they look on me as on old bore. — I mean in the car, they are not bound to me as they were — ten years ago. I did not sleep a wink and feel myself old and ruined. Horrible dirty car — the air [нрзб.] everyone is self-content and hurting my feelings[2].

Чувствую себя худо, чужим этой прелести. Нет желтых листьев, маслины. Интеллигентных лиц почти нет — в лучшем случае те полуинтеллигентные, которые для меня противны. Одиночество не только в вагоне, но и в России вообще. Брожу неприкаянный.

35 минут 8-го. Сижу над бездной — внизу море.

22 дня живу я в Коктебеле и начинаю разбираться во всем. Волошинская дача стала для меня пыткой — вечно люди, вечно болтовня. Это утомляет, не сплю. Особенно мучителен сам хозяин. Ему хочется с утра до ночи говорить о себе или читать стихи. О чем бы ни шла речь, он переводит на себя. — Хотите, я расскажу вам о революции в Крыму? — и рассказывает, как он спасал от расстрела генерала Маркса, — рассказывает длинно, подробно, напористо — часа три, без пауз. Я Макса люблю и рад слушать его с утра до ночи, но его рассказы утомляют меня, — я чувствую себя разбитым и опустошенным. Замятин избегает Макса хитроумно — прячется по задворкам, стараясь проскользнуть мимо его крыльца — незамеченным. Третьего дня мы лежали на пляже с Замятиным и собирали камушки — голые — возле камня по дороге к Хамелеону. Вдруг лицо у Замятина исказилось, и он, как настигнутый вор, прошептал: «Макс! Все пропало». И действительно все пропало. По берегу шел добродушный, седой, пузатый, важный — Посейдон (с длинной палкой вместо трезубца), и чуть только лег, стал длинно, сложно рассказывать запутанную историю Черубины де Габриак*, которую можно было рассказать в двух словах. Для нас погибли и камушки, и горы, мы не могли ни прервать, ни отклонить рассказа — и мрачно переглядывались. Такова же участь всех жильцов дачи. Особенно страшно, когда хозяин зовет

[1] Недатированные карандашные наброски в отдельной записной книжке, которые частично перекликаются с последующей записью в дневнике от 7 октября 1923 года.

[2] Очень огорчительно замечать, что все воспринимают меня чужаком — не сближаются со мной, а наоборот, чуждаются. Все эти молодые люди считают меня старым занудой. Я имею в виду, что когда мы в машине, они не привязаны ко мне, как это было 10 лет назад. Я совершенно не спал и чувствую себя старой развалиной. Ужасно грязная машина, воздух [нрзб.]. Все такие самодовольные и ранят мои чувства *(англ.)*.

пятый или шестой раз слушать его (действительно хорошие) стихи. Интересно, что соседи и дачники остро ненавидят его. Когда он голый проходит по пляжу, ему кричат вдогонку злые слова и долго возмущаются «этим нахалом». — «Добро бы был хорошо сложен, а то образина!» — кудахтают дамы.

Корень Габриак. Мы с Замятиным вчера вправо — спасаясь от Макса и кривоногой девицы. Каменисто под ногами, но хорошо. У него свойство — сейчас же находить для себя удобнейшее место — нашел под горкой — безветренное, постлал лохматую простыню — и лег, читал Флоренского «Мнимые величины в геометрии»*. Мы лежали голые, у него тело лоснится, как у негра, хорошее, крепкое, хотя грудь впалая. Читая, он приговаривал, что в его романе «Мы» развито то же положение о мнимых величинах, которое излагает ныне Флоренский. Потом я стал читать Горького вслух, но жара сморила. Мы пошли на пляж — и невзирая на дам, стали купаться — волна сильная, я перекупался. И сразу почувствовал, что спать не буду.

«Каменная болезнь». Ни я, ни Замятин не собирали до сих пор камней, но дней пять назад я нашел два камушка, Замятин тоже и с тех пор страстно, напряженно ищем, ищем, ищем — стараясь друг друга перещеголять. Здесь было два детских утра, где я читал «Тараканище», «Крокодила», «Мойдодыра», «Муркину книжку» — и имел неожиданно огромный успех.

20 м. 1-го 4 окт. 1923. Замятин: «Отныне буду любить всех детей, как Чуковский».

Замятин: «Все спят, вся деревня спит, одна Баба Яга не спит». По поводу моей бессонницы.

[Отдельный листок.]: «**1923.** Кусок из уничтоженного мною дневника».

Замятин хороший, тамбовский, очень несложный, осторожен, уклончив, чистоплотен и безинициативен. Когда он купается, волна растреплет его английский пробор — и он становится очень молодым и талантливым. В жизни, как и в литературе, он идет на поводу чужого стиля. — Сонька и Ирина пришли ко мне есть виноград — о, какой чудный лежал у меня на столе. Ирина читала «Террор» и записки какой-то дуры обо мне. Пахло полынью, я думал о Соньке. Она воспитанница Черткова, ее мать родная сестра Чертковой; она вегетариантка, толстовка, а сладострастна, честолюбива, вздорна, ветрена. Очень интересно, к че-

му ведет чертковизм. В детстве она читала только «Маяк»*, а теперь она может только с вожделением смотреть на мужчин, истинно страдать, если какой-нибудь мужчина увлечен не ею, ненавидеть ту, кем он увлечен (все равно кто, все равно кем), жаждет нравиться кому бы то ни было какой угодно ценой. А с виду монахиня, очень застенчивая. Зубы у нее редкие, знак ревности, нос курносый, толстовский, тело все в волосах, отчего ее прозвали «Сонька меховая нога». История ее страшная: когда ей было 17 лет, она сошлась с 47-летним Оболенским, мужем ее тетки, и жила с ним года четыре — к великому скандалу всей семьи Толстых. Вдруг обнаружилось, что один из ее родственников, Сухотин, в чрезвычайке, что ему угрожает расстрел. Она стала хлопотать о нем, спасла его, его стали отпускать к ней, он влюбился в нее (он был мужем Ирины Энери и имел от нее дочку); Сонька кинула Оболенского, которому теперь за пятьдесят, и сошлась с Сухотиным. Его освободили — она вышла за него замуж, и обнаружилось (на третий месяц после свадьбы), что у него сифилис, на почве которого с ним случился удар. Тогда она пустилась в разврат — сошлась с каким-то, как она говорит, жидом и т. д. А ей всего 23 года — и все вокруг благоговеют пред ее чистотой.

Она та самая девочка, которой Толстой рассказывал об огурце.

Она очень много читает, кажется, не глупа, дружит с Иринкой и, когда я приехал, только что вернулась пешком из Ялты, куда ездила с Ириной и некиим Августом.

Нужно записать еще о г-же Вересаевой, Марии Гермогеновне. Ей лет пятьдесят, полон рот золотых зубов, есть морщины, но она чувствует себя даже не 18-летней, а 17-летней девицей. Кокетлива, «весела, что котенок у печки»*, ходит нарочито грациозной походкой, смеется игриво и, очевидно, страшно жаждет любви. Полунезнакомым людям в табльдоте заявила, что ее муж изменил ей, что сама она воспитана на «Анне Карениной» и проч. Когда я сказал ей, зачем вы так конфузите вашего мужа, ведь мы знаем его как очень благонравного писателя, она ответила: «уверяю вас, что писатели всегда противоположны тем идеям, которые они проповедуют. Если в книгах они проповедуют благородство, значит, они подлецы. Все благородство, какое у них есть, они отдают книгам, так что им самим ничего не остается». Конечно, это очень автобиографично. Вересаев, по ее словам, изменил ей с сестрой милосердия. Изменил и сейчас же написал об этом пьесу. Когда он читал эту пьесу Максу, он, по словам Макса, плакал и протирал очки, плакала и она.

Нужно описать, как уезжали из Коктебеля мы с Замятиным. Он достал длинную линейку, Макс устроил торжественные про-

воды, которые длились часов пять и вконец утомили всех. На башне был поднят флаг. Целовались мы без конца. **1923**

Из крана одной уборной еле каплет вода. Замятин предлагает обратиться к урологу Грачеву, чтобы тот отремонтировал кран...

Сижу в тоске — на чемодане, в коридоре — с корзинами винограду, своего и замятинского, жду помощи начальника станции — который встретил меня холодно. Везли мои вещи прелестные люди — один, картавящий по-интеллигентски, лохматый, другой молодой — оба в лохмотьях. Взяли 500 рублей. Я дал им сто на чай. Как разлучался с Софьей Владимировной. — Ей очень хотелось поцеловать Замятина, в которого она влюблена, и она сказала, сидя в автомобиле с матерью, К. И., дайте я вас поцелую. И впилась мне в самые губы.

Она так влюбилась в Замятина, что все ее лицо изменилось, стало праздничным и сумасшедшим. Все же она съела за обедом (мы обедали на вокзале) и судака, и бифштекс — с величайшим аппетитом. Замятин тоже влюблен, как гимназист, что из этого выйдет, не знаю. Он поехал к Арию, мы расцеловались. Я заметил, что три четверти хитрости, политики, иезуитства, которое в нем мерещилось мне, в сущности, принадлежат его жене.

Что будет с моим виноградом! Я сдал его в багаж — и сам видел, как его мяли, давили, швыряли. Вошел в купэ — лег спать — в купэ едет какой то чиновник с женою — из Екатеринбурга — жена Коробочка — всего боится и уверена, что я вор. Ночью упала электрическая лампочка — дзинь! — Жена шепчет мужу:

— Не было ли здесь соображения?

Он спит, не слышит. Она опять:

— А не было ли здесь соображения?

Т. е. не сбросил ли я лампу вниз — с намерением ограбить их обоих. Это рассердило меня так, что вот — не сплю. Oh, bother![1] Все же заснул. — Спал часа три — пожевал чего-то — и вот утро. — Нужно собирать осколки лампы. Собрал и поговорил с Коробочкой. Оказалось, что лампочка лопнула не по моей вине.

Рядом в купэ поместилась бывшая учительница моих детей, которую Маяковский в былые годы назвал Шпулькой. Теперь у нее муж — ученый, лысый, только что из командировки. Она им, видимо, гордится.

---

[1] О, тоска *(англ.)*.

1923 **Воскресение, 7 октября 1923.** Приехал из Крыма, привез Муре камушки — она выбирает из них зеленые — и про каждый прибегает за четыре комнаты спрашивать: это зеленый? Винограду привез три пуда, мы развесили его на веревочках, и на пятый день уже ничего не осталось. Груши, привезенные мною, еще не дозрели, лежат на подоконнике. Я черный весь, страшно загорел, приехал обновленный, но сонный, ничего не делаю, никого и ничего не хочу. Вялость необыкновенная. Да и есть отчего быть вялым: я провел этот крымский месяц безумно. Приехал я в Коктебель 3 сентября. Ехал мучительно. В Феодосию прибыл полутрупом. Готов был вернуться назад в той же линейке. В воскресение в 4 часа дня дотащился до Макса. Коктебель — место идиллическое, еще не окурорченное, нравы наивные, и я чувствую себя, и Макса, и всех коктебельцев древними, доисторическими людьми. О нас будут впоследствии писать как о древних коктебельцах. Макс Волошин стал похож на Карла Маркса. Он так же преувеличенно учтив, образован, изыскан, как и подобает poetae minori[1]. В тот же вечер, когда я приехал, Замятин читал свою повесть «Мы». Понемногу я начал отходить, но прошла неделя, и волошинская дача стала для меня пыткой: вечно люди, вечно болтовня. Я перестал спать. Волошин не разговаривал ни с кем шесть лет, ему, естественно, хочется поговорить, он ястребом налетает на свежего человека и начинает его терзать. Ему 47 лет, но он по-стариковски рассказывает все одни и те же эпизоды из своей жизни, по нескольку раз, очень округленные, отточенные, рассказывает чрезвычайно литературно, сложными периодами, но без пауз, по три часа подряд. Не знаю почему, меня эти рассказы утомляли, как тяжелые бревна. Самая их округленность вызывала досаду. Видно, что они готовые сберегаются у него в мозгу, без изменения, для любого собеседника, что он наизусть знает каждую свою фразу. С наивным эгоизмом он всякий случайный разговор поворачивает к этим рассказам, в которых главный герой он сам: «Хотите, я расскажу вам о революции в Крыму?» — и рассказывает, как он, Макс, спасал большевистского генерала Маркса от расстрела — ездил в Керчь вместе с его женой — и выхлопотал генералу облегчение участи. Стихи Макса декламационны, внешни, эстрадны — хорошие французские стихи — несмотря на всю свою красивость, тоже утомляли меня. Человек он очень милый, но декоративный, непростой, вечно с каким-то театральным расчетом, без той верхней чуткости, которую я люблю в Чехове, Блоке, в нескольких женщинах. Живет он хозяином, магнатом, и походка у него царственная, и далеко не

[1] второстепенному поэту *(лат.)*.

так бесхозяйствен, как кажется. Он очень практичен — но мил, умен, уютен и талантлив. Как раз в эти годы он мучительно ищет *большого стиля* – нашел ли он его, не знаю. Его нарочито русские речи в стихах — звучат по-иностранному. Его жена Мария Степановна, фельдшерица, обожает его и считает гением. Она маленького роста, ходит в панталонах. Человек она незаурядный — с очень определенными симпатиями и антипатиями, была курсисткой, в лице есть что-то русское, крестьянское. Я в последние дни пребывания в Коктебеле полюбил ее очень — особенно после того, как она спела мне *зарю-заряницу*. Она поет стихи на свой лад, речитативом, заунывно, по-русски, как молитву, и выходит очень подлинно. Раз пять я просил ее спеть мне это виртуозное стихотворение, которое я с детства люблю. Она отнеслась ко мне очень тепло, ухаживала за мною — просто, сердечно, по-матерински. Коктебельские гостьи обычно ее ненавидят и говорят про нее всякую гнусь. Чуть я приехал, Макс подхватил мои чемоданы, понес их наверх на чердак, где и определил мне жить. Но Ирина Карнаухова, та самая, с которой я познакомился в Москве в 1921, когда ездил туда с Блоком, уступила мне свою комнату, а сама стала спать на балконе. Вскоре я познакомился со всей волошинской дачей: глухая племянница Макса, Тамара, танцовщица, ее брат Витя, синеглазая старушка Александра Александровна и скрюченный старичок Иосиф Викторович — вот штат Макса, его придворные и нахлебники. Всех этих людей кормит он на свой счет, уделяя им порцию своего ученого пайка. Штат непышный, изрядно ему опостылевший.

Старушка Александра Александровна из Вятки — была в Нижнем во времена Анненского и Короленко (ее муж был земский статистик); в Крыму она первый раз, и все ей кажется, что «в России лучше». Повел ее как-то Макс на Карадаг. Она: «Вот здесь хорошо; если бы здесь Москва-река была, совсем бы Воробьевы горы». О Крымских горах отзывается, что Жигули выше и красивее. Над этим ее патриотизмом смеются, она заметила это и стала шутихою (чуть-чуть) — нарочно говорит это, чтобы над нею посмеялись. — А у вас в Вятке апельсины растут? — спрашивает ее Иосиф Викторович. — Еще бы! и апельсины, и персики... Губернатору вот такие посылали! — говорит она убежденно. — То, должно быть, капуста была, а вы ее за апельсины приняли и т. д.

Иос. Викт. замусоленный эмигрант, помнит Бакунина, теперь целые дни сидит и курит — и ничего не делает. Все это, конечно, не общество для Макса — и он потому набрасывается на каждого человека. Но помимо этого тесного (скучного) круга, есть в Коктебеле около 3-х десятков приезжих — очень пестрых, главным образом женщины — и Замятин. Замятин привез кучу костюмчиков — каж-

дый час в другом, английский пробор (когда сломался гребешок, он стал причесываться вилкой), и влюбляться в него стали пачками. Влюбилась Ирина (очень, до слез, до истерики), влюбилась Катя Павлова (приехавшая к маме из Симферополя), влюбилась художница из Екатеринослава — Мария Петровна (Марпетри). Художница выпуклая, лет 32-х, талантливая, с задушевными умными нотами, крашеными стрижеными волосами — он сошелся с художницей и две недели прожил душа в душу. Я застал этот роман в полном разгаре. Трудно было Марпетри уезжать, отрываться от Замятина, но все же через неделю после моего приезда она уехала. (Он, злодей, даже не вышел утром проститься с нею: спал. Она билась у его двери, но он ни гугу. Наши дамы прозвали его за это черствым.) Когда она уехала, он вздохнул с облегчением: отдохну! И действительно стал поправляться. Мы ходили с ним ежедневно на берег, подальше от людей, и собирали камушки.

Особенно памятна одна прогулка, вправо, спасаясь от Макса. У Замятина свойство — находить для себя удобнейшее место — он нашел под горой безветренное, постлал мохнатую простыню и лег, читая Флоренского «Мнимые величины в геометрии». Мы лежали голые. Тело у него, как у негра лоснится, хорошее, крепкое, хотя грудь впалая. Читая, он приговаривал, что в его романе «Мы» развито то же положение о мнимых величинах, которое излагает ныне Флоренский. Потом шли голые — версты полторы, блаженствуя.

Недели за две до отъезда познакомились мы с семьею д-ра Грачева, уролога. С ним его жена и подчерица. Он здоровый, розовый. Жена моложавая. Падчерица за обедом рассказала нам, как какой-то поляк, именующий себя египтянином Бен Али, загипнотизировал ее в театре, в Ессентуках. Теперь падчерице 22 года, она очень нервная, оказывается, что Бен Али внушил ей, чтобы она пришла к нему ночью, она пошла, ее спасли врачи, подстерегавшие ее. Замятину девушка очень понравилась. Он стал проводить с нею целые дни и мне говорил: — «У меня темп медленный, я не тороплюсь!» Нечего говорить, что девушка очертя голову влюбилась в него. Ко мне у нее очень хорошие чувства. Когда я читал в театре «Мойдодыра», она бешено аплодировала (мы еще не были знакомы) и сказала родным: «Наконец-то я нашла чистую душу». Семья Грачевых типична: его жена заявила нам, что у нее был «миллиард романов». (Замятин сказал: надеюсь, не в советской валюте.) Сама себя она рекомендует так: была большая светская львица, имею несколько чемоданов любовных писем, отец украинец, а мать цыганка. Ее муж, 44-летний Грачев, тайно влюблен в падчерицу, ревнует ее ко всем, но скрывает это чувство даже от себя самого. Замятин очень

влюбился в падчерицу и заявил мне: «трех девушек я любил всерьез, по-настоящему, и все три Софии». Как-то он сказал мне:

— Чудесная девушка она.

— Да, славная.

— Думайте, что она еще лучше на двадцать процентов, пожалуйста.

Это «пожалуйста» прозвучало очень по-детски и хорошо.

Она в его присутствии таяла и все спрашивала меня: какая у него жена, какой он человек?

На свою беду в Замятина влюбилась Ирина Карнаухова, которой, как она объяснила, надоело девичество. Еще до встречи с Софией Владимировной Замятин пошел с ней на берег ночью, и хотел поцеловать, а она (сама не знает почему) вырвалась и потом очень жалела. Плакала и говорила подруге: хочу Замятина. У, какой он гадкий! А он, после того как она вырвалась, — отвернулся от нее и «казнил равнодушием». Также неравнодушна была к Замятину и внучка Толстого Соня Сухотина — Сонька мохнатая нога.

Роман Замятина «Мы» мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме. Все язвительное, что Замятин говорит о будущем строе, бьет по фурьеризму, который он ошибочно принимает за коммунизм. А фурьеризм «разносили» гораздо талантливее, чем Замятин: в одной строке Достоевского больше ума и гнева, чем во всем романе Замятина.

13 октября. Был я вчера у Анны Ахматовой. Застал О. А. Судейкину в постели. Лежит изящная, хрупкая — вся в жару. У нее вырезали кисту под местной анестезией. Теперь температура высокая, и крови уходит много. Она прелестно рассказывала об операции. «Когда действие анестезии кончилось, заходили по моей ране опять все ножи и ножницы, и я скрючилась от боли». При мне она получила письмо от Лурье (композитора), который сейчас в Лондоне. Это письмо взволновало Ахматову. Ахматова утомлена страшно. В доме нет служанки, она сама и готовит, и посуду моет, и ухаживает за Ольгой Афанасьевной, и двери открывает, и в лавочку бегает. «Скоро встану на четвереньки, с ног свалюсь».

Она потчевала меня чаем и вообще отнеслась ко мне сердечно. Очень рада — благодаря вмешательству Союза она получила 10 фунтов от своих издателей — и теперь может продавать новое издание своих книг. До сих пор они обе были абсолютно без денег — и только вчера сразу один малознакомый человек дал им взаймы 3 червонца, а Рабинович принес Анне Андреевне 10 фунтов стерлингов. Операцию Ив. Ив. Греков производил бесплатно. У Ахматовой вид кроткий, замученный.

— Летом писала стихи, теперь нет ни минуты времени.

Показывала гипсовый слепок со своей руки. «Вот моя левая рука. Она немного больше настоящей. Но как похожа. Ее сделают из фарфора, я напишу вот здесь: «моя левая рука» и пошлю одному человеку в Париж».

Мы заговорили о книге Губера «Донжуанский список Пушкина» (которой Ахматова еще не читала).

— Я всегда, когда читаю о любовных историях Пушкина, думаю, как мало наши пушкинисты понимают в любви. Все их комментарии — сплошное непонимание (и покраснела).

О Сологубе:

— Очень непостоянный. Сегодня одно, завтра другое... Павлик Щеголев (сын) говорит, что он дважды спорил с Сологубом о Мережковском — в субботу и в воскресенье. В субботу защищал Мережковского от Сологуба, а в воскресенье напал на Мережковского, которого защищал Сологуб.

Мурка забавна. Лежит на диване. Я налетел на нее, будто хочу поколотить. — «Дулак!» — и сейчас же испугалась: «Это я дивану. Теперь ты меня не по*лок*отишь?»

Приехал Тихонов, бегу узнать, чем кончилась его пря с Ионовым.

14 октября. Воскресение. «Ветер что-то удушлив не в меру»* — опять как три года назад. На лицах отчаяние. Осень предстоит тугая. Интеллигентному пролетарию зарез. По городу мечутся с рекомендательными письмами тучи ошалелых людей в поисках какой-нибудь работы. Встретил я Клюева, он с тоской говорит: «Хоть бы на ситничек заработать!» Никто его книг не печатает. Встретил Муйжеля, тот даже не жалуется, — остался от него один скелет, суровый и страшный. Кашляет, глаз перевязан тряпицей, дома куча детей. Что делать, не знает. Госиздат не платит, обанкротился. В книжных магазинах, кроме учебников, ничего никто не покупает. Страшно. У меня впереди — ужас. Ни костюма, ни хлеба, управление домовое жмет, всю неделю я бегал по учреждениям, доставая нужные бумаги, не достал. И теперь сижу полураздавленный. — А кругом анекдоты, более или менее дурацкие. — Что ты делаешь? Подъевреиваю трамвай (так как запрещено слово жид, нельзя сказать под*жид*аю).

Суббота 21 октября[1]. В этот понедельник сдуру пошел к Сологубу. Старик болен, простужен, лежал злой. У него был молодой

[1] В октябре 1923 года суббота — 20-го.

поэт, только что из Тифлиса, Тамамшев — а потом Юрий Верховский. Сологуб говорил, что писатель только к ста годам научается писать. «До ста лет все только проба пера. Возьмите Толстого. «Война и мир» — сколько ошибок. «Анна Каренина» — уже лучше. А «Воскресение» совсем хорошо». Он сильно осунулся, одряхлел, гости, видимо, были ему в тягость. За чаем он очень насмешливо отнесся к стихам Ю. Верховского. Говорил, что они подражательны, и про стихотворение, в котором встречается слово «глубокий», сказал: «Это напоминает «вырыта заступом яма глубокая»*; хотя кроме этого слова ничего общего не было. Подали конфеты — «Омские». Хозяйка (сестра Чеботаревской) рассказала, что у них в доме открылась кондитерская под названием «Омская», хотя в Омске хлеб ничем не знаменит. Сологуб вспомнил Омск: «Плоский город — кругом степь. Пыль из степи — год, два, сто лет, вечно — так мирно и успокоительно засыпает весь город. Я остановился там в «гостинице для приезжающих». Ночью мне нужно было укладываться. Электричества нет. Зову полового. Почему нет электричества? — Хозяин велел выключить. — Почему? — У нас всегда горит до часу. А теперь два. — Да мне нужно укладываться. — Хозяин не велел. — Дурень, а читал ты вывеску своей гостиницы? Там написано — не «гостиница для хозяина», а «гостиница для приезжающих». Я — приезжающий, значит, гостиница для меня». Аргумент подействовал, и Сологуб получил свет.

Верховский — нудный человек, говорит все банальные вещи. Он совсем раздавлен нуждою, работает для «Всемирной», но ему не платят, а в доме живет свояченица без места и т. д. О свояченице он говорит «мояченица». Кто-то произнес слово «теща», и Сологуб вспомнил свой недавний экспромт:

Теща, теща,
Будь попроще:
С Поликсенкою
Не спорь теперь,
А не то поддам тебе коленкою
И за дверь.

Придрался к одной строчке стихотворений Тамамшева, где сказано: *стройноногая,* и долго пилил поэта: «Можно сказать о стане, о туловище *стройный,* а о руке или ноге этого сказать нельзя». Верховский напомнил ему Пушкина, напрасно! Он поучительски, тягуче, уныло канителил, что нельзя ноги называть стройными: стройно то, что статично, — а ноги можно назвать быстрыми, легкими, но не стройными...

Очень я пожалел, что пошел к старику; поджидая трамвая, простудился, слег и провалялся ровно неделю. Отныне кончено — никуда не хожу. Сижу дома и замаливаю грехи крымские.

24 окт., среда. В субботу был у меня Замятин. В воскресение я был у него. Он жалуется на изобилие женщин. Положение у него такое: он влюблен в Софью Владимировну Страхову, крымскую барышню, которая сейчас в Москве. Здесь у него другая Софья, с которой он около года в связи. В Нижнем жена, которая знает о Софии 1-й. Сейчас он написал ей о Софии II.

Я уговаривал его не писать, но он хочет разойтись с женой. И ужасает его только одно: что, если приедет из Екатеринослава Марпетри (Марья Петровна, с которой у него была «любовь» в августе в Коктебеле).

Клячко — хлопоты о «Муркиной книге». Мурка каждый день спрашивает: «Когда будет готова *моя* книга?» Она знает «Муху Цокотуху» наизусть и вместо:

Муху за руку берет
И к окошечку ведет —

читает:

Муху за руку берет
И к Кокошеньке ведет.

Заседание во «Всемирной» вчера — потом с Замятиным обедать к Клячке. Ничего не делаю — разучился.

24 октября. В ужасном положении Сологуб. Встретил его во «Всемирной» внизу; надевает свою худую шубенку. Вышли на улицу. Он, оказывается, был у Розинера, как я ему советовал. Розинер наобещал ему с три короба, но ничего у него не купил. Сологуб подробно рассказал о своем разговоре с Розинером. И потом: «Он дал мне хорошую идею: переводить Шевченко. Я готов. Затем и ходил во «Всемирную» — к Тихонову. Тихонов обещает похлопотать, чтоб разрешили. Мистраля, которого я теперь перевожу, никто не покупает. Я перевел уже около 1000 стихов. Попробую Шевченка. Не издаст ли Розинер, спросите». Мне стало страшно жаль беспомощного, милого Федора Кузмича. Написал человек целый шкаф книг, известен и в Америке, и в Германии, а принужден переводить из куска хлеба Шевченку. «Щеголев дал мне издание «Кобзаря» — попробую. Не знаете ли, где достать львовское издание?»

Мурке сказали, что она заболеет, если будет есть так мало. Она сейчас же выпила стакан молока и спросила: «А теперь я не умру?»

Лида в ажиотаже: у них заседание...

Я попросил Тамару принести мне воды для лекарства. Она пошла и принесла. — Где вы взяли? — На пианино. — Но ведь на пианино кувшин *с маленькими живыми рыбками*. — Я не заметила.

Я, чтобы согреться, бегаю вокруг стола.

Мура: За *ковом* (кем) ты бегаешь?

28 окт., воскр. Был у меня вчера поэт Колбасьев. Он рассказывал, что Никитин в рассказе «Барка» изобразил, как красные мучили белых. Нечего было и думать, чтобы цензура пропустила. Тогда он переделал рассказ: изобразил, как белые мучили красных, — и заслужил похвалу от Воронского и прочих.

У Анны Ахматовой я познакомился с барышней Рыковой. Обыкновенная. Ахматова посвятила ей стихотворение: «Все разрушено» и т. д. Критик Осовский в «Известиях» пишет, что это стихотворение — революционное, т. к. посвящено жене комиссара Рыкова*. Ахматова хохотала очень.

30 октября (т. е. 17 октября, годовщина манифеста)*. Идет снег, впервые в этом году. А вчера была хорошая погода, солнце, и мы с Мурой гуляли на улице — возле садика, следя, как красиво, без ветра — с деревьев падают совершенно зеленые листья. Я пишу о Горьком — не сплю 2 ночи. Сегодня в издательстве «Петроград» я встретил Сологуба. Он жалок, пришел получить один червонец, ему обещали прислать завтра. Я взял его к Клячко. Клячко заказал ему детскую книжку и обещал завтра прислать 3 червонца. Старик просиял, благодарил. Клячко читал ему стихи Федорченко. Я сказал: вот хорошо, у вас будет Федорченко, будет Федор Сологуб... Сологуб сказал: все Федоры будут у вас. По дороге он своим отчетливым учительским голосом рассказал мне, что его свояченица Ольга Николаевна (сестра Чеботаревской) уезжает в отпуск и что ей выдали деньги совзнаками — и что теперь как раз кстати эти три червонца.

Я Муре рассказывал о своем детстве. Она сказала:

— А я где была?

И сама ответила:

— Я была нигде.

И посмотрела на небо.

Мура поет:

И сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как три тетки.

Иногда она говорит две тетки.

С Клячко Сологуб был очень точен: обещал сказку изготовить к 3-му декабря, понедельнику, к четырем часам.

Мура: Ой какая шоколадная дверя! — и ест дверь.

— А когда красивая погода будет?

7 ноября. Годовщина революции. Кончил только что статью о Горьком*. Понесу к переписчице. Вчера устраивал в Госиздате «Детское утро». Читал свою «Муху» и «Чудо-дерево» — и, должно быть, имел бы успех, если бы на свою голову не позвал в качестве участников — музыкальных эксцентриков Каролини и фокусника Пастухова. Дети пришли в такое возбуждение от этих сенсаций, что слушали стихи вяло, еле-еле... Сейчас держу корректуру «Муркиной книги». Часть рисунков Конашевича переведены уже на камень. Я водил вчера Мурку к Клячко — показать, как делается «Муркина книга». Мурку обступили сотрудники, и Конашевич стал просить ее, чтобы она открыла рот (ему нужно нарисовать, как ей в рот летит бутерброд, он нарисовал, но непохоже). Она вся раскраснелась от душевного волнения, но рта открыть не могла, оробела. Потом я спросил ее, отчего она не открыла рта:

— Глупенькая была.

У Анненковых в доме трагедия. Анненков уже пять лет находится в связи с артисткой Тиной Мотылевой, которая в таком приукрашенном виде изображена у него в книге «Портреты»*. Жена Анненкова, кроткая глуховатая Леночка, знала это, но не очень волновалась. — Главное, духовная связь! — говорила она себе. Но Анненков, после московских успехов, прочно сошелся с Тиной, Тина стала называть себя в Москве его женою, и вот неделю назад Анненков заявил Леночке, что он женится на Тине. Леночка в великой тоске. Была у нас. Плакала. «Я эту Тину приютила, отдала ей последнюю рубаху, а она... курит эфир... разоряет Юру, требует у него денег... он с Кавказа послал ей туфли... разве она любит его так, как я... денег я от него не хочу, ни за что, ни копейки... Он говорит, что он дарит мне свою мебель, ту, которая у нас в квартире, но ведь эта мебель не его, эту мебель нам дали на время знакомые... Но я его люблю, всю эту ночь мы с ним составляли каталог его картин... Я плачу и он плачет... Он говорит: я тебя люблю, а та меня околдовала... Ту я ненавижу... Ты знаешь: возьми со стены ее портрет и повесь в клозете... Там ей настоящее место... И знаешь что: когда я буду приезжать в Питер, ты будешь моей любовницей... Я ни за что, ни за что... Хотя я его так люблю, так люблю...»

А Юрочка потолстел, франтит, завален заказами.

Мы очутились с Мурой в темной ванной комнате; она закричала: «Пошла вон!» Я спросил: «Кого ты гонишь?» — «Ночь. Пошла вон, ночь».

Мурка плачет: нельзя сказать «туча по небу идет», у тучи ног нету: нельзя, не смей. И плачет.

Поет песню, принесенную Колей:

Ваня Маню полюбил,
Ваня Мане говорил:
Я тебя люблю,
Дров тебе куплю,
А дрова-то все осина,
Не горят без керосина,
Чиркай спичкой без конца,
Ланца дрица цы ца ца!

И говорит: «Он ее не любит, плохие дрова подарил ей».

Лида сказала Муре, пародируя маршаковский «Пожар»:

Мать на рынок уходила,
Дочке Муре говорила:
Печки, Мурочка, не тронь,
Жжется, Мурочка, огонь.

Мура послушала и сказала: так нельзя говорить. — Почему? — «Потому что дальше будет:

Стало страшно бедной Лене,
Лена выбежала в сени, —

а если ты скажешь:

Стало страшно бедной Муре,
Мура выбежала в сени, —

то будет некрасиво». — Словом, она сообразила, что Лидин вариант, в дальнейших строках лишит это стихотворение рифмы! А ей 3 $^{1}/_{2}$ года.

Ноябрь 14, 1923, среда. Был вчера у Ахматовой. Она переехала на новую квартиру — Казанская, 3, кв. 4. Снимает у друзей две комнаты. Хочет ехать со мною в Харьков. Теплого пальто у нее нет: она надевает какую-то фуфайку «под низ», а сверху легонькую кофточку. Я пришел к ней сверить корректуру письма Блока к ней — с оригиналом. Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке — карточки Гумилева, книжки, бумажки и пр. «Вот редкость» — и показала мне на французском

языке договор Гумилева с каким-то французским офицером о покупке лошадей в Африке. В комоде — много фотографий балерины Спесивцевой — очевидно, для О. А. Судейкиной, которая чрезвычайно мило вылепила из глины для фарфорового завода статуэтку танцовщицы — грациозно, изящно. Статуэтка уже отлита в фарфоре — прелестная. «Оленька будет ее раскрашивать...» Со мною была Ирина Карнаухова. Так как Анне Андреевне нужно было спешить на заседание Союза Писателей, то мы поехали в трамвае № 5. Я купил яблок и предложил одно Ахматовой. Она сказала: «На улице я есть не буду, все же у меня — «гайдуки»[1], а вы дайте, я съем на заседании». Оказалось, что в трамвае у нее не хватает денег на билет (трамвайный билет стоит теперь 50 миллионов, а у Ахматовой всего 15 мил.). «Я думала, что у меня 100 мил., а оказалось десять». Я сказал: «Я в трамвае широкая натура, согласен купить вам билет». — «Вы напоминаете мне, — сказала она, — одного американца в Париже. Дождь, я стою под аркой, жду, когда пройдет, американец тут же нашептывает: «Мамзель, пойдем в кафе, я угощу вас стаканом пива». Я посмотрела на него высокомерно. Он сказал: «Я угощу вас стаканом пива, и знайте, что это вас ни к чему не обязывает».

В Союзе решается дело о Щеголеве и Княжнине*. Щеголев сдавал Княжнину работу от Госиздата, причем на подряде сам прирабатывал толику. Ахматову очень волнует это дело. «Ах, как неприятно... Какие вскрылись некрасивые подробности».

Придя во «Всемирную», я застал там Житкова, которого и свел с Замятиным. Житков, мой кумир в детстве, теперь оказался каким-то капитаном Копейкиным.

Во «Всемирной». Я неожиданно получил 25 тысяч, что-то около 3-х червонцев. Прохожу мимо Сологуба. Он спрашивает: «Не знаете ли, где достать денег, нужно 48 рублей *на крышу*». Я отдал ему все свои деньги. Он обещал к будущему вторнику возвратить.

Написал Анненкову письмо — чтобы не смел жениться на Мотылевой: жалко Леночку. Пойду скажу Житкову, чтобы не приходил: М. Б. больна, у нас стирка, уж какие там гости.

18 ноября 1923, воскресение. Сейчас обнаружилось, что на чердаке украли все белье, мое, детское, все, все. Остались мы к зиме голыми. — Очень огорчают меня рисунки Конашевича к «Муркиной книге».

[1] «Гайдук» упоминается в ее стихах о царе. Теперь критики, не зная, о ком стихи, стали писать, что Ахматова сама ездит с гайдуками. — *К. Ч.*

20 ноября, вторник. Мокрый снег, гнусь. Мурка размышляет о смерти (сидя в ванной, покуда я умываюсь): А когда я умру, домик и кукла останутся? — Да. — А кто же будет в них играть? — А твоя дочка. — А когда моя дочка умрет? — Дочка твоей дочки. — Вот хорошо.

Редактирую Свифта — так как надо заработать на покупку белья. Пробую приступиться к статье об Алексее Толстом. Вчера из типографии получил в готовом виде 3-е издание «Мойдодыра» и «Тараканища».

21 среда. Видел вчера Сологуба. Он возвратил мне взятые у меня деньги. Справился в книжечке: в прошлый вторник курс червонца был столько-то, за эту неделю — вырос на столько-то, вы дали мне столько-то, возвращаю столько-то. «Я сегодня вообще плачу долги, заплатил Ал. Толстому, своей племяннице, всем. Вы дали мне хорошую идею — я у всех взял по частям. Не только то важно, что вы дали деньги, но и то, что вы толкнули меня — взять и у других. Иначе я не уплатил бы в срок и мне пришлось бы платить пеню». Отчетливо мыслит старик — почти как Блок. Тот был еще отчетливее. Нужно было заплатить мне столько-то миллиардов плюс 15 миллионов — 15 миллионов сейчас — одна копейка с третью. Я говорил ему «не надо», он долго искал в кармане — взял у меня сто рублей и дал мне 85 мил. сдачи.

Маршак говорит, что Ирина Миклашевская очень хорошую написала музыку на мой «Бутерброд». Конашевич принес пробный рисунок *к* «Мухе Цокотухе». Очень хороший, против ожидания. Сидят насекомые и пьют чай.

В городе удивительно много закрытых магазинов. Единственная выгодная профессия — живописцы вывесок. Их то и дело зовут замазать одну вывеску, написать другую, которую придется через недели две снова замазать. У нас новая служанка Федора — девица с преувеличенными формами.

22 ноября. Четверг. Был вчера у Кини. Он был с женою в Италии, и теперь приехал — именно вчера. Я посетил его в его студенческой столовой (Kitchen), которую он устроил на Никольской ул. № 1, в особняке, стоящем в стороне от остальных зданий. Студенты и студентки идут туда со всех сторон — по двое, по трое, чинно, задумчиво, тихо — покушают и уходят. Пахнет кухней и свежей краской. Кини предложил мне пойти к нему — почитать, посидеть с его женой — он придет, и мы поговорим. Жена его и после Венеции, после Рима, после Капри осталась все такая же insignificant[1].

[1] незначительная *(англ.)*.

1923 Ординарные слова, готовые фразы, по поводу всего — банальные клише. Тосковала в Италии по самовару, «по своему русскому самовару», а Неаполь — грязный, ужасно грязный, и все — такие лентяи. «Русская грязь имеет оправдание: революция, но грязь итальянцев непростительна». Оказывается, что она посылала мне открытки, но я этих открыток не получил. Привезла Лидочке — кораллы из Капри (увы, увы, я потерял эти кораллы в трамвае). Я сел на диванчик и стал читать новые номера «Observer'a». Там есть очень симптоматическая статья о торговле с Россией, очень благожелательная, приветствующая возникновение Англо-Русского Торгового общества. Между строк читаешь, что и англичанам приходится круто.

Перелистал я новые номера «London Mercury» — каждая статья интересна. Скоро пришел Кини. Насвистывая, читал и, читая, разговаривал. Сказал, что ему из Америки прислали 200 долларов для семьи Мамина-Сибиряка, а он не может эту семью разыскать. Что у него теперь дела с Kitchen отлично, так как он купил наши червонцы в Лондоне — на 10% дешевле, русское правительство (он говорит: Kremlin) идет ему навстречу, он скупил у «Ары» целые вагоны сахара — словом, все превосходно. В Питере он кормит сравнительно немного студентов, но в Москве — огромное множество. Я заговорил о том, что очень нуждается Анна Ахматова и Сологуб. Он сказал, что у него есть средства — специально для такой цели, и обещал им помочь. Потом мы пообедали, и я мирно уехал домой.

Сегодня прочитал книжку «London Mercury», с упоением. Особенно понравилась статья о Leslie Stephen'е и сам Leslie Stephen, на которого я страшно хотел бы походить.

23 ноября. Весь вчерашний день ушел на расклейку «Муркиной книги». В последнюю минуту спохватился, что не хватает двух рисунков. Но в общем книга лучше, чем казалась. Очень приятно наклеивать рисунки — в этом что-то праздничное.

24 ноября. С утра посетители: Карнаухова — взяла зачем-то Диккенса. Молодой поэт Смелков — взял книг 15. Житков — завтракал, взял $1\,{}^{1}\!/_{2}$ миллиарда, ему, бедному, на трамвай не хватает. Был Вознесенский — взял у меня обещание, что я буду читать в его киностудии лекции. Я обещал — давал — угощал — слушал — и думал: не нужны мне эти люди, не нужны. Был в Госиздате. Узнал от Белицкого, что арестован Замирайло. Говорит Белицкий, что у него дело серьезное. Я просил Житкова — чтобы он попросил Мишу Кобецкого похлопотать. У Замирайлы взяты при обыске рукописи моих

сказок и сказка Блока, которую я отыскал среди его бумаг. Из Госиздата к Ахматовой. Милая — лежит больная. Невроз солнечного сплетения. У нее в гостях Пунин. Она очень возмущена тем, что для «Критического сборника», затеваемого издательством «Мысль», Иванов-Разумник взял статью Блока, где много нападков на Гумилева. — Я стихов Гумилева не любила... вы знаете... но нападать на него, когда он расстрелян. Пойдите в «Мысль», скажите, чтобы они не смели печатать. Это Иванов-Разумник нарочно...

В Харьков она ехать хочет.

Лида: Мура, иди сюда! — Я стираю белье. — Иди сюда стирать! — А как же я море возьму. — Море нельзя взять ведь.

25 ноября, воскресение. Лида заболела, лежит в постели. У Муры что-то сделалось с глазами. Погода на улице подлая: с неба сыплется какая-то сволочь, в огромном количестве, и образует на земле кашицу, которая не стекает, как дождь, и не ссыпается в кучи, как снег, а превращает все улицы в сплошную лужу. Туман. Все, кто вчера выходил, обречены на инфлуэнцу, горячку, тиф. Конашевич болен: приезжала из Павловска его жена — с этим известием. «Мухина свадьба» застряла. У Клячки нет денег. Я поехал к Розинеру, так как узнал, что из Москвы к нему приехал Сытин. Розинер болен — у него болит сердце. Он мелочно и вздорно капризничает; я уехал от него и по дороге зашел к Ахматовой. Она лежит, — подле нее Стендаль «De l'amour»[1]. Впервые приняла меня вполне по душе. «Я, говорит, вас ужасно боялась. Когда Анненков мне сказал, что вы пишете обо мне, я так и задрожала: пронеси Господи». Много говорила о Блоке. «В Москве многие думают, что я посвящала свои стихи Блоку. Это неверно. Любить его как мужчину я не могла бы. Притом ему не нравились мои ранние стихи. Это я знала — он не скрывал этого. Как-то мы с ним выступали на Бестужевских курсах — я, он и, кажется, Николай Морозов. Или Игорь Северянин? Не помню. (Потому что мы два раза выступали с Блоком на Бестужевских — раз — вместе с Морозовым, раз вместе с Игорем. Морозова тогда только что выпустили из тюрьмы...) И вот в артистической — Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: «Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах». А я дерзкая была, и говорю ему: — «Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни...» Потом подали автомобиль. Блок опять хотел заговорить о стихах, но с нами сел какой-то юноша-студент. Блок хотел от него отвязаться: «Вы можете простудить-

[1] «О любви» *(франц.)*.

ся», — сказал он ему (это в автомобиле простудиться!). «Нет! — сказал студент, — я каждый день обливаюсь холодной водой... Да если бы и простудился — я не могу не проводить таких дорогих гостей!» Но, конечно, не знал, кто́ я. «Вы давно на сцене?» — спросил он меня по дороге».

Я собираю народные песенки для отдельной книжки. Очень трудная работа. (Пятьдесят поросят.) Был вчера у Розинера, видел Сытина. Его не пускают в Америку. «Оно и лучше», — говорит он. — Жалуется на ужасное положение книжного рынка. Никто в Москве денег не дает, спорят не о цене, а о сроке векселя. Оказалось, что у Розинера сердце здоровое, и он напрасно наводил тень.

В Крыму я узнал, что умер Лемке, и все же пожалел о нем. Он был из породы Степанов: груб, самодоволен, туп во всем, что имеет отношение к искусству, психологии и т. д., но он был работяга и любил свою работу до упоения. Он почти ничего не знал, но то, что он знал, он знал.

27 ноября. Понедельник[1]. Был у Сологуба. Сологуб говорил, что у него память слабеет. «Помню давнишнее, а что было вчера, вылетает из головы». — «Это значит, — сказал я, — что вы должны писать мемуары». — «Мемуары? Я уже думал об этом. Но в жизни каждого человека бывают такие моменты, которые, будучи изложены в биографии, кажутся фантастическими, лживыми. Если бы я, напр., описал свою жизнь правдиво, все сказали бы, что я солгал. К тому же я разучился писать. Не знаю, навсегда это или временно. Сначала в молодости я писал хорошей прозой, потом поддался отвратительному влиянию Пшибышевского и стал писать растрепанно, нелепо. Теперь — к концу — стараюсь опять писать хорошо. Лучшая проза, мне кажется, у Лермонтова. Но биографии писать я не стану, т. к. лучше всего умереть без биографии. Есть у меня кое-какие дневники, но когда я почувствую, что приближается минута смерти, — я прикажу уничтожить их. Без биографии лучше. Я затем и хочу прожить 120 лет, чтобы пережить всех современников, которые могли бы написать обо мне воспоминания.

У него есть учительская манера — излагать всякую мысль дольше, чем это нужно собеседнику. Он и видит, что собеседник уловил его мысль, но не остановится, закончит свое предложение.

— Купил Тредьяковского сегодня. Издание Смирдина. Хороший был писатель. Его статьи о правописании, его «Остров любви» да и «Телемахида»... — И он с удовольствием произнес:

[1] В ноябре 1923 понедельник — 26-го.

– Как хорошо это *лаяй*! – сказал я. – Жаль, что русское причастие не сохранило этой формы. Окончания на *щий* ужасны.

– Да, вы правы. У меня в одном рассказе написано: «Пролетела каркая ворона». Не думайте, пожалуйста, что это деепричастие. Это прилагательное. – Какой ворон? – *каркий*. – Какая ворона? – *каркая*. Есть же слово: палая лошадь.

Потом мы пошли с ним обедать. Обед жидковатый, в комнате холодно. Впрочем, Сологуб отличается страшно плохим аппетитом. Похлебал немного щей – вот и все. Вернувшаяся из Москвы Александра Ник. Чеботаревская рассказывает, что в тамошней Кубé очень дешевые обеды: 30 коп. Сологуб сказал: «Мне это дорого. Да я на 30 коп. и не съем. В Царском я плачу дешевле». Потом он повел меня к своей маленькой внучке – дочери одной из сестер Анаст. Ник. Чеботаревской. Девочке 2 $^{1}/_{2}$ года, а она знает наизусть «Крокодила», «Мойдодыра», «Тараканище» и «Пожар» Маршака. Страшно нервная девица. Зовет дедушку «Кузьмич». Был у меня Финк, зовет в Москву читать лекцию. Мы сидим без денег. Я сейчас иду в Кино и к Ионову.

28 ноября. Сологуб читает Одоевского «Русские ночи» – и очень хвалит: «Теперь так не пишут: возьмите «Noctes»[1] Карсавина, какая дрянь».

Вчера в поисках денег забрел я в Севзапкино. Там приняли меня с распростертыми объятьями, но предложили несколько «переделать» «Крокодила» – для сценария – Ваню Васильчикова сделать комсомольцем, городового превратить в милиционера. Это почему-то меня покоробило, и я заявил, что Ваня – герой из буржуазного дома. Это провалило все дело – и я остался без денег. Тогда я побежал в Госиздат. К Белицкому, – Белицкий уехал в банк. К Ионову: «уехал в типографию». К Горлину – ничего не вышло... К Ангерту – он дал мне 40 рублей авансом под «Doctor Dolittla». При этом был горячий разговор о «Всемирной». Я стоял за «Всемирную» горой, хотя и не знаю, почему, собственно. Из Госиздата во «Всемирную» на заседание – там Волынский, который написал обо мне в «Жизни Искуства» на днях ругательную статью*, был особенно со мною ласков и, отведя меня в сторону, участливо сказал: «Я знаю, что вы хотите попасть в Севзапкино. Я в хороших отношениях со Сливкиным и, если вам угодно, помогу вам»*. Я горячо благодарил Акима Львовича.

[1] «Ночи» (*лат.*).

29 ноября. Видел вчера Ионова — он в веселом настроении. «Покажу вам, как я надул Москву, выудил у нее сочинения Ленина, смотрите». И показал мне полочку, висячую, на которой в ряд было установлено штук тридцать хорошо переплетенных томов. «Вот! Когда я услышал, что Москва хочет напечатать Ленина, я приказал изготовить такую полку, взял макулатуру, переплел в коленкоровые переплеты и повез макетки в Москву. Там так и ахнули. И я получил заказ!»

Неправда ли, по-американски?

Вчера начали переводить на камень рисунки к «Муркиной книге». Я сегодня все утро составлял для Розинера сборник детских народных песен. Это — очень трудно. «Doctor Dolittle» принят. Поспеть бы достать денег, чтобы послать маме. Мама скоро именинница. Сегодня в пять буду у Кини: кажется, удастся достать денег для Ахматовой и Сологуба.

3 декабря 1923. Понедельник. Был я вчера у Кини: хлопотал о четырех нуждающихся: Орбели, Муйжеле, Сологубе, Ахматовой. Встретил у него — перед камином — длинноусого бездарного Владимирова, которому они привезли из Варшавы кистей и красок — в подарок. Он рассказал им анекдот из современной жизни. Теперь каждый коллекционер картин прячет свои картины подальше, снимает их со стен, свертывает в трубочку, так как боится фининспектора, требующего, чтобы буржуи платили налоги. И вот один господин, у которого есть подлинная картина Айвазовского, очень больших размеров, позвал к себе Владимирова и попросил его покрыть подпись «Айвазовский» гуммиарабиком, а сверху красками написать: «Копия с Айвазовского», дабы обмануть фининспектора. До сих пор происходило обратное: на копиях писали: Айвазовский.

Очень пламенно прошло наше заседание в пятницу, посвященное «Всемирной Литературе» и распре с Ионовым. Ионов, зная, что теперь дело зависит от членов коллегии, стал ухаживать за мною — очень: подарил мне несколько книг, насулил всяких благ. Тихонов тоже был ласков до нежности. Он вернулся из Москвы, рассказывает: «Видел я Лебедева-Полянского, главного цензора. Он спросил меня, что говорят о цензуре. Я ответил: «Плохо говорят, прижимаете очень». Он говорит: это выдумка, просмотрите наши книги, вы увидите, что число задержанных нами рукописей ничтожно». Тихонов стал смотреть и увидел такую строчку: *не печатать ввиду идеалистического уклона.* Немного ниже была такая строка: «*не печатать вследствие мистического уклона*». Когда он посмотрел, к кому относятся эти строки, он увидел, что первая имеет в виду книгу Луначарского, вто-

рая — книгу Бонч-Бруевича (о сектантах). Хлопоча об облегчении цензурных тягот, Тихонов говорил с Каменевым. Каменев сказал: «Вы все анекдоты рассказываете. А вы соберите факты, я буду хлопотать, непременно». Неужели он не знает фактов? Перевожу доктора Дулиттла. Приехал из Москвы Гиллер и говорит, что на «Мойдодыра» такой спрос, что к Рождеству вряд ли хватит третьего издания.

Мура Лиде: «Знаешь, когда темно, кажется, что в комнате звери». Мура сама себе: «Тебе можно сказать: дура?» — «Нет, нельзя». Сама же отвечает: «Можно, можно, ты не мама».

4 декабря. Ездил вчера с Кини по делам благотворительности. Первым долгом к Ахматовой. Встретили великосветски. Угостили чаем и печеньем. Очень было чинно и серьезно. Ольга Афанасьевна показывала свои милые куклы. Кини о куклах: «Это декаданс; чувствуется скрещение многих культур; много исторических реминисценций»... Чувствуется, что О. А. очень в свои куклы и в свою скульптуру верит, ухватилась за них и строит большие планы на будущее... Ахматова была смущена, но охотно приняла 3 червонца. Хлопотала, чтобы и Шилейке дали пособие. Кини обещал.

Оттуда к Сологубу. У Сологуба плохой вид. Пройдя одну лестницу, он сильно запыхался и, чтобы придти в себя, стал поправлять занавески (он пришел через несколько минут после нас). Когда я сказал ему, что мы надеемся, он не испытает неловкости, если американец даст ему денег, он ответил длинно, тягуче и твердо, как будто издавна готовился к этой речи:

— Нельзя испытать неловкости, принимая деньги от Америки, потому что эта великая страна всегда живет в соответствии с великими идеалами христианства. Все, что исходит от Америки, исполнено высокой морали.

Это было очень наивно, но по-провинциальному мило. От Сологуба мы по той же лестнице спустились к Ал. Толстому. Толстой был важен, жаловался, что фирма Liveright [не] уплатила ему следуемых долларов, и показал детские стишки, которые он написал, «так как ему страшно нужны деньги». Стишки плохие. Но обстановка у Толстого прелестная — с большим вкусом, роскошная — великолепный старинный диван, картины, гравюры на светлых обоях и пр. Дверь открыла мне Марьяна, его дочь от Софьи Исааковны — очень повеселевшая...

Мороз стоял жестокий. Ветер. От Толстого я отправился к Розинеру, оттуда к Чехонину. Чехонин согласился иллюстрировать мою книгу «Пятьдесят поросят», после чего я отчетливо и откровенно сказал ему, почему не нравятся мне его рисунки к «Тарака-

нищу». Он принял мои слова благодушно и согласился работать иначе. После этого я вернулся домой — и обедал в $^1/_2$ 12 ночи. Конечно, не заснул ни на минуту.

5 декабря 1923. Вчера Ионов не явился. Он явится послезавтра. А между тем Волынский, уже очевидно обработанный Ионовым, стал вести дело к тому, чтобы мы встретили его вежливее, ласковее и всяческими софизмами стал убеждать Коллегию, чтобы она отказалась от своего желания прочитать обидный для Ионова протокол (где наиболее резкие слова принадлежат самому Волынскому). Говорил он очень возвышенно.

— Всякий человек, поскольку я с ним говорю, есть для меня возвышенная личность. Ионов, каков бы он ни был, когда я стою перед ним лицом к лицу, есть для меня Сократ и Христос...

Но Коллегия с этим не согласилась, и Замятин очень язвительно спросил Волынского, не намерен ли Волынский встретить Ионова такой же приветственной речью, какою он встретил Мещерякова. Очень резко говорил Алексеев. Я предложил такое: чтобы Волынский не читал протокол в самом начале — а прочел бы его тогда, когда найдет удобным, но прочитал бы непременно.

Мурка у Коли (Коля читает и старается отделаться от нее), указывая на висящую на стене географическую карту Европы:

— Это зверь?

— Нет, это Европа.

— А зачем же у него ножка? (Указывает на Италию.)

— Это не зверь, а география.

Мура смешала слово география с типографией.

— Я географии боюсь. Я там плакала, потому что там шум.

— Нет, Мурочка, география — это такая наука.

Мура трогает Лиду за грудь и говорит: булочка.

9 декабря 1923. Был вчера у Клячко. Он обезумел от безденежья. Пустился во все тяжкие — издал 12 книг, а денег ниоткуда. «Муркина книга» вышла, завтра будет послано в Москву 500 экз., если литограф Горюнов выпустит книгу, не получив по счетам. Клячко прячется от кредиторов и, заслышав звонок телефона, просит сказать, что его нет дома. Мне от этого не легче. Он должен мне около 50 червонцев.

От него к Монахову. Монахов ласков, красив, одет джентльменски. В квартире актерская безвкусица: книги в слишком хороших переплетах, картинки в слишком хороших рамах. Чувствуется, что это не просто квартира, а «гнездышко». Его жена Ольга Петровна — крупная, красивая, добродушная, в полной

гармонии с ним, и он этой гармонией счастлив. Вообще, он счастлив бытием, собою, всеми процессами жизни. Такие люди умываются с удовольствием, идут в гости с удовольствием, заказывают костюм с удовольствием. Предлагает мне принять участие в их сборнике «Блок и Большой [Драматический] театр». К пятилетию театра. Я согласен, но хочу спросить актеров, какие имеются у них матерьялы. Он рассказывал, как чудно ему было в Евпатории, что он с удовольствием припекался на солнце, всласть ходил босиком, очень, очень радостно было. Приехал сюда: у нас очень канительно: назначили нам Адриана Пиотровского, ну, это человек никчемный, никакого отношения к театру не имеющий. Потом дали нам Н. В. Соловьева... Ну, это просто растяпа. Взялся он ставить Бернарда Шоу «Обращение Майл Брэстоунда» — ставит, ставит, а слова сказать не умеет. Не способен. Вот и попросили А. Н. Лаврентьева взять это дело на свою ответственность,

Вообще он очень занят театральными делами. «Готовлю роль *Обывателя** из пьесы Ал. Толстого. Пьеса ничего, но сбивчивая к концу. Не выдержана. Был я у Толстого — он такой хэ-хэ-хэ», — и Монахов рассмеялся глуповато-рассейским смехом Ал. Толстого.

Вообще в разговоре он любит *показывать* тех, о ком говорит, выходит дивно. Заговорили о каком-то профессоре-малороссе — Монахов стал говорить фальшиво-благодушным голосом лукавого и ласкового украинца: «Он очень любыть искусство и работае у ЫгорномУ клубі». Показывал также, как гуляют еврейки по пляжу в Евпатории.

Мы напились чаю, он поцеловался с Ольгой Петровной, и мы пошли с ним в театр: два шага от его квартиры. В темных закоулках лестницы он вынимал из кармана фонарик и освещал мне дорогу — с удовольствием гимназиста. Придя, он сейчас же стал гримироваться для роли Труфальдино. Никогда я не видел, чтобы какой-нибудь актер гримировался с таким удовольствием. Раньше всего он взял пластырь, приклеил его к кончику носа — и другим концом к переносице. Нос забрался кверху, изменив все выражение лица.

— Вот и хорошо! — сказал Монахов. — У меня насморк, и приятно, когда ноздри вот так.

Потом он надел курчавый парик и стал грунтовать лицо. Потом пришел «художник» и стал кистями расписывать это лицо, доставляя тем Монахову удовольствие. Я с любопытством смотрел, как один мой знакомый — у меня на глазах — превращается в другого моего знакомого, т. к. Труфальдино для меня — живое лицо, столь же реальное, как и Монахов.

1923

— Мы играем уже 72-й раз. Скоро юбилей: 75-летие «Слуги двух господ». Люблю эту роль. Весело ее играть. И всегда, играя, я переживаю ее. И знаете, там я на сцене жую хлеб, мне всегда в карман кладут кусочек хлеба, и я — за кулисами доедаю его с большим аппетитом. Ничего вкуснее я в жизни не ел, как этот кусочек хлеба!

...Ходил сегодня в ГПУ платить штраф. Я в оперетке сказал целый монолог от себя. Это запрещено, и меня оштрафовали. Пошел я платить, встретил знакомого, который прежде был там секретарем, а теперь стал чином выше. Он говорит: вы заплатить заплатите, но возьмите у них выписочку и пожалуйтесь прокурору, потому что такого закона нет, чтобы штрафовать актеров. Я пошел и спрашиваю:

— Укажите мне, пожалуйста, на основании какого обязательного постановления или закона вы штрафуете меня.

Секретарь вскинул на меня глазами.

— Уж поверьте, что мы знаем, кого и за что штрафовать.

— Но и мне хотелось бы знать. Выдайте мне бумажку, что я оштрафован вот за то-то.

Он бумажку выдал. Мой знакомый на ее основании составил жалобу прокурору, и теперь будет суд. Посмотрим.

Гримеру он говорил, что для роли Обывателя для пьесы Толстого «Бунт машин» он загримируется так, что в двух шагах нельзя будет разобрать, что это грим. Не по-театральному, без усиления красок.

10 декабря 1923 (понедельник). Был вчера у Толстого. Толстой был прежде женат на Софье Исааковне Дымшиц. Его теперешняя жена Крандиевская была прежде замужем за Волькенштейном. У нее остался от Волькенштейна сынок, лет пятнадцати, похожий на Миклухо-Маклая, очень тощий. У него осталась от Софьи Исааковны дочь Марьяна, лет тринадцати. Но есть и свои дети: 1) Никита, совсем не соответствующий своему грузному имени: изящный, очень интеллигентный, не похожий на Алексея Николаевича, и 2) Мими, или Митька, 10 месяцев, тяжеловесный, тихий младенец, взращенный без груди, с титаническим задом, типический дворянский ребенок. Тих, никогда не плачет.

Крандиевская в поддельных бриллиантах, которые Толстой когда-то привез ей из Парижа.

Сегодня именины ее Миклухо-Маклая, и она, по его требованию, надела это колье. Толстой чувствует себя в Питере неуютно. — Надоел мне этот наглый и бездарный Никитин, насточертели Майские.

Он очень хочет встретиться с Замятиным, с другими. Все просит меня, чтобы я пригласил их к себе. Денег у него сейчас нет. Пьеса «Бунт машин» еще когда пойдет, а сейчас денег нужно много. Кроме четырех детей у него в доме живет старуха Мария Тургенева, тетка. Нужно содержать восемь-девять человек. Он для заработка хочет написать что-нибудь детское. Советовался со мной. Кроме того, он надеется, что его американский издатель Boni и Liveright пришлет ему наконец деньги за его роман «Хождение по мукам».

Читал мне отрывки своей пьесы «Бунт машин». Мне очень понравились. «Обыватель» — страшно смешное, живое, современное лицо, очень русское. И, конечно, как всегда у Толстого, милейший дурак. Толстому очень ценно показать, как все великие события, изображенные в пьесе, отражаются в мозгу у дурака. Дурак — это лакмусова бумажка, которой он пробует все. Даже на Марс отправил идиота...

Потом я поехал — в страшном тумане, под дождем — к Заславскому — с мокрыми дырявыми калошами — сказать ему свое мнение о стихах Канторовича. Покойник писал стихи, вычурные, без искры; я очень тщательно исследовал их — и привез к Заславскому. У Заславского я стал читать пьесу Толстого, — пьеса всех захватила, много хохотали.

Это я пишу утром, в постели. Вдруг слышу шаги, Боба ведет Мурку; Мурка никогда так рано не встает.

— Что такое?

— Где «Муркина книга»?

Тут только я вспомнил, что три дня назад, когда Мурка приставала ко мне, скоро ли выйдет «Муркина книга», я сказал ей, что обложка сохнет и что книга будет послезавтра.

— Ты раз ляжешь спать, проснешься, потом второй раз ляжешь спать, проснешься, вот и будет готова «Муркина книга».

Она запомнила это и сегодня чуть проснулась — ко мне.

11 декабря, вторник. Был в Большом[Драматическом] театре — разговаривал с актерами о Блоке. Они обожали покойного, но, оказывается, не читали его. Комаровская вспоминает, что Блок любил слушать цыганский романс «Утро седое», страстно слушал это «Утро» в Москве у Качалова, но когда я сказал, что у Блока у самого были стихи «Седое Утро», видно было, что она слышит об этом в первый раз. Был Монахов и много говорил. Оттуда — к Розинеру. Этот маленький человечек большого роста начал выводить меня из себя. Под личиной самой искренней дружбы он высасывает из меня соки, совершенно издеваясь надо мной. Вот несколько не самых ярких примеров: взял у меня в

1923 марте для напечатания книжку о Блоке. Обещал выпустить в 10 дней на превосходной бумаге, печатает на плохой в течение 9 месяцев, — всякий раз обманывая меня. Взял у меня — для ознакомления — книгу мою о Некрасове на три дня и возвратил мне ее через 1 $^{1}/_{2}$ месяца, не прочитав, ежедневно обещая прочитать. Купил «Пятьдесят поросят», причем обещал, что деньги даст немедленно, и не дал до сих пор. Врет, врет, врет, врет и всегда говорит о себе с благоговением, как о благороднейшем человеке.

Боба спрашивает Муру:

— Кто такой Чехонин? Ты знаешь?

Мура: — Да, это Анненков.

— Кто такой Анненков?

— Это Чехонин.

— Кто же Чехонин?

— Это Клячко.

— Кто же Клячко?

— Это типография.

Мура думает, что воры — это особенные люди, признак которых вовсе не в том, что они воруют. «Боба мне рассказывал, что наше белье украли воры».

Отправил Валерию Брюсову такое письмо:

«Дорогой, глубокоуважаемый Валерий Яковлевич. Ни один писатель не сделал для меня столько, сколько сделали Вы, и я был бы неблагодарнейшим из неблагодарных, если бы в день Вашего юбилея не приветствовал Вас. Не Ваша вина, если я, ученик, не оправдал Ваших усилий, но я никогда не забуду той настойчивой и строгой заботливости, с которой Вы направляли меня на первых шагах».

Среда, 12 декабря. Сегодня высокоторжественный день моей жизни: утром рано Мура получила наконец свою долгожданную «Муркину книгу».

Вошла с Бобой, увидела обложку и спросила:

— Почему тут крест?..

Долго-долго рассматривала каждую картинку — и заметила то, чего не заметил бы ни один из сотни тысяч взрослых:

— Почему тут (на последней картинке) у Муры два башмачка (один в зубах у свиньи, другой под кроватью)?

Я не понял вопроса. Она пояснила:

— Ведь один башмачок Мура закопала (на предыдущих страницах).

Пятница, 14 декабря. Третьего дня пошел я в литографию Шумахера (Васильевский Остров, Тучков пер.) и вижу, что рисунки Конашевича к «Мухе Цокотухе» так же тупы, как и рисунки к «Муркиной книге». Это привело меня в ужас. Я решил поехать в Павловск и уговорить его — переделать все. Поехал — утром рано. Поезд отошел в 9 часов утра, было еще темно. В 10 час. я был в Павловске. Слякоть, ни одного градуса мороза, лужи и насморк в природе, и все же насколько в Павловске лучше, чем в Питере. Когда я увидел эти ели и сосны, эту милую тишину, причесанность и чинность, — я увидел, что я не создан для Питера, и дал себе слово, чуть выберусь из этого омута Розинеров и Клячек, уехать сюда — и писать.

Конашевич живет при дворце, в милой квартирке с милой женой, не зная ни хлопот, ни тревог. Чистенький, вежливый, с ясными глазами, моложавый. Я взял его с собою в город. По дороге, в поезде и в трамвае, он говорил, что он не любит картин: ни одна картина за всю его жизнь не взволновала его... А работаю я от пяти до одиннадцати. Каждый день, кроме пятниц и вторников. Я привез его прямо в литографию, и вид исковерканных рисунков нисколько не взволновал его.

Я в таких тисках у Клячко и Розинера, что даю себе слово с первого января освободиться от них. На днях с женою Розенблюма вспоминали Женю Мордухович. Странная была девушка, плод дореволюционного Петербурга.

Как-то Миша Руманов, в которого она была влюблена, сказал ей, что у нее прелестные зубы. Она вырвала один здоровый зуб и подарила его Мише. — Развратна она была, как насекомое, но от души, «щирым сердцем, нелукаво». Блуд был возведен у нее в культ. Пошла она, например, к доктору по женским болезням и тут же в кабинете, после первого визита, в то время, когда он исследовал ее, отдалась ему.

Я ее помню: она писала сама себе письма и ждала их, поминутно выбегая на лестницу.

Денег нет — не на что хлеба купить, а между тем мои книги «Крокодилы» и «Мойдодыры» расходятся очень. Вчера в магазине «Книга» Алянский сказал мне: «А я думал, что вы теперь — богач».

16 декабря, воскресение. Перехватив у Розенблюма 2 червонца, я купил 2 бутылки вина. Мура до сих пор не видала вина, но слыхала, что от вина люди становятся пьяными. Потому, глянув на бутылки, она сказала: — А пьяные — не страшные?

Вчера и третьего дня был в цензуре. Забавное место. Слонового вида угрюмый коммунист — без юмора — басовитый — сек-

ретарь. Рыло кувшинное, не говорит, а рявкает. Во второй комнате сидит тов. Быстрова, наивная, насвистанная, ни в чем не виноватая, а в следующей комнате — цензора, ее питомцы: нельзя представить себе более жалких дегенератов: некоторые из них выходили в приемную — каждый — карикатурен до жути. Особенно одна старушка, в рваных башмаках, обалделая от непрестанного чтения рукописей, прокуренная насквозь никотином, плюгавая, грязная, тусклая — помесь мегеры и побитой дворняги, вышла в приемную и шепотом жаловалась: «Когда же деньги? Черт знает что. Тянут-тянут».

Именно она читала мою книжку «Две души Максима Горького» и выбросила много безвредного, а вредное оставила, дурында. Кроме нее из цензорской вышли другие цензора — два студента восточного вида, кавказские человеки без малейшего просвета на медных башках. Кроме них я видел кандидатов: два солдафона в бараньих шапках стояли перед Быстровой, и один из них говорил:

— Я теперь зубрю, зубрю и скоро вызубрю весь французский язык.

— Вот тогда и приходите, — сказала она. — Нам иностранные (цензора) нужны...

— А я учу английский, — хвастанул другой.

— Вот и хорошо, — сказала она.

Тоска безысходная.

Был вчера у Чехонина, и мы нечаянно решили издавать «Пятьдесят поросят» без помощи издателей.

20 декабря. В воскресение были у меня Толстые. Он говорил, что Горький вначале был с ним нежен, а потом стал относиться враждебно. «А Бунин, — вы подумайте, — когда узнал, что в «Figaro» хотят печатать мое «Хождение по мукам», явился в редакцию «Figaro» и на скверном французском языке стал доказывать, что я не родственник Льва Толстого и что вообще я плохой писатель, на которого в России никто не обращает внимания». Разоткровенничавшись, он рассказал, как из Одессы он уезжал в Константинополь. «Понимаете: две тысячи человек на пароходе, и в каждой каюте другая партия. И я заседал во всех — каютах. Наверху — в капитанской — заседают монархисты. Я и у них заседал. Как же. Такая у меня фамилия — Толстой. Я повидал-таки людей за эти годы. А внизу п,оближе к трюму заседают большевики... Вы знаете, кто стоял во главе монархистов: Руманов! Да, да! Он больше миллиона франков истратил в Париже в год. Продал два астральных русских парохода какой-то республике. «Астральных» потому, что их нигде не существовало. Они были — миф, аллегория, но Руманов

знал на них каждый винтик и так описывал покупателям, что те поверили...»

Пишет он пьесу о Казанове. Очень смешно рассказывает подробности — излагал то, что он читал о Казанове, — вышло в сто раз лучше, чем в прочитанной книге. Была у нас его жена Наталья Васильевна и сын Никита. Я о чем-то говорил за столом. Вдруг Никита прервал меня вопросом — сколько будет 13 раз 13. Он очень самобытный мальчик.

Была вчера у меня Ольга Форш. Рассказывала о церковных сектах. Очень милая.

Был Чехонин. Рисовал Мурочку.

— Папа, сколько я морев нарисовала. Нарисованы вот такие штуки:

Я спрашиваю: «Где же рыбки?» Она говорит: там, в воде, их не видно. — А корабль? — Корабель уехал.

И крикнула мне вдогонку:

— Ты слепой, папа, не видишь.

20 декабря, четверг. Еду сегодня в Ольгино. Третьего дня был в «Европейской гостинице» у Абрама Ярмолинского и Бабетты Дейч. Он — директор Славянского отдела Нью-Йоркской Публичной библиотеки. Очень милые. У нее несомненный поэтический талант, у него — бескорыстная любовь к литературе. Он пишет книгу о Тургеневе, отчасти ради этого приехал. Я верю, что книга будет хороша. Оказывается, он всюду разыскивал меня, чтобы поговорить со мною о... Панаевой... Нью-Йорку нужна Панаева!

С Розинером я кончил миром. Коле он заплатил за второе издание «Сына Тарзана» 55 рублей. Черт с ним!

27 декабря, четверг. — Мурочка, иди пить какао! — Не мешайте мне жить!

Мурочка страстно ждала Рождества. За десять дней до праздника Боба положил в шкаф десять камушков — и Мурочка каждое утро брала по камушку.

На Рождество она рано-рано оделась и побежала к елке.

— Смотри, что мне принес Дед Мороз! — закричала она и полезла на животе под елку. (Елка стоит в углу — вся обсвечкан-

ная.) Под елкой оказались: автомобиль (грузовик), лошадка и дудка. Мура обалдела от волнения. Я заметил (который раз), что игрушки плохо действуют на детей. Она от возбуждения так взвинтилась, что стала плакать от каждого пустяка.

М. Б. с Бобой смотрели «Слугу двух господ».

Был у меня вчера Кини и долго говорил о политике. Я продолжаю любоваться этим человеком. Какое разнообразие интересов. А между тем — он average American[1].

30 декабря 1923. Мура в первую ночь после Рождества все боялась, что явится Дед Мороз и унесет елку прочь. Вчера во «Всемирной» видел я Сологуба. Он говорил Тихонову, что он особым способом вычислил, что он (Сологуб) умрет в мае 1934 года. Способ заключается в том, чтобы взять годы смерти отца и матери, сложить, разделить и т. д. Сказку, заказанную ему Клячкой, он до сих пор еще не написал. «Не пишется. У меня только начало написано: «Жил-был мальчик Гоша, и были у него папа и мама». А что дальше, не могу придумать».

— Помните о Некрасове! — сказал я ему, намекая на анкету, которую обещал он заполнить.

— Да зачем же помнить о Некрасове? Я и так помню Некрасова, — сказал он и стал декламировать, обращаясь ко мне:

Украшают тебя добродетели...*

(Когда упомянул о червонцах, ухмыльнулся, ибо теперь *червонцы* имеют иное значение, чем в пору Некрасова.)

Мне удалось выхлопотать у Кини денежную выдачу для Ходасевич (Анны Ив.)*, для сестры Некрасова, для Анны Ахматовой.

Был у меня Вяч. Полонский. Я пошел с ним к Анненковым. Очень любопытные события у Елены Бор. Анненковой. Юрий Павлович, с которым она разошлась, приехал из Москвы и вдруг заревновал ее к шведу, который бывает у нее в гостях. Всю ночь Юр. П. сидел у своей бывшей жены и допрашивал ее, целует ли ее швед, куда целует, как, и плакал, и проклинал. Когда в каком-то кабаре он увидел ее вместе с шведом, он заявил, что он побьет ему морду и увез ее из кабаре. Она чудно рассказывала, как он поехал с ней на ту квартиру, которая недавно была их общей, и просидел в отдалении от жены (она на диване, он на кресле), приходя в бешенство, что теперь уж эта женщина ему не жена. «Я готова дружить с тобою, но жить с тобою больше не

[1] средний американец *(англ.)*.

могу», — сказала она, и тем очень разожгла своего невоздержанного и сластолюбивого мужа. Он начал клясться, что новую свою жену он ненавидит, но она пребыла тверда. То, что она пребыла тверда и до самого рассвета не отдалась ему, составляет торжество всех ее подруг, ее сестры, ее матери — всего женского царства, которое кишит в ее доме. Как будто она отмстила за них за всех. Анненков был пьян, плакал, уезжал к своей матери, потом снова возвращался к ней. — Но будучи стяжателем, не преминул увезти из ее дома кое-какие картинки. Здесь он пил так, что опоздал на поезд.

Я вожусь с доктором Айболитом. Переделываю, подчищаю слог.

Январь 4, пятница. Новый Год я встретил с Марией Борисовной у Конухеса. Было мне грустно до слез. Все лысые, седые, пощипанные. Я не спал две ночи перед тем. Были мы одеты хуже всех, у меня даже манжет не было. Угощал Конухес хорошо, роскошно, он подготовил стишки про каждого гостя, которые исполнялись хором за столом; потом Ростовцев продекламировал стихи, которые и спел Конухесу; действительно стихи прекрасные. И несмотря на то, что заготовлено было столько веселых номеров, что были такие весельчаки, как Монахов, Ростовцев, я, Ксендзовский — тоска была зеленая, и зачем мы все собрались, неизвестно.

Монахов при встрече Нового Года бросил своей жене в бокал золотой. Он много острил, балагурил, но не совсем пристойно и через силу.

А дома у меня большая неприятность. Розинер наконец напечатал мою «Книжку о Блоке», но в такой ужасной обложке, что я обратился в суд. Это просто издевательство над Блоком. Был у меня Житков: опять много курил, бубнил и мешал мне работать. Я дал ему денег, и он провожал меня к Чехонину и к Замирайло.

Замирайло произвел на меня большое впечатление. Живет он на Васильевском Острове, Малый проспект, 31, кв. 13. В квартире холод. Он сидит в пальто. В том же самом пальто выходит он на улицу. Только накинет на себя легонький плащ флотский. Ему теперь 55 лет. Старичок. А на косяке двери висит у него трапеция: он каждый день делает гимнастику. Он влюблен в сестру Щекатихиной, о чем в очень ясных намеках поведал нам чуть не с первого слова. Из-за Щекатихиной он и попал в тюрьму. Ее отец, подрядчик, подозревается в каких-то антисоветских кознях, из-за этого решили привлечь и ее друга. (Щекатихина живет на Петербургской Стороне. Замирайло каждый день, как на службу, отправляется к ней вечерком: он учит ее племянника французскому языку (!) и рисованию. Денег на трамвай у него нету.) Он очень

картинно рассказывал мне и Житкову, как ночью пришли к нему с обыском, как рылись у него среди рисунков, прочитали его дневник (любовный, лирический), как во время обыска украли у него две бритвы, кусок сукна (на пиджак), две пары ножниц («так что ногти стричь хожу к соседке») и даже кремни для зажигалок. Сидел он в Предварилке на самом верхнем этаже, камера № 247 (кажется). Обвиняли его в принадлежности к Монархической партии. Сначала допрашивала женщина, довольно толково. Когда он сказал женщине, что он ни к какой партии не принадлежит, она выразила ему свое порицание:

— Ай-ай-ай. Ведь вы художник. А художники должны быть люди чуткие. В мире происходят такие события, а вы никак не реагируете на них.

Но потом его допрашивал латыш, человек без юмора, уверенный, что Замирайло преступник.

На все вопросы Замирайло отвечал:

— Без меня меня женили, Я на мельнице гулял.

Потом они увидели, что я глуп окончательно, и выставили меня вон из тюрьмы. «Вы стреляете по воробьям из пушек», — говорил я им.

Сидел он в Предварилке месяц и один день. Хлопотала о нем Добычина. Помог ему распечатать квартиру художник Бродский, имеющий связи. Сейчас он голодает: делает для издательства «Петроград» обложку за 15 миллиардов. Так как миллиард теперь 25 копеек, то и выходит, что за обложку ему дают 3 р. 75 коп.

Ну, пора приниматься за Ал. Толстого.

14 янв. 1924. Вчера я по случайному поводу позвонил к Ирине Миклашевской. Она сообщила мне, что ею написана музыка к моей «Мухе Цокотухе» — и просила придти послушать. Я отказался: нет времени. «Тогда позвольте, я приеду к вам». — «У меня расстроено пианино». — «Но я непременно хочу *сегодня же* вам сыграть». В конце концов я пригласил их к Анненковым, которые живут рядом, в доме № 11. Я взял с собою Житкова, М. Б., Муру, Лиду, Бобу. Ирина Сергеевна пришла со своим лысоватым моложавым мужем — тотчас же села за рояль. Мне понравилась музыка — хотя, должно быть, искусство здесь калибра невысокого. Анненкову (который сегодня приехал из Москвы) музыка очень понравилась. Житков мрачно и значительно курил. Музыка очень близко связана с текстом, каждое насекомое характеризовано особой мелодией — бал в конце действительно веселая вещь. Потом она пела мой «Бутерброд», потом «Барана» — по-бараньи, подурацки, как мне и не снилось. Потом я с Житковым отправился

1924 на Фурштатскую к чахоточным детям; там у них праздник. Я без успеха читал «Мойдодыра». Потом к Белухе, заказал ему рисунки «Айболита»; оттуда — к Чехонину, — почти всю дорогу пешком. Пришел домой — оказалось, что за стеною — управдом встречает Новый Год. Спать не мог — спал часа три — теперь лежу. Читаю много, но беспорядочно. Все не могу по-настоящему пристрюкаться.

Третьего дня был я в Госиздате. Белицкий сказал мне: идите к Ангерту — вы увидите там редкое зрелище: Федор Сологуб продает свой учебник геометрии. Действительно, на 6-м этаже сидел старый, усталый Сологуб и беседовал с помощником Ангерта — очень угрюмо. Со мною еле поздоровался. Жалко его очень; он похож на Тютчева все больше. Десять дней назад Ахматова, встретив меня во «Всемирной», сказала, что хочет со мной «посекретничать». Мы уселись на особом диванчике, и она, конфузясь, сообщила мне, что проф. Шилейке нужны брюки: «его брюки порвались, он простудился, лежит». Я побежал к Кини, порылся в том хламе, который прислан американскими студентами для русских студентов, и выбрал порядочную пару брюк, пальто — с меховым воротником, шарф и пиджак — и отнес все это к Анне Ахматовой. Она была искренне рада.

Мура начала рисовать. Умеет она только карандашом по бумаге водить — вот сколько морев я нарисовала.

Мура: Бобе (который переехал в другую комнату) — Ну вот! К кому же я пойду, когда мама будет на меня сердиться?

Муж Ирины Сергеевны Миклашевской рассказывал мне, что при встрече Нового Года — он читал доклад «О судьбах русской интеллигенции по книге К. Чуковского «Мойдодыр». Доклад очень интересный. Тут и сменовеховцы, и ученый паек и т. д.

Звонил: 1) Л. Вл. Вольфсон («Мысль») дать статью в сборник Ив. Разумника. 2) Я звонил Бучину: в каком положении «Муха Цокотуха». Он говорит, что положение — хорошее, в типографии стараются: но один рисунок смазался, не поправить без Конашевича. 3) Звонил Сварог, сообщил, что он рисунки к «Золотой Айре» сделал*. Вот и хорошо! 4) Звонил Вознесенский. Просит, чтобы я вручил его пьесу Монахову. Из этого ничего не выйдет, но я вручу. 5) Лаганскому — не звонил ли он мне. 6) Звонил в Академическую типографию — нет ли Конашевича. 7) В «Радугу». Клячке лучше, Конашевич обещал завтра приехать. 8) П. Н. Медведев: когда я буду читать лекцию о Горьком?

18 янв. Замечательно эгоцентрична Ахматова. Кини попросил меня составить совместно с нею и Замятиным список нужда-

ющихся русских писателей. Я был у нее третьего дня: она в постели. Думала, думала и не могла назвать ни одного человека! Замятин тоже — обещал подумать. Это качество я замечал также в другом талантливом человеке — Добужинском. Он добр, готов хлопотать о других, но в 1921 г., сталкиваясь ежедневно с сотнями голодных людей, когда доходило дело до того, чтобы составить их список, всячески напрягал ум и ничего не мог сделать.

Вот список для Кини, который составил я: Виктор Муйжель, Ольга Форш, Федор Сологуб, Ю. Верховский, В. Зоргенфрей, Ник. С. Тихонов, М. В. Ватсон, Иванов-Разумник, Лидия Чарская, Горнфельд, Римма Николаевна Андреева (сестра Леонида Андреева) и Ахматова.

20 янв. Вчера был с Колей в Царском, искал комнату, уединенную. Ничего не нашел. Устал и вернулся в Питер.

Сегодня Мурочка взобралась ко мне на подоконник. — Куда ты лезешь? — Зиму гнать! Зима, пошла вон.

15 апреля 1924. Лахта. Экскурсионная станция. Надо мною полка, на ней банки: «Гадюка обыкновенная», «Lacerta vivipara» («ящерица живородящая») и пр. Я только что закончил целую кучу работ: 1) статью об Алексее Толстом*, 2) перевод романа Честертона «Manalive»[1], 3) редактуру Джека Лондона «Лунная долина», 4) редактуру первой книжки «Современника» и пр. Здесь мне было хорошо, уединенно. Учреждение патетически ненужное: мальчишки и девчонки, которые приезжают с экскурсиями, музеем не интересуются, но дуются ночью в карты; солдаты похищают банки с лягушками и пьют налитый в банки спирт с формалином. Есть ученая женщина Таисия Львовна, которая три раза в день делает наблюдения над высотою снега, направлением и силою ветра, количеством атмосферных осадков. Делает она это добросовестно, в трех местах у нее снегомеры, к двум из них она идет на лыжах и даже ложится на снег животом, чтобы точнее рассмотреть цифру. И вот когда мы заговорили о будущей погоде, кто-то сказал: будет завтра дождь. Я, веря в науку, спрашиваю: «Откуда вы знаете?» — «*Таисия Львовна видела во сне покойника. Покойника видеть – к дождю!*» Зачем же тогда ложиться на снег животом?

16 апреля. Сегодня еду в Москву — читать об Ал. Толстом. Увы мне: третьего дня я сидел на балконе Экскурсионной станции,

[1] «Живчеловек» (*англ.*).

1924 мне показалось очень жарко, я сдуру снял пальто и шапку и простудился. Это значит — читать лекцию *хрипло* – для меня это хуже всего. Я скупил целую аптеку аспиринов и теперь лежу в постели сутки. Здесь, на Экскурсионной мне было хорошо. Я отдохнул от людей. Я не то что не люблю людей, но я не люблю *себя,* когда сталкиваюсь с людьми. Тон становится у меня не мой, не хороший. К сожалению, приходилось часто ездить в Питер — на собрания по «Современнику». Там мы работали целые дни с утра до ночи — я, Замятин, Тихонов, Эфрос. Тихонов однажды так устал, что вместо «Достоевский и Толстой» сказал: — «Толстоевский и Достой».

У нас в первом номере идут стихи Тютчева. Говоря о программе первого номера, Тихонов сказал:

— Мы дадим стихи Фета.

— Какого Фета? Тютчева.

— Ах, я спутал. *Обе* фамилии начинаются на Ферт.

Вместо *полстранички* он говорит *полстрачки* (второпях).

Статью об Ал. Толстом я писал неуверенно и потому выбросил много хороших мест.

Замятин тоже замаялся очень. Он пишет пьесу для 1-й Студии. Переделывает «Островитян». Мы, вся редакция, были у Ал. Толстого, слушали чтение его «Ибикуса», который он предназначает для нас. Обед он устроил грандиозный, сногсшибательный (хотя сам говорит, что управдому за квартиру не плачено). Был Щеголев (пил без конца), Анненков (говорит, что собирается за границу), Белкин, новая жена Тихонова и старая жена Замятина: узенькие, злые, завистливые глазки, крашеные губы, — жалко ее и не злит ее злость.

Мне рассказ Толстого понравился: легкомысленный, распоясанный, талантливый анекдот. Но чем больше все хвалили рассказ, тем сумрачнее становилась Замятина: в успехе Толстого она чувствует как бы подрыв своей фирмы.

— Ну что вы здесь нашли смешного, это плохо, глупый анекдот, — говорила она мне потом.

Ярмолинские — жаль, что я не записал о них по горячим следам.

17 апр. 1924. Москва. Сегодня приехал. Лежу на постели в гостинице «Эрмитаж» — через полчаса надо идти выступать в «Литературном Сегодня», которое устраивает журнал «Русский Современник». Приехал я с Ал. Н. Тихоновым прямо к Магараму. Магарам в восторге от всего, ликует, всей душой отдается журналу. Ночью я спал лишь благодаря вероналу — от 11 до 5. Ехал в между-

народном со всеми удобствами — на счет Магарама. Москва взбудоражена — кажется, мы чересчур разрекламированы. В Эрмитаже остановились также Замятин и Ахматова. Ахматову видел мельком, она говорит: не могу по улице пройти — такой ужас мои афиши. Действительно, по всему городу расклеены афиши: «прибывшая из Ленинграда только на единственный раз». Сейчас я зайду за нею и повезу ее в Консерваторию. Она одевается. Эфрос очень недоволен сложившейся обстановкой: говорит, слишком много шуму вокруг «Современника». Особенно худо, если увидят в нашем выступлении контрреволюцию. Это будет гнуснейшая подтасовка фактов. Перед тем как журнал начался, Тихонов при Магараме спросил всех нас: «Я прошу вас без обиняков: намерены ли вы хоть тайно, хоть отчасти, хоть эзивоками нападать на советскую власть? Тогда невозможно и журнал затевать». Все мы ответили: *нет,* Замятин тоже ответил *нет*, хотя и не так энергично, как, напр., Эфрос.

5 мая. Понедельник. Коля женится. Погода с утра благодатная — но к 4 часам ветер с востока — холод, тучи. Я уехал в Ольгино, так как нужно закончить статейку о Честертоне. Был я вчера у мамы Марины с визитом, и меня поразило, что в их доме живет в нижнем этаже целая колония налетчиков, которые известны всему дому именно в этом звании. Двое налетчиков сидели у ворот и щелкали зубами *грецкие* орехи. Налетчикова бабушка сидела у открытого окна и смотрела, как тут же на панели гуляет налетчиково дитя. Из другого окна глядит налетчикова жена, лежит на подоконнике так, что в вырезе ее кофточки на шее видны ее белые груди. Словом, идиллия полная. Говорят, что в шестом номере того же дома живет другая компания налетчиков. Те — с убийствами, а нижние — без. Они приняли во мне горячее участие и помогали мне найти Маринин адрес. Маринина мать говорит, что никто не доносит на налетчиков, т. к. теперь весь дом застрахован от налетов. Я думаю, что дом и так застрахован — своей бедностью. Пять часов. Еще два часа моему сыну быть моим сыном, потом он делается мужем Марины. Без десяти шесть. Коля идет венчаться. Вчера он побрился, умылся, готовится. В этих *приготовлениях* для меня есть что-то неприятное. Вчера Мария Николаевна со смехом говорила: «Бедный Коля, он так измучился» — и это меня покоробило. Обычное бабье торжество: самодовольство лингама. Мы хоть кого измучаем. И кроме того, маменьки перешептываются, соображают, наблюдают, подмигивают — нехорошо. Я рад, что уехал от свадьбы. Честертон кончен. Надо идти к Евг. Евг. Святловскому — попросить у него Энциклопедический словарь, где

есть карта Владимирской губернии. Хочу приняться за заметку о некрасовском «Тонком человеке». Моя статья об Ал. Толстом провалилась. Ни Тихонов, ни Замятин не просят меня написать вторую такую же. Очевидно, она и вправду плоха. Я читал ее в Москве скандально плохо, провалился совсем. Я кончил о Честертоне, и свадьбы не для меня.

Бунт машин. Был два раза, и оба раза ушел с середины — нет сил досидеть до конца. Второй раз в зале оказался Ал. Н. Толстой с Айседорой Дункан. Монахов заприметил их и сказал публике в начале спектакля: — Здесь находится по контрамарке зайцем один человек, Алекс. Ник. Толстой, автор этой пьесы. Советую вам аплодировать! — Все зааплодировали. — Не так! — сказал Монахов. — Нужно организованнее! — Театр зааплодировал в такт. Но это были аплодисменты авансом. А когда кончился 1-й акт, ни одного хлопка!

Сижу в Ольгино голодом. Поля приготовила кашу и картофельные котлеты — вот и весь обед.

6 мая. Вторник. Восемь часов утра. Ну вот и прошла у Коли первая ночь с Мариной. Эту ночь я спал, но, просыпаясь, мучительно думал о Коле, как о маленьком мальчике — в Куоккала, и еще раньше в Одессе. В Одессу я приехал в 1904 г. из Лондона — на пароходе — к маме и жене на Базарную улицу, кругом олеандры, и жена, как олеандр, — горько-сладкая. Сидим, счастливы, и вдруг жена:

— Что же ты не спросишь о Коленьке?

А я и забыл о нем. Вынесли черненького, с круглым лицом, и я посмотрел на него, как на врага. Тогда он был мне не нужен. Полюбил я его позже, на Коломенской (№ 11). Он был тогда страшным мечтателем. «Ну, Коля, построй дом». И он начинал из воздуха строить дом. Прыгал и говорил: окно, окно, окно, окно — и никак не мог остановиться, ему все рисовались окна, окна без числа. Нарисует пальцем окно в воздухе и подпрыгнет от радости — и опять, и опять. Очень ему нравился памятник Пушкину на Пушкинской: «памовик». Встанет на стул, сложит руки: «Я памовик». — «А что же памятник делает, когда идет дождь?» — «Памовик — сюда» — и он лез под стул. В Куоккала его первые стихи: «как я желто говорю», дружба с Лидой и мечты. Он так и говорил: иду мечтать на камни (на берегу наваленные глыбы гранитные, чтобы волны не налетали на дачу богатого немца). Вверх и вниз по камням, вверх и вниз — в такт своим мыслям, как птица по жердочкам, придумывает летательные аппараты, говорит сам с собой, сам с собой — сказки, путешествия, приключения у краснокожих. Круглое, наивное лицо. Ум пассивный, без инициативы, но инстинктивно охраняющий свою

духовную жизнь ото всяких чужих вторжений. Помню его увлечение Дарвином, сомнения о Боге, лыжи, лодку и английский язык. Я вовлекал его в английский язык, он сопротивлялся лояльно. Не выучивал слов, через два дня забывал все, что знал, и Лида всегда была для него образцом, хотя из лояльности опять-таки утверждала, что он знает гораздо больше ее. Жил он лениво, как во сне. Сонно, легко, незаметно прошел сквозь революцию, сквозь Тенишевское училище — нигде не зацепив, не нашумев. Теперь в университете — тоже не замечая ни наук, ни событий. Идет по улице, бормочет стихи, подпрыгивая на ходу тяжело. В Марину влюбился сразу и тогда же стал упрямо заниматься английским — для заработка, на случай женитьбы. Перевел (довольно плохо) «Эвангелину» Лонгфелло, «Сын Тарзана» (вместе с Лидой, очень неряшливо, на ура, без оглядки), «Шахматы Марса» — лучше, «Лунную долину» (еще лучше), и теперь переводит «Дом Гэрдлстона» с быстротой паровоза. И все для Марины. Таким образом Марина до сих пор принесла ему пользу. Со мной у него отношения отличные; он не то что уважает меня, но любит очень по-сыновьему. А все же, не знаю почему, не хотелось мне, чтоб он женился, и сейчас я чувствую к нему жалость.

Здесь в Питере Макс Волошин. Он приехал — прочитать свои стихи возможно большему количеству людей. Но успех он имеет только у пожилых, далеких от поэзии. Молодежь фыркает. Тынянов и Эйхенбаум говорят о нем с зевотой. Коля говорит: мертво, фальшиво. Коля Тихонов: «Черт знает что!» Но Кустодиев и проф. Платонов в восторге. Он по-прежнему производит на меня впечатление ловкого человека, себе на уме, который разыгрывает из себя — поэта не от мира сего. Но это выходит у него очень неплохо и никому не мешает. Вид у него очень живописный: *синий* костюм, желтые длинные с проседью волосы, чистые и свежие молодые глаза — дородность протодиакона. Сажусь писать ему свое откровенное мнение о его поэме «Россия».

К 12 часам появилось солнце. Я лежал на балконе и блаженствовал. Вышел на берег моря. Два всадника на белых лошадях. «Пропуск!» — Пропуска у меня нет!

— Здесь не место для гуляний.

Если берег моря, озаренный солнцем, — не место для гуляний, то на всем земном шаре такого места нет.

Ахматова переехала на новую квартиру — на Фонтанку. Я пришел к ней недели три назад. Огромный дом — бывшие придворные прачешные. Она сидит перед камином — на камине горит свеча — днем. Почему? — Нет спичек. Нужно будет затопить плиту — нечем. Я потушил свечу, побежал к малярам, работавшим в

соседней квартире, и купил для Ахматовой спичек. Она рассказывала, что Сологуб стал в последнее время злой. — Мы пришли к нему с Олечкой (Судейкиной), а он в шахматы играет (с кем-то). Олечка спрашивает меня: «Аничка, ты умеешь играть в шахматы?» Я говорю: нет, не умею. Нарочно громко, Сологуб не обращает внимания.

9 мая. Спрашиваю Муру: где же Коля? — Он уехал в церковь: молиться-жениться.

Коля счастлив: я первый раз после его женитьбы встретил его в Госиздате. Сияет. Стоит у перил, дожидается гонорара. Ему выдали — как взрослому! — 11 червонцев. Но не сразу — сказали: через час. Он Марине: сбегаем в Университет, на Васильевский. Они «сбегали» на Васильевский — как ни в чем не бывало — раз — два и назад.

12 мая. Солнце. Мура ходила с Бобой на Марсово поле, к могилам. «Боба сел на похоронку (могилку)...»

Она интересуется смертью, но когда ей говорят «смерть», говорит «Смерть Ленина», она слышала в последнее время только такую комбинацию.

В последнее время надо мною тяготеет злобный рок: мне два раза запретили чтение лекции о Горьком. Причем в первый раз — в феврале с. г. моему антрепренеру было сказано, что ввиду того, что неизвестно, приедет ли Горький в Россию, разрешить лекцию не могут. Тогда я представил официальную справку о том, что, по сведениям «Всемирной Литературы», где Горький состоит председателем, Горький в Россию не собирается. Тем не менее лекции не разрешили. Потом — в апреле — стали хлопотать о том же студенты (КУБС — комиссия по улучшению быта студенчества). Им тоже запретили. Отказ Гублитмоно был утвержден Агитпропом М. К. партии, куда апеллировала комячейка студенчества. Максим Горький как тема не подлежит в эти дни публичному обсуждению с какой бы то ни было точки зрения.

Студия. Расточитель. Устал. Клячко приехал, даст ли деньги? Ехать мне в Москву? Или спрятаться в Ольгино — и писать? Сяду писать письма Репину и маме.

Мура нашей служанке:

— Коля мой брат. А знаешь, зачем он живет в другом доме? Потому что этот брат мой зенился. Он зенился на одной чужой девушке, которая очень любит меня.

Первый номер «Современника» вызвал в официальных кругах недовольство:

— Царизмом разит на три версты!

— Недаром у них обложка желтая.

Эфрос спросил у Луначарского, нравится ли ему журнал.

— Да, да! Очень хороший!

— А согласились ли бы вы сотрудничать?

— Нет, нет, боюсь.

Троцкий сказал: не хотел ругать их, а приходится. Умные люди, а делают глупости.

Маяковский: Ну что ж! «Современник» хороший журнал, в нем сотрудники — Лев Толстой, Достоевский.

Актеры Студии — в восторге, особенно от Леонова*. В июне 1924 во «Всемирную» ожидали О. Ю. Шмидта — стоящего во главе московского Госиздата. И хитроумный Тихонов повесил *на один только день* в нашем *зале совещания* над дверью портрет Луначарского в золотой раме (от царского портрета). Потом портрет сняли. Мадонны Рафаэля, которая висела в приемной, нет и в помине.

14 мая 1924. Сегодня в Госиздате встретился с Демьяном Бедным впервые — и беседовал с ним около часу. Умен. И, кажется, много читает. Очень любит анекдоты. «Есть у меня шофер. Я хотел подшутить над ним и говорю ему про свою дочь: «Она у меня от Шаляпина». Шофер смешался, не знал, что сказать, а потом пришел в себя и говорит: «То-то голос у них такой звонкий».

«Был я сейчас в Севастополе. Пришел ко мне интервьюер. Я говорю ему: — Знаете, я такой суеверный. — Вы суеверный? — Да, я. Я заметил, что когда меня кто-нибудь интервьюирует, он сейчас же умирает. — Умирает? — Да... — Ой! — и репортер убежал».

Очень смешно показывал, как репортер-заика интервьюировал Рыкова, тоже заику. «Я так хохотал, что должен был убежать».

18 мая. Был у Дикого. Он забавно рассказывает, как обедал у Замятиных. Те завели такой высокий тон за обедом, что он решил брать пирожки рукой и вообще оскандалиться. Супруги только переглядывались. Лесков в переделке Замятина («Блоха» для театра) ему не понравилась.

6 июня. Коля уже говорит, что женщины — дрянь, и сочувственно слушает Пушкина о женщинах:

Вчера конец его медового месяца.

7 июня. Ахматова говорит обо мне:

— Вы лукавый, но когда вы пишете, я верю, вы не можете соврать, убеждена.

Она больна, лежит извилисто, а на примусе в кухне кипит чайник.

10 июня. Дождь. До чего омерзителен Зиновьев. Я видел его у Горького. Писателям не подает руки. Были я и Федин. Он сидел на диване и даже не поднялся, чтобы приветствовать нас.

Горький говорит по телефону либо страшно угрюмо, либо — душа нараспашку! Середины у него нет.

16 июня 1924. **[Москва].** Духов день. Вчера на автомобиле Маккензи в Кусково. Гулянье, купаются. Fur Foot[1], Соня Бобринская и Дегтярева, секретарша Маккензи. Он даже в авто говорит о своей книге, острит, кричит ура; Fur Foot презрительно: жид. Ездили в Кусково, имение и парк Шереметевых. Очень хорошо: маленькое Царское Село. И так приятно видеть, что там, где до сих пор гуляли пять-шесть человек, гуляют тысячи и десятки тысяч. Вчера в Кусково было столько народу, что вокруг пруда, напр., стояли на ногах (сесть мест нет). Много голых — купаются — бабы с мужчинами. Семячек щелкают пуды. Мороженого истребляют горы. Демократия веселится. Кривые ноги, крепкие затылки. Я, изъеденный бессоницами, — и то счастлив. Хорошо! Мы ели мороженое в павильоне «Грот», в котором все стены и потолок выложены ракушками. Причем в стаканчиках, в которых нам подали мороженое, Соня Бобринская узнала свои гербы Бобринских. Качели на берегу — и лихо: вверх, вверх, выше, чем можно, — русская безудержность. Вечером в трамвае — человек с пробитой головой (пострадал от налетчиков): проломили мне череп, но какая мне разница? (пьяный). Соня Бобринская сообщила мне, что ее мама и сожительница уехали за город на 2 дня, она будет у Fur, а я могу у них выспаться — в пустой квартире. Мы пошли туда, на Спиридоновку. Квартира — две низенькие грязные комнатки, уставленные рухлядью. В одной комнате две кровати и диванчик, спят две старухи и Соня. Тут же, в спальне, плита, шкафа нет, платья на гвозде. Соня постилала мне кровать около получа-

[1] Меховая нога (*англ.*), т. е. Софья Толстая.

са: так располагала рваные простыни, чтобы дыры не лезли наружу. А на стенах портреты великолепнейших предков, и у Сони на руке браслет, подаренный ее бабушке Александром III. Зажигалка в виде сахарной головы (брелок) — «Фастовская ж. д. Граф А. П. Бобринский 1875—1876». Жарко. Я лег в кровать без одеяла, голый, и тотчас же раздавил у себя на груди — клопа. Спал тревожно, просыпаясь — душно — но спал. Клозет у них внизу с ключиком. Нужно брать ключ — и идти вниз, отпирать замочек. Очень забавная смесь нищеты и высокого тона. Вчера Соня сидела в авто, как герцогиня. Но как была рада, когда Маккензи угостил ее холодной осетриной! Со мною она хороша и очень дружелюбна. Ей 19 пет, был у нее роман с Эллингстоном, заведующим в ARA историческим отделом, но Эллингстон женился на другой — на русской.

17/VI. Москва. Ночь. Наибольший умственный труд, на который я способен, — считать в «Мойдодыре» гласные. В голове не мозги, а грязные тряпки. Был у Сони Бобринской, до 2-х час. ночи метался в ее комнатенке.

Гроза. Боль в сердце не дает заснуть, подскакиваю каждую минуту. Бегаю — кричу почему-то *мама*. В два часа — бульваром в Студию. Здесь то же, шестые сутки я не сплю. Если бы был кто-нб., кто читал бы днем вслух — я заснул. Вчера служанка в Студии училась читать, я лежал на диване — и тотчас же стал задремывать. Но пришел Клячко — и разбудил. Вчера в тени было 22 градуса — в комнате, за шкафом. Под утро постлал на полу и заснул. Спал часа два — спасибо, хоть на минуту я *прекратился*. В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе — и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, — затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения своего *я*. У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь. Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы маленький какой-то кусочек — и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: сплю я или не сплю? засну или не засну? шпионишь за вот этим маленьким кусочком, увеличивается он или уменьшается, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаками по черепу! Бил до синяков — дурацкий череп, переменить бы — о! о! о!

Вчера Бобринская рассказывала мне свою жизнь: ей теперь 19, она «начала» в 16 — и с тех пор меняла любовников постоянно. Иногда у нее было два любовника сразу — американец Эллингстон

(глава Information Bureau[1] при ARA) и другой американец — молодой и красивый пшют. «Все вот на этом диванчике». Эллингстон хотел жениться на ней, но пшют рассказал обо всем Эллингстону, и Эллингстон не пожелал жениться. Был большой скандал в американских кругах. «Я отравиться хотела — вот до чего дошло». Сестра ее была осторожнее и достала себе американца — первого сорта. Уехала с ним в Вашингтон. «Тоже на этом диване работала». — Значит, вы кокотка? — «Еще не кокотка, но года через три — весьма возможно...» Девица без иллюзий.

А сейчас Маша, служанка из Студии, рассказала мне свою историю — в ней больше аристократизма [край страницы оторван. — *Е.Ч.*]

Июнь 22. 1924 г. Был у меня сейчас Алексей Толстой. Мы встретились в «Современнике» на Моховой. Сегодня понедельник[2], приемный день. Много народу. Толстой, толстый в толстовке парусиновой и ему не идущей, растерянно стоит в редакции. Неподалеку на столе самоуверенный Шкловский; застенчивый и розовый Груздев; Замятин — тихо и деловито беседует то с одним, то с другим, словно исповедует. Толстой подошел ко мне: «Итак, по-вашему, я идиот?» (по поводу моей статейки о нем в «Современнике»). Я что-то промямлил — и мы опять заговорили как приятели. Его очень волнует предстоящий процесс по поводу «Бунта машин»*. Я стал утешать его и предложил ему книжку Шекспира «Taming of the Shrew»[3], в предисловии к коей сказано, что большая часть этой книжки написана *не* Шекспиром, а заимствована у Чапека. Это очень его обрадовало, и он пошел ко мне взять у меня эту книжку. Он в миноре: нет денег — продержаться бы до сентября. В сентябре у него будет доход с пьес, а теперь — ничего ниоткуда. — Нельзя ли у Клячко пристроить какую-нибудь детскую книжку? — Вчера был у меня Шкловский, потолстелый, солидный, обидчивый, милый. Говорили мы много, переделывали его статью «Андрей Белый». Он говорил мне комплименты: «Ваши статьи о Короленко и Гаршине прекрасны, ваши детские книги гениальны». А в статьях своих при случае ругает меня. (Я в пустой квартире пишу это на балконе.) «В своей рецензии о Горнфельде я обокрал вас: у вас было сказано то же».

Тихонов в субботу был на писчебумажной фабрике Печаткина, которую теперь пускает в ход московский Госиздат для своих

---

[1] Информационное бюро (*англ.*).

[2] В июне 1924 года понедельник — 23-го.

[3] «Укрощение строптивой» *(англ.)*.

надобностей. Съехались Отто Юльевич Шмидт и другие. Говорились обычные речи. «Эта фабрика — гвоздь в гроб капитализма», «открытие этой фабрики — великое международное событие». Все шло как следует — в высоком витийственном стиле. Вдруг среди присутствующих оказался бывший владелец фабрики, тот самый, в гроб которого только что вогнали гвоздь. Бабы встретили его с энтузиазмом, целовали у него руки, приветствовали его с умилением. Он был очень растроган, многие плакали. Он очень хороший человек — его рабочие всегда любили.

Сейчас Дрейден на курсах экскурсоводов в Царском. Теперь их учат подводить экономическую базу под все произведения искусства. Лектор им объяснил: недавно зиновьевцы обратились к руководителю с вопросом, какая экономическая база под «Мадонной тов. Мурильо». Тот не умел ответить. «Таких нам не надо!» — и прав.

27 июня. В Сестрорецке. В пустой даче Емельяновой за рекой. Пробовал спать с семьею — на Морской, не мог — шум, не заснул ни на секунду. Переселился за реку — тихо, дождик. В курорте лечатся 500 рабочих — для них оборудованы ванны, прекрасная столовая (6 раз в день — лучшая еда), порядок идеальный, всюду в саду ящики «для окурков», больные в полосатых казенных костюмах — сердце радуется: наконец-то и рабочие могут лечиться (у них около 200 слуг). Спустя некоторое время радость остывает: лица у большинства — тупые, злые. Они все же недовольны режимом. Им не нравится, что «пищи мало» (им дают вдвое больше калориев, чем сколько нужно нормальному человеку, но объем невелик); окурки они бросают не в ящики, а наземь и норовят удрать в пивную, куда им запрещено. Однако это все вздор в сравнении с тем фактом, что прежде эти люди задыхались бы до смерти в грязи, в чаду, в болезни, а теперь им дано дышать по-человечески. Был с Лидой у Ханки Белуги, заведующей школьным районом: шишка большая. Спорили с нею о сказках. Она сказки ненавидит и говорит: «Мы тогда давали детям сказки, когда не имели возможности говорить им правду».

Читаю Фрейда — без увлечения.

Мура говорит: большой мяч познакомился под столом с маленьким.

Глядя на «Дома для детей», на «Санатории для рабочих», я становлюсь восторженным сторонником Советской власти. Власть, которая раньше всего заботится о счастьи детей и рабочих, достойна величайших похвал.

1924 **Суббота, 28.** Идет бешеный дождь. Я отрезан от дома. Голоден дьявольски. Уже 20 минут 3-го. Разбираюсь в своих мыслях о детях — и творчестве для детей. Должна же быть такая несчастная звезда: пошел в 5 часов в Курорт, кабинет электротерапии. Меня посадили в клетку д'Арсонваля. Я почувствовал большое удовольствие. Вдруг — ток прекратился. Стоп! *Город прекратил подачу тока.* Первый раз за все время существования кабинета электротерапии.

6 или 7 июля. Вчера освободили Адливанкина, «горе-оценщика», одного из второстепенных героев меховой вакханалии. У нас в пансионе живет его жена с двумя детьми. Ему угрожал чуть не расстрел, но он вел себя на суде так умно, отчетливо, с таким самоуважением, что суд дал ему 3 года условного заключения. Радость была всеобщая. Адливанкин — самодовольный, молодой, победительный, почувствовал себя героем, Шаляпиным и вел себя так, как будто обвинение в мошенничестве — есть почетнейший орден, патент на благородство.

Но жена и дети были трогательны. Освобождение Адливанкина потрясло Бобу. Он созерцал сцену свидания Адливанкина с детьми сочувственными глазами.

Третьего дня встретили в курорте Собинова. Он лечится д'Арсонвалем. У него дочка 4 лет «помешана на вашем Мойдодыре». Мы пошли с ним к проф. Полякову, «ушному и горловому». Профессор поселился здесь в курорте. Оказывается, они оба относятся к нынешним пациентам курорта с идиотической злобой. «Имею ли я право их лечить?» — говорил Поляков. «В сущности, все они сифилитики», — говорил Собинов.

Вспоминали вместе Дымова — вспомнил Собинов собственный стишок:

Ждали от Соби́нова
Пенья соловьиного.
Услыхали Со́бинова,
Ничего особенного.

Сегодня у меня пятая ванна. Слаб. Разломило спину. Трудно двигаться. Дожди и ветры. Подлая погода.

Пятница 11 июля. Сегодня день рождения моего милого Бобочки. Он был утром у меня, убрал мою заречную комнату. Сделал из березовых листьев веник, замел, побрызгал водою полы, вынес мою постель на балкон, выбил палкой, вычистил, потом взвалил Муру на плечи и понес ее домой. Он очень любящ и простодушен. Сегодня после обеда мы встретились с ним, *Мурой* и М. Б. в

курорте — и ели мороженое. Он съел две порции — и выпил бутылку лимонаду.

Я достал гусеницу — отдал ему: большая, с осины, древоядная. Силы колоссальной, так и рвалась из платка — как автомобиль.

Погода чудная. Я принял 6 ванн, больше не хочу. Устроил себе сегодня домик для солнечных ванн — solarium. Дети сами надумали возить туда песок. Вообще домик очень интересует детей.

Моя соседка Елисавета Ив. Некрасова, 24 лет, поражает меня своим феноменальным невежеством. Жена профессора, родом из Луги. Я процитировал ей Пушкина:

Есть на свете город Луга...*

— Да, да, я знаю эти стихи, я читала их *в газете*.

Имя Макса Волошина слышит первый раз и удивляется, что он поэт. «Я знала одного Макса Волошинова, он ухаживал за мною. У меня есть знакомый Александр Блок, но он не писатель».

А маникюр себе делает еженедельно. У нее милый мальчик Вова двух лет. Он подражает систематически старшим. На днях на песке старшие дети встали вверх ногами, Вова захотел последовать их примеру и уперся головой в песок. Я поставил его на ноги. Он заревел. Я взял его за ноги и стал держать вниз головой. Он блаженно заулыбался. Сегодня он накинул на себя занавеску — и давай на меня рычать — изображал зверя: бу, бу!

С Собиновым я гулял часа полтора. Бывалый, разбитной, понаторелый: куча анекдотов, со всеми знаком, пишет стишки на все случаи жизни, говорить может только о себе и меняет костюмы несколько раз в день.

На днях он делал себе анализ крови: у него кровяное давление 220 — это очень серьезная форма склероза. — Много выпито.

Мальчик Юрочка Некрасов 5 $^{1}/_{2}$ лет, прослушав начало «Тараканища», спросил: — А как же раки — они очень отстали? — Я не понял. Оказывается: раки ехали «*на хромой собаке*», а львы в автомобиле. Ясно, что раки должны были отстать.

12 июля. Лида сегодня уезжает в Одессу к бабушке. Очень милое существо, ощущающее огромные силы, которые не находят приложения. Жажда разумной деятельности огромная, всепожирающая. Не захотела ехать в Крым, потому что в Крыму нечего делать, а в Одессе можно помочь бабушке выбраться в Питер.

15 июля. Мура — я пришел вчера к ней на террасу. Она хотела идти к мальчику вниз. Но «папа пришел» — невежливо уходить. Она осталась с тоской. Я говорю: «иди, Мура, к мальчику вниз, а я

на тебя буду сверху смотреть». Она обрадовалась — и вежливость к папе соблюдена, и будет с мальчиком, внизу. — «Да, да, я так и хотела сделать — чтобы ты сверху смотрел».

Опять дождь. Хозяйка Емельяниха красит крышу.

Мой домик, который я построил в саду у Емельянихи, опять пустой, — домик для солнечных ванн — а дождь для этой цели не годится.

Очень меня волнуют дела управдомские: телефон у нас выключают, электрические провода перерезывают, за квартиру требуют колоссальную сумму и налагают штрафы — oh, bother![1] От Коли из Коктебеля милое, поэтичное письмо. Увлекается Белым и хорошо раскусил Макса. В моем домике собираются дети — дворничихи и другие — Елисав. Ив. читает им сказки. Вчера читали «Золотого гуся». Дети носят мне в домик — песок. Вечером на террасе я пересказывал «Золотого гуся» Муре — и всякий раз, когда в сказке появлялся новый персонаж, она спрашивала: «А он добрый?» Ей надо знать, сочувствовать ли ему или нет, тратить ли на него свою любовь: — «И вот видит, в лесу у дороги сидит голодный старичок». — «А он добрый?» — «Да». — «Ну так мне его жалко». Когда я рассказывал о бедствиях второго сына вдовы, Мура попросила пропустить. Печального она не любит и в «Мухиной свадьбе» пропускает середину.

17 июля. Лежал весь день в своем «плюварии». Чудесно. Облака с севера без конца — но коротенькие; солнце то выскочит, то спрячется. Когда спрячется — холодно, ветер, дует в щели: тогда я беру карандашик и строчу о детских книгах. Когда туча прошла, я лежу нагишом и потею, по-крымски. В 4 часа пошел к Собинову. Оказывается, он живет на роскошнейшей даче, с целой свитой, как великий Сеньор. Дочка — куколкой. Няня, личный секретарь «Саша», экономка, бедная родственница и пр. «А это наш папаша». Чей папаша, неизвестно; 76-летний мужчина, одетый с иголочки, франтом, как юноша, по последней картинке; проф. Поляков (ушной и горловой) и его милая, милая дочь, старшая. Я демонстрировал «Чукоккалу», но приехала из города жена Собинова — и я удрал. Вечером был у него еще раз, взять журналы, дабы оклеить мой плюварий. Он покупает и читает всю уличную прессу — это чувствуется в его разговоре, «Огонек», «Красный перец», «Ворон», «Прожектор» — его настольные книги. Вечером у Муры; рассказывал ей сказку о «Черепахе, Серне, Мыши и Вороне». Когда я подошел к тому, что Серна попала в сеть, Мура деловито спросила: «А потом?»

[1] О, морока! *(англ.)*.

(т. е. «будет ли Серне хорошо потом? выцарапается ли Серна из сети?»). Когда я сказал, что и Черепаха попала к охотнику, — повторился тот же вопрос... — Когда она увидела меня, она крикнула: «Папа, идем в туман». Оказывается, что вокруг кое-где — клочья тумана — Мура захотела их исследовать.

18 или 19 июля. Пятница[1]. Утром лежал в своем плювариуме. Солнце и тучки. Жара. Ничего не делал — только переворачивался с боку на бок. Хорошо загорел, и первее всего нос — полированный и красный. В 10 час. прибежал Боба. «Папа, на Разливе можно достать лодку. Коля Поташинский уже катался». — «Ладно». — Потом пришла Марья Б. с Мурой. Мура изнывает от жары, М. Б. устала. Посидели у меня в будке, ушли. Соседка Елисавета Ив. Некрасова потеряла ключ. Я пошел на Соллукс и Франклин, но — боялся опоздать на поезд (в Разлив). Сестры (франклинские) вручили мне стишки Собинова о нашем времяпрепровождении в Сестрорецке*. Очень милые — лучше, чем я думал. Потом, взяв племянника Конухеса, я направил свои стопы в Сестрорецк. Боба был там — но Поташинский не явился. У кого взять лодку? И вот после долгих мытарств мы получили чудесный ялик — и без ветра — под заходящим солнцем — блаженно катались два часа — среди островков и камышей.

Был вчера в санатории для туберкулезных детей — очень патетическое впечатление. Зайду еще раз.

Когда-то покойная Нордман-Северова, очень искренне, но поинститутски радевшая о благе человечества, написала очередной памфлет о раскрепощении прислуги. Там она горячо восставала против обычая устраивать в квартирах два хода: один — для прислуги — *черный,* а другой — для господ — парадный. «Что же делать, Н. Б.? — спросил я ее. — Как же устранить это зло?» — «Очень просто! — сказала она. — Нужно черный ход *назвать* парадным. Пусть прислуга знает, что она ходит по парадному, а господа — по черному!» Я тогда удивился такой вере в имя, в название, я говорил, прислуга ощутит в этой перестановке кличек лицемерие, насмешку — и еще пуще озлобится, но, оказывается, я был не прав: люди любят именно кличку, название и вполне довольствуются тем, если черный ход, по которому они обречены ходить, вы назовете парадным. Остаются по-прежнему: кошачий запах, самоварный чад, скорлупа, обмызганные склизкие, крутые ступени, но называется это парадным ходом, и людям довольно: мы ходим по парадному, а в Англии, во Франции — по черному! Взяли мелкобуржуаз-

[1] В 1924 году пятница —18-го.

ную страну, с самыми закоренелыми собственническими инстинктами и хотим в 3 года сделать ее *пролетарской*. Обюрократили все городское население, но *не смей называть* бюрократию — бюрократией. Это мне пришло в голову, когда я смотрел сегодня на соседа, владельца дачи — квадратного, седо-лысого чиновника, который с утра до ночи *хозяйствует* на возвращенной ему даче, починяет окна — гоняет из огорода кур — верноподданный слуга своей собственности! — и аппетитно кричит в один голос со своей супругой:

— Не смейте ходить по нашему мосту (через реку). Это *наш* мост, и никому здесь ходить не разрешается.

Всю эту сложную фразу они оба, как по нотам, выкрикнули сразу. Особенно спелись они в тираде «*наш* мост и т. д.» Но *называются* они арендаторами. Весь их кирпичный дом сверху донизу набит жильцами. И какую цепную собаку они завели! И нарочно сделали цепь покороче — чтобы собака стала *злою*.

Суббота. 20 июля 1924[1]. Вчера первый день — без туч. Жара. Маляр, красивший у Емельянихи крышу, изжарил себе ступни ног. Насилу с лестницы сошел. По земле шагал страдальчески. Каждый шаг причинял ему боль. Я лежал на солнце — часа три и пошел в курорт — к проф. Ацвасатурову — по поводу своей бессонницы. Он взялся за меня по-настоящему. В понедельник исследует давление крови. Оттуда на пляж — к Поляковым. Очень милый старик Федор Петрович, доктор по горловым и ушным. Говорили о психотерапии. Он рассказывал, что ему случалось принимать больных до 4-х час. ночи. Все в голове у него спутывалось, и он писал неверные рецепты. И потом мучился. Но больные приходили и говорили: «вот *это* помогло!»

Случалось ему, что больной жаловался: «лекарство не дает облегчения». Поляков брал тот же рецепт, писал его по-другому — и больной говорил: «новое лекарство куда лучше старого». Рассказывал о Бехтереве: приехал Бехтерев на консультацию с Федором Петровичем: у одной девицы на нервной почве возник зоб. Но по рассеянности он, еще не входя к больной, обрушился на ее мамашу, полагая, что его вызвали лечить именно мамашу. Та хотела рассказать ему о дочери, а он:

— Какой теперь месяц?

— Но доктор...

— Тсс! Сколько месяцев в году?

— Двенадцать, но...

[1] В июле 1924 года суббота — 19-го.

— Не возражайте. Сколько у вас детей?

— Трое. Но...

Всякий раз, когда маменька хотела сказать, что больна не она, а дочь, он делал нетерпеливый знак и прерывал ее новым вопросом.

Конухес мне, кстати, рассказал о Бехтереве анекдот получше. Ночь. Бехтерев устал. Принимает 50-го пациента. Ему хочется спать. Он прикладывает ему к груди трубку — и засыпает на миг. Потом просыпается и говорит:

— У телефона академик Бехтерев! Я слушаю.

С дочками Полякова мы играли в палки. Вновь я возродился к куоккальской жизни — палка первый признак. Но босиком ходить, увы, не могу. Ревматизм или ишиас — черт его знает.

М. Б. вчера говорила, как угнетает ее чувство старости. За столом говорили, что у кого-то умерла бабушка; внучка без особых слез поехала на похороны. И я подумала: ведь и я бабушка.

Вообще наши встречи с М. Б. печальны. Все в прошлом. Ничего для будущего.

Не спал ночь — так истомил меня великолепный день. На пляже было так дивно. — Такой день бывает раз в тысячу лет. С сего дня хочу заниматься упорнее — развинтился. На минутку заснул, и мне приснилось, что проф. Смирнов отыскал в моем английском переводе кучу ошибок — и даже заглавие якобы я перевел неверно. — «Надо: *медведица*, а вы переводите: *рифма*». Я испытал во сне чувство ужаса. «Только не говорите Тихонову!»

20 июля, воскресение. Опять не спал: письмо от Тихонова. Сон в руку. Сегодня приезжают они оба с Замятиным — делать мне нагоняй. Я так взволновался, что ни на минуту не мог «сомкнуть глаз». На таком-то дивном воздухе, в такую погоду. Вчера сдуру попал на именины к Собинову — и потерял три часа. Именинница его дочка Светланочка, четырех лет. Я пришел в гости к ней, но Собинов вдруг накинулся на меня с таким аппетитом, как будто лет десять не говорил ни с одним человеком. Сказал какой-то барыне, чтобы та принесла книжку его экспромтов и «стихотворения на случай», и стал читать их одно за другим, кстати сообщая и те — в высшей степени неинтересные — случаи, которыми вызваны эти стихи. Иные строки остроумны и живы, но большинство — самодельщина, моветон. Я чуть не закричал «караул». Особенно плохи лирические — сплошь из банальных романсовых слов. Я каждую минуту порывался встать и пройти к Светику, которая в саду под деревом стояла довольно растерянно и не знала, что ей делать с подарками: кукла Юрий, кукла Акулина, домик — вернее, комната: спальня зай-

ца и мн. др. В конце концов я не выдержал и убежал к Светлане, но Собинов за мной:

— Послушайте! а вот это я сочинил, когда Раф. Кугель...

Был я у Собинова с Конухесом, доктором, который принес на именины девочки... бутылку спирту. Уходя Конухес рассказал интересную историю о Леониде Андрееве. Еще до женитьбы на Анне Ильиничне Леонид Андреев отправился с нею в номер какой-то гостиницы. Его дама приступила к ужину в абсолютно голом виде и вдруг подавилась костью! Андреев позвонил Гржебину, Гржебин Конухесу, и вот явился Григорий Борисович во всеоружии щипцов — и нашел влюбленных в полной панике. Таков характер разговоров у 40—50-летних людей в Сестрорецке — на именинах у 4-летней Светланы. Когда наконец я добрался до нее, мы оставили в стороне все ее дорогие и, в сущности, ненужные игрушки и стали играть — еловыми шишками: будто шишка — это земляника. Шишка ей куда дороже всех этих дорогостоящих роскошей.

Мурочка в страшном ажиотаже: завтра она с Юлей устраивает театр. Что такое театр, она знает смутно, никогда не была в театре, но «папа, у нас завтра будет театр!» Я сказал ей: «Для того, чтобы завтра скорее наступило, ты должна лечь спать сию минуту. — Да! Да!» И она пошла спать.

Сегодня погода хорошая, но на небе муть.

Вспомнил о Репине: как он научился спать зимой на морозе. «Не могу я в комнате, это вредно. Меня научил один молодой человек спать на свежем воздухе — для долголетия... Когда этот молодой человек умер, я поставил ему памятник и на памятнике изложил его рецепт — во всеобщее сведение».

— Так этот молодой человек уже умер?

— Да... в молодых годах.

— А как же долголетие?

Вчера, когда я ел землянику на террасе у М. Б., она сказала мне, что умер мой отец, а моя побочная сестра замужем за коммунистом и сама коммунистка.

У нас по соседству обнаружились знаменитости г-да *Лор*, владельцы нескольких кондитерских в Питере. Елисавета Ив. Некрасова, пошлячка изумительно законченная, стала говорить за обедом:

— Ах, как бы я хотела быть мадам Лор!

— Почему?

— Очень богатая. Хочу быть богатой. Только в богатстве счастье. Мне уже давно хочется иметь палантин — из куницы.

Говорит — и не стыдится. Прежние женщины тоже мечтали о деньгах и тряпках, но стеснялись этого, маскировали это, конфузились, а ныне пошли наивные и первозданные пошлячки, которые даже и не подозревают, что надо стыдиться, и они замещают собою прежних — Жорж Занд, Башкирцевых и проч. Нужно еще пять поколений, чтобы вот этакая Елисавета Ивановна дошла до человеческого облика. Вдруг на тех самых местах, где вчера еще сидели интеллигентные женщины, — курносая мещанка в завитушках — с душою болонки и куриным умом!

21 июля. Понедельник. Вчера день суеты и ерунды — больше я таких дней не хочу. Утром пришел Клячко, принес 25 червонцев и болтал, болтал без конца. Его речи утомляют меня, как самая тяжелая работа. Взял он у меня начало «Метлы и лопаты»* — хочет дать художникам. В это же время пришел ко мне мальчик Грушкин, очень впечатлительный, умный, начитанный, 10-летний. С ним я пошел в детскую санаторию (помещается в дачах, некогда принадлежавших Грузенбергу, доктору Клячко и доктору Соловьеву). Там лечатся и отдыхают дети рабочих — и вообще бедноты. Впечатление прекрасное. Я думаю, О. О. Грузенберг был бы рад, если бы видел, что из его дачи сделано такое чудное употребление. Я помню, как нудно и дико жили на этой даче ее владельцы. Сам Оскар Осипович вечно стремился на юг, в Тифлис, тут ему было холодно, он ненавидел сестрорецкий климат и все старался сделать свою дачу «южнее, итальяннее». Его дочка Соня, кислая, сонная, неприкаянная, скучая, бродила среди великолепнейших комнат. И вечно приезжали какие-то неинтересные гости, кузены, родственники, помощники присяжных поверенных. Дача была для всех тягота, труд и ненужность. А теперь — всюду белобрысые, голые, загорелые дети, счастливые воздухом, солнцем и морем. Я читал им «Мойдодыра» и «Тараканище». Слушало человек сто или сто пятьдесят. Рядом — на песке — тела такого же песочного цвета. Пришел усталый — на моем плювариуме устроен из ветки орнамент и сказано, что приехал Чехонин и чтобы я пошел в курзал. Я пошел, чувствуя переутомление — там за столиком у моря — среди множества народу Чехонин, почему-то в пальто — единственное пальто на фоне полуголых. Море поразительное — на берег прошли с барабанным боем, со знаменами пионеры и стали очень картинно купаться. Оказалось, что Чехонин никогда не бывал в Сестрорецком курорте. Потом мы по-

шли берегом среди стотысячной толпы купающихся. Мороженщики, спящие пары, бутерброды, корзины с вином, пивные бутылки, бумажки, гомерически жирная баба, купающаяся нагишом под хохот всех присутствующих, тощая девица в грязном белье, жеманно вкушающая мороженое, крики, свистки, смехи, бородатые старцы с биноклями, — демократия гуляет вовсю. Говорят, на вокзале было столько народу, что многие вернулись, не попав на поезд. От напора толпы сломана на вокзале какая-то загородка. Я надеялся, что вследствие этого Замятин и Тихонов не приедут ко мне. Но они приехали — как раз когда я был на взморье. Приехали, не застали меня, написали на плювариуме:

— Чуковский явно струсил взбучки и сбежал. *Евг. Зам.*

— Но карающая десница настигнет его. *А. Т.*

Интересно, что в связи со своим сном я панически боюсь Тихонова. От этих шутливых строк у меня захолонуло сердце. Я — в курорт опять, совсем усталый. Нашел их за тем же столиком, где часа три назад сидел Чехонин. Замятин в панаме, прожженной папиросой, оба щеголеватые, барственные. Встреча была нехороша. Я смотрел на них злыми глазами и сказал: «Если вы хотите смеяться над моей болезнью или упрекать меня за нее, или не верите в нее, нам не о чем говорить, и мы должны распрощаться». Тихонов извинился, — я и не думал, простите — и они стали рассказывать мне, как обстоят дела. Напостовец Лялевич выругал нас*, авантюра с единовременным изданием журнала во Франции, Англии, Америке — лопнула, Замятин написал статью о современных альманахах*, цензура все пропустила (вообще цензура хорошая), и мы расстались почти примиренные.

22 июля, вторник, 1924. Вчера Мура побила прутом Юлю. М. Б. отняла у нее прут, сломала и выбросила. Месяца два назад Мура заплакала бы, завизжала бы, а теперь она надула губы и сказала равнодушным тоном профессиональной забияки:

— Прутов на свете много.

Вчера она привела меня в умиление. Я попросил Бобу читать мне вслух Миклухо-Маклая, а сам лег — в плювариуме, постарался заснуть. Мура, чтобы не мешать мне, ушла в комнаты и там — вопреки всем свойствам своей натуры — пребывала в тишине и бездействии, лишь изредка выбегая на балкон посмотреть на меня.

Начало моей статейки о детях уже готово. Сажусь переписывать. Чехонин вчера уехал. Сон у меня по-прежнему плохой. Чехонин обратил вчера внимание, что сплю я не на кровати, а на до-

ских, и вместе с М. Б. устроил мне отличную кровать. Он мастак по части всяких укладок, упаковок, с изумительной аккуратностью уложил доски, постлал сенник, покрыл простыней — спите! Но спал я и на новой кровати — плохо. Проклятая неделя.

23/VII 24. От Лиды чу́дное письмо: она приехала в Одессу 15/VII и через день уже отправила М. Б-не отчет о своих впечатлениях около $^1/_2$ печатного листа — точный, изящный, простой и художественный. В Витебске, оказывается, она села не в тот поезд и должна была скакать с поезда на ходу! Мама моя здорова, но Маруся, оказывается, очень плоха: беззубая старуха. Много интересного в письме о моих племянниках. Впервые я ощутил их как живых человечков. А ведь сколько писали о них и Маруся, и Коля! Молодец Лида! Вчера вечером М. Б. сказала мне, что слухи о смерти моего отца неверны. Он жив, но Рохлина, моя полусестра, убита зверски (татарами?), изнасилована (на шестом месяце беременности) и изрезана на шесть кусков. Сестра, — а я даже не знаю, как ее звали![*]

День чудесный. Хотел ехать в лодке, но — предпочел сидеть и писать. Запутался в своих рассуждениях о детском чепухизме — и надо спешно распутывать.

24/VII 24. Вчера — в лодке по разливу с двумя дочками Клячко, макакой, Бобой и Раей Бакшт. Ни одного пассажира старше 14 лет. Ветер. Как будто простудился. Потом пешком из Разлива по шпалам. Позади увидели поезд, побежали назад, но он тронулся, чуть мы добежали, и мы очень удлинили дорогу. Страстная жажда — писать.

Что такое Сестрорецк: только и высыпают песок из туфлей. Идут, идут, встанут в неудобнейшей позе под деревом — снимут туфлю и ш-ш-ш! Посыпался песочек из туфлей.

25/VII. Ровно месяц, что я в Сестрорецком Курорте. Являю из себя обгорелого старца, с нетвердой походкой (ишиас), седого, обожженного солнцем — причем нос блестит, как полированный. Приехали Коля с Мариной из Крыма. Марина как будто беременна. У Коли появились новые слова, например, похабель и т. д. Вчера я на пляже потерял ключ. Коля находит, что я похудел. Сижу и мудрю над статьей об инверсии, коей написано 16 страниц.

27 июля, воскресение. Вова Некрасов 2-х лет ревниво подражает своему брату во всем. У того заболела нога. Вова кричит: Во-

ва бобо (т. е. «У Вовы тоже болит нога») и потребовал, чтобы ему перевязали если не ногу, то руку. Юре поставили клизму — Вова кричал и плакал, прося, чтобы клизму поставили также и ему.

Был я вчера у детей-калек, в санатории для детей, страдающих костным туберкулезом. Санатория на песчаной горе, в дюнах. Раньше отправился к доктору (Хутымцевой). Она спала днем, вышла ко мне заспанная. «Очень приятно», — а сама спит. — Идите, лягте опять! — сказал я и пошел к красному бараку, возле которого на солнце лежало 25—30 всевозможных уродцев. Когда они узнали, что им будут читать, они радостно кинулись звать других, и это было самое страшное зрелище. Кто на одной ноге, кто на четвереньках, кто прямо ползком по земле — с необыкновенной быстротой сбежались они ко мне. У одного перевязан нос, у другого — тончайшие ноги и широчайшая голова; самые удачливые — на костылька. Я читал им «Мойдодыра» и «Тараканище». Потом разговаривал с ними. Некоторые из них привязаны к кроваткам, так как они слишком егозят. У одного голенького горбуна горб великолепно загорел, бархатисто-черный здорового детского тела, но — горб.

После я попал на кладбище — в двух шагах от меня. Кладбище в песчанике, не из чего вылепить могилку, почти нет холмиков: песок рассыпается. Много железных крестов — так как близко Сестрорецкий завод, и большинство покойников — заводские. Один крест сделан даже из водопроводной трубы — с гайками.

Есть стихотворные надписи:

I. Зинаида Ивановна Коршунова
Родилась 10 мая 1921 г. † 30 июля 1921 г.

Тише, сосны, не шумите,
Младенца Зину не будите.
Младенец Зина под крестом
Спит спокойным вечным сном.

II. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здесь покоится младенец Владимир Антонович Мальцев. Родился 24/IX 15 † 21/V 16.

Прощайте, папа и мама, не скучайте,
С вами Божья благодать.
Меня к себе не ожидайте,
А я к себе вас буду ждать.

Издали доносится крик продавца: садовая земляника. Мальчик собирает с родителями шишки в мешок. И острит: «разве покойники едят землянику».

Доктор Шварц четырьмя инструментами делал мне испытание крови. Результат: никакого склероза. Давление вполне нормальное.

Сегодня встал — солнце — что делать, не знаю. Попробую продолжать «Метлу и лопату». Но раньше возьму полотенце, две бутылки, мыло и пойду к колодцу умываться. Вода у нас ключевая.

28 июля, понедельник. Очень сердит на себя. Сегодня первый день (с февраля), что «Метла и лопата» сдвинулись с мертвой точки — и я после ванны сдуру пошел к Поляковым, застрял у этих милейших людей — и проворонил такой удивительный редкостный случай, когда у меня легко и просто поются детские стихи! Убытки, убытки!

Вчера водил Мурочку на кладбище. — Что это такое? — спросил, искушая. — Это? (и она скосила глаза — как всегда, когда думает), это — улицы. — Какие улицы? — Из крестиков.

Смерть на нее на этот раз не производит пугающего впечатления. Ей понравились те могилы, где есть садики (ограды) .

У меня был Вл. Бернштам, вульгарный писака, но добрый, кажется, человек. Сидел, мешал.

Я был вчера у детей в санатории для туберкулезных. Мне приготовили, в благодарность за чтение, порцию мороженого в огромной глубокой тарелке. Я съел почти всю. Сегодня стою возле мороженщика, ем мороженое, стоят трое девочек и завистливо смотрят. Я угостил их, разговорились, и я пошел к ним. Оказалось, что они пациентки санатория для нервных детей. Жаловались на обращение: «нас за волосы таскают и царапают; одну учительницу мы так и прозвали: «царапка». Показывали царапины. Я познакомился с ихним доктором и с воспитательницей. Завтра пойду к ним. И доктор и воспитательница издерганные люди, со своими питомцами — на положении комбатантов. Был вчера у Собинова за «Чукоккалой».

30 июля. Среда. Вчера был дивный закат. Я гулял над морем дольше обыкновенного. Кажется, что такие вечера бывают раз в тысячу лет, боишься их потерять, расплескать. По пляжу, как под тихую музыку, идут заколдованные тихие люди, — и особенно патетичны одинокие фигуры, которые, кажется, сейчас вознесутся на небо или запоют необыкновенную песню. Я догнал одну пару, которая казалась мне издали воплощением поэзии, и услышал:

Она: Ничего подобного!

Он: А *я* вам говорю, что да.
Она: А *я* вам говорю, что нет.

Сдуру я пошел к Поляковым и спросил, не могут ли они отправить в город мою рукопись для «Современника». Они согласились, Леличка завтра едет в город. Но едет она в 8 часов 50 минут. Поэтому я всю ночь не спал, боялся пропустить ее поезд. Встал, оделся, думаю: «опоздал»! бегу в курорт, на вокзальных часах 4.45. Пошел домой, написал письмо Лиде, спрашиваю у дворника «который час?» — он отвечает: «четверть седьмого». А между тем мне мучительно хочется есть. Вчера у Некрасовых была заперта дверь, я видел на террасе мой ужин, отличную простоквашу, но съесть ее не мог — и лег на голодный желудок. Нашел шахматную доску, но с гвоздем.

Парикмахер Борис назвал свою собаку Нэп (уничижительно: Нэпка). У одного из его клиентов собака — Буржуйка. А Клячко назвал свою собаку Тарзан, в пику Розинеру. Сегодня я уже не ел мороженого — нет денег. Отвратительный день. Не спал, валялся, не работал, сам себе противен. Вот тебе и шахматная доска. Она принесла мне беду. Порвала брюки и расцарапала палец.

31 июля. «Дни такие стоят... как в раю!» — Да, шикарно. Закончил третьего дня редактировать Колин перевод «Фирмы Гердльстон» Конан Дойла. Вот образцы Колиной грамотности: «во всю длинну, шансы *за* успех, проподать непри*и*менно, рвал *себе* волосы...» Примеры — все на 3-х страницах.

1 августа. Сбился с писательством. Начал статью о детских книгах — и бросил. Начал «Метлу и лопату» и, проработав до половины, почувствовал фальшь, недетскость. Прочитал вчера М. Б., она сказала то же. Денег нет. Отовсюду жмут, а я зря истратил за этот месяц 70 червонцев (семьсот рублей), которых другому бы хватило на полгода. Здоровье мое тоже — не слишком. Утомляет работа — и пугает перспектива скорого переезда в город.

Вчера с М. Ф. Поляковой зашли в детский дом — в двух шагах от курорта. Я там никогда еще не бывал. Издали он казался прекрасным — на террасе так стройно пели А. Толстого «Всех месяцев звончее веселый месяц май». Пошел, представился, начальница показала музейчик: детские работы, лепка, «осень», «зима», «лето» и т. д. Ленинский уголок, где рядом с портретом Ленина, чуть пониже, мой «Крокодил», «Черничный дедка»*, «Тараканище», «Детки в клетке» Маршака и проч. Все производит довольно мрачное, тупое, казенное впечатление. Есть тетрадки протоко-

лов детских собраний. В одной тетрадке сказано: «Дорогой Шеф. Мы с каждым днем любим тебя все более и более». — Кто же ваш шеф? — спросил я. — ГПУ, — ответили дети, — особый отдел. **1924**

Пища у них скудная: пшенная каша.

Лежал вчера на берегу с доктором Козакевичем. Вечером — у Муры. Она недовольна, что поздно пришел. Третьего дня мы с нею бегали, как угорелые, гнали корову Мурку, смотрели, как точильщик точит ножи («откуда огонь?»).

2 августа. Был вчера Коля — приехал утомленный, глаза больные. Провожал меня в ванны, купался в море; хочет писать роман — авантюрный: о пиратах. Я думаю — напишет хорошо: он еще не вышел из того возраста, когда любят пиратов. Прочитал я ему мою «Метлу и лопату», он тоже сказал: для детей ли?..

Вчера был доктор Песков, малоинтересный чудак, и Мгебров. Я начал заниматься с Бобой по-французски и по алгебре.

До какой степени у М. Б. испорчены нервы, — она вчера за обедом услыхала, что в курорт приехал Коля, и это так на нее подействовало, что она при всех разревелась, хотя приезд Коли никакого события в ее жизни не составляет. Пришло письмо от Лиды — очень подробное*. Получит ли она мое?

Вчера меня очень привлекли дети от 3 до 6 лет, которые — ежевечерне — из своего Дома — бегают нагишом к реке — купаются и поскорее назад! Очень мила эта вереница голых, пузатых бегунов. Я познакомился с ними и сегодня в 11 час. буду у них читать.

Сажусь опять за свою «Мимо Тумима»*.

3 августа. Вчера дождь, с отдаленным громом, впервые. Писал «Тумима», но мало. М. Бор. вечером — очень задушевный разговор — разволновавший меня. Клячко не едет, денег не везет, всю неделю без копейки. Где достать денег, чтобы вставить Марусе зубы? Это было бы здорово — выписать ее в Питер, и здесь у Каушанского изготовить ей two sets[1]. Был вчера с Мурой в детском саду — у Мурзилок.

7 августа. Нездоровится. Плохо сплю. С Бобой занимаюсь упорно. Он два года изучает французский язык, а до сих пор не знает, как по-французски *я, ты*, не знает родительного падежа, и запас слов у него не больше, чем у того, кто учится два дня. Удиви-

[1] оба протеза *(англ.)*.

тельная неспособность к изучению того, что ему неинтересно. Он до сих пор интересуется сказками и готов читать их с утра до вечера. Но больше всего — море. В реке он ловит «щурят». Была у меня вчера Анненкова — посоветоваться, что ей делать с мужем. Юрий совсем испакостился. Он женился на Тине по подложным документам — и вследствие этого подлинные документы бывшей жены были сочтены подложными. Бедная исхудала, рвется за границу, но ей говорят: настоящая жена получила право на отъезд за границу, а вы кто такая?

Омоложенный Мгебров на самом деле помолодел.

18 авг. Погода по-прежнему святая. Только что был Собинов с Мишей Вербовым. Я провожал его в курорт. Боба занозил ногу. Опять все утро делал тихоновскую работу: правил Виктора Финка. Тихонов рассказывал, как ругают в разных журналах меня и «Современник»*, а у меня никакого интереса. Пишу о детях, не знаю, что выходит.

22 авг., пятница. Третьего дня, лежа нагишом в плюварии, я увидел зловещую тучу, наползающую на солнце, и крикнул:

— Через 5 минут кончится лето.

Так и случилось. Период изумительного, небывалого в Питере — безоблачного, безветренного, жаркого лета кончился. Пошли дожди, ветры, насморки, пальто, кашнэ. Третьего дня ко мне в комнату влетела трясогузка. Боба поймал ее — посадил в плетеную корзину. Мура требовала, чтобы птичку не пускали на волю, а устроили бы ей клетку. Предвидя, что она будет плакать, если мы, вопреки ее желанию, выпустим птицу, Боба придумал хитрость: он дал птицу Муре в руки, Мура не удержала ее — и птица улетела якобы по вине Муры. Это так ошеломило Муру, что в то время как другие дети кинулись к дереву вслед за птицей, Мура закоченела на месте — минуту, другую, пятую стояла без движения — даже жутко было смотреть. Я видел ее спину и по спине понимал, как ей трудно повернуться к нам. Вдруг Марья Николаевна засмеялась (чему-то другому). Мура закричала — и кинулась прочь. — Зачем вы надо мною смеялись? — сказала она мне потом.

Принимал ванну третьего дня, а в ванной у меня были: Коля, Сима Дрейден и Боба. Оба первые с портфелями. Колю вдруг словно прорвало — он одновременно пишет:

1. Стихи для детской книги о Петухе и цыплятах.
2. Стихи, тоже детские, заказанные ему Центросоюзом.
3. Роман авантюрный для «Радуги».
4. Переводит для Лившица английский роман.

Все стихи и свой роман он читал мне подряд одно за другим — и мне понравилось все — своим напором, — но больше всего меня удивил и обрадовал роман. Чувствуется, что Коле труднее его не писать, чем писать — и что вообще писательство доставляет ему колоссальную радость.

Лида привезла из Одессы перевод начала «Джунглей». Сима прочитал мне первую часть своей работы «Сборник революционной сатиры»*.

Хорошо! Но слушать подряд то, что в течение нескольких месяцев сделали двое трудолюбивейших юношей — критиковать, исправлять — очень утомило меня. А весь следующий день (вчера) я работал над редактурой Хроники для 6-го номера «Современного Запада» — каторжная и никчемная работа, которая кажется еще более нелепой ввиду дурацкой придирчивости цензора Рузера — который выбросил статейки Ольденбурга, Сологуба и многих других.

Боба учит географию.

24 августа. Пришел вчера к Муре, издали меня увидала Эсфирь Абрамовна и сказала М. Б.: «ваш муж идет». Мура сказала: Да, наш муж идет (не желая острить.) Сегодня дети в том пансионе устраивают «представление». Мура тоже участвует. Взлезла на стул, сложила руки и быстро-быстро, очень невнятно, но певуче: «шалтай болтай сидел на стене»

Явился Боба: «Папа, у меня большая радость!» Что такое? — Мой щуренок съел и второго окунька. Помнишь, я думал, что ему плохо, это он объелся. — Отчего же радость? — Ну, это значит, что он хочет жить и будет жить.

Магарамовы дела плохи. Его доконали штрафами. «Современник» очень нуждается в деньгах. Тихонов сейчас переслал мне через Марью Ник. Снопкову письмо, чтобы я попросил у нее, у М. Н., 500 червонцев для «Современника».

25 августа. Принял бром, спал часа 4. Холодно. Боба, чтоб согреться, прыгает через стулья, поставленные в кружок, и говорит, обращаясь к щуке:

— Вот, щука, три круга сделаю и пойду тебе воду менять.

Вчера он был болен: рвота, лег спать в 7 час. веч.

— Ты знаешь что, щука, у меня все ноги замерзли (потому что вода холодная в реке).

26 августа. Один для меня отдых — беседа с Лидой. Лида даже страшна своим интеллектуальным напором. Чувствуется в ней

стиснутая стальная пружина, которая только и ждет, чтобы распрямиться. Она изучает теперь политграмоту — прочитала десятки книг по марксизму — все усвоила, перемолола, переварила, хочет еще и еще. Экономическая теория захватила ее, Лида стала увлекаться чтением газет, Англо-советская конференция — для нее событие личной жизни, она ненавидит Макдоналда, — словом, все черты мономании, к которой она очень склонна. Жизнь она ведет фантастическую: ни секунды зря, все распределено, с утра до ночи чтение, зубрежка, хождение в библиотеку и проч. Вспоминала Одессу. О моей маме говорит с умилением.

3 сентября 1924. Погода по-прежнему дивная. К Муре уже два дня приходит Екатерина Федоровна. Мура рисует — человечков: кружок, точка и руки-ноги в одну сторону. Учительница учит ее держать карандаш, и она спрашивает: так?

Боба третьего дня выдержал переэкзаменовки по географии, алгебре и французски. У него жар. Он еле стоит на ногах, но вчера — помчался в Ольгино за карасями для щуки. Свою щуку он знает так чудесно, что может часами говорить о ней. Вчера пришел к вечеру из Ольгино *пешком* (нес в руках ведерко с окунями) — и потом час глядел в ведро и объяснял поступки каждой рыбы. Читает он мне вслух «Илиаду».

Я весь в корректурах: правлю Колин перевод романа «Искатель золота», правлю сборник «Сатиру», правлю листы «Современного Запада», правлю листы «Современника».

Впервые за всю свою жизнь чувствую себя почему-то здоровым и, как это ни смешно, молодым. Был вчера у Ахматовой. Не знаю почему, она встретила меня с таким грустным лицом, что я спросил: «Неужели вам так неприятно, что я пришел к вам?» У нее служанка. «Оленька хочет уехать за границу. Хлопочет. У нее был apendix и воспаление брюшины. Она лежала 58 (кажется) дней в постели... Я ухаживала за ней и потому не написала ни строчки. Если напишу, сейчас же дам вам, в «Современник», потому что больше печататься негде... Я получила деньги из Америки, от Кини, — 15 долларов. Спасибо им».

Она, видимо, ждала, когда я уйду. До сих пор она была очень ко мне дружественна.

Я сказал ей: «Похоже, что у вас в шкафу спрятан человек и вы ждете, когда я уйду».

— Нет, сидите, пожалуйста! (Но вяло.)

Я замолчал, и она — ни слова. Потом: «Видела вашу Лидочку, как она выросла».

Уходя, я сказал: «Как вы думаете, чем кончится внезапное поправение Пунина?» — «Соловками», — невесело усмехнулась она и пошла закрыть за мною дверь.

На камине у нее — две самодельных бумаги tangle-foot[1], но мухи приклеиваются к ним слабо.

Лозинский уехал на месяц в Териоки. Фома Вален[нрзб.] переводит «The jester»[2]. — Коля был вчера и читал вторую главу своего романа. Прекрасно, напористо и поэтично. Но он почему-то очень бледен, у него болит сердце. Жизнь он ведет трудную — и Марина для него слишком дорогая радость. Марину я постепенно научился любить, она Коле хороший товарищ.

6 августа [сентября]. Дня 3 назад Боба почувствовал себя оскорбленным в самых лучших своих чувствах: после того, как он выдержал переэкзаменовку по французскому языку, я дал ему учить французские слова. Со свойственной ему силой упрямства он стал защищать свое право на безделие. Дошло до того, что он объявил голодовку, не ел ничего 24 часа, ушел из дому, но к французскому не прикоснулся. Мы с Марией Борисовной обсуждали, что с ним делать. На совете присутствовала Лида. Мура — руки за спину — ходила по комнате. Очень хмурилась, и вдруг: «Если Боба не хочет учить фран... суски, пусть учит немецки...»

Так мы и сделали. Боба стал учить немецкий, а к французскому и прикоснуться не желает. Лида слушает курсы стенографии — с увлечением. Я так утомился вчера на приеме «Современника», что вот не сплю вторую ночь, несмотря на принятую ванну. Особенно истомил меня Гизетти — душитель: он всегда говорит много и путано. Но и кроме Гизетти были: старуха Величковская, которой я должен был возвратить ее рукопись «Детоводство» (и она плакала); сын Лескова за деньгами (а денег нету), он ругал «ужасную» книгу Волынского о Лескове*, обещал позвонить через два дня, был Эйхенбаум (с женой), он принес рецензию о «Гоголе» Гиппиуса, была поэтесса Лидия Иванова, был Виктор Финк (он готовит новую статью — о деревенской кооперации), был поэт Вагнер (я возвратил ему стихи), был агент «Красной газеты», представитель «Бюро Вырезок», вдруг оказавшийся поэтом и потребовавший у меня обратно свои забракованные стихи, был молодой Комаровский (кажется), автор большой поэмы, которая поразительна тем, что не похожа на «Двенадцать» Блока, был впечатлительный, розовый, обидчивый серапионов брат, критик

[1] клейкая лента *(англ.)*.

[2] «Шут» *(англ.)*.

1924 Груздев, он принес две рецензии, обещал третью, и когда я справился со всеми ими, оказалось, что типография почему-то выбросила статью Финка «Новый быт». Eheu me miserum[1]. Из этой каторги — домой — аспирин — спать! Но вот — не сплю.

Сейчас сяду разбирать письма Леонида Андреева. Бедный — человек в западне. Огромные силы, но пресненские. Всегда жил неудобно, трудно, в разладе со всем своим бытом, — безвольный, больной, самовлюбленный, среди страшной мелкоты.

Теперь у меня на очереди три каторжных, нисколько мне не интересных работы:

1) Разбор андреевских писем.

2) Редактура Хроники для «Современного Запада».

3) Редактура рецензий «Современника». И увы, «Паноптикум». А потом — все к чертям!

15/IX, понед. 24. Мура:

— Я хочу жениться на Бобе.

— Почему?

— Я его люблю.

— И ты больше не будешь наша?

— Нет, не буду.

— Кто же ты будешь?

— Вам тетенька.

— Мама, бывают воры хорошие?

— Воры?

— Не делай такие страшные глаза, мне тогда кажется, что ты вор.

21/IX. Вчера в цензуре я видел трогательную вещь. Принесла какая-то баба в приемную ребенка — он плакал. Из внутренних покоев вышла цензорша, поцеловала младенца в носик, ушла за шкафы, дала ему грудь, он утих. Прежде таких цензоров не бывало.

23/IX. 24. Вчера наводнение, миллионные убытки, пожар, а сегодня солнце. Вчера было похоже на революцию, — очереди у керосиновых и хлебных лавок, трамваи, переполненные бесплатными пассажирами, окончательно сбитые с маршрута; отчаянные, веселые, точно пьяные толпы и разговоры об отдельных частях города: «а в Косом переулке — вода», «всю Фурштатскую залило», «на

[1] «Горе мне, бедному» (*лат.*).

Казанскую не пройти». При мне свалилась с крыши и чуть не убила людей — целая груда железа.

Ванну истопили, а вода не шла. Я лег только в двенадцатом часу — и спал. С «Современником» неприятности. Дней пять назад в Лито меня долго заставили ждать. Я прошел без спросу и поговорил с Быстровой. Потом сидящий у входа Петров крикнул мне: «Кто вам позволил войти?» — «Я сам себе позволил». — «Да ведь сказано же вам, что у Быстровой заседание». — «Нет, у нее заседания не было. Это мне сообщили неверно!» — «А! хорошо же! Больше я вас никогда к ней не пущу». — «Пустите!» (И сдуру я крикнул ему, что вас, чиновников, много, а нас, писателей, мало; наше время дороже, чем ваше!) Это вывело его из себя. А теперь как нарочно звонят из Лито, чтобы я явился и дал список всех сотрудников «Современника» — хотят их со службы прогонять. И адресоваться мне нужно к тому же Петрову: нет, не интересно мне жить.

24 сентября, четверг[1]. В Госиздате тонули книги. Нужно было распределить их в подвалах так, чтобы лучшие были наверху, а худшие внизу — в добычу воде. Рабочие сделали так: вниз «Сочинения» Зиновьева, вверх — «Сочинения» Горького.

Мокульский говорит, что на службе с него взяли подписку, что он в «Современнике» сотрудничает по недоразумению.

Вчера мы с Машей ходили к Клячко и к Рувиму Лазаревичу.

29 сент. Был у меня Мечислав Добраницкий. Он едет консулом в Гамбург. Он лыс, а лицо у него молодое. Мура, ложась спать, сказала: одного не понять: старенький он или молоденький.

В цензуре дело серьезно. Юноша Петров, очень красивый молодой человек, но несомненно беззаботный по части словесности, долго допрашивал меня, кто наши ближайшие сотрудники. Я ответил, что это видно из книжек журнала: кто больше пишет, тот и ближайший. Тогда он вынул какую-то бумажку с забавными каракулями:

Тиняков
Эйхенбаум
Парнок Сопха
Зуев
Магарам

И стал допрашивать меня, кто эти писатели. Я ответил ему, что вряд ли Парнок зовут Сопха, но он отнесся ко мне с недове-

[1] В 1924 году четверг — 25 сентября.

рием. О Зуеве я объяснил, что это вроде Козьмы Пруткова, но он не понял. Тинякова у нас нет, есть Тынянов, но для них это все равно. Тынянову я рассказал об этом списке. Он воскликнул:

— Единственный раз, когда я не обижаюсь, что меня смешивают с Тиняковым.

Самая неграмотность этой бумажонки показывает, что она списана с какого-то письма, написанного неразборчивым почерком. Удивительная неосведомленность всех прикосновенных к Главлиту.

Приехал Замятин. Ставится его пьеса (по Лескову) в студии. Изо всех возможных декораторов он выбрал Крымова и доволен. Мы много с ним занимались, написали в Москву письма, — к Магараму, к Абраму Эфросу — нужны деньги, нечем платить сотрудникам и т. д. Потом мы пошли гулять на Неву и увидели баржу на набережной — неподалеку от Летнего Сада.

29 сентября. Пою «Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости...» Правлю Шаврову-Юст, писательницу, которой некогда покровительствовал Чехов. Бедный! Сколько труда он укладывал на исправление ее рукописей. Она пишет, напр. (в своем новом рассказе «Люди и вещи») — завсегдатель, нищи*и*, Рюриковичъ, пэйзаж, она бои*т*ься, ску*п*чица.

Вы пишет большой буквой, как в письме.

4 или 5 октября. Вчера, в воскресение[1] были с М. Б. и Мурой в Зоологическом саду.

Вернувшись домой, накрыла своего слона проволочной корзиной из-под стола (для бумаг), а кругом расставила своих кукол — зоологический сад. Слон в клетке, и кормит она его через решетку.

Во вторник был во «Всемирной» на заседании. Сологуб. — Что, не сердится на меня «Радуга» за то, что я похитил у нее три червонца? (Смеется.) (Подробно рассказывал, как он переводит Шевченка размером подлинника, притом произносит *наймі́чка*.) Я сказал ему, что Сосновский в «Правде» доказывал, что праздновать его юбилей не следовало. Он спросил: *и основательно?* Почти все заседание прошло в том, что Лернер разносил предисловие Мокульского к «Орлеанской деве», где видно виляние перед Советской властью — и употреблено выражение *антипоповский*. Лернер указывал, что Мокульский, цитируя хвалебные отзывы Пушкина об «Орлеанской деве», нарочно умолчал об отрицательных.

[1] 5 октября.

Замятин поддержал Лернера. Сологуб сказал могильно: «К словам Николая Осиповича я присоединяюсь. Все эти выражения явно непристойны и создают впечатление недобросовестности». Вера Александровна была именинница. Я подарил ей огромный арбуз, которым она и угощала Коллегию. Сологуб съел два ломтика. Она подсела ко мне на краешек стула. Он сказал: не садитесь на колени к Чуковскому, Чуковский женатый, садитесь лучше ко мне на колени.

В субботу заседал я у Замятина с Эфросом, ввалился Толстой: вот они где, голубчики! Рассказывал подробно, как он поссорился с Белкиным — из-за рисунков к новому рассказу, который написал он для «Времени»*. Белкин не пожелал делать рисунки под контролем Толстого — отсюда чуть ли не побоище между мужьями и женами.

Толстой очень доволен своим новым рассказом: «Это лучше «Никиты». Понимаете, путешествие по Ждановке!»

С цензурой опять нелады. Прибегает Василий (в субботу) — «К. И., не пускают «Современник» в продажу!» — «Почему?» — «Да потому, что вы вписали туда одну строчку». Оказывается, что, исправляя Финка, я после цензуры вставил строчку о суздальском красном мужичке, которого теперь живописуют как икону. Контроль задержал книгу. Бегу на Казанскую, торгуюсь, умоляю — и наконец разрешают. Но на меня смотрят зловеще, как на оглашенного: «Редактор “Современника”».

Сегодня кончил первую статейку о детских стишках-перевертышах.

9 ноября 1924. Возился с «Бармалеем». Он мне не нравится совсем. Я написал его для Добужинского — в стиле его картинок. Клячке и Маршаку он тоже не понравился, а М. Б-не, Коле и Лиде нравится очень.

Коля кончает свой первый роман*. «Девятнадцатую (главу) пишу!» (Всех глав будет двадцать.) Всякий раз при встрече он сообщает, какую главу он пишет. Помню живо: «На шестой застрял», «в тринадцатой мало действия», и проч. Но в общем, он пишет легко и уверенно, страшно увлекаясь работой. Прибегает поглядеть в «Энциклопедию Британника» — и назад, к письменному столу. По воскресениям он с Мариной обедает у нас, и мы весь обед занимаемся тем, что выдумываем имя его герою и заглавие его роману. Оказывается, это не так легко. Имя героя у Коли Шмендрик — имя явно невозможное. Заглавия такие: «Джентльмены удачи», «Ипполит Повелецкий», «Замыслы Шмендрика». Я предложил ему вчера — «Честолюбивые замыслы». Ему, кажется, понравилось. Сима Дрейден предложил в шутку «Остров сокровищ № 2».

1924 Вчера были мы с Марией Борисовной на детском вечере в Доме книги. Видел Ионова — только что вернулся из Англии. Говорил с ним о своей поездке в Финляндию — к Репину. Он взялся выхлопотать для меня разрешение в один день, но я не хочу ехать туда как советский человек и предпочитаю добыть разрешение обычным путем.

Детский праздник удался, только фокусник был плоховат. И еще раз я удивлялся, как нынешние дети смотрят фокусы: для них фокусник — жулик, враг, которого нужно разоблачить и победить. Они подозрительны, держат его под контролем, кричат ему: «А ну, покажите рукава», «выверните карман», «дайте-ка эту шляпу мне», крик непрерывный в зале. Так что фокусник даже сказал:

— Это делает вам честь, что вы так *скептически* относитесь.

Замечательнее всех номеров был Кольцов, рабочий-самородок, совершенно сверхъестественно передававший звуки машин, железной дороги, хлопание двери, звук, производимый пилою.

По морозу вернулись мы домой в 9-м часу — страшно позднее для меня время. Мура уже спала. Завтра встанет и прибежит, чтобы я ее «мучил». Каждое утро я «мучаю» ее: делаю страшное лицо и выкрикиваю: «Мучение первое — за нос тягновение! Мучение второе — за шею дуновение! Мучение третье — живота щекотание!» Она охотно подвергается пыткам — всех пыток не меньше двенадцати, и если я пропущу которую-нибудь, напоминает: ты забыл одно мучение, по пяткам ты еще меня не бил. Особенно упоительно для нее «с высоты бросание». Конечно, я не причиняю ей никакой боли, но все же к ее веселью примешивается какой-то радостный страх, который и делает эту игру упоительной. «Я твой мучитель, а ты моя жертва», — сказал я ей, желая расширить ее словарь. «Ты мученица, ты жертва». Она усвоила это слово, но на беду в тот же день ей попалось еще одно слово, «бюст». (У нас в переулке какие-то ремесленники делают бюсты Ленина — из окна видно.) И вот, подойдя через час к окну, она сказала «там делают жертвы Ленина. Много-много жертв Ленина». Перепутала два новых слова.

У Лиды в Институте пренеприятные истории, но Лида всё с тем же напором занимается Гнедичем (взяла себе тему реферата) и стенографией.

Мне захотелось уехать в Финляндию — отдохнуть от самого себя.

Замятин говорил по телефону, что о нас (т. е. о «Современнике») в «Правде» появилась *подлая* статья*. Он сейчас пишет об Аттиле — историческая повесть*. — «Думал сперва, что выйдет рассказец, нет, очень захватывающая тема. Я стал читать матерьялы — вижу, тема куда интереснее, чем я думал».

— Вы с «параллелями»?

— Обязательно. Ведь вы знаете, кто такие гунны были? Это были наши — головотяпы, гужееды, российские. Да, да, я уверен в этом. Да и Аттила был русский. Аттила — одно из названий Волги.

— Вы так это и напишете?

— Конечно!

— Аттила Иваныч.

Нужно браться за вторую часть о педагогах, но интересно, как они огрызнутся на первую. «Современник».

13 ноября. Нас так ругают (Современников), что я посоветовал Замятину написать статейку: «Что было бы, если бы пушкинское «Я помню чудное мгновение» было напечатано в «Современнике».

Я помню чудное мгновенье, —
(*небось какой-нибудь царский парад*)
Передо мной явилась ты,
(*не великая ли княжна Ксения Александровна?*)
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
(*чистая красота! – дворянская эстетика*)
Шли годы... бурь порыв мятежный
(*Октябрьская революция*)
Рассеял... мечты
(*о реставрации монархии*)

и т. д. Ибо наши критики именно так и поступают.

У меня неприятности с «Современным Западом». Коллегия очень раскритиковала журнал, и я решил выйти в отставку. Вчера послал Тихонову об этом записку. Хотя Тихонов очень болен, у него на всем теле фурункулы. Жаль смотреть, как он хромает.

Неожиданно мне прислали за редактуру какой-то глупой книжки (Финкельштейн «Нерасцветшая») 65 р. Я сунул эти деньги в карман и потерял. Остался от них только 1 р. Очень жаль: хотел послать их маме. Бедная мама, ей не везет!

Вчера решалась судьба моей книжки о Некрасове. Ионов — за, Белицкий — за, Ангерт — против. Не знаю еще.

Коля кончил роман, — кажется, плохо. Марина беременна. Я узнал это по ее глазам. Оказалось правда. Коля выполнил Мурин заказ: Мура всё время пристает к Коле: ты женатый, а где же твои деточки?

Еще неделю назад Коля бредил тем, что поедет летом с Мариной на Майорку. Теперь ему нужна не Майорка, но акушерка. Только за акушеркой он и поедет.

1924 В языке Муры появилось множество взрослых слов. Сегодня буду их записывать... Ищу, ищу деньги — нет!

Правлю Колин роман. Его орфография:

«Сжал со всей силы».

16 ноября. Ночь. Половина 5-го. Не сплю: должна приехать моя мама. Вчера пришла депеша от Маруси. Я счастлив — утром рано Марина, Коля, Боба, Лида собираются встретить ее на Царскосельском вокзале.

Читаю Adams'a «Success»[1]. Очень увлекательно — вначале. А потом американская дешевка. За это время, к счастью, я успел найти потерянные деньги — т. е. не я, а Маша: в корзине для бумаг под столом — все шесть червонцев. Хлопочу о поездке в Финляндию. Третьего дня корректор Ленгиза показал мне по секрету корректуру статьи Троцкого обо мне: опять ругается*. Очень. Если Ленгиз купит мою книгу о Некрасове, я возьмусь переделывать ее. А сейчас правлю Колькин роман. У него есть фантазия — но нет ни малейшего знания действительности. В одной главе он изображает пушечное ядро, как оно «медленно пролетало над площадью и скрылось в ближайшем переулке». Это не точная цитата, но близко к оригиналу. Неутомимость его удивительна. Только что кончив роман, он думает уже о стихах для детей — о трубочисте. Маринина беременность волнует его: прибегал вчера за акушерской книгой.

Раньше всех встала Лидка (хотя обычно она встает в 10). Теперь она проснулась в 5, вскочила на ноги в начале 6-го и помчалась с Бобой на вокзал. Я складываю книги и жду. Мурка в ажитации: выбегает ежеминутно в прихожую. Увидела, что я непричесан. «Причешись». Мура хочет сама открыть дверь.

«Ах, Бобка смешной! Поехал бы вместе с бабушкой». — Мурочка, беги, бабушка приехала!

17/XI (24), понедельник. Бабушка оказалась сильно постаревшей, плотной здоровой женщиной — голос уже не тот, звук не тот; она привезла с собою — для меня чашку, для Коли сахарницу и щипчики, для Муры елочные украшения и проч., и пр. Но больше всего привезла она целые пригоршни прошлого, которое вчера разожгло и разволновало меня до слез, привезла милую Колькину карточку — где Коля беспомощный, наивный и запуганный патетически глядит как бы в будущее. Оказывается, когда-то, когда кто-то в шутку сказал «наша Лида», Коля вступился за сестру:

[1] «Успех» *(англ.)*.

— Нет, Лида наша, это мы ее родили!

А моя двоюродная сестра Паша, нянька Коли, имела любовника, забеременела, поволокла его в суд, и там, на суде в нее влюбился другой молодой человек, и там же сделал ей предложение. Тогда и первый пожелал жениться. Она (чтобы уязвить первого) отдала свою руку второму, но первый в день венчания тоже явился в качестве жениха и требовал, чтобы поп обвенчал с Пашей именно его. Паша в обморок. (Потом она вышла за второго и теперь счастливо живет в деревне, имеет корову и проч.).

Кончаю «Success» Adams'a. Очень американская вещь, беспросветная, фальшивая, но захватывает.

24 ноября, понедельник. Мура освоилась с бабушкой. На третий же день бабушка в передней машет (крыльями), а Мура ей:

— Вы еще не вылупились.

Предполагается, что бабушка — птенчик в яйце. Много страстей поднялось и улеглось за эту неделю: первая — письмо московских литераторов. Ровно неделю назад, в понедельник в 4 часа, Тихонов вынимает эту бумагу (протест против нынешних литературных условий), показывает ее мне и Замятину: «какой растяпа этот Толстой! только что прислал мне эту бумагу, полученную им из Москвы, но поздно: сам же говорит, что эту бумагу сегодня в 3 часа уже подают в Москве начальству. Так что никто из петербургских писателей не успеет ее подписать». Я взял у него эту бумагу, отнес ее в «Современник», там подписали: я, Эйхенбаум, Всев. Рождественский. Потом во вторник Замятин получил подпись Сологуба. Потом передал ее при мне Мише Слонимскому. Тот взял бумагу в Госиздат; там целая куча пролетарских и полупролетарских писателей объявила эту бумагу «недостаточно сильной» и составила свою, «более сильную». В субботу в издательстве «Время» эту «более сильную» бумагу мне показал Тынянов. Я глянул и увидел, что эта «более сильная» есть в то же время «более сервильная» бумага — и что в ней заключается чудовищное предложение — вербовать цензоров из среды писателей! Тынянов (оказалось, что он в этих делах младенец) согласился со мной, взял назад свою подпись, и мы вместе пошли в Союз писателей (я не вошел, очень накурено, вечером не люблю шумных сборищ), а Тынянов просидел там около часу и сказал, что Союз собирается писать третью записку от себя. Таким образом голоса разобьются. (Шкловский — разговор с ним.)

Второе событие: мы с Замятиным написали отповедь нашим ругателям. Идея статьи моя. Я предложил взять стихотворение Пушкина и раскритиковать его на манер Родова, предложил взять лесковского Перегуда из «Заячьего ремиза», я сильно пере-

делал то, что написано Замятиным, но он ведет себя так, словно вся статья написана им одним*. То же относится и к «Паноптикуму». Так же было, когда он написал «Я боюсь»*. Перед этим я читал в присутствии Горького проект какого-то протеста, где были эти слова: «В наше время Чехов ходил бы с портфелем» и проч. Замятин усвоил их — бессознательно.

Правлю свою книжку о Некрасове для отдельного издания.

26. XI 24. В Госиздате снимают портреты Троцкого, висевшие чуть не в каждом кабинете. — Цензура вчера запретила Колину книгу «Беглецы». Я ездил с ним сегодня на Казанскую, еле выторговал. Им не нравится, что цыплята вернулись под крыло к матери. Мораль нехорошая. — «Но ведь детских домов для цыплят у нас еще нет». Разрешили.

В прошлый вторник Волынский читал у нас (во «Всемирной») свое вступление к книге о Рембрандте. Сологуб отозвался об этом вступлении игриво и резко. «Ваша книга опасная. Вы призываете к тому, чтобы (евреи) всех нас перерезали. Вы защищаете иудаизм, но он не нуждается в вашей защите. И почему христианство кажется вам каменным и пустынным, почему именно каменным?»

Потом в кулуарах острили, что каменным Волынский назвал христианство, чтобы понравиться Каменеву.

Мура: Боба такой плутов (образовано от *плутовка).*

М. Б. купила диван для моей комнаты. У меня болит ухо и правая верхушка груди. Читаю *Вичерли,* пишу про Эйхенбаума.

2 декабря. Вчера приехал из Москвы Тихонов. Мне позвонили и просили никому не говорить в «Современнике», что он вернулся, т. к. денег он с собой не привез. Он очень забавно рассказывал, как наш издатель Магарам напуган газетною бранью, поднявшейся против нас. Недавно его вызвали в ГПУ — не по делам «Современника», а в Экономический отдел, но он так испугался, что, придя туда, не мог выговорить ни слова: сидел и дрожал (у него *вообще* дрожат руки и ноги). Не спросил даже: «Зачем вы меня вызвали?» На него глянули с сожалением и отпустили. Чтобы успокоить несчастного, Тихонов устроил такую вещь: повел его к Каменеву, дабы Каменев сказал, как намерено правительство относиться к нашему журналу. «Пришлось для этого пожертвовать несколькими письмами Ленина», — объясняет Тихонов (т. е. он дал Каменеву для Ленинского института те письма, которые Ленин писал ему). «К Каменеву добиться очень трудно, но нас он принял тотчас же. Это очень подействовало на Магарама. Каменев принял нас ласково. — «Уверяю вас, что в Политотделе ни

разу даже вопроса о «Современнике» не поднималось. «Современник» я читаю — конечно, без особого восторга, но на сон грядущий чтение хорошее. А если на вас нападает «Московская правда», то это так, сдуру, каприз рецензента*. Скажите Бухаричу, и все это дело наладится». Магарам ушел обвороженный, успокоенный. На следующий день я к нему: давайте деньги. — «Денег нет!» Чуть с ним говоришь о деньгах, он принимает какие-то капли, хватается за сердце, дрожит по-собачьи, ставит себе три градусника, противно смотреть! «Денег нет!» Это меня возмутило. Он из-за каких-то грошей не сдал Госиздату 2 тысяч экз., которые хотел приобрести Госиздат, разошелся с Кооперативными обществами, с Центросоюзом, на Московскую контору тратит две тысячи в месяц (из доходов журнала), словом, я разъярился — и заявил, что с 1-го декабря прекращаю журнал. Он всполошился, но я остался тверд. Я сказал ему: «Вы дали мне бездну обещаний, я поверил вам, влез в долги, истратил казенные суммы, и теперь вы меня режете». Словом, у меня есть надежда, что он пришлет деньги, но покуда он дал 80 червонцев — и больше ни копейки, ни за что. Мы-то выкрутимся, я кое с кем завязываю связи, но сейчас туго».

Я слушал этот рассказ с грустью, ибо мне должны около 300 рублей.

О том, что сделает Ионов со «Всемирной», не известно еще никому, может быть и самому Ионову. Но все волнуются. Тихонов говорит, что и в Москву и из Москвы он ехал с Белицким и Белицкий уверил его, что до сих пор еще никому ничего не известно. «Конечно, они могли бы поручить нам весь иностранный отдел, как делал московский Госиздат, оставить нас на собственном иждивении, но едва ли».

12 декабря. Вчера зашел я в цензуру справиться о кой-каких рецензиях и о «Паноптикуме». Уже отпечатано 10 листов «Современника», торопимся выйти к празднику. Пришел я поздновато. Петров. Сидит лениво у стола, глядит томно. Я говорю: «Нельзя ли сегодня матерьял, торопимся». Он помолчал, а потом говорит: «Матерьяла мы вам не дадим, потому что “Современник” закрыт». — «Кем?» — «Коллегией Гублита». — «Велика ли Коллегия?» — «Четыре человека: Острецов, Быстрова и еще двое». — «Можно с ними поговорить?» — «Их нету. Да что вам разговаривать с ними? Разговоры не помогут. Завтра я утром в 11 час. приду в “Современник” и составлю протокол по поводу того, сколько листов у вас отпечатано». — «Для чего же знать вам, сколько листов отпечатано?» — «Для того, чтоб остановить печатанье и прекра-

тить издание». — «Но те листы, которые отпечатаны, вы разрешите выпустить в свет?» — «Не знаю».

Я не хотел, чтобы он приходил к нам в редакцию, и условился, что позвоню ему по телефону, в какой типографии печатается «Современник» (чтобы он сам позвонил в типографию и приостановил бы печатанье), — и помчался на Моховую сообщить обо всем Тихонову и Замятину. Решили, что сегодня я с Тихоновым еду в Гублит. Тихонов верит, что удастся отстоять. У него надежда на Каменева и Бухарина. Замечательнее всего то, что цензора, и Острецов, и Быстрова, в личных беседах со мною, всего за несколько дней до закрытия, высказывали, что «Современник» — all right[1]. Я спрашивал Острецова о «Перегудах», он сказал: «Вы здесь выражаете свое profession de foi[2], я не зачеркнул ни одного слова, мне нравится».

Характерно: там же в Гублите с меня содрали рубль за билет на какой-то благотворительный вечер.

15 декабря. Ну, были мы с Тихоновым в цензуре. Заведующего зовут Острецов, его помощницу — Быстрова. Разговаривая с Быстровой, Тихонов слил обе фамилии воедино: «Быстрецова». Мы указали ей, что мы сами вычеркнули кое-что из рецензий Полетики; что сам Каменев обещал Тихонову, что против журнала не будет вражды; что дико запрещать книгу, которая вся по отдельным листам была разрешена цензурой, и т. д.

Быстрова потупила глаза и сказала: «Ваш журнал весь вреден, не отдельные статьи, а весь, его и нужно весь целиком вычеркнуть. Разве вы можете учесть, какой великий вред может он причинить рабочему, красноармейцу?»

Но обещала подумать, не удастся ли разрешить хоть 4-й номер.

На следующий день я был у нее. Разрешили. «Мы не только ваш хотели закрывать, мы просматриваем теперь и многие военные журналы». (Очевидно, искореняют троцкизм!) Очень ей не нравятся «Перегуды». Она даже с сожалением смотрит на меня: вот, такой хороший человек, а... в «Современнике».

Пишу об Эйхенбауме. Завтра читать статью в Университете. Успею ли?

16 декабря 24 г. Снилась «вдовствующая императрица», которой никогда не видал, о которой никогда не думал. Очень ясно:

[1] в порядке *(англ.)*.

[2] символ веры *(франц.)*.

лицо с кулачок, старушка. Сидит на диване с Мар. Бор., шушукаются. А я беру «Чукоккалу»: «Ваше величество, дайте автограф». Дело летом, на даче. Солнце.

Приснится же вздор — безо всякой связи с событиями.

События же такие: были мы с Тихоновым снова в Гублите. Застали Острецова. Он рассказал нам, что ему за «Современник» был нагоняй, что он ездил в Москву к Полянскому объясняться, что Полянский предложил ему составить сводку 4-х №№, что эта сводка будет обсуждаться сперва в Питере, потом в Москве, и тогда участь «Современника» будет решена. Замечательно, что Острецов стоит за «Перегудов», а Быстрова против них. Очевидно, Острецову нравится в этой статье то, что она отвечает рецензентам, которые косвенно задели и его, Острецова. Но мы на семейном совете положили: выбросить из «Перегудов» конец*. Кстати, в цензуре думают, что «Перегудов» писал я. О Замятине никто не догадывается.

Вчера Тихонов был у Ионова и прямо в лоб:

— Хотите со мной работать?

— Да. Но вы мой враг. Вы Луначарскому писали на меня доносы, жаловались, что «Ионов хочет вас слопать».

— Да, писал. Но и вы писали бы. Вы действительно хотели меня слопать, и я защищался.

— Это так. Чего же вы хотите?

— Вы знаете, что на малое я не пойду. Подчиняться Горлину не стану. Дайте мне заведывание всею «Художественной литературой», включив в нее как часть иностранную литературу, и оставьте дом на Моховой.

— Но дом требует ремонта?

— Нет, ремонт был...

— Ну, отлично!

И ударили по рукам. А Белицкий все же уверяет, что Ионов работать с Тихоновым не будет, что это одна «вежливость».

Портрет Луначарского висит теперь во «Всемирной» на видном месте — есть и «уголок Ленина».

17 декабря. Вчера во «Всемирную» прислана бумага от Ионова с предписанием вручить все дела А. Н. Горлину и передать дом (Моховая, 36) в ведение Госиздата. Хотя в этом ничего грозного нет, хотя весьма возможно, что в этом залог высшего процветания Тихонова, но во «Всемирной» эта бумага была принята, как вражье нападение на Тихонова: все заплакали, и больше всех Овсей, бухгал-

тер, на которого Тихонов чаще всего и громче всего орал; повесив свою тяжеловесную голову, он говорил: «я о себе не волнуюсь, я волнуюсь о Тихонове», — и слезы текли у него по лицу и падали в конторскую книгу. Зарыдал Антон, большеусый привратник, зарыдала Вера Александровна. На заседании (вчера был вторник) почти рыдал Волынский, и все положили отстаивать Тихонова до последней капли крови.

— И за что вас так любят? — говорил я ему. — Вы деспот, эгоист и т. д.

Но есть в нем очарование удивительное. Ведь даже я, твердо решивший с января уйти, пойду в воскресение отстаивать перед Ионовым коллегию и Тихонова, главным образом Тихонова. Меня выбрали вместе с Волынским и С. Ф. Ольденбургом (которого вчера не было: в Москве).

Вчера читал лекцию об Эйхенбауме в университете*. Когда заговорили слушатели, оказалось, что это дубины, фаршированные марксистским методом, и что из тысячи поднятых мною вопросов их заинтересовал лишь «социальный подход».

Статью об Эйхенбауме завтра начну переделывать. А сегодня надо редактировать Лидо-Колин перевод «Smoke Bellew»[1].

18 дек. Вчера провел самый гнусный день и сейчас провожу самую гнусную ночь.

Днем узнал, что ввиду того, что Гублит решил закрыть издательство Маркса, в типографию, где печатались мои «Пятьдесят поросят», явился чиновник и приказал вынуть из машины книгу. Это было глупое зверство, ибо нужно же иметь уважение к труду автора, корректора, наборщика и т. д. Но книгу вынули, чем вконец разорили издателя, ибо к Рождеству ему не выйти, у меня отняли 15 червонцев и проч., и проч., и проч.

Тут же узнал, что Колину книгу «Танталену» разрешили печатать лишь в уменьшенном числе экземпляров: 5000 экз. вместо десяти тысяч. Почему? Потому что это не производственная литература, а Гублит решил бороться с авантюрными романами.

Это так взволновало меня, что не сплю совсем, читаю Эйхенбаума о Лермонтове: хорошо, но плюгаво. Лермонтов без Лермонтова. Правлю Лидин перевод Джека Лондона «Smoke Bellew». Переписываю статью об Эйхенбауме.

У М. Б. болит голова. Она сказала: «Свету божьего не вижу». Мура передает: у мамы так болит голова, что она уже свету не видит, ей темно-темно».

[1] Смок Белью (*англ.*).

Вчера Мура ставила театр — из зверушек. Играла колобок. Но в настоящем театре тьма сменяется светом. Поэтому она для иллюзии закрывала глаза и, открыв, говорила: «зажгли электричество». **1924**

Вчера вышли «Беглецы» Ник. Чуковского и «Д-р Айболит» Корнея Чуковского.

И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас*.

Оказывается, Волынский рыдал, а сегодня спрашивает Тихонова в письме: где будут выдавать жалование.

19 декабря. Был вчера у Эйхенбаума. Маленькая комнатушка, порядок, книги, стол письменный косо, сесть за стол — и ты в уголке, в уюте. Книги больше старинные, в кожаных переплетах — сафьянах. Из-за одного книжного шкафа, из-за стекла — портрет Шкловского работы Анненкова и ниже — портрет Ахматовой. Он рассказывает о том, что вчера было заседание в институте, где приезжий из Москвы ревизор Карпов принимал от сотрудников и профессоров присягу социальному методу. Была вынесена резолюция, что учащие и учащиеся рады заниматься именно социальными подходами к литературе (эта резолюция нужна для спасения института), и вот когда все единогласно эту резолюцию провели, один только Эйхенбаум поднял руку — героически — против «социального метода».

Теперь он беспокоится: не повредил ли институту. Вообще впечатление большой душевной чистоты и влюбленности в свою тему. Намечает он пять или шесть работ и не знает, за которую взяться: за Лескова, за Толстого, за нравоописательные фельетоны 18 и 19 века. У него двое детей: Дима 3 лет (золотоволосый, кротко улыбается) и Оля (лет 12). Жена седоватая, усталая. Дети в большой комнате, железная печка натоплена до духоты.

Видел Щеголева: «Напрасно Тихонов думает, что Ионов будет с ним работать. Ионов ненавидит его зверски».

В цензуре: милые разговоры, но жестокие и глупые дела. Они не виноваты, но...

21 декабря. Вчера провалялся после *19-го*. Читал с *наслаждением* Wycherly, письма Салтыкова, Мура о Байроне, перечитывал Некрасова и проч., и проч... Был в Госиздате у Ионова. Он помогает мне достать пропуск в Финляндию, оказывает протекцию. Со мною был очень мил, показал мне письмо от Горького, странное письмо! Приблизительное содержание такое: «Я прежде не знал,

1924 Илья Ионович, что Вы такой замечательный работник, теперь вижу, знаю и восхищаюсь Вами. Я на днях писал об этом А. И. Рыкову. Кланяйтесь Зиновьеву, пришлите мне книги проф. Павлова, и вообще всякую книгу, которою захотите похвастаться. Очень хорош роман Федина; видно, что Федин будет серьезный писатель. Ах, какая грустная история с Троцким![*] Теперь здешние ликуют, радуются *нашему* несчастию».

«В Москве [нрзб.], — говорил Ионов. — Мне придется многих предать суду за преступную безхозяйственность. Я, напр., спрашиваю у них, сколько у них долгу. Они и сами не знают. Сначала думали: 6, теперь оказывается 7 $^{1}/_{2}$. Я спрашиваю, сколько вы должны авторам. Мне приносят книгу: всего 200 000 рублей. Я успокоился. Потом приходят: это только долги за учебники, а в других отделах есть и другие долги. Я так взволновался, что уехал в Питер. Питер — это горная санатория, по сравнению с той клоакой. Все здесь любят работу, относятся с доверием ко мне. Сейчас я был на митинге — 1600 рабочих, — как они меня встретили, вы бы видели!». Я заговорил о Тихонове. Его лицо омрачилось. «Боюсь, боюсь я его!» — сказал Ионов.

Вчера интересную вещь рассказали об Ольдоре. Ольдор, после своего скандального процесса обвиненный в садизме и разврате[*], уехал в Москву хлопотать перед сильными мира сего. Пошел к сестре Ленина, Марье Ильиничне. Рассказал ей, конфузясь: «про меня вот говорят, будто я ходил в дом свиданий»... Та пришла в ужас. «Тов. Оршер, мы вам доверяли, а вы ходили на свидания с эсэрами и меньшевиками! Стыдитесь!» Так до конца и не поняла, что такое дом свиданий!

22 декабря. Вчера день величайших передряг. Мы собрались в 11 ч. у Тихонова во «Всемирной». Уже подходя к этому столь родному дому, я увидел, что у дверей три воза, и на эти возы сложены все наши шкафы и полки — с которыми мы все так сроднились. В кабинете у Тихонова еще ничего не изменилось. Скатерть золотисто-зеленая на помпезном столе заседаний еще не унесена никуда. Собрались Ольденбург, Лозинский, Волынский, Тихонов, Смирнов, Вера Александровна, Замятин, Жирмунский. Ждали мы Лернера и Сологуба, которые обещались придти, не дождались и сели за стол. Тут началась невероятная канитель: Волынский, по непонятной причине, предложил рассмотреть эпизод «с точки зрения вечности» (есть и вечные концепции, он так и выразился); ни за что не хотел идти с депутацией, предлагал послать Веру Александровну к Ионову объясняться и вообще продержал всех нас часа два за разговорами. Наконец мы спросили Ионова по телефону, примет ли

он нас, и пошли. Я с Ольденбургом, Волынский (несколько пристыженный) с Каштеляном, который шел с ним, чтобы оторвать его от вечности и приблизить к реальным событиям. Чудная погода, морозец, снежок. Пришли в Госиздат. Закоулками, потому что воскресение. В приемной шофер. Прошли в кабинет — Ионов, в европейском костюме, в заграничной сорочке, очень волнуясь, пригласил нас сесть и сказал: «Я хотел лично сообщить вам, что я намерен предпринять в отношении вас, но отложил наш разговор до января. Тогда я мог бы говорить с вами гораздо определеннее. Но если вы пришли теперь, я готов, не откладывая, побеседовать с вами теперь. Вы знаете, что московский Госиздат не справился с возложенной на него задачей. Мне предложили сорганизовать Госиздат на новых началах, положив в основу тот опыт, который мы проделали тут, в Ленинграде, т. е. не прибегая к помощи государственных средств. Когда я познакомился с работой московского Госиздата, я нашел вокруг него целый ряд — частью здоровых, частью злокачественных наростов, которые путали работу Госиздата, напр., декоративные мастерские, плакатные мастерские. Я все эти наросты отрезал. При Госиздате также существовала «Всемирная Литература». Год тому назад я открыто предлагал вам, что я дам вам возможность работать открыто и свободно, вы меня отшили. Ну что же делать! Для того чтобы я мог везти весь этот воз, мне необходимо сократить расходы. Ведь теперь я покрываю многие прорехи московского издательства жалкими средствами Ленгиза. Если я буду барствовать, у меня к январю иссякнут средства, и я к январю прекращу всякий выпуск книг. Нужно действовать постепенно. Как думаю я поступить со «Всемирной Литературой»? Здесь у меня имеется отдел «Иностранной литературы». Во главе этого отдела стоит А. Н. Горлин. Он одновременно ведает двумя отделами. Я думал бы, что через вашу коллегию я мог бы пропустить около 120 листов в 1 месяц, даже около 150 (включая и детский отдел). Я думаю: если бы всю эту работу объединить в один отдел, сделать штат более компактным. Вы знаете мою точку зрения. Широкий план нам не под стать. Тот план, который выработала «Всемирная Литература», одно время казался прекрасным, но оказалось, что он не имеет отклика в стране. Львиная доля отпадает. Придется сделать из этого плана экстракт. В этом отделе есть «восток» (это заинтересует товарищей востоковедов), — в тех пределах, какие позволяют нам наши средства, я хотел бы «восток» сохранить. Я хотел бы, чтобы товарищи знали, что по одежке надо протягивать ножки.

Пройдет несколько месяцев, и все понемногу расширится. Появятся оборотные средства. Вы во «Всемирной Литературе»

ничего не могли сделать, так как у вас не было оборотных средств. Но у нас очень скоро дело разовьется. Если считать, что теперь наша продукция будет пять листов, то в августе она дойдет до пятидесяти. Так надо считать, такова пропорция. У нас есть колоссальная возможность раскачать читателя — добраться до самых недр провинции. (Пауза... Все это он говорил, глядя в бумажку, потом поднял глаза...)

У вас вот членом редколлегии и ее заведующим был Тихонов. Я считаю его делягой-парнем, хорошим администратором, но ни я, ни мой аппарат, ни товарищи мои не желают работать с ним. Заявляют: если будет Тихонов, они уйдут. Поэтому нам придется с Тихоновым проститься. Признаюсь, я не люблю таких дельцов. Вводить его сюда, в Госиздат, я считаю вредным. Там в Москве было много таких, я считал, что им не место в Госиздате. Правда, он много лучше и чище тех, но все же мне придется от него отказаться».

Очень волнуясь, Аким Львович взъерошивает на лысине воображаемые волосы и говорит:

«Одна мелочь в ваших словах показалась несколько болезненной для нас. Вы хотели беседовать с нами значительно позже, но, в естественном нетерпении, мы пожелали побеспокоить вас именно теперь. Мы шли сюда с наилучшими чувствами, и нам приятно узнать, что вы не только не покушаетесь на существование коллегии, но хотите дать ей новую динамику. С этой стороны все благополучно. Тут только мелочи. Вы не совсем знаете, что и «Библиотеку современных писателей» и «классиков» издавали именно *мы*. Тут один аппарат. Разделения не было. Это был один аппарат... Остается вопрос персональный. Не для того, чтобы полемизировать с вами, а для того, чтобы явить вам наш взгляд, мы должны сказать вам, что вы имеете об Ал. Ник. Тихонове неверное представление. Он не делец, но деловой человек...

(Ионов: Но я здесь употребил ваше же выражение. Вы однажды мне сказали об Экскузовиче: это не деловой человек, но делец.)

Вы делаете мне честь, вспоминая мои маленькие застольные шутки, но я говорю по совести: Тихонов — деловой человек. Может быть, он еще не вышел на настоящую дорогу. Мы люди не коммерческие и, должно быть, не совсем чтили бы коммерческого человека...»

25 декабря. Канитель с Тихоновым длится. Я сейчас очень занят писаньем статьи о Некрасове, но чуть я отложу перо, я слышу: Тихонов, Тихонова, Тихонову... Вчера были мы с Замятиным на 6-м этаже, где приютился Тихонов. Комнатенка ничего себе:

кресла, портрет Ленина, но он чувствует себя, как свергнутый с трона король. Говорит, что от Эфроса есть письмо: «Современнику» на помощь приходит новый капиталист. Эфрос капиталиста хвалит и зовет Тихонова в Москву. Четвертая книжка «Современника» вышла, но у нас нет 20 рублей внести в цензуру — и получить экземпляры. Я ходил к Боровкову хлопотать о Гессене (корректоре, который выброшен на улицу лишь за то, что он брат Гессена из «Петрограда») и о кассире Дмитрии Назаровиче. Боровков попросил меня устроить детское утро 1-го января. Мы с Замятиным и Людмилой Николаевной посетили Белицкого. Белицкий сказал, что дело Тихонова безнадежное. «Я советовал ему уйти. Его ненавидят все. В Москве и здесь... Даже переводчики... Переводчики в один голос твердят, что «Всемирная Литература» обращалась с ними гнусно. На Тихонова смотрят как на человека, который кормится возле литературы, возле литераторов».

Третьего дня шел я с Муркой к Коле — часов в 11 утра и был поражен: сколько елок! На каждом углу самых безлюдных улиц стоит воз, доверху набитый всевозможными елками — и возле воза унылый мужик, безнадежно взирающий на редких прохожих. Я разговорился с одним. Говорит: «Хоть бы на соль заработать, уж о керосине не мечтаем! Ни у кого ни гроша; масла не видали с того Рождества...» Единственная добывающая промышленность — елки. Засыпали елками весь Ленинград, сбили цену до 15 коп. И я заметил, что покупаются елки главным образом маленькие, пролетарские — чтобы поставить на стол. Но «Красная газета» печатает: в этом году заметно, что рождественские предрассудки — почти прекратились. На базарах почти не видно елок — мало становится бессознательных людей.

Мура все еще свято верит, что елку ей приносит Дед Мороз. Старается вести себя очень хорошо. Когда я ей сказал: давай купим елку у мужика, она ответила: зачем? Ведь нам бесплатно принесет Дед Мороз. Мурка и верит и не верит в Деда Мороза. Сейчас она сказала М. Б.: «я думаю, что Деда Мороза нет, как и черта нет. А прямо пришли два мужика и принесли елку — и все, что под елкой». Но потом опять увлеклась этим мифом. Для нее реальности нет, а есть игра — и она по воле разрушает границы. — Ну, если нет Деда Мороза, откуда же взялась елка? — спросил я. — Я думаю, она выросла в комнате, вместе с игрушками.

К вечеру Мурка по-своему распорядилась мифом о Деде Морозе. Она устроила елочку для своих кукол — маленькую — вершка в полтора — и сказала им, что эту елку принес дедка Морозка, «за то, что они были хорошие». Словом, весь наш обман она ви-

дит насквозь и не разоблачает его лишь из желания подольше пользоваться им — и наслаждаться...

30 декабря 1924. Пишу об Эйхенбауме — и нет конца.

Был болен — лежал 3 дня. Вчера ездил к Ионову — еле живой.

Вчера было очень тягостное заседание «Всемирной Литературы». Длилось оно три часа — сочинили грубое письмо к Ионову, после которого Ионов всех нас погонит к чертям.

Самое печальное во всем разгроме «Всемирной Литературы» это то, что выгнаны на улицу конторские служащие. Я вчера хлопотал о Натанзоне (нашем бухгалтере) и других счетоводах, — но ответ неутешительный: видно, их решено изничтожить. Хуже всего положение у Софии Владимировны: она лежит в жару, за ней ухаживает ее больная дочь, Муся, — и все время боится, как бы ее мать не узнала, что она сокращена: старуху сократили, а она даже понятия не имеет, что на Моховой уже нет того учреждения, где она считает себя служащей!

Чуть только кончилось наше тревожное заседание (мил был один Сологуб, потешался над моей пуговицей; когда я просил его пододвинуть бублики — пододвигал не только ближайшую тарелку, но и ту, которая подальше; когда я сказал, что я болен, сказал: «он всегда болен» и пр.) — Замятин сообщил мне и Тихонову, что получена повестка — опротестован наш вексель, по которому мы должны платить типографии.

Тихонов дополнительно сообщил, что типография в обеспечение долга заарестовала нашу 4-ую книжку, которую мы готовили с такими усилиями. У меня окончательно разболелась голова. Я ушел — с болью.

4 января. Вчера читал Уичерли — не до конца. Был у Клячко, он опять утверждает, что мой *Бармалей* никуда не годится. Вечером, в 6 час., ко мне пришли Шервинский и Леонид Гроссман. Они оба приехали прочитать «Воспоминания» о Брюсове — в *капелле.* Мы стали оживленно разговаривать (за столом), вдруг бах! — пушка, еще и еще!! Наводнение!! Мы с М. Б. вышли на улицу. Пошли к Фонтанке. Слякоть, лужи, народ пялит глаза на черную воду, у краев покрытую легкою корочкой, — и все это очень непохоже на «Все на борьбу с наводнением!». Вода поднялась почти до уровня моста — вот-вот поднимется и разольется по улицам. Я пошел в Союз Писателей: Ганзен, старуха Саксаганская, старуха Грекова, дочь Грековой, Бианки, Полонская, Борисоглебский и проч. Я читал без увлечения — «Мойдодыра», «Бармалея» и «Мухину свадьбу», успеха не имел — и мы пошли назад. Трамваи мчались в парк, людские голоса звучали возбужденно и весело (!), пушки бахали, холодно, мокро, дождь, ветер — насквозь. Сейчас сижу за столом, пыжусь писать о Некрасове — ничего не знаю, было ли наводнение или нет. Ветер как будто стих, на крышах снег.

6 января, вторник. Вчера день неудач. Договор, который я хотел подписать вчера с Ионовым насчет сочинений Некрасова, — был задержан Сергеевым, новым в Госиздате человеком. Свидетельства на службе не получил для заграничного паспорта. От фининспектора нехорошие вести. В Госиздате встретил Василия Князева: нос красный, лицо потное, волосы жидкие, изо рта несет сивухой. Повел меня на скамеечку и сказал: я человек малообразованный и ношу с собой энциклопедический словарь — всюду, везде, в кармане. Вот! — и он вынул из бокового кармана бутылку портвейна и отхлебнул. «Я пишу стихи, рекламирующие вина Винторга, — и за это ящиками получаю портвейн. Вот, Корней Иваныч, смотри, вот, вот... И он показал мне листок, где пишущей машинкой было написано два стихотворения, одно о том, как он, лежа на женщине,

рыгнул ей в лицо вином, а потом стал пить это вино с ее губ, и другое тоже о «девочке» — проклятие ей — за что, не помню. Стихи чистенько сделанные, но водянистые. «У меня 4 любовницы, и все 4 жидовки, — зашептал он. — Я книгу пишу: *Жидовка* — и другую, контрреволюционную, вот... И он прошептал неразборчиво стихи о каком-то отце, о страданиях, о замученных и убитых людях. «Я ведь контрреволюционер, я вчера был в Г.П.У., так и сказал им, что я за Троцкого потому что Троцкий — Наполеон, я за Н[иколая] II, ненавижу революцию»... Потом ушел, подписал договор на детскую книжку «Красная деревня» — вернулся ко мне, и я понял,что он не столько пьян, сколько притворяется пьяным... «Я ненавижу Демьяна, Каменева и еще кого-то (я забыл), я считаю их Распутиными, да, да, да! Что ты так на меня выпучил глаза... Ты — проститутка, подлизываешься к власти, а я так и заявил в комитет РКП: «будучи душевнобольным, прошу снять с меня звание члена РКП». Меня просят остаться, но я не хочу — плевать... А ты, ты — талант — как хорошо у тебя в «Крокодиле»:

Выпил полную чернил*очку* бут*ыл*...

Так говорит мой сын. И какое великолепное у тебя начало «Мойдодыра», но ты — блядь... и сын у тебя — бездарность. Его книжка («Беглецы») — такая гнусь... Скажу тебе по секрету — Демьян Бедный мне и в подметки не годится...» (Он указал на свою подметку.)

Во всем этом было много рисовки. Он рисуется своим «падением» и своим цинизмом. Неужели у него нет других ресурсов? Я забыл сказать, что, изображая, как он пил вино с губ своей «жидовочки», он описал и другую довольно страшную вещь: как во время объятий с «жидовочкой» у него из горла хлынула кровь, он замочил себе рубашку и содрал ее... Насилу он отвязался от меня, и я до самого вечера испытывал брезгливость, будто вступил в какую-то мерзость.

9-е янв. Были у Редьков. Хороший случай правосудия рассказал Александр Мефодьевич. Судили сапожника за то, что он пропил ботинки какой-то кухарки, взятые им для ремонта. Кухарка привела в суд свидетелей — своих господ. Сапожник сознался: пропил. Хотел опохмелиться и т. д. Суд решил не наказывать его, но т. к. кухарка — бедная женщина, обязать господ купить ей ботинки. Правильно!

Неудачи продолжаются. Денег нет ниоткуда. Цензор Острецов зачеркнул мои стихи и написал свои — прежде, кажется, никогда еще не было, чтобы цензора писали стихи вместо авторов! Су-

кин сын Горбачев преследует нас своими изветами. Ионов преследует нас своими интригами. **1925**

10 янв. Удушье... Бедный Федин очень сконфужен... краснеет и мнется. Дело в том, что он секретарь «Звезды», а в «Звезде» Горбачев приготовил жестокую филиппику по адресу «Современника», где сотрудничает Федин. Он говорит: уйду, попрошу Ионова перевести меня в другой, здесь я не могу. Майский (редактор «Звезды»), бывший меньшевик, и, как всякий бывший меньшевик, страшно хлопочет перебольшевичить большевиков. Говорят, что статья Горбачева весьма доносительная*.

Удушье!.. Теперь дела так сложились, что я бегаю по учреждениям с часу до 5, и всюду — тоска... тоска... Оказывается, что в Москве на Ионова нажим, что Ионов очень непрочен. Против него Сталин, за него Зиновьев. Чтобы умилостивить Сталина, он заказал напечатать две серии его портретов. Это было первое, что издал Ионов в Москве. Так говорит Тихонов.

Сегодня Тихонова перевели еще в меньшую комнату — самую маленькую и паршивую, какая только есть в Госиздате. «Деградация!» — говорит он. В «Современнике» никаких денег нету — но говорят, что скоро приедет Магарам.

Мамочка третьего дня подарила мне свое кольцо — обручальное, которое носила 45 лет. «Какие у тебя красивые руки!» — сказала она и надела мне колечко. Я был с нею в среду у глазного доктора — и он клятвенно заверил меня, что левый глаз у нее в полном порядке, что ему (глазу) ничто не угрожает. Сегодня я, Замятин и Волынский должны пойти снова к Ионову (который приезжает сегодня утром). Посмотрим. М. Б. и Лида ездили вчера в Александринку на первое представление «Блудного беса»*. Кто-то на галерке свистал.

11 января. Был с утра в Госиздате. Приехал Белицкий. Очень хорошо ко мне отнесся. Устроил мне аванс под Некрасова. Я к Ионову. — «Когда может посетить вас депутация от коллегии “Всемирной Литературы”?» — «Какой коллегии?!» — вскричал он возбужденно, и я увидел, что для него самое слово *коллегия* – рана. — «Коллегия!? Да ведь коллегия распущена! Она поставила мне ультиматум, я этого ультиматума не принял, и Ольденбург мне по телефону ответил, что вы не желаете работать со мной!» — «Но вы после этого послали нам любезное письмо...» — «Вы что же? Ваш Тихонов хочет меня поссорить с Горьким, я от Горького получил телеграмму, вы на своих заседаниях говорите, что не желаете идти в ионовскую *банду* – я все знаю, один из ваших же членов сооб-

щает мне каждое ваше слово, да, да (тут он сделал жест, как будто вынимает ящик стола и хочет показать какие-то документы), ну, впрочем, не буду делать литературного скандала (тут он выслал из комнаты Гоникберга и подбежал ко мне вплотную, глаза в глаза — а глаза у него разные, с сумасшедшинкой), знайте, Чуковский, что я и без вашей Коллегии поставлю Иностранный отдел, да, да, вы увидите», — словом, внес в это дело столько страсти, что я невольно любовался им. Он и не знает, что наша Коллегия вся состоит либо из болтунов, либо из занятых людей, которые не станут работать, либо из плохих литераторов, которые не умеют работать, — и что нечего так волноваться из-за этого малоценного приза. «Коллегию я не приму!» — выкрикнул он наконец. «А примете вы трех литераторов: Чуковского, Волынского, Замятина?» Он задумался. «Завтра, в два! Я завтра уезжаю».

Я помчался от него к Волынскому. У Волынского сидел Замятин — в комнате, обставленной иконами, книгами, — с карточкою Льва Толстого и проч. Решено, что завтра идем. Причем когда я сообщил Волынскому, что Ионов считает его главным бунтовщиком, он явно взволновался. Вечером было у нас совещание по «Современнику». Обсуждали статью Горбачева, как бы так устроить, чтобы она не появлялась. Тихонов статью читал: «неглупая статья, очень дельная!» Если она появится к московскому совещанию, мы закрыты, в этом нет сомнений.

Был у меня на днях Саша Фидман — рассказывает, что в Москве всюду афиши о постановке моего «Мойдодыра». Как же Мойдодыра-то ставить?

От Сологуба получил стишки поздравительные — и в то же время язвительные*.

Мурочка вчера очень хорошо представляла мне сказочку о храбром зайце — с помощью игрушечных зайцев, салфетки и кукол. Деревянный Крокодил был серым волком.

14 января. Вчера было последнее заседание Коллегии. После того как Ионов не захотел принять в числе членов Коллегии Тихонова — Коллегия принуждена разойтись. Было очень торжественно. Волынский назвал нас лучшим цветом искусства и интеллигенции. Читал Whycherley, очень смешно у него в «Country Wife» I am heavy[1]. Но переводить его не буду. Надоело. Правлю Лидин перевод Smoke Bellew. Она плохо знает и русский и английский. Пишет, напр., его «ходильные способности» (= он хоро-

[1] «Деревенской жене» я беременна (*англ.*).

ший ходок). Я проправил 75 страниц — и больше не могу. Колин перевод куда бойчее. Хотя и он пишет: «это дело имеет пр*и*дел». Гублит задержал у Клячко одну книжку, оттого что там высмеиваются косы китайцев, а китайцы дружественная нам держава. Писал вчера стишки Сологубу. Боюсь, не обиделся бы. У нашего управдома опять встреча Нового Года, — но я спал в соседней комнате на Лидином пальто.

16 января. Замечательнее всего то, что свободы печати хотят теперь не читатели, а только кучка никому не интересных писателей. А читателю даже удобнее, чтобы ему не говорили правды. И не только удобнее, но может быть, выгоднее. Так что непонятно, из-за чего мы бьемся, из-за чьих интересов.

Только что кончил редактировать Лидо-Колин перевод Смока Белью. У Коли хорошо, Лида же сплоховала. Работа над исправлением ее перевода отняла у меня часов двенадцать.

Сейчас у меня три канители: с фининспектором, с прислугой, с добыванием свидетельства, что я на казенной службе. Четвертая канитель, с добыванием иностранного паспорта, благополучно закончилась. Вчера этот паспорт мне выдали. Благодушный, мягкоголосый Тейтель долго рассматривал мой нос и в той графе, где я написал, что нос у меня *большой,* начертал своей рукой: *обыкновенный,* вычеркнув слово *большой.* Я даже обиделся за свой нос... Оттуда к чухонцам в консульство. Чистота гнусная! Я опоздал на полчаса и чухонец, сидя за столом и ничего не делая, отказался визировать мой паспорт, т. к. после двух он этими делами не занимается. Тщетно я указывал ему, что приехал я издалёка, что ему легче хлопнуть по бумажке печатью, чем мне ехать к нему на край света — (финны рядом с тем домом, где живет Ал. Бенуа) — ничего не помогло. Надо сегодня ехать к нему.

Вчера вся наша редколлегия, уволенная Ионовым, снималась у Наппельбаума*. Вечером устроили проводы и т. к. денег на обед не оказалось ни у кого из ученых, то постановили, чтобы каждый принес с собой бутылку вина. Особенно ратовал за это Волынский, который любит слушать свои собственные речи за бутылкой вина. Но на этот раз ему речи не удались. Когда я (по настойчивому вызову Веры Ал., Каштеляна и Тихонова) пришел в 10-м часу во Всемирную (в бывший тихоновский кабинет), стол был заставлен бутылками самых различных фасонов и Волынский держал в руках тетрадку. В этой тетрадке дурным языком был *написан* застольный тост, который Волынский и начал читать по тетрадке. Поглядывая на каждого из нас испытующим глазком, он прочитал по тетрадке тост за *Европу,* за культуру, и чуть он кончил,

Ольденбург своим торопливым задушевным голосом произнес тост за Евразию. Я сидел как на иголках, я вообще ненавижу тосты, а вечером, среди этих чуждых людей, в этой чуждой мне корпорации я почувствовал такую тоску, что выскочил и (весьма невежливо!) убежал из комнаты. Со мною вышел Замятин и сказал мне: «Как хорошо, что Коллегия кончилась! Сколько фальши, сколько ненужных претензий. Блок и Гумилев умерли вовремя». Странно, у меня Блок и Гумилев все время были в памяти, когда я слушал чтение Волынского.

Я еще не уезжал в Финляндию, а уже начинаю скучать по Питеру, по детям, по жене. Тоска по родине впрок! Скучно мне по моей уютной комнате, по столу, за которым я сейчас пишу, и т. д. Мура играет в мяч и говорит: и кресло умеет играть в мяч, и стена умеет, и печка умеет. Ей сделали из бумаги монеты: 3 к., 2 коп., 1 к., и она, не подозревая, что это для усвоения математики, играет в магазин, в лавку.

21 января. Я в Куоккала. Вчера приехал. Дома было очень тяжело прощаться с М. Б., с мамой, с Мурой. Мама сказала: «Ну, прости и прощай», — и так обняла меня, как будто мне 2 года. Она уверена, что мы с нею больше никогда не увидимся. В поезде я познакомился с художником Ярнфельдом, который ездил на 4 дня в Ленинград. Он хорошо говорит по-русски, почти без акцента, плешив, невысокого роста. Вез с собою старые каталоги «Музея Александра III». Переехав финскую границу (на обеих границах были чрезвычайно любезны, Оневич пропустил все мои книжки), я сел обедать, он подсел к моему столику и заговорил о Максиме Горьком. «Не могу понять, как он мог, переехав в Финляндию, сейчас же начать ругать русский народ? Я пошел к нему, когда он был в Гельсингфорсе, и он стал передо мною, финном, ругать Россию и восхвалять Финляндию. Это показалось мне очень странным». Ярнфельд рассказал мне, что в Гельсинках с огромным успехом идет пьеса Евреинова «Самое главное» — очень милая, очень изящная.

О своих питерских впечатлениях он говорил сдержанно, но сказал: «Удивительно, как русские люди стали теперь вежливы. Прежде этого не было. Я нарочно спрашивал у них дорогу (как пройти на такую-то улицу), чтобы дать им возможность проявить свою вежливость».

Комендант Раяоки, Стольберг, к которому я обратился с расспросами о Репине, посоветовал мне поехать в Куоккала не поездом, а в санях. «Дорога обледенела, пешком идти нельзя, а на станции не найдете извозчика». Он отрядил какого-то мальчишку сбе-

гать в деревню за местным извозчиком. Покуда Стольберг рассказал мне, что на днях к Илье Ефимовичу приезжали какие-то Штернберги, привезли ему фруктов, мандарин, апельсин, яблок, он наелся и ночью у него расстроился живот. И вот И. Е. стал думать, что фрукты были отравленные! (?!) Ехал я в Куоккалу с волнением, — вспоминал, всматривался, узнавал; снегу мало, дорога сплошной лед; приехав в дворницкую к Дмитрию Федосеевичу, остановился у него. Но не заснул ни на миг. Ночью встал, оделся — и пошел на репинскую дачу. Ворота новые, рисунок другой, а внутри все по-старому, шумит фонтан (будто кто ногами шаркает), даже очертания деревьев те же. Был я и у себя на даче — проваливался в снег — вот комната, где был мой кабинет, осталось две-три полки, остался стол да драный диван, вот детская, вот знаменитый карцер — так и кажется, что сейчас вбежит маленький Коленька с маленькой Лидкой. Самое поразительное — это знакомые очертания домов и деревьев. Брожу в темноте, под звездами, и вдруг встанет забор или косяк дома, и я говорю: «да, да! те самые». Не думал о них ни разу, но, оказывается, все эти годы носил их у себя в голове. Всю ночь меня тянуло к Репину каким-то неодолимым магнитом. Я несколько раз заходил к нему в сад. Д. Ф. говорил мне, что Вера Репина при нем очень настраивала И. Е. против меня, так что он даже выгнал ее из комнаты.

Ну, был я у И. Е. Меня встретила жена его племянника Ильи Васильевича, учительница. Проводила. Как увидел я ноги (издали) И. Е. (он стоял в комнате внизу), я разревелся. Мы почеломкались. «Терпеть не могу сантиментов, — сказал он. — Вы что хотите, чай или кофе?» Я заговорил о Русском Музее — «Покуда Питер зовется Ленинградом, я не хочу ничего общего с этим городом». Я взглянул на стол и увидел «Новое Время» Суворина с какими-то новогодними пожеланиями Николая Николаевича. — Вы читаете «Новое Время»? — Да, я получаю эту газету. — Я всматривался в старика. На вид ему лет 67—68. Щеки розовые, голова не дрожит. Я выказал ему свою радость, что вижу его в таком бодром состоянии. — Ну нет, я развалина, однако живу, ничего. — Только волосы у него стали белее — хотя нет того абсолютно белого цвета, какой бывает у глубоких стариков. «Зубов нет. Вставил я себе зубы за 3500 марок — да не годятся». Очень заинтересовало его мое предложение — предоставить Госиздату издать книгу его «Воспоминаний», с тем, чтобы доход пошел в пользу общества Поощрения, которому он подарил права на издание. Потчевал он меня равнодушно-радушно — и кофеем, и чаем, и булками. Пишет портрет какой-то высокой девицы. — Девица пришла и села в углу. Понемногу он разогрелся и провожал меня гораздо радушнее, чем

встретил: отменил какую-то работу, чтобы провести со мною послеобеденное время. Расспрашивал о Луначарском — что за человек. «Так вот он какой!»

Во время беседы — как всегда — делал лестные замечания по адресу собеседника:

— О, вы так знаете людей.

— О, вы остались такой же остроумный, как прежде. (И проч.)

И как всегда — во время самого пылкого разговора — следит за мелочами всего окружающего. — Вот принесли дрова!.. — Куда вы уносите чайник? — В мастерской наверху у него холодно, он работает внизу, в столовой. На нем потертое меховое полупальто. Жалуется на память: «ничего не помню», но тут же блистательно вспомнил имя-отчество Штернберга, несколько отрывков из моих недавних писем и пр. Уходя, я внимательно рассмотрел новые ворота, ведущие в Пенаты. Ворота плохи: орнамент никогда не удавался И. Е-чу. Графика его самое слабое место.

От него я отправился в будку. Увидел двух полицейских, Вестерлунда и Порвалли, знакомых. Они меня весело приветствовали — одного из них я помню извозчиком, а другой — важный, тяжеловесный Вестерлунд — только стал круглее и солиднее.

Когда я уходил от Репина, со мной заговорил какой-то финн: — Скажите, сколько стоит в Питере бутылка спирту? (Очень серьезно.)

Пришел к нему в 3 часа. На кушетке лицом вниз, дремлет, племянник читает ему «Руль» и «Последние известия». Он дремлет, не слушает. Встряхивается:

«А я ни слова не слыхал, что ты читал... О, этот «Руль» — «без руля и без ветрил». Нет, «Новое Время» лучше. Оно знает свою публику».

Потчует чаем. Для меня заварил свежий. Приходит служанка, — берет чайник, хочет налить чаю. «Нет, возьмите тот (указывает на чайник, где чай спитой). «Это для Веры Ил.». — Ну возьмите этот». Получая пять пенни сдачи — «Положите там».

Я читал из Горького «О С. А. Толстой». — «Хорошо шельма пишет. Но главного он не сказал. Главное в том, что Чертков, мерзавец, подговаривал Толстого, чтобы Толстой отдал свою Ясную Поляну вашему пролетариату, будь он трижды проклят».

Послушал «Ибикус» Толстого — «бойко, бойко» — но впечатления мало. Но зато письма Л. Андреева доставили ему истинное наслаждение. «Ах, как гениально! Замечательно!» — восклицал он по поводу писем Анастасии Николаевны к сыну. Хохотал от каждой остроты Леонида Николаевича. «Ах, какое было печальное зрелище — его похороны. Дом разрушен — совсем, весь провалил-

ся. У меня здесь бывала Анна Ильинична. Постарела и она. А Савва Андреев рисует — о, плохо, плохо, бездарность». Илья Еф. ждет к себе Гинцбурга — волнуется, почему ему не выдают паспорта. Я спросил его о портрете Анны Ильиничны: «Да, да, я сделал ее портрет, но портрет уже ушел». Обо всех проданных картинах он всегда говорит: ушли. Просил меня справиться о судьбе портрета Бьюкенена. Я опять говорил ему о Русском Музее. «Боюсь, вдруг большевики возьмут и начнут отбирать». Потом мы пошли прогуляться. Он меня об руку — дошли до парка Ридингера. «Вырублено, и я у себя все вырубил в саду — чтобы было больше воздуху, света. И «пальмы» срубил. Ах, смотрите (влюбленно), Сириус: ну есть ли где звезда лучше этой. Остальные звезды рядом с этой как стеклышки». Захотел вечером зайти к Федосеичу. «Я вас предупреждаю, что он [оставлено пустое место для пропущенного слова. — *Е. Ч.*]; иначе его туда не пустили бы. Берегитесь его. Это человек купленный». Но войдя, очень приветлив — уселся, заставил дочку читать свои стихи — но уйдя: «Неталантлива, вот у нас был Шувалов, это талант — Лермонтов!»

Суббота. Бедный Илья Ефимович! Случай с доктором Штернбергом открыл мне глаза: его моложавость — иллюзия, на самом деле он одряхлел безнадежно.

Вчера И. Е. подробно рассказал мне этот случай. В четверг, в неурочный час явилась к нему незнакомая чета: «мужчина вот с этакими щеками и дама, приятная дама, считая по самому дамскому счету, не старше тридцати лет, милая дама, очень воспитанная, да. Они говорят: «Простите, что мы явились не в указанное время, но мы присланы к вам от Общества Куинджи — мы уполномочены поднести вам адрес». И держат в руках вот эту папку: видите, кожа, и хорошая кожа. Ну, самый адрес банальнейший, обыкновенные фразы: «Ты такой-сякой немазаный»... (Текст действительно оказался очень трафаретным, с намеками в либеральном духе: «теперь, в этот кошмарно-тяжелый час», «надеемся на лучшее будущее» и проч. Под адресом подписи: Химона, Бучкин, Ив. Колесников, Юлий Клевер, Фролов, Курилин и другие.) Смотрю я на этого Штернберга, морда у него вот (хотя держится он очень симпатично), и спрашиваю: — Разве вы художник? — Нет, говорит, я не художник, я доктор медицины. — Это меня рассердило (хотя ведь и Ермаков не художник, а был же Ермаков — председателем общества Куинджи), и я как с цепи сорвался. А они мне: — Дорогой И. Е., приезжайте к нам в Петербург. Вам дадут 250 р. жалованья, автомобиль, квартиру. Ну, это меня и зажгло. — Никогда не поеду я в вашу гнусную Совдепию, будь она проклята, меня еще в кутузку посадят,

ну ее к черту, ограбили меня, отняли у меня все мои деньги, а теперь сулят мне подачку... И кто это вас уполномочил предлагать мне такую пенсию? — Они вдруг говорят мне: «Бродский, художник». А я отвечаю: но ведь Бродский художник, талант, разве он администратор — и так рассердился, что разругал их вовсю. Тут вошла Вера и сказала им:

— Это с вашей стороны даже нахально, насильно врываться к отцу.

Они встали, поклонились и ушли. Я сидел, как истукан, не сдвинулся, даже не пошел их провожать. Невежа, невежа (смеется). А они очень учтивые, благородные — оставили у меня на столе корзину фруктов. Роскошная корзина, персики, мандарины, груши... Рубенсовская роскошь. Они ушли, я съел мандаринку и лег спать. Лег и проснулся с ощущением, что я отравлен. Фрукты были пропитаны ядом! Не то чтобы у меня расстроился живот, а вот тут под грудью подпирает. Я встал, пошел бродить вокруг фонтана, оставляя на снегу темные следы, потом вернулся и выпил молока. Никогда не пил я молоко с таким удовольствием. Утром спрашиваю Веру: «Ну, Веруся, как твое здоровье?» — «Ах, у меня ночью было такое расстройство желудка». — «Фрукты были отравлены!» — говорю я. Потом спрашиваю Илью Васильевича: «Ну как ваш желудок?» — «Расстроен, — отвечает Илья Васильевич, — но это оттого, что я вчера на ночь съел две тарелки тяжелого борщу». — «Нет, тут не борщ, а фрукты: фрукты были отравлены». Потом приходит ко мне моя модель — вы ее видели, — я отдаю ей все фрукты в химическую лабораторию для анализа, но почему-то анализа не удалось сделать».

— А может быть, фрукты были зелены?

— Нет, нет, прекрасные, спелые фрукты.

— Итак, Илья Еф., вы считаете, что известный заслуженный доктор медицины, явившийся к вам с поздравительным адресом от общества Куинджи, зачем-то решил сократить вашу жизнь — ради каких выгод? Во имя чего?

Перед напором здравого смысла И. Е. сдается, но на минуту. «Да, да, все это глупая фантазия», но я по глазам его вижу, что он только притворяется рассудительным. На самом деле фантазия владеет им всецело, и нет никакого сомнения, что эту фантазию поддерживает в нем подловато-трусливая Вера.

Лет десять назад он бы только прогнал идиотку, а теперь он весь в ее власти.

Забывчивость его действительно страшная. Я и не подозревал, что она может дойти до таких размеров. Сегодня утром я должен был придти к нему — к 8 $^{1}/_{2}$ часам, но оказалось, что мне нужно

ехать в Териоки к ленсману, прописаться, и я послал к Илье Еф. Марусю Суханову сказать, чтобы не ждал меня. Придя к нему днем, по возвращении из Териок, я первым долгом рассказал ему, отчего я не мог придти к нему утром, но через четверть часа он спросил меня (досадливо): «Отчего же вы не пришли сегодня утром? Я так вас ждал!»

При мне пришел к нему какой-то дюжий мужчина, квадратного вида. Он пришел спросить Илью Еф-ча, нужна ли ему и впредь газета «Новое Время». — Спросим Илью Васильевича. — Илья Васильевич сказал, что бог с ним, с «Новым Временем», довольно и одного «Руля». Когда мужчина ушел, Илья Еф. сказал мне, что это сотрудник здешней русской газетки «Русские Вести». Оставшись вдвоем, мы занялись чтением. Я стал читать ему «Руль» от 22 октября прошлого года, причем вначале мы оба думали, что это свежая газета (я не заметил слово *октябрь*), причем я скоро понял свое заблуждение, а И. Е. дослушал газету до конца, хотя в ней говорилось, что Франция еще не признала Советскую власть, что Ольдор оправдан* и проч.

Читая ему газету (потом я отыскал последний № от 20 янв. с. г.), я всякий раз указывал ему, что то или другое сообщение — ложь, и он всегда соглашался со мною, но я видел, что это pro forma, что на самом-то деле он весь во власти огульных суждений, готовых идей, сложившихся предубеждений и что новые мысли, новые факты уже не входят в эту голову да и не нужны ей. Вся его политическая платформа дана ему Верой, Юрием и Ильею Васильевичем. Юрий и Вера — как подпольные, озлобленные, темные неудачливые люди, предпочитают обо всем думать плохо, относиться ко всему подозрительно, верить явным клеветам и небылицам. Не сомневаюсь, что версия об отравлении плодов Штернбергом принята ими за чистую монету. Такими же «чистыми монетами» снабжают они Илью Ефимовича и в области политики в течение последних 7—8 лет. Кто такой его племянник Илья Васильевич? По словам Ильи Еф., это бывший врангелевский офицер, адъютант многих генералов, который только того и ждет, чтобы Врангель кликнул клич. «И Врангель кликнет, да, да! Врангель себя покажет. Мы читали тут книгу генерала Деникина, чудо, чудо!»

Самое неприятное то, что влияние этих людей сказалось и на отношении Репина ко мне.

В первое время он согласился напечатать свои «Воспоминания». Теперь его свите померещился здесь какой-то подвох, и все они стали напевать, что, исправляя его книгу, я будто бы погубил ее. Со всякими обиняками и учтивостями он сегодня намекнул мне на это. Я напомнил ему, что моя работа происходила у него на гла-

зах, что он неизменно, даже преувеличенно, хвалил ее, восхищался моими приемами, что на его интонации я никогда не покушался, что я сохранил все своеобразие его языка. Но он упорно, хотя и чрезвычайно учтиво, отказывался: — Нет, этой книге не быть. Ее нужно напечатать только через 10 лет после моей смерти.

Так как корректура его экземпляра весьма несовершенна, он считает, что все ошибки наборщиков принадлежат мне.

Даже этой фантазии мне не удалось изгнать из его закостенелого мозга. Он упорно стремился прекратить разговор — всякими любезностями и похвалами: «О, вы дивный маэстро», и проч.

Заговорили о Сергееве-Ценском. «О, это талантище. Как жаль, что я не успел написать его портрета. Замечательный язык, оригинальный ум».

Семена Грузенберга ругает. «Написал мне письмо, чтобы я написал ему о методах своего творчества, но я даже не ответил... Ну его».

Интересно, что сквозь эту толщу мещанского закоснелого старческого иногда проступает прежний Репин. Заговорили мы, напр., о нынешней школе. Я сказал, что в этой школе много хорошего, — напр., совместное воспитание.

— А что же это пишут, будто от этого совместного воспитания 12-летние девочки стали рожать.

— Но ведь вы, Илья Ефимович, сами знаете, что это вздор.

— Да, да, я всегда был сторонником совместного воспитания. Это дело очень хорошее.

Но эти прежние мысли живут в его голове отдельно, независимо от нововременских и не оказывают никакого влияния на его черносотенство. Например, он говорит: я был всегда противником преподавания в школе Закона Божия, и тут же ругает Советскую власть за изъятие Закона Божия из школьных программ.

Честь ему и слава, что, несмотря на бешеное сопротивление семьи, он все же со мною встречается, проводит со мною все свое свободное время. Напившись чаю, он пошел ко мне; очень ласков, очень внимателен, — но я вижу, что мои посещения ему в тягость; Вера, чуть только я приду, запирается в комнате у себя, не выходит ни к чаю, ни к завтраку и проч.

В нем к старости усугубились все его темные стороны: самодурство, черствость, упрямство...

Териокский вокзал. Подземелье. Рассказ Августа Порвалли. Книжный киоск. На прописке у ленсмана. Русских куча — жалкие. Блинов — чуть-чуть поседелый — кормит капустными щами

красивого черноглазого мальчика. В даче скука — зеленая. Я решил написать Репину письмо такого содержания. **1925**

Дорогой И. Е. Делать мне в Куоккала нечего, я не сегодня завтра уезжаю, поэтому позвольте напоследок установить несколько пунктов:

1. Имеющийся у Вас экземпляр — черновой, не прошедший чрез мою корректуру Вашей книги. После того, как этот экземпляр был оттиснут, книга была вся исправлена.

2. Все изменения в Ваших рукописях были сделаны мною не самовольно, а по Вашей просьбе, под Вашим контролем, причем до сих пор Вы и устно и письменно выражали полное одобрение моей работе.

3. Никакого ущерба стилю Вашей книги я не мог причинить, ибо исправлял только явные описки, неверные даты и проч. Ваши рукописи подтвердят это.

4. Вообще моя роль в создании этой книги отнюдь не так значительна, как Вы великодушно заявляете. Она сводится только к следующему:

а. Я (и Марья Борисовна) упросил Вас написать о Вашем детстве и юности, о которых Вы рассказывали устно, а также о славянских композиторах.

б. Я выбрал из Ваших альбомов соответствующие иллюстрации.

в. Я аранжировал все статьи в хронологическом порядке, установил последовательность текста.

г. С Вашего согласия я кое-где устранил описки и фактические неточности. Если же кое-где и делались изменения в структуре фразы, они делались с Вашего одобрения, о чем свидетельствуют десятки Ваших писем ко мне.

Никаких разговоров о том, что я редактор этой книги, быть не может. Я ее инициатор — и только. Никакого гонорара я за свою работу не хочу. Я только не могу понять, почему русское общество должно оставаться без автобиографии Репина, почему Ваши дети должны отказаться от денег, которые Вам немедленно предлагает издатель.

Ведь тот план, который я предложил Вам, одобрен и Яремичем и Нерадовским.

Сегодня племянница Репина, учительница Елисавета Александровна, рассказывала мне о Репине. Он председатель школьного совета здешней школы. В школе он часто читает отрывки из своих «Воспоминаний». Школа по программе реального учили-

ща. Последняя картина Репина — портрет здешнего священника — с крестом, в алтаре. Его обычная натурщица-эстонка, Мария Яновна Хлопушина, жена студента-дворника.

Мария Вас. Колляри рассказывает, что, когда Репин нуждался, ее брат финн Осип Вас. Костиайнен послал Репину в подарок немного белой муки, Репин был [так] тронут, что встал на колени перед дочерью Осипа, Соней — «О, спасибо, спасибо!»

Свой театр «Прометей» Репин подарил Союзу финской молодежи в день 80-летия. Всякий раз в день именин Репина Общество финской молодежи является к нему и поет ему приветственные песни — вот он и подарил этому обществу тот деревянный сарай, который купил когда-то для постановки пьес Натальи Борисовны Нордман.

По словам той же Марии Вас., когда Репин нуждался, г-жа Стольберг, жена президента, купила у Репина картину за 500 000 марок. Мы очень бедный народ, у нас нет денег, но мы не дадим Репину умирать с голоду.

Репин говорил мне, что у него «похитили» 200 000 рублей, — вернее 170 000, «да картинами тридцать». И тут с упоением вспомнил: — Бывало, несешь в кармане такую кучу золоту, что вот-вот карман оторвется.

Я, наблюдая его нынешнюю религиозность, пробовал говорить с ним о загробной жизни. «Никак не могу поверить в загробную жизнь... Нет, нет...»

Читали мы с ним газету «Руль». Там сообщались заведомо ложные сведения о том, что Питер изнывает от избытка каменного угля. — Вот какой вздор! — сказал я. — Да, да, конечно, вздор, — согласился он. — Уголь дает больше жару, занимает меньше места и проч.

Воскресение. Был я вчера у себя на даче снова с Маней Сухановой. Она стала поднимать с полу какие-то бумажки и вскоре разыскала ценнейший документ, письмо Урсина о том, что моя дача принадлежит мне. Как странно поднимать с полу свою молодость, свое давнее прошлое, которое умерло, погребено и забыто. Вдруг мое письмо из Лондона к М. Б., написанное в 1904 году — 21 год тому назад!!! Вдруг счет от «Меркурия» — заплатить за гвозди. Вдруг конверт письма от Валерия Брюсова — с забытым орнаментом «Общества свободной эстетики» — все это куски меня самого, все это мои пальцы, мои глаза, мое мясо. Страшно встретиться лицом к лицу с самим собою после такого большого антракта. Делаешь себе как бы смотр: ну что? ну как?

К чему была вся эта кутерьма, все эти боли, обиды, работа и радости — которые теперь лежат на полу в виде рваных и грязных бумажек? И странно: я вспомнил былое не умом только, но и ногами и руками — всем организмом своим. Ноги мои, пробежав по лестнице, вдруг вспомнили забытый ритм этого бега, усвоенный десяток лет назад; выдвигая ящик своего старого письменного стола — я сделал забытое, но такое знакомое, знакомое движение, которого не делал много лет. Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю *себя, хранящегося в этих вещах.* Пойдя к себе в баню (я и забыл, что у меня была баня! баня провалилась, сгнила), я вдруг увидал легкое жестяное ведерко, в котором я таскал с берега камни, воздвигая свою знаменитую «кучу», — и чуть не поцеловал эту старую заржавленную рухлядь. А Колин террарий — зеленый! А каток (прачешный), на котором я катал маленького Бобу! А диван, огромный, подаренный мне женою в день рождения, зеленый. С дивана сорван верх (как живая кожа с человека), подушки изрезаны ножами, торчит груда соломы — и я вспоминаю, сколько на нем спано, думано, стонато, сижено. Диван был огромный, на нем помещалось человек 15 — не меньше; чтобы втащить его в дом, пришлось разбирать террасу. Как любили танцевать на нем Лида и Коля. — Афиша о моей лекции! визитная карточка какого-то английского майора — забытого мною на веки веков, слово «карцер», вырезанное детьми на клозете, и проч. и проч. и проч.

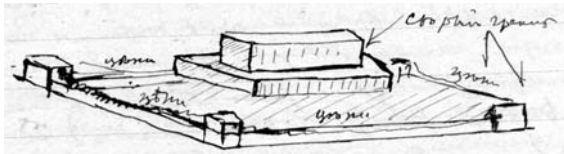
Но вперед, вперед, моя исторья, лицо нас новое зовет*. Николай Александрович Перевертанный-Черный. Окончил Петербургский университет вместе с Блоком. Юрист. Красавец, с удивительным пробором. Раньше чем познакомиться с ним, я знал его лицо по портрету его жены, известной и талантливой художницы. Там он изображен с двумя породистыми французскими бульдогами — и имел вид норвежского посла или английского романиста. Чувствовалась культура, «порода» и проч. Когда я познакомился с ним, это оказался лентяй, паразит, ничего не читающий, равнодушный ко всему на свете, — кроме своего автомобиля, ногтей и пробора — живущий на средства своей жены — человек самовлюбленный, неинтересный, тупой, но как будто добродушный. Когда наступила война, я благодаря своим связям с Ермаковым освободил его от воинской повинности. Помню, как горячо благодарил он меня за это. Во время революции он все копил какие-то запасы, прятал между дверьми рис, муку и т. д., ругал большевиков, продавал чью-то (не свою) мебель и со-

1925 бирался к отъезду. Наконец собрался, захватил $^1/_2$ пуда (не своего) серебра и тронулся в путь. Серебро у него пропало в дороге, его облапошил провожатый, которому он доверился, но зашитые деньги у него сохранились, и, прибыв в Куоккала, он зажил великосветскою жизнью: дамы, вино, увеселительные поездки. Своим новым знакомым он говорил, что он — граф. У него была в ту пору собака — сука Тора — та самая, с которой он красуется на портрете своей жены. Этой суке этот сукин сын посвятил всю свою жизнь. В то время, как в Питере умирали от голоду люди (я, напр., упал на улице, и меня поднял Гумилев), в то самое время Перевертанный готовил для своей Торы завтраки и обеды из яиц и телятины. «Возьмет яйцо, разобьет и понюхает и только тогда выльет его на сковороду», — рассказывала мне Мария Вас. Колляри, у сестры которой он жил, — белок вон, а желток для Торы, и через день ездил в Териоки покупать для Торы телятину. Нарежет тонкими ломтиками — и на сковороду — никому другому не позволит готовить для Торы обед.

В свободное от этих занятий время — кутежи. Но вот Торушка захворала. Он отвез ее в Выборг к доктору, заплатил 500 марок — «и право, — говорила Марья Вас., — мне хотелось бы дать этой собаке какого-нибудь яду, чтобы спасти человека от дохлятины. Но Тора увядала с каждым днем... и наконец околела». Он устроил роскошный поминальный обед, заказал гроб и на могиле поставил памятник, причем каждый день клал на эту могилу свежие цветы! Эти похороны стоили ему 1 $^1/_2$ тысячи марок. «Если бы у него было 50 000, он истратил бы все пятьдесят», — говорит Марья Васильевна. Но денег у него уже не было. Тогда он выманул у меня доверенность на право распоряжения моими вещами и продал всю мою обстановку за 11 тысяч марок, чем и покрыл свои расходы на лечение и похороны обожаемой суки. Не знал священник Григорий Петров, когда помогал мне покупать в Выборге эту мебель, что мы покупаем ее для украшения собачьей могилы, для расходов на траур Перевертанного-Черного!

Уже светает. Пойду-ка я сейчас на эту могилу и поклонюсь *драгоценному* праху, — т. е. праху, который обошелся мне так дорого. Не знал я, когда гладил эту вонючую, жирную, глупую, злую собаку, что она отнимет у меня все мои стулья, столы, зеркала, картины, диваны, кровати, комоды, книжные полки и прочее. Никто никогда не знает, какую роль в его жизни сыграет тот или иной — самый малозаметный предмет. Был на собачьей могиле: снежок, ветер с моря, сурово и северно. На даче Гёца гора, высокая и величественная. С этой горы далеко виден морской простор —

очень поэтичное место! Там под сосной покоится сучий прах. Могила такого вида: **1925**



Если бы на Волковом кладбище у каждого писателя была такая могила, мы не жаловались бы на равнодушие читателей.

Был я в церкви. Церковь крепкая, строена и ремонтирована на пожертвования купца Максимова. Благолепие, на двери бумажка: расписание служб и фотография, карточка Тихона. Главный Храм пуст — богослужение происходит в левой боковушке. Там у правого клироса певчие, сыновья того же Максимова, и среди них — Репин, браво подпевает всю службу, не сбиваясь, не глядя в ноты. Священник дряхлый, говорит отчетливо, хорошо. Выходя, Репин приложился к кресту, и мы встретились. Очень приветливо поздоровался со мной — «Идем ко мне обедать!» Я сказал: «Нет, не хочу; Вера Ильинична должна от меня прятаться, ей неудобно». Он сказал: «Да, очень жаль». Я спросил о Тихоне: «Да, очень хороший, а тут у нас был Григорий — интриган и впоследствии умер». Очень обрушивался на моего Дмитрия Федосеевича, который сказал, что теперь мужику лучше. «И заметьте, заметьте, сам говорит, что богатый владелец дома должен жить в хибарке, в уголку, а свой дом, нажитой с таким трудом, — уступить какому-то мужичью. Эх, дурак я был — да и не я один — и Лев Толстой и все, когда мы восхваляли эту проклятую лыворуцию... Вот, напр., Ленин... ну, это нанятой агент (!?)... но как мы все восхваляли мужика, а мужик теперь себя и показал — сволочь»... Я сказал И. Е., что завтра хочу уехать и прошу его рассказать мне подробнее о своем житье-бытье. — Ну что ж рассказывать! Очень скучно здесь жилось. Самое лучшее время было, когда была жива Наталья Борисовна, когда вы тут жили... Тогда здесь было много художников и литераторов... А потом никого. — Ну а финны? — Финны отличные люди. Вот кто создан для республики, а не наши сиволапы, коверкающие правописание[1]. И зашел разговор о финнах, который я запишу завтра. А сегодня я хочу дописать о Перевертанном. Колляри, у коих я брился, рассказывали мне, что когда Перевертанный-Черный похищал у Бартнера пианино —

[1] Ненависть к новому правописанию есть один из самых главных рычагов контрреволюционных идей И. Е. — *К. Ч.*

1925 он вызвал Евсея Вайтинена доставить пианино в Териоки. Вайтинен говорит: — У нас воровать нельзя, я это пианино не повезу. — Вези. — Не повезу. — Вези, я продам пианино, а деньги пошлю Бартнеру. — Нет, Бартнер не такой человек, он скажет: мне деньги не нужны, отдавай пианино. — И не повез пианино Евсей. — Тогда, пожалуйста, увези его отсюда назад. (Пианино было довольно далеко от дачи Бартнера.) — Нет, не повезу. — Перевертанному-Черному стало дурно. У него отнялся язык. Он весь почернел.

Любовные его похождения были обильны. Сперва он «занялся» (выражение М. В. Колляри) с Людмилой Ридингер, у нее родилась от него дочка, потом он сделал предложение Евгении Р., но Шайкович поднял скандал и Евгения вышла замуж за Мутта (финна). После этого он «пришился» к Гец. Дворник Иван рассказывает: Иду по саду, а старуха Гец ко мне: «Коля, это ты?» Андрей-садовник: разве вы не знаете, он каждую ночь целуется со старухой (а старухе лет 65). Умер старик Гец, весною приезжает его дочь, жена какого-то посланника, «иду я в пять часов утра доить коров, а она, бедненькая, идет от него, горбится. Потом приходит днем: мама зовет обедать!.. Я подумала: несчастный Черный не знает, куда разорваться. Была у Геца еще одна дочка, жена Рутермундов — он стал ездить к ней в Колломяки и, говорят, заразил ее нехорошей болезнью. Приехал муж — не хочет брать жену, гонит».

Черный соблюдал красоту: «стирался» все ночи, моет, моет — уж не знаю что: собаку ли, себя ли, хлюпает водой до утра.

«Когда он украл пианино и его поймали, он стал говорить, что кончит жизнь самоубийством. Со старухой Гёц они ловко устроили торговлю краденых вещей. Гёцы были гордые люди, мне было больно смотреть, как старуха унижается, но такую же продажу устроили Герши, и туда я ходила. Финны называли это Hershan Messud — Гершова выставка — на пяти столах они раскладывали — финны ходили и узнавали чужие вещи. Я ехидно спрашивала:

— Madame Герш, зачем вам было 10 топоров?

— Ах, М. В., у нас было такое большое хозяйство. Почтальон Токко купил у m-me Герш в разное время 75 матрацев. У Герш работала служанка Маша, и она спрашивала:

— Барыня, откуда у вас опять так много вещей? Вчера все распродали, а сегодня опять.

— Ах, *Маша*, вы не знаете, мы были такие богатые люди.

— Но вот эти часы всегда висели у Бари на стене.

— Ах, *Маша*, неужели вы не знаете, что у нас были такие же часы.

Как-то Маша говорит: — Барыня, я видела сейчас: из чужой дачи вылез какой-то господин с узлом краденых вещей.

— *Маша, Маша*, это вам так показалось. Господин не мог красть вещей. Крадут вещи только простые люди.

— Барыня, когда я всмотрелась, оказалось, что это был наш барин.

— Нет, *Маша*, нет, это быть не может, барин ведь такой образованный.

Наиболее *индивидуальные* вещи они сплавляли в Выборг и Гельсингфорс в чемоданах. Маша отнесет чемодан на станцию — сегодня на Куоккала, завтра на Оллила, а Герш или Перевертанный — образованные люди, идут налегке и отвозят сплавлять наворованное». То, что я здесь записываю, подтверждают: М. Вас. Колляри, крестьянин Евсей Ив. Вайтинен, Матвей Ив. Вайтинен, дочь художника Шишкина, Лидия Ив. Шайкович, художник Блинов, проф. Шайкович, огородник Дмитрий Федосеевич Суханов и многие другие...

Под впечатлением этих рассказов кинулся я к Кондрату Гёцу, которого знал очень любезным мальчиком. Застал его в сарае, он кормил кур. Встретил меня нагловато:

— Вам что угодно?

— Я пришел узнать адрес вашего друга Перевертанного-Черного.

— Не знаю.

— Но ведь говорят, что вы с ним постоянно переписываетесь.

— Нет, переписывался, когда он служил в Художественном Театре... а потом перестал...

— Я хочу привлечь его к суду за обворование моей дачи... Как же вы могли равнодушно смотреть, что обкрадывают дачу вашего соседа?

— Черный говорил, что его обокрали, вот и он обкрадывает...

— Но разве я обокрал его?

— Не знаю.

После этой наглости я повернулся и ушел. Для меня ясно, что Черный для того, чтобы оправдать в глазах куоккальского общества свое воровство, ославил меня здесь «большевиком» и «экспроприатором». Сукин сын.

Я решил написать ему такое письмо.

Милостивый Государь. Я посетил свою дачу в Куоккала и путем опроса многочисленных свидетелей установил, что вы действительно продали принадлежащую мне мебель и часть моей библиотеки. Вырученные от этой продажи деньги вы присвоили себе.

Благоволите немедленно прислать эти деньги мне — по адресу... (Ваша деятельность по охране чужого имущества простодушных людей, которые имели наивность довериться вам в Куоккале,

показалась мне столь своеобразной, что я, движимый чисто литературным интересом, собрал о ней самые подробные сведения. Г-да Репин, Блинов, Шайкович, Суханов, Вестерлунд, Э. Колляри, Р. П. Колляри, М. Вас. Колляри, Евс. и Матвей Вайтинен и многие другие свидетели снабдили меня столь обширным матерьялом, что я мог бы написать целую статью во французские, немецкие и русские газеты об этой знаменательной эпохе вашей жизни.)

Вечером я был у Стольберга, коменданта Раяоки. О политике мы не говорили, конечно, ни слова. Я пришел к нему с отчетливой целью — расспросить его о Репине, с которым он в последние годы стал близок. И он, и его жена с большою горячностью заявили мне, что Репин один из лучших людей, какого они когда-либо встречали, и что так думает о нем вся Финляндия. Какой он благородный! Русские люди вообще любят говорить худо о других, Репин никогда ни о ком. Сосед надул его — должен был дать ему за покос травы несколько сот марок, а дал всего лишь десяток яиц (или на десяток яиц) — Репин даже не жаловался, а все просил, чтобы мы и виду не показали, будто знаем об этом.

В 1922 г. он писал портрет Стольберга. 10—15 сеансов. «Это было чудесное время, — вспоминает жена Стольберга, — особенно приятны были перерывы, когда мы шли вместе чай пить. И характерно: когда мы возвращались назад, Репин непременно проберется тайком вперед и откроет для нашей тележки ворота. Как мы ни старались избежать этого, нам не удавалось. Это было так трогательно. Он вообще всегда считает всех людей выше себя. Когда он читает свои дивные воспоминания, он говорит вначале: кому неинтересно, можете выйти. Простите мне мою смелость, что я решаюсь занимать вас своей особой... Мы, финны, считаем большой честью, что среди нас живет такой человек».

Когда я спросил И. Е., правда ли, что он подарил свой театр «Прометей», он сказал:

— А куда мне было девать его? Они пришли ко мне утром с серенадой, а вы знаете, какой я скиф — я чуть не прогнал их... хотя среди них есть такие дивные голоса.

Иду сейчас к Илье Ефимовичу на свидание. Не спал совсем: напугал меня мой Федосеич.

1) Птичник — дровами завален. Птица в нем жила до вегетарианства Нат. Борис.

2) В киоске — бюсты Репина, Толстого, дамы. **1925**

3) Коновязь цела старая — теперь уже лошадей так мало, что дорогу не заезживают.

4) Голубятня, где Репин спит с июня по август и теперь.

5) Скуфейка высокая — парусиновая вышитая — голова мерзнет с тех пор, как был голод.

6) Вегетарианец ли он теперь?

7) Уплотнился — в одной комнате и кровать, и обеденный стол, и кабинет, и отчасти мастерская. Бывшая спальня превращена в мастерскую. Рядом — висят в столовой портреты...*

«У меня здесь было собрание картин. Часть их вы помните. Я менялся со своими друзьями, и таким образом у меня собрались картины Шишкина, 2 картины. «Бурелом» и маленькая живописная. Было несколько моих: Толстого бюст раскрашенный, и еще другие, не помню, сколько — целую комнату заняли в финском музее — и свою портретную группу с Натальей Борисовной — и с Надей этюд недурной. Тут в Куоккале было такое время, что с одной стороны выгоняли белые, с другой красные, и каждую минуту можно было ждать, что Пенаты взорвут. Тогда я с Н. Д. Ермаковым еще дружил, он посоветовал передать в музей всю стену, — я так и сделал — адресовался в Финский Музей, просил принять от меня эти картины как дар, они сейчас же ответили, что возьмут. Директор музея Шерншанов принял в этом горячее участие. Я хотел послать эти вещи на свой счет, но они настаивали, что перевозка будет на счет государства. Тогда я сказал: «Пришлите для столяра марок 300 (т. е. 15 р.), он упакует». Столяр Ханникéйнен, прекрасный человек, умный, он отлично упаковал. Картины прибыли в Гельсингфорс, и я получил благодарственные письма. Тут подошло 50-летие моей деятельности — вечные мои долголетия! Société des Arts Finlandaises[1] отнеслось ко мне с большими комплиментами. Потом у меня тут собралось кое-что — чтобы сделать выставку — в том числе и группа знаменитых финнов (я провалился с этой картиной!). Мне присудили (белая эмаль) Орден Белой Розы (сам ленсман приехал, мне привез), и вот — приехал в Гельсинки, очень любезно встретили (увидите, поклонитесь) — Вилли Вальгрен (скульптор средне-европейского стиля), Викстрем, француз — но вот кто это огромный талант сравнительно высокого роста — немного ниже вас — в картине там у меня он виден — Галонен, они съехались, дали мне обед — в ресторане общества артистов — вечер прошел очень оживленно (к собаке: пошел назад!), потом я их угостил обедом, и у нас установились отличные отношения. (И солдаты мне козыря-

[1] Финское общество искусств (*франц.*).

ют, и мальчишки.) На 1-м обеде — я сказал речь. Радуюсь, что могу быть здесь вместе с вами, собратьями моими по искусству. Прошу обратить внимание на все, что происходит теперь, потому что это самое радостное время для вас, для художников, для всех художников — и для портретистов и пейзажистов — потому что это первые времена их Республики, которые не повторяются. Медовый месяц.

Когда я поехал в вагоне после банкета, ночью мне не спалось, я думал: «Что ж это я наболтал?» И решил я написать этих знаменитых людей, — и я принялся за работу. Мне все прислали свои фотографии. Но из карточки какая же может быть картина? Я не очарован своим произведением. Нет, нет. Корежил я ее, корежил — и я затеял устроить выставку, Леви устроил, мы там жили с Верой в гостинице Либерти. Все тут близко — Обсерватория, налево свернуть — собор; — дворец Александра III, бывший, и там, когда я был с выставкой, я получил приглашение посетить президента — он вроде вашего роста — хотя на снимках другого вида, розовый, симпатичный. Выглядим мы оба радушно — но ни слова не говорим. Он говорит только по-немецки. Но тут мне был представлен полковник, он был в русской службе. Очень обходительный. Показал мне весь дворец — столы большие из приемного зала. Множество угощений — кофе, чай, закуски — от 3-х до 4-х часов трапеза. Я там очень хорошо провел время — дочь президента красавица, учится медицине, студентка. M-me — хорошая женщина, я подсел к m-me, и мы разговорились. Madame утешала меня: «Ничего — картина ваша не очень... но вы погодите... не унывайте... она будет продана». У президента было много гостей: публика поговорит-поговорит — потом уйдет. Я сказал: «Я очень рад, что удостоился такой высокой чести, но я жалею, что нет моей дочери». — Она сейчас же распорядилась послать приглашение Вере на будущую среду, и Вера была у них, и много разговаривала.

Еще приятное известие — был в Гельсингфорсе Жиральдони, певец, талантливый певец — главное, он учитель дивный. Мадам Яна Эдуардовна — оперная певица и с ним американка мадам Гениус, мы видели ее в Трабадуре — красавица, ученица его, и они жили в Мустамяках — имение Жиральдони и его жены — и приехали богатые американцы, и там состоялись прелестные музыкальные вечера, — боже, что они переигрывали. М-р Мунстон — он дирижер какой-то оперы в Нью-Йорке, и вот тут были вечера — у Яны Эдуардовны — какие оперы «Борис Годунов» и «Мефистофель» — Бойто. Мунстон пел все шаляпинские роли — у него и портрет Шаляпина есть — были концерты и Вера Ильинична выступала на концерте — общество артистическое, столичное.

О картине: она не могла иметь успеха, я не знал, кого с кем посадить, я увидел, что вещь будет слабая, и в то же время, когда кончилась (Ярнфельд — он портретист-литографист), он выпустил каталоги, в газетах писалось много хорошего, — запросил я за картину много денег, 200 000 марок — это очень большая цифра — президентша мне все говорила: «Может, вы уступите» — я даже всем говорил, что вещь неудачная, я только извинялся, что благодаря моей молодости — всего только 78 лет — 18 лет я делаю ошибки. Все же я продал кое-что. Портрет Анны Ильиничны Андреевой. Прежде мне тоже случалось работать по фотографиям, но над финнами у меня было работы много. Тогда был благодетель Стасов [нрзб.]. Мне интереснее всего Аксель Галлен в шапке, прислал плохой портретик. (Галлен приходил ко мне позировать с большим штофом коньяку в кармане.) Портрет там остался. Галлонен — хороший талант. Он такой дикий; нас угостил собственник дома, где была наша выставка, там был и Галлонен и Ярнфельд. Картину я оставил там. Леви возил картину по Финляндии, и там — я считаю, что она везде провалилась. Потом вернулась через 2 года (сохранялась в кладовой) всё ко мне, и тут уж от нетерпения, как всегда, я начал кое-какую переделку (это уже в этом году). Леви предприимчивый человек, он сделал мне много добра, он продал «Крестный Ход», уж я так доверяю ему, как близкому человеку, и теперь Леви поехал в Прагу с выставкой. Там Маглич, богатый человек, чех; там сын Юрия Гай, и тоже не без хлопот этого Маглича ему дали иждивение — это очень хорошее пособие для студента. С Магличем была у нас дружеская переписка. Он звал меня туда. Чехи меня примут хорошо, я был там в 1900 году по пути с Парижской выставки. Не поеду. Я не могу радоваться, что у богатого мужика отняли дом и он должен жить в конуре и платить. Я готов убить сам лично какого угодно большевика, «потому что я не признаю С. С. С. Р. — сволочь, сволочь, сволочь». Я их не признаю, портреты. И пусть Бродский не приезжает ко мне. Это мерзавец! Был старостой в Академии, я знаю, я знаю. Говорят, в Европе не едят русской икры. Эта икра стала отравленная.

Пошли в мастерскую Репина*.

Я переписывался с Кони, и Анатолий Федорович меня спрашивает: как вы пишете, воскресшего или ожившего? [О картине «Радость воскресшего». — *Е. Ч.*] Я писал на реальной почве. Я наконец задумался и вижу, что ожившего только писать. Это проза! А воскресшего — нужно переходить к легенде — здесь полное впечатление мира чудес, мира легенды — есть — нужно быть большим талантом — а я посредственность, и ничего не выходит. Конец.

1925 Почта. От Леви — а пишет Гай — нашел новую комнату в Праге. Видите, думал, что ничего не будет, а оказывается столько писем. Посмотреть, от кого. С просьбой оказать содействие легализировать положение от барона Гревениуса — а я ничего о них не знаю. «Нет, кажется, что люди порядочные».

M-lle Варара Пин. Б.Викстрен — совсем не нужно это мне. Хочу читать только Леви, что такое он пишет. Гох!

Александр Николаевич Фенд радетель русских беженцев — Илья Еф. писал в Иностранное отделение — на финском языке. Хлопотал о выезде Ильи Яковлевича.

Потом был я у дочери Шишкина Лидии Ив., но она расположена к И. Е. плохо. Говорит: «У него огромные деньги, а он тут никогда никому не помог, и выклянчил, чтобы Гая обучали в Праге на даровщинку». О Перевертанном говорит: он сошелся с моей дочерью Женей. Я говорю ему; вы подлец. Он, впрочем, и сам это знает.

Блинова вспоминает, как хорошо читал И. Е. свою статью о Вл. Соловьеве, когда выступал в Териоках с проф. Павловым. Прямо расцеловать хотелось — так изящно, интересно, умно.

Надпись на моей даче

Julkipano

Venajanalanesen onusama palstactile Kivennapan piläjäm Kuokkala Kylässä on otetten ovaltion hortoon Kuokkala pi narrascun[1].

28 января. Сейчас сижу в Hotel Hospiz № 40. У меня на столе телефон — puhelin и две Библии; одна на финском языке, другая на шведском. Сегодня я был у проф. Шайковича, у которого мои бумаги и книги. С ним вместе мы покупали ботинки желтые, узкие, щетку, две пары носков и часы. Отопление паровое — душно. В моей комнате ванна, умывальник, чистота изумительная и цена за все — 2 рубля. День полупраздничный: именины президента Стольберга. Впечатление прежнее: маленький город притворяется европейской столицей, и это ему удается. Автомобили! Радиотелефоны! Рекламы! «На чай» не берут нигде. Бреют в парикмахерских на американских креслах — валят на спину — очень эффектно. Словом, Европа, Европа.

С Репиным простился холодно. Он сказал мне на прощание: «Знайте, я стал аристократ» и «Я в “Госиздасе” не издам никакой книги: покуда существует большевизм, я России знать не знаю и каждого тамошнего жителя считаю большевиком». Я ответил

[1] Объявление. Российское имущество, дом Кивеннапского уезда в селе Куоккала взят под охрану финскими властями (*финск.*).

ему: «Странно, — там живет ваша дочка, там ваша родная внучка состоит на советской службе, там в советских музеях ваши картины, почему же вы в советское издательство не хотите дать свою книгу?» Этот ответ очень ему не понравился.

29 января. Четверг. Впервые — после большого промежутка — спал. Нельзя не спать в таких дивных условиях. Все были вчера ко мне ласковы: Шайкович и его сыны, Колбасьев и его жена. Колбасьевы водили меня в кино: кино было усыпительно.

Вспомнил, что рассказывала мне Блинова, Вал. П-на. Она должна была читать у Репина какой-то доклад — ее пригласили. Читает, волнуется... Вдруг Репин говорит: — Не знаю, как вам, господа, а мне все это скучно. Если лекторша будет читать дальше, я уйду. — Конечно, Блинова прекратила чтение.

У меня под кнопкой электрического звонка над кроватью висит какая-то надпись. Я думал: указание, сколько раз звонить горничной. Оказалось, это евангельский текст. «Walvakaa ja rukalkaa!» Matt. 26.41[1].

Вчера видел трамваи, на которые нельзя вскочить на ходу. Во время движения подножка опускается. Пришел сегодня очень усталый, хотел задремать, но за стеной ревет какой-то младенец, ревет нагло, безнадежно, с громкими всхлипами, с кашлем, как будто нарочно, чтобы не дать мне заснуть. Сажусь записывать впечатления сегодняшние — хотя так и тянет в постель. Утром позвонил Шайкович. Я пришел к нему, взял у него клад — фотографии своих детей, свои, Репина, Волынского, Брюсова, Леонида Андреева, все забытое, с чем кровно связана вся моя жизнь. Я взял эти реликвии — и домой в Hospiz — и просидел над ними часа два, вспоминая, грустя, волнуясь. Вылезло, как из ямы, былое и зачеркнуло собою все настоящее. Потом в 12 часов пошел в посольство — за паспортом. Там встретил Картунена, который был приказчиком у «Меркурия», дружил с Ольдором и Карменом. Теперь он лыс, толст, бородат, маслянист, женат. Служит, кажется, в торгпредстве. Мы взяли автомобиль и поехали к портному, которого он рекомендует. Портной мне не понравился. Мы поехали с женою Колбасьева в суконный магазин, купили там синего шевиота мне на костюм. Почему синего? Почему шевиота? Есть я хотел ужасно, но столько времени ушло на глупое мотание по городу, что не евши пошел к Шайковичу и с ним в университетскую русскую библиотеку, где хранятся мои бумаги. Библиотека солид-

[1] «Бодрствуйте и молитесь!» (от Матфея) (*финск.*).

ная, тихая, чинная, на стенах портреты Гоголя, Толстого, Чехова, Мицкевича, — маленький столик, за столиком старый проф. Игельстрём сидит и читает старый журнал, где помещены «Соборяне» Лескова. Он слыхал, что в России теперь мода на Лескова — и хочет познакомиться с этим писателем. Славу Лескова привез в Гельсингфорс недавно приезжавший сюда Шпенглер, а он прочитал Лескова по изданию Элиасбера «Русские писатели о Христе», — словом, Лесков до Европы дошел в высшей степени измененный, искривленный. Вместе со стариком Игельстрёмом сидел похожий на Киплинга профессор фон Шульц, читающий теперь в университете лекции о Достоевском. Черные брови, седые усы, лысина. Он жалуется на невозможность достать в Гельсингфорсе самых насущно нужных книг: «Дневник Анны Григорьевны Достоевской», «Сборники Долинина», Леонида Гроссмана «Путь Достоевского» и проч. Только дня два или три назад получил он из РСФСР 21-й и 22-й томы Достоевского под ред. Леонида Гроссмана и обнаружил там те шесть статей Достоевского, честь открытия которых приписывал он себе. Здесь, в Гельсингфорсе, перечитывая «Время» и «Эпоху», он открыл несколько статей, которые несомненно принадлежат перу Достоевского. Он написал о своей находке статью для какого-то ученого издания Финской Академии Наук — и только теперь обнаружил, что его Америка открыта давно. С жадностью слушал он все, что рассказывал я ему о новых раскопках в области изучения Достоевского. С Игельстрёмом мы распрощались, условившись, что сегодня я пошлю за своими бумагами мальчишку из Mars'a. На прощание он рассказал мне о Репине: «У Репина в голове не все дома. Когда я в 1921 г. вернулся из России, у меня было к нему поручение; я посетил «Пенаты», и он пошел меня проводить. Я говорю ему: И. Е., почему вы не поедете в Гельсингфорс? — Он говорит: — Не могу, большевики не пускают. — В Гельсингфорс? — Да. — Почему же? — Это одна шайка: что финны, что большевики».

И Игельстрём, и Шульц поразили меня своим сочувственным отношением к тому, что происходит в России. Ни один из них не верит тем басням, которыми утешают себя эмигранты. Они отнюдь не энтузиасты всех мероприятий правительства, но они знают, что здесь истинное обновление России, а не просто каприз нескольких очень нехороших людей. По поводу здешней монархической пропаганды Игельстрём говорит, что она так гнусна и глупа, что следовало бы, не боясь, беспрепятственно распространять ее в России, дабы крестьяне видели, кто хочет господствовать над ними. Шульца и Шайковича я пригласил в ресторан пообедать. Шульц жадно расспрашивал о Толстом, о литературе,

а я жадно ел, так как с утра до 4 $^{1}/_{2}$ час. у меня во рту ни росинки не было. Замечательно, что оба эти литератора ничего не слыхали о формальном методе, о работах Эйхенбаума, Тынянова, Шкловского. Я за столом прочел им целую лекцию, а потом Шульц пошел ко мне в гостиницу и стал рассказывать свою историю. В молодости он служил в русской армии прапорщиком — в Чугуеве и в Киеве. Но потом занялся науками в финляндском университете. Началась война; его призвали. По своим убеждениям он враг милитаризма, поэтому он отказался идти на войну. Власти, не желая поднимать шума, предложили ему: пусть остается в тылу и учит военному делу новобранцев. Но Шульц ответил: «Что же это такое? Чтобы я посылал на войну других людей, а сам сидел бы в безопасности? Нет! Ни за что. Нет, нет!» Тогда его перевели на испытание в госпиталь, а потом стали судить. Судили, судили и присудили к тюрьме, посадили в «Кресты», где он много читал и излечился от головных болей. Очень милый человек: с нежностью вспоминает свою тюрьму и судей, посадивших его туда... Сейчас, дня два назад, он ходил к президенту Стольбергу хлопотать за другого такого же антимилитариста, сидящего в финской тюрьме. Хлопоты увенчались успехом. Обо всем этом он рассказывал уже на улице — на каком-то мосту — где мы блуждали по русской привычке — и портфель у него был очень тяжелый: весь набит стихами Блока.

Оказывается, пиетет к Достоевскому у немцев так велик, что германский посланник в Гельсингфорсе, начитавшись Достоевского, специально поехал с женою в Питер, чтобы осмотреть те места, которые изображены в «Преступлении и наказании» и в «Идиоте».

Ну вот и 9-й час. Пора одеваться. Последние строки я пишу утром 30-го января 1925 г. в пятницу.

Вторник, 3 февраля. Гельсингфорс. Сижу 5-й день, разбираю свои бумаги — свою переписку за время от 1898—1917 г.г.*. Наткнулся на ужасные, забытые вещи. Особенно мучительно читать те письма, которые относятся к одесскому периоду до моей поездки в Лондон. Я порвал все эти письма — уничтожил бы с радостью и самое время. Страшна была моя неприкаянность ни к чему, безместность, — у меня даже имени не было: одни звали меня в письмах «Николаем Емельяновичем», другие «Николаем Эммануиловичем», третьи Николаем ...извините не знаю, как вас величать», четвертые (из деликатности!) начинали письмо без обращения. Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?) — был самым нецельным, не-

простым человеком на земле. Главное: я мучительно стыдился в те годы сказать, что я «незаконный». У нас это называлось ужасным словом «байструк» (bastard). Признать себя «байструком» — значило опозорить раньше всего свою мать. Мне казалось, что быть байструком чудовищно, что я единственный — незаконный, что все остальные на свете — законные, что все у меня за спиной перешептываются и что когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. Да так оно и было в самом деле. Помню страшные пытки того времени: — Какое же ваше звание? — Я крестьянин. — Ваши документы?

А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал*. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей Епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова — оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, — и это пронзило меня стыдом. «Мы — не как все люди, мы хуже, мы самые низкие» — и когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница — и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было — я вижу: это письмо незаконнорожденного, «байструка». Все мои письма (за исключением некоторых писем к жене), все письма ко всем — фальшивы, фальцетны, неискренни — именно от этого. Раздребежжилась моя «честность с собою» еще в молодости. Особенно мучительно было мне в 16—17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве — уже усатый — «зовите меня просто Колей», «а я Коля» и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь.

А что же Гельсинки? Хожу, ем кашу, стою у оконных витрин, разбираю свои письма и рукописи — и хочу поскорее домой... О, какой труд — ничего не делать. В Гельсингфорсе я только и заметил, что ученицы носят фуражки, как у нас комсомолки, да что трамваи чудесно устроены: чуть двинутся, в них двери замыкают-

ся сами, подножки опускаются, и никак не вскочить, что витрины здесь устраиваются с изумительным вкусом, простая лавочка так распределяет бутылки какие-нибудь, бублики, папиросы, что лучшему художнику впору. Очень остроумно в пассаже — папироса огромная, упала на стекло и якобы разбила его: трещина сделана при помощи серебряной бумаги весьма натурально. Или чайник, к которому на экране пририсован пар. А как работают в «Элланто» фрекены — как под музыку, энергично, изящно, без лишних движений, эластично, весело, дружно. Стоит специально ходить туда, чтобы наслаждаться их ритмической музыкальной работой.

4 февраля. Был вчера у Ярнфельда. Он спокойный, медленный, приветливый. Угощал меня завтраком. Жена его смотрела на меня неопределенно: не знала, в чем дело, почему она должна кормить этого длинного русского. У него я видел отличную — по энергии рисунка — голову работы Энкеля, большой этюд Эдельфельда, замечательный этюд Энкеля (набережная Сены), образцы финских ковров и пр. Ни его жена, ни его дочь не говорят по-русски. Он возмущался французским интервью с Петровым-Водкиным, который в какой-то парижской газете похваляется тем, что он изобрел какую-то новую перспективу. « Ну где же здесь новая перспектива?» — спрашивает он и указывает отпечатанную в газете картинку, где видна самая ординарная кроватка, нарисованная по всем школьным правилам. О России сведения у них дикие: очень они удивились, когда я сказал, что в Крыму можно теперь жить на даче, как и в былые времена — беззаботно и недорого. — «Неужели в Крыму вообще можно теперь жить?» Прошли мы из его дома по Фабиан Гаттан в его мастерскую, при университете. Там есть прелестные этюды: пейзажи, зарисовки сосен и пр. Очень мне понравился портрет какого-то знаменитого хирурга — с лицом моржа, — и большой портрет бывшего ректора, 80-летнего старца, с превосходным чеканным узором морщинок. Мешает Ярнфельду некоторая вялость, дряблость и академическая чернота колорита.

Эти дни я питался беспорядочно и потому постоянно чувствую голод.

Замечательно, что по-фински «счет» называется «lasku». Я только что получил от своего отеля такую ласку: 168 марок от 28—31 января. Колбасьеву я написал такое чухонское слово: «Галкиномупапсошколькиного».

8 февраля 1925. Оказывается, что я заплатил за свой отель дважды. Они с изумлением отметили это обстоятельство.

1925 **Четверг, февраль, [12-е].** Только теперь прихожу в себя после путешествия. Вновь за письменным столом. Понемногу втягиваюсь в работу после 22-дневного безделья. Работы у меня три: закончить статьи о Некрасове, проредактировать вновь его сочинения и написать трудпесни. Я очень рад таким работам и делал бы их с утра до ночи, но у меня на руках четвертая: Свифт для Госиздата и вообще редактура английских книг.

15, воскресение. Дела, дела, события! Тихонов арестован. За что, неизвестно. По городу ходят самые дикие слухи. Говорят, будто по требованию Ионова — и будто ему вменяют в вину корыстное управление «Всемирной Литературой». Но в Госиздате это отрицают. В Госиздате говорят, что Ионов не только не засаживал Тихонова, но напротив, хлопотал о его освобождении: ездил к Мессингу, взялся в Москве переговорить с Зиновьевым. И я верю, что он здесь ни при чем. Но когда я попробовал заикнуться об этом вчера в «Современнике», на меня посмотрели, как на агента Ионова. А между тем я искренне на самом деле думаю, что здесь возможно роковое совпадение угроз Ионова и ареста Тихонова. В «Современнике» уныло. Сидит одна Вера Владимировна. Она говорит, что Тихонов привез из Москвы 400 рублей для сотрудников, но эти деньги после ареста остались у теперешней жены Тихонова. Я пошел к ней. Она среди великолепных картин и вещей, в нарядном халатике, с намазанными кокотистыми губами симулирует большую тревогу. Рассказывает, что обыск был от трех до девяти часов. Они были очень милы, позволили Тихонову напиться кофею. Но теперь он сидит без «передачи», в одиночке, она ездила в Москву, Луначарский дал ей записку к Мессингу, в понедельник она к Мессингу пойдет, и пр. и пр. и пр. Я намекнул, что сотрудникам трудно без денег, она сказала «да, да!», но денег не предложила. Рассказывает, что «Блоха» Замятина имела большой успех.

16, понедельник. Сколько возьмет с меня фининспектор, не знаю. Он потребовал у меня 400 р. Я написал протест в налоговую комиссию. Теперь боюсь идти — денег нет ниоткуда. Читаю Беннета «Mr. Prohac» — отличный роман, так хорошо описан разбогатевший бедняк, все его мельчайшие чувства переданы так правдоподобно, что кажется, будто я разбогател, и, отрываясь от книги, я начинаю думать, что хорошо бы купить авто. Был вчера у Ионова. Как я и думал, он не виноват в аресте Тихонова. Он говорит: «Я могу открыто сердиться на человека, но на *донос* я не способен». Его оскорбляет даже самое подозрение, что он способен на такие дела. Я сказал ему, что, пожалуй, для того, чтобы прекра-

тить толки, ходящие по городу, ему. следовало бы похлопотать о Тихонове. Он сказал: «Плевать мне на толки, я презираю всех этих людей (разумей: коллегию). Совсем не для того, чтобы реабилитировать себя, я уже ездил в ГПУ хлопотать, и мне сказали: «Пошел вон!» Но по секрету, так чтобы никто не знал, я в четверг, чуть вернусь из Москвы, я буду хлопотать, чтобы облегчили положение Тихонова, чтобы ему пересылали пищу и проч. Конечно, как коммунист, я принимаю на себя ответственность за все, что делает коммунистическая партия, но вы сами знаете, что я еще не посадил ни одного человека, а освободил из тюрьмы очень многих».

И говорил он так увесисто, что я поверил ему. Не верить нельзя.

Мура терпеть не может картину Галлена «Куллерво», снимок с которой я привез из Куоккала. Она требует, чтобы я повесил ее лицом к стене. «Ой, чучело!» — говорит она про Куллерво.

21 февраля. Были у меня вчера Женя Шварц и Ю. Тынянов. Мура сидела на чемодане и вдруг: «Ой, не курите вы мне». Каждое утро она приходит ко мне перевернуть листок календаря — и смотрит, далеко ли до дня рождения. Вчера открыла Шварцу дверь и сразу: «Ну, приходи ко мне на именины!» Про новую книгу «Айболита»: «Ой, эта книга такая смешная, там есть обезьяна — мы с Андрюшей так и падали на пол от смеха». Оказывается, они сказали себе: «давай падать на пол от смеха», и падали раз за разом.

Тынянов был у меня по поводу своего романа о Кюхле. Я заказываю ему этот роман (для юношества), основывая детский отдел в «Кубуче». Ему очень нужны деньги. Он принес прелестную программу — я сказал ему, что если роман будет даже в десять раз хуже программы, так и то это будет отличный роман. Он сам очарователен: поднимает умственно-нравственную атмосферу всюду, где появляется. Читал свои стихотворные переводы из Гейне — виртуозные. «Вам помогает то, что вы еврей, — сказал я. — Блок не имел этого преимущества». — Шварц читал начало своих «Шариков». Есть чудесные места — по языку, по выражению. Остроумен он по-прежнему. У двух дегенератов братьев Полетика он повесил плакат: «Просят не вырождаться» (пародия на *просят не выражаться*), его стихи на серапионов бесконечно смешны*. Сам же он красноносый и скромный.

Видел я в Госиздате Семена Грузенберга. Идиотичность его с годами растет: «Я пишу *авто*биографию Репина», — говорит он. Про «Современник»: «Я слышал, что вас уже лишили *вашего органа*».

Начинаю работать для «Кубуча». Сапир, с которым я имею дело, очень мил. В Госиздате вновь возрождают журнал «Современ-

ный Запад». Я тяну в это дело Эйхенбаума и Тынянова. Не подыхать же им на улице! А сам я работать не могу в этом журнале — выйдет штрейхбрехерство. Хотя Тынянов доказывает, что нет. Вчера Горлин очень благородно отнесся к Анне Ив. Ходасевич. Я просил у него для этой несчастной женщины какой-нибудь работы. Работы нет, и негде достать. Это очень меня опечалило. Видя мою печаль, Горлин так растрогался, что выдал Анне Ив. 25 рублей — из каких-то непонятных сумм. О, как счастлива была она! Как благодарила — нас обоих. Здесь же была Шкапская. Она говорит, что реорганизация правления Союза Писателей — дело очень полезное. Туда вошли энергичные люди — которые начинают деятельно хлопотать об улучшении писательского быта, который теперь вопиюще-ужасен.

Тихонову разрешили передачу. Значит, следствие закончено. Назарыча перевели в другое отделение.

Бедная Анна Ивановна Ходасевич с голоду пустилась писать рецензии о кино. Была на интереснейшей американской фильме, но рецензию пишет так:

«Опять никчемная американская фильма, где гнусная буржуазная мораль и пр». — Иначе не напечатают, — говорит она, — и не дадут трех рублей!

Из Госиздата к Замятину. И он и она упоены триумфами во «Втором Художественном». Триумфы были большие, вполне заслуженные. Он рассказывает, что 6 ночей подряд пьянствовал с актерами после этого. На представление приезжала его мать.

О жене Тихонова говорят нехорошо. Он арестован, а она по театрам. Норовит продать его мебель. Денег он оставил ей 90 червонцев, а она жалуется, что у нее ни копейки и пр.

Есть слухи, что Щеголева привлекают за систематическое хищение из архива, во главе которого он был поставлен. У меня много обновок. М. Б. купила мне календарь (перекидной), чернильницу, промокашку (мраморную) и проч. Я всегда страшно радуюсь новым вещам — еще детская во мне черта. Новый перочинный нож для меня и поныне источник блаженства.

23 февраля. Завтра Муркино рождение. Сейчас она войдет устанавливать этот факт при помощи календаря. Вчера был у меня самый говорливый человек в мире: поэт Николай Тихонов. У него хриплый бас, одет он теперь очень изящно, худощав, спокоен, крепок; руки движутся, а корпус неподвижно в кресле. Как сел в кресло в 12 часов, так и не встал до 4. Сначала мы говорили о детской литературе. Он говорил, что запрещены даже Киплинга «Джунгли», потому что звери там разговаривают. «Вообще наше правительство в

этом деле — неопределенная толпа нянек». Говорит, что писал детские авантюрные романы, начиная с 8 лет, и что сам же их переплетал. Теперь они у него есть — и, перечитывая их, он удивляется, почему же в них каждый сюжет основан на революции. «Каждый мой роман — о революции». Я упомянул имя Буссенара. Он выказал огромную любовь к Буссенару и великое знание всех его повестей и романов. «Я прежде «В трущобах Индии» знал наизусть. Это такой дивный роман, он так великолепно построен, что запоминается сам собою. Я думаю, это лучший роман». Вообще его эрудиция стремится к точности — он любит всякую номенклатуру, даты, факты и проч. Когда он говорит о Кавказе, где он был нынешним летом, он сообщает самые точные татарские, турецкие, армянские, грузинские названия тех гор, ущелий, деревень и духанов, которые ему встречались на пути, а также экзотические имена тех людей, с которыми ему доводилось встречаться. Вначале это освежает и радует, как новый ковер, но потом немного утомляет. Вряд ли вся эта эрудиция у него полновесна. Он, например, спросил у Коли, как бы экзаменуя его: «С какого года Сандвичевы острова стали Штатом Северной Америки?» Коля замялся, смешался, но мы глянули в словарь, и оказалось, что Сандвичевы острова (как и утверждал Коля) никогда и не бывали Штатом. Потом в разговоре о Чаттертоне он мельком и безо всякой связи — сказал, что Чаттертон умер в Ливерпуле. Я беспамятен на всякие имена и названия, но робко решился заметить, что, кажется, смерть Чаттертона произошла в Лондоне. — Нет, в Ливерпуле. Глянули в словарь: Лондон. Тем замечательнее пристрастие Тихонова к собственным именам и датам, — такое же, как у Горького, когда он рассказывает, такое же, как у Короленко. Но у Короленко это были ненужные тормозы его рассказа, а у Тихонова это почти всегда поэтично и окрашено нездешним колоритом. Он вообще весь нездешний. Вошел в комнату — и вместе с ним вошло нездешнее, словно ветер ворвался в комнату, южный и волнующий. С Тихоновым нельзя вести разговор на заурядные темы, он весь в каких-то странных книгах, странных темах, странных анекдотах и стихах. Когда он рассказывает даже о своих петербургских знакомых, это оказываются какие-то невероятные герои, диковинные путешественники, обладатели редчайшего знания. 2 с половиной часа без перерыва он рассказывал мне о своей поездке на Кавказ, и рассказывал так, словно никто до него никогда не бывал на Кавказе, — о каких-то изумительных осетинах, изумительных чекистах, изумительных пшавах, хевсурах, поездках на автомобиле, долинах, аулах, кушаньях — все в его рассказе изумительно, невероятно, потрясающе. Потом, когда пришел Коля, стал читать свою новую

1925 поэму «Дорога», и оказалось, что весь его рассказ был комментарием к этой поэме. Читает он с явным удовольствием и даже удивлением: «Эка здорово у меня это вышло!» — и после каждой прочтенной строки взглядывает на того, кому читает: понравилось ли и ему, оценил ли? Поэма действительно хороша и радует дерзостью эпитетов, удалью синтаксиса, лихостью троп и метафор, — простая и в то же время нарядная вещь, мускулистая и в то же время нежная. Тихонов несомненно идет вперед — и когда сквозь все эти опыты, пробы пера (а и эта поэма есть проба пера) придет к простому и монументальному стилю — он будет великим поэтом современной эпохи. У него есть та связь с современной эпохой, что он тоже весь в вещах, в фактах, никак не связан с психологией, с духовною жизнью. Он бездушен, бездуховен, но любит жизнь — как тысяча греков. Оттого он так хорошо принят в современной словесности. Того любопытства к чужой человеческой личности, которое так отличало Толстого, Чехова, Брюсова, Блока, Гумилева, — у Тихонова нет и следа. Каждый человек ему интересен лишь постольку, поскольку он интересен, то есть поскольку он испытал и видал интересные *вещи*, побывал в интересных местах. А остальное для него не существует. Таких я видал в Англии, но Тихонов выше их. В общем, я провел 4 часа с удовольствием. Я в постели, у меня опять инфлуэнца; М. Б. купила на аукционе самовар, ножи и для меня другую чернильницу, медную. Чернильница с настольным прибором; М. Б. вчера мыла его до позднего вечера. Что же не идет Мурочка? Она всегда в соседней комнате замедляет шаги, и там lingers[1], а потом буйно врывается бурно в комнату, — зная, что доставляет своим появлением радость. Вообще она уже очень тонко улавливает психические отношения, и это даже пугает меня. У меня тоже была эта дегенеративная тонкость, но только вредила мне.

Вчера Мура сочинила загадку. «Я без рук, без ног, но с носом». — Лодка.

На мне такие обязанности, коих я не выполняю: нужно писать детскую вещь, а я редактирую Некрасова. Нужно написать или позвонить Собинову, который и звонил мне и писал. Нужно отнести к сестре Андреева медальон, который передал мне Репин. Нужно позвонить Радлову, что ему есть письмо. — Нужно достать для Мани Сухановой программу и книги. — Нужно написать в «Известия» о «Мойдодыре». Но лень — но болезнь — но старость. Что же не идет Мурочка? Уже девять часов, а она не идет. Пойду к ней, хотя и холодно в ноги. Пришла. Перевернула лис-

[1] задерживается (*англ.*).

тик: (завтра рождение), перевела стрелку часов (часы отстают на 10 м.) и потушила электричество.

24/II. Вторник. Наступил торжественный день: рождение Муры. Я с вечера вымыл голову, теперь надел парадную толстовку, полуновые брюки — и жду. М. Б. дарит ей стул. Бабушка колыбель, куколку и игрушечные блюда с яствами, Боба — лошадь, Лида — чашечки, я какую-то монресориевскую штуковину, все это копеечное, но восторгам не будет конца.

Я сказал ей, что ничего не подарю. Она сказала: *Ну, ничего, зато ты меня «помучишь»*. Для нее мое мучительство — праздник. Я обещал ей к тому же рассказать дальше про Айболита.

...В конце концов все торжества утомили ее. К вечеру пришел Маршак с сыном Эликом. Подарил Маршак краски, карандаши и альбом, — Элику было скучно с Мурой, Элику 8 лет, он уже читает «Красную газету», — славный, большеголовый, вечно-сонный мальчик, страшно похожий на отца. А отец? — я очень стараюсь его полюбить. И не могу. Житкову это сразу удалось, а я уже третий год стараюсь. Он очень деловит, «ловит момент», знает, где зимуют раки, но при этом вид растерянности и полной непричастности к земному. Я не видел другого литератора, который бы так ловко ориентировался среди современных людей и вещей, а в разговоре всегда у него целый ряд недоумений и вопросов. Он в литературе пират: я дал ему тему «Пожара», дал ему «Деток в клетке» (самую книжку дал ему, английскую, с рисунками Aldin'a), когда он приехал из Кавказа, ему и в голову не приходило, что нужно писать вот этаким стихом для детей, который тогда вырабатывал я, через полгода он забросил детский театр и петушком побежал за моим «Мойдодыром», — но при всем том он человек не злокозненный, скорее благодушный, патриархальный, любит говорить о высокой поэзии, спорить на философские темы, хороший и хорошо организованный, умный и крепкий Сальери. И потому ему так удобно в жизни, он так твердо стоит на ногах. — О Госиздате он говорил вчера, что отставка Ионова уже решена, что на место Ионова назначают Бонча-Бруевича.

27 февраля 1925 г. Мура рассказывает сказку «Спящая царевна», и в конце сказки: «Тогда они представили в театре спектакль». — Какой спектакль, Мура? (Но потом я догадался: ей Е. Ф. говорила: «сыграли свадьбу», и вот она ухватилась за слово «сыграли»). Про царя она говорит «назначили нового царя». Все это вздор! Не надо ей рассказывать такие запутанные сказки. Простые сказки она за-

поминает хорошо — через 5—6 дней пересказывает со всеми деталями «Айболита».

Лида так переутомлена, что на днях отправила своей гамбургской подруге, Лунц, письмо — не на Гамбург, а на Берлин. Причем ее безсознательное сопротивлялось этой ошибке очень оригинально: вместо Berlin она написала Berbin, удерживая на четвертом месте то же b, которое имеется в Hamburg'e.

27 февраля 1925 г. Вчера узнал, что на Гороховую по делу Тихонова вызывались Лернер и Губер, — люди наименее осведомленные. Оказывается, Тихонова обвиняют в том, что он помогал перейти границу Струковой, Сильверсвану, Левинсону и кому-то еще. Едва ли. Тихонов был слишком большой эгоист, чтобы впутываться в такие дела. Оказывается, что служителям, которые служили и ему, он никогда не давал на чай; что всем нам он платил меньше, чем следует, и т. д. Все это вчера подробно изложила мне Людмила Николаевна Замятина.

Замятин счастлив: его роман «We»[1] имеет в Америке большой успех, его пьеса «Блоха» имеет успех в Москве. Он долго блуждал со мною по городу — и в разговоре чаще, чем всегда, переходил на английский язык.

Вдруг сообщили из «Радуги», что Главлит запретил заранее второе издание «Танталэны». Бедный Коля, для него это ужасный удар. Он недоволен первым изданием, многое переделал, хочет писать новую книгу такого же рода, с тем же героем Шмербиусом, и вдруг его заранее связывают по рукам и ногам.

Я сейчас же позвонил Острецову, заведующему Главлитом, очень милому человеку, бывшему рабочему; Острецов уверяет, что этого быть не могло, обещает навести справки, а между тем, увы, это так. Надеюсь выхлопотать — через Лилину — более толерантное отношение к беллетристике для среднего возраста. И какая быстрота, какая предупредительность! Чтобы добиться разрешения, нам приходится по 3 недели обивать пороги Главлита, а запретили — еще раньше, чем мы обратились к ним с этой книгой.

Замятин говорит, что «Герой» Синга ставится в Александринке в моем переводе. Главную роль будет играть Ильинский.

Была у нас третьего дня сестра Некрасова Елисавета Александровна Фохт-Рюммлинг.

Теперь ей 70 лет с изрядным хвостиком, она прожорлива, умна, насмешлива, энергична, степенна. В разговоре часто вставляет немецкие слова, фразы. Ее цель — где-ниб. сорвать денег на том

[1] «Мы» (*англ.*).

основании, что ее брат — Некрасов. Она так и спросила: «Не знаете ли вы такого комиссара, к которому можно было теперь обратиться?» Я часто устраивал ей разные такие подачки — просительство она считает своей профессией и с утра до вечера ходит по учреждениям. Недавно была у Иванова — заведующего коммунальным хозяйством, выцыганила у него квартирку бесплатную с бесплатным отоплением, ходит в Смольный, в Дом ученых, хищно хватая куски. При всем том она приятная женщина, на лице у нее живая игра, что-то мило-лукавое, словно все, что она делает и говорит, лишь пустая забава, а надо бы делать иное. Приходит она всегда к завтраку — причем, что бы ей ни положили на тарелку, моментально съедает — и ждет новой порции. Иногда приводит к завтраку и свою дочь, незамужнюю, которую и до сих пор держит у себя в подчинении. А дочери лет 35.

Заговорили о Зинаиде Н., жене Некрасова. «Она была из веселого дома, с Офицерской ул. Я и дом этот помню, там была мастерская слесаря, а над мастерской висел ключ — вместо вывески — и вот у жены слесаря было 3 или 4 «воспитанницы», к которым приезжали гости — иногда девицы ездили к гостям. Их гостиная так и называлась «Под ключом». Когда закутят мужчины — «едем под ключ». Зина была из-под Ключа... Она меня очень обидела: говорила мне — я дам вам денег, вот чуть только получу за «Последние Песни» (Некрасов ей предоставил доход с этой книжки) — но, конечно, не дала, обманула. Одевалась она безвкусно — и сама была похожа на лошадь. Лицо лошадиное. Была она пошлая мещанка — лживая, завистливая. Когда умер у меня муж, она скрыла от Некрасова, боясь, чтобы он не дал мне на похороны. У нее была два дня в Павловске (на похоронах?) Анна Алексеевна, но Зиночка скрыла и это, как бы Некрасов не разжалобился и не помог мне. Авдотья Яковлевна от Некрасова ничего не получила — только то, что давали «Отечественные Записки. Но «Отечественные Записки» через 4 года закрылись, и Краевский стал давать ей 40 рублей в месяц. Она вышла за Аполлона Филипповича. Это был веселый человек».

На днях на Литейном наткнулся на такую рекламу сапожника — неподалеку от меня за углом:

Стой!
Читай! Запоминай!
Дождь кропил, тоскливо было,
Лужи, грязь, туман притом.
А по улице уныло
Кто-то плелся под зонтом.
И по лужам вдаль шагая,
По галошам хлоп да хлоп,

Непогоду проклиная
И с досады морща лоб.
Ноги мокли, ноги ныли,
Заливала их вода,
В тех ГАЛОШАХ дырки были,
Попадала грязь туда.
Эй, граждане, не сердитесь,
Воду нечего винить,
Лучше вы ко мне явитесь,
Чтоб галоши починить.
Быстро сделаю заплату,
Каблуки, подошвы, зад,
Дешево возьму зарплату,
Будет каждый очень рад!

Основываю детский отдел при «Кубуче». Был по этому случаю у Житкова в воскресенье 1-го марта. Житков в прошлом году еще люто нуждался и жил на иждивении у «Мишки» Кобецкого, приходя ко мне пешком обедать с Васильевского Острова. Теперь, в один год, он сделал такую головокружительную карьеру, что мог угощать обедом меня. Произошло это с моей легкой руки. Он ходил, ходил по учреждениям, искал везде работы — и так прекрасно рассказывал о своих мытарствах, что всякий невольно говорил ему: отчего вы этого не напишете? Сказал и я. Он внял. Стал писать о морской жизни, — я свел его с Маршаком, — и дело двинулось. Он человек бывалый, видал множество всяких *вещей*, очень чуток к интонациям простонародной речи, ненавидит всякую фальшь и банальщину, работоспособен, все это хорошие качества. Но *характера* — не создает, потому что к людям у него меньше любопытства, чем к вещам. Все же (покуда) он, как человек, гораздо выше, чем его произведения. Он молчаливый, не хвастун, гордый, сильная воля. Такие люди очень импонируют. Женщины влюбляются в него и посейчас, хотя — он лыс, низкорослый, похож на капитана Копейкина. Теперь его женою состоит благоговеющая перед ним караимка, женщина-врач, очень милая и простодушная. Она угостила меня сытнейшим обедом. Он прочитал мне все свои произведения — и «Слонов», и о подводном колоколе, и о «Кенгуре». Это свежо, хорошо, но не гениально. Служанки у них еще нет, мебель сборная, чужая: «начинающий литератор 43-х лет». Характер у Житкова исправился: нет этих залежей хандры, насупленной обидчивости — которые были у него в юности.

3 марта. Видел вчера (2-го, в понедельник) Любовь Дмитр. Блок. Или она прибедняется, или ей действительно очень худо. Потертая шубенка, невставленный зуб, стоит у дверей в Кубуче — среди страшной толчеи, предлагает свои переводы с французско-

го. Вдова одного из знаменитейших русских поэтов, «Прекрасная Дама», дочь Менделеева! 1925

Я попытаюсь устроить ей кое-какой заработок, но думаю, что она переводчица плохая.

Был в воскресение у Собинова. Он такой же — говорун, остряк, «полон сам собой», — но мил необычайно. Убранство безвкусное, немного в духе Самокиш-Судковской: лучшее украшение портрет Нины Ивановны — работы Сорина. О, как дрябло, условно. Я выругал — и доставил ему неприятность. Начал писать «Телефон». Не увлекает.

22/III. Пришло в голову написать статью о пользе фантастических сказок, столь гонимых теперь. Вот такую. Беременная баба узнала, что на таком-то месяце ее будущий младенец обзавелся почему-то жабрами. — О, горе! не желаю рожать щуку! — Потом еще немного — у ее младенца вырос хвост: — О горе! не желаю рожать собаку! — Успокойся, баба, ты родишь не щуку, не собаку, но человека. Чтобы стать человеком, утробному младенцу необходимо побыть вчерне и собакой и щукой. Таковы были все — и Лев Толстой, и Эдисон, и Карл Маркс. Много черновых образов сменяет природа для того, чтобы сделать нас людьми. В три года становимся фантастами, в четыре воинами и т. д. Этого не нужно бояться. Это те же собачьи хвосты. Черновики. Времянки. Самый трезвый народ — англичане дали величайших фантастов. Пусть звери для 4-хлетних младенцев говорят — ибо все равно для младенцев все предметы говорят.

Очень туго пишется «Самоварный бунт». Сижу по пять часов, вымучиваю две строки. Жаль, что я не сделался детским поэтом смолоду: тогда рифмы так и перли из меня. Дней пять назад были у меня из Москвы устроители детского балета на тему моего «Мойдодыра». Они рассказывают, что на первом представлении к ним явились комсомольцы и запротестовали против строк:

А нечистым трубочистам —
Стыд и срам,

так как трубочисты — почетное звание рабочих, и их оскорблять нельзя. Теперь с эстрады читают:

А нечистым, *всем нечистым*,

т. е. чертям.

С Мурой чуть я выхожу на улицу, сейчас начинает идти снежок. Она уверена, что я это так нарочно устраиваю. Прячется в шкаф. Надоело кропать стишки. Сегодня читаю о Горьком в Госиздате. Устраиваю там культурно-просветительный клуб. В про-

шлое воскресение читал Щеголев, сегодня я, в следующее Толстой, потом Замятин, потом Тынянов, потом Эйхенбаум.

26 марта. Завтра моя мама уезжает обратно в Одессу. Слышу, как она кашляет — и старается никого не будить кашлем. Умная, молчаливая, замкнутая, наблюдательная, работящая. Она незаметно несла в доме очень много работы: читала Мурочке, стирала белье, убирала посуду, редко сидела без дела. Глазам ее лучше. Недавно получила от Маруси письмо, что умерла жена Даниила С. и сказала ту фразу, которую часто говорила: Д. С., добрый, благородный, любящий, а его брат Э. С. (мой отец) был эгоист». Посидела немного и тихонько пошла в другую комнату заплакать — незаметно для всех. Потом вышла — «Ну, Мура...».

Коля вернулся из Москвы. Привез мне от Магарама 75 рублей. Жил он с Мариной у Арнштама под роялью, причем, кажется, на рояли спал Арнштам со своею женою. Видал Мейерхольда. Рассказывает, что поэт Пастернак очень бедствует. «Танталэна» распродана. Клячко тайно допечатал еще две тысячи и тоже продал. Отчего он не едет, Клячко? Я весь месяц сижу над «Самоварным бунтом» — и ни тпру, ни ну! Застопорилось. Ужасно гадкая работа: целый день за письменным столом — и ни строки. Я даже к доктору вчера ходил. К профессору Ловецкому — очень большой прием. Нашел у меня желудок и нервы и торжественно говорил М. Б-не всякие вздоры, за что и получил 10 рублей. Коля уже начал писать новый роман «Приключения профессора Зворыки». Первая глава темпераментна, но тоже чрезвычайно наивна. Посмотрим, что будет дальше. Театральной Москвой он очень недоволен — о «Блохе» Замятина отзывается с полным презрением и постановку считает ужасно вульгарной. Надо хлопотать, чтобы ему разрешили 2-ое издание «Танталэны». У меня опять канитель о прислугой: Марья Борисовна наняла какую-то старуху, которая живет у знакомых, а прописана где-то в другом городе, к нам же приходит только днем, — вообще, чепуха. Вызвали повесткой, а я потерял повестку и не знал, куда идти. Пойду сегодня. Мурочка сделала к Лидиному рождению, которое было вчера, этакую штучку для писем, раскрасила, с помощью чудотворицы. Вчера бабушка показывает ей картинки к «Тому Сойеру». Про одну она говорит: «Знаю, знаю. Это они нашли хлам: золото, серебро, очень много добра». — «Почему же это хлам, Мурочка?» Она замялась. Но я догадался: она слыхала слово «клад», но смешала его с хламом. Получил от Собинова портреты Светланы, на портретах она не так прелестна, как в натуре, нет ее глубокой серьезности. Был у меня Пяст, жалкий, без работы, обре-

ченный и впредь на безвыходную нужду, с проблесками улыбки и милой беспечности. Встретил на Аничковом мосту жену Тихонова — на ярком солнце ее раскраска производила впечатление печальное. Она шла от Мессинга. Хотела взять Тихонова на поруки. Отказали. Должно быть, дело очень серьезное. Он болен. В тюремной палате уход за ним очень хороший. Звонила ко мне вдова Блока — в ее голосе слышится отчаяние. Она нуждается катастрофически. Что я могу? Чем помогу? Пойду завтра в Союз Писателей, позвоню к Гэнту.

— Читаю Дневник Шевченка, замечательный.

И сказала скалка:
Мне Федору жалко!

Надо что-то радикальное сделать с моей Федорой — очень она к концу забаналилась.

27 марта. Вот и уехала бабушка. Поезд отходит в 10.45, а выехала из дому в 9 час. Коля с нею, Боба и Марина в трамвае. Очень бодро и торжественно уехала. Мы с нею попрощались в моей комнате, она сказала мне, что каждое утро здоровается со мною: у нее висит мой портрет, и она говорит: — Здравствуй, сыночек! Хорошо ли ты спал, мой голубчик?

Я не могу спать: разволновался и ее отъездом, и статьей Адонца обо мне, напечатанной в последнем № «Театра и Искусства»*, и канителью с Максимовым-Евгеньевым. Канитель с Евгеньевым такая: он злится на меня, зачем я не пригласил его в соредакторы собрания сочинений Некрасова, и потому требует у меня якобы удержанные мною рукописи «Каменного сердца». Не понимаю, почему это меня взволновало. Я сразу понял: не буду спать. Но есть и хорошее! Синг мне уже дал сто рублей, в Кубуче приятно, с Горлиным наладились отношения и т. д. — Приехал Клячко.

Туго пишется Федора — не скучна ли она? Боюсь, что нет настоящего подъема. На каждого писателя, произведения которого живут в течение нескольких эпох, всякая новая эпоха накладывает новую сетку или решетку, которая закрывает в образе писателя всякий раз другие черты — и открывает иные.

29 марта. Мура услыхала из моего разговора с Гэнтом об экспериментальном Институте проф. Павлова. Я сказал, что там режут собак и мышей — и объяснил зачем. Это произвело на нее колоссальное впечатление: она около получасу размышляла вслух на эту тему.

— Сереньких мышей можно (резать), сереньких не жалко, оттого что они нехорошие, а белых не надо, они очень хорошие. И проч.

1925 Вчера утром в 11 ч. умер Поляков, с которым я много виделся в Сестрорецке. Милый, добрый, жизнелюбивый человек, — он был великолепный горловой врач, и вследствие этого его горячо любили певцы, которым он всегда обрабатывал для пения горло. (Собинову — каломель.) Тому подрежет, тому подмажет, — и голос становится гораздо нежнее, сильнее. Он говорил своей дочери Леле: «Учись пению, я тебе устрою соловьиное горло». И вот умер. Утром был весел, а в 11 часов (утра же) уже лежит под простынею на столе. Вдова бодрится, говорит, что хочет продать квартиру, что вчера ночью у них украли дрова, и даже улыбается, но горе, видно, придавило ее. Они оба были как дети. Вечно мирились и ссорились. Она вошла в комнату. Он лежит и молчит. Она говорит к нему, он не отвечает. «Федя, что же ты молчишь? Или сердишься?» А он не сердился, он умер.

Вчера впервые показал Клячке «Федорино горе». Ему нравится. Он советует художника Твардовского, у которого большая выдумка. Попробую. Рассказывал об анекдотах цензуры. Запретили ему в детской азбуке изображение завода и рабочего. Почему? «Рабочий просто сидит и не работает. А завод? Из его труб не идет дым!»

Канарейка: Мне рассказывала писательница Василькова-Кильк-штет, что у нее имеется следующее удостоверение, выданное ее канарейке: «Сия Канарейка лишена 75% трудоспособности, страдает склерозом, заслуживает пенсии по 10 разряду». Это удостоверение выдали ей по рассеянности: пошла хлопотать и о канарейке и о себе мать Георгия Иванова, очень сумбурная женщина, — и перепутала!

Вдова говорит: ах, наша семья была такая сплоченная, такая спаянная. А в соседней комнате в таком же трауре сидит любовница ее покойного мужа. Вдову утешает вдова профессора К., который жил с дочерью вдовы, и всё это действительно очень *сплоченно*. Все они, эти четыре бывшие соперницы, очень дружны между собою. Особенно теперь, когда делить уже нечего.

1 апреля 1925 г. Спасибо, что прожил еще год. Прежде говорилось: «Неужели мне уже 18 лет!» А теперь говорится спасибо, что теперь мне 43, а не 80, и спасибо, что я вообще дожил до такого древнего возраста. Вчера принял ванну с экстрактом и спал бы как убитый, но разбудила ночью громко плачущая собака, которая, словно по заказу, отчаянно плакала и выла у меня под окнами. Плач продолжался часа полтора. И еще дурной знак: натягивая на себя одеяло, я разорвал простыню сверху донизу.

Читал Добролюбова: какие плохие писал он стихи. И умело пользовался их бездарностью: предлагал их читателю в виде пародий на другие плохие стихи. Напр., на стихи Розенгейма. Говорили: как ловко обличил он плохого поэта. А он и в самом деле лучше не мог. Это очень самоотверженно с его стороны.

Вчера кончил вчерне «Федорино горе». Сегодня берусь за отделку.

Этот год — год новых вещей. Я новую ручку макаю в новую чернильницу. Предо мною тикают новые часики. В шкафу у меня новый костюм, а на вешалке новое пальто, а в углу комнаты новый диван: омоложение чрез посредство вещей. Не так заметно старику умирание. Наденешь новую рубаху, и кажется, что сам обновился. От Репина письмо: любовное*. Мне почему-то неловко читать. Я так взволновался, что не дочитал, оставил на сегодня. С концом «Федорина горя» не выходит.

6 апреля. Мих. Кристи, председатель Главнауки здешней, во всех своих спичах садится в лужу. Недавно на юбилее Ив. Вас. Ершова в театре сказал: «Правда, вам пора сойти со сцены, потому что действительно вы потеряли голос». А на юбилее Кони: «Вы сделали уже все, что могли, пожелаем же вам мирной и безболезненной кончины». Это рассказал мне сам Кони вчера. Я был у него вечером, просидел 1 $^1/_2$ часа. Он очень бодр, даже как будто загорел. Я сказал ему это. «Я сижу в Швейцарии», — объяснил он (т. е. у парадного хода, вместо швейцара). Каждый день около часу дня — он садится у входных дверей на улице. У него болит правая нога — и потому больших прогулок он не предпринимает. Показывал мне фотографии головы Христа, якобы нарисованной в сомнамбулическом сне какой-то девочкой, которая якобы совсем не умеет рисовать. Собирается в Харьков — вместе с Ел. Вас. читать лекции, но боится за судьбу Ел. Вас., ибо в Харькове все знали, что она «буржуйка», «губернаторша» и пр. Рассказал, что Салтыков был ужасный ругатель — и про всех отсутствующих, хотя бы и так называемых друзей, всегда отзывался дурно. Напр., о Лихачеве: Лихачев устраивал в течение многих лет все денежные дела Салтыкова, покупал акции и проч. Предан он был Салтыкову, как собака. И вот однажды Салтыков говорит: Экой мерзавец этот Лихачев. — Отчего? — с испугом спросил Кони. — Да вот уже 3 часа, а он до сих пор не приходит из банка. Должно быть, протранжирил мои деньги, спустил, убежал...

Или об Унковском. Тот приезжал к Салтыкову гостить в деревню. «Зачем приезжал? Дурак! Проиграл мне 300 р. Стоило приезжать!» и т. д. ...

1925 **8 апреля.** Вчера в час дня у Сологуба: Калицкая, Бекетова, я. Ждем Маршака. Заседание учредительного бюро секции детской литературы при Союзе Писателей. У Сологуба сильно поредели волосы, но он кажется не таким дряхлым. Солнце. Даже душно. Сначала говорил о Шевченко. Сологуб: «Шевченко был хам и невежда. Грубый человек. Все его сатиры тусклы, не язвительны, длинны. Человеческой души он не знал. Не понимал ни себя, ни людей, ни природы. Сравните его с Мистралем. У Мистраля сколько, напр., растений, цветов и т. д. У Шевченко одна только роза да еще две-три. Шевченко не умел смотреть, ничего не видел, но — он умел петь. Невежда, хам, но — дивный, музыкальный инструмент...» Потом пришел Маршак навеселе. Очень похожий на Пиквика.

Калицкая, бывшая жена писателя Грина, очень пополнела — но осталась по-прежнему впечатлительна, как девочка. Она не солидна — почти как я. Сологуб, всегда во время заседаний истовый и официальный, начал докладывать о субботах в Союзе Писателей. «Субботы у нас предназначены...»

Калицкая. Нет, Ф. К., здесь не то...

Сологуб. Позвольте, я и говорю...

Калицкая. Я с вами вполне согласна...

Сологуб (*тоном педагога, который сейчас поставит единицу*). Я прошу вас дослушать меня до конца...

Калицкая. Я знаю, что...

Сологуб. Иначе выйдет у нас не разговор, а кагал...

Калицкая. Да, да. Ф. К., я только хотела сказать...

Сологуб (*покраснев*). Дайте же мне говорить. Замолчите!

Калицкая замолчала, как чугунная тумба. Мы потупили глаза. Вдруг Калицкая сорвалась и убежала в другую комнату. Сологуб остался на месте. Через несколько минут я потихоньку вышел ее утешить. Оказалось, что у нее из носа идет кровь! Сологуб смутился, пошел за ватой... Потом на улице я читал Маршаку свое «Федорино горе». Он сделал целый ряд умных замечаний и посоветовал другое заглавие. Я сказал: не лучше «Самоварный бунт»? Он одобрил.

Сейфуллина приехала. Звонил мне ее муж, а я все не соберусь.

10 апреля. Пятница. Я забыл записать о Сологубе: он, к удивлению, очень одобрительно отзывался о пионерах и комсомольцах. «Все, что в них плохого, это исконное, русское, а все новое в них — хорошо. Я вижу их в Царском Селе — дисциплина, дружба, веселье, умеют работать...» В среду мы снимались в Союзе Писателей. До прихода фотографа ко мне подошел интервьюэр из «Правды» и спросил: «О чем вы пишете, о чем вы намерены писать, о чем надо

писать?» Сологуб сказал: если бы мне задали эти вопросы, я ответил бы: о молодежи, о молодежи, о молодежи...

С «Кубучем» у меня разладилось. Три дня Сапир был неуловим. Но вчера вечером мы на балкончике на Невском договорились до какого-то modus'a vivendi[1].

Мне Сологуб неожиданно сделал такой комплимент: «Никто в России так не знает детей, как вы». Верно ли это? Не думаю. Я в такой же мере знаю женщин: то есть знаю инстинктивно, как держать себя с ними в данном конкретном случае — а словами о них сказать ничего не могу. С детьми я могу играть, баловаться, гулять, разговаривать, но пишу о них не без фальши и натужно. Кстати, я высчитал, что свое «Федорино горе» я писал по три строки в день, причем иной рабочий день отнимал у меня не меньше 7 часов. В 7 часов — три строки. И за то спасибо. В сущности, дело обстоит иначе. Вдруг раз в месяц выдается блаженный день, когда я легко и почти без помарки пишу пятьдесят строк — звонких, ловких, лаконичных стихов — вполне выражающих мое «жизнечувство», «жизнебиение» — и потом опять становлюсь бездарностью. Сижу, маракаю, пишу дребедень и снова жду «наития». Жду терпеливо, день за днем, презирая себя и томясь, но не покидая пера. Исписываю чепухой страницу за страницей. И снова через недели две — вдруг на основе этой чепухи, из этой чепухи — легко и шутя «выкомариваю» всё.

Вчера сократил «Федорино горе», почистил, и у Клячко виделся с Твардовским. Опять устанавливали макетки. Не хочется называть «Федориным горем», но как?

13, понедельник. Фу, какой, должно быть, будет тяжелый день. В субботу вечером читал с Маршаком, при благосклонном участии Сологуба, в Союзе Писателей. Собрались инвалиды, темные старухи, девицы, я читал «Федорино горе» и «Тараканище». Сологуб с величайшим успехом (у меня) прочитал свои сказки, причем во время чтения все время дразнил меня, очень игриво: перед чтением я наметил ему, что читать, он и задевал меня: эту читаю по распоряжению К. И. Ч., вот Ч. смеется громче всех, это потому, что он наметил сам, и проч. В воскресение был у меня И. Бабель. Когда я виделся с ним в последний раз, это был краснощекий студент, удачно имитирующий восторженность и наивность. Теперь имитация удается хуже, но я и теперь, как прежде, верю ему и люблю его. Я спросил его:

— У вас имя-отчество осталось то же?

[1] способа существования (*лат.*).

— Да, но я ими не пользуюсь.

Очень забавно рассказывал о своих приключениях в Кисловодске, где его поместили вместе с Рыковым, Каменевым, Зиновьевым и Троцким. Славу свою несет весело. «Вот какой анекдот со мною случился». Жалуется на цензуру: выбросила у него такую фразу: «Он смотрел на нее так, как смотрит на популярного профессора девушка, жаждущая неудобств зачатия». Рассказывает о Петре Сторицыне: Сторицын клевещет на Бабеля, рассказывает о нем ужасные сплетни. Бабель узнал, что Сторицын нуждается, и решил дать ему червонец, но при этом сказать:

— Деньги даром не даются. Клевещите, пожалуйста, но до известного уровня. Давайте установим уровень.

Лиде Бабель не понравился: «Не люблю знаменитых писателей».

Потом я пошел в Европейскую гостиницу, в ресторан — сделал визит Сейфуллиной и Валериану Правдухину. Простодушные, провинциальные, отдыхаешь от остроумия Бабеля. Питер им очень понравился. Остановились в Доме Ученых. Ничего толком не видали. Хотят сюда переехать.

Вчера было заседание «Всемирной Литературы». Гнусное. Решил больше не ходить.

18 апреля 1925. Канун Пасхи. Был у меня Замятин. Он только что получил новый паспорт, заявив, что свой предыдущий он потерял. Рассказывает о суде над Щеголевым. Говорит: впечатление гнусное. Судья придирался к адвокату и был груб с Щеголевым. Написал рассказ, который назвал «Икс». Получил от Бабетты Дейч рецензию на роман «We». Рецензия кисло-сладкая (в «New Statesman»). Увидев у меня в Чукоккале объявление: «Приехал Жрец»*, Замятин тотчас же записал его в книжку — материал для рассказа.

19 апр. Ночь трезвонили по случаю Пасхи и не дали мне заснуть. Пасху провел за Некрасовым, был у Сапира по делу с *портфелем.* Много пьяных; женщины устали от предпасхальной уборки, зеленые лица, еле на ногах, волокут за собой детей, а мужчины пьяны, клюют носом, рыгают. Большое удовольствие — Пасха. На Невском толпа, не пройти. Сыро, мокро, но тепло. Хотя и мокроты меньше, чем обычно на Пасху.

20 апр. Мура утром входит. — Я всегда забываю рассказать тебе сказку. — Садится. — О мальчике Паше. Он был маленький. У него не было особенной работы. Он служил во дворце. Когда

идет царевна в длинном платье, платье дотрагивается до земли и пачкается...

Вчера с Муркой мы были у Колиной тещи, у Марии Николаевны Рейнеке. Шли назад. Я заметил узкий проход между двумя домами, которого раньше никогда не видал. «*Идем, Мура, этой дорогой*». — Какая это улица? — «*Необыкновенная!*» На нее эти слова произвели большое впечатление. Мы идем по «Необыкновенной Улице». — А люди здесь *обыкновенные?* — спрашивала она. Оказывается, что сказка о *Паше*, это сказка о *паже*.

11 мая 1925, понедельник. Не писал по независящим обстоятельствам. — О Муре: мы с нею в одно из воскресений пошли гулять, и она сказала, что ей все кругом надоело и она хочет «в неизвестную страну». Я повел ее мимо Летнего сада к Троицкому мосту и объявил, что на той стороне «неизвестная страна». Она чуть не побежала туда — и все разглядывала с величайшим любопытством и чувствовала себя *романтически*.

Тут люди совсем другие — не знаю чем, а другие.

Дети (пионерки) покачали ее на качелях, она видала, как мальчишки бегают внутри труб, приготовленных для канализации, и когда в Неве стал купаться какой-то мужчина (был холодный ветер, и вода ледяная, но — солнце), она закричала:

— Смотри, неизвестный человек купается в неизвестной реке!

Она же сказала матери: «*Уж как ты себе хочешь*, а я на Андрюше женюсь!» Он ей страшно нравится: мальчишеские хвастливые интонации. Когда она поиграет с ним, она усваивает его интонации на два дня — и его переоценку ценностей. Он говорит так. Ему скажешь «иди домой». Он: «Хорошо иди домой! когда два часа!» К Муре вообще в минуту прилипает чужой тон речи: сказки она рассказывает, как Екатерина Федоровна.

На днях стала копать червей — и раскладывала на камушке и уходя сказала мальчикам: *не троньте без меня*.

Спрашивает: кто написал «Луну и Мышонка». Ей говорят: *Памба*. — Разве она умерла? — Нет. А почему она должна умереть? — Все писатели умирают. Напишут и умрут. Пушкин, например: написал царя Салтана и умер.

Потом, пересказывая кому-то свои резоны, вместо Пушкин сказала Ленин.

А я всё в примечаниях к Некрасову. Сижу и маракаю вздор — и конца-краю этому вздору не вижу.

13 мая. Вчера с Бобой впервые на лодке. — Передряги с моей тетрадью примечаний к Некрасову. — Учу Муру азбуке. Входит ут-

ром торжественная. Знает уже у, а, о, ж, р. — Умер Н. А. Котляревский. Я вчера сказал об этом Саитову.

Он сказал:

— А Ольденбург жив!

— ?!

— Интриган.

Был вчера на панихиде — душно и странно. Прежде на панихидах интеллигенция не крестилась — из протеста. Теперь она крестится — тоже из протеста. Когда же вы жить-то будете для себя — а не для протестов?

Мура чавкает. «Съела». — Что съела? — «Вот эти шоколадные штуки, которые на шкафу» (шкафчик шоколадного цвета). — (Подождав, глядит, он остался цел.) «Снова родились. Снова съем». Вот и борись с детской сказкой, когда их жизнь — Сказка!

15/V. Сейчас Дмитрий Иванович, наш управдом, поймал двух жуликов, которые ломали крылья у изумительных орлов, украшающих пушки нашей церковной ограды (она составлена из турецких пушек). Утром в 5 часов утра. Прислонены крылья к стене переулка, собрался народ, пришли милиционеры, парни упираются, говорят: не мы.

— Берите крылья, идем!

— Пусть тот берет, кто ломал, мы не ломали.

— Ну нечего, бери!

— Бери и т. д.

В прихожей у цензора ругнулся:

— Ах, Корней Иванович, как вам не стыдно в цензуре *нецензурные* слова говорить.

Получил у Галактионова образцы шрифтов для Некрасова. Ни один не по душе. Эйхенбаум и Халабаев проверяли мою корректуру Некрасова — и на 60 страницах нашли три ошибки — 5 процентов. Они говорят, что это немного. Увы, я думал, что нет ни одной.

23 мая. Суббота. Мура у себя на вербе нашла червяка — и теперь влюбилась в него. Он зелененький, она посадила его в коробку, он ползает, ест листья — она, не отрываясь, следит за ним. Вот он заснул. Завернулся в листик и задремал. *Она стала ходить на цыпочках* и говорить шепотом. Перелистывала журнал дамский — моды: ах, какие свежие женщины.

Вчера был у меня Тынянов — читал мне свой роман. Мне понравилось очень; оказывается, нужно быть евреем, чтобы написать историко-литературный роман. У него дивное равновесие психо-физиологии, истории, фантазии. Я сказал ему, что начало

хуже остального. Он согласился — обещал выбросить. Я проводил его в 10 часов домой — для меня это глубокая ночь — у него кабинет наполнен книгами, причем на полу, на диване, на стульях — все полно Кюхельбекерами и «Русской Стариной», где Кюхельбекер.

Ночь на 27-е. Позвонили — милиционеры. В час ночи. У Лиды обыск. Нелегальную литературу ищут*. В комнате у Лиды спала горничная Лена — кто такая? Дмитрий Иванович в дохе — стал рассказывать, что эту доху подарил ему Калинин, что прежде он возил Воейкова, вот был мерзавец, дрался. Я от нечего делать стал писать примечания к Некрасову.

Мурина улитка расплодила крошечных улитят. Вчера показал ей букву *М* и она прочла слово «Мура».

29 мая. Дивная погода. Марья Борисовна пошла на Шпалерную, понесла Лиде передачу и письмо. Сегодня я занимался с Мурой, она сказала: «я знаю *а* и другой породы, т. е. не только *А*, но и *а*. Про воробьев — «о! воробышки играют в пятнашки». Муре известны буквы: *ш, у, к, а, о, р, и, ж*. Она относится к своим занятиям очень торжественно; вчера я сообщил ей букву *ш*. Сегодня спрашиваю: — Помнишь ты эту букву? — Как же! я о ней всю ночь думала. — Из некрасовских примечаний я понемногу начинаю выползать — хотя впереди самые трудные: к «Кому на Руси», к «Русским женщинам», к «Современникам», ко множеству мелких стихов. Лиду выпустили, по ходатайству Ионова. Ионов отнесся к делу очень сердечно. Выслушав мою просьбу, взял фуражку, поехал в ГПУ.

— Через 2 дня ваша дочь будет свободна.

К Тихонову он отнесся благородно, по-рыцарски. Тихонов его враг — и всё же Ионов поехал в ГПУ и выхлопотал отсрочку. До 8 июня. Лида полна впечатлений.

4 июня. Вчера Сапир позвонил мне, что цензор Острецов дал о моей книге про Некрасова одобрительный отзыв — и что «Кубуч» берет ее печатать. Неужели это верно? Это почти невозможное счастье: напечатать о том, что любишь. Теперь у меня была одна московская литераторша, которая написала исследование о «Кому на Руси жить хорошо» — в нем 370 страниц; когда оно увидит свет, неизвестно.

Тынянов сказывал мне, что у него в столе 4 законченных исследования. «Эйхенбаум приходил ко мне спросить: что же ему делать. У него нет ни гроша, на руках работы — о Лескове, о росте физиологических очерков — и о их трансформации в роман» и пр. и пр.

1925 Нечего и думать о печатании этих ценных работ. Сергеев (госиздатский) говорил мне, что в Госиздате решили отложить книгу о декабристах Щеголева, несмотря на то, что в этом году столетие со дня *декабрьского восстания.*

Эйхенбаума я пытаюсь устроить, — но нет возможности найти ему работу. Я сегодня пойду к Сапиру, авось он что-нб. сделает. Из Госиздата меня выперли — очень просто!»

Мура в июне 1925 г.:

— Чуть мама меня родила, я сразу догадалась, что ты мой папа!

Была у нас сестра Некрасова с дочкой — Лизавета Александровна. — А не дарил ли Вам Некрасов книг с автографом? — Ох, дарил, три томика подарил, а я — известно, глупая — продала их и на конфетах проелась.

Все же это тупосердие: даже не прочитать стихов своего брата, а сразу снести их на рынок.

Мура вообще очень забавна. Вышла с Лидой гулять. Подошла к лесу. «Идем, Лида, заблуждаться!» — «Нет, не надо заблуждаться. Потому что что́ мы будем есть». — «А тут кругом добыча бегает».

Третьего дня на песках ей завязали на голове платочек с двумя узелками: узелки похожи на заячьи ушки, *значит*, она зайчик. *Значит*, трава, растущая кругом, — капуста. Сразу в ее уме появились какие-то другие зайцы: вертихвост, косоглаз и т. д. Она стала без конца разговаривать с ними. Спорая игра стала ритмичной. Зайцы стали разговаривать стихами. Для стихов потребовались рифмы, все равно какие. Я перестал слушать и вдруг через четверть часа услыхал:

Шибко зайчик побежал
А за ним бежит... журнал.

— Какой журнал? — спрашиваю. Ей задним числом понадобилась мотивировка рифмы. Но она не смутилась. — Журнал? Это зайчик такой. Он читает журналы, вот его и прозвали журналом. (Пауза — а затем новое развитие мифа.) У него бессонница, как у тебя. Ему трудно заснуть, вот он и читает на ночь журналы.

После чего Журнал был беспрепятственно введен в семью зайцев и существовал целый день.

Но на следующий день, когда мы стали играть в зайцев, она сказала:

— Нет, таких зайцев не бывает. Зайцы никогда не читают журналов, — и ни за что не хотела вернуться ко вчерашнему мифу. Видно, и вчера она чувствовала некоторую неловкость в обращении с ним.

8 июня. Мура пишет букву *ж*, потом *ш*, но *к* забыла.

Палочки я сделал из картонной коробочки. Не только палочки, но и дуги для Р, С, О — они принесли Муре огромную пользу, заменили писание и отчасти научили писанию.

Мура: Ч — это перевернутый стульчик.

Любит ставить эту букву вверх ногами. Путает Т и П.

Сделали из спичек слово. Она с такой энергией выдохнула *п*, что верхняя спичка отлетела.

Я она узнала только сегодня — 8 июня. К этому привязалась еще цифра 8. Ей нравится, что это *о* на *о*. *Ю* она сама увидала в газете и стала спрашивать, какая это буква — и я в шутку сказал, что не скажу, тем сильнее она ее запомнила. (Романтика запрета.)

28 июня, воскресение. Коля вчера вечером читал Шмербиуса. В будочке мне и Бобе. Есть недурные места, но в общем он и сам чувствует, что жидковато. У него готово уже 14 глав. Всех глав будет у него 22–23. Ходил смотреть экскаватор. Кажется, он получит в Госиздате перевод Джека Лондона. М. Б. принялась его рьяно кормить, он только облизывается. Утром Боба стал показывать ему свое искусство — ходить по перилам моста над водой — Боба делает это с прекрасным изяществом — уверенно шагает по тонкой и длинной жерди и даже взбирается вверх. Колька после первого же шага хлопнулся вниз. Днем я грелся в будочке — в солярии — страшная жара — загорел непристойно. — Мура принесла крота в ведре — хорошенького — бархатистого — но, очевидно, его пригрело солнце, он издох, Мура страшно рыдала над ним. Мы его похоронили.

Она очень забавно воображает себя галкой — и меня зовет гал-гал...

Я взял своих детей на озеро — и два часа мы ездили — под чудесным небом — легкий ветерок СЗ, Коля и Боба чудесно гребли — за лодкой летели какие-то сволочи-мухи, садившиеся нам на голые спины. Потом смотрели, как играют в городки... И все же — тоска. Как будто я завтра умру.

30 июня. Понедельник. Дождь. Устроил школу для Муры внизу. Вчера она узнала букву *З* и безошибочно прочла слова зуб, зоб, зал, заря, роза, коза и т. д. Сегодня она с упоением приготовила вывеску ШКОЛА и написала проект могильной доски для крота ТУТ СПИТ КРОТ.

1 июля. Мария Борисовна уехала к Коле в Детское. Это Детское скоро воистину станет детским, там будет рожден мой первый

внук. Погода два дня — холодная. Занимался с Мурой в *школе*: мы с Бобой сделали таблицу всех букв, которые Муре известны (18 штук), устроили из чемодана парту, и Мура верит, что эта школа какое-то совсем особенное место: там она благоговейна, торжественна, необыкновенно податлива.

А за столом она невозможна. По поводу каждого куска — спор и длинные уговаривания. Дают тарелку супу, на нее нападает столбняк... «Мура, ешь! Мура, ешь!» Сегодня в отсутствие мамы она так извела Лиду (не без содействия Бобы), что Лида, 19-летняя девушка, вдруг упала головою на стол и заплакала.

У Бобы: апломб, грубая речь, замашки каторжника — и мало кто видит, сколько в нем внутренней нежности. Едем в лодке мимо окна по реке. Кричит кому-то басом: «Го, го, да я знаю, что тут мель. Не веришь, смотри!» (и норовит назло поставить лодку на мель), а потом прибавляет по-детски: «Я знаю, я тут два года щук ловлю!»

Четверг 2 июля. К Муре вчера я попробовал применить тот же метод, который когда-то так действовал на Колю. Мы были на море — она устала: «далеко ли дом?» И я, почти не надеясь на успех, сказал ей: «Видишь, тигры, пу! пу! давай застрелим их, чтобы они не съели вон того человека!» Она как на крыльях побежала за воображаемыми тиграми — и полверсты пробежала бегом — не замечая дороги. Сегодня научил Муру букве *Н*. Марья Борисовна что-то долго не приезжает из Детского. Не родила ли Марина? Я занимался целый день — вышел из дому на минутку — когда Мура устраивала могилку для крота. Меня ужасно возмущает медленность моего писания. Каждая фраза отнимает у меня бездну труда. Я пишу легчайшую статейку «Сердечкин злосчастный»* — и еле дошел до шестой странички!

Могилка вышла хороша: Мура написала на дощечке: ТУТ СПИТ КРОТ — обсыпала дощечку землей, убрала цветами и камушками.

Суббота, 4 июля. Вчера был у Фине, психиатра. Он провел со мною целый час, допрашивал меня всячески, а больше болтал о себе. Позволил купаться в море.

Сегодня иду к фининспектору в Сестрорецк. У него жена финка. Словом, у меня со всех сторон финн: фининспектор, финка, Фине. Дети фининспектора вдвойне финята. Он обложил меня на 300 рублей.

Мурина школа очень забавна. Есть у нас и мел, и доска, и веник для выметания мела, и гнездышко (естественно-научный от-

дел), и таблица на стене, и парта. И на дверях бумажка с надписью *школа*. Я велел Муре почаще читать эту надпись — и порою наклеиваю вместо этой бумажки другую, с надписью *болото*, *базар*, *конюшня*. Она мгновенно прочитывает новое слово, срывает бумажку и восстанавливает честь своей школы. Но когда я сказал, что больше таких унизительных бумажек не будет, она огорчилась. «Будет очень скучно».

5 июля. Мура вчера подробно рассказывала Твардовскому, как рождается ребенок у Зайчихи. Вдруг у нее в животе сделалась дырочка. Зайчиха испугалась, а дырочка делается все больше и больше. Позвала доктора. Он сделал лекарство (взял натолок морковки и смешал с касторкой) и стал замазывать дырочку. Но — напрасно и т. д.

6 июля, **понедельник**. Тоска. Ходил по пляжу — как покойник. Ни одного человека, а тысячи и тысячи людей.

Мура третьего дня о Боге. «Он на небе? Как же он там держится?» (И скосила глаза.) — Нет, он на небе и на земле. — Как же он прыгает туда и сюда?

День вчера был необыкновенно жаркий. У меня был художник Твардовский, коему я по глупости заказал рисунки к «Федорину горю». Рисунки так безнадежны — дилетантски беспомощны, — что у меня пропал всякий пыл — не хочется даже кончать «Федорино горе». Я и не знал, что может быть такое одиночество, как у меня.

7 июля, вторник. Чудный день — жаркий — взял детей на Разлив — 2 часа Лида и Боба гребли по озеру, я без пиджака (голый наполовину) — тоска немного отлегла — Боба бронзовый — Лида и я в первый раз искупались — все чудно, — но воротились, и Надежда Георгиевна дала мне телеграмму из Детского, что у меня родилась внучка. Вот откуда это вчерашнее стеснение в груди. Внучка. Лег на постель и лежу. Как это странно: внучка. Значит, я уже не тот ребенок, у которого все впереди, каким я ощущал себя всегда.

8 июля, **среда, вечер**. Дивные дни. Жара. Вчера и сегодня купался на море — на пляже в курорте. Очень хорошо. Кругом чужие, я ни с кем не знаком, хоть бы одно сколько-нб. тонкое, интеллигентное лицо. Тон — юнкерский, офицерский: привилегированное сословие. Тоска. Вчера вечером Егор перепилил дерево — и срубленную макушку посадил перед нашим домом. Она завяла — чрезвычайно траурно.

1925 Сегодня утром мимо моего окна — по реке вдруг проплыла пустая пирога. Я крикнул Бобе — он пустился за нею вплавь, приволок ее к нашему берегу: разбитая, живого места нет, отовсюду течет. Боба шпаклевал ее весь день.

Вчера Мура выдумала особый способ пререкаться со мною: она говорит мне: «Ты коробочка спичек», я: а ты подсвечник. — «А ты завялый цветок»... Она очень удачно определила меня: «А ты умершее дерево, а ты кости издохшей собаки».

После неприятных пререканий, мы придумали пререкания приятные: ты звездочка, а ты шоколадка.

Лида была в Детском у Коли и видела мою внучку. Марина рожала с трудом. Чуть родила и узнала, что у нее родилась дочь, она крикнула Коле:

— Коля, извини, девочка, но она такая дуся.

Т. е. извини меня, мой муж, что я родила тебе девочку.

Недавно в Бобиной школе (15-й трудовой, бывшее Тенишевское училище) случилось событие, чрезвычайно взволновавшее Бобу: Лилина нашла, что Тенишевское училище чересчур буржуазно, решила раскассировать два класса — где слишком много нэпманских детей.

Таким образом, я был прав, когда утверждал, что 15-ая Советская школа именно в виду интеллигентности состава учащихся могла в 1919 году так восторженно приветствовать Уэллса. Дети инженеров, докторов, журналистов хорошо знают Уэллса.

Ночь на 10 июля. По реке серенады, всеобщая ярь. Даже я, дедушка, вскочил с постели с таким возбуждением, словно мне 18 лет. Смиряя плоть, выбежал голый в сад — и кажется, кхе, кхе, простудился, лег у себя в будке — в солярии. Но зато приобщился к красоте бессмертия. Луна, деревья как заколдованные, изумительный узор облаков, летучая мышь, в лесочке соловей, — и дивные шорохи, шепоты, шелесты, трепет лунной, сумасшедшей, чарующей ночи. И пусть меня черт возьмет — + + +, пусть я издыхающий, дряхлеющий дед, а я счастлив, что переживаю эту ночь. Жизнь как-то расширилась до вселенских размеров — не могу передать — вне истории, до истории — и почему-то я представил себе (впрочем, не нужно, стыдно). Пишу, а птицы поют, как будто что-то кому-то интересное рассказывают.

10 июля. Показал сегодня Муре букву *Й*. Она назвала ее небесная буква.

17 июля. Муре третьего дня куплен учебник. Мура называет его то букварь, то словарь. Она теперь — из самолюбия — начина-

ет производить работу «складов» в уме — долго смотрит в слово, молчит (даже губами не шевелит) и потом сразу произносит слово. Вчера она прочла таким образом *мороженое*. У нас гостит Сима Дрейден — и она очень любит демонстрировать пред ним свое искусство: прочла в «Красной газете»: война, «Красная», «спорт», «скачки». Вчера я познакомил ее с Инной Тыняновой 9 лет, завел их в лес, «в неизвестную страну» — которую, в честь их имен, назвал *Иннамурия*. Они затараторили — стали сочинять всякие подробности про эту страну. Так как под ногами у них были веточки и сучья, которые в глазах Муры теперь имеют характер букв, то она сказала:

— В Иннамурии под ногами словарь.

Потом стали говорить про столицу Блям-Блям. Это слово получилось так. Если Муре что не удается или что неприятно, она говорит «блям». Я написал ей это слово, она не могла прочесть и сказала *блям*, а я подумал, что она прочла и говорю: верно!

Боба и Лида раза три в неделю ходят на лодку в Разлив. Вчера взяли и Симу. Посетили шалаш Ильича и видели плавучий остров. По дороге туда, идя по шпалам, для сокращения дороги рассказывают детские воспоминания — о Куоккале. С Лидой у меня установилась тесная дружба. По вечерам мы ведем задушевные беседы — и мне все больше видна ее мучительная судьба впереди. У нее изумительно благородный характер, который не гнется, а только ломается.

К Муре с полдня пришла Инна Тынянова. Легенда об Иннамурии растет. Мура говорила по-иннамурски, читала иннамурские стихи, они путешествовали с Инной в Иннамурскую страну — и пр.

22 июля. События, события. Третьего дня вечером М. Б. получила от Коли две телеграммы. Одна: «Квартира ограблена, приезжайте». Вторая: «Ложная тревога, квартира только взломана». Мар. Б. поехала. Взломаны двери и в парадном ходу, и в черном. В парадном вырезана целая планка, вынут крючок и пр. Но ворам помешала вешалка, придвинутая к парадной двери. Она упала, загромыхала и они убежали.

Событие второе. Боба купил рыболовный крючок, и на этот крючок поймалась... кошка. Он поставил удочку в угол, кошка стала баловаться с нею — и хвать крючок. Крючок впился ей в язык. Лида и Елена к ветеринару — искали, искали, нигде не нашли. Наконец, какой-то неказистый человечек в аптеке сказал им: идите за мною. Они пошли. Человечек не торопился. Он заходил в лавки, покупал папиросы, захватил с собою еще какого-то длинного верзилу. Наконец пришли к вагону, вынули ключ, отперли вагон — и человечек

сказал: дай языкодержатель. Оказалось, что это и был ветеринар. Через минуту кот был спасен. Девушки ополоумели от радости и забыли дать человечку деньги.

Событие третье. Я кончил свою ерунду «Сердечкин». Боюсь перечесть, до того нехорошо. Фразисто, пухло, сшито белыми нитками. Единственное достоинство: новая тема, впервые затронутая.

Мура узнала букву *д.* Жарко с утра и благодатно — день торжественный, бессмертный — наполненный собою — апогей лета. Хочется что-то такое с ним сделать — чтобы не забыть до могилы. У Бобы болит рука, не мог спать.

23 июля. Вчера купался дважды — и в море, и в реке. На пляже было дивно. Приехала Татьяна Богданович. Она живет в Шувалове. Опять без работы. Нужда вопиющая. Я дал ей немецкую книжку, полученную мною от Ломоносовой. Был воспитатель Бобы. Я читал Татьяне Александровне свою статью. Над нею еще много работы, но она не так плоха, как мне казалось. Нужно только не скулить, а работать. М. Б. сказала, что мои занятия с Мурой — «издевательство над бедною девочкой». Сообщают, что от Репина есть адресованное мне письмо*.

24 июля. Вчера опять был «роскошный» день. Валялся на пляже — с американцем Massel'ом, а попросту Майзелем, евреем, инженером, который прожил в Америке 26 лет — и приехал погостить к своему брату, доктору, заведующему здешним курортом. Купался в море два раза. Вечером приехала Лида и привезла мне книги, о которых я не смел и мечтать: James Joyce «Ulysses», Frank Harris «Oscar Wilde» и проч. Кроме того — письмо от Репина, написанное 7-го июня и *пролежавшее в Русском Музее два месяца*!! А также письмо от Сапира, что он будет у меня в субботу. Это так взволновало меня, что я почти не спал эту ночь. Читал запоем Harris'а о Wilde'е, прочел кокетливую статью Bernard'а Shaw, самохвальные Appendices[1] самого Harris'а и половину первого тома. Любопытно: книга Harris'а издана тем самым издателем Brentano, о котором мне вчера говорил Mr. Massel: сын этого Brentano ухаживает за дочерью Mr. Massel'а.

1 августа. Был вчера в городе, по вызову Клячко. Оказывается, что в Гублите запретили «Муху Цокотуху». «Тараканище» висел на волоске — отстояли. Но «Муху» отстоять не удалось. Итак,

[1] Приложения (*англ.*).

мое наиболее веселое, наиболее музыкальное, наиболее удачное произведение уничтожается только потому, что в нем упомянуты именины!! Тов. Быстрова очень приятным голосом объяснила мне, что комарик — переодетый принц, а Муха — принцесса. Это рассердило даже меня. Этак можно и в Карле Марксе увидеть переодетого принца! Я спорил с нею целый час — но она стояла на своем. Пришел Клячко, он тоже нажал на Быстрову, она не сдвинулась ни на йоту и стала утверждать, что рисунки неприличны: комарик стоит слишком близко к мухе, и они флиртуют. Как будто найдется ребенок, который до такой степени развратен, что близость мухи к комару вызовет у него фривольные мысли!

Из Гублита с Дактилем в «Кубуч». По дороге увидал Острецова — едет на извозчике — с кем-то. Соскочил, остановился со мной у забора. Я рассказал ему о прижимах Быстровой. Он обещал помочь. И сообщил мне, что моя книжка о Некрасове очень понравилась Г. Е. Горбачеву, — «Григорию Ефимовичу», как он выразился.

Итак, мой «Крокодил» запрещен, «Муха Цокотуха» запрещена, «Тараканище» не сегодня завтра будет запрещен, но Григорию Ефимовичу нравится мой ненаписанный Некрасов.

II. Дактиль. — У фининспектора не был. — Денег нет ниоткуда. Словом, весь мой режим разбит, вся работа к чертям. Со смертью в сердце приехал я в Курорт, разделся и кинулся в воду — в речку и старался смыть с себя Гублит, «Кубуч», Быстрову, фининспектора — и действительно, мне стало легче. Ну, хорошо, сожми зубы — и пиши о Некрасове.

Мура. «Папа, сегодня со мною была маленькая трагедия» (она упала на ведро, где рыбы). Я выслушал ее и спросил: «А что такое трагедия?» — «Трагедия это... ну как тебе объяснить? Я сама не знаю, что такое трагедия».

6 августа, четверг. Вдруг выяснилось, что у меня нет денег. Запрещение «Мухи Цокотухи» сделало в моем бюджете изрядную брешь. Поэтому я принял экстраординарные меры: взял «Доктора Айболита» и в четыре дня переделал и перевел оттуда два рассказа: «Приключение белой мыши» и «Маяк». Дал себе слово ложиться не позже десяти. Вчера лег в 8 $^{1}/_{2}$ и сегодня встал до рассвета и работаю вот уже часов 6. Так, по крайней мере, мне кажется. На днях отправил Острецову такое письмо — по поводу «Мухиной Свадьбы»:

«В Гублите мне сказали, что муха есть переодетая принцесса, а комар — переодетый принц!! Надеюсь, это было сказано в шутку, т. к. никаких оснований для подобного подозрения нет. Этак

можно сказать, что «Крокодил» — переодетый Чемберлен, а «Мойдодыр» — переодетый Милюков.

Кроме того, мне сказали, что Муха на картинке стоит слишком близко к комарику и улыбается слишком кокетливо! Может быть, это и так (рисунки вообще препротивные!) но, к счастью, трехлетним детям кокетливые улыбки не опасны.

Возражают против слова *свадьба*. Это возражение серьезнее. Но уверяю Вас, что Муха венчалась в *Загсе*. Ведь и при гражданском браке бывает свадьба. А что такое свадьба для ребенка? Это пряники, музыка, танцы. Никакому ребенку фривольных мыслей свадьба не внушает.

А если вообще вы хотите искать в моей книге переодетых людей, кто же Вам мешает признать паука переодетым буржуем. «Гнусный паук — символ нэпа». Это будет столь же произвольно, но я возражать не стану. «Мухина свадьба» моя лучшая вещь. Я полагал, что написание этой вещи — моя заслуга. Оказывается, это моя вина, за которую меня жестоко наказывают. Внезапно без предупреждения уничтожают мою лучшую книжку, которая лишь полгода назад была тем же Гублитом разрешена и основ советской власти не разрушила.

Есть произведения халтуры, а есть произведения искусства. К произведениям халтуры будьте суровы и требовательны, но нельзя уничтожать произведение искусства лишь потому, что в нем встретилось слово именины.

Ведь даже монументы царям не уничтожаются советской властью, если эти монументы — произведения искусства.

Мне посоветовали переделать «Муху». Я попробовал. Но всякая переделка только ухудшает ее. Я писал эту вещь два года, можно ли переделать ее в несколько дней. Да и к чему переделывать? Чтобы удовлетворить произвольным и пристрастным требованиям? А где гарантия, что в следующий раз тот же Гублит не решит, что клоп — переодетый Распутин, а пчела — переодетая Вырубова?

Я хотел бы, чтобы на эту книгу смотрели проще: паук злой и жестокий, хотел поработить беззащитную муху и непременно погубил бы ее, если бы не герой комар, который защитил беззащитную. Здесь возбуждается ненависть против злодея и деспота и привлекается сочувствие к угнетенным. Что же здесь вредного — даже с точки зрения тех педагогов, которые не понимают поэзии?

К. Чуковский».

Дождь идет с утра. Вчера тоже. Мы было двинулись на лодку, но только зря прошагали туда и назад. Сегодня должен приехать Дактиль.

Боба выкопал трехугольный колодец и вчера долго и мучительно выправлял согнувшееся дерево. Ужасно любит тратить энергию на ничто.

7 августа. 4 года со дня смерти Блока.

Вчера приехал ко мне Гинцбург, скульптор, привез письмо от Репина, обедал. Рассказывал много о Репине. Оказывается, что те фрукты, которые привез Репину Штернберг, были действительно отправлены И. Ефимычем в гельсингфорсскую лабораторию — для анализа. Из лаборатории был получен такой ответ:

> «В присланных вами фруктах ни металлических, ни растительных ядов не найдено. Но м. б. в той стране, откуда вам прислали эти фрукты, существуют яды, до сих пор нашим ученым неизвестные».

За анализ с Репина взяли сто марок — пять рублей. Гинцбург между прочим рассказал:

«Когда-то Репин написал портрет своего сына — Юрия. (С чубом.) Пришел к Репину акад. Тарханов и говорит: великолепный портрет! Я как физиолог скажу вам, что вы представили здесь клинически-верный тип дегенерата... Ручаюсь вам, что и его родители тоже были дегенераты. Кто этот молодой человек? — Это мой сын! — сказал Репин».

Репин будет в России — по приглашению Академии Наук. Гинцбург лепит бюст Карпинского и в разговоре с ним подал ему эту мысль. Карпинский сразу послал ему почетное приглашение.

Был у Покровских на каком-то юбилее.

Всю ночь не заснул ни минуты. Принимаюсь за упорядочение своей статьи «Некрасов как певец» и т. д.

11 августа. Никакой стареющий человек других поколений никогда не видел так явно, как я, что жизнь идет мимо него и что он уже не нужен никому. Для меня это особенно очевидно — потому что произошла не только смена поколений, но и смена социального слоя. На лодке мимо окна проезжают совсем чужие, на пляже лежат чужие, и смеются, и танцуют, и целуются чужие. Не только более молодые, но чужие. Я стараюсь их любить — но могу ли?

Вышел для Муры первый № «Иннамурской газеты». Мура хочет быть собакой Джэком и требует, чтобы я затягивал ее шею ремешком.

Ночь на 15-ое. Зарницы. Разбудила меня горничная Лена: в два часа вернулась с гулянья, не могу заснуть. Вспоминаю: 13 авгу-

ста был я в городе для разговора с Острецовым. Он был пьян. Я встретил его на улице. Он ел яблоко. Лицо красное, маслянистое, на голове тюбетейка. Оказывается, что он не получал от меня того письма, которое я послал ему с Бобой. Сапир не передал. Я стал на словах говорить ему: зачем вы плодите анекдоты? Ведь уже и так про вас говорят за границей, что вы запретили «Гамлета».

— И запретим! — сказал Острецов. — На что в рабочем театре «Гамлет»?

Я прикусил язык. Заговорили о «Мухе».

— Да неужели вы не понимаете? — сказал он. — Дело не в одной какой-нб. книжке, не в отдельных ее выражениях. Просто решено в Москве — посократить Чуковского, пусть пишет социально полезные книги. Так или иначе, не давать вам ходу. В Гублит поступила рецензия обо всех ваших детских книгах — и там указаны все ваши недостатки...

— Рецензия или циркуляр?..

— Нет, рецензия, но... конечно, вроде циркуляра...

Обещал помочь, но я плохо верю в его помощь. И так меня от всего затошнило, что я захворал. Черт меня дернул зайти на квартиру, еле добрался до поезда и больной, раздавленный вернулся домой...

Дома одно счастие — в речку. Было уже часов семь вечера, но речка милая, и я смыл с себя всех управдомов, цензоров, все, все, все...

М. Б. с Мурой уехали вчера в Царское — повидать внучку. А в Курорте, как нарочно, рай. Уверен, что Мура изнурится ужасно.

Сегодня дочь хозяйки — соседней дачи — лет 4-х — просила свою маму, чтобы ей дали два яйца: она хочет высидеть цыплят!

16 августа. Воскресение. Проправил корректуру своей «Панаевой» — и, отсылая в «Кубуч», написал корректору Когану. [Верх страницы оторван. — *Е. Ч.*]

Ежели эти [строчки]
Вы пошлете в типографию
Без проволочки.

Образец идиотизма после бессонных ночей. Вчера было приключение: я, Саша Фидман, Лида, М. Полякова, Боба и Сима Дрейден отправились покататься по озеру. Над нами были тучи беспросветные. Мы пришли к берегу. Дождь был неминуем. В будке никого не было. Следовало повернуть. Но Лида выражала такое деспотическое желание прокатиться по озеру и с таким пре-

зрением смотрела на всех, кто выказывал благоразумие, что мы двинулись. Молнии были со всех сторон, справа и слева были видны полосы дождя, тучи были угольно-черные, но — дождь не шел. Казалось, он ждал. По дороге я рассказывал о *распорядителе туч* — свой фантастический роман — все много смеялись — но чуть мы подъехали к тому берегу, где шалаш Ильича, как вдруг — дождь, который только того и ждал — полил на нас с такой силой, что мы стрелою побежали в барак, где живут рабочие, делающие шоссе к шалашу. (Шоссе строится на средства завода.) Туда же прибежали и дети, приехавшие на парусной лодке к шалашу Ильича. Детей было не меньше 50. Поднялся бешеный ветер, Боба голый, в одних штанишках, выбегал под лютый дождь — ухаживать за лодкой. Мы просидели в бараке 2 часа, болтали с детьми, очень милыми, Боба поднимал их до потолка («и меня, дяденька!»), белобрысый молодой рабочий рассказывал о своей трудной жизни, часть детей уехала в страшный дождь, под непрерывное грохотание грома, мы воспользовались временным бездождием и двинулись назад. Но только мы отъехали, дождь — крупный и злой — полил так, что М. Полякова стала дрожать, Сима весь посинел, а Лида кричала, что по ней (по животу) ползут струи. Потом по шпалам — под дождем. Прибежали, каждому чистое белье, растерлись, и наутро как ни в чем не бывало. Боба опять нагишом возится с рыбами — а утро сырое.

[Верх страницы отрван. — *Е.Ч.*]

Вот мой разговор с Клячкой:

«Я не могу быть в таком двусмысленном положении. Как будто Вы мне должны, а как будто и нет. Я хочу знать наверняка: считаете ли Вы себя обязанным, получив от меня 7 книг, платить мне по 500 рублей в месяц — в определенный срок? Если Вы делаете так только в силу данного Вами слова, то я освобождаю Вас от Вашего слова. Мне дороже всего определенность. Если Вы скажете мне, что в настоящее время Вы должны мне платить всего 100 или 200 рублей, я буду чувствовать себя лучше, чем теперь, когда я ничего не знаю. Я только считал бы справедливым, чтобы Вы предупредили меня за два месяца вперед, дабы я мог приспособиться к новым условиям. Я должен ликвидировать свою квартиру, продать свои книги, поступить на службу и проч. На это требуется два месяца. За эти два месяца я могу написать пять или шесть детских книг — которые у меня давно начаты: «Метлу и лопату», «Маяк» и «Три трудпесни». Я, словом, так верю в свои силы, что не боюсь даже полного прекращения выдачи денег от «Радуги», если это произойдет не вдруг, а постепенно. Итак, если Вы желае-

те перейти на новые, более выгодные для Вас условия, я согласен».

Правлю свою статью об Эйхенбауме — для печати. 25 первых страниц вполне приличны. Нужно переделать конец, и статья будет недурна. Думаю послать ее в «Печать и революцию». Мне больно полемизировать с Эйхенбаумом. Он милый, скромный человек, с доброй улыбкой, у него милая дочь, усталая жена, он любит свою работу и в последнее время относится ко мне хорошо. Но его статья о Некрасове написана с надменным педантизмом, за которым скрыто невежество.

Был сегодня с Мурой у Тыняновых. Тынянов приезжает из Крыма во вторник к именинам своей Инночки.

Сегодня *Клячко* в саду играл в карты. Он только что приехал из Москвы и завтра опять уезжает. Я дважды подходил к его столу с рукописями, просил дать мне 5-минутную аудиенцию, — он не дал. «Завтра, завтра»! Это так оскорбило меня и удручило, что я — вот не сплю всю ночь и сердце у меня очень болит. Если бы ко мне в любое время подошел не мой ближайший сотрудник, а подошел бы мой портной или моя кухарка, я нашел бы 5 мин. для разговора с ними.

Фидман уехал. Дактиль.

17 авг. Четверть 8-го. Конечно, Клячко не идет. Половина 8-го. Клячко не идет. А я не спал — всю ночь, поджидая 7 часов. Пришел. Все хорошо. Говорит, что до 1-го января он не намерен менять условий.

24 августа. Понедельник. Приехал Тынянов. Дня 3 назад. Я сейчас же засел с ним за его роман. Он согласился со мною, что всю главу о восстании нужно переделать. Мил, уступчив, говорлив. Он поселяется у нас на неделю, специально для переделки романа. Денег у меня по-прежнему нет. Клячко обещает лишь через две недели.

Ю. Н. Тынянов завтракал у нас. Сама вежливость — и анекдоты. Анекдот о Шкловском. Шкловский подарил Тынянову галстух: «Вот возьми, у тебя плохой, я тебе и завяжу». Завязал, и они пошли в гости — к Жаку Израилевичу. Сидят. Жак всматривается. «У вас, Ю. Н., галстух удивительно похож на мой. Жена, дай-ка мне мой!» Шковский успокаивает: «*Не беспокойся*, это твой и есть».

Пришел Шкловский к Игнатке требовать у него гонорара. Оказалось, что Игнатка полгода обманывал Шкловского и не выдавал его матери следуемого Шкловскому гонорара. Тот рассви-

репел — и хвать золотые часы со стола. «Не отдам, пока не заплатишь».

О Шахматове. Тынянов, молодой студент, пришел к Шахматову и говорит: «Я интересуюсь синтаксисом». Шахматов скромно: «И я».

О С. А. Венгерове. Умирая, он просил Тынянова и Томашевского: «Поговорите при мне о формальном методе».

О Томашевском: это забулдыга-педант. Он даже в забулдыжестве — педант.

О себе. Сейчас в Крыму он стоял у ж.-д. кассы чуть не сутки, чтобы достать билет, вдруг ворвалась банда студентов — и уничтожила очередь. Он запротестовал. К нему один студент: — Кто вы такой? — А вы кто? — Я мужик! (с гордостью.) — Вы не только мужик, вы и сумасшедший. — Он очень смешно и похоже показывает разных людей: Семена Грузенберга, Венгерова, Энгельгардта, Фомина и особенно архивную крысу из Пушкиндома — Переселенкова. Читал некоторые переводы из Гейне — отличные. Но конечно, сколько-нибудь романтические ему не даются.

Муре очень нравится Пушкин. *«Он умер? Я выкопаю его из могилы и попрошу, чтобы он писал еще».*

А Ленин? Он тоже умер? Как жаль: все хорошие люди умирают.

31 августа. У Тынянова нет денег жить на даче. Он уехал с женою и Инной неделю назад и в залог оставил свои вещи. Сегодня привез в пансион деньги, приехал за вещами. Мы с ним славно говорили о Глебе Успенском и Щедрине. Он говорит, что Лесков ему гораздо дороже Тургенева, что Эйхенбаум неправ, выводя Лескова от Даля. На Лескова явно влияла манера Тургенева. Возмущались мы оба положением Осипа Мандельштама: фининспектор наложил на его заработок секвестор, и теперь Мандельштам нигде даже аванса получить не может. Решили собраться и протестовать. Увидеть бы Калинина или Каменева.

Сегодня купался в реке: великолепно. Вообще день замечательный.

Мура: — А неужели «Гайавату» не Пушкин написал?

4 сентября. Вчера был в городе. Получил новые повестки от фининспектора. В Госиздате встретил Сологуба. Он вместе с Фединым и др. писателями сговаривался с Ионовым насчет хождения в субботу к стенам Академии с приветствием. Я заговорил о том, что хотя бы к 200-летию Академии следовало бы снять с писателей тяготы свободной профессии. Свободная профессия — в современном русском быту — это нечто не слишком почтенное.

1925 2-го сентября судили какую-то женщину, и одна свидетельница на суде оказалась нашей сотоваркой [вклеена газетная вырезка — *Е. Ч.*]:

> «Леля с Казанской улицы» — совсем молоденькая, в скромном синем костюме, на вопрос: чем занимаетесь? — отвечает громко и отчетливо, даже с бравадой:
>
> — Свободной профессией!
>
> — Какою же?
>
> — Я — проститутка!

Нужно хлопотать о том, чтобы нас признали по крайней мере столь же полезными, как сапожников, стекольщиков и пр.

Сологуб возразил. Четко, с цифрами, подробно, канительно стал он доказывать, что с нас должны брать именно те налоги, какие берут. — Я изучал законы о налогах, и я вижу, что берут правильно...

Но другие писатели с ним не согласились — и назначили на 4 часа собраться в Союзе Писателей. Я собрался — но никто не пришел, кроме Сологуба и Борисоглебского. На столе были пачки книг (по большей части хлам), пожертвованных Союзу Ионовым.

Сологуб разбирал эти книги, надеясь найти в них стихи Беранже. Ему хочется переводить Беранже, но — 1) у него нет издателя, 2) у него нет оригинала. Беранже не оказалось, но я нашел Poems & Ballads[1] Свинберна, которые с таким упоением читал в Лондоне в 1904 году и с тех пор никогда не видал. Я убежал в другую комнату и стал волнуясь читать Гимн Прозерпине, Laus Veneris, To Victor Hugo и пр. Но теперь они на меня не произвели такого впечатления. Я упросил Сологуба, чтобы он взял эту книгу и попробовал ее перевести. Он согласился — и стал писать расписку — о, как долго! Пунктуальнейше: качество перевода, степень повреждения, количество страниц — «вот как надо писать расписку». Он очень постарел. Я спросил его, не думает ли он написать автобиографию. — Нет, или, пожалуй, да: я написал бы о своей жизни *до рождения*. — Это большая будет книга. — Да, томов 25. — Заговорили о Некрасове Я тут же написал ему анкетный лист, и он, балуясь и шутя, заполнил его. На последний вопрос он даже ответил стишками. Пропускает буквы и слова: ковенно, [не] надо и т. д.

«Никто никогда не находил в моих стихах влияния Некрасова. Когда в молодости я послал из провинции свои стихи одному понимающему человеку, он написал мне, что я нахожусь под влиянием Пушкина. Правда, этот человек был математик».

---

[1] Стихи и баллады (*англ.*).

Был я у Ионова. Ионов взялся хлопотать пред властями об улучшении быта писателей. Кто-то хотел взять у Ионова книгу со стола. Ионов сказал: *стоп, нельзя*! Я заметил: «А Щеголев у вас всегда берет». — «Ну Щеголев и отсюда возьмет», — и он указал на карман.

Острецов был совершенно пьян. Из его бессвязного лепета я понял, что «Муха» будет разрешена.

«Может быть, мне повидать Калинина и попросить его», — говорю я. — «Ну нет, мне Калинин не указ! Недавно я запретил одну книгу по химии, иностранная книга в русской переделке. Книга-то ничего, да переделка плоха. Получаю письмо от Троцкого: «Тов. Острецов. Мы с вами много ссорились, надеюсь, что — это в последний раз. Разрешите «Химию» такого-то». Я ответил, что «Химию» я разрешу, но не в такой обработке. Он прислал мне телеграмму: «Нужно разрешить «Химию» в этой обработке». И что же вы думаете, я послушал его? Как же!»

Вышел «Мойдодыр» 7-е изд. На обложке значится 10 000 экз. А Клячко говорил, что тиснет только 3 тыс. Издание прекрасное. «Красная газета» 3 сентября [наклеена вырезка из газеты — *Е. Ч.*]:

> В газетах печатают, будто мною получено письмо от Ильи Репина, где он сообщает, что едет в Ленинград по приглашению Академии Наук. Такого письма я не получал. В последнем его письме ко мне он лишь говорит, что хотел бы приехать на родину, чтобы посмотреть выставку своих картин в Русском Музее, посетить Третьяковскую Галерею, повидаться с друзьями.
>
> Уважающий вас *К. Чуковский*

Решаюсь отказаться от Дактиля. Ничего не могу писать из-за него. Ну его. Не надо ничего!

5 сентября. Ночь на 6-е. День чудесный, — скоропреходящие дожди и солнце, осеннее. В Иннамурии пахнет вереском, грибами, брусникой, бродил с Мурой по Иннамурским холмам. Пишу свой идиотский роман, — левой ногой — но и то трудно*.

6 сентября, воскресение. Сегодня переехали в город. С утра солнце, сейчас дождь. Дома осталось только три стула да мой письменный стол. Все увезено Живатовскими. Сейчас, разбирая бумаги, нашел свою старую запись о Муре, относящуюся к 1924 г. 10/IX.

— Мама, бывают воры хорошие?

— Воры?

— Не делай ты таких страшных глаз, мне тогда кажется, что ты — вор!

Там белочка другая,
Там зайчик спит, леж*ая*.

4 ноября 1925 г. В Питер приехал Есенин, окончательно раздребежженный. Я говорю Тынянову, что в Есенине есть бальмонтовское словотечение, графоманская талантливость, которая не сегодня-завтра начнет иссякать.

Он: — Да, это Бальмонт перед Мексикой.

Мой «Крокодил» все еще запрещен. Мебель все еще описана фининспектором. С Клячкой все еще дела не уладились. Роман мой «К К К» все еще не кончен. Книга о Некрасове все еще пишется. Я все еще лежу (малокровие), но как будто все эти невзгоды *накануне* конца. Эти два месяца после переезда на дачу были самые худшие в моей жизни, — мебель увезена, — другой мебели нет, — Клячко надул меня, как подлец — не дал обещанных денег, я заболел, Лида заболела, Боба заболел, требуют с меня денег за квартиру, фининспектор требует уплаты налога, описали мебель, — право, не знаю, как я вынес все эти камни, валившиеся мне на голову.

Сейчас как будто начался просвет: легче. Третьего дня, в воскресение 1-го ноября сидит у меня Сапир, вдруг звонок, приходит усач и спрашивает меня. Я испугался. Уж очень много катастроф приносили мне все эти усачи! Оказалось, этот усач принес мне 250 долларов от Ломоносовой. За что? Для чего? Не знаю. Но это — спасение.

Мура читает. Жадно хочет рисовать.

У Языкова хорошо:

О! когда на жизнь иную*
Променяешь ты, поэт,
Эту порчу юных лет,
Эту сволочь деловую
Прозаических сует.

Мура. — Ты думаешь, что я изображаю, будто я (= воображаю).

Учу ее английскому языку. Она знает слова:

looking-glass, handkerchief, hand, foot, boot, girl, boy, ball, dog, cat, mouse, house, yellow, red, blue, I see, I like, good, shop, baby[1].

Учу ее завязывать узлы. Это целая наука.

Мура: — А ты, мама, была когда-нибудь на другой звезде?

8 или 9 декабря. Был у Клюева с Дактилем. Живет он на Морской в номерах. Квартира стилизованная — стол застлан парчой,

[1] зеркало, носовой платок, рука, нога, ботинок, девочка, мальчик, мяч, собака, кошка, мышь, дом, желтый, красный, синий, я вижу, мне нравится, хорошо, лавка, ребенок (*англ.*).

иконы и церковные книги. Вдоль стен лавки — похоже на келью иеромонаха. И сам он жирен, хитроумен, непрям и елеен. Похож на квасника, в линялой рубахе без пояса. Бранил Ионова: ограбил, не заплатил за книжку о Ленине. «Вы, говорит, должны были бы эти деньги отдать в фонд Ильича». А я ему: «Вы бы мне хоть на ситничек дали».

— Потому что у меня и на ситничек нет (и он указал на стол, где на парчовой скатерти лежали черные корочки).

Я был у него по поводу анкеты о Некрасове.

— Я уж вам одну такую оболванил.

— Я не получал.

— Я дал ее такому кучерявенькому. Ну да напишу новую, насколько моего скудоумия хватит, и с парнишкой пришлю — вот с этим.

В комнате вертелся парнишка — смазливый — не то половой из трактира, не то послушник из монастыря.

Покупал очки. Готовых нету. Пришлось заказать. Был у Горлина по делу Богданович. Ее очень ущемляет Николай Петров: выжучивает у нее гонорар, который причитается ей как переводчице «Скипетра». Эту пьесу привез ей Тарле, я пристроил ее в Госиздате. Теперь Александринский театр ставит ее. Постановщик — Петров оспаривает право Татьяны Александровны на гонорар и заявляет, что он так много внес творческой работы в эту пьесу, что ему полагаются все 100% авторских за «Скипетр».

Желаю к мамке я ходить
И там побольше пива пить.

— «Каракуль» объявление в газете. *Мура говорит: этими мехами твой бородуля пишет.* (Бородуля писал каракулями.)

Извозчика М. Б. спросила: Сколько тебе лет? — 7 червонцев!

17 декабря. Только что написал в своем «Бородуле» слова: *Конец пятой части.*

Три четверти девятого. Ура! Ура! Мне осталась только четвертая часть (о суде), за которую я даже не принимался. И нужно выправить все. И боюсь цензуры. Но главное сделано. Вся эта вещь написана мною лежа, во время самой тяжелой болезни. Болезнь заключается в слабости и, главное, тупости. Больше 5 часов в течение дня я туп беспросветно, мозги никак не работают, я даже читать не могу.

Лежать мне было хорошо. Свой кабинет я отдал Коле на день и Бобе на ночь, а сам устроился в узенькой комнатке, где родилась Мура, обставил свою кровать табуретом и двумя столиками — и царапаю карандашом с утра до ночи. Трудность моей работы заключается в том, что я ни одной строки не могу написать сразу. *Никогда я не наблюдал, чтобы кому-нибудь другому с таким трудом давалась самая*

техника писания. Я перестраиваю каждую фразу семь или восемь раз, прежде чем она принимает сколько-нибудь приличный вид. Во всем «Бородуле» нет строки, которая была бы сочинена без помарок. Поэтому писание происходило так: я на всевозможных клочках писал карандашом черт знает что, на следующий день переделывал и исправлял написанное, Боба брал мою исчерканную рукопись и переписывал ее на машинке, я снова черкал ее, Боба снова переписывал, я снова черкал — и сдавал в переписку барышне «Красной газеты». Оттого-то в течение 100 дней я написал 90 страниц, — т. е. меньше страницы в день в результате целодневного и ежедневного напряженного труда. Ясно, что я болен. У меня вялость мозга. Но как ее лечить, я не знаю.

25/XII, пятница. Лежу в инфлуэнце. С 20-го в жару и безделье. Мне оставалось два дня — покончить с корректурами книги о Некрасове и с «Бородулей» — и вдруг

Как ураган, недуг примчался*.

Болит правое ухо, правая часть головы, ни читать, ни писать, умираю. Был Тынянов, сидел у меня полдня — как всегда светлый, искрящийся. К моему удивлению, он не все забраковал в моей книге о Некрасове (я показывал ему статью «Проза ли?»). Начало ему не понравилось, а главка о рифмах и паузах вызвала шумную похвалу.

«Бородуля» у меня написан почти весь — I, II, III, V части и эпилог. Был у меня вчера Мак из «Красной», убеждает меня дать свою фамилию, но я не хочу. Доводы я ему привел, не скрывая. Сейчас вышла книга Боцяновского о 1905 годе. Там была заметка обо мне. Госиздатская цензура выбросила: «Не надо рекламировать Чуковского!» В позапрошлом году вышла моя книга о Горьком. О ней не было ни одной статейки, а ее идеи раскрадывались по мелочам журнальными писунами. Как критик я принужден молчать, ибо критика у нас теперь рапповская, судят не по талантам, а по партбилетам. Сделали меня детским писателем. Но позорные истории с моими детскими книгами — их замалчивание, травля, улюлюкание — запрещения их цензурой — заставили меня сойти и с этой арены. И вот я нашел последний угол: шутовской газетный роман под прикрытием чужой фамилии. Кто же заставит меня — переставшего быть критиком, переставшего быть поэтом — идти в романисты! Да я, Корней Чуковский, вовсе и не романист, я *бывший* критик, бывший человек и т. д.

Слышен голос Муры. Она, очевидно, увидела елку.

Мура. Лошадь. — Кто подарил? Никто. «Никто» (ей стыдно сказать, что Дед Мороз, в которого она наполовину не верит). Бобе кошелек, Коле кошелек, Лене на юбку. Мура получила лошадь — и

пришла спросить, как назвать ее. Я сказал «Савраска» и стал читать стихи Некрасова — из «Смерти крестьянина». Мура все эти стихи переносила на свою игрушечную Савраску и, тихо плача, любовно гладила ее и целовала (тайком).

31 декабря. Читаю газеты взасос. Съезд не представляет для меня неожиданности*. Я еще со времен своего Слепцова и Н. Успенского вижу, что на мелкобуржуазную, мужицкую руку не так-то легко надеть социалистическую перчатку. Я все ждал, где же перчатка прорвется. Она рвется на многих местах — но все же ее натянут гениальные упрямцы, замыслившие какой угодно ценой осчастливить во что бы то ни стало весь мир. Человеческий, психологический интерес этой схватки огромен. Ведь какая получается трагическая ситуация: страна только и живет, что собственниками, каждый, чуть ли не каждый из 150 миллионов думает о *своей* курочке, *своей* козе, *своей* подпруге, *своей* корове или: *своей* карьере, *своей* командировке, *своих* удобствах, и из этого должно быть склеено хозяйство «последовательно-социалистического» типа. Оно будет склеено, но сопротивление собственнической стихии огромно. И это сопротивление сказывается на каждом шагу.

Умер Есенин. Я встречал его у Репина и Гессена. Когда-нибудь запишу, что вспомнится.

Перевожу «Rain»*, пьесу, удивляюсь, почему не брался за нее до сих пор. Очень эффектная, и я даже, переводя, волнуюсь. Градусы у меня устанавливаются все около 37, прыгают как зайцы, — и я опять лежу за переводом, как и во времена «Королей и Капусты».

Завтра Новый год. Если мое здоровье пойдет так, я не доживу до 1927 года. Но это все равно. Я чувствую не то, что у нас *уже* 1926-й, а то, что у нас *еще* 1926, я смотрю на нас, как на древних, я думаю, что подлинная история человечества начнется лишь с 2000 года, я вижу себя и всех своих современников написанными в какой-то книге, в историческом романе, из давней-давней эпохи.

Мой Некрасов сдан в типографию только вчера — т. е. последние листики. Сапир обещал, что 7 января начнут *печатание*. Если так, то 20 января книга выйдет. Наконец-то у меня развяжутся руки. Только бы не заболеть еще сильнее. Играем с Бобой в угадку слов. Я дал ему слова: *агнцы, сюсюкаю, курьезы, взрывы*. Он дал мне два слова: *навзрыд* и *аржаной*. 1-е я угадал сразу, а второе после двух попыток. Я изобрел особую систему этой игры. Вы записываете на полях неотгаданные буквы, так как каждому играющему дается то же самое слово, то выигрывает тот, у кого меньше всего неотгаданных букв.

1 час ночи. Бессонница. Нарывает мизинец на правой руке. Болит ухо. Болит сердце. Такое чувство, как будто вся кровь у меня выпита.

Получил поздравления от сестры Некрасова и от д-ра Гэнта, письма от Репина и Грузенберга, никому не ответил, нет сил.

Маруся пишет, что ее Елевферия гонят со службы. Куда же это она денется?

4 января (понедельник) День каких-то странных нескладиц. М. Б. дала Бобе отнести деньги к Муриной учительнице — и он доставил не той женщине, а другой.

Коля пишет из Москвы, что Тихонов получил не все рисунки Ре-Ми, которые я послал ему. А я послал все!

Звонят из «Кубуча», что типография получила не все листы моей корректуры Некрасова, а я послал все!

11 января, понедельник. Вчера было у меня заседание Секции детских писателей при Союзе писателей. М. А. Бекетова, С. Маршак — вздор, курение, усталость и никчемные разговоры. Маршак рассказал интересную вещь о своем сыне, которому, кажется, 9 лет. Сын учился музыке — и по своей инициативе отказал учительнице музыки:

— Больше вы ко мне не ходите. Музыка — праздное занятие для безработных.

11-месячный младенец (другой сын Маршака) тянется к нему, чуть увидит его, и вообще отца обожает. Но в последнее время он усвоил манеру — шутить и кокетничать с ним, то есть играть в перверзию. Он делает вид, что ему отец противен, что он не хочет к отцу, т. е. делает установку на противоположное чувство.

Ночь на 13-е января. Выбираю себе псевдоним. Хорошо бы П. И. Столетов (т. е. Пистолетов). Барабанов, Пупырников, Ляпунов.

Ночь на 17 янв. Не спится. Вышел в зал. Там играют в изобретенную мною игру Кальмансон, Лида, Сааков и Рейнеке. Я дал им слово *Втюрившись*.

Замечательно, что Лида и Сааков отгадали сразу.

24 января, воскресение. Эта среда была для меня днем катастроф. Все беды обрушились на меня сразу. Дело было так: 25 января «Красная» решила начать печатанием мой роман. Для этого я должен был написать предисловие. Я написал — очень газетное, очень нервное, и так как я уже 8 лет не писал фельетонов — меня эта работа взбудоражила. Я принес мой фельетон Ионе Кугелю. Он нашел некоторые места нецензурными: насмешка над молодыми пролетарскими поэтами, порнография (в цитате из Достоевского!! «Краса красот сломала член»). Словом, канителился я с этим фельетоном дней пять. Сказали, что 20-го пойдет. Звоню 20-го утром. Иона говорит: «Не до вашего фельетона! Тут вся газета шатается!» Я, конечно, сейчас же — в «Красную». Иона взволнован, не спал ночь. Оказывается, в Ленинграде бумажный кризис. Нет ролевой газетной бумаги. Образовалась особая комиссия по сокращению бумажных расходов — и эта комиссия, вначале решившая закрыть одну из вечерних газет, теперь остановилась на том, чтобы предоставить каждой газете не шесть и не восемь страниц, а *четыре*! Вследствие этого для моего романа нет места! Роман отлагается на неопределенное время.

Это меня очень ударило, потому что я всеми нервами приготовился к 25-му января. Особенно огорчило меня непоявление фельетона. Но этим дело не кончилось.

В тот же день позвонили мне из «Кубуча»: из-за отсутствия бумаги мой «Некрасов» отлагается на неопределенный срок. Я чуть не взвыл от ужаса. Ведь чтобы кончить эту книгу к сроку, я писал ее и в бреду, и в жару, и не дал себе летнего отдыха, и принес целую кучу денежных жертв — и залег на 4 месяца в постель, не видя ни людей, ни театров, — и вот. Ведь должна же была выйти эта история с бумагой как раз в тот день, когда я закончил и роман, и книгу о Некрасове.

Но дело не кончилось и этим. Оказалось, что Ленинградский детский отдел послал на утверждение в Москву список заготовляемых детских книг — и Московский Госиздат вычеркнул мою «Белую мышку», даже не зная, что это за книга. «Просто потому что Чуковский!»

И так в один день я был выброшен из литературы!

Во всем этом худо то, что мои писания стареют и лишаются единственной прелести, которая у них есть: новизны.

1926 Так погубила «Эпоха» мою «Книгу о Блоке». Я писал эту книгу, когда Блок был жив, «Эпоха» так долго мариновала ее в типографии, что книга вышла лишь после смерти Блока, когда изо всех щелей посыпались «Книги о Блоке». С Некрасовым то же самое. После писаний тупорылого Максимова мой подход к Некрасову был и свеж и нов, но кто почувствует это теперь — если книга моя выходит с запозданием на 7 лет, да и то выходит ли?

Чтобы как-нибудь справиться с охватившей меня тоской, я бешено взялся за перевод пьесы «Rain», писал вовсю — страница за страницей, одурманивал себя работой.

Когда же «Rain» кончился, я для того же преодоления уныний — пошел в суд на дело Батурлова (Карточная Госмонополия). Дело самое обыкновенное: компания современной молодежи встала во главе Карточной фабрики. Все это бывшие военные, лжекоммунисты, люди, очень хорошо наученные тому, что все дело в соблюдении форм, в вывеске, в фасаде — за которым можно скрыть что угодно. Чаще всего за фасадом комфраз скрывается «обогащайтесь». Они и обогащались — обкрадывали казну, как умели. Они были в этом деле талантливее, чем другие, только и всего. Не чувствуется никакой разницы между их психологией и психологией всех окружающих. Страна, где все еще верят бумажкам, а не людям, где под прикрытием высоких лозунгов нередко таится весьма невысокая, «мелкобуржуазная» практика, — вся полна такими, как они. Они только слегка перехватили через край. Но они плоть от плоти нашего быта. Поэтому во всем зале — между ними и публикой самая интимная связь. «Мы сами такие». Ту же связь ощутил, к сожалению, и я. И мне стало их очень жалко. Это — лишнее чувство, ужасно мешающее, так развинтило мои нервы, что я, придя домой, не мог и думать о сне.

Батурлов — отдаленно похож на Блока. Те же волосы, тот же рост, та же постройка лица. Это пошлый и неудавшийся Блок. В нем тоже есть музыка, — или, вернее, была. Теперь после всех допросов, очных ставок, тюремных мытарств — музыка немного заглохла и проявляется только в растерянной, милой, немного сумасшедшей улыбке, которая так часто блуждает у него на лице. В публике его жена, которую он кинул ради десяти других, но которая теперь не уходит из суда. Он улыбается ей очаровательно — и можно понять, как эта улыбка волновала в свое время женщин. У нее от него двое детей — и во время перерыва он делал ей какие-то знаки, должно быть спрашивал о них, расставляя руки и любовно глядя на нее. «Кому вы это?» — спросил его защитник. — «Жене!» — сказал он влюбленным голосом. Это улыбающееся ли-

цо — каждую минуту теряет свои улыбки и тогда похоже на лицо мертвеца. Этот *человек под угрозой расстрела*. Как будто уже и теперь перед ним нет-нет да и появится дуло винтовки. Лицо у него серое, нежные руки дрожат.

Рядом с ним Ив. Человек, как из камня. Тоже — под дулом винтовки. Единственный из подсудимых не шелохнется, не улыбается, не меняет лица, ни с кем не переглядывается. Его отец был англичанин — это видно. Умен, авторитетен и стоит на тысячу голов выше своих женственных и элегических собратьев. Его реплики классически точны, обдуманны, изобилуют цифрами, датами — и порою кажется, что не судья допрашивает его, а он — судью. Боюсь, что судья не простит ему *этой* вины.

Третий подсудимый — Степанов. Это скучная и беспросветная гадина. Туп, самодоволен и бездарен. Изображает себя образцом добродетели, а сам только и делал, что составлял подлоги, воровал, писал доносы на своих товарищей. По наружности — типичный «хозяйственник» 23-го года. Бурбон, оскорбитель, невежда — без «музыки», — он с сентября до сих пор не мог придумать сколько-нибудь складной лжи.

— Куда вы девали те деньги, которые получили в Харькове после ликвидации склада?

— Я положил их в портфель и поехал с ними в Одессу, но по дороге их украли у меня.

— Где?

— Недалеко от Одессы!

— На какой станции?

— Не помню. Поезд стоял 5 минут.

— И вы не остались до следующего поезда? Не заявили в ГПУ? Не составили протокола? Не взяли расписки? Ведь вы знали, что вам придется за это отвечать.

— Протокол составили. Но поезд стоял только пять минут.

Эта гадина лишена художественного воображения, и мне ее не жаль. Любит такие слова, как «константировать», «технически».

Другое дело Колосков, заведующий Московским складом Карточной монополии. Тоже бывший коммунист. Студенческого вида, стройный, страдающий, называет сам свои преступления — преступлениями, и по душевному складу стоит выше своего прокурора — курчавого молодого человека, который заменяет язвительность грубостью.

Во всем этом деле меня поразило одно. Оказывается, люди так страшно любят вино, женщин и вообще развлечения, что вот из-за этого скучного вздора — идут на самые жестокие судебные

пытки. Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски, эти бедные растратчики не добыли. Но ведь женщин можно достать и бесплатно, — особенно таким молодым и смазливым, — а вино? — да неужели пойти в Эрмитаж это не большее счастье? Неужели никто им ни разу не сказал, что, напр., читать Фета — это слаще всякого вина? Недавно у меня был Добычин, и я стал читать Фета, одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит, — и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и ненужно. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета — это «одно из высших достижений русской лирики», а что эта лирика — есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, этого почти никто не знает: не знал и Батурлов, не знал и Ив. Не знают также ни Энтин, ни судья, ни прокурор. Русский растратчик знает, что чуть у него казенные деньги, значит, нужно сию же минуту мчаться в поганый кабак, наливаться до рвоты вином, целовать накрашенных полуграмотных дур, — и, насладившись таким убогим и бездарным «счастьем», попадаться в лапы скучнейших следователей, судей, прокуроров. О, какая скука, какая безвыходность! И всего замечательнее, что все не-растратчики, сидящие на скамьях для публики, тоже мечтают именно о таком «счастье». Каждому здешнему гражданину мерещится — как предел наслаждения — Эмма, коньяк, бессонная ночь в кабаке. Иных наслаждений он и представить себе не может. Дай ему деньги, он сейчас же побежал бы за этими благами.

Все это разволновало меня. Я пошел в суд, чтобы развлечься, успокоиться, а на самом деле только пуще растревожил себя. Лег — не могу заснуть. Бессонная ночь показалась мне таким ужасом, что я кликнул Лиду, чтобы Лида почитала мне и усыпила меня.

Но Лида, не поняв, как много значит для меня сон в такой день, «день несчастий», ответила:

— Не могу! У меня Ирина, и я должна принимать ванну!

Это безучастное отношение так почему-то разъярило меня, что я выбежал в столовую и стал страшным голосом кричать на Лиду, ругал ее последними словами, швырнул в нее какую-то вещь — и вообще вел себя пребезобразно.

Лида так и не поняла, отчего я взъерепенился. Она не ответила ни слова на мои ламентации и, накинув пальто, убежала. Ванна пропала. Мне стало так стыдно перед Лидой, перед М. Б., что я расплакался при Ирине и Грише Дрейдене.

После этого мне было не до сна. Ко мне пришла Марья Борисовна и долго упрекала меня за мой отвратительный характер. Принял брому и к 3 часам заснул на 1 $^{1}/_{2}$ часа.

На следующий день (в пятницу 22 января) получил от Евгении Ивановны переписанный перевод пьесы «Rain», весь день лежал и правил его, а к вечеру встал и пошел к доктору Ратнеру. Мне посоветовал пойти к Ратнеру Я. И. Перельман, брат Осипа Дымова; жену Перельмана вылечил доктор Ратнер от утомляемости. Ратнер, ученик Бехтерева, — специалист по внутренней секреции. Живет он на Фурштатской в убогой роскоши начинающего врача, желающего казаться знаменитым и пускать людям пыль в глаза. Я пришел не в урочный час. Он принял меня как своего лучшего друга и стал огорошивать меня целым рядом вопросов, каких обычно не задают никакие врачи:

— Покажите ваш пупок. Ага!

— Нет ли у вас новых бородавок?

— Не чувствуете ли вы, что во сне ваши руки растут до потолка?

Очень долго изучал мои подмышки и сказал, что его чрезвычайно интересует мой нос.

Потом стал расспрашивать меня о «Крокодиле», так как его интересуют «процессы моего творчества».

Я ожидал блестящего диагноза, но он после долгого думанья сказал, чтобы я не принимал душа Шарко (которого я никогда и не собирался принимать!).

Потом он прибавил, что у меня молодые глаза, и, ловко поймав пятирублевку, счел свою миссию выполненной.

Был сегодня у Редьков и Тынянова. Редькам отдал 50 рублей, которые был им должен. А к Тынянову — зашел для души. Он сидел в столовой с женой, дочкой — и еще какими-то двумя. Такой же энергичный, творческий, отлично вооруженный. Прочитал мне сценарий «S.V.D»* (*Союз великого дела*). Очень кинематографично, остроумно. Жаловался на порядки в Кино. Распоряжаются какие-то невежды, не хотят платить авторских. У него были столкновения с одним режиссером. «Вы меня покроете матом, а я вас разматом». Эйхенбаум тоже пишет для Кино — пересказы Лескова. И его сценарий забраковали. (Должно быть, по заслугам, не его это дело!) Очень хвалит Тынянов доклад Лидии Яковлевны Гинзбург о кн. Вяземском. По поводу моего письма о плагиаторах рассказывал, что в прошлом году один молодой человек слушал его лекции о поэтах — и каждую неделю печатал их под своей фамилией в «Красной газете». А недавно «Хаза» Каверина была воспроизведена одним плагиатором со всеми подробностями. До-

шло до того, что у Каверина в «Хазе» — «Купальщица» Неффа и там «Купальщица» Неффа. Инна сказала: «Почему Мура мне не позвонит?» Я сказал: «Ишь какая ты важная, позвони Муре первая». Придя домой, я передал этот разговор Муре. Она сказала: «Я ей позвоню, чтобы она позвонила мне первая».

И действительно пошла к телефону.

Сегодня первый раз она сама говорила по телефону.

25 января. Третьего дня Боба и Коля первый раз были в суде. Боба живет теперь рядом со мной, и я могу наблюдать его близко. Он — мальчик простодушный и чистый. Но, увы, такой же работяга, как и Лида. Причем работает не над тем, что дает ему духовный капитал, а над сущим вздором, над школьным кооперативом! И как работает: в пятницу сел утром за писание накладных и квитанций и встал только вечером, не разгибая спины. Этому делу он предан всей душой, а английским занимается лишь для того, чтобы я на него не сердился. Учит слова, делает *мне* переводы, но вся его душа в накладных. К книгам по-прежнему почти равнодушен, — за исключением некоторых, которые читает по сту раз: Некрасов, Ал. Толстой, Гайавата, былины — и, кажется, больше ничего. Во всех моих делах принимает большое участие.

Я считаю своим долгом обучить его английскому языку. Каждый день пишу ему своей рукой упражнения, так как у нас нет учебника.

С Лидой я вчера помирился: попросил у нее прощения.

Вчера был у Николая Эрнестовича Радлова. Когда я с ним познакомился, это был эстет из «Аполлона», необыкновенно опроборенный и тонкий. Несколько вялый, но изящный писатель. Потом «в незабываемые годы» это был муж стареющей и развратной, пьяной, крикливой и доброй жены, которая никак не подходила к нему — и нарушала все его эстетство. Он казался «бывшим человеком», очень потертым, долго не умел приклеиться к революции и без конца читал английские романы — все равно какого содержания.

Теперь он к революции приклеился: вдруг оказался одним из самых боевых советских карикатуристов, халтурящих в «Бегемоте», в «Смехаче» и в «Красной». Количество фабрикуемых им карикатур — грандиозно. Я спросил вчера:

— Какую манеру (рисунка) вы предпочитаете?

— Ту, которая скорее ведет к гонорару!

Я рассматривал вчера его карикатуры. Они банальны. Но его шаржи вызывают у меня восхищение. Он отличается огромной

зрительной памятью и чрезвычайно остро ощущает квинтэссенцию данного лица. Глаз у него лучше, чем рука. Поэтому его шаржи на Монахова, на Ершова, на Луначарского, на Нерадовского — незабываемо хороши — по психологической хватке, по синтезу.

Но как непохожа его жизнь на те «Смехачи», которых он — неотделимая часть. Великолепная гостиная, обставленная с изысканнейшим вкусом, множество картин и ковров, целая «анфилада» богато убранных комнат, — все это страшно подходит к его вялой, небрежной, аристократической, изящной фигуре.

Когда я вошел, он сговаривался о чем-то по телефону с Ал. Толстым. Оказывается, Толстой соблазняет его ехать весною в Италию — бродить пешком по горам и т. д.

У Николая Радлова его отец Эрнест Львович; я сказал бы: вылитая копия сына. Ругал Ольденбурга — зачем он так «пресмыкается». Ну, хочешь хвалить — хвали. Но зачем же Владимира Ильича называть «Ильичем»? Этого от него никто не требует. Удивлялся, почему Пушкинский Дом устраивает комнату Нестора Котляревского. Что же в этой комнате выставить можно? Очень забавно рассказывал, как комиссия из четырех врачей осматривала его, чтобы установить его нетрудоспособность: ему это нужно для получения пенсии.

— Высуньте язык! — сказал один. Я высунул, он очень одобрил мой язык, а в своем рапорте написал: «Язык свисает влево». Как у собаки! Каков негодяй. — Сын за чаем подливал ему много вина, он пил с удовольствием и удивлялся, почему не пью я.

— Как вы можете не пить вина?

Неделю тому назад я был у Мейерхольда. Он пригласил меня к себе. Очень потолстел, стал наконец «взрослым» и «сытым». Пропало прежнее голодное выражение его лица, пропал этот вид орленка, выпавшего из родного гнезда. Походка стала тверже и увереннее. Ноги в валенках — в таких валенках, которые я видел только на Горьком, — выше колен, тонкие, изящные, специально для знаменитостей, и можно засовывать за их голенища руки. Он принял меня с распростертыми. Вызвал жену, которая оказалась женою Есенина* и напомнила мне, что когда-то Есенин познакомил меня с нею, когда устраивал в Тенишевском Училище свой «концерт». Я этого не помню. Мои детские книги Мейерхольды, оказывается, знают наизусть, и когда я рассказал ему о своих злоключениях с цензурой, он сказал: «Отчего же вы не написали мне, я поговорил бы с Рыковым, и он моментально устроил бы все».

1926 Приехал сюда Мейерхольд повидаться с ленинградскими писателями, дабы заказать им пьесы. Заказал Федину и Слонимскому, но с Зощенкой у него дело не вышло. Зощенко (которого Мейерхольд как писателя очень любит) отказался придти к Мейерхольду и вообще не пожелал с ним знакомиться, сославшись на болезненное свое состояние.

Это меня так взволновало, что я в тот же день отправился к Зощенко. Действительно, его дела не слишком хороши. Он живет в Доме Искусств одиноко, замкнуто, насупленно. Жена его живет отдельно. Он уже несколько дней не был у нее. Готовит он себе сам на керосинке, убирает свою комнату сам и в страшной ипохондрии смотрит на все существующее. «Ну на что мне моя «слава», — говорил он. — Только мешает! Звонят по телефону, пишут письма! К чему? На письма надо отвечать, а это такая тоска!» Едет на днях в провинцию, в Москву, в Киев, в Одессу (кажется) читать свои рассказы, — с ним вместе либо Лариса Рейснер, либо Сейфуллина, — и это ему кажется страданием. Я предложил ему поселиться вместе зимой в Сестрорецком курорте, он горячо схватился за это предложение.

Нужно готовить для Бобы английский «*экзерцис*». Он знает слов 150.

Читаю «Erewhon» Samuel Butler'a[1]. Очень хорошо.

26 января. Вторник. Утром послал «Rain» в МХАТ (т. е. Тихонову). С почты — в «Красную» — напомнить об оставшихся деньгах. «Наведайтесь в три часа». С Дактилем, в суд. Показания Милова. Улыбающееся лицо Батурлова и его кокетливые речи — а на лице ужас расстрела. Завтракал в тамошней столовке. Поразительный демократизм: тут же председатель дожевывает свой бутерброд, тут же подсудимые (не находящиеся под стражей). В три снова в «Красную». «Выяснится к $^{1}/_{2}$ 5-го». Мак сказал: «Я отдал ваш роман Чагину». Чагин — это новый сверхредактор «Красной», назначенный вместо Ельковича. Приехал из Баку. Говорят: «понимающий». Просил придти завтра в три часа. С Дактилем и Сапиром — пешком на Невский за моими очками. Очки готовы — роговые. Оттуда снова в «Красную». К моему изумлению, мне дали все £ 60 в окончательный расчет. С облегченным сердцем отправился я в театр «Комедия», отвез Голичникову пьесу «Rain», но увы, не застал его в театре. Из театра домой. Пообедал в 7 час. вечера и почувствовал такую усталость, что еле нацарапал письмо именинице Татьяне Александровне — и побежал в постель. Спал до

[1] «Иерихон» Сэмуэля Бетлера (*англ.*).

5 часов, вернее, от 8 $^{1}/_{2}$ до 4 $^{1}/_{2}$, т. е. 8 часов, полагающиеся 25-летним субъектам. Сапир уверяет, что в субботу весь «Некрасов» будет сверстан и немедленно пойдет в печать. Если это так, то понедельник для меня счастливейший день, ибо я узнал в понедельник приятное и получил в понедельник нечаянное. Сегодня решил заняться статейкой о детском языке. Нужно собрать матерьялы.

Что у нас происходит теперь! Если судить по детским книгам, *ликвидация грамотности.*

Вчера Мура сочинила стихи.

Страшно просит маму, чтобы ей вместо платьица сшили кофту и *юбку.* «Чтобы знали, что я девочка». Инну обожает до такой степени, что ей самой это страшно. Пришла к матери и покаялась:

— Знаешь, я бабушку люблю меньше, чем Инну.

Потеплело. Снежок. Хорошо. Боба вчера сдал физику удовлетворительно. У него спросили об устройстве *во́рота.* Мне нужно писать о детях, а меня *тянет в суд,* как на любовное свидание. Черт знает что! Сегодня мы с Марьей Борисовной идем на «Бунт императрицы»*. Меня вчера обогнал в санях Лаврентьев. «К. И., отчего не приходите?»

Очень забавно Мура нянчит Татку. Садится на большую кровать и держит ее поперек живота.

27 января, среда. Вчера был у меня Голичников из театра «Комедия». Дал я ему мой перевод Rain'a, а он — мимоходом говорит: «Знаете ли вы, что подобная пьеса уже переведена под заглавием «Ливень» и даже напечатана».

Увы, переведена не «подобная» пьеса, а *та же самая.* Горе! горе! Значит, и эта работа к чертям.

Я познакомил с Голичниковым Колю, который переводит сейчас валлийскую пьесу. Эта пьеса Голичникову понравилась больше той, которую перевел я. Он просит Колю закончить ее перевод возможно скорее. Он молодой человек с веселыми глазами — любит приговаривать «ну, чюдно, чюдно» и «в чем дело?».

Потом я поехал в «Красную», виделся с Чагиным. Он обещает через 2 дня дать мне ответ, будет ли он печатать моего «Бородулю» сейчас или через месяц. Он склоняется к тому, чтобы сейчас.

Потом я побыл полчаса в суде (где снова встретил Колю!) и подался домой. Лег в 5 час. и заснул — ибо хотел ехать в театр на «Заговор императрицы». Проснулся в $^{1}/_{2}$ 8-го, пообедал, и мы с Мар. Борисовной поспели к самому началу. Пьеса лучше, чем я думал, играют лучше, чем я ожидал (тщательнее), один Феликс Су-

мароков-Эльстон плох безнадежно — все остальные ужасно похожи — Протопопов, Добровольский, — но скука смертная. Монахов прекрасно играл в сцене, где он у себя на квартире, — и хотя играл он хама, продажного человека, развратника, но как-то странно — этот негодяй вышел у него обаятельным, чувствовалось в чем-то величие души, действительно размашистой и страшно русской — и конечно, он *выше* всех, кто окружает его, выше Сумарокова, царя, Пуришкевича — так что у него вышло как бы *оправдание Распутина.* Я сказал ему об этом. «Этого я и добивался!» — сказал он мне. Я был у него в уборной, когда он снимал с себя грим Распутина. Публика, довольно холодно отнесшаяся к великолепным сценам, где выступает Распутин у себя на дому, бешено аплодировала, когда убили Распутина, — аплодировала выстрелу, а не игре актера.

Монахов много говорил о своей работе над «Азефом», которого он готовит к февральским спектаклям. «Но «Азеф» не будет такой боевой пьесой, как «Заговор императрицы», потому что, во-первых, нет одиозных фигур, нет Распутина, царя, царицы и проч., а во-вторых, дело происходило не так недавно, а уже попризабылось. «Азеф» (пьеса Толстого и Щеголева) хуже «Заговора», хотя, конечно, детали прекрасны, как всегда у Толстого». Сообщил мне Монахов, что Конухес все еще болен. Нужно будет сегодня пойти навестить! Монахов бодр, здоров, хотя ему, как он сообщил, уже 51 год. — А как вы живете? Добродетельно? — спросил я его. — Нет, все Рождество пил, был недавно в Москве — и всю неделю угощался без конца.

Мурка увлекается рисованием. Вчера нарисовала прачешную и белье.

28 января. Четверг. Вчера получил для корректуры 17 первых листов «Некрасова». Приехал Тихонов из Москвы, остановился в Европейской гостинице. Сегодня надо идти к нему — по поводу «Крокодила». Нужно также в Финотдел. Черт бы побрал всю эту «сволочь мелочных забот».

29 января, пятница. Был в Финотделе. Говорят, во вторник состоится надо мною судилище. Разбирать будут, должен ли я был вносить ту сумму, которая с меня причитается. Нужно принести доказательства, что у меня расходы по производству.

Тихонов пополнел, обрюзг, помолодел. Говорит, что «Мойдодыр» мой по-прежнему ставится в Москве в театре, что бумажный кризис колоссален, что Гиацинтова стала отличной актрисой, что «Кругу» удалось выхлопотать субсидию, но... Сокольников

был отставлен в тот самый день, когда он должен был подписать ассигновку, что «Современник» власть хотела бы (?) разрешить (!), ибо нужен для показу какой-нибудь орган внутренней эмиграции, который можно было бы ругать; что Пильняк очень хороший товарищ; что моя «Панаева» была «Кругом» утеряна и только теперь найдена Воронским; что очень жаль Волынского, у которого отняли школу; что «Крокодила» лучше печатать в Ленинграде под моим надзором; что за моего «Некрасова» можно взять 2 р. 50 к., но не больше; что Заяицкий написал недурной авантюрный роман.

Вновь я услыхал забытые слова, столь любимые Тихоновым: «разбазаривать», «Цектран»* и т. д.

Спросил я его о Добычине. Он говорит, что отдал его рукописи Воронскому и что Воронскому, кажется, нравится. Тихонов купил у Замятина томик его новых рассказов.

Оттуда — в «Красную». Иона лежит на диване — и вокруг него, чуть ли не на нем, сотрудники и посетители. Рядом с Ионой — Заславский.

Боцяновский сказал Заславскому, что ему (Боцяновскому) очень не понравилась его статья о Щедрине. «Кому какое дело, что думал Щедрин о Луи Блане, если Заславский не сказал, что такое вообще Щедрин. И откуда он взял, что Щедрин был человек замечательный? Не вижу ни единой черты, поднимающей его над другими чиновниками». Иона стал вслушиваться. Я вмешался в разговор и сказал: ужасен был весь номер, посвященный Щедрину*. Кроме статьи о его отношении к Луи Блану вы сообщили еще в статье Лернера, что есть у Щедрина переписка с Поль де Коком, но что этой переписки нет. Так нельзя вести литературный отдел: случайные статьи случайных людей на случайные темы. — И этого не будет! — сказал Иона. — С первого мы переходим на 4 страницы. Придется выкинуть и «Науку» и «Литературу».

Оттуда через Чернышев мост в контору «Красной». Там разговор с Чагиным. У него в кабинете сидел приехавший из Персии коммунист, который будет заместителем Закса-Гладнева по ведению издательства «Прибой».

— Познакомьтесь! Это тот самый, который столько крови испортил Керзону.

Коммунист оказался неожиданно большим поклонником Керзона. Он говорит, что книга Керзона о Персии — до сих пор непревзойденный ученый труд (?!).

О моем романе: Чагин его еще не прочел, и я взял этот роман у него — и мы с Заславским поехали в суд. По дороге Заславский рассказал о Семене Грузенберге: тот предложил «Прибою» из-

дать его «Психологию творчества». «Прибой» отказался. Через год Грузенберг приходит в «Прибой» и говорит:

— Вы не хотели издать эту книгу, а другое издательство издало ее. Вот. Позвольте преподнести вам этот экземпляр с просьбой дать рецензию.

— Хорошо. Мы непременно дадим.

— Хвалебную?

— Не знаем. Если не понравится, выругаем.

— Ну тогда позвольте мне мою книжку назад. У меня единственный экземпляр.

Вечером — к Татьяне Александровне. У Татьяны Александровны узнал, что мое «Федорино горе» давно уже переведено на камни в типографии Голике и Вильборг. Так что Клячкины молодцы лгали мне, выдумывая, будто книга еще в работе. Просто нет бумаги и для этой моей книги.

Мура хочет сидеть на лошади верхом. Ей объяснили, что девочкам сидеть верхом невозможно. Тогда она закатала кверху юбку и превратилась в мальчика. Напялила Колину шапку, села на лошадь верхом и не слушает никаких резонов. — Но! Но! Но!

Правлю Колин перевод пьесы «Апостолы». Перевод отвратителен: *аспидная доска* slate он переводит *салфетка*, храпеть — snore — фыркать, мне приходится вновь переводить огромные куски.

31 января, воскресение. Вчера с утра ко мне позвонили от Лилиной. Собрание детских писателей у нее на квартире. В защиту сказки. «Надо поехать — статья подходящая».

Получил письмо от Ломоносовой, сообщает, что выслала Мурочке куклу.

Вчера ко мне подошел Энтин, защитник Батурлова. Что ему делать? Он очень волнуется. Не посоветую ли я чего-нибудь для защиты Батурлова?

Оказывается, что он волнуется уже три дня. «Не ем, не сплю. Ведь один волосок — и человеческая жизнь погибла».

Вчера в суде так допрашивали одного свидетеля, что он, как подкошенный, упал на пол.

Вышло 8-е издание «Тараканища» и «Мойдодыра». «Телефон», которого я не люблю, разошелся весь с феноменальной быстротой.

Забыл позвонить Ловецкому — и остаюсь в городе. Впрочем, как поехать, если во вторник суд надо мною*, а в среду решится судьба Ива и Батурлова.

1 февраля. Был вчера снова у Тихонова. Прочитал ему отрывки своего «Бородули». Он сказал: «мелко и жидко», и я не мог не согласиться с ним. Он забавно рассказывал о своей жизни у Шервинских. Шервинский, старый профессор-медик, живущий в собственном особняке, с утра уже говорит по телефону приглашающим его пациентам:

— Приготовьте анализ мочи. За визит ко мне — 2 червонца, за визит к больному 5 червонцев.

Остальное время профессор изобретает градусник, чтобы измерить температуру *блохи*!

От него я — домой. Женя Шварц! Острил великолепно, как бы сам не замечая. Рассказывал много смешного о детях — между прочим об одном младенце, которому было лень говорить, и он говорил так — «Здра(вствуйте). Я покажу вам фо(кус)». Получилось при нем письмо от Добычина*. Новый рассказ «Лешка» — отличный, но едва ли пригодный для печати. (Он прочит его для детей.) Мы сейчас же написали ему письмо.

4 февраля, четверг. Вчера у Надеждина на Моховой. Пышно и безвкусно. Он очень милый, пестро одетый. Жох. Все норовит выцыганить у меня пьесу подешевле — ссылаясь на бедность (!) театра и на принципы. Познакомился с Грановской — впечатление бесцветное. Я сказал в разговоре — о Монахове (что он хорошо сыграл бы роль Дэвидсона). Это всех обидело. Надеждин даже зафыркал. Дутая величина. Можно ли сравнить его с Поссартом. Грановская тоже сделала кислую мину.

Оттуда в суд. Там — страшно. Батурлов бледен, прокурор третьего дня потребовал для него расстрела. И странно: он знал, что прокурор будет требовать для него этой кары, но покуда слово не было произнесено, крепился — улыбался, переглядывался с публикой, кокетничал. Теперь это не человек, а какая-то кучка золы. Пустые глаза, ничего .не видящие, и движущиеся губы, которыми он все время выделывает одно и то же: то верхней прикроет нижнюю, то нижней прикроет верхнюю.

Прокурор Крук очень талантлив. Говорил свою речь с аппетитом, как хороший пловец в бассейне, весело носился по этим грязным волнам. Крови требовал с большим удовольствием. Это удовольствие особенно проявлялось тогда, когда он говорил, как ему больно исполнять свой тяжелый долг, как ему жалко Батурлова.

Дела Ива складываются как будто неплохо. Прокурор говорит, что он на 90% уверен, что Ив мошенник, что он преклонится пред мудростью суда, если суд объявит его виновным, но на 10% он сомневается в его нечестности. Этот мягкий отзыв (как это ни

странно) раздавил Ива. Ив до сих пор сидел неподвижно, как статуя. А теперь голова у него свисает и он должен ее поддерживать...

6 февраля. Суббота. Опять у Сабурова. Им «Сэди» очень нравится. Уже готова афиша. Правлю Колин перевод «Апостолов». Работа адова. Был вчера в «Земле и Фабрике». Рувим надувает и денег не дает. Подлец, пользуется моей беззащитностью. Договора не доставил, отчетов никаких не дает, денег не платит.

17 февраля 1926, среда. До сих пор дела мои были так плохи, что я не хотел заносить их в дневник. Это значило бы растравлять раны и сызнова переживать то, о чем хочешь забыть. Пять литературных работ было у меня на руках — и каждую постигла катастрофа.

I. *Роман «Бородуля».* В тот самый день, когда «Бородуля» должен был начаться печатанием, оказалось, что «Красная газета» сокращается вдвое. I и II части романа набраны и висят у меня на стене — на гвоздике.

II. *«Крокодил».* На рынке его нет. В «Земле и Фабрике» и в Госиздате приказчики книжных магазинов сообщают мне, что покупатели надоели им, требуя «Крокодила». А Тихонов уехал и бумаги не дал.

III. *«Книга о Некрасове»* стареет, дряхлеет, но в «Кубуче» нет денег, и она не выходит. И в довершение всего —

IV. *Пьеса «Сэди»,* переведенная мною. Она окончательно убила меня. С «Сэди» было так: ее одобрил Надеждин, ее согласилась играть Грановская, я ликовал, так как премьера была назначена на 26-е и впереди было по крайней мере 30 спектаклей. Но меня ждала неудача и здесь. Уже пьеса появилась на афише, уже художник Левин приготовился писать декорации, уже мне предложили получить 200 р. авансу, вдруг обнаружилось, что эта же пьеса в другом переводе должна пойти в Акдраме!!!! Меня даже затошнило от тоски и обиды. Эти двести рублей были мне страшно нужны — купить пальто М. Б-не, и вот! Оказалось, что «Комедия» сама виновата: получив от меня пьесу, не зарегистрировала ее в каком-то учреждении, а Акдрама зарегистрировала. Вся моя боль от регистрации! Я взвыл и побежал в Александринку к Юрьеву. Юрьев (он был еще в прическе Чацкого) с простодушным видом сообщил мне, что в этом году они не думают ставить «Сэди», поставят в будущем, но — хе, хе! — не позволят «Комедии» ставить ее в этом году. Что мне было делать, бедному неудачнику! Я, чтобы забыться, перевел вместе с Колей пьесу «Апостолы» и отдал ее в Боль-

шой Драмтеатр, а также принялся писать статью *в защиту детской сказки*. Но походив в Педагогический институт, поговорив с Лилиной, почитав литературу по этому предмету, я увидел, что неудача ждет меня и здесь, ибо казенные умишки, по команде РАПП'а, считают нужным думать, что сказка вредна.

Это был пятый удар обухом, полученный мною, деклассированным интеллигентом, от ненуждающегося во мне нового строя, находящегося в стадии первоначальной формации. Самое ужасное то, что все эти пять неудач неокончательные, что каждая окрашена какой-то надеждой и что вследствие этого я обречен, как каторжный, каждый день ходить из «Кубуча» в Госиздат (по поводу «Крокодила»), из Госиздата в «Красную газету», из «Красной газеты» в Главпросвет (по поводу пьесы), и снова в «Кубуч», и снова в Госиздат.

От этих беспросветных хождений тупеешь, мельчаешь, жизнь проходит мимо тебя — и мне вчуже себя жалко: вот писатель, который вообразил, что в России действительно можно писать и печататься. За это он должен ходить с утра до ночи по учреждениям, истечь кровью, лечь на мостовую, умереть. — Дело сложилось так, что для того, чтобы вышла моя книжка о Некрасове, я должен *каждый день* ходить в «Кубуч», подстерегать бумагу, не получена ли, не отдадут ли ее в другое место и т. д. Из-за пьесы нужно *каждый день* ходить к Авлову, в репертком и т. д. Потому-то и не пишу дневника, что эти путешествия (в страну канцелярий) тяжелее всех путешествий Шэкльтона, Стэнли, Магеллана. Впрочем, и в этой Канцелярландии есть свои приключения — напр., с тов. Костиной. Чуть только мы узнали о несчастии с «Сэди», мы отправились в Губполитпросвет (кажется, так) — и просили аудиенции у т. Костиной. (Мы: т. е. Папаригопуло, Голичников и я.) Костиной не было, но Папаригопуло встретил ее на лестнице, и она горячо обсуждала с ним историю с «Сэди». Ждали ее, все нет. Пришли через час. Нам сказали, что она уволена — и вместо нее назначен какой-то другой!!! Уволена в час.

Уволен также и Острецов — милейший и пьянейший глава Гублита. Я встретил его в коридоре, и мы горячо простились. Даже на этой должности он умудрился остаться персонажем Вл. Маяковского.

Ко всем моим личным печалям прибавились и неличные. Во-первых, меня потрясло решение по делу Ива. Его осудили на 5 лет со строгой изоляцией только потому, что он не актер, не сумел понравиться судьям, говорил некстати о своем университет-

ском образовании и пр. Уверенность в его невиновности у меня полная.

Я начинаю понимать людей, которые пьют горькую. Но все же продолжаю бороться — за право производить такие или иные культурные ценности. Теперь дело сложилось так, что всякое творчество отнимает у каждого $^{1}/_{10}$ энергии, а $^{9}/_{10}$ энергии уходит на защиту своих творческих прав. Был я на днях у Ю. И. Фаусек. Она мне рассказывала, что ее система Монтессори снова подвергается гонениям. Не дают денег на содержание детдома. Ей пришлось продать пианино, чтобы заплатить своим служащим. Только так и возможно работать: остальное — халтура, проституция духа, смерть. Борьба все же дает результаты. «Кубуч» все-таки на днях приступает к печатанию моего «Некрасова». Тихонов все-таки добыл бумагу для «Крокодила». Вчера вечером мне звонил Папаригопуло, что, несмотря ни на что, они решили «Сэди» поставить. Хотя я все еще не верю в исполнимость всех этих прекрасных мечтаний, но чувствую такое облегчение, что вот — могу даже писать дневник.

Дактиль болен — в постели. От Ломоносовой чудесное письмо. Видя, что о детской сказке мне теперь не написать, я взялся писать о Репине и для этого посетил Бродского Исака Израилевича. Хотел получить от него его воспоминания. Ах, как пышно он живет — и как нудно! Уже в прихожей висят у него портреты и портретики Ленина, сфабрикованные им по разным ценам, а в столовой — которая и служит ему мастерской — некуда деваться от «расстрела коммунистов в Баку». Расстрел заключается в том, что очень некрасивые мужчины стреляют в очень красивых мужчин, которые стоят, озаренные солнцем, в театральных героических позах. И самое ужасное то, что таких картин у него несколько дюжин. Тут же на мольбертах холсты, и какие-то мазилки быстро и ловко делают копии с этой картины, а Бродский чуть-чуть поправляет эти копии и ставит на них свою фамилию. Ему заказано 60 одинаковых «расстрелов» в клубы, сельсоветы и т. д., и он пишет эти картины чужими руками, ставит на них свое имя и живет припеваючи. Все «расстрелы» в черных рамах. При мне один из копировальщиков получил у него 20 червонцев за пять «расстрелов». Просил 25 червонцев.

Сам Бродский очень мил. В доме у него, как и бывало прежде, несколько бедных родственниц, сестер его новой жены. У одной сестры — прелестный белоголовый мальчик Дима. Чтобы содержать эту ораву, а также и свою прежнюю жену, чтобы покупать картины (у него отличная коллекция Врубеля, Малявина, Юрия Репина и пр.), чтобы жить безбедно и пышно, приходится делать

«расстрелы» и фабриковать Ленина, Ленина, Ленина. Здесь опять-таки мещанин, защищая свое право на мещанскую жизнь, прикрывается чуждой ему психологией. Теперь у него был Ворошилов, и он получил новый заказ: изобразить 2 заседания Военных Советов: при Фрунзе, при Ворошилове. Для *истинного революционера* это была бы увлекательная и жгучая тема, а для него это все равно что обои разрисовывать — скука и казенщина, казенщина и скука.

Примирило меня с ним то, что у него так много репинских реликвий. Бюсты Репина, портреты Репина и проч. И я вспомнил того стройного изящного молодого художника, у которого тоже когда-то была своя неподражаемая музыка — в портретах, в декоративных панно. Его талант ушел от него вместе с тонкой талией, бледным цветом лица (и проч.). Проклятая вещь для нашего брата 40—45 лет. Разбухание талии, прозаическая походка и — живот.

18 февраля (четверг). Был вчера с Марией Борисовной в кино. Впервые после огромного перерыва. Видел «Пат и Паташон». Чудесно, изящно, человечно. Забыл очки, позвонил Коле из «Комедии», он — спасибо — привез.

Был вчера у Быстровой — выхлопотал кусок текста, запрещенный цензурой. Был в Финотделе. Был дважды в Большом Театре — у Пиотровского, по поводу «Апостолов». Просит подождать еще. Сдал Пиотровскому заметку о Монахове, написанную для юбилейного сборника, был в «Кубуче» — о тоска, тоска этого ужасного маршрута. Хлопочу о бумажке для того, чтобы не платить за квартиру 200 р. Тоска! Тоска!

Встретил Эйхенбаума в Финотделе. Ему совсем худо. Он произнес в Филармонии речь о Есенине — очень не понравившуюся начальству. Ждет теперь за это неприятностей. Ко мне он ласков и внимателен, а я чувствую себя так, будто у меня за пазухой камень.

Сегодня мой маршрут: в Госиздат, в «Кубуч», в «Радугу» — о! о! о!

19 февраля. Пятница. Вчерашний день черный, непростительный — ночь не спал — гнусное чувство — глаза болят. Читал всю ночь «Not at Night», сборник глупейших страшных рассказов*. Теперь читаю «Juno and the Paycock»*.

Сегодня в час у меня назначено свидание с Папаригопулой. Был вчера в Публичной библиотеке, собираю матерьял о сказке.

Придумал перевести «Juno and the Paycock». Вспомнил вдруг из своего детства то, чего не вспоминал ни разу. Я казенничал. То есть надевал ранец, и вместо того чтобы идти в гимназию, шел в

1926 Александровский парк. Помню один день — туман, должно быть, октябрь. В парке была большая яма, на дне которой туман был гуще. Я сижу в этой яме и читаю Овидия, и *ритм* Овидия волнует меня до слез. — Был Сима Дрейден, рассказывает, что его брат Гриша слыхал из-за стенки такой разговор:

— Соломон, ты ведешь беспутный образ жизни. У тебя будет силифи́с.

— Мамаша! Если у меня будет силифис, так я его буду лечить на свои деньги, а не на ваши. (Пауза.) Заели моего отца, а меня вам заесть не удастся.

22 февраля, вторник. Неужели этот дневник будет регистрацией моих неудач! Началось с Почтамта. Я поехал туда взять куклу, которую Ломоносова прислала Мурке. Оказалось: толпа человек около ста сбилась в груду в правом заднем углу Почтамта [у] 5 или 6 окошечек и смотрит сквозь решетку, как медлительные и неумелые люди вскрывают жалкие и скудные посылки и взвешивают каждую тряпку на весах. Я простоял там около 3 $^{1}/_{2}$ часов!! Для того, чтобы получить куклу. Но куклы не получил. Когда вскрыли ящичек, в котором находится кукла, оказалось, что у куклы на голове шелковый бант, а шелк облагается страшною пошлиною — и вот за небольшую куколку хотят 25 рублей. Я выругался и поехал домой, а куклу оставил в Почтамте. Оттуда в «Кубуч». Обещают печатать «Некрасова» на этой неделе. Оттуда к Надеждину. За столом читка «Сэди». Грановская дала чудесный тон. Остальные, кажется, плоховаты. Особенно Надеждин, взявший себе роль пастора — и при малейшей эмоции впадающий в еврейский жаргон. Но дело не в этом, а в том, что пьеса вряд ли у Надеждина пойдет. В среду решится — играть ли ему или нет. В Александринке пьеса идет вовсю. Эти подлецы откладывают «Виринею» и «Отелло», лишь бы не дать Надеждину сыграть «Сэди». — Оттуда к Замятину, он спал, ибо всю ночь пьянствовал с Москвиным. Оттуда к Клячко. Пришел домой такой утомленный, что вот не сплю всю ночь.

Сейчас возьмусь за «Juno and Paycock». У Таты — первый зуб. У Бобы ангина. У Лиды доклад на семинарии Эйхенбаума. У Муры завтра рождение. Тоска, тоска! Написал с горя фельетон о детском языке и свез его в 8 часов утра в «Красную» к Кугелю. Расспрашивал Иону о положении газет. Теперь дело обстоит так: какой-то умный человек предложил уничтожить утреннюю «Красную» и вечернюю, которая при «Правде». Это было бы лучше всего. Остались бы: одна плохонькая утренняя и одна хорошая

вечерняя. И денег сохранилось бы уйма. Но так как этот план очень талантлив, он ни за что не будет приведен в исполнение, и теперь мудрые головы решают, что надо бы слить две «Вечерние» — и дать им одно название, новое (то есть отнять у «Вечерней» то *лицо*, которое дало ей ее репутацию), а утренние газеты оставить по-старому, содержа их на счет этой *вечерней* газеты. Канитель, удушье, а мой роман гниет, и его гниению не видно конца. — Познакомился с Сергеем Томским. Он похож на «Птицелова» с перовской картины — очень жанровый человек, бытовой, трактирный.

24 февраля. Среда. Был вчера снова на почте — получил куклу за 25 рублей 57 копеек. Потом у Клячко получил £ 30. Коля получил квартиру через Симона Дрейдена — но нужно 300 въездных. М. Б. дает ему 50 р. Сегодня утром был в «Красной», держал корректуру «Детского языка». Фельетон всем понравился, — даже корректорша подошла ко мне и сказала, что «прелесть». Иона говорит, что теперь решено слить обе газеты — и что именно так и будет, потому что это — глупее всего. Credo quia absurdum[1].

25 февраля. Четверг. Вчера было нашествие всевозможных людей. Был у меня Адриан Пиотровский. Выслушал два акта переведенной мною пьесы. Ему понравилось, но не очень. Я тоже убедился, что пьеса — «так себе», и решил 3-го акта не переводить. Пиотровский готовится к юбилею Монахова, который назначен на 17 марта. Пригласили в Комитет и меня.

Пришел очень высокий студент Института Истории Искусств за рукописями каких-нибудь писателей, я дал ему рукописи Куприна, Ал. Ремизова, Мандельштама и Мережковского.

Пришел поэт Приблудный. За детскими книжками. Читал свои стихи. Он молод, талантлив, силен и красив, — но талант у него 3-го сорта: на все руки. Он и на пианино играет, и поет, и рисует, — при полном отсутствии какой бы то ни было внутренней жизни. Стихи у него так и льются — совсем как из крана. Очень много дешевки и, как это ни странно, надсоновщины.

Боба встал с постели.

Мурины именины протекали пышно. К ней с раннего утра пришла прачкина внучка Виктя — белая и круглолицая, вялая. Они вдруг выдумали, что я — Баба Яга, которая хочет их съесть, и похитили у меня ножик для разрезания книг. Я бегал отнимать у них ножик. Они визжали и убегали — в восторге веселого ужаса. Потом

[1] Верю, потому что нелепо (*лат.*).

мы стали прятать этот ножик в столовой — и кричать «холодно», «жарко», когда они искали его. Это было очень весело — и я был раздосадован, когда во время этой игры пришел Пиотровский.

Потом пришла к Мурочке какая-то робкая трехлетняя девочка, которая все время просидела в кресле — и боялась, когда я подходил к ней.

Потом пришел ее кумир Андрюша. Мы играли все втроем в кораблекрушение и в разбойников. (Забыл записать, что еще до прихода Андрюши мы играли в спасение погибающих — я тонул, они вытаскивали меня из воды — и я за это давал им медаль, полтинник, прикрепленный к бумажке сургучом.) Потом пришли к Муре Агатины дети — две очень милые девочки, потом Татьяна Александровна, потом Редьки, принесли медвежонка, посуду и дивную куклу — очень художественно исполненную — русская золотушная девчонка из мещанской семьи, которых так много, например, на Лахте. Мещане любят называть таких девчонок Тамарами.

Мы сидели за столом и клевали носом. Мне хотелось спать. Поболтали о всякой ерунде и разошлись. Александр Мефодьевич Редько рассказывал, что во главе какой-то железной дороги теперь стоит стрелочник, и это несомненное повышение, ибо сперва был столяр (из ж.-д. мастерских), потом — смазчик, есть надежда, что лет через десять во главе дороги встанет кондуктор. Это будет «повышение квалификации». Рассказывал также о том, что один выпущенный из тюрьмы получил уведомление за несколькими подписями — «явиться за старыми подтяжками и отточенным карандашиком», которые были отобраны у него при водворении в тюрьме, но о золотых часах и запонках в этом уведомлении не было сказано ни слова — словом, «все было беспокойно и стройно, как всегда»* — и мне, как всегда, казалось, что пропадает что-то драгоценное, неповторимое, что дается только однажды, — что-то творческое, что было кем-то обещано мне и не дано.

26 февраля. Пятница. Утром собирал матерьялы о детях, о детской сказке и пр. Читал Н. Румянцева и др. Потом в «Красную» к Ионе. В 8 часов утра. Я уже привык ходить туда по утрам. Меня тянет туда запах типографской краски, знакомая и любимая типографская грязь. Типография и редакция «Вечерней Красной» находятся в доме, построенном Росси. Внутри прелестная лестница. Типография — на втором этаже. Небольшая — наборщиков человек 20. Работают споро. Переговариваясь между собой. Работа необыкновенно налаженная. В глубине типографии у одного око-

шечка столик — за которым сидит Иона, близоруко наклонясь над гранками. Нет ни одной заметки, которую он не сократил бы вчетверо, не переиначил бы всю — сверху донизу. Рядом с ним Сизов — его помощник, заведующий хроникой. Это узколицый молчаливый человек в очках, который быстро и виртуозно выправляет безграмотные донесения репортеров. Я часто стою у него за спиной и смотрю с восхищением, как, ни минуты не задумываясь, он выбрасывает из каждой заметки весь имеющийся в ней мусор. Второго такого мастера я не видал. Иона часто отдыхает, отходит к печке, болтает с корректоршами, Сизов — никогда. Это газетный монах. Так как в 7 часов утра ему надо быть на работе, он должен очень рано ложиться и никогда не бывает в театрах. Так как кроме «Вечерней Красной» он заведует еще Московским отделением «Известий», то весь день у него занят абсолютно, и он никогда не видит тех судов, происшествий, событий, о которых вещает публике.

Вчера, отойдя к печке, Иона предложил мне сделаться американским корреспондентом «Красной». 400 рублей в месяц — за 8 писем. Я сказал, что подумаю. Пришел домой, Лида говорит: «Папа, мне снился сон, что ты в Америке!» Это страшно меня удивило.

Позвонив по телефону в Госиздат, я узнал, что мой «Крокодил» уже сверстан — и послан мне на квартиру.

Потом я позвонил в «Кубуч», и оттуда мне сказали такое, что у меня помутилось в глазах:

— Вашего «Некрасова» решено не издавать.

— То есть как?!

— Комиссия «Кубуча» нашла это невыгодным.

Я страшно взволновался и побежал в «Красную» посоветоваться, что мне делать. Иона сказал, что постарается достать мне издателя. Мак посоветовал обратиться к Бухарину. Я побежал в «Кубуч». Пешком, денег было в обрез. В «Кубуче» никого не застал.

В страшном смятении поехал я в Русский Музей к Нерадовскому — и тут только понял, какое огромное влияние имеет на человека искусство. С Нерадовским мы прошли по залам, где Врубель, Серов, Нестеров, и вдруг Нерадовский отодвинул какую-то стену, и мы вошли в дивную комнату, увешанную старыми портретами — и у длинного стола — кресла красоты фантастической, какого стиля, не знаю, но пропорция частей, гармония, стройность и строгость — все это сразу успокоило меня. Мне даже стало стыдно за мою возбужденность и растрепанность. К тому же Нерадовский сам так спокоен, работящ, серьезен — и так связан со всеми этими картинами и бронзами, что на душе у меня сразу стало яс-

но. «В этой же комнате мы и устроим наши чтения, — сказал он, — в комнате может поместиться человек сто. Приглашены читать о Репине — Кони, Гинзбург и Тарханова. Они будут читать 3-го. Ваше чтение назначено на 10-е. Я хотел сопречь вас с проф. И. П. Павловым и А. К. Глазуновым. Но Павлов не может. Я ездил к нему. Он отнесся очень горячо, даже прервал лекцию ради меня, сообщил мне о Репине много интересного, но сам, увы, отказался участвовать. Очень занят. Впрочем, обещал написать и прислать несколько воспоминаний. Павлов готовился к встрече с Репиным, он прочитал о нем книгу, изданную нашим музеем. «Терминология статей об искусстве мне не всегда понятна, — сказал Павлов. — Многое я читал по три раза, чтобы понять. Но понял все». Приехал и в разговоре с Репиным упомянул об этой книжке. Вдруг Репин сжал кулаки, затопал ногами и с таким гневом заговорил об авторе этой статьи, что я буквально не знал, куда деваться. Гнев Репина разрастался, и кончилось тем, что Репин убежал от меня».

Договорились мы с Нерадовским, что я буду читать мою лекцию 17-го, и успокоенный я пошел в «Кубуч». Спокойствие мое дошло до того, что, войдя в комнату к тов. Кузнецову, ответственному секретарю «Кубуча», от которого зависела судьба моего «Некрасова», я, вместо того чтобы махать руками и кричать, сел у его стола и, покуда он разговаривал с другими посетителями, вынул из портфеля завтрак и начал его медленно есть. Первое впечатление ото всей этой комнаты — впечатление участка. Накурено, казенно, неуютно — особенно после дворца. Но вслушавшись и всмотревшись, я как-то сразу полюбил Кузнецова. Он очень толково, просто, дельно отвечает всем посетителям, хорошо говорит по телефону, — в ответах его чувствуется большая осведомленность и ни йоты бурбонства. Я говорил с ним безо всякого пафоса. Я сказал, что работаю над этой книгой 8 лет, что это — не халтурная книга, что я согласен не брать за нее никакого гонорара и пр.

«Ваша книга, — сказал он, — единственная, которую нам было жаль уничтожить. Предыдущее правление оставило нам целый ряд никуда не годных книг, за которые заплачено 12 500 рублей. Ни одной из этих книг издать нельзя. Это — бремя на нашем бюджете. Но если вы согласны не брать у нас сейчас за эту книгу гонорара, мы согласны ее выпустить — и выпустим во что бы то ни стало».

Я чуть не заплакал от радости. Он показался мне молодым и милым. Здесь много посодействовал мне Давыд Давыдыч Поташинский, который на заседании стоял за меня горой. Я помню

Поташинского еще по «Сатирикону». Он приехал вместе с Аркадием Аверченко из Харькова и в древние годы заведовал конторой «Сатирикона». В последнее время — заведовал магазином «Кубуча». Теперь, после того как Сапир в «Кубуче» провалился, бразды правления вверены ему.

Из «Кубуча» — в «Радугу». У порога «Радуги» встретил К. И. Рудакова, художника, который приглашен иллюстрировать часть моей «Муркиной книги».

Здесь тоже нервы и боли. Рудаков обижен на «Радугу» за ее неаккуратность в уплате денег. «Радуга» обижена на Рудакова за его грубость. Мне пришлось 1 $^{1}/_{2}$ часа примирять врагов — и в конце концов ужасно разболелось сердце. Придя домой, я нашел на столе корректуру «Крокодила», сильно пощипанного цензурой. Лег в постель с таким чувством, словно меня весь день топтали ногами.

27 февраля. Держал вчера корректуру «Крокодила». Отправил ее Тихонову в «Круг». В Госиздате свидание с Булановым, художником. Заказал ему рисунки к «Чудо-дереву» и «Путанице», которые выйдут отдельными изданиями. В «Кубуче» видел бумагу для своего «Некрасова». — Сейчас вбежала ко мне Мурочка. Она учится прыгать через скакалку. Я даю ей уроки — теорию и практику этого дела. Вчера она еще не умела закидывать скакалку назад — а сейчас производит все нужные манипуляции, но медленно.

«Мама всегда по утрам печальная, но сегодня я так смешно прыгала, что она улыбнулась» — это говорит 6-летняя девочка.

Был вчера на «Бой-бабе»* с участием Грановской. Грановская действительно прекрасна — не в основном рисунке, который банален и иным не может быть, а в тысяче мелочей — поз, интонаций, вскриков, ужимок, — которые для меня являются истинным психологическим откровением.

1 марта 1926 г., понедельник. Последние два дня окрашены у меня Ольгой Иеронимовной Капицей. В субботу я слушал ее доклад в Союзе Писателей — о детском фольклоре. Доклад банальный — и неинтересный. Классификация фольклора — прежняя, только по принципу содержания. О форме этих замечательных стихов ни звука. Примеры выбраны случайные и не самые выразительные. Варианты выбраны — худшие. Энтузиазм — не обоснован и не увлекателен. Продолжался доклад часа два — в плохо отопленной, тускловатой комнате Союза, где висит пародийный плакат: «Товарищи писатели, объединяйтесь!» Посторонний человек мог бы подумать, что это не Союз Писателей, а

богадельная для старух, все места заняты скучными, полумертвыми овцеподобными старыми женщинами, которые так же далеки от литературы, от творчества и вообще от каких бы то ни было мыслей, как Александра Тутинас или Клячко. Что бы ни читать этим неумершим покойницам — они окаменело сидят и молчат. После чтения Вера Павловна Калицкая спросила:

— Нет ли у кого вопросов? — Вопросов ни у кого не оказалось. Доклад ни у кого не вызвал ничего. Я подошел к Капице и попросил позволения придти к ней на дом. Она, 80-летняя, милая, очень добрая — гораздо лучше своего доклада. Говорит, что ею собрано около 2000 детских песен — выкопано из разных сборников и подслушано по деревням ее студентками... Есть много ценных матерьялов. Привлеченный этими матерьялами, я на следующий день пошел к ней.

Живет она в самом конце Каменноостровского — в высоком огромном доме — с очень вонючими и грязными лестницами. У нее прелестная комната, вся увешанная портретами и картинами. Книги, цветы, старинные вещи, коврики, рукописи — культура, вкус, работа. Комната полна ее любимым сыном, ученым-физиком, который в настоящее время работает в Англии и вскоре должен приехать к ней погостить. Сын ее — Петр Леонидович — действительно человек замечательный. Ему 31 год. Он инженер-электрик, кончил Политехнический институт. Смолоду у него была изобретательская жилка. В 20-м году — в 2 недели у него в семье умерло 6 человек, в том числе его отец, его молодая жена (урожд. Черносвитова) и двое маленьких детей... К счастью, ему удалось уехать в Англию — вместе с акад. Иоффе. Там он пробыл пять месяцев — и попал в лабораторию им. Cavendish, где работали знаменитые физики Максвэлл, Томсон и где теперь работает Rutherford (родом из Новой Зеландии). Туда принимают только 30 человек законченных физиков. Его не хотели туда принять, потому что отношение к советским гражданам гнусное. Но в конце концов приняли, причем Rutherford сказал ему: — Я буду давать вам только 10 мин. в неделю! — Ему дали труднейшую работу — нарочно, чтобы провалить! — но он блистательно справился с нею — и с тех пор заслужил общее уважение к себе. Он смел, талантлив, независим. Огромная воля. Ему дали стипендию Maxwell'a — на 3 года. Тогда-то он и изобрел аккумулятор, развивающий огромную силу. Его избрали доктором Кембриджского университета, он ездил в Голландию, Германию, Францию — всюду делал доклады о своих изобретениях. На заводе Vickers'a он спроектировал динамо-машину, которая стоила больше 200 000 р., строилась год и

только сейчас закончена. Когда ее пускали в ход, он не отходил от нее 24 часа. После испытания этой машины его сделали Fellow of Cambridge University[1].

Ольга Иеронимовна дала мне о нем большую статью, напечатанную в газете «Temps».

От Тихонова получил вчера письмо, что моя пьеса «Сэди» всем в Художественном Театре понравилась, но ставить ее не могут, т. к. М. А. Чехов — против (по религиозным мотивам).

Прочитал сейчас Рыбникова «Детский язык». Скучно и туповато.

— Мама, купи мне что-нб. живое.

— Я куплю тебе блоху!

На следующее утро, чуть проснулась:

— Ну что, купила блоху?

Читаю Э. И. Станчинскую «Дневник матери». Очень интересно. Но Станчинская не замечает, что она говорит против себя.

3 марта, среда. Вчера Мура: — Папа, я хочу тебе что-то сказать, но мне стыдно. Это страшный секрет. (*Взволнованно бегает по комнате.*) Я тебе этого ни за что не скажу. Нельзя, нельзя! Или нет, я скажу, — только на ухо. Дай ухо твое. (Покраснела от волнения.) Ты знаменитый писатель.

Я сказал ей, что знаменитый писатель теперь один только М. Горький, и она даже как будто обрадовалась, что я не знаменитый писатель.

— Ой, как хилодно (говорит, балуясь). Запиши это детское слово. (Ей Марья Борисовна прочитала мой фельетон о детских словах*.)

— Неужели ты думаешь, — сказал я ей, — что ты дитя? Тебе уже шесть лет и т. д.

Третьего дня в «Красной» встретил Бабеля — он получал у Ионы аванс 300 рублей. Относится он ко мне по-прежнему нежно. Попросил и я сто рублей авансу. Иона дал охотно. И пошли мы с Бабелем туда — в контору «Красной» получать наши деньги. Долго мытарились и наконец получили. Он все такой же. Милое лицо еврейского студента. Цинизм и лирика. «Ой, у вас в портфеле завтрак! Это черт знает что. Поедем в Европейскую, я угощу вас как следует». — «Поедем!» — Но угоститься мне не пришлось, потому что Бабель забежал в Госбанк послать жене в Париж 100 р. по телеграфу. «Это одна секунда, К. И.!» Но прошло полчаса, он

[1] Член Совета Кембриджского университета (*англ.*).

выбежал на улицу: «Нет еще! Такая канитель!» — и втащил меня внутрь.

Я не стал бы его ждать, но мне все равно надо было в Европейскую — повидать С. В. Гиацинтову. Вынул я из портфеля свой завтрак и поел, а Бабель стоял в очереди, постоянно подбегая ко мне. Когда мы вышли из банка, он сказал:

— Ой, я вас надул, К. И. Я послал не один перевод, а два — один сестре в Брюссель, а другой жене в Париж.

И ямочки на щеках.

Едем в Европейскую. Я потребовал, чтобы извозчик въехал во двор Аничкова дворца в Союз Драм. писателей. Но тут случилась катастрофа. На лестнице у меня сломалась пластинка с зубами, и я должен был спешно вернуться домой.

4 марта, четверг. Вечер. Не заснуть сегодня, — черт бы его побрал! С «Некрасовым» опять было неладно. Я уж был уверен, что все мытарства этой книги кончились, но оказалась новая беда: в Смольном какая-то комиссия установила, что «Кубуч» имеет право издавать только учебники, и не позволила ему опубликовать мою книгу. Это вызвало новую волокиту. Поташинский позвонил М. Б-не и попросил ее не говорить мне. Она все же сказала — и я сейчас же поскакал к Поташинскому. Уладилось. Но чего это стоило! Сегодня был в Педагогическом Музее, в Библиотеке Педагогичского Института, в Детском доме Тихеевой, в Госиздате, в «Кубуче», у Клячко. Все тот же заколдованный круг. Сочинил сегодня фельетон о «Педагогах».

7 марта, воскресение. Отрывистые встречи. Вчера на Стремянной по середине дороги по тающему снегу широкий и постаревший Щеголев.

— Едете в Италию?

— Какое! Червонец падает. Валюты не купишь.

— Почему?

— Да скоро запретят покупать. Уже готов декрет.

— Ну у вас-то небось куплена.

Промолчал. — Кстати, К. И., чем кончилась ваша пря с фининспектором?

— Выиграл. Сбавили.

— А я до сих пор не знаю... Научите, как и где узнать...

И расстались. Огромная глыба покатилась дальше.

За час до этого в Губфинотделе видел Сологуба. Идет с трудом по лестнице. Останавливается на каждой ступеньке.

А третьего дня на лестнице Госиздата встретил «Прекрасную Даму» Любовь Дмитриевну Блок. Служит в Госиздате корректоршей, большая, рыхлая 45-летняя женщина. Вышла на площадку покурить. Глаза узкие. На лоб начесана челка. Калякает с другими корректоршами.

— Любовь Дмитриевна, давно ли вы тут?

— Очень давно.

— Кто вас устроил? Белицкий?

— Нет. Рыков. Рыков написал Луначарскому. Луначарский Гефту, и теперь я свободна от всяких хлопот. Летом случалось вырабатывать до 200 р. в месяц, но теперь, когда мы слились с Москвой, заработок уменьшился вдвое. — Того чувства, что она «воспетая», «бессмертная» женщина, у нее незаметно нисколько, да и все окружающее не способствует развитию подобных бессмысленных чувств.

Взял с полки Томаса Мура и загадал — и у меня получился поразительный ответ (с. 210)

Thus, Mary, be but thou my own;
While brighter eyes unheeded play,
I'll love those moonlight looks alone,
That bless my home and guide my way!*

Поразительно!

С «Крокодилом» дело обстоит так. Я мимоходом сказал Тихонову, что могу сжать эту книгу до 32 стр. Но не сумел. Тихонов рассердился и в письме потребовал сжатия. Я пошел в Госиздат, сидел, вертел, корпел — ничего! Но подошел ко мне старик Галактионов и в одну минуту дал целый ряд мудрейших советов. Милый, талантливый, скромный — мимоходом сделал то, чего не могли сделать трое «заведующих», уверявших меня, что «это технически невозможно». Вчера из «Круга» я получил карточку Главлита о том, что мой «Крокодил» разрешен. Карточка очень обрадовала меня, но на карточке нет печати и подпись на ней... А. Воронский (т. е. редактор «Круга»).

С «Некрасовым» дело тоже как будто поправилось: завтра его сдают в печать.

В Финотделе оказалось, что я уплатил весь налог за 1924—5 г. и даже переплатил 36 рублей. Эти 36 рублей зачтены в налог 1925—6 г.

Словом, тяготы с меня понемногу снимаются. Мне даже странно, что нет стены, о которую я должен разбивать себе голову.

Всего забавнее с О'Генри. Я с сентября бьюсь, чтобы Госиздат издал мои переводы отдельной книжкой, завел по этому поводу большую переписку, и вдруг оказалось, что Госиздат давно уже

1926 издал эти рассказы в «Универсальной библиотеке», но — и сам об этом не знает.

Теперь изо всех тягот остаются «Сэди», «Апостолы», «Сочинения Некрасова» и, главное, мой «Бородуля».

Но — Таракан не ропщет!!*

Читаю Бюлера «Духовное развитие ребенка». Систематизовано по-немецки, но далеко до мудрого и талантливого Сэлли (Sully).

Был вчера с Полонской у Василия Князева — смотреть его собрание пословиц. Он встретил нас суетливо, с каким-то арогантным[1] радушием. Тотчас же откупорил бутылку вина, сбегал вниз в кооператив, принес винограду, орехов, шоколадных конфет, швейцарского сыру, стал выкладывать перед нами тысячи всевозможных листков с бесконечным числом пословиц — о женщине, о черте, о еде, о браке, о взятке и проч. Причем если я хотел углубиться в какой-нб. листок, он сердился и требовал, чтобы я смотрел другой, а когда я брался за другой, он подсовывал третий и т. д.

Полонской подливал вина, расплескивая по столу и по бумагам. Сказал хорошую эпиграмму об Александре Флите:

Тля траву тлит,
Фля бумагу флит.

8 марта. Понедельник. Принял я брому — и спал всю ночь, но мучили меня два сна, очень характерные для всего нынешнего моего бытия.

Мне снилось — с необыкновенным изобилием деталей, — что я пристроил на сцену свою пьесу и что одну из ролей почему-то поручили играть мне. Я сыграл уже первое действие, но во время антракта отлучился от театра в какой-то другой конец города — и вот не могу вернуться вовремя. Мука, ужас, ощущение страшного скандала. Наконец вижу извозчика. К счастию, у него две лошади — серая и белая. Скорее! Скорее! Но он мешкает, канителит, смеется надо мной. Отчаяние.

Я проснулся в слезах. Заснул опять, и мне приснилось, что я уже в стенах театра, но — новая мука! — я потерял свою роль. А мне сейчас выступать! Сейчас выступать! О, как я бьюсь, как я бегаю, как я роюсь во всех закоулках. Побежал домой, схватил почему-то апельсин, побежал обратно, разговариваю с ламповщиком — снова чувство катастрофы и отчаяния.

Это синтез всего, что я пережил с «Сэди».

У Муры инфлуэнца. Вчера был Конухес. Очень занят, т. к. инфлуэнца свирепствует. — Я, говорит, только и отдыхаю, что по

[1] заносчивым (*устарел.*).

четвергам. Четверг мой партийный день. — Партийный? — Да. По четвергам у меня партия в винт... в Сестрорецке... у Хавкина. — Пошляк.

Боба увлекается книгой Елагина «О глупости» — и по указаниям этой книги наблюдает своего товарища Добкина, который есть, по его убеждению, законченный образец дурака.

10 марта. У меня и до сих пор дрожат руки. Сейчас я вывел на чистую воду Рувима Лазаревича Мельмана, правую руку Клячко. Этот субъект водит меня за нос две недели, обещая мне каждый день следуемые мне деньги. Сволочная «Радуга» эксплуатирует меня вовсю. Клячко дошел до такой наглости, что в ответ по телефону на мое «Здравствуйте» отвечает мне «да, да», т. е. «говори скорее, что тебе нужно».

Сейчас мне нужно 30 рублей, которые вчера обещал мне Мельман. Без этих денег я не могу внести в Союз свою долю и получить удостоверение, нужное мне до зарезу. Позвонил сегодня Мельману; узнав, что это я, отвечают:

— Уже ушел!

Тогда я попросил Лиду сказать по телефону Мельману, что его зовут из Госбанка.

Он моментально оказался дома.

Я крикнул ему:

— Это говорит Чуковский, для которого вас только что не было дома. Лгать не нужно.

И повесил трубку.

Так начался мой день. Продолжение было гораздо гнуснее. «Как помнит читатель», Ал. Н. Тихонов в ноябре выхлопотал для моего «Крокодила» разрешение в Москве. Специально ходил к Лебедеву-Полянскому. Уведомил меня об этом. И потребовал на этом основании, чтобы я предоставил право издания «Крокодила» ему. Я предоставил. «Крокодил» печатается в Печатном Дворе, я сделал все изменения согласно требованиям московской цензуры и получил от Тихонова из Москвы «карточку» Главлита с резолюцией — «печатать разрешается». Подпись: Воронский. Я торжествовал. Мне предстояло только обменять карточку Главлита на карточку Гублита, и все было бы в порядке. Прихожу к Гублит. Карпов посмотрел карточку, смеется: — А где же печать?

Печати нет. Разрешение недействительно. Быстрова (очень сочувственно) сказала:

— Дайте книгу на просмотр нам. Мы к субботе просмотрим ее.

1926 Просмотрят-то просмотрят, но *запретят. Я знаю это наверное.* То есть выбросят оттуда множество ценных мест, и для меня начнется ordeal[1] — протаскивать их сквозь Быстрову.

Пришел домой — весь дрожа. Спасибо, что со мною был Дактиль. Вечером пошел к Клячко. Он в круглых (американских) очках мирно сидит за столом и раскладывает пасьянс. В зале — «роскошно» обставленной — горит свет a giorno[2], хотя там нет ни одного человека. Мою просьбу о деньгах он пропустил мимо ушей и стал рассказывать анекдоты — неприличные — о русских проститутках, быт которых он отлично изучил. А также о цензуре, которую он тоже узнал хорошо.

Обратно в санях с Вас. Андреевым — пришел домой, сел в столовой и стал с М. Б. читать письма Нордман-Северовой. Это вконец разволновало меня — и я, конечно, не сомкнул глаз всю ночь, хотя и принял брому.

Попробую писать о Репине. Если сегодня не удастся, брошу. Мурочка выздоровела. Она во время болезни научилась «делать салфеточки» — вырезывать их из бумаги.

Приближается юбилей Монахова —17 марта.

13 марта. Суббота. В чем самоощущение старика? «Мое мясо стало невкусным. Если бы на меня напал тигр, он жевал бы меня безо всякого удовольствия». Особенно мучительно это для женщин, которые смолоду только и живут ощущением, что у них очень вкусное мясо (и не только для тигров.) Эти размышления на бумаге ничтожны — но ночью в постели они поразили меня. Я взял себя за ногу, — у, какая нехорошая нога! А всегда любил свое тело, любил прикасаться к нему...

Вчера Мура дала мне палочку: *«Волшебная! постучи, и к тебе явится фея».* И действительно: честно являлась по каждому стуку — и исполняла такие поручения, которых ни за что не исполнила бы, если бы не ощущала себя феей: например, прелестно постлала мою постель, вынесла из моей комнаты посуду и т. д.

Пишу предисловие к моей книжке о Некрасове.

Увидев у меня Репинскую книгу «Близкое Далекое», Мура прочла Близёкое Далекое.

14 марта. Утром вчера за «Крокодилом». Глянув на бумагу, висящую на двери — «Гублит», я впервые догадался, что это слово

[1] испытание (*англ.*).

[2] днем (*итал.*).

должно означать «Губилитературу!». Но гибели никакой не произошло. Напротив. Мне разрешили «Крокодила» безо всяких препон, так что я даже пожалел, почему волновался два дня. От Тихонова нет указаний, какую книгу ставить на обложке.

Очень долго писал сегодня о Репине. Вышло фальшиво, придется отказаться. Нужно сию же минуту приниматься за статью о сказке, а то тоже не вытанцуется.

Вчера вечером звонил Тынянов: «К. И., можно к вам?» Я имел мужество сказать: «Нет!»

На афишах начертано, что «Сэди» в «Комедии» пойдет 10 апреля. Посмотрим. «Уж я не верю увереньям!»*

17 марта. Сегодня в Русском Музее моя лекция о Репине — и я отдал бы полжизни для того, чтобы она не состоялась. Не знаю, почему, — мне так враждебна теперь эта тема. Берусь за нее с каким-то внутренним отвращением. Мысль об этой лекции испортила мне эти две недели и помешала мне писать мою работу о детях. Впрочем, сейчас у меня такой упадок, что сейчас я два часа подряд пробовал писать фельетон для «Красной» — и не мог конструировать ни строки. Самая фразеология трудна для меня.

Был в воскресение у Тынянова. Милый Юрий Николаевич читал мне отрывки из своей новой повести «Смерть Грибоедова»*. Отрывки хорошо написаны — но *чересчур* хорошо. Слишком густо дан старинный стиль. Нет ни одной нестилизованной строки. Получаются одни эссенции, то есть внутренняя ложь, литературщина. Я сказал ему. Он согласился со мною и сказал, что переделает. На столе у него целая кипа киносценариев, которые он должен выправлять. Он показывал мне отрывки — работа египетская. Особенно много труда вкладывает он в переделку надписей к каждой картине. Убеждает меня сделать сценарий для моего «Бородули». Я предложил: «давайте вдвоем!» Он согласился. Сейчас он увлекается поэтом Огаревым — читал мне его стихотворения, меня не увлекшие: вялая и дряблая форма по-домашнему талантливых виршей. Потом произошел эпизод, после которого я до сих пор не могу придти в себя: мы заговорили о Кюхле, и я сказал ему, как анекдот, что мне за редактуру «Кюхли» «Кубуч» предложил 300 рублей и что я, конечно, отказался, но считаю, что эти 300 р. должны быть даны ему. Он сказал:

— О нет! Я думаю, что вы и в самом деле должны получить эти деньги. Ведь вы основательно проредактировали «Кюхлю», особенно ту главу...

Мне почему-то эти слова причинили боль: брать деньги с любимого писателя за то, что прочитал его работу и по-товарищески сделал ему несколько замечаний по поводу его (очень незначительных) промахов!

И я разревелся, как последний дурак.

Он обнял и поцеловал меня.

Хуже всего то, что я пришел к нему просить взаймы 10 р. Едва я заикнулся об этом, он предложил мне 25 рублей. Потом пришел какой-то Михаил Израилевич и прочитал нам какой-то рассказ Рабиндраната Тагора (в своем переводе с бенгальского) — слабый рассказ и никчемный. Потом пришла мать жены Тынянова, сестра жены Тынянова, дочь сестры жены Тынянова — и возникла та густая семейная атмосфера, без которой Тынянов немыслим.

Мура продолжает быть феей. Полное раздвоение личности! В воскресение она расшалилась с Андрюшей Потехиным и стала нападать на меня, хватать с полки мои книги и уносить неведомо куда, я вдруг взял со стола волшебную палочку и торжественно стукнул три раза. Мура мгновенно покинула Андрюшу, перестала бесноваться и покорно встала предо мной — совсем другая, серьезная, важная. Я сказал ей:

— Фея! Тут сейчас была одна скверная девочка Мура — ты ее знаешь?

Фея сказала: — Да, немного.

— Она похитила у меня мои книги, пойди возьми их у нее и принеси на место.

— Сейчас!

И она чинно полетела в детскую, взяла похищенные книги и водворила их на прежнее место.

И снова бросилась к Андрюше — бесноваться.

«Сэди» печатается в «Модпике». «Крокодил» в «Круге». «Федорино горе» в «Радуге». «Некрасов» в «Кубуче». 4 книги сразу — в 4-х типографиях.

Читал вчера в университете о Некрасове «Сердечкин». Студенты были поражены таким нарушением всех рапповских правил — и высказывали очень дубовые мысли.

Оттуда к Зощенке — не застал. Оттуда в «Модпик».

Нужно приготовить для Бобы новое английское упражнение. Среди Бобиных бумаг я нашел изумительно циничное письмо без подписи. Как мало родители знают своих детей!

24 марта. С «Сэди» дело обстоит так [наклеена вырезка из газеты. — *Е. Ч.*]:

Ак-драма и «Комедия» пришли наконец к соглашению относительно постановки спорной пьесы «Сэди». Решено, что Ак-драма ставит «Сэди» 10 апреля, а «Комедия» имеет право поставить через три дня после Акпремьеры, т. е. 13 апреля. В случае, если Ак-драмой к этому сроку «Сэди» поставлена не будет, театр «Комедия» все же имеет право с 13 апреля играть «Сэди».

С «Крокодилом» и «Некрасовым» еще хуже. После всех полугодовых цензурных мытарств — наконец удалось дотащить эту книгу до типографской машины. Книга «Крокодил» печатается, но нужно же было так случиться, что какая-то контрольная комиссия — уже во время печатания книги — обратила внимание на ее нецензурность, очевидно, по чьему-то доносу. Произошел величайший скандал: книгу вынули из машины[1], составили протокол и т. д. Были почему-то уверены, что у меня нет разрешения Гублита, а когда обнаружилось, что и от Гублита и от Главлита разрешение у меня есть, — решили сделать нагоняй этим двум учреждениям.

С «Некрасовым» хуже всего. Вчера с Таней Чижовой мы отправились в типографию «Красный печатник» — за Новодевичьим кладбищем, и там нам сказали, что типография еще не приступила к печатанию книги. Значит, все, что говорил мне Поташинский, ложь. Все мои надежды, что книга выйдет до лета, напрасны. А лето для такой книги — зарез. Сволочи, казенные людишки, которые задницей сели на литературу и душат ее, душат нас на каждом шагу, изматывая все наши нервы, делая нас в 40 лет стариками. Вчера (или третьего дня) освободили Слонимского, портного, за которого я поручился. Вместе со мною за него поручились проф. Ив. Ив. Греков и Бродский. Прокурор сказал о Бродском:

— Его поручительству мы знаем цену. Ведь он берет за это деньги (!!).

Потрясающая история с Толлером: оказалось, что он не во всем похож на Демьяна Бедного. Этого достаточно, чтобы наши писаки «взяли назад» те поклоны и реверансы, с которыми они вчера встречали его; журнал «Прожектор» *извинился пред читателями* за то, что напечатал портрет Толлера. Бедные читатели! Они действительно пострадали — им по ошибке показали портрет писателя. Теперь уже совершенно уничтожен обычай печатать портреты Толстого, Достоевского, Гете, Леонардо да Винчи,

[1] Впрочем, в этом я не уверен. Так говорил Гершанович, заведующий Бюро сторонних заказов. — *К. Ч.*

Байрона, Горького, Чехова, которые прежде были во всех витринах. Но конечно, это затмение временно. Ведь понадобятся же портреты для школ.

Бедный Пиотровский! Он приготовился к колокольной встрече Толлера, которого он перевел, уже звонил всюду, чтобы сфабриковать очередной фальсификат общественного восторга, — и вдруг «Правда» об Эрнсте Толлере.

Был вчера у милого Бена Лившица. Чудесные две комнатки, трехмесячный Кирилл, паштет, письма от Бурлюка из Нью-Йорка и стихи, стихи... Очень ему нравится Вагинов, а я не читал, не знаю.

С. Н. Надеждин 3-го дня дал мне 200 р.

Читаю Босвелла о Джонсоне. Дивная книга.

25 марта 1926 г. Таня Чижова на днях показала мне по секрету письмо от Кустодиева. Любовное. На четырех страницах он пишет о ее «загадочных глазах», «хрупкой фигуре» и «тонких изящных руках». Бедный инвалид. Прикованный к креслу — выдумал себе идеал и влюбился. А руки у Тани — широкие, и пальцы короткие. Потом, идя по Фонтанке из «Красной», мы встретили жену Кустодиева. Милая, замученная, отдавшая ему всю себя. Голубые глаза, со слезой: «Б. М. заболел инфлуэнцей». Она через минуту — старушечка.

29 марта. Время проходит — моя лекция на точке замерзания. Был у Кони — он рассказал несколько анекдотов, которых я раньше не знал: о Николае I и его резолюциях. Один анекдот такой. Какой-то русский офицер сошелся с француженкой. Она захотела, чтобы он женился на ней, он повел ее в церковь, там произошло венчание, невесте поднесли букеты — все как следует. А через два года оказалось, что это было не венчание — но молебен. Офицер обманул француженку и привел ее на молебен, уверив, что это свадьба. А у француженки дети — незаконные. Она — в суд. Суд не имел права ни узаконить детей, ни заставить офицера жениться. Дело дошло до царя. Он написал «вменить молебен в бракосочетание».

Второй анекдот. Какой-то пьяный мужик сквернословил в кабаке. Ему сказали: «Разве ты не видишь, что тут висит портрет государя?» Он ответил: «А мне наплевать». Его арестовали. Возникло дело об оскорблении величества. Приговорили к каторжным работам. Но когда дело дошло до Николая, он написал: «Прекратить. Впредь моих портретов в кабаках не вешать. А Николаю

Петрову объявить, что если ему на меня наплевать, то и мне на него наплевать». Анекдот едва ли вероятный.

Был сегодня на репетиции «Сэди» — с 11 до 4 часов — и вот бессонница.

1 апреля. День моего рождения.

Я узнал, что «Универсальная Библиотека» без моего разрешения издала несколько книжек моих переводов О'Генри, не сочтя необходимым даже известить меня об этом и не позаботившись прислать мне хоть один экземпляр изданных книжек.

Предполагая, что это результат недоразумения, я обратился в «Универсальную Б-ку» с предложением уплатить мне гонорар за это издание, причем просил всего 30 р. с листа. Прошло около месяца, но редакция Библиотеки не сочла даже нужным ответить мне.

> Я буду ждать ответа и следуемых мне денег до 5 апр. с. г., после чего постараюсь найти иные способы для защиты моих литературных прав.
>
> *К. Ч.*

5 апреля. Ах, если бы кто-нб. взял меня за руку и увел куда-нб. прочь от меня самого. Опять не сплю, опять тоска, опять метания по городу в пустоте, опять [нрзб.] 3 раза ездил я в Сестрорецк, но там не устроился. Пишется мне уже с таким трудом, что я каждое письмо пишу первоначально начерно, а потом набело.

Внешние успехи мои как будто ничего.

8-го выходит «Федорино горе».

13-го идет «Сэди».

15-го выходит «Некрасов».

Вчера позвонил мне из Европейской гостиницы некто Уринов, режиссер кинофирмы «Межрабпомрусь», и предложил ознакомиться с киносценарием моего «Бармалея». Я был вчера у него в «Европейской» с Бобой: сценарий мне понравился — попурри из «Крокодила» и «Бармалея».

Вчера же Клячко прислал мне перевод моего «Телефона» на английский язык, сделанный одним москвичом.

Словом, славы много, а денег ни копейки. Давно миновали те дни, когда я позволял себе ездить на извозчиках. Мыкаюсь по трамваям.

На мне висела страшная тяжесть: обещал Союзу Писателей прочитать лекцию в защиту сказки. Собрал кучу матерьялов, весь горю этой темой — и ничего! Не могу выжать ни строчки! Оста-

лось одно — отказаться с позором. О, о! о! о! Но другого выхода нет.

А Тихонов все не шлет денег и не выкупает из типографии «Крокодила».

— «Ты позовешь ее, и она к тебе... не придет!» Тут Мура горько заплакала. Это по поводу феи. Мура таскала изюминки у меня из пирога. Я постучал волшебной палочкой, и явилась фея. «Скажи Муре, чтобы она не таскала у меня изюминок». Но фея не только не послушала меня, а тоже вытащила у меня из пирога изюминку. Я сказал:

— Не нужно мне твоей волшебной палочки.

И бросил палочку на диван. Мура страшно обиделась.

13 апреля. Сегодня вечером первое представление «Сэди». Почему это меня волнует? Неизвестно. Но я не сомкнул глаз всю ночь, и вчера, под чудесными звездами, бродил одиноко по городу. Просто я сроднился с театром и заразился волнением всей этой шайки, которая зовется «Комедия». Шайка такая. Папаригопуло — вежливый, чинный, литературный, словно созданный для сношений с Гублитом, Реперткомом и пр. Автор «Метелицы», которую цензура кромсала, кажется, 1 $^{1}/_{2}$ года, 30 лет. Пишет роман о театре. Сейчас за 500 р. написал агитационную пьеску для какого-то из Красных театров и зовет ее позором своей жизни.

Голичников — человек в поддевке. С. Н. Надеждин — постановщик «Сэди». К моему удивлению, оказался неплохим режиссером. Чудесно показывает каждому актеру, как нужно играть. Причем чаще всего пользуется методом пародии: «Ты, Павлуша, сыграл вот так» — и выходит в тысячу раз лучше. Но актеры оказались плохой глиной даже в этих твердых руках. Особенно плох некий старец, которому нужно играть иронического умного доктора. Сам он — сплошное разжижение мозга. Ни одной умной интонации у него нет. Надеждин бьется с ним, как с двухлетним младенцем, и в конце концов придумал: «Поднимайте брови. Разгладьте сердитки на лбу! Когда хотите сделать умное замечание, поднимайте брови». И действительно доктор стал казаться умнее. Рутковская и Чайка (пасторша и докторша) — играют как дрессированные болонки, «не портя ансамбля». Там, где нужно улыбаться, они улыбаются, где нужно возмущаться, они возмущаются, но ни одной изюминки таланта! Недурен Курзнер, бывший оперный бас — в роли Хорна. Когда посоветуешь ему какое-нибудь место сыграть вот так-то, он говорит: «спасибо, вы даете мне *новую краску*».

Надеждин играет пастора. Он установил очень благородный тон, взгляд у него стал потусторонний, получилась очень недурная фигура, но смертельно однообразная. Я сказал ему об этом и дал ему несколько советов насчет того, как внести в эту роль несколько взрывов ярости. Он очень внял моим советам, совершенно переделал всю роль, и я только тогда понял, какой это *умный* актер.

— Теперь гораздо лучше! — сказал я ему.

— Нет! — возразил он. — Так сценичнее, но первый образ — вернее.

В этом чувствуется подлинный художник. Я думал, что он гораздо хуже.

Грановская изумительна. Мешковатая, усталая, полумертвая женщина, с больными ногами. Затуркана, замучена так, что кажется, если дать ей прилечь, она моментально рассыпется. Когда глядишь на нее, испытываешь самую острую жалость: до чего довели человека! Репетирует она с 10 до 5, а потом едет на минуту домой — и сейчас же назад на спектакль. Выступает каждый, каждый день. Она одна держит собою весь театр — своими нервами, своею личностью. Ей надо быть талантливой *за всех* — за вялую Рутковскую, за дряблую Чайку, за деревянного Кякшта. Похоже, что все сели на ее спину и она должна их нести. Нужно видеть, как на каждой репетиции она *поднимает* их всех, будоражит, гальванизирует. И все дело не в механическом брио, не в наигранной веселости, а в переливчатой, многообразной игре. Игра ее именно переливчатая: вы никогда не можете привесить к отдельным моментам ее игры тот или иной ярлык: вот это — гнев, вот это — радость, вот это — удивление, вот это — страх. Все у нее перемешивается — переливается из одного состояния в другое, и такие переходы у нее ценнее всего. Это и дает иллюзию жизни. Актеры до сих пор, изображая a + b, сосредоточивались на a и b, а она на +. Кроме того, она вечная изобретательница новых приемов. Страх она изображает не так, как это принято изображать, а совершенно по-новому. Радость тоже. Гнев тоже. Как будто в какой-то клинике она специально всю жизнь изучала, как люди пугаются, радуются и т. д. Чувствуется колоссальная наблюдательность, зоркий глаз, для которого вся жизнь — матерьял для искусства. Никаких иллюзий насчет «Сэди» я не питаю. На репетиции явно обозначился полный провал. Скуука! Художник Левин вместо Паю-Паю устроил какие-то Озерки. Те сцены, когда нет Грановской, хоть не смотри.

Мура: Я придумала детское слово. Вкуснянка вместо запеканка.

А «Сэди» провалилась. В конце спектакля не было ни одного хлопка. Меня это не очень потрясло, но мне больно, что это отва-

дит меня от театра. Надеждин прямо плох, — пустое место, очень скучное. Грановская — играет через силу, — слишком ноет в 3-м акте. Игра ее на первом представлении — была раз в десять хуже, чем на первой репетиции. Да и не дело театра «Комедия» играть серьезную трагедию. Публика ждала не того. Третий акт непременно нужно переделать. Очень хороша Рутковская — вылитая Елена Васильевна Пономарева, подруга А. Ф. Кони.

Ох, как грустно, что мне и в эту ночь не заснуть.

19 апреля. С «Некрасовым» так: типография страстно хочет печатать мою книгу, но корректор Коган до сих пор не удосужился в течение 8 месяцев продержать корректуру. Пять листов, проправленных мною, он потерял!! Долго доказывал, что эти листы уже давно сданы им в типографию, но Андрей Слюсарев отыскал их у него в столе — среди ужасающего беспорядка. Этот мерзавец задержал мою книгу дней на десять. Типография предоставила мне несколько машин, чтобы напечатать всю книгу в три дня, а он и до сих пор не закончил корректуры последнего листа.

— У меня не только «Некрасов»! — говорит он в свое оправдание.

Я очень волновался бы этим предательством, но у меня есть более серьезные печали. «Союз Просвещения» внезапно выкинул всех писателей за борт, — и я оказался вне закона. Чтобы быть полноправным гражданином, я должен поступить куда-нибудь на службу. Единственная мне доступная служба — сотрудничество в «Красной газете». Служба ненавистная, потому что меня тянет писать о детях. Но ничего не поделаешь, и вот уже две недели я обиваю пороги этой гнусной «Вечерки»: примите меня на службу на самое ничтожное жалование. Кугель и рад бы, но теперь в «Вечерке» началась полоса «экономии». Хотя «Вечерка» за этот год дала чистой прибыли 90 тысяч рублей — решено навести экономию, сократив гонорары сотрудникам и уничтожив институт штатных писак. И это как раз в ту минуту, когда мне нужно сделаться штатным. Водят меня за нос, откладывают со дня на день, заставляют просиживать в прихожих по 3, по 4 часа — и в результате обещают дать ответ завтра. Это так надоело мне, что вчера в воскресение я отправился к Кугелю (Ионе) на квартиру — в Лесной. Грязь невылазная. Адреса его я не знал. Шагал туда 4 версты и обратно версты 2 $^{1}/_{2}$. Обещал дать ответ завтра. Живет он у самого леса. У него своя дача. Куры. Грязь. Неубранная кровать. Открыла мне красавица — его дочь. Его разбудили. Он в платке. Руга-

ет порядки «Красной Газеты»: «мы дали им 90 т. чистого доходу» и т. д. **1926**

Мое непосланное письмо к Чагину.

«Многоуважаемый Петр Иванович. В октябре 1925 г. Вечерняя «Красная газета» приобрела у меня мой роман «Бородуля» для немедленного напечатания. По условиям с редакцией роман должен был закончиться печатанием к 15 декабря, дабы я мог немедленно издать его отдельною книжкою. Но прошло 5 месяцев, а мой роман все еще не начат печатанием. Дольше ждать я не могу».

24 апреля. Суббота. Был у меня Тиняков. Принес свою книжку и попросил купить за рубль. — Что вы теперь пишете? — спрашиваю его. — Ничего не пишу. Побираюсь. — То есть как? — А так, прошу милостыни. Сижу на Литейном. Рубля 2 с полтиной в день вырабатываю. Только ногам холодно. У меня и плакат есть «*ПИСАТЕЛЬ*». Если целый день сидеть, то рублей пять можно выработать. Это куда лучше литературы. Вот я для журнала «Целина» написал три статьи — о Некрасове, о Есенине и (еще о чем-то), а они ни гроша мне не заплатили. А здесь — на панели — и сыт и пьян. — И действительно, он даже пополнел.

Много встречался с Сейфуллиной. Она гораздо лучше своих книг. У нее задушевные интонации, голос рассудительный и умный. Не ломается. Играет с матерью своего Валерьяна в «подкидного дурака». Теперь она покровительствует Тамаре Владимировне Кашириной, новой жене Бабеля, которая не сегодня-завтра родит Бабелёнка. С этой Тамарой Владимировной, Валерьяном Правдухиным и Лидией Николаевной Сейфуллиной мы ездили вместе в Сестрорецк. Успели наговориться. Тамара Владимировна красивая, чудесные зубы, легко краснеет, артистка Мейерхольда, имеет дочь шести лет, приехала в Питер с сестрой, живет в номерах, хозяйка коих торгует мебелью. Каширины были люди богатые, она, видимо, женщина очень балованная — хоть и старается теперь прибедниться, но плохонькие дачки ей не нравятся. Положение Бабеля незавидное: он должен содержать двух жен, сестру, мать — да купить в Питере квартиру, да нанять для Кашириной дачу — то-то он был так озабочен в последнее время. Тамара Владимировна несколько раз говорила о нем с состраданием. Мне и в голову не приходило, что Бабеля можно жалеть. Он всегда казался мне победительным. Сейфуллина подарила мне свои книжки — пишет она гораздо хуже, чем я думал: борзо, лихо, фельетонно, манерно. Глаголы на конце. Прилагательные после существительных. К добротным кускам пришито много дешевки. Это — Нагрод-

ская новой эпохи. Еще 2 года, и у нее будет 12 томов. Но сама она — как и Нагродская — гораздо лучше своих сочинений.

Был я у Бена Лившица. То же впечатление душевной чистоты и полной поглощенности литературой. О поэзии он может говорить по 10 часов подряд. В его представлении — если есть сейчас в России замечательные люди, то это Пастернак, Кузмин, Мандельштам и Константин Вагинов. Особенно Вагинов. Он даже сочинил о Вагинове манифестальную статью для чтения в Союзе Поэтов и — читал ее мне. Он славит Вагинова за его метафизические проникновения. Странно: наружность у него полнеющего пожилого еврея, которому полагалось бы быть практиком и дельцом, а вся жизнь — чистейшей воды литератора. Между прочим, мы вспомнили с ним войну. Он сказал: — В сущности, только мы двое *честно* отнеслись к войне: я и Гумилев. Мы пошли в армию — и сражались. Остальные поступили как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком. Маяковский... но впрочем, Маяковский никого не звал в бой...

— Звал, звал. Он не сразу стал пацифистом. До того как написать «Войну и мир», он пел очень воинственные песни.

У союзников французов
Битых немцев целый кузов,
А у братьев англичан
Битых немцев целый чан.

3 мая. Пасха. Ветер и снег. Холод такой, что художник Рудаков, долженствовавший сегодня придти ко мне рисовать Мурку, не пришел: зимнее пальто у него упаковано, а в летнем нельзя рискнуть выйти.

Был у меня Бен Лившиц, принес свою книжку «Патмос», только что вышедшую. Он рассказал, что дочь Гумилева в тяжелой нужде, — хлопочет о том, чтобы помочь ей. Его теща пекла у него куличи. Они «сели». Он прикрепил к ним бумажку:

Нет изящнее и проще
Куличей работы тещи.

Вечером я пошел к Сейфуллиной. На столе у нее разыскал томик Ал. Толстого. Стал читать ей «Дракон» — любимую вещь — она не могла дослушать до конца: «ой, какая скука!» «Сон Статского Советника Попова» тоже не очаровал ее: у нее нет никаких стиховых восприятий. У Правдухина тоже. Даже странно.

А я в последнее время увлекаюсь стихами: Фетом, Жуковским, Броунингом. У меня теперь шкафик для поэзии — где собраны английские и русские поэты. (На Пасху я купил два книжных шкафа — у Соломина.)

Бабель все не приезжает из Москвы. Беременная Тамара Владимировна ждет его, а он в Москве пытается получить свой заработок из Кино (правление коего попало под суд) и из «Красной Нови».

Я сказал Сейфуллиной, что она пишет очень неряшливо. — Да, сказала она, — я ведь очень по-хулигански отношусь к своему делу. Пишу быстро, без помарок. Вот только с Каин-Кабаком много возилась.

Третьего дня получил новый подарок от Ломоносовой: 2 банки дивного какао Вангутен, кофточку для Муры и шоколад.

Это меня страшно обрадовало!

7 мая. Сегодня Мура:

— Папа, кем ты меня сделаешь?

— Не знаю...

— А ты, мама?

— Не знаю.

— Сделай меня художницей.

Это после рассматривания картин Третьяковки.

20 мая. Я в Луге. У Любовь Андреевны Луговой. Последние ночи совсем не сплю — и противен себе, как сифилитик. 15 мая стали печатать в «Красной газете» «Бородулю», но такими небольшими порциями, что сразу угробили вещь. У Любовь Андреевны мне хорошо. У нее отличный домик, и она — добрая женщина. Ее преданность Луговому изумительна. Вся комната — все стены превращены в иконостас, где единственное божество — ее неталантливый муж. Ей он искренне представляется величайшим и благороднейшим гением, и искренне презирает всех других литераторов за то, что они затмили его славу. После его смерти ей пришлось очень тяжело — во время революции она стала кухаркой в Доме Литераторов (где отморозила себе концы пальцев, чистя пуды мерзлой картошки), но и в этом она не потеряла своей гордости: стоя у гнусной плиты, она ни на миг не забыла, что она «жена Лугового».

Мою «Белую Мышку» (по Лофтингу), предложенную мною в Госиздат, Лилина отвергла и написала о ней такой отзыв, который нужно сохранить для потомства: [Вклеен листок. — *Е. Ч.*]

Это автограф подлой Лилиной:

> К. Чуковский
>
> «Приключения белой мыши» очень сомнительная сказочка. Никаких законов мимикрии в ней нет, а антропоморфизма хоть отбавляй.

Боюсь, что нас будут очень ругать за эту сказочку. Тут как-то все очень очеловечено вплоть до лошади, которая живет в кабинете.

Кажется, 5 июня. Водворился у Штоль. М. Б. в городе. Эта неделя была пуста и страшна. Нас замучили письма Ломоносовой, зовущей меня в Италию, Мак грубо заявил мне о гнусном провале «Бородули», и Контроль задержал мою уже отпечатанную книгу о Некрасове — лишь оттого, что там сказано в двух местах государь император, а нужно — царь. Приехал сюда замученный, даже дивная природа не радует. Читаю Gilbert'a «Original Plays»[1] и не могу решить, совершенная ли это дрянь, или можно бы перевести какую-нб. пьесенку.

[Вложен листок]:

Репин

Старый художник у моря живет, сединой убеленный.
В море вскипают валы, волны как время бегут.
Старец думает думу о жизни, шумящей как море.
Ветер искусству его вольную славу поет.

Радимов

1 июля 1926 г.

10 июля, суббота. В Луге. Блаженствую. Вчера Лида отряхнула прах родительского дома — уехала с дачи в город искать себе службы. Коля, Марина и Татка — совершенно неожиданно оказались у меня на даче — на моем иждивении. Пропадает лето, не могу отдыхать. Сегодня в городе идет необыкновенный процесс: судят доктора Лебедева, который (совместно с другим доктором) написал письмо в редакцию о том, что служащая в больнице врачиха обращалась с сиделкой нисколько не грубо и не заставляла ее подавать себе шубу. За это письмо в редакцию, являющееся опровержением напечатанной в газете заметки, обоих докторов привлекли за клевету — *хотя письмо в газете не появилось. Газета не напечатала письма, но возбудила против его авторов преследование.* Более чудовищного издевательства над свободой печати и представить себе нельзя. Вчера вечером был у Лебедева, он бодрится, но нервы вздернуты у него до крайности.

В то же самое время, наряду с этой строгостью, происходит быстрое воскрешение помещиков. «Нэп». Инженер Карнович, работающий в Земотделе, вернул дачу себе — большую, над рекою (там теперь живет Маршак, Луговой, [нрзб] и т. д.). Дача Фриде, бывшей певицы, так огромна, что ее не обойдешь, не объедешь, дача Колбасовых (роскошная!), где пансион Абрамовых, отдана

[1] «Оригинальные пьесы» (*англ.*).

для эксплуатации владельцам. Те сдают свои дачи жильцам и получают таким образом огромную ренту со своего капитала. Сейчас возвращают Поповым их чудесную Поповку — огромную дачу, отведенную теперь для дома отдыха. В этом доме отдыха больше ста человек. Говорят, что она возвращена владельцам и что дом отдыха на днях закрывается, а Поповы возвращаются в родное гнездо. Причем Дм. С. Колбасов рассказывает, что чуть, бывало, он завидит, что идут чины Земотдела, от которых зависело возвращение дачи, он бросался бегом в город и приносил мешок бутылок пива — они садились в беседке и начинали пьянствовать.

12 июля. Вторник. Пишу книжку «Ежики смеются», но книжка выходит без изюминки. Я здоров, сплю по ночам хорошо, а писательство не вытанцовывается. *А доктора Лебедева оправдали.* Дело в общих чертах таково. В зубной лечебнице служит зубврач Оппель, 30-летняя женщина. Довольно симпатичная, хорошая работница. Ее невзлюбила одна сиделка, по имени Катя, и вот муж этой сиделки сочинил статейку «Об офицерской жене и о несчастных Катях», где, конечно, писал, что пора гнать офицерскую жену (мадам Оппель) красной метлой, так как она помыкает Катями, постоянно выкрикивая: «Катя, подай стул, Катя, подай пальто»; по словам заметки, лечит она больных кое-как, глядя по пациенту: если ты простой рабочий — не являйся к ней. Ив. Влад. Лебедев послал в «Кр[асную] правду» заметку, что эта статейка не соответствует истине. «Кр[асная] правда» этой заметки не напечатала, но привлекла его к суду «за ложные показания». Суд этот был 15-го июня, кажется, и *Лебедева оправдали.*

15 августа, воскресение. Вчера Мура рисовала утку на воде, приговаривая:

Волны плывут, вот такие волнухи,
Волны плывут, вот такие лягухи,
Плывет, плывет уточка,
Уточка-малюточка.

Лягуха — у нее похвала.

Вчера на нашей теннисной площадке дети играли в поезд. Машинистом был Адик-Мельник. На каждой станции он проверял вагоны. Сделал из палки клещи и завинчивал этими клещами носы. Все семеро детей (вагоны) покорно подставляли ему свои лица для этой мучительной, но (по игре) необходимой операции.

В июле была арестована Лида*. 13-го ее освободили. Подействовали мои хлопоты о ней. — Я ездил в ГПУ и говорил с Леоно-

вым. Лиду выцарапала Марья Борисовна — привезла вчера вечером в Лугу. Вся эта история вконец измучила меня. Мечтаю об отдыхе, как о фантастическом счастье. Марья Борисовна тоже замучена. Привязалась к нам собака Лорд. Красноармейцы зовут ее Лодырь.

Коля показал себя истинным героем. Бегал по всем учреждениям. Устраивал Лиде передачу. Марина живет у нас — и несравненная Татка.

Вчера я взял Муру в лодку вместе с двумя Андреями — Вознесенским и Мельником. В Андрея «Вознесенку» она влюблена — минуты не может прожить без него. Лодка — досчаник, — ящик с острым концом. Грязная, пахнет смолой, но не течет. Перевернуться невозможно, но и ехать почти невозможно. Мы чудесно скользили по воде — но я оставил лодку на детей (у берега), а сам ушел на минуту с Мурой — взять хлеба с маслом — прихожу: лодки нет, дети разбежались. Когда я вернулся домой, обнаружилось, что к довершению всего у Андрея Вознесенского пропали сандалии.

Казалось бы, что Лида должна радоваться, что ее отпустили. Так нет: почему не выпустили Катю Боронину, ее подругу, которая и втянула ее во всю эту историю.

18 февраля. Максимов-Евгеньев торгуется по поводу некрасовской «Ясносветы». Ему удалось списать эту сказку у Картавова, и теперь он требует за нее 175 рублей — по 20 коп. за строчку, как если бы он был Некрасов. Сам Некрасов за эту вещь вряд ли получил четверть того гонорара, который требует у меня Максимов за переписку. Причем ведет себя как лавочник: «запросил» четвертак, потом сбавил до двугривенного — и спрашивает по телефону: «какая же ваша окончательная цена?» Все это очень удивило меня. Я думал, что он бездарный писака, туповато влюбленный в Некрасова, но никогда не подозревал, что Некрасов для него — товар. И каков жаргон этого почтенного неомарксиста, бывшего народника и пр. и пр.:

— Ну, пусть будет не по-вашему, не по-нашему — 100 рублей за всё!

С «Некрасовым» новое горе. После того как я с таким волнением выбрал шрифт, колонцифры и проч. — вдруг Ив. Дм. Галактионов ни с того ни с сего распорядился *переменить во всей книге курсив* — и теперь вся книга испорчена самым неподходящим курсивом. Я поднял было бучу, но мне сказали, что, если самоуправство Галактионова дойдет до начальства, Галактионову несдобровать, он и так теперь висит на волоске. Перед этим доводом я умолк, — но моя книга стала мне заранее противна.

20 февраля. Наконец-то получилась бумага от Лебедева-Полянского по поводу моего «Некрасова». Бумага наглая — придирки бездарности, — но главное то, что в конце сказано:

«Несмотря на все сказанное, должен отметить, что проделана большая и интересная работа. Так или иначе она должна быть опубликована».

А придирки такие:

«Ровно ничего не дают пустяковые замечания к стихотворению «Влюбленному»... «Ничего не дают соображения о времени написания «До сумерек».

«Критик Дудышкин был любимец Белинского», — говорю я. *Лебедев-Полянский*: «Такая характеристика дает ложное представление о Дудышкине».

Результаты: «К собранию сочинений обязательно должен быть дан марксистский литературно-критический очерк». Явно чей — Лебедева-Полянского! 10/II 1927.

Нет, это следовало бы рассказать по порядку: как Госиздат печатал «Стихотворения» Некрасова. Ионов заключил со мною договор в 1925, чтобы к 1-му маю я сдал ему стихотворения Некрасова. [Приписано карандашом. — *Е. Ч.*]:

Через 10 лет: Вижу, что Лебедев-Полянский был прав.

Ночь на 24 февраля. Сейфуллина пригласила меня на завтра, на 5 часов. Я лег, Боба стал честно зачитывать меня Пушкиным, но я понял, что не засну. Встал, оделся, выбежал на улицу, в Дом Ученых. Вино, 32. Вместе со мною к Сейфуллиной звонилась еще какая-то компания. Оказались: Чагин, его жена Марья Антоновна и Ржанов Георгий Александрович, стоящий во главе отдела печати (кажется). На двери медная доска — очень большая — «Сейфуллина — 27 — Вал. Правдухин». Наконец открыли. Лирика, вино. Сейфуллина пронзительным въедливым голосом стала ругать Чагина: «Ваша газета — желтая, вы сами ее не читаете, сколько раз я звонила вам: читали эту мерзость? (Про какую-нибудь статью.) А вы и не читали, потому что вы сволочь». Чагин весело оправдывался. Видно было, что ругательства Сейфуллиной для него привычны. Сейфуллина вообще взяла тон ругательной искренности. Мне: «Я Чуковского люблю, и когда он со мной, он вполне мной овладевает, а когда уйдет, мне все кажется, что он надо мною смеется». Иногда искренность и, так сказать, установка на детскость:

— У меня охота замуж идти. Хочу, чтобы мы с Правдухиным в законе жили. Идем, говорю, в Загс! А он: ладно. Только фамилию выберем себе Собачкины. Иначе я не согласен!

— Ужасно мне охота в красном гробу лежать — но так, чтобы я видела, что я лежу в красном гробу. Вот бедная Лариса (Рейснер) — с такой музыкой хоронили, а она и не слышала.

— Захотела я под Анатоля Франса писать. Потому прежние мои писания — знаю сама — плохи. Нужно по-другому, по-культурному. Потела я года — даже больше, сочинила, ну просто прелесть: пейзаж, завязка, все как у людей. Стала в Тюзе читать — чувствую: провалилась! Дышит вежливо аудитория, но пейзажи мои

до нее не доходят. Ужасное положение, когда кругом дышат вежливо. **1927**

Пришел муж Софьи Сергеевны, нарком Белоруссии Адамович. Очень плечистый, спокойный, умный, сильный. Из простых рабочих. Сейфуллина и на него накинулась со своей пронзительной детскостью. — Что за язык — белорусский. Выдумали язык — наркомы. Собрались, накупили французских и немецких грамматик, истратили триста рублей и выдумали белорусскую мову. Да дай ты мне три червонца, я тебе лучшую мову придумаю. А ведь простой народ вашей мовы, как и в Украине, не знает.

Он спокойно: — Ну что ж, значит, миллионы людей ошибаются, вы одна знаете правду.

Она: — Ну что это за язык! На Украйне каждую минуту, войдешь в комнату, на тебя гаркнут по-звериному: «*Будь ласка* зачиняй двер!»

Выпили. Адамович стал поднимать свою жену к себе на плечи. (В нем шесть пудов, а в ней четыре.) Потом предложил проделать тот же номер с Сейфуллиной.

Она: — Я честная женщина и с чужим мужчиной не играю. — Тут же произнесла по-украински целое стихотворение наизусть, с утрированными украинскими интонациями, и тогда только я понял, какое у нее хваткое ухо. Это ухо сказывается и в ее повестях: оттенки простонародных речей она улавливает мастерски и запоминает надолго в таком же утрированном виде. Мы невольно зааплодировали ей.

Марья Антоновна Чагина: — А у нас собака даже стекла ест. Стекла и селедку.

Сын Чагина недавно был изображен на обложке «Красной панорамы», зарисован Грикманом.

У Валериана Правдухина собака Рети. Двухмесячная. Ученая. Он даст ей кусок мяса, она плачет над ним, заливается, но не решается взять. И только когда он скажет: тубо! — она — хап, и съест.

— Недавно был Бухарин у меня. Звонит. «Можно ли мне будет приехать, поговорить о Есенине». Приезжайте! А сама пьяная. Хватила для храбрости коньяку — и опьянела вконец. Он приехал. Я попробовала его тоже вот этаким манером (то есть ругательно, наивно, à l'enfant terrible[1]), но сорвалось. Он, уезжая, сказал: какой славный Правдухин, но как он может жить с этой ужасной Сейфуллиной!

«У женщины, которую любишь, самое музыкальное — брови».

[1] В духе несносного ребенка (*франц.*).

1927 Чагин скоро ушел на заседание. Через часа 1 $^1/_2$ вернулся — мы столкнулись с ним у калитки. Он звал вернуться, но я ушел, чуть только вся компания стала пьянеть. Противно сидеть трезвому среди пьяных — то есть пьяным противен трезвый.

Чагин ликовал по поводу победы, которую он одержал, получив разрешение издавать «Вокруг Света». Дело было такое: в начале прошлого года «Красная газета» захотела издать «Вокруг Света» и представила проект в отдел печати. Проект отделу печати так понравился, что начальник этого отдела Нарбут решил сам издавать «Вокруг Света» в «Земле и Фабрике», которую он возглавляет. Предприняв это издание, он запретил «Красной газете» делать параллельную работу — то есть использовал для корыстных целей чужую идею. Теперь Чагину разрешили вести «Вокруг Света» здесь.

Говорят, в журнале «На литературном посту» есть статья «Искаженный Некрасов», очевидно, посвященная мне*. Опять у меня будут бессонницы, опять борьба *за право работать* над любимым поэтом. Бездельники и чиновники, сами ничего не сделавшие и не желающие делать, мешают мне докончить мой труд.

Утро 24 февраля. Мура сегодня рожденница. Я дарю ей лото, Боба — матрешек, М. Б. — домино. Все в ней хорошо, в Муре, но ее женолюбие стало слишком аффектированным.

Мой друг
Капитан Кук.
Это называется
Которая кусается!

Позвонили по телефону. Я взял трубку и сказал:

— Я вас скушаю!

Дети страшно расхохотались. Играли в лото. Младший расплакался. «Мне дали дурную кардонку».

Были мы с Мурой и Дорой в Летнем саду. Она запомнила ту скамейку, возле которой мы видели с ней летом «сокороножку» — 2 года назад.

Играют в гусей. Милые вечные детские ножки так же стучали в 1227, в 1327, в 1427, в 1527, в 1627, в 1727, в 1827 — так будут стучать в 2027-м и 20027-м.

4 марта. С Татьяной Александровной плохо... Рассказывала Татьяна Александровна, что во время болезни ее посетил

Ник. Дм. Соколов, «автор приказа № 1»*. Бедняга — он постарел, одряхлел, полчаса всходил на лестницу, щеки впалые, виски впалые — Татьяне Александровне его жалко до слез. Едет в Польшу — юрисконсультом полпредства, там, говорит, отдохну, а какой возможен отдых — там — в котле.

С «Некрасовым» как будто все улажено. Вчера я подписал к печати 25-й лист его стихотворений — и сдал в сверстку все гранки. Мучивший меня курсив будет заменен прежним — для этого я сегодня утром посетил И. Д. Галактионова, и он с удивительной кротостью признал свою ошибку и взялся ее исправить — прелестный, русский, курносый, лохматый человек, в орбите которого всегда так светло и уютно. Я очень рад, что не лез с жалобами на него к начальству, а поговорил прямо с ним.

Удастся ли довести до конца *моего* «Некрасова»? На горизонте опять не без туч: Ольминский, — в «Литературном посту» — снова обрушился на меня, ругая на чем свет... издание 1919 года... Никто не «одернул» его, как принято теперь говорить. Я хотел было ответить ему, да нет времени. Лучше употреблю это время на улучшение нового издания «Некрасова».

У меня ведь еще не дописан биографический очерк для введения в книгу, нет вступительного «От редакции» и пр. и пр., не написано примечаний к «Современникам» и «Мне жаль», а остальные примечания требуют сугубого контроля. Между тем не сегодня завтра свалятся на меня корректуры «Панаевой», которую я печатаю в «Academia»...

Утром сегодня был в Пушкинском Доме. Как приятно там работать; не тесно, книги подают моментально, нет той суеты, что в Русском Отделении Публичной Библиотеки, где все служащие замучены, закружены работой — тысячами требований из читального зала. В этом году число читателей увеличилось страшно; подавальщики книг таскают на себе пуды фолиантов, и даже совестно обращаться к ним с требованиями. 1-го марта я участвовал в отвратительном деле: купил за сто рублей у Евгеньева-Максимова копию с рукописи Некрасова, который уступил ее мне — писатель писателю — и даже расписочку выдал — позорную. А на стенах у него Салтыков-Щедрин, Михайловский, Елисеев, Добролюбов, Белинский. И когда он продавал мне право на издание стихотворений Некрасова, которое ему не принадлежит, и пересчитывал деньги, которых не должен бы брать, они кивали головой и говорили: «ах ты прохвост», «ах ты сволочь собачья!»

В Пушкинском Доме Модзалевский показал мне новые приобретения: Керн в молодых годах, Елим Петрович Мещерский, Ив. Ив. Дмитриев, Москва в эпоху Пушкина. «Керн» мне знакома.

Она принадлежала Щеголеву. Должно быть, он очень нуждается, если расстался с такой примечательностью!

От Репина письмо. Впрочем, только отрывок. Остальное погибло*. Да и как не погибнуть, если он прямо пишет:

«Кому ведать надлежит, следят за вашей перепиской: вы на счету интересных — еще бы!»

Понедельник. С М. Б. у Сейфуллиной. Она, между прочим, сказала: «Я в *мощей* не верю». Собаку Правдухина зовут Рамзай Макдональд. Правдухин говорит собаке: Рери! — она ни с места. Ари! — она ни с места. Мери! — она ни с места. Бери! — она хватает баранку. Поразительный слух.

Звонили Сейфуллиной из «Смены»: — Дайте нам что-нб.; *только хорошее*! — Хорошего не могу. Уже год не пишется! — Да, *это бывает* (говорит подросток лет 15-ти.) — Я пришлю вам из-за границы. — Нет, заграница нас не интересует.

Сейфуллина сегодня едет в Берлин. В Париж ей не дали визы.

Потом были у Татьяны Александровны. У нее много молодежи — она улыбается. Мне она говорила, что смерти не боится нисколько.

Сейфуллина боевая: вечно готова выцарапать глаза за какую-то правду. Даже голос у нее — полемический. Полна впечатлений вчерашнего диспута — о критиках. Ей показалось, что Эйхенбаум слишком кичится своим дипломом и обижает поэтов из ЛАППа, про которых Шкловский выразился, что «им готов и стол и дом» (т. е. что им покровительствует власть). Стала она разносить формалистов — очень яростно; ярость у нее ежедневная, привычная — ее любимое состояние. Был у нее Борисоглебский, пришел просить ее войти в Правление Союза Писателей — она как налетит на него: — Не желаю! Не желаю сидеть рядом с Замятиным, с Эйхенбаумом, с Тыняновым, с Томашевским! Не желаю!

— Лидия Николаевна! Там не будет ни Тынянова, ни Замятина, ни Эйхенбаума, ни Томашевского.

— Не желаю сидеть рядом с Тыняновым.

— Но Тынянова не будет!

— Никто меня не может заставить... и т. д.

Ей больше всего нравится культивировать ярость — слепую. А ее Валерьян Павлович — неглупый и знающий. Ему 35 лет. А ей 38.

— Вот какого молодого человека я влюбила в себя!

Помолчала. — Что ж! Хоть мне и 38, я всегда могу иметь хоть десять любовников.

Играла в подкидного дурака — с каким-то агрономом и какими-то барышнями.

Вторник. Сегодня уезжает Сейфуллина в Берлин.

Мура не любит уменьшительных: я на кортах, лягуха, подуха, картоха.

1 апреля. День моего рождения. Наконец-то я могу написать хоть открытку Лиде. Был занят сумасшедше и все пустяками — корректура Панаевой-Головачевой и корректура «Некрасова» сразу. Корректуры я держать не умею, должен сто раз проверять себя, а никому доверить не могу, потому что Т. А. Богданович еще вчера в «Провинциальном подъячем» вместо «тонула» оставила слово «покуда».

Теперь мне осталось 1) продержать 20 форм корректуры моих примечаний (около 18 листов).

2) 6 последних листов «Стихотворений» Некрасова (мелкий шрифт: на самом деле там листов 12).

3) 18 листов второй корректуры Панаевой-Головачевой.

4) Дописать биографию Некрасова.

5) Составить 6 новых примечаний.

6) Сделать введение к Собранию стихотворений.

А мне хочется писать детскую сказку, и даже звенят какие-то рифмы. А условия, при которых проходит эта работа. Бьют палками, топчут ногами — в Госиздате. А в «Academia» вежливо и весело не платят.

5 апреля. Мура поднесла мне ко дню рождения стихи:

Есть у нас милый папа
Папа Кандалапа,
и проч.,

сочиненные ею в постели.

24 апреля. Пасха. Кони:

«Был с Пассовером в Царском Селе. Гуляем. Я говорю ему:

— Ваши со...

И запнулся. Соотечественники? Но отечества у них (у евреев) нет. Со...братья? Нет.

Он сказал: не стесняйтесь пожалуйста. Вы хотели сказать — со-прохвосты.

1927

Боборыкин в Дуббельне все присаживался к нашему столу (где мы с Гончаровым). Однажды, вспоминая Никиту Крылова, я повторил по памяти одну его лекцию. (И тут великолепная пародия на лекцию Никиты, где ко всякому латинскому слову дан московский, ультрарусский комментарий.) Боборыкин выслушал и осенью в Питере приходит ко мне: — А. Ф., повторите, как вот об таком servituse[1] говорил Никита Крылов? — А зачем вам это надо? — Роман я написал «Китай-Город», где изобразил вас в виде горького пьяницы, вспоминающего Московский университет и «Никиту».

«Ах, женщины бывают такие бестактные. Кавелин был женат на сестре Корша. Как и все Корши, она была очень глупа. Когда я в первый раз был у Кавелина, она вдруг говорит:

— Я рада, что могу лично познакомиться с вами. В последнее время мой муж приглашает к себе черт знает кого. Каких-то шпионов.

Кавелин вспылил:

— Шла бы ты к себе в спальню, — сказал он выразительно.

История о том, как Пален просил у Кони прощения.

История о том, как Вл. Соловьев видел черта.

Он лежит на кровати, обмотанный компрессом. У него воспаление легких. Вот какие руки стали — показывает он: жилистые, страшно худые.

— Но ничего. Летом пополнею. (Ему 83 года.) И рассказывает старые свои анекдоты, которые рассказывал тысячу раз. И только взглядывает иногда воровски: слыхал ли я этот анекдот или нет? Но я слушаю с живейшим интересом — даю ему полную волю плагиировать себя самого. Нового содержания его душа уже не воспринимает. Вся его речь состоит из N-ного количества давно изготовленных штучек, машинально повторяемых теперь.

Впрочем, порою и новое. «Я читаю лекции врачам, приехавшим совершенствоваться, из провинции. Они попросили меня прочитать о литературе. Я спросил: — О ком вы желаете? О Тургеневе? — Молчат. — О Чехове? — Молчат. — О ком же?

— О Достоевском! — кричат женщины.

---

[1] покорном слуге (*лат.*).

— О Толстом! — кричат мужчины.

Прочитал я им о Толстом, причем сказал, что всякая встреча с Толстым для меня есть *дезинфекция души.*

И что же бы вы думали! Когда я кончил лекцию, вдруг встает какой-то слушатель, говорит мне благодарственную речь и возглашает, что мои лекции для них — истинная дезинфекция души.

Кончил 5-ый том воспоминаний. Госиздат хочет приобрести у него эту книгу. Отложил переговоры до сентября.

Марксисты из-под палки: Медведев и др.

26 апреля. Был вчера у Тынянова. Его комнатенка так уставилась книжными шкафами, что загородила даже окна. Бедная Инна исхудала — от науки. Он объяснял ей задачу, когда я вошел. На диване рукописи — самые разные — куски романа о Грибоедове, ученая статья об эволюции художественной прозы, переводы из Гейне.

Тут же и корректуры этих переводов. Прочитал о Белом Слоне и «Невольничий корабль». Книжка выйдет в «Academia». Рассказывал о Пиксанове. Пиксанов передал ему через Оксмана привет, по поводу «Кюхли», а про «Мухтара» сказал, что этот роман вызвал в нем, в Пиксанове, желание напечатать те матерьялы о Грибоедове-дипломате, которые у него имеются. Тынянов написал Пиксанову, что ему хотелось бы хоть глазком взглянуть на эти матерьялы. Пиксанов отвечал благосклонно. Тынянов, будучи в Москве, зашел к Пиксанову, но тот принял его величаво и сухо, свысока похвалил, подарил «Горе от Ума», — а о матерьялах ни слова. «Он молчит, и я молчу». А сам он, Пиксанов, разбирается в этом деле очень плохо. Называет безвестным капитаном знаменитого Бурцова, врага Пестеля, — «вот, посмотрите, Корней Иванович!».

Очень радуется, что напостовцы сдали свои позиции, что там бьют смертным боем критиков-марксистов. (Прочтите последний №.) С восторгом отзывается о романе «Мангэттен» Дос Пассоса. «Американская литература расцветает необычайно. Начинают казаться какими-то старинными Куперами — все эти О'Генри, Джэки Лондоны». Чарующая бодрость, отзывчивость на все культурное, прекрасные глаза, думающий лоб, молодая улыбка, я понимаю, почему бедная Варковицкая по уши влюбилась в него. О Тургеневе — вот ум! Письма.

1927 **2 мая.** Мура делала из бумаги бабочек. Сделала 11 штук. Раскрасила. Боба сказал, что бабочки вредны и что он их не любит. Прошел час. Мура на диване горько плачет. «Отчего ты не идешь делать бабочек?» — «Что я буду делать *тех*, кого никто не любит!» И продолжает задушевно плакать о бедных отверженных бабочках!

14 мая. Был в Публичной, в русском отделении. Там обычно кончают в два. Сегодня в половине 2-го голос: — Отделение закрывается! — Почему? — Протестовать против английского налета! (Налет на торгпредства.) Столпянский мне: «За великое имя обидно!» — т. е. обидно за Россию. Дора спорит с Марией Борисовной, будет война или нет... Я был у Татьяны Александровны, ее лечили радием.

Ночь на 16ое. Не сплю. Кропаю примечания к «Некрасову». Был у Сейфуллиной. Она сегодня приехала из-за границы. «Никогда больше туда не поеду». Видела там Чернова, Володю Познера, Чирикова, Ольгу Форш, Грооса, кучу людей и еще не может придти в себя. Мужу привезла: костюм, шахматы, пишущую машинку, себе — множество платьев — из Варшавы, из Парижа, из Праги. Чириков очень постарел. Дряхлый. Очень опечален — написал «Зверя из бездны», где изобразил зверства *белых* и красных, белые оскорблены, воздвигли против него гонения, даже гонят его из того коммунального дома, где он живет, и хотят лишить пенсии. А Чернов бодр. «Передайте (кому-то), что я до сих пор еще ничем не хворал». Крестинская хоть и простая, добрая работящая женщина, а глянула на О. Д. Каменеву и сейчас же воскликнула: «Ой, милая, а чулочки нужно шелковые!» — Привезла Сейфуллина подарки знакомым: «Мне так жалко раздавать их, всё хочется оставить *себе* или дать родным — вот мужичка: все в дом». Валерьян Павлович мил и приятен: «Она, как приехала, два часа со мною по-французски говорила, только на третий перешла на русский язык». Денег истратила Сейфуллина бездну: «Мне в Варшаве 10 рублей дали, а Каменева (?) пять рублей дала — а я из Москвы ехала 3м классом, и у меня не было даже денег на тюфяк».

Был у Сейфуллиной — Миша Слонимский, который собирается в Париж. Виза есть, но как он встретится с матерью, которую он вывел в романе? Потом он пошел ко мне и рассказывал, что выведенная им в романе одна гнусная женщина была узнана его матерью как портрет с нее (с матери), и тем не менее она простила его и теперь шлет ему письма с фантастическими поручениями: достань там-то севрскую вазу, там-то ковер, там-то мебель и

привези в Париж — причем даже адрес указывает фантастический: угол Английской набережной и Фонтанки! «Теперь я вижу, что я в своей книге даже не шаржировал», — говорит этот беспримерный сын.

Кстати: Сейфуллина была в Лувре. «Ходила, ходила — ой, какая скука. Противно смотреть. У всех мадонн что-то овечье в лице. И вдруг вижу картину: лежит пьяный дед, — ну, мужик, — и возле него некрасивая женщина кормит какого-то дегенерата. Я думала, что это шайка хулиганов, а это — «Святое семейство»! Понравилась мне очень эта картинка, хотела купить снимок с нее, но картинка второстепенная, даже снимков с нее нет. Венеру Милосскую видела — очень понравилась — и вот привезла снимок». Снимок большой — бюст — и повешен он у нее над кроватью Правдухина под портретом Ленина! «Первый раз — такое сочетание!» — говорит Правдухин.

21 мая. Был у меня вчера Иванов-Разумник. Он внушает мне глубочайшее уважение. Во всем его душевном строе чувствуется наследник Белинского, Добролюбова и пр. — то есть лучший и теперь уже легендарный тип интеллигента. Я знаю, как он страшно, беспросветно нуждается (знаю также, как сильно он не любит меня), но когда я попросил его прочитать корректуры моего «Некрасова» и упомянул при этом, что Госиздат заплатит ему за работу, он воскликнул:

— Ну зачем это! Не надо. Я просто в порядке товарищеской услуги.

«Товарищеская услуга», которая должна отнять у него не меньше 8 суток работы!

Одет он ужасно. Трепаное пальто, грязная мятая куртка (но не «лохмотья», а «одежда», носимая с достоинством). Лицо изможденное, волосы хоть и черные, но очень жидкие — и весь он облезлый, нарочито-некрасивый, — но вся установка на «внутреннюю красоту», и эта внутренняя красота лучится из каждого его слова. Подлинная, скромная, без позы. Он отказался от угощения, сел и начал курить (без конца). Эпоху 70-х годов он знает изумительно — сделал мне множество мелких указаний, — и в голосе его никакой расслабленности или жалобы, а напротив, веселое любопытство к литературе, к вещам, к Муриной кошке, к Муре, к Чернышевскому и, главное, к Салтыкову, которого он теперь редактирует для Госиздата.

У меня с «Некрасовым» опять чепуха. Из Москвы телеграмма от Фрумкиной, напечатать спешно 5 тысяч экз. *без моих примечаний.*

1927 **23 мая.** Был у меня вчера Тынянов. Позвонил, можно ли придти. Рассказывал в лицах историю с Державиным и его доносом.

Я сказал ему, что изо всех его переводов мне меньше всего нравится «Frau Sorge». Он тут же переделал. Записал в Чукоккалу два экспромта*. Едет на Кавказ. «Кстати, изучу его, проберусь туда, поближе к Персии». Об Иванове-Разумнике говорит: сочетание «Русского богатства» и «символистов» — неестественно в одном человеке. Принес мне матерьял для примечаний «Некрасова».

Все мое расположение к Войтоловскому проходит. Он назначен цензором моих примечаний к «Некрасову» — дело происходит так. Я отправляюсь к нему с утра на улицу Красных Зорь и читаю подряд все мои примечания. Он сидит на диване и слушает. Доходим до «Дешевой покупки». «Тронутый несчастьем молодой женщины, принужденной продавать свое приданое»... — Позвольте, так нельзя! Приданое — буржуазный предрассудок. Не была ли она из рабочей семьи? — Нет. — Ну, выбросим о том, что он был тронут. — Не могу... — Спорим полчаса, оставляем, причем выясняется, что самое это стихотворение ему неизвестно. Читаю ему о том, что во время Севастопольской кампании Некрасов тянулся на войну. — Выбросим! Империалистическая война не могла тянуть Некрасова. — Уступаю. Самое поразительное во всем этом — невежество этого рапповского историка русской литературы. Он никогда не слыхал имени Я. П. Буткова, он никогда не читал лучших стихотворений Некрасова, и для него только тогда загорается литературное произведение, если в нем упомянуто слово *рабочий* или если путем самых идиотских натяжек можно привязать его так или иначе к рабочему, причем рабочий для него субстанция вполне метафизическая, так как он никогда его не видал, дела с ним никакого не имеет, любит его по указке свыше, кланяется ему как богу во имя тех будущих благ, которых такие же Войтоловские лет 50 назад ожидали от столь же мистического «народа». Но вера в спасительную силу «народа» — тоже идолопоклонная — была благороднее: она не давала матерьяльных благ верующему, а здесь Войтоловские веруют по приказу начальства и получают за свою веру весьма солидную мзду. Тогда люди *шли* «в народ» — в кишащие тараканами избы, а теперь они благополучно *сидят* по шикарным квартирам и стукаются лбами пред умонепостигаемым и трансцендентальным «рабочим» — ни в какие рабочие не идя. И конечно, пройдет 10 лет, народится какой-нб. новый «учитель», который докажет, что не рабочему надо поклоняться, а вот кому, — и станут поклоняться другому. Ведь вдруг оказалось, что община — миф, что социалистичность крестьянина —

27 мая. Сегодня в «Красной» есть статейка о Панаевой — и сейчас мне позвонила ее внучка, дочь Нагродской, и нагло сказала, что она надеется, что в моей новой работе уже не будет прежних оскорблений ее бабушки.

Я в изумлении: каких оскорблений?

— Вы назвали ее «авантюристкой».

— Наоборот, я защищал ее от ее врагов, которые называли ее [этим] именем.

— Ах, нет, это неверно... Я читала у вас...

— Прочтите еще раз. Быть может, теперь вы лучше поймете меня. А сейчас я вешаю трубку.

14 июня. Был 3-го дня у Сейфуллиной. Рассказывала много о Войкове, с которым недавно видалась в Варшаве: это было воплощенное здоровье. О себе: «Много я стала пить. У меня отец был запойный. И вот с тех пор как я стала алкоголичкой (мне недавно доктор сказал, что я алкоголичка), я перестала писать. Отделываюсь некрологами да путевыми письмами. Сейчас два дня подряд — с утра до вечера — писала газетную статейку о Войкове, 200 строк». На столе у нее карточка Бабелёныша — сына Бабеля. Я не знал, чей это младенец, но он такой толстый, смешной (все *хорошие* маленькие дети — смешные), лобастый, что я невольно засмотрелся на карточку.

Мура больна уже 10 дней. Аппендицит. 8 дней продолжался первый припадок, и вот два дня назад начался новый — почему, неизвестно. Вчера были доктора: Бичунский и Буш. Приказали ничего не давать есть — и лед. Она лежит худая, как щепочка, красная от жара (38.5) и печальная. Но — голова работает неустанно.

«Я не буду жениться по трем причинам.

1-ая: не хочу менять фамилию.

2-ая: больно рожать ребеночка.

3-я: не хочу уходить из этого дома».

— Жалко с нами расстаться?

— С тобою... и *главное*, с мамой.

Я прочитал ей вслух Тома Сойера и Гекльберри Финна — она сказала: «Тома Сойера я люблю больше Финна по ч*етырем* причинам».

То, что она говорит, — результат долгого одинокого думанья. Болезнь переносит героически. Вчера меня страшно испугало одно виденье: я вхожу в столовую, вижу: крадучись, но уверенно и

быстро идут две черные женщины — прямо к Муре, в спальню. Я остолбенел. Оказалось, это Татьяна Александровна и Евг. Ис. Сердце у меня перестало биться от этого символа. Как нарочно, я затеял веселые стишки для детей — и мне нужно безмятежное состояние духа.

15 июня. Вчера встретил в «Красной» Маяковского и заговорил с ним о Лиде.

— Научите меня, к кому обратиться, чтобы вернуть Лиду в Питер.

— К самой Лиде.

— А не может ли сделать что-нибудь для нее Луначарский?

— Луначарский может дать ей билет в Акоперу. Больше ничего.

— А вы ничего не можете?

— Я послал бы ее в Нарымский край.

Это говорил человек, который за десять лет до того называл меня своим братом.

С Мурой ужасно. Температура 39... 10-й день не ест. Самочувствие хуже. Измучена до последних пределов. Бредит: «гони докторов». Особенно ей надоел Бичунский (которому М. Б. не знаю почему давала по 10 р. за визит). Вчера читал ей Гектора Мало «Без семьи». Она слушала без обычного возбуждения, мертвенно. Докучают ей мухи. Сегодня придут утром в 9 часов два доктора, Конухес и Буш, решать вопрос об операции

Позвонили из «Красной»: умер Джером. Я продиктовал им заметку. К четырем часам у Муры 39,2. Я привез ей из Госиздата книжки «Маленькие швейцарцы», «Маленькие голландцы», «Детство Темы», «Пров-рыболов». Ел в ее комнате котлету. «Ох, как мне нравится запах». У Марии Борисовны разболелась голова. Сяду сейчас вторично править Гекльберри Финна.

Третьего дня она сказала: «Ты, папа, ужасно смешной». Теперь она устала шутить.

16 июня. Вчера вечером Мура говорит мне своим бодрящимся голосом: «Ты сейчас ел огурцы. Я слышала запах из столовой». Потом помолчав: ты все пальцы любишь на руке? — Все. — А я не люблю больших. Какие же большие пальцы? Они меньше всех остальных.

О болезни она не говорит, избегает, и даже М. Б-не сказала: не говори о докторах и о... Лиде. Очень четко рассказала мне перед вечером дальнейшее содержание «Без семьи». «Уже началось

грустное. Обезьянка умерла» и т. д. И все время она будто хочет сказать: «Что ты так печально и торжественно глядишь на меня? Я прежняя Мура, совсем обыкновенная, и ничего особенного со мной не случилось».

Но она не прежняя Мура. Вчера мне нужно было два раза поднимать ее с постели, я брал ее на руки с *ужасом*. Она такая легкая и даже не худая, а *узенькая*. Никогда не видал я таких *узких* детей.

Боба вчера должен был получить аттестат. Сегодня Коля приехал к Лиде в Саратов.

Купил Мурке двух белых мышек и террарий. Она сразу влюбилась в них и, глядя на них неотрывно, прошептала:

«Если б не мышки, я бы уже умерла».

17 июня. Утро. 5 часов. Почему-то у меня нет надежды. Я уже не гоню от себя мыслей об ее смерти. Эти мысли наполняют всего меня день и ночь. Она еще борется, но ее глаза изо дня в день потухают. Сейчас мне страшно войти в спальню. Сердце человеческое не создано для такой жалости, какую испытываю я, когда гляжу на эту *бывшую* Муру, превращенную в полутрупик.

Был у нее. Ночь плохая. Жар был около 40°. Сейчас 38°. Только и говорит о мышках. Она их отлично различает — хотя они обе одинаковые. Одну зовет Грызун, другую Малыш. Малыш ничего почти не ест, а Грызун «всю запеканку съел».

Буш и Конухес утром. Серьезны. Мура как бы для того, чтобы не говорить о болезни, которая гложет ее, с упоением говорит о мышах: одна взяла галетик в лапки и ела его, другая, кажется, больна: не пьет воды и пр.

18 июня. 3 часа ночи. Пошел к Муре. М. Б. плачет: «Нет нашей Муры». Она проснулась: «Что вы так тихо говорите?» М. Б. *впервые* уверилась, что Мура умрет. «У нее уже носик как у мертвой... Она уже от еды отказывается». Это верно. Я не гляжу в это лицо, чтобы не плакать.

Ужасно почему-то смешит ее слово «Австралия».

27 июня. Мура здорова. Т-ра 36 и 6. Возится с «Дюймовочкой»: вырезала из бумаги девочку с крыльями, посадила ее в ореховую скорлупу и пустила в таз с водой; целыми часами глядит на нее.

Вчера с Татьяной Александровной и Мурой мы наблюдали любопытное превращение белых мышей — в хищных и лютых тигров. Я случайно пустил к ним в террарий — муху. Они не увидели ее, но почуяли ее запах. Сошли с ума. Опьянели. Закружились по

террарию — перестали бояться меня. Прежде при малейшем шорохе — бежали в уголок и притаивались, а теперь я стучу, я трогаю их палочкой — никакого внимания. Вот одна поймала муху, взяла ее в передние лапы, сощурила глаза и стала играть с нею, как кошки играют с мышами — помнет, отбросит и снова бросается к ней. Другая — учуяв носом присутствие мухи во рту своей товарки, изловчилась и снизу выхватила муху у нее изо рта — та ощерилась, началась драка — драка хищных зверей из-за добычи. Я дал им около 15 мух и они под конец так озверели, что стали противны Муре: «Я думала, что они добрые, грызут сухарики, а они...»

Приехал из Америки — Ионов. Мы все «ионовцы» собрались в комнате Ив. Дмитриевича Галактионова приветствовать его. Он говорит каждому «ионовцу», как Христос: «Я знаю, что вам теперь худо, но потерпите — будет лучше. Потерпите еще год. Я вернусь». И каждый отвечает: «Помяни мя, Господи, во царствии твоем».

«А Бройдо полетел к чертям... с волчьим билетом!» — торжествует Ионов. В это время в комнату к Ив. Дмитр. входит Ангерт, и Ионов, бывший с нами душа нараспашку, вдруг становится холоден как лед. «Здравствуйте». — «Здравствуйте». — «Ну что?» — «Да ничего!» Ангерт сконфузился и ушел как оплеванный. Почему, неизвестно.

5 августа. Вчера хоронили рака. У Муры умер рак. Мы положили его в коробку, окружили цветами и украсили его могилу двумя венками — с лентами. Участвовали в похоронах три девочки Мура (старшая), Мура (младшая) и Нина. Две из них — армянки, — очень милые, но когда я рассказал им, как издатели эксплуатируют писателей, — одна сказала:

— Вот бы я хотела быть издателем.

Другая:

— Дура! Женою издателя: не работать и получать много денег.

Одной из них 12 лет, другой 10.

Два раза был у меня Зощенко. Поздоровел, стал красавец, обнаружились черные брови (хохлацкие) — и на всем лице спокойствие, словно он узнал какую-нб. великую истину. Эту истину он узнал из книги J. Marcinovski «Борьба за здоровые нервы»*, которую привез мне из города. «Человек не должен бороться с болезнью, потому что эта борьба и вызывает болезнь. Нужно быть идеалистом, отказаться от честолюбивых желаний, подняться душою над дрязгами, и болезнь пройдет сама собою! — вкрадчиво и сладковато проповедует он. — Я все это на себе испытал, и теперь мне стало хорошо». И он принужденно усмехается. Но из дальнейшего выясня-

ется, что люди ему по-прежнему противны, что весь окружающий быт вызывает в нем по-прежнему гадливость, что он ограничил весь круг своих близких тремя людьми (жена, сын и любовница), что по воскресениям он уезжает из Сестрорецка в город, чтобы не видеть толпы. По поводу нынешней прессы: кто бы мог подумать, что на свете столько нечестных людей! Каждый сотрудник «Красной газеты» с дрянью в душе — даже Радлов (который теперь редактор «Бегемота»).

О Федине: «Рабиндранат Тагор. Он узнал, что я так называю его, — и страшно обиделся».

О Луначарском: «Я вчера видел его жену. Красивая, но какая наглая!»

О себе: «Был я в Сестрорецком Курорте. Обступили меня. Смотрят как на чудо. Но почему? — «вот человек, который получает 500 рублей».

Стал я читать книгу, которую он привез мне из города, — труизмы в стиле Christian Science*. Но все они подчеркнуты Зощенкой — и на полях сочувственные записи. Подчеркиваются такие сентенции: «Путь к исцелению лежит в нас самих, в нашем личном поведении. Наша судьба в наших собственных руках». А записи такие: «И литература должна быть прекрасна!» (Английская литература.)

Вчера был я у Луначарского. Он живет в Курорте в той огромной комнате, которая над рестораном, — всеми тремя окнами выходит в море. Он полулежал на диване, я (босиком) постучал прямо к нему: «Войдите!» Только что прочитал мою «Панаиху». — Ну, не жалуете же вы Тургенева. Мне эту книжку принес Иосиф Уткин. Ему нравится, что там столько сплетен... Вы здесь недалеко на даче... Я очень рад, что выходит ваш «Некрасов». Мне как раз нужно написать о нем что-нибудь для Вячеслава Полонского... Полонский затевает «Некрасовский сборник»...

Мы заговорили о детских книгах. — Идиотская политика, которой я, к сожалению, не могу помешать. Теперь Лилина взяла в свои руки урегулирование этого дела...

Я. — Оно станет еще хуже, так как и Лилина, и Натан Венгров — крайне правые в отношении детской литературы.

Он. — Да, но теперь детская литература перейдет в ведение ГУСа, и есть надежда, что ГУС отнесется более мягко*.

Я. — Едва ли.

Он. — Осенью мы соберем совещание.

6 августа. Суббота. С утра пришел Зощенко. Принес три свои книжки: «О чем пел соловей», «Нервные люди», «Уважаемые

граждане». Жалуется, что Горохов исказил предисловие к «Соловью». Ему, очевидно, хотелось посидеть, поговорить о своих вещах, но я торопился к Луначарскому, и мы пошли вместе. Он очень бранил современность, но потом мы оба пришли к заключению, что с русским человеком иначе нельзя, что ничего лучшего мы и придумать не можем и что виноваты во всем не коммунисты, а те русские человечки, которых они хотят переделать. Погода прекрасная, я в белом костюме, Зощенко в туфлях на босу ногу, еле протискались в парк (вход 40 копеек) и прямо в ресторан, чрез который — проход к Луначарскому. Зощенко долго отказывался, не хотел идти, но я видел, что он просто робеет, и уговорил его пойти со мной.

— Всеволод Иванов рассказывает, что Луначарский остался тут, на курорте, потому что ему не дали валюты, не позволили вывезти деньги за границу, а ему, Всеволоду, позволили, и он взял с собой 1 $^{1}/_{2}$ тысячи.

— Хорошо пишет Всеволод. Хорошо. Он единственный хороший писатель.

Войдя в ресторан, мы сразу увидали Луначарского. Он сидел за столом и пил зельтерскую. Я познакомил его с Зощенкой, и пошли к нему в номер, он впереди, не оглядываясь. Вошли в комнату. Там секретарь Луначарского стал показывать ему какие-то карточки — фотографии, привезенные из Москвы, киноснимки: «Луначарский у себя в кабинете (в Наркомпросе)». Тут же была и Розенель — стройная женщина с крашеными волосами — и прелестная девочка, ее дочка, с бабушкой. Луначарский нас всех познакомил, причем девочке говорил по трафарету:

— Знаешь, кто это? Это — Чуковский.

Оказалось, что в семье наркома того самого ведомства, которое борется с чуковщиной, гнездится эта страшная зараза.

Розенель (мне): — Я вас сразу узнала по портрету... По портрету Анненкова*. (Зощенке): — А вас на всех портретах рисуют непохоже... Как жаль, что в ваших вещах столько мужских ролей — и ни одной роли для женщин. Почему вы нас так обижаете?

Я сказал Луначарскому о Лиде, он охотно подписал прошение во ВЦИК и тут же сам вызвался — хлопотать о ней, «если она не совершила каких-нибудь террористических актов». Я чуть не обнял его.

Тут же он подписал бумажку о разрешении мне и Зощенке ездить по взморью под парусом и заявил, что сейчас идет играть с секретарем на биллиарде.

Секретарь вошел и сказал: «Ваша лекция отложена, 8-го не состоится». *Луначарский* обрадовался. (К Розенели.) «Ну вот какое

счастье; значит, я остаюсь со всеми вами до среды». Она сделала обрадованное лицо и поцеловала его. Потом они оба сказали мне, что Хавкин говорил им, что я 14-го выступаю здесь на детском утре. Я не знал этого — мы откланялись, и я был на седьмом небе оттого, что он обещал хлопотать о Лиде.

Тут Зощенко поведал мне, что у него, у Зощенки, арестован брат его жены — по обвинению в шпионстве. А все его шпионство заключалось будто бы в том, что у него переночевал однажды один знакомый, который потом оказался как будто шпионом. Брата сослали в Кемь. Хорошо бы похлопотать о молодом человеке: ему всего 20 лет. Очень бы обрадовалась теща.

— Отчего же вы не хлопочете?

— Не умею.

— Вздор! Напишите бумажку, пошлите к Комарову или к Кирову.

— Хорошо... непременно напишу.

Потом оказалось, что для Зощенки это не так-то просто. — Вот я три дня буду думать, буду мучиться, что надо написать эту бумагу... Взвалил я на себя тяжесть... Уж у меня такой невозможный характер.

— А вы бы вспомнили, что говорит Марциновский.

— А ну его к черту, Марциновского.

И он пошел ко мне, мы сели под дерево, и [он] стал читать свои любимые рассказы: «Монастырь», «Матренищу», «Исторический рассказ», «Дрова».

И жаловался на издателей: «ЗИФ» за «Уважаемых граждан» платит ему 50% гонорара, «Пролетарий» его и совсем надул, только и зарабатываешь, чтоб иметь возможность работать.

Зощенко очень осторожен — я бы сказал: боязлив. Дней 10 назад я с детьми ездил по морю под парусом. Это было упоительно. Парус сочинил Женя Штейнман, очень ловкий механик и техник. Мы наслаждались безмерно, но когда мы причалили к берегу, оказалось, что паруса запрещены береговой охраной. Вот я и написал бумагу от лица Зощенко и своего, прося береговую охрану разрешить нам кататься под парусом. Луначарский подписал эту бумагу и удостоверил, что мы вполне благонадежные люди. Но Зощенко погрузился в раздумье, испугался, просит, чтобы я зачеркнул его имя, боится, «как бы чего не вышло», — совсем расстроился от этой бумажки.

Неделю тому назад он рассказал мне, как он хорош с чекистом Аграновым. «Я познакомился с ним в Москве, и он так расположился ко мне, что, приехав в Питер, сам позвонил, не нужно ли мне чего». Я сказал Зощенке: «Вот и похлопочите о Лиде». Он сразу стал говорить, что Агранова он знает мало, что Агранов

вряд ли что сделает и проч. и проч. и проч. И на лице его изобразился испуг.

Были вечером Редьки. Я тоскую по Коле. Очень буду рад, если он приедет. И без Татки мне скучно.

8 августа. Мы сегодня в час получили из ГПУ разрешение кататься в здешнем заливе под парусом. Выехали в море на веслах — ветер с моря — и, заехав за кораблик, подняли парус. Процедура поднимания паруса и установки мачты отняла у Жени около часа, все это время мы трепались на волнах за корабликом. Волны теплые, широкие, добрые. Наконец парус поднят, и мы с блаженным чувством понеслись прямо к курорту. Мне захотелось покатать девочку Иру, дочь Розенели. Я босиком, в грязной синей рубахе без пояса пошел в биллиардную курорта, где Луначарский упоенно играл с каким-то молодым парнем. Парень с большим азартом ударял кием по шарам, треску было много, но толку мало, Луначарский играл по-студенчески, с шуточками, хотя тоже неважно. Увидел меня: — Неужели и вы биллиардист? — Нет, я хочу узнать, не поедут ли ваши дамы под парусом. — Спросите у них, они хотели бы. — Я пошел к Розенели. Она с матерью и дочерью в большой комнате пьет чай. Очень рада, завтра в одиннадцать, отменяет солнечную ванну, и в купальном костюме, вместе с Ирочкой едет с нами в море. Очень освеженный морем, волною и парусом, я иду домой — ложусь и не сплю. Принял брому, но не спится, и я пишу это.

Начинаю писать о детском языке. Но как трудно в этой подлой обстановке.

[11-е]. Моя комната выходит балкончиком к Дому отдыха, где непрестанный галдеж. Справа маленький ребенок: Марьяна, который регулярно кричит, так как у него режутся зубы.

Третьего дня был я с Розенелью в лодке. Она в сногсшибательном купальном костюме, и вместе с нею ее 8-летняя дочь, которая зовет Луначарского папой. У Розенели русалочьи зеленые глаза, безупречные голые руки и ноги, у девочки профиль красавицы — и обе они принесли в нашу скромную чухонскую лодку — такие высокие требования избалованных, пресыщенных сердец, что я готов был извиняться перед ними за то, что в нашем море нет медуз и дельфинов, за то, что наши сосны — не пальмы и проч. Они были этим летом в Биаррице, потом в каком-то немецком курорте — и все им здесь казалось тускловато. Розенель рассказывала про свою дочь Иру. Когда узнала, что я — Чуковский, она сказала: «Неужели он жив, а я думала, что Чуковский давно

уже умер». Когда она была маленькой, она называла газету — «клозетой» и, указав своей маме на парикмахерскую куклу, сказала: «видишь, какая красивая барышня, даже еще красивее, чем ты».

Самое любопытное: она говорила слово *максимум*. «Мы ждем тебя *максимум* два часа». Ее спросили: «Что такое "максимум"?» Она ответила: «вероятно». И это очень метко, так как максимум употребляется во всех тех случаях, где можно бы поставить вероятно. Своей бабушке она сказала:

— Бабушка, ты лучшая моя любовница!

Луначарский очень простодушен. Наш лодочник — красавец, поляк, циркач (продававший в цирке афишки), человек низменный, пошлый и пьяный, содержит биллиард. Луначарский упивается биллиардом до чертиков, и вдруг его позвали сниматься. Он говорит циркачу:

— Пожалуйста, поберегите шары в том порядке, в каком они сейчас. Ну пожалуйста, я сейчас вернусь и продолжу игру.

— Не могу, Анатолий Васильевич, — кричит этот, пьяный.

— Ну пожалуйста.

— Нет, Анат. Вас., правило такое: кто оставил биллиард, его игра кончена.

Приехал Коля. Говорит, что типография в Госиздате потеряла сборные листы, давно подписанные мною к печати.

Вот и 23 августа. Время бежит, я не делаю *ровно ничего*; и не работаю и не отдыхаю. Теперь я вижу, что отдыхать мне нельзя, мне нужен дурман работы, чтобы не видеть всего ужаса моей жизни. Когда этого дурмана нет, я вижу всю свою оголтелость, неприкаянность и...

Записать нужно о многом — и раньше всего о Лиде. Мне сказал Конухес, что он похлопочет о ней у какого-то «сановника из Г.П.У.» (его выражение). Он сказал мне: «Приходите в курзал в ресторан в 8 часов вечера, я буду играть там в шахматы и передам вам то, что скажет мой знакомый». Я пришел в ресторан — к лакеям: «не видали Конухеса?» — Сию минуту тут были, прошли вон туда! — Я в театр — во все ложи, капельдинер: «Сию минуту были здесь, прошли в уборную». Я, близорукий, растрепанный, гадко одетый, мыкаюсь по этому вертепу и спрашиваю у каждого — не видали ли Конухеса. Спрашиваю извозчиков, мороженщиков, незнакомых женщин — и снова лакеев, и снова мороженщиков, и все они «сию минуту видали его» — и я снова бегу за этим призраком; кто-то сказал мне: не играет ли Конухес в карты с д-ром Хавкиным? Я в поликлинику, к Хавкину: нет ли здесь Конухеса? — На-

1927 до мною уже стали смеяться: «Вот идет этот, который ищет Конухеса». В конце концов я стал маньяком, каждые пять минут поднимался в его номер на 3-й этаж, потом опять в ресторан, опять в сад, опять в поликлинику — от 8-ми до $^1/_2$ 2-го ночи. Пришел домой — не заснуть. Ох, как схватило сердце! Проклятые армяне, которые живут вместе с нами (Кистовы и Таманцевы) презирают ненормальную жизнь этого смешного Чуковского, у которого все «не по-людски», и нарочно будят меня, чуть я засну. Я засыпаю в 10, они будят меня в одиннадцать и больше мне уже не заснуть.

Одно мое в эти дни утешение — Зощенко, который часто приходит ко мне на целые дни. Он очень волнуется своей книгой «О чем пел соловей», его возмущает рецензия, напечатанная каким-то идиотом в «Известиях», где «Соловей» считается мелкобуржуазным воспеванием мелкого быта*, — и в ответ на эту рецензию он написал для 2-го издания «Соловья» уморительное примечание к предисловию — о том, что автор этой книги Коленкоров, один из его персонажей. Судьба «Соловья» очень волнует его, и он очень обрадовался, когда я сказал ему, что воспринимаю эту книгу как стихи, что то смешение стилей, которое там так виртуозно совершено, не мешает мне ощущать в этой книге высокую библейскую лирику. На других писателей (за исключением Всеволода Иванова) он смотрит с презрением. Проходя мимо дома, где живет Федин, он сказал: «Доску бы сюда: здесь жил Федин». О Сейфуллиной: «Злая и глупая баба». О Замятине: «Очень плохой». Поразительно, что вид у него сегодня староватый, он как будто постарел лет на десять — по его словам, это оттого, что он опять поддался сидящему в нем дьяволу. Дьявол этот — в нежелании жить, в тоскливом отъединении от всех людей, в отсутствии сильных желаний и пр. «Я, — говорит он, — почти ничего не хочу. Если бы, например, я захотел уехать за границу, побывать в Берлине, Париже, я через неделю был бы там, но я так ясно воображаю себе, как это я сижу в номере гостиницы и как вся заграница мне осточертела, что я не двигаюсь с места. Нынче летом я хотел поехать в Батум, сел на пароход, но доехал до Туапсе (кажется) и со скукой повернул назад. Эта тошнота не дает мне жить и, главное, писать. Я должен написать другую книгу, не такую, как «Сентиментальные рассказы», жизнерадостную, полную любви к человеку, для этого я должен раньше всего переделать себя. Я должен стать, как человек: как другие люди. Для этого я, например, играю на бегах — и волнуюсь, и у меня выходит «совсем как настоящее», как будто я и вправду волнуюсь, и только иногда я с отчаянием вижу, что это подделка. Я изучил биографию Гоголя и вижу, на чем свихнулся Гоголь, прочитал

много медицинских книг и понимаю, как мне поступать, чтобы сделаться автором жизнерадостной положительной книги. Я должен себя тренировать — и раньше всего не верить в свою болезнь. У меня порок сердца, и прежде я выдумывал себе, что у меня колет там-то, что я не могу того-то, а теперь — в Ялте — со мной случился припадок, но я сказал себе «врешь, притворяешься» — и продолжал идти как ни в чем не бывало — и победил свою болезнь. У меня психостения, а я заставляю себя не обращать внимания на шум и пишу в редакции, где галдеж со всех сторон. Скоро я даже на письма начну отвечать. Боже, какие дурацкие получаю я письма. Один, например, из провинции предлагает мне себя в сотрудники: «Я буду писать, а вы сбывайте, деньги пополам». И подпись: «с коммунистическим приветом». А другой (я забыл, что). Хорошо бы напечатать собрание подлинных писем ко мне — с маленьким комментарием, очень забавная вышла бы книга».

Зощенко принес в жилетном кармане кусочек бумажки, на котором он написал подстрочное примечание к «Соловью» о том, что книгу эту писал не он, а Коленкоров. Мы заговорили о «Соловье», и я стал читать вслух эту повесть, Зощенко слушал, а потом сказал:

— Как хорошо вы читаете. Видишь, что вы *все* понимаете.

Эта похвала так смутила меня, что я стал читать отвратительно. Мы вышли вместе из моей квартиры и зашли в «Academia» за письмами Блока. Там Зощенке показали готовящуюся книгу о нем* — со статьею Шкловского, еще кого-то и вступлением его самого. Я прочитал вступление, оно мне не очень понравилось — как-то очень задорно, и хотя по существу верно, но может вызвать ненужные ему неприятности. Да и коротко очень. Мне показалось неверным употребленное им слово Карамзиновский. Вернее бы Карамзинский. «Верно, верно! — сказал он, поправил, а потом призадумался. — Нет, знаете, для этого стиля лучше Карамзиновский».

В «Academia» ему сказали, что еще одну статью о нем пишет Замятин. Он все время молчал, насупившись.

— Какой вы счастливый! — сказал он, когда мы вышли. — Как вы смело с ними со всеми разговариваете.

Взял у меня Фета воспоминания — и не просто так, а для того, чтобы что-то такое для себя уяснить, ответить себе на какой-то душевный вопрос, — очень возится со своей душой человек.

Я забыл написать, что когда я искал в курорте Конухеса, всякую минуту возникал откуда-то Добкин (Бобкин товарищ, знаменитый своим тупоумием) и говорил:

— А Боба провалился на экзамене!
И опять исчезал во тьме.

Получил от Репина письмо, которое потрясло меня*, — очевидно, худо Илье Ефимовичу. Я пережил новый прилив любви к нему.

Читаю письма Блока к родным — т. I — и не чувствую того трепета, которого ждал от них: в них Блок «литератор модный», богатый человек, баловень, холящий в себе свою мистику. И как-то обрывчато написаны, не струисто, без влаги (его выражение).

В квартире делают ремонт. На дачу не хочется, так как здесь я начал заниматься. Приехала сегодня (23 авг.) Татка и сказала в телефон отчетливо:

— Дидинька... где Мука?

Приехал Оптимист (Швейцер), мой одесский ученик, теперь он персона и на ты с Чагиным.

Конец августа. Сейчас говорил по телефону с Щеголевым. Против обыкновения, он говорил со мной долго и не по делу. «Я, говорит, вернулся к своему старому занятью: пишу. Вообразите, забросил все и пишу. И это доставляет мне счастье... Вообразите, какую историю я сделал с анонимными письмами, которые перед смертью получал Пушкин. Я дал их судебному эксперту, и оказалось, что знаете, кто писал Пушкину письма? Долгоруков. Да, он!.. А сегодня в Госиздате говорю об этом эпизоде, а Ляхницкий серьезно спрашивает: какой Долгоруков, не Павел ли Дмитриевич? Он, говорю. Я сейчас кончил большую статью о Катенине, печатаю в «Новом Мире», уже деньги получил и проел».

Конец августа. Делаю «Панаеву» (для нового издания)* — клею обои в комнате. Позвонил Зощенко. «К. И.! так как у меня теперь *ставка на нормального человека*, то я снял квартиру в вашем районе на Сергиевской, 3 дня перед этим болел: все лежал и думал, снимать ли? — и вот наконец снял, соединяюсь с семьей, одобряете? Буду ли я лучше писать? — вот вопрос». Я сказал ему, что у Щедрина уже изображена такая ставка на нормального человека — в «Современной Идиллии» — когда Глумов стал даже Кшепшицюльскому подавать руку.

— Этого я не знал, вообще я Щедрина терпеть не могу и очень радуюсь, что Фет его ругает в тех воспоминаниях, которые я читаю теперь.

Вчера была Марья Борисовна. Ходили покупать обои, обедали у официантов, на Садовой. **1927**

Диалектика истории: Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет* (*Достоевский*).

Ночь на 11 сентября. Переехали мы в город 9-го. Выдал Муре медаль «за спасение погибающих гусениц». Погода ясная; у М. Б. болела голова; мы с Мурой глядели из окна вагона. Боба с нами, в синей рубашке, в коротких штанах. У меня в портфеле недоконченная статья о детях — о детских стихах — а в душе феноменальная усталость. Это лето было для меня адом: вместо отдыха на даче был устроен какой-то сад пыток. Единственное счастливое время было 10 дней в квартире, в зной, среди страшной пыли, когда я, голодный (т. к. не умел позаботиться о еде), писал свои Экикики*. Но и они были изнурительны. Теперь я приехал, измученный бессоницами, — вдруг вчера в 6 часов вбегает к М. Б. Коля, бледный, с испуганным лицом и говорит:

— От Лиды телеграмма.

М. Б. задрожала и омертвела. Ей, естественно, показалось, что в телеграмме что-то страшное. Между тем в телеграмме написано:

«Чуковскому, Надеждинская, Выезжаю 13 вышлите 30 рублей».

Первое впечатление от этой телеграммы был испуг. Мария Борисовна заплакала чуть не в ужасе. Я обнял ее и помчался доставать деньги. Денег ни гроша. Переезд и дрова — 70 рублей. Я кинулся с Колей к Редькам — на 8-й этаж (сердце! сердце!) — сидят, благодушно едят, кушайте, садитесь с нами. — «А деньги?» — А денег у нас нет, в сберегательной кассе, не хотите ли супу? — Где же достать деньги? — «А вот был анекдот с Елпатьевским, он пришел к нам с братом, думая, что мы пригласили его по телефону на блины, оказалось, что мы его не звали, и он стал звонить по всем телефонам — кто звал его по телефону на блины? Так и спрашивал: не вы ли звонили?» Этот анекдот был рассказан потому, что я звонил от них ко всем, нет ли 30 рублей — звонил к Зощенке, к Клячко, к Слонимскому. Зощенко не было дома, Клячко заявил, что у него 7 рублей и за электричество не плачено, а Миша Слонимский моментально отозвался, что он может дать и больше. Мы с Колей к Мише — на ул. Марата, сели зачем-то в трамвай, который повез не туда — Миша из Парижа, в берлинском жилете с рукавами, выложил 45 рублей — пожалуйста — рассказал о Зинаиде Венгеровой: она жена Минского, их выслали из Англии, как

1927 большевиков, они цветут в Париже и проч. Но я не слушал, я помчался к Клячке — не даст ли он денег? — не может быть, чтобы у него не было знакомых, у которых он мог бы прихватить 30 рублей — его жена со всей семьей в Анапе — швыряют огромные деньги — объехали весь Крым — я прибежал к нему и застал самовлюбленного сумасшедшего. Он сошел с ума, для меня это ясно. Даже не выслушав о Лиде, даже из вежливости не спросив, когда она приезжает, почему, откуда, он стал говорить, как великолепна «Радуга», как остроумно ответил он кому-то, какие у него на книгах для юношества будут чудесные папки (и в тысячный раз стал показывать мне ужасные переплеты будущих книг, безвкусные, как сигарные ящики) — и «ах, каким хотел я обложить вас матом за то, что вы даете свое имя каким-то спекулянтам, которые шантажируют вас. Вы и понятия не имеете, какую глупость вы делаете, сойдясь с Сапиром, с «Московским рабочим». Те уже давно мечтают о хорошей детской книге — а «хорошая детская книга» для них — это «Маршак и Чуковский», вот они и выдают деньги под ваши имена»... — Деньги! — воскликнул я. — Деньги! Теперь-то мне и нужны эти деньги, так как, если бы у меня были деньги, я не бегал [бы] к вам выслушивать ваши анекдоты! Деньги! Дайте мне 30 рублей — и я не стану отдавать свое имя шантажистам!

Но он дал мне 5 (хотя он лично должен мне 10) и опять заговорил о «Радуге», о дивных ее книгах, об ее успехах и пр.

А я побежал домой — и вот не сплю. Сердце ни на минуту не перестает болеть.

Был в Госиздате. Там лежит мой исправленный «Айболит», готовый для нового издания. Я сделал его еще прошлым летом. Теперь он был на цензуре у Горохова. Горохов главный «редактор» Ленгиза. Красив, длинные волосы, неглуп, но говорлив и тинно-вязок, как болото. Говорит длинно и кокетливо по поводу ерунды, причем оттенок такой: «Вот хотя я и начальство, хотя я главный цензор, а могу совсем просто, по-человечески, как равный с равными, разговаривать с вами. Вот я даже острю». Очень либеральничает.

— Мне *лично* «Айболит» понравился. Я прочитал его вслух своему сыну. Очень мило, очень оригинально. Но как главный редактор, я не могу пропустить эту вещь. Нет, нет, теперь нечего и думать об этом. Теперь такие строгости, теперь у власти ГУС, которому мы должны подчиняться.

А между тем, если бы они приняли «Айболита», у меня были бы те деньги, о которых я теперь так хлопочу. Сердце! Сердце! На какие пустяки приходится тратить его.

11/[I]X[1]**. Воскресение**. В истории с Лидой хуже всего то,что мы не знаем, едет ли она в отпуск на месяц или она освобождена совсем. Я думаю, что на месяц. Как мы ждем ее! Я смотрю, что в доме Мурузи крыши мансард покрашены красной краской — и думаю: «их скоро увидит Лида!» Гляжу на автобус: «в нем скоро поедет Лида!» Гляжу на 23-й номер трамвая, который Лида так любила: «скоро Лида увидит, что к этому трамваю прибавили 2-й вагон». А мостовые на Сергиевской, а деревья на набережной, а наша выкрашенная кухня, а Татка, а Мурка... **1927**

Забыл записать о Госиздате еще следующее: Галактионов намудрил в моем Некрасове так, что пришлось перепечатывать всю четвертушку[2], Гессен с Черкесовым извратили весь мой Хронологический Указатель, а Черкесов один внес опечатку в ту страницу, где указываются опечатки: вместо «К великой горести царя» — «к великой радости царя». Я стал жаловаться Каштеляну. Каштелян равнодушно говорит:

— Это что! А вот когда мы печатали соч. Ленина, мы дали себе клятву: ни одной опечатки. Старались изо всех сил. Но институт Ленина нашел в этих книгах около 50 серьезных опечаток. И пришлось — во всех 10 000 экз. скоблить ножичком буквы и печатать другие в уже отпечатанных книгах!

Конечно, людям, которые привыкли к таким методам работы, изгадить книгу Некрасова — ничего не стоит.

Были у меня Шварц и Сапир. Шварц потолстел, похорошел; уходит из Госизды и поступает в редакторы «Радуги». Упивается «Соловьем» Мих. Зощенко. Сапир пишет о нефти, о синдикатах — и мечтает о детском издательстве. Я прочитал ему статью о детских стихах (экикиках). Он не одобрил: не заразительно, скучновато. Черт его знает, может быть, он и прав.

Вспомнил анекдот о Розанове. Он пришел к Брюсову в гости, не застал, сидит с его женою, Иоанной, и спрашивает:

— А где же ваш Бальмонт?

— Какой Бальмонт?

— Ваш муж.

— Мой муж не Бальмонт, а Брюсов.

— Ах, я всегда их путаю.

По поводу альянса Минского с Зиной Венгеровой — мы с М. Б. вспоминали Вилькину, жену Минского. Была красивая и молодая,

---

[1] Дата записана неверно. Месяц — сентябрь.

[2] Перепутали строфы стихотворения «Шарманка», наврали в колонтитуле цифры, и над стихами Некрасова поставили заголовок: стихи, приписываемые Некрасову. — *К. Ч.*

но гнилая, кокотистая. Здороваясь, брала руку мужчины и прикладывала ее к левому своему соску (я и сейчас помню свое ощущение). Восхищаясь оратором на митинге, говорила:

— Чуковский, я хочу ему отдаться.

Канитель с судебным делом нашего дома.

Каждый из нас, живущих в этой квартире, охвачен какой-нибудь манией. Я сейчас думаю только о своих «экикиках», Мура — только о собачке, которую мама обещала ей купить, Боба — о буере, который он хочет устроить с Женей. Вчера он с Женей ходили к Борису Житкову, который три часа объяснял им, как нужно устроить буер. Теперь Боба думает, где бы достать водопроводную трубу, нужную для руля, и т. д.

Мура взволнованным голосом, тихо и таинственно говорит о собачке. «Так как она — барышня, у нее скоро будут дети. Ей нужно устроить ящик — чтобы она имела, где родить». — «Мура, как же она родит, если у нее не будет мужа?» — «Это кошкам и другим животным нужны мужья, чтобы родить, а собаке довольно пройти мимо другой собаки — посмотреть на нее — и вот уже у нее дети».

13 сентября. В «Академию». Она только что переехала в новое помещение. Очень красивый синий цвет на фасаде и вывесках. В окнах еще не выставлены книги. Дали мне 60 рублей в счет «Панаихи». Говорят, получена бумага для 2-го издания. Теперь, после успеха «Панаихи», нет издателя, который не стал бы печатать мемуары. В «Прибое», говорят, собираются даже Барсукова «Жизнь Погодина» тиснуть в 28 томах. Из «Academia» в «Красную» к Чагину. У него в кабинете Экскузович, Евг. Кузнецов и другие. Когда Экскузович ушел, Кузнецов, заикаясь: «Я ддолжен, вот это, осведомить вас, вот это, Петр Иваныч, что нам с Радловым показалось, что в мейерхольдовском «Ревизоре» много мистики и притуплено жало сатиры. Это — Гоголь 50-х годов. Уничтожено социальное значение «Ревизора». Мы так и писать будем, П. И.».

Петр Ив. Чагин, добрый, полнеющий, страстно влюбленный в свою Марию Антоновну, втайне поэт, сразу говорит по трем телефонам, выслушивает десятки людей, нажимает всевозможные кнопки, просматривает корректуры «Красной», «Панорамы», «Резца» и т. д. — и всегда у него такой вид, будто он совершенно свободен и никуда не торопится.

Я в «Красную» приходил с письмом Бианки, которое переслал мне Житков. Бианки отвечает «Леснику» на его нелепые придирки в статье, напечатанной около месяца назад. Встретил я Лесни-

ка на лестнице. Дал ему статью Бианки. Он прочитал и говорит: ну ж и задам я ему феферу! Как он смеет писать, что следовало бы отхлестать меня кнутом и тогда бы я узнал, какие кнуты бывают. (Спор у них шел о кнутах.) Этого я ему не спущу. Я сдал статью Бианки Чагину. Кугеля не видал. Кугель ушел в Вегетарианскую.

В «Красной» — ремонт. Лестница сверкает, стены — как зеркало. Очень забавную вещь рассказал мне по этому поводу Зощенко: будто бы от издания «Красной» осталось тысяч тридцать рублей, которые администрация решила пустить «по партийной линии», на издание какой-то макулатуры, тогда администрация «Красной» надумала лучше устроить роскошный ремонт, лишь бы не выбрасывать денег.

Из «Красной» — к Гринбергу, который должен мне 50 рублей. Я решил быть строгим и получить у них эти деньги во что бы то ни стало. Но вхожу, у них чиновник Собеса описывает мебель, как бесхозную. Моисей Григорьевич уехал в Москву к Захару Григорьевичу — хлопотать о спасении мебели. И так мне жаль стало несчастную жену Гринберга (у нее щеки горят, она говорит безостановочный вздор, и для того, чтобы внушить чиновнику, что она не какая-нибудь, сует ему вырезку из какого-то немецкого журнала, где З. Гринберг изображен рядом с Горьким — даже не рядом, а чуть-чуть позади), — что я не заикнулся о деньгах. О, скольких унижений я избег бы, если бы не дал им этих 50 рублей!

Оттуда к Слонимскому — отдать долг. У Слонимского в доме оказалась еще мать жены, еще какая-то Анна Николаевна, есть на кого тратить деньги. Он рассказывал о Париже, о том, что у него в семье: Зина — большевичка, Минский — большевик, сестра — монархистка, брат — контрреволюционер, Изабелла — контрреволюционерка, и когда они садятся рядом, выходит очень смешно. А мама, его бессмертная мама, которую он увековечил в «Лавровых», меняет фронт ежеминутно, в соответствии с собеседником. Мише она сказала: «Ты бы зашел к Милюкову, ведь он тоже коммунист...»

— Коммунист?..

— Ну если не коммунист, то сочувствующий.

Она же уверяла Мишу, что лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» сочинен Минским и теперь печатается как цитата из стихотворения Минского.

Когда Миша только что приехал в Париж, она сказала: беги в Foulier[1] купи хлеба, оттуда в метро к Bastireau.

[1] Название магазина (*франц.*).

— Я, мама, не знаю Парижа... Я здесь первый раз.

— Ну, Миша, что ты притворяешься, не выдумывай, пожалуйста.

Был в «Радуге». Клячко и Рувим не на шутку напуганы кооперативом. Предлагают мне всякие вольности.

Ужасно пустой был день — для души. Нет времени прочитать «Ревизора», второй год собираюсь.

Утро в 9 часов. Звонки. 1) Из типографии от переплетчика: для крышек Некрасова нужен силуэт поэта. Рекомендовал обратиться к Чехонину. 2) Немедленно. От Клячко. Взволнован кооперативом, хочет со мной переговорить. 3) Маршак — когда бы встретиться по кооперативному делу. Ответил: в 11 часов. 4) Сапир — повидаться бы — по кооперативному делу. 5) Звонит какая-то Перфилова — ее муж в больнице, нельзя ли попросить Иванова-Разумника, чтобы он прочитал рукопись, «Белую королеву», и дал бы в издательство «Мысль» благоприятный отзыв. Звонил Пинесу, он сообщает, что Разумник сидит в рукописном отделении Публичной Библиотеки и списывает открытые им неизданные страницы «Записок» Панаева.

14 сентября. Был вечер с Ивановым-Разумником в «Academia». Я нарочно прошел вместе с ним в кабинет Ал. Ал. Кроленко, чтобы защитить его денежные интересы при подписании им договора на редактуру «Воспоминаний Ив. Панаева». Но оказалось наоборот: не я его защитил, а он меня. Кроленко — моложавый, белозубый, подвижной, энергический, нисколько не похожий на тех затхлых людей, с которыми приходится делать книги в Госиздате, — подавляет меня своей базарной талантливостью, и не будь Разумника-Иванова, я с веселой душою попался бы в когти к этому приятнейшему хищнику. Недели две назад я дал ему «Семейство Тальниковых», чтобы он издал его с моим предисловием — под моей редакцией. Теперь он предложил такую комбинацию. За мою статью — 200 рублей, за редактуру «Тальниковых» — ничего, печатать 10 000 экземпляров, и я сдуру готов был согласиться на такой уголовный договор. Спасибо, вмешался Разумник.

— Вы, — сказал он Кроленке, — хотите продавать книгу по $1\,{}^{1}/_{2}$ рубля, значит, книга даст 15 000 рублей, и за это вы предлагаете Чуковскому 200 рублей. Меньше 500 невозможно!

После этих слов я очнулся — и стал требовать 600. Ал. Ал. стал смеяться, как после хорошей салонной шутки, и предложил включить в договор пункт, что за 2-ое изд. всего ${}^{1}/_{2}$ гонорара. Я рассвирепел и сказал, что в его душе смесь «Academia» и Лиговки, по-

сле чего он рассмеялся еще добродушнее и мы расстались друзьями.

Бумаги для 2-го изд. «Панаевой» все еще нет. Некрасова собрание стихотворений выйдет в конце недели. Лида уже, должно быть, в Москве.

15 сентября. Всю ночь не спал. Жду Лиду. С 3 часов ночи палили из пушек. Наводнение. Утро солнечное, ясное, *безветренное.*

Был у меня вчера Зощенко. Кожаный желтый шоферской картуз, легкий дождевой плащ. Изящество и спокойствие. «Я на новой квартире, и мне не мешают спать трамваи. В Доме Искусств всю ночь — трамвайный гуд». Заплатил тысячу въездных. На даче его обокрали. Покуда он с женой ездил смотреть квартиру, у него похитили брюки (те, серые!), костюм и пр.

Выпускает в ЗИФе новую книгу «Над кем смеетесь».

«Считается почему-то, что я не смеюсь ни над крестьянами, ни над рабочими, ни над совслужащими — что есть еще какое-то сословие зощенковское».

Принес мне «Воспоминания Фета». Очень ему понравились там письма Льва Толстого. Просил дать ему Шенрока «Письма Гоголя».

Я сказал ему, что следовало бы включить в новую книгу его «Социальную грусть», которой он не придает значения. Он возражал, но потом согласился и решил вставить туда те куски, которые запретила цензура, хотя они и были в «Бузотере». В понедельник мы пойдем с ним в Публичную Библиотеку.

От Тихонова нет писем — он, оказывается, взял те деньги, которые следовало мне получить за «Крокодила», и уехал в Ессентуки.

В Госиздате скандал с Каштеляном, который, вместо того чтобы думать, как исправить допущенные Госиздатом ошибки, делает нагоняй Черкесову и все допрашивает, кто виноват.

Ф. Ф. Нотгафт подарил мне автограф Некрасова «Забытая деревня».

Вчера Белкин торжественно устраивал витрину «Academia»: ваза и книги в переплетах. Мы выходили на улицу все — и критиковали.

Был у Любови Алекс. Борониной — мать Кати. Живет в огромном доме, петербургском, но двора нет, а пустырь, на котором огороды и подсолнечники. О Кате откровенно говорит, что это наследственность: «возраст самый опасный». «Я не звонила М. Б., т. к. думала, что она сердится на Катю, зачем Катя втравила в это дело Лиду».

1927 Сапир. Оршанский. У Оршанского — порядок и чистота поразительные. По-немецки. Он собиратель игрушек, психопатолог и библиофил. Показывали на стене черту аршина полтора над землей — докуда доходила вода в наводнение. Вода погубила сотни ценнейших книг.

9 часов утра. Звонок от Клячко. У него сейчас будет Шварц — надо поговорить о Коллегии. При этом он рассказал три неприличных анекдота — по телефону, называя все вещи их именами. 2-й звонок: Федотов из типографии: Чехонин так и не дал профиля Некрасова для переплета.

Лида сейчас приехала. Боба привез ее. Очень худая. Мура покраснела и спряталась от волнения, со мною вместе, потому что я тоже убежал в другой угол. М. Б. сидит против нее и глядит молитвенно — сжав руки. Заговорили о Юре — она подавила слезы, — идет принять ванну. Ничего не известно, что с нею, она должна идти в Г.П.У., там ей объявят ее судьбу. Ее вызвали и сказали, что ее вызывает ленинградское Г.П.У. Что, если оно начнет опять требовать у нее подписки? Она не даст, и вся история начнется сызнова.

Боба стоит в дверях и безмолвно глядит на нее, а я чувствую, что чужой, чужой, чужой человек.

— Я не знаю ничего, что со мною.

Мура: — Ты вещи привезла?

Лида. Почти все...

А сама рвется туда, в Саратов, где живут «лучшие люди, каких только она в жизни видала».

Эх какой незадачливый год! То армяне, то приезд Лиды, то операция Муры не дают мне ни писать, ни отдыхать. Сердце очень стало болеть. Лида привезла волжскую народную песню, которая оказалась стихотворением Некрасова, — «В гору».

18 сентября. Ночь. Умер Кони. Стараюсь написать о нем что-нибудь, но не выходит ни строки. И чувства нет никакого. Не сплю вторую ночь, т. к. вчера вечером вздумал пойти с Лидой в кино — на «Нитуш», с Лидой и Бобой. «Нитуш» оказалась картофельной немецкой чепухой — но я пришел домой в 11 часов и не заснул до утра, а теперь не сплю вторую ночь. Сердце болит. Со времени приезда Лиды в доме кавардак — даже нет времени с Бобой заняться.

КАК МЕНЯ АРЕСТОВАЛИ

(*Муркин сон*)

Пошла я в сад гулять и пошли мы на площадку, а там мальчишки шалят, их за это арестовывают. А я выбегаю из площадки, а

там милиционер стоит. А я так на него поглядела и побежала дальше. А он как крикнул мне: стой! Я подошла к нему и остановилась. И он мне говорит: куда бежишь? Почему из площадки убежала? Я говорю: а там мальчишки шалят, их за это арестовывают, я и убегаю от них. А он говорит: ты пойдешь за мной в Г.П.У., ты мне что-то подозрительна. Я говорю: да я ничего не делаю. А он говорит: да нет, не бойся, если плохая погода будет, назад вернемся. (Понимаешь, боится, что я простужусь.) Я говорю: да вот подождите, вон мой ПАПА едет, и правда, там в карете на двух лошадях ты ехал. Я крикнула: папа! А ты мне сделал под козырек, и лошади остановились. Ты вышел и говоришь: да чего вы ее арестовываете? А он говорит: да нет, не беспокойтесь, если плохая погода будет, мы назад ее вернем. А ты улыбнулся, а он ничего не сказал, и пошли мы домой к маме. А мама как узнала в чем дело, ничего не сказала. А меня милиционер взял и вышли мы с ним в Г.П.У. А погода плохая, и снег, и дождь, и ветер такой сильный. Холодно! А он говорит: ты знаешь что, я боюсь, что ты простудишься, и пошли мы назад к маме.

Утро. 19-го сентября. Понедельник. — Вчера, — рассказывал Коля, — я встретил Гуковского. Очень мрачен. Будто перенес тяжелую болезнь. — Что с вами? — Экзаменовал молодежь в Институт Истории Искусства — И что же? — Спрашиваю одного: кто был Шекспир? Отвечает: «немец». Спрашиваю, кто был Мольер? А это, говорит, герой Пушкина из пьесы «Мольери и Сальери». Понятно, заболеешь.

Вчера утром было совещание с Клячкой. Шварц вел себя героически.

20 сентября, вторник. Некрасов (полное собрание стихотворений) вышел дней 5 назад, не доставив мне радости: опечатки (не по моей вине), серая обложка, напоминающая прежнее издание, казарменная, казенная внешность книги, очень спокойная, за которой не чувствуешь той тревоги, того сердцебиения, которое есть же в стихах. Могильная плита над поэтом — ну ее к черту — и зачем я убил на нее столько времени.

Василий Князев. Лохматый, красноносый, пристал ко мне как лист, ходит и в «Модпик», и в «Радугу», и в «Academia». Он собрал груду русских пословиц, изнемог под их бременем, не умеет научно разработать их, разбил их на самые дурацкие рубрики и хочет издать — в виде сборника в 300 печатных листов.

21 сентября. Сейчас Мура спросила у мамы:

1927 — Из чего ребенок в животе? Из пищи?

Ей очень нравится слово daddy[1] — и она решила называть меня этим именем. За всякое «папа» — штраф.

Ночь на 22-ое сентября. Боба зачитывает меня Ключевским — история татарского ига. Не могу сомкнуть глаз. Пошел в $^1/_2$ 11-го в аптеку, и там после долгих просьб мне обещают приготовить усыпительное к $^1/_2$ 12-го. Иду к Маршаку, — не застаю. Домой, останавливаюсь у кабаков (пивных), которых развелось множество. Изо всех пивных рваные люди, измызганные и несчастные, идут, ругаясь и падая. Иногда кажется, что пьяных в городе больше, чем трезвых. «И из этого матерьяла строят у нас Хрустальный дворец — да и чем строят!» — говорит начитавшийся Достоевского Клюев.

Лидино главное впечатление после годового отсутствия из Ленинграда, что все стали одеваться шикарнее, и у всех (людей нашего круга) стали шикарные квартиры: у Слонимского, у Маршака, у Зощенки, у... и т. д. И забота об обстановочке огромная.

А между тем — «ощущение катастрофы у всех — какой катастрофы — неизвестно — не политической, не военной, а более грандиозной и страшной».

24 сентября. Денег из «Круга» нет. Вчера в «Радуге» встретил «Задушевного моего приятеля» Бориса Житкова. Помолодел. Глаза спокойные. Работает над романом, который уже продан на корню в Госиздат и в «Красную Новь». Хочет, чтобы я прочитал «Удава» в 8-й книжке «Звезды». Взял я у него взаймы рубль — пошли мы в госиздатский магазин и купили «Звезду». А потом сели на скамейку у Казанского собора и читали вслух эту прелестную вещь, — очень крепкую, универсальную, для всех возрастов, полов, национальностей. Мне она очень понравилась — главное в ней тон душевный хорош — но дочитать я не мог, т. к. по Катино-Лидиным делам надо было идти на Гороховую. На обратном пути останавливался у витрин и читал дальше — и ясно видел, что перед 45-летним Житковым впереди большой и ясный путь.

25 сентября. В 11 ч. утра позвонил Розенблюм: — К. И., запретили вашего «Бармалея» — идите к Энгелю (заведующий Гублитом) хлопотать. Пошел. Энгель — большелобый человек лет тридцати пяти. Я стал ругаться. «Идиоты! Позор! Можно ли плодить анекдоты?» И пр. Он сообщил мне, что Гублит здесь ни при чем,

[1] папа (*англ.*, *разговорн.*).

что запрещение исходит от Соцвоса, который нашел, что хотя «книга написана звучными стихами», но дети не поймут заключающейся здесь иронии. И вот только потому, что Соцвос полагает, будто дети не поймут иронии, он топчет ногами прелестные рисунки Добужинского и с легким сердцем уничтожает книгу стихов. Боролся бы с пьянством, с сифилисом, с Лиговкой, со всеми ужасами растления детей, которыми все еще так богата наша нынешняя эпоха, — нет, он воюет с книгами, с картинками Добужинского и со стихами Чуковского. И какой произвол: первые три издания не вызвали никакого протеста, мирно печатались как ни в чем не бывало, и вдруг четвертое оказывается зловредным. А между тем это четвертое было уже разрешено Гублитом, у Ноевича даже номер есть — а потом разрешение взято назад!

На основании разрешения (данного келейно) «Радуга» отпечатала сколько-то тысяч «Бармалея», — и вот теперь эти листы лежат в подвале.

Был Коля. Ему не нравится «Удав» Житкова. Он утверждает, что его, Коли, «Разноцветные моря» — лучше.

Была сестра Некрасова — Лукия Александровна Чистякова. Хочет, чтобы ей увеличили пенсию. Ей 69 лет, она вдова тов. министра, говорит как на сцене, четким, явственным голосом, про письма говорит «письмы», — и выложила мне целый ряд своих несчастий: она живет в комнате с другими людьми, которые ее ненавидят, называют воровкой.

26 сентября. Никогда я не мог без слез читать шевченковскую

Ой люлі, люлі моя дитино,
В — день; в — ночі
Підеш, мій сину, по Україні
Нас кленучи.
Сину, мій, сину! Не клени тата,
Не помяни!
Мене прокляту: я — твоя мати,
Мене клени!

Это с детства так. Сейчас для какой-то цитаты развернул Шевченка — открылось это стихотворение, и глаза сами собой мокреют.

27 [сентября]. В комнату залетела бабочка. Мура ее пестует. Сейчас (бабочка) сидит у меня на столе и как будто сама удивляет-

ся своей несвоевременности и неуместности. Летает, садится на телефон, на электрическую лампочку.

Видел жену Гумилева с девочкой Леночкой. Гумилева одета бедно, бледна, истаскана. Леночка — золотушна. Страшно похожа на Николая Степановича — и веки такие же красные. Я подарил Леночке «Мойдодыра», она стала читать, читает довольно бойко. Встретились мы в ограде Спасо-Преображенской церкви — той самой, перед которой, помню, Гумилев так крестился, когда шел читать первый доклад о «пуэзии» в помещении театра Комедии при Тенишевском Училище. Вообще я часто вспоминаю мелочи о Гумилеве — в связи со зданиями: на углу Спасской и Надеждинской он впервые прочитал мне «Память». У Царскосельского вокзала, когда мы шли с ним от Оцупа, он впервые прочитал мне про Одоевцеву, женщину с рыжими волосами: «это было, это было в той стране»*. Он совсем особенно крестился перед церквами. Во время самого любопытного разговора вдруг прерывал себя на полуслове, крестился и, закончив это дело, продолжал прерванную фразу.

Коля читал свои «Моря» Лиде. Ей понравилось.

7 октября. Сегодня был у Энгеля. Очень мягко и как-то не начальственно! «Бармалея» мы вам разрешим». Говорили с ним о Клячке — он вполне одобряет наш «Кооператив». Оттуда в Госиздат, заключать договор на Мюнхгаузена. — О! оттуда в Дом Печати по поводу своей квартиры.

О Лиде... по десяти учреждениям. Ей действительно в голову не приходит помочь этой коммуне — она вся там, в Саратове — и я ее вполне понимаю. Она всегда была слепа в отношении людей и всегда жаждала — быть в чьей-нибудь власти, отдаваться чему-нибудь всецело, до последней капли крови. Вот и отдалась беспросветному... Я видел переписанного его рукой Мандельштама, так и видно, что эта рука не понимала ни единого звука в тех строках, которые копировала, — и никогда, никогда не поймет. А самолюбие огромное — о, Лида когда-нибудь увидит, сколько в его малости самолюбия. Хватило бы на четырех Наполеонов. И, конечно, внутренно ему на Лиду наплевать!

11 октября. Был вчера с Лидой у Тынянова. Он сам попросил придти — позвонил утром. Мы пошли. Лида шла так медленно, с таким трудом, что я взял извозчика. Тынянова застал за чтением своего «Некрасова». Ах, какое стихотворение «Уныние» — впервые читаю его в исправленном виде. Но о примечаниях говорить избегает: видно, не нравятся ему. Есть у него эта профессорская

вежливость — говорить в глаза только приятное. Читал свою повесть о поручике Киже. Вначале писано по Лескову, в середине — по Гоголю, в конце — Достоевский. Ужас от небытия Киже не вытанцевался, но характеристики Павла и Мелецкого — отличные, язык превосходный, и вообще вещь куда воздушнее «Грибоедова». Он сейчас мучается над грибоедовским романом. Прочитал мне кусок — о том, как томит Грибоедова собственное Горе от Ума — пустота, бездушие, неспособность к плодородящей глупости, и мне показалось, что обе эти темы — о Киже и о Грибоедове — одинаковы, и обе — о Тынянове. В известном смысле он и сам Киже, это показал его перевод Гейне: в нем нет «влаги», нет «лирики», нет той «песни», которая дается лишь глупому. Но все остальное у него есть в избытке — он очарователен в своей маленькой комнатке, заставленной книгами, за маленьким базарным письменным столом, среди исписанных блокнотов, где намечены планы его будущих вещей: повести о Майбороде и об умирающем Гейне (причем Майборода — в известном смысле тот же Киже), он полон творческого электричества, он откликается на тысячи тем, он говорит о Сапире, о влиянии Некрасова на Полонского, о кинопостановке «Поэта и Царя» («есть такой Гардин, прожженный режиссер, которому плевать на Пушкина, вульгарный как... [пропуск в оригинале. — *Е. Ч.*], я ему говорил: «Поезжайте в Михайловское, он и поехал — и такого ужасу навез... Если вокруг Пушкина были вот такие Бенкендорфы, Пушкин — подлец, что он тянется к такому двору, откуда его гонят»), о Владимире Григорьевиче Вульфзоне (глава издательства «Московский рабочий»), с которым сводил его Сапир, и здесь Тынянов показал Вульфзона — изумительно он умеет *показывать* людей, передразнивать позы, усмешки — черта истинного беллетриста.

Воскресение, [16] октября. Сегодня позвонила из больницы Марья Соломоновна (мать Нюры) и сказала, чтобы Муру привезли к 3 часам в больницу, так как во вторник Буш будет делать ей операцию. Я совершенно спокоен, т. к. я знаю, что эта операция к лучшему, но М. Б. нарочно засела в кресле и стала думать о всяких ужасах.

18 октября, вторник. Вчера с трудом добился М. Б. по телефону. Она жалуется, что Муру простудили, врачи еще ее не осматривали, — просила винограду и икры. Я попросил Лиду достать в Публичной Библиотеке книжку Доде «Маленький человек» и отправил ее в больницу. По улицам ни пройти, ни проехать: советслужащие по предложению начальства кричат «ура» и шеству-

ют в Таврический дворец — большинство с портфелями. Денег ниоткуда, ни Тихонов не шлет, ни «Радуга» не дает. Сейчас Лида меня позвала и сказала, что мама просила меня приехать к 10 часам в больницу. Значит, нужно сейчас собираться.

Третьего дня был у Тынянова. Пишет каждый день с утра до двух своего Грибоеда. Читал куски. Мне больше всего понравилась главка «Что такое Кавказ» — в ней есть фельетонный блеск. Остальное тускловато. Сашка — под Смердякова чуть-чуть. Но кончив читать, Тынянов стал рассказывать будущие главы романа — упоительно! Он четко знает каждую строку, которую он напишет в романе, все уже у него обдумано до последней запятой. Так как при этом он показывает позы своих героев, говорит их голосами, то выходит прелестно. Очень талантливо показал он Бурцова, рогатого декабриста. Потом мы пошли в комнату Инны, и она читала нам стихи своего сочинения, очень смешные, вроде того, что

Ах, Евпатория!
Ты не знаешь, как печальна моя история!

На стене у Инны висит, к моему удивлению, коврик с изображением моего Крокодила —

Опечалился несчастный Крокодил.

Оказывается, что в Мюре и Мюрелизе продаются эти коврики в огромном количестве.

Сейчас вернулся из больницы от Муры. Она бледная (не ела со вчера), но веселая и возбужденная. Бегает... по всему отделению, забегает в чужие палаты, знакома со всеми. Нервничает, но скрывает это. Я почитал ей «Маленького человека» Доде, повторил с нею все английские слова и сказал ей новое (necktie[1]) и она сама сообщила мне будущую свою программу. 1-й день (после операции) я буду лежать без чувств. 2-й день вечером мне дадут киселька и супу. 3-й день дадут всякой жидкости — картошечки. А на 4-й день, папа, изволь принести мне шоколаду.

От возбуждения порозовела. Приближается время операции. При каждом звонке вздрагивает, но делает вид, что вся поглощена «Маленьким человеком». Вчера сказала: «Я докажу, какая я буду мужественная». Вошла сестра: «Приготовьте больную». Надели на нее белые чулки, сняли с нее лифчик, рубашку и надели халатик, с тесемочками. «Не надо повязок». Пуговица отлетела: «Ну и Маринка!» (Маринка пришивала). Косынкой обвязали голову.

[1] галстук (*англ.*).

— «Ну, до свидания на один день!» Пошла весело. Марья Семеновна проводила ее до дверей. Одна больная, глядя на ее веселое отправление, вдруг заплакала. В операционной вела себя молодцом. Буш вырезал у нее длинный отросток с гнойником на конце. — Через минуту после операции он сказал мне:

— Новый припадок был бы обеспечен наверное, и за результаты ручаться было бы нельзя.

23 октября. У Муры температура нормальная, сегодня я хотел заплатить Бушу за операцию 70 рублей — но чуть только я заикнулся об этом, Буш ясно посмотрел мне в глаза и сказал твердым голосом: «Мы здесь за операции денег не берем». Есть еще на свете порядочные люди — не то что порядочные, — удивительные!

С «Крокодилом» худо. Нет разрешения ни в Москве, ни здесь. А между тем с 1-го ноября над детскими книгами воцаряется *ГУС*, и начнется многолетняя канитель.

27 окт. 1927. Мура дома. Привез ее третьего дня в автомобиле. Буш — ангел, оказывается он получает в больнице 140 рублей, т. е. около 1 рубля за операцию.

Сейчас получил от Воронского письмо: «Крокодил» задержан из-за ГУСа — т. к. с 1-го ноября эти книги должны проходить через ГУС. Но почему сукин сын Тихонов в мае не провел эту книгу через Главлит, неизвестно. Он мог бы тысячу раз получить разрешение.

А здешний Гублит задержал вчера все представленные «Радугой» мои книги, в том числе и «Крокодила». Oh, bother![1]

Вчера я сдал в «Academia» на просмотр Александру Ал-чу Кроленко свою книгу «О маленьких детях». Он обещал дать в субботу ответ.

Сейчас мы с Маршаком идем в Гублит воевать с тов. Энгелем. Если он будет кобениться, мы поедем в Смольный — будем головою пробивать стену. И пробьем, но чего это будет нам стоить. Вчера Маршак повернулся ко мне опять своей хорошей стороной. Он третьего дня выслушал начало Лидиной книжки — и отнесся к ней с большим энтузиазмом, горячо, юношески. Есть в нем эта особенность: хитрый, скопидом, карьерист, но с каким-то ярким просветом в душе.

Вчера мы шли с ним домой, и он очень сантиментально говорил, как надоела ему эта пустая и праздная жизнь, как хочется ему

[1] О, морока (*англ.*).

вырваться из Госиздата, как хочется ему говорить о возвышенном, как светла была его встреча в Москве с Татлиным и пр. и пр. и пр.

На Лиду он произвел очень хорошее впечатление: впечатление большого человека. Она говорила, что он хорошо и проницательно рассуждал о Толстом.

Как позорна русская критика: я, редактируя Панаеву, сделал 4 ошибки. Их никто не заметил — невежды! Только и умеют, составляя отзывы, что пересказывать мое предисловие. *Ни один* ни звука не сказал *от себя*!

Воскресение. 30 октября. Перебирая письма о детском языке, полученные мною в прошлом году, я наткнулся на очень серьезное письмо некоей Сюзанны Эдуардовны Лагерквист-Вольфсон — о двух детях: о Туленьке и Лиленьке. Очень хорошо она судила об Анненкове, Конашевиче и Чехонине. И в конце прибавила: «Неужели Вы автор Бородули?.. Зачем Вы себя разменяваете на такую ерунду?» Я давно уже хотел посетить ее и посмотреть ее детей — Туленьку и Лиленьку (самые их имена импонировали). Сегодня снежок, воздух чистый, морозец — пошел я на Греческий проспект — и стал в доме № 25 спрашивать про Сюзанну Вольфсон. Все отвечают уклончиво. Я позвонил — ход через кухню — грязновато — вышел ко мне какой -то лысый глухой человек, долго ничего не понимал, наконец оказалось, что эта самая Сюзанна Эдуардовна недавно выбросилась из окна на улицу и разбилась насмерть — чего ее дети не знают. Я подарил сироткам свои книжки, они очень милы (Сюзанна была *француженка*). Но надежд на новые слова у меня нет, т. к. их *глухой* отец все равно не услышит ни их песен, ни их слов. Смотрел ее карточку: сумасшедшее лицо, похожа на Анастасию Чеботаревскую.

Вчера гулял с Таточкой. Как-то я рассказывал ей про девочку Олечку, и теперь она, увидев меня, кричит: «Чего Олечка хочет?»

Я отвечаю:

— Олечка хочет, чтобы...

и дальше применяюсь к обстоятельствам. «Олечка хочет, чтобы ты дала дединьке ручку», «Олечка хочет, чтобы дединька взял Таточку за руку» и т. д.

В субботу был я с Таней Ткаченко в цензуре — в Гублите. Ко мне вышел цензор и сказал, что они разрешили все мои детские книги. Верно ли это, не знаю, но если разрешены «Айболит» и «Крокодил», то денежные мои дела будут значительно лучше.

Таню Ткаченко я устроил в Московскую Студию к Завадскому через С. В. Гиацинтову. Она пришла меня благодарить, но я торо-

пился в «Красную», в Гублит и т. д. и взял ее с собою. **1927**
Лида говорит, что в Тане только и есть, что театральный талант, а больше нет ничего: она никого не любит, над всеми смеется; нет ни одного человека, который не был бы ей смешон. Все кругом для нее карикатуры. [Следующий лист выдран — *Е.Ч.*]

Сегодня решается судьба моих «Экикиков». Их взял Ал. Ал. Кроленко для прочтения — будет ли издавать их в «Academia» или нет. Для меня это жизнь и смерть. Я в последнее время столько редактировал, компилировал, корректировал («Панаеву», «Некрасова», «Мюнхгаузена», «Тома Сойера», «Гекльберри» и пр.), что приятно писать свое — и очень больно, если это свое не пройдет.

Завтра выходит 2-е изд. «Панаевой». А вместе с нею и «Тальниковы». «Панаева» подгуляла: перепутали страницы в титульном листе, на обвертке неграмотный текст и т. д. «Тальниковы» — рагу из зайца — без зайца.

Конашевич вчера прислал еще одну книжку, проиллюстрированную им, «Черепаха». Ничего, но много розового.

Боба весь в буере. Вчера он с Женькой весь день строгали, пилили бревна — меряли их веревочками и снова пилили, составили треугольник, основу буера. Теперь их мечта: украсть небольшую негодную рельсу, чтобы сделать из нее полозья.

Купил на последние деньги Коле, и Лиде, и Муре шоколаду. Коля ел его — словно слушал стихи.

В пятницу был у меня Маршак, и Лида при нем заставила меня обратиться прямо к Мессингу по телефону, чтобы Мессинг принял меня. Я позвонил, но результаты оказались совсем неожиданные. Вечером же Лида получила повестку явиться в Г.П.У. А меня не приняли.

Я устал — ничего не делаю — хочется писать, а не умею. Я ненавижу отношение наших писателей к революции. Составил Союз Писателей плакаты, и среди них нет ни одного, который был бы неказенного содержания. Самые линии прямые и скудные — говорят о каких-то рабьих, казенных умах, которые без вдохновения, по приказу развешивали флаги и гирлянды. Пошел я в Дом Печати — где должны были собраться писатели, ждал часа два, но пришли только Фроман, Наппельбаум, Всев. Рождественский и С. Семенов.

Так как Фроман пришел по долгу службы, а Наппельбаум сию же минуту ушла, то оказалось всего 2 человека, которые пришли по доброй воле. В «Модпике» — та же история. Пришли только должностные лица, которые обязаны придти. Зато весь Госиздат налицо: Госиздат состоит из чиновников, которым нагорит, если

они не придут. Так, спасая свои животишки, люди 20-го числа, титулярные, требовали «Мирового Октября».

Я пошел к Зощенке. Он живет на Сергиевской, занимает квартиру в 6 комнат, чернобров, красив, загорел. Только что вернулся с Кавказа. «Я как на грех налетел на писателей: жил в одном пансионе с Толстым, Замятиным и Тихоновым. О Толстом вы верно написали: это чудесный дурак». А Замятин? «Он — несчастный. Он смутно чувствует, что его карьера не вытанцевалась, — и не спит, мучается. Мы ехали с ним сюда вместе: все завешивали фонарь, чтобы заснуть... Теперь он переделывает «Горе от ума» для Мейерхольда». — А вы? — А я здоров. Я ведь организую свою личность для нормальной жизни. Надо жить хорошим третьим сортом. Я нарочно в Москве взял себе в гостинице номер рядом с людской, чтобы слышать ночью звонки и все же спать. Вот вы и Замятин все хотели не по-людски, а я теперь, если плохой рассказ напишу, все равно печатаю. И водку пью. Вчера вернулся домой в два часа. Был у Жака Израилевича. Жак женился, жена молодая (ну, она его уже цукает, скоро согнет в бараний рог). У Жака были Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум — все евреи, я один православный, впрочем, нет, был и Всев. Иванов. Скучно было очень. Шкловский потолстел, постарел, хочет написать хорошую книгу, но не напишет, а Всев. Иванов — пьянствует и ничего не делает. А я теперь пишу по-нормальному — как все здоровые люди — утром в одиннадцать часов сажусь за стол — и работаю до 2-х — 3 часа, ах какую я теперь отличную повесть пишу, кроме «Записок офицера» — для второго тома «Сантиментальных повестей», вы и представить себе не можете...»

Мы вышли на улицу, а он продолжал очень искренне восхищаться своей будущей повестью. «Предисловие у меня уже готово. Знаете, Осип Мандельштам знает многие места из моих повестей наизусть — может быть потому, что они как стихи. Он читал мне их в Госиздате. Героем будет тот же Забежкин, вроде него, но сюжет, сюжет».

— Какой же сюжет? — спросил я.

— Нет, сюжета я еще не скажу... Но я вам первому прочту, чуть напишется.

И он заговорил опять об организации здоровой жизни. «Я каждый день гимнастику делаю. Боксом занимаюсь...»

Мы шли по набережной Невы, и я вдруг вспомнил, как в 1916 году, когда Леонид Андреев был сотрудником «Русской Воли» — он мчался тут же на дребезжащем авто, увидел меня, выскочил и стал говорить, какое у него теперь могучее здоровье. «Вот муску-

лы, попробуйте!» А между тем он был в то время смертельно болен, у него ни к черту не годилось сердце, он был весь зеленый, одна рука почему-то не действовала.

Я сказал об этом Зощенке. «Нет, нет, со мною этого не будет». Когда он волнуется или говорит о задушевном, он произносит «г» по-украински, очень мягко.

«Ах, я только что был на Волге, и там вышла со мною смешная история! По Волге проехал какой-то субъект, выдававший себя за Зощенко. И в него, в поддельного Зощенко, влюбилась какая-то девица. Все сидела у него в каюте. И теперь пишет письма мне, спрашивает, зачем я не пишу ей, жалуется на бедность — ужасно! И, как на грех, это письмо вскрыла моя жена. Теперь я послал этой девице свой портрет, чтобы она убедилась, что я тут ни при чем».

Мы пришли к Радлову, Ник. Эрн. Радлов только что встал. Накануне он пьянствовал у Толстого. До 6 часов утра. Ничего не пил — кроме водки и шампанского. По пьяному делу было у него столкновение с Щеголевым — очень мучительное. Щеголев говорил о ГПУ, что для партийного человека ГПУ учреждение не одиозное. Радлов хотел защитить противоположную точку зрения: «Ну, представьте себе, Павел Елисеевич,что вы сами служите в ГПУ». Жене Щеголева показалось, что Радлов обвиняет его в службе там, и она подняла скандал, т. к. тоже была пьяна. «Кончилось все миром, я объяснился, поцеловал у нее длань, но нехорошо». Рассматривали мы книгу, которую изготовили «Радлов и Зощенко» — «Веселые изобретения» — очень смешную. Книга будет иметь колоссальный успех. «Вы знаете, сколько тысяч моей последней книжки напечатала «Красная газета»? — говорит Зощенко надменно. — 92 тысячи!» — «Но там много слабых рассказов!» — говорю я. «Нет! — отвечает Зощенко. — Там есть рассказ о матери и дочери и проч. Теперь я не слушаю, если меня бранят... Как меня бранили, когда я стал писать свои маленькие рассказы, — особенно были недовольны Мих. Слонимский и Федин... Нет, я публику знаю и не ошибаюсь... нет!»

Это он говорил на обратном пути, а у Радлова больше молчал, т. к. Радлов взялся написать большой его портрет для будущей книги о нем, которая выходит в «Академии». Портрет Радлову не очень удался «после вчерашнего», но говорил он прекрасно — о Лебедеве, Влад. Вас. «Лебедев страстно предан своему делу, но относится к живописи как к вещи. Вещи же он любит, как картины, — ходил два месяца за одним иностранцем, чтобы купить у того его башмаки».

Впрочем, скоро мы с Зощенко пошли обратно. Он говорил о той книге, что выходит о нем в «Academ'ии»: «Я послушал вашего совета и сказал в предисловии, что моя статья о себе была читана в виде доклада, чтобы не подумали, что я специально написал ее для этой книжки».

Жаловался, что читатели не понимают его «Сантиментальных повестей».

9 ноября. Я забыл записать, что 4 ноября я был у Мессинга в Г.П.У. Он встретил меня хорошо и даже с каким-то удовольствием сообщил, что он решил Лиду освободить, хотя из Москвы еще не получено окончательного ответа на его предложение. Я страшно обрадовался:

— А как ее убеждения? Переменились? — спросил он.

— Нет, — сказал я. — Ее убеждения те же.

И стал хлопотать о Кате Борониной. — Он обещал сделать все, что возможно.

Вчера я пошел к Тынянову — и встретил там... Виктора Шкловского. Тынянов смутился, памятуя, что Виктор Шкловский ругал меня в «Третьей фабрике», и сказал шутливым тоном: «Вы знакомы?» (Думая, что я не подам ему руки). — «Еще бы!» — сказал я, и мы добродушно поздоровались. Шкловский начал с любезности:

— Ваша «Панаева» отлично идет в Москве. Просто очереди стоят! И вы нисколько не переменились.

— А издатели 8 лет браковали ее, — сказал я.

— Да, у К. И. долгое время издатели не хотели брать и О'Генри! — сказал Тынянов вторую любезность. — А потом такой успех.

— Ну, О'Генри теперь размагнитился! — сказал я.

— Да, — сказал Тынянов. — Теперь в Америке стали печататься скучные книги.

— Ю. Н.! — сказал я с упреком. — А давно ли вы хвалили американскую литературу!

— Я и теперь хвалю! — отозвался он. — Ведь я очень люблю скучные книги.

Разговор завязался непринужденный. Шкловский пополнел, но не обрюзг. Собирает матерьялы для своей будущей книги о Льве Толстом. «Я убедил Госиздат, что необходимо выпустить книгу о Толстом и что эту книгу должен написать я». Я вспомнил, что у Шкловского есть чудесное слово «Мелкий Бескин» про Бескина, что заведует Литхудом в Москве.

— У Шкловского есть слово и почище! — сказал Тынянов. — «Томашеничество».

Слово привело меня в восторг. — По какому поводу оно сказано? Оказывается, что Томашевский согласился занять в Университете кафедру, которой лишили Эйхенбаума. Тынянов объясняет это происками жены Томашевского — «ужасной женщины», которая интригует, шпионит, строит каверзы. Сын Томашевского слушает будто бы лекции Эйхенбаума в университете, и если Эйхенбаум ругает ректора Державина или вообще «марксистов», тотчас же передает это матери, а та будто бы сообщает об этом «марксистам».

Потом начался тот чудесный разговор о литературе, который процветал в золотые голодные дни формализма — обрывками, клочками, афоризмами. «Что такое для Ал. Толстого — халтура? Он читал свой скучный роман, сделанный по документальным данным, а Каверин ему говорит: почему вы не пишете, как когда-то писали «Ибикуса», — авантюрно, свободно? А Толстой отвечает: «Да ведь «Ибикус» — халтура, а здесь я серьезен, здесь у меня все изучено». То-то и плохо, что изучено. Для него «халтура» — творчество, а чуть начнет работать — халтура.

С сокрушением говорили о Замятине: «Какое слабое дарование. А ведь это вы, К. И., первый сказали мне (Тынянову), что Замятин плох». И т. д.

Подали на стол тарелки и хлеб. Тыняновым нужно обедать. У Шкловского осталась прежняя манера — щипать хлеб на ходу; надел шубу и шапку, собрался уходить, но заговорился и, сам не замечая, непрерывно брал со стола хлеб и совал в рот. [Следующая страница вырвана. — *Е. Ч.*]

... — А отчего вы кашляете.

— Ничего серьезного. Это от куренья... Я много курю.

— Вот уже и второй порок. У меня тоже много пороков, но главный — интерес к литературе. Скажите, что делается в Питере в литературной среде.

— Я ответила, как умела. Живем врозь, никакого единения нету.

— Кто же у вас бывает?

— Шкапская. Ах, напрасно вы [слово стерто. — *Е. Ч.*] выругали Шкапскую, она очень хорошая.

— Выругал? Нет. Я просто отнесся к ней поверхностно...

Потом сказал о тыняновских романах: «Это все интересно, но без нутра. Пишет, как Алданов».

А больше ни о ком. Такая жалость, что я не задала ему вопросов. Говорили мы, конечно, только о литературе. О политике он не сказал ни слова. Только заметил:

— Теперь у меня нет времени много читать. Не до того!

1927 **11 ноября.** Вчера вдруг в ящике моего письменного стола проснулась бабочка, которую я считал давно умершей и только случайно не выбросил. Летает и сейчас — и бьется в замерзшие окна.

Вчера мы снимались — у Наппеля, всей семьей. У меня чувство — предмогильное.

В «Academia» вдруг Зильберштейн говорит, что у Шилова есть письмо Чернышевского к Авдотье Панаевой — об ее воспоминаниях. Я кинулся туда. Он тоже, чтобы перехватить эту покупку у меня. Я взял извозчика. Он — бегом. Влетели мы в магазин оба разом. Письмо за мною, но — 40 рублей.

13 ноября. Мура целует маму. — Хоть бы раз меня поцеловала! — говорю я.

— Не привыкла я как-то мужчин целовать! — сказала она искренне.

Эти два дня у меня американские: вчера обедал у Гентта, сегодня завтракал с Голдером и Хаппером. Голдер неинтересен: делец. А Хаппер милый долговязый шотландец, начитанный, простодушный, с отличным смехом. Я водил его к Евг. Викторовичу Тарле — тот очень хвалит моего Некрасова, хвалит мои примечания и т. д. Но дни пустые, а ночи без сна.

26 ноября, кажется. Суббота. Много смертей. У парикмахера моего умерла в цвете лет от менингита красивая жена, маникюриха Шура и оставила сына, мальчика дет 10.

— Ну что, плачет мальчик? — спросил я у парикмахера дней через 5 после ее смерти.

— Плачет.

— Жалко матери?

— Нет, о матери он и думать забыл, а плачет он, чтобы я в школу дал ему длинные штаны, а я даю короткие!

Прошло еще два-три дня, и мальчик попал под автомобиль-грузовик, ему фонарем разбило голову, и он тут же на мостовой скончался. А на другой день умер наш бывший управдом Дмитрий Иваныч — пьяный, падший, лживый и все же бесконечно милый человек. Когда его хоронили, вся церковь была полна народу, и все плакали о нем как о родном.

Мура: — Дверь у Бобы заскрипела, как скрипка.

Тате бабушка говорит: — Приходи ко мне на елку. *Тата*: — Я приду, приду к тебе на сосенку.

Мура читает громко и нервно Любе на кухне «Тома Сойера» и «Гайавату». Боба читает мне «Астрономические вечера» Клейна

и мастерит буер — очень толково обращается с топором и рубанком. Лида пишет о Шевченке. Коле я добыл работу в «Красной газете» — переводить «Акриджа»*. Я фабрикую заметки о Некрасове к его юбилею — хочу съездить в Москву и продать — все стараюсь добыть денег, чтобы хоть недели две отдохнуть...

Увидел третьего дня вечером на Невском какого-то человека, который стоял у окна винного склада и печально изучал стоящие там бутылки. Человек показался мне знакомым. Я всмотрелся — Зощенко. Чудесно одет, лицо молодое, красивое, немного надменное. Я сказал ему: — Недавно я думал о вас, что вы — самый счастливый человек в СССР. У вас молодость, слава, талант, красота — и деньги. Все 150 000 000 остального населения страны должны жадно завидовать вам.

Он сказал понуро: — А у меня такая тоска, что я уже третью неделю не прикасаюсь к перу. Лежу в постели и читаю письма Гоголя — и никого из людей видеть не могу. — Позвольте! — крикнул я. — Не вы ли учили меня, что нужно жить, «как люди», не чуждаясь людей, не вы ли только что завели квартиру, радио, не вы ли заявляли, как хорошо проснуться спозаранку, делать гимнастику, а потом сесть за стол и писать очаровательные вещи — «Записки офицера» и проч.?!

— Да, у меня есть отличных семь или восемь сюжетов, — но я к ним уже давно не приступаюсь. А люди... я убегаю от них, и если они придут ко мне в гости, я сейчас же надеваю пальто и ухожу... У нас так условлено с женою: чуть придет человек, она входит и говорит: Миша, не забудь, что ты должен уйти... — Значит, вы всех ненавидите? Не можете вынести ни одного? — Нет, одного могу... Мишу Слонимского... Да и то лишь тогда, если я у него в гостях, а не он у меня...

Погода стояла снежная, мягкая. Он проводил меня в «Радугу», ждал, когда я кончу там дела, и мы пошли вместе домой. Вина он так и не купил. По дороге домой он говорил, что он непременно победит, сорганизует свое здоровье, что он только на минуту сорвался, и от его бодрости мне было жутко. Он задал мне вопрос: должен ли писатель быть добрым? И мы стали разбирать: Толстой и Достоевский были злые, Чехов натаскивал себя на доброту, Гоголь — бессердечнейший эгоцентрист, один добрый человек — Короленко, но зато он и прогадал как поэт. «Нет, художнику доброта не годится. Художник должен [быть] равнодушен ко всем!» — рассуждал Зощенко, и видно, что этот вопрос [его] страшно интересует. Он вообще ощущает себя каким-то инструментом, который хочет наилучше использовать. Он видит в себе машину для

производства плохих или хороших книг и принимает все меры, чтобы повысить качество продукции.

В ноябре выяснилось, что мой «Крокодил» задержан ГУСом надолго и что никто, кроме меня, его не отстоит. Тихонову следовало издать его в мае, но он уехал — и в июле Главлит задержал эту книгу до образования ГУСа. ГУС, со своей стороны, не торопился давать разрешение — и таким образом книга полгода остается под запретом... Ехать в Москву стало необходимо. Чтобы окупить поездку, я написал разные статейки о Некрасове — к его юбилею.

Еду разбитый — не спал накануне — и в поезде всю ночь не сомкнул глаз.

28 ноября. Понедельник. Я в Москве. В «Огонек» — нет ни Зозули, ни Рябинина. Зозуля в Париже, Рябинин в Ленинграде. Завтра приедет. В «Огоньке» все ново: швейцар, светлые комнаты, просторно, целый особняк.

В гостинице «Центральной» застал больного Чехонина. У него порок сердца плюс ангина. Он очень хорошо рассказывает о сердечном припадке: «Остановилось ночью сердце — и тотчас же изо всех пор потекли потоки холодного пота — вот этакие капли, как горошины. Лежу и наблюдаю за собою. Голова очень ясна. И странно: до припадка у меня мучительно болели ноги, а после припадка моментально прошли».

Занимает он самый крохотный номер — против клозетов — № 37. В комнате страшно жарко. При нем — сын, приехавший из Питера, и сиделка — очень милая барышня. Он рассказывает о деньгах: «Я здесь в Москве подработал: за всякие работы к X-летию Октября получил я 3500 рублей, да один американец заплатил мне 600 долларов за миниатюру, написанную мною с него».

Я оставил чемодан у Чехонина, т. к. номера гостиницы все заняты, и кинулся к Тихонову — в Кривоколенный. Сейчас я узнаю судьбу моего «Крокодила». Бегу невыспанный, прибегаю — Тихонов в конторе, помолодел, посвежел, недавно с Кавказа, мил и, как всегда, ни в чем не виноват.

— К. И., какими судьбами!

— Приехал узнать о судьбе «Крокодила».

— Ах, да, очень жаль, очень жаль. ГУС не разрешает. Что поделать. Мы хлопочем.

Оказывается, что книга вся сверстана, но находится на рассмотрении в ГУСе, в отделе учебников, который нарочно рассматривает книгу три месяца, чтобы взять ее измором. Верховодит там Натан Венгров; почему-то книга попала на рассмотрение

к Менжинской, которая держит ее бог знает сколько и не дает целые месяцы ответа.

От Тихонова я в Институт детского чтения — к Анне Конст. Покровской. Она выражает мне горячее сочувствие и рассказывает, как теснят ее и ее институт: он стал почти нелегальным учреждением, к ним посылают на рецензии целый ряд книжек — но не Чуковского. Я — к Венгрову. Он продержал меня в прихожей целый час — вышел: в глаза не глядит. Врет, виляет, физиологически противный. Его снедает мучительная зависть ко мне, самое мое имя у него вызывает судорогу, и он в разговоре со мною опирается на свое бюрократич. величие: «Я, как ученый секретарь ГУСа...», «Мне говорила Крупская...», «Я с Покровским...», «Мы никак не можем...» Оказалось, что теперь мой «Крокодил» у Крупской.

Я — к Крупской. Приняла любезно и сказала, что сам Ильич улыбался, когда его племяш читал ему моего «Мойдодыра». Я сказал ей, что педагоги не могут быть судьями литературных произведений, что волокита с «Крокодилом» показывает, что у педагогов нет твердо установленного мнения, нет устойчивых твердых критериев, и вот на основании только одних предположений и субъективных вкусов они режут книгу, которая разошлась в полумиллионе экземпляров и благодаря которой в доме кормится 9 человек.

Эта речь ужаснула Крупскую. Она так далека от искусства, она такой заядлый «педагог», что мои слова, слова литератора, показались ей наглыми. Потом я узнал, что она так и написала Венгрову записку: «Был у меня Чуковский и вел себя нагло».

Был я у Демьяна. Он обещал похлопотать. Читает Гершензона, письма к брату — и возмущается. Рассказывал про Троцкого, что он уже поссорился с Зиновьевым — и теперь вообще «оппозиции крышка». «Заметили вы про оппозицию, что, во-первых, это все евреи, а во-вторых — эмигранты: Каменев, Зиновьев, Троцкий. Троцкий чуть что заявляет: «Я уеду за границу», а нам, русакам, уехать некуда, тут наша родина, тут наше духовное имущество».

Был у Кольцовых. Добрая Лизавета Николаевна и ее кухарка Матрена Никифоровна приняли во мне большое участке. Накормили, уложили на диван. Не хотите ли принять ванну? Лиз. Никол. очень некрасивая, дочь англичанки, с выдающимися зубами, худая, крепко любит своего «Майкела» — Мишу Кольцова — и устроила ему «уютное гнездышко»: крохотная квартирка на Б. Дмитровке полна изящных вещей. Он — в круглых очках, небольшого росту, ходит медленно, говорит степенно, много курит, но при всем этом производит впечатление ребенка, который

1927 притворяется взрослым. В лице у него много молодого, да и молод он очень: ему лет 29, не больше. Между тем у него выходят 4 тома его сочинений, о нем в «Academia» выходит книга, он редактор «Огонька», «Смехача», один из главных сотрудников «Правды», человек, близкий к Чичерину, сейчас исколесил с подложным паспортом всю Европу, человек бывалый, много видавший, но до странности скромный. Года три [назад] в Художественном Театре — я встретил его вместе с его братом Ефимовым, художником, — и не узнал обоих. Вижу, молодые люди, говорят со мной почтительно, я думал: начинающие репортеры, какая-нибудь литературная мелочь, на прощание спрашиваю: как же вас зовут? Один говорит застенчиво: «Борис Ефимов», другой: «Михаил Кольцов».

Странно видеть Кольцова в халате — ходящим по кабинету и диктующим свои фельетоны. Кажется, что это в детском театре.

И на полках, как нарочно, яркие игрушки. Пишет он удивительно легко: диктует при других и в это время разговаривает о посторонних вещах.

Его кухарка Матрена Никифоровна в большой дружбе с его женой: она потеряла не так давно взрослую дочь и теперь привязалась к Лизавете Николаевне, как к родной. Самостоятельность ее в доме так велика, что она, провожая меня в переднюю, сказала по своей инициативе:

— Так приходите же завтра обедать.

Рядом с ними живет Ефим Зозуля. Буквально рядом — на одной площадке лестницы. У Ефима Зозули всегда полон дом каких-то родственников, нахлебников, племянниц — и в довершение всего на шкафу целая сотня белых крыс, и мышей, и морских свинок, которые копошатся там и глядят вниз, как зрители с галерки, — пугая кошку. Есть и черепаха. Все это — хозяйство Нины, Зозулиной дочки, очень избалованной девочки с хищными чертами лица. В доме — доброта, суета, хлебосольство, бестолочь, уют, телефонные разговоры, еда.

От Кольцовых — к Шатуновским. У них невесело. Он, 52-летний, сошелся с какой-то машинисткой, а жена, влюбленная в него до сих пор, сильно страдает, ежеминутно вздыхая своею колоссальною грудью. Главное ее мучает, что — «У Яши больное сердце и ему нельзя предаваться излишествам».

На другой или на третий день по приезде в Москву я выступил в Институте детского чтения в М. Успенском пер. Прочитал «Лепые нелепицы». Слушать меня собралось множество народу, и я еще раз убедился, как неустойчивы и шатки мнения педагогов. Около меня сидела некая дегенеративного вида девица — по фа-

милии Мякина — очень злобно на меня смотревшая. Когда я кончил, она резко и пламенно (чуть не плача от негодования) сказала, что книжки мои — яд для пролетарских детей, что они вызывают у детей только бессонницу, что их ритм неврастеничен, что в них — чисто интеллигентская закваска и проч. Говорила она хорошо, но все время дергалась от злобы, и мне даже понравилась такая яростная убежденность. После прений я подошел к ней и мягко сказал:

— Вот вы против интеллигенции, а сами вы интеллигентка до мозга костей. Вы восстаете против неврастенических стихов — не потому ли, что вы сами неврастеничка.

Я ждал возражений и обид, но она вдруг замотала головой и сказала: «Да, да, я в глубине души на вашей стороне... Я очень люблю Блока... Мальчики и девочки, свечечки и вербочки*. Я требую от литературы внутренних прозрений... Я интеллигентка до мозга костей...»

В этой быстрой перемене фронта — вся мелкотравчая дрянность педагогов. В прениях почти каждый придирался к мелочам и подробностям, а в общем одобрял и хвалил. Е. Ю. Шабад (беззубая, акушерского вида) попробовала было сказать, что и самый мой доклад — перевертыш, но это резонанса не имело. Каждый так или иначе говорил комплименты (даже Лилина), и вместо своры врагов я увидел перед собою просто добродушных обывательниц, которые не знают, что творят. Они повторяют заученные речи, а чуть выбьются из колеи, сейчас же теряются и несут околесину. Никто даже не подумал о том, что «Лепые нелепицы» не только утверждают в литературе «стишок-перевертыш», но и вообще — ниспровергают ту обывательскую точку зрения, с которой педагоги подходят теперь к детской литературе, что здесь *ниспровержение всей педологической политики по отношению к сказке.*

Я из чувства самосохранения не открыл им глаз — и вообще был в тот вечер кроток и сахарно-сладок. Сейчас я вижу, что это была ошибка, потому что, как я убедился через несколько дней, казенные педагоги гнуснее и тупее, чем они показались мне тогда.

17 января. Что же сделает ГУС с моими детскими книжками? Судя по тем протоколам, которые присланы в «Радугу» по поводу присланных ею книг, — там, в ГУСе, сидят темные невежды, обыватели, присвоившие себе имя *ученых*. Сейчас говорят, будто в их плеяду вошли Фрумкина и Покровская, но вообще — отзывы их так случайны, захолустны, неавторитетны, что самые худшие мнения о них оказались лучше действительности. Критериев у них нет никаких, и каждую минуту они прикрываются словом «антропоморфизм». Если дело обстоит так просто и вся задача лишь в том, чтобы гнать антропоморфизм, то ее может выполнить и тот сторож, который в Наркомпросе подает калоши: это дело легкое и автоматическое. Разговаривают звери — вон! Звери одеты в людское платье — вон! Думают, что для ребенка очень трудны такие антропоморфические книги, а они, напротив, ориентируют его во вселенной, т. к. он при помощи антропоморфизма *сам* приходит к *познанию реальных отношений*. Вот тема для новой статьи о ребенке — в защиту сказки. Когда взрослые говорят, что антропоморфизм сбивает ребенка с толку, они подменяют ребенка собою. Их действительно сбивает, а ребенку — нет, помогает. Сюжет для небольшого рассказа.

Читал о Горьком третьего дня в Центральном Доме Искусств. Читал иронически, а все приняли за пафос — никаких оттенков не воспринимает дубовая аудитория.

Видел Слонимского: желто-зеленый опять. У него вышла повесть «Средний проспект», где он вывел какого-то агента; Гублит разрешил повесть, ГИЗ ее напечатал, а ГПУ заарестовало. Теперь это практика: книгу Грабаря конфискуют с книжных прилавков. Поэтому Чагин сугубо осторожен с моей книжкой «Маленькие дети», которую в Гублите разрешили еще 15-го. Он повыбросил ряд мест из разрешенной книжки — «как бы чего не вышло».

Хулиганская афера «Огонька»: предложил мне достать письма Льва Толстого к Дружинину и редактировать их, а когда я достал, сделал попытку прогнать меня от этих писем. Но я свел Дружини-

на с Чагиным, и сегодня мы туда едем: не купит ли Чагин писем Толстого для «Минувших дней».

21 января. Вчера был у меня Слонимский. Его «Средний проспект» разрешен, он принес книжку. Но рассказывает мрачные вещи. Главлит задержал Сельвинского «Записки поэта». Потом выпустил. Задержали книгу Грабаря. Потом выпустили. В конце концов задерживают не так уж и много, но сколько измотают нервов, пока выпустят. А задерживают не много потому, что все мы так развратились, так «приспособились», что уже не способны написать что-нибудь неказенное, искреннее. — Я, — говорил Миша, — сейчас пишу одну вещь — нецензурную, для души, которая так и пролежит в столе, а другую — для печати — преплохую. — Я рассказал ему историю с моим «Крокодилом». Полгода разные учреждения судят об нем, а покуда книги нет на рынке, — и что за радость, что книгу теперь разрешили; кто вернет мне те убытки, которые нанесены мне ее полугодовым отсутствием на рынке! Слонимский рассказывает, что несомненно некоторые неугодные книги нарочно не распространяются под воздействием политконтроля. Напр., «Конец хазы» Каверина. Всю книгу нарочно держат на складе, чтобы она не дошла до читателя. Я думаю, что это неверно. «Конец хазы» и сам по себе может не идти. Но что мы в тисках такой цензуры, которой никогда на Руси не бывало, это верно. В каждой редакции, в каждом издательстве сидит свой собственный цензор, и их идеал — казенное славословие, доведенное до ритуала.

Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, т. к. мы легко можем себе представить такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть. Миша очень мил; мы были ему искренне рады. Он очень забавно рассказывает о Париже, о маме.

— Я затем и в Париж ездил,чтобы примириться с мамой (по поводу изображения ее в романе).

— И примирились?

— Да. Она все плохие черты и сама не принимает на свой счет. «Ведь я, — говорит она, — никогда чужих писем не читала». Но тут ей Белка напомнила: а Колины, а Ди́тины, а мои — вспомни. Белка вообще — оппозиция. И когда встречается с Зиной (Венгеровой) ругается: «Вот ты такая сторонница Советской власти, а зачем же ты в Париже сидишь, ехала бы себе в Ленинград!»

22 января. Вчера вечером получил из Москвы два экземпляра нового «Крокодила» — на плохой бумаге: цена 1 р. 50 к. В чем де-

ло, не знаю, письма при этом нет. Был часа два или три в рукописном отделении Пушкинского Дома — смотрел письма Н. Успенского. Ах, это такой отдых от Клячки, Госиздата, «Красной газеты» — тихо, люди милые, уют — и могильное очарование старины. Жаль только, что Пушкинский Дом так далеко — вчера я сдуру сменил 4 трамвая, покуда доехал. И холодно. Между прочим мне дали там повестку на заседание группы Журналистики, Критики и Публицистики. Предметы занятий: «Доклад Е. В. Базилевской: «Некрасов в редакции К. И. Чуковского». В Пушкинском Доме пропал патриархальный строй, отношения оказенились, но осталось общее чаепитие сотрудников, связанных между собой любовью к делу и давнишним служением ему: приходят племянник Достоевского, сын Островского, сын Пыпина, дочь В. Стасова (Комарова), сын П. Анненкова, сын Л. Модзалевского и пр. — и пьют чай из стильных чашек, чай вкусный, пьют весело — и как-то непохоже на нынешний стиль — пьют исторически, пьют по-пушкински.

Вечером, в «Academia» — с Франковским, который очень потрясен рецензией К. Локса о его переводе Пруста. Франковский прочитал свой ответ Локсу — великолепный. Мы вместе с А. А. Кроленко обсуждали этот ответ — и Кроленко сделал целый ряд очень дельных и тонких замечаний. Я сказал ему: «Вы всем хороши, но почему вы не платите денег? Почему ни разу вы не выдали мне 200 рублей?» Он с величайшим простодушием: «вот вы не поверите, но хотя дела у нас идут блестяще, хотя наши книги нарасхват, но мы ни гроша не имеем на текущем счету, потому что задолженность наша огромна: мы расплачиваемся за прежнюю нашу линию — издавать Балухатых и Жирмунских. Вы не поверите, что *мне издательство должно до двух тысяч*, и я не могу их выцарапать» и проч. — Вышел у них Ив. Панаев под редакцией Иванова-Разумника. Разумник прислал мне книгу с надписью: «Редавдотье — Редиван». Книга издана неважно. И хотя Кроленко хочет бежать от издательства, хотя, по его словам, он спит и видит, когда эта обуза спадет с его плеч, — он с болью показывает плохо сверстанные экземпляры Панаева и говорит:

— Нет, следующее издание мы сделаем лучше. Для следующего издания мы закажем обложку на карточной фабрике...

Такими фанатиками работы и пользуется Советская власть. Их гнут, им мешают, им на каждом шагу ставят палки, но они вопреки всему отдают свою шкуру работе.

У Бобы большое горе: с августа до сего дня он вместе с Женей Штейнманом строит буер. Это была героическая, творческая, грандиозная работа. Они стали завсегдатаями Предтеченского рынка: высматривали, как бы по дешевке купить бревна, гайки,

железные скрепы, паруса и проч. Купили бревна невероятной толщины; как они довезли их до нашей квартиры, непостижимо никакому уму. Целую зиму они до последнего поту трудились над этими бревнами, тесали их, стругали, оболванивали. Целую зиму они скрепляли их железными полосами. Откуда-то достали три конька невероятной тяжести — которые сами вырезали из толщенного железа, и когда все это было готово, когда сшит и выстиран парус, когда буер в виде огромного треугольника занял всю Бобину комнату, — решили позвать Бориса Житкова, который и научил их построить этот буер. Я настоял на том, чтобы кроме Житкова позвать и Н. Е. Фельтена, живущего в двух шагах от меня — в том же доме, где аптека Тува и Маршак. Фельтен пришел раньше Житкова. Это коренастый бритый человек с открытым лицом, глухой, очень говорливый, рисующийся своей любовью к морю, Толстому и буеру. Буерист он первоклассный, второго в России такого и нет. Глянул он на Бобин буер (а Боба был у Жени) и сказал:

— Бедные, бедные дети. Что же теперь будет...

И стал говорить шепотом, как будто случилось несчастье. Оказалось, что буер построен нелепо, безумно. Мальчики потратили вдесятеро больше работы, чем нужно. Буер строится из досок, а не из бревен. Коньки должны быть деревянные, обитые железом, а не стопудовые полозья. «Если они явятся с таким буером на взморье, их засмеют. Это все равно, что вместо автомобиля выехать на улицу в старинном рыдване. И зачем им этот рыдван, когда автомобиль построить дешевле, скорее, легче!»

Тут пришли мальчики. Фельтен высказал им свое мнение. Они смотрели на него насупленно, но бодро. Они были уверены, что Борис Житков придет и в одно мгновение сразит дерзновенного критика.

Звонок. Житков. Фельтен прямо, без обиняков выложил ему все что думает. Житков глухим и тихим голосом стал пренебрежительно возражать. Фельтен по глухоте не слышал и переспрашивал, но Житков не удостоил его более громких ответов. Замяв вообще разговор о буере, он отвел меня в сторону и стал говорить о Бианки. Я видел, что ему мучительно неловко, что с буером он осрамился, и потому усиленно поддерживал разговор о Бианки. Но мальчики не поверили в его поражение. Хотя Фельтен повел нас всех к себе, хотя он показал нам чертежи буеров, хотя он даже подарил мальчикам свой «Торговый флот», где напечатаны статьи о буерах, мальчики стояли за Житкова и к Фельтену относились с угрюмой недоверчивостью. Но вот третьего дня утром Боба вскакивает неодетый с постели и начинает чертить левой рукой какие-то закаляки на бумаге. «Боба, что ты делаешь?» Он

застыдился. Гляжу: это чертеж буера «по Фельтену». «А как же этот буер?» Молчит. Они с Женей сделали последнюю попытку исправить житковский буер: распилили вдоль одно бревно, но это отняло у них часов 7 и не привело ни к чему. «Все надо новое, это никуда не годится!» — решил Боба, но такое решение стоило ему дорого, т. к. он на старый буер убил всю зиму и мечтал проехаться на нем еще в прошлую субботу.

22 января. Был у Зощенки, зашел за книгой «Толстой в молодости». Его не застал, но жена его говорит, что он опять «стал как человек»: катается на коньках, принимает гостей. В столовой у Зощенко елка (до сих пор!).

Оттуда — к Заславскому. Уют и семейное счастье. У Заславского гостит его сестра, тут же сестра жены с мужем и ребенком, у Шурочки подруга, рыжий Жозик — мне стало у них очень тепло, мы играли в слова, я загадал *мзда* и *апчхи* — Жозик сделал 17 ошибок. Давид Осипович — 2, Шура — 8 — и т. д.

Сейчас у меня столько работ: пишу о Николае Успенском, приготовляюсь писать о Толстом и Некрасове, надо писать о Горьком (воспоминания для Груздева), хочу редактировать Фета, и как назло юноша Метальников принес мне дивные (хотя и легкомысленные!) записки своей бабушки Островской — которые тоже следовало бы проредактировать. Я уже не говорю о детской сказке и о переработке 2-го издания Полного собрания стихотворений Некрасова.

23 января. Снова тучи надо мною: Чагин потерял мою сверстанную и прокорректированную книжку «Маленькие дети», и она не может пойти в печать. Между тем я в видах скорости пригласил И. С. Зильберштейна и назначил ему 100 р. за наблюдение за печатанием этой книги.

И вот уже 12 дней мы ищем эту книгу — и мне придется корректировать ее вновь. А сколько раз я ходил по лестницам туда в «Красную» — искать этот оттиск, сколько утренних часов я украл у своей работы! Сволочи беспросветные, они даже не ищут этой книжки.

Вчера вышел двухрублевый Некрасов — без примечаний. Чувствую большую приятность. Лидин «Шевченко»* в 1-й номер «Ежа» не войдет. Она этого еще не знает. Мне дали корректуру — 1-ую корректуру Лидиного писания, сейчас буду ее держать.

Третьего дня продержал корректуру Колиной милой книжки стихов*.

Вчера подал декларацию фининспектору: оказывается, что я заработал в минувшем году 9800 рублей — около 10 тыс., а куда они ушли, и много ли я имел от них удовольствия?

Продержал корректуру Лидина «Ежа» — и снова вижу, что это — превосходная вещь. Сейчас сяду править гнусный перевод «Акриджа», сделанный Колей. Если бы это не сын, никогда не правил бы, так тупо и бездарно сделан перевод. Чем объяснить эту тупость, не знаю, но она есть в Коле, и ярче всего сказывается в его переводах комических вещей, которые чрезвычайно нечутки.

Вчера был у меня Пискарев, бывший литейщик, матрос Балтфлота, очень забавный курчавый поэт с удивительно задушевным голосом и любимой поговоркой: «Ей-богу, правда!» Он — гапоновец, участник 9 января и проч. Теперь он так разочаровался в нынешней политической линии, что стал хозяйчиком, выделывает фетр, открыл мастерскую, заработал в прошлом году 20 тысяч рублей чистоганом и теперь хочет купить себе картину Репина — за две тысячи рублей. Он говорит, что —

Это многих славных путь![*]

Он рассказывает, как рабочие, побывав за границей, возвращаются в твердой уверенности, что «маргариновый коммунизм» осужден на полную изоляцию, что «буржуазный» строй Америки выше и лучше. Я думаю, он ошибается. Я что-то не видал таких рабочих.

25 января. Вчера «Красная газета» наконец заплатила Вас. Григ. Дружинину 450 рублей, — и письма Толстого в моем распоряжении. Было дело так: Чагин обещал мне [дать] Дружинину деньги и не дал. Дружинин звонил мне, а я ежедневно — Чагину. И хотя «Красная» пообещала ему 450 р., в последнюю минуту Чагин сказал: нельзя ли 400? Я по телефону убеждал его не скаредничать, и он просил Дружинина придти в «Красную» получить деньги. Старик в шубе и шапке — как боярин, краснолицый, пришел за мною в Пушкинский Дом, и мы трамваями в «Красную». Клаас без всякого спора немедленно вызвал секретаря, и тот принес старику деньги. Тот размяк и вспотел от радости. Я тоже рад — пусть теперь «Огонек» почешет затылок. Но устал, и кроме того меня мучает предстоящий суд с Евгеньевым-Максимовым[*]. Он — напористый и беспощадный враг. Завидует он мне до умопомрачения. Самое мое существование — для него острый нож. А я слишком раздразнил его. Его сила — лицемерие, казенное ханжество. Он акула, хищник, без веры и правды. И теперь он решил дать мне

бой. Он настрюкал другую бездарность — Базилевскую — выступить с критикой моей редактуры Некрасова (завтра ее доклад).

[Следующий абзац записан другим почерком. — *Е.Ч.*:]

Он в своей книге выступил критиком моих идей — хотя мои идеи пусть и плохие, но мои, а у него никогда в голове не бывало ни единой идеи — он даже не знает, что такое: думать, — пошлый списыватель, который лезет в писатели... — и вот теперь суд. Все это выпивает всю мою кровь, потому что я переживал Некрасова, я волновался, я по-новому думал о нем, а Евгеньев-Максимов только списывал чужое всю жизнь. Повытчик.

Утро 9 час. Только что позвонили, что Катя Боронина свободна. Лида еще спит, не знает. Меня это взволновало до слез.

26 января 1928. Лида поехала к Катиной маме. У той телеграмма: «Освобождена». Одно слово. Лида сияет. Я послал Кате по телеграфу 25 рублей. В Пушкинском Доме. Старик Дружинин принес мне письма Льва Толстого — и копии. Я работаю сразу над 6 темами, запасаю материал, и это очень весело и успокоительно — хотя хочется уже теперь писать. Еще больше, чем письма Льва Толстого, меня интересует дневник Татариновой — о Добролюбове, Тургеневе и цензоре Бекетове. Кроме того я должен писать воспоминания о Горьком, «Лев Толстой и Некрасов», редактировать мемуары Фета и, главное, писать о детях и писать для детей.

30 января. [Другой почерк. — *Е.Ч.*]:

Вчера позвонил из Стрельны Н. Е. Фельтен: приезжайте сюда, в яхтклуб, — покатаю на буере. У меня было много дел, но я бросил все — и с Бобой и Женей двинулся в Стрельну.

У Бобы был на пальце ноги нарыв, Мария Борисовна хотела сделать ему компресс и предсказывала от компресса облегчение, он же стоял за то, что нарыв нужно проткнуть. М. Б. не хотела и слышать об этом. Он покорно подчинился ее компрессу, но вечером, читая мне вслух, проткнул иглой нарыв, и наутро все прошло. М. Б. говорит: «Видишь, как подействовал компресс!» Он с лицемерной покорностью слушает ее — и усмехается.

Ехали мы в Стрельну весело. Купили на станции журнал «Бич» — Толстовский номер и несколько булок. Боба жадно проглотил и то и другое. На станции — извозчик в очках усадил нас троих — к яхтклубу. Яхтклуб на берегу залива — лед отличный, скользят буера, но как? Их возят буермены туда и сюда, потому что ветру ни малейшего. Но я вообще был рад подышать свежим воздухом и забыть обо всем, Фельтен был очень мил, все извинялся,

как будто безветрие — его вина. Боба и Женя впряглись в буер и возили меня по заливу, так что [продолжение записи почерком К. И. — *Е. Ч.*], закрыв глаза, я чувствовал себя на несущемся под парусами буере. С Фельтеном мальчик-музыкант Вова — талантливое лицо, очень милый. У него мать в сумасшедшем доме, отец пропал без вести, есть злой и пьяный вотчим, Фельтен и заменяет ему отца. Вообще у Фельтена много приятелей среди подростков, и держит он себя с ними отлично, потому что он и сам подросток: любит буер, фотографию, путешествия и больше ничего. — Сегодня я читаю лекцию о Горьком и по этому случаю ночью, проснувшись, стал перелистывать «Жизнь Самгина». Отдельные куски — хороши, а все вместе ни к чему. Не картина, а панорама, на каждой странице узоры. [Низ страницы отрезан. — *Е. Ч.*]

Сегодня в Пушкинский Дом я пришел на работу рано: был только Ст. Ал. Переселенков, хромой, глухой, заикающийся, очень некрасивый старик, который сегодня показался мне прекрасным. Он заговорил о моей статье «Подруги поэта»* — и, признав, что она «талантлива», стал очень задушевно порицать мое отношение к Зине. «Вы говорите, она пошла в баптистки... Что ж, разве заурядная эгоистичная женщина пойдет в баптистки? Вы говорите, что она отдала им все деньги — значит, она была искренний бескорыстный *человек*. Да и зачем вы верите родственникам Некрасова, родственники, естественно, были обижены, что от них ускользает наследство». Он говорил это [дальше в оригинале полстраницы отрезано. — *Е. Ч.*]

Второй раскрылся вчера предо мной человек: Пыпин Николай Александрович. Он только что встал с постели, у него был грипп; подошел ко мне, милый, седой, с очень молодыми глазами, — и вдруг покраснел от злости и сказал буквально: «Я из-за вас три дня страдал, я читал вашу статью с отвращением и теперь даже спрятал ее от себя, чтобы не мучиться вновь. Я так благоговею пред *теми* людьми, пред 70-ми годами, а вы написали об них «Мойдодыр», черт знает что, выволокли на улицу всю грязь, в каком мерзком журнале».

Я отказался, сказав ему, что «Мойдодыр» нельзя ругать из-за... [дальше в оригинале отрезан низ страницы. — *Е. Ч.*]:

Утром рано был в «Красной». Много писем от читателей о детском языке. Оказывается, Иона потерял мое письмо в редакцию — «Госиздат и Некрасов», придется писать его вновь. Сегодня вечером я читаю в двух местах лекции.

Это по-дурацки изнурительно вышло: меня пригласили на 23-е читать о Некрасове в Драмсоюзе, я согласился. Потом пригласил «Модпик» читать о Горьком 30-го. Я тоже согласился. А сей-

час оказалось, что Драмсоюз перенес мою лекцию с 23-го на 30-е. Хуже всего то, что обе эти организации в лютой между собою вражде. Перед лекциями я решил полежать, заснуть. Но М. Б. вдруг сообщила мне, что вернулся из Москвы Маршак, и вся кровь у меня перевернулась. Ему разрешили детские книги, а мои во вторник зарежут все непременно. [Дальше полстраницы отрезано, подклеен другой листочек и на нем приписано другими чернилами. — *Е. Ч.*]: Что за безобразие — резать чужой дневник — даже читать его и то ты не имеешь права! Неужели я должен прятать от тебя свои записи? Или ничего не писать о наших отношениях?

...пришел с женою, мы мирно беседовали, публика долго не шла, наконец набралась полная зала, я читал полтора часа — слушали как песню, благодарили очень горячо, но кто-то сказал: ну и влетит же вам за эту статью! — Были сестра Леонида Андреева, драматургша Жуковская, Папаригопуло, толстый Бернштам.

В Драмсоюзе Геркен — опереточный либретист с золотым браслетом. Публики мало, все больше старушки. Геркен рассказал мне о посещении Горького. Перед тем как поехать в Сорренто, он, Геркен, побывал в Берлине у Марии Федоровны, жены Горького. Она говорила: «Вы только не тревожьте А. М. рассказами о моем нездоровье. Он может сильно взволноваться, испугаться. Вы знаете, какой он впечатлительный». Но, приехав в Сорренто, Геркен даже и не мог повести разговор о Марии Федоровне, потому что всякий раз, когда он заикался о ней, Горький менял разговор... «Марья Федоровна...» — начинал Геркен. «А какая в Берлине погода?» — перебивал Алексей Максимович.

В Драмсоюзе был писатель Василий Андреев, пьяный, который сидел в первом ряду и, когда Ник. Урванцев декламировал стихотворения Некрасова, кричал: «плохо!» «перестаньте!» и пр. Я пробовал его урезонить — он ответил: «Но ведь действительно плохо читает!»

Но во время моего чтения он крикнул: «Видишь, я молчу, потому — хорошо!» Вот и все мои лавры. Стоило из-за этого не спать ночь и истратить на извозчика 1 р. 50 копеек! (Если буду жив.)

1 февраля. Целый день занимался историко-литературной дребеденью: Татьяна Александровна, Метальников, Федоров. Устал. Вечером звонок от Маршака: «Я из-за вас в Москве 4 дня воевал, а вы даже зайти ко мне не хотите!» Как объяснить ему, что, если я пойду к нему, мне обеспечена бессонная ночь. Я пошел, он сияет — все его книги разрешены. Он отлично поплавал в Москве в чиновничьем море, умело обошел все скалы, и мели, и рифы — и вот вернулся триумфатором. А я, его отец и создатель, раздавлен.

Мои книги еще не все рассматривались, но уже зарезаны «Путаница», «Свинки», «Чудо-дерево», «Туфелька». Педагоги не постыдятся зарезать меня, тем более, что теперь у них есть суррогат Чуковского — Маршак. Когда Маршак приехал в Москву, он узнал, что из его вещей зарезаны: «Вчера и Сегодня», «Мороженое», «Мышонок», «Цирк». Он позвонил в Кремль Менжинской. Менжинская ему, картавя: — Не тот ли вы Маршак, которого я знала у Стасова, который был тогда гимназистом и сочинял чудесные стихи? — Тот самый. Почему запретили мои книги? Я протестую... — Погодите, это еще не окончательно. — А почему не разрешили книг Чуковского? — С Чуковским вопрос серьезнее. Да вы приезжайте ко мне... — Маршак приехал в Кремль, очаровал Менжинскую, и выяснилось, что моя «Муха Цокотуха» и мой «Бармалей» (наиболее любимые мною вещи) будут неизбежно зарезаны. Вообще для этих людей я — одиозная фигура. «Особенно повредила вам ваша книга «Поэт и палач». Они говорят, что вы унизили Некрасова». От нее Маршак поехал к Венгрову. «Венгров очень смешон: он усвоил теперь все мои привычки — так же разговаривает с авторами и даже жалуется на боль в груди — как я. Венгрову я сказал, что хотел бы присутствовать на заседании ГУСа. — Пожалуйста. — Я приехал. Мрачные фигуры. Особенно угрюм и туп Романенко, представитель Главлита. Прушицкая — тоже. Ну, остальные свои: Лилина, Мякина и друг.» Маршак, по его словам, сказал горячую речь: «Я хлопочу не о Чуковском, а о вас. В ваших же интересах разрешить его книги». И проч. Вопрос о моих книгах должен был решиться вчера, во вторник. Рассказал также Маршак о своем столкновении с Софьей Федорченко, которая написала злой пасквиль на наше пребывание в Москве. Рассказал о своей поездке к Шмидту, который показался ему иезуитом и предателем. Шмидт будто бы сказал:

— Ну что ж, невредно и пощипать Чуковского. Я его люблю, но, конечно, нужно его пощипать.

Сейчас (в половине 9-го) позвонили мне и сообщили, что Катя уже приехала и сегодня в Петербурге. Ее мать поехала встречать ее на вокзал. Вчера была телеграмма.

3 января[1]**.** Вечером у Замятина. Не были друг у друга около 2-х лет. Мне у него очень понравилось. Я ходил хлопотать о Горьком: нет ли у Замятина материалов об Ал. Максимовиче (в пору «Всемирной Литературы»). Оказалось, нет. «Я устал от воспоминаний. Только что закончил о Кустодиеве, пришлось писать о Сологубе. А с Горьким я не переписываюсь, он на меня за что-то

[1] Описка. На самом деле — февраля. — *Е. Ч.*

сердится». На стенах у него смешные плакаты к «Блохе», на полу великолепный ковер, показывал он мне переводы своих рассказов на испанский язык и своего романа «Мы» — на чешский. Сейчас [печатает] собрание своих сочинений у Никитиной, дает она ему по 400 рублей, а летом по 250 рублей в месяц, он озабочен заглавиями к книгам и распределением материала; показывал любопытные рисунки Кустодиева к «Истории о Блохе» Замятина, где, несмотря на стилизацию и условность, дан лучший (очень похожий) портрет Евгения Иваныча. Она, то есть жена Евгения Ивановича, Людмила Николаевна, стала милее, — уже не красит губ, стала проще, я напомнил ей о Сологубе, она говорит, что старик, всякий раз когда встречал ее, все обижался: зачем у вас закрытое платье, я ведь тогда все видел и т. д.

Мои горя́, как говорит Чехонин, таковы:

Первое: Евгеньев-Максимов тянет меня в Конфликтную Комиссию Союза Писателей. И хотя я ничем перед ним не виновен, но это будет канитель, с бессонницами.

Второе: из зависти ко мне, из подлой злобы Евгеньев-Максимов в Москве добился того, что теперь Госиздат выпускает полное собрание сочинений Некрасова коллегиальным порядком, т. е. то собрание стихотворений Некрасова, которое вышло под моей редакцией, аннулируется — и переходит в руки Максимова. Значит, 8 лет моей работы насмарку.

Третье: Госиздат не издает Честертона, и таким образом мой перевод «Живчеловека» не будет переиздан вновь.

Но, как это ни странно, несмотря на эти горя́, я спал. Вчера Васильев принес мне высокие валенки — за 30 рублей. Сейчас сяду писать Воспоминания о Горьком.

Только что сообщили мне про статью Крупской*. Бедный я, бедный, неужели опять нищета?

Пишу Крупской ответ*, а руки дрожат, не могу сидеть на стуле, должен лечь.

Спасибо дорогому Тынянову. Он поговорил с Эйхенбаумом, и редактура стихов у меня отнята не будет. Стихи даны на просмотр Халабаеву. Татьяна Александровна пошла к Редько, чтобы Ал. Меф. уладил дело с Евгеньевым-Максимовым, который хочет со мною судиться. Я к вечеру поехал к Чагину, и Чагин рассказал мне прелюбопытную вещь: *когда появился номер газеты с ругательствами Крупской, Кугель (Иона)* [в оригинале несколько строк вырезано. — *Е. Ч.*].

...написать воспоминания о Горьком, я остался и, несмотря на бессонницы, строчу эту вещь с удовольствием. Третьего дня взял Муру и ее «жениха» Андрюшу и пошел с ними в «Academia». Дети расшалились: Андрюша полетел. «Ты думаешь, это Летейная». Хо-

хотали от всякого пустяка, прыгали по прелестному мягкому снегу. На Литейном я встретил Зощенку. Он только что прочитал моих «Подруг поэта» — и сказал:

— Я опять вижу, что вы хороший писатель.

Несмотря на обидную форму этого комплимента, я сердечно обрадовался.

Он «опять воспрянул», «взял себя в руки», — «все бегемотные мелочишки я пишу прямо набело, для тренировки», «теперь в ближайших номерах у меня будет выведен Гаврюшка, новый герой, — увидите, выйдет очень смешно».

Звонил Тынянов: рассказывает, что Евгеньев-Максимов забегал уже в Госиздат — предлагал свои услуги вместо Чуковского («Предупреждаю вас, что с Чуковским я работать не буду, у нас теперь суд чести и проч.»). Эйхенбаум спросил его: «А можете ли вы утверждать, что редактура Чуковского плоха?» Он замялся — «Ннет». Он не может этого утверждать, т. к. сам хвалил ее в рецензиях.

Милый Тынянов, чувствую, как он хлопочет за нее. Были мы с Лидой и Тусей у Сейфуллиной. Играли в ping-pong. Сейфуллина, чтобы не потолстеть, сама нагибается и поднимает мяч с полу. [Несколько строк вырезано. — *Е. Ч.*]

Показывала ругательные отзывы о своей «Виринее» в «Сибирских Огнях» — отзывы читателей, буквально записанные.

Сейчас чувствуется, что январь 1928 г. — какая-то веха в моей жизни. Статья Крупской. Только что привезли новые полки для книг, заказанные М. Б. У меня сильно заболело сердце — начало смертельной болезни. — Приехала Катя: в Лидином настроении перелом. — Я принимаюсь за новые работы, т. к. старые книги и темы позади.

О, когда бы скорее вышли мои «Маленькие дети»! В них косвенный ответ на все эти нападки.

9 февраля. Вчера кончил воспоминания о Горьком. Я писал их, чтобы забыться от того потрясения, которое нанесла мне Крупская. И этого забвения я достиг. С головою ушел в работу — писал горячо и любяще. Вышло как будто неплохо — я выправил рукопись и — в Госиздат. В Литхуде Слонимский, Лидия Моисеевна и, к счастью, Войтоловский. Войтоловскому я очень обрадовался, т. к. он — 1) пошляк, 2) тупица. Мне нужен был именно такой читатель, представитель большинства современных читателей. Если он одобрит, все будет хорошо. Он не одобрил многих мест, например, то место, где Горький говорит о том, что проповедь терпения вредна, «Горький не мог говорить этого после революции. До революции — другое дело. Но когда утвердилась Со-

ветская власть, мы должны ее терпеть, несмотря ни на что». Я вычеркнул это место. «Потом у вас говорится, что будто бы Горький рассказывал, как Шаляпин христосовался с Толстым. Этого не могло быть»...

«А между тем это было. Я записал слово [в] слово — за Горьким». — «Выбросьте. Не станет Толстой, великий писатель, шутить таким пошлым образом. Да и не осмелился бы Шаляпин подойти к Толстому с поздравлением». Я выбросил. «И потом вы пишете, что Горькому присылали в 1916 году петлю для веревки. Даже будто бы офицеры. Не верю. Я сам был на фронте — и знаю, что все до одного ненавидели эту кровавую бойню». — «Ну что вы! — вмешался Слонимский. — Я тоже воевал и знаю, что тогда было много патриотов, стоявших за войну до конца — особенно из офицерства. И я видел этот конверт, где у Горького собраны веревки для петли, присланные ему читателями во время издания «Летописи» и «Новой жизни». Рядовые читатели его тогда ненавидели». — «Вздор, обожали!» — «Но ведь были же читатели «Речи», «Русской воли» и пр. и пр., которые ненавидели Горького». — «Нет, это были тыловые патриоты, а на фронте — все обожали». Я выбросил и это место. «Потом вы пишете, что к Горькому в 19-м году пришла какая-то барыня: на ней фунта 4 серебра — таких барынь тогда не было». Но тут возразила Варковицкая, что такие барыни были, — и место оказалось спасено. Вышли мы из Госиздата с Маршаком и Слонимским. По дороге встретили цензора Гайка Адонца. Он торжествует:

— Ай, ай, Чуковский! Как вам *везет*!

— А что? — спрашиваю я невинно.

— Ай, как вам везет!

— О чем вы говорите?

— Статья Крупской.

— А! По-моему, мне очень везет. Я в тот день чувствовал себя именинником, — сдуру говорю я, в тысячный раз убеждаясь, что я при всех столкновениях с людьми страшно врежу себе.

Шварц от Клячки ушел; и действительно, он сидел там зря. Маршак ликует, хотя все еще на что-то жалуется — из вежливости, чтобы не обидеть меня. Уже состоялся какой-то приговор над моими детскими книгами — какой, я не знаю, да и боюсь узнать [низ страницы отрезан — *Е.Ч.*].

Сегодня меня пригласили смотреть репетицию моего «Бармалея». Завтра я читаю в пользу недостаточных школьников — по просьбе Ст. Ал. Переселёнкова. Послезавтра — кажется, лекцию о Некрасове. Нужно заглушать свою тоску.

Был у меня Зильберштейн. Он говорит, что в воскресенье приезжает Кольцов.

15 февраля. Видел вчера Кольцова. В «Европейской». Лежит — простужен. Мимоходом: есть в Москве журнальчик — «Крокодил». Там по поводу распахивания кладбищ появились какие-то гнусные стишки какого-то хулигана. Цитируя эти стишки, парижские «Последние новости» пишут:

«В «Крокодиле» Чуковского появились вот такие стишки, сочиненные этим хамом. Чуковский всегда был хамом, после революции нападал на великих писателей, но мы не ожидали, чтобы даже он, подлый чекист, мог дойти до такого падения».

Итак, здесь меня ругает Крупская за одного «Крокодила», а там Милюков за другого [низ страницы отрезан — *Е.Ч.*].

Был опять у Сейфуллиной. Пишет пьесу. В 6 дней написала всю. 3 недели не пьет. Лицо стало свежее, говорит умно и задушевно. Ругает Чагина и Ржанова: чиновники, пальцем о палец не ударят, мягко стелют, да жестко спать. Рассказывает, что приехал из Сибири Зарубин («самый талантливый из теперешних русских писателей») — и, напуганный ее долгим неписанием, осторожно спросил:

— У вас в Москве была операция. Скажите, пожалуйста, вас не кастрировали?

5/III. Третьего дня я написал фельетон «Ваши дети» — о маленьких детях. Фельетон удался, Иона набрал его и сверстал, но Чагин третьего дня потребовал, чтобы его убрали вон. Сейчас я позвонил к Чагину, он мнется и врет: знаете, это сырой матерьял.

14 марта 1928. Сегодня позвонили из РОСТА. Говорит Глинский. «К. И., сейчас нам передали по телефону письмо Горького о вас — против Крупской — о «Крокодиле» и «Некрасове»*. Я писал письмо и, услышав эти слова, не мог больше ни строки написать, пошел к Маше в обморочном состоянии. И не то чтобы гора с плеч свалилась, а как будто новая навалилась — гора невыносимого счастья. Бывает же такое ощущение. С самым смутным состоянием духа — скорее испуганным и подавленным — пошел в Публичную библиотеку, где делал выписки из «Волжского вестника» 1893 г., где есть статья Татариновой о Добролюбове почти такая же, как и та, которая «найдена» мною в ее дневниках. Повздыхав по этому поводу — в Госиздат. Там Осип Мандельштам, отозвав меня торжественно на диван, сказал мне дивную речь о том, как хороша моя книга «Некрасов», которую он прочитал только что. Мандельштам небрит, на подбородке и щеках у него седая щетина. Он говорит натужно, после всяких трех-четырех слов произносит *м-м-м*, *м-м-м*, — и даже *эм*, *эм*, *эм*, — но его слова так находчи-

вы, так своеобразны, так глубоки, что вся его фигура вызвала во мне то благоговейное чувство, какое бывало в детстве по отношению к священнику, выходящему с дарами из «врат». Он говорил, что теперь, когда во всех романах кризис героя — герой переплеснулся из романов в мою книгу, подлинный, страдающий и любимый герой, которого я не сужу тем губсудом, которым судят героев романисты нашей эпохи. И прочее очень нежное. Ледницкий подтверждает, что третье издание «Некрасова» действительно затребовано Торгсектором. Вышел на улицу, нет газеты, поехал в «Красную» — по дороге купил «Красную» за гривенник — и там письмо Горького. Очень сдержанное, очень хорошее по тону — но я почему-то воспринял его как несчастье. Пришел домой — стал играть с Муркой — и мне подряд позвонили: Сима Дрейден, Т. А. Богданович, Зильберштейн, Д. Заславский.

Вчера было собрание детских писателей в Педагогическом институте — читала начинающая Будогоская.

22 марта. Ну что же записать о вчера? Все беготня и суета бестолковая. В одном месте забыл ключи от своего номера гостиницы, в другом — кашне, измученный, обалделый старик. Был в МОНО, у Дмитриевой — попал на лестницу, грязную до тошноты: на ступеньках какие-то выкидыши, прошлогодние газеты, крысиные шкурки. Это общежитие педагогов, которые должны учить других. С детским утром путаница, на седьмое можно бы, но приглашенные устроители уехали в другой город, пообещав вернуться, — неизвестно когда. И надоело мне делать дела, хоть бы увидеть одного поэта, или критика, или актера, не занятого пустяками обыденщины. Но надо же бежать в «Модпик» и заявлять, что я ни гроша за «Мойдодыра» не получил — а «Мойдодыр» ставится в «Вольном балете» уже 3 года! Нужно было пойти вчера в Наркоминдел к Б. Волину — как к редактору «Литпоста» — просить, чтобы Ольминский взял назад свое обвинение против меня — в монархизме. Нужно было идти к Шатуновским на свидание с Лядовой. Нужно было... а может быть, и не нужно? Не знаю. Болит голова. Был у Демьяна. Кабинет его [набит] книгами доверху, и шкафы поставлены даже посередине. Роскошная библиотека, много уникумов. «Я трачу на нее $^{3}/_{4}$ всего, что зарабатываю». О дневнике Вырубовой: «Фальшивка! Почему они не показали его Щеголеву, почему не дали на экспертизу Салькову? Мне Вася (Регинин) читал этот дневник вслух — и я сразу почувствовал: ой, это Ольга Николаевна Брошниовская! Узнал ее стиль. Я ведь Брошниовскую знал хорошо. Где? А я служил в Мобилизационном отделе — во время войны, и она была у меня вроде секретарши — ко-

кетка, жеманница, недаром из Смольного, тело белое, муж был статский советник, убранство квартиры такое изысканное, не лампы, а чаши какие-то... И фигура у нее была замечательная. Лицо некрасивое — но черт меня побери — тонкая, тонкая штучка... Умная женщина, знала и французский, и английский, и немецкий языки: если она ручку, бывало, ставила на стол, так и то с фасоном — и вот теперь я узнал в дневнике Вырубовой ее стиль! Особенно когда Вася дочитал до соловушки. Я сказал: довольно, не надуешь». Я рассказал Демьяну, что видел своими глазами резолюцию эксперта О[Г]ПУ Бохия о том, что представленные «Минувшими Днями» документы признаны подлинными, что Бохий сличил письма Вырубовой, представленные ему редакцией, с теми письмами, которые хранятся в ППуХ, и нашел, что и там и здесь одна и та же рука.

— Дело не в письмах, а в тетрадках, — настаивает Демьян, — и эти тетрадки несомненно составлены обольстительницей Ольгой Николаевной. И знаете как? — по гофмейстерским журналам. Недаром в этом дневнике Вырубова вышла такая умная — умная, как О. Н. А Вырубова была дура. Она жила вот в этой комнате, где я сейчас. А царь внизу. Пойдет к нему, он ее вы... А она идет назад и за ... держится, благодать несет. Мне бывший ихний придворный курьер рассказывал... О. Н. при ее уме и способностях может чей угодно дневник написать... Она теперь хвастает, что у нее есть дневник Распутина... Распутина, который «Господи Исусе Христе» не мог написать связно и грамотно... Да, когда расстреляли царя и его семью, все их барахло было привезено в Кремль в сундуках — и разбирать эти сундуки была назначена комиссия: Покровский, Сосновский и я. И вот я там нашел письмо Татьяны, великой княжны, — о том, что она жила с Распутиным.

— А что там было, в сундуках?

— Чулки... бриллианты... Много бриллиантов... записные книжки... чистые, с золотыми обрезами, и мундштуки новые, штук десять. Бриллианты [два слова нрзб.] с ними. Кто взял эти бриллианты, я не знаю, но я, такой жадный на записные книжки и особенно на мундштуки — но и то не взял ничего — меня физически затошнило, и я сказал: увольте меня от этой работы.

Тут кто-то позвонил. «Диспут 2-го апреля? Выступать не буду, спасибо, а послушать приду». Оказывается, это звонил Мейерхольд.

— Ну и смелый мужчина. Вы знаете, что сейчас в ГАХНе* его выгнали из зала — «пошел вон» — так что он как Чацкий кричал: «Карету мне, карету скорой помощи!»

Вот погодите, я его прикончу. Хлопну по карману. Ведь постановка его «Горя» знаете, сколько стоила? 135 тысяч. Довольно...

— Но ведь публика валом валит. Спектакль скоро окупится.

— Ну нет. Знаете, есть актеры, которые гастролируют в Сибири — в городах по пути во Владивосток. Он едет туда — битковые сборы, но по дороге обратно он даже и в театр показаться не смеет. А другой едет туда — тихо, сборы жидкие, зато обратный его путь сплошной триумф. Так вот я вам скажу, что Мейерхольд «обратно сборов не сделает». Когда скандальный интерес к «Горю» пройдет, будет то же, что и с «Ревизором», — никто не ходит, никому не нужно. Ведь нельзя же ставить Грибоедова так, как еврей-экстерн сдает экзамены:

«Так вот Софья позвонила Чацкину:

— Алло, Чацкин!

— Она не могла позвонить. Телефона в то время не существовало.

— Э, что вы гово́рите! В богатом доме мог быть и телефон». В этом весь принцип постановки Мейерхольда.

Рассказывает Демьян еврейские анекдоты со всеми нюансами, очень художественно. Один еврей с женой захотел полететь на аэроплане. У него потребовали, чтобы там наверху он не смел разговаривать с летчиком. Но через полчаса он обратился к тому:

— Можно мне вам сказать слово?

— Что такое?

— Так моя Сарра уже выпала.

И еще: — От какой болезни умер Юлий Цезарь?

— Ой, что вы гово́рите, я даже не знал, что он был болен!

О Горьком Демьян отзывается враждебно. — Говорят, что когда наш посол хлопотал перед Муссолини, чтобы Горького пустили в Италию, Муссолини (умный мужик) спросил:

— А что он пишет?

— Мемуары.

— Ну, если мемуары, разрешаю. Кто пишет мемуары, тот конченый писатель.

Я вступился:

— Но ведь мемуары у него выходят отличные.

— Да, я понимаю, вам теперь Горький особенно мил, — после той миниатюры, которую он напечатал о Крупской и вас. Вам очень нравятся его миниатюры.

Много говорил о книгах, хвалил молодого Крылова (до басен, сатирика): с ним в жизни произошла катастрофа; показывал книгу Сергея Глинки, где сказано, что «Павел I уклонился в обитель предков» — «но начихать этому самому Глинке, что Павла удушили, как собаку», показывал стихи М. Веневитинова — племянника Виельгорского — и тут же книгу о деревне этого Веневитинова, которая вырождалась, а теперь при большевиках расцветает — словом, говорил один, нисколько не нуждаясь в собеседнике.

26 марта. — Не заведующий отделом, а завидующий! — говорит Маршак о Венгрове. Эта гадина (Венгров), оказывается, внушил Крупской ту гнусненькую статью о «Крокодиле» и теперь внушает Покровскому написать в ответ Горькому ругательную статью о моих некрасовских писаниях. Сейчас он выступил с двумя доносами: на Институт Детского Чтения и на журнал «Искусство в школе». Институт провинился перед ним в том, что Покровская в одном своем отчете о детских книгах не написала ни разу слов «Пролетарская революция», а в другом — написала не «коммунистическая», но «общественная». За это он требовал закрытия Института и прочил себя на место Покровской. Но дело сорвалось. Крупская неожиданно высказалась как сторонница Покровской — и Венгрову пришлось ретироваться. Но он нажал на журнал «Искусство в школе». Там в одном из номеров было указано (в статье той же Покровской), что мои книги — среди наиболее любимых средним, и старшим, и младшим возрастом. Венгров нашел здесь мелкобуржуазный уклон — и предложил этот журнал закрыть.

Я встретил его в Госиздате неделю назад Он очень хорошо пересказал первый рассказ Бабеля «Le beau pays France»[1]. Рассказ этот при Венгрове Бабель принес к Горькому. (Я принял сейчас вторую порцию брому — и вот уже путаюсь в записях.) Как приехала к живущему в уездном русском городишке французу-учителю — жена-парижанка и захотела завести себе любовника. Знакомых в этом городе у нее никого. Она пишет сама себе письма, за которыми ежедневно приходит на почту, — и таким образом знакомится с почтовым чиновником. Чиновник не прочь «погулять» с парижанкой — и вот через неделю она ведет его за город — для любви. У нее в одной руке плед, а в другой саквояж, она шагает прямо и решительно — по мосткам, он идет, как жертва на заклание. Придя в лесок, она расстилает плед, вынимает из саквояжа бутерброды — и вообще готовится к любви по-парижски. Очень восхищался Венгров рассказом, и вообще вид у него рубахи-парня, а на самом деле это чинуша, подлиза, живущий только каверзами и доносами. Узнав, что Покровский хочет обо мне написать, я кинулся к Кольцову за советом. Кольцов угостил меня прелестным обедом, рассказал несколько забавных вещей про Литвинова и Чичерина, у которых он был секретарем, — и дал совет не торопить событий. «Покровский занят. Ему нужно написать по крайней мере 50 таких же статей. Он может забыть о вас — и все обойдется. А если вы напомните, он возьмет и напишет. Но сделать что-то надо. Я осторожненько поговорю с Марьей Ильиничной».

[1] «Прекрасная страна Франция» (*франц.*).

Анекдоты его о Литвинове заключаются в том, что Литвинов иногда молчит, когда нужно говорить. Например, говоришь ему: «Максим Максимович, там вас хочет видеть корреспондентка мисс Стронг». У него каменное лицо — и ни звука. «Позвать?» — ни звука. «Сказать, что вы заняты?» — ни звука. «Как же поступить?» — молчит. Но говорит всегда определенно. Когда уезжает какой-нб. полпред, он говорит: — Первый пункт договора вы можете им уступить, второй пункт тоже, за третий держитесь зубами. — А Чичерин — дворянин, рамоли, педераст — примет полпреда в 3 $^{1}/_{2}$ часа ночи и скажет картавя:

— При переговорах вы должны быть тверды... но и мягки.

Тот сбит с толку, не знает, что и подумать.

Была у меня Анна Конст. Покровская. Принесла две коробочки конфет. Была Фрумкина. Была Вера Ф. Шмидт. Весь педагогический мир. Покровская рассказывает, что Венгров кому-то донес, будто она очень набожная. Так что теперь, когда Венгров звонит туда, ему отвечают: — Анны Константиновны нет, ушла в церковь.

Сегодня 27 марта, вторник. Маршак должен побывать у Менжинской перед заседанием ГУСа. Сегодня в ГУСе вновь пересматриваются мои детские книги, по настоянию Маршака и комсомольца Зарина. В Питере Маршак убедил Венгрова подписать бумажку о пересмотре моих книг — Венгров обещал подписать и представить ее в ГУС, но надул, три недели солил ее в портфеле, наконец, когда Фрумкина уличила его, сказал:

— Ну что же это за бумажка. В ней всего две подписи. Какое значение она имеет.

Сам так и не подписал ее. Тем не менее она возымела свое действие, и сегодня мои книги пересматриваются вновь. Сегодня же «Федерация» рассматривает мою некрасовскую рукопись («Тонкий человек») — и если примет, то завтра выдаст деньги. Сегодня же решается вопрос, делать ли на будущей неделе детское утро. Сегодня же в ГИЗе решают, выдать ли мне добавочное вознаграждение за редактуру Некрасова. Сегодня я повидаюсь с Рязановым. Естественно, что накануне столь важного дня я не заснул ни на миг. Вчера ночью читал у Фрумкиной с Маршаком Пастернака «1905 год», «Ночь в окопах» Хлебникова, «Графа Нулина» Пушкина и «Послание к Давыдову» Батюшкова — а потом пришел домой и принял усыпительное.

1-е апреля 1928 г. Мне 46 лет. Этим сказано все. Но вместо того чтоб миндальничать, запишу о моих детских книгах — т. е. о

борьбе за них, которая шла в Комиссии ГУСа. Маршак мне покровительствовал. Мы с ним в решительный вторник — то есть пять дней тому назад — с утра пошли к Рудневой, жене Базарова, очень милой, щупленькой старушке, которая приняла во мне большое участие — и посоветовала ехать в Наркомпрос к Эпштейну. Я тотчас после гриппа, зеленый, изъеденный бессонницей, без электричества, отказался, но она сказала, что от Эпштейна зависит моя судьба, и я поехал. Эпштейн, важный сановник, начальник Соцвоса, оказался искренним, простым и либеральным. Он сказал мне: «Не могу я мешать пролетарским детям читать «Крокодила», раз я даю эту книжку моему сыну. Чем пролетарские дети хуже моего сына».

Я дал ему протест писателей*, мой ответ Крупской и (заодно) письмо сестры Некрасова. Прочтя протест, он взволновался и пошел к Яковлевой — главе Наркомпроса. Что он говорил, я не знаю, но очевидно, разговор подействовал, потому что с той минуты дело повернулось весьма хорошо. Маршак пошел к Менжинской. Она назначила ему придти через час — но предупредила: «Если вы намерены говорить о Чуковском — не начинайте разговора, у меня уже составилось мнение». Руднева устроила Маршаку свидание с Крупской. Крупская показалась ему совершенной развалиной, и поэтому он вначале говорил с ней элементарно, применительно к возрасту. Но потом оказалось, что в ней бездна энергии и хорошие острые когти. Разговор был приблизительно такой (по словам Маршака). Он сказал ей, что Комиссия ГУСа не удовлетворяет писателей, что она превратилась в какую-то Всероссийскую редакцию, не обладающую ни знаниями, ни авторитетом, что если человека расстреливают, пусть это делает тот, кто владеет винтовкой. По поводу меня он сказал ей, что она не рассчитала голоса, что она хотела сказать это очень негромко, а вышло на всю Россию. Она возразила, что «Крокодил» есть пародия не на «Мцыри», а на «Несчастных» Некрасова (!), что я копаюсь в грязном белье Некрасова, доказываю, что у него было 9 жен. «Не стал бы Чуковский 15 лет возиться с Некрасовым, если бы он его ненавидел...», — сказал Маршак. «Почему же? Ведь вот мы не любим царского режима, а царские архивы изучаем уже 10 лет», — резонно возразила она. «Параллель не совсем верная, — возразил Маршак. — Нельзя же из ненависти к Бетховену разыгрывать сонаты Бетховена». Переходя к «Крокодилу», Маршак стал доказывать, что тема этой поэмы — освобождение зверей от ига.

— Знаем мы это освобождение, — сказала Крупская. — Нет, насчет Чуковского вы меня не убедили, — прибавила она, но, несомненно, сам Маршак ей понравился. Тотчас после его визита к ней со всех сторон забежали всевозможные прихвостни и, узнав,

что она благоволит к Маршаку, стали относиться к нему с подобострастием.

Менжинская, узнав, что Маршак был у Крупской, переменила свое обращение с ним и целый час говорила обо мне. Таким образом, когда комиссия к шести часам собралась вновь, она была 1) запугана слухами о протесте писателей, о нажиме Федерации и пр. 2) запугана письмом Горького, 3) запугана тем влиянием, которое приобрел у Крупской мой защитник Маршак, — и судьба моих книжек была решена... Я, превозмогая болезнь, написал какую-то бумагу, где защищал свои книги (очень вежливо), — и на мое счастье, сукин сын Венгров, предатель, интриган и подлипала, был в этот вторник в Ленинграде. — «Венгрова не было, воздух был чище!» — выразился Маршак. В этом чистом воздухе и происходил бой. Вначале черносотенные элементы комиссии не пожелали рассматривать мои книжки — но большинство голосов было *за*. Черносотенцы говорили: нужно разбирать Чуковского во всем объеме, но Маршак указал, что и так все это дело тянется несколько месяцев — и надо положить ему конец. Маршак сразу из подсудимого стал в комиссии ее вдохновителем. Когда Менжинскую позвали к телефону, он замещал ее как *председатель*. При содействии Фрумкиной прошла «Путаница», прошел «Тараканище». Самый страшный бой был по поводу «Мухи Цокотухи»: буржуазная книга, мещанство, варенье, купеческий быт, свадьба, именины, комарик одет гусаром... Но разрешили и «Муху» — хотя Прушицкая и написала особое мнение. Разрешили и «Мойдодыра». Но как дошли до «Чуда-дерева» — стоп. «Во многих семьях нет сапог, — сказал какой-то Шенкман, — а Чуковский так легкомысленно разрешает столь сложный социальный вопрос».

Но запретили «Чудо-дерево», в сущности, потому, что надо же что-нб. запретить. Неловко после огульного запрета выдать огульное разрешение! Закончив «борьбу за Чуковского», Маршак произнес краткую речь:

— Я должен открыто сказать, что я не сочувствую запретительной деятельности вашей комиссии. Рецензии ваши о книгах были шатки и неубедительны. Ваша обязанность стоять на страже у ограды детской литературы и не пускать туда хулиганов и пьяных... Уже решено ввести в комиссию Вересаева, Пастернака, Асеева, Льва Бруни.

Все это я знаю со слов Маршака. Он рассказал мне про это у Алексинских на большом диване, куда вернулся после заседания ГУСа. По поводу разговора с Крупской он вспоминает, что несколько раз назвал Крупскую «милая Надежда Константиновна», а раз, когда ему захотелось курить, — попросил позволения пойти за

спичками, оставил старуху одну — и выбежал в коридор спрашивать у всех нет ли у них спичек.

Получил от Мурочки стихи — которые она сочинила сегодня и сегодня же написала — запечатала в синий конверт.

14 мая. Вчера глупые обвинения Максимова, присланные мне из Конфликтной Комиссии Союза писателей. Взволновался — писал полночи ответ. Чтобы отвлечься, пошел к Сейфуллиной — больна, простужена, никакого голоса, удручена. В квартире беспорядок, нет прислуги. «Развожусь с Валерьяном (Правдухиным)!» Я был страшно изумлен. «Вот из-за нее, из-за этой «рыжей дряни», — показала она на молодую изящную даму, которая казалась в этой квартире «как дома». Из дальнейшего разговора выяснилось, что Валерьян Павлович изменил Сейфуллиной — с этой «рыжей дрянью», и Сейфуллина, вместо того чтобы возненавидеть соперницу, горячо полюбила ее. Провинившегося мужа услали на охоту в Уральск или дальше, а сами живут душа в душу — до его возвращения. «А потом, может быть, я ей, мерзавке, глаза выцарапаю!» — шутливо говорит Лидия Николаевна. У Сейфуллиной насморк, горло болит, она говорит хриплым шепотом, доктора запретили ей выступать на эстраде целый год, она кротко говорит про рыжую: «Я вполне понимаю Валерьяна, я сама влюбилась в нее». Рыжая смеется и говорит: «Кажется, я плюну на все и уйду к своему мужу... хотя я его не очень люблю». Она родная сестра Дюкло, «отгадчицы мыслей» в разных киношках, — и сама «отгадчица» — «в день до 40 рублей зарабатываю — но надоело, бездельничаю, ну вас, уйду от вас... не к мужу, а к другому любовнику». — «Душенька, останьтесь, — говорит Сейфуллина, — мне будет ночью без вас очень худо». Отгадчица осталась. Сейфуллина смеется:

— В первое время она, бывало, храпит во всю ивановскую, а я не сплю всю ночь напролет, бегаю по комнате, курю, а теперь я сплю как убитая, а она не спит... лежит и страдает...

Но это едва ли. Откуда Сейфуллина может знать, что делает рыжая, если она, Сейфуллина, спит «как убитая»!

15 мая. Ночь. Не сплю. Сегодня увидел в трамвае милую растрепанную Ольгу Форш. Рассказывала об эмигрантах. Ужаснее всех — Мережковские — они приехали раньше других, содрали у какого-то еврея большие деньги на религиозные дела — и блаженствуют. Заразили своим духом Ходасевича. Ходасевич опустился — его засасывает. С нею и Лелей Арнштамом к Сейфуллиной. Сейфуллина — одна. Рыжая уехала. Сегодня она была у Семашки, который повез ее в клинику и выдал ей бумаги для поездки в Вену.

Форш очень забавно назвала Бабеля помесью Грибоедова и Ремизова без женского участия. Когда Сейфуллина сказала ей, что ей трудно писать, т. к. она, Сейфуллина, стала стара, Форш сказала:

— И, мать моя, разве этим местом ты пишешь.

Форш хочет написать хронику Дома Искусств «Ледяной корабль». Очень была рада, когда увидела Лелю Арнштама. Ах, как нехорошо, что я пробездельничал весь вечер и теперь не сплю.

20.V.1928 г. Оказывается, я заболел ларингитом. Жар уже 5-е сутки. В жару писал возражение на глупейшие обвинения, выдвинутые против меня Евгеньевым-Максимовым. Читаю «Современник» 50-х годов.

Был у меня сейчас Тынянов — читал конец своего романа о Мухтаре — отличный. Я очень рад за него.

4/VI. Любопытная неделя была у меня тотчас по выздоровлении. (1-ое). В «Ленинградской правде» выругали Кроленко, назвали его арапом. Я вызвался написать протест и целый день истратил на все это дело. (2-ое). В той же «Правде» выругали Женю Редько за то, что она будто бы даром получала два года жалование в Александринке, пользуясь фавором дирекции. Меня попросили написать возражение. Я ездил с Женей к Адонцу и в «Правду» — еще один день пропал. (3-е). Вызвала меня к себе Сейфуллина — она только что проиграла процесс — потеряла 18 тысяч — издательство «Пролетарий» придралось к тому, что по договору оно имеет право владеть ее сочинениями по 1 янв. *включительно*, а она продала их ГИЗу от 1-го янв., т. е. вышло так, что 1-го января два изд-ва владели ее сочинениями — и хотя 1-е янв. — праздник, хотя вообще один день в издательском деле не играет никакой роли, судья «Карапет» (как говорит она) решил дело в пользу «Пролетария». Она вызвала меня к себе — и я решил писать по этому поводу протест от лица Союза писателей. (4-е). Попросил меня Клячко пойти в Финотдел — выхлопотать для него отсрочку в уплате 40 000 р., которые взимают с него, — я прихватил Федина и Маршака — мы пошли и потеряли все утро. (5). Нужно хлопотать о Вите Штейнмане, чтобы Чагин издал его книжку, я ходил и хлопотал (Вите, по моей просьбе, дает предисловие к книге Кольцов). (6). Вчера был у меня Тан-Богораз и сидел пять часов неизвестно зачем, и я жалел старика и вытерпел весь длинный визит. Все это не доставило мне удовольствия — и я отныне решил обуздывать глупую мою «доброту».

Позабавила меня Сейфуллина. Рассказывая, как ей тяжко было после приговора, она сказала:

— Если б можно было не совсем повеситься, а немножко, я бы повесилась, а совсем — жалко.

31 августа. Вчера утром узнал в ГИЗе, что приехал Горький. Приехал инкогнито, так как именно сегодня в утренней «Красной» сказано, что он приезжает 3 или 4 сентября. Мы с Маршаком направились к нему в «Европейскую». В «Европейской» швейцары говорят, что его нету, что он строго приказал никого к себе не пускать и т. д. Но на счастье в кулуарах встретили мы репортера «Правды», который уже видел его в коридоре — и пытался разговаривать с ним, — но «убедился, что основное свойство Горького угрюмость». Репортер сообщил нам по секрету, что Горький остановился в 8-м номере — т. е. внизу в коридоре, в лучшем номере гостиницы. Мы пошли, робко постучали: вышел Крючков, стал говорить, что Горький занят: мы не настаивали, но, узнав наши фамилии, он пригласил нас войти в 8-й номер, который оказался пустым, и там мы прождали минут десять-двенадцать. Маршак прочитал мне прекрасный перевод «For want of the Shoe (из «Nursery Rhymes»)[1] и сказал, что у него есть еще 12 вариантов этой вещи! 12 вариантов! Переведено мускулисто — и талантливо, находчиво очень.

Нас позвали в соседний 7-й номер, где и был Горький. Он вышел нам навстречу, в серой куртке, очень домашний, с рыжими отвислыми усами, поздоровался очень тепло (с Маршаком расцеловался, Маршак потом сказал, что он целует, как женщина, — прямо в губы), и мы вошли в 7-й номер. Там сидели 1) Стецкий (агитпроп), 2) толстый угрюмый человек (как потом оказалось, шофер), 3) сын Горького Максим (лысоватый уже, стройный мужчина) и Горький, на диване. Сидели они за столом, на котором была закуска, водка, вино, — Горький ел много и пил — и завел разговор исключительно с нами, со мной и Маршаком (главным образом с Маршаком, которого он не видел 22 года!!).

Во время этого разговора я вспомнил, что, когда Маршак начинал свою карьеру и приехал в Пбг. из Краснодара, Горький был еще в Питере. Маршак предложил во «Всемирную» свои переводы из Блэйка, и Горький забраковал их (из-за мистики). Но теперь он встретил Маршака как долгожданного друга и очень оживленно стал рассказывать, как он, Горький, ловко надул всех — и приехал в Пб. так, что его не узнали. Даже в поезде никто не узнал, — на вокзале ни души. «А то, знаете, надоело. В каждом городе, на

[1] «Гвоздь и подкова» (из «Нянюшкиных прибауток») (*англ.*).

каждом вокзале стоят как будто одни и те же люди и говорят одно и то же, теми же словами. И баба — в красной косынке — с равнодушными глазами — ужас! В одном месте она сказала так:

— Товарищи! Перед вами пролетарский поэт Демьян Бедный!

Так что я должен был сказать ей, что я не бедный, а богатый. И кто-то поправил ее:

— Дура! Бедный — толстый, а Горький — тонкий. Знают, подлецы, литературу. Знают...»

Горький действительно тонкий. Плечи очень сузились, но талия юношеская, и вообще чувствуется способность каждую минуту встать, вскочить, побежать. Максим по-прежнему при людях находится в иронических с ним отношениях, словно он не верит серьезным словам, которые произносит отец, а знает про него какие-то смешные. Когда отец рассказывал анекдоты о своих триумфах в провинции, сын вынул узкую большую записную книжку — и, угрожающе смеясь, сказал:

— Вот здесь у меня все записано.

Я сказал:

— Эта книга будет напечатана в тысяча девятьсот...

— ...восемьдесят девятом году! — подхватил он и хотел прочитать оттуда что-то очень смешное, но отец сказал: «Не надо!» — и он спрятал книгу в карман.

Заговорил Горький о том, как во всей Европе теперь вот такие биографические романы, как «Кюхля» Тынянова — о великих людях — какой они имеют успех и как они хороши — перечислил десятки французских, немецких и даже испанский назвал — о Тирсо де Молина, причем имя Рембо произнес на французский манер. Упомянул при сей оказии О. Форш. А потом перешел к Замятину. «Вам нравится его «Аттила»?» Словом, решил с петербургскими литераторами говорить о петербургской литературе. Кроме того, он усвоил мило-насмешливый тон по отношению ко всем овациям, которым он подвергается. Сейфуллина рассказывала мне, что ей он сказал в Москве:

— Всюду меня делают почетным. Я почетный булочник, почетный пионер... Сегодня я еду осматривать дом сумасшедших... и меня сделают почетным сумасшедшим, увидите.

О «строительстве» в личных беседах он говорит так же восторженно, как и в газетах, но с огромной долей насмешливости, которая сводит на нет весь его пафос. Ему как будто неловко перед нами, и он говорит в таком стиле:

— Нужен сумасшедший, чтобы описать Днепрострой. Сумасшедшая затея, черт возьми. В степи — морской порт!

Не понять, говорит ли он «ах, какие идиоты!» или: «ах, какие молодцы».

Пригласил нас к себе. Велел позвонить Крючкову в 8 часов утра.

Условиться, когда он будет свободен.

«Хозяин времени во вселенной — Крючков!» — объявил он. Пошел со Стецким — ехать на завод. Вышел на улицу. В вестибюле его не узнали — какой-то прохожий даже толкнул его, но вся прислуга гостиницы, обычно столь равнодушная к знаменитостям, выбежала поглядеть на него.

6/IX. По дороге в Москву на Кисловодск. Щеголев: анекдот о Пушкине: москвич говорит: — Ой, я видел одного писателя, очень знаменитого, в трамвае № 5, на Б. Басманной. — Какого писателя? — Знаменитого... как его? Да! Пушкина! — Пушкина в трамвае № 5 по Басманной?! — Да. — Вот и врешь! Что писателя, я верю, но что на Басманной Пушкина — нет. — Да. — Вот и врешь! Трамвай № 5 по Басманной не ходит.

Рядом с нами в соседнем вагоне Илюша Зильберштейн — помесь маклера и ученого «исследователя». Нынче торгует Чеховым: при «Огоньке» выходит Чехов в будущем году. Сыплет датами и цитатами: «Я думаю, что «Невесту», которая была в «Жизни для Всех» в 1903 году нужно дать с «Вишневым Садом», который был в альманахах «Знания» тоже в 1903 году, и разделить издание на две части. В комиссию по Изданию Чехова войдут Горький, Кольцов, я и...»

Но — не ужасно ли? — мне Зильберштейн не противен.

Едет еще и Виттенбург Лахтинский... Едет вместе с проф. Визе. Звал познакомиться. Но у меня в душе мрак: 2 sleepless nights[1]. Щеголев говорит, что приемные комиссии в ВУЗах забраковали детей всех ленинградских писателей.

Прекратился журнал «Бегемот».

О Горьком. Он сказал Маршаку: «Our government?[2] Лодыри! В подкидного дурака играют! Вот Бриан или Chanteclaire в подкидного дурака не играют».

Для Гефта и Халатова он вообще идеальный, безупречный писатель, без всяких недостатков. Когда мы заседали с Халатовым и Гефтом по поводу ВУЗ'ов, они смотрели ему в рот и считали его улыбки в мою сторону и в сторону Маршака. Кому больше улыбок, тот и фаворит Горького, тому и больше почету. Улыбок больше получил Маршак, на него и посыпались милости.

[1] бессонные ночи (*англ.*).

[2] Наше правительство? (*англ.*)

1928 Я на заседание к Горькому попал прямо после катастрофы: трамвай помял Рохлина, я возил его в скорой помощи в Петропавловскую больницу, не имел секунды подготовиться — и... впрочем, ну его к черту!

Горький рассказывал, как одна девочка 13 лет забеременела от школьника 14 лет. Он так испугался, что поселил ее в сарае... да, в сарае. Перенес туда ковры, всякую мебель, она сидела там и пухла, а он тайно носил ей еду. Когда дело открылось, его мать даже обиделась, почему он не сказал ей, что ее ждет такая семейная радость. Девочка новорожденная весила 6 фунтов, а ее отец и мать каждый день вместе ходили в трудшколу.

Я вступился. «Это не правило, а исключение» и пр. Горький: «Знаю, что исключение. Вот колония ТВХ, где все бывшие проститутки и воры — у них даже закон такой: своих девочек не трогать. О, они очень забавные. Написали для меня свои автобиографии, и вот одна пишет:

— Как-то неловко резать незнакомого!

Не угодно ли?»

Потом почему-то заговорили о Святополке-Мирском. Чудак! Не ест, не пьет, а все стихи читает. По-французски, по-немецки, по-английски. Только и дышит стихами. Так и ищет, кому бы стихи почитать.

Очень ругал Мережковского. Он египетский роман написал, где все египтяне так и чешут по-рязански. Смешной. Мы одно время после обеда для смеху читали по 4 страницы.

Уже 8 часов. Жаль, что я не захватил карты. Не знаю, куда едем, когда приедем.

П. Е. Щеголев спрятал в чемодан казенную подушку и оставил свою.

Проводник: «Извиняюсь за нескромный вопрос: где подушка?»

О Панчуледтове: — Вот кавалергард, написал такую контрреволюционную книгу, а я его люблю и хвалю, потому что история кавалергардов — есть, в сущности, история всей русской культуры.

О Рязанове: — Держится как хам; в его обращении с людьми никакого коммунизма нет.

Очень интересно говорил об Ив. Васильевиче Анненкове, который, как оказывается, редактировал сочинения Пушкина — а Пав. Вас. только написал биографию поэта!!! Ив. Вас. редактировал не только Пушкина, но и жену Пушкина, ибо он был правая рука Ланского, и благодаря этому за 5000 р. купил право на издание сочинений Пушкина.

Говорю Щеголеву: — Ведь вы столько пьете. Неужели у вас даже склероза нет?

— Нету. Я пью — а у моей жены подагра!

И смеется хитро.

Дал мне яблоко. — Скушайте. Для меня оно слишком твердое. — Я откусил: кислятина. Смеется. — Хорошее я съел бы сам.

7/IX. Степь украинская. Небо серенькое, петербургское. Эту ночь я спал. С вечера от 8 до 11. И потом еще сколько-то. Баштаны. Мазанки. Тополи. Подсолнечник. Но бедность непокрытая.

Познакомился вчера с инженером. Спортсмен, 34 года. Голова лысая совсем — ни волоска. Лицо норвежца. Конструктор аэросаней. Очевидно, талантливый. Очень хорошо рассказывает — горяч, честолюбив, спортсмен, любуется собой — и я вместе с ним. Рассказывал о своих друзьях в Париже. Один из них Васька [оставлено место для фамилии. — *Е. Ч.*] гулял по всему Парижу в толстовке и по-французски даже «бонжур» не знал. Пришел Васька в ресторан, взял карточку и наугад заказал какое-то блюдо. Лакей убежал куда-то, но блюда не принес. А ему адски хочется есть. Он зовет другого лакея — показывает ему какую-то строчку в меню — и ждет. Опять ничего не несут. После третьего раза — ему принесли счет: 30 франков. За что? Оказывается, то была карточка фокстротов — и он три раза вместо еды заказывал фокстроты. Таких анекдотов он рассказал несколько. Его приятели в Лондоне — пошли в кафешантан — и увидели надпись No smoking allowed[1] — и решили, что без смокингов туда не пускают.

Но то, что рассказывает мой спутник о нашем строительстве, не смешно, а страшно. Он сейчас из Днепростроя. Оказывается, что американская компания, кажется, Клярка, предложила построить всю эту штуку за столько-то миллионов. Наши отвергли: «Сами построим», а американцев пригласили к себе в качестве консультантов. Консультация обходится будто бы в сотни тысяч рублей, но к американцам из гордости инженеры не ходят советоваться, и те играют в теннис, развлекаются — а постройка обошлась уже вдвое против той цифры, за которую брались исполнить ее американцы. Рабочие работают кое-как, хорошие равняются по плохим, уволить плохих нельзя, этого не позволит местком, канцелярская волокита ужасная и проч. и проч. и проч. Я слушал, но не очень-то верил ему, потому что, как талантливый человек, он чересчур впечатлителен.

«Пошта». Робитничій Клуб. Один человек хотел опустить письмо в кружку, но увидал надпись: вынимается кожну *годину* (т. е. каждый час) и воздержался, так как подумал, что година — год.

[1] Курить не разрешается (*англ.*).

1928 Вчера проезжали Тулу. До чего связаны все пейзажи Тульской губернии с «Анной Карениной», «Войной и миром». Глядишь и как будто читаешь Толстого.

8/IX. Вчера чудесный день, полный незабвенных впечатлений. Харьків: новый мост, железобетонный. Мой инженер говорит: непрочный. У инженера в чемоданчике оказался сконструированный им граммофон — и пачка фокстротных пластинок — и он завел эту музыку — здорово! Очень хвалил он свою мембрану, сделанную из толстой, а не тонкой слюды (и в этом ее превосходство). Инженер — эгоцентричен, простодушен и влюбчив. Показал мне карточку той, которая ждет его в Кисловодске.

Вот уже какие пошли холмы, очень невысокие.

А небо серое.

Тополя.

Кисловодский проводник: — Там — погода!

— Знаю, что погода, но какая?

9/IX. Приехали. Куда идти? В Цекубу. На горе стоит несколько домов, отдельный дом — огромная столовая. В ней сразу нахожу загорелого и синеглазого Вяч. Полонского, длинного и милого Леонида Гроссмана, Столпнера, столь же лысого, как прежде, но белобородого, Ортодокс (автора марксистской, но хорошей статьи о Толстом), Озаровскую, Станиславского и Качалова. Станиславский меня не узнал, но потом, узнав, бросился вдогонку и ласково приветствовал. Здесь его все «ученые старички» обожают. Смотрят на него благоговейно. И нужно сказать, что он словно создан для этого. Со всеми больше, чем учтив, — дружелюбен и нежен, но без тени снисхождения (как это у Шаляпина) и без тени раболепства (как у Репина) — сановито, величаво и в то же время на равной ноге. Тайна такого рода отношений умрет вместе с ним, но каждый, с кем он говорит, чувствует себя осчастливленным. Мне он сказал, что у него внучка 6 лет, очень любит мои книги, что он и сам их почитывает, что он заканчивает 2-й том своей «Жизни в искусстве»; Качалов сообщил мне детское слово «профессорница».

Столпнер вспоминал Розанова и Вяч. Иванова.

Поели мы всласть — до отвалу и пошли в гостиницу искать комнату, набрели на пансион «Ларисса», где нашли Ал. Толстого. Он похудел, глядит молодцом, но, как потом оказалось, каждую ночь регулярно проводил весь месяц в кабаке; разговор у нас был короткий. Он говорил, что Пильняк не имел здесь никакого успеха, что Тальников в своей статье совсем прикончил Маяковско-

го*, «после этого Маяковскому не встать», что у Николая Радлова, который жил здесь же, в той комнате, где я сейчас, украли 200 рублей, и проч. Потом я ходил — и слишком много — глазеть, очень устал, в 5 часов был на вокзале, провожал вместе с «учеными старичками» Станиславского и Качалова — и в сотый раз подумал о том, что Художественники гениальные мастера юбилействовать, хоронить, получать букеты цветов, посылать приветственные телеграммы и проч. Станиславский пожал около сотни рук, причем каждому провожающему сказал что-ниб. специально его, этого человека, касающееся. И как будто нарочно были инсценированы особо трогательные моменты: два чистильщика сапог, армяне, лет по 8 каждый, кинулись в последнюю минуту по буферам к той площадке, где стоял Станиславский, и крепко пожали ему руку: прощай!

Вечером — в Нарзанной галерее. И потом с трудом, с сердцебиением — в постель.

16/IX. Был на «Храме Воздуха». Ветер. Солнце. Обжег себе нос. Вернулся — Тихонов. Ему дали подвальную комнату. Тихонов рассказал, что редактора «ЧиПа»* — Васильченко — убрали за то, что он написал пасквильный роман, где вывел Рыкова, Сталина и проч. Халатову выговор, Васильченко убрали. Халатов свалил всю беду на О. Бескина... Тихонов только что проехал от Нижнего до Астрахани. Говорит, что впечатление от России ужасное: все нищи, темны, подавлены. Он хотел высадиться в Царицыне, но поглядел на толпу, что стояла на пристани, и — не решился. О Горьком: Горький в плохих руках. Петр Крючков не может дать ему совета, какой линии держаться в разных мелких делах (в крупных — Горький и сам знает), но все эти мелочи, которые должны бы ставить Горького в выгодном свете перед литераторами, учеными и пр., он, Крючков, не умеет организовать.

Тихонов написал сценарий «Леонид Красин», где изображает Красина в двух планах, как светского человека, богатого инженера и как революционера. Кончается побегом его из Выборгской тюрьмы.

А. Н. Тихонов очень хорошо устроил два дела: навязал «Федерации» все рукописи и книги «Круга», потерпевшего крах, и подписал договор с ГИЗом о том, что *всю* продукцию «Федерации» ГИЗ приобретает за наличные деньги. — Казалось бы, все хорошо, — говорит Тихонов, — а я не верю в успех. Нет почвы...

Он ушел играть в лаун-теннис, а потом вернулся с Мих. Кольцовым. Кольцов приехал сюда третьего дня — белые брюки, стриженая голова, полон интересных московских новостей и суждений.

1928 По поводу статьи Горького «Две книги» (о ГАХНе и Асееве)* он говорит: «Горький не знает, как велик резонанс его голоса. Ему не подобает писать рецензии. Человек, которого на вокзале встречало Политбюро в полном составе, по пути которого воздвигают триумфальные арки, не должен вылавливать опечатки в писаниях второстепенного автора. Я считаю Горького очень хитрым, дальновидным мужиком. Он хочет вернуться в Италию. Ему нужно иметь с итальянцами хорошие отношения. Вот он заранее приготовляет себе путь к возвращению — при помощи статьи об Асееве.

Кроме того, — прибавил Кольцов, — в статье об Асееве чувствуется и личная обида».

Я горячо возражал. Горький так объелся похвалами, что похвалы уже не имеют для него никакого вкуса.

— Он, напротив, любит тех, кто его ругает, — сказал Тихонов.

Кольцов засмеялся.

— Верно. Когда Брюсов, который травил Горького, приехал к нему на Капри и стал его хвалить, Горький даже огорчился: потерял хорошего врага.

Потом заговорили о Лили Брик, у которой, оказывается, целый табун любовников, и все они в самых нежных отношениях между собой, таков устав их кооператива: любя Лили, они обязаны любить и друг друга. По этому поводу любопытную историю рассказал Кольцов. Когда он ездил в 1922 году в Ригу, и Маяковский и Брик дали ему поручения к Лили, которая там жила. А у Кольцова в Риге было спешное дело: нужно было повидать некоего, скажем, Бриммера, чтобы поговорить об организации газеты. Пошел Кольцов к Бриммеру — и, к своему удовольствию, застал у него Лили Брик. «Вот и хорошо, не нужно будет разыскивать ее», — подумал он. Передал он ей поручения. Сижу час, сижу два — она не уходит. Вечер. Она садится к Бриммеру ближе, он обнимает ее — и только тогда я понял, что она его жена. Она передала какие-то посылки Володе (Маяковскому) и Осе (Брику), и, когда я вернулся в Россию, они оба с интересом и участием спрашивали, каков он — их новый товарищ... Когда потом он заболел чахоткой, она заставила Осю и Володю собрать для него деньги, чтобы он мог поехать лечиться.

— Может быть, это и есть зародыш будущих брачных отношений, — сказал Кольцов. — Кооператив любовников.

— Но для этого нужна такая умная женщина, как Лиля, — сказал Тихонов. — Я помню, как Маяковский, только что вернувшись из Америки, стал читать ей какие-то свои стихи, и вдруг она пошла критиковать их строку за строкой — так умно, так тонко и язви-

тельно, что он заплакал, бросил стихи и уехал на 3 недели в Ленинград.

Потом заговорили о Бабеле. Кольцов: — Я помню его в ту пору, когда он только что приехал в Питер и привез три рассказа, которые и прочитал Зозуле. — Можно это напечатать? — Можно! — сказал Зозуля. — Где? — Где угодно. — Он отнес их к Горькому. Мы стали жить втроем, как братья. В то время был голод. Мы ели гузинаки и запивали чаем. Иногда нам перепадала коробка сардин. Бабель делил с нами нашу трапезу братски. Но однажды Зозуля сказал: — Поди посмотри в щелку, как Бабель один ест хлеб. — Я глянул: стоит и жует. Потом вышел и говорит: — Ах молодость, молодость! Вот третий день не видал ни крошки хлеба — и проч.

Кольцов был на Медовом водопаде, увидал там рекламу какой-то певицы или танцовщицы и решил устроить там на скале, еще выше, рекламу: «ОГОНЕК».

Он уничтожит с января журнал «Смехач» и выпустит новый, «Чудак» по-другому, довольно эпигонов сатириконства.

Потом заговорили об Ал. Толстом. Все трое похвалили его дарование, его характер, его Наталию Васильевну и разошлись: они спать, а я страдать от бессонницы.

17/IX. Солнце. От вчерашней ходьбы на «Храм Воздуха» болит сердце. От ветра болит лицо. От безделья — болит душа. День ясный, безоблачный.

22/IX. Вечера холодные. А дни горячи. Сегодня переехал в Цекубу — и блаженствую. Наконец-то у меня есть письменный стол, могу заниматься. Есть шкаф для вещей. И не вижу хищного, злого, притворно-сантиментального лица Лариссы. Три дня с волнением ждал телеграммы о Бобе — и сегодня инженер Мих. Як. Скобко принес мне за обедом такую телеграмму:

ПРИНЯТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛЬНОЕ

КРЕПКО ЦЕЛУЮ = МАМА ==

Я страшно обрадовался — и даже заплакал. Ну вот и перед Бобой открывается новая огромная жизнь. Пропал куда-то мой черноголовый малыш, смешной и картавый ребенок...

Сегодня впервые я принял целую нарзанную ванну. Познакомился с Ромашовым. Он говорит, что еще в Киеве слушал мои лекции. Моя комната под уборной, и в потолок вдета вот такая труба, и когда ученый спускает воду, слышен шелест (но негромкий), а потом шип — ш-ш-ш.

1928 Вчера читала в Цекубу Озаровская с огромным успехом, хотя ее свадебные причитания излагаются ею не по-народному, а в драматической форме, с излишними интонациями, которых в народной песне нет. (Сваха, невеста, брат невесты.) Надо бы матовее, без рельефа. Но рассказ ее о замерзших песнях, которыми архангельские купцы торгуют с англичанами, превосходен и подан читателю с максимальным эффектом. Сегодня меня и ее позвала к себе здешняя врачиха Екатерина Алексеевна, старуха, у которой собираются писатели. Не хочется обидеть, но и идти не хочется.

Сейчас у меня были 4 армянина, из них один — Аветик Исаакян, знаменитый поэт. Невозможно передать, до чего симпатичен этот человек. Скромен, молчалив, без малейшей позы, он жил среди нас 2 недели, и никто не знал, кто он такой. Между тем слава его такова, что, когда я заговорил о нем с парикмахером-армянином (на Тополевой улице), он сейчас же прояснился лицом и по-армянски стал цитировать его стихи. Заговорил с чистильщиком сапог, он тоже: «Аветик, Аветик». Лицо у него рассеянное и грустное. Говорят, что советская власть (которая выдает ему небольшую пенсию) не пускает его за границу к семье. Поразительно, что когда я попросил его прочитать по-армянски хотя бы 4 строки какого-нибудь его стихотворения, он не мог, все забыл, а когда мы устроили армянский вечер и с эстрады читали его стихи, он сидел среди публики, пригнувшись и прикрывая лицо. На эстраду ни за что не вышел и не произнес *вслух* ни одного слова. Армяне живут так сплоченно, что он — чистил себе сапоги у чистильщика-армянина, стригся у парикмахера-армянина, ездил на извозчике-армянине, ходил пить чай к армянину-архитектору Хаджаеву и проч. и проч. Ко мне он как будто привязался и рассказывал, что в Армении очень хорошо переведены мои детские книги.

5 ноября. Кисловодск. Озаровская: у нее как будто был удар. Ходит она, как дряхлая старуха. Временами пропадает у нее зрение. Она рассказывала свои воспоминания о Менделееве, в тысячный раз: я помню, как она рассказывала их в редакции «Речи» в 1908 или 1909 году (двадцать лет назад!) точь-в-точь теми же словами, как сейчас. Загадка в том, что она рассказывает 20 лет только о Менделееве (из своих воспоминаний) — затверделыми привычными словами, не меняет ни одной запятой. Она женщина умная и даровитая, но вкус у нее слабоват, и, например, о Козлике и Волке она рассказывает гнусный вариант, самоделку интеллигентскую в то время, когда есть в этих стихах магические строки:

Я продержал корректуру ее «Менделеева» — дал ей взаймы 60 рублей — и вообще мы сдружились. Она устраивает свой юбилей в январе и откровенно пригласила к себе в юбилейный комитет Переверзева и Елену Борисов[н]у. Сама наметила, кто будет ее чествовать, — вслух, с эстрады, но это вышло у нее очень хорошо.

Здесь была гнусная писака Майская, которая душила всех нас своими ужасными виршами и пьесами. Но что страннее всего, в нее, женщину 50 лет, влюбился проф. Мазинг, известный технолог, который ходил вслед за нею, как паж. На Майской каждый день было новое платье, она красилась безбожно и часами говорила о себе.

Был здесь академик Багалей, украинский историк. Бесталанный, серый писатель, ставший по приказу начальства марксистом. Я прочитал его биографию, изданную украинской Академией Наук, — нудное и убогое сочинение. Ни одной характеристики, ни одного колоритного эпизода. Каждая страница — по стилю казенная бумага. Но в разговоре приятен: прост, ненапыщен, много рассказывал о Потебне, о своей невесте: как она нарочно снялась не рядом с ним, а с каким-то студентом, который был влюблен в нее: «Это была политика». Вообще он политикан и хитрец и тоже весь поглощен собою.

Столпнер: великий диалектик, очень оригинальная фигура. Марксист, который *верит в Бога*! Теперь у него все в прошлом — и он привязался ко мне, как к человеку, видевшему его былую славу. Но Гита Львовна, женщина, которая 10 лет была его другом, почувствовала и ко мне расположение, отсюда жалкая и мучительная ревность Столпнера, жалкая, потому что он слеп, лыс, очень некрасив и по близорукости беспомощен. Он не видел нас, если мы были в двух шагах от него, и перебегал от группы к группе, отыскивая Гиту. Для меня все это было неприятно, и я уговаривал ее уважать и любить Столпнера.

Вяч. Полонский и его жена были здесь очень милы, всеми любимы; они оба дружны и приятны. Но как-то мы разговорились с ним вечером у «Храма Воздуха», и он заговорил о себе как о великом человеке, what he is not[1]. Он работяга — и только. Статьи его не гениальны, иногда безвкусны и по стилю не слишком изысканны. У меня он перенял мою былую нехорошую хлесткость — но, конечно, литературу он любит и линию в ней ведет благородную (насколько это возможно).

[1] Каковым он на самом деле не является (*англ.*).

1928 Никогда я не забуду этих дней в Цекубу. Наша «хозяйка», Ел. Бор. Броннер, женщина властная, эгоцентрическая, не управляет, но царствует. У нее в Москве огромные связи, ее муж — правая рука Семашки, она знакома со всей ученой, артистической, партийной Москвой, отлично разбирается в людях и обладает огромным талантом к управлению ими. Все у нее ходят по струнке, ей 47 лет, она не утратила былой красоты, она очень цельный человек, откровенный, немного презирающий всех нас. Прекрасная рассказчица. Очень хорошо рассказала мне, как в Цекубу приехал пролетарский писатель Артем Веселый и ее сын Боря вдруг стал ругаться по матери. Веселый сошелся с Борей и научил 10-летнего мальчика самым ужасным ругательствам, называл ученых буржуями — и не желал даже сидеть с ними за одним столом, а беседуя с Еленой Борисовной, сам того не замечая, матюкался на каждом шагу. «Я так и похолодела, когда услыхала вдруг *3 слова*, а потом ничего, привыкла».

Был здесь и *Ромашов*, с тоненькой и бледной женой. Он прочитал мне свой «Воздушный пирог», чудесную, полнокровную вещь, где характер Семена Рака поднимается на боевую высоту, и мне его дарование очень понравилось, но он сам зол, обидчив, не прост, подозрителен. Я думаю, что таким его сделала сцена, где человек человеку волк. Работнику сцены — особенно теперь — необходимо иметь острые зубы и когти. Но он эти зубы и когти зачем-то направлял против меня — и наши отношения стали мучительными. Каждый вечер он приходил ко мне и доводил меня до белого каления. Я был очень рад, когда он уехал. Он рожден драматургом. Его отец и мать были актеры, он с детства — в театре, разговаривая, он цитирует, в виде поговорок, строки из Гоголя, Островского, Грибоедова, Мольера. Кроме того у него хорошая литературная школа: он был поэтом, писал много стихов, водился с Брюсовым, Вяч. Ивановым

Здесь промелькнуло много инженеров: Пиолунковский — изобретатель, сын польского повстанца, родился в Сибири, талантливый изобретатель, зарабатывавший сотни тысяч рублей, тяготевший издавна к большевикам, очень увлекающийся, милый человек — подружился со мною, рассказал мне даже свою семейную драму, которой никому не рассказывал.

Карл Адольфович Круг, знаменитый электротехник, основатель электро-технического института, квадратный мастодонт 54 лет, с могучими плечами, без нервов, с огромной, высоченной женой, моего роста, правительницей, очень забавной женщиной, вроде Тамары Карловны. Ее Карл — основательный мужчина. Все, что он знает, он знает — и когда однажды я заговорил с ним о Кавказе, он стал называть десятки рек, деревень, городи-

шек, гор — так четко и крепко он помнит прежние свои путешествия по Кавказу.

Вчера я третий раз был на Горе Седло. Эльбрус был во мраке и хребет в тумане.

Я не забуду, о нет, ту Крестовую горку, на вершину которой ходят гулять цекубисты каждое утро, — она видна у меня из окна — с нее вид изумительный на два крыла Кисловодска, не забуду я сладкого кисловодского воздуха, нежно ласкающего сердце, и щеки, и грудь. В его сладости я убедился этой ночью, 6 ноября, во время своего безумного набега на станцию Минеральные Воды. 3-го ноября я получил от М. Б. телеграмму, вызывающую меня в Ленинград. Но количество больных, отъезжающих из Кисловодска и Пятигорска, так велико, что достать билет немыслимо. Я поехал вчера «на ура» — вместе с Арамом Никитичем, Кучиным, Анной Сергеевной и Тихеевым. Взял чемодан, корзинку, масло в двух бидонах, рис, портфель. Меня и других провожали все цекубисты, бывшие в наличии, — все были уверены, что я уезжаю, я расплатился с прислугой — и вот на вокзале оказалось: билетов нет и не будет до 7-го; у меня альтернатива — поселиться в общежитии — тут у вокзала — или ночью вернуться в свое Цекубу. Я предпочел вернуться, так как в общежитии люди спят по десяти человек в одной комнате. Станция Минеральные Воды совсем петербургская, — вид вокзала с узлами на полу и спящими людьми, с буфетом и вонючими уборными вызвал во мне страшную тоску — я сел в кисловодский поезд, почти пустой, точь-в-точь как куоккальский, с теми же мелкими пассажирами, клюющими носом, и, измученный, еду назад, при мне тяжелейший портфель и корзина, вздеваю все это на палку — и с ужасом думаю о том, как я взойду с этой тяжестью на Крестовую гору, — и вдруг при выходе из вагона меня обнимает упоительный воздух, и я с новыми силами *бегу* по горе — к дорогим тополям и любимому белому дому.

За это время я познакомился с десятками инженеров. Все в один голос: невозможно работать на совесть, а можно только служить и прислуживаться. Всех очень ударила смерть Грум-Гржимайлы, тотчас после ругательного фельетона о нем «Профессор и Маша»*. Здесь инженеры Жданов, Круг, Куцкий, Пиолунковский — знаменитые спецы, отнюдь не враги советской власти — так и сыплют страшными анекдотами о бюрократизации всего нашего строительства, спутывающей нас по рукам и ногам.

Лежу в постели, болит сердце после вчерашнего.

А кругом больные, бледные, худые,
Кашляют и стонут, плачут и кричат —
Это верблюжата, малые ребята.
Жалко, жалко маленьких бедных верблюжат.

1928

6 ноября. И вот я опять на дивном балконе — лицом к солнцу — без пальто. На небе белые-белые облачки. На балконе листья тополей. Я один.

Начинаю блаженно дремать, подставляя щеки «ласке солнца». Хоть бы на 10 минут вздремнуть — и то легче.

Трагически упала у нас стиховая культура! Я прочитал на «Минутке» у Всеволода Ив. Попова чудное стихотворение О. Мандельштама «Розу кутают в меха» — и вот Манджосиха просит *после этого* прочитать ей стишки Г. Вяткина — ужасные, шарманочные, вроде надсоновских! Тут же рядом Пазухин заговорил о поэзии, читает Бальмонта о феях, где одна только ужимка и пошлость.

И когда я кричу на них с гневом и болью, они говорят, что я неврастеник. И, пожалуй, правы. Нельзя же бранить людей за то, что они пошляки.

А кругом больные,
Бледные, худые, —
На земле, в болоте,
Бедные лежат.

7 ноября. День моего отъезда. 4 часа ночи. Не могу заснуть. И писать не могу. Голова без кровинки.

А рядом бегемотики
Схватились за животики,
И лают собачатами,
Мяукают котятами и лают собачатами,
И плачут и кричат:
У них у бегемотиков животики болят.
А бедные слонята
Визжат, как поросята.
Ах, пожалейте маленьких сереньких слонят.
И тут же прикурнула
зубастая
Печальная акула.
Ах, у ее малюток, у бедных акулят
Уже двенадцать суток зубки болят.
И плачут носорожики,
Их укололи ежики.
И все у носорожиков болит...

Опять на балконе. Солнце жжет вовсю.

Утро. До этого в постели (ночью) у меня сочинилось вышеприведенное:

2) Какая-то бацилла
1) Вчера их укусила.

Нельзя сидеть в пальто. Душно. Это 7-го ноября. Все десять предыдущих ноябрей я провел в Питере и всегда связывал их со слякотью и мокрыми торцами. Снял с себя пиджак, рубаху, фуфайку — и принимаю солнечную ванну, не боясь ультрафиолетовых лучей, — 7 ноября 1928 года! И чувствую, что лицо загорает 7 ноября 1928 года, когда у нас темь, холод, смерть, изморозь и блекота!

8 ноября. В поезде. Только что миновали Ростов. Еду в купе с Куцкими и Муромцевым. Чудесные люди. Куцкий — инженер, у него любящая жена, глаза как маслины, очень любят друг друга. У Муромцева — припадок печени. Я взволновался и не заснул. Вообще я не могу спать, когда в вагоне четверо. Оба они старые друзья, оба прожили в богатстве и в холе. Куцкий вчера рассказал, что он в прежнее время в один день заработал 75 тысяч. У него ленивые манеры человека, привыкшего повелевать. Он тучноват, спокоен, глаза искрятся пониманием. Муромцева я, помню, встречал на Плющихе у Бунина. Бунин в то время только что был сделан почетным академиком — и в благодарность решил поднести Академии — «Словарь матерных слов» — и очень хвастал этим словарем в присутствии своей жены, урожденной Муромцевой. Разговаривая с Муромцевым о Бунине, я вспомнил, как Бунин с Шаляпиным в «Праге» рассказывали гениально анекдоты, а я слушал их с восторгом, пил, сам того не замечая, белое вино — и так опьянел, что не мог попасть на свою собственную лекцию, которую должен был читать в этот вечер в Политехническом Музее.

10/XI 1928. Подъезжаю к Питеру. Проехали Любань. Не спал 3 ночи. Вчера в Москве у М. Кольцова. Оба больны. У них грипп. Она лежит. Он сообщил мне новости: «Леф» распался из-за Шкловского. На одном редакционном собрании Лили критиковала то, что говорил Шкловский. Шкловский тогда сказал: «Я не могу говорить, если хозяйка дома вмешивается в наши редакционные беседы». Лиле показалось, что он сказал «домашняя хозяйка». Обиделась. С этого и началось.

«Огоньку» запретили давать в приложении Чехова. Третьего дня Кольцов был у Лебедева-Полянского.

— Здравствуйте, фельетонист! — говорит ему Лебедев.

— Здравствуйте, чиновник! — говорит Кольцов.

1928 Ходят слухи, что Горький интригует против того, чтобы «Огонек» давал Чехова, — сообщила мне Елизавета Николаевна. Я этому не верю. Но Горький мог прямо сказать где-ниб., что «Чехов не созвучен».

— Почему не выходят «Наши достижения»? — спросил я у Кольцова,

— Нет бумаги! — ответил он.

— Вот тебе и достижения.

Пообедав у Кольцова, к Литвиновым. Очень рады — мать и дочь. О речи Литвинова я: «Это вы ему приготовили такую речь. Я узнал ваш стиль».

Она: «Тише! он и сам этого не знает, но, конечно, тут много моего». Это была литературная пародия на речь Кашендоне, и ее может оценить только тот, кто знает эту речь.

Потом: «О, я хочу быть богатой, богатой. Я написала detective novel[1], хочу издать в Америке и в Англии и поставить фамилию Литвинова».

Танечка: «Мама читала мне свой роман, очень интересно». Таня изумительно хороша, и умна, и начитанна. У нее целая библиотека книг — английских и русских — и даже «Республика Шкид».

Я упрекнул ее в плагиате у Саши Черного — о, как она покраснела, как засверкали глаза. Ей уже 12 лет, она сейчас была во Франции — и с большой радостью подарила мне «для Мурочки» — целую кучу английских книг. Мать потолстела. Волосы черные — есть седина. Ей 39 лет, ему 52. Она показывала мне карточки детей и мужа — и подарила несколько.

До Питера осталось 45 минут. Я очень волнуюсь. Ведь я еще никогда не разлучался со своими на столь долгий срок. Везу Муре браслетку, туфли, шапочку, английские книжки, Марии Борисовне туфли, отрез. Бобе кушачок, Лиде бумажник. Татке шапочку и карманчик, Коле, увы, ничего. Кроме того я купил 10 ф. рису, пуд масла, 10 ф. перловой крупы, 3 ф. паюсной икры, Марии Борисовне рыбок каких-то и проч. Но и потерял я тоже немало вещей. Очки, перочинный нож, гребешок.

Погода в Ленинградской губернии не такая дрянная, как я ожидал. В Харькове точно такая же.

Вчера я расстался с Куцким и Муромцевым — и с Еленой Михайловной, женой Куцкого.

[1] Детективный роман (*англ.*).

Муромцев по секрету сообщил мне, что Жданова арестовали. Позвонили из Пятигорска, прислали за ним красную фуражку и взяли, куда — неизвестно. Говорят, что Жданов гениальный работник. Что он восстановил нашу металлургическую промышленность, что он то же в металлургии, что Куцкий в машиностроении, но идеология у него нововременская, он юдофоб, презирает «чернь» и проч. Куцкий не таков. Во время еврейского кишиневского погрома оба его брата работали в еврейской самообороне, он был с-д и проч.

А в окнах — нищета и блекота. Вспоминаются те волы, те поля кукурузы, те чудесные снопы сена, которые я 3 дня тому назад видел в горах. И какие сытые лица хохлов. Осталось 25 минут. Поезд летит как бешеный — а сейчас на Крестовой горе солнце печет вовсю, кругом тополя тихо роняют листву.

Муромцев рассказывает о Бунине. Когда Бунин пишет, он ничего не ест, выбежит из кабинета в столовую, пожует механически и обратно — пишет, пишет все дни. Революция ему ненавистна, он не мог бы и дня выжить при нынешних порядках. Вывез он из деревни мальчишку, чтобы помогал ему собирать матерные слова и непристойные песни, мальчишка очень талантлив, но жулик, стал потом токарем, потом спекулянтом, часто сидел в тюрьме. Больше писать не могу. Нервы вдруг упали — за 15 минут до прибытия в Питер. На избах вдруг возле Питера оказался снег. Через час я дома. Не простудиться бы. У меня носки Литвинова!! Вчера я промочил ноги — и Литвиновы дали мне свои заграничные.

2 февраля. Мне легче. Температура 36,9. Маршак и Лебеденко прямо с поезда. Маршак пополнел, новая шапка, колеблется, принимать ли ему должность главы московско-ленинградской детской литературы, требует, чтобы согласились и Лебедева назначить таким же диктатором по художественной части; в чемодане у него Блэйк (Горький обещал ему, что издаст). Забывая обо всех делах, он горячо говорит о «Songs of Innocence»[1], которые он перевел, — ушел со сжатыми кулаками, как в бой. Лебеденко — все звонит к какой-то даме. Спрашивает дорогу к ГИЗу, он здесь первый раз!!

Потом Кольцов с Ильфом. Ильф и есть $^1/_2$ Толстоевского. Кольцов в «Чудаке» очень хочет печатать материалы о детских стихах, издаваемых ГИЗом. Сегодня я заметил, какой у него добрый и немного наивный вид. Принес свою книгу, III-й том. Уверен, что Рязанов сокрушит Полонского.

Потом от Заславских девушка Катя принесла мне бульону и курицу.

Потом от Кольцова Елизавета Николаевна принесла мне бульону и курицу!!

Вот уж поистине «Правда» помогла!

Потом Зейлигер. Тоска.

Потом Заславский, только что из Питера. Потом Столпнер. Они оба встречаются не без смущения. Заславский и Столпнер бывшие меньшевики (кажется, так). К моему удивлению, Заславский заводит со Столпнером разговоры об Ортодоксе, Шпете («великий ум!»), о Плеханове.

Потом опять Лебеденко. Потом Добровольский о «Крокодиле». Им разрешили либретто балета и вновь как будто запретили. Они хлопочут. Потом Воскресенский об «Academia». Маршак такой человек, что разговор с ним всегда есть его монолог. Он ведет речь — и дозволяет только робкие реплики. Тему разговора

[1] «Песни невинности» (Вильяма Блейка. — *Е. Ч.*).

всегда дает он. Вообще он pushing and dominating personality[1]. И его push[2] колоссален. Все кругом должны обсуждать только те темы, которые волнуют его. Сегодня с утра он счастлив: Алексинский из МОНО, его старый товарищ, позвонил ему по телефону, что он встанет с ним бок о бок в борьбе за маршаковскую линию в литературе. Это значит, что Касаткина из Центральной Библиотеки смирится, покорится Маршаку, что ГУС (или то, что будет вместо ГУСа) окажется в горсти у Маршака. Он в восторге: прочитал мне сегодня утром за чаем свой новый рассказ (про Ирландию), потом мы долго читали Блэйка с энтузиазмом, так как Блэйк воистину изумителен, — потом он пошел к Иоффе и Ханину вырабатывать условия своего диктаторства над детской словесностью.

4 февраля. Принял 2 облатки адолина и оглушил себя на 2 часа. Не могу заснуть. Был опять Столпнер и с ним его «подруга» Гита Львовна, юристка, заведующая консультации МГСПС*. Она рассказывает ужасные вещи — о стариках, которых избивают их дети за изнасилование маленьких девочек, о хулиганах, которые поспорили, что они за 35 к. выпьют полную шапку чужой мочи (и выпили), о татарке-красавице, которая в 30-градусный мороз пришла к ней с 5-месячным ребенком, так как все эти ночи она проводит на улице. Кто отец ребенка? — Иван. — Какой Иван? — Иван. (Больше татарка ничего не знает. Она познакомилась с ним на базаре, он «подарил» ей полтинник и повел ее ночью на вокзал, где и произвел свою «работу отцовства») и т. д.

Воскресение [10 февраля]. Как будто я выкарабкиваюсь из своей болезни. Три дня тому назад приехала М. Б., так как 5 февраля после 4 недель гриппа у меня внезапно поднялась температура до 39, заболела правая лобная пазуха, стало болеть горло — и я превратился в горячечного идиота. Я послал телеграмму за Лидой или Бобой. Но Ангерт — спасибо ему! — вызвал по телефону М. Б. — и она, больная, приехала, три дня и три ночи, не отходя от меня (и заснув только на 2 часа за 3 ночи) — вызволила, *кажется*, меня из болезни. Фельдман (горловик), Бурмин (терапевт) (по 20 р.!) — книга «12 стульев».

И были на фоне этого люди: Шкловский, к которому сердце мое опять потянулось. Весь подкованный, на середине дороги, чующий свою силу — и в то же время лиричный и кроткий и даже

[1] напористая и властная личность (*англ.*).
[2] напор (*англ.*).

застенчивый (где-то внутри), он много вспоминает из прежнего — Репина, мой диван, Бориса Садовского, Философова, Гржебина.

О Гржебине мы разговорились, вспомнили, как много в нем было хорошего, мягкого, как он, в сущности, поставил на новые рельсы нашу детскую книгу, вовлек в нее Чехонина, Добужинского, Лебедева, вспомнили, что мы остались ему должны (т. к. он платил нам авансы за будущие книги, которых не издал по не зависящим от нас обстоятельствам). И мы решили непременно, когда я выздоровею, написать Гржебину письмо, где выразить ему любовь и признательность, и вместе с письмом послать ему денег.

— Давайте издадим сборник в его пользу! — сказал Шкловский.

Это было недели 2 назад. А сейчас пришли и говорят: Гржебин умер!

— Не говорите Тынянову! — сказал Шкловский. — У Тынянова, кажется, та же болезнь.

— Он умер в тот самый день, когда мы говорили о нем! — крикнул я Шкловскому.

Раз он пришел ко мне мягкий и грустный. «Я сейчас выругал Эфроса. Не люблю, зачем он вне литературы — а все пляшет вокруг нее». А когда я выругаю кого, у меня Катценьяммер[1].

Маршак. На двери у меня надпись, что я *сплю.* Все подходят, прочтут и отходят на цыпочках. А Маршак не читает надписей на дверях. Он знает, что всякая закрытая дверь должна перед ним распахнуться. Он, как слепой буйвол, налетает на дверь (на всякую) и сокрушает ее. Теперь в Москве, чувствуя себя триумфатором, он особенно усвоил себе буйволизм. Иногда это в нем очень хорошо, иногда тартюфно (так как за всем этим большая оглядка) — но таково перерождение Маршака, такова его новая манера после долгого периода уязвленных самолюбий, неудач, когда он должен был прятать свое *я* и не давать ему воли. Говорит он теперь взрывчато, бурно, накидываясь и (метафорически) хватая за горло. Вчера к нему пришел Our Mutual Enemy[2] Гершензон. Сам напросился придти для откровенного разговора. И вот Гершензон начал какую-то сиропную канитель. Маршак вбежал ко мне:

— А я сейчас на него накинусь и крикну: зачем вы пришли ко мне?

11 февраля 1929. Он собирал силы для наскока — и наскочил. (Оказывается, что Гершензон был в Саратове.) Посланный туда для пропаганды гизовских детских книг, он на собрании библио-

[1] katzenjammer — похмелье *(нем.).*

[2] Наш общий враг *(англ.).*

текарей и педагогов схватил мою книгу и крикнул: «Вот какой дрянью мы пичкаем наших детей» — и швырнул ее с возмущением в публику.

Маршак сказал ему, что он должен говорить объективно, он ответил: «Но тогда я не могу говорить эмоционально!» и пр. Теперь у Маршака много неприятностей. Ушел из-за него Олейников, проведенный им в редакторы «Ежа». Олейников, донской казак, ленивый и упрямый, очень талантливый, юморист по природе, был счастлив, когда дорвался до возможности строить журнал без Маршака. Он сразу пригласил художников нелебедевской партии, ввел туда свой стиль — и работа закипела. Но Маршак «вмешался» — и Олейников подал в отставку. Вчера вдруг обнаружилось, что он перешел в «Молодую гвардию». И перетянул туда других отщепенцев от Маршака — Житкова и Бианки. Этот триумвират очень силен. Когда вчера это дошло до Ангерта, он разъярился и предложил, чтобы Маршак отстранился от «Ежа», — надеясь уговорить Олейникова при таких условиях остаться. Но я думаю, что уже поздно. У меня вчера было устроено совещание. Характерна нынешняя «манера говорить» у Маршака. Он пришел ко мне, когда у меня сидел Ангерт, и стал говорить о своих печалях. Я пробую вставить слово. Он кричит: «Не перебивайте!» Ангерту тоже: «Не перебивайте!» Как будто он читает стихи. Он рассказывает о своих бессонницах, об ужасной своей усталости, о том, сколько он сделал для Олейникова, для Житкова и т. д., — и спрашивает совета, что делать. Ангерт в простоте отвечает: «Ваш вопрос заключает в себе четыре вопроса. По первому вопросу...» Но Маршак и не желает слушать советов. Он всегда знает, что делать, а спрашивает совета только для того, чтобы не выводить своих собеседников из орбиты своего *я*. Чтобы изнурить нас собою.

26/III 1929. Вчера был у меня Зощенко. Я пригласил его накануне, так как Ангерт просил меня передать ему, чтобы он продал избранные свои рассказы в Госиздат для трехтомного издания. Зощенко не захотел. «Это мне не любопытно. Получишь сразу 15 тысяч и разленишься, ничего делать не захочешь. Писать бросишь. Да и не хочется мне в красивых коленкоровых переплетах выходить. Я хочу еще года два на воле погулять — с диким читателем дело иметь...» Очень поправился, но сердце болит. Хотел купить велосипед, доктор запретил. Зощенко весь захвачен теперь своей книгой «Письма к писателю», прочитал ее мне всю вслух. В ней нет для меня того обаяния, которое есть в других книгах Зощенки, но хотя вся она состоит из чужого материала, она вся — его, вся носит отпечаток его личности.

1929 **1 апреля.** День моего рождения. Утром от Муры стихи: «Муха бедная была, ничего не принесла». Потом от Лиды палеховская табакерка. Дважды в ГИЗе: возня с «Барабеком»: то хотели дать приложением к «Ежу» 48 страниц, то 32, то, наконец, 40. Приехал я домой, а дома пирог «наполеон», Марина, Тата, Боба, Лида, Коля и я — патриарх. Позвонил Тынянов, поздравил. Я счастлив, пошел уснуть. Боба для этого читал мне «Проселочные дороги»*. Потом через минут пять я проснулся и, чувствуя, что в доме «что-то происходит», оделся и вышел в столовую. Вижу: вся семья в сборе, освещение, и в тени, на диване, в коричневом платье сидит СТРАШНАЯ — моя сестра, с огромными глазами — с каким-то отпечатком застывшей и дряхлой молодости на нечеловечески-застывшем лице. У меня испуг смешался с дикой радостью и жалостью, — особенно когда она заговорила таким ненатурально-натуральным голосом — заговорила не вдруг, а через минуты три молчания — и как будто говорила не она, а кто-то другой за нее — лицо же не изменялось, как маска. Милая, — ей вообще трудно участвовать в наших житейских разговорах, она, говорят, целые дни проводит в оцепенелом молчании, а здесь она старалась быть «как люди», насиловала себя, говорила об одесских ценах, об отсутствии белой муки, о своих соседях, даже улыбалась нашим шуткам, но как ей было трудно это! Я страдал за нее, я чувствовал, какую она испытывает боль от такого непривычного ей напряжения, а наши инсценировали веселую семейную сцену, как будто все у нас уютно и радостно, как будто просто любимая тетка приехала к брату погостить. О, если бы удалось показать ее завтра Петрову!! О, если бы удалось мне заснуть хоть на минуту!

21/22 сентября. Опять еду в Кисловодск. Ночь. Не доезжая до Харькова. Дождь!!! Да какой! В моем купе ни души, но зверски пахнет уборной. Я думаю о заглавии для моего детского сборника: «Зайчики в трамвайчике», «Карабарас», «Львы в автомобиле», «Ребята и зверята», «Веселая Африка». Спал в вагоне — от 6 часов вечера до 12 ночи. Прошлую ночь не заснул ни на миг. Выдумал загадку:

Колючий, но не ежик,
Бегает без ножек.
Перекати-поле.

Прочитал записки Бориса Чичерина. Очень талантливо, и умно, и совестливо. Читаю Эшу да Кайроша. Разбираю письма детей ко мне — уже 251 письмо.

Утро 22-го. Чем дальше еду, тем холоднее.

Перерабатываю Уитмэна на новый лад. Очень жалею, что до сих пор (с 1923 года) не могу пристроить эту книгу. Ветер гнет бурьяны. Завтра у Лиды операция аппендикса.

Настоящая буря. Ветер свищет. Дождь бьет по вагону (9 часов).

10 часов. Удираем из-под тучи.

29/IX. Вот уже неделя, как я из дому. И ничего ужаснее этой недели я и представить себе не могу. В Цекубу комнаты мне не дали: все переполнено, я устроился в заброшенном «Красном Дагестане», где, в сущности, никакой прислуги нет, а есть старый татарин-привратник, который неохотно пустил меня в сырую, холодную комнату, дал мне связку ключей, чтобы я сам подобрал подходящий, и вот я стал по четыре раза в сутки шагать в Цекубу — на питание. Это бы вздор, но всю эту неделю идет безостановочный дождь, превративший все дороги в хлюпающее глубокое болото, а калоши я забыл дома, и туфли у меня дырявые, и я трачу целые часы на приведение своей обуви в порядок после каждой прогулки, счищаю ножичком грязь, вытираю ватой снаружи и внутри, меняю носки и снова влезаю в мокрые туфли, т. к. перемены нет никакой. Как не схватил я воспаление легких, не знаю. Состав гостей здесь серый, провинциальные педагоги — в калошах и с ватой в ушах, и мне среди них тягостно. Здесь Сергей Городецкий, недавно перенесший смерть мужа дочери, шахматиста Рети, и травлю в печати по поводу «Сретения царя»*. Я сижу за столом с ним и с инженером Гонзалем. Этот Гонзаль, обломок старины, набоковским голосом рассказывал разные свои похождения, большею частью фривольные, и эти рассказы выходят у него как новеллы Боккаччо. Одна из новелл: «Как благодаря нежелению бриться я заработал огромные деньги». И вдруг сегодня в числе других новелл он рассказал такую, которая довела меня чуть не до слез. У него было двое детей, мальчик и девочка. Мальчика он любил больше. Мальчику было 9 лет. Сидели они как-то вместе, он и сказал сыну:

— Солнышко ты мое!

Девочка, ревнуя, спросила:

— А я?

— А ты луна! — сказал он.

Прошло полгода. Гонзаль был в отсутствии. Вернувшись домой, он накупил для сына игрушек и бежит в спальню обрадовать его. Видит, сын, уже обряженный для погребения, лежит мертвый. Он от ужаса и неожиданности чуть не лишился рассудку. Вдруг дочь говорит ему:

— Я рада, что он умер. Теперь уж я буду для тебя не луною, а солнцем.

30 сентября. Вчера я принял первую нарзанную ванну. Сегодня впервые синее небо, солнце, но ветер, и от Эльбруса опять идут тучи.

Вечер, 10 часов. День был блистательный. Я весь день нежился на солнце, сидя на площадке перед домом Цекубу, — и в результате у меня обгорел нос. В 4 часа лег спать — и валялся до $^1/_4$ 8-го. Пришел к ужину, у нас новый 4-й за столом — знаменитый путешественник Козлов. Старик лет 60-ти — говорит беспрерывно, — возраста его незаметно, до того молодо, оживленно и ярко он говорит. [В]течение четверти часа я узнал от него, что жеребят «лошади Пржевальского» можно было выкормить, только убив у простой кобылы ее жеребенка и накрыв жеребенка Пржевальского шкурой убитого, что бараны (какие-то) не могут есть низкую молодую траву, т. к. им мешают рога, что в Аскании какой-то тур, тяготея к горам, взобрался на башенку по лестнице, и за ним захлопнулась дверь и он умер там на высоте от голода. Едва приехав сюда, Козлов стал искать научных книг о Кисловодске, его флоре и фауне — вообще, видно, что свой предмет он считает интереснейшим в мире — и весь наполнен им до краев. Мы можем только задавать вопросы, на которые он отвечает с величайшей охотой, не замечая даже тех блюд, которые ему подаются.

Вечером в приемной врача увидел Соню Короленко. Оказалось, она в «Дагестане». Восхищается Кисловодском. Несмотря на запрещение врача, гуляла в горах — и сорвала чудесный букет. У нее нет одеяла, я дал ей свое.

О! как я беспокоюсь о Лиде.

Наш Козлов человек очень характерный. В нем виден бывший военный и *начальник*. Когда он говорит что-нибудь, он улыбается игриво, и его левый глаз принимает *польское*, кокетливое выражение, а правый остается тверд и серьёзен, и должен сказать, что я больше верю его правому глазу.

Сегодня вышел мелкий эпизод. Сергей Городецкий обещал ему (за чаем) достать карту Монголии (для лекции) и не достал. За ужином он сказал об этом Козлову. Тот вдруг выпятил нижнюю губу (у него нет нижних зубов, и потому губа торчит как у старухи) и стал делать Городецкому выговор: «Я положился на вас, понадеялся, я бы в школе достал, вот не думал, что вы так подведете меня». Городецкий насупился, обиделся — и, отвернувшись, стал беседовать с соседями по столику. Но старик не унимался и ворчал. Городецкий шепнул мне: «Видно, что он бывший полковник». Я достал карандаш и большую бумагу, и Козлов начертил карту, а Сергей Городецкий виртуозно написал на ней буквы и раздраконил озера и

реки, вышла «карточка» (по выражению Козлова) хоть куда. Козлов сменил гнев на милость, и в левом его глазу опять появилось польское игриво-ласковое выражение.

Лекцию свою читал он отлично. Да и то сказать, он читает ее 21 год, небось произносил тысячу раз все в одних и тех же выражениях. На эстраде он кажется выше своего роста, моложе и чарующе-милым. В голосе его есть поэзия, голову он тоже склоняет набок, как поэт, и когда передает свои разговоры с туземцами, стилизует их на ориентальный лад. Иногда он оговаривается: «А я говорю: господа! то есть братцы. Мы мыли руки по чинам: сначала я, потом (той же водой) все мои подчиненные». Лекция имела огромный успех, и ему аплодировали минуты две. Он был счастлив. А перед лекцией волновался ужасно. Даже от еды отказался — съел только кашу!

Мещеряков оказался милый и скромный человек. Он сегодня долго беседовал со мной о Николае Успенском и признал свою неправоту в нашем споре о нем. Говоря о журнале «Печать и революция», он сказал, что Полонский был отличный редактор: «он мне всегда правил статьи, и я очень благодарен ему за это». Но сегодня вышел такой казус: Мещеряков пустил собаке в нос струю дыма. Одна старуха вступилась за собаку. Он сказал ей: «Оставьте меня, или я сделаю вам скандал». Она: «Скандал в Цекубу! — вещь неслыханная». Послезавтра он читает. Ряд профессоров решили не слушать его. Завтра читает Ромашов.

3 октября. Я спросил у одного доктора, от чего он приехал лечиться. Он по виду здоровяк, с крепкими зубами, из Иркутска. — Я лечусь от режима экономии. У нас в Иркутске три года назад, когда был получен знаменитый приказ Дзержинского*, взяли весь хлороформ, имеющийся на всяких складах, слили вместе и разослали по больницам. Стали применять этот хлороформ — беда! После первой же операции меня затошнило. Руки задрожали: отравился.

— А пациенты?

— У меня пациентки, женщины.

— Ну и что же...

— 12 умерло...

— И только тогда вы остановились, когда умерло двенадцать!

— Да... Но и я пострадал.

— Пострадали? От чего?

— От мужей.

Насморк, болит горло. День как будто ясный.

Тот же доктор рассказал мне, как еще в царское время в одной иркутской деревне было получено предложение губернатора выяснить, не занимаются ли ее жители — проституцией. Те собрали сход и постановили: так как жители издавна занимаются земледелием, то никакой проституцией заниматься они не желают.

10/X. Четыре дня я был болен гриппом. Носила мне еду Соня Короленко. Очень не эффектная, не показная у нее доброта. Она не выказывала мне никакого сочувствия. Приносила еду и сейчас же уходила, а потом заходила за грязными тарелками. Однажды только я разговорился с ней, и она мне сказала о Льве Толстом столько проникновенного, что я слушал, очарованный ею. Толстой, по ее словам, человек очень добрый (это ложь, что он злой), обожал природу и так хотел правды, что если в письме писал: «я был очень рад получить Ваше письмо», то при вторичном чтении зачеркивал *очень*, потому что не хотел лгать даже в формулах вежливости... Здесь за это время Мещеряков показал себя во весь рост. При санатории было две собачонки и одна кошка Мурка. Он объявил им войну. Потребовал, чтобы кошку отравили, а собачонок прогнали, и безжалостно пускал им дым папиросы в нос, что вызвало негодование всего санатория. Он один из верховных владык санатория, от него зависят ассигновки (отчасти), за ним ухаживают, дали ему лучшую комнату, но он угрожает, что напишет дурной отзыв, если кошку не истребят. Его жена, смотревшая на всех удивительно злыми глазами, была истинным городовым в юбке. 30-го сентября заведующая столовой передала одной имениннице букет и телеграмму и сама поздравила ее с днем ангела. Мещерякова рассвирепела: в советском учреждении вы не смеете даже слово «ангел» упоминать. Все ходила и глядела, не танцуют ли фокстрот, не флиртуют ли, не ругают ли советскую власть!!

Вчера была вторая лекция Козлова. Он очень волновался, не ел даже сладкого (сладкое он любит безумно). Читал, не думая, по привычке то, что читал много раз, но вдруг какой-то посторонний слушатель спросил его, были ли в советской экспедиции, открывшей курган, были ли в ней археологи? Старик принял этот вопрос за оскорбление и запальчиво ответил, что археологов не было, что он без археологов откопал и гобелен, и ковры, и бронзу, а когда потом поехали археологи, они не нашли ничего, хотя рыли по всем правилам науки, и стал кричать на вопрошателя, как на врага. Тут я увидел, какой у него темперамент. Потом повел меня и Гонзалу к себе, стал показывать книжки об этой экспедиции, угостил конфетами, которые дала ему на вокзале в Питере старообрядка, его помощница; он провел ее в профсоюз и платит ей 50 р. в месяц. Пока-

зывал он все торопливо, словно боялся, что его оборвут, и все о себе, о себе, но с прелестной наивностью, с темпераментом, говоря: «А мне аплодировали так хорошо!» — «Лучше, чем Мещерякову». — «Неужели лучше? Ах, как я рад. А как слушали женщины! Да, смотрели мне прямо в глаза!» Женщин он любит страстно. Говорит с ними, как старый ловелас. Смотрит сладкими глазами. И часто вместе с Гонзалем разговаривает на непристойные темы, цитирует (очень игриво) «Первую ночь»:

Вздрогнули ножки. Сперся дух
И на ее лебяжий пух... и т. д.*

Разговаривая с женщиной, гладит ее по руке, по плечу. Брови у него нависшие, голос звонкий, читает он стоя, по-военному, но опирается во время чтения на палку — и похож на английского полковника в отставке. Его специальность: очаровывать нужных ему людей. Без этого качества никакая экспедиция ему не удалась бы. Теперь он часто читает лекции в Москве, в Одессе, в Киеве.

11 октября. Козлов имеет в Новгородской губернии клочок земли и охотничий домик. Около недели назад он получил извещение, что в этом домике произвели обыск. Он послал протестующую телеграму своему покровителю Секретарю Совнаркома Горбунову и вчера получил телеграмму от его помощника, что будет произведено самое строгое расследование этого случая. Старик был не то что рад, а весь охвачен этой радостью — и требовал от нас таких же восторгов. Он хихикал за столом, жестикулировал, приговаривал: «Ну и влетит же этим прохвостам... мать их... из Кремля... Увидят они, как трогать Козлова... заслуженного путешественника...» Я пробовал заговаривать на другие темы... куда тебе! Только и полон своей телеграммой... прерывал меня и восклицал:

— Из Кремля! Шутка ли! уж теперь они почешутся там... Когда я в Сочи приехал, мне было из Кремля выслано 300 рублей на лечение и там распорядились, чтобы ко мне было особое внимание, и у меня на столе был букетик роз каждый день... а они: обыск.

И когда он говорит о себе, он говорит очень нежным голосом, как о ребенке.

Ночь на 12-ое октября. Не сплю. Очень взволновал меня нынешний вечер — «Вечер Сергея Городецкого». Ведь я знаком с этим человеком 22 года, и мне было больно видеть его банкротство. Он сегодня читал свою книжку «Грань» — и каждое стихотворение пронзало меня жалостью к нему. Встречаются отличные куски — но все в общем бессильно, бесстильно и, главное, убого. Чем боль-

ше он присягает новому строю, тем дальше он от него, тем чужее ему. Он нигде, неприкаянный. Стихи не зажигают. Они — хламны, непостроены, приблизительны. Иногда моветонны, как стихотворение «Достоевский», где Ф. М. Достоевскому противопоставляется пятилетка. Но т. к. Городецкий мой сверстник, так как в его стихах говорилось о Блоке, о Гумилеве, о Некрасове, о Пушкине, я разволновался и вот не могу заснуть. Я вышел в сад — звезды пышные, невероятные, тихая ночь, я полил себе голову из крана — и вот пишу эти строки, а все не могу успокоиться. Стихи Городецкого особенно не понравились Ромашову, который $^{1}/_{2}$ часа доказывал мне, что Городецкий — мертвец. Барышня (не знаю, как зовут) в очках, пожилая, бывшая курсистка — словесница — вынесла мне порицание, как я смел выпустить такого слабого поэта. Козлов по-репински фыркал: ему очень не понравились стихи «Достоевскому».

31/X. Ну вот, сегодня я уезжаю. Погода сказочная. За это время барышня «Одуванчик» — фельдшерица — отравила меня лекарством (дав неумеренную порцию опия), меня рвало, за мной ходила Софья Короленко, тяжеловесная, молчаливая, очень серьезная — и ненавидящая свое пуританство: «людей не надо жалеть», «я люблю только счастливых» и пр. Увлеклась очень Уотом Уитмэном. Последнее время я понял блаженство хождения по горам, привязался к Эльбрусу, ползаю на Солнышко, на Синие Камни, на Малое Седло и влюбился в каждую тропинку, которая лежит предо мною. Ванн принял только 12, болезнь помешала принять больше. Теперь я опять стал поправляться, хотя и не спал эту ночь: собаки разбудили.

Очень разочаровался в Козлове: влюблен в себя, в свой «подвиг», и боится, как бы кто не затмил его славы: если хвалят кого-нибудь другого, он ревнует как мальчишка, 24 часа в сутки кричит о своем Харахото, а сам невежда и бурбон, — пишет с ошибками, медоточиво ухаживает за сестрой-хозяйкой, чтоб дала ему лишнюю порцию сладкого, и распускает павлиний хвост перед каждой девицей. Человек очень злой, говорящий нежным кокетливо-ласковым голосом.

6 ноября. Подъезжаю к Питеру. Задержался в Москве (от 2 по 5-ое). Вчера читал две лекции. История с автомобилем. Сейчас снег и солнце, но по мере приближения к Питеру солнце закрывается тучами. Слякоть.

14 [апреля] вечер. Это страшный год — 30-й. Я хотел с января начать писание дневника, но не хотелось писать о несчастьях, все ждал счастливого дня, — и вот заболела Мура, сначала нога, потом глаз, — и вот моя мука с Колхозией, и вот запрещены мои детские книги, и вот бешеная волокита с Жактом — так и не выбралось счастливой минуты, а сейчас позвонила Тагер: Маяковский застрелился. Вот и дождался счастья. Один в квартире, хожу и плачу и говорю «Милый Владимир Владимирович», и мне вспоминается тот «Маякоуский», который был мне так близок — на одну секунду, но был, — который был влюблен в дочку Шехтеля (чеховского архитектора), ходил со мною к Полякову; которому я, как дурак, «покровительствовал»; который играл в крокет, как на биллиарде, с влюбленной в него Шурой Богданович; который добивался, чтобы Дорошевич позволил ему написать свой портрет и жил на мансарде высочайшего дома, и мы с ним ходили на крышу, и он влюбился в Марию Борисовну, и я ревновал, и выбегал, как дурак, с биноклем на пляж глядеть, где они прячутся в кустах, и как он влюбился в Лили, и приехал, привез мое пальто, и лечил зубы у доктора Доброго, и говорил Лили Брик «целую ваше боди и все в этом роде», и ходил на мои лекции в желтой кофте, и шел своим путем, плюя на нас, и вместо «милый Владимир Владимирович» я уже говорю, не замечая: «Берегите, сволочи, писателей», в последний раз он встретил меня в Столешниковом переулке, обнял за талию, ходил по переулку, как по коридору, позвал к себе — а потом не захотел (очевидно) со мной видеться — видно, под чьим-то влиянием: я позвонил, что не могу быть у него, он обещал назначить другое число и не назначил, и как я любил его стихи, чуя в них, в глубинах, за внешним, и глубины, и лирику, и вообще большую духовную жизнь... Боже мой, не будет мне счастья — не будет передышки на минуту, казалось, что он у меня еще впереди, что вот встретимся, поговорим, «возобновим», и я скажу ему, как он мне свят и почему — и мне кажется, что как писатель он уже все сказал, он был из тех, которые говорят в литерату-

ре ОГРОМНОЕ слово, но ОДНО, — и зачем такому великану было жить среди тех мелких «хозяйчиков», которые поперли вслед за ним — я в своих первых статьях о нем всегда чувствовал, что он трагичен, безумный, самоубийца по призванию, но я думал, что это — насквозь литература (как было у Кукольника, у Леонида Андреева) — и вот литература стала правдой: по-другому зазвучат его

Скажите сестрам Люде и Оле,
Что ей уже некуда деться*.

И вообще все его катастрофические стихи той эпохи — и стихи Есенину — о, перед смертью как ясно он видел все, что сейчас делается у его гроба, всю эту кутерьму, он знал, что будет говорить Ефим Зозуля, как будут покупать ему венки, он видел Лидина, Полонского, Шкловского, Брика — всех.

Позвонила Вера Георгиевна. Лили Брик, оказывается, за границей.

22/IV. Еду в трамвае. Вижу близорукими глазами фигурку, очень печальную — и по печальной походке узнаю, вернее, угадываю — Зощенко. Я соскочил с трамвая (у Бассейной), пошел к нему. Сложное, мутное, замученное выражение лица. Небритые щеки — усталые глаза. — «Плохо мне». — «Что такое?» — «С театром... столько неприятностей. Актеры ничего не понимают... Косой пол делают. (В голосе тоска)... Звали меня сегодня в Большой драматический, чтобы я почитал им своего «Товарища», я обещал, не спал из-за этого всю ночь и кончил тем, что по телефону отказался... Хотя они все собрались». Очень удручен. Я стал говорить ему, что он самый счастливый в СССР человек, что его любят и знают миллионы людей, что талант его дошел до необыкновенной зрелости, что не дальше чем сегодня я читал вслух его «Сирень» — и мы хохотали до слез. Это его приободрило, он пошел провожать меня в ГИЗ — и особенно обрадовался, когда я случайно по другому поводу сказал ему, что Гоголя тоже ругали — именуя его вещи «малороссийскими жартами». Давно я не видал его в такой мизантропии. Он говорит, что видеть никого не может, что Стенич ему надоел, но что без людей он тоже не может. Я сказал ему, чтобы он поехал в Сестрорецк и кончил бы там свою повесть «Мишель Тинягин»*, которую он сейчас пишет. Он с испугом: «Я там и дня без людей не проживу. Мелькают, мне легче». О Маяковском: Зощенко видел его после провала «Бани» в *Народном доме*. Маяковский был угрюм, растерян, подавлен. «Никогда его таким не видел. Я сказал ему: «Вы всегда такой победительный». Он

стал жаловаться на импотенцию (!), на горло — и сам был очень жалкий, потный (!)...»

Расставшись с Зощенко, я пошел в ГИЗ. Долго говорил с Камегуловым, который мне очень понравился. Простой, искренний, весь на ладони, молодой.

Вышла моя книга «Рассказы о Некрасове». Я не рад, о нет — напротив. Она пошатнет мою редактуру Некрасова. Чует мое сердце беду. В ГИЗе упорно говорили, что покончил с собой Осип Мандельштам.

В ГИЗе я встретил Мишу Слонимского — в «Звезде». «Звезда» приятна тем, что в ней еще сохранился какой-то богемный дух. Вис. Саянов не сидит на одном месте, за редакторским столом, а бегает по комнате, присаживаясь с каждым новым сотрудником на новое место, то на подоконник, то на край стола. Стульев вообще мало и сидеть на столах — обычай. Всегда есть три-четыре ненужных человека, поэты, которые тут же читают друг другу стишки. Пальто вешаются на ручки дверей, на телефонные штепсели. Во всех остальных комнатах ГИЗа — кладбищенский порядок, дисциплина мертвецкой, а здесь еще кусок литературной жизни. Слонимский рассказывал, что Зощенко весь свой советский язык почерпнул (кроме фронта) в коммунальной квартире Дома Искусств, где Слонимский и Зощенко остались жить, после того как Дом Искусств был ликвидирован. И вот он так впитал в себя этот язык, что никаким другим писать уже не может.

О Маяковском Слонимский вспомнил, как в декабре 20 года Гумилев нарочно устроил в одном из помещений Дома Искусств спиритический сеанс, чтобы ослабить интерес к Маяковскому.

7 мая. Про Муру. Мне даже дико писать эти строки: у Муры уже пропал левый глаз, а правый — едва ли спасется. Ножка ее, кажется, тоже погибла. Марья Бор. вчера сказала: теперь вся моя мечта: один глаз. Неделю тому назад она расхохоталась бы, если бы ей сказали о столь минимальном желании.

Я ночью читал «Письма» Пушкина — и мне в глаза лезло «*слепец* Козлов» и т. д. Взял Лермонтова — «*Слепец*, страданьем вдохновенный».

8.V. У меня жестокий насморк, горло болит, боюсь, не заразить бы Муру гриппом.

Как плачет М. Б. — раздирала на себе платье, хватала себя за волосы.

— Другой глаз в полном порядке, — говорит Н. И.

1930 **11 мая**. Позвонил Тынянов. «Как вы себя чувствуете? Дорогой мой! Завтра еду в Петергоф — на несколько дней — сейчас хочу к вам». Он пришел изможденный — и целый час посвятил Муре. Подробно вникая в ее болезнь и советуя, советуя, советуя, что делать. Какие ужасы были с ним самим. Оппель хотел вырезать ему надпочечные какие-то штуки: — когда он сказал об этом немецкому профессору, тот вскочил с места и завопил... Рассказывает свои дела: сейчас он идет, чтобы тот попытался через Белецкого снизить ему налог: шесть тысяч заплатить он не в силах. Он уверен, что кем-то указано не сбавлять ему, Тынянову, налога, во что я, признаться, не верю. К счастью, он продал в ГИЗ своего «Кюхлю» (новое изд.) по 225 р. за лист 5000 экз. — в качестве 1-го тома собрания своих сочинений — все эти деньги и пойдут фининспектору. Перед этим он обратился было к Ионову (месяца 4 назад). Ионов сказал: «Старая книга, издательству нужно бы что-нб. поновее... ну, так и быть, издам, 250 р. за лист, 10.000 экземпляров». — Это грабеж, но я согласился — чтобы заплатить фининспектору... Проходит месяц, два, три — от Ионова нет ответа — звоню Горлину, ответа нет. Вот каков Ионов!.. Еще яснее он показал себя в истории с пародиями. Дело в том, что год назад Леногиз навязал мне задачу сделать ему книгу пародий. Я сделал эту книгу, заплатив много денег моему помощнику Рейсеру. Но теперь, под влиянием новых течений, мне сообщают, что ГИЗ передал книгу «Пародий» — в «Academia». Отлично. Иду в «Academia» — получено письмо от Ионова: Тынянов хочет слишком дорого за предисловие (по поводу которого уже есть договор) — дать ему вместо 150 р. — 125 р.!!!

Я ответил, что дарю им предисловие — не беру ни копейки. Ионов поставил и второе условие: не 70 рублей за лист, а 40 (то есть меньше, чем Тынянов заплатил Рейсеру!!). На это я не согласился, и вот книга висит в воздухе*.

Рассказывал, как вызвали его в «скорую помощь», где лежал при смерти его племянник. Он вызвал к племяннику профессора, но главный врач не допустил профессора. Тынянов сказал: «Я настаиваю». — А вы где служите?

Тынянов. — Вот этого я вам и не скажу.

Врач. — Ну, тогда в виде исключения разрешаю.

Сейчас вторично позвонил Юрий Николаевич: он уже говорил с Форш, с Саяновым, с Груздевым.

12 мая. У меня был грипп. Я уехал и провалялся в Питере. Вчера полегчало, приехал к Муре. За это время у Муры были: Лотин, Медовиков, Меркулова, Вреден...

Вчера мы с Мурой сидели на воздухе — играли в шишки — и весь этот спорт заключался в том, что она, бедная, скорчившись на носилках, щурясь одним «здоровым» глазом, кидала шишки в коробочку, которая была от нее в двух шагах; — потом я заставил ее помахать 40 раз еловой веткой, чтобы согреть ее — у нее руки окоченели. Читал я ей Шерлока, — как нарочно, очень глупые приключения, в зверском переводе.

11 мая был у меня Тынянов — соблазнял заграницей, Горьким, новыми лекарствами, внутривенным вливанием. «Поезжайте с Мурой в Берлин! На станции Am Zoo вас, по моей просьбе, встретят Гуль и Совин [нрзб.] – и устроят Муру в санатории — и она поправится быстро, или в Алупку — там д-р Изергин, великолепный старый врач. Санатория его имени. У моей кузины был болен сын — 40,2°, запросили Изергина телеграммой — ответил: привозите — мальчик здоров. Санатория помещается в Алупке-Саре».

Тынянов взбудоражил Саянова, Ольгу Форш, Илью Груздева.

Копылов говорит, что у Муры нога заживает. «Если все пойдет хорошо, мы через две недели снимем гипс — и знатно прогреем твою ногу на солнышке».

21/V. Позвонил Вольпе. Хочет придти.

23/V. Копылов вторично ставил Муру на ноги.

Вчера вечером пришел Изя. Бледный, полумертвый. Провожал меня в трамвае № 23 к Кате. Уверен, что Лида любит его; хочет, чтобы отношения с Цезарем были прерваны. Говорил откровенно, но главного не объяснил, почему же Лида, любя его, выходит за Цезаря.

От Кати ехал с Цезарем в том же трамвае. Цезарь откровенен вполне. Напуган. Боится всего происшедшего. Показал мне телеграмму от Лиды. Она уже послала телеграмму родителям Вольпе, чтобы отрезать себе все пути отступления, чтобы положить конец «эпохе Изи», и Цезарь получил от них поздравление. Сейчас получил телеграмму от нее.

12, СОЧИ 428,17,22,12, ЛЕНИНГРАД КИРОЧНАЯ 7/6 ЧУКОВСКОМУ

УМОЛЯЮ ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ПОДРОБНО ЗДОРОВЬЕ МУРЫ БЕСПОКОИТ ОТСУТСТВИЕ ТЕЛЕГРАММЫ БОГДАНОВИЧ И НАЛИЧНЫХ ПИСЕМ ЛИДА

25/V. Мура вчера была в самом веселом настроении: я читал ей Шиллера «Вильгельм Телль», и ее насмешила ремарка: «барон,

умирающий в креслах». Читали мы еще «Конька-Горбунка» и начали «Дитя бурь».

28/V. Возвращался с Тыняновым от Ионова. Проводил его.

30/V. Изучаю народничество: читаю Юзова (Каблица), Михайловского, Эртеля и проч., и проч. Обложен со всех сторон «Отечественными записками» 70-х годов.

1/VI. С Лидой опять неладно: в нее влюблены три человека: И., Ц. и Д. Она же любит... Впрочем, об этом не стоит писать, а напишу-ка я лучше о том, что сейчас волнует меня больше всего (после болезни Муры). Я изучил народничество — исследовал скрупулезно писания Николая Успенского, Слепцова, Златовратского, Глеба Успенского — с одной точки: что предлагали эти люди мужику? Как хотели народники спасти свой любимый народ? Идиотскими, сантиментальными, гомеопатическими средствами. Им мерещилось, что до скончания века у мужика должна быть соха — только лакированная, — да изба — только с кирпичной трубой, и до скончания века мужик должен остаться мужиком — хоть и в плисовых шароварах. У Михайловского — прогресс заключается в том, чтобы все мы по своему духовному складу становились мужикоподобными. И когда вчитаешься во все это, изучишь от А до Z, только тогда увидишь, что *колхоз* – это единственное спасение России, единственное *разрешение* крестьянского вопроса в стране! Замечательно, что во всей народнической литературе ни одному даже самому мудрому из народников, даже Щедрину, даже Чернышевскому — ни на секунду не привиделся колхоз. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически — и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и все это благодаря колхозам. Некрасов — ошибался, когда писал:

...нужны не годы —
Нужны *столетья*, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба*.

Столетий не понадобилось. К 1950 году производительность колхозной деревни повысится вчетверо.

5/VI. С Лидой все в порядке. О Муре пишу отдельно — в другую тетрадку[1].

[1] Записи о болезни Муры сделаны в тетради «Дневник о Муре» и приводятся лишь выборочно.

Объяснение со Шкловским. Удивительно: он всегда в лицо говорит мне комплименты, называет меня лучшим критиком, восхищается моими статьями, а в печати ругает мерзейше, — щиплет мимоходом, презрительно. Я сказал ему об этом. Он объяснил: что он и тогда, и тогда искренен, — и так убедительны были его объяснения, что я поверил ему.

Вечером был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Сталиным как историк. В историческом аспекте Сталин как автор колхозов — величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи. Но пожалуйста, не говорите об этом никому. — Почему? — Да, знаете, столько прохвостов хвалят его теперь для самозащиты, что если мы слишком громко начнем восхвалять его, и нас причислят к той же бессовестной группе.

Вообще он очень предан Советской власти — но из какого-то чувства уважения к ней не хочет афишировать свою преданность.

Я говорил ему, провожая его, как я люблю произведения Ленина.

— Тише, — говорит он. — Неравно кто услышит!

И смеется.

Это мне понятно. Я очень люблю детей, но когда мне говорят: «Ах, вы так любите детей», — я говорю: «Нет, так себе, едва ли».

Начало июля. Числа не помню. Пришла в голову мысль: написать книгу под заглавием «Жизнь моя». Очевидно, это — наваждение старости. Вспоминаю такое, чего ни разу не вспоминал за все эти сорок лет. Тумбы у наших ворот. Гранитные. Я стою. Мне года четыре — а все вечером идут из парков, с бульваров с букетами. Я прошу у проходящих:

— Дайте бузочку!

Вдруг какая-то женщина говорит:

— Ах, какой красивый мальчик! Позволь я тебя поцелую!

— Дай три копейки! — говорю я.

Сам я этого эпизода не помню, но рассказывала Маланка.

Какая странная судьба у Маланки! Дворник соседнего дома Савелий — нелепое чучело — показал ей в какой-то шкатулке свои сторублевые облигации. Она поверила, что он богач, и вышла за него замуж. А вскоре оказалось, что это были не облигации, но... объявления о швейных машинах Зингера — такие же красивые и с цифрою сто.

История литературы не по мне. Черт меня дернул заниматься ею! Нельзя на пятом десятке *начать* заниматься историей. Никакое чтение, самое жадное, здесь не поможет!

1930 **Конец июля (19).** Разбирал письма о детях, которые идут ко мне со всего Союза. В год я получаю этих писем не меньше 500. Я стал какая-то «Всесоюзная мамаша», — что бы ни случилось с чьим-нибудь ребенком, сейчас же пишут мне об этом письмо. Дней 7—8 назад сижу я небритый в своей комнате — пыль, мусор, мне стыдно в зеркало на себя поглядеть — вдруг звонок, являются двое — подтянутые, чудесно одетые с очень культурными лицами — штурман подводной лодки и его товарищ Шевцов. Вытянулись в струнку, и один сказал с сильным украинским акцентом: «мы пришли вас поблагодарить за вашу книгу о детях: вот он не хотел жениться, но прочитал вашу книгу, женился и теперь у него родилася дочь». Тот ни слова не сказал, а только улыбался благодарно... А потом они отдали честь, щелкнули каблуками — и, хотя я приглашал их сесть — ушли. Сегодня два письма: как отучить мальчика двенадцати лет от онанизма, — и второе, не вредно ли трехлетнему ребенку заучивать столько стихов наизусть?

6 сентября. Мы в Севастополе. Ехали 3 ночи и 2 $^{1}/_{2}$ дня. В дороге Муре было очень неудобно. В купе — 5 человек, множество вещей, пыль, грязь, сквозняк. Она простудила спину, t° взлетела у нее до 39, она стала жаловаться на боль в *другой* ноге, у нее заболело колено больной ноги; мы в линейке повезли ее в гостиницу Курортного распределителя (улица Ленина). Окно, балкон, три кровати, диван — она, бедная, в страшном жару; чуть приехала, оказалось у нее почти 40. Отчего? Отчего? Не знаем. Кинулись в аптеку, заказать иодоформенные свечи — нет нужных для этого специй!!! Мура в полудремоте — лежит у балкона (погода пасмурная) и молчит. Изредка скажет: «Совсем ленинградский шум» (это очень верно, Севастополь шумит трамваями, авто — совсем как Питер). Ты куда, Пип? Бобочка незаменим: привез вещи, сбегал в аптеку, перенес все чемоданы, побежал на базар. У меня всю дорогу продолжался неликвидированный грипп.

7.IX. В Алупке. Ехали из Севастополя с невероятными трудностями. Накануне подрядили авто на 9 час. утра. Мура проснулась с ужасной болью. Температура (с утра!) 39°. Боль такая, что она плачет при малейшем сотрясении пола в гостинице. Как же ее везти?! Утром пошел в «Крым-шофер». Там того, кто обещал мне машину, не было, но был другой сукин сын, который заявил, что машин нет и не будет, и что никаких обещаний никто никому не давал. Когда я вернулся в № 11, где мы остановились, боль у Муры дошла до предела. Так болела у нее пятка, что она схватилась за

меня горячей рукой и требовала, чтобы я ей рассказывал или читал что-нб., чтобы она могла хоть на миг позабыться; я плел ей все, что приходило в голову, — о Житкове, о Юнгмейстере, о моем «телефоне для безошибочного писания диктовки». Она забывалась, иногда улыбалась даже, но стоило мне на минуту задуматься, она кричала: ну! ну! ну! — и ей казалось, что вся боль из-за моей остановки. Когда выяснилось, что автомобиля нет, мы решили вызвать немедленно хирурга (Матцаля?), чтобы снял Муре гипс — и дал бы ей возможность дождаться парохода. Я побежал к нему, написал ему записку, прося явиться, но в ту минуту, как мы расположились ждать хирурга, мне позвонил Аермарх, что он достал машину.

Машина хорошая, шофер (с золотыми зубами, рябоватый) внушает доверие, привязали сзади огромный наш сундук, уложили вещи. Боба вынес Муру на руках — и начался ее страдальческий путь. Мы трое сели рядом, ее голова у меня на руках, у Бобы — туловище, у М. Б. ее больная ножка. При каждой выбоине, при каждом камушке, при каждом повороте Мура кричала, замирая от боли, — и ее боль отзывалась в нас троих таким страданием, что теперь эта изумительно прекрасная дорога кажется мне самым отвратительным местом, в котором я когда-либо был. (И найдутся же идиоты, которые скажут мне: какой ты счастливец, что ты был у Байдарских ворот, — заметил впоследствии Боба.) Муре было так плохо, что она даже не глянула на море, когда оно открылось у Байдарских ворот (и для меня оно тоже сразу поблекло). Я старался указать ей виноградные гроздья на виноградниках — это ее нисколько не развлекло. Как мы считали по столбам, сколько километров осталось до Алупки. Вот 12, вот 11, вот 6, вот 2. Вот и Алупка-Сара — вниз, вниз, вниз — подъезжаем, впечатление изумительной роскоши, пальмы, море, белизна, чистота! Но... принял нас только канцелярист, «Изергин с депутацией», стали мы ждать Изергина, он распорядился (не глядя) Муру в изолятор (там ее сразу же обрили, вымыли в ванне), о как мучилась бедная М. Б. на пороге — мать, стоящая на пороге операционной, где терзают ее дитя, потом Изергин снял с нее шинку — и обнаружил, что у нее свищи с *двух сторон*. Т. к. нам угрожало остаться без крова, мы с Бобом, не снимая чемоданов — с сундуком — поехали на той же машине в гостиницу «Россия», где и сняли №.

11 сентября. Алупка. Вот и Боба уехал. Последним его изречением было: «Никто еще не доказал, что яйца надо есть непременно с солью». Он вообще полон таких непреложных принципов: «Север лучше юга», «Чай без сахару вкуснее, чем с сахаром»,

«Пользоваться трамваями нужно лишь в самых исключительных случаях».

Муре по-прежнему худо. Мы привезли ее 7-го к Изергину, и до сих пор температура у нее не спала. Лежит, бедная, безглазая, с обритой головой на сквозняке в пустой комнате и тоскует смертельной тоской. Вчера ей сделали три укола в рану. Изергин полагает, что ее рану дорогой загрязнили. Вчера она мне сказала, что все вышло так, как она и предсказывала в своем дневнике. Собираясь в Алупку, она шутя перечисляла ожидающие ее ужасы, я в шутку записал их, чтобы потом посмеяться над ними, — и вот теперь она говорит, что все эти ужасы осуществились. Это почти так, ибо мы посещаем ее контрабандой, духовной пищи у нее никакой, отношение к ней казарменное, вдобавок у нее болит и вторая нога. М. Б. страдает ужасно.

12.IX. Лежит сиротою, на сквозняке в большой комнате, с зеленым лицом, вся испуганная. Температура почти не снижается. Вчера в 5 час. 38,1. Ей делают по утрам по три укола в рану — чтобы выпустить гной, это так больно, что она при одном воспоминании меняется в лице и плачет. Комната ее выходит дверью на террасу, где лежат больные ребятишки, и она их всех ненавидит, так как они грубы, крикливы, бросают в нее картошкой, и ни один ничего не читал, ни один не знает ни «Кюхли», ни Диккенса.

Крым ей не нравится:

— Понастроили гор, а вот такой решетки построить не могут! — сказала она, получив от Лиды открытку с решеткой Летнего сада.

Аппетита нет. Ест насильно.

Воспитательниц в санатории 18. Все они живут впроголодь — получают так называемый «голодный паек». И естественно, они отсюда бегут. Вообще рабочих рук вдвое меньше, чем надо. Бедная Мура попала в самый развал санатории.

13 сентября. Вчера я был в колхозе, в татарской деревне Кикенеиз, на горе, в 12 км. от Алупки. Поехали мы из Бобровки: зубной врач Ванда Сигизмундовна Дыдзуль, д-р Константин Федорович Попов, кухонный мужик (или поваренок) Федя (член месткома Бобровки) и Тамара *в красной косынке,* педагогичка Бобровки. Бобровка дала нам линейку и лошадь, единственную лошадь, которая у нее осталась (2 автомобиля у них отняли). Назначено было выехать в 7 часов. Выехали в $^1/_2$ 10-го, т. к. лошадь не возвращалась с базара. Старик Изергин, видя, что я брожу неприкаянный, позвал меня к себе, напоил чаем. Тут подали линейку. Зубной врач Ванда, литвинка, оказалась и поэтессой и художни-

цей и тараторила без конца на тысячу разных тем. Она рассказала мне, как Тубинститут теснит Изергина. Построили в его костно-санатории целый корпус для *легочных* больных, в то время как давно уже признано, что легочных и костных совместно держать невозможно. Во время голода Изергин все же сохранил свой санаторий, сам ездил за провизией, и когда у него хотели ее реквизировать, говорил: возьмите вот это, это я везу для себя, а этого не троньте, это — для больных детей; во время землетрясения он спас всех детей от катастрофы, и вот теперь новые люди, не знают его работы, смеют говорить, что он корыстный человек, белогвардеец и проч. Это она выпаливала громко и бойко, нарочно донимая этим Попова, про которого сама же шепнула мне, что он-то и есть враг Изергина. Она против этих поездок в колхоз: «Отрывают нас от работы в санатории, здесь и так не хватает рук, лошадь нужна, чтоб возить больных ребят к морю, лучше бы колхоз завел у себя фельдшерский пункт и т. д. Эти приезды врачей и педагогов в подшефный колхоз вообще похожи на комедию, — говорила она. — Педагоги на глазах у татар воруют виноград, татары говорят: «Ай да шефы!» и проч. и проч.

Между тем мы забирались в горы все выше, дорога идет зигзагом, становилось прохладно, на вершинах облака, вот и Симеизская кошка (гора, сползающая к морю, как кошка), вот Монах, вон гора Диво, вон гора Верблюд, а мы ползем все выше, среди каменистых безлистных гор — подъехали в сельсовет, там только что переменился состав, новая секретарша, черноволосая татарка Бодурова (прошедшая в Симферополе 2-хнедельные курсы «по женактиву»), *смышленая, веселая девица*, поставила почему-то печать на моем корреспондентском билете и направила меня к бухгалтеру Антону Бобрищеву, блондину, интеллигенту, тоже очень толковому, который сообщил мне следующее:

Колхоз сконструировался 19 ноября 1929 года. Всех хозяйств вошло в него 106 (из них 58 бедняцких, 48 середняцких, батраков), 3 одиночки: учитель, избач, культурник. С кулаками борьба была жестокая, 10% всего населения — политзаключенные (часть из них, впрочем, возвращена, восстановлена в правах). Колхоз разработал много диких земель — и вот в общем теперь у него табаку 27 $^1/_2$ га, винограду 35 $^1/_2$ га, сад 15 $^1/_2$ га, огород 10 га; колхоз завел новую школу, антисейсмическую, оборудовал новую амбулаторию (где еще нет стационара), закрытую столовую — для школы, для очага, для колхозников.

С грустью отметил Бобрищев, что работа в колхозе вялая, что крестьянин для коммуны работает не так энергично, как работал он для себя, что колхозники сами себя обманывают, набирая вдвое больше талонов на обед, чем им нужно, — но тут же указал,

что понемногу эти недочеты исправляются. Особенно обидно колхозникам, что они продают кило винограду по 75 коп., а частник свез ночью тайком свой виноград и продал по 2 с полтиной, но теперь решено привлекать частников к судебной ответственности за нарушение твердых цен — и дело пойдет аккуратнее. Тракторов нет: спецкультуры. Также только теперь организованы детясли с 8 марта 1930 года.

Оттуда я пошел в школу. В школе зав — новый, но его помощник, лет 22-х, ярый большевик. Когда в 1924 году похерили арабский алфавит и стали вводить латинские буквы, старики татары так разъярились, что этому учителю пришлось бежать из деревни. В школе около 110 учеников, охвачены школой почти 100%; учитель этот Аладинов принимал большое участие в раскулачении Кикенеиза; и частенько ему приходилось сидеть в подвале, т. к. ему кулаки писали анонимные письма о том, что он будет убит. Получив три таких письма, он жаловался даже в ГПУ, и кажется, по почеркам установил личности писавших. Впрочем, он говорит таким ломаным языком, что трудно понять *весь* смысл его рассказов. Мулла тоже раскулачен теперь, работает на Урале. Просветительной работой здесь считается и борьба за оголение тела. Татары, находясь среди такой великолепной природы, оказывается, прячут свое тело от солнца; женщины обматывают бедра платками и летом и зимой носят юбки до пояса, [так в оригинале. — *Е. Ч.*] и учителям приходится проповедовать трусики, как знамя культуры. Уходя с детьми в экскурсию, подальше от родителей, татарский педагог заставляет детей по возможности тайком обнажиться...

Надвинулись тучи, по горам заклубился туман, стало гриппозно, ангинно, и мы погнали нашу клячу вниз — и через 2 часа были в Бобровке. Мурочка плачет от боли в *обеих* ногах. Мне больно видеть ее в таком ужасно угнетенном состоянии. Я пробую ее развлечь, но меня гонят — и мы с М. Б. едем в Алупку, тоскуя.

14 сентября. Уже западная часть Алупки покрылась вишневым цветом, и сверкает какое-то стеклышко от невидимого мне (на балконе) восходящего солнца. Синева неба стеклянная, и не верится, чтобы в этих торжественно белых домах, под кипарисами, в этот рассветный час, жили бы те тупомордые, хамоватые, бездарные люди, которые заполняют пляжи и столовые. Какое счастье идти по берегу в Симеиз — вдыхать запах теплого терпкого моря, как мила здесь каждая тропа под ногой.

Вчера Муре было лучше: утром 36,9, вечером 37,3. Она повеселела чуть-чуть. Но Леонид Николаевич (доктор ее корпуса) предполагает, что она больна нефритом: у нее и спина болит, и

моча подозрительная. Кроме того, на голове у нее делается какой-то нарост, а вторая нога продолжает болеть. **1930**

17 сентября. Мы тратим в гостинице безумные деньги и через 2 месяца станем банкротами. Поэтому я решил поселиться в санатории, а для этого надо было обратиться в Курупр, который находится в Ялте. Решили с М. Б. отправиться в Ялту. Дорога зеркальная, шофер — артист, подхватили в Кореизе девочку-татарку и помчались мимо Гаспры, мимо Ливадии — в Ялту. М. Б. была в Ялте 27 лет назад, когда Федоров целовал ее ноги, а Панебратцев охранял ее сон, и ее страшно волнует возвращение былого. Ялта мне показалась отвратной. Пошлые домишки, мелкие людишки, архитектура ничтожная, набережная надоедает в первый же миг. Все в архитектуре дробно, суетливо, лживо, нелепо — вроде тех ракушечных коробок, которые изготовляет здесь «артель ракушечников». Все это, должно быть, выкупалось обилием плодов земных, груш, винограду, яблок, но теперешний рынок — сплошная мизерня, сидят торговки с двумя помидорами и ждут, когда их прогонят. Мы купили колбасы, 2 кило винограду — и пошли в культурную чайную. Тут, на горе, я встретил Симона Дрейдена, и он увлек меня купаться, вследствие чего мы разминулись с М. Б., которая пошла в парикмахерскую. Купаться на грязном пляже было весело, так как волна выше моего роста колотит кулаками и сбивает с ног.

19 сентября. Вчера Мурочка показалась мне бледнее обычного. Заметно, что левый глаз меньше правого (значит, асимметрия головы обеспечена); лечащий врач Леонид Николаевич Добролюбов сказал мне мимоходом (как о постороннем предмете, не могущем меня волновать), что у Муры, кажется, туберкулез почек, что он послал в лабораторию ее мочу — поискать там коховских палочек — и что, если будет нужно, они вырежут ей пораженную почку (и вообще «причинят ей целый ряд неприятностей») — и все это опять придавило меня.

Сейчас еду в Симеиз просить Копылова, чтобы посмотрел больную руку Изергина. Ночью прибой был громовый, а деревья стояли, не шелохнувшись: мертвая зыбь.

21/IX. Вчера я видел странное заседание, которое было лежанием. Даже председатель лежал с колокольчиком, причем он был крепко привязан к кровати, а к подбородку был прикреплен довольно тяжелый мешочек.

1930 Когда я вошел, заседание было в разгаре: итак, мы объявили соревнование со старшими на лучшую молчанку, на лучшую еду, на лучшее лежание. Такие-то и такие объявили себя ударниками и подписали бумагу: «Мы обязуемся спать за молчанкой, не жвачничать, не кричать, не портить вещи и книги, говорить правду, хорошо лежать».

Лежат под тентом на деревянных кроватках около полусотни детей — у них перед глазами теплое, доброе море, а за спиною Ай-Петри. Они горбаты, безноги, они по четыре года лежат привязанные к перилам кровати, у многих ноги в гипсе, у многих весь корпус, лежат — и не плачут, не скулят от тоски, а смеются во весь рот, читают, играют в мяч — и вот митингуют.

Ляля, соседка Муры, самая печальная девочка во всем павильоне. Она, говорят, обреченная и, кажется, знает это. Глаза у нее большие, с узким разрезом, прекрасные. Мура любит ее горячо — потому что может ее жалеть. Вчера мы предложили перевести Муру в другой павильон, она не захотела, так уже привязалась к Марине и Ляле.

24 сентября. Я расспрашивал Изергина о его прошлом. Он охотно изложил свою историю. Приехал он в санаторий 1 марта 1906 года. Были только два корпуса — теперешний корпус Крупской, да Семашко № 1 — и часть Изергинского. Все постройки были созданы на деньги богатых благотворителей-москвичей. Всех детей было 50. Проф. Бобров к тому времени умер (1904). Учреждение было благотворительное.

При Изергине были построены Семашко № 2, расширен Изергинский корпус, оборудована новая кухня, морская веранда (в 1913 году). В 1927 году, тотчас же после землетрясения, начат постройкой корпус «Х-летие Октября» — антисейсмический. Из фанеры, без печей. Максимум наполнения теперь 340 детей. В прошлом году 280. До революции было 160 человек. В первое время после революции 46. Санатория не закрывалась ни на один час. Изергина переводили в Евпаторию, в Славянск — он оставался верен своей Алупке. В голодные годы не голодали — он обеспечил санаторию мылом, сахаром, маслом, какао, сгущенным американским мясным бульоном. 2 года было очень тяжело. Потом пришел на выручку Курупр. Солдаты с фронта присылали ему деньги: «Мы узнали, что вам худо живется, посылаем вам 100 рублей». Еще до войны он отдал на свою санаторию 120 тысяч золотом собственных денег. Пока ходили царские деньги, отдавал свои. Севастопольский Совдеп прислал в санаторию своего представителя и 1000 р. керенок. Ни дети, ни сотрудники не голодали. Конечно все это можно было пережить только благодаря кадрам

преданных делу сотрудников. Конечно, когда времена изменились, эти самые сотрудники объявили, что Изергин вор, протекционист, контрабандист и проч. Одна жена офицера, которую Изергин легализировал, устроив в своей санатории в качестве няни, провел через союз — и тем спас от голодной смерти,— объявила на чистке, что он враг советской власти и пр.

27/IX. Прошла гроза. Воздух ясен. Алупка словно умытая. Вчера был у детей в Симеизе. Восторг. Обнимали меня, угостили, надарили мне открыток. И требовали сказок. Еще, еще! Мурочки не видал: удушила корректура Николая Успенского.

В Костной — чистка. Причем за Изергина взялись вплотную: «почему он не любит советскую власть?!» «Почему он вставил портреты вождей в те же рамы, где были портреты царей, причем царские портреты не были вынуты из рам, а только прикрыты папиросной бумагой?» Последний поступок действительно дик. На днях я беседовал с ним. Он показался мне стопроцентным советским работником — хотя, конечно, на политические темы мы не разговаривали. Рассказывал историю Санатории.

Во время землетрясения санаторий почти не пострадал, обвалилась штукатурка в палате, где было 20 с лишком детей. И только благодаря тому, что кровати были далеко от стены, штукатурка упала мимо кроватей. Педагогический персонал вел себя с большой находчивостью. Боткина-Зеленская, напр., когда ходячие дети в павильоне Крупской («Крупчата») в панике завизжали от ужаса, увидев шатающиеся трубы на крыше, сказала: «Смотрите, как интересно! Трубы хотят спрыгнуть с крыш...» (Эту Зеленскую потом вычистили, забыв, что она племянница Сергея Боткина и Василия Боткина). Бобров хотел устроить «ванну среди моря», то есть у берега сделать два углубления, но буря эту ванну засыпала; Изергин сделал водокачку и морской бассейн в $4\,{}^{1}/_{2}$ тысяч ведер. Ставка Изергина на чистый воздух. «Мы пропагандируем новый тип построек и лечение на свежем воздухе всех типов туберкулеза — и в этом отношении имеем последователей.. и Евпатория, и Геленджик, и даже Н. Новгород воспользовались нашим примером. Ни сквозняков, ни простуд мы не знаем. Персонал зябнет, дети — никогда. Ни рентгеновских пластинок нет теперь, ни иностранной литературы. До 1915 года получали. Прежде я хотел устроить на близлежащих камнях поплавок и лифт, но война помешала. Я не пришел в санаторий с готовыми идеями. — Напротив я был невежественным человеком из Московского губернского земства. Резал направо и налево, ортопедией не занимался. Перед приездом сюда побыл у Турнера — и только. До всего доходил

своим умом и потом узнавал, что все это современно. Проф. Бобров надеялся на операции; но надежды его не оправдались. Потом он убедился, что консервативный способ самый лучший».

30. IX. Третьего дня утром мы с М. Б. поехали пароходиком к Ценскому, которого не видели 17 лет. К сожалению, у нее началась в дороге морская болезнь, и она в Ялте вышла, а я поехал дальше. В Ялте мы посетили Ванду Станиславовну, которая в чепчике, в постели, и возле нее Мих. Чехов, 66-летний старик, которого я сразу почему-то невзлюбил, — за то, что он загримирован Антоном. Похож до противности — и тем сильнее подчеркнута разница. Он рассказал, что начальство требует, чтобы сняли из комнаты Антона Павловича икону, а между тем икона вошла в инвентарь... и т. д. Сказал, что скоро умрет. Что в «Academia» его воспоминания.

«Заря» или «Зарница» — катер новый, пущенный лишь в прошлом году теплоход. Перед нами потянулись «Партениты», «Кучук Ламбары», «Гурзуфы» — однообразный разнообразный пейзаж, пляжи, усеянные медно-красными телами, скалы в море, аллеи кипарисов. Толпа ахает по всякому поводу, жадно, по-молодому впивает впечатления, а я почему-то по-стариковски равнодушен к новизне. Даже не пересел, чтобы увидать Чатырдаг и Алушту. Гора Касталь... Алушта великолепно описана Ценским в «Вале». Жидкий парк. Грязноватый пляж. Казенное белое здание на берегу в стиле Александра III — будто ленинградское. «Извозчик, к Ценскому!» — «5 рублей!» Встретились две гречанки — швея и подавальщица в столовой. Жизнерадостные, повели меня к Ценскому горной тропой влево, вверх — такие же добрые, как вся эта мягкая и добрая местность. Особенно очаровал меня вид хребта, который идет к Судаку, — пологий, голубой. Где же Ценский? За Манюшкинской дачей. — Только вы не боитесь к нему идти? — спрашивали гречанки. — Он никого к себе не пускает. — Почему? — Он какой-то странный. — Мы его жену знаем, а его даже боимся немного. — Ценский старше меня на 4 года, но кажется лет на 10 моложе. Очень стал похож на Макдональда. Стиснул меня в объятиях — мускулистыми, очень крепкими руками. Голос тот же: бас — с хохотком. Убранство дачи совсем не такое, как я ожидал. Мне чудилось, что он живет дикарем, в трущобе, в берлоге, оказались 4 очень чистые комнаты, уставленные всевозможною чинною и даже чопорною мебелью. Есть у него даже дубовый буфет — староанглийский — с фигурками из Библии. На стене плохонькие картинки, крошечный «Лаокоон», но есть пейзаж Анисфельда и Нарбута рисунок по поводу «Бабаева»: «У него было ли-

цо как улица». Расспросив меня о Муре, о Коле, Ценский стал говорить о себе. Очень, очень доволен своим положением. Думаю, что во всем СССР нет человека счастливее его. Абсолютно независим. Богат. Занимается любимым искусством. Окружен великолепной природой. Его жена Христина Михайловна, чуть ли не рижская немка, избавила его от всяких сношений с внешним миром, столь для него тягостных. Как потом я убедился, у него в особом сарайчике есть поросята, есть корова, есть множество кур, три собаки — словом, сытость и комфорт до предела. — Вы не дурак, оказывается, — сказал я ему. — Забаррикадировались от всей современности. — «О! — закричал он (он часто кричит басом, могучей грудью) — я все это предвидел, все предсказал еще в 905 году. Я видел, куда это идет! — и все надо мною смеялись, когда я завел себе это гнездо!» Он вообще любит в разговоре выхвалять себя, свои произведения, свои поступки, цитировать свои былые разговоры, в которых он оказался пророком или кого-нибудь срезал. «А я ему говорю» — и тут он приводит сказанное им лет 25 назад — эффектное победоносное слово. Вообще он говорит как триумфатор. «А я говорю (какому-то московскому заву) — скажите ему, что он еще под стол не ходил, когда Ценский был уже знаменитым писателем». О Куприне: Куприн, который всегда придирался к нему и завидовал ему, спросил его, что он думает о «Яме». Ценский «Яму» выругал. «Значит, вы думаете, что вы пишете лучше меня?» — «Еще бы!» — ответил ему я. «Но почему же меня читают сотни тысяч, а у вас почти нет читателей?» — «А вот почему: вообразите виртуоза, великого музыканта, он приезжает в провинцию, где хороших меломанов всего только 100 человек, играет он вдохновенно, но на его концерт придут только 100 человек. И представьте себе дальше, что в том городе (тут он повысил голос) есть шарманщик, пошлый шарманщик, который играет (тут он спел гнусавую мелодию), и вот этого шарманщика провожает большая толпа, изо всех окон его слушают кухарки и лакеи, и только на самом верхнем этаже открывается форточка, оттуда высовывается рука студента, который бросает шарманщику пятак (последний пятак, припасенный на покупку булки) и кричит: «Возьми деньги и сейчас же уходи»,

Ценский чудесно рассказал, как Куприн взял при этом за горлышко бутылку горькой, а он, Ценский, бутылку шампанского: так и стояли они друг против друга в выжидательных позах. Их розняли Скиталец и другие, и Куприн ушел на балкон. Когда Ценский глянул к нему, оказалось, что Куприн — плачет.

Рассказывал, как у него хотели отнять мандат на право владения коровой — и как он утер им всем носы. Они все в кольцах, в шубах, он в рваном плаще пришел к ним. Один из них: «Почему

вам выдали этот мандат?» Ценский: не почему, а для чего. Видите ли, я, как и лес, представляю собою некую государственную ценность, и меня, как лес, решено охранять. Для этого и дан мне мандат. Против бандитов и диких волков мандат недействителен: когда меня хочет растерзать волк, дико представлять ему мандат, но вы не звери, не бандиты, вы обязаны повиноваться государственным требованиям и для вас этот мандат обязателен. И т. д. и т.д. И благодаря таким темпераментным и находчивым ответам корова была оставлена за Ценским. «Меня здесь даже святым прозвали, ей-богу. Я ведь действительно очень добрый. Никому ни в чем не отказываю. А может быть, это потому, что я вырыл колодезь». И он повел меня по горам, на табачные плантации, небольшой участок, который до революции принадлежал ему, и там ничем не огороженный выложенный бетоном — глубокий колодезь, куда может упасть всякий прохожий. «Этот колодезь устроил я. Около тысячи рублей заплатил. Никто не верил, что здесь может быть вода, но я...»

Из моих записей может показаться, что я обвиняю его в хлестаковстве. Но все его рассказы так живописны, тон такой искренний и по-детски запальчивый, почти всегда все мое сочувствие было на его стороне. По поводу его «Лермонтова» было несколько ругательных рецензий — и как он ненавидит рецензентов: *Софью* Гинзбург он называет *Сурой*, а Николая Лернера — Натаном. (Впрочем, когда я сказал ему, что тоже считаю эту вещь неудачной, он почти согласился со мною, но тех ненавидит до кровомщения.)

Показывал последние переводы своих рассказов. Какая-то Труханова перевела один его рассказ на французский язык («Cahiers de la Russie nouvelle»[1]) и в «Outlook»[2] его рассказ переведен John'ом Cournoss'ом.

Да, забыл сказать, что на стене у него висят Толстой, которого он не любит, и Репин, уже дряхленький рамоли — но милый, улыбающийся — с нежною надписью...

Долго рассказывал Ценский, как в Симферополе он остановил еврейский погром, если не остановил, то — все же выступил на защиту евреев, с опасностью для собственной жизни. Как его обвинили в том, что он, офицер, смеет обвинять военную власть в пособничестве погромщикам, и как он срезал своего полковника, который в конце концов предложил ему, прапорщику, стул. Очень живописно, с большим изобилием подробностей изобразил он погром в Симферополе — как 67 офицеров отвернулись от

[1] «Альманах новой России» *(франц.)*.
[2] «Обозрение» *(англ.)*.

него, от Ценского, он один стоял против 67. В его рассказах всегда выходит так, что он один стоит против 67.

Бранит Бабеля. «Что это за знаменитый писатель? Его произвели чуть не в Толстые, один Воронский написал о нем десятки статей, а он написал всего 8 листов за всю свою жизнь!» Я протестовал, но он стоял на своем: «ни Бабель, ни Олеша не могут быть большими писателями: почему они пишут так мало. Бабель напишет рассказ и сам же его в кино переклеивает. А Олеша — Горький не мог досмотреть его «Зависть». Мы были с ним вместе, он посмотрел один акт и сказал: ну, я пойду».

Мне понятно в Ценском такое презрение к малопишущим. Сам он пишет легко и безоглядно, в нем неиссякаемый фонтан творческий. Его стихи хоть и безвкусны, наивны, провинциальны — но «фонтанны»: они хлынули из него сразу и не стоили ему никакого труда. Прозу он пишет почти без помарок.

К истории с коровой: ему сказали:

— Можете идти. Вы свободны.

Он: — Я-то знаю, что я свободен, я был и буду свободен, а вот свободна ли корова?

Стихи свои он хотел прочитать мне на холме — перед горою Кастель, Чатырдагом и морем. И сказал: прежде чем я прочту вам стихи, вглядитесь в этот пейзаж: они — о нем. Я стал вглядываться. Но вдруг внизу, далеко, показались две фигуры, женские, которые минут через 20 могли бы подняться к нам. Он зашептал: «нет, я не буду читать! Идем скорее! Люди!» — и кинулся домой.

Человекобоязнь. Он несколько раз излагал, как пришли к нему такие-то или такие-то люди — «и я их, конечно, выгнал». Но тут же я узнавал о его огромной доброте — о том, сколько он раздавал молока, сколько он давал денег — а в конце убедился и в том, как он добр по отношению ко мне: когда я уезжал, его жена положила мне в корзину кулич, подарила мне фунта 4 миндалю (с собственного дерева), он подарил мне книги («Валю» и «Печаль полей») — и корзину для купленного мною винограда (за виноградом ходили мы вместе. Он, вопреки своим правилам, спустился вниз в Алушту, к татарам). И вообще доброта, простодушие, жалость ко мне (из-за Муры) все время сказывалась в его речах. Утром он и она пошли провожать меня на катер. Я спустился вниз — и вдруг на полдороге вспомнил, что забыл корзину с виноградом. Она побежала вверх, в гору, чтобы достать виноград, чтобы не опоздать. Я ушел очень обласканный и сильно злюсь на себя, что у меня написалось теперь столько злого.

Ценский человек замечательный: гордый, непреклонный, человек сильной воли, свободолюбивый, правдивый. Если он пере-

оценивает себя, то отнюдь не из мелкого эгоизма: нет, для него высокое мнение о себе есть потребность всей его жизни, всего его творчества. Без этой иллюзии о собственном колоссальном величии он не мог бы жить, не мог бы писать. Ни одной йоты гейневского или некрасовского презрения к себе в нем нет, он не вынес бы такого презрения.

10/X. Был у Муры третьего дня. Я теперь живу в Гаспре в одной из башен и пишу о Слепцове. Здесь очень уютно писать, днем я почти не покидаю комнаты и даже радуюсь, что мое окно выходит не на море, не на горы, а в густой сад, почти не пропускающий солнца. Ученые меня не слишком радуют здешние: напр., когда умер Репин, разговоры здесь были такие:

— Все консервы да консервы — надоело!

— У меня ноют мозоли — к дождю!

— Ах, какую я нашла гадалку — замечательную!

Играют в карты, юноши с девами уходят на башню, где кровать, и тишина, и луна — и есть два гомосексуалиста, — и одна красавица, — и чемпион тенниса, — и один спортсмен, и две старухи, и два десятка плюгавых безличностей — как везде, как во всяком курорте, — и тихая моя комната, где лампа, стол, кресло, шкапы — и больше ничего. Чтобы повидаться с Мурой, я прошел 17 верст. Туда 8 $^{1}/_{2}$ и обратно. Мура занимается арифметикой. Сколько нужно прибавить к 64, чтобы стало 100. Это задача для всех детей.

Просит принести Жюль Верна. Узнала, что у кого-то из детей есть улитка. — Достань мне улитку, я посажу ее на диванчик!

Я достал ей 8 улиток — и раздал около десятка другим детям. Потом нарвал для улиток дубовых листьев — и каждому дал по листу. Мура со смехом рассказывает, что Марина спросила ее:

— Твой папа написал «Конька Горбунка»?

— Нет, не мой папа. Ершов!

— А Пушкина твой папа написал?

До чего не развиты здешние дети! Меня познакомили с поэтом Никитиным, который не знает ритмов. Я решил показать ему ямбы, хореи и проч. И что же! Оказалось, что он не знает, что такое *ударение*. Пишет стихи, но не может понять, на каком слоге стоит ударение.

Лялю от нее увезли. Стала собирать открытки. Сегодня швейцар из гостиницы «Россия» говорил со мною: «что за мерзавец Горький! был против советской России, а когда ему заплатили, стал хвалить ее!» и пр. Я сказал, что это неверно. Швейцар думал, что я белый, но когда заметил ошибку, сразу переменился и, даже не переменив интонации, стал утверждать противоположное тому, что говорил сейчас.

1 ноября. Я был у нее после большого перерыва. Уже издали я услышал слова Анны Евграфовны: **1930**

Но ощетинился народ
Штыками острыми винтовок!

Это детей подготовляют к Октябрьским торжествам. Очень понравилось детям, что мы должны догнать и перегнать буржуазные страны.

— И догнали уже? — спросил Никитин.

— Нет еще! не догнали! — признала Анна Евграфовна. — Жалко.

Приготовлениями к Октябрьским торжествам Мура увлечена очень:

По их почину целый мир
Охвачен пламенем пожара, —

твердит со всей санаторией, но спрашивает меня: «Что такое почин?» Ее остригли.

Сидел в гостях у Изергина. Он угостил меня пирогами, киселем. Погода июньская, ясная, теплая. Вчера меня так и тянуло искупаться. Мы переехали на частную квартиру. Ревут пароходики, бегают мимо балкона авто. Рядом, неподалеку доктор Иванов. Вчера он рассказывал нам свою жизнь. Жизнь поразительная. Он окончил духовную семинарию и духовную академию с отличием и уехал в Томск учиться медицине, ибо только в Томске, в Варшаве и Юрьеве можно было семинаристам поступать в университет. Денег у него было 51 рубль. Он 50 внес за лекции, и на жизнь у него остался 1 рубль. Что тут делать? Он поступил в церковный хор певчим. «Удивляюсь, как не подох: ведь слякоть, мокрый снег, ветер, а я иду в летнем пальтишке за гробом и пою или в 50-градусный сибирский мороз. Так я пением и добывал себе средства до самого конца медицинского курса». Потом война. На войне его ранили — он участвовал в Мазурских боях, рукопашных, когда из 2000 человек уцелели только 200, «это была такая мясорубка, ведь сибиряки дюжий народ, молодцы, рвались в бой, цвет Сибири, — и всех, всех искромсало, я потом когда в бреду увижу то, что видал там наяву, просто холодею от ужаса». Был ранен, рана загноилась, целый год был между жизнью и смертью и приехал сюда. Голос у него задушевный, чудесный человек. Третьего дня мы провели вечер с Ив. Ив. Гливенко. Он был школьным товарищем Рейснера и много рассказывал о нем злого.

2 ноября. Был вчера у Муры. Погода теплая. Она — как и все дети — не была покрыта простыней. Свободно маневрирует боль-

ной ногой; процесс в ноге несомненно затих. Я принес ей опять альбом марок. Она наклеила все польские марки, а дубликаты раздарила детям. Писала сочинение «о рабочих и крестьянах» и о «положении рабочих при царе».

Готовятся к Октябрьским торжествам. Украинец *Ваня Коваленко* готовит транспарант — вырезывает из бумаги буквы:

Всегда вперед,
Плечо к плечу,
Идем на смену
Ильичу.

Он «из деревни Михайловки Каменского района». Пишет он так: «Рабочие при царе работали целимы днямы и ночамы, а жили в тьомных подвалах; им не хватало на прожитья, а семы було много... Так казнили рабочих за ихну работу».

Развитие детей: жираф — это журавль? Жираф и кенгуру одно и то же? Зарубежный — кого зарубили?

Я принес Муре улитку. Когда она вполне насладилась ею, я отнес ее в садик. — Что ты делаешь! ведь улитки истребляют цветы и растения. Скажут, что твоя улитка съела все цветы.

Работы много, много сил
Они истратили недаром.
По их почину целый мир
Охвачен заревом пожаров.

7 ноября. Октябрьская годовщина. Солнце жжет вовсю. Ни облака. Море сверкает. Вчера луна: мы с М. Б. ходили в парк, по дороге к Мисхору, мимо замка Воронцова-Дашкова, — теплая, летняя, лунная ночь. Во всех официальных учреждениях электрические лампочки обтянуты красной бумагой — так что вся главная улица залита бледно-розовым светом. «Крымшофер» розовый, «Россия» гостиница розовая, «Крымкурсо» розовое, а на Воронцовском дворце красная скромная электрозвезда.

Пишу об Изергинском санатории. Тон фальшивый, приподнятый. Собираюсь в Питер.

19 ноября. В Москве с 15-го. Видел: Ефима Зозулю, Воронского, Кольцова, Шкловского, Ашукина, Розинера, Черняка, трех «мальчиков» Шкловского (Тренина, Гриця и Николая Ивановича) и Пастернака. Вчера в «Зифе» у Черняка. Зашел поговорить о Панаевой. Вдруг кто-то кидается на меня и звонко целует. Кто-то брызжущий какими-то силами, словно в нем тысяча сжатых пружин. Пастернак. «Какой вы молодой, — говорит, — вы одних лет с

Колей. Любите музыку? Приходите ко мне. Я вам пришлю Спекторского — вам первому — ведь вы подарили мне Ломоносову. Что за чудесный человек. Я ее не видел, но жена говорит...»

Оказывается, лет пять назад я рекомендовал Пастернака Ломоносовой, когда еще муж ее не был объявлен мошенником. И вот за это он так фонтанно, водопадно благодарит меня*. Сегодня буду у него. Вчера вечером был у Шкловского. — «В пятой роте в домике низком». Александровский пер. — в Марьиной роще. Домики маленькие, воздух чистый, василеостровский. Вход очень неопрятный, но внутри чистота и налаженный, веселый порядок. Вещи уложены, как в хорошем чемодане. Одна комнатка, где очень в тесноте, но тоже как-то изящно, не хламно — спят трое детей — Василиса, Варвара, Никита.

Шкловский — в нем что-то есть тяжеловесное, словно весь он налит чугуном и походка у него монумента — показывает свои книги, лежащие в преувеличенном порядке в чемоданной комнатке, с которой он сросся. Вот «Российская Вифлиотика», Плюшар, вот Вельтман — книг около аршина у Вельтмана — Зотов, Александр Орлов, – и т. д. Жена его больна, угощала свояченица: мясо, конфеты, мед. Звонок: Илья Груздев. Хотя Груздеву лет 32, но он уже грузен и, как 48-летний, любит поговорить о политике. Будет ли война? Правый уклон, левый уклон, кто победит и т. д.

Шкловский: Я в случае войны увезу семью в дешевый город, где еще нет никаких следов пятилетки.

Город стоит 2 тысячи, а бомба 8 тысяч, не станут тратить таких денег на такую дешевку.

Потом стали говорить, сколько панических слухов теперь ходят в обывательской среде. Мне на днях сказали, что расстрелян NN. Прихожу в Дом Герцена, а он там сидит и чай пьет.

— «Тише, он еще не знает!» — сказал я.

Груздев солидно уверял, будто Запад не хочет воевать с нами, я сказал, что войны не будет, но тут Шкловский вспомнил, что накануне империалистической войны я тоже уверенно говорил: «войны ни за что не будет», и он, Шкловский, тогда мне верил. Говорили, будто художник Галлен — теперь фашист. «А ведь был друг Горького». Я напомнил, что Галлен всегда был финский националист, ибо вспомнил его картины о Вайнемейнене. «А Вайнемейнен хорошо если конституционалист-демократ», — сказал Шкловский.

О приближающемся суде над вредителями. Из рабочих выходят превосходные судьи. Тут в Москве есть судьиха, такая-то. Перед нею канителилась какая-то баба, что она будто бы замучена

абортами. Тогда судьиха: «Суд сам себе делал аборт» (называя себя судом). Я рассказал о замечательном судье Шарше — в Питере.

Илья Груздев забеспокоился о том, что у нас отнимут авторское право.

— Нет, — сказал Шкловский. — Оказывается, что Маркс был за авторское право.

На столе у него в библиотеке среди книг XVIII века «Капитал» Маркса, видимо, усердно читаемый.

Все время Шкловский через каждые пять минут напевает:

Не могу того таити...

Заговорили о Воронском. «Его сослали в классиков». А Каменеву разрешили редактировать «Женитьбу». «Ревизора» ему уже не доверяют.

Видно, что он повторяет сказанные им остроты наиболее удачные в разных местах, и иногда его речь, если его не перебивают, производит впечатление великолепного фельетона — от изюминки к изюминке — все изюм, но в нем есть человечность, какие-то теплые подземные токи, и я ушел, как обласканный.

Сейчас бегу к д-ру Савельеву, у которого рукописи Некрасова.

Доктор Савельев, толстый, малокультурный, гостеприимный, был во власти иллюзии, что я пришел не столько за рукописью, сколько вообще восхищаться его коллекцией книг и рисунков. Он даже пустил в ход такой прием: «Вот не знаю, куда девалась тетрадка Некрасова... не это ли она? Нет, это Тургенева «Нахлебник»... Вот, кстати, посмотрите «Нахлебника»... Мне всегда почему-то казалось, что в «Нахлебнике» Тургенев вывел себя... Ведь m-me Виардо...», и т. д.

2 декабря. Я уже 12 дней в Питере и все время бегал по госучреждениям, устраивал денежные и всякие другие дела. Со вчерашнего дня взялся за литературу — и первым делом побежал к Маклаковой Лидии Филипповне, 79-летней старухе, бывшей жене Слепцова. О ней я узнал случайно от одного профессора в Гаспре, который мимоходом сказал:

— Вы занимаетесь Слепцовым, а знаете ли вы Лидию Филипповну?

— Лидию Филипповну? Ту, что в 1875 г...

— Да, ту самую.

— А разве она жива...

— Еще бы... Жива, в Москве... очень славная женщина.

Я сейчас же написал в Москву, но оказалось, что Лидия Филипповна переехала в Питер. В Питере я разыскал ее в Доме ученых, в убежище для престарелых. Советская власть к этим «престарелым» относится отлично: каждая престарелая имеет хороший стол, отдельную комнату, пользуется всеми домашними услугами — и вообще живет, что называется, барыней. Я вошел в это забавное и жутковатое учреждение, где шестидесятилетние являются молодежью, где о каком-нибудь 1873 годе говорят как о вчерашней пятнице, где не знают никакой пятилетки, никакого ударничества, никаких повышенных темпов, а только — старые портретики, сувениры и сплетни... Ах, нет, не мог этого сказать Боборыкин! — А я вам говорю, что мне об этом говорил сам Серно-Соловьевич... — услыхал я в коридоре старушечий шепот. На дверях надписи: «А. И. Менделеева», «Овсянико-Куликовская», «Озаровская» и пр.

Я зашел к Озаровской. Ее книга фольклорная все еще не вышла. Виновником этой книги она называет меня. Я подарил ей как-то «Декамерон» — и вот она, перелистав эти томики, решила организовать свой фольклорный материал по методу «Декамерона». «Если бы не ваш подарок, ничего не было бы!» Она сделала эту книгу, отдала ее в издательство писателей, но там из-за отсутствия бумаги книга до сих пор маринуется. «Но выйдет, выйдет, — и даже не просто — а на чудесной бумаге, для заграничных читателей, для валюты — все к лучшему, я очень рада».

И, заговорив о Кисловодске, где она была это лето, дивно рассказала мне историю с Верой Росовской. Веры Росовской она никогда не видала, Вера Росовская решала в «Вестнике физики и элементарной математики» задачи, предлагаемые читателям редакцией этого журнала. В каждом № был список решивших и всегда в этом списке: «Вера Росовская (Киев)». Озаровская, 16-летняя девочка, тоже решала эти задачи, но не все, а Росовская — все. И вот Озаровская, сидя в Тифлисе, влюбилась в эту неизвестную умную Росовскую, вообразила себе ее наружность — и мечтала о встрече с ней. «А Росовская так не поступила бы», — думала она всякий раз, делая в жизни какую-нб. ошибку. И так прошла вся жизнь, они ни разу не видались. Вдруг случайно в разговоре она услыхала теперь, уже в убежище для престарелых, имя Веры Росовской — и полетела к ней, та оказалась астрономом, и теперь в Кисловодске они прожили в одной комнате — все это было рассказано с большим юмором, по самой изысканной схеме, жаль, у меня времени нет записать все подробности, я тороплюсь записать о своей Вере Росовской — о Лидии Филипповне.

Маленькая, маленькая, глуховатая старушка, — которую против ее воли перевели в «Петербург» из Москвы, — со страхом и

1930 недоброжелательством посмотрела на мою высоченную фигуру и без всякого удовольствия повела меня к себе в комнату. Мы разговорились. У нее на столе: немецкий «Фауст», французские «Demi-vierges»[1], «Некрасов» 1861 года, от окна дует, вид у нее насупленный. — Вам нужно о Слепцове? Что же вам именно нужно?

Но понемногу отмякла.

– Какой был грубиян Соловьев. Образованный человек, но тупой, неприятный. (Соловьев цензор, переводчик Шопенгауэра). Слепцов столовался у него в семье в 1875 г., когда я жила в Петровско-Разумовском, а Слепцов нанимал дачу в Выселках — и потом, когда Слепцов умер, он в кружке у Полонского сказал мне при всех:

— Правда, что вы ездили со Слепцовым на Кавказ? — хотел уличить меня, что была в незаконной связи.

— Да, правда, я ездила с ним на Кавказ.

Не могла же я отрекаться от того, что считаю *единственным счастьем своей жизни...*

Вот письмо Слепцова о моей повести «Девочка Лида».

И она показала мне письмо от мая 1875 г. адресованное: «Петровская академия. Квартира директора. Лидии Филипповне Ломовской».

Письмо, написанное влюбленным человеком, — восторженный отзыв о «Девочке Лиде».

Ведь мой первый муж застрелился... через 9 месяцев после свадьбы. Ломовский, блестящий профессор математики на женских курсах. Все дамы и девицы были в него влюблены. Я была очень молода, и когда сказала матери, что не хочу выходить за Ломовского, мама сказала, что нельзя, т. к. уже купили приданое, все знают о свадьбе, и т. д. А, как я теперь понимаю, он был просто душевнобольной. (Я потом, уже во время войны была сестрой милосердия в палате для душевнобольных и только тогда поняла, что Ломовский был душевнобольной.) Он был старше меня на 9 лет. Все находили, что это блестящая партия. Когда он застрелился (1871), все обвиняли меня в его смерти.

И вот, чтобы я успокоилась, чтобы обо мне кругом замолкло, меня послали за границу — учиться. Отец хотел, чтобы я стала «детской садовницей». Я поселилась в семье Льва Мечникова, чудесного человека, и вместе с его падчерицей Надей обучалась в детском саду. Лев Ильич сказал мне, чтобы я занялась литературой: никогда из вас садовницы не будет. И я захотела в Сорбонну в Париж. А денег не было. Я и написала свою «Девочку Лиду» по

[1] «Полудевы» (*франц.*), роман Э.-М. Прево.

заказу издателя Мамонтова. Получила за нее 500 рублей. Но в Париж не удалось, т. к. мама заболела. Я вернулась в Россию и здесь сошлась со Слепцовым. Вся семья была против него — вообще против литературы. Когда вышла моя книга, никто не взял ее даже в руки, это все равно, что змею положили на стол. Когда ко мне приехал Некрасов, я была очень напугана, все боялась, что выйдет отец и скажет Некрасову: «убирайся к черту!» У нас была великолепная квартира, Некрасову она очень понравилась, он говорит мне много добрых слов, а я сижу ни жива ни мертва... И оттого я забыла все, что говорил мне Некрасов, потому что в голове у меня помутилось. Вот при таком отношении к литературе, можете себе представить, как отнеслись мои родители к моей связи со Слепцовым.

Но когда в августе 1875 года умерла моя мать, главное препятствие пропало — и мы сошлись...

Она показала мне огромное письмо Слепцова к ней, где он обсуждает, где бы им лучше встречаться.

Слепцов очень серьезно хвалил ее литературный талант. «Это он придумал для меня псевдоним «Нелидова». Как раз он был у нас, когда пришел дефектный экземпляр этой книжки, и я советовалась с ним, каким именем ее подписать. Я хотела «Короливна», он сказал, не годится, и впопыхах (нужно было спешить) написал «Л. Нелидова» (просто из имени Лида). В письме упоминается Танеев, адвокат Влад. Ив. Танеев, оригинал, большой библиофил, приятель Слепцова. Была у него еще приятельница Вера Захаровна Воронина, она все упрекала его, зачем он мало работает, ничего не пишет, но он так любил жизнь, что не успевал писать, разбрасывался, влюблялся»... — и она показала мне портрет Вас. Алексеевича — уже в пожилом возрасте, почти в профиль — «у него были волосы темные, но не черные, прелестные волосы... Мы, чтобы видаться с ним, затеяли у общих знакомых любительский спектакль...»

Позвонил звонок. Половина 9-го. Престарелых позвали ужинать.

5 декабря. Ночь. Вторая бессонная.

Читал Щедрина: там сенсационное [недописано. — *Е. Ч.*]

20/IV. Вчера у Муры. У нее ужас: заболела и вторая нога: колено. Температура поднялась. Она теряет в весе. Ветер на площадке бешеный. Все улетает в пространство. Дети вечно кричат: «ловите, ловите! у меня улетело!» У них улетают даже книги. По площадке так и бегут почтовые марки, бумажки, открытки, тетрадки, картинки и треплются простыни, халаты санитарок и сестер. На этом ветру лицо Муры сильно обветрилось, ручки покраснели и потрескались. Она читала мне Лермонтова наизусть — но в «Споре» одну строчку прочла:

От Урала до Донбасса*.

Июнь. Мура Коле: Я не помню в «Алисе» ничего, кроме:

— А! — сказал червяк.

Я читал ей «Тружеников моря» — и через 5 дней, перечитывая ту же страницу, пропустил одну третьестепенную фразу.

Она заметила:

— А где же: «он искоса поглядел на него»?

2 сентября. В прошлом месяце «поставщица живого товара» Violetta принесла Муре ежа и кролика — оба свалились с балкона. Третьего дня она принесла Муре — голубя. Голубь улетел. Вчера вечером она принесла его вновь — и пробормотала: ему нужно зеркало — и скрылась. Голубь очень хочет арбузных косточек — и воркует вовсю, вслушиваясь в птичьи голоса.

Мура вчера вдруг затвердила Козьму Пруткова:

Если мать иль дочь какая
У начальника умрет...

Старается быть веселой — но надежды на выздоровление уже нет никакой. Туберкулез легких растет. Личико стало крошечное,

его цвет ужасен — серая земля. И при этом великолепная память, тонкое понимание поэзии.

3 сент. Читает Макса Нордау «Сказки». Я рассказывал ей вчера вечером анекдоты из жизни писателей — сегодня вспоминает их со смехом. Вообще смеется много и тщательно.

Каждый день температура поднимается на одну десятую. Был Изергин. Ничего утешительного.

Голубь кокетничает перед зеркалом.

7-ое сент. Ужас охватывает меня порывами. Это не сплошная полоса, а припадки. Еще третьего дня я мог говорить на посторонние темы — вспоминать — и вдруг рука за сердце. Может быть, потому, что я пропитал ее всю литературой, поэзией, Жуковским, Пушкиным, Алексеем Толстым — она мне такая родная — всепонимающий друг мой. Может быть, потому, что у нее столько юмора, смеха — она ведь и вчера смеялась — над стихами о генерале и армянине Жуковского... Ну вот были родители, детей которых суды приговаривали к смертной казни. Но они узнавали об этом за несколько дней, потрясение было сильное, но мгновенное, — краткое. А нам выпало присутствовать при ее четвертовании: выкололи глаз, отрезали ногу, другую — дали передышку, и снова за нож: почки, легкие, желудок. Вот уже год, как она здесь... Сегодня ночью я услышал ее стон, кинулся к ней:

Она: Ничего, ничего, иди спи.

И все это на фоне благодатной, нежной, целебной природы — под чудесными южными звездами, когда так противуестественными кажутся муки.

Был вчера Леонид Николаевич — сказал, что в легких процесс прогрессирует, и сообщил, что считает ее безнадежной.

Вчера брала впервые своего голубя в руки и это доставляло ей радость.

Так и искала вчера, над чем бы посмеяться, куда бы деться от своей предсмертной тоски.

Замечательно, что в тот день, когда обозначился перелом к смерти, большое зеркало, стоявшее у меня в комнате, вдруг сорвалось с места — и вдребезги. Сегодня, может быть, приедет Боба.

У Муры теперь потребность вспоминать осколки своей жизни: самое счастливое ее воспоминание, как она воровала с Андреем малину у дачной хозяйки: она кажется себе в этом эпизоде и озорной, и бесстрашной, и по ту сторону добра и зла.

8.IX. Читает мою «Солнечную» и улыбается.

— Я когда была маленькая, думала, что запретили «Крокодила» так: он идет будто бы во все места по проволоке — и вдруг стоп, дальше нельзя. А когда разрешили, он идет по проволоке дальше.

Читает мою книжку «Искусство перевода». Ей нравится.

9 IX. Пишем вместе главу «Солнечной».

Еще месяц назад — я занимался с ней английским, арифметикой, синтаксисом — думал, что это ей пригодится потом, а теперь каждый мой разговор — для могилы.

13/IX. Как и полагается — к довершению всего — от Бобы письмо, что и ему плохо. У Муры 38.8 — чудовищно. Заболело у нее и другое колено — не заболело, а «загорелось» — жжет — воспаление.

20/IX. «Холодный дом» стал для нее наркозом. От всех болей и ужасов уходит в эту книгу. — Читай, читай!

И слушает ее до изнеможения — 60—100 страниц *в день*. И голова у нее так ясна, что не только улавливает все компликации сюжета, но предвидит будущие эпизоды.

— Приехал корабль из Индии. Значит, Вудкорт встретится с Эсфирью.

— Сейчас Джерндайс влюбится в Эсфирь и сделает ей предложение!

Кормить ее уже невозможно. Тошнота. Винограду съела одно зернышко. Читая ей о смерти Джо, я ревел и всхлипывал.

22. Горький прислал 2000 р. От Халатова получена телеграмма.

23. Слушает «Холодный дом» с удесятеренным вниманием — как будто видит в нем все спасение. «Читай, читай!» Я читаю.

— Помню я Лиду, вот росла я с Лидой, я у ней выманивала, ей кто-нибудь подарит слоника, все ее поклонисты, а я выманю, фонарь батарейный выманила. Свинку деревянную. Еще все время клянчила белочку рыжую, она не отдала. Деревянная белочка.

— Лида хорошая. Начнет стихотворения говорить хорошие. «Не Елена, другая...»* Хорошо говорит. Еще вот так: к ней войдешь вечером, у нее много разных, войдешь, они смеются, Рейсер на руки берет.

— Изя придет, переодевшись армянином, как в «Альсине и Алине» — Жуковского.

— Рейсер подарил Лиде мраморного слоника, Лида мне его не отдавала, но Цезарь сказал: бери! бери! бери. Схватил со стола и дал: я, говорит, этого слоника не люблю. Коля вышел замуж за Марину — и очень просто, а Лида... С Лидой интересно быть.

30/IX

От Коли пришел Сетон Томпсон. Мура:

— Ну, это я сама буду читать. Это про зверей.

16 X. Так как ей трудно слушать чтение, я пробовал занять ее открытками, рассказывал ей о Третьяковской галерее, о Федотове, Перове, Репине, но и это утомляет ее. Боится врачей.

5/XI. Ноги стынут. М. Б. прикладывает ей к пятке грелку.

Вчера мы получили письмо от Коли: у Лиды — скарлатина. Никогда не забуду, как М. Б. была потрясена этим письмом. Стала посередине кухни — седая, раздавленная — сгорбилась и протянула руки — как будто за милостыней — и стала спрашивать, как будто умоляя, — «Но что же будет с ребеночком? Но что же будет с ребеночком?» Действительно, более отчаянного положения, чем наше, даже в книгах никогда не бывает.

Здесь мы прикованы к постели умирающей Муры и присуждены глядеть на ее предсмертные боли — и знать, что другая наша дочь находится в смертельной опасности — и мы за тысячи верст, и ничем не можем помочь ни той, ни другой. Я послал из Ялты вчера телеграмму Бобе, но, очевидно, положение такое трагическое, что он боится телеграфировать нам правду.

И как назло, дней пять тому назад я, идучи в Воронцовский дворец, упал на каменные ступени на всем бегу и — прямо хребтом. Произошел разрыв внутренних тканей, но т. к. мы поглощены болезнью Муры, я не обратил на свой ушиб никакого внимания. Теперь опухоль, боль, частичная атрофия левой ноги.

Звонок. Не телеграмма ли? Спаси, пощади!

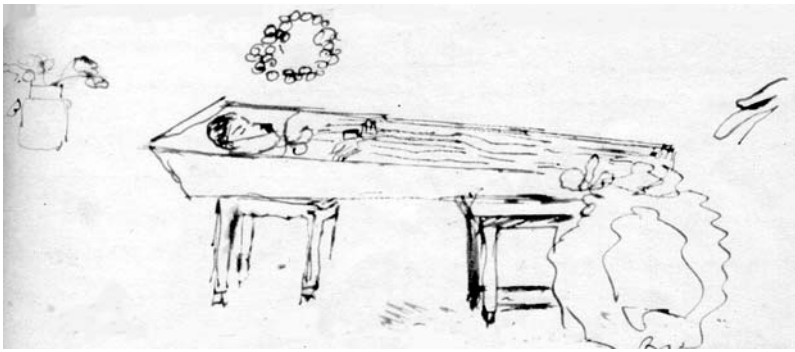
Ночь на 11 ноября. $2\,{}^{1}/_{2}$ часа тому назад, ровно в 11 часов умерла Мурочка. Вчера ночью я дежурил у ее постели, и она сказала:

— Лег бы... ведь ты устал... ездил в Ялту...

Сегодня она улыбнулась — странно было видеть ее улыбку на таком измученном лице; сегодня я отдал детям ее голубей, и дети принесли ей лягушку — она смотрела на нее любовно, лягушка была одноглазая — и Мура прыгала на постели, радовалась, а потом оравнодушела.

1931 Так и не докончила Мура рассказывать мне свой сон. Лежит ровненькая, серьезная и очень чужая. Но руки изящные, благородные, одухотворенные. Никогда ни у кого я не видел таких.

Федор Ильич Будников, столяр из Цустраха, сделал из кипарисного сундука Ольги Николаевны Овсянниковой (того, на котором Мура однажды лежала) гроб. И сейчас я, услав М. Б. на кладбище сговориться с могильщиками, вместе с Александрой Николаевной положил Мурочку в этот гробик. Своими руками. Легонькая.

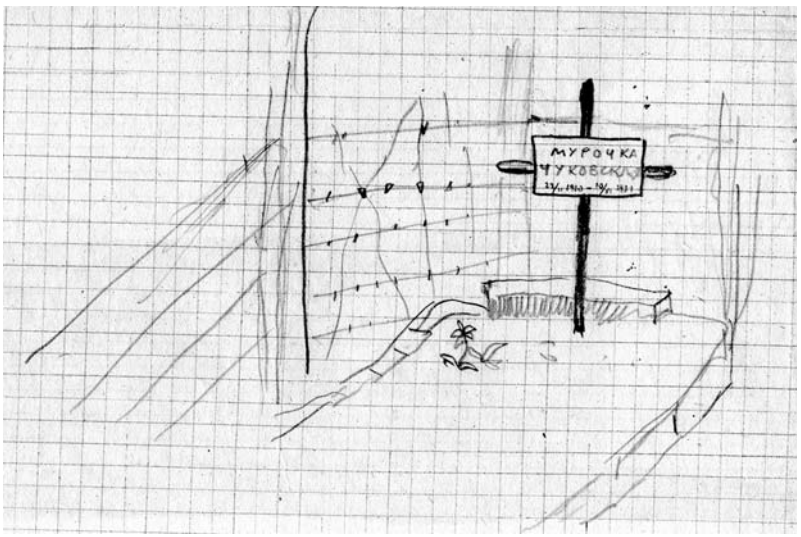


13/XI. Принял бромурал — от первой порции спал два часа — принял вторично, не заснул. Разговоры с М. Б. о Москве, о моем детстве.

Яма выкопана глубокая. Фотограф. День ясный, солнечный. На печке еще сохранился мой рисунок для нее: я в ванной.

Я наведывался к могиле. Глубокая, в каменистой почве. Место сестрорецкое — какое она любила бы, — и вот некому забить ее гробик. И я беру молоток и вбиваю гвоздь над ее головой. Вбиваю криво и вожусь бестолково. Л. Н. вбил второй гвоздь. Мы берем этот ящик и деловито несем его с лестницы, с одной, с другой, мимо тех колоколов, под которыми Мура лежала (и так радовалась хавронье) — по кипарисной аллее — к яме. М. Б. шла за гробом даже не впереди всех и говорила о постороннем, шокируя старух. Она из гордости решила не тешить зевак своими воплями. Придя, мы сейчас же опустили гробик в могилу, и застучала земля. Тут М. Б. крикнула — раз и замолкла. Погребение кончилось. Все разошлись молчаливо, засыпав могилу цветами. Мы постояли и понемногу поняли, что делать нам здесь нечего, что никакое, даже — самое крошечное — общение с Мурой уже невозможно — и пошли к Гаспре по чудесной дороге — очутились где-то у водопа-

да, присели, стали читать, разговаривать, ощутив всем своим существом, что похороны были не самое страшное: гораздо мучительнее было двухлетнее ее умирание. Видеть, как капля за каплей уходит вся кровь из талантливой, жизнерадостной, любящей.



МУРОЧКА
ЧУКОВСКАЯ
24/II 1920 — 10/XI 1931

Ноябрь 22. Вчера приехали в Москву — жестким вагоном, нищие, осиротелые, смертельно истерзанные. Ночь не спал — но наркотиков не принимал, потому что от понтапона и веронала, принимаемых в поезде, стали дрожать руки и заболела голова. Москва накинулась на нас, как дикий зверь, — беспощадно. С тяжелым портфелем, с чемоданом вышли мы оба на вокзале — М. Б. захотела ехать к Шатуновской — трамвая туда нет, доехали до полдороги, сошли, ни в какие трамваи не войти, хоть плачь: такси нет, носильщиков нет, не дойти мне. Идем, пройдя улицу, возвращаемся к трамвайной остановке, расспрашиваем прохожих, тяжело, на улице туман. Ссоримся.

М. Б. решает идти пешком, предоставляя мне, нагруженному, сесть в трамвай. «Я приду к Шатуновским», — говорит она.

Я приезжаю к Дому правительства, ее нет. Ждать холодно, пальто у меня летнее, перчаток нет, я сажусь на чемодан, прямо на панели, на мосту — и вглядываюсь, вглядываюсь в прохожих. Ее

нет. Тоска. Вот я — старик, так тяжко проработавший всю жизнь, сижу, без теплой одежды, на мосту, и все плюют и плюют мне в лицо, а вдали высится домина — неприступно-враждебный, и Мурочки нет — я испытал свирепое чувство тоски. Так и не пришла М. Б. Почему, я не знаю. У Шатуновских я не мог усидеть, бегал ее искать, потом мы с Генриеттой Семеновной поехали на вокзал, бегали по перрону — и нашли ее, обледенелую, в вокзальной зале.

Шатуновские поразили меня великолепием своей жизни, по сравнению с нашей алупкинской. Мебель изящнейшая, горячая вода день и ночь, комфортабельные диваны, лифт, высокие комнаты. Сказано: Дом Правительства. У них я почувствовал себя даже слишком уютно. Спал днем — принял ванну. Оказалось, что 22 ноября все просветительско-издательские учреждения отдыхают, и потому я не мог дозвониться ни в «Academia», ни в ГИХЛ, ни в «Молодую гвардию». Шатуновская созвонилась с Верой Лядовой, та обещала придти, но у Лядовой заболел ребенок.

Я к Кольцовым. Они тут же, в Доме Правительства. Он принял меня дружески, любовно. Рина Зеленая. Семен Кирсанов. Борис Ефимов. Роскошь, в которой живет Кольцов, — после Алупки ошеломила меня. На столе десятки закусок. Четыре больших комнаты. Есть даже высшее достижение комфорта, почти недостижимое в Москве: приятная пустота в кабинете. Всего пять-шесть вещей, хотя хватило бы места для тридцати. Он только что вернулся из совхоза где-то на Украине. «Пустили на ветер столько-то центнеров хлеба. Пришлось сменить всю верхушку. Вот образцы хлеба, которым они кормили колхозников». Показывает в конверте какую-то мерзость. Забавно рассказывает, как он начинал свою деятельность: в «Журнале Журналов» у Василевского-Не-Буквы напечатал фельетон о Шебуеве. В то же самое время, м. б. даже днем раньше, тиснул что-то такое в студенческом журнальчике. Теперь Василевский (даже в присутствии Кольцова) рассказывает, что будто бы он открыл Кольцова: «Читаю в студенческом журнале талантливую статью, думаю: чья? У автора есть талант — звоню по телефону в студенческий журнал, узнаю подлинную фамилию автора — и приглашаю его к себе в «Журнал Журналов».

— Ничего этого не было, — говорит Кольцов, — но я не возражаю, потому что сам Василевский в это верит... Первый, кто поощрил меня, был Ефим Зозуля. Он спросил меня: «А гонорар у Василевского вы получили?» Я сказал: «Нет». — «Так нельзя, подите — получите». Василевский вынул три рубля из жилетного кармана: «Вот, пока, а потом... через несколько дней», — но, конечно, ниче-

го через несколько дней не дал. Ефим Зозуля тут же научил Кольцова, что литератор, переутомленный работой, должен пойти в баню — на два часа — всю усталость как рукой снимет... Так и началась его дружба с Зозулей. Затевает Кольцов журнал английский «Asia», в пику существующему, буржуазному. Заговорили [о] раздемьянивании и Авербахе. Кирсанов сказал свою эпиграмму.

Всех раздемьянили. Решения близкого
С трепетом жду оттуда.
Будут ли нас теперь обагрицковать
Или об Жаровать будут.

На случай гибели Авербаха:

Братие! кого погребахом?
Ермилова с Авербахом.

Рина Зеленая показала прелестное пародийное письмо, присланное ей из совхоза Кольцовым — якобы от ее поклонника — и отведя меня в сторонку, поведала мне, что она живет с Кольцовым, что как радует ее эта связь, что она затеяла теперь сделать свой концерт «Концерт Рины Зеленой», который будет иметь «эзумительный» успех и что Мишенька ей в этом поможет. Значит, Лизочка Кольцова действительно разошлась с ним. Но она тут, целуется с Риной, накрывает на стол, зовет к столу — мирно и весело выполняет хозяйкину роль — и... что еще говорилось, я забыл, я ушел, весь раздавленный, отчужденный от них почему-то.

Шатуновская на службе: распределение учебных пособий. Вчера читал Виноградова «Три цвета эпохи»*— и «Смерть Ивана Ильича».

24 ноября. Похоже, что в Москве всех писателей повысили в чине. Все завели себе стильные квартиры, обзавелись шубами, любовницами, полюбили сытую жирную жизнь. В Проезде Художественного театра против здания этого театра выстроили особняк для писателей. Я вчера был там у Сейфуллиной. У нее приятно то, что нет этого сытого, хамского стиля. В двух тесных комнатках хламно: кровать, простой стол и еще кровать. В двух комнатах ютятся она, ее сестра и Правдухин. Прислугу взять в дом нельзя, так как для нее нет места. На ковре собака. У Сейфуллиной болит горло. Она предложила мне пообедать с ними. Обед готовила она сама в крошечной кухоньке: бульон в стакане и варево из риса. Рассказывала о заседании у Горького

(в присутствии Молотова и Кагановича) по поводу истории заводов. Каганович сказал, что в списке, предложенном Горьким, заводов слишком много, что это загрузит ее книгу. Мария Борисовна думает, что я [Верх страницы оторван. — *Е. Ч.*].

[Сейфуллина] оживлена, рада, что переехала в Москву: «тут рядом Шагинян, Горбунов — я рада». По обыкновению у нее и у Правдухина много новых книг, после обеда засели за чтение, причем Правдухин дал мне своего «Гугенота» в Ленинграде, вещь довольно напряженную и нудную (хуже его других вещей), и показал газетные вырезки, полные ругательств по его адресу*.

В Академии я встретил вдову Брюсова, которую не видел лет 20. [Верх страницы оторван. — *Е. Ч.*] ...с удовольствием издаст мои детские книги для заграницы (пять или шесть), в «Молодой гвардии» ко мне отнеслись очень сердечно, но «Солнечную» велели переделать — Лядова приняла почти все мои проекты с горячим сочувствием, а в ГИХЛе, где благодушный циник Соловьев, не отвечавший мне в Алупку ни на одно письмо и не приславший мне ни копейки денег, обещал все уладить в кратчайший срок, сказал, что Уот Уитмэн печатается, и «Шестидесятники» печатаются — и, двигая большим животом, шагая в узком пространстве между окном и столом (возле стула, на котором ему подобает сидеть), воркотал какие-то успокоительно-обещательные слова и тут же попутно ни с того ни с сего рассказал, как Чагин («милый человек и способный») вздумал бунтовать против него, поднимая рапповцев, и как это Чагину не удалось, и какого дурака свалял Чагин [часть страницы отрезана. — *Е. Ч.*].

25/XI.31. Все по-старому. Кольцов при помощи Ильфа и Петрова разрабатывает у себя на квартире для Рины Зеленой программу ее будущего концерта, у Сейфуллиной болит горло, главный бухгалтер ГИХЛа сообщил мне конфиденциально, что бумаги в 1932 году у ОГИЗа будет еще меньше, чем нынче, так как нет целлюлозы и не ввезено новых машин для ее оборудования, а на Каме какой-то завод, только что открытый, пришлось закрыть и консервировать [Низ страницы оторван. — *Е. Ч.*] ...богатые становятся все богаче, а бедные все беднее. — Шубы у меня нету по-прежнему, а идут холода. Был я у Корнелия Зелинского. Живет он в том же доме, где Сейфуллина. Очень мил и джентльменист, но, очевидно, живет в «тесноте»: при мне его теща принесла ему открытку от Литфонда с требованием уплатить в трехдневный срок 500 рублей — с угрозой, если он не уплатит, конфисковать его имущество и пропечатать его имя в «Литгазе-

те». Он был в эту минуту великолепен. С аристократическим презрением он взял в руки эту открытку и сказал теще:

— Вздор. Напрасная тревога. Посмотрите на подписи: «Халдеев и Мурыгин». Кто знает таких писателей! Ничтожества, не имеющие никакого литературного значения.

На стенах у него географические карты, на шкафах глобусы: звездное небо и земной шар.

Был я с ним у Пильняка. За городом. Первое впечатление: страшно богато, и стильно, и сытно, и независимо. Он стал менее раздерган, более сдержан и тих. Очень крепкий, хозяйственный немец-колонист. Сегодня заедет за мной на своей машине — к Кольцову и возьмет меня обедать. Ночь я не спал. Очень раздерган. Нужно работать над Уитмэном.

27/XI. Вчера за мной заехал к Кольцову Пильняк — в черном берете, — любезный, быстрый, уверенный — у него «Форд» очень причудливой формы, — правит он им гениально, с оттенками. На заднем сидении его племянница Таня, круглолицая девочка 14 лет. По дороге выскакивал несколько раз: «Разрешите вас на минуту покинуть!»

По дороге: «С писателями я почти не встречаюсь. Стервецы. «Литературная газета» — не газета. Авербах не писатель». Опять ловко, быстро и уверенно в гастрономический магазин. Выбежал с бутылкой. В доме у него два писателя, Платонов и его друг, про которых он говорит, что они лучшие писатели в СССР, «очень достойные люди», друг — коммунист («вы таких коммунистов никогда не видали»), и действительно этот странный партиец сейчас же заявил, что «ну его к черту, машины и колхозы (!), важен человек (?)», — сейчас же сели обедать, Ольга Сергеевна, американская дама с мужем, только что к нему приехавшая, Ева Пильняк и мы, трое гостей. Гусь с яблоками. Все мы трое — писатели, ущемленные эпохой. В утешение нам Пильняк рассказал легенду: какой-то город обложили контрибуцией. Горожане запротестовали, пришли, рыдая, к своему притеснителю. Он сказал: «Взять вдвое!..» Они в ужасе ушли домой и решили на коленях молить о пощаде. Вернулись к нему. А он: «Взять вдвое!» Они совсем обнищали, а он: «Взять вдвое!»

Тогда все рассмеялись. И он спросил: «Что, они смеются? Ну, значит, взять уже нечего».

Но, очевидно, с нас еще есть что взять, потому что мы не очень-то смеялись. Платонов рассказал, что у него есть роман «Чевенгур» — о том, как образовалась где-то коммуна из 14 подлинных коммунистов, которые всех некоммунистов, нереволю-

ционеров изгнали из города — и как эта коммуна процвела, — и хотя он писал этот роман с большим пиететом к революции, роман этот (в 25 листов) запрещен. Его даже набрали в издательстве «Молодая гвардия» — и вот он лежит без движения. 25 печатных листов!

В утешение нам Пильняк повторил, что мы живем в атмосфере теней, что «Федерация пролетарских писателей», на кой черт она, только и держится закрытым распределителем, а таких писателей, как Фадеев и Авербах, нету; таких газет, как «Лит. газета», нету. Чиновники, которые правят литературой, хотят, чтобы все было мирно-гладко, поменьше неприятностей, и Канатчиков выразил идеал всех этих администраторов — Вы бы не писали, а мы бы редактировали. Но писатели пишут, только не печатают: вот у Платонова роман лежит, у Всеволода Иванова тоже (под названием «Кремль» — не о московском).

Чтобы отвлечь разговор, я рассказал, как сегодня в «Молодой гвардии» бухгалтерша, платившая мне деньги, заявила, что такого писателя, как Чуковский, нету, она никогда не слыхала, и вообще в «Молодой гвардии» 5 или 6 литературных работников никогда не слыхали моего имени, американец по этому поводу сказал, что когда в Нью-Йорке 5–6 лет тому назад в Русской школе полицейские делали обыск, они нашли кучу учебников, составленных самими учителями. Учителя были здесь. Один (скажем, Рогинский), когда взяли его учебник, заявил: «Рогинский, это я». Другой: «Струнский — это я». Но вот фараоны нашли Карла Маркса. — «А кто из вас Карл Маркс?» Никто не откликнулся. Они так и рапортовали начальству: «Захвачены трое: Струнский, Рогинский и Маркс. Но Маркс скрылся».

Ольга Сергеевна рассказала (со слов Тагер), как теперь читают Блока «Двенадцать»:

В белом венчике из роз
Впереди идет матрос.

Разворачивая американскую пачку папирос (завернутую в плотную прозрачную бумагу), Платонов сказал: Эх, эту бумагу в деревню в окошки, мужикам!

Я вспомнил повесть Пильняка о Лермонтове, где чудесно описаны жирные голые женщины, лечащиеся в Ессентуках, — и Ольга Сергеевна рассказала, как одна жирная женщина хотела застрелиться и спрашивала, как вернее попасть в сердце, и ей сказали, нужно взять 3 вершка ниже соска, она и выстрелила в коленную чашку.

Тут Пильняка стала бить лихорадка. Малярия. Ему дали хины. Он не захотел принять ее, пока Ольга Сергеевна не лизнет из бумажки.

Мы перешли на диван в кабинет. У Пильняка застучали зубы. Он укутался в плэд. На стене в кабинете висит портрет Пастернака с нежной надписью: «Другу, дружбой с которым горжусь» — и внизу стихи, те, в которых есть строка:

И разве я не мерюсь пятилеткой.

Оказывается, эти стихи Пастернак посвятил Пильняку, но в «Новом Мире» их напечатали под заглавием «Другу»*. Тут заговорили о Пастернаке, и Пильняк произнес горячую речь, восхваляя его. Речь была очень четкая, блестящая по форме, издавна обдуманная — Пастернак человек огромной культуры — (нет, не стану пересказывать ее — испорчу — я впервые слыхал от Пильняка такие мудрые отчетливые речи). Все слушали ее, завороженные. Вообще у всех окружающих отношение к Пильняку, как к человеку очень хорошему, теплому, светлому — и для меня это ново, и ему, видимо, приятно источать теплоту, и ко мне он отнесся очень участливо, даже подарил мне галстух, так как я по рассеянности явился к нему без галстуха. Я ушел обласканный: американец подарил мне новые американские журналы, племянница ухаживала за мною. Пришел Глеб Алексеев, заговорил об алиментах — и я ушел. Ехать от Пильняка долго, в трамвае № 6, потом в трамвае № 10. Я ехал — и мне впервые стало легче как будто, потому что впервые за весь этот год я услыхал литературный спор.

Кстати, там же рассказали про Глеба Алексеева; он регистрировался в Союзе Писателей, и барышня, увидев его, стала рыться в бумагах на букву *У*, а потом сказала: вы у нас не значитесь!

Он сразу догадался: она приняла его за Глеба Успенского! Я вспомнил, как меня во «Всемирной Литературе», когда я редактировал «Николая Никльби», кассир вызывал к окошечку:

«Николай Никéльби!»

28/XI. Вчера начались морозы. 17 градусов. А у меня легкое летнее пальтишко, фуражечка, рваные калоши и никаких перчаток. Побежал в Торгсин — куда там! Сегодня мороз с ветром — не меньше 20°. Мы с Фектей зашили калошу, она немедленно порвалась в другом месте. На улице ветры острее ножей — побежал к Халатову, его нету, примет завтра. В. И. Невский сказал мне, что ему очень понравилась моя работа над Слепцовым, и т. к. меня давно никто не хвалил как писателя, это меня страш-

но взволновало. Опять я в «Молодую гвардию», опять в ГИХЛ, мой заколдованный круг. Бегая по этому кругу, я вспомнил, что такова моя проклятая судьба — бегать за копейкой по издательствам, что я не вижу ни картинных галерей, ни театров, ни любимых людей, потому что бегаю по делам, по конторам — для свидания с Ионовым, с Соловьевым, с Цванкиным. Вечером я побежал к Ионову. Ионов только что переехал в новый дом — Дом Правительства. У него 4 комнаты, из них три огромны. В квартире еще кавардак, вещи еще не разобраны. Он въехал в квартиру Ганецкого, который в течение месяца умудрился страшно замусорить ее. Александра Мих., жена Ионова, поразила меня своей страшной худобой и болезненным видом. Мальчик сейчас узнал меня, кинулся ко мне и стал читать мне свой новый рассказ. Мне было не до него, он почувствовал это и начал кувыркаться на диване. Ионова не было. Но вот он вошел, очень заиндевелый, мы присели к столу и сразу порешили: он покупает у меня четыре книги для экспорта и дает мне авансом 500 рублей. (Это меня очень обрадовало. Скорее уеду в Питер. Мне нужно готовить второй том Слепцова и исправлять «Солнечную». Это загрузка серьезная. И мне ли роптать на бога, если деньги у меня на этот месяц есть. Только бы Халатов помог мне добыть себе пальто зимнее.) Потом я вернулся к Шатуновской, у которой была в это время Лядова. С Лядовой мы пошли к Кольцову. У Лядовой была задняя мысль, которой я не знал. Она хотела так нажаловаться Кольцову на Цванкина, чтобы Кольцов написал о Цванкине в «Правду» фельетон. Мы уселись, и она начала. «Цванкин зажимает самокритику... тра-та-та, Цванкин распустил беспартийных редакторов — тра-та-та. Он нанес издательству страшные убытки... одна Детская Энциклопедия, которая, как выяснила бригада, никуда не нужна, обошлась нам в 80 тысяч рублей, сейчас мы забраковали на 100 тысяч рублей рукописей, принятых при его руководстве, Цванкин... Цванкин... Цванкин...» Кольцов слушал добродушно-равнодушно... И от фельетона увиливал. Потом в разговоре выяснилось, что у Кольцова есть книжка о Сталине, заказанная «Деревенской газетой». Кольцов, написав эту книжку, хотел показать ее Сталину, но никто не решался передать ее ему. Серго сказал: «Он и тебя побьет, и меня поколотит». Так она и лежала в наборе. Потом ее автоматически послали в Главлит, а Главлит — в секретариат Сталина. Сталин прочитал и сказал по телефону Кольцову: «Читал книжку о Сталине — слишком хвалишь... не надо... Ты летом приходи ко мне, я расскажу тебе... что нужно вставить». Книжку отложили. Теперь Лядовой загорелось издать эту книжку в «Молодой гвардии». Кольцов, очевидно, от этого тоже не прочь. Я только

всюду вставлю слово: дядя. Дядя Ленин сказал дяде Сталину, что дядя [нрзб.] И вот решили пустить в ход пионеров, которые сегодня будут на совещании у Лядовой, а потом пойдут депутацией к Сталину, чтобы он позволил напечатать какую-нб. книжку о себе, т. к. пионеры-де страшно желают узнать его жизнь, а книжек никаких о нем нету. Начали обдумывать текст этого обращения к Сталину. Выяснилось, что оно должно быть письменное. Кольцову это не понравилось, ведь Сталин мог заказать книжку другому, и он — предоставив нам долго обсуждать этот план — скромно и даже застенчиво сказал:

— А не лучше ли направить эту депутацию ко мне. Пусть пионеры напишут, что они просят меня написать о Сталине, а я покажу ее Старику: мол, с утра до ночи надоедают, что делать.

Лядова закивала головкой: Да, да, да... Это чудный план. Сегодня я внушу им эту мысль, Миша, — и им покажется, что она сама пришла им в голову...

Сегодня в газетах есть о том, что председатель Зерносовхозобъединения т. Герчиков смещен и разжалован за неумелое руководство этим колоссальным учреждением. Герчиков живет в этом же доме. Кольцов был у него. Феноменально спокоен. Утром того дня, когда в газетах появилось подписанное Сталиным и Молотовым распоряжение о его свержении, он проснулся в 9 часов, взял в постели газеты, увидел ужасную новость, отложил ее в сторону — «успею еще наволноваться» — и заснул опять. Спал 3 часа.

Кольцов говорит, что завтра будет грозная передовая о нем в «Правде».

Холодно ужасно в комнатах. Ветры так и ходят по незамазанной квартире.

От наших из дому ни слуху, ни духу. Нужно послать телеграмму. Или спешное письмо. Говорят, почта так разладилась, что спешные письма идут из Ленинграда в Москву 3—4 дня.

30.XI. Как это ни странно, истинное сочувствие своему горю я встретил у Халатова. Он нашел какие-то непошлые слова — мне в утешение — и тон, которым они были сказаны, меня не покоробил.

Он уже несколько дней назначает мне свидания, и все неудачно, но сегодня он твердо назначил Лядовой в 4 $^{1}/_{2}$, а мне в 5. Конечно, мы с Лядовой ждали до 6-ти; конечно, он принял нас обоих. Я вкратце изложил ему проект своего «Бородули для юношества», она сказала ему о «Солнечной», и он так увлекся темой, что распорядился выдать мне авансом костюм и пальто и напечатать издание «Мойдодыра» и «Федорина горя». Это очень кстати, по-

тому что я весь обносился, гол и обтерхан. А этот аванс я выплачу ему «Солнечной».

Получил от Лиды печальное письмо: М. Б. заболела гриппом. Простудилась в Москве.

У Халатова в кабинете огромная фотография Сталина с трубкой; стоит прямо на полу против его письменного стола. На столе множество белых клочков бумаги, на которых отмечаются часы разных деловых свиданий. Поговорит по телефону, сейчас же отрывает белой пухлой рукой клочок и звонит: вбегает секретарша. Он говорит: напишите 4-го в 4 часа принять Собсовича. Потом опять телефон и опять клочок: напишите: 6-го в 6 час. принять Майдаровича. В числе этих бумажек было: запишите завтра «надо послать Ильину за границу валюту» — и он рассказал о том, что, в сущности, книгу Ильина писал Маршак, и когда они оба были у Халатова, ему, Халатову, показалось, что Маршака мучает братнина слава, что он недоволен триумфами, выпавшими Ильину за его маршачью работу, и когда посылали за границу Ильина и Халатов хлопотал об этом, Маршак косвенно упрекнул за это Халатова — почему посылают Ильина, а не его.

— Ничего! Вернется Ильин, поедет и Маршак!

Вышел я от него когда уже было темно. Рина Зеленая возымела безумную мысль позвать меня к себе на именины — вместе с Мишенькой [Кольцовым]. Я, конечно, не пошел, но Мишенька там весь вечер. Неужели он не чувствует фальши ее отношения к нему? Она из тех хищных самок, которые внутренним женским знанием знают, что у мужчины есть целая куча «высоких» интересов, нисколько для нее неинтересных, что мужчину одними половыми приманками не возьмешь, и вот симулирует страшную взволнованность всеми Мишиными мыслями и действиями. Стоит ему высказать о чем-нибудь суждение, как она потрясается этим суждением и начинает комментировать его с необыкновенной горячностью. Миша говорит: «Хорошо бы выпустить английский журнал «Asia» — с коммунистическим содержанием».

Она сейчас же: вот это было бы здорово! Вот был бы эффект и т. д.

3/XII 31. Вчера — у Кольцова с утра. Хотел просить его помочь мне раздобыть в кооперативе пальто и костюм. Он работал с секретаршей: разбирал письма. Целая куча — разных. Пишут ему горе-изобретатели, старушки-лишенки и вообще разный обиженный и неудачливый люд. Он читает каждое письмо внимательно, и если ставит на нем букву *К*, это значит, отдать Ильфу и Петрову для юмористической обработки в каком-нибудь

журнальчике. Таких *К* было очень много. Особенно заинтересовало Кольцова письмо жены какого-то пошехонского парикмахера. Этот парикмахер сошелся там в Пошехонье с женою тамошнего гепеушника. Гепеушник, желая уничтожить соперника, — так по крайней мере сообщает парикмахерша, — усадил его в тюрьму как гидру. [Следующая страница вырвана. — *Е.Ч.*] ...Горькому откровенно обо всех Виноградовских подвигах — и заявил твердо, что без горьковской визы не выпустит ни одной книги из печати. Этому деловому и неприятному письму Кольцов умудрился придать шуточный тон. Письмо заканчивается так:

«Ваш поясок, который вы мне подарили, я подарил другому человеку, хотя так и нельзя поступать с подарками, полученными от классиков».

Вдруг в разговоре выяснилось, что «Огонек» будет давать «Трудное время» Слепцова. Я взволновался и бросился к Виноградову. Виноградов принял меня дружески. Он толст и добродушен. Весь в книгах. Очень забавные у него дети Юра и Надя, знают «Мойдодыра», «Крокодила» и проч. Показал мне неприличные стихи Лонгинова и выбранил за то, что я в примечаниях к Некрасову слишком жестоко отнесся к этому почтенному ученому. «Все же Новиков и «мартинисты» очень хорошая вещь». — «Все же Лонгинов был прохвост и кувшинное рыло», — ответил я. Оказалось, что Виноградов в довершение ко всему летчик. Он выдержал экзамен, кажется, на пилота и в этом году летал в Красноярск — в 22 часа долетел. Летчики отчаянные — он очень хорошо рассказывал о том, как они летали на «летучую мышь», «на соломку» и проч., как летчик юркнул в туман, за 15 км от Красноярска прямо на военный пост, и часовой стал стрелять, — говорок у него уверенный, солидный, дружественный. Подарил мне свои «Перчатки», вышедшие в Ленинградском Издательстве писателей.

От Коли письмо*. Справиться в «Федерации». Колино положение такое. Он написал в течение прошлой зимы роман «Собственность». Многие куски романа ему удались — и общий тон превосходный, но есть в романе какой-то идеологический изъян, т. к. 5 или 6 редакций, одна за другою, отвергают его. Раньше всего роман был принят к напечатанию в журнале «Ленинград» и приобретен для отдельного издания «Ленинградским издательством писателей». Потом у издательства писателей его оттягал ГИХЛ, которому роман очень понравился. Коля ликовал. Это давало ему 400 р. за печатный лист, то есть около 800 р. в месяц, а главное, это давало ему возможность отдохнуть месяца два от каторжной беспросветной работы. И вот все полетело.

1931 «Ленинград перешел в другие руки, к раппам или лаппам, и попутчики из него были изгнаны. ГИХЛ, прежде руководимый Чагиным, тоже получил другого командира. Коле вернули роман. Он отвез его в Москву. Там к роману отнеслись очень тепло, особенно в «Новом Мире», — хотя думали, что это мой роман (чего Коля не знает). Но в ГИХЛе его прочитал Корнелий Зелинский — и написал о нем убийственную рецензию. В разговоре же со мною он, Зелинский, очень хвалил роман. Коля, узнав об этом, просит меня навести о романе справки.

3/XII 31. И я пошел в «Федерацию». Никитиной там уже нет. Шульц. Седоватый, с немецким акцентом. О Колином романе: начало хорошее, но вторая часть — «гадкая». Почему «гадкая», я не мог дознаться, так как Шульц, видимо, романа не читал, а положился на рецензию Зелинского. Я взял роман и — к Зелинскому. Он встретил меня приветливо, но был занят. Писал для «Красной Нови» о Михаиле Кольцове. Я сейчас же решил уйти, не мешать. Он взял с меня слово, что я приду к обеду. До обеда полтора часа. Я к Сейфуллиной. Не застал. Куда девать полтора часа? Я — к Шагинян, которая живет тут же, в том же коридоре. И это посещение доставило мне наибольшую радость — из всех моих московских визитов и встреч. Она поцеловала меня на пороге, обняла и нежно усадила на диван. Я понял, что эта нежность относится к Мурочке, — и разревелся и стал ей первой рассказывать о Мурочке, какая это была нежная, гордая, светлая, единственная в мире душа. Шагинян поняла меня, у нее у самой только что умерла от рака в страшных мучениях мать. И вообще все, что говорила Шагинян на этом диванчике, было окрашено для меня глубокой человечностью, душевной ясностью. «Бросила литературу. Учусь. В плановом (кажется) институте. Математика дается трудно. Все же мне 43 года. И не та математика теперь, вся перестроена по марксистскому методу, но зато какая радость жить в студенческой среде. Простые, горячие, бескорыстные, милые люди. Не то что наши литераторы, от которых я совсем отошла. Вот живу здесь с октября, а из писательской братии видела только вас и Сейфуллину. Сейфуллина прекрасная женщина, а других мне никого не надо. Надоела литература, она слишком дергает, мучает, и я впервые на 43-м году жизни живу радостно, потому что нет на мне этого тяжелого гнета литературы. Написав «Гидроцентраль», я оглянулась на себя: ну что я такое? глуховатая, подслеповатая, некрасивая женщина с очень дурным характером, и вот решила уйти, и мне хо-

рошо. Разделила на 12 частей весь гонорар от 2-го изд. «Гидроцентрали» и буду жить весь год, не зарабатывая».

В комнате на висячей книжной полке тесно вдвинуты книги Гете и других немцев. На столе портреты Ленина и Сталина. Диванчик, на котором мы сидели, утлый. Сядешь на один конец, другой поднимается кверху. «Я теперь больше волнуюсь, как бы не попасть на черную доску, мне это ужаснее всех рецензий. Третьего дня я попала, так как запоздала на первую лекцию. Ну ж и досталось от меня моим домашним».

Во всем, что она говорит, есть какая-то подлинность, ни капли кокетства или фальши. Заговорили о Горьком. Оказывается, она его ненавидит до глупости. «Сама своими глазами видела договор, по которому Горький получает свой гонорар валютой; ежедневно, не исключая и праздников, ему должны платить столько-то и столько-то долларов — позор: выкачивать из страны в такое время валюту!! Кроме того, я считаю, что он пустопорожний писатель, ну вот как пустой стакан, чем его ни нальют, то в нем и есть. Теперь он громит всех немарксистов, но я помню, как в Ленинграде меня однажды потянуло к нему, я хотела говорить с ним о марксизме, он с таким презрением сказал мне: «Только предупреждаю вас, что я не марксист», и т. д. и т. д. Обычные нападки на Горького. Пригласила меня обедать, но, видимо, почувствовала облегчение, когда я отказался, т. к. обед очень скудный. Готовит сестра Мариэтты, скульпторша. Тут же и Мариэттина девочка — лет 14-ти, в переходном возрасте, крепкая, но неуклюжая армяночка.

Мариэтта ждет приезда мужа.

«А известности своей я никак не чувствую. В институте путают мою фамилию, мало кто знает, чем я занимаюсь, и вообще с октября я не видаю людей, которые читали бы меня. Да и раньше не видела».

От нее я ушел к Зелинскому. Он указал мне, какие места у Коли он считает наиболее уязвимыми, и дал очень четкие советы, как выпрямить идеологическую линию.

В нем есть какая-то трещина, в этом выдержанном и спокойном джентльмене. «Ведь поймите, — говорил он откровенно, — пережить такой крах, как я: быть вождем конструктивистов, и вот... Этого мне [не] желают забыть, и теперь мне каждый раз приходится снова и снова доказывать свою лояльность, свой разрыв со своим прошлым* (которое я все же очень люблю). Так что судить меня строго нельзя. Мы все не совсем ответственны за те «социальные маски», которые приходится носить». Обед был очень плох, в доме чувствуется бедность, но Елена Михайловна

так влюблена в своего чопорного, стройного, изысканно-величавого мужа, так смеется его шуткам, так откровенно ревнует его, а он так мило смеется над ее влюбленностью в красавца Завадского, что в доме атмосфера уюта и молодости. Я думал вчера, что я уезжаю, но Лядова не достала для меня билета и пришлось остаться еще на один день. О Зелинском какой-то рапповец сказал: «Вот идет наш пролетарский эстет». Зелинский пересказывал эту остроту с большим удовольствием... Правлю повесть Воронова «Детство». Удивительно неровная вещь. Первые страницы — классические, остальное — халтура и мусор. Вчера при помощи разных знакомств добыл бумаги, конвертов, карандашей — и чувствую себя счастливым человеком, страстно люблю новые письменные принадлежности.

Вчера в «Молодой Гвардии» беззубая рыже-седая Шабадиха сказала мне, что в «Asia» есть статья о детской литературе Эрнестины Эванс, и в этой статье есть будто бы и обо мне. А я послал Эванс такое жёсткое сухое письмо, под влиянием разговора с Ионовым, который убедил меня, что условия, предложенные мне за «Крокодила» — кабальные. У меня вышло из головы, что 200 долларов — это по нынешним реальным ценам не 400 рублей, а больше тысячи. Осел!

5. Вчера произошла ужасная вещь. Носильщик взял у меня 50 рублей и обещал достать билет на поезд «Стрелу», отходящую в 12.30 ночи. Я очень был рад. Носильщик ручался наверняка. В 10 часов я пошел к Ионову, так как мне понадобилась веревочка, чтобы перевязать пакеты. Ионов угостил меня колбасой, чаем (я был очень голоден) и рассказал, что в Америке вышел мой «Крокодил» — в возмутительном, возмутительном виде. Грабеж! Чистая обираловка. $1^1/_2$ доллара за «Крокодила» — черт знает что. (Я увидел в «Book Review»[1] объявление о «Крокодиле» 15/XI 31 г. — то есть через 2 дня после Мурочкиного погребения!) Потом, попрощавшись с Ионовым, я в сопровождении домработницы Шатуновских Фекти поехал в трамвае на вокзал с двумя пакетами, чемоданом и портфелем. На вокзале был носильщик, который должен был достать для меня билет на поезд «Красная Стрела». Он так уверенно обещал достать, что у меня не было никаких сомнений. Подхожу к нему, и оказывается, никаких билетов у него нету, и вот я на Октябрьском вокзале, глубокой ночью, выбился из сна, и что мне делать? Еду обратно, умирая от сонливости, с больным сердцем — везу назад чемодан и портфель — к Кольцову. Приехал в 2 часа ночи, позвонил к не-

[1] «Книжное обозрение» *(англ.)*.

му, разбудил, он с обычной своей задушевностью даже виду не показал, что ему тягостно такое ночное вторжение. Меня немедленно напоили какао, постлали мне в столовой — и все же ни минуты сна у меня не было! Утром за билетом простоял в очереди часа 2 с половиной. Нет билетов. Я к Халатову. Он дал записку — и билет явился. На «Стрелу». Значит, завтра я дома. Днем тоже не довелось мне заснуть: черт знает каким я приеду завтра в Ленинград.

День солнечный, морозный, с серебряными дымами, с голубизною неба. Трамвай № 10 повез меня не на Каменный мост, а на Замоскворецкий, так как поблизости взрывают Храм Христа Спасителя. Выпалила пушка — три раза — и через пять минут, не раньше, взлетел сизый — прекрасный на солнце дым. Красноносые (от холода) мальчишки сидят на заборах и на кучах земли, запорошенных снегом, и разговоры:

— Вон оттуда зеленое: это сигнал.

— Уже два сигнала.

— Голуби! голуби!

— Это почтовые.

— Второй выстрел. У, здоровый был!

— Уже два выстрела было!

— Три.

Жуют хлеб — на морозе.

— Больше не будут.

— Врешь, будут.

И новый взрыв — и дым — и средняя башня становится совсем кургузой.

Баба глядит и плачет. Я подошел по другому берегу Москва-реки — и когда подошел почти к самому Каменному мосту — нельзя, патруль.

— Куда? Не видишь, церковь ломают! — Я обратно. Через сквозной дом к Кольцову. Кольцов приветлив, словоохотлив, рассказывал о своем детстве: у него отец был заготовщик обуви — запах кожи — он в Белостоке — лекции. Сатириконцы приезжали, Григорий Петров.

(Пишу это в поезде «Стрела» ночью в темноте, еду домой, думаю о Мурочке. Не сплю, вагон освещается фиолетовой лампой, везу сукно, и джемпер, и чулки. Никакой сонливости. Сосед внизу аппетитно храпит.) В Белостоке же он (Кольцов) познакомился с нынешним наркомземом Яковлевым. Они были товарищи по гимназии. Фамилия Яковлева — Эпштейн. Были четыре Эпштейна! — говорил Кольцов — и все они были первые ученики в нашей гимназии. Все награды получали Эпштейны: и Лермонтова, и Кота Мурлыку с золотым обрезом... И вот когда я начал ра-

ботать в «Правде», Эпштейн был уже важная шишка и ждал, что при встрече я скажу: э! о! здорово, приятель. Но я был нарочно сдержан, поздоровался суховато, и он это оценил.

Рассказывал о Бухове. «Когда я летел в Берлин, наш аэроплан опустился в Ковно и по случаю тумана остался ночевать. Я пошел в Полпредство. Туда пришел ко мне какой-то человечек и сказал, что Аркадий Бухов, редактор тамошней белогвардейской газетки, хочет со мной повидаться. Я отказал. Вечером я пошел в ресторан — и там за соседним столиком сидел Бухов и глядел на меня выжидательно, выражая готовность каждую минуту подойти ко мне. Я опять упорно не замечал его. Через два дня мне прислали в Берлин вырезку из Ковенской газеты.

«В последнее время к нам с неба стала валиться всякая большевистская дрянь. Недавно шлепнулась сюда пролетарская балерина Айседора Дункан, а теперь такой и сякой Кольцов». Я пренебрег. Но через месяца два получаю напряженно-игривое письмо — о том, как он жаждет хотя бы дворником вернуться в Советский Союз и сделать здесь черную работу.

(Во время разговора взрывы в Храме Христа Спасителя продолжались.)

Еду ленинградскими болотцами, которых не видал с апреля — 9 месяцев. Снег — и кажется, мороз.

Виноградов опроверг в письме к Кольцову все взводимые на него обвинения; я видел его вчера, он послал мою статью Горькому. Боюсь, что Алексею Максимовичу она не понравится.

У Кольцовых в уборной висит древний пергамент в 2 аршина длины, на нем старославянскими литерами написано:

МАНДАТ

Со всемилостивейшего соизволения наиживейшей церкви Совет Народных Комиссаров неукоснительно предписал: в приходе отца Евлампия всякие загсы отменить, некрещеных перекрестить, невенчанных перевенчать, неразведенных переразвести. Оные требы произвести в ударном порядке. Аминь.

Слово «мандат» в рамке XV века, расписанной киноварью и золотом.

Елиз. Николаевна говорит, что это — из кинофильмы, запрещенной. Кольцов говорит, что выставка в уборной меняется. Прежде было вот что — и он показал мне лист с портретами белых генералов, героев интервенции: Юденич, Колчак, Врангель и др. «Мы сняли, т. к. одна знакомая дама запротестовала».

Мои попытки заснуть не привели ни к чему. Я лег в столовой Кольцовых, укрылся его пледом и военной аэропланной шинелью с серебряными крыльями на рукаве (он — летчик), и все было тихо, но сна не было. Я взял с полки в столовой «Illustrierte Geschichte Russischen Revolution»[1] (1928), а потом «Spanien [in] Bildern»[2] Христиансена (бой быков, монастыри, лохмотья), потом «America [in] Bildern»[3].

8/XII. Много нового в Ленинграде: московские газеты стали получаться в день своего появления, на Невском перекрашены почти все официальные здания: каланча стала красной, среднее здание Аничковского дворца темно-зеленым (прежде оно было бурое и окружено забором — так что его и не замечали, а теперь забор снят, и оно явилось во всей красоте), дом № 86, тот самый, где был некогда «паноптикум печальный», описанный Блоком, стал из желтого бирюзовым (что тоже послужило к его украшению), памятник собирающегося плюнуть Лассаля отодвинут, у всех домов оторваны крылечки, навесы над дверьми и т. д. В числе прочих пропало то крылечко в доме Мурузи, где в 1919 году сидел Блок перед тем как читать в нашей «Студии» свое «Возмездие». На Литейном, на месте того Окружного суда, где в 1905 г. меня допрашивал Обух-Вощатынский, заложен огромный фундамент многоэтажного здания и рядом с ним деревянный одноэтажный временный дом, очевидно, контора строительства. У милиционеров новая форма: пальто и шлемы травянисто-зеленого цвета. Издательство писателей переехало на Невский, туда, где в старину был книжный магазин М. О. Вольфа. Я был там и предложил Груздеву (председателю правления, вместо Федина) сборник своих детских стихов — хочу издать их для взрослых — все те, которые написаны для Мурки, при участии Мурки, в духе Мурки. Эта книга есть как бы памятник ее веселой, нежной и светлой души. Я, конечно, не сказал им, почему мне так хочется издать эту книгу, но Мише Слонимскому (по телефону) сказал. И Миша со своей обычной отзывчивостью взялся хлопотать об этом.

Видел в издательстве Николая Тихонова. Он только что выпустил книжку «Война» — где совершенно отрекся от своего прежнего стиля, поставив себе задачей тривиальную фразеологию бульварного романа. Читал оттуда некоторые места; действительно

[1] «Иллюстрированная история русской революции» (*немецк.*).
[2] «Испания в картинах» (*немецк.*).
[3] «Америка в картинах» (*немецк.*).

прежнего Тихонова, с лохматыми, хриплыми фразами, нет и в помине.

16/XII. Сегодня я получил две посылки, посланные на мое имя Виолеттой из Тифлиса в Алупку и направленные алупкинской почтой сюда, в Ленинград. В обеих — мандарины (полусгнившие) и — фарфоровый зайчик для Муры. Таким образом Мура через 5 недель после смерти получила от Виолетты подарок. Так же было и со сказками Гофмана, которых она страстно ждала при жизни. Я обещал ей достать их — и не мог. Она знала, что Коля хочет выслать их ей, — и ждала, ждала. Сказки пришли в Алупку от Коли, когда она уже умерла. Коля выслал их ей в день ее смерти: 10/XI. По поводу ее смерти я получил телеграммы и письма от Сергеева-Ценского, Валентина Кривича, Бельчикова, Дав. Ос. Заславского, Зои Прянишниковой, Ел. Анненковой, Богданович, Редько, Верейской, какой-то Берты Давыдовны, Рахтанова, Шервинских, Тихонова, Всеволода Ив. Попова, Ю. Корицкой (?), Маклаковой.

Вскоре после моего приезда в Ленинград, когда я лежал в гриппу, ко мне пришел Тынянов и просидел у меня весь вечер, стараясь развлечь меня своими рассказами.

Великолепно показывал он Пастернака: как Пастернак словно каким-то войлоком весь укутан — и ни одно ваше слово до него не доходит сразу: слушая, он не слышит, и долго сочувственно мычит: да, да, да! и только потом, через две-три минуты поймет то, что вы говорили, — и скажет решительно: нет. Так что все реплики Пастернака в разговоре с вами такие:

— Да... да... да... да... НЕТ!

В показе Тынянова есть и лунатизм Пастернака, и его оторванность от внешнего мира, и его речевая энергия. Тынянов изображал, как Пастернак провалил у Горького на заседании «Библиотеки поэтов» предложенную Тыняновым книгу «Опытов» Востокова: вначале с большой энергией кивал головой и мычал: да, да, да... а закончил эту серию «да» крутым и решительным «нет». Показывал Ал. Толстого, как Толстой пришел к Горькому на заседание по поводу истории заводов — вместе с Шишковым, пьяный-распьяный, и все повторял, что самое главное в «Истории заводов» это — пейзаж. Да, пейзаж.

О Горьком Тынянов сказал: «человек чарующий и — страшный».

Очень много говорил о Шкловском: «У Шкловского 12 человек на плечах. Литература, кроме огорчений, ему ничего не дает, а он льнет к литературе и не хочет отстать. Главный его заработок — кино, но нет, он пишет и пишет — зачем? Надо вообще бро-

сить писать. Я сейчас собрал матерьялы для нового своего романа (об участии русских во Французской революции XVIII в.), но собрал столько матерьяла, что уже писать нечего. Да и зачем? И лекции нужно бросить. Меня спрашивают:

— Где вы читаете?

— До́ма».

Основное в нем: утомление и как будто растерянность. В этот день Пумпянский читал в Доме Печати доклад об исторических беллетристах нашего времени: О. Форш, Толстом и о нем в том числе, — и он говорил, что его нисколько не интересует этот дурацкий доклад, но когда Цезарь вернулся из Дома Печати, жадно расспрашивал его по нескольку раз о каждой мельчайшей детали: и много ли было публики, и много ли читалось о нем, и чего было больше, похвалы или брани. Тут только я понял, как должна его терзать и мучить поднятая против него идиотская травля.

Неуспех «Восковой персоны» тоже ощущается им очень болезненно. «Все так и говорят: Толстой написал жизнь Петра, а Тынянов — смерть. Толстой хорошо, а Тынянов — плохо».

К сожалению, я записываю это через две недели после его посещения — и многие разговоры забылись. После этого я видел мельком О. Форш. Она тоже пришиблена. «Пишу о Новикове и мартинистах, — роман, серьезно изучаю эпоху, каждую буквочку, сижу в Пушкинском Доме — и так увлеклась, а меня гоняют на с[нрзб.]ку».

Живет она теперь у Груздева — в чинной, чистоплюйной и бонтонной семье. Груздевы в ужасе от ее богемной неряшливости.

28/XII. Мягкая погода, снег. Мы с М. Б. решили поехать в Детское к Толстому. У меня есть дело к нему по поводу Бородули. Забежали к фининспектору, отпросились, отпустил. Сели не в тот трамвай. Приехали. Чудесно, снежно.

Не застали ни Толстого, ни Толстихи: она в Ленинграде, он в Москве. Дом у них действительно барский, стильный, но какой-то неуютный. Столовая как музей. Митя выскочил ко мне: «А!! Корней Ив. Чуковский». И сейчас же прочитал свои стихи:

Уж цвет незабудок нарос над травой,
Пропали и сани и лыжи.
А в Африке! Потрясающий зной,
У нас много градусов ниже, —

и еще: Слушайте! Слушайте! Мне только 8 лет, а я — слушайте! — сочиняю такие стихи:

Май! Праздник! Сливаются флаги, знамена
С зелеными листьями первого клена,
С природой живой, расцветающей, первой
Все против буржуйно-купеческой стервы!

Налетела на нас его бабушка, невыносимая Анастасия Крандиевская, глухая, завитая, со вставными зубами и неумолимо болтливая. Она как будто боится, чтобы на секундочку не наступило молчание, и поливала нас разговором как из пожарной кишки. Митя ее страшно презирает, строит ей рожи, колотит ее.

— Митя, как ты смеешь!

— Она это заслужила.

Его позвали одеваться — идти в школу.

— Чуковский, останьтесь. У нас есть комната для приезжающих. Совсем как у Льва Толстого.

Он ушел. Старуха, которая в последнее время ударилась в православие, повторяла несколько раз:

— На социализме нельзя базироваться.

И рассказала с торжеством, что сама видела, как на Страстной неделе к плащанице тайком приходил Ал. Толстой и «все иконы выцеловал».

— Он меня не видел, я на хорах стояла.

И Шишков верующий — его наш духовник исповедует, батюшка, который в нашем доме живет... На социализме нельзя базироваться.

Совсем сбрендила старая балалайка.

На половине дороги из Детского Села в Ленинград с нами случилась история: вдруг зашипело что-то в вагоне, брызнуло и какая-то женщина вбежала из другого отделения:

— Остановите, остановите, тормоз!

Мы оба, я и М. Б., были уверены, что на нас идет встречный, и оба испытали торжественное, умиленное и спокойное чувство приближающейся совместной смерти. М. Б., ожидая толчка, обняла меня и защитила собой от удара. Но удара не произошло, какая-то женщина вместе с мужчиной схватила тормоз и остановила поезд, все стали выходить друг за дружкой. Если бы не остановили, люди выбили бы окна в вагоне, избили бы друг дружку в кровь, а тут вышли в поле на рельсы без особых увечий. И лишь тогда оказалось, что оснований для паники не было никаких: просто кочегар чистил трубы во время хода поезда. Кондуктор плакал, орал, что его засадят в подвал. И в конце концов обнаружилось, что у М. Б. пропали золотые часики (в виде браслета), кото-

рые я привез ей из Лондона в 1916 году и которые так любила Мурочка. Очевидно, кондуктор и еще два-три человека устроили панику нарочно, чтоб пограбить. Но все это ничто в сравнении с тем торжественным чувством предсмертия, которое и сейчас еще не испарилось во мне.

Был сейчас в Институте по восстановлению работоспособности увечных детей им. проф. Турнера. В Институте раскраска «функциональная» — одна половинка двери розовая, другая зеленая, одна стена желтая, а другая розовая, — «раскраска стен имеет воспитующее значение».

Доктор рассказывает, что дети главным образом скандалят в марте и апреле. «И я вам ручаюсь, что вот эта Тося непременно начнет в марте бузить». Показал мне целый ящик воровских и смертоубийственных орудий, отнятых у детей. Рассказывал о трудновоспитуемых, например, о Коле Зайцеве, который обещал их поджечь (когда они жили на даче), и им пришлось дежурить по ночам, оберегая дом от поджигателя.

Оттуда к Житкову, т. к. Лида мне сказала, со слов Виталия Бианки, будто вторую часть «Вавича» зарезали. Оказывается, слухи преждевременны. Житков весь захвачен историей с самобичеванием критиков, которые в Союзе Писателей сами себя распустили. Рассказывает, — что, когда Эйхенбауму было предложено подвергнуть себя самокритике, то есть разругать всю свою прежнюю деятельность, Эйхенбаум сказал:

— Нужно подвергать себя самокритике *до* того, как что-нибудь напишешь, а не после.

Такая версия была мне неизвестна, но мне по крайней мере десять человек по-разному сообщили об этой реплике Эйхенбаума. Одни говорили, будто бы он сказал:

— Моя специальность не самокритика, а критика. Вот сейчас я написал книгу о Толстом, ее и критикуйте...

Другие — еще по-другому, Штейнман в «Красной Газете» потретьему. Очевидно, его позиция пришлась по душе очень многим, и вокруг него уже творятся легенды. Житков интерпретирует это знаменитое заседание критиков так:

— Все мы сукины дети! снимай, ребята, штаны и ложись пороться.

Очень волнуется (из-за своего романа) всеми московскими настроениями:

— Говорят, Авербаха авербабахнули?

По-прежнему полон ненависти к Маршаку. По поводу того, что Маршак сделал карьеру своему братцу Ильину: Два Маршака — пара [конец страницы оторван. — *Е. Ч.*].

1931

Вчера виделся с Толстым по поводу «Гутива»*. Встретились в Доме Печати и пообедали вместе в Ленкублите. Он разъярен судьбою своего «Черного золота» и едет в Москву объясняться. С «Черным золотом» дело такое. Рафаил — нынешний глава Госиздата — был разруган в газетах и на каком-то собрании за свою брошюру о том, как писать историю заводов, где рекомендовал пишущим эту историю опрашивать черносотенцев. Его уличили в троцкизме (он бывший бундовец) и, кажется, снимают. Спасая свою шкуру, он решил выставить напоказ свою бдительность и снял с работы редактора Гихла [конец страницы и верхняя половина следующей оторваны. — *Е.Ч.*]

25/I. Был вчера у Ольги Форш. Пополнела. Бодра. Пишет о Новикове и мартинистах. Работает на «Светлане». Очень забавно рассказывала, как в Пушкинском Доме повесили ее портрет и подписали: «Писательница мелкобуржуазного лагеря», так что ей стыдно туда глаза показать. И на днях, когда она работала там над рукописями мартинистов, пришла экскурсия каких-то гнусных ребят, которым показывали [начало страницы отрезано. — *Е. Ч.*]

На днях был у меня Тынянов. Только что из Москвы. Он отправил (23 янв.) Инночку и жену за границу. Устроил ему это дело Горький. По случаю этой удачи Тынянов бодр и радостен, как давно уже не был. О покаяниях говорит: «Это сексуальный мазохизм».

О Горьком: «Обратите внимание, как он похож на тигра» (и сделал лицо, ну совсем горьковское). Для денег сочиняет сценарий. «Подумайте, кем сделался филолог Казанский! Ученым секретарем Оптического Института. Я ему говорю: вы только потому оптик, что у вас очки».

— Как вы относитесь к тому, что Томашевский разошелся с женой?

— В высшей степени положительно. Надо быть ангелом... или конем Паоло Трубецкого, чтобы выносить супружество с Раисой Романовной... Ах, эта Раиса. Однажды она вздумала шутить надо мной. Как-то звонит мне. Я был болен, еле дотащился до телефона. — Кто говорит? — Я, Раиса Романовна. У меня есть к вам вопрос. Сейчас в «Красной Газете» появилась статейка деткора Юрко, скажите пожалуйста, не ваш ли это псевдоним?

— Ступайте к черту! — заревел я.

О! она уверяет, что когда в Биаррице она разделась и вошла в воду, вся публика зааплодировала, пораженная ее красотой...

Заговорили о Брике. «Говорят, что от сырости у него завелась какая-то девушка».

Шкловский говорит об отношении Бриков к Маяковскому: «варят клей из покойника».

1932 Был в «Красной Газете». Видел на стене объявление:

«За допущение политических ошибок в редактировании непериодических изданий редактор непериодических изданий Глебов-Путиловский освобождается от работы *по собственному желанию*».

24/II 1932. Москва. Мороз. Ясное небо. Звезды. Сегодня день Муриного рождения. Ей было бы 12 лет. Как хорошо я помню зеленовато-нежное, стеклянное петербургское небо того дня, когда она родилась. Небо 1920 года. Родилась для таких страданий. Я рад, что не вижу сегодня этого февральского предвесеннего неба, которое так связано для меня с этими днями ее появления на свет. Воображаю, как чувствует себя М. Б. Думаю, что, несмотря на мой отъезд, она все же не может спать. Сегодня я был у Корнелия Зелинского, у Сейфуллиной и у Мариэтты Шагинян. Сейфуллина больна: у нее был удар не удар, а вроде. По ее словам, всю эту зиму она страшно пила, и пьяная ходила на заседания и всякий раз скрывала, что пьяна. «И на это много требовалось нервной силы». Как-то за обедом выпила она одну всего рюмку, вдруг трах: руки-ноги отнялись, шея напружинилась — припадок. Теперь она понемногу оправляется. Доктор прописал ей вспрыскивания и побольше ходить. Валерьян Павлович при ней неотлучно. Она очень хвалит его — «не покидает своей старой жены, прогуливает ее по Москве, есть ли еще на свете такой муж?»

Я сказал: «Хорошо, что вам вовремя удалось закончить свою пьесу «Попутчики». — «Сказать по секрету, не удалось. Валерьян закончил. И у него вышло очень глубоко, лучше, чем у меня.

— Ну вот и глубоко! — перебил Валерьян.

— Нет, нет, мне бы так никогда не придумать».

Лицо у нее остекленелое, глаза мертвые. Мне показалось, что я ей в тягость. Я пошел к Шагинян. У Шагинян на столе коньяк, в гостях — Давид Выгодский. Он приехал от «Издательства писателей» просить Шагинян, чтобы она исключила из своего дневника, который печатается теперь в Ленинграде, все, что относится к Шкловскому и к его побегу*. Я показывал ей «Чукоккалу», которую она смотрела с жадностью, и тут только я заметил, какой у нее хороший, детский, наивный смех. Может быть, потому что она глуха, и ресурсы для смеха у нее ограничены, — она не может смеяться над тем, что ей *рассказывают*; поэтому запасы смеха, нами истраченные на другое, у нее сохранились. Как вообще жаль, что она глуха. Она была бы отличной писательницей, если бы слыхала человечью речь. Глухота играет с нею самые злые шутки. Она рассказывает, что недавно — месяц назад — ее соседи говорят

ей: «Мы слыхали через стену, как вы жаловались на дороговизну продуктов. Позвольте угостить вас колбасой. Мы получаем такой большой паек, что нам всего не съесть». «Я заинтересовалась, кому это выдают такой роскошный паек, и оказалось, что это паек — *писательский,* получаемый всеми, кроме меня». Мариэтта Шагинян, несомненно, из-за своей глухоты отрезана от живых литературных кругов, где *шепчут,* она никаких слу-хов, никаких оттенков речи не понимает, и потому с нею очень трудно установить те отношения, которые устанавливаются шепотом.

Как-то в Доме Искусств она несла дрова и топор — к себе в комнату. Я пожалел ее и сказал: «Дайте мне, я помогу». Она, думая, что я хочу отнять у нее дрова, замахнулась на меня топором! Показала она мне письмо Сталина к ней (по поводу «Гидроцентрали»). Сталин хотел было написать предисловие к этой книге, но он очень занят, не может урвать нужного времени и просит ее указать ему, с кем он должен переговорить, чтобы «Гидроцентраль» пропустили без всяких искажений. Письмо милое, красными чернилами, очень дружественное. Также письмо Крупской о Торнтоне, — Крупская в 1894 году переоделась в рабочее платье — и ходила на эту фабрику и теперь интересуется ею. И вот характерно: Шагинян так и не рискнула побывать у Сталина, повидать его, хотя ей очень этого хочется, именно потому, что у нее нет слуха и ей неловко... Тут же ее муж, представитель Наркомпроса Армении, и ее дочь, и ее сестра — очень густая армянская семья — веселая, дружная, работящая, простодушная.

На следующий день я был у Корнелия Зелинского. Туда пришел Пастернак с новой женой Зинаидой Николаевной. Пришел и поднял температуру на 100°. При Пастернаке невозможны никакие пошлые разговоры, он весь напряженный, радостный, источающий свет. Читал свою поэму «Волны», которая, очевидно, ему самому очень нравится, читая, часто смеялся отдельным удачам, читал с бешеной энергией, как будто штурмом брал каждую строфу, и я испытал такую радость, слушая его, что боялся, как бы он не кончил. Хотелось слушать без конца — это уже не «поверх барьеров», а «сквозь стены». Неужели этот новый прилив творческой энергии дала ему эта миловидная женщина? Очевидно, это так, потому что он взглядывает на нее каждые 3—4 минуты и, взглянув, меняется в лице от любви и смеется ей дружески, как бы благодаря ее за то, что она существует. Во время прошлой нашей встречи он был как потерянный, а теперь твердый, внутренне спокойный. Он не знает, что его собрание сочинений в Ленинграде зарезано. Я сказал ему об этом (думая, что он знает), он за-

грустил. Она спросила: почему? — он сказал: «Из-за смерти Вяч. Полонского». Но она сказала: «И из-за книг». Он признался: да.

Сейчас происходит суд над Ионовым в ЦК. Ионов не признает двух ставленников Горького: Тихонова и Виноградова. Первого он считает лодырем, бездельником, второго прохвостом. «Тихонов числится в «Академии» редактором, но ни разу даже не явился на службу, приходит только за жалованием, а второй сдал Ионову для напечатания такие неряшливые рукописи, которые Ионов считает сплошной халтурой. Горький (председатель редколлегии «Academia») написал Ионову, что он не желает работать вместе с ним, требует, чтобы Ионов сию же минуту ушел, и т. д.». Каковы результаты суда — неизвестно.

Февр. 28. Вчера вечером никак не мог заснуть, встал, оделся и пошел к Сейфуллиной. Ей гораздо лучше, она уже сама гуляет по улицам, без сопровождения Правдухина. Глаза живее, и язык послушнее. Был у нее незадолго до меня Пильняк. До него дошли слухи, что паралич у нее случился под впечатлением статьи Волина, изобличавшей ее. Правдухин рассказывает, что он, если ему надо пойти в театр, отправляется к капельдинеру, сует ему пятерку и проходит — да не один, а вместе с Капой, сестрою Правдухина. Сейчас они были в театре и брали у одного студента бинокль и, возвращая, Правдухин всякий раз говорил студенту спасибо. Студент в конце концов сказал:

— Что ты мне спасибо всякий раз говоришь? Скажи раз — и довольно!

Сам он глядел в бинокль, но жаловался, что мутно, ничего не видит.

— А ты поверти вот это колесико! — посоветовал Правдухин.

— В самом деле!

Молодой человек *не знал*, что бинокль можно ставить по глазам...

2 марта 1932. Умер Полонский. Я знал его близко. Сегодня его сожгут — носатого, длинноволосого, коренастого, краснолицего, пылкого. У него не было высшего чутья литературы; как критик он был элементарен, теоретик он тоже был домотканый, самоделковый, стихов не понимал и как будто не любил, но журнальное дело было его стихией, он плавал в чужих рукописях, как в море. Впрочем, его пафос, пафос журналостроительства, был мне чужд, и я никогда не мог понять, из-за чего он бьется. Жалко его жену Киру Александровну. Помню, во время полемики

с тупоумцем Рязановым он часто приходил ко мне в гостиницу и читал статьи, направленные им против этого — в ту пору влиятельного человека. Статьи были плоховаты, но смелы.

Я хотел бы продолжить «Солнечную». В «Солнечной» я поставил себе целью прославить гениальную советскую систему коммунальной медицины. Нигде в мире нет такого широкого обхвата медициной и санаторным лечением широчайших слоев населения. Но требуется кроме этой темы ввести и другую: дальнейшая судьба Бубы, которая в действительности очень интересна. Он приехал в Ленинград, Боба помог ему устроиться в гидротехнический техникум, я дал ему денег (немного, вернее, давал эпизодически то 30, то 40, то — один раз! — 60 рублей) — и теперь он твердо стоит на ногах, хотя, конечно, видно, что он калека.

Сейчас позвонил мне Илья Зильберштейн. Ипполит (редактор «Лит. Наследства») принял к печати мою статейку о Слепцове и «Сцены в полиции».

Пойду в «Academia» и в «Литгазету». Сия последняя должна мне деньги. В «Литгазете» афронт. Так как свою статейку «Кадавр» (которую они так исказили) я написал для игривости в виде открытого письма к Кирееву, они решили не платить мне ни гроша — «за письма в редакцию гонорара не полагается»*.

А потом, как водится, позвонила Лядова: «Халатову нездоровится, ваше чтение переносится на 5-е».

Очень много хлопот у меня с Тыняновым. Он отправил Елену Александровну с Инночкой за границу, и нет никаких способов доставить им валюту на обратный отъезд в СССР. По его поручению я должен был говорить с Халатовым — просить, главным образом, билетов из Берлина на Ленинград. Халатов согласился сделать все возможное. И вот наконец обнаружилось, что он устроил, но не два билета, а один, и не в Ленинград, а в Москву. По этому поводу от Тынянова приходят отчаянные телеграммы, которые будят меня ночью, а Халатов болен, а бедные Инна и Елена Александровна там.

С Лядовой мы пошли к Виноградову, и он шепотом сообщил мне, что Ионов из «Academia» уходит, снят, равно как и Ежов — за сопротивление Горькому. Виноградов торжествует. Кто будет вместо Ионова, неизвестно. Мне Ионова очень жалко. Он сумасброд, но он никогда не был интриганом, он всегда все говорит людям в лицо, он страстно любит книгу, хотя, может быть, и не всегда умеет отличить хорошую от плохой.

На днях я был у него и между прочим заговорил о Зильберштейне. Он говорит: «Подальше, К. И., от Зильбершейна. Не люблю его».

Я говорю: «Да, но он сделал отличную книжку журнала».

Ионов: Да, да, да! Превосходную. (И лицо у него расцвело). Вы правы... Нет, Зильберштейн ничего. Молодец!

Я много воевал с Ионовым во времена «Всемирной Литературы» — из-за Тихонова. Но этот человек странным образом сделал мне много добра: ему принадлежит инициатива издать в ленинградском Совдепе «Крокодила», он поручил мне редактуру Некрасова, и пр., и пр., и пр. И просто как человек он мне мил.

4 марта. От Лиды неплохое письмо*: «26/II явилась бумажка: ты задолжал за 29/30 г. 520 р. налогу, пеней наросло 570. Итого 1090 р. нужно немедленно заплатить. Бедная мама, кротко тебя поругивая, отправилась к фину. Фин хамил. Обещал 29/II придти описывать мебель. Мама два дня убила на эти дела и очень устала. Но результаты большие: дали отсрочку до 20/III» и пр.

Телеграмма от Тынянова:

«Почему послан один билет? прошу похлопотать втором. Телеграмма Берлина второго марта билетов нет. Пятьдесят четыре мало даже на один. Простите беспокойство».

Был вчера у Зозули. Уговорил его приобрести у меня книжку — В. Слепцов. «Рабочие в шестидесятых годах». Авось эта халтурка даст рублей 250. Надеюсь спустить ему также и Воронова «Хуже собаки»*. Это сразу погасило бы финову злобу. Вторую ночь не сплю. Вчера весь день клеил для «Лит. Наследства» статейку. Александра Ивановна переписала ее начало, но ушла в Румянцевский Музей — а Зильберштейн рвет и мечет: надо сдавать материал в типографию.

Пойду сегодня опять хлопотать о гонораре из «Лит. газеты». О, как надоело мне это мыканье по редакционным передням, которому не видно конца. Но каково Марии Борисовне после всего, что она пережила, гонять в виде отдыха по финотделам и канцеляриям!

Казалось бы, ну много ли нам нужно: ведь всего два человека. А между тем оба работаем каторжно, и вот уже 3-й месяц не могу положить в сберкассу 300 рублей, и продал книги, и весь в долгах [вырвана страница — *Е.Ч.*]

...вы так же мало понимаете в валюте, как мы в ваших стихотворениях и драмах») — но потом все устроилось, Базилевичу выдали для Тыняновой еще 50 р. золотом, о чем я с торжеством сообщил Юрию Николаевичу.

Марии Борисовны все нет. Вчера ездил в «Лит. газету» за деньгами трамваем «А». И смотрел из окна на Москву. И на протяжении всех тех километров, которые сделал трамвай, я видел од-

но: 95 процентов всех проходящих женщин нагружены какою-ниб. тяжестью: жестянками от керосина, корзинами, кошелками, мешками. И чем старше женщина, тем тяжелей ее груз. Только молодые попадаются порою с пустыми руками. Но их мало. Так плохо организована добыча провизии, что каждая «хозяйка» превратилась в верблюдицу. В трамваях эти мешки и кульки — истинное народное бедствие. Мне всю спину моего пальто измазали вонючею рыбою, а вчера я видел, как в трамвае у женщины из размокшей бумаги посыпались на пол соленые огурцы и когда она стала спасать их, из другого кулька вылетели струею бисквиты, тотчас же затоптанные ногами остервенелых пассажиров. Это явление обычное, т. к. оберточная бумага слабей паутины.

И еще: во всех бульварах, которыми проезжал мой трамвай, копошатся тысячи детей, очень здоровых, веселых, упитанных. Грудных, которых матери вынесли на солнышко, тоже изумительно много. Все скамьи (буквально все!) заняты грудастыми бабами, держащими на коленях младенцев.

И очень много беременных. Приветствуют пузом весну.

И в трамваях наверху над окнами целые трактаты на самые разнообразные темы: о глухонемых, об эсперанто, о пятилетке и проч.

Был у Корн. Люц. Зелинского. Обедал — и узнал от него потрясающую вещь о только что произведенном покушении на германского посла. Какой-то мерзавец, очевидно, затем, чтобы провоцировать войну, выстрелил шесть раз подряд в автомобиль германского посла (на углу Никитской и Леонтьевского). К счастью, в автомобиле был не посол, а его секретарь, оставшийся каким-то чудом в живых. Проходящий мимо красноармеец арестовал стрелявшего.

У Зелинского был Агапов, умный, басовитый, солидный. Жена Зелинского Елена Михайловна на этот раз мне не понравилась: иронична, язвительна, снедаема безлюбием. Прежде мне она казалась лиричнее, мягче. Литературная эрудиция у нее очень большая. У них в доме две служанки, и она сказала шутя, что она надеется, что ее муж не живет ни с одной. Я сказал: «А разве были такие писатели, которые жили со своими служанками?»

— Гете, Руссо, Генрих Гейне, Герцен, Тургенев, Некрасов! — скороговоркой сказала она, как будто специально изучала этот важный вопрос.

Зелинский едет куда-то в деревню повидать еще одного столетнего старца. Это сделалось его специальностью.

1932 **7/III 32.** Вчера вызывает меня к себе Зильберштейн — и вместе с Ипполитом показывает мне книгу «Трудное время» Слепцова с предисловием Горького!!![*] Хорошего я сыграл идиота. Написал о «Трудном времени» большую статью, изучил всю литературу о нем, разыскивал повсюду беглые упоминания о нем всякого третьестепенного писаки — и проморгал Горького!!! Правда, статья очень шаткая, в ней смешаны 60-е гг. с 70-ми, есть несколько неточностей, но дана чудесная характеристика «*Писем об Осташкове*». И я сдал два тома Слепцова в «Academia», не подозревая об этой статье!!

Зильберштейн дал мне материалы о Некрасове, скопившиеся в «Лит. Наследстве». Хорошо написанная статья Бухштаба, со скрытым недоброжелательством ко мне. Он скрывает от читателей, что я сомневался в подлинности стих[ов] Муравьеву. Молодой человек, такой вежливый, был моим секретарем, пользовался моими советами... — но это старая история.

Вечером был у Виноградова. У него замечательная девочка Надя. Он рассказывал мне о ярости Горького, о своем столкновении с Каменевым и — о болезни Тынянова. До Москвы дошли тревожные слухи о его болезни и о безденежьи. РАПП дал поручение Чумандрину справиться и, если нужно, помочь.

Лютый мороз. Солнце. Тоска нестерпимая. М. Б. не едет. Переделываю Воронова — в сущности, пишу его повести заново для «Молодой Гвардии».

8/III. Женский день. Снежная буря — с утра. Парикмахер:

— И почему это у женщин есть день, а у мужчин нету? Почему нету мужского дня?

Послал М. Б. еще сто рублей. Все мои утра проходят в интенсивном ожидании ее появления. Я уже давно не дремлю после завтрака, а лежу и нервически прислушиваюсь к шипению лифта. Благо квартирка Шатуновских такая фанерная, что в другом ее конце слышно, как каплет из крана и пр. Сегодня в «Правде» письмо Сейфуллиной[*] — о, как непохоже оно на тот буйный черновик, который она мне читала.

Сегодня я читаю в театре Халатова свою разнесчастную «Солнечную». Ночь не спал, держал корректуры 1-го тома Слепцова (сверстанного), вписывал туда горьковские и другие отрывки, провороненные мною. Из окна дует.

9. III. Вчера над Москвой пронеслась ужасающая снежная буря. И это как нарочно в тот день, когда я должен был читать свою «Солнечную». Вихри такие, что казалось, будто снег идет не

сверху, а снизу, с земли и взметывает вверх на крышу 10-тиэтажного дома. Вышел я к трамвайной остановке — трамваев нет, а на месте не устоять, несет. Понесло меня через мост, так и сдувает в реку. На улицах — то сугробы, то ледяные лысины, лицо стало обледенелое, мокрое, калоши набрали снегу — еле добрался до Петровских линий.

Народу все же много: Заславский, Халатов, Лядова, служащие халатовского театра*. Рапп, Библиографический отдел и т. д. Заславский стал неузнаваем. Волосы придавали ему талантливый вид! Торчал на голове замечательный чуб. Теперь голова лысая — и лицо стало совсем другое. Другая улыбка, другое выражение глаз. Халатов грузен, добр, одинок. Не было никого равного ему по чину: чувствовалось — Халатов и другие. Я, читая «Солнечную», все время думал, что она аудитории не нравится, и потому читал ее плохо, комкая и пр. Главное, смущала меня ребячья аудитория: прямо против меня сидело человек 12 каких-то 13-летних ребят — зеленолицых — и угрюмо безмолствовало. Когда я кончил читать, на столе оказались роскошные бутерброды с ветчиной, с колбасой, с сыром — ребята ушли в другую комнату как присяжные — и их староста через несколько минут сказал от их лица: «вещь отличная, интересная, лица как живые, жаль, что нету ничего о Фезеу». Другие тоже похвалили. Какой-то Злобин сказал: «вещь мне нравится тем, что в ней нет никакой Чуковщины». Я обиделся, он извинился. Но вообще о моих прежних писаниях все осведомлены очень плохо. «Крокодила» как будто и не было. Словом, все вышло не так, как могло бы выйти — из-за погоды, и из-за того, что кроме меня некий Ник. Ник. Бобров в тот же самый вечер стал читать свою книгу о ЦАГИ. К сожалению, книга написана в духе туризма. Эпизоды расположены в порядке номеров 1+1 +1+1 — метод совершенно порочный — кое-что было интересно, но в общем, многопудовая скука. Впоследствии оказалось, что ребята здешние, театральные, околачиваются тут целыми днями. Они имели терпение выслушать всю вещь Боброва и вынесли приговор: «Тема довольно интересная, но вещь написана плохо».

Халатов вступился за эту вещь, но вяло. И уехал. Женщины какие-то вроде актрис приехали откуда-то доедать бутерброды. Обратный путь был так же мучителен. Очевидно, М.Б. не приедет, т. к. сугробов намело в рост человека. Окна, выходящие на юг, закрыты снегом до половины. Я весь день занимался корректурой слепцовского тома. Начинаю выкарабкиваться. Остались: подстрочные примечания, указатель и другие второстепенности. Написал в «Academia» просьбу, чтобы мне увеличили гонорар. Лю-

бопытно, что в «Academia» всем говорят, будто Ионов уехал в отпуск и через 20 дней вернется.

11/III. Сильнейшая головная боль; таких болей у меня еще никогда не было. И сердце. Сердце так болело всю ночь, что опухла левая рука, как когда-то у Слонимского... Я хоть и гоню от себя воспоминания о Мурочке — о том, что теперь 4 месяца со дня ее смерти, но вся моя кровь насыщена этим. Вчера черт меня дернул к Тихонову, Ал. Н-чу. В редакцию «Истории заводов», в тот дом, где жил Горький. Снежная буря прошла, но снег шел еще очень обильно, когда я пробрался от улицы Герцена к тому особняку, где жил когда-то Рябушинский, где потом был Госиздат, потом ВОКС, а потом поселился Горький. Особняк так безобразен и нелеп, что даже честные сугробы и глыбы снега, которыми он окружен и засыпан, не смягчают его отвратительности. У Рябушинского я был в этом особняке однажды — и странно, он разговаривал со мною о том, не может ли «Нива» сделать «Золотому Руну» какую-то грошовую скидку за объявление. Странно было среди дорогих картин и бронз слушать разговоры о 12 рублях. Потом я был здесь у В. В. Воровского, когда он стоял во главе Госиздата. Воровский сказал мне, что Ленину понравился мой некрасовский однотомник — и его секретарша Галина Константиновна достала откуда-то небольшой листок бумажки с отзывом Ленина об этой книге — и дала ему — и он на основании этой бумажки — говорил со мною ласковее, чем при первом свидании. Но где эта бумажка, я не знаю.

Теперь дверь этого дома заколочена. Кругом дома решетка, закрытая старыми, когда-то крашеными досками с надписью М. Г. Х. Но дом угловой, и если войти в переулок, там можно найти незаметную калиточку — и открывается большой московский двор с очень милыми флигелями, и там груды снегу, белизна, уют, что-то деревенское, наивное — и вывески висят идиллически: «СССР на стройке», «Наши достижения», «История заводов». Я пошел в «Историю заводов». Одноэтажный домик, в первой комнате большой стол и за ним 3 пишбарышни, которым решительно нечего делать, пудрятся и перекобыльствуют. Тихонова я не дождался, поехал в «Молодую Гвардию», выхлопотал для Марии Борисовны автомобиль и на радостях поехал в театрик им. Халатова слушать доклад Лядовой, который не состоялся. Были Магидович и С. Д. Разумовская. Гриц. Мы обсуждали план будущих книжек, и у нас родилась идея классической библиотеки для школьников. Любопытно, что мы все в мечтах очень либеральничали: решили издать «Золотого жука» Эдгара По, рассказы Мопассана, стихи Шиллера, но потом, когда составили книг десять,

спохватились: «Что мы наделали!!» — и стали спешно вписывать туда Барбюсов и Эптонов Синклеров. Решено обратиться к Горькому (конечно) за всеспасительным предисловием. Во время разговоров у меня сверхъестественно разболелась голова — и я пришел совсем больной, расклеенный.

13/III 1932. Больные, лежащие теперь в Кремлевской больнице, рассказывают, что г. фон Твардовский, подстреленный Штерном*, был на первых порах демонстративно молчалив и презрителен. На спине у него обнаружили огромный карбункул, который главным образом и вызывал у него высокую температуру (а отнюдь не рана, нанесенная Штерном). Врачи разрезали этот карбункул — температура сразу упала. Узнав, что он большой ловелас, к нему (будто бы) приставили самых смазливых сестер — и он в конце концов разговорился. От кремлевской больницы и от тамошней пищи он в полном восторге, уписывает колоссальные порции.

Я вожусь с корректурой сверстанного Слепцова (т. I). Мне прислали экземпляр, непроправленный. Так что я должен был держать не только авторскую, но и «*корректорскую*» корректуру, 686 страниц. Так как такую ответственную корректуру можно держать лишь вдвоем, я пользовался всеми приходящими к Шатуновской людьми: и Екат. Григорьевна, и какая-то Елена Александровна, и совсем незнакомые мне гости ее — считывали со мною Слепцова. Вчера я занимался этим весь день, с утра до ночи и все же «Письма об Осташкове» сдал Александре Ив-не.

От Тынянова снова получил отчаянное письмо: он сам болен, жена его *не* получила высланного ей отсюда билета, и он боится, что из Москвы высланы ей не 50 рублей, а 50 марок. Получив это письмо, я пошел к Виноградову.

(Юра болен, лежит — но весь поглощен своей моделью турбины, возле него мама и две его бабушки, Надя, которая безропотно служит ему: он самоуверен и очень односторонен).

Виноградов изобразил на своем невыразительном лице большое волнение, надел свой военно-летный костюм — и сказал: идем! Мы пошли через сад Румянцевского музея (погода зимняя, ясная, крещенская) — проехали одну остановку в трамвае — и очутились у горьковского особняка. Виноградов там свой человек. Крючкова нет, он оставил Крючкову записку, и через 5 минут мы уже мчались на другом трамвае к Кольцовым (я хотел добыть для М. Б., которая приезжает сегодня, машину). Даже на улице видно, какой целеустремленный человек Виноградов. Он идет кратчайшими путями, движения его четки и уверенны, все у него ладно и быстро. По дороге он опять бранил Ионова: хам,

грубиян, который не годится даже в начальники провинциальной полиции.

— Вы говорили, — сказал я, — что Ионов будто бы отрешен от «Academia», а между тем все говорят, что через 2 недели он вернется.

— Вернется в Бутырки! — подхватил Виноградов.

Не делая ни одного лишнего шага, по самой кратчайшей линии прошел он в Дом Правительства к Кольцовым. Кольцов сейчас в Берлине: хочет посмотреть выборы Тельмана и Гитлера. Радушная Лизочка сделала нам какао, уставила весь стол яствами: не хотите ли пива? киселя? утки? колбасы? вина? и т. д. Я сказал, что мне нужен на завтра автомобиль — для Марии Борисовны. Кольцова сейчас же принялась энергично звонить в гараж — к какому-то Василию Ивановичу, бывшему шоферу ее мужа — и обещала завтра к 9 часам прислать мне авто. Таким образом утром 13-го у моего подъезда будет целых два автомобиля — в моем распоряжении.

От Кольцовых Виноградов позвонил Крючкову, тот переговорил с Халатовым и клянется, что Халатов сегодня же вышлет Тыняновой *50 долларов!!!*

Сегодня приезжает М. Б. По этому случаю я не заснул ни на миг. Отыскивая для нее машину, я позвонил Брику. Оказывается, что он уже ликвидировал автомобиль, доставшийся ему от Маяковского. «Обходилась нам эта машина до 500 р. в месяц, и все равно мы ею не пользовались, а ездили в трамвае, т. к. ее постоянно приходилось чинить».

Потом побежал к Ионовой Александре Семеновне. Роскошь ее квартиры поразила меня. Картины, редкости, великолепная библиотека, полная всяческих уникумов. Она утверждает, что Ионов — уехал в командировку в Лейпциг всего на 20 дней и что по истечении этого срока он опять вернется в «Academia» (а отнюдь не в Бутырки).

Софья Дмитр. Разумовская говорит, что «Хуже собаки» теперь уже в полном порядке, но нужно придумать какой-то конец.

14. III. Приехала М. Б. Чтобы встретить ее, я достал 2 автомобиля: от Цванкина и от Кольцовой. Воспользовался кольцовским. Еще нигде с нею не были: только у Сейфуллиной. Сейфуллина выздоровела. Она уже была в ЦК на заседании. Там, по ее словам, Халатов докладывал о моей «Солнечной» — как о вещи «вполне превосходной». Сейфуллина рассказывает, что ее письмо (ответ Волину), «которое напечатано в «Правде», было сильно переделано Ярославским. Ярославский прислал за ней автомобиль и доказывал ей, что она пишет это письмо для заграницы и что «не

надо давать козыри нашим врагам». В апреле Сейфуллина хочет ехать в Вену. Ее зовет театр, который ставит ее «Попутчиков» (театр познакомился с этой вещью лишь по первым двум актам — и обещает ей столько валюты, что ей не придется тратить ни гроша советских денег). Она заговаривала об этом с власть имущими. Но каждый (очень забавно) переводил разговор на другое. Она говорила Кагановичу:

— А я вот в Вену собираюсь.

Он сейчас же:

— Как же вы вернетесь с этого заседания домой? Есть ли у вас машина? Дайте я вас подвезу.

М. Б. привезла «Крокодила», переведенного на английский язык Бабеттой Дейч. Черт знает что!

17/III. Вздумал я развлечь М. Б-ну. В этом же Доме Правительства, где мы сейчас живем, есть кино. Мы пошли туда на пьесу «Две встречи»*. Я даже не знал, что бывают такие гнусные пьесы. Ни выдумки, ни остроумия, ни пафоса, все неуклюже, сумбурно, банально, натянуто. И вдруг: туннели по дороге в Севастополь, тот Севастопольский треклятый вокзал, — все, связанное с Мурочкиной гибелью, — для меня навеки тошнотворное. Я в ужасе выскочил из кино, М. Б. за мною. Развлеклись до слез.

Были у Александры Ив. в гостях, у Добраницких. М. Б. познакомилась с Лядовой. Надо мной висит опись моей квартирной обстановки (Наркомфин требует у меня вторичного взноса денег, которые я уже уплатил), Лядова принуждает меня подписать договор на «Гутив», что мне весьма не хочется, хотя дают 400 р. за печатный лист, и вообще всевозможные льготы. Разумовская требует, чтобы я к «Хуже собаки» сделал какую-то концовку, а у меня в голове — пустота.

18/III. Вчера с утра были мы с М. Б. в Третьяковке. Раньше всего я хотел повидать свой портрет работы Репина. Дали мне в провожатые некую miss Гольдштейн. Пошли мы в бывшую церковь, где хранятся фонды Третьяковки. Там у окна среди хлама висит мой разнесчастный портрет. Но что с ним сталось? Он отвратителен. Дрябло написанное лицо, безвкусный галстух, вульгарный фон. Совсем не таким представлялся мне этот портрет — все эти годы. Вначале в качестве фона была на этом портрете малиновая бархатная кушетка, очень хорошо написанная, отлично был передан лоснящийся желтый шелк, а здесь черт знает что, смотреть не хочется. С души воротит. Гадка эта яркая рубаха с зеленым галстухом. Пошли мы по галерее. Она сильно выиграла от

тесноты, т. к. в ней теперь только первоклассные вещи. Вновь очаровали меня, как и в молодости, — Серов, Бакст (портрет Розанова!!!), Левитан, Ге, Сомов, Репина — Мусоргский и Писемский.

19/III. Безграмотный, сумасшедший, нравственно грязный инженер Авдеев — предложил начальству эффектный план: провести в Москву от Сызрани — Волгу и таким образом «по-большевицки изменить лицо земли». Коммунистам это понравилось, и они создали строительство «Москанал». Так как Волга у Сызрани протекает по высоким местам, выше уровня Москвы, то в Москву она пойдет самотеком, но стоить это будет не 200 миллионов, как утверждает Авдеев, а никак не меньше 700. Если же пустить ее не с Запада, а с Севера, от Шуши, да воспользоваться Истрой, то это дело обойдется действительно не больше 200 000 000, но воду надо будет гнать насосами. Нужна ли нам Волга в Москве? Скептики говорят: не очень. Во 1-х, потому, что до Нижнего — Волга не Волга, а мелочь, во 2-х потому, что водного транспорта у нас почти еще не существует. Правда, не хватает воды для питья и вообще для нужд московского населения, но ее можно получить при помощи небольшого канала вчетверо дешевле и скорее.

Видел вчера выставку картин Фогелера* — препротивная. Она кажется особенно несчастной оттого, что ее устроили в Щукинском музее: рядом с Ван Гогом, Ренуаром все эти пестренькие штучки особенно жалки. Но он сам мне понравился: простодушный, прямой. Заметив, что я ушел смотреть французов, догнал меня и стал уводить подальше от своей выставки — восхищаясь вместе со мной Ван Гогом. Ему 61 год. Он в легком пальто. У него 7-летний сын.

20/III. Сейчас вернулся с Цаги. Был там вместе с Бобровым, который пишет книгу об этом предмете. Впечатление потрясающее. Труба, канал, завод. Видел «Аэнте-16» и «Аэнте-20», катался по каналу в «тележке».

Из-за этого стоило приехать в Москву.

Письмо от Бобы:

«19/III. Мама и папа. Когда вы приедете? Мне одному тут в пустой квартире скучновато. В день маминого отъезда Зуза от меня ушла — вышла замуж за одного парня, и я эти несколько дней бродил нос повесивши. Сейчас ничего, но все же неважно, настроение плохое, и я не занимаюсь».

Лаконизм большого страдания. Эта Зуза была для него всё. Когда она должна была придти, у него совсем менялось лицо, и

даже когда он у меня в комнате говорил по телефону, — я видел по его улыбке, что сегодня к нему придет Зуза. И какая умеренность выражений: «скучновато». Небось из-за этой «скучноватости» выл несколько дней, как сумасшедший.

Сегодня у меня свидание с Халатовым и Каменевым.

Я только сейчас удосужился просмотреть перевод моего «Крокодила», сделанный Бабеттой Дейч. Эта женщина меня зарезала. Банальщина дамских детских книжек, сочиняемых сотнями. Все то, ради чего написана эта книжка, исчезло. Вместо «тысячи порций мороженого» какое-то идиотское мямление.

23/III. Гъте, Гёте (Гьоте) и даже Гетё (как дитё). Одна комсомолка спросила:

— И что это за Гетё такое?

В самом деле, ни разу никто и не говорил им о Гетё, им и без всякого Гетё отлично — и вдруг в газетах целые страницы об этом неизвестном ударнике — как будто он герой какого-нб. цеха. И психоз: все устремились на чествование этого Гетё. Сидя у Халатова в прихожей, я только и слышал: нет ли билета на Гъте, на Гьоте, на Гетё. А дочь Лядовой спросила ее по телефону:

— У тебя есть билет на Гнёта?

Говорят, тоска была смертная. Так как Луначарский был в Женеве, и никто не знал, вернется ли он к торжеству, а выпустить Каменева сочли неудобным, то ухватились за плюгавого Когана, (на всякий пожарный случай), но Луначарский вернулся к сроку, и Коган оказался не нужен. Однако устранить его не удалось, и публика при его появлении стадами повалила из зала.

Мне удалось выпросить у Халатова паек для Н. Н. Боброва, автора Цаги.

От Пахомова письмо: откладывает с иллюстрациями к «Солнечной». «Еж» неизвестно выйдет ли.

Был сегодня у главы цензуры — у Волина в Наркомпросе. Поседел с тех пор, что не виделись. Встретил приветливо и сразу же заговорил о своей дочери Толе, которая в 11 лет вполне усвоила себе навыки хорошего цензора. — Вот, например, № «Затейника». Я ничего не заметил и благополучно разрешил, а Толя говорит:

— Папочка, этот № нельзя разрешать.

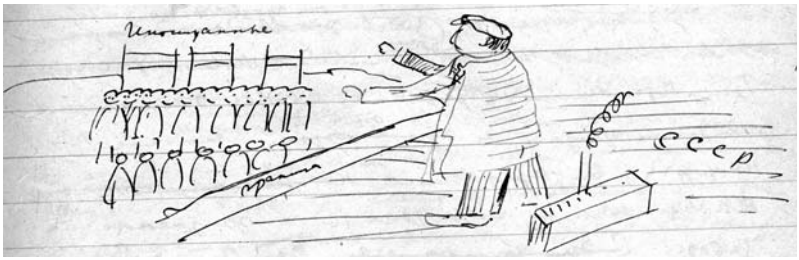
— Почему?

— Да вот посмотри на обложку. Здесь изображено первомайское братание заграничных рабочих с советскими. Но посмотри: у заграничных так много красных флагов, да и сами они нарисованы в виде огромной толпы, а советский рабочий всего лишь

один — правда, очень большой, но один — и никаких флагов нет у него. Так, папа, нельзя.

Отец в восторге.

Картинка из «Затейника» такая:



И действительно, нужен очень зоркий глаз , чтобы заметить здесь, как выражался Некрасов — кадавр[1].

1932. 25/III. Я был на «Амо». К сожалению, визит был короткий, т. к. Цванкин дал мне машину всего на 2 $^{1}/_{2}$ часа. Если поставить амовские корпуса рядом, то выйдет добрая четверть Невского проспекта. Огромный двор весь уставлен автобусами, экспрессами (голубыми), броневиками и грузовиками.

На фронтоне одного из корпусов — полотнище с лозунгом:

«СТАЛИНЦЫ!
НА ШТУРМ ВЫСОТ НОВОЙ ТЕХНИКИ»

И хотя я часто читаю подобные лозунги без пиетета, ибо они кажутся мне однообразными, казенными, банальными, здесь они чрезвычайно уместны. Я вспомнил Колино рассуждение о том, что наши учреждения — есть эманация заводской жизни, и оттого многое, что кажется в учреждениях фальшивым, — естественно и жизненно на заводе. То, что в бюрократической системе какого-нибудь ГИХЛа является нелепой натяжкой, то здесь на «Амо» — нужнейшая вещь. Вообще я попал в атмосферу величайшей ладности, умелости, организованности, и это радует как произведение искусства.

Я устал. По дороге шофер ругал мне привозные фордики и хвалил мерседесы. «Приехал к нам один американец. С поезда. Ему приготовили такси — форду. Он обиделся: не дождется форда, чтоб я на ней ездил! Лучше на извозчике поеду. — И поехал на извозчике».

[1] кадавр (от французского cadavre) — труп.

26/III. Я все еще под впечатлением «поэмы». Здесь, в Москве — в этот мой приезд — у меня 2 равноценных впечатления: «Во́лны» Пастернака и завод «Амо».

Сегодня в 12 часов, если погода будет ясная, я и Бобров — мы оба полетим на А.Н.Т.-14 вместе с летчиком [пропуск в оригинале. — *Е. Ч.*], с тем самым, который недавно спустился на парашюте. Бобров хорошо рассказывает о тогдашних его впечатлениях.

«Лететь на нераскрывшемся парашюте — ужас. Кажется, что он никогда не раскроется. Но вот раскрылся. Наступает блаженство: не замечаешь движения в воздухе. Кажется, что повис — и будешь вечно висеть над землей. И я так спокойно почувствовал себя, летя вниз на землю, что захотел покурить».

Поглядываю на небо. Будет ли солнце? Сегодня авиатору нужна будет максимальная высота, он хочет испытать «потолок» своей новой машины, и если на небе будет мгла, он не полетит.

А мусорная куча на месте Храма Христа Спасителя все еще не разобрана. Копошатся на ней людишки, вывозят ее по частям, но она за весь этот месяц не уменьшилась. Ее окружает забор, в щелки которого жадно глядят проходящие. На заборе несколько вывесок: «берегись трамвая», «Цехкомитет I участка», «Строительство Дворца Советов при Президиуме ЦИКа СССР. Контора I участка». Некоторые вывески: серебряные буквы на черном стекле. В Москве теперь такая мода: стеклянные вывески с академически-простым шрифтом. Вся Москва увешана ими. Причем размер вывесок сильно уменьшился.

27/III. Был вчера у Жанны Матвеевны Брюсовой, жены Валерия Брюсова. Она — родом чешка, крепкого заграничного качества и до сих пор моложава и деятельна с проблесками прежней миловидности немецкого типа. Я получил от нее очень любопытный подарок: письмо В. Я. ко мне, написанное (и не отправленное) десять лет тому назад, в 1922 году*. Я так взволновался, что даже не стал его читать: письмо от покойника — из могилы — и пр. Хотя в комнате осталось почти всё, как было при Брюсове: те же шкафы с книгами, те же портреты (Жуковский, [В оригинале пропуск. — *Е. Ч.*], тот же бюст Ив. Крылова, тот же письменный стол, но, к удивлению моему, все это приобрело хламный неврастенический вид: нет той четкости, демонстративной аккуратности, которая была характерна для Брюсова. Поэтому комната совершенно потеряла брюсовский отпечаток: те полки, на которых так стройно и даже чопорно стояли навытяжку книги о Пушкине, теперь скособочились, запылились, сделались истрепанной рванью. Ничего особо неряшливого в этом нет, но по сравнению с оцепенелой и напряженной аккуратностью той

же обстановки при Брюсове — это ощущается как заброшенность, хламность, халатность. Картинки — на бок, на столе ворохá бумаг. Когда я вошел, Жанна Матвеевна разбирала черновик Брюсовского письма к Горькому (1901), где Брюсов отмежевывается от всякой политической партийности и выражает несочувствие бунтующим студентам. «Я каждое явление воспринимаю под знаком вечности, и партии для меня — детская игра, но мои стихи разрушительны и сами по себе служат революции, потому что «вечность» не мешает мне чувствовать свою связь с данным отрезком времени» — вот смысл этого письма. Жанна Матвеевна перекраивает его на революционный лад. выбрасывая из него все его *но*. Она пишет для изд-ва «Academia», которое намерено выпустить двухтомного Брюсова. Жаловалась на Ашукина, который «туп и труслив», хвалила Поступальского, который теперь пишет большую статью о Брюсове («кажется, он включит туда даже 6 условий т. Сталина»*), — и под конец призналась мне, что в Брюсовский перевод «Фауста» (к которому Брюсов относился как к черновику) она уже после смерти поэта внесла много своих поправок и собственных стихов (напр., песня «Halb-Hexen» — «полуведьмы») — а также и в перевод «Энеиды». «Габричевскому я, конечно, сказала, что нашла эти вставки в бумагах В. Я. Вы меня не выдавайте, пожалуйста».

29/III. Лиза Кольцова подвезла меня и Н. Н. Боброва по талому снегу, по непроходимым лужам мимо зоопарка (по Кудринской) в объезд (по Тверской не пускают) на аэродром — на Ходынку. Дорога — сволочь. Подъехали к воротам — не пускают. Наконец какими-то закоулками, увязая в снегу, теряя калоши — добрались. Здания: стекло и железо, чистые, легкие, немного норвежские.

Познакомился тут же с Мих. Мих. Громовым, знаменитым летчиком. Лицо молодое, *как у всех летчиков: надменное и простодушное сразу*. Из окна на снегу стоят полукругом шесть машин и среди них самая большая АНТ-14, у которой уже вертятся три винта из пяти. Звук — призывный, весенний, чуть-чуть эротический, машине не терпится.

Вышли на лестницу. Плакат: «Не пожар, а паника страшна при появлении пожара». Подошли к АНТ. Здорово дует от винтов. Уже все 5 вращаются, как мельницы. Вес машины 16 тонн.

Влезаем внутрь. Громов в неудобных для ходьбы лётных ботах идет на свой трон. Вагон для багажа. Соломенные кресла. Пилотская кабина. Садимся ближе к носу. Видим, что винты завертелись сильнее. Пошли по снегу. Двинулись влево. Из окна видна наша лыжа.

Выезжаем на старт и в 20 м. второго поднимаемся. Женщины в кожаных пальто улыбаются. Над кустарником. Над поселком. 130 км. в час. Лесок на снегу — как козьи «маслинки». И вот возникает изысканный мелкий японский рисунок, припорошенный снегом, — Москва. Гравюра. Москва-река! Дом Правительства — одиннадцатиэтажный дом как бородавка. Человечков не видать. Мертвая, пустая Москва. Казанский вокзал. Три четверти 2-го. Конец.

Скользим по снегу. Пахнет бензином. Въехали в те самые следы! Вылезаем. Ниточка — управляющая рулем. — Плакат:

«Товарищ. Не забудь, что от твоей работы зависит человеческая жизнь».

30/III. Словом, полет был так безопасен, прост, бесхитростен, что не оставил во мне никакого впечатления.

Вчера я был с мисс Ли в Музее революции. Безвкусно и балаганно. Насколько лучше этот же музей у нас в Ленинграде! Все эпохи даны в одном и том же стиле. Шестидесятые годы имеют такое же оформление, что и 1905 и 1917 г. Нет исторической атмосферы, все вымазано кумачовой краской, и халтурщики-гиды в каждой комнате орут, надрываясь, одну и ту же банальщину. Ада Гуревич показывала нам все эти вульгарные и малоинтересные штуки, рассчитанные на лошадиную психику. Я хотел увидать Каракозова, но оказалось, что он представлен... кадрами фильма «Дворец и крепость»*. Я обозлился и пошел спать. Вечером позвонил мне Пастернак. «Приходите с Чукоккалой. Евг. Влад. очень хочет вас видеть». Я забыл, кто такая Евг. Влад., — и сказал, что буду непременно. Но проспал до 10 ч. — и поздно пошел по обледенелым улицам на Остоженку в тот несуразный дом со стеклянными сосисками, который построен его братом Александром Леонидовичем. Весенняя морозная ночь. Звезды. Мимо проходят влюбленные пары с мимозами в руках. У подъезда бывшей квартиры Пастернака вижу женскую длинную фигуру в новомодном пальто, которое кажется еще таким странным среди всех прошлогодних коротышек. Она окликает меня. Узнаю в ней *бывшую* жену Пастернака, которую видел лишь однажды. Она тоже идет к Б. Л. и ждет грузина, чтоб пойти вместе. Грузин опоздал. Мы идем вдвоем, и я чувствую, что она бешено волнуется. «Первый раз иду туда, — говорит она просто. — Как обожает вас мой сын. Когда вы были у нас, он сказал: я так хотел, чтобы ты, мама, вышла к Чуковскому, что стал молиться, и молитва помогла». Пришли. Идем через двор. У Пастернака длинный стол, за столом Локс, Пильняк с Ольгой Сергеевной, Зинаида Николаевна — (новая жена Пастернака), А. Габричевский, его жена Наташа (моя родственница по

Марине), брат Пастернака, жена брата и проч. Через минуту после того как вошла Евг. Вл., — стало ясно, что приходить ей сюда не следовало. З. Н. не сказала ей ни слова. Б. Л. стал очень рассеян, говорил невпопад, явно боясь взглянуть нежно или ласково на Евг. Вл. Пильняки ее явно бойкотировали, и ей осталось одно прибежище: водка. Мы сели с ней рядом, и она стала торопливо глотать рюмку за рюмкой, и осмелела, начала вмешиваться в разговоры, а тут напился Габричевский — и принялся ухаживать за ней — так резво, как ухаживается только за «ничьей женой». З. Н. выражала на своем прекрасном лице полное величие. Разговоры были пошловатые: анекдотцы. Наташа стала рассказывать, как она дразнила в Коктебеле Фимочку, жену Леонида Гроссмана. Та зовет ее гулять.

Наташа: Не могу.

— Почему?

— У меня чирей.

Фимочка (*к Леониду*): Лёка, что такое чирей? — Леонид Гроссман объясняет жене, что такое чирей.

Фимочка: Где же у вас чирей, моя дорогая?

— На пупе.

Фимочка (*к Л. Г.*): Лёка, что такое пуп?

Л. Г. : Пуп это... пупочек.

Фимочка: Ах да... Пуп это — пупочек. и т. д.

Все эти волны пошлости ходили вокруг Пастернака весь вечер. В час ночи ушел Пильняк и пришел Нейгауз, бывший муж Зинаиды Николаевны. Итак, здесь два бывших мужа и две бывших жены — и как страдал этот Нейгауз! С Пастернаком у меня никакого контакта не вышло, З. Н. тоже поглядывала на меня враждебно, как будто я «ввел в дом» Евгению Владимировну. Габричевский заснул. Наташа принялась обливать его холодной водой. Пастернак смертельно устал. Мы ушли: Локс, Евг. Вл. и я. По дороге она рассказала о том, что Пастернак не хочет порывать с нею, что всякий раз, когда ему тяжело, он звонит ей, приходит к ней, ищет у нее утешения («а когда ему хорошо, и не вспоминает обо мне»), но всякий раз обещает вернуться; что сын Пастернака ничего не понимает, не хочет разговаривать с ним, что она теперь работает (рисует тракторы для массового сектора Наркомзема — кажется так)... и что до сих пор ей было легче, но сегодня, когда весна, когда солнце, ей мука...

Локс все время молчал — и скоро ушел. Теперь я понял, почему З. Н. была так недобра к Евгении Владимировне. Битва еще не кончена. Евг. Вл. — все еще враг. У Евг. Вл., как она говорит, 3 друга: Маршак (!?!), Сара Лебедева и Анна Дм. Радлова.

31/III. Вчера с утра весь день с Халатовым. По- **1932**
шел к нему в 12-й подъезд нашего Дома Правительства. Он *без шапочки*, приветливый, но занятый: с 7 $^{1}/_{2}$ у него один за другим докладчики: представители разных гизов. Один за другим. Кабинет большой, шведские полки с книгами, портрет Дзержинского, фото «Горький и Халатов», целый ряд групп: Горький и Халатов на Капри в шутовских нарядах — «валяют дураков», Халатов в длинной бумажной шапке, в шутовском халате и т. д. Стена над диваном занята оружием: топорами, револьверами, ружьями. Обсуждают какое-то дело с Пришвиным, толкуют о каких-то бонах, об одеялах для кооператива Наркоминдела, о Союзфото и пр.

При мне Халатову доложили около 200 дел, и он каждое решал немедленно, многие резолюции писал на листках, и тут же по кабинету бегала умненькая черненькая девочка, его дочь — и пробовала заговаривать с ним, но у него не было времени. На меня он взглядывал, извиняясь; изредка спрашивал: «вы меня очень ругаете?» Наконец позвал меня пить чай. За столом седоватая женщина (я думал: его жена, оказалась мать) и какой-то милый лысый человек, похожий на Вальтера Патера, который оказался Хабаловым.

Когда мы с Халатовым заговорили об издании моих детских книжек, Хабалов воскликнул:

— Их надо издать в трех миллионах экземпляров, не меньше!

И я почувствовал к нему благодарность.

Но Халатова тотчас же вызвали к телефону, и он с огорчением сказал: «Придется вам поехать со мною в Ильинское, мы поговорим по дороге». Пришел Цванкин, мы поехали.

Мы опоздали на поезд, и Халатов уже на вокзале приступил к разговору со мною. Обещал устроить мне пенсию, достать квартиру, ускорить выход Уитмена, издать мою детскую книгу для взрослых, оборудовать мне (за мои деньги) зимнее пальто и калоши — я поверил ему и обрадовался. Мы прибыли в Ильинское, нам дали отличный обед, Халатов лег спать, выспавшись, сел за карты и сыграл с Проскуряковым и Лядовой в подкидного дурака. Вернулись мы поздно — и я сейчас же лег спать.

Проснулся и поспешил в Гиз, радуясь тому, что Халатов издаст мою детскую книгу для взрослых. Он так и сказал: не надо вам обращаться в Издательство писателей. Эту книгу издадим *мы*. (*Обращаясь к Уманскому*): Дмитрий Александрович, пишите: «Предписываю Гихлу в кратчайший срок издать стихи Чуковского». С утра побежал я в ГИХЛ. На улице — встретил Соловьева, пузатого руководителя ГИХЛа. «Получили распоряжение Халатова?» — Получил. — Исполните его? — Да ни за что. Халатову легко обещать, а где я возьму бумагу? У меня нет бумаги даже на то, что-

бы издать Пушкина. Для Гете, для 2-х томов понадобилось, и то пришлось брать взаймы. Гете, вы понимаете? Издали, чтобы послать 2 экз. Бернгдорфу, германскому послу. Вообще Гете своим юбилеем обязан исключительно Штерну (который стрелял в фон Твардовского).

И все это благодушно, со смехом.

2 апреля. Вчера был у меня Пильняк — по дороге от Гронского к Радеку. Я был болен. От бессонной ночи разболелось сердце — распухла левая рука, и я лежал, не вставая. Говорит Пильняк, что в Японию ему ехать не хочется: «я уже наладился удрать в деревню и засесть за роман, накатал бы в два месяца весь. Но Сталин и Карахан посылают. Жаль, что не едет со мною Боря (Пастернак). Я мог достать паспорт и для него, но — он пожелал непременно взять с собою З. Н., а она была бы для нас обоих обузой, я отказался даже хлопотать об этом, Боря надулся, она настрюкала его против меня, о, я теперь вижу, что эта новая жена для Пастернака еще круче прежней. И прежняя была золото: Боря у нее был на посылках, самовары ставил, а эта...»

Сегодня в ОГИЗе Пильняк ни за что, ни про что получает 5000 р. Он скромно заявил Карахану, что денег на поездку в Японию он не возьмет, но что у него есть книги — десять томов собр. соч. и было бы хорошо, если бы у него их приобрели. Карахан, подкрепленный Сталиным, позвонил Халатову, Халатов направил Пильняка к Соловьеву, а Соловьев сказал:

— Издавать вас не будем. Нет бумаги. Деньги же получите, нам денег не жалко.

И назначил ему пять тысяч рублей.

«Ничего себе издательство, которому выгоднее платить автору 5000 рублей, *не издавая его*», — говорит Пильняк.

3 апреля. Вчера в прихожей Халатова — торжествующие Виноградов и Тихонов. Они победили: Ионов, по их желанию и по настоянию Горького, смещен. С 1-го апреля Ионов уже не стоит во главе «Academia». Теперь спешно ищут ему заместителя. Называют Ганецкого и Ник. Ив. Смирнова. Позже я встретил эту же пару у дверей «Academia», стоят, как заговорщики, и, прежде, чем войти, обсуждают какие-то планы.

После того, как я промыкался четыре дня в прихожей Халатова, выясняется, что никакого доступа ни в какие коопы Лозовский для меня не выхлопотал. Лядова говорит, что Халатов вообще полетит на днях. Я же сейчас решил написать ему письмо и отнести к его подъезду здесь, в Доме Правительства.

Был вечером у Кольцова. Он только что вернулся из Женевы. Острит. «А у вас здесь вся литература разогнана и приведена к молчанию. Писатели только и пишут, что письма к Сталину».

5 апреля. Халатов пал. На его место назначен как будто бы Томский. Сегодня я уезжаю в Ленинград. Успехи мои здесь таковы: Волин разрешил мне книжку моих детских стихов для взрослых в 4000 экз., я двинул свою книжку «Уот Уитмэн». Я увидал разные участки строительства, видал Сейфуллину, Пастернака, Пильняка, Кольцова, М. Шагинян, miss Lee и т. д. Впервые по-настоящему познакомился с Москвой, окончательно возненавидел московскую «Молодую Гвардию» и вообще всю бюрократическую чепуху ОГИЗа, читал вчера в радио дважды своего «Мойдодыра» — с огромным успехом.

Вот мое вчерашнее письмо к Халатову:

> «Ни одно из В/распоряжений, касающихся меня, не выполнено. ГИХЛ наотрез отказался заключить со мной договор на детскую книгу для взрослых. В. И. Соловьев прямо говорит: «Зачем я стану вас морочить и дурачить? Вся эта затея безнадежна. Если даже Горький и даст предисловие, я издавать вашу книгу не буду».
>
> «Молодая Гвардия» столь же категорически отказывается издавать мои детские книги, намеченные Вами к немедленному выходу в свет. Т. Лозовский до сих пор не находит возможности достать мне ордер на пальто и калоши.
>
> Выходит, что в течение всего этого месяца я беспокоил Вас зря».

Вчера я был в «Academia». Приехал Ионов. Все эти передряги страшно волнуют его. «Какие все трусы! Какие подлецы! Я представил работы Виноградова на отзыв специалистам — они вначале подтвердили мой отзыв, что эти работы — уголовная мерзость, а потом струсили... и оргвыводов не сделал никто...»

У Ионова теперь одна надежда: что с устранением Халатова будет отменено постановление о нем (об Ионове), и он останется в «Academia» по-прежнему. Лицо у Ионова сумасшедшее.

10/IV. Ленинград. Виноградов добился-таки своего: его «Братья Тургеневы», вопреки желанию всей редколлегии ГИЗа, печатаются. Редколлегия единогласно отказалась подписать эту книгу к печати. Виноградов представил ее Халатову, тот, трепеща перед Горьким, подписал ее, и книга выйдет, несмотря ни на что.

1932 В ГИЗе подсчитали, что Виноградов написал по поводу этой книги *58 писем в редакцию!!!*

Провожая меня в Москве на радиостанцию, Виноградов говорил: «Ни одной ругательной статьи о Тургеневых не будет. Я принял свои меры в ЦК».

Rose Lee — каждый день. Надоела. Сегодня уезжает. Подписал с Алянским договор на «шестидесятников». Вчера был у нас Тынянов с Ел. А-ой. Благодарить за участие. Лицо у него очень замученное. Показывал опять Пастернака, имитировал грузин и т. д., подробно описывал, как у него в студенческие годы украли пальто и «тройку», но все это было очень невесело.

Сообщил, как Шкловский помогал ему получать гонорары. Однажды «Леф» в лице Осипа Брика задолжал Тынянову 50 р. и не заплатил. Пришли к Брику они вдвоем со Шкловским. Брика нет. Лиля пудрится, «орнаментирует подбородок», а Брик не идет... Шкловский советует Тынянову: «ты поселись у него в квартире и наешь на 50 р». План не удался. Тогда Шкловский: «Юра, тебе нужен указатель Лисовского?» — «Еще бы». — «Вот возьми». Снял с полки у Брика книгу, сунул Тынянову в портфель, и они оба ушли. Брик заметил пропажу только через год.

15/IV. Вчера читал в Доме для престарелых ученых воспоминания Нелидовой о Гончарове и Тургеневе. Она слаба сердцем — боялась, что ей не под силу прочитать всю эту статейку, и попросила меня. Я пришел к ней спозаранку, мы поговорили о Слепцове — и вот я в кругу 80-летних — круглый стол: за столом два декоративных старца с бородами а ла Саваоф и душ 12 трясущихся, глуховатых старушек. Нелидова (т. е. Маклакова, т. е. вдова Слепцова) очень выпукло, голосом привычной чтицы прочла 2 первые главы, а я, странно робея и срываясь, — конец. Потом сразу заговорила Екат. Павловна Султанова — которая по своей талантливости на всех похоронах непременно хочет быть покойником. Она сразу рассказала *свои* воспоминания о Гончарове и Тургеневе — и выяснилось, что она знала обоих лучше, может рассказать о них больше.

К Нелидовой она обращалась с такими вопросами:

— И это все, что вы написали о Гончарове?

— А больше вы с ним не встречались? и проч.

Забавна была эта борьба октогенариев за первенство. Впрочем, Нелидова не боролась, так как она глуха — и все эти шпильки прошли мимо. Султанова рассказывала много интересного: о том, как Крамской писал портрет Гончарова, об Анат. Ф. Кони, о Салтыкове, о себе и еще о себе. Когда она заговорила об Елене Вас. Пономаревой, отдавшей Анатолию Ф-чу всю свою жизнь с

18 лет, я сказал, что величайшим проявлением самоотвержения со стороны Е. В. Пономаревой я считаю выслушивание ею всех анекдотов А. Ф-ча, которые она знала наизусть, т. к. он 40 лет подряд рассказывал всегда одни и те же анекдоты. Это было и вправду патетично. Старик уже не вырабатывал ничего нового. На каждый случай жизни у него был излюбленный эпизод из биографии Тургенева, Толстого, Лажечникова, Стасюлевича и т. д. — и вот она, слушая, как он сообщает комунибудь эти закостеневшие сведения, всегда делала благоговейное лицо и так хохотала в наиболее ударных местах анекдота, как будто слышала все это впервые. Султанова говорит, что она даже беседовала с Ел. Вас. на эту деликатную тему, и та будто бы ответила ей:

— Ведь слушаете же вы Шопена — снова и снова все с тем же восторгом.

Рассказала Султанова также и о скандале с Благим, который на Пушкинских торжествах говорил вступительное слово к концерту Книппер, Качалова и др. И публика кричала: «довольно, довольно!» За круглым столом были: Анна Ив. Менделеева; ее сын, лысый мужчина; совершенно слепая Озаровская (страшно изменившаяся, слепая, с разбитой перевязанною головой, почти неспособная передвигаться, — сразу уменьшившаяся почти вдвое), вдова Всев. Гаршина, гостья Марии Вал. Ватсон, Е. Н. Щепкина, но, конечно, «царицей бала» была Султанова. Нелидова сохраняла обычную свою величавость и была изящна и женственна, несмотря на 80 лет, несмотря на глухоту, несмотря на то, что ее доклад не имел никакого успеха. Подарила мне пакет сухарей, рассказывала о матери Слепцова: «Хлопотливая, хозяйственная, совсем не литературная женщина, некрасивая: узкие глазки, большой нос».

Кисловодск. 29/V. Вчера познакомился с известным ленинградским педагогом Сыркиной, автором многих научных статей, которые в последнее время подлежали самой строгой проработке. С ней недавно случилось большое несчастье. Когда возвращалась домой, у нее на парадном ходу на нее напал какой-то громила и проломил ей ломом голову. Она пришла в себя только на третий день и первым делом воскликнула:

— Ну вот и хорошо. Не будет проработки!

Нынешний человек предпочитает, чтоб ему раскроили череп, лишь бы не подвергали его труд издевательству.

7/VI. Вчера мы с М. Б. и остальными жителями КСУ ездили в замок Коварства и Любви. Конечно, острили что там:

Коварство — всегда.
Любовь — иногда.
За́мок — никогда..

На нашем грузовике написано было КСУ. Одна женщина, сидевшая на возу, запряженном волами, прочла надпись и сказала со вкусом:

— Ах вы, ксукины дети!

Всего поехало 50 человек: два грузовика и одна легковая. «Ксукины сыны», «Ксукины дети» — эта кличка утвердилась за нами прочно. В замке воняет шашлыком, пиликает кавказская музыка, вся местность загажена надписями и зелеными будочками для кутежей.

Еще стишок про Минеральные Воды:

В Железноводске женщины — язвительны (язва желудка),
В Пятигорске подозрительны (сифилис),
В Ессентуках — осязательны (лечатся от ожирения),
В Кисловодске очаровательны.

17/VI. На днях пришел сюда первый том Слепцова, вышедший под моей редакцией, изобилующий нагло дурацкими опечатками. Это привело меня в бешенство. Я отдал этой книге так много себя, облелеял в ней каждую буквочку — и кто-то (не знаю, кто) всю испакостил ее опечатками. Я написал по этому поводу письма Горькому, Каменеву, Сокольникову, Гилесу, завед. ленинградской «Академией» Евгению Ив-чу (фамилию забыл), и на душе у меня отлегло.

Вчера получил такую бумажку:

Молния из Москвы. Молния Кисловод
Сан Цекубу Суковскому Свадовскому Телеграфте возможность приезда девятнадцатого будет беседа
Горпин привет Лядова
перед. Холодева

Думая, что слово «Горпин» означает «горячий», я откликнулся неучтиво и вяло: довольно потрепали меня на этих беседах. Но потом принесли телеграмму и оказалось, что «Горпин» означает Горький. Значит, Горький все же прочитал мою «Солнечную». Я дал ее ему месяц назад, и думал, что она потерялась. Почему-то мне кажется, что он относится к ней так же, как я: отрицательно.

Сегодня и завтра отъезжают отсюда десятки больных, проживших здесь месяц вместе с нами. Больше всего мы сблизились с геологом и географом Николаем Леопольдовичем Корженевским, очень спокойным, гордым, пожилым человеком, из Ташкента, который своей медлительной, серьезной, профессорской

речью действовал на нас успокоительно. Он рассказывал нам о Памире, о его озерах, потонувших кишлаках, киргизах, геологических сдвигах, о ташкентском винограде и хлопке и своих путешествиях в дальнюю Азию — и все это с большими подробностями, с обилием собственных имен, очень картинно и учено.

Был здесь также Гинцбург, гениально показавший свою бессмертную мимическую сцену еврейского портного: портной кроит сукно — вот и все содержание сцены, но все жесты Гинцбурга так выразительны, что видишь все предметы, которыми орудует портной: тесемку сантиметра, мелок, иголку, утюг и т. д. Всю сцену Гинцбург ведет в медленном, немного торжественном темпе. Мы сошлись с ним довольно близко. Это хитренький человечек, себе на уме, прикрывающий свое лукавство — наигранной наивностью.

Здесь Гинцбург написал воспоминания об Антокольском и Репине — несколько поверхностные, но не без огонька. Как и всякие старики, он не столько говорит, сколько рассказывает, и всякий его рассказ от частого употребления уже так обточен и обтесан, что правды там, конечно, не ищи.

Любопытен также Чистяков, лингвист из Краснодара. Круглые щеки, круглые очки — смешлив, доброжелателен, мил. Прошел через формализм и оттого пострадал; Фогелер, немецкий художник, друг Елены Карловны — в альпийских чулках.

Есть тут очень любопытные люди из ученых — раньше всего Шейнин, наш сосед по столу, лысый молодой человек, только что женившийся, добродушный, шикарно одетый (лондонские рубашки, фланелевые брюки и пр.), автор книг о лесном хозяйстве. Одну из этих книг он дал мне на прочтение: «Лесное хозяйство и задачи Советов». М. 1931, издательство «Власть Советов» при Президиуме ВЦИК, и я поразился ее вопиющей безграмотностью. «Искусственное лесонасаждение», «аграрные помещики», незнание элементарнейших правил грамматики и шаблоннейшее изложение. Нет ни одной строки, которая не являлась бы штампом, ни одной *своей* мысли, ни одного *своего* эпитета. Автор больше всего боится самостоятельно думать, он пережевывает чужое, газетное — и в то же время его книга свежа, интересна, нужна — потому что тема ее так колоссальна. Нынче именно потому-то в упадке литература, что нет никакого спроса на самобытность, изобретательность, словесную прелесть, яркость. Ценят только штампы, требуют только штампов, для каждого явления жизни даны готовые формулы; но эти штампы и формулы так великолепны, что их повторение никому не надоедает. Мне говорил сейчас один профессор химии (из Эривани): «У меня двести студен-

тов, и нет ни одного самостоятельно мыслящего». Здесь на меня напал один бывший рапповец, литературовед, прочитавший мою статью о коммуне Слепцова: почему вы не сказали, что Чернышевский был *утопический* социалист? почему вы не сказали, что коммуна Слепцова была немыслима при капитализме? т. е. он хочет, чтобы я говорил всем известные догматы и непременно высказал бы их в той форме, в какой принято высказывать их, — и не заметил в моих статьях ничего остального — ни новых материалов, ни новой трактовки «Трудного времени», ни примечаний к Осташкову, ничего, кроме того, чего я не сказал. Здесь собралось много такой молодежи, и она мне очень симпатична, потому что искренне горяча и деятельна, но вся она *сплошная,* один как другой, и если этот молодой человек согласился [со] мною, что нельзя же судить на основании догматов, заранее построенных концепций, что нужно раньше изучить материал, — то лишь потому, что Стецкий напечатал об этом в «Правде». Ему дан приказ думать так-то и так, и он думает, а не было бы этого декрета — он руководствовался бы предыдущим декретом и бил бы меня по зубам. И, может быть, это к лучшему, т. к. ни до чего хорошего мы, «одиночки», «самобытники», не додумались.

29/VI. Через 2 дня мы едем в Туапсе, оттуда пароходом в Алупку. Шел дождь — ливший весь день.

Здесь на Крестовой горе идет колоссальное строительство: строят огромное здание санатория КСУ. Рядом идет постройка санатория ГПУ. Неподалеку от церкви строят кирпичную санаторию Интуриста. Через год количество приезжих больных в Кисловодске удвоится.

1/VII. Завтра уезжаю. Тоска. Здоровья не поправил. Время провел праздно. Отбился от работы. Потерял последние остатки самоуважения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе не возвысило меня, а еще сильнее измельчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литературной работы — я без гроша денег, без имени, «начинающий автор». Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке — единственный радостный момент моей кисловодской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, провожали меня, и мне все казалось, что они принимают меня за кого-то другого. Бьет шесть часов утра. Филин улетел. Или его продали в другое место.

4/VII. Путь наш в Алупку был ужасен. Вместо того, чтобы ехать прямиком на Новороссийск, мы (по моей глупости) взяли

билет на Туапсе с пересадкой в Армавире, и обнаружилось, что в нашей стране только сумасшедшие или атлеты могут выдержать такую пытку, как «пересадка». В расписании все выходило отлично: поезд № 71 отходит от Минеральных Вод в 4.25, а в Армавир приходит в 9.12. Из Армавира поезд № 43 отходит в 10.20. Но вся эта красота разрушилась с самого начала: поезд, отходящий от Мин. Вод, *отошел* с запозданием на $1^1/_2$ часа — и, конечно, появился в Армавире, когда поезд № 43 отошел. Нас выкинули ночью на Армавирский вокзал, на перрон — и мы попали в кучу таких же несчастных, из коих некоторые уже трое суток ждут поезда, обещанного им расписанием. Причем, если послушать каждого из этих обманутых, окажется, что запоздание сулит им великие бедствия. (Женщина вызвана в Сочи телеграммой мужа; адреса мужа не знает, денег у нее в обрез, если он не встретит ее на вокзале — ей хоть застрелись).

Скоро выяснилось, что даже лежание с чемоданами на грязном перроне есть великая милость: каждые десять минут появляется бешеный и замученный служащий, который гонит нас отсюда в «залу» третьего класса, где в невероятном зловонии очень терпеливо и кротко лежат тысячи пассажиров «простого звания», с крошечными детьми, мешками, разморенные голодом и сном — и по всему видно, что для них это — не исключение, а правило. Русские люди — как и в старину — как будто самим Богом созданы, чтобы по нескольку суток ожидать поездов и лежать вповалку на вокзалах, пристанях и перронах.

При этом ужасны носильщики — спекулянты, пьяницы и воры. В Минеральных Водах носильщик скрыл от нас, что Армавирский поезд опаздывает (хотя об этом было своевременно объявлено) и, чтобы не таскать наших вещей слишком далеко, объявил, что нас не пустят с вещами в здание вокзала; армавирский носильщик взял у нас 30 добавочных рублей за «мягкость», но не только не достал мягкого, а заведомо не достал никакого и в течение 4 или 5 часов делал вид, что вот-вот добудет из кассы билет, и прибегал сообщить, что дела идут блестяще, хотя знал наверняка, что дела наши гиблые. Когда же *я* достал места при помощи отчаянного напора на начальника станции, носильщик получил с нас богатую мзду, но 30 р. за «мягкость» не вернул.

Достал я билеты при помощи наглости; я, во-первых, заявил начальнику Армавирской станции, что я из КСУ при Совнаркоме, а во-вторых, притворились вместе с одной барыней иностранцами. Это дало нам доступ в битком набитый поезд, идущий на Сочи *(via* Туапсе). В Туапсе мы пробыли весь день, т. к. пароход «Грузия» отбыл только в 10 ч. вечера. Жарко, пыльно, много гнусного, много прекрасного — и чувствуется, что прекрасное надол-

го, что у прекрасного прочное будущее, а гнусное — временно, на короткий срок. (То же чувство, которое во всей СССР.) Прекрасны заводы Грознефти, которых не было еще в 1929 году, рабочий городок, река, русло которой отведено влево (и выпрямлено не по Угрюм-Бурчеевски). А гнусны: пыль, дороговизна, азиатчина, презрение к человеческой личности. И хорошего и плохого мы хлебнули в тот день достаточно.

Попив чаю без сахару, но с медом (причем, нам подали ложечки с дырками — аккуратно проверченными в каждой «лодочке», почему дырки? — А без дырок воруют), мы отдохнули в прохладной фешенебельной чайной на самой главной улице (на фикусах мушиная бумага, *два* портрета Ворошилова; олеандр в цвету, плакат о займе: «методами соцсоревнования и ударничества») — и вышли на раскаленную улицу. Где гостиница? Там, на шаше. Идем на шаше, идут кучки людей — «та зачем вам гостиница, идите к нам, будем рады, пожалуйста» (говорит какой-то рабочий). — Где же вы живете? — Та в рабочем городке! ванну примете. — Идем! — Пошли мы вверх по отличной асфальтовой дороге, утопающей в зелени. Тут была пустыня еще в 1929 году. Тополя, акации, изящный забор вдоль дороги, за забором домики двухэтажные, веселые, белые (с полосками то оранжевой, то голубой). — Мы за квартиру ничего не платим, и газ у нас бесплатно! — говорит рабочий (Дмитрий Лукич Секалов). Его радушие было очень приятно, но в то же время поражало тупосердие, с которым он тащил нас, усталых, на высоту. — Далеко ли? — спрашивали мы. — Да вот сейчас, — отвечал он и вел нас все выше и выше. Наконец и домик — идеальный, причудливо стоящий на горе. В доме три квартиры. Газовая кухня общая — и тут же ванна. Рабочий показывал свою комнату, как будто это Букингемский дворец. И гордость его понятна. Большая комната с широким окном, с чудесным видом на зелень и на море, с газовым отоплением (повернул, и готово!) — в такой комнате он за всю свою жизнь еще не живал никогда, — но убранство комнаты привело меня в ужас: мещанская бархатная скатерть, поверх этой скатерти — тюлевая, на вырезанных из дерева полочках пошлые базарные штучки, стены увешаны дрянными открытками — словом, никакой гармонии между домом и его обитателем. Да и слова у этого Секалова были с пошлятинкой: «Моя первая жена выкинула мне номер: сошлась, может быть слышали, с профессором, с Капустянским... как же. (Слово профессор он произнес с гордостью.) Человек с высшим образованием. Имеет понятие о жизни. Ну, у меня разговоры короткие: я прекратил с нею дипломатические отношения... Потом писала: я приеду. Я: нет.

Все это показалось мне достаточно затхло.

Обратно мы поехали на извозчике. — Ну что, как у вас колхозы? — спросил я старика.

— Колхозы-молхозы! — отвечал он презрительно.

Оттуда в столовку — поели мацони — и сели на берегу моря, возле группы девочек лет 15—16. У них разговор о гадалках:

— Маме цыганка предсказала, что мама на паску умрет.

Вечером мы благополучно очутились на «Грузии». В пять часов утра — Новороссийск. Грузят мешки. — Майна! вира! Лебедка поднимает по 19 мешков. Ни один из грузчиков не матюкается!!! Бабы, зашивальщицы мешков, с иглами наготове. Холмы вокруг Новороссийска кажутся созданными из серого тумана — из него же дома и трубы заводов и величавые дымы над ними. Первый класс есть, собственно, третий класс. Вся палуба усеяна телами, теми сплошными русскими телами, которые как будто специально сделаны, чтобы валяться на полу вокзалов, перронов, трюмов и пр. А наверху — там, где вход для «черни» запрещен, несколько плантаторов в круглых очках, презрительных и снежно-штанных. В уборной никто не спускает воды, на палубе подсолнушная шелуха, на 300 человек одно интеллигентное лицо; прислуга нагла, и когда я по рассеянности спросил у лакея, заплачено ли за талон для обеда, который купила для меня М. Б., он сказал: «Верно, вы нашли его на палубе?»

И все же морское путешествие — для меня высшее счастье — и я помню весь этот день как голубой сон, хотя я и ехал в могилу. И вот уже тянется мутная гряда — Крым, где ее могила. С тошнотою гляжу на этот омерзительный берег. И чуть я вступил на него, начались опять мои безмерные страдания. Могила. Страдания усугубляются апатией. Ничего не делаю, не думаю, не хочу. Живу в долг, без завтрашнего дня, живу в злобе, в мелочах, чувствую, что я не имею права быть таким пошлым и дрянненьким рядом с *ее* могилой — но именно *ее* смерть и сделала меня таким. Теперь только вижу, каким поэтичным, серьезным и светлым я был благодаря *ей*. Все это отлетело, и остался... да в сущности, ничего не осталось. И как нарочно вышло так, что нас обоих с М. Б. словно пригвоздили к этому проклятому месту, где все напоминает о ее гибели: и дерево против балкона, и ручей Овсянниковой дачи, и колокольня, и дорога в Бобровку, и те красненькие цветочки вроде склеенных ягод, которые я рвал для нее, когда она лежала у дома под деревом, где бурьян, и камни, и песни проходящих ударников, и аптека, и извозчик, на котором я ездил в Бобровку, — и нужно же было, чтобы Лядова по ошибке выслала нам деньги не в Алупку, куда я просил ее выслать, а в Ленинград — и вследствие этой ошибки мы на 3 недели застряли в Алупке, наделали долгов и не можем выехать.

1932 **27/VII.** Живем на Трудовой даче у героя труда Ельциной. Ей 78 лет. Она 50 лет своей жизни отдала врачеванию сифилиса. По-молодому энергична, кокетлива и по-молодому тщеславна. Часами рассказывает о своем юбилее и обо всех комплиментах, которые ей говорились на этом празднестве. [Несколько страниц вырвано. — *Е. Ч.*]

8/VIII. Ночь. Сижу в загаженной комнатенке Ник. Соболева — и не сплю. Приехал сюда 3 дня назад. В Москве стоит удушливая жара — небывалая. Я был у Каменева в Концесскоме. Он добродушен, жирен, волосат — сидит в безрукавке. «Academia» заказывает мне три вещи: редактуру собрания сочинений Некрасова, редактуру «Кому на Руси жить хорошо» и редактуру Ник. Успенского. Все это даст мне около 20 тысяч рублей, а сейчас у меня нет ни гроша, мне пришлось выпрашивать у Антокольской, секретарши «Academia», 20 рублей взаймы. Без этих денег я буквально издох бы. Был в доме, где живет Горький. Дом ремонтируют по приказу Моссовета. Вход со Спиридоновки, со двора. Маленькая дверка. Прихожая. Только что крашенный пол. На полу газеты, чтобы не испортили краску ногами. Прихожая пуста. — Вам кого? — Это спящий детина — из соседней комнаты. — Крючкова. — Сейчас. Крючков, располнелый, усталый и навеселе. Позвоните завтра, я скажу вам, когда примет вас Горький. — Хорошо. Но завтра Крючкова нет, он в Горках у Горького, и Тихонов тоже там. Звоню два дня, не могу дозвониться. Изредка посещаю прихожую. Там — кран. Это очень приятно в жару. Чуть приду, полью себе на голову холодной воды — и вытру лицо грязноватым полотенцем.

Вглядываюсь: это не полотенце, а фартух коменданта (он же швейцар и дворник). Неужели я приехал в Москву, чтобы вытирать лицо фартухом коменданта того дома, где живет Горький.

Сегодня видел Лядову. Она исхудала, как скелет. Нервы раздребеззжены так, что она говорит и плачет. Особенно замучила ее история с Горьким. Она рассказывает мне эту историю:

«В июне звонит Крючков: вызвать к Горькому Житкова и Маршака, будет совещание о детской литературе. Я советую вызвать дополнительно Чуковского. Крючков соглашается. Совещание назначено на 19-е. Прихожу. Горького нет. Маршак, Разин и я. Председательствует Крючков. «Мы должны дать Горькому материалы о состоянии детской словесности». Ничего из совещания не вышло, т. к. я чую лютую враждебность Маршака. Наконец 24-го Крючков зовет Житкова и меня. Но предупреждает, что в автомобиле есть только одно место. Я бегу к Юрочке Фигатнеру(?), Юрочка, дай твою машину. Усаживаю туда Соню Разумовскую, Житкова, Ханина, и мы едем. Но... рыщем три часа и когда

приезжаем к Горькому, совещание уже кончено. С Маршаком были Алексинский и Леня Пантелеев». **1932**

Дальше мне писать не пришлось т. к. я заболел. Со мною всегда так, сколько я себя помню: чуть у меня какое-нибудь важное решительное дело, боевая задача — и назначен день для борьбы — и выигрыш несомненен, я заболеваю гриппом, желудком, бессонницей, и все срывается. Заболел я из-за сквозняка на трамвае. Продуло. Температура 38.8. А в квартире ужас и грязь. Хуже всего — клопы. Провалялся я зря 7 дней. За это время прочитал «Былое и думы» все 3 тома, книгу Аполлона Григорьева (изд. «Академии»), «Крейцерову сонату» и «Дьявола» Льва Толстого — и опять (как в Алупке) ничего не сделал, т. е. не написал ни строчки.

Сегодня 14-го поправился. Но... клопы. Бегу на кухню: но там тараканы, и я возвращаюсь к клопам.

У Пильняка на террасе привезенный им из Японии «Indian helmet»[1] и деревянные сандалии. Он и сам ходит в сандалиях и в чесучовом кимоно. Много у него ящиков из папье-маше и вообще всяких японских безделушек. В столовой «Русский голос» (американская газета Бурлюка) и «New Yorker». Разговаривая со мною, он вдруг говорит: «А не хотите ли увидеть Фомушку?» Ведет меня к двери, стучится, и — на полу сидит японка, забавная, обезьяноподобная. У нее сложнейшее выражение лица: она улыбается глазами, а губы у нее печальные; то есть не печальные, а равнодушные. Потом улыбается ртом, а глаза не принимают участия в улыбке. Кокетничает как-то изысканно и как бы смеясь над собой. Лицо умное, чуть-чуть мужское. Она музыкантша, ни слова по-русски, и вообще ни по-каковски, зовут ее Ионекава Фумико, перед нею на ковре длинный и узкий инструмент — величина человечьего гроба — называется *кото,* она играет на нем для меня по просьбе Пильняка, которого она зовет Дьа-Дьа (Дядя), играет долго, с профессиональной улыбкой, а внутренне скучая, играет деловито, подвинет то один колышек, то другой, укорачивая ими струну, производящую звук, и словно кухарка над плитой, где много кушаний, тронет одну кастрюльку, другую, ту переставит к огню, ту отодвинет — и получаются разрозненные звуки, не сливающиеся ни в какую мелодию (для меня). Показывая ее как чудо дрессировки, Пильняк в качестве импресарио заставил ее говорить о русской литературе (ее брат — переводчик). Она сейчас же сделала восторженное лицо и произнесла: Пу́сикини, Толостои, Беленяки (Пильняк). Весь подоконник ее комнаты усеян комарами. Оказывается, она привезла из Японии курево, от которого все кома-

[1] «Тропический шлем» *(англ.).*

ры дохнут в воздухе. Тут же ее бэби-кото — на котором она упражняется. Сейчас я видел Ольгу Сергеевну, жену Пильняка, она не могла заснуть, т. к. ночью струна в этом бэби лопнула. Расхваливая Пильнячью «О. К». [«О'Кэй». — *Е. Ч.*], я сказал, что для меня она приближается к «Летним заметкам о зимних впечатлениях» Достоевского. Пильняк не читал этой вещи. «Я читал только «Идиота» — талантливый был писатель, ничего себе».

16/VIII. Вчера единственный сколько-нб. путный день моего пребывания в Москве. С утра я поехал в ГИХЛ, застал Накорякова: Уитмэн уже сверстан; чуть будет бумага, его тиснут. «Шестидесятники» тоже в работе. Видел Казина, говорил с заведующим технической частью. Оттуда в «Мол. Гвардию». Там та же растяпистость. Заседают — «вырабатывают план», нет времени дохнуть, а дела не делают. — Что «Солнечная»? Никто не знает. — Где рисунки? Неизвестно. Я сам пошел в техническую часть, нажал на заведующего, похлопотал о рисунках, Лядова за всеми заседаниями забыла сделать это нужнейшее дело. Ее взяло раскаяние: я достала машину, едем, К. И., в типографию, поглядим на рисунки, продвинем рукопись. — Ладно. Мы поехали в 17-ю типографию, нас долго донимали у входа канителью добывания пропуска, и наконец, когда мы прошли в святилище, заявили, что никакой «Солнечной» у них нет. Лядова что-то напутала. Оттуда к Горькому, то есть к Крючкову. Московский Откомхоз вновь ремонтирует бывший дом Рябушинского, где живет Горький, и от этого дом сделался еще безобразнее. Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями. Лестница, потолки, окна — всюду эта мерзкая пошлятина. Теперь покрашена, залакирована и оттого еще бесстыжее. Крючков, сукин сын, виляет, врет, ни за что не хочет допустить меня к Горькому. Мне, главное, хочется показать Горькому «Солнечную». Я почему-то уверен, что «Солнечная» ему понравится. Кроме того, черт возьми, я работал с Горьким три с половиною года, состоял с ним в долгой переписке, имею право раз в десять лет повидаться с ним однажды. «Нет... извините... Алексей Максимович извиняется... сейчас он принять вас не может, он примет вас твердо... в 12 часов дня 19-го». И не глядит в глаза, и изо рта у него несет водкой. Страшно похож на клопа. За что он меня ненавидит, не знаю. Очевидно, по дружбе к Маршаку. Маршак его первый друг, а я давно замечал, что — с кем Маршак сдружится, тот смотрит на меня (то есть начинает смотреть) с величайшей враж-

дебностью. А может быть, я и ошибаюсь. Все же Маршак — литератор, талант, мастер слова, а Крючков чинуша и лакей.

Иду в «Академию». В прихожей: Ю. Соколов — фольклорист, Ашукин (он рассказывал мне, что против предоставления мне редактуры Некрасова яростно возражал Лебедев-Полянский), Благой и другие. Вчера мне наконец-то удалось сдвинуть с мертвой точки мои договоры о Некрасове, о «Кому на Руси», об Успенском. Иван Степанович Ежов только теперь удосужился рассмотреть мои предложения, и мы заговорили с ним вплотную. И завтра же будут готовы все пять договоров!! Но тут я обнаружил чудовищную вещь: оказалось, что Маршак всучил «Academia» сборник своих детских стихов для «взрослого» издания. Я возмутился, т. к. у нас с Маршаком был уговор действовать вкупе и влюбе, и заявил Каменеву свой протест. Каменев и Тихонов отнеслись к делу сочувственно и обещали, что протащат мою книгу. Посмотрим. Дело решится на днях.

Из «Academia» — в Дом Герцена обедать. Еще так недавно Дом Герцена был неприглядной бандитской берлогой, куда я боялся явиться: курчавые и наглые раппы били каждого входящего дубиной по черепу. Теперь либерализм отразился и здесь. Сейчас же ко мне подкатилась какая-то толстая: «К. И., что вы думаете о детской литературе? Позвольте проинтервьюировать вас...» В «Литературной газете» меня встретили как желанного гостя. «Укажите, кто мог бы написать о вас статью». Я замялся. В это время в комнату вошел Шкловский. «Я напишу — восторженную». Редакторша «Лит. газеты» Усиевич захотела со мной познакомиться, пригласила меня по телефону к себе. Либерализм сказался и в том, что у меня попросили статью о Мандельштаме. «Пора этого мастера поставить на высокий пьедестал». Двое заправил этой газеты Фельдман и Цейтлин вообще горят литературой. — В столовой Дома Герцена мы пообедали вместе с Абрамом Эфросом, который обещал мне дружески найти иллюстратора для моих детских книг и для «Кому на Руси». В столовой я встретил Асеева, Бухова, Багрицкого, Анатолия Виноградова, О. Мандельштама, Крученыха, и пр., и пр., и пр. И проехал из столовой к Леониду Гроссману. У Гроссмана как всегда чинный, спокойный, профессорский ласковый тон, говорливая и очень радушная Фимушка, разговоры о Достоевском, о злодее Чулкове, который

не ведает святыни,
не знает благостыни*.

Приходят еще какие-то профессороподобные люди, Леонид Гроссман читает нам статью о новонайденных черносотенных

статьях Достоевского (в «Гражданине»). Статья вялая, не всегда доказательная, но я слушаю с удовольствием, так как давно не слыхал ничего литературного. Тут входит в комнату Илья Зильберштейн и его подруга Наташа Брюханенко, писавшая мне когда-то о детском языке. Илья пришел специально повидаться со мной. Мы идем по Москве, ночью, духота спала, воздух, как в Питере белой ночью, Илья говорит о своем гетевском номере, строит планы будущих книжек журнала, и мы встречаем Пильняка. Пильняк идет к Воронскому — на именины. Несет коробку конфет, ночью у трамвайных остановок его окликают какие-то люди, он берет извозчика и подвозит меня к самому дому. С Леонидом Гроссманом я имел разговор по интересующим меня некрасовским делам,

18/VIII а к Усиевич пошел по детским делам. Евгения Феликсовна Усиевич (дочь Ф. Кона), тощая, усталая, милая. Сразу заговорила со мною о моих детских книгах — хочет дать о них статью в «Литгазете». Она стопроцентная ленинистка, у нее двое детей, и она знает цену сказке, фантастике и пр., и пр. Она прославилась своей ненавистью к Авербаху, которого ест изо дня в день в «Литгазете». По этому поводу она рассказала мне, что у нее умер муж, обожаемый ею, что она была в отчаянии, и ей нужен был выход скопившейся скорби: ненависть к Авербаху и была этим выходом. Когда я уходил, она сообщила мне свой каламбур:

Прежде литература была *обеднена,* а теперь она *огорчена* (Бедный и Горький).

От нее — к Шкловскому. У Шкловского мне понравилось больше всего. Я долго разыскивал его в дебрях Марьиной Рощи. И вот на углу двух улиц какие-то три не то прачки, не то домохозяйки поглядели на меня и сказали:

— А вы не Шкловского ищете?

— Да.

— Ну, идите вона в тот дом, что справа, вон рыженькая дверь и т. д.

Узнали по моему лицу, по фигуре, что мне нужен Шкловский! Шкловский был занят с кинорежиссером Тимашенко, я ушел в заднюю комнатенку, сел у окна с Харджиевым и Трениным, и мы заговорили о поэзии. Они оба так обаятельны, так увлечены литературой, так преданы Шкловскому, относятся ко мне так сердечно, что мне в их обществе стало впервые в Москве — не душно и не тяжело; стали говорить о Случевском, о Фете, о Ходасевиче — оба они часто убегали в соседнюю комнатушку, где библиотека Шкловского, — достать то ту, то другую книгу. Потом тяжелой поступью вошел Шкловский — «У К. И. голова как будто мылом на-

мыленная» (седая) и сейчас заговорил о Лёвшине. **1932**
Что вы знаете про Лёвшина? Я знаю про Лёвшина мало. Пойдем в библиотеку. Вот вам лестница, полезайте под потолок, вон три аршина Вельтмана, а вон там вторая снизу полка вся занята Лёвшиным. — Нет, тут не Лёвшин, а Чулков, потому что написано «Русские сказки». — В том-то и дело, что все эти сказки — Лёвшина. И русские, и древлянские сказки не Чулковым написаны, а Лёвшиным. Вот посмотрите. — Он приволок объемистую рукопись, написанную им по поводу проблемы «Лёвшин — Чулков» — теперь она уже продана и будет печататься. У Шкловского полон дом приживальщиков, родственников жены и т. д. «Я за стол сажусь зимою сам-четырнадцать». И теперь мы сели сам-пять, он угостил нас на славу мясом, и окрошкой, и чаем с вареньем.

И тут за чаем начал участливый разговор обо мне. «Бросьте детские книги и шестидесятников. Вы по существу критик. Пишите по своей специальности. Вы человек — огромного таланта и веса. Я буду писать о вас в «Литгазету» — пролью о вас слезу (Харджиев: «Крокодилову») — а вы займитесь Джойсом. Непременно напишите о Джойсе». Потом все втроем они пошли проводить меня к автобусу, и я поехал в Дом Правительства. Принял ванну и заснул на 4 часа.

Вчера же перед Шкловским я был у Литвиновой на Спиридоновке, 30. Очень изящная квартира, окнами во двор, флигелек при Наркоминдельском доме, обстановка такая, в которой живут за границей средней руки доктора, присяжные поверенные и проч. Комната Литвиновой — книги в хорошеньких переплетах, картина Маковского, художественный плакат на революционную тему, сделанный каким-то иностранцем, — и что больше всего меня поразило: целая этажерка, прикрытая плюшевой занавеской, — ее ботинки около 20 или 25 пар. Я пришел к ней просить ее от имени «Academia», чтобы она перевела на английский язык мои детские книги. Она согласилась, и тут я выяснил, что Маршак уже внедрился в ее дом — и она вздыхает: «О! какой человек!» — и переводит его «Почту» и «Мышонка», и даже кухарка, подавая мне обед, говорит: «Ах, какая чудесная личность». Дети Литвиновой в Турции, и Миша, и Таня. Литвинова поседела, очень энергична, переводит на английский язык какую-то плоховатую пьесу.

Снова был у Крючкова. К нему приехал на своей великолепной машине Халатов с дочерью Светланой и женою. Они едут к Горькому — у Горького праздник: именины его внучки Марфиньки. Бедная Марфинька: ей везут целые горы подарков, в Горки едут десятки людей, к вечеру готовится фейерверк, и сытый обнаглелый комендант рыщет по всем распределителям достать бенгальские огни.

1932 **21/VIII.** Получил известие о смерти Жени Штеймана — и не могу заснуть ни на секунду.

Был вчера в «Молодой Гвардии». Там ко всем прелестям прибавилась еще одна: вонь от уборных. Очень едкая, проникшая во все уголки, занимаемые восхитительной Лядовой. Это как бы символ всей ее бесхозяйственной, неряшливой, хламной работы. До сих пор у нее шкафы для книг представляли собою клоаку, редакторы никогда не сидели у себя за столом, а слонялись по коридору или флиртовали с гостями, сама Лядова почти всегда отсутствовала, или «заседала», сидя на столе, на газетах, сваленных в углу, — вообще вся обстановка внушала тоску и злобу, промокашки на столах измазаны, мебель ломаная, коридор горбатый — вдруг среди коридора карабкайся вверх, потом опускайся вниз — не хватало только отвратительной вони.

Вчера вступил в исполнение обязанностей Троицкий — комсомолец, с приятным лицом. Усиевич «раппоедка» говорит: «Это парень принципиальный, он вел себя во время борьбы с Авербахом отлично. Он из наших, из антирапповцев...»

Любопытно наблюдать теперь жизнь «Литературной газеты». Теперь ее руководители стремятся сделать ее наилиберальнейшей: заказывают статьи о Зощенке, об О. Мандельштаме, о моем «Крокодиле». Но позиция ее трагически беспочвенна. Рапповщина рвется из всех щелей. Вчера к Фельдману, одному из руководов газеты, пришла Журбина и предложила ряд статей против Шкловского: «надо изобличить его реакционность. Он протаскивает контрабандой формализм». Если молодая писательница — теперь, когда партия предоставила нам «дышать на три четверти груди», — сама, по своей воле, после свержения РАППа, лезет в бой с разбитым формализмом — значит, рапповщины не выкуришь никакими декретами.

(Вчера в «Литгазете» был Асеев. Показывал разные трюки, стоял на голове и т. д. Провожал меня к трамваю, читал мне новые свои стихи — о Помпее. О Горьком говорит он беззлобно.)

Рапповщина сидит даже в антирапповцах: 15-летний сын Усиевич, внук Феликса Кона, заявляет: «я не могу читать Пушкина, т. к. мне не нравятся его темы, «Евг. Онегин» мне ненавистен, «Академия» печатает черт знает что — никакого революционного пафоса».

Бумага Горького — Маршака (вчера мне дали ее прочитать) о детской литературе робка — и об ошибочной литературной политике говорит вскользь. О сказке вообще не говорит полным голосом, а только о «развитии фантазии». Очень скучаю по М. Б. Вчера увидел ее почерк в письме к Александре Ивановне и страшно захотел ее видеть.

29/VIII. Сейчас в автомобиле Рафаила М. Б. отвезла Марусю в больницу Мечникова к доктору Боку — к смерти. Оппель сказал: «Мы дадим ей койку, пускай умирает». **1932**

Маруся кротка, ни единой жалобы, даже шутит, когда я сводил ее с лестницы, М. Б. сказала: «обратно я поеду на трамвае». А я спросил: «а гривенник есть?» Маруся усмехнулась: «Неожиданный конец». А мне говорит: «Если я не вернусь оттуда, не оставь, Коленька, Катю».

28/IX. Третьего дня в Аккапелле мы, писатели, чествовали Горького. Зал был набит битком. За стол сели какие-то мрачные серые люди казенного вида — под председательством Баузе, бывшего редактора «Красной Газеты». Писатели, нас было трое — я, Эйхенбаум и Чапыгин, чувствовали себя на этом празднике лишними. Выступил какой-то жирный, самоуверенный, агитаторского стиля оратор — и стал доказывать, что Горький всегда был стопроцентным большевиком, что он всегда ненавидел мещанство, — и страшно напористо, в течение полутора часов, нудно бубнил на эту безнадежную и мало кому интересную тему. Я слушал его с изумлением: видно было, что истина этого человека не интересовала нисколько. Он так и понимал свою задачу: подтасовать факты так, чтобы получилась заказанная ему по распоряжению начальства официозная версия о юбиляре. Ни одного живого или сколько-нб. человечного слова: штампы официозной стилистики из глубоко провинциальной казенной газеты. Публика до такой степени обалдела от этой казенщины, что когда оратор оговорился и вместо «Горький» сказал «Троцкий» — никто даже не поморщился. Все равно! Потом выступил Эйхенбаум. Он вышел с бумажкой — и очень волновался, т. к. уже года 3 не выступал ни перед какой аудиторией. Читал он маловразумительно — сравнивал судьбу Тургенева и Толстого с Горьковской — резонерствовал довольно вяло, но вдруг раздался шумный аплодисман, т. к. это было хоть и слабое, но человечье слово. — После Эйхенбаума выступил Чапыгин. Он «валял дурака», это его специальность: что с меня возьмешь, уж такой я — дуралей уродился! Такова его манера. Он так и начал:

«Горький хорошо меня знает, как же! И, конечно, любит!» А потом рассказал о себе: как он писал «Разина Степана», — и тоже все пустяки: «бумаги не было, писал на больничных квитанциях»... «А мою пьесу из 12 века Блок похвалил, как же!» — шутовское откровенное самохвальство. Все это «чествование» взволновало меня: с одной стороны — с государственной — целые тонны беспросветной казенной тупости, с другой стороны — со стороны литераторов — со стороны Всероссийского Союза Писателей —

хилый туманный профессор и гороховый шут. И мне захотелось сообщить о Горьком возможно больше *человеческих* черт, изобразить его озорным, веселым, талантливым, взволнованным, живым человеком. Я стал говорить о его остротах, его записях в Чукоккалу, забавных анекдотах о нем, читал отрывки из своего дневника — из всего этого возник образ подлинного, не иконописного Горького — и толпа отнеслась к моим рассказам с истинной жадностью, аплодировала в середине речи, и когда я кончил — так бурно и горячо выражала свои чувства, что те, казенные, люди нахмурились. Потом выступил какой-то проститут и мертвым голосом прочитал телеграмму, которую *писатели,* русские писатели, посылают М. Горькому. Это было собрание всех трафаретов и пошлостей, которые уже не звучат даже в Вятке. В городе Пушкина, Щедрина, Достоевского *навязать писателям такой* адрес и послать его другому *писателю!* И какой длинный, строк на 300 — и как будто нарочно старались, чтобы даже нечаянно не высказалась там какая-нб. самобытная мысль или собственное задушевное чувство. Горькому дана именно такая оценка, какая требуется последним циркуляром. И главное, даже не показали нам того адреса, который послали от нашего имени. Да и странно вели себя по отношению к нам: словно мы враждебный лагерь, даже не глянули в нашу сторону.

Был сегодня у Маруси — поправилась. Полна надежд.

29/IX. Полтора года тому назад, когда я уезжал в Крым, «Молодая Гвардия» под нажимом Горького и Халатова приобрела у меня «Мойдодыра», «Чудо-дерево» и «Федорино горе». За полтора года, конечно, никто и пальцем не ударил, чтобы издать эти книги. Теперь наступила либеральная эра: Пильман известил меня, что он «не возражает» против издания «Мойдодыра». Отношение ко мне в «Молодой Гвардии» самое нежное: «Теперь-то мы будем вас издавать! Теперь-то мы дадим ваши книги ребятам!»

И вот я иду к новому заведующему «Молодой Гвардией» Асиновскому, он встречает меня самыми широкими жестами: да, да, еще бы — в результате оказывается, что он, так и быть, согласен издавать... «Мойдодыра»... — Ах, какой вы храбрый! — говорю я, смеясь, и ухожу, не заключая с ним договора. — Через три-четыре дня получаю письмо от Троицкого, нового редактора московской «Молодой Гвардии». Опять: «идем вам навстречу, принимаем все предложения и немедленно... будем издавать... «Мойдодыр».

Прежде это возмутило бы меня, а теперь это только смешно. Сегодня утром звонок к Лиде. Звонит секретарь здешней «Молодой Гвардии». — Радость! радость! Скажи отцу, что Троицкий прислал телеграмму, чтобы немедленно издали «Мойдодыра».

Так пройдет лет двадцать, а они всё будут издавать «Мойдодыра».

Умер Я. М. Шатуновский.

Я сейчас делаю сразу двадцать литературных дел, и одно мешает другому. Нельзя одновременно: писать статьи в защиту сказки, и комментарии к рассказам Николая Успенского, и характеристику А. В. Дружинина, и стихи для маленьких детей, и фельетон о редактуре классиков. А я делаю всё вместе — и плохо, т. е. хуже, чем мог бы, если бы каждая тема была единственная. Сейчас, слышно, ОГИЗ хочет купить у меня народные песни и загадки. Нужно обработать и это.

11/X. Видел Бориса Лавренева. Он говорит по поводу того, что Нижний переименовали в Горький. Беда с русскими писателями: одного зовут Мих. Голодный, другого Бедный, третьего Приблудный – вот и называй города.

Шкловский на днях приехал из Москвы. Позвонил от Эйхенбаума Тынянову: «Можно к тебе завтра придти?» — «Завтра?.. нет, я буду занят». — «Завтра я уезжаю на Север». — «Ну, так когда-нб. потом». (Рассказывал Эйхенбаум.)

Вчера была у нас Мария Николаевна Рейнеке. Мы говорили с нею об Ангерте и Раисе Григорьевне. И вдруг звонок: говорит воскресший из мертвых — Ангерт. Меня это так взволновало, что я разревелся и побежал к нему. Он — ничуть не изменился, даже помолодел. Из «заключенного», приговоренного на 10 лет, он стал в течение одного дня служащим ГПУ с жалованием в 400 р. Он своим пребыванием на Медвежьей Горе доволен — говорит, что режим превосходный, «да и дело страшно интересное» (строят там какой-то канал).

Вчера был у Семеновых — чтобы повидаться с Мих. Слонимским. Были муж и жена Слонимские, Коля, Мих. Дьяконов, художник, бухгалтер Издательства писателей, — пироги, колбаса, очень уютно, но о детском утреннике, ради которого я пошел вчера к Семеновым, ни слова.

Эйхенбаум рассказывает, что на горьковском вечере какой-то слушатель во время его речи спросил у соседа:

— Кто это говорит?

— Эйхенбаум.

— А знаю: Эйхен*бах* (окончание от Авер*баха*).

Третьего дня Троицкий устроил беседу с нами, с детскими писателями. «Новая эра, но никаких бессмысленных мечтаний».

14/X. Пастерначий успех в Капелле. Сегодня Пастернак у Коли всю ночь, от двенадцати до утра, но у Коли температура 39, он

в полубреду, денег нет у него ни гроша, Марина беременна — самое время для пьянки!

Вчера парикмахер, брея меня, рассказал, что он бежал из Украины, оставил там дочь и жену. И вдруг истерично: «У нас там истребление человечества! Истреб-ле-ние чело-вечества. Я знаю, я думаю, что вы служите в ГПУ (!), но мне это все равно: там идет истреб-ле-ние человечества. Ничего, и здесь то же самое будет. И я буду рад, так вам и надо!» и пр.

«Academia» до сих пор не заплатила. «Молодая Гвардия» тоже. Просто хоть помирай. У банков стоят очереди, даже в сберкассах выдают деньги с величайшим трудом. Марусе нужно ехать в Одессу, но нет денег на билет. Она уже у нас два дня. Вчера рассказала анекдот: одна рабкорка, лежавшая рядом с ней, попросила у нее «Записную книжку» Чехова.

Маруся говорит: это интересно только для тех, кто читал другие вещи Чехова.

— Как же, я читала! Еще бы.

— Что же он написал?

— «Горе от ума».

А вид у нее вполне интеллигентный.

Подхалимляне. Писательский съезд.

17/XI. Болен. Зев и небо. Грипп. Копылов. Срывается мой концерт.

Уж такое мое сиротское счастье. Пять лет мне не разрешали выступать перед детьми со своими Мойдодырами, и когда наконец я получил эту возможность и толстый Аланин расклеил по всему городу афиши, что Литфонд устраивает 20-го ноября два детских утренника с участием К. И. Ч., как я зверски заболел каким-то небывалым гриппом (температура 38,2, голова, язык, рот воспалены, хрипота, кашель). Я позвал хирурга Копылова, тот поглядел мне в рот, нашел очаг болезни, назначил полоскание бертолетовой солью и — к 20-му числу поставил меня на ноги. 20-го я в своем стареньком пальто, в рваных и разнокалиберных калошах, хриплый и с дрожащими ногами вышел в петербургский ноябрь: вот-вот упаду; еле-еле добрел до Камерной музыки, сел у печки, возле Ирины и Уструговой — двух старушек, сопряженных со мною в концерте; меня на сцене встретили тепло, но я читал в три или четыре раза хуже обычного и еле дождался второго сеанса, еле добрел до дому — и вот до сих пор не могу очнуться: болит голова, весь разбит, никакой работы делать не могу — на 2 недели выбит из седла. О! о! о!

21/XI поплелся в Издательство писателей: сдавать в печать своих «Маленьких детей». Я все еще не верю, что эта книга выйдет новым изданием, я уже давно считал ее погибшей. Но около месяца назад, к моему изумлению, ее разрешила цензура, и художник Кирнарский, заведующий художественным оформлением книг Издательства писателей, выработал вместе со мною тип ее оформления. В Издательстве писателей встретил Тынянова. Он пошел со мною, и мы заговорили о его работах: «писать книгу о русских участниках Великой Французской революции я не решаюсь. Знаете, К. И., поневоле выходят параллели с нашей революцией, с нашей эпохой. Скажут: Анахарсис Клоотц — это Троцкий, очереди у лавок — это наши «хвосты» и т. д. Опасно. Подожду. А пишу я сейчас для Music Hall'a, московского, специально ездил туда договариваться... В ГИХЛе выходят мои переводы из Гейне — последняя книга, которую я издаю в ГИХЛе. Предисловие написано Шиллером — ну топорно, ну тупо, но ничего, а вот примечания Берковского, это черт знает что — наглость и невежество, вот вы сами увидите. **1932**

Позвольте, я к вам приду, у меня есть новый номер: академик Орлов — вот дурак патентованный, я столкнулся с ним на Ломоносове... Вот так идиот, любо-дорого. Да и вообще академики!!» Тут мы заговорили о Шкловском: «да, мы встречались после его статьи, разговаривали, но прежнего уже нет... и не будет. Его статью я почувствовал как удар в спину...[*] Он потом писал другую, замазывал, говорил, что я мастер, но нет... бог с ним... когда была у нас общая теоретическая работа... тогда и была у нас дружба. И смешал меня в кучу с другими, и Олеше посвятил целый столбец, а мне — всего несколько строк... о том, что я читаю все одни и те же книги... Что у меня вообще мало книг... Это у меня-то мало книг!!!»

Видно, что этот пункт статьи Шкловского особенно задел Юрия Николаевича.

Во время моей болезни был у меня милый Хармс. Ему удалось опять угнездиться в Питере. До сих пор он был выслан в Курск и долго сидел в ДПЗ. О ДПЗ он отзывается с удовольствием; говорит: «прелестная жизнь». А о Курске с омерзением: «невообразимо пошло и подло живут люди в Курске». А в ДПЗ был один человек — так он каждое утро супом намазывался, для здоровья. Оставит себе супу со вчера и намажется... А другой говорил по всякому поводу «ясно-понятно». А третий был лектор и читал лекцию о луне так: «Луна — это есть лунная поверхность, вся усеянная *катерами»* и т. д.

В Курске Хармс ничего не писал, там сильно он хворал. — Чем же вы хворали? — «Лихорадкой. Ночью, когда, бывало, ни суну се-

бе градусник, у меня все 37,3. Я весь потом обливаюсь, не сплю. Потом оказалось, что градусник у меня испорченный, а здоровье было в порядке. Но оказалось это через месяц, а за то время я весь истомился».

Таков стиль всех рассказов Хармса.

Его стихотворение:

А вы знаете, что У ?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ?

Боба заучил наизусть и говорит целый день.

22/XI. Был у меня Алянский. Сидел весь вечер и рассказывал о своих столкновениях с Мишей Слонимским. По его словам, Миша двурушничал, подыгрывался к Чумандрину, лгал Федину, предавал Алянского на каждом шагу... Я был так утомлен, что плохо вслушивался, мне страшно хотелось спать, а когда Алянский ушел, я не мог заснуть до утра, болело сердце.

22/XII. Ездил за это время в Москву с Ильиным и Маршаком на пленум ВЛКСМ. В Кремле. Нет перчаток, рваное пальто, разные калоши, унижение и боль. Бессонница. Моя дикая речь в защиту сказки. Старость моя и обида. И мука оттого, что я загряз в Николае Успенском — который связал меня по рукам и ногам. Ярмо «Академии», накинутое на меня всеми редактурами, отбивающими у меня возможность писать. Вернулся: опять насточертевший Некрасов, одиночество, каторга подневольной работы. 5 дней тому назад был у Федина. Потолстел до неузнаваемости. И смеется по-другому — механически. Вообще вся вежливость и все жесты машинные. Одет чудно́: плечи подняты, джемпер узорчатый. Всякий приходящий раньше всего изумлялся его пиджаку, потом рассматривал заграничные книги (Ромэн Роллан, Горький и др.), потом спрашивал: «Ну что кризис?» И каждому он отвечал заученным механически-вежливым голосом. Но то, *что* он говорит, очень искренне. «В Луге я и одна американочка вышли в буфет (поразили больничные зеленые лица), стоял в очередях за ложкой, за стаканом, ничего не достал, поезд тронулся, я впопыхах попал не в немецкий вагон, а в наш жесткий — и взял меня ужас: грязно, уныло, мрачно. Я еще ничего не видел (сижу дома из-за слякотной зимы, жду снега, чтобы уехать в Детское, я ведь меняю квартиру), но все похудели, осунулись... и этот тиф...» и, словом, начались разговоры, совсем не похожие на те интервью, которые он дал по приезде в газеты. Позже пришли Тынянов и Каверин. Опять щупанье пиджака, рассматривание книжек и —

«ну что кризис?» Тынянов кинулся ко мне с большой горячностью. И хотя дома его ждала ванна, пошел от Федина к нам и сидел у нас до поздней ночи и показывал нам разные эпизоды из жизни знаменитого еврейского актера Михоэлса и академика Орлова и рассказывал о своем новом романе, посвященном жизни предков Пушкина.

Никогда не испытывал я большей тоски, чем теперь, когда пишу об Успенском.

23/XII. Сегодня утром пришел ко мне Шкловский. Рассказывал о своей поездке к брату — который сослан на принудительные работы куда-то на Север. М. Б. накинулась на него из-за Тынянова: «Да как вы смели напасть на “Восковую персону”? И в какое время — когда все со всех сторон травили Тынянова? Вы, лучший друг».

Шкловский оправдывался: «Во-первых, Тынянова никогда не травили. Бубнов дал распоряжение печати не трогать Тынянова. Я не только Тынянова, я Горького обличил в свое время» и т. д.

Мы решили помирить их и позвали обоих обедать. Они были нежны, сидели рядом на диване, вспоминали былое. — Ты стал похож лицом на Жуковского! — говорил Тынянов, — и это недаром, в тебе есть немало его психических черт. Даром такого сходства никогда не бывает. Заметили ли вы, напр., как Ал. Толстой похож на Кукольника? И карьера, в сущности, та же. И даже таланты схожи! — Обед прошел натянуто, так как была докторша Серафима Моисеевна Иванова из Алупки. Потом Шкловский у камина стал читать свои «стихотворения в прозе» — отрывки о разных любвях — заглавия этой книги еще нет, и голос у него стал срываться.

— Старик, что ты волнуешься? — спросил Тынянов.

— Я не могу читать.

И действительно не мог: законфузился. В этих отрывках есть отличные куски. Но Тынянов не только не сказал о них ни одного доброго слова, но стал почему-то сравнивать их с тупоумными анекдотами Клайста, один из которых процитировал по памяти. Так никакой спайки и не вышло. Мы в этот день торопились на Утесова и вышли вместе. Тынянов нарочно пошел нас провожать, лишь бы не остаться наедине с Шкловским.

Сейчас 25/I 33 г. был юбилей А. Н. Толстого. Более казенного и мизерного юбилея я еще не видел. Когда я вошел, один оратор говорил: «Нам не пристала юбилейная лесть. Поэтому я прямо скажу, что описанная вами смерть Корнилова не удовлетворяет меня, не удовлетворяет советскую общественность. Вы описали смерть Корнилова так, что Корнилова жалко. Это большой минус вашего творчества». Я вышел в прихожую, где Миша Слонимский, Тихонов, Лаврентьев, Кол[нрзб.]. Лаврентьев сказал чудесную речь, по-актерски — от имени театра им. Горького. Встал на эстраду, возле Толстого, чего другие не делали — и сказал о том, что «все сделанное тобою, — это только первая твоя пятилетка — и у тебя еще все впереди». Толстой похудел, помолодел, — несколько смущен убожеством юбилея. В президиуме Старчаков, Лаганский, Шишков и Чапыгин и какие-то темные безымянные личности. Лаганский вышел с пучком телеграмм, но ни от Горького, ни от Ворошилова — ни от кого нет ни одного слова, а только от Рафаила (!), от Мейерхольда, от театра Мейерхольда, еще две-три – «и больше никаких поздравлений нет», наивно сказал Лаганский.

Я, впрочем, опоздал: был у Веры Смирновой, у которой смертельно больна девочка Ирочка...

Дневника я не веду по дикой причине: у меня нет тетради для его продолжения. Кончится эта — и аминь. Поэтому я не записал своих последних встреч с Фединым (он похудел, у него уже был припадок бешеной простуды, страшный озноб; он скулит, предсказывает всякие беды, ничего не пишет). С Тыняновым мы встретились дня 4 назад на секции научных работников в Ленкублите, где были: М. Л. Лозинский, Оксман, Каверин, Эйхенбаум, и вообще ядро Библиотеки поэтов. Тынянов, как главный редактор, делал вступительный доклад. Он запоздал, пришел торжественный, замученный и злой и стал странно мямлить, заикаться, — словно, говоря, думал о другом — смотрел в землю и, видимо, торопился кончить. Говорил минут 12 или даже меньше. Потом ста-

ли говорить другие — интереснее всех Оксман о Рылееве. А когда мы шли с Тыняновым домой, Тынянов сказал: «Вот удивительно: я уже несколько дней готовился к своей речи, думал, что она будет блестящая, с фейерверками, а она вон какая вышла коротенькая. Отвык говорить. Уже 5 лет молчу. Сам удивился. А готовился...» Видно, что эта неудача тяжело удручает его. Ну, надо лечь: уже 3-й час. Завтра нужно писать о Дружинине. А потом корректура «Маленьких детей» для Издательства писателей.

С Издательством писателей вообще вышла катастрофа. Федин очень забавно рассказывал, как Слонимский повез в Москву планы, а Москва вычеркнула книги всех начинающих писателей, всех писателей от станка, все книжки о заводах и колхозах — а оставила Вагинова и других одиозных. — Это кто? — Это писательская бригада... — Вон!

Все переиздания забракованы.

28/I. Троцкисты для меня были всегда ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как *характеры*. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим: шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и помощника присяжного поверенного. Что-то есть в нем от Керенского. У меня к нему отвращение физиологическое. Замечательно, что и у него ко мне — то же самое: в своих статейках «Революция и литература» он ругает меня с тем же самым презрением, какое я испытывал к нему*.

30/I. Опять навалили некрасовских корректур! Жутко взглянуть: 80 печатных листов. И когда я из-под этого выкарабкаюсь. А выкарабкиваться надо. А то выходит, что я не столько писатель, сколько редактор — то есть окололитературный человек. Письмо от Сергеева-Ценского.

У меня к нему отношение двойственное. Я очень любил его «Печаль полей», его «Лесную топь» — но в последнее время он сунулся в историю — он смеет выводить перед нами Пушкина, Лермонтова, Гоголя — а знает о них меньше гимназиста. Ни эпохи не чувствует, ни характеров.

Тынянов предлагает *мне* устроить мое чествование по случаю моих некрасовских работ. «В пику этому дураку Евгеньеву-Максимову». Но ценит ли он их, я не знаю. Что он презирает Евгеньева-Максимова, это несомненно. Он изумительно передразнивает

его. Я вчера прямо-таки обезживотел от смеха. Он изображал Переселенкова и Евгеньева-Максимова.

3/II. Пригласили меня и Маршака на Трехгорку. Там мы должны были выступить. Наш «концерт» предполагалось транслировать. В 5 часов за нами приехала машина. Я был в столовке. Маршак знал это и сказал, что в столовке меня нет. Приехавшая за мною Колосова все же усумнилась в его словах — и попросила его показать, где столовка. И он повез ее не туда. И выступал *один*. А я как дурак метался — между гостиницей и радио.

5/II. А может быть, Маршак и не так виноват. Он действительно рассеян. Но все же он умудрился поставить себя так, что все ненавидят его. Переплетчик, старый мастер, работающий в системе Литфонда, сделал некоторым литераторам homage[1]: пришел к ним на квартиру, чтобы они сами совместно с ним могли выбрать переплеты. Всюду старика встречали с большим уважением. Но Маршак продержал его, как просителя, три часа в прихожей — и в результате дал ему копеечный заказ — какую-то книжонку. Парикмахеры отказываются его брить — так он ругается, когда у него появляется на подбородке кровь, а избежать этого нельзя, так как на подбородке у него какой-то пупырышек. Пожилая Роза Моисеевна, которая ходила его брить на дом, клянет его всеми проклятиями: он продержал ее в прихожей — а потом, когда она побрила его, дал ей... 2 рубля... Мне больно смотреть, как он обсчитывает поездных носильщиков, шоферов и проч., торгуется, просит сдачу с рубля и проч. Но конечно, все это были бы мелочи, если бы не то, что сделал он с Лидой. Лида попала под его влияние лет 12 назад. Хотя с самого ее раннего детства я занимаюсь при ней детской литературой, она не интересовалась ею нисколько. Но чуть Маршак вовлек ее в редактуру детских книг, она стала фанатичкой «маршаковщины»... И даже не позволяет сказать о нем ни одного осудительного слова. Считает его гениальным редактором — и готова за него на костер.

1 июня 1933. Мой чемодан в швейцарской у Ионова, а я с портфелем бегаю по Москве. Вчера был день хлопот и происшествий. Оказалось, что того благодетеля, к коему дала мне письмо Анна Георгиевна, *нет в Москве*, и я, не теряя времени, кинулся в Наркомздрав — к самому наркому. Его секретарь поговорил с кем-то по телефону — и мне нужно придти за результатами завтра в

[1] почтение, уважение (*англ.*).

11 часов утра. Оттуда — в КСУ, там все зависит от некоего Гроссмана (не Леонида), его не застал — и поехал в «Молодую Гвардию». В «Молодой Гвардии» покрашены двери, в комнате у Лядовой новые обои, окна вымыты, но сумбур прежний. В приемные часы нет никого — ни одного человека. Все ушли на партсовещание. После долгих пертурбаций отыскал я Розенко, заведующего «Молодой Гвардией». Это широколицый, простой человек, бывший шахтер, очень симпатичный, прямой, без дипломатических вывертов. Он на меня обижен, т. к. в одном письме я ему написал: «нужно быть идиотом, чтобы» — и он принял этого идиота на свой счет. Мы объяснились. Он взял у меня книгу «Некрасов для детей» и попросил дополнить и переработать ее. Я вручил ему книжку своих сказок. Он обещал в трехдневный срок дать мне ответ: будет ли «Молодая Гвардия» печатать собрание моих сказок в одном томе. Оказывается, это дело отчасти зависит от Шабад. Я пошел к Шабад. Она направила меня к Свердловой, но той не оказалось.

Из «Молодой Гвардии» я пошел в радиоцентр. Там хотят использовать меня дважды: мои стихи и мою книжку «Маленькие дети». Это даст мне деньги на гостиницу — 270 рублей. Сегодня я решил ночевать в гостинице. В радиоцентре мне показали письмо: ребята где-то в провинции «*постановили:* считать Чуковского своим любимым писателем». По поводу воспроизведения моего голоса на пленку граммофона мне рассказали, что недавно произошел такой случай: устроители радиоконцерта пустили такую пленку *с конца* и довели до начала и *сами не заметили* своей ошибки, но ее заметил заведующий и запретил пользоваться пленками. — Из радиоцентра я поехал в «Academia». Там первый человек, которого я увидел, был Каменев. По-прежнему добродушный, радостный, но седой. За этот год голова у него совсем поседела. С Некрасовым все дело в Бельчикове: Бельчиков два месяца маринует Некрасова. Но в связи с моим приездом потребовали, чтобы Бельчиков представил свой отзыв на днях, завтра-послезавтра — и я тут же в Москве переработаю Некрасова по его указаниям, и тогда мне тотчас же выдадут деньги. Каменев, между прочим, сказал: «Хорошо было мне в Минусинске: никто не мешал мне заниматься. Я написал там о Чернышевском 12 печатных листов (биографию Чернышевского). Как жаль, что меня вернули в Москву. Там я написал бы о Некрасове, а здесь недосуг». Я думаю, что это — рисовка и что на самом деле он очень рад своему возвращению в Москву.

Мне нездоровится: болит голова, почти не сплю, простудили в поезде: дуло из окна и т. д. Кольцов находится в Баку, Лизочки нет — словом, я еле достал себе у них комнатенку на одни сутки.

1933 Обедал в столовой писателей. Сейчас чувствую такую усталость, какой никогда не чувствовал.

Правлю Колин перевод «Острова сокровищ», который заставляет меня часами корпеть над каждой страницей. Но вся моя усталость пройдет, если я достану путевку для тебя и себя: эта путевка есть для меня *сейчас добавочный* труд ко всем моим литературным делам.

Горький заболел. Простудился после Италии и Турции. Не мудрено. Тут собачий холод, слякоть, тучи, нет даже намека на солнце. Третьего дня боялись, что Горький умрет.

Тихонову не нравятся рисунки Конашевича. Я напишу отсюда Конашевичу большое письмо.

5/VI. В Оргкомитете писателей хоронили Мишу Слонимского. Он читал свой новый роман — должно быть, плохой — потому что ни один из беллетристов не сказал ни слова: Олеша отмолчался, Вера Инбер зевнула и ушла спать. Всеволод Иванов сказал (мне), что роман — дрянь, и даже написал об этом в Чукоккалу*. А говорили: Накоряков, Гроссман-Рощин и друг., причем даже Гроссман-Рощин сказал, что словесная ткань романа банальна, и — обвинял Слонимского в изобилии штампов. Было одно исключение: Фадеев, которому роман понравился. Вечером я, Слонимский, Фадеев, Ю. Олеша и Стенич пошли в ресторан. По дороге Олеша говорил: «Ой, чувствует Слонимский, что провалился. Это как после игры в карты: и зачем я пошел не с девятки? Походка у него как у виноватого». А потом: «Нет, не чувствует. Он доволен... Если так, все пропало. Бездарен до гроба». Фадеев говорил, что ему роман понравился: «А вот у Всеволода, — говорил он, — роман «У» — какая скука. Я сам — по существу — по манере ленинградский и Слонимский — ленинградский. А Всеволод — Москва: переулки, путаница».

7/VI. Хлопоча о Кисловодске для М. Б., пошел к писателям. Был вчера у Сейфуллиной. После первых же приветствий милейший Правдухин (перевязана голова: ему только что срезали шишку на голове) стал читать мне свой роман из жизни уральских казаков девяностых годов. В романе интересные куски — как идет вобла, но словарь чересчур заколдыкистый. Множество слов, которые все звучат для меня как «закуржавело», «закурдыкало», «подъярыжное семя» и все в этом роде. Я высказал это Правдухину. Он не обиделся. (У них летом квартирка кажется лучше, чем зимою. Из окна виден Ленинский музей, огромная панорама Москвы.) Чуть он кончил, Сейфуллина принесла мне свою рукопись

и стала читать. Это — короткий рассказ. Готовы только 2 главы. Всех будет 3 или 4. Очень простая, очень задушевная, мопассановская, человечная и спокойная. Называется «Собственность». Я даже не ожидал, что Сейфуллина так вырастет. От прежней Сейфуллиной осталась лишь одна фраза: «горьким туманом расплаты», и эта фраза прозвучала как моветон. И сама Лидия Николаевна говорит: и как меня угораздило написать эту фразу!

Тут же мама Правдухина — толстая медведеобразная женщина и Капа — сестра Лидии Николаевны, и брат Валерьяна Павловича — Кока. Угощали чаем, очень радушны и дружественны.

От них к Олеше. Этажом ниже. У него Стенич, Ильф и какой-то художник, и бонтон за столом, и шутливые разговоры. Олеша вообще любитель застольной беседы и весь исходит шутками, курьезами, злыми словечками.

Ильф острит без конца. Глянул из окна. «Ах, какая у вас удобная квартира: чудесно будут видны похороны Станиславского». И тут же стали изображать, как Немирович-Данченко и Станиславский все время напряженно думают, кому из них умирать раньше. И про Афиногенова: как он якобы скрыл свой месячный заработок (14.000 рублей), и комиссия его обнаружила. Я спросил о «Трех толстяках», Олеша говорит, что, когда Станиславский вернулся из-за границы, он решил поставить «Трех толстяков» в другом стиле и поэтому снял их на время. Но ничего, «Три толстяка» будут идти в Мюзик Холле — где будет множество цирковых номеров. Олеша принял близко к сердцу мое дело и стал звонить какому-то Рискинду. А потом мы пошли к Б. Пастернаку — то есть я пошел к Кольцову спать, а они — так же смеясь и переходя от анекдота к анекдоту, злословя, зашагали по Газетному переулку. Проходя мимо дома МОПРа, Ильф указал на архитектуру: тюремная. Этим архитектор и взял политкаторжан. «Я построю вам дом — совсем как настоящая тюрьма. С самыми настоящими решетками». И те соблазнились. А Корбюзье отвергли.

7/VIII. Евпатория.

«Через розочку пройдите» (Санаторий Розы Люксембург).

Линкоры: «Червона Украина». — «Красный Кавказ». — «Профинтерн». «Парижская Коммуна» — крейсер. На нем бывают наши актеры: дают концерты. Вернувшись, они вскользь упоминают о пушках, но главное, о еде. Какие бифштексы! И если приглашают восьмерых, непременно поедут 12 — в качестве спутников, организаторов и т. д. Так как крейсерное командование ведается главным образом с Марадудиной, и от нее зависит, кого «взять на корабль», то за ней ухаживают, ей льстят.

1933 Но у Военной санатории есть своя «Парижская Коммуна» — моторка, обширная, вместительная. В санатории РОККА администрация пригласила меня покататься с ребятами на этой «Коммуне». Я пришел вовремя и жду. Час, два — нет моторки. Бегу за нею по берегу, перелезаю через заборы женских пляжей, добираюсь до пристани. Там командир лодки, хромой тов. Квитко флегматично заявил мне: «не поеду; РОККК имеет только 32 пассажира, а я меньше 80 не повезу — по 50 к. с носа». Так что мне пришлось от себя внести 15 р. и Квитко сдвинулся, ну и восторг был на пляжу. Но восторг не долгий: санитары отказались носить их в лодку (она пристала за 50 шагов от их площадки), и я стал носить ребят на руках. Потом ребята были уложены в лодке так, что лежачие уместились на дне, а сидячие на банках, окаймлявших лодку (лодка большая, широкобортная). Те, что лежали на дне, ничего не видели, но тоже блаженствовали. Они глядели на сидящих, а сидящие им сообщали:

— Атлантида поехала вона!

— Вон лодка самоделкая!

— Уй-уюй, пушек сколько!

— Гидропланы! Подводные лодки!

Когда мы подъехали к «Червоной Украине» ребята, даже те, что лежали на дне, закричали:

— Ура Красному флоту!

Сидячие замахали костылями.

В Евпатории, как и в Ялте, пошлятина: берут честные, прекрасные морские ракушки, раскрашивают их и делают из них всевозможные неестественные узоры. В Евпатории есть мастерская этих изуродованных ракушек под жеманным названием «Дар морского дна». Продавцы кричат: молодая лечебная пшонка[1]. Неподалеку от нас есть сапожник, который, уходя на обед, снимает вывеску и уносит с собою: воруют. Вообще воровство в Евпатории сказочное. Воры читают по афишам, какой актер когда выступает, и пробираются к нему именно в ту минуту, когда он, волнуясь, выходит на эстраду. Здесь я познакомился с Гецовым, начальником Военного Санатория для детей. — Ты *лежачий?* – спросил я одного больного. — Нет, я *скакачий.*

В санатории чудесно поставлена техническая работа ребят. Там делом заведует Всев. Ник. Лисинский, молчаливый человек, увлекающийся лилипутским строительством, переводя футы в вершки, он построил с ребятами водонапорную башню (фонтаны бить будут), планер, пароход, чучело красноармейца, у которого есть и противогаз, и мешок с бельем, и консервы, и алюминиевая

[1] кукурузный початок (*укр.*).

кружка, и зубная щетка, и портянки. Я целый день просидел в его мастерской.

Лежачие работают аккуратнее, чем ходячие.

Я дал в Евпатории 11 концертов: 5 в Курзале, 2 в Гелиосе, 1 в «Первом Мая», один у Крупской, один — в Талассе.

В Евпатории я познакомился с Ойстрахом — студентообразный скрипач, милый, изящный, скромный. Я разочаровался в цирковой эстрадной богеме. Это темные люди, десятки лет повторяющие два-три трюка, без всякой душевной жизни, с одними аппетитами... Я выступал с ними в санатории Крупской перед 500 увечных детей, и ни один из них даже не заинтересовался этой трагической аудиторией. «Отмахали номера» и прочь.

Сошелся в Евпатории со Львом Пумпянским. Он странен. Очень большой эрудит, читающий на четырех языках, превосходный оратор, человек самостоятельного мышления — он цветет пустоцветом и перебивается тем, что читает рабочим банальные лекции — на любые темы — насыщая их стопроцентной идеологией, которая в его устах кажется фальшивой и мертвой. Его жена Мироновна — добрая, умная, некрасивая.

26/VIII. Из Евпатории мы уехали на машине Гецова в Ялту с заездом в Балаклаву — строгий, самобытный, незабываемый город, лишенный всякой крикливой пошлости. 26 ночью приехали в Ялту. *27 вечером, у Муры на могиле в Алупке...* Ялта понравилась мне больше, чем прежде. В гостинице «Ореанда» мы сняли хороший номер, с двумя балконами, но произошла пренеприятная вещь из-за Эррио. Ялта почему-то вообразила, что Эррио прямо из Турции проедет в Ялту, и стала спешно чинить мостовые. В ресторане, где мы обедали, живописцы спешно стали писать на дверях Cafe-Restaurant. Очереди за обедами, стоявшие с талонами на набережной, — были переведены в переулочки. Прислуга в гостинице сбилась с ног, обметая застарелую грязь. На звонки жильцов не отзывается. «Некогда, ждем французов». Утром я проснулся, вышел на балкон — вижу: лестница и по лестнице лезет ко мне на балкон маляр. Даже не взглянув на меня, начинает красить балкон вонючей масляной краской. «Это для французов!» Пришлось закрыть дверь и окно, выходящие на балкон. После завтрака я прилег вздремнуть. Открывается дверь с балкона, входит печник: «Извиняюсь! как у вас тяга?» Через десять минут человек с молотком: «Надо заделать мышиные норы». Через 10 минут монтер: «Проверка электричества!» И все это Эррио. Выйдя в коридор, я не узнал его: безвкусные жардиньерки, ни к селу ни к городу припертые к углам, ковры, пальмы! Оказалось, что жильцы всего коридора выселены в другие номера: едут французы. Я махнул ру-

кой и взял билеты на «Аджаристан» — теплоход, уходящий из Ялты 29-го VIII в Батум. В Ялте обошел книжные магазины, куда Союзпечать доставляет из Москвы такие книги:

«О выполнении плана по тяжелой промышленности» — Проф. Петров. — «Злокачественные опухоли» — «Атлас по паровым турбинам» — «Проблемы Китая» — «Road machines»[1] — «Перестройка местного бюджета», а о Крыме нет ни одной книжки. Вся эта литература лежит мертвым грузом на полках, а обыватель, поглядев на нее, идет и покупает ракушки. Очень много также книг, напечатанных по-татарски. Но татары их едва ли читают — и продавщица в киоске говорила мне, что в конце концов разрывает эти книги на фунтики — и в таком виде продает покупателям, которые идут за виноградом.

На «Аджаристане» — скука и бестолочь. В Ялте я не мог купить билеты 1-го класса и купил билеты 2-го класса. Нас разъединили, т. к. во 2-м классе мужчины помещаются отдельно от женщин. (Ужас молодожена, узнавшего об этом.) У М. Б. оказался слишком большой багаж. Уборщица 2-го класса запротестовала. Ей была сунута в руку пятерка, и она оказалась чрезвычайно покладистой. Мой уборщик после пятерки тоже сделался шелковым — и обещал в Новороссийске выхлопотать нам каюту 1-го класса... Заведующий пассажирами Николай Федотыч Знайенко — в Новороссийске, как особую милость, предоставил мне каюту 1-го класса — я опять заплатил, кроме билета, добавочное вознаграждение посредникам и тут только обнаружил, что во 1-х — каюта моя помещается над самой топкой — и в ней жарко, как в бане, а во 2-х, что 1-й класс есть собственно третий, так как вся палуба 1-го усеяна сплошными телами бесплацкартных пассажиров, которые ночью и днем играют на гармонике, хохочут, визжат перед окнами 1-го класса — и эти окна нельзя ни на минуту открыть — осаждающие нас бесплацкартники непременно посягнут на имущество. В каюте 1-го класса бездна прусаков. Мы были в истинном ужасе, пробыв в этой каюте полчаса, а те, которые взяли у нас крупную мзду за водворение нас в 1-м классе, сочувственно говорили: «Мы знали, что в первом классе вам будет невтерпеж, но...» Особенно досаждал нам один Смердяков с гитарой. Когда я потребовал, чтобы он замолчал, он сказал, что я не имею права лишать его «духовной пищи» и что я забыл лозунг «Музыка — массам». Сидевшие с ним девицы поддержали его — все они считали, что их ночные пляски и песни под окнами моей каюты — есть вполне законное явление. Началась воистину классовая борьба — и эти люди толь-

[1] «Дорожные машины» (*англ.*).

ко тогда угомонились, когда Знайенко пригрозил им штрафом. Пришлось мне вновь давать на чай во втором классе, чтобы мне позволили приютиться там и отдохнуть от прелестей первого. Вообще же оказалось, что обыватели становятся и деликатны, и человечны, и любезны под угрозами штрафов, а любезность пароходных служащих приобретается только бумажками. До такой степени подло распределена на этих теплоходах публика, что никакого ветра, никакого солнца нельзя захватить на всем судне. Пассажиры 1-го класса захватили все шезлонги. Чтобы погреться, я шел на нос, где вповалку лежали вонькие тела пассажиров — с арбузами, детьми, пшонками, вшами. В уборной чудесно спускается вода, но ее никто не спускает. Окурки попадают в урну только на глазах у судового начальства. Бесплацкартные одесситы захватили палубу первого класса и острят:

— Я старый моряк Нижегородской железной дороги.

— Вон костер готического стиля.

Гагры. Видна лошадь на пляже. Голые люди в лодке. Наши дамы в шезлонгах говорят о здешней еде. Об изюме, о варенье из персиков и пр. Какой-то бухгалтер в толстовке: «варенье можно сварить из чего угодно, хоть из ракушек».

Мальчик называет дельфинов — фильмами.

Сухум. Гузинаки! Пшонка! Толстые пальмы. Молодая женщина ищет у старой вшей. Чуть отойдешь от полосы пальм и экзотических лиан — пыльная, голая, грязная улица — поросшая травой, как в Одессе. Чахло и нище. На пресловутом базаре ничего, кроме незрелых слив и пыли. Но пристань поэтична и красива — тот длинный мостик, что ведет на пристань. К сожалению, «Аджаристан» имеет подлое обыкновение сообщать пассажирам, что он отойдет через 20, через 30 минут, в то время когда он стоит 2—3 часа, и поэтому бежишь со всех ног на пристань — и боишься шаг отойти от корабля, а он стоит и стоит и держит тебя кавказским пленником.

Словом, так или иначе, но 1-го сентября мы оказались в *Батуме.* Невероятно, но факт: чтобы сдать вещи в багаж на вокзале, потребовалось 3 $^{1}/_{2}$ часа, так медленно работали в том подземелье, которое предназначено для хранения вещей. Потом я пошел к начальнику станции и стал хлопотать о билетах на Тифлис. Начальник станции немедленно стал наводить справки. Отойти от него было нельзя. Он говорил: «вот сейчас узнаю все дело... Сейчас устрою». Так что организация транспорта и здесь помешала мне ознакомиться с местом. Только и видели мы — роскошный городской сад — с невероятно богатой растительностью, да я покатался в прокеросиненном море, на шлюпке, глядя, как 3 или 4 парохода одновременно разгружают пшеницу. Не успел я провести

1933 в Батуме два часа, как снова надо было бежать на вокзал — выжидать, к чему приведут комбинации начальника станции. Оказалось, никаких комбинаций применять и не надо было: приехал лишний международный вагон, привез французов, — и начальник направил нас в кассу, где после 2-хчасового стояния в очереди я получил билеты в международный на Тифлис.

Чуть я приехал в Тифлис — я поехал на трамвае на Плехановскую ул. в «Детский парк культуры и отдыха», о котором столько шумели газеты. Мне было интересно взглянуть на единственный в СССР детский социалистический парк. Все это оказалось моветонной чепухой. Сжатый между двумя высокими домами крошечный клочок кафешантанной земли, загаженной ночными посетителями. Вечером это Арто с открытой эстрадой и выпивкой, а днем это — «Единственный в СССР Детский Сад Культуры и Отдыха». В павильоне расселись какие-то армяне и грузины, одетые по-рабочему, довольно симпатичные. Я сказал, зачем я пришел, и они все вместе, говоря между собой по-грузински, — пошли показывать мне парк. Вот здесь был фотокружок, вот тут врачебный кабинет, вот изображение драмкружка, вот тут снялись члены планеркружка — вот детская техническая станция, — а потом в разговоре признались, что все это «пыль в глаза», на самом деле Детский парк культуры и отдыха был никуда не годным местом, где ребята хулиганили и склочничали и нарочно оставались подольше, чтобы пробраться без билета на вечерние представления, что руководство парка смещено, что парк уже закрыли 3 дня назад, что в бюджете ОНО [Отдела народного образования] для этого парка нет средств — и потому им, техническому персоналу, не заплачено денег, и они принуждены выколачивать средства собственными усилиями — и повели меня в детский бассейн.

Бассейн оказался величайшею мерзостью. Маленький водоем ведер в 70 — непроточной воды, переполненный голыми людьми, *взрослыми*, среди них двое-трое ребят. Я спросил, почему же в этом детском бассейне — взрослые, они ответили, что теперь они поставили бассейн на коммерческую ногу и предоставляют его всем желающим освежиться, а деньги берут себе, в покрытие невыплаченной им зарплаты!!!

Потом они признались, что никакого фотокружка, никакого драмкружка, в сущности, тут и не было, что работа существовала только на бумаге, а все эти снимки — липовые. На технической станции изделия ребят — стол, стул и пр. тоже липа, там вообще нет ребят, а какой-то взрослый выделывает какую-то деревянную штуковину для себя. Я решил сообщить об этом тифлисской администрации — и пошел в газету «Заря Востока», находящуюся в новом помещении, — явная пародия на «Известия». Там меня встре-

тили, как знакомого, и сказали между прочим, что в Тифлисе — Пильняк. Было уже 4 часа. Я до этой минуты не ел, не спал, не нашел пристанища. Все гостиницы были заняты, я истратил на извозчиков и носильщика около 50 рублей, — вещи мои были сложены в вестибюле гостиницы «Палас» (кажется) — и надежд на номер почти никаких не было.

От отчаяния пошел я в гостиницу «Ориант» («Orient») и спросил, не тут ли остановился Пильняк. «Тут, в правительственных комнатах». Я пошел туда — и в обширной столовой увидел стол, накрытый яствами, — и за столом сидит сияющий улыбками Пильняк. Потом оказалось, что тут же присутствуют: *Герцль Базов,* грузинский еврей, написавший пьесу о еврейском колхозе; заведующий сектором Искусства Наркомпроса критик *Дудучава,* драматург *Бухнихашвили,* тел. 30-20, кинорежиссер *Лина Гогоберидзе,* замнаркомпрос *Гегенава* – и Евгения Влад. *Пастернак,* бывшая жена Пастернака и др. Во главе угла сидел тамада Тициан *Табидзе,* осоловелый тучный человек, созданный природой для тамадантства. Он сейчас же произнес тост за М. Б. и за меня (причем помянул даже мою статью о Шевченко, даже мою книгу «От Чехова до наших дней»), и сейчас же Женичка побежала куда-то и устроила нас в своем номере «Ореанта», а сама получила другой — и я перевез (опять на извозчике) вещи из «Паласа» в «Ореанту». Когда мы вошли, разговор шел о Горьком — враждебный разговор. Пильняк, задетый статьей Горького, был очень утешен враждебностью некоторых тупоголовых литераторов к Алексею Максимовичу. — Что сильнее Горького? задал он загадку. — Смерть, — ответил какой-то старик. — Верно, верно! Слышите, Чуковский.

Стиль речей тамады был очень высокий: «Красота обязывает», «Красота спасет мир». «Святое семейство — *Борис* Пастернак, *Борис* Пильняк и *Борис* Бугаев», три человека, посетивших Грузию. Потом я понял сущность грузинского пира: число тостов равняется числу человек, сидящих за столом, помноженному на число стаканов. Табидзе пил непрерывно — и тосты длились часа 3 $^{1}/_{2}$. Потом появилась машина *Наркома Бедии,* и мы поехали вшестером: я, Пильняк, Табидзе и еще какой-то юноша, Лина Гогоберидзе, Лида Гасвияни — в Мцхет, посмотреть ЗАГЭС и старинный собор. Табидзе декламировал стихи Блока, которые казались еще прекраснее от его грузинского акцента. Табидзе, бывший символист русско-французского толка, осколок великой поэтической эпохи символизма — и его пьяные стихотворные вопли были в духе 1908–1910 гг. Лицом он похож на Оскара Уайльда, оплывшего от абсента. Он уже лет десять «собирает материалы» для романа о Шамиле.

1933 На следующий день я был в Музее — где отражено хевсурское и сванское житье. Видел орудия хевсурской медицины, страшные пинцеты и ланцеты, — лыжи, кровати — роскошную для мужчины и жалкую для женщины, в виде корзины, которую выносят за ручки, когда женщина рожает, и на машине того же наркома, управляемой шофером *Жорой*, побывал в знаменитых *Коджорах*, где видел идеальный детский комбинат, созданный Грузинским Наркомпросом для беспризорных детей. Коджоры высоко над Тифлисом — природа там прохладная — вроде подмосковной. Там спасаются от жары дачники — и если бы не недостаток воды, это было бы идеальное место. Там раскинуты на большом пространстве дома детского комбината, где хевсуры и сваны играют на медных трубах, занимаются физкультурой, рисуют, читают, учатся. Всех их там 550. Их директор Дмитрий *Дудучава* – молчаливый человек, по-видимому, очень преданный делу, давал нам объяснения: у них 50 га земли, 60 коров, 100 свиней. Все учителя живут тут же. В Коджорский комбинат входит также и педтехникум. Все было очень интересно, но чуть я вошел во вкус — появился стол, уставленный яствами, и начались бесконечные тосты. Я не увидел и сотой доли того, что хотел, но все же дети с огромным воодушевлением пели, плясали, играли на трубах, подарили нам цветов...

Вечером 2-го во Дворце Искусств на ул. Мачабели, 13 (б. Сергиевская), Пильняк устроил беседу с местными писателями. Собралось человек 300. Зал не вмещал всех собравшихся. Стояли в проходах, в прилегающих комнатах. Пильняку задавались вопросы, он отвечал остроумно и забиячливо. «Не всем же писать "Клима Самгина"!» Его спрашивали, как он относится к Дос Пассосу (в связи со статьей Горького, ругавшей Дос Пассоса, как американского Пильняка*), зачем он написал «Красное дерево» и проч. Вдруг он назвал мое имя. Я в давке и гаме, за дальностью расстояния, не расслышал, в чем дело — он пошел в публику, вытащил меня и поставил. Я стал читать свои сказки, — и публика приветствовала меня с такой горячностью, с какой меня не приветствовали никогда нигде.

На следующий день был обед у *Тициана*, где я познакомился с *Пируновым* и гениальным имитатором *Раффиком Агамалишвили*. Потом вечером в Сахал Гами я читал доклад о сказке — и потом посетил Вл. Эльснера — в его претенциозно обставленной «келье», но ничего не помню из нашей полунощной беседы, т. к. смертельно устал и лежал у него на кушетке полумертвый.

11/IX. Кисловодск. Вчера встретил у вокзала Н. С. Тихонова. Поехал в Кисловодск на минутку за тещей, чтобы везти ее в Ле-

нинград. В сапогах, в походном сером запыленном костюме — ничего писательского. Только что объехал весь Дагестан — и как всегда полон экзотических, никому не известных имен и событий. «Племя такое-то решило купить автомобили в Торгсине — в складчину. Строило дороги три года — и купило 4 машины на золотые и серебряные вещи. Каждый участник получил квитанцию, и теперь кто ни предъявит квитанцию, может в порядке очереди пользоваться машиной». А языков в Дагестане 70. Есть деревня (такая-то: тут он произносит экзотическое имя), которая имеет собственный язык, недоступный ее ближайшим соседям. Слышно в соседнем ауле, как кричит петух, а друг дружки не понимают. Он коллекционер диковин. Кавказ для него — край курьезов, нужных его беллетристике. Купил коня в начале пути, продал его в конце. Я предложил ему пойти со мною в КСУ. — Ну их к черту. Ни разу и одной минуты не бывал в санаториях. Лучше на земле, на бурке. С тоскою говорил о необходимости ехать в Ленинград и впрягаться в литераторскую лямку. Речи, заседания — тоска. Он пишет книгу стихов вперемежку с прозой «Зверинская, 2» — о том доме, где он живет. «Вот незаметно написал 50 листов прозы. Страшно подумать. И сколько плохого!»

Здесь А. Н. Тихонов. Рассказывает о Горьком. Горький не хочет уезжать в Сорренто, а намерен провести зиму в Крыму — в Форосе. Ему уже и дом там приготовлен. Работает над «Самгиным». «Самгин» дается Горькому трудно; прежде никогда не бывало, чтобы Горький спрашивал совета у других, а теперь читает «Самгина» разным людям и спрашивает совета. Рассказывал Тихонов об Эррио. Французистый француз, у которого язык без костей. На приеме у Литвинова вдруг стал говорить Айви Вальтеровне, как он любит русских женщин и проч., как он на ее месте гордился бы такой родиной как СССР.

— Я и горжусь своей родиной, Англией! — ответила будто бы Айви. Потом Эррио попросил русских папирос — слыхал, что в России очень хороший табак. Ему дал один из наркомов папиросу — made in Germany[1] — ни у кого не оказалось русских папирос. Не хочу курить немецких — сказал Эррио. Наконец достали ему махорки. Он курнул два раза — и послал в прихожую за своими — у него в пальто. Очень подружился Эррио с Эфросом. Тихонов у Горького поднес Эррио издания «Academia» — «Манон Леско», «Опасные связи», «Актрису» и т. д. Большинство этих книг под редакцией Эфроса.

Вечером виделся с Буденным.

[1] Сделано в Германии (*англ.*).

1933 **16/IX.** Халатов заболел. Вчера я навестил его. У него болит бок, грелка на животе. Температура 35°. Заговорил сперва о С. Третьякове. Третьяков работал где-то в Северном Кавказе в колхозе, захватил там страшную малярию, припадки которой чуть не убили его. Халатов послал телеграмму в Ростов, распорядился, чтобы в колхоз выехал к Третьякову врач, который доставил Третьякова сюда, в Кисловодск. Патушинскому срочно предложено приготовить для Третьякова палату — и Третьяков у нас. — Потом заговорили о Горьком. Халатов обижен на Горького. «Я ведь, в конце концов, главным образом способствовал сближению Горького с СССР — не только по линии Огиза, но и лично. Познакомился я с Горьким в 1918 году — и сблизился с ним. Побывав у Владимира Ильича в Кремле, он всегда заходил ко мне в Наркомпрод. Мы были по соседству. «Зачем вы пригреваете Роде? Разве вы не знаете, какая это сволочь?» — сказал я Горькому. Горький обиделся, отвернулся. Но вот является к нам Роде с записками от Горького. Мы всегда удовлетворяли его просьбы, но на этот раз они внушили нам сомнения. Очень наглые и ни с чем не совместимые были требования. Мой секретарь заметил, что подписи под записками горьковские, а текст — написан самим Роде. Роде получил от Горького несколько десятков пустых бланков — и сам заполнял их, как вздумается. Пользуясь этими бланками, он получал у нас вагоны муки, которыми нагло спекулировал. Я решил отобрать у него эти бланки. Мы напоили Роде и, когда он был пьян, выкрали у него из портфеля 12 или 15 бланков с подписью Горького... Года через три я вручил их Алексею Максимовичу».

«В 1921 (кажется) году Владимир Ильич послал меня в Берлин к Горькому с собственноручным письмом. К тому времени Горький уже порвал с Роде, но я этого не знал. Роде встретил меня в Штетине — пышно, приготовил мне в вагоне целое отделение и ввел туда двух девчонок, одну немку, одну русскую. Ехавший со мною Шаляпин сказал ему: «Убери этих б. Ты не в ту точку бьешь». Он девчонок убрал, но, привезя меня на Фридрихштрассе, ввез меня в гостиницу «Russische Hoff»[1], белогвардейское гнездо. А я не знаю, что это за гостиница, останавливаюсь там с письмом Ленина, с кучей конспиративных бумаг. Номер у меня был роскошный, с ванной и уборной, но я так взволновался, что у меня расстроился живот и я сгоряча(!) попал в женскую уборную. Сижу и слышу: женские голоса; а гостиница большая, уборная полная. Я 40 минут ждал — не уйдут ли женщины. Но одни уходят, другие приходят. В конце концов я выскочил, все страшно завизжали, и в результате меня оштрафовали на 200 марок за вторже-

[1] «Русское подворье» (*нем.*).

ние в дамскую уборную. Я позвонил в наше посольство. Мне говорят: зачем вы остановились в белогвардейском притоне? Сидите и не двигайтесь, мы приедем на выручку. Спасли меня из лап Роде. Я приехал к Горькому, говорю ему: «Опять ваш Роде». А он: «Я уже с Роде порвал совершенно».

«Сколько раз он ставил Горького в фальшивое положение. Было однажды так: Владимир Ильич удовлетворил все просьбы Горького по поводу разных писательских нужд. Горький был очень рад. Пришел ко мне и минут 20 сидел без движения и все улыбался. Мои сотрудники смотрели на него с удивлением. Потом он сказал: приходите ко мне с Ильичем чай пить. В Машков переулок. Пришли мы с Ильичом. Горький стоит внизу у входа, извиняется, что лифт не работает. Поднялись мы к нему на 5-й этаж. Сели за стол. Вдруг открываются двери в детскую комнату, там хор цыган, которым управляет Роде!! Ильич ткнул меня большим пальцем: «влипли». Горький нахмурился, сказал «извините» и пошел к Роде и закрыл за собою двери. Через секунду весь хор был ликвидирован. Горький вернулся смущенный».

Потом Халатов рассказал мне историю Ганецкого, который решил открыть Горькому «всю правду», — и что из этого вышло. Любопытна также история отношений Горького к Халатову после падения Халатова. «Он написал мне очень плохое письмо. Очевидно, ему продиктовали. А когда мы встретились — после его приезда — сам пригласил меня в свою машину, попрощался со всеми встречавшими, обнимал меня, был втройне ласков. Когда я пришел к нему в гости, так обрадовался, что соскочил с табурета и, если бы я не поддержал его, упал бы».

Разговор был дружеский. Длился часа два. Вечером у меня в комнате был Тихонов, и я читал ему свою статью «Толстой и Дружинин». Тихонов говорит о Горьком, что тот страшно изменился: стал прислушиваться к советам докторов, принимает лекарства, заботится о своем здоровье. Работает страшно много: с утра до позднего вечера за письменным столом. А вечером играет в подкидного дурака и — спать.

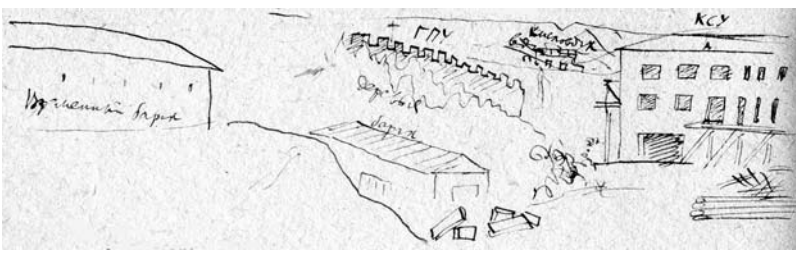
18/IX. Вчера у Халатова. Он читал газету — и вдруг вскрикнул: «Ну уж это никуда не годится». В «Правде» опубликовано постановление ЦК ВКП(б) (от 15/IX) «Об издательстве детской литературы». Постановление явилось сюрпризом для Халатова, представителя горьковской партии. Горький, Маршак, Халатов были уверены, что Детгиз будет в Ленинграде, что заведующим Детгизом будет Алексинский, что Детгизу будет предоставлена собственная типография. Все эти планы, как и предсказывала Лядова

во время моего свидания с нею в Москве (2/VIII), потерпели крушение.

Третьего дня был у меня Третьяков. Еле держится на ногах, изможден тропической лихорадкой. Рассказывает чудеса о благодатном переломе в колхозном деле: восхищается политотдельщиками. Дал мне свою книгу «Вызов», которую я читаю сейчас.

Вчера Тихонов прочитал мне свои очень талантливые воспоминания о Чехове. Я опять взволновался Чеховым, как в юности, и опять понял, что для меня никогда не было человеческой души прекраснее чеховской.

Дождь идет три дня почти не переставая. Где-то в горах выпал снег. Провожаем сегодня академика Чернышева и его жену Ядвигу Ричардовну, которые были моими соседями по столу. М. Б. поправляется в Кисловодске заметно. Вот вид из моего окна:



Санатория ГПУ строится с изумительной, быстротой. Говорят, что в августе рабочие в 4 дня «подняли нарзан» сюда на гору. Санатория КСУ вчерне готова, но сейчас временно строительство приостановлено.

Сергей Михайлович Третьяков — человек аккуратнейший, основательный, задумчивый — худой, в круглых очках — тип немецкого методиста. Вчера читал мне свои записи «день полевода»: аккуратно записал сотни разнообразных поступков полевода в его любимой коммуне под Георгиевском. Я дал ему свои синие брюки, т. к. он не захватил с собой в коммуну никакой теплой одежды.

Оказалось, что бедный Халатов, который всем нам кажется богатырем, — сильно болен: у него одного легкого совсем нет, а в другом задета верхушка. Сердце, по его словам, у него сдвинуто на правую сторону. Он устроил мне билеты до Москвы и Ленинграда в международном, Тихонову устроил путевку в Гагры, Третьякова поместил в санаторию КСУ с той привычкой делать добро — которую я давно уже подметил в нем, с тем аппетитом к добру, которого я почти никогда не видал у мужчин.

24.IX. Среди здешних больных есть глухая женщина, Лизавета Яковлевна Драбкина, состоящая в партии с 4-летнего возраста.

Ее мать во время московского восстания ездила в Москву, вся обмотанная бикфордовым шнуром, и брала ее, девчонку, с собою — для отвода глаза, наряжаясь как светская барыня. Ее отец — С. И. Гусев. Ее муж — председатель Чека*. Вчера мне, Тихонову, Ядвиге Ник. и Белле Борисовне она рассказывала свои приключения в отряде Камо — после чего я не мог заснуть ни одной минуты. Приключения потрясающие. Камо увез Лизавету Яковлевну в лесок под Москвой вместе с другими молодыми людьми, готовящимися «убить Деникина», и там на них напали белые из отряда — и стали каждого ставить под расстрел. — Лизавета Яковлевна, которой было тогда 27 лет, стала петь «Интернационал» в ту минуту, когда в нее прицелились, но четверо из этой группы не выдержали и стали отрекаться от своей боевой организации, выдавать своих товарищей. Потом оказалось, что Камо все это инсценировал, чтобы проверить, насколько преданы революции члены его организации. Дальнейшие приключения Елизаветы Яковлевны в качестве пулеметчицы поразительны. Рассказывала она о них с юмором, хотя все они залиты человеческой кровью, и чувствуется, что повторись это дело сейчас, она снова пошла бы в эту страшную бойню с примесью дикой нечаевщины.

30 сент. Идиотский день. Болит голова. Дождь. Материалы для «Солнечной»:

Слышал на улице:

А проклятому фашизму
Скоро мы поставим клизму.
Во и боле ничего.

1. Давно битый не был? — 2. Ты с ума соскочила? — Рязань кособрюхая. — Перенос порток на другой шесток. — Делать погоду при помощи барометра. — В лавках ящики да приказчики и больше ничего. — Пиявит — страхота — завируха — дохлятина. — Это вы куда наматываете?

1 октября. Вчера у нас читал Пантелеймон Романов. Я послушал две минуты: «Щетина штыков», «Море голов». Я и ушел. Тихонов топил печь журналами и «Нашими достижениями».

2 октября. Вчера по случаю отъезда Лизы Драбкиной Тихонов увлек нас в шашлычную. Было выпито три бутылки вина (я не выпил ни капли) — съедено блюдо шашлыка и арбуз. Тихонов показал себя огромным мастером совместного выпивания. Шашлычная — душная комната, с кавказским оркестром (игравшим

украинские песни), мерзко-зловонная, где свежему человеку секунды нельзя пробыть, — а Тихонов, войдя, сказал: «Кабак хорош... для драки... Мы в таком кабинете Катаева били. Мы сидели за столом, провожали какую-то восточную женщину. Это было после юбилея Горького. Был Маршак. Ввалился Катаев и все порывался речь сказать. Но говорил он речь сидя. Ему сказали: «Встаньте!» — Я не встаю ни перед кем. «Встаньте!» — Не встану. Возгорелась полемика, и Катаев назвал Маршака «прихвостнем Горького». Тогда военный с десятком ромбов вцепился в Катаева, а Маршак, который, неприметно ни для кого, краснел, краснел, разъярился, вдруг запищал и бац Катаеву в морду... Потом Катаев говорил, что на пьянке «ругали советскую власть», и он, Катаев, будто бы вступился.

Вернулись мы поздно. Тихонов плясал фокстрот и играл с Бэллой тенисным мячом. Я ушел к себе и не спал ни секунды. Теперь бегу в нарзанную ванну... предпоследнюю.

Москва 9/X. Я здесь уже 3 дня. У Кольцовых в Доме Правительства. Дождь. Изменений множество, как всегда осенью. Пришел в радио, Эмден и говорит: «Я ухожу отсюда с 1 ноября, довольно». Халтурин тоже: «Ухожу». Пошел в «Молодую Гвардию». — Можно видеть Розенко? — «Какого Розенко?» — Заведующего! — «Никакого Розенко у нас нет». Даже забыли, что у них был такой заведующий. — А как пройти к Ацаркину? — Ацаркина тоже нет. Вычищен из партии и уволен. — Ладно. Покажите мне, где комната Свердловой. — Свердловой Клавдии Тимофеевны? Она уже здесь не работает. — Кто же работает? Шабад работает? — Нет, Шабад не работает.

Но Лядова на месте. Лядова у власти. Она — зам. зав. Детиздата. Пошел я к ней. Упоена победой и утверждает, что ее положение прочнейшее. А между тем — Горький и Маршак против нее, Смирнов с нею на ножах, в детской книге она ничего не понимает, работать не умеет. Ни одной из купленных у меня книг она не двинула. «Лимпопо» дала иллюстрировать Татлину!! и только через 3 месяца убедилась в его неспособности. Тогда поручила иллюстрировать Константину Ротову, который тотчас же после этого уехал за границу. «Робинзон» маринуется уже около года. Книга моих «Сказок» (сборник) даже не вышла из цензуры — в течение 4 месяцев не могут добиться, где она застряла. Умеет она склочничать, интриговать, подставлять ножку, действовать за кулисами. Говорят, что к ней благоволит Каганович. Несмотря на то, что Горький, Маршак, Желдин хлопотали об устройстве Детиздата в Ленинграде, — она отстояла Москву, она выжила Шабадиху, она завоевала себе замзавство, она ничего не читает, детей

не видит, а только бегает по заседаниям, по партийным организациям — и проводит под спудом свою линию. Я видел ее в «Пионерской правде». Ей принесли грушу, угостили ее папиросами, каждый проходящий по коридору здоровался с ней — видно, что она тут своя. На минутку видел в ОГИЗе Смирнова — седой и деятельный, но, говорят, сумасшедший.

19/X. В этом, увы, мне пришлось убедиться сегодня. Я пришел к Лядовой в «Молодую Гвардию» — туда уже переехал из ОГИЗа Смирнов.

Держится он помпезно и в то же время чрезвычайно приветливо. «Корней Ив., вас-то мне и надо! Назовите мне десять лучших детских книг, которые мы могли бы сейчас же издать». Я стал говорить и вдруг увидел, что он записывает мои слова не в блокнот, а просто на бумажку, которая валяется тут на столе, — записал и оставил бумажку среди прочего мусора. Это я заметил и во время его разговоров с другими писателями: очень ретиво слушает вас, словно каждое ваше слово для него откровение, и записывает все очень старательно — но записей не хранит и тотчас же о них забывает. Соглашается со всем, что вы ему говорите, — и берет на себя колоссальные обязательства, о которых тоже тотчас же забывает. Увидев рисунки Конашевича, которые тот приготовил для академического издания моей книги сказок, — сказал: эту книгу издадим мы — немедленно — со всеми рисунками. «Но красочные рисунки по 18 красок, — сказал Конашевич. — Это дело станется на 3 года». — Мы издадим на роскошной бумаге к 1-му января. *Будет готово.* «К 1-му января?!» — Да! — сказал он и посмотрел на нас победоносно. — Мы вообще издадим на роскошной бумаге целую серию замечательных книг. — И он стал развивать немыслимые планы. Но тут его позвали на совещание — он пригласил и меня.

На совещании говорил Гриц. Гриц говорил о том, что нужно редактуру «Ежа» опять поручить Олейникову, что нужно привлечь к детской книге Хармса, Введенского и Заболоцкого, и он, выслушав его ектенью, записал на случайной бумажке: «Хармс, Введенский, Заболоцкий» — и сейчас же эту бумажку посеял. Еще хорошо, что им руководит Катловкер — седолысый основатель «Копейки». Он объяснил ему, кто я такой, и после свидания с Катловкером он стал говорить: «Я ведь знаю, что вы — знаток иностранных литератур, критик и т. д». Но странно то, что все фантастические обещания Смирнова насчет недельного издания всех на свете книг он подтверждает вполне. В «Молодой Гвардии» я встретил Житкова, и мы втроем — Житков, я и Конашевич — пошли в Б. Московскую обедать. За обедом Житков рассказывал

свои впечатления от встречи со Смирновым. Смирнов встретил его величаво и милостиво — «очень рад, давайте побеседуем, как же, как же!» — Я по поручению своих ленинградских друзей пришел узнать о вашей тарифно-тиражной политике, — сказал Житков. — Тот с облаков на землю. — «Я еще не начал об этом думать». Тогда Житков предложил ему составить редакцию из писателей, и он сказал с великосветской повелительностью:

— Я вас арестовываю! Принимайтесь работать! У нас.

— Арестовываете? Чьим именем?

— Именем РСФСР. Позвольте ваш московский телефон.

А потом Смирнов стал произносить *клинические* речи. Взял какую-то гнусную французскую книжонку — из тех, которые бесплатно выдаются в магазинах всякому купившему брюки, — он стал размахивать ею: вот как мы должны издавать. А разве мы не должны издать книгу о семнадцатом партсъезде? Конечно, должны. А разве мы не должны издать «Коммунистический манифест»? Конечно, должны. И мы все это издадим, и вы нам поможете! — закончил лунатик. Тут подошел к нему его горбатый секретарь и доложил, что надо ехать на заседание к Горькому.

— И я понял, — говорит Житков, — что Смирнов в разговоре со мною репетировал свое будущее выступление на горьковском заседании. Я спросил у Житкова, как он относится к статье Горького о планах.

— Рамоли! — сказал Житков. — Похоже, что статья писалась так: человек увидел на руке у себя прыщик и записал: «И о прыщиках тоже нужно». Глянул в окно, увидал 17-й номер трамвая — «и о XVII столетии тоже». Маршака по-прежнему ругает немилосердно.

Вчера я был на показе «для писателей» — четырех мультипликатов, изготовленных Межрабпомом. «Гибель богов» — с очень забавными плакатными выдумками. «Улица поперек» — оформление Вано. Лирично и не лишено художественных кусков, но в конце концов тонет в трюкачестве. Начало лучше конца.

«Black and White»[1] по Маяковскому. Кактусы растут на глазах у зрителя. Человек спит в тени большого ананаса и все кончается мавзолеем Ленина.

Сказка про белого бычка — чересчур загромождено, конец скомкан и тоже тонет в трюкачестве.

После спектакля, который кончился в 12 $^1/_2$ час., картины обсуждались — но как-то дико. Один оратор сказал: «Отчего нет картин о железнодорожном транспорте?» Хорошо говорил англича-

[1] «Черное и белое» (*англ.*).

нин, похожий на м-ра Лича. Познакомился на просмотре с Лазурским и Боярской. Приехал, не спал и весь разбит.

Событие вчерашнего дня. Конашевич привез рисунки для моей книги, поверхностные.

Пришел Смирнов, а с ним Барто, Замчалов, Шатилов, Венгров и другие.

Уселись мы на диванчике. Борис Алексеевич Шатилов доложил, что какого-то возложенного на него поручения он не исполнил — и Смирнов этому даже как будто обрадовался, потому что это дало ему возможность поговорить всласть — и нужно отдать ему справедливость, что говорил он очень хорошо.

— Мне нужно обеспечить экспериментальную работу над детской книжкой — и если писательская общественность за это не возьмется, возьмусь я. Мы — издательская фабрика, и как всякой фабрике, нам нужна лаборатория... Для исследовательских работ. И не только литературная, но и иллюстративная. Почему мы не делаем опытов? Я, например, думаю, что к книге Жюль Верна можно приложить коробку с подводными лодками, с игрушечными островами, пусть дети не только смотрят на картинки, но и творчески живут ими. Или вот, например, Евгений Онегин... Взрослые комсомольцы — и те ничего не понимают без иллюстрации. Один спросил: почему у Татьяны — няня, если Татьяна взрослая? На что ей няня? Все это надо разъяснить при помощи иллюстрации. Я сам — читал «Западню» Золя и все образы представлял на русский манер, а потом увидел «Западню» в кино — и мои представления изменились.

Видно, что эти примеры он приводил много раз и что экспериментальная мастерская — любимое детище его фантазии. Именно фантазии, потому что такая лаборатория очень хорошая вещь, но не сию минуту, когда еще нет Детиздата. О Детиздате же он почти не думает. У него еще нет редактора дошкольной книги — и никаких вообще книг он не печатает, а весь в *экспериментальной мастерской*.

21/X я приехал в Ленинград. Весь день разбирал письма, присланные мне читателями по поводу моей книги «*От двух до пяти*». Луше принес мышку, которую мне подарила Танюша Литвинова. Мышка сейчас же испортилась. У Бобы чудесный стол. М. Б. жалуется на нездоровье. Коля хлопочет о «Русской Америке» и «Один среди людоедов».

26/X. Вчера был у меня Маршак. Полон творческих сил. Пишет поэму о северных реках, статью о детской литературе, лелеет

огромные планы, переделал опять «Мистера Твистера». Изучил итальянский язык, восхищается Данте, рассказывет, что Горький в последней статье (О планах в детской литературе) почти наполовину списал то письмо, которое он, Маршак, написал Горькому.

5/XI. Получил письмо от Эйхлера. Смирнов публично заявил, что «Лимпопо» — слабая вещь. Сейчас позвонили, что умер портной Слонимский. Вожусь над «Топтыгиным». Коля вчера очень метко раскритиковал эту вещь. Получены первые листы корректуры «Люди 60-х годов».

Вчера в кабинете у Желдина присутствовал при столкновении Тана и Маршака. Маршак уже 1 $^{1}/_{2}$ года возится с юкагиром Спиридоновым, который написал книгу о чукчах. И Горькому, и Халатову, и всем он кричит об этой книге чудеса. И вот книга попала к Тану, как к единственному специалисту по чукчам, и Тан забраковал ее. Кроме всяких ошибок фактического порядка — он нашел в ней искаженную идеологию. Когда на северную выставку (еще не открытую) явился Курдов, иллюстратор книги Спиридонова, Тан стал говорить художнику, что книга плохая, что ее не стоит иллюстрировать. Это показалось Маршаку возмутительным, т. к. рецензент должен держать свои суждения в тайне. Он прямо и резко высказал это Тану. Тан ответил, что Спиридонов его (Тана) ученик, что он (Тан) и самому Спиридонову высказал такое же мнение, что Спиридонов, как юкагир, чукчей не знает: когда же Маршак требовал более точных и подробных указаний, Тан ссылался на свою страшную занятость. Сегодня Маршак звонил мне и минут десять ругал Тана.

6/XI. Был на похоронах портного Слонимского. Кантор пел потрясающе. Древний плач о судьбах человечества. Не плакать было невозможно.

На похоронах был Маршак с женой. Десять лет тому назад — при мне — старик Слонимский подошел к Маршаку на улице и сказал: «Ой, какое у вас плохое пальто, разве может писатель носить такое?» — и сшил ему новое — бесплатно — и Маршак написал ему стихи хвалебные. — Мы вспоминали об этом, идя за гробом. Дошли до Невского, повернули назад. По дороге я заметил странность. Маршак не дал мне договорить ни одной мысли. Чуть я начинал говорить, он перебивал и говорил свое. Очень это демонстративно у него выходило. Но таким же манером говорил он со своими собеседниками вчера у Желдина.

Получил рисунки Конашевича к «Телефону» и Лекаренко к «Федорину горю». И то и другое надо переделывать.

10/XI. Вчера познакомился с Фотием Ивановичем Крыловым — маленький человек, простой и очаровательный. «Мы можем на 50 саженях глубины работать, а японцы на 50 м. — и только». 8/XI мы с Маршаком должны были принять участие в книжном базаре, организованном у Казанского Собора. Пришли. Вошли в будку. Заведующий базаром вывесил плакаты, что мы в этих будках торгуем. Но книги, которые нам пришлось предлагать публике, были так гнусны, что мы демонстративно ушли. Вожусь с переделкой «Федорина горя». Анна Васильевна Ганзен, с которой я теперь все ближе знакомлюсь на работе, — выступает предо мною все ярче. Бескорыстный, отрекшийся от всякого себялюбия, благодушный, феноменально работящий, скромный человечек, отдающий каждую минуту своей жизни общественной работе — заботе о других, несет на своих плечах всю Детсекцию; мы в Горкоме писателей хотели ее премировать, но она и слышать не хочет. Между тем — так нуждается, что 3 раза приходила в «Молодую Гвардию» за 25 рублями.

О нашем сумасшедшем Смирнове ужасные слухи: будто он приостановил в Москве печатание всех как есть детских книг, «покуда не создастся техническая база для этого дела»! Идиот!!

12/XI. У Баршева застрелился 16-летний сын Олег. Вчера в Пантелеймоновской церкви было отпевание. Стоит у гроба сутуленький, уменьшившийся Баршев и неотрывно глядит на черноволосого застывшего мальчика. Был у Беленького. Хлопотал о Глинской и Гинцбурге. Иду сейчас в Дом Ученых — там открытие Детского клуба. Получена корректура «Людей 60-х гг.». Сценарий «Айболита». Был у Алексинского в «Октябрьской» гостинице.

14/XI. Вчера писалось очень хорошо. Наконец-то я раскачал себя до пьяного ритма и начал писать «Федорино горе» — легко и весело.

Но пришли: Рождественский, потом художник Казанский, потом Конашевич, потом Алянский — и разбили весь день.

[В дневник вклеено письмо. — *Е. Ч.*]:

Ноября 33.
Москва.

Дорогой Корней Иванович!

Давно ответил на Ваше письмо, — не знаю — получили ли? «Солнечная» давно вышла и отправлена Вам. Заславскому я послал экземпляр книжки, предупредив, что по вашей просьбе.

Все деньги Н. Чуковскому переведены. Вам за «сказы-пересказы» — тоже.

Т. А. Богданович я ответил. Так и не уговорил Лядову заключить с ней договор сейчас. Она согласна только на январь. Если будете писать Лядовой — скажите несколько слов за «Соль Вычегодскую». При этом условии она м. б. согласится заключить договор раньше. Ваше мнение все-таки имеет большое значение, несмотря на тяжелое положение в издательстве.

А дела наши — очень плохи. И если в ближайшие дни ничего не изменится — придется просто бежать. Такого беспорядка, тупости, идиотизма, как здесь, я в своей жизни нигде не видел. Ждал глупостей от Смирнова (предупреждали), но такого, что происходит у нас (полный развал дела, которое и так плохо шло), не думал увидеть.

Ваш «Робинзон» изъят из производства (вместе с др. книгами), и Смирнов сомневается — надо ли издавать? Как Вам это нравится? Они *ничего* не понимают, решительно ничего.

Пока еще надеюсь, что в ближайшие дни все должно как-то перемениться. Но — не знаю. Сердечный привет Марии Борисовне, Ник. Корнеевичу и Марине Николаевне.

Ваш Генрих Эйхлер

Ночь с 23 на 24/XI. Завтра мое выступление в Камерной Музыке. Впервые на этом утреннике выступит певица Денисова и будет исполнять мои песни. Музыка Стрельникова. Три дня тому назад я в ТЮЗе поговорил с ним об этом, и он сказал, что за 2 дня все сделает, — и сделал: сразу омузыкалил 6 вещей: «Барабека», «Котауси», «Медведя», «Чудо-дерево» и пр. Будет также выставка моих книжек (детских).

Дней пять назад я был на детском суде: видел мальчика, который закрыл крышку в помойной яме, где сидел его товарищ, и проломил тому нос, видел девчонку, которая в 14 лет стала форменной воровкой и профессиональной проституткой, видел 12-летнего мальчишку, покушавшегося на изнасилование 28-летней девицы, — и все это обнаружило, как ужасно заброшены современные дети в семье: родители заняты до беспамятства, домой приходят только спать и детей своих почти не видят. Дети приходят в школу натощак, вечерами хулиганят на улице, а отец: «Я ему говорю: «Читай, развивайся!» — и больше ничего. Девочка: в школу не хочу «потому что она дурацкая. Там дураки одни. Я дома сижу все дни». — «А дома что делаешь? Полы моешь?» — «Ну да! полы!» Четыре дня была пропавшей. «Что мне фабрика, приду, отравлюсь. Сажайте лучше в тюрьму, чем на работу».

Был на лекции Пильняка 22/XI. Пильняк объявил по всему городу, что будет читать «Америка и Япония». Теперь, ввиду при-

знания Америкой СССР, Америка — тема жгучая, Япония тоже. Народу сбежалось в капеллу множество, а он вышел на эстраду и стал рассказывать о Японии труизмы, давно известные из газет: вулканы, землетрясения, кимоно, гейши, самураи. Публика негодовала. До 11 $^{1}/_{2}$ часов он не сказал еще ни слова об Америке. В перерыве он пригласил меня ужинать, но я сбежал (с Шурой Богданович), т. к. скука была невыносимая. Уходя, публика говорила: он все это по «Фрегат Палладе» жарит.

26/XI. Был мой концерт в Камерной Музыке (24/XI). Ходынка. Народу набилось столько, что композитор Стрельников не мог протискаться и ушел. Ребята толпились даже на улице. Отношение ко мне самое нежное — но у меня тоска одиночества. Отчего, не знаю. Лида, которая так интересуется детскими делами, даже не спросила меня, как сошел мой утренник. Ни один человек не знает даже, что я не только детский писатель, но и взрослый.

Вчера был у Татьяны Ал. Богданович — на семейном сходьбище: были Шура, Таня, Володя и Соня. Пришел Тарле и стал уговаривать меня бросить детские мои книги — и взяться за писание «таких книг, как о Некрасове». Сравнивал меня с Сент-Бёвом и проч. Недовольство собой возросло у меня до ненависти. Мы много вспоминали о Щеголеве — Тарле между прочим сказал, как Щеголев выдавал портрет одного русского генерала за портрет Марата, как он за большую книжку Тарле, изданную «Былым», заплатил всего 45 р. — и в оправдание говорил: вас всякий дурак надует.

21/XII. Сбивают с нашей Спасской Церкви колокола. Ночью. Звякают так, что вначале можно принять за благовест. Сижу над дурацкой статьей об Институте охраны материнства и младенчества. Мешают спать!

25/XII. Был вчера Тынянов. Пришел с какого-то заседания очень усталый и серый, но через несколько минут оживился. Никогда я не видел его в таком ударе, как вчера. Мы сидели у камина в моей комнате, и, говоря о Пиксанове, он стал вдруг говорить его голосом — пепельно-скучным и педантически-надоедливым. Сразу весь Пиксанов встал перед нами — я увидел и очки, и сухопарые руки. Тынянов говорит, что Пиксанов в Пушкинском Доме садится у телефона и целыми часами бубнит какую-то ненужную скуку: «Ту синюю тетрадь, которую я показал вам вчера, положите на правую полку, а той книги, которая у меня на столе, не кла-

дите на левую полку — ту книгу, которая у меня на столе, нужно положить на правую полку».

Показывал Переселенкова, у которого все спуталось в голове: и Огарев, и жена Томашевского, и 50 руб. пенсия. Рассказывал историю с Оксманом, который уже $1^1/_2$ года пишет статью о Рылееве — и не написал ни строки, хотя разыскал огромное множество текстов и чудесно знает, что написать. «Мы с ним сначала ссорились: «Давай статью!», потом я унижался перед ним, пресмыкался, ничего не помогает». Кончилось тем, что книга пошла в набор без его статьи — и он обещал дать 4 страницы введения — но подвел и с этими 4 страницами. Пришлось заказать Гофману, — сказал Тынянов и осекся, так как тут только вспомнил, что рассказывает все это в присутствии Татьяны Александровны Богданович, тещи Гофмана, коему не надлежит знать всю закулисную историю «Библиотеки поэта».

Чудесное настроение Тынянова, конечно, объясняется тем, что ему *пишется*. Он пишет свой роман о Пушкине — и вчера читал нам тот отрывок, который изображает встречу няни Пушкина с Павлом. Отрывок очень мускулистый: встрече с Павлом придана широкая символичность, сквозь нежные цветистые речи изображен весь военизованный Петербург. Я сказал, что мне не понравилось одно слово: он *механически* поцеловал его. В то время не говорили механически, а — машинально. Он очень благодарил с преувеличенными комплиментами по адресу моего абсолютного литературного слуха. Предложил мне редактировать Шевченку для «Библиотеки поэтов» — и долго читал нам свои переводы из Гейне: «Германию», а также «Осел и лошадь». Снова он верит в себя, снова окрылен своим творчеством, прошла пора каких-то проб и неудач, и от него идет та радиация, которая, я помню, шла от Репина, когда ему удавался портрет. К сожалению, вечером я должен был уйти — выступать в школе с благотворительной целью — вернулся к 12 час. Ю. Н. все еще сидел у нас и показывал Тициана Табидзе, от которого он получил письмо.

12/I 34 года. Третьего дня нам поставили новый телефон. Умер навсегда мой номер 194-75, к которому я привык, как к родному. Третьего же дня сдал «Издательству Писателей» для четвертого издания свою книжку «От двух до пяти». Хотел было, чтобы ее иллюстрировал Рудаков, но Рудаков приехал ко мне, пообедал — и с тех пор ни гу-гу. Вообще же день 10/I я провел посумасшедшему: С утра (часов с 4 ночи) писал для детей о Некрасове (для радио). Пишется плохо. Неохота писать. Болит горло — и нет даже времени достать борную, побывать у доктора. Пописав Некрасова я, не отдохнув, поехал на Каменноостровский, 42 в Дом промкооперации, где выступал перед школами — выступал хорошо. — Принимали меня горячо: было 8 или 10 школ — но заболело горло, я охрип, и чтение сорвалось.

Приехали сюда Третьяковы, но я даже времени не имею с ними стелефониться. А 18-го выступление в Москве. Ой, сорвется оно из-за гриппа!!! Видел Зощенку. Лицо сумасшедшее, самовлюбленное, холеное. «Ой, К. И., какую я вэликолепную книгу пишу. Книга — «Декамерон» — о любви, о коварстве и еще о чем-то. Какие эпиграфы! Какие цитаты! А Горький вступился за мою «Возвращенную молодость». Это оттого, что он старик, ему еще пожить хочется, а в моей книге рецепт долголетия. Вот он и полюбил мою книгу. Прислал в Главлит ругательное письмо — ужасно ругательное — Миша Слонимский сразу заблагоговел перед моей книгой — а Главлит, которому я уже сделал было кое-какие уступки, пропустил даже то, что я согласился выбросить...»

Были у нас с визитом Стеничи. Жена Валентина Осиповича рассказывает, что Зощенко уверен, что перед ним не устоит ни одна женщина. И вообще о нем рассказывают анекдоты и посмеиваются над ним, а я считаю его самым замечательным писателем современности. — Умер Андрей Белый... Как мне не хочется приниматься за Некрасова!

Вчера Изд-во Писателей было в панике из-за Оксмана. Он даже 4-х страниц не прислал о Рылееве — и типография грозится

рассыпать набор, грозится официально — прислала об этом бумагу.

А Оксман, который написал 40 листов комментариев, не способен написать 4 страницы вступления!

13/I 34 г. Утро. Только что кончил статейку для радио о Некрасове. Был вчера у Алянского. Оказывается, Смирнов смещен. Как, при каких обстоятельствах, не знаю. Я наконец-то выполз из корректуры гихловского однотомника Некрасова и другого Некрасова (для «Academia») — обе книги сразу! — из-под корректуры своих «Шестидесятых годов» и т. д., и т. д. Когда сдал в набор 4-е издание своей книжки «От двух до пяти», — мне принесли Пиаже — и я так жалею, что не включил в свою книжку много кусков из этого чудесного буржуазного ученого. Пишу curriculum vitae[1] Клячко для получения его вдовой пенсии.

15/I 34. Вчера были у Тыняновых с М. Б. У них новая столовая, шведская, новый радио, — угощение очень богатое. Дом вообще сделался полной чашей. Елена Александровна опечалена неудачей со своей книгой о Страдивариусе, и в самом деле: Музгиз заказал ей книгу, она писала ее год — и вдруг распоряжение свыше: у нас есть свои Страдивариусы, нечего нам хвалить итальянские. И книгу разобрали (уже была корректура). Ю. Н. отнесся к нам очень любовно. Сказал, что мы — чуть ли не единственные, с кем он в настоящее время дружит. Остальные — враги. Опять говорил о разрыве со Шкловским. «Теперь я могу писать ему письма: не «преданный вам», а «преданный вами». Рассказал о своем столкновении с Белгоскино, которое взялось обсуждать его Киже (уже готовую фильму) и отозвалось о ней не слишком почтительно. Он встал и произнес «маестатную» речь: «Я — Тынянов, а вы мелюзга». Потом Тынянов часа два читал свой роман. Вчера как раз он написал главку о 4-хлетнем Пушкине, вернее, начало главы, а крещение прочитал все. Великолепно написано. Уже не два измерения, как в «Кюхле», — и не одно четвертое, как в «Персоне», а все три, есть объемность фигур. Чувствуя свою удачу, Ю. Н. весел, победителен, радушен. У него величайшая ненависть ко всем, кого он считает врагами. Три раза в течение этих двух недель он рассказывал мне, как он был на собрании Литсовременника — поднял глаза и увидел: «все враги»... В Ленкублите я встретил Берковского, который рассказал мне, что когда-то он неодобрительно отозвался о «Вазир-Мухтаре», и этого было достаточно, чтобы Тынянов восстал против его примечаний к «Германии» Гейне, переве-

[1] жизнеописание (*лат.*).

денной Тыняновым. «Не желаю сотрудничать с Берковским», ГИХЛ (в лице Бескиной) не внял Тынянову и выпустил «Германию» с примечаниями Берковского. Теперь намечено второе издание, и Тынянов добился того, чтобы убрали примечания Берковского, хотя, по словам последнего, не мог указать ни одного изъяна в этих примечаниях. «За стол с филистимлянами не сяду», — говорит Тынянов.

17.I.34. На днях М.Б., войдя в комнату домработницы Лены, застала ее в постели в объятьях ночевавшего у нее солдата. С Леной пришлось расстаться. Оттого работы у М. Б. теперь уйма, и надо снаряжать меня в Москву, куда я сегодня еду. Завтра у меня выступление, а билета еще нет, и как будет, не знаю. Вчера я был у Исаака Бродского, в его увешанной картинами квартире. Картины у него превосходные: Репина портрет Веры в лесу (1875), рисунки, сделанные в салоне Икскуль, Вл. Соловьев, Гиппиус, Спасович, Мережковский — чудесная сложность характеристик, уверенный рисунок. Есть Борис Григорьев, Малявин и даже Маяковский — сделанный Маяковским портрет Любы Бродской очень хорош. Работы самого Бродского на фоне его коллекции кажутся неприятно пестрыми, дробными, бездушными. Но — хорош Ленин рядом с пустым креслом, и по краскам менее неприятен. Когда я вошел, Бродский перерисовывал перышком с фото физиономию Сталина — для «Правды». Впереди ему предстояло изготовить такого же с Ленина. Но после пяти-шести штрихов начинал звонить телефон, он бросал перо и шел в столовую (у входа в которую и висит аппарат). В доме у него — жена и свояченица (урожд. Мясоедовы), сын от первой жены (студент) и сын от второй (Дима, очень милый). Рисуя Сталина, Бродский мечтает о поездке в Америку. «Там дадут за портрет Ленина 75 000 долларов».

— Ну на что вам 75 000 долларов? — спросил я. — У вас и так всего вдоволь.

— Как на что? Машину куплю... виллу построю... Дом...

Повели меня в столовую. Я думал обедать. Нет: там в углу сидела маникюрша и делала жене Бродского маникюр. Со смехом усадили и меня к маникюрше, которая содрала с меня 3 рубля.

Я спросил Бродского, почему он не принял участия в чествовании Луначарского (его имя стояло среди поминателей на вчерашнем заседании Комакадемии). Он ответил:

— Пусть его поминает кто-нб. другой. Когда меня хотели сделать заслуженным деятелем искусства, Луначарский ответил бумажкой, что ходатайство об этом отклонено, и сделал заслуженным — Пчелина. Пусть же Пчелин и чествует его. А я не хочу. Я сказал по телефону, что еду в Москву.

1934 Моя секретарша Варвара Иннокентьевна Бутакова уходит от меня со скандалом:

— Я у вас не имела выходных дней. Вы меня посылали со всякими поручениями бог знает к кому.

Стоило мне это сокровище 600 рублей. Просит еще. За что — неизвестно.

19/I 34. Вчера приехал в Москву. Ночь, проведенная мною в вагоне, была ужасна — вторая бессонная ночь. В Москве не оказалось в гостиницах номеров: в Б. Московской дали номерок, но предупредили, что ввиду предстоящего съезда — через день у меня его отнимут. Еле-еле Павел Ильич Лавут добыл 432 номер в Ново-Московской на Балчуге. Мое водворение заняло 2 $^1/_2$ часа — как раз то время, которое ассигновано было на отдых. Оставив меня, Лавут сказал, что пришлет за мной машину к часу. Я оделся к часу — и как был — в калошах, в шапке прождал его в номере $^1/_2$ часа. От волнения у меня совсем разболелось сердце. Наконец меня привезли в университет (МГУ), зеленого, старого, с налитыми кровью глазами. Оказалось, что Игорь Ильинский, которому я незадолго прислал свои стихи на предмет их изучения, — все же ничего не выучил («Нет никакой памяти!», «долго учу!») — и читал одного Маршака. Оказалось, что после Игоря Ильинского, такого блестящего чтеца, — когда аудитория уже устала — выпустили меня. Что я читал, не помню — был в полном беспамятстве — и вдруг оказалось, что сегодня же в 4 ч. предстоит 2-й утренник — по той же программе. Опять для отдыха нет никаких перспектив. Пошел я в Б. Московскую, сел на диванчик — хоть плачь. Но ничего. В пять часов откуда-то у меня взялись силы — и читал я лучше. Публики было огромное множество оба раза. Я чудесно отдохнул бы сегодня, если бы не оказалось, что я должен читать лекцию перед художниками о Репине. Маршак тоже в этой гостинице.

20/I 34. Вчера утром мой друг Маршак стал собираться на какое-то важное заседание. — Куда? — Да так, ничего, ерунда... Оказалось, что через час должно состояться заседание комиссии Рабичева по детской книге и что моему другу ужасно не хочется, чтобы я там присутствовал... «Горького не будет, и вообще ничего интересного...» Из этих слов я понял, что Горький *будет* и что мне там быть необходимо. К великому его неудовольствию, я стал вместе с ним дожидаться машины Алексинского. Алексинский опоздал. Нервничая, Маршак выбранил свою «Софьюшку» за то, что она предложила ему бутерброд — чуть не ударил ее по руке — тысячу раз подбегал к телефону; наконец прибыл Алексинский, и

мы поехали. Где эта комиссия помещается, я и понятия не имел — и вдруг наша машина въехала во двор Горьковского особняка. Встретил нас отъевшийся комендант, проводил в комнату, где уже поджидали: унылый Венгров, Огнев, Барто, Кирпотин и, конечно, П. П. Крючков. Прошли в столовую, вышел Горький — почти не состарившийся, озабоченный, в меру приветливый. Я сел подальше от него, рядом с Алексинским и Майслером (заместитель Желдина), Алексинский привез с собою ящик, наполненный книгами о школе. Чуть он уселся за стол, он разложил пред собой целый пасьянс из этих книг. Маршак сел визави Горького — а рядом с ним — поддакивающая, любящая, скромная Барто. Она каждую минуту суетливо писала разным лицам записочки. В том числе и мне, прилагаемую. [Приложена записка от А. Барто. — *Е. Ч.*] Маршак сел читать доклад, написанный ему Габбе, Лидой, Задунайской и Любарской. Доклад великолепный — серьезный и художественный. Горький слушал влюбленно... и только изредка поправлял слова: когда Маршак сказал «промозглая», он сказал: «Маршак, такого слова нету, есть про́мзглая». Потом спросил среди чтения: «в какой губернии Боровичи?» Маршак брякнул: в Псковской. (Я поправил: в Новгородской.) Сел в лужу Маршак с Дюма. Так как он ничего не читает, он и не знал об отношении Горького к Дюма и заявил свое неодобрение тем школьникам, которые читают Дюма. «Я вообще замечал, что из тех юношей, которые в детстве любили Дюма, никогда ничего путного не выходит. Я вот, например, никогда его не ценил...» — «Напрасно, — сказал Горький (любовно), — я Дюма в детстве очень любил... И сейчас люблю... Это изумительный мастер диалога... изумительный... Как это ни парадоксально — только и есть два таких мастера: Бальзак и Дюма». Маршак замялся... Но в остальном все сошло превосходно. Из доклада так и прет физиономия современного советского школьника, и если его перевести на иностранный язык, Европа по документам увидит — какие великие задатки у нашей системы воспитания ребят.

Горький часто вмешивался в доклад вот таким манером: надо биографию буржуазных героев, да... Вот, напр., биографию Кулиджа... президента... извольте: вождь, мировая слава, а дурак. Или Сесиль Родс... ему и памятники при жизни... и все... а так и остался болваном... Или Рише (?)...

Надо бы переиздать книгу Мензбира... о птицах... Надо бы Брема дать... только выбросить, конечно, ту ерунду, которая была в советских изданиях Брема: «о влиянии беременных женщин на ловлю китов», тут я заметил, что говорит Горький очень глухо, слова расплываются, как говорят беззубые старики, хотя я сидел

от него в трех шагах, я многих его реплик не мог разобрать. Но вот то, *что* я разобрал:

— А может быть, дать историю оружия...

. . . . . .

— Или вот бы хорошо... книжку по анатомии...

. . . . . .

— Перевести бы надо Оливию Шнейдер...

. . . . . .

— Это важный вопрос: влияние детских книг на взрослых... ведь взрослые в деревнях читают книги, которые есть у ребят... У самих взрослых книг нет...

Потом выступил с докладом Алексинский.

«Прочитал я около 40 книжек о школе. Выводы неутешительны. В этих книгах ребята не учатся. Занимаются собраниями, заседаниями, командуют школой. Левацкая теория педагогики» —

Тут вступился Майслер:

— Неужели все книжки?

— Особенно ваша... Она является классическим выражением всего этого дела.

Выделил Алексинский «Республику Шкид» и «Ученик наборного художества» Т. А. Богданович. Очень сердился, что писатели ругают советских педагогов. Все это очень мрачно, серо.

Горький. Авторы не очень хорошо знакомы с теорией комплекса (закашлялся) и потом говорил так глухо, что я не расслышал. Потом он предложил издать серию: Детство Льва Толстого, Аксакова, Евгения Маркова и др. Дворянское детство, разночинческое (Воронов)... и проч.

Потом мы разошлись.

20/I. Вчера я читал вечером в Теа-Клубе о Репине, а сегодня днем в том же Теа-Клубе — детские стихи. Сегодня я хорошо рассмотрел Ефимова «Петрушку». Конечно, это вещь замечательная, особенно сказка о гномах.

Потом поехал я в Детиздат. «Кому здесь бить морду оттого, что ни одна из моих книг не выходит?» Все в один голос сказали: Смирнову. Я пошел к этому лунатику. — А, К. И., ну как ваши выступления? — Дело не в моих выступлениях, а в ваших преступлениях: как вы смели задержать печатание «Робинзона» и называть эту книгу безграмотной? Как вы смеете мариновать мои «Сказки»? Как вы смеете скрывать от детей «Остров Сокровищ»?

— Ничего этого нет! — сказал Смирнов. — Кто это наклеветал на меня? — Я забыл...

— Об этом говорят все... вы назвали мою книгу безграмотной...

— Никогда... вот смотрите, она в производстве... Дайте мне все ваши сказки... я их мигом напечатаю... И кто из моего аппарата мог наклеветать на меня?

Потом я увидел Лядову, которая сообщила мне, что будто бы 19/XI прошлого года она заявила в ЦК, что Смирнов сумасшедший, что он занимается прожектерством, а книг не издает и т. д. Смирнова будто бы вызвали в ЦК и велели ему в месячный срок поставить издательство на ноги. Прошел месяц, Смирнов ничего не сделал — ЦК постановил его снять. Но приказа о его увольнении не подписали из-за Московской конференции — времени не было — поэтому Смирнов пользуется отсутствием приказа и делает вид, как будто он на службе. Из рассказов Лядовой я понял, что и ее сняли, т. к. она говорит, что подала в отставку и *хочет* уйти. — Не желаю, надоело! — говорит она.

Розенель, вдова Луначарского, больна стрептококками. Горький поссорился со Сталиным. «Медовый месяц их дружбы кончился». Литвинову правительство подарило какой-то необыкновенный дом — эти три новости я узнал от Лизочки Кольцовой, которая только что вернулась из Парижа. Оттуда она привезла: колпак на лампу — в виде глобуса и рюмки с графином для водки в оправе четырех старинных французских книг, на корешке которых «Истинная религия» («La Religion Vraie»). Книги лежат у Кольцова на письменном столе — похожи на подлинные, берешь, открываешь — там выпивка. Стоят книги 200 франков. У Лизы таких денег не было, она переписала в нашем торгпредстве на машинке какие-то отчеты, заработала 200 франков — купила Мишеньке сюрприз. В комнате, что ближе к парадному ходу, спит мальчик. Это немецкий мальчик, которого М. Кольцов привез из Германии. «Никаких сантиментов тут нет. Мы заставим этого мальчика писать дневник о Советской стране и через полгода издадим этот дневник, а мальчика отошлем в Германию. Заработаем!»*

Сейчас позвонил мне Игорь Ильинский. Он выучил «Котауси и Мауси» и будет эту вещь читать 22-го на утреннике. Позвал меня завтра обедать.

23/I. Третьего дня мы читали в клубе ОГПУ. Ребята встретили нас горячо. — Всё ребята крупные, большеглазые, пылкие. — Кто из вас Чуковский, кто Маршак? — Фотографировали нас, читали нам наши стихи... Потом обедали мы у Ильинского — в его шикарно и стильно обставленных комнатах — потом я поехал к Каменеву и до 2-х часов ночи работал с ним над гранками Некрасова.

Вчера я с утра работал над гранками. Потом выступал в МГУ — ребят было около тысячи — Ильинский читал впервые «Котауси» —

плохо читал — были мы у Халатова, — потом опять я ушел домой работать над гранками.

25. Был третьего дня у Смирнова. — Ну давайте подписывать договоры. — Ах, голубчик... Тут вышла такая белиберда... ведь я теперь полуснят... Чертовщина... *(смеется)*... Недоразумение, конечно... Подождите до 27-го... Тогда все выяснится...

Говорят, он, будучи снят, все же сидит на работе — для того, чтобы ему и всей его своре, всем этим Розенфельдам и Катловкерам, было выдано выходное пособие.

Розенфельд разлетелся ко мне:

— К. И.! Какая жалость, не удалось вместе поработать.

А их потому и снимают, что они не работали вместе с нами, детскими писателями!

Григорий Гуковский обратился ко мне внезапно с просительным письмом* — я повел его к Каменеву и устроил ему свидание с Вышинским. В «Academia» был два раза. Сокольников утверждает, что «Сказки» в работе — в Гознаке — и предложил мне поехать с ним 27-го в Гознак. Посмотрим! Маршак хочет нажать на Сокольникова через Горького, чтобы его (Маршака) книгу печатали раньше моей.

Вчера я выступал в 3-х местах. Читал на радио о Некрасове, в Парке Культуры и Отдыха — и в 5 ч. 15 читал свои сказки, опять-таки по радио. В П. К. и О. было отвратно. Устроительница утренника не умела собрать ребят, меня заставили ждать на холоду, угощали мерзейшим обедом (причем дело было организовано так гнусно, что милиционер долго не пускал меня в столовую, а когда пустил, оказалось, что за столом ни одного места), наконец в какую-то небольшую комнатенку согнали около сотни разнокалиберных ребят, которым даже не сказали, что я писатель (устроительница плохо знала об этом и все толковала: «к вам приехал дядя из Ленинграда прочитать вам рассказы»), во время моего выступления распорядилась фотографировать меня при вспышках магния, и это отвлекло ребят от чтения. Обратный такси не был мне обеспечен, хотя она и совала при публике какую-то трехрублевку ребятам, чтобы они пошли вместе со мною на Калужскую площадь — отыскивать машину. Повели меня в библиотеку, где нет ни одной моей книжки, — и стали показывать, как много у них книг Серафимовича. Такси на площади так и не нашлось — и я должен был мытариться на трамвае.

С горя я пошел к Э. Багрицкому. Он седой, изъеденный болезнью (астмой), похожий на Меншикова в Березове (Сурикова), завален редакционной работой по «Советской Литературе» —

производит впечатление человека выдохшегося, которому уже нечего сказать. **1934**

30/I. От 25 до настоящей минуты лежу в трех болезнях: грипп (простудился в Парке Культуры и Отдыха); отравился мясом — бефстроганов в Большой Московской и, упав в обморок от отравления, разбился — повредил себе ребро. Егоров — профессор — объявил, что ребро сломано. Итак, случилось то, чего я боялся. Сегодня объявлено мое выступление на утреннике, сбежится вся Москва, а меня и не будет. Читаю «Повести и рассказы» Герцена (новое изд. «Academia») и стихи Шевченка.

Горький, простудившийся еще в Горках, был на Съезде* (на речи Сталина) — теперь грипп его очень усилился. Он не вернулся в Горки, а лег на Б. Никитской.

31/I. Вчера был у меня Халатов. Он устраивает меня в Кремлевской больнице. Я не верю своему счастью, ибо весь я калека. Сегодня у меня впервые нормальная температура. Читаю «XVIII век» в «Литературном Наследстве».

Карета скорой помощи отвезла меня в Кремлевскую больницу. Здесь меня вымыли, облекли в халат и поместили в палате № 2. Я пожаловался сразу и на гриппы, и на почки, и на кашель, и на желудок. Когда я ехал в карете, я видел огромное количество милиции и множество народу — демонстрацию с флагами. Снежок, ветра нет, туман, гнилая погода. На Красной площади несколько военных частей. Я проехал дальше. В больнице меня уложили в кровать, и я стал слушать радио. Радио передавало Красную площадь. Меня поразило, что москвичей, московских рабочих приветствует наш ленинградский Киров — он, единственный. И больше никто из представителей Съезда. Что-то чуялось скомканное, праздник рабочих был без отклика. Ура, ура, ура — доносилось до меня тысячи раз, искреннее и пылкое — но поразило меня также и то, что т. Киров не упомянул о полете в стратосферу. (Сегодня утром мать Е. Н. Кольцовой рассказала мне, будто стратостат благополучно опустился в Коломне.) И вот после того, как я бросил радио, сунул его под подушку, я вдруг услыхал слова «печальное известие» — вытащив судорожно наушники — я услыхал сообщение Енукидзе о трех погибших героях Осовиахима* — и дрожу от горя и не могу заснуть...

2/II. Температура все держится на 37. Слабость ужасная. Вчера у меня были: Ада Гуревич, Самуил Маршак, Лавут и Булатов. Александру Ивановну не пустили. Пробую писать вставную главку

в «Солнечную» — ничего не выходит. Маршак ужасно скорбит, что вчера в ресторане угостил на свой счет приятелей. Ездит он на горьковской машине. Рассказывает, что возле трупов разбившихся стратосферистов найдены записные книжки, изображающие ужас их положения.

10/II. Я все еще в Кремлевской больнице. Терапевтическое отделение, палата № 2. Третьего дня у меня был поэт Осип Мандельштам, читал мне свои стихи о поэтах (о Державине и Языкове), переводы из Петрарки, на смерть Андрея Белого. Читает он плохо, певучим *шепотом,* но сила огромная, чувство физической сладости слова дано ему, как никому из поэтов. Борода у него седая, почти ничего не осталось от той *мраморной мухи,* которую я знал в Куоккала. Снова хвалил мою книгу о Некрасове.

Вчера приехал Боба. У него нелады с Б. Б. К. [Беломоро-Балтийский Канал — *Е. Ч.*]. Его требуют туда, на Медвежку, а он хочет остаться в Питере. Не потому, чтобы он уклонялся от Медвежки, а потому что очень спаялся со своими слушателями Гидротехникума. Рядом с ним Булатов — гранит. Булатов вообще очень твердо определил свою линию, несмотря на кажущуюся неопределенность социальной позиции и разбросанность занятий. Это очень волевой человек — и по-своему мудрый. Не тратит времени на делание карьеры — и поэтому сделает очень большую карьеру.

19/II. Вот и Багрицкий умер. Я и не думал, посетив его 24/I, что вижу его первый и последний раз. Я все еще в Кремлевской. Мне позволено гулять на крыше — куда я и поднимаюсь с трудом, в шубе и казенных валенках. Оттуда открывается вид на площадку 32-й шахты метро — прямо против больницы, на задах строящейся библиотеки им. Ленина. Года через три то, что я вижу сейчас, будет казаться древностью. А сейчас я вижу вот такое. На площадке стоит двухэтажный дом, построенный лет 40 назад. На этом доме образовались трещины — оттого что под ним слишком близко проходит туннель метро. Поэтому бородатые скифы с топорами тут же на площадке тешут бревнышки и делают подпорки для дома. В доме живут — а кругом. Кругом установлены четыре доморощенных крана, которые поднимают из скважин небольшие бадьи с землей. Бадьи удивляют своей мизерностью: 3—4 ведра. Возни с каждой бадьей много; нужно руками поворачивать кран, руками оттаскивать бадью к тому месту, где надо ее опорожнить, словом, труд механизировали лишь на 50 процентов. Главная сила на площадке — женская. Там и здесь копошатся восьмерки молодых разнообразно одетых женщин с лопатами, которые наполняют поднятой снизу землей тележки и грузовики.

Тележки въезжают при помощи троса в башенку шахты, и их содержимое оттуда ссыпается на стоящий внизу грузовик. Многое мне сверху кажется нелепым. Почему, вычерпав землю, ее не насыпают прямо на грузовики, а складывают раньше на площадке, где она смерзается так, что ее надо долбить ломом. Из-за этого приходится делать двойную работу и даже не двойную, а тройную, потому что те кучи, которые загромождают двор, приходится не только вскидывать на грузовики, но и передвигать на дворе с места на место. Бестолковщины много. Но все же метро будет построен.

Здесь меня терроризировал мой сосед по палате, некто Манилов, избалованный и сумасшедший человек.

Были у меня здесь Алянский, Шер, Каменев, Шибайло. Каменев возится с письмами Пушкина под ред. Модзалевского. Говорит, что примечания Модзалевского — это нагромождение такого необъятного количества фактов, что приходится перерабатывать каждую страницу.

21/II. Думал завтра выписаться из больницы — и вдруг сегодня заболела голова, температура поднялась до 37. Сейчас принесли телеграмму от М. Б. «Собралась ехать тебе, прихворнула зачем едешь Узкое беспокоюсь тоскую Мама».

Словом, полная неразбериха. Начал собирать материалы для своей книги «От двух до пяти» — для пятого издания, хотя четвертое еще не вышло. Хочу подчитать по психологии, педологии, лингвистике, а то я в этой книге сплошной самоучка. И нужно прощупать более гибкий и обаятельный стиль. Очень казенно и мертво построена вся книга. Этого не замечают, т. к. самый материал умягчает сердца, но я, держа на днях корректуру 4-го изд. этой книги, удивился, до чего я в ней неталантлив.

23/II. Получил телеграмму от М. Б. «Поезжай в Узкое» — и письмо от Тынянова. Телеграмма взволновала меня, т. к. я знаю, до чего сейчас М. Б-не горько в одиночестве. Завтра я отсюда уезжаю. Правлю «Солнечную» — и она начинает мне нравиться.

Булатов сделал для Шер русские сказки.

24/II. Мурочкино рождение. Ровно месяц, как я заболел. Сегодня еду в Узкое. М. Кольцов дает машину — хотя это трудно, т. к. сегодня выходной день. Прочитал здесь «Мелкого беса», «Повести» Герцена, Автобиографию Щепкина, «Записки» Антоновича, «Дело Засулич», «Игры народов» и пр.*. Вначале я здесь замечал только то, что это *Кремлевская,* и лишь потом заметил, что *больница.*

1934 Вначале кинулась мне в глаза роскошь этого учреждения, и лишь потом те страдания, которые за этой роскошью скрыты. Только Петров, секретарь Обкома Чувашии, с которым я разговорился в последнюю минуту, здесь показался мне достойным человеком. Все соседи были «пустяки и блекота».

25/II. Вчера на машине Мих. Кольцова в сопровождении Александры Ивановны и Булатова в 2 ч. дня выехал в Узкое. Трудно передвигать ноги. Ехали мы, ехали по заснеженной ураганом дороге — и наконец шофер отказался ехать дальше. Сплошной снег, не видать дороги. Булатов голыми руками без перчаток взвалил себе на спину мой чемодан, набитый книгами; побежал на гору (дорога шла в гору) — я пошел по бездорожью под ветром (только что из больницы), промочил ноги. В Узком меня не ждали — сунули в библиотеку — поставили там кровать, ноги у меня мокрые. Бесприютность и блекота. Пошел я к Халатову. Он в роскошном номере, с женой, с заведующим Узким, тов. Белкиным (старик доктор), с заведующим Домами отдыха КСУ, с его женой, дочерью, — и все входят новые люди. Обед на десять персон. — «Кушайте». Как всегда семейно, и радушно, и просто. Жена его огорчена: он болен, лечиться не хочет. А он: «кушайте». «Не хотите ли эту книжку?» и пр. В конце концов: «возьмите мой номер, я уезжаю». И меня переселили в роскошный номер, где я и обитаю сейчас. Показал мне письмо от Алексея Толстого — о прелестях социалистической стройки, так что даже странно, что оно начинается «дорогой Артемий Багратионович». Это передовица, к которой приписано несколько слов о том, как надоело ему, Алешке, писать «Петра». Лег я спать, не заснул — ни секунды не спал, читал поразительный «Ленинский сборник. (Тетради по империализму)». Тоска финская, куоккальская.

5 марта. Завтра уезжаю из Узкого. Погода солнечная, но мороз такой, что я отморозил себе щеку. Дети, ворующие дрова. Я за ними: в деревню. Нищета, неурожай, голод. Нет хлеба, потому что колхоз огородный, а картошка сгнила и ягоды не уродились. Не сплю совсем. Завтра у меня два выступления. Здесь я переделал «Крокодила», написал 3 рецензии и вообще работал больше, чем нужно. Проправил рукопись «Солнечную»; написал фельетон.

25 марта. Приехал в Ленинград Тициан Табидзе. Я у него в долгу: он очень горячо отнесся к нам в Тифлисе — и надо воздать ему ленинградским гостеприимством. Он в «Астории». Пошел я

туда; не застал. Вернулся — у меня Тынянов. Расцеловались. Зовет к себе — у него Табидзе будет в гостях. Пошли. Он удручен вульгарной кинопостановкой Киже. «Если есть в этой кинокартине поручик Киже — это режиссер. Режиссер тут действительно Киже, потому что его нет совсем». Я утешал его, как мог, хотя «Киже» действительно плох*. Изо всех актеров ему больше всего нравится Ростовцев. **1934**

Зощенковская «Возвращенная молодость» третьего дня была обсуждена публично в Доме Ученых, причем отличился акад. Державин, выругавший Зощенку за «мещанский» язык. Федин выступил защитником повести. Говоря об этом, Тынянов обнаружил много сосредоточенной и неожиданной ненависти к Федину. «Федин... защищает Зощенку!! Федин покровительствует Зощенке!! Распухшая бездарность!» и т. д. С такой же неожиданной злобой говорил он об О. Мандельштаме и о Б. Пастернаке: про О. Мандельштама очень забавно. Был в Берлине в одном мюзик-холле такой номер: выходили два совершенно бесцветных человечка, и вместо пола у них под ногами была резиновая огромная подушка, и они на этой подушке подскакивали все выше и выше — и улетели в потолок. И их не стало. А про Пастернака — что отец у него плохой [нрзб.]... мюнхенской школы, все пишет *расплывчато*... и сын в отца... все мутные слова, мутные образы...

Рассказывал про Горького. Как Горький не вытерпел, когда Алешка (иначе Тынянов не называет Толстого) с большим успехом рассказал у него анекдот об отрубленной голове — и сейчас же сам выдумал, как на Невском 9 января какая-то женщина везла на извозчике отрубленную голову, — в пику Толстому: не вынес, что смеются не его анекдоту. («Только вы, К. И., никому не говорите!») Пришли мы к Тынянову, у него еще никого нет. Он стал читать мне свои новые переводы из Гейне. Составляется целая книга. Есть прекрасные — о Наполеоне III (в виде Осла), но лирические переведены слабее. Наиболее удачны те, где Гейне жесток, сух, колюч.

Пришли Табидзе и его жена Нина Александровна. Она в восторге от Ленинграда. Пришли Эйхенбаум с женой. Эйхенбаума недавно страшно изругали в «Лит. газете»*. Он послал ответ — не напечатали. Он послал копию Горькому и в оргкомитет (Юдину). Ждет результатов.

Ольга Дм. Форш полна радостного возбуждения. Ее «Одеты камнем» вышли в ГИХЛе, она принесла книгу Инночке. «Хорошее издание!» Очень довольна. Рассказывает, как они с Тыняновым ехали в Дом Ученых и к ним приплели Чапыгина, и они в шутку говорили: зачем Чапыгин? Не выдать ли его за своего отца и учителя? И вдруг, когда они стали выступать, какой-то оратор

объявил их «учениками Чапыгина». Пришел милый Каверин, очень обиженный карикатурой Радлова, который исказил его черты с определенной тенденцией*. Вообще по поводу нового альбома рисунков я заметил, что каждый, изображенный в нем, хвалит карикатуры на других, но не на себя.

— Ну, меня-то он сделал поверхностно, но Либединский хорош! — говорит О. Д. Форш.

— Ну, разве Юрочка такой? — говорит Ел. А. Тынянова. — Вот Эйхенбаум хорош.

Но Эйхенбауму нравится Лебеденко, и т. д.

Все с ненавистью говорили об академике Державине — и о его гнусных нападках на Зощенку*.

Сегодня в Оргкомитете я видел Лебеденко. Он вынул изо всех карманов рецензии французских и немецких газет, где его «Тяжелый дивизион» хвалят, как никогда не хвалили «Войну и мир». Завтра в Ленинград приезжает Семашко.

29/III. Сегодня ходил в Райсовет хлопотать, чтобы детскому клубу писателей дали наконец помещение. Этот клуб предполагалось устроить в *помещении надстройки* на Грибоедовском канале, куда на днях переезжают писатели, но в последнюю минуту отведенную под этот клуб квартиру передали Зощенке — и еще кому-то, а нам предложили отвоевать площадь у помещающейся в том же доме артели «Сила». По этому поводу мы (Хесин, Зощенко, Фроман и я) ходили в Райсовет. Зощенку я увидел сзади со спины, как он поднимался на лестницу стариковской походкой человека, у которого порок сердца. Я сказал ему: зачем он меняет хорошую квартиру на худшую? Он сказал с неожиданной откровенностью: «у меня оказалась очень плохая, сварливая жена, которая в доме перессорилась со всеми жильцами, я, конечно, в это не вмешиваюсь, но надоело. Не знаю, как я прожил в своей семье эти два года. Такая тоска».

Упивается славой своей «Возвращенной молодости». — «В один день распродана вся книга. Кучи писем отовсюду» и т. д.

Жеманный, манерный, наполненный собою и все же обаятельный. Председателю Райсовета поднес свою книжку «от писательской общественности».

Рассказывает, что его вызвал к себе Бухарин — в гостиницу. «Сам позвонил. Болен гриппом. Лежит в кровати голый. Пышет буйной энергией. «Даю вам квартиру в Москве и 2 $^{1}/_{2}$ тысячи жалованья — пишите для «Известий» фельетоны». Я отказался. Говорю: нездоров. — Ну так поезжайте в Нальчик! Я сейчас же дам вам туда письмо.

— А дома у меня, — говорит Зощенко, — очень плохо: вселили жильцов, и у сына всегда температура.

17/VI. Тоска. Главное, ничего не могу сделать для Сербул. Я пошел к Мих. Кольцову. Он радушен и любезен, но — занят, куда-то торопится. Заговорил со мною о кн. Вяземском, приволок 7-й том Шереметевского издания. — «Изучаю как один из фельетонных методов». Говорил о том, почему он назвал себя Кольцовым. И анекдоты. Как-то у А. Н. Толстого собрались: К. Державин, Мих. Кольцов, Соловьев. Кольцов поднял тост «за однофамильцев». Но рассказывает и глядит на дверь. А тут еще его немка ввязывается в разговор*. Каркает по-вороньему. Тоска еще сильнее замутила меня. Я пошел к Халатову. Светлана, Нина и Жорж укладываются на дачу, облепили меня со всех сторон, но взрослым не до меня, взрослые недовольны, что дети перестали складывать игрушки и книги. Я пошел пешком в Дом Ученых: у Марии Федоровны заседание. Я — к Юрию Олеше: он пишет статью о театре. Первую статью в своей жизни. «Жена едет на дачу; ей нужно 3000 рублей, а у меня нету. Я получаю во Всероскомдраме по тысяче в месяц авансом в счет будущего и больше ничего не имею. Правда, я целый год не писал». И тут же рассказал мне содержание своей будущей пьесы «Марат». «Мальчишка знает, что Шарлотта приехала в Париж убить Марата, и хочет уведомить об этом Марата, но ему мешает целый ряд обстоятельств». Его поразило письмо Репина, которое я прочитал по «Чукоккале». Величественное письмо. Был ли Репин богат? — О, да. — «И все же экономил копейки? Это он для продления жизни. Жизни у него остается уже меньше, чем денег, вот он и обманывает себя. Я видел, как Влад. Ив. Немирович-Данченко, 75-летний старик, богач, торговался с извозчиком. Выторговал полтину, два года назад». Чудесный собеседник Олеша, но — тоже занят. «За статью мне дадут 750 р. за лист, я продам ее кусочками в вечернюю «Красную», в «Вечернюю Москву», в «Литгазету», сделаю из нее 3000». А самого так и тянет к чернильнице. Я пошел к Сейфуллиной, вот-вот заплачу. Но и Сейфуллиной нет, а есть ее сестра, 23-летняя Капа, которая встретила меня словами: ой, как вы подряхлели.

18/VI. Вечером доклад Сольца о чистке партии в Оргкомитете Писателей. Сольц — обаятельно умный, седой, позирующий либерализмом. Возле него Мариэтта — *буквально у самого уха* – как Мария у ног Христа. Сейфуллина визави, застывшая, неподвижная. Фадеев председатель, Кирпотин, Архангельский, Шабад, Лядова, Гайдар и много безличностей. Речь его была не слишком

блестяща, покуда он говорил один, но, когда его стали расспрашивать о чистке — т. е. о практике этого дела, он так и сыпал бисером, и все собравшиеся гоготали. Гоготали наивно, потому что основная масса состояла из очень простодушных людей, вроде тех, что прежде заполняли галерку. Дремучие глаза, мясистые деревенские щеки. «Интеллигентных» лиц почти нет. Ни за что не скажешь, что писатели. Сольц говорил о том, как при чистке он главным образом восстает против *скучных* людей. Есть у нас такие: боролся за революцию, жертвовал собою, обо всем, что было у нас до 1917 года, может очень интересно говорить, а с 1917 года говорит скучно. Это дурной признак. Таких ну что вычищать? Нет, не вычищать таких нужно, а дать им пенсию. Больше чем на пенсию они никуда не годятся.

— Как вы чистите молодежь? — спросила Лядова.

— К молодежи я особенно требователен. Но как судья я никогда не приговариваю молодежь к высшей мере наказания... Я вообще не люблю стариков. Терпеть не могу больных. Если мы будем покровительствовать слабым, больным, убогим — кто же будет строить?.. Происхождение человека не интересует меня. Прежде чванились графством, теперь происхождением от слесаря. «Иной думает, что с него довольно того подвига, что он — родился у слесаря. С этим мы должны бороться... Я городовых всех восстанавливаю (в комиссии по чистке). Ведь и полицейский — это тот же милиционер, он происходит из беднейших крестьян... Если б у него была земля, он не пошел бы на службу в полицию... Я чищу чистильщиков. Я чищу партийную знать...»

Потом замолол о половой жизни. «Половая жизнь носит характер общественный: кто смотрит на нее как на естественное отправление организма, тот себя в этой области принижает, и не только в этой области... Ничего хорошего нет, что человек ставит себя на уровень животного».

Его спросили о том, как он относится к современной советской литературе. «Память у меня стала плохая. Что ни прочту, забываю. Вот Шолохова прочитал «Поднятую целину» — и сейчас же забыл».

Сейфуллина: «Ну, я рада, что вы все забываете. Значит, вы и меня забыли и забыли, что вы меня выругали».

Были бутерброды с икрой и семгой, чай и конфеты. Мы пошли с Сейфуллиной. Она по дороге брюзжала: «Надоели либеральные сановники. Вот он сейчас говорит, что сын городового для него не одиозен, а когда я на Кузнецкстрое написала в анкете, что я происхожу из духовенства, ко мне прибежала заведующая и просила изъять из анкеты это место. Почему же он говорит, что пре-

следуют только тех, кто *скроет* свое происхождение? Напротив, требуют, чтобы скрывали».

Вообще Сейфуллина будировала и сделалась, по терминологии Сольца, скучной. Я ушел от нее с Архангельским.

Ночь на 21 июня. Завтра утром у меня записывают голос в радиоцентре. Записывают на пленку. Я так волнуюсь, что не сплю, и разные ночные мысли лезут мне в голову... Этот приезд показал мне, что действительно дана откуда-то свыше инструкция любить мои детские стихи. И все любят их даже чрезмерно. Чрезмерность любви главным образом и пугает меня. Я себе цену знаю, и право, тот период, когда меня хаяли, чем-то мне больше по душе, чем этот, когда меня хвалят. Теперь в Москве ко мне относятся так, будто я ничего другого не написал, кроме детских стихов, но зато будто по части детских стихов я классик. Все это, конечно, глубоко обидно.

Вчера над Москвою лютый дождь. До 1 часу сидел дома, не мог выбежать даже побриться. Прибежал в «Молодую Гвардию». Рыжая, беззубая Шабад опять заявила мне, что в мой сборник решено не включать ни «Мухи Цокотухи», ни «Бармалея» — и дала мне договор, который мы вырабатывали в течение двух недель, и где опять вместо 12 тысяч фигурируют 9 тысяч. Я опять должен был начать сначала всю канитель. Опять бегаю по дурацким коридорам этого сумасшедшего здания. К Розенко — его нет! К Ацаркину — нет! К Лядовой — она уехала в больницу хлопотать о Магидовиче и Паустовском, которые больны сыпным тифом. Налицо был только кудлатый Ося, который даже договора толком не умел написать. Я пошел в финансовую часть и доказал, что мне должны заплатить за строчку не 3 рубля, а 3 р. 82 к.

7/IX 1934. Едем в Кисловодск. Завтра утром — там. С нами: проф. Н. Н. Петров, Игорь Грабарь, д-р Крепс. Игорь Грабарь вчера часа 4 говорил о себе; о своей автобиографии, которую он только что закончил, о книге «Репин», которую он будет печатать роскошным изданием, о картине «Толстые женщины», которую написал он в Париже. Об Эрмитаже: 80% ценнейших картин мы продали за границу. 80%!!! Но есть надежда, что года через два мы начнем покупать их обратно, даже со скидкой — ввиду тамошнего кризиса. Не сомневаюсь, что это будет именно так. Игорь Грабарь, как гласит молва, весьма помогал этой продаже за границу лучших полотен. По его словам, он боролся с этим злом, писал записки Калинину, звонил в Кремль и пр. О Бенуа: Бенуа уехал из СССР в виде протеста против продажи картин Эрмитажа. Там он

жил поддержкой Иды Рубинштейн и, кажется, живет до сих пор. Чехонин увез с собою 1000 долларов одной бумажкой, которую зашил в подошву сапога. Теперь в Америке. О Пиксанове. Скучнейший старик: когда бывали заседания в МГУ, Грабарь всегда уходил, чуть бывало откроет рот Пиксанов. Я вожусь с Гамлетом... Хочу писать о переводах Шекспира для «Лит. газеты».

23/IX. — Братья Веснины. Один — рафаэлевского типа, другой — рубенсовского. Один кудряв, другой лыс. Вечно веселы, нераздельны, беседуют друг с другом, как влюбленные. Один сострит, другой сейчас же смеется. Разговариваю с двумя, как с одним. Братская любовь необыкновенная. — Третьего дня читал Грабарь «Искусство и [нрзб.]» и провалился: мямлил, делая паузу после каждого слова, обнаружил полную неспособность к каким бы то ни было обобщениям. Единственно интересное: история 1. Firsove — Zossenko, но я знал ее раньше. А я как нарочно пригласил украинцев.

Вчера ходил на «Красное Солнышко» — в солнечный день, и это так возбудило меня, что не спал всю эту ночь. Корплю над Шекспиром.

Ноябрь 14. Приехал Каменев. Остановился в Академии Наук у академика Кржижановского. Прелестный круглый зал — куда собрались вчера вечером Томашевский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, я, Швальбе, Саянов, Оксман, Жирмунский. Каменев с обычным рыхлым добродушием вынул из кармана бумажку — вот письмо от Алексея Максимовича. Он пишет мне, что надо сделать такую книгу, где были бы показаны литературные *приёмы* старых мастеров, чтобы молодежь могла учиться. — Какая это книга, я не знаю, но думаю, что это должно быть руководство по технологии творчества.

Тут он предъявил к бывшим формалистам такие формалистические требования, от которых лет 12 назад у Эйхенбаума и Томашевского загорелись бы от восторга глаза. Мысль Каменева — Горького такая: «поменьше марксизма, побольше формалистического анализа!..» Но формалисты, которых больше десяти лет отучали от формализма, жучили именно за то, что теперь так мило предлагается им в стильной квартире академика Кржижановского за чаем с печеньями, — встретили эту индульгенцию холодно. Эйхенбаум сказал с большим достоинством:

«Мы за эти годы отучились так думать (о приемах). И по существу, потеряли к этому интерес. Отвлеченно говоря, можно было бы создать такую книгу... но...»

— Это была бы халтура... — подхватил Томашевский.

Эйхенбаум. Теперь нам пришлось бы пережевывать либо старые мысли, либо давать новое, не то, не технологию, а другое (т. е. марксизм). Во всех этих ответах слышалось:

А зачем вы, черны вороны,
Очи выклевали мне*.

Каменев понял ситуацию. Ну что же! Не могу же я вас в концентрационный лагерь запереть.

Жирмунский. Мы в последнее время на эти темы не думали. Не случайно не думали, а по какой-то исторической необходимости.

Домой я шел с Тыняновым. Он очень огорчен тем, что «Библиотеку поэта» будет издавать «Academia». Из «Издательства писателей» «Библиотека» уходит. А в «Academia» нет бумаги, и кроме того Каменев сказал: да зачем же вы издаете каких-то Востоковых! Нет, для Востокова я бумаги не дам! Тынянов зол на Горького: «Основал «Библиотеку поэта», морочил нам голову, ездили мы в Москву, заседали, а теперь — «пошли вон, дураки!»

И теперь сколько народу мы обманули по его милости. И он всегда так...»

Тынянов написал уже 200 страниц своего романа о Пушкине. «А между тем Пушкин у меня только-только поступает в лицей». Хочет придти на днях почитать.

Люша: если хочет что-нибудь получить от нас, говорит: я *не* хочу. Подходит к яблокам и лицемерит:

— Я *не* хочу яблока!

Это значит: дай яблоко.

18/XI. Каменев четыре дня подряд заседал, обсуждал, организовывал, примирял, улаживал и проч. Я сдал ему «Кому на Руси жить хорошо» для роскошного издания. Вчера у меня был художник — вырабатывали обложку книжки «Дети». Вожусь с «Шекспиром». Вчера кончил эту статью вчерне*. Лида прочла, многое забраковала.

28/XI. Умер академик М. С. Грушевский. Мы часто встречались с ним в Кисловодске — где он жил вместе со своей женой и дочерью Катериной Михайловной. Бодрый старикан с хитроватым лицом бога-отца из карикатур Мора. «В Кисловодске я был ровно 60 лет тому назад». Верил в благодатное влияние Кисловодска — и собирался в Сочи. После тех передряг, которые были с ним в связи с делом Ефремова*, — Госиздат отказался платить ему

1934 гонорар за напечатанные им книги, и он все хлопотал, чтобы ему заплатили хоть часть. Жить в Киеве ему было запрещено. Его поселили в ненавистной ему Москве. Националистом он остался таким же упорным. Когда уезжал из Кисловодска Грабарь, дочь Грушевского вдруг говорит мне:

— Мы с папой идем провожать его!

— Почему? (Они никогда никого не провожали.)

— Ведь земляк! Как же не проводить земляка.

— Какой же Грабарь — земляк!

— Ах, он не Грабарь, а Грабар, и его отец — уроженец Угорской Руси. Правда, он был обруситель, гнул в Московскую сторону, но все же земляк.

И пошел провожать. Дочь его с ним неразлучна. Она тоже пострадала из-за ефремовского дела. Госиздат отказался печатать ее научный свод украинских дум. Жить в Москве им было худо: на окраине, в коммунальной квартире, среди, 5—6 радио. Через несколько дней после того как мы проводили Грабаря, у Грушевского на спине сделался фурункул. Коновалы санатория КСУ поставили ему банки — и гной разошелся по всему телу. Потом позвали хирургов, и те стали резать. Ровно месяц тому назад мы приходили к Михаилу Сергеевичу прощаться. Он поправлялся, температура снизилась, и дочка стала читать ему Боборыкина, чтобы он лучше спал. А вчера мне позвонил Игорь Грабарь (он случайно в Питере) и сообщил, что, по газетным известиям, Грушевский скончался в Кисловодске в страшных муках.

В Кисловодске Грушевский старался прожить подольше, т. к. ему не хотелось возвращаться в ненавистную Москву. А теперь после смерти его торжественно везут хоронить в Киев, и его семье выдают 500 р. пенсии (заплатив и госиздатский гонорар.)

Вчера был у меня Алянский, и, конечно, после этого ненужного визита я не могу заснуть ни минуты. Москва гонит Лебедева из Детгиза. 5-ое издание моей «От 2 до 5» уже набрано. Верстается. Выйдет в январе.

30/XI[1]**.** Летом я жил несколько дней в Петергофе в Санатории КСУ («Заячий ремиз»). Приехав на станцию с чемоданом, я стал искать носильщика. Ко мне подошел полутруп с землистым неподвижным лицом и предложил мне свои услуги таким равнодушным и мертвым голосом, что я в первую минуту испугался. Я дал ему чемодан, он сделал несколько шагов — и я понял, что чемодан ему не под силу. Тогда я распаковал чемодан, вынул оттуда тяжелые книги, дал их А. Я. Максимов[ич]у и сам взял большую охап-

[1] Описка автора, вероятно 28/XI.

ку, но под пустым чемоданом мой носильщик изнемог после первой же сотни шагов. Мы присели на траву, и он рассказал мне, что у него сонная болезнь. Оказалось, что он когда-то учился в Институте Истории Искусств (правда, всего лишь на первом курсе), что он пишет стихи (и он прочитал замогильным голосом, без всякого выражения какую-то тривиальную чушь), что он живет в приюте для калек, где есть еще пять или шесть человек, больных той же болезнью, и проч., и проч., и проч. Кое-как добрели мы до КСУ. Я дал ему вместо трех рублей — десять, и сообщил свой адрес. Он явился недавно ко мне — около месяца назад — жалкий, оборванный, отравленный атропином, который он принимает ежедневно в качестве допинга. Доктор, к которому я его направил, звонил мне по телефону, что он безнадежен. Из жалости к нему М. Б. дала ему Бобин костюм, рубаху, фуфайку, груду белья. И вот вчера утром он приходит торжественный (в 8 час.), одетый во все лучшее, заявляет М. Б-не, что ему очень нужно со мной повидаться, входит без всякого выражения на мертвом лице в мою комнату и, присев ко мне на постель, говорит:

— Я прошу у вас руки вашей дочери Лидии Корнеевны.

Я вначале был ошеломлен, но вскоре понял: этот утопающий человек, обдумывая отчаянное свое положение, нашел единственную соломинку, за которую можно схватиться. Больше ему ниоткуда нет спасения.

— Но ведь вы ее не знаете — говорю я. — И не... любите.

— Стерпится — слюбится, — говорит он замогильным своим голосом. И, помолчав, прибавляет: я знаю, что она — приличная дамочка.

Молчание.

— Я видел сон, К. И. Будто на стадо гусей спустился один лебедь... (Молчание.) Лебедь — это я, К. И. — Моя фамилия — Лебедев, это символически...

— А гуси — мы?

— Выходит, что так.

— Благодарю вас в таком случае за честь, которую вы оказали моей дочери.

Он чинно ушел, а М. Б., как ни в чем не бывало, выдала ему старые башмаки и ломоть хлеба.

29 ноября. Сегодня вечером читал о Шекспире — в секции переводчиков. Были Тарле, Т. А. Богданович, Франковский, Лозинский, Анна Ганзен и прочие. Доклад мой был принят холодно.

30 ноября. Мучаюсь бессонницами. Засыпаю в 12, просыпаюсь в половине четвертого. Надумал написать в «Правду» о Репи-

не. Сюда приехал Борис Левин. Я был у Коли — читал его роман о Кронштадте*. Есть хорошие места, и сюжет хорош, но диалоги беспомощные, и запаха эпохи нет.

Ночью прибежала Женя Курчавова: ее мать кончается: сердечный припадок, отек легких.

1 декабря. Писал «Искусство перевода». Очень горячо писал. Принял брому, вижу, что не заснуть, пошел к Щепкиной-Куперник, которая угостила меня вишневым вареньем и рассказывала о своем переводе «Much Ado about nothing»[1].

Это навеяло мне сон. Прихожу домой, ложусь. Читаю Ксенофонта Полевого — вдруг звонок по телефону — из «Правды» Лифшиц:

— Убили Кирова!!!!

Все у меня завертелось. О сне, конечно, не могло быть и речи. Какой демонстративно подлый провокационный поступок — и *кто* мог его совершить? Сегодня утром мороз, месяц — последняя четверть — и траурные флаги.

Я пошел утром в 8 часов — бродил по Питеру. У здания бездна автомобилей, окна озарены, на трамваях траурные флаги — и только. Газет не было (газеты вышли только в 3 часа дня). Из «Правды» прилетел на аэроплане Аграновский посмотреть траурный Ленинград. Кирова жалеют все, говорят о нем нежно. Я не спал снова — и, не находя себе места, уехал в Москву.

Москва поражает новизной. Давно ли я был в ней, а вот хожу по новым улицам мимо новых многоэтажных домов и даже не помню, что же здесь было раньше. Первым долгом в Детгиз. Суворов показал мне иллюстрации Ротова, уже отпечатанные. Иллюстрации с пошлятинкой, но ее сравнительно мало. Оказывается, Лебедев пал из-за меня — из-за тех иллюстраций, которые он дал к моей «Путанице». Иллюстрации делал Васнецов, инфантильный вятич. Некоторые хороши, а две или три — гадостны. Особенно те, которые изображают пожар моря. Это — кишки женщины, у которой разрезан живот. Книжка вызвала возмущение ребят — Стецкий обратил на нее внимание, и дело, по словам Семашко, дошло до Сталина. Этот Лебедев замечательный художник, которого я же и втянул в детскую литературу. Я наблюдаю в течение последних 8-ми лет, как он не дает хода моим детским книгам, маринует их по 3 года или нарочно выпускает в замухрышном плюгавом виде. Отвратительная политика, — заключавшаяся в том, чтобы выпятить достоинства книги Маршака, с которым он в комплоте и которого он иллюстрирует, чрезвычайно волновала

[1] «Много шума из ничего» (*англ.*).

меня все эти годы. Но, к сожалению, Москва задержала при этой оказии мою книгу «50 поросят», иллюстрированную тем же Васнецовым. *Нужно идти к Томскому хлопотать.*

Кроме того, как сказал мне Семашко, Главлит задержал моего «Крокодила».

Надо идти к Борису Волину.

5/XII. Вчера Л. Б. Каменев рассказал мне интереснейшую вещь. Ему было лет 15, когда он пошел с отцом покупать у оптика на Невском очки (для отца). Купив очки, отец попросил оптика продать ему также и кусочек замши, чтобы вытирать стекла. Оптик сказал:

— Стекла нужно вытирать носовым платком, а не замшей. Замша портит стекла.

С тех пор прошло лет 45 — и всякий раз, когда Каменев вынимает очки, чтобы вытирать их платком, он неизменно, при любых обстоятельствах, вспоминает оптика на Невском. Не было случая, чтобы, вытирая очки, он не вспомнил об этом эпизоде с отцом.

Т. И. Глебова рассказала, что с нею случилось подобное. Каменев когда-то сказал ей между прочим, что В. И. Ленин учил его, что, выходя из лифта, надо закрывать дверцы, иначе лифт не спустится. И теперь она неизменно вспоминает при всех подобных оказиях Ленина.

Вчера я весь день писал и не выходил из своего 114-го номера «Национали». Вечером позвонил к Каменевым, и они пригласили меня к себе поужинать. У них я застал Зиновьева, который — как это ни странно — пишет статью... о Пушкине («Пушкин и декабристы»). Изумительна версатильность этих старых партийцев. Я помню то время, когда Зиновьев не удостаивал меня даже кивка головы, когда он был недосягаемым мифом (у нас в Ленинграде), когда он был жирен, одутловат и физически противен. Теперь это сухопарый старик, очень бодрый, веселый, беспрестанно смеющийся очень искренним заливчатым смехом.

Каменев рассказывал при нем о Парнохе, переводчике испанских поэтов, который написал ему, Каменеву, письмо, что он считает его *балканским жандармом* и не желает иметь с ним ничего общего. В этот же день — рассказывает Лев Борисович — пришел «Литературный Ленинград», где напечатано, что он, Каменев, узурпатор, деляга, деспот и проч. и проч. и проч. по поводу истории с «Библиотекой поэта». Я встал на сторону тех, кто писали эту статью, т. к. Л. Б. напрасно обидел целую плеяду литературных работников, составивших для «Библиотеки поэта» несколь-

ко ценнейших монографий. И что это за девиз: раньше издадим Михайлова, а потом — Хомякова! и проч. и проч. и проч. Говорили об А. Н. Тихонове: оказывается, он женился и живет где-то в гостинице, платя чуть не сто рублей в день. Татьяна Ивановна угостила меня луком, ветчиной, пирожными — очень радушно.

А потом мы пошли по Арбату к гробу Кирова. На Театральной площади к Колонному залу очередь: человек тысяч сорок попарно. Каменев приуныл: что делать? но, к моему удивлению, красноармейцы, составляющие цепь, узнали Каменева и пропустили нас, — нерешительно, как бы против воли. Но нам преградила дорогу другая цепь. Татьяна Ивановна кинулась к начальнику: «это Каменев». Тот встрепенулся и даже пошел проводить нас к парадному ходу Колонного зала. Т. И.: «Что это, Лева, у тебя за скромность такая, сказал бы сам, что ты Каменев». — «У меня не скромность, а гордость, потому что а вдруг он мне скажет: никакого Каменева я знать не знаю». В Колонный зал нас пропустили вне очереди. В нем даже лампочки электрические обтянуты черным крепом. Толпа идет непрерывным потоком, и гэпеушники подгоняют ее: «скорее, скорее, не задерживайте движения!» Промчавшись с такой быстротой мимо гроба, я, конечно, ничего не увидел. Каменев тоже. Мы остановились у лестницы, ведущей на хоры, и стали ждать, не разрешит ли комендант пройти мимо гроба еще раз, чтобы лучше его разглядеть. Коменданта долго искали, нигде не могли найти — процессия проходила мимо нас, и многие узнавали Каменева и не слишком почтительно указывали на него пальцами. Оказалось, Каменев добивался совсем не того, чтобы вновь посмотреть на убитого. Он хотел встать в почетном карауле. Наконец явился комендант и ввел нас в круглую «артистическую» за эстрадой. Там полно чекистов и рабочих, очень печальных, с траурными лицами. Рабочие (ударники) со всех концов страны, в том числе и от Ленинградского завода им. Сталина, стоят посередине комнаты — и каждые 2 минуты из их числа к гробу отряжаются 8 человек почетного караула. Каменев записал и меня. Очень приветливый, улыбающийся, чудесно сложенный чекист, страшно утомленный, раздал нам траурные нарукавники — и мы двинулись в залу. Я стоял слева у ног и отлично видел лицо Кирова. Оно не изменилось, но было ужасающе зелено. Как будто его покрасили в зеленую краску. И т. к. оно не изменилось, оно было еще страшнее... А толпы шли без конца, без краю: по лестнице, мучительно раскорячившись, ковылял сухоногий на двух костылях, вот женщина с забинтованной головой, будто вырвалась из больницы, вот слепой, которого ведет под руку старуха и плачет. Еле мы протискались против течения вниз. В артистиче-

ской мы видели Рыклина, Б. П. Кристи и др. Домой я вернулся в 2 $^{1}/_{2}$ ночи.

5/XII. Сегодня отчаянный день.

Во-1-х, я узнал, что вместо 100 тыс. экземпляров моих сказок Семашко дает всего лишь 50.000 экз.

Во-вторых, новый редактор Детгиза Ек. Мих. Оболенская (жена Осинского) заявила, что ей не нравится «Чудо-дерево», «Барабек» и что она не намерена издавать эти вещи отдельной книгою, как предлагал мне Семашко.

В-третьих, Волин задержал «Крокодила», а Томский — «50 поросят»(!!!)

[**11/XII.**] Приехала М. Б. И мы с нею были на «Испанском священнике», «Даме с камелиями» и «Свадьбе Кречинского». Понравилась мне только «Свадьба». А Райх в «Даме» оказалась так ужасна, что я сбежал со второго акта. Были мы вчера (10/XII) у Игоря Грабаря в мастерской. Хороши только зимние этюды да портрет композитора Прокофьева. Остальное ординарно.

20/XII. Канитель с «Крокодилом» продолжается. Сегодня я пришел в Детгиз — Семашко в серой шапке, в бекеше с серым воротником стоит, собираясь уезжать. У подъезда его ждет большая совнаркомовская машина.

— Ну как «Крокодил»? — спрашиваю его.

— Сволочи! — говорит он. И звонит Танееву.

Танеев говорит, что завтра даст ответ, спросит у Бубнова.

«Да вы мне поверьте, я уже с Бубновым говорил, он разрешает! — говорит Семашко.

— Хорошо! Завтра я дам вам ответ».

Рубановский говорит, что разрешат. Но Чуркин говорит, что задержали.

В «Academia» носятся слухи, что уже 4 дня как арестован Каменев. Никто ничего определенного не говорит, но по умолчаниям можно заключить, что это так. Неужели он такой негодяй? Неужели он имел какое-нб. отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъестественный, т. к. к гробу Кирова он шел вместе со мною в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы. И притворялся, что занят исключительно литературой. С утра до ночи сидел с профессорами, с академиками — с Оксманом, с Азадовским, толкуя о делах Пушкинского Дома, будущего журнала и проч. Взял у меня статью о Шекспире, которая ему очень понравилась, звонил мне об этой статье ночью — указывал, как переделать ее, спрашивал о радловском переводе «Отелло» —

и казалось, весь поглощен своей литературной работой. А между тем...

Сегодня уехала в Ленинград Мария Борисовна. Я проводил ее на вокзал и вернулся в гостиницу огорченный: мучает меня огромное количество несделанных дел, которые меня буквально заедают: недописанная статья «Искусство перевода», неисправленные «Сказки», недоконченная статейка о Репине и проч., и проч., и проч.

23/XII. Сейчас говорил с Главлитом — оказывается, мой «Крокодил» запрещен опять. Неужели кончился либерализм 1932 года? Получилась забавная вещь — когда в 1925 году запрещали «Крокодила», говорили: «Там у вас городовой», «кроме того — действие происходит в Петрограде, которого не существует. У нас теперь — Ленинград».

Под влиянием этих возражений против «Крокодила» я переделал тексты — у меня получился постовой милиционер, которого Крокодил глотает в Ленинграде. Текст одобрили. Дали художникам иллюстрировать. И Конашевич и Константин Ротов сделали милиционера в современном Ленинграде, и тогда цензура наложила на него свое veto именно за то, что там «Ленинград» и «милиция».

24/XII. Я вчера весь день провел в тоске. Третьего дня выступал в Клубе мастеров искусства вместе с Грабарем. Читал о Репине. У меня вышел доклад очень бойкий, но поверхностный, у Грабаря — нудный и мертвый. Слушали нас горячо и страстно. Председательствовал Машков, который каялся в своем прежде несправедливом отношении к Репину. (Он с Максом Волошиным выступил в юности против Репина, когда порезали репинскую картину.) «Репин с каждым годом растет». «Теперь он кажется мне... ну, пожалуй... ровней Рембрандта». Игорь Грабарь уговаривает позировать ему, но у меня нет времени.

Были у меня Бор. Левин с Герасимовой. Отняли много времени. Левин очень не любит Толстого, не знаю почему. «Ах, если бы он умер во время похорон Кирова, — сострил он. — Никто бы и не заметил его собственных похорон. Вот неудобное время, когда умирать. Все процессии, все организации заняты другим — а не им». Откуда эта чудовищная злоба у некоторых писателей к Толстому? Горькому?

28/XII. Сейчас новая глава в истории «Крокодила». Началась она с того, что все в Детгизе говорили мне: мы с удовольствием напечатаем вашу сказку.

Семашко тоже: «Что ж! Отличная сказка — будем печатать».

«Академия» тоже: мы печатаем без всяких колебаний.

Цензор «Академии» Рубановский разрешил не задумываясь. На основании этого художник Конашевич сделал для «Крокодила», издаваемого в «Академии», рисунки, которые печатаются сейчас в Гознаке, художник Ротов сделал рисунки для детгизовского «Крокодила» — и когда все было готово, около месяца назад, прошел неясный слух, будто Волин имеет какие-то возражения против «Крокодила». Слухам не придали значения: Волин был в больнице, Семашко говорил мне: «Пустяки», и я был уверен, что все образуется. Так как сейчас процесс убийц Кирова, Волин головокружительно занят — и поймать его по телефону вещь почти невозможная. Вчера в Детгизе я наконец дозвонился до него — и он сказал мне, что считает, что «Крокодил» — вещь политическая, что в нем предчувствие февральской революции, что звери, которые по «Крокодилу» «мучаются» в Ленинграде, это буржуи и проч., и проч., и проч. Все это была такая чепуха, что я окончательно обозлился. Легко рассеять такие фантомы. Сегодня утром в 9 час. я опять позвонил ему. Так как в прошлый раз он выразил желание, чтобы «Крокодил» был напечатан в старой редакции, я указал ему теперь, что это невозможно, потому что найдутся идиоты, которые подумают, что стихи:

И вот живой городовой
Явился вновь перед толпой

включают в себя политический намек.

Он согласился со мною и просил позвонить завтра утром. Я, радуясь, что он уступает моим доводам, позвонил Оболенской. Она говорит охрипшим от насморка голосом:

— Вы знаете, неприятная новость: вашего «Крокодила» решили вырезать из книжки ваших «Сказок»?

— Кто?

— Волин.

— Но ведь я сейчас с ним говорил.

— Я ничего не знаю. Позвоните Семашко.

Я позвонил Семашко. Семашко уехал в Смоленск. Я позвонил Суворову. Суворов говорит:

— Верно. Я человек подневольный. Мне дано распоряжение ехать сию минуту в типографию и вырезать оттуда «Крокодила».

— И вы поедете?

— Я человек подневольный.

1934 Оказывается, вчера Семашко был у Стецкого, но тот, распропагандированный Волиным, запретил «Крокодила» наотрез...

Вчера я закончил свой фельетон о Репине и дал в «Правду». «Правда» фельетон приняла, равно как и другой, тоже написанный в Москве, — «Искусство перевода»*. О Репине я написал с самой неинтересной для меня точки зрения — неинтересной, но *необходимой* для славы Репина в СССР — на тему: «Репин — наш!» Эта статья даст возможность громко прославить Репина, а то теперь он все еще на положении нелегального.

29-го /XII. Домой хочется ужасно. Из-за «Крокодила» я два дня не работаю. Выбился со сна. Сегодня звонил Стецкому в ЦК. — «Алексея Ивановича сегодня не будет. Он на заводах. Позвоните его секретарю». Звоню Волину, целый час добивался, стоит на своем. Сегодня буду ловить его в Наркомпросе. Будь оно проклято, то лето в Куоккале, когда я написал «Крокодила». Много горя оно доставило мне. По поводу этого «Крокодила» я был недавно у Эпштейна, он долго не хотел принять меня, я перехватил его по дороге к Бубнову, — он отмахнулся от меня, как от докучливого просителя. Я — к Бубнову. «Не может принять. Оставьте ваш телефон, вам сообщат». Я оставил — и жду до сих пор. А прежние обиды, оскорбления, травля в газетах и проч. Черт меня дернул написать «Крокодила».

Вот уже 3 часа я все кишки выматываю телефоном. «Город». — «Город занят». Получил город. «А. Т. С». — «А. Т. С. занято». Так и не доберешься до нужного номера.

Был у Волина в Наркомпросе.

Сначала учтиво, а потом все грубее он указал мне, что он делает мне личное одолжение, разговаривая со мною по этому поводу, что он очень занят и не имеет возможности посвящать свое время таким пустякам, но все же так и быть — он укажет мне политические дикости и несуразности «Крокодила». Во-первых,

Подбегает постовой:
Что за шум? Что за вой?
Как ты смеешь тут ходить,
По-немецки говорить?

Где же это видано, чтобы в СССР постовые милиционеры запрещали кому бы то ни было разговаривать по-немецки!? Это противоречит всей нашей национальной политике! (А где же это видано, чтобы милиционеры вообще разговаривали с Крокодилами.)

Дальше:

Очень рад
Ленинград
. . . . . .
А яростного гада
Долой из *Ленинграда*
. . . . . .
Они идут на *Ленинград*
. . . . . .
О, бедный, бедный *Ленинград.*

Ленинград — исторический город, и всякая фантастика о нем будет принята как политический намек. Особенно такие строки:

Там наши братья, как в аду —
В Зоологическом саду.
О, этот сад, ужасный сад!
Его забыть я был бы рад.
Там под бичами палачей
Немало мучится зверей
и пр.

Все это еще месяц назад казалось невинной шуткой, а теперь, после смерти Кирова, звучит иносказательно. И потому...

И потому Семашко, даже не уведомив меня, распорядился вырезать из Сборника моих сказок «Крокодила».

От Волина я поехал в ЦК партии. Там тов. Хавинсон (кажется так?), помощник Стецкого, принял меня ласково, но... Он торопится... он ничего не знает... Он никогда не читал «Крокодила»... Оставьте текст... Я познакомлюсь... Скажу свое мнение.

Я — к Семашке в Детгиз. Семашко несколько смущен. Ведь он уверял, что ни за что не допустит выбросить из «Крокодила» ни строки. «Да... да... вот какое горе... Но ведь нам надо поскорее... Я распорядился... Изъять «Крокодила»...

— Даже не попытавшись похлопотать о его разрешении?..

— Да... знаете... время такое...»

От Семашки я побежал к Ермилову — Ермилов обещал поговорить, но о чем — неизвестно. Советуют обратиться в Союз Писателей, но, конечно, это все — паллиативы. Единственный, кто мог бы защитить «Крокодила», — Горький. Он сейчас в Москве. Но Крючков не пустит меня к Горькому, мне даже и пробовать страшно. А между тем все эти хлопоты вконец расшатывают мои нервы — я перестал спать, не могу работать. И в самый разгар борьбы — вдруг получаю от М. Б. телеграмму, торопящую меня приехать домой!!!! Я даже не обиделся, я удивился. Человек знает все обстоятельства дела и хочет, чтобы я плюнул на все — и поселился на Кирочной. Ну что ж! Я так и сделаю.

1934 «Правда» поступила со мной по-свински. Заказала мне фельетон о Репине. Я писал его не покладая рук — урывая время от борьбы за «Крокодила», а теперь отложила его в дальний ящик. Между тем по телефону уверяла меня, что он идет 30-го; если бы он пошел 30-го, со мной иначе разговаривали бы все работники Главлита и Культпропа.

Илья Зильберштейн предлагает печатать Репина у Бонч-Бруевича. Я почти согласился. Но Эфрос возмущен и буянит. Длинные споры по этому поводу.

В фельетоне, который я дал «Правде», — «Искусство перевода» — содержатся похвалы издательству «Academia». Их велено убрать. Теперь хвалить «Академию» нельзя — там был Каменев. Между тем накануне ареста Каменева в «Правде» должна была пойти его статейка, рецензия на какие-то мемуары. Она уже была набрана. Сейчас Эфрос рассказал мне, что «Academia» ищет заместителя Каменеву. Были по этому поводу у Горького — главным образом для того, чтобы отвести кандидатуры Лебедева-Полянского и других. Горький обещал противиться этим кандидатурам. Выдвигают какого-то Манцева, служащего в Наркомфине.

31/XII. Сейчас говорил по телефону с Семашко. Так как мне очень хочется домой и я устал от чиновников, от беготни по учреждениям и проч., я решил уступить Волину и дать только первую часть «Крокодила». Позвонил об этом Николаю Александровичу.

А он говорит:

— Я не помню «Крокодила», приду в Детгиз, разберусь. И в результате —

2 января. «Крокодил» запрещен *весь*. Ибо криминальными считаются даже такие строки:

Очень рад
Ленинград

и проч. Семашко предложил мне переделать эти криминальные строчки, и кто-то из присутствующих предложил вместо «Ленинград» сказать «Весь наш град». Выбившись из сил, я достал в Интуристе билет — и к 1-му января был уже дома. Гулял с М. Б. по Питеру, читал Колин рассказ «Старики» (очень хороший рассказ), разбирал письма (большинство — отклики на книжку «От двух до пяти»), был в ГИХЛе и в «Academia» и рано лег спать. Сейчас М. Б. переписывает на машинке мои воспоминания о Репине, а я строчу «Искусство перевода».

Люша про куклу:

— Ты не бойся ее поцеловать! Это ведь человек растет!

Лидочка в Детском Селе. Сегодня она приехала на несколько часов. Люша была рада и сейчас же заявила нам: «Теперь я люблю маму, а вас не люблю: не могу же я любить сразу и вас и маму. Вот мама уедет, я опять буду вас любить». Какое невместительное сердце.

5/I. Был на чехословацком обеде в «Астории». Зощенко в черном костюме, изнеможденный...

18/I. Не писал дневника, т. к. был занят своей книгой «Высокое искусство» и статьей о Репине, которая все разрастается. Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других. Вчера читал обвинительный акт. Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. А я-то верил, что Каменев и вправду волнует-

ся по поводу переводов Шекспира, озабочен юбилеем Пушкина, хлопочет о журнале Пушкинского Дома и что вся его жизнь у нас на ладони. Мне казалось, что он сам убедился, что в политике он ломаный грош, и вот искренне ушел в литературу — выполняя предначертания партии. Все знали, что в феврале он будет выбран в академики, что Горький наметил его директором Всесоюзного Института Литературы, и казалось, что его честолюбие вполне удовлетворено этими перспективами. По его словам, Зиновьев до такой степени вошел в литературу, что даже стал детские сказки писать, и он даже показывал мне детскую сказку Зиновьева с картинками... очень неумелую, но трогательную. Мы, литераторы, ценили Каменева: в последнее время как литератор он значительно вырос, его книжка о Чернышевском*, редактура «Былого и дум» стоят на довольно высоком уровне. Приятная его манера обращения с каждым писателем (на равной ноге) сделала то, что он расположил к себе: 1. всех литературоведов, гнездящихся в Пушкинском Доме; 2. всех переводчиков, гнездящихся в «Academia», и проч., и проч., и проч. Понемногу он стал пользоваться в литературной среде некоторым моральным авторитетом — и все это, оказывается, было ширмой для него, как для политического авантюриста, который пытался захватить культурные высоты в стране, дабы вернуть себе утраченный политический лик.

Так ли это? Не знаю. Похоже, что так. Я вспомнил один эпизод на Съезде. Каменев жил на даче под Москвой. Об этом его жена, Татьяна Ив., которую я встретил в Колонном зале, сказала мне шепотом, т. к. считалось, что он где-то на Кавказе. Он *скрывался*, и скрывался так тщательно, что по целым дням не выходил из своей дачи — не соблазняясь никакой погодой. Скрывался он вот почему: вначале было объявлено, что Каменев сделает на Съезде писателей доклад и что вообще ему будет принадлежать там, на Съезде, ведущая роль. Потом, очевидно, в ЦК было решено не предоставлять ему этой роли, и он должен был притвориться отсутствующим. Я так и не побывал у него на даче — и забыл весь этот эпизод, но в бытность мою в Кисловодске я получил от Т. Ив. письмо, где она говорит: простите мне ту грубость, с которой я разговаривала с вами на Съезде писателей, но я *была так огорчена, что Л. Б. не мог выступить там*. О его политической карьере я не знаю ничего, но как литератор он был мне кое в чем симпатичен (хотя его разговоры о Мандельштаме, его статьи о Полежаеве, Андрее Белом и проч. свидетельствовали о полном непонимании поэзии*).

С изъятием «Крокодила» я примирился вполне. Ну его к черту. Снова пишу о Репине и проклинаю свою бесталанность. Он

как живой стоит передо мною во всей своей сложности, а на бумаге изобразить его никак не могу.

Разбираю его письма ко мне*: есть замечательные. Но ненависть его к «Совдепии» оттолкнет от него всякого своей необоснованной лютостью...

27/I. Я в Болошеве. Снег и 30—40 ученых (считая и их жен). Царство седых и лысых. Сегодня днем я впервые заснул после того утра 21/I, когда я сказал М. Б., что еду в Москву, и она два дня в исступлении проклинала меня. Впрочем, с 21-го на 22-ое я спал хоть немного, а потом — ни минуты, ни при каких обстоятельствах. Меня выписали в Москву «Всекохудожник»* и радиокомитет. 1-й для того, чтобы я прочитал лекцию о Репине, 2-й для того, чтобы я выступил в Колонном зале со своими сказками. Кроме того, мне было нужно пристроить в редакции «Красной Нови» свою статью об «Искусстве перевода» и сдать статью о Репине — Горькому в «Альманах XVII». Из-за ссоры с Марией Борисовной я *не кончил статьи о Репине* и не привел в окончательный вид своей книжки. И вообще в Москве я не написал ни строки из-за того, что в течение трех суток (с 23 по 26) был буквально на улице. Сейчас в Москве происходит Съезд Советов, все гостиницы заняты. 23-го весь день я тщетно пытался проникнуть в «Националь», весь день звонил по всем телефонам, и наконец в 11 часов ночи Жеребцов устроил меня в Ново-Московской... Я приехал туда, сдал паспорт, заполнил анкету, уплатил деньги и попал на 7-й этаж, где оказалось так шумно, что я через десять минут уложил чемодан и убежал. Куда? На Верхнюю Масловку к художнику Павлу Александровичу Радимову — в его мастерскую. Приехал в час ночи (на машине, которую вымолил у Жеребцова). Мастерская на 7-м этаже, в ней нет постели, она выходит в такой же шумный коридор, как и номер в Ново-Московской. Но делать было нечего. Я лежу на диване и не сплю. Зажечь огонь? Но к глазам моим приливает кровь, и, кроме того, картины Радимова так плохи, что душевная муть увеличивается. У него все приемы живописи заучены, как у барышни, которая рисует цветы. Вот так делается речка, так делается облачко, так делается солнечный блик. Творчества тут нет никакого. Зная все эти рецепты, он изготовляет сотни пейзажиков, которые разнятся один от другого тем, что здесь речка слева, а здесь речка справа, здесь березки с осенней листвой, здесь — с весенней. Это такая клевета на природу; природа в моем восприятии гораздо лиричнее, гораздо трагичнее. Те пейзажи, которые я пишу мысленно, когда гляжу на деревья, реки, поля, так отличаются от этих механически сделанных пейзажей Радимова, что смотреть на радимовские для меня такая же

мука, как, напр., слушать на суде лжесвидетеля. И так как теперь всюду тяга к такому полуискусству, — пейзажи Радимова идут нарасхват во все клубы, дома отдыха и проч. Сам он — желтоволосый, голубоглазый, поэтический, «не от мира сего» — величайший карьерист и делец. Работая по общественной линии во всяких художественных организациях, он свел знакомство с Ворошиловым, Уншлихтом, Эйдеманом, а так как такое знакомство — капитал, то он получил с этого капитала большие проценты: ему дали идеальную квартиру в Доме Художника, идеальную мастерскую там же, дачу в Абрамцеве и мастерскую там же. Это кулачок в советской личине, и чуть только я разгадал это, мне стало противно быть под его кровлей.

Его сосед и друг — Евгений Кацман, выставка которого сейчас во «Всекохудожнике». Кацман не лишен дарования, хотя живопись его однообразна и поверхностна, портретные характеристики внешни, а краски слишком пестры и «шикарны». Сейчас его сделали заслуженным деятелем искусства. У него мастерская в Кремле и квартира во «Всекохудожнике». Главное, что сейчас он ценит в себе, — знакомство с Бубновым, Ворошиловым и другими вождями. Это его основной капитал, хотя он не брезгает Халатовым и даже Сергеем Городецким. Ему кажется, что он своей деятельностью борется с Пикассо, Матиссом, Ван-Гогом, что он реалист, что он продолжатель Репина, он пишет брошюры, ведет дневник о своей борьбе за реализм, а в общем — из него вышел бы неплохой рисовальщик портретов для европейских иллюстрированных изданий.

С Радимовым он спаян гешефтами. Они всё что-то «организуют», «основывают», затевают — и все по общественной линии — и от всего им отчисляется какой-то барыш. Сейчас они оба взволнованы действительно диким поступком некоего идиота Михайлова, который в рисунке для выставки «Памяти Кирова» изобразил, как вожди наши стоят у гроба, а за ними — смерть в виде скелета. Что он хотел сказать этим, неизвестно, но этой смерти на выставке никто не заметил. Когда же она появилась в фотоснимке — зловредная идея художника сразу стала ясна — и Кацман на собрании правления Москва заклеймил его как мерзавца. Мне же кажется, что это просто тупица, желавший выразить, подражая Бёклину, какой великой опасности подвергают себя товарищи Кирова в окружении зиновьевцев. Впрочем, я не видел этого рисунка и судить не могу. М. б., и вправду это пошлая белогвардейская агитка.

24-го читал я во «Всекохудожнике» о Репине. Читал с огромным успехом — и главное, влюбил в Репина всех слушателей. На эстраде был выставлен очень похожий портрет Ильи Ефимови-

ча, и мне казалось, что он глядит на меня и одобрительно улыбается. Но чуть я кончил, «Всекохудожники» устроили пошлейший концерт — и еще более пошлый ужин, который обошелся им не меньше 3-х тысяч рублей казенных денег. В этом концерте и в этом ужине потонуло все впечатление от репинской лекции. Были Сварог, Кацман, Герасимов, m-me Уншлихт, Грабарь, Радимов, Антон Шварц и проч., и проч., и проч. «Всекохудожник» разослал всем специальные пригласительные билеты, где вместо Репина был изображен — ...Александр Вознесенский!!!

Я и не подозревал, что среда современных художников — такая убогая пошлость. Говорят: хорошо еще, что танцев не было.

На следующий день, 25/I я обедал в «Национали» и встретил там Мирского. Он сейчас именинник. Горький в двух фельетонах подряд в «Правде» («Литературные забавы») отзывается о нем самым восторженным образом*.

— Рады? — спрашиваю Мирского.

— Поликратов перстень*, — отвечает он.

Мил он мне чрезвычайно. Широкое образование, искренность, литературный талант, самая нелепая борода, нелепая лысина, костюм хоть и английский, но неряшливый, потертый, обвислый, и особая манера слушать: после всякой фразы собеседника он произносит сочувственно и-и-и (горлом поросячий визг), во всем этом есть что-то забавное и родное. Денег у него очень немного, он убежденный демократ, но — от высокородных предков унаследовал гурманство. Разоряется на чревоугодии. Каждый день у швейцара «Национали» оставляет внизу свою убогую шапчонку и подбитое собачьим лаем пальто — и идет в роскошный ресторан, оставляя там не меньше сорока рублей (т. к. он не только ест, но и пьет), и оставляет на чай 4 рубля лакею и 1 рубль швейцару.

В «Литературных забавах» Горького и в его пре с Заславским есть много фактических ошибок. Так, например, Белинского Горький объявил сыном священника и проч., и проч., и проч. Но в споре с Заславским Горький прав совершенно*: «Бесы» гениальнейшая вещь из гениальнейших. Заславский возражает ему: «Этак вы потребуете, чтобы мы и нынешних белогвардейцев печатали». А почему бы и нет? Ведь потребовал же Ленин, чтобы мы печатали Аркадия Аверченко «7 ножей в спину революции». Ведь печатали же мы Савинкова, Шульгина, генерала Краснова.

Я сказал об этом Мирскому. У него и у самого было такое возражение, и он обещал сообщить о нем Горькому.

После обеда мы поехали с ним на совещание в «Academia» — первое редакционное совещание после ухода Каменева. Приез-

жаем: никого. «По случаю смерти Куйбышева». Куйбышев умер!!! О! О! О!

28/I. Из-за похорон Куйбышева в Москве никаких редакционно-издательских дел. Я сдал в «Год XVII» и в «Academia» «Искусство перевода», — и стал хлопотать о машине, чтоб уехать в Болшево. Лишь к 6 часам мне дали... грузовик.

Вышла «Солнечная». Печаталась целый год. Я сдал ее в феврале прошлого года.

Здесь солидные профессоры играют в шарады: вышли три пузана и разом сказали Э. Это значит «Э разом», т. е. Эразм. Потом вышла профессорша, и кто-то потер ей дамский рот. Рот тер дамский (Роттердамский).

Другой профессор взял палку и стал совать ее между горшками цветов: не в растениях (неврастения).

Сижу и бьюсь с корректурой своих стихов для «Academia». Как отвратительны мне «Краденое Солнце», и «Лимпопо», и «Тараканище».

На Верхней Масловке есть новые многоэтажные здания, но — сколько еще старины, темноты. Спрашиваю у дворника, метущего улицы: «Где здесь телеграф?» — У нас такие не живут. — «Телеграф, понимаете? Те-ле-граф». Подошел другой дворник: «Телеграф? Эвона через дорогу, в аптеке». Я пошел туда, там оказался телефон. К Кацманам пришел при мне 35-летний крестьянин — неграмотный.

31/I. Уезжаю из Москвы ограбленный, морально изъязвленный. Вчера в Колонном зале был детский утренник Маршака и Чуковского. Маршак не приехал, и Шварц вместо него читал «Мистера Твистера». Со мной было так: забронировали для меня номер в «Савой». Я приехал из Болшева за полчаса до выступления, чтобы переодеться и подготовиться к чтению. Говорю портье: дайте... [страница вырвана. — *Е. Ч.*]

...окоченел от ужаса. Илья шепнул: есть одно средство, идите к Лизе Кольцовой. И Эфрос пошел. И Лиза Кольцова упросила Мехлиса не печатать фельетон. Абрам спасен Ильей. Но откуда власть Лизы в «Правде»? Вчера она позвонила мне, сказала что придет — у нее есть ко мне дело. Я был ужасно занят, думая, что дело 10-минутное, а оказалось, что она пришла поплакать. Мы никогда с ней не разговаривали откровенно, она человек очень замкнутый, а тут вдруг со слезами (сделавшись удивительно некрасивой и старой) сказала, что уже пять лет она живет с Мехлисом, который женат, имеет ребенка — и вот проводит с нею ночи, и гово-

рит ей обо всех своих делах, о делах «Правды», о делах государства. Вот и сейчас она знает от него, что на этом съезде будто бы будет объявлена очень либеральная конституция, — о тайном голосовании и будет создано нечто вроде парламента. И плачет, плачет. «У меня нет ни дома, ни семьи, ни уюта... С Мишенькой у меня такие странные отношения: он меня ласкает, будто он виноват, но ему тяжело, он не пишет, все валится у него из рук: самолет «Максим Горький» не удался, «Зеленый город» заглох...» И плачет, плачет.

Я сказал ей, что, в конце концов, другая радовалась бы. У нее есть автомобили, квартира в Доме Правительства, муж, любовник — все, что полагается. Но если она плачет, значит, она не из тех, кто удовлетворяется этим. Поэтому пусть она плюнет на все — уйдет от Кольцова и от Мехлиса и начнет работать где-нибудь в провинции.

Со мною в поезде едет Юрьев. Неделю назад он встретил в вагоне Енукидзе. Разговорились. Юрьев сказал, что у него в Московской губернии есть конфискованное имение. — «Возвратим», — сказал Енукидзе. Ему, Юрьеву, сообщили, будто бы сейчас Мехлис самолично, ни с кем не считаясь, начал кампанию против Горького: статья Заславского, статья Панферова*. Причем статью Заславского Кольцов смягчил, а статью Панферова Мехлис усилил, вставив туда множество кусков от себя. Поведение Мехлиса одобрено свыше post factum.

По поводу назначения Бабочкина народным артистом Юрьев говорит:

— Вот тебе, Юрьев, и Бабочкин день!

— Три народных, да и то один самозванец: (Бабочкин играет Гришку Отрепьева). — Три народные бабы: Корчагина, ... и Баб-очкин.

12/II. 9-го были мы в Клубе им. Маяковского на Грузинском вечере. Приехали: Гришашвили, Эули, Табидзе, Паоло Яшвили, Пастернак, Гольцев и еще какие-то. Луговской сказал речь, где указывал, что юбилей Пушкина, который будет праздновать Грузия, и юбилей Руставели, который будет праздновать Советский Союз, — символизирует наше слияние. Грузины оказались мастерами читать свои стихи — особенно привела всех в восторг манера Гришашвили и Тициана — восточная жестикуляция, очень убедительная, от верхней стенки желудка к плечам. Когда вышел Пастернак, ему так долго аплодировали, что он махал по-домашнему (очень кокетливо) руками, чтобы перестали, а потом энергически сел. И читал он стихи таким голосом, в котором слышалось: «я сам знаю, что это дрянь и что работа моя никуда не годится, но

что же поделаешь с вами, если вы такие идиоты». Глотал слова, съедал ритмы, стирал фразировку. Впрочем, читал он немного. Перед ним выступал Гитович, который читал чей-то чужой перевод — и заявил публике по этому поводу, что ему стыдно выступать с чужими переводами. Придравшись к этому, Пастернак сказал:

— А мне стыдно читать свои.

Тихонов читал хрипло и жестко. Аплодировали и ему. Имел успех Яшвили своими переводами из Пушкина. Были «все»: Слонимский, Зощенко, Форш, Тынянов. Зощенко отвел меня в сторону и стал восхищаться моим видом:

— Хорошо ли у вас налажена ваша половая жизнь? Вижу, что отлично. А я помирился с женой. Кто сказал, что наши жены должны быть идеально хороши?

Тынянов поправился, глаза смотрят весело. «Пишу о Пушкине, уже для четвертой книжки кончаю. В «Вазире» я тужился, а здесь я почувствовал, что литература — мои штаны».

Антон Шварц читал мне басни Эрдмана:

Раз к венерологу пришел гиппопотам
Ну, где у вас болит?
И тот ответил: там.
Мораль, увы, ясна. Гиппопотамам
Не следует ходить к известным дамам.

Надя: Дети все хорошие.
Люша: Нет не все... вот я...
Надя: Что же! Ты очень хорошая.
Люша: Нет, я неважная!

15/III. Меня пишет Игорь Грабарь. С трудом сижу ему каждый день по 3, по 4 часа. Портрет выходит поверхностный и неумный*, да и сам Грабарь, трудолюбивая посредственность с огромным талантом к карьеризму, чрезвычайно разочаровал меня. Мы читали во время сеансов «Историю одного города» — и он механически восклицает:

— Это черт знает как здóрово!

И все больше рассказывает, сколько ему стоил обед, сколько ему стоил ужин, — и норовит выудить из меня все материалы о Репине.

Сидим мы сегодня, калякаем, ему все не дается мой рот, и вдруг меня зовут к телефону — и сообщают по поручению директора ГИХЛа т. Орлова, что из Москвы пришло распоряжение за-

держать мою книжку «От двух до пяти» (пятое издание), т. к. там напечатан «Крокодил». Книжка отпечатана и должна выйти 17-го. Это Волин прочитал в газетах о включении в книжку «Крокодила» и, не видя книжки, распорядился задержать*. Получив такое известие, я, конечно, задрожал, побледнел, стал рваться в издательство, чтобы узнать, в чем дело, — а Грабарь требует, чтобы я продолжал позировать и *улыбался бы возможно веселее.* Я уверен, что с моей книжкой произошло недоразумение, что ее разрешат, и все же — мне было так же трудно улыбаться, как если бы я сидел на железной сковороде.

Чтобы развлечься, поехал с М. Б. на премьеру «Чарито» — и пуще измучился. Пишу Волину письмо.

Сегодня должен приехать Н. А. Пыпин — из Москвы, куда я отправил его, чтобы он выяснил в «Academia» все дела с «Искусством перевода», «Репиным» и «Красной Новью». Лозинский распродал всю мебель, а его оставили в Ленинграде.

20/III. Приехал в Москву. В «Национали» нет никаких номеров. Я оставил чемодан и к Бончу. Смертельно устал: в поезде, конечно, не спал (ехал вместе со Старком — который рассказывал мне, что он родом из Сочи, что он пишет книгу о Собинове и проч., и проч., и проч.) и теперь страдаю от бессонниц — бессонниц поневоле, потому что у меня шумные соседи, которые галдят от 9 веч. до 3 час. ночи — т. е. как раз в то время, когда я обычно сплю. Сердце у меня переутомилось, и я не могу невыспанными мозгами понять тот небольшой фельетончик о Венгрове, который пишу для «Правды». Потушу лампочку, начну засыпать, а соседи опять — и кричат, и танцуют фокстрот под патефон, словно им и в мысль не приходит, что они могут кому-нибудь помешать. Моя книжка «От 2 до 5», запрещенная из-за «Крокодила», нынче Волиным *разрешена.* Мне сказал об этом Кочергин (член ленинградского Горлита), лично беседовавший с Волиным (который сейчас болен).

29/III. Была Барто: проведала, что у меня есть статейка для «Правды» о Венгрове, и пришла уговаривать, чтобы я не печатал ее. Говорит она всегда дельные вещи, держится корректно и умно — но почему-то очень для меня противна. Я имел наивность сказать Семашке, что готовлю статью о Венгрове для «Правды». Семашко пожал мне руку, поблагодарил меня за то, что я уведомил его заранее о своем намерении, а сам прямехонько поехал в «Правду» — просить Кольцова, чтобы он не печатал мою статью*.

Венгров распространяет повсюду, что если моя статья появится, он застрелится.

Сейчас ко мне должны придти из «Коммунистического Просвещения» — я дам им ту же статью о Венгрове, но в более расширенном виде.

Звонил Гронскому. Моя статья о Репине принята для напечатания в «Новом Мире»*.

1/IV. Мне пятьдесят три года. Но я по глупости огорчаюсь не тем, что я на пороге дряхлости, а тем, что вчера Кольцов, после трехдневной волокиты, отказался печатать мой фельетон о Венгрове. К нему приходила какая-то Лернерша (сослуживица Венгрова) и уговорила его не печатать фельетона. Мы решили отдать это дело на суд Мехлиса. Я пришел в «Правду». Мехлис внизу смотрит в собственном кино кинофильм «Колыма». Тут же присутствует начальник Колымы — кажется, латыш*. Я оказался между Левиным и Герасимовой. Картина очень длинная. Мехлис не досмотрел ее и ушел. Я сказал Кольцову: идем за ним. Он удержал меня. Когда же картина кончилась, я просидел у Мехлиса в прихожей 2 часа, и он отказался принять меня. Это огорчает меня больше того, что мне 54-й год. С горя я пошел в Дом Печати на демонстрацию «Каштанки» театром Образцова. Играли чудесно — и подарили мне куклу. Но я пересидел свое время и всю ночь не спал.

Вчера утром я был у Юдина. Он — помощник Стецкого. Чистота в ЦК изумительная, все сверкает, все чинно и истово. Тишина. В идиллическом кабинетичке сидит «Поша» Юдин — и хлопочет по всем санаториям о том, чтобы Мариэтте Шагинян дали путевку в санаторию ЦК. Меня принял приветливо, запретил пускать кого-нибудь к себе в кабинет — и слушал очень сочувственно: я показал ему свои детские книги, как гнусно и неряшливо они издаются, указал на недопустимость задержки книги «Хуже собаки», просил двинуть «Тараканище», «Бармалея», «Лимпопо» — вообще излил свою душу. Он обещал все это дело двинуть.

Кольцов почему-то советует, чтобы я не видался с Пильняком.

Странная у Пильняка репутация. Живет он очень богато, имеет две машины, мажордома, денег тратит уйму, а откуда эти деньги, неизвестно, т. к. сочинения его не издаются. Должно, это гонорары от идиотов иностранцев, которые издают его книги.

Пришла Галина Карпенко, принесла аппаратик и «Путаницу». Боже, до чего плохи стихи Гурьян!

Больно записывать по поводу своего нового горя, случившегося именно в день моего рождения. Семашко, который во что бы то ни стало стремится не печатать моих стихов, заявил по поводу моего «Барабека», «Котауси Мауси», что я должен что-то такое

добавить, кое-какие стихи написать вновь и т. д., и т. д. Это он, печатающий Венгрова и Корнилова!!

Сейчас был Житков, по поводу Бианки.

13/IV. «А ты не бегай, чтоб не устануть!» — жалеет меня Лушка.

26/IV. Я уехал из дому — в Петергофскую гостиницу «Интернационал». Здесь оказались: Тынянов, Тихонов, Слонимский — вся литературная «верхушка». Тынянов расцеловался со мной, и я, встретив его, тотчас же спросил:

— Ну, сколько Пушкину теперь?

Он виновато ответил:

— Одиннадцать.

Тынянов сейчас пишет «Пушкина», и когда мы виделись последний раз, Пушкину в его романе было семь лет. Тынянов весь заряжен электричеством, острит, сочиняет шуточные стихи, показывает разных людей (новость: поэт Прокофьев). Мы обедали все вчетвером: он очень забавно рассказывал, как он студентом перед самым нашествием белых на Псков бежал в Питер, т. к. ненавидел белогвардейцев. Его не пустили, он пошел в Реввоенсовет. Там сидел Фабрициус и сказал Тынянову:

— Шляетесь вы тут! Тоже... бежит от белых... Да вы сами белый!

— Как вы смеете меня оскорблять! — закричал Тынянов, придя в бешенство, и Фабрициусу это понравилось. Фабрициус выдал ему пропуск на троих. Это было рассказано высокохудожественно, в рассказ было введено 5—6 побочных действующих лиц, каждое лицо показано как на сцене... Так же артистически рассказал Тынянов, как директор Межрабпома вызвал его к себе в гостиницу для переговоров о пушкинском фильме — и при этом были показаны все действующие лица вплоть до шофера и маленького сына директора.

Много разговоров вызвал у Тихонова, Слонимского и Тынянова эпизод с Житковым.

У Житкова уже лет двенадцать тому завелась в Ленинграде жена — Софья Павловна, племянница Кобецкого, глазной врач. Бывая у него довольно часто, я всегда чувствовал в его семейной обстановке большой уют, атмосферу нежности и слаженности. Лида ездила к Житкову и его жене — «отдыхать душой», хотя я и тогда замечал, что Софья Павловна, в сущности, повторяет придурковато все слова и словечки Бориса, преувеличенно смеется его остротам, соглашается с каждым его мнением, терпеливо и даже радостно выслушивает его монологи (а он вообще говорит моноло-

гами) — словом, что это союз любящего деспота с любимой рабыней. Я хорошо помню отца Бориса Житкова. Он жил в Одесском порту, составлял учебники математики и служил, кажется, в таможне. Лицом был похож на Щедрина — и уже 10 лет состоял в ссоре со своею женою, казня ее десятилетним молчанием. Она, удрученная этой супружеской казнью, все свое горе отдавала роялю: с утра до ночи играла гаммы, очень сложные, бесконечные. Когда, бывало, мальчиком, идя к Житкову, я услышу на улице эти гаммы, я так и понимаю, что это — вопли о неудавшейся супружеской жизни. Года три назад я заметил, что Борис Житков такой же пытке молчанием подвергает и свою Софью Павловну. За чайным столом он не смотрел в ее сторону; если она пыталась шутить, не только не улыбался, но хмурился, — и вообще чувствовалось, что он еле выносит ее общество. Потом Лида сказала, что она сошла с ума и что Житков очень несчастлив. По словам Лиды, она уже давно была сумасшедшей, но Житков скрывал это и выносил ее безумные причуды, как мученик, тайком от всех, скрывая от всех свое страшное семейное горе. Причуды ее заключались главным образом в нелепых и бессмысленных припадках ревности. Если она замечала, что Житков смотрит в окно, она заявляла, что он перемигивается со своей тайной любовницей. Если он уходил в лавку за молоком — дело было не в молоке, а в любовном свидании. По ее представлению, у него сотни любовниц, все письма, которые он получает по почте, — от них. Кончилось тем, что Житков поместил ее в сумасшедший дом, а сам стал искать себе комнату в Москве или в Питере. Все друзья очень жалели его. Я виделся с ним в Москве, он действительно был бесприютный, разбитый, обескураженный. И вот сейчас Слонимский рассказывает, что друзья Софьи Павловны заявили в Союз Писателей, будто бы он упрятал ее в сумасшедший дом *здоровую*, будто в этом деле виноваты Шкапская, Груздев, Татьяна Груздева, помогавшие ему, Житкову. Союз не придумал ничего умнее, как передать это дело прокурору — то есть, даже не пытаясь выяснить все обстоятельства, посадил своих членов на скамью подсудимых! Слонимский доказывал Тихонову, что Союз поступил неправильно, а Тихонов, который, в сущности, и совершил этот храбрый поступок, ссылается на то, будто все партийцы требовали именно таких мероприятий. Слонимский возражает не на основе этических принципов, а главным образом на том основании, что Шкапская и Груздевы хороши с Горьким, и Горький не даст их в обиду — и взгреет Союз.

Мы брились в бане, и я сообщил Тынянову о том, что в парикмахерской есть термины: «Чикирвас», «сазан» «кардонка». Ему эти термины очень понравились:

стал он сочинять стихи. И потом обращался к Тихонову:

— Чикирвас! Который час?

Мы пошли все вчетвером к вагонам, где Николай II подписал свое отречение: эти вагоны превращены в музей. Погода прелестная, солнце, Тихонов рассказал (как всегда) экзотический случай — как комендант какой-то крепости запер ее на ключ и ушел, и там все перемерли от чумы, а Слонимский жаловался на то, что Накоряков сбавил гонорары за повторные издания:

— Это все Горького работа... Горький судит о писателях по Ал. Толстому и не подозревает, как велика кругом писательская нужда!

Третьего дня с Тыняновым произошел характерный случай. К нему подошел хозяин гостиницы и спросил:

— Вы у нас до 1-го?

— Да... до первого, — ответил Тынянов.

— Видите, мне нужно знать, т. к. у меня есть кандидаты на вашу комнату.

— А разве дольше нельзя? — спросил Тынянов.

— Ну, пожалуй, до третьего, — сказал хозяин.

Через минуту выяснилось, что это недоразумение, что Тынянов имеет право остаться сколько угодно, но он воспринял это дело так, будто его хотят выгнать... Лицо у него стало страдальческим. Через каждые пять минут он снова и снова возвращался к этой теме. Недаром акад. А. С. Орлов назвал его «мимозой, которая сворачивается даже без прикосновения». Очень зол на Мирского. Чудесно показывал, как Мирский прямо из Лондона приехал к нему и задавал ему вопросы: — Вы в университете? — Нет. — Вы в Институте Истории Искусств? — Нет. — Где же вы читаете лекции? — Нигде... и т. д. А потом оказалось, что он поместил за границей злейшую статью о Тынянове, где между прочим писал: «Отношение Тынянова к Советской власти отрицательно» или что-то в этом роде*. С такой же неприязнью говорит Тынянов о Евг. Книпович, выбранившей его переводы из Гейне. Очень обрадовал его заголовок сегодняшней (28. IV) газетной статьи: «Восковая персона». — Черт возьми! Мой «Киже» вошел в пословицу, а теперь — «Восковая персона». В разговоре сегодня он был блестящ, как Герцен. Каскады острот и крылатых слов. Одна женщина в Тифлисе сказала ему:

— Как вы могли — не быть ни разу в Тифлисе и написать о нем роман?

Он ответил:

— А как вы можете — все время жить в Тифлисе и не написать о нем романа?

Заговорил о Некрасове и стал доказывать, что Горький и Некрасов чрезвычайно схожи.

Глянул на меня: «а вы совсем дедушка Мазай. А мы — зайцы».

Рассказывал, как ему один незнакомец принес рукописи Кюхельбекера — и продавал ему по клочкам. Читал наизусть великолепные стихи Кюхельбекера о трагической судьбе поэтов в России.

Слонимский доказывает, что Ал. Толстой — юдофоб.

29.IV. Для решения дела Житкова Тихонов и Слонимский решили вызвать сюда Беспамятнова и Горелова, а Шкапскую отрядить к Горькому.

Читаю «Дело Огарева» — Черняка*. Потрясающе интересно.

В газетах: каждый беспартийный должен принять участие в животноводстве.

Слонимский. Вот, Юрий, дело для тебя.

Тынянов. У нас уже есть один Зое-техник — Козаков. (Женат на Зое Никитиной).

30. IV. Слонимский добавил строку к экспромту Тынянова:

Корней Чуковский, сидя дома
Решил, что дед мой — Чикирвас
Был куплен за бутылку брома.

Сейчас у Тихонова и у Слонимского был Горелов, они устроили «заседание президиума» и решили, что при разборе житковского дела не будут фигурировать имена сообщников Житкова: Груздева, Шкапской, Татьяны и проч., а будет рассматриваться только поведение мужа и жены, причем следователь будет приглашен в Союз Писателей как бы в роли инструктора.

Как великолепен в этом году праздник Первого мая. Изумительно разнообразие флагов — зеленых, синих, красных. И на флагах — картинки, как в детской книжке: эпроновец, комсомолка, красноармеец, значок ГТО — целые версты на всех трамвайных путях — и самое расположение флагов прелестное. Нельзя и сравнить с тем убранством, какое было в прошлом году.

6/V. (или 5?) Вчера я выступал вечером в Педвузе им. Герцена — на вечере детских писателей. В зале было около $1\,^1/_2$ тысячи человек. Встретили бешеным аплодисманом, я долго не мог начать, аплодировали каждой сказке, заставили прочитать четыре сказки

и отрывки «От двух до пяти», и я вспомнил, что лет 8 назад я в этом самом зале выступил в защиту детской сказки — и мне свистали такие же люди — за те же самые слова — шикали, кричали «довольно», «долой», и какими помоями обливали меня педологи — те же самые, что сейчас так любовно глядят на меня из президиума.

Сегодня черт меня дернул поехать на Проспект Села Володарского к сестрам Данько — скульпторше и поэтессе. Это страшная даль. Живут они в замызганной квартире — очень бодрой, труженической жизнью, лепят, пишут, читают (большая библиотека, много кукол, статуэток, рисунков, альбомов — и пыли). Я никогда не был в том приневском районе и был поражен его поэтичностью. Нева в этих местах как-то наивна, задумчива; заводы, стоящие над нею, не мешают ее деревенской идилличности. [Вырваны страницы. — *Е. Ч.*] ...Любопытно: после того как Заславский поместил в «Правде» фельетон о моей «Солнечной»*, — Семашко вместо «многоуважаемый» стал писать мне «дорогой» — и сообщил, что сверх плана они печатают: — «Лимпопо» и «Котауси Мауси».

И Магидович, делавший мне столько каверз, тоже прислал сладчайшее письмо. Ох, а книга моя о Некрасове не движется.

Вышла 3-я книга «Звезды» с Колиной «Славой». Хвалят. Лида уехала от нас — на Литейный. Пыпины заняли ту часть нашей квартиры*, где родилась Мурочка, где я написал «Мойдодыра», «Книгу о Некрасове», «Ахматова и Маяковский», «Муху Цокотуху».

12/V. Вчера были у меня Харджиев и Анна Ахматова. Анна Андреевна рассказывает, что она продала в «Советскую Литературу» избранные свои стихи, причем у нее потребовали, чтобы:

1. Не было мистицизма.
2. Не было пессимизма.
3. Не было политики.

— Остался один блуд, — говорит она.

Харджиев только что проредактировал вместе с Трениным 1-й том Маяковского. Теперь работает над вторым.

7 сентября. Кисловодск. Пишу письмо Кирпотину, погода прелестная. Приехал я сюда 29-го VIII — и, к изумлению своему, сплю каждую ночь (за исключением двух первых). Здесь — Антон Шварц, Мих. Лозинский, Ал. Н. Тихонов, гинеколог Благоволин — и много других столь же именитых людей.

16 октября. Этой ночью в 2 $^{1}/_{2}$ ночи добрел наконец до «Национали» на обратном пути из Кисловодска. На наших рельсах

было два крушения. Нас догнал сочинский поезд. Мы шесть часов стояли невдалеке от Тулы. В Москве не достал ни такси, ни извозчика. Взял носильщика, и мы в четвертом часу добрались до «Национали». Приняли.

19 декабря. Был вчера у Тынянова. Странно видеть на двери такого знаменитого писателя табличку:

Тынянову звонить 1 раз
Ямпольскому – 2 раза
NN – 3 раза
NNN – 4 раза

Он живет в коммунальной квартире! Ход к нему через кухню. Лицо изможденное. Мы расцеловались. Оказалось, что положение у него очень тяжелое. Елена Александровна больна — поврежден спинной хребет и повреждена двенадцатиперстная кишка. Бедная женщина лежит без движения уже несколько месяцев. Тынянов при ней сиделкой. На днях понадобился матрац — какой-то особенный, гладкий. Тынянов купил два матраца и кровать. Все это оказалось дрянью, которую пришлось выкинуть. «А как трудно приглашать профессоров! Все так загружены». Доктора, аптеки, консилиумы, рецепты — все это давит Ю. Н., не дает ему писать. «А тут еще Ямпольские — пошлые торжествующие мещане!» И за стеною по ночам кричит ребенок, не дает спать! Ю. Н. хлопочет, чтоб ему позволили уехать в Париж, и дали бы денег — в Париже есть клиника, где лечат какой-то особенной сывороткой — такую болезнь, которою болен Ю. Н. «У меня то нога отымается, то вдруг начинаю слепнуть».

Заговорили о пушкинистах. «Цявловский вдруг сообщает мне, что у меня Блудов выведен неверно. Напрасно я сделал его богачом, он в ту пору был будто бы беден. Ложь! Блудов был беден до 1806 года, а потом стал получать по 50 тысяч в год на расходы!»

О Маршаке. «Ну что это за талмуд:

Что мы сажаем,
Сажая леса?

Так в хедерах объясняют детям: «Сажая леса, мы на самом деле сажаем...»

И как неграмотно:

Мачты и реи — держать паруса.

Почему держать? И откуда это неопределенное наклонение? Когда читаешь Маршака, кажется, что читаешь исключения в латинской грамматике

A e c
l n t
ar ur us
Суть nertrius.

А Ильин! Я ездил вместе с ним, с Маршаком, Фединым и Прокофьевым повидаться с Роменом Ролланом. Нас вызвали от Горького... Очень была любопытная встреча. А потом оказалось, что Маршак в качестве больного человека (это он-то болен!) захватил себе отдельный номер, а мне как здоровому (это я-то здоров) пришлось поселиться вместе с Ильиным. И тут я увидел, что Ильин — это и есть поручик Киже. Ничего человеческого, никакой индивидуальности, никаких человечьих интересов. Кроме мыслей о карьере — ничего. Не человек, а ворох старых газет. Пришел ко мне бактериолог, брат Вени, замечательный ученый* и тот ему говорит: «Вы бактериолог, я тоже думаю заняться бактериологией». Он делает одолжение бактериологии, что займется ею. Потом оказалось, что он в этом деле совершенный профан — и вообще глубочайший невежда» и т. д., и т. д.

Рассказал Тынянов, как он был у Горького и виделся с Роменом Ролланом. «Ромен Роллан притворяется больным, но на самом деле он не больной, он — труп». Впечатление произвел чарующее. Спросил Тынянова: вы в каком роде пишете, как Бальзак или как Золя? — «Рассказы я пишу в духе Вольтера, а романы — в духе Жан Жака Руссо», — ответил Тынянов. Это очень взволновало Ромена Роллана, и [он] прижал руки к грелке — живота у него уже нет, есть грелка — и заговорил, что и он сам... в молодости... вообще хорошо заговорил, взволнованно.

«Вообще в нем нет никакой пошлости. Он серьезно возражал против того, что у нас делают детей вундеркиндами — портят их всякими газетными хвалами, объявляют «юными дарованиями» и проч. Очень глубокий и *подлинный* человек.

Жена его жаловалась, что Аросев, пригласивший Ромена Роллана к себе в гости, не позаботился очистить постель от клопов, и первые две ночи бедный Роллан не заснул ни на миг. Сам Роллан не только не жаловался, а сделал попытку прекратить этот разговор. Горький же сказал:

— Аросев — совершенно глупый человек, — таким тоном, будто похвалил».

Тынянов проводил меня до дому — и по пути оживился, имитировал Маршака, «показывал» Горького, изображал Оксмана, превратился на минутку в прежнего Тынянова. С радостью ухватился за мое предложение — уехать в Москву. Много говорил о Шкловском. «Мы опять помирились, и он прислал два замечательных письма... Я вам покажу... Это такая прелесть... ах, если бы издать Витины письма, все увидели бы, какой это писатель...»

В Москве я видел Ал. Толстого.

— Отгадайте, Чуковский, загадку. Детскую. Что самое смешное на старухе? Га! — Старик!!

Видел Левина и Герасимову. Видел Эренбурга. Но так устал, что ничего записывать не могу.

Был сегодня в Институте слепых — провел со слепыми детьми три часа.

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ

Переписка — Илья Репин — Корней Чуковский. Переписка. 1906–1929. М.: Новое лит. обозрение, 2006.

ЧСС. Т. № (*№* — номер тома наст. изд.) – *Корней Чуковский.* Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра–Книжный клуб, 2001–2006.

Чукоккала — Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Русский путь, 2006.

1922

С. 6 *«Довольно с нас и сия великая славы, что мы начинаем»* — эти слова В. К. Тредиаковского завершают вступление «От автора» к брошюре К. Чуковского «Некрасов как художник» (Пг., 1922). Б. Эйхенбаум в статье «Методы и подходы» (Книжный угол. 1922. № 8, с. 16) иронически цитирует эту фразу, добавив: «не совсем понятно, что именно Чуковский «начинает».

Тынянова книжка... мне нравится... — Речь идет о книге: *Ю. Тынянов.* Достоевский и Гоголь: К теории пародии. Пг.: ОПОЯЗ, 1921.

С. 7 *Портреты коммунаров* — рисунки Ю. Анненкова к книге «Силуэты Парижской Коммуны». Эта книга с предисловием Тарле издана не была. «Список работ Ю. Анненкова», приведенный в другой его книге — «Портреты» (Пг., 1922), — включает и рисунки к книге «Силуэты Парижской Коммуны». Опубликован перечень примерно сорока рисунков (обложка, портреты коммунаров, концовка), сделанных художником в 1921 г.

«Гондла» — пьеса Н. С. Гумилева. О постановке пьесы в Ростовском театре см.: *Ю. Анненков.* Дневник моих встреч. Т. 1. М., 1991, с. 98–99.

Пишу для Анненкова предисловие к его книге. — Речь идет о предисловии к книге *Ю. Анненкова* «Портреты» (Пг., 1922). В архиве К. Чуковского (РО РГБ. Ф. 620) сохранилось предисловие к этой книге, написанное его рукой. Этот текст (с небольшими разночтениями) и был напечатан за подписью Ю. Анненкова.

Писал о Мише Лонгинове. — Имеется в виду статья «Миша» (о главе всероссийской цензуры Михаиле Лонгинове), впервые опубликованная в кн.: Неизданные произведения Н. А. Некрасова. СПб., 1918. Чуковский переработал статью и переиздал ее в «Некрасовском сборнике» (Пг., 1922), а впоследствии в своих книгах «Некрасов» (Л., 1926) и «Рассказы о Некрасове» (М., 1930. *ЧСС.* Т. 8).

Комментарии

С. 9 *Ахматова прочитала три стихотворения... о Клевете...* — По предположению исследователя творчества Анны Ахматовой Р. Д. Тименчика, стихотворение, показавшееся Чуковскому «черносотенным», — «Пива светлого наварено...» (1921). Упомянуты также «Бежецк» (1921) и «Клевета» (1922).

«...целуешь душистое женское платье». — Эту рецензию об Ахматовой разыскать не удалось.

С. 10 *«Звучащая раковина»* — литературный кружок, существовавший в 1920—21 гг., которым руководил «Синдик Цеха поэтов» Н. С. Гумилев. Кружок собирался в большой и холодной мансарде знаменитого фотографа М. С. Наппельбаума на Невском проспекте. Дочери Наппельбаума Ида и Фредерика были членами этого кружка.

...мы с ним ставили «Дюймовочку»... — Ю. Анненков и К. Чуковский ставили в Тенишевском училище детский спектакль по сказке Андерсена «Дюймовочка».

С. 11 *Горького портрет...* — Портрет М. Горького работы Ю. Анненкова см. на стр. 33 книги Ю. Анненкова «Портреты» (Пг., 1922).

«Алконост» — название издательства, созданного С. М. Алянским.

С. 17 *Написанное на обороте принадлежит... Барабанову, Борису Николаевичу.* — Дневниковая запись Чуковского сделана на обороте вклеенной в тетрадь записки Б. Барабанова: «Корней Иванович. ...Ровно неделю тому назад было у нас первое собрание, для всех нас был этот день каким-то большим и небывалым праздником. Было около 20 человек (мы считаем, что это количество для работы много). Собрание длилось около 4-х часов. Сговаривались, читали “Тебе” и “Большая дорога”, стоял мой доклад “Современность и У. Уитмен”, но за недостатком времени и за сложностью материала доклад отложили, кроме того хотели, чтобы присутствовали Вы».

С. 23 *Вышла книжка Наппельбаум «Раковина»*. — Упомянут сборник «Звучащая раковина» (1922), посвященный памяти Н. Гумилева. В сборник вошли стихи Иды и Фредерики Наппельбаум, К. Вагинова, Ольги Зив и других молодых поэтов из студии при Доме Искусств, которой руководил Н. Гумилев.

С. 25 *Я написал о нем очень ругательный фельетон.* — См. статью «О Власе Дорошевиче» и комментарии к ней (*ЧСС.* Т. 6).

С. 26 *Мы затеваем втроем журнал «Запад»... Вчера было первое заседание.* — Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов и К. И. Чуковский вошли в состав редакционной коллегии «Современного Запада» (1922—1924). Было выпущено шесть книжек журнала.

Мой «Слоненок» лежит камнем. — Сказка Р. Киплинга «Слоненок» в переводе К. Чуковского вышла в издательстве «Эпоха» в 1922 году.

На книжки о Некрасове и смотреть не хотят. — см. *ЧСС.* Т. 11, с. 546.

Она лежит в гробу стеклянном... — строка из стихотворения А. Блока «Клеопатра».

С. 27 *Я... увидел... не восторженную статью Голлербаха.* — Речь идет о статье *Э. Ф. Голлербаха* «Петербургская камена: Из впечатлений последних лет» (Новая Россия. 1922. № 1, с. 87).

...в книжке о Царском Селе – черт знает что он написал обо мне. — Имеется в виду книга *Э. Голлербаха* «Царское Село в поэзии» (СПб.: Парфенон, 1922).

С. 28 *...вышла «Новая Русская Книга»*. — С 1922 года в Берлине начал выходить ежемесячный критико-библиографический журнал «Новая русская книга»,

изд-во И. П. Ладыжникова. В № 1 журнала помещены, среди прочего, рецензии на книги Ремизова («Шумы города», «Огненная Россия») и Ахматовой («Anno Domini»). Рецензент называет Ремизова «замечательным художником». Рецензия на книгу Ахматовой заканчивается словами: «Стихи Ахматовой — один из лучших цветков нашей культуры».

С. 28 *...третья умирает от чахотки.* — Три сестры Ахматовой — Ирина, Инна и Ия. Ирина умерла ребенком, Инна — в 1905 году, двадцати двух лет; речь идет об Ии (1892–1922).

...прочитала «Юдифь»... — Вероятно, речь идет о стихотворении «Юдифь» («В шатре опустилась полночная мгла...», 1922), записанном лишь в 1945 году.

С. 29 *«Козленок»... вольное подражание «Вареникам» одного еврейского поэта... в переводе Владислава Ходасевича.* — Поэму Николая Чуковского *«Козленок»* см. в его сборнике «Сквозь дикий рай» (Изд-во писателей в Ленинграде, 1928, с. 41–49). *«Вареники»* — стихотворение С. Черниховского. См.: *Владислав Ходасевич.* Из еврейских поэтов. Пб.—Берлин: изд-во З. И. Гржебина, 1922, с. 39–46.

С. 32 *Гнать удалого лихача.* — Строки из стихотворения А. Блока «Своими горькими слезами...».

Убили Набокова. — В. Д. Набоков был застрелен в Берлине в момент покушения на лидера кадетов П. Н. Милюкова. Набоков прикрыл его собою от пули.

Его книжка «В Англии»... похожа на классное сочинение. — Упомянута книга *В. Д. Набокова* «Из воюющей Англии: Путевые очерки» (Пг., 1916). Набоков пишет о поездке в Англию делегации русских журналистов. В эту делегацию входил и Чуковский.

Сын-поэт — Владимир Владимирович Набоков, впоследствии знаменитый писатель. Чуковский сохранил в «Чукоккале» стихотворение юного Набокова. Другое стихотворение Чуковскому прислал В. Д. Набоков (отец), желая узнать его «беспристрастное как всегда мнение» о стихах сына. Письмо В. Д. Набокова к Чуковскому и приложенные к нему стихи хранятся в Стокгольме (см.: *Sven Gustavson.* Письма из архива К. И. Чуковского в Стокгольме // Scando Slavica. Munksgaard. Copenhagen. 1971. V. XVII, p. 51).

С. 33 *Фельетон О. Л. Д'Ора гнусен... цинизмом.* — *О. Л. Д'Ор.* Владимир Набоков // Правда. 1922. 1 апр.

С. 34 *...И будет Гессен сиротой.* — Чуковский цитирует строки из стихотворения Вас. Ив. Немировича-Данченко, написанного в 1916 году во время поездки делегации русских журналистов в Англию (см.: *Чукоккала*, с. 176–177). Среди членов делегации были В. Д. Набоков, В. И. Немирович-Данченко и К. Чуковский.

С. 35 *Правлю... перевод... грубой американской дешевки.* — Перевод этот опубликован. См.: *Э. Синклер.* Сто процентов: История одного портрета / Перев. Л. Гаусман под ред. Д. Горфинкеля и К. Чуковского. Пг.: Гос. изд-во, 1922.

С. 38 *Он был немец... Вы считаете его великим национальным поэтом.* — Сологуб, вероятно, подразумевает такие слова Чуковского: «...можно легко доказать, что чуть не в каждом своем стихотворении (речь идет о первой книге стихов.— *Е. Ч.*) Блок был продолжатель и как бы двойник тех немецких не слишком даровитых писателей, которые в 1798 и 1799 годах жили на берегу реки Заале, можно проследить все их влияния, отражения, веяния и написать весьма наукообразную книгу, в которой будет много эрудиции, но не будет одного: Блока. Ибо Блок, как и всякий поэт, есть явление единственное, с душой, не похожей ни на

чью, и если мы хотим понять его душу, мы должны следить не за тем, чем он случайно похож на других, а лишь за тем, чем он ни на кого не похож. Лишь *вне* течений, направлений, влияний, отражений, традиций, школ вскрывается нам творчество поэта». Чуковский доказывает, что звуковая основа поэмы «Двенадцать» — это и русская древняя простонародная песня, и русский старинный романс, и русская солдатская частушка. Указав на многие национальные черты героев «Двенадцати», он продолжает: «...в нынешней интернациональной России великий национальный поэт воспел революцию национальную» (*ЧСС.* Т. 8: Книга об Александре Блоке, с. 132, 174).

С. 43 *Статейка о «Колоколах» Диккенса* — предисловие в кн.: *Ч. Диккенс.* Колокола. Пг.— М., 1922 (см. также *ЧСС.* Т. 3, с. 511).

С. 44 *...переводил «Королей и капусту».* — «Короли и капуста» О'Генри опубликованы в переводе и с предисловием К. Чуковского в журнале «Современный Запад» (1922. № 1—3).

...записывал современные слова. — Чуковский постоянно записывал в «Чукоккале» «новые слова», появившиеся в языке после революции. По воспоминаниям Ю. П. Анненкова, Корней Иванович написал «о последних неологизмах русского языка» статью «Кисяз» для первого номера «Литературной газеты». Однако в то время издание газеты осуществлено не было. (см.: *Ю. Анненков.* Дневник моих встреч. Т. 1, с. 241). Теперь статья напечатана. См. *ЧСС.* Т. 4, с. 191, а также — Чукоккала, М.: Премьера, 1999, с. 313—315.

С. 46 *Этакие Дю Руа...* — Упомянут персонаж из романа Мопассана «Милый друг».

С. 47 *Ара* (ARA: American Relief Administration *(англ.*; 1919—1923) — американская администрация помощи — организация, помогавшая голодающим в России.

...редактирую Бернарда Шоу... — См.: *Б. Шоу.* Пьесы. Пг.—М., 1922.

Почему вы напечатали мои стихи? — 30 апреля 1922 года в «Литературном приложении» № 29 к газете «Накануне» (Берлин) напечатаны стихотворения Анны Ахматовой «Земной отрадой сердце не томи...» и «Как мог ты, сильный и свободный...»

После истории с Ал. Толстым... – Чуковский послал Ал. Толстому в Париж частное письмо, в котором резко отозвался о некоторых членах Дома искусств. Толстой неожиданно опубликовал это письмо на страницах «Литературного приложения» к газете «Накануне» (1922, 4 июня). Это задело и обидело тех, о ком нелестно высказался Чуковский. С возмущением восприняла поступок Толстого М. Цветаева, которая тотчас напечатала свой протест, где были такие слова: «Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями — круговая порука ремесла, круговая порука человечности <...> не жму руки Вам. Марина Цветаева». (Голос России (Берлин). 1922. № 983). Горький писал Толстому: «Получил множество писем из России... там весьма настроены против вас литераторы за письмо Чуковского» (Литературное наследство. Т. 70. М., 1963, с. 402). См. также 1923, примеч. к с. 73.

С. 50 *...я организовываю... детский журнал «Носорог».* — Судя по переписке с Ал. Толстым (см.: *А. Н. Толстой.* Материалы и исследования. М., 1985, с. 498). К. Чуковский заказывал рассказы и повести для этого предполагаемого детского журнала. Ал. Толстой начал по его просьбе писать повесть «Клятва»; о том, что «Чуковский затеял детский журнал», упомянуто и в письме К. А. Федина от

19 сентября 1922 г. (*К. А. Федин.* Собр. соч.: В 12 т. Т. 11. М., 1986, с. 31). В конце концов журнал «Носорог» выпущен не был.

С. 53 *...мусолил свою статью о Некрасове и деньгах.* — Упомянута статья «Некрасов и деньги» («Былое». 1923. № 22, с. 36—37). См. также *ЧСС.* Т. 8 («Рассказы о Некрасове» — «Тарбагатай»).

С. 54 *Анненков... стал писать краской – акварель и цветные карандаши.* — Графический портрет Б. Пильняка опубликован на с. 287 книги Ю. Анненкова «Дневник моих встреч» (Нью-Йорк, 1966. Т. 1). Местонахождение акварельного портрета неизвестно.

С. 58 *Книга о Бакунине — Вяч. Полонский.* Михаил Александрович Бакунин (1814—1876). М.: Гос. изд.-во, 1920; *рассказ Федина о палаче* — «Рассказ об одном утре» в кн.: *К. Федин.* Пустырь. М.—Пг., 1923.

«Плэйбой» — пьеса ирландского драматурга Д. Синга. Пьеса издана в переводе К. Чуковского и с его вступительной статьей в 1923 году. Название пьесы по-русски — «Герой». Статью о Д. Синге см. также *ЧСС.* Т. 3.

С. 59 *...исполнитель Джона в «Сверчке».* — «Сверчок на печи» — инсценировка рождественской сказки Ч. Диккенса.

Катерина Ивановна — Карнакова, актриса 1-й студии МХАТа, а затем МХАТа-2. Ей посвящено стихотворение Чуковского в «Чукоккале»: «Карнакова, Катя Карнакова / Слышу крик монгольского орла...» (*Чукоккала*, с. 368—369).

...жена... Добронравова. — Речь идет об А. И. Благонравове.

...цензура запретила строчку... «Боже, Боже», ездил объясняться. — Речь идет о строфе из «Мойдодыра»: «Боже, Боже / Что случилось? / Отчего же / Все кругом...» Запрет этот и борьба с крамольной строчкой продолжались десятилетиями. В письме к редактору издательства «Малыш» Э. В. Степченко Чуковский писал в 1967 году: «Какие странные люди пишут мне письма, в которых бранят новое издание «Мойдодыра» за то, что в нем есть ужасная строка: «Боже, Боже, что случилось?»

С. 60 *...читали, что написал обо мне Айхенвальд... А Виноградов... даже я не могла одолеть ее.* — Разговор идет о статье *Ю. Айхенвальда* «Ахматова» в его книге «Поэты и поэтессы» (М.: Северные дни, 1922, с. 52—75) и о статье *В. Виноградова* «О символике А. Ахматовой» (Литературная мысль. Кн. 1. Пг.: Мысль, 1922, с. 91—138).

С. 64 *«Peter and Wendy» с рисунками Bedford'a* — книга для детей: *J. M. Barrie.* Wendy and Peter. Drawings by F. D. Bedford. London: Hodder & Stoughton. 1911. Герой книги — Peter Pan.

С. 65 *...Боба идет в Пэпо.* — ПЕПО, т. е. Петроградское единое потребительское общество, открывавшее свои кооперативные магазины (например, «Пассаж» на Невском).

Картинки Анненкова одобрил, Чехонина – нет. — Ю. Анненков сделал рисунки к «Мойдодыру», а С. Чехонин — к «Тараканищу».

1923

С. 68 *Я весь день редактировал Joseph'a Conrad'a...* — Речь идет о книге: *Д. Конрад.* Каприз Олмейера / Перев. М. Соломон под ред. К. Чуковского и К. Вольского. Предисл. К. Чуковского. Пб.—М.: Гос. изд-во, 1923.

Комментарии

С. 71 *«История Всемирной литературы»* — шуточная история, написанная Замятиным. В архиве К. Чуковского (РО РГБ. Ф. 620) хранится «Краткая история Всемирной литературы от основания и до сего дня» (Часть 1. — 5 страниц на машинке), датированная 25 декабря 1921 г., а в *Чукоккале* — «Часть III, и последняя» (с. 303). Однако в этих рукописях нет тех слов, которые записаны в дневнике Чуковского. Один из сохранившихся вариантов «Истории...» опубликован в «Сочинениях» Е. Замятина (ФРГ, 1986. Т. 3, с. 344). Там, в частности, говорится: «Когда пришли воины к Корнию, он в страхе... окружив себя двенадцатью своими детьми — жалобно закричал... И сделал тайный знак одному из младенцев, который, повинуясь, начал петь воинам свои стихи, сочиненные им накануне».

С. 73 *...лицо жалкое, – очень похоже.* — «Этот портрет теперь находится в Америке в собрании Н. Лобанова-Ростовского, размер 67х43, поколенный» — так написал мне 15.5.72 г. художник Н. В. Кузьмин, в прошлом — ученик С. В. Чехонина.

С Замятиным у меня отношения натянутые. — После того как Ал. Толстой опубликовал письмо Чуковского в приложении к газете «Накануне» (см. 1922, примеч. к с. 47), отношения Чуковского и Замятина испортились. В письме Чуковского были такие строки о Замятине: «Замятин очень милый человек, очень, очень — но ведь это чистоплюй, осторожный, ничего не почувствовавший». 30 июня 1922 года, отвечая Чуковскому на письмо с извинениями и объяснениями, Замятин писал ему: «...говорить, что я на Вас сердит, — это было бы совершенно неверно. <...> После Вашего письма Толстому у меня есть ощущение, что именно друг-то и товарищ Вы — довольно колченогий и не очень надежный. Я знаю, что, вот, если меня завтра или через месяц засадят (потому что сейчас нет в Советской России писателя более неосторожного, чем я) — если так случится, Чуковский один из первых пойдет хлопотать обо мне. Но в случаях менее серьезных — ради красного словца или черт его знает ради чего — Чуковский за милую душу кинет меня Толстому или еще кому... Чуковским, т. е. одним из тех десяти или пяти, кто по-настоящему честно относится к слову, к искусству слова, — Вы для меня все равно остаетесь (для десяти или пяти я, должно быть, и пишу)» (См.: Е. И. Замятин и К. И. Чуковский. Переписка (1918–1928) / Вст. ст., публ. и комм. А. Ю. Галушкина // Евгений Замятин и культура XX века. СПб., 2002, с. 215–216).

С. 74 *...кругами подняться невозможно, можно подняться спиралью...* — Судя по фразам, вызвавшим возражения Тихонова, Волынского и Чуковского, Е. Замятин читал свою новую трагикомедию «Общество почетных звонарей» (по повести «Островитяне»). Пьеса была опубликована в 1924 г. (Л.: Мысль) и поставлена в 1925 г. в бывшем Михайловском театре.

С. 83 *«Потоп»* — пьеса Г. Бергера, *«Эрик XIV»* — пьеса А. Стриндберга. Обе пьесы были поставлены Е. Вахтанговым в первой студии МХАТа и пользовались большим успехом.

С. 84 *Видел «Доктора Мабузо» в кино...* — «Доктор Мабузо игрок» (1922) — фильм Фрица Ланга.

С. 86 *...прочел... «агитку»... в журнал «Журналист».* — Речь идет о стихотворении В. Маяковского «Газетный день», опубликованном в «Журналисте» № 5 (март–апрель).

...ходил он ко мне не из-за обедов и проч. — Чуковский имеет в виду такую фразу в автобиографии В. Маяковского «Я сам» (в главке «Куоккала»): «Семизнакомая

система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье "ем" Чуковского, в понедельник — Евреинова и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травки».

С. 86 *...«после его книжки обо мне мы раззнакомились»*. — Ахматова говорит о книге *Б. Эйхенбаума* «Анна Ахматова. Опыт анализа» (Пб.: Первопечать, 1923).

Только муженик труж белолицый... — Перефразирована строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Маша»: «Только труженик муж бледнолицый...»

С. 87 *Негр... преданный своему народу.* – Упомянут американский поэт Клод Мак-Кэй (Claude Mc Kay), его автограф сохранился в «Чукоккале». Сын Корнея Ивановича много позже написал о Мак-Кэе мемуарный очерк «Поэт с острова Ямайка». См.: *Николай Чуковский.* О том, что видел. М.: Молодая гвардия, 2005, с. 225–235). Н. Чуковский вспоминает, что Мак-Кэй приехал в Москву в декабре 1922 года как делегат IV Конгресса Коминтерна, но после Конгресса на много месяцев застрял в России, и Николай Корнеевич одно время был у него переводчиком.

Заглохла б нива жизни. — Неточная цитата из стихотворения «Памяти Добролюбова».

«На красной подушке первой степени Анна лежит». — Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Утро» («Ты грустна, ты страдаешь душою...»).

С. 90 *Оля* — Дьячкова, одна из учениц К. Чуковского в Студии художественного перевода. Она же написала «Оду» Чуковскому (см.: *Чукоккала*, с. 330, 332).

С. 91 *Теляковский... напечатал... статью о Мейерхольде.* — В. Теляковский, бывший директор императорских театров, поместил в № 14 «Жизни искусства» (6 апреля 1923) статью «О Мейерхольде». Статья приурочена к двадцатипятилетию сценической деятельности Вс. Мейерхольда. Теляковский ставит ему в заслугу, что он «несомненно долгими годами сложившийся театральный муравейник растревожил».

С. 93 *...старичок... недавно переживший катастрофу...* — Чуковский подразумевает самоубийство жены Ф. Сологуба А. Н. Чеботаревской.

С. 95 *...говорят об... ультиматуме, который Англия предъявила России.* — Имеется в виду меморандум правительства Великобритании, составленный министром иностранных дел Дж. Керзоном и врученный Советскому правительству 8 мая 1923 г. Меморандум имел характер ультиматума; английское правительство грозило разрывом англо-советского торгового соглашения 1921 года в случае, если Советское правительство в течение 10 дней не согласится полностью и безусловно удовлетворить требования меморандума. Ультиматум предшествовал убийству 10 мая 1923 в Лозанне В. В. Воровского.

С. 96 *Очень интересна сегодняшняя газета.* — Трудно сказать с уверенностью, что именно заинтересовало Чуковского в газете. В эти дни газеты писали об убийстве В. Воровского и об «ультиматуме Керзона». Были помещены речи Чичерина, Бухарина и Троцкого с возражениями против ноты английского правительства.

Письмо – о поэме... какая правда перед самим собой... — Это письмо теперь опубликовано. Блок пишет о поэме Ахматовой: «Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они — не пустяк, и много такого — отрадного, *свежего*, как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши "*вовсе* не знала", "у *самого* моря", "*самый* нежный, *самый* кроткий" (в "Четках"), постоянные "*совсем*" (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и "сюжет": не надо мертвого жениха, не

надо кукол, не надо "экзотики", не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. — Но все это — пустяки, поэма настоящая, и Вы — настоящая» (*А. Блок.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.–Л.: ГИХЛ, 1963, с. 459*)*.

С. 96 *«Настоящее первое мая»* — т. е. первое мая по старому стилю.

С. 97 *...какая каналья с репинскими деньгами.* — Чуковский переслал Репину деньги и отчет издателя, а Репин сообщил, что эти деньги финские банки не принимают. См.: *Переписка*, с. 145–153.

С. 99 *...бранит Евреинову за ее мочеполовую книжонку о Достоевском.* — Речь идет о книге *А. Кашиной-Евреиновой* «Подполье гения: сексуальные источники творчества Достоевского». Пг., 1923.

С. 100 *Черубина де Габриак* — поэтесса, чье имя и биографию придумали летом 1909 года М. Волошин и Е. Васильева. Стихи Черубины печатал в «Аполлоне» С. Маковский. Об этой истории, об Е. Васильевой, о дуэли между Н. Гумилевым и М. Волошиным см.: *Вл. Глоцер*: Елис. Васильева... // Новый мир. 1988. № 12.

С. 101 *...читал Флоренского «Мнимые величины в геометрии». – Павел Флоренский.* Мнимости в геометрии. Расширение области двухмерных образов геометрии: Опыт нового истолкования мнимостей. М., 1922.

С. 102 *...«Маяк»* — журнал для детей, выходивший в 1909–1918 гг. в изд-ве «Посредник», основанном Л. Н. Толстым.

...«весела, что котенок у печки».... — Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Будрыс и его сыновья».

С. 108 *«Ветер что-то удушлив не в меру»...* — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «До сумерек» («Цикл о погоде». 2).

С. 109 *«Вырыта заступом яма глубокая»...* — строка из стихотворения Ивана Никитина.

С. 111 *...стихотворение – революционное, т. к. посвящено жене комиссара Рыкова.* — Речь идет о стихотворении «Все расхищено, предано, продано...», посвященном Наталии Рыковой. В статье Н. Осинского «Побеги травы», напечатанной в «Правде» (4 июля 1922. № 146), автор полемизирует с эмигрантскими критиками по поводу этого стихотворения и заявляет: «Одна беда, рецензенты не сообразили, что Н. Рыкова, коей посвящено стихотворение, является женой "большевистского комиссара"». На самом деле Наталья Викторовна Рыкова, близкий друг Анны Ахматовой, была женой профессора Г. А. Гуковского и никакого отношения к «большевистскому комиссару» А. И. Рыкову не имела.

30 октября (т. е. 17 октября, годовщина манифеста). — Имеется в виду царский Манифест 17 октября (по старому стилю) 1905 года.

С. 112 *Кончил только что статью о Горьком.* — По-видимому, упомянута статья «Две души М. Горького», опубликованная в 1924 году изд-вом Т-ва А. Ф. Маркс отдельной книжкой (*ЧСС.* Т. 8).

...изображена у него в книге «Портреты». – См.: *Ю. Анненков.* Портреты. Пб.: Петрополис, 1922, с. 37.

С. 114 *В Союзе решается дело о Щеголеве и Княжнине.* — В январе 1923 г. В. Н. Княжнин, живущий в Петрограде, дал П. Е. Щеголеву доверенность — заключить в Москве договор с Госиздатом о печатании тома сочинений Н. А. Добролюбова (дневники, переписка, со вступительной статьей и примечаниями). По этой доверенности Щеголев получил причитающийся Княжнину аванс. Рукопись не была представлена в срок, издательство пригрозило расторжением дого-

вора. В пространном письме в Госиздат Княжнин обвинил Щеголева в неточном составлении договора, в том, что он «скрывал от меня срок». Дальнейшую работу с Госиздатом Княжнин хотел вести «без посредничества г. Щеголева», а доверенность на ведение своих дел передал М. Кобецкому (Архив ИМЛИ, ф. 28, оп. 2, № 12).

С. 119 *Волынский... написал обо мне... на днях ругательную статью.* — Имеется в виду статья А. Волынского «Лица и лики» («Жизнь искусства». 1923. № 40, с. 18).

...если вам угодно, помогу вам». — В архиве Чуковского сохранилась рукопись его сценария по «Крокодилу». Часть этого сценария (с грубыми ошибками) теперь опубликована. См. сб.: История становления советского кино. М., 1986, с. 127—135.

С. 123 *Обыватель* — персонаж из пьесы Ал. Толстого «Бунт машин».

С. 130 «*Украшают тебя добродетели»* — первая строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Современная ода». Во второй строфе говорится: «И червонцы твои не украдены / У сирот беззащитных и вдов...»

Мне удалось выхлопотать... денежную выдачу для Ходасевич (Анны Ив.) — Сохранилось письмо Владислава Ходасевича: «Дорогой Корней Иванович! Экстренно и в последнюю минуту: спасибо за заботу об Анне Ивановне. Дай Вам Бог здоровья. Обнимаю Вас. Ваш В. Ходасевич. 23.IV.923» (РО РГБ. Ф. 620).

1924

С. 134 *...Сварог сообщил, что он рисунки к «Золотой Айре» сделал.* — Речь идет о книге: *А. Джэдд.* Золотая Айра. Повесть в излож. К. Чуковского / Рис. В. Сварога // Воробей. 1924. № 1, с. 11—24.

С. 135 *Статья об Алексее Толстом.* – См.: Портреты современных писателей: Алексей Толстой. «Русский современник», 1924, № 1, с. 256 (*ЧСС.* Т. 8); *Г. Честертон.* Живчеловек. Предисловие, перевод и примеч. К. Чуковского. М.— Л., Гос. изд-во, 1924; *«Современник»* — журнал «Русский современник» (1924), выходивший при ближайшем участии К. Чуковского.

С. 141 *Актеры Студии – в восторге, особенно от Леонова.* — В «Русском современнике» № 1 были напечатаны (с продолжением) «Записи некоторых эпизодов, сделанные в г. Гогулеве А. П. Ковякиным» Леонида Леонова.

С. 142 *Не чисто в них воображенье.* – Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом».

С. 144 *Его очень волнует предстоящий процесс по поводу «Бунта машин».* — В «Звезде» № 2 за 1924 год напечатана пьеса Ал. Толстого «Бунт машин». Пьесе предпослано вступление автора: «Написанию этой пьесы предшествовало знакомство с пьесой "ВУР" чешского писателя К. Чапека. Я взял у него тему. В свою очередь тема "ВУР" заимствована с английского и французского. Мое решение взять чужую тему было подкреплено примерами великих драматургов». Журнал «Новый зритель» в № 27 от 15 июля 1924 г. сообщает: «Дело А. Н. Толстого. 31 июня в Народном суде разбиралось дело о переделке А. Н. Толстым пьесы Карела Чапека "ВУР". Переводчик "ВУРа" Кролль передал в прошлом году А. Толстому перевод пьесы для проредактирования. Согласно договора, Толстой, в случае постановки "ВУР" в театре, должен был уплачивать Кроллю половину авторского гонорара. Кролль полагает, что "Бунт машин" Толстого является переделкой его перевода, и требует от Толстого авторские (согласно их договора)».

Комментарии

С. 147 *Есть на свете город Луга...* – неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Есть в России город Луга...».

С. 149 *...вручили мне стишки Собинова о нашем времяпрепровождении в Сестрорецке.* – Имеется в виду стихотворение Л. Собинова «Картинка с натуры» («В уголочке отгороженном лампой кварцевой палим...»). См.: *Чукоккала*, с. 422.

С. 153 *«Метла и лопата»* — первоначальное название сказки «Федорино горе».

С. 154 *Напостовец Лялевич выругал нас...* — Г. Лелевич, автор статьи «Несовременный „Современник"» в журнале «Большевик» № 5/6. Лелевич потребовал «немедленных и серьезных шагов в целях противопоставления фронту Замятиных, Чуковских, Сологубов, Пильняков фронта пролетарской и революционной литературы».

Замятин написал статью о современных альманахах... — Речь идет о статье Е. Замятина «О сегодняшнем и современном», опубликованной в «Русском современнике» № 2 (1924). Замятин критически оценивает четыре последних альманаха: «Недра» — IV, «Наши дни» — IV, «Круг» — III и «Рол» — III. О «Дьяволиаде» Булгакова, помещенной в «Недрах», Замятин замечает, что «от автора, повидимому, можно ждать хороших работ». «Современное в искусстве — хорошо, сегодняшнее в искусстве — плохо», — утверждает Замятин.

С. 155 *Сестра, – а я даже не знаю, как ее звали!..* — В сборнике воспоминаний о математике В. А. Рохлине (внуке Э. С. Левенсона) сообщено с его слов, что «...мать Рохлина — законная дочь Левенсона — получила медицинское образование во Франции. Она была начальником санинспекции в Баку при раннем большевизме; жестко распорядилась закрыть сточную канаву в старом Баку как источник эпидемий. Ее убили из мести за это в 1923 г. (*С. П. Новиков.* Рохлин // В. А. Рохлин. Избранные работы. Воспоминания о В. А. Рохлине / Под ред. А. М. Вершика. М.: МЦИМО, ВКМ ИМУ, 1999, с. 490). Этот рассказ В. А. Рохлина о смерти матери согласуется с краткой записью в дневнике К. И. о смерти «полусестры».

Другие сведения по биографии Чуковского, сообщенные С. П. Новиковым, недостоверны и опираются на слухи: например, о «Крокодиле» Новиков рассказывает, что сказка написана в 1905—1907 году как пародия на первую русскую революцию и не издавалась при большевиках. На самом деле «Крокодил» написан в 1916 году и печатался с продолжением в 1917. Нет никаких причин предполагать, что Чуковский до революции писал свои сказки в стол. Первое издание «Крокодила» вышло в 1919 году в изд-ве Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов.

С. 158 *«Черничный дедка»* — детская книга с 16 рис. и текстом Э. Бесковой. Пересказ со шведского. Берлин, изд-во Девриен, 1921.

С. 159 *Пришло письмо от Лиды – очень подробное.* — См.: Корней Чуковский — Лидия Чуковская. Переписка. 1912—1969. М.: Нов. лит. обозрение, 2003, с. 34—36.

Сажусь опять за свою «Мимо Тумима». — Г. Г. Тумим — автор критической статьи о «Крокодиле» Чуковского (см.: Два крокодила // Книга и революция. 1920. № 1, с. 52—53). Статья Чуковского «Мимо Тумима» в печати не обнаружена.

С. 160 *...как ругают в разных журналах меня и «Современник»...* — К этому времени усилились нападки на «Русский современник» со стороны руководителей Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей (ВАПП). Кроме Г. Лелевича (см. примеч. к с. 154), против журнала выступил С. Родов, который на майском сове-

щании в ЦК РКП(б) заявил, что «Русский современник» «враждебен рабочему классу».

С. 161 *«Сборник революционной сатиры».* – См.: Русская революция в сатире и юморе. Ч. 1 (1905–1907 гг.) / Сост. К. Чуковский. Ч. 2 (1917–1924 гг.) / Сост. С. Дрейден. – М.: Изд-во «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1925.

С. 163 *...ругал «ужасную» книгу Волынского о Лескове...* – Речь идет о книге *А. Л. Волынского* «Н. С. Лесков». [Критич. очерк]. Пг.: Эпоха, 1923.

С. 167 *...поссорился с Белкиным – из-за рисунков к новому рассказу, который написал он для «Времени».* – Рассказ Ал. Толстого «Как ни в чем не бывало» вышел в изд-ве «Время» в 1925 году с рис. В. Замирайло.

Коля кончает свой первый роман. – Повесть Н. Чуковского «Танталэна» опубликована в 1925 году в издательстве «Радуга».

С. 168 *...в «Правде» появилась подлая статья.* – В «Правде» 5 ноября 1924 года помещена статья К. Розенталя о №№ 1–3 «Русского современника». Критик заявляет, что в этом журнале «нэповская литература показала свое подлинное лицо». Заканчивается статья утверждением: «Нэпман с Ильинки, кандидат в Нарым и буржуазный интеллигент, тоскующий по «ценностям» буржуазного мира и мечтающий об их возвращении, нашли в «Русском современнике» свое сегодняшнее выражение».

Замятин... пишет об Аттиле – историческая повесть. – Вероятно, имеется в виду роман «Бич Божий». О его предстоящей публикации было объявлено на обложке четвертого номера «Русского современника». Однако 5-й номер журнала не вышел. Журнал был закрыт, в архиве сохранилась лишь корректура (сообщено А. Стрижевым).

С. 170 *...корректор... показал ... корректуру статьи Троцкого обо мне: опять ругается.* – Первая статья Троцкого против Чуковского была написана в феврале 1914 г. и впоследствии вошла в его книгу «Литература и революция» (М., 1923). Троцкий называет Чуковского «теоретически невменяемым» и утверждает, что он «ведет в методологическом смысле чисто паразитическое существование». 1 октября 1922 г. в «Правде» была напечатана статья Л. Троцкого «Внеоктябрьская литература», где он так характеризует книгу Чуковского о Блоке: «...этакая душевная опустошенность, болтология дешевая, дрянная, постыдная!»

Что писал Троцкий о Чуковском в 1924 г., установить не удалось, но в архиве Чуковского сохранился сатирический отклик С. Маршака на это выступление Троцкого. В «Чукоккалу» вклеен листок с типографски набранными стихами и написано рукой К. И.: «С. Маршак (Для “Русского Современника”), запрещено. Троцкий» (*Чукоккала*, с. 400–401). Вот отрывок из стихотворения С. Маршака:

Расправившись с бело-зелеными,
Прогнав и забрав их в плен,–
Критическими фельетонами
Занялся Наркомвоен.
Палит из Кремля Московского
На тысячи верст кругом.
Недавно Корнея Чуковского
Убило одним ядром.

С. 172 *Я предложил ... но он ведет себя так, словно вся статья написана им одним.* – Речь идет о статье «Перегудам от редакции “Русского современника”», помещенной без подписи в последней, четвертой, книжке журнала (с. 236–240). Со-

держание статьи — полемика с травлей, развернутой на страницах печати критиками Г. Лелевичем, К. Розенталем, С. Родовым и др. В «Чукоккале» сохранилась 3-я глава этой статьи, запрещенная цензурой. Целиком статья опубликована в «Книжном обозрении» (1989. № 18; см. также: *Чукоккала*, с. 402–403).

«Паноптикум» — отдел литературной сатиры, печатавшийся в каждом номере «Русского современника». *«Я боюсь»* — статья Е. Замятина, напечатанная в журнале «Дом искусств». 1921. № 1.

С. 173 *...это так, сдуру, каприз рецензента.* — Каменев имеет в виду статью К. Розенталя. См. примеч. к с. 168.

С. 175 *...выбросить из «Перегудов» конец.* — См. примеч. к с. 172 на с. 583–584.

С. 176 *...читал лекцию об Эйхенбауме в университете.* — Очевидно, речь идет о статье Чуковского об Эйхенбауме «Формалист о Некрасове», напечатанной в книге Чуковского «Некрасов» (Л.: Кубуч, 1926).

С. 177 *...Из мира вытеснят и нас.* — Строки из «Евгения Онегина» (гл. II, XXXVIII).

С. 178 *...грустная история с Троцким!* — В ноябре и декабре 1924 г. «Правда» печатала многочисленные статьи с критикой только что опубликованной книги Л. Троцкого «1917».

Ольдор... обвиненный в садизме и разврате... — Эмигрантская газета «Руль» (Берлин) писала 22 октября 1924 года (№ 208), что в Петрограде слушалось дело о притонах разврата, причем среди обвиняемых «было немало видных и ответственных коммунистов, вплоть до самого Оль Д'Ора, этой красы и гордости красной журналистики».

1925

С. 185 *...статья Горбачева весьма доносительная.* — В «Звезде» № 1 помещено «Открытое письмо редактору "Звезды"» Георгия Горбачева. Нападая на Воронского за «литературный троцкизм», Г. Горбачев обвиняет его в том, что он «организационно связан с главными сотрудниками реакционнейшего "Русского современника"». Г. Горбачев выступает от лица Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей, от имени «пролетписателей» и «пролетлитературы».

«Блудный бес» — комедия Ал. Толстого «Изгнание блудного беса».

С. 186 *От Сологуба... стишки... язвительные.* — Стихи Ф. Сологуба начинаются словами: «Ведь это, право же, безбожно — / Шутить и все шутить весь век. / Нам надобно сказать не ложно: / Чуковский — милый человек...» и датированы 24 декабря–6 января 1925 г. См.: *Чукоккала*, с. 158). Чуковский написал Сологубу язвительный стихотворный ответ (*там же*, с. 161–162).

С. 187 *...наша редколлегия... снималась у Наппельбаума.* — Эта фотография до сих пор висит в переделкинском кабинете Чуковского. Она воспроизведена в *Чукоккале* (с. 305).

С. 193 *...Ольдор оправдан.* — О суде над Ольдором см. 1924, примеч. к с. 178.

С. 197 *...вперед, вперед, моя исторья, лицо нас новое зовет.* — Цитата из пушкинского «Евгения Онегина» (Гл. VI, IV).

С. 203 *...висят в столовой портреты...* — Далее на нескольких страницах своего дневника Чуковский записывает названия картин, последовательность, в какой они развешаны в мастерской Репина и в столовой, а также беглые поясне-

ния художника. Запись оказалась бесценной при восстановлении после войны сгоревших репинских «Пенатов».

В виде исключения приводим эту дневниковую запись в комментарии, т. к. она сделана поспешно, для себя, а названия картин перебиваются репинскими пояснениями. Вот эта запись:

1) Автопортрет Юрия Репина.

2) Портрет Василия Еф. Репина, фаготиста.

3) Картинка В. Е. Маковского. Портрет внучки И. Е. Репина Татьяны. Татьяна Ильинична – дочка.

4) Рисунок художника Вербова в Здравнёве.

5) Портрет Мст. Прахова.

6) Картина Бродского, пейзаж [«Тюильри»].

7) Портрет кн. Волконского.

8) Миниатюра Похитонова.

9),10),11),12) Иконы.

13) Юрия Репина: «Георгий Победоносец».

14) Г-жа Рейх – женщина-юрист, живущая ныне в Кронштадте. [Работа] Ю. Репина.

15) Ученическая работа Ильи Ефимовича «Только Бог спасет Россию» — акварель, очень тщательная.

16) Ю. Репин. Тюренченский бой. Фотоэскиз.

17) Хлопушина. И. Репин.

18) Вид из окна столовой Репина в Пенатах. Зимний пейзаж, скамейки, холмик. «Вот станьте там, посмотрите». [Репин указывал на то место, где впоследствии выразил желание быть похороненным.]

19) Юрий Султанов.

Первухин. Мостик [в] Венеции.

Белопольский, 78 г.

Рубо.

Горький.

В стороне от веселых подруг.

Юрия Надя. [Т. е. портрет дочери Репина Нади, работы его сына — художника Ю. Репина.]

Кривкович, автопортрет акад.

тов. Репина Ф. А. Васильев.

И. Е. «С этюдов» против течения.

С. 205 *Пошли в мастерскую Репина...* — Далее следует продолжение перечня картин с беглыми пояснениями Репина:

20. Сварог. «Ю. И. Репин», портрет художника. «Это большой талант. Портрет Сварога — великолепный портрет. Он так и повешен, чтобы свет на него сверху падал».

21. Это Юры портрет Максимова. Галлиполи. Офицер с «Георгием», на коне, в бою. Написана в 24 году.

22. Трифонова – певица.

23. Самойлов, 1916.

24, 25. Наталья Борисовна. 2 портрета.

В «Киоске» бюсты: 26. Бронза Трубецкого.

27. Шаляпин Трубецкого.

28. Толстой Репина.

29. Кн. Тенишева, Толстой.

30. Бюст Репина работы Андреева.

Антокольский бронза в Аме <нрзб.>.

31. *Канин*-бурлак. «Если не получу ответа из Н<ижнего> Н<овгорода>, отдам Петру Ив. [Нерадовскому]». 1870.

32. Жигулевские горы. 1870.

33. Мать Ильи Еф. 76 г. (?).

34, 35. Два портрета. Отец Ильи в Чугуеве. 1861,1881 год. Ровно двадцать лет разницы. Было хорошо написано это лицо, да «я погладил». Старик стар, кое-где морщины.

36. Вера Алексеевна Репина. Сепия. 1872.

37. Мать. 67. (Чугуев).

38. Людмила Николаевна Шуппе. Жена Михайловского.

39. Костиайнен – рисунок в Гельсингфорсе.

40. Скрипачка Цецилия Ганзен – малиновый фон, бледно-сиреневое платье, будут ковры, в фойе, взволнована аплодисментами перед началом <нрзб.>.

41. Углем Юра и Таня, большое полотно.

42. Большевики – одна дама сзади. Отнимают от ребенка хлеб. Не кончена.

43. Ю. Репин. «Стреляют». 1921. [Стреляй.]

44. Тархановой бюст.

45. Эскизы: триумф артистки, чествуют, рукоплещут.

46. Проект. Красные похороны.

47. 5[-я] Линия Акад. переулка. Атака казаков – «Братцы, в своих!»

48. Бал в Здравнёве – «Смешение сословий» – в Здравнёве, почти с натуры.

49. Пушкин. 1897–1924. «И в 25-м пишется».

50. «Финские знаменитости». — Энно Лейно. «Репин мы любим тебя, как Волгу Россия». Сааринен, Галлонен, Каянус, Сибелиус, Стольберг, Бломстед, на стене Маннергейм. Вилли Вальгрен, Викстрем. «Хорошие люди. Французы». Риссенен. Сидоров – член общества офортистов. «Я даже думал уступить Сидорову свою картину. Пошли мы с ним, сели за столик. – Купите мою картину, – говорю ему я. – Я разорен – отвечает он».

51. Вася Пушкинской эпохи. [Не Вася, а Алеша Репин, внук брата Репина Василия Ефимовича.]

52. Магдалина – Христос. Большое полотно. Лунный свет – блики.

53. Эскиз к «Крестному ходу».

54. Керенского – <нрзб.>. «Самозванец Гришка Отрепьев».

55. Барышня с зонтиком. 24 г. С зонтиком розовым Орешникова.

56. Парижский пикник. 1875.

57. Бюст М.Ф.Блох.

Я сейчас отдел<ываю> «Финляндские знаменитости». Чудно. Середина, где Галлен, середина.

58. Голгофа. Собаки на рассвете кровь долизывают с трех распятых висельников, много крови было – (кровь лужами держится сверху). Почва каменистая. Стена Ерусалима. Вот тут Via Dolorosa – к стене. Это место накрыто храмом православным. Дощечки. И теперь в Ерусалиме взрывают динамитом. Медом и млеком. Финики, апельсины. Сад в Иерихоне, где Мамврийский дуб. Митрополит А[нрзб.]. Развалины Иерихона. Греческие, еврейские и латинские надписи.

59. Эскиз. Аллегория – кавалегард, духовн. сослов., девица, палач, молящ. фигура [нрзб.].

О названии Чугуева Репиным. Каким образом <нрзб.>. «Да избавит вас Бог от этой бестактности».

60. Столяр Ханникайнен.

61. «Радость воскресшего».

Все эти записи в дневнике сделаны слабым карандашом, и прочесть их было нелегко. Большую помощь в уточнении названий и имен, записанных Чуковским, оказала Е. В. Кириллина, старший научный сотрудник, научный руководитель Музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты». Она сообщила интереснейшие сведения о судьбе этих картин и скульптур. Приношу ей свою искреннюю благодарность. Некоторые уточнения, сделанные Е. В. Кириллиной, добавлены к списку Чуковского в квадратных скобках.

С. 209 *...разбираю... свою переписку за время от 1898–1917 г.г.* — Чуковский увез в Россию не все бумаги, сохраненные Шайковичем. Часть архива К. Чуковского за 1904—1917 гг. обнаружена в личном архиве проф. И. Шайковича. Этот архив хранится в Славянском институте в Стокгольме. Подробнее см.: *Свен Густавсон.* Архивные находки. Письма из архива К. И. Чуковского в Стокгольме (Scando Slavica. Tomus XVII. Munksgaard. Copenhagen, 1971, p. 45—53).

С. 210 *Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал.* — Этот документ разыскал и опубликовал ленинградский исследователь В. Ф. Шубин. В метрической книге петербургской Владимирской церкви, где крестили новорожденного, записано: Николай, сын «Херсонской губернии Ананьевского уезда Кондратьевской волости украинской девицы деревни Гамбуровой Екатерины Осиповны Корнейчуковой, незаконнорожденный» (сб. «...Одним дыханьем с Ленинградом». Л., 1989, с. 250).

С. 213 *...его стихи на серапионов бесконечно смешны.*— «Серапионовы братья — / Непорочного зачатья. / Родил их "Дом искусств" / От эстетических чувств...» и т. д.— см.: *Чукоккала,* с. 414.

С. 223 *...статьей... в последнем № «Театра и Искусства»...* — Упомянута статья Г. Адонца о постановке пьесы Синга «Герой» в переводе К. Чуковского (Жизнь искусства. 1925. № 12).

С. 225 *От Репина письмо: любовное.* — Упомянуто письмо И. Е. Репина от 24 марта 1925 года, где есть такие строки: «Да, если бы Вы жили здесь, каждую свободную минуту я летел бы к Вам: у нас столько общих интересов. А главное, Вы неисчерпаемы, как гениальный человек, Вы на все реагируете и много, много знаете; разговор мой с Вами — всегда — *взапуски* — есть о чем» (*Переписка,* с. 197).

С. 228 *...объявление «Приехал Жрец»* — см.: *Чукоккала,* с. 388—389.

С. 231 *У Лиды обыск. Нелегальную литературу ищут.* – В своей автобиографической повести «Прочерк», опубликованной посмертно, Лидия Чуковская вспоминает: «Год 1925-й. Учусь я в двух учебных заведениях сразу... Однажды в Институте состоялось общее собрание учащихся для перевыборов — уж не помню, в какую общестуденческую организацию. Комячейка представила собранию свой список кандидатов — и, разумеется, из числа "своих" — то есть из студентов, наименее уважаемых товарищами. ("Противоестественный отбор", как это принято теперь называть. Комячейка — группа студентов, которые ничему не учились, но еженедельно выпускали весьма поучительную стенную газету, где изобличали профессоров в идеологических пороках...) Так вот, комячейка представила на выборах свой список. Против обыкновения на этот раз собравшимся удалось, кроме списка, утвержденного свыше, выдвинуть также и собственных кандидатов. Голосовали открыто. Право подсчитывать захватили комсомольцы. Они мо-

шенничали с откровенным бесстыдством, на глазах у всех: подняты 3 руки — они объявляют 25; подняты 25 — объявляют 3. В зале — шторм: рев, выкрики, свистки, топот.

На следующую — или через одну? — ночь, явно по доносу удалой комячейки, в ночь с 26 на 27 мая 1925 года арестовали человек двадцать студентов, наиболее шумно топавших, свистевших, кричавших. В том числе и меня. Дня через три нас всех до единого выпустили». (*Лидия Чуковская.* Прочерк // Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Арт-Флекс, 2001, с. 277–278).

С. 234 *Я пишу... статейку «Сердечкин злосчастный»...* — Произведение под таким названием не печаталось.

С. 238 *...от Репина... мне письмо.* — Упомянуто репинское письмо от 11 июня 1925 г. (*Переписка*, с. 205–208).

С. 247 *Пишу свой идиотский роман, – левой ногой – но и то трудно.* — Речь идет о киноромане «Бородуля», опубликованном в 1926 году в вечерних выпусках «Красной газеты» под псевдонимом Аркадий Такисяк.

С. 248 *О! когда на жизнь иную...* — Строки из стихотворения Н. М. Языкова «Д. П. Ознобишину».

С. 250 *Как ураган, недуг примчался.* — Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Вступление к песням 1876—77 годов» («Нет! не поможет мне аптека...»).

С. 251 *Съезд не представляет для меня неожиданности.* — Имеется в виду XIV съезд ВКП(б), взявший курс на индустриализацию страны.

Перевожу «Rain»... — Речь идет о пьесе С. Моэма и Д. Колтона «Сэди (Ливень)». Впоследствии, в 1926 г., перевод К. Чуковского был опубликован в издательстве «МОДПИК».

1926

С. 257 *Прочитал мне сценарий «S.V.D»...* — «S.V.D» («Союз великого дела»). По этому сценарию Ю. Тынянова и Ю. Оксмана (из эпохи декабристов) был снят художественный фильм. Режиссеры — Г. Козинцев и Л. Трауберг («Совкино», 1927).

С. 259 *Вызвал жену, которая оказалась женою Есенина...* — Актриса Зинаида Райх, жена В. Э. Мейерхольда, в первом браке — жена Сергея Есенина, от которого у нее было двое детей — Татьяна и Константин.

С. 261 *«Бунт императрицы»* — неточное название пьесы Алексея Толстого «Заговор императрицы».

С. 263 *...«Цектран»...* — Центральный комитет объединенного профсоюза работников железнодорожного и водного транспорта.

...ужасен был весь номер, посвященный Щедрину. — Речь идет о вечернем выпуске «Красной газеты» (27 января 1926 г.) к столетию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. В номере напечатаны статьи Д. Заславского «Совсем неуютный писатель», Н. Лернера «Переписка Николая I с Поль де Коком: (Сатира Салтыкова)», Н. Яковлева «Художественные замыслы и программы Щедрина» и В. Евгеньева-Максимова «М. Е. Салтыков в “Свистке”».

С. 264 *...во вторник суд надо мною...* — Возможно имеется в виду суд с Финотделом из-за налогообложения (см. с. 278).

С. 265 *...письмо от Добычина...* — письма Добычина к Чуковскому см. в публикации А. Петровой «Вы мой единственный читатель...» (Новое лит. обозрение, 1993. № 4, с. 123–142).

С. 269 *«Not at Night», сборник глупейших страшных рассказов.* — Антология рассказов «ужасов» «Not at Night» («Не для ночного чтения», 1925), составленная Кристин Томсон (Christine Thomson).

«Juno and the Paycock» (на самом деле «Paycock and Juno») — басня, опубликованная в сборнике «Talking Beasts», ed. K. D. Wiggin & N. A. Smith (New York: Doubleday, 1911). Talking Beasts — говорящие звери (*англ.*).

С. 272 *«Все было беспокойно и стройно, как всегда...»* — начальная строка стихотворения Ф. Сологуба.

С. 275 *Был вчера на «Бой-бабе»...* — под таким названием ставилась в Ленинградском театре комедии пьеса французских драматургов В. Сарду и Э. Моро «Мадам Санжен».

С. 277 *...прочитала мой фельетон о детских словах.* — Речь идет о статье «Детский язык» (см. «Красная газета», 1926, 24 февр., вечерний выпуск).

С. 279 *Thus, Mary... guide my way!* — Подстрочный перевод строфы, переписанной в дневник: «Такова и ты, Мария, но только для меня; / В то время как незаметно играют твои блестящие глаза, / Я один буду любить эти лунные взгляды, / Которые благословляют мой дом и указывают мне дорогу». Книга «The Poetical Works of Thomas Moore» и сейчас хранится в библиотеке Чуковского. В дневнике приводится строфа из стихотворения «While Gazing on the Moon's Light» («Вглядываясь в лунный свет»). В начале этого стихотворения говорится, что звезды ярче луны, но они слишком далеки и холодны. Гораздо милее луна, проходящая с улыбкой вблизи от нашей планеты.

С. 280 *Таракан не ропщет!!* — Цитата из Достоевского. Это — слова капитана Лебядкина в «Бесах» (Ч. 1. Гл. 4).

С. 283 *«Уж я не верю увереньям!»* — Строка из стихотворения Е. Баратынского «Не искушай меня без нужды...»

...читал мне отрывки из своей новой повести «Смерть Грибоедова». — Книга Ю. Н. Тынянова вышла под названием «Смерть Вазир-Мухтара».

С. 295 *В июле была арестована Лида.* — Об этом втором аресте Л. Чуковской см. ее автобиографическую повесть «Прочерк», глава «Стакан, закатившийся в щель» (см. также 1925, примеч. к с. 231 на с. 587–588).

1927

С. 300 *...статья «Искаженный Некрасов», очевидно, посвященная мне.* — Речь идет о статье *М. Ольминского* «Как исправлен Некрасов» («На литературном посту». 1927. № 2, с. 30–32).

С. 301 *...«автор приказа № 1».* — Секретарь ЦИК Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов адвокат Н. Д. Соколов 2 (15) марта 1917 года подготовил и внес в только что созданное Временное правительство «Приказ № 1». Приказ предусматривал выборы в войсках комитетов из нижних чинов, изъятие оружия у офицеров и передачу его под контроль комитетов, установление неограниченной «ни в чем» свободы солдата. Этот приказ стал началом разрушения армии. Армия стала неуправляемой.

С. 302 *От Репина письмо... только отрывок. Остальное погибло.* — Речь идет о письме от 28 февраля 1927 года. (*Переписка*, с. 261.)

С. 308 *Записал в Чукоккалу два экспромта.* — В этот день Тынянов подарил Чуковскому два стихотворных экспромта: «Се оправданье архаистам...» и «Был у вас — Арзамас...» (*Чукоккала*, с. 437–439, 442–443).

Комментарии

С. 312 *...J. Marcinovski «Борьба за здоровые нервы».* — Перевод с немецк. Е. А. Кост. М.: Наука, 1913 (Психотерапевтическая библиотека под ред. д-ров Н. Е. Осипова и О. Б. Фельцмана. Вып. II).

С. 313 *Christian Science* — христианская наука (*англ.*). Религиозное движение, сложившееся в США в последней четверти XIX века. Основательницей этого движения была Мэри Беккер-Эдди (1821—1910), автор книги «Наука и здоровье» (1876). Подробнее о Мэри Беккер-Эдди и ее учении см.: *С. Цвейг.* Собр. соч. Т. XI: Врачевание и психика. — Л.: Время, 1932, с. 123— 252.

...ГУС отнесется более мягко. — Государственный Ученый Совет, руководящий методический центр Наркомпроса РСФСР. Создан 20 января 1919 года по постановлению Коллегии отдела высших учебных заведений. С конца 1927 года следовало получить разрешение ГУСа на издание любой книги для детей в Государственном издательстве.

С. 314 *Я... сразу узнала по портрету... Анненкова.* — В двадцатые годы художник Юрий Анненков сделал портрет К. Чуковского и множество шаржей на него. Портрет воспроизведен в книге Ю. Анненкова «Портреты» (Пг., 1922, с. 57). Кроме того, в то время часто печатался «Мойдодыр» с картинками Ю. Анненкова, среди которых была и карикатура на автора сказки.

С. 318 *...«Соловей» считается мелкобуржуазным воспеванием мелкого быта...* — Речь идет о статье: *М. Ольшевец.* Обывательский набат // Известия. 1927, 14 авг.

С. 319 *Там Зощенке показали готовящуюся книгу о нем...* — Имеется в виду книга: Мастера современной литературы. Михаил Зощенко. Статьи и материалы. (Статьи В. Шкловского, А. Бармина, В. Виноградова и др.). Л., 1928.

С. 320 *Получил от Репина письмо, которое потрясло меня...* — В письме, написанном 18 мая 1927 года, и отправленном 10 августа, Репин пишет «*...о могиле*, в которой скоро понадобится необходимость» и адресуется к Чуковскому «как моему другу — похлопотать об этом весьма важном вопросе». В этом же письме Репин рассказывает: «...я не бросил *искусство.* Все мои последние мысли о Нем...» (*Переписка*, с. 271.)

Делаю «Панаеву» (для нового издания)... — Речь идет о мемуарах Авдотьи Панаевой. Воспоминания Панаевой вышли в издательстве «Academia» в 1927 году под редакцией К. Чуковского, с его предисловием и постраничными примечаниями. В 1928 году было выпущено 2-е издание этой книги.

С. 321 *Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет.* — Эти слова Достоевского о Фоме Опискине («Село Степанчиково и его обитатели». Ч. 1. Вступление) Чуковский толкует расширительно и полагает, что в них заключена «диалектика истории».

...писал свои Экикики. — См. название одной из главок «От 2 до 5»: «Экикики и не экикики» (Глава пятая. Как дети слагают стихи).

С. 332 *«Это было, это было в той стране»* — строка из стихотворения Н. Гумилева «Лес» («В том лесу белесоватые стволы...»). Стихотворение напечатано в сборнике «Огненный столп» («Petropolis», 1921).

С. 343 *Коле... переводить «Акриджа».* — Упомянут цикл рассказов «Акридж» английского писателя Вудхауза.

С. 347 *Мальчики и девочки, свечечки и вербочки* — строка из стихотворения А. Блока «Вербочки», процитированная неточно. Правильно: «Мальчики да девочки, / Свечечки да вербочки».

С. 352 *Лидин Шевченко* — глава из книги Лидии Чуковской о детстве Тараса Шевченко, напечатанная в журнале «Еж» (1928. № 2). Глава называется «Тарасова беда» и подписана псевдонимом А. Углов.

...продержал корректуру Колиной милой книжки стихов. — Речь идет о книге: *Н. Чуковский.* Сквозь дикий рай. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1928.

С. 353 *Это многих славных путь!* — Строка из стихотворения Некрасова «Школьник».

...меня мучает предстоящий суд с Евгеньевым-Максимовым. — В архиве сохранилось письмо В. Е. Максимова от 5 января 1928 г.: «Милостивый Государь Корней Иванович, настоящим довожу до Вашего сведения о том, что сего числа я обратился в Союз Писателей с просьбой рассмотреть некоторые Ваши действия, нарушающие мои интересы, как писателя. В. Максимов» (РО ГБЛ, ф. 620, картон 63, ед. хр. 87, л. 7). Из письма неясно, в чем была суть разногласий. Предшествующие и последующие письма — очень дружелюбные. О разногласиях с В. Е. Евгеньевым-Максимовым см. также запись от 27 марта 1925 г. (с. 223).

С. 355 *«Подруги поэта»* — см.: «Минувшие дни», 1928, № 2, с. 10—29. «Поэт» — Н. А. Некрасов.

С. 358 *Только что сообщили мне про статью Крупской.* – 1 февраля 1928 г. в «Правде» была напечатана статья Н. К. Крупской «О “Крокодиле”» К. Чуковского», в которой эта сказка была объявлена «буржуазной мутью». Крупская резко осудила и работы К. Чуковского о Н. А. Некрасове, заявив, что «Чуковский ненавидит Некрасова». Результатом этой статьи явился полный запрет на издание всех детских книг Чуковского, поскольку Крупская тогда возглавляла Комиссию по детской книге ГУСа.

Пишу Крупской ответ... — Этот ответ опубликован 60 лет спустя (журнал «Детская литература». 1988. № 5, с. 32).

С. 361 *...сейчас нам передали по телефону письмо Горького о вас – против Крупской – о «Крокодиле» и «Некрасове».* — «Письмо в редакцию» М. Горького напечатано в «Правде» 14 марта 1928 г. В своем письме Горький возражает Крупской по поводу «Крокодила» и пишет, что помнит отзыв В. И. Ленина о некрасоведческих исследованиях Чуковского. По словам Горького, Ленин назвал работу Чуковского «хорошей и толковой». Письмо Горького приостановило начавшуюся травлю книг и статей Чуковского о Некрасове. Однако «борьба за сказку» продолжалась еще несколько лет.

С. 363 *...сейчас в ГАХНе...* — ГАХН — Государственная Академия художественных наук.

С. 367 *Я дал ему протест писателей...* — Писатели Ал. Толстой, К. Федин, О. Форш, Мих. Зощенко, Н. Тихонов, С. Маршак и многие другие обратились к наркому просвещения А. В. Луначарскому с протестом против запрета на издание детских книг К. Чуковского. Этот протест теперь опубликован (Детская литература. 1988. № 5, с. 34).

С. 377 *Тальников в своей статье совсем прикончил Маяковского...* — Речь идет о статье Д. Тальникова «Литературные заметки», напечатанной в журнале «Красная новь». 1928. Кн. 8. Критик обрушивается на стихотворный цикл Маяковского «Мое открытие Америки»: «Галопный маршрут... повествование в свойственном ему вульгарно-развязном тоне “газетчика”... то, что Сельвинский очень остро определил, как “рифмованную лапшу кумачовой халтуры” или “барабан с горошком а-ля Леф”»...» Маяковский послал в редакцию журнала протест: «Изум-

лен развязным тоном малограмотных людей, пишущих в "Красной нови" под псевдонимом "Тальников"» — и опубликовал в газете «Читатель и писатель» (1928. № 36) стихотворный ответ Тальникову — «Галопщик по писателям».

С. 377 *...редактора «ЧиП»'а...* — Упомянут журнал «Читатель и писатель».

С. 378 *По поводу статьи Горького «Две книги» (о ГАХНе и Асееве)...* — В статье М. Горького «О двух книгах», опубликованной в «Известиях» 11 сентября 1928 г., обсуждаются книги: «Писатели современной эпохи» (изд-во ГАХН) и «Разгримированная красавица» Н. Асеева.

С. 383 *...смерть Грум-Гржимайлы... после ругательного фельетона о нем «Профессор и Маша».* — За два дня до кончины Грум-Гржимайло 28 октября 1928 года в «Известиях» напечатан под этим названием фельетон Г. Рыклина.

1929

С. 389 ... *МГСПС.* — Московский городской совет профессиональных союзов.

С. 392 *«Проселочные дороги»* — роман Д. В. Григоровича, написанный в 1852 году.

С. 393 *Сергей Городецкий, недавно перенесший... травлю в печати по поводу «Сретения царя».* — «Сретение Царя», верноподданническое стихотворение С. Городецкого, напечатанное в его стихотворном сборнике «Четырнадцатый год» (Пг.: Лукоморье, 1915). «Какая сказочная сила / Была в благих его руках. / Которым меч судьба вручила / На славу нам, врагам на страх», — писал Городецкий. В 1929 году эти стихи подверглись травле, хотя были напечатаны еще до революции.

С. 395 *...знаменитый приказ Дзержинского...* — 20 апреля в «Правде» был помещен доклад Ф. Э. Дзержинского «Борьба за режим экономии и печать». Дзержинский отметил в своем докладе, что себестоимость наших изделий почти в два раза больше довоенной, что создано много лишних организаций, разбухли штаты в управлениях, что лишняя рабочая сила превращает фабрику в собес, что государственный аппарат построен бюрократически. Докладчик подчеркнул: «Кампания по режиму экономии потребует длительного периода времени. Может быть даже, столько же времени, сколько мы должны ждать социализма».

С. 397 *Вздрогнули ножки...* — Цитируется стихотворение неизвестного автора «Первая ночь брака. Послание к другу», которое одно время пытались приписать А. С. Пушкину.

1930

С. 400 *Скажите сестрам... ей уже некуда деться.* — Неточная цитата из «Облака в штанах». На самом деле: «Скажите сестрам, Люде и Оле,—/ему уже некуда деться».

«Мишель Тинягин»... — Правильно — «Мишель Синягин».

С. 402 *...книга висит в воздухе.* — Речь идет о книге: «Мнимая поэзия. Материалы по истории поэтической пародии». Под ред. и с предисл. Ю. Тынянова. Книга вышла в изд-ве «Academia» в 1931 году.

С. 404 *...нужны не годы ... человека создать из раба.* — Строки из поэмы «Саша». Гл. 4.

С. 421 *...я рекомендовал Пастернака Ломосовой, когда еще муж ее не был объявлен мошенником... он так... водопадно благодарит меня.* — Бумаги Раисы Николаевны и Юрия Владимировича Ломоносовых сохранились в «Русском архиве в Лидсе» (Англия). В письмах к Р. Н. Ломоносовой в июле и августе 1925 г. К. Чуковский писал: «Есть в Москве поэт Пастернак. По-моему — лучший из современных поэтов... Мы все обязаны помочь Пастернаку. Ему нужна работа. Он отличный переводчик». И в другом письме: «Кстати, я хотел познакомить с Вами поэта Пастернака и дал ему Ваш адрес... Я считаю его одним из самых выдающихся русских поэтов, и мне больно, что он так беспросветно нуждается. Не могли бы Вы ему помочь?» В 30-м году Б. Л. Пастернак писал Д. П. Святополку-Мирскому: «Сюрпризом, который мне готовил К. И., я не мог воспользоваться. Но вряд ли он знает, какой бесценный, какой неоценимый подарок он мне сделал. Я приобрел друга тем более чудесного, то есть невероятного, что Р. Н. человек не «от литературы». Пастернак много лет переписывался с Р. Н. Ломоносовой. В 1926 году Раиса Николаевна Ломоносова встретилась в Германии с первой женой Пастернака, Евгенией Владимировной. В 1927 году Ломоносовы стали невозвращенцами, но переписка с Пастернаком продолжалась. По его просьбе Раиса Николаевна стала помогать М. И. Цветаевой, и между ними тоже возникла переписка. Письма Чуковского и Пастернака цитируются по публикации Ричарда Дэвиса «Письма Марины Цветаевой к Р. Н. Ломоносовой» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris: Atheneum, 1989, с. 208 и 225).

1931

С. 426 *От Урала до Донбасса.* — У Лермонтова «От Урала до Дуная».

С. 428 «*Не Елена, другая...*» — строка из стихотворения О. Мандельштама, начинающегося словами: «Золотистого меда струя из бутылки текла...».

С. 433 *...читал Виноградова «Три цвета эпохи».* — Книга А. К. Виноградова называется «Три цвета времени».

С. 434 *...Правдухин дал мне своего «Гугенота»... показал газетные вырезки, полные ругательств по его адресу.* — Речь идет о повести В. П. Правдухина «Гугенот из Териберки» (1931). Повесть была, как гласит Лит. энциклопедия, «единодушно осуждена критикой за искаженный показ большевистского руководства путиной, идеализацию центрального образа повести — классового врага (Лиллье)» (Т. 9. М., 1935). См. также статьи: *В. Залесский.* Гугенот из Териберки на фронтах пятилетки // Литературная газета. 1931, 27 окт.; *А. Селивановский.* Кулацкая тарабария // Правда. 1931, 4 ноября.

С. 437 *...стихи Пастернак посвятил Пильняку, но в «Новом Мире» их напечатали под заглавием «Другу».* — Стихотворение Б. Пастернака «Другу» было опубликовано в «Новом мире» (1931. № 4, с. 63), а затем вошло в сборник «Поверх барьеров».

С. 441 *От Коли письмо.* — Письма Н. Чуковского к отцу см.: *Николай Чуковский.* О том, что видел. М., 2005.

С. 443 *...мне каждый раз приходится... доказывать свою лояльность, свой разрыв со своим прошлым...* — С 1924 по 1930 г. К. Зелинский входил в группу конструктивистов. В 1930 году, когда началась травля конструктивистов, Зелинский напечатал в журнале «На литературном посту» (№ 20) статью под названием «Конец конструктивизма». В этой статье, «доказывая свою лояльность», Зелинский об-

рушился на своих недавних единомышленников — Сельвинского, Багрицкого, Луговского.

С. 452 *Вчера виделся с Толстым по поводу «Гутива».* — «Гутив» — Государственное управление туч и ветров. К. Чуковский с середины 20-х годов собирался написать фантастическую повесть о том, как люди научились управлять ветрами, дождями, солнечными лучами. В разное время он приглашал к себе в соавторы Б. Житкова, Ал. Толстого, Вяч. Вс. Иванова. Отзвуки этого замысла см.: *Чукоккала*, с. 432—434 и 468, 470—471, а также воспоминания Вяч. Вс. Иванова «Игра» (в сб.: «Воспоминания о Корнее Чуковском» М., 1983, с. 115).

1932

С. 454 *...исключила из своего дневника... все, что относится к Шкловскому и к его побегу.* — Речь идет о книге: *Мариэтта Шагинян.* Дневники. 1917—1931. Изд-во писателей в Ленинграде, 1932. Шагинян, видимо, исполнила его просьбу. Одно время В. Шкловский был членом партии эсеров. О попытках его арестовать и об устроенной для этого засаде подробно рассказано в книге В. Каверина «Эпилог» (М., 1989).

С. 457 *...«за письма в редакцию гонорара не полагается».* — Статья вышла под названием «Богатейшие запасы невежества: Открытое письмо ред. ОГИЗ Д. И. Кирееву». См.: Литературная газета. 1932. 16 янв.

С. 458 *От Лиды неплохое письмо.* — О письмах Л. Чуковской к отцу см. примеч. к с. 159.

«Хуже собаки». — Речь идет о повести М. Воронова «Хуже собаки», изданной в переработке и с послесловием Чуковского в 1932 году изд-вом «Молодая гвардия».

С. 460 *Зильберштейн... показывает мне книгу... Слепцова с предисловием Горького!!!* — См. предисловие М. Горького в книге: *В. А. Слепцов.* Трудное время. Берлин—Пг.—М.: Изд. З. Гржебина, 1922, с. 5—12.

Сегодня в «Правде» письмо Сейфуллиной... — «Письмо в редакцию» Л. Сейфуллиной напечатано в «Правде» 8 марта 1932 г. в ответ на статью Б. Волина «Литература “Парижского уезда”» (Правда. 1932, 14 февр.). Волин обвинил Сейфуллину в том, что она в своих заграничных выступлениях... «призывала учиться у Бунина, Зайцева, Шмелева и других корифеев русской литературы». Отвечая Б. Волину, Л. Сейфуллина рассказала, что после одного из своих выступлений в Праге в 1927 г. она получила «коварную» записку: «Как относятся молодые русские писатели к писателям зарубежным — Бунину, Куприну, Мережковскому?» Сейфуллина ответила: «...это — корифеи русской литературы. А мы, писатели бурного времени, малограмотны... И мы читаем их, мы учимся у них, мы изучаем их».

С. 461 *...служащие халатовского театра.* — В 1931 году при ОГИЗ был основан Московский театр детской книги, носивший одно время имя А. Халатова и просуществовавший до начала Великой Отечественной войны.

С. 463 *...г. фон Твардовский, подстреленный Штерном...* — Речь идет о покушении И. М. Штерна на советника германского посольства фон Твардовского. Штерн хотел убить не г. Твардовского, а самого германского посла г. фон-Дирксена. Однако посол тогда не пострадал, а Ф. фон Твардовский получил несколько ранений (См.: Правда, 1932, 11 марта).

С. 465 *Мы пошли туда на пьесу «Две встречи».* — Упомянут кинофильм, режиссер Я. Уринов, 1932 год.

С. 466 *Видел вчера выставку картин Фогелера...* — Генрих Фогелер, немецкий художник-гравер, представитель «югендстиля». Во время Первой мировой войны Фогелер был добровольцем в немецкой армии на Востоке. Война сделала его коммунистом. Он вступил в коммунистическую партию Германии и в 1923 году впервые приехал в Москву. Во время своего пятого приезда в СССР в 1932 году Фогелер не смог вернуться на родину в Германию и до конца своих дней прожил в СССР. В сентябре 1941 года, как и все советские немцы, Фогелер был выслан в Карагандинскую область и в 1942 году умер в деревне Корнеевке за 7000 км. от своего родного города Ворпсведе. В 1987 году в Корнеевке установили памятник Фогелеру и создали его мемориальный музей, а в 1995-м состоялась выставка его работ в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

В «Чукоккале» сохранился один из его рисунков. (*Чукоккала*, с. 463).

С. 469 *...письмо В. Я. ко мне, написанное (и не отправленное) десять лет тому назад, в 1922 году.* — Возможно, речь идет о письме Валерия Брюсова от 23.XI. 22 г., впоследствии опубликованном в сб.: *К. Чуковский.* Из воспоминаний. М., 1958, с. 363.

С. 470 *6 условий т. Сталина* — комплекс хозяйственно-политических мероприятий, выдвинутых И. В. Сталиным на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г.: распределение и использование рабочей силы, зарплата по труду, организация труда, создание своей производственно-технической интеллигенции и привлечение старой интеллигенции, внедрение хозрасчета.

С. 471 *Я хотел увидать Каракозова... он представлен... кадрами фильма «Дворец и крепость».* — Фильм «Дворец и крепость» (1924) поставлен режиссером А. В. Ивановским по роману О. Д. Форш «Одеты камнем» и повести П. Е. Щеголева «Таинственный узник».

С. 487 *...не ведает святыни, / не знает благостыни.* — А. С. Пушкин. Полтава. Песнь первая.

С. 495 *Его статью я почувствовал как удар в спину...* — Речь идет о статье Виктора Шкловского «О людях, которые идут по одной и той же дороге и об этом не знают», напечатанной в «Литературной газете» 17 июля 1932 г. Шкловский называет «Восковую персону» лучшей книгой Тынянова. Критик пишет, что «превосходна Екатерина I, увиденная впервые». Однако далее в статье говорится, что «люди в кабаке не пьют вина, а говорят о сортах вина и повторяют поразительные названия. Роман не вытекает из болота, из болота иногда вытекают большие реки, роман втекает в болото. Не кончаясь ничем... Кино, музей восковых фигур, немецкий экспрессионизм определяют Юрия Тынянова».

1933

С. 499 *...в своих статейках «Революция и литература» он ругает меня с тем же самым презрением, какое я испытывал к нему.* — В сборнике статей Л. Троцкого «Литература и революция» (М.: Красная новь, 1923) помещена статья 1914 года «Чуковский» (с. 270–280). Троцкий так характеризует дореволюционную критическую деятельность Чуковского: «У него не только нет познаний даже в собственной его области, но, главное, нет никакого метода мысли...». Статью Чуковского о футуристах Троцкий называет «крикливой и гримасничающей». В статьях на другие темы Троцкий также не упускает случая обругать Чуковского (см. с. 66, 67, 255).

С. 502 *Всеволод Иванов... написал об этом в Чукоккалу.* — Запись Вс. Иванова о романе М. Слонимского «Друзья» см.: *Чукоккала*, с. 466—467.

С. 510 *...в связи со статьей Горького, ругавшей Дос Пассоса, как американского Пильняка.* — Речь идет о статье М. Горького «О кочке и точке» (Правда. 1933, 10 июля), в которой есть такая фраза: «Некоторые искусники пытаются фабриковать рафинированную литературу, подражая, например, Дос Пассосу, неудачной карикатуре на Пильняка, который и сам достаточно карикатурен».

С. 515 *Ее муж – председатель Чека.* — Муж Е. А. Драбкиной — Александр Иванович Бабинец.

1934

С. 531 *...немецкий мальчик, которого М. Кольцов привез из Германии... «Мы заставим этого мальчика писать дневник о Советской стране и... издадим этот дневник... Заработаем!»* — М. Кольцов привез из Германии Губерта Лосте — десятилетнего немецкого пионера, сына коммуниста. Мария Остен, немецкая писательница-антифашистка создала повесть «Губерт в стране чудес», выпущенную в свет в 1935 году в Москве под редакцией М. Кольцова со вступительной статьей Георгия Димитрова. Через 50 с лишним лет брат Мих. Кольцова — Бор. Ефимов, завершая рассказ о судьбе героя книги Губерта и об ее авторе — Марии Остен, сообщает, что Губерт умер 36-ти лет от роду в больнице в Симферополе, а Мария Остен в 1955 г. реабилитирована посмертно. (См.: *Б. Ефимов.* Судьба журналиста. М.: Правда (Б-ка «Огонек»). 1988. № 35, с. 9.)

С. 532 *Григорий Гуковский обратился ко мне внезапно с просительным письмом.* — Это письмо от 22 января 34 г. сохранилось (РО РГБ. Ф. 620, карт. 63, ед. хр. 43). Гуковский просит Корнея Ивановича помочь ему в судебных хлопотах о своей пятилетней дочери. Жена Гуковского умерла, а ее родители отказывались отдать девочку отцу.

С. 533 *Горький... был на Съезде...* — С 26 января по 10 февраля 1934 года в Москве проходил XVII съезд ВКП(б). Речь Сталина была произнесена 26 января.

...я услыхал сообщение Енукидзе о трех погибших героях Осовиахима. — 30 января 1934 г. при полете на советском стратостате «Осовиахим-1» П. Ф. Федосеенко, А. Б. Васенко и И. Д. Усыскин установили мировой рекорд высоты — 22 км. Однако при спуске стратостат потерпел аварию и экипаж погиб.

С. 535 *Прочитал здесь... «Дело Засулич», «Игры народов» и пр.* — Дело Веры Засулич / Предисл. П. Е. Щеголева. — Л.: Рабочий суд, 1925; *В. Н. Всеволожский-Гернгросс* и др. Игры народов СССР. М.—Л., 1933.

С. 537 *Я утешал его, как мог, хотя «Киже» действительно плох.* — Речь идет о фильме «Подпоручик Киже» по сценарию Ю. Тынянова, который поставил режиссер А. Файнциммер (Белгоскино, 1934).

...Эйхенбаума... изругали в «Лит. газете». — 1 марта 1934 г. в «Литературной газете» помещена статья Мих. Корнева «Ранний Толстой и "социология" Эйхенбаума». Статья изобилует политическими обвинениями. Критик утверждает, что «две книги Эйхенбаума о творчестве Толстого, вышедшие из печати (первая в 1928 г., вторая в 1931 г.) ... — яркое свидетельство того, что формалисты стоят на прежних позициях и что борьба с ними по-прежнему актуальна... Эйхенбаум считает научным "открытием" свои рассуждения о деидеологизации толстовских героев... Эйхенбаум проповедует, что источники художественной гениаль-

ности кроются не в социальной действительности, а в самой “натуре” человека... Ни разу не упоминая о ленинских работах, Эйхенбаум... пытается в своих книгах “опровергнуть” основные ленинские положения о творчестве Толстого». Взгляды Эйхенбаума, по мнению критика, «ярко выражают активизацию формализма в советском литературоведении и его скрытую, замаскированную борьбу против марксистской критики».

С. 538 *Каверин, очень обиженный карикатурой Радлова...* — Речь идет о книге: *Н. Радлов.* Воображаемые портреты. Изд-во писателей в Ленинграде. 1933. Шарж на В. Каверина помещен на с. 43.

Все... говорили об академике Державине – и о его... нападках на Зощенку. — В ленинградском Доме ученых состоялся диспут о повести М. Зощенко «Возвращенная молодость». Отчет об этом диспуте за подписью «Б. Р.» помещен в «Литературной газете» 26 марта 1934 г. под заглавием «Победа или поражение». В статье рассказано, что «зал Дома Ученых заполнили крупнейшие авторитеты ленинградской науки», что Зощенко принес на диспут пачку читательских писем. «...Суровым критиком неожиданно оказался академик Н. С. Державин»,— говорится далее. «Для исследователя литературы,— сказал Н. С. Державин,— не существует терминов “нравится” или “не нравится”... Мы рассматриваем произведение с точки зрения идейной направленности... В первой части Зощенко очень мастерски представляет нам “проблематичного автора”. Это вымышленный автор, мещанин до костей, мещанин от науки... Эта часть книги написана в своеобразном стиле Зощенко. Я не поклонник этого стиля. Я не знаю сейчас социальной среды, которая бы говорила на этом жаргоне — в прошлом так говорили дворники и номерные... На каких идеологических позициях стоит Зощенко?..» Зощенку защищал К. Федин, который заявил, что «повесть диалектична. И это хорошо, что у писателя есть свой голос... Зощенко сочетает научный материал с высокой настоящей литературой. То, что академику Державину кажется “шутовским сказом”,— это результат изысканности... Путь Зощенко — это путь большого преодоления, путь настоящего сопротивления». Академик А. Ф. Иоффе сказал: «Я не могу согласиться с оценкой, данной Н. С. Державиным». И добавил: «Я не историк литературы, я физик, и выступаю здесь как читатель, поэтому я смею заявить, что повесть Зощенко мне нравится...» В своем заключительном слове Зощенко заметил: «Очевидно, академик Державин никогда не ходит по улице и не ездит в трамвае, если он считает, что язык моих героев уже не существует».

С. 539 *...его немка ввязывается в разговор.* — Вероятно, речь идет о Марии Остен. См. примеч. к с. 531 на с. 596.

С. 543 *А зачем вы, черны вороны, / Очи выклевали мне.* — Неточная цитата из некрасовских «Коробейников» (VI): «А за что вы, черны вороны, / Очи выклевали мне?»

Вожусь с «Шекспиром». — Вероятно, речь идет о статье «Единоборство с Шекспиром», опубликованной в журнале «Красная новь» (1935. № 1, с. 182–196). Эта статья, как и другие работы Чуковского по теории художественного перевода, вошла впоследствии в его книгу «Высокое искусство».

После тех передряг, которые были с ним в связи с делом Ефремова... — Михаил Сергеевич Грушевский, украинский историк. В 1917 году был избран почетным председателем Рады, а одним из его заместителей стал Сергей Ефремов. После переворота, в 1918 году Грушевский эмигрировал, потом вернулся из эмиграции и был избран академиком АН Советской Украины (1924). В марте 1927 года ЦК КП(б)У принял на уровне Политбюро постановление о реорганизации Все-

украинской Академии Наук (ВУАН) с целью ее «обновления». Усилилось противостояние между главными кандидатами на пост президента Академии — Грушевским и Ефремовым. В конце 20-х годов большевистское руководство Украины сфабриковало так называемый процесс «Украинского национального центра». Он завершился грандиозным разгромом ВУАН. 45 ведущих ученых были приговорены к расстрелу или, в лучшем случае, высылке из Украины. Был уничтожен и «контрреволюционер» Ефремов, а сам Грушевский оказался в опале. 23 марта 1931 года Михаила Сергеевича арестовали. В то время он находился в вынужденном изгнании в Москве. Грушевскому разрешили проживание в Москве на правах академика АН СССР, правда, без возможности въезда в Украину.

С. 546 *...роман о Кронштадте* — роман Н. Чуковского «Слава» (Л.: ГИХЛ, 1935).

С. 552 *...я закончил свой фельетон о Репине... «Правда» фельетон приняла, равно как и другой... – «Искусство перевода».* — См. статьи К. Чуковского в «Правде»: «Репин: к 90-летию со дня рождения» (5 января 1935) и «Искусство перевода» (1 марта 1935).

1935

С. 556 *...его книжка о Чернышевском...* — *Л. Б. Каменев.* Чернышевский. М., 1933 (2-е изд. 1934).

...его разговоры о Мандельштаме, его статьи о Полежаеве, Андрее Белом и проч. свидетельствовали о полном непонимании поэзии. — После ареста и гибели Каменева его имя не появлялось в печати вне обличительного контекста пятьдесят лет. Так, каталог изд-ва «Academia», директором которого был Л. Б. Каменев, не содержит никаких упоминаний о нем (М.: Книга, 1980). Лишь в 1988 г. в журнале «Советская библиография», № 3, появилась библиография статей Л. Б. Каменева, составленная В. В. Крыловым. Журнальный вариант библиографии не включает статей Л. Б. Каменева о литературе. В. В. Крылов любезно познакомил меня с неопубликованной частью своей работы и сообщил, что статья об *Андрее Белом* – это предисловие Каменева к книге А. Белого «Начало века» (М.—Л., 1933). На это издание отозвался Владислав Ходасевич в «Возрождении» (28 июня, 5 июля 1934). В своей рецензии Ходасевич писал, в частности, о каменевском предисловии: «Умным человеком Каменева назвать трудно. Но он и не глуп. Несмотря на марксистскую тупость, в обширной своей вступительной статье он затронул ряд существенных тем, возникающих при чтении беловской книги. Поэтому мы отчасти даже воспользуемся его статьей, не потому, что очень хотим с ним полемизировать, а потому, что его замечаниями до некоторой степени подсказывается план наших собственных» (цит. по: *Владислав Ходасевич.* Статьи. Записная книжка // Новый мир. 1990. № 3, с. 173—179). *Статья о Полежаеве* – см. статью Л. Каменева в кн.: *А. И. Полежаев.* Стихотворения. М.—Л.: Academia, 1933, с. 1—35. К сожалению, во всех четырех экземплярах, хранящихся в Российской государственной библиотеке, эти страницы аккуратно вырваны.

С. 557 *Разбираю его письма ко мне.* — О письмах Репина к Чуковскому см. *Переписку.*

...«Всекохудожник»... — Всесоюзное кооперативное товарищество художников.

С. 559 *Горький... в «Правде»...отзывается о нем самым восторженным образом.* — М. Горький опубликовал в «Правде» серию статей о современной литературе под заглавием «Литературные забавы». Горький с похвалой пишет о Мирском и, в частности, замечает: «Дм. Мирский разрешил себе появиться на землю от родителей-дворян, и этого было достаточно, чтобы на него закричали: как может он, виновный в неправильном рождении, критиковать книгу коммуниста?.. [Речь идет о романе А. Фадеева «Последний из Удэге» — *Е. Ч.*] Следует помнить, что Белинский, Чернышевский, Добролюбов — дети священников, и можно назвать не один десяток искренних и крупных революционеров, детей буржуазии, которые вошли в историю русской революции как честнейшие бойцы, верные товарищи Ильича» (1935, 24 янв.).

«Поликратов перстень» — название известной баллады Шиллера, переведенной В. А. Жуковским. В основе баллады — несколько глав из «Истории» Геродота. Геродот рассказывает о Поликрате Самосском (VI век до н. э.), за которым везде следовала удача. Египетский царь Амасид написал ему: «...я желал бы, чтобы удачи сменились неудачами... я никогда не слышал, чтобы кто-либо, пользуясь во всем удачею, не кончил бы несчастливо и не был бы уничтожен окончательно». Амасид посоветовал Поликрату закинуть подальше самую драгоценную для него вещь, чтобы она не попадалась на глаза. Поликрат забросил далеко в море свой любимейший перстень, однако через неделю рыбак выловил рыбу, нашел в ее брюхе этот перстень и вернул его Поликрату. Узнав об этом, Амасид понял, что с Поликратом случится страшное несчастье. Действительно, вскоре персидский сатрап Орейт заманил к себе Поликрата и приказал повесить его вниз головой. В наши дни, зная о гибели Мирского в заключении, нельзя не задуматься о зловещем пророчестве его реплики по поводу горьковских похвал.

...в споре с Заславским Горький прав совершенно. — В статье «Литературная гниль» (Правда. 1935, 20 янв.) Д. Заславский негодует по поводу того, что «Литературная газета» «с ликующим видом поведала читателю (26-XII), что... уже в гранках находится роман Достоевского “Бесы”. Издает его “Академия”... Прямая ложь, будто роман “Бесы” — это крупнейшее художественное произведение XIX века, — продолжает Заславский. — Контрреволюционную интеллигенцию всегда тянуло к “достоевщине”, как к философии двурушничества и провокации, а в романе “Бесы” — это двурушничество размазано с особым сладострастием. Роман “Бесы” — это грязнейший пасквиль, направленный против революции...» Далее Заславский апеллирует к авторитету Горького и Ленина: «Известно, с какой страстью протестовал Алексей Максимович Горький, когда незадолго до революции Московский Художественный театр поставил инсценировку “Бесов”, и как “завыла” тогда против Горького вся буржуазная печать, и как сочувственно отнесся к выступлению Горького Ленин». Завершается статья таким аккордом: «...из “Бесов” контрреволюция добывала свои клеветнические “аргументы”. В этих условиях... выбор “Бесов” для отдельного издания... нельзя не признать по меньшей мере странным».

Горький немедленно возразил Заславскому: «...я решительно высказываюсь за издание “Академией” романа “Бесы”... Делаю это потому, что я против превращения легальной литературы в нелегальную, которая продается “из-под полы”, соблазняет молодежь своей “запретностью”... Врага необходимо знать, надо знать его “идеологию”... В оценке “Бесов” Заславский хватил через край... Советская власть ничего не боится, и всего менее может испугать ее издание старинного романа. Но... т. Заславский доставил своей статейкой истинное удо-

вольствие врагам и особенно — белой эмиграции. "Достоевского запрещают!" — взвизгивает она, благодарная т. Заславскому» (Правда, 1935, 24 янв.).

Однако Заславского не убедили доводы Горького: «...Если быть последовательным, — ответил он в «Правде» 25 января, — то для знакомства с идеологией классового врага, по Горькому, надо печатать не только старое барахло 60—70 гг., но и современных... Почему ограничиваться старинными романами, а не преподнести нашей публике Арцыбашевых и Сологубов с их гораздо более свежей клеветой против революции?.. Из предложений подобного рода вытекает вывод о пользе издания контрреволюционной литературы Троцкого, Зиновьева, Каменева, известных руководителей правой оппозиции... Не следует с благодушной терпимостью открывать шлюзы литературных нечистот».

С. 561 *Мехлис... начал кампанию против Горького: статья Заславского, статья Панферова.* — Кроме Заславского, 28 января в «Правде» выступил против Горького Ф. Панферов со своим «Открытым письмом...». Горький задел Панферова в «Литературных забавах». В ответ Панферов разоблачил тех писателей, которых Горький хвалил: «В своей статье вы настойчиво расхваливаете книгу Зазубрина "Горы". Известна и нам сия книга... Разве секрет, что Зазубрин клеветнически писал о войне, якобы объявленной партией крестьянству... Вы поднимаете до небес Мирского и обрушиваетесь на Фадеева». В заключение Панферов напоминает Горькому «мысль товарища Сталина о том, что кадры надо выращивать с такой же любовью, с какой садовник выращивает плодовое дерево».

С. 562 *Портрет выходит поверхностный и неумный...* — В комментариях к письмам Игоря Грабаря упомянута история этого портрета: «В январе 1935 г. я съездил в Ленинград, где написал портрет К. И. Чуковского, читающего вслух отрывок из "Чудо-дерева". Он, кажется, вышел довольно острым как по композиции, развернутой горизонтально, так и в цветовом отношении — зеленому фону, красной обложке книжки, серебристым волосам и серому пиджаку» (*И. Грабарь.* Моя жизнь. М.—Л., 1937, с. 318). Портрет датирован 20 января 1935 г. «Впервые был показан на весенней выставке работ московских художников в 1935 г.; на юбилейной выставке Грабаря экспонировался как собственность Третьяковской галереи; ныне — в Киевском музее русского искусства» (*Игорь Грабарь.* Письма. 1917—1941. М.: Наука, 1977, с. 388).

С. 563 *...Волин прочитал в газетах о включении в книжку «Крокодила» и... распорядился задержать.* — В 5-м издании «От двух до пяти» (Л.: Худож. лит., 1935) уцелели только отрывки из первой части «Крокодила».

Семашко... поехал в «Правду» — просить Кольцова, чтобы он не печатал мою статью. — Статья «Детский сахарин» — о книге Н. Венгрова «Песенки с картинками для маленьких» (М., 1935) опубликована в «Лит. газете» 20 апреля 1935 года.

С. 564 *...статья о Репине принята... в «Новом Мире».* — *К. Чуковский.* Илья Репин. (Воспоминания) // Новый мир. 1935. № 5, с. 195—212.

...начальник Колымы... латыш. — Эдуард Петрович Берзин. Кинофильм «Колыма» — документальный этнографический немой фильм в 4-х частях, снятый по заданию НКВД. Оператор — Савелий Савенко. О том, что там работают заключенные, в фильме ни словом не упоминается. В прокат фильм, вероятно, не выходил, в печати сведения о нем отсутствуют (сообщил С. Д. Дрейден).

С. 567 *«Отношение Тынянова к Советской власти отрицательно» или что-то в этом роде.* — Известная нам статья Д. Мирского «Роман Тынянова о Грибоедове»,

опубликованная в парижском еженедельнике «Евразия» (1929. № 13), не содержит тех суждений, которые упоминает Тынянов.

С. 568 *Читаю «Дело Огарева» – Черняка.* – Упомянута книга: *Я. З. Черняк.* Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. Дело Огарева – Панаевой. По архивным материалам. М.–Л.: Academia, 1933.

С. 569 ...*Заславский поместил в «Правде» фельетон о моей «Солнечной»*.... – Имеется в виду статья Д. Заславского «Детская книга для взрослых» (Правда. 1935, 25 апр.).

Пыпины заняли... часть нашей квартиры... – Речь идет об Н. А. Пыпине и его жене Екатерине Николаевне. В начале 1935 года их выслали из Ленинграда как дворян. Корней Иванович деятельно хлопотал за них, ходил в Смольный, сохранилось его письмо к М. Горькому: «Алексей Максимович. Вы знаете, как много сделала в свое время семья Пыпиных для Чернышевского. Когда Чернышевский был сослан в Сибирь, Пыпины воспитали его детей, приютили у себя его жену, двадцать лет оказывали ему денежную помощь, – и вот теперь единственный член этой семьи Николай Александрович Пыпин ссылается из Ленинграда на Восток.

Я уверен, что тут недоразумение. Вне библиотек и архивов он не может работать. Он только что закончил отличную работу по Некрасову ("Некрасов как драматург») и в настоящее время редактирует мемуары и письма Репина. Вся работа немыслима вне Ленинграда. Спасите этого человека. Ему 60 лет. Никаких преступлений за ним нет. Сейчас я прочитал в газетах прилагаемую при сем заметку, и мне стало больно, что по недоразумению этот ближайший родственник Чернышевского может так жестоко пострадать». (См.: Переписка М. Горького с К. И. Чуковским / Коммент. Н. Н. Примочкиной // Неизвестный Горький. М.: Наследие, 1995, с. 250–251.) К письму приложена газетная вырезка «Из тюремной библиотеки Н. Г. Чернышевского». В статье говорится, что Н. А. Пыпин передал в дар Литературному музею три книги из числа тех, которые были с Н. Г. Чернышевским в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (Правда. 1935, 24 марта).

В результате этих хлопот Пыпиных телеграммой вернули с дороги в Ленинград. Однако они опасались жить в своей прежней квартире (Литейный проспект, д. 9), и туда переехала Л. К. Чуковская. А Пыпины въехали в ту часть квартиры Чуковских, которую занимала семья Лидии Корнеевны.

С. 571 ...*бактериолог, брат Вени, замечательный ученый...* – Тынянов говорит о брате Вениамина Каверина – знаменитом микробиологе Льве Александровиче Зильбере. Подробнее о нем см.: *В. А. Каверин.* Эпилог. М., 1989. Глава «Старший брат», с. 120–165.

Комментарии Е. Ц. Чуковской

1922

4 июня — Алексей Толстой напечатал в Берлине в газете «Накануне» частное письмо к нему от Чуковского.

Июль — в Ольгино под Петроградом пишет «Тараканище».

Ноябрь — в Москве переводит пьесу ирландского драматурга Синга «Плэйбой» для постановки в 1-й Студии МХАТ'а.

Работа во «Всемирной литературе». Завершен перевод «Королей и капусты». Напечатаны в серии «Некрасовская библиотека»: «Некрасов как художник», «Жена поэта», «Поэт и палач: (Некрасов и Муравьев)», а также книги: «Оскар Уайльд», «Футуристы» и «Книга об Александре Блоке».

1923

Январь — портрет Чуковского пишет Сергей Чехонин.

Сентябрь — поездка с Е. Замятиным в Коктебель к Волошину.

Работа во «Всемирной литературе», в редакции журнала «Современный Запад». «Мойдодыр» и «Тараканище» напечатаны в издательстве «Радуга».

1924

17 марта — поездка в Москву с редакцией «Русского современника», вечер журнала в Большом зале Консерватории.

Конец июня—середина сентября — в Сестрорецке под Петроградом.

25 декабря — «Всемирная литература» закрыта, а ее портфель передан Госиздату.

1925

«Русский современник» закрыт.

14 января. Последнее заседание Коллегии «Всемирная литература».

20 января — 8 февраля. Поездка в Финляндию, в Куоккала. Встреча с И. Е. Репиным. Получена большая часть архива, остававшаяся в Финляндии.

Март—апрель. Работа над сказкой «Самоварный бунт» («Федорино горе»).

В «Радуге» напечатан «Бармалей».

1926

Январь. Напечатана сказка «Телефон».

Апрель. Напечатаны «Федорино горе» и сборник «Некрасов. Статьи и материалы» в изд-ве «Кубуч».

Май–август. На даче в Луге.

Май. В «Красной газете» начато печатание киноромана «Бородуля» под псевдонимом «Аркадий Такисяк».

12 июля. Пишет книжку «Ежики смеются».

Июль. Арест Л. К.Чуковской и ее ссылка в Саратов.

1927

Апрель. Корректура сочинений Некрасова и «Воспоминаний Авдотьи Панаевой», выходящих с предисловием Чуковского и под его редакцией.

Лето. На даче в Сестрорецке.

15 сентября. Возвращение Л. Чуковской из саратовской ссылки.

27 октября. Все детские книги, представленные «Радугой», в том числе «Крокодил», задержаны Гублитом.

Конец ноября. Поездка в Москву и хлопоты о разрешении печатать «Крокодила». Принят Н. К. Крупской.

Выступление в Институте детского чтения с лекцией «Лепые нелепицы».

1928

1 февраля. В «Правде» напечатана статья Н. К. Крупской «О “Крокодиле” К. Чуковского» с резким осуждением этой сказки, а также работ Чуковского о Некрасове. Кампания «борьбы с чуковщиной».

14 марта. В «Правде» «Письмо в редакцию» М. Горького в защиту Чуковского.

22 марта. В Москве хлопоты о разрешении на издание «Путаницы», «Мойдодыра», «Тараканища» и «Мухи-Цокотухи». Эти сказки разрешены, запрещено «Чудо-дерево».

Сентябрь. Первая поездка на отдых в Кисловодск. Начало работы над сказкой «Лимпопо» (впоследствие выходила под назв. «Айболит»).

Выходит первое издание книги «Маленькие дети» (начиная с 3-го изд. книга печатается под заглавием «От 2 до 5»).

1929

2-е, сильно расширенное издание «Маленьких детей».

1930

Начало года. Заболела туберкулезом младшая дочь Мурочка.

Апрель. Напечатаны «Рассказы о Некрасове» в изд-ве «Федерация».

6 сентября. Поездка с Мурочкой в Крым для лечения. К. И. живет в Алупке, часто посещает детский туберкулезный санаторий, куда положили Мурочку.

Конец сентября. Поездка в Алушту к С. Сергееву-Ценскому.

10/X. «...живу в Гаспре в одной из башен и пишу о Слепцове».

Ноябрь. Начало работы над повестью «Солнечная». 15-го ноября приезд в Москву.

Декабрь. Знакомство с Лидией Филипповной Маклаковой (Нелидовой), бывшей женой В. Слепцова.

1931

Живет в Крыму около санатория, где лежит Мурочка. Работает над повестью «Солнечная».

10 ноября. Смерть Мурочки.

6 декабря. Возвращение в Ленинград.

1932

Конец февраля—начало апреля. В Москве, хлопоты об издании книг и статей.

Май. В Кисловодске.

1 июля. Поездка в Алупку на могилу Мурочки.

22/XII. Поездка в Москву с Ильиным и Маршаком на пленум ВЛКСМ. В Кремле... «Моя дикая речь в защиту сказки».

«Загряз в Николае Успенском — который связал меня по рукам и ногам. Ярмо "Академии", накинутое всеми редактурами, отбивающими возможность писать».

1933

Август. 11 концертов в Евпатории.

Конец августа. Из Евпатории поездка на могилу Мурочки в Алупку, а оттуда на пароходе в Тифлис. Из Тифлиса — в Кисловодск.

Книги: «От 2 до 5» (3-е изд. «Маленьких детей»), «Солнечная». Статьи о Николае Успенском, В. Слепцове.

1934

19 января. Поездка в Москву. Заседание комиссии по детской книге с участием М. Горького.

Выступления с лекциями о Репине. Чтение своих сказок на детских утренниках.

29 ноября. «Сегодня вечером читал о Шекспире — в секции переводчиков».

Декабрь. «Волин задержал «Крокодила», а Томский «50 поросят» (!!!)».

Изданы «Люди и книги шестидесятых годов».

1935

Январь. «"Крокодил" запрещен весь».

Конец января — февраль. Поездка в Москву, чтобы прочитать лекцию о Репине и выступить в Колонном зале со своими сказками.

Март. Портрет Чуковского пишет Игорь Грабарь.

Отрывки из книги «Искусство перевода» напечатаны в «Красной нови» № 1 и № 3, а воспоминания о Репине в «Новом мире» № 5.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[*]

Абрам Ефимович, см. **Эйзлер А. Е.**

Авдеев Владимир Николаевич (1904–1938, расстрелян), инженер 466

Авербах Леопольд Леонидович (1903–1937, расстрелян), критик, генеральный секретарь РАПП (1928–1932) 433, 435–436, 451, 488, 490, 493

Аверченко А. Т.* 275, 559

Аветовна, см. **Арутчева В. А.**

Авлов Григорий Александрович (1885–1960), театральный деятель 267

Агамалишвили Раффик, имитатор 510

Агапов Борис Николаевич (1899–1973), поэт, участник литературного центра конструктивистов 459

Агранов Яков Саулович (1893–1938, расстрелян), заведующий секретно-политическим отделом ОПТУ, с 1934 г. зам. наркома внутренних дел 315–316

Аграновский Абрам Давыдович (1895–1951), журналист, в 30-е гг. сотрудник газеты «Правда» 546

Адамович Иосиф Александрович (1896–1937, расстрелян), нарком внутренних дел Белоруссии 299

Адонц Гайк Георгиевич (псевд. **Петербургский**, 1889–1937, расстрелян), театральный критик, политредактор «Ленотгиза» 223, 360, 370; *587*

Адрианов Сергей Александрович (1871–1942), критик, историк литературы 9, 27

Азадовский Марк Константинович (1888–1954), литературовед 549

Азеф Е. Ф.* 262

Азов В. А.* 33

Айвазовский Иван Константинович (1817–1900), живописец 120

Айхенвальд Ю. И.* 20, 60; *577*

Аксаков И. С.* 530

Алданов Марк Александрович (1886–1957, умер за границей), писатель 341

Александр III* 143, 188, 204

Александра Ивановна, см. **Соболева А. И.**

Александра Федоровна (1872–1918, расстреляна), императрица, жена Николая II 262

[*] Указатель составили: Л. А. Абрамова и Е. Ц. Чуковская.

В указатель включены не все имена, встречаемые в дневнике. Не внесены в список неустановленные лица, некоторые бегло упомянутые фамилии, сведения о которых читатель получает непосредственно из текста, а также те, чьи имена несущественны для понимания записей. Краткие аннотации составлены применительно к контексту, в котором упоминается поясняемое имя.

Фамилии, аннотации к которым даны в предыдущем томе 11, отмечены знаком «*».

Алексеев В. М.* 23, 31, 61, 89, 122
Алексеев Глеб Васильевич (1892–1938, расстрелян), писатель 437
Алексинский Михаил Андреевич (1889–1938, расстрелян), член коллегии Наркомпроса РСФСР 368, 389, 485, 513, 521, 528–530
Алянский С. М.* 26, 47, 94, 127, 476, 496, 521, 526, 535, 544; *574*
Ангерт Давид Николаевич (1893–1977), зав. редакционным отделом «Ленотгиза» 119, 134, 169, 312, 389, 391, 493
Андерсен Х.-К.* 10, 53; *574*
Андерсен-Нексе Мартин (1869–1954), датский писатель 55
Андогский Николай Иванович (1869–?), врач-окулист 401
Андреев Василий Михайлович (1889–1942, погиб в заключении), писатель 282, 356
Андреев Л. Н.* 10, 17, 18, 25, 58, 60, 86, 135, 152, 164, 190, 209, 338–339, 400
Андреев Николай Андреевич (1873–1932), скульптор и график 84; *586*
Андреев С. Л.* 191
Андреева А. Н.* 190
Андреева А. И.* 18, 152, 191, 205
Андреева М. Ф.* 356, 539
Андреева Римма Николаевна (1881–1941), сестра Л. Н. Андреева 135, 216, 356
Анисфельд Борис Израилевич (1879–1973), художник 414
Анненков Иван Васильевич (1814–1887), вице-директор инспекторского департамента военного министерства 374
Анненков П. В.* 73, 374
Анненков Павел Павлович, сын П. В. Анненкова 73, 350
Анненков Ю. П.* 6–7, 10–12, 34, 45, 47, 54–56, 60–61, 65, 70, 71, 73, 82, 83, 86, 112, 114, 117, 126, 130–131, 133, 136, 160, 177, 314, 336, 573–574, 576–577, 580; *590*
Анненкова Е. Б.* 11, 71, 112, 114, 130–131, 160, 448
Анненкова З. А.* 131
Анненский Н. Ф.* 105
Антокольская Надежда Григорьевна (1900–1985), секретарь издательства «Academia» 484
Антокольский М. М.* 479; *586*
Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978), поэт 97
Антонович Максим Алексеевич (1835–1918), критик, публицист 535
Арий, см. **Мирский А. К.**
Арина Родионовна (**Яковлева**, 1758–1828), няня А. С. Пушкина 524
Арнштам Лео Оскарович (1905–1979), кинорежиссер, сценарист 222, 369–370
Аросев Александр Яковлевич (1890–1938, расстрелян), писатель, член правления изд-ва «Круг», с 1934 г. председатель ВОКСа 85, 88, 95, 571
Архангельский Александр Григорьевич (1889–1938), поэт 539, 541
Арцыбашев М. П.* *600*
Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт 368, 378, 487, 490; *592*
Асиновский Самуил Борисович, зав. редакцией детского отдела Леногиза, а позже «Молодой гвардии» 492
Аттила (?–453), предводитель гуннов 168–169; *583*
Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941), драматург, в 1941 г. возглавил лит. отдел Совинформбюро 503
Ахматова А. А.* 7–10, 18, 23, 27– 28, 37–39, 43, 47, 58–61, 63–64, 86–87, 92, 94, 96, 107, 108, 111, 113, 116–118, 120–121, 130, 134–135, 137, 139–140, 142, 162–163, 177, 569; *574–577, 579–580*
Ацаркин Александр Николаевич (1904–1988), редактор издательств «Молодая гвардия», «Пролетарий» 516, 541

Ашукин Николай Сергеевич (1890–1972), поэт, литературовед, библиограф 420, 470, 487

Баазов Герцль Давидович (1904–1938, расстрелян), грузинский драматург 509

Бабель Евгения Борисовна (1897 – 1957, умерла за границей), первая жена И. Э. Бабеля 277, 291

Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940, расстрелян), писатель 227– 228, 277, 378, 291, 293, 309, 365, 370, 379, 417

Бабель Мария Эммануиловна (1897–1987, умерла за границей), сестра И. Э. Бабеля 278, 291

Бабель Фейга (**Фаня**) **Ароновна** (умерла за границей), мать И. Э. Бабеля 291

Бабинец Александр Иванович (1902–1968), работник аппарата ЦК 515; *596*

Бабочкин Борис Андреевич (1904–1975), актер, режиссер 561

Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932), историк 381

Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895–1934), поэт 433, 487, 532, 534; *594*

Базаров (наст. фам. **Руднев**) **Владимир Александрович** (1874–1939, расстрелян), философ, публицист, действительный член Комакадемии 367

Базилевич Костантин Васильевич (1892–1950), историк 458

Базилевская Е. В., литературовед 350, 354

Байрон Д.-Н.-Г.* 96, 177, 286

Бакст Л. С.* 466

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876, умер за границей), революционер, публицист, идеолог народничества и анархизма 58, 105; *577*

Балухатый Сергей Дмитриевич (1892–1945), литературовед, библиограф, член-корреспондент АН СССР 350

Бальзак Оноре де (1799–1850), французский писатель 529, 571

Бальмонт К. Д.* 248, 323, 384

Бальфур А.-Д.* 87

Барабанов Борис Николаевич, основатель Уитменского общества в Педагогическом ин-те в Петрограде 17; *574*

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844), поэт 283; *589*

Барбюс Анри (1873–1935), французский писатель, общественный деятель 463

Бармин Александр Гаврилович (1900–1952), писатель *590*

Барри Джеймс Мэтью (**Barrie James Matthew**, 1860–1937), английский писатель 64; *577*

Барсуков Николай Платонович (1838–1906), археограф и историк 324

Барто Агния Львовна (1906–1981), поэтесса 519, 529, 563

Баршев Николай Валерьянович (1888–1938, умер в заключении), прозаик 521

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), поэт 366

Баузе Роберт Петрович (1895–1938, расстрелян), редактор «Красной газеты» 491

Башкирцева Мария Константиновна (1860–1884), художница, мемуаристка 153

Бедия Эрнест Александрович (1890–1938, расстрелян), нарком просвещения Абхазской АССР 509

Бедный Демьян (псевд. **Ефима Алексеевича Придворова**, 1883–1945), поэт 141, 164, 184, 285, 345, 362–364, 372, 433, 488, 493

Бейлис Мендель (1873–1934), приказчик на кирпичном заводе в Киеве, обвинен по ложному доносу

в ритуальном убийстве русского мальчика 33

Бекетов Владимир Николаевич (1809–1883), критик, цензор Петербургского цензурного комитета 354

Бекетова Е. А.* 94

Бекетова М. А.* 94–95, 226, 252

Беккер-Эдди Мэри (1821–1910), основательница американского религиозного движения Christian Science (христианская наука, *англ.*) *590*

Беленсон Александр Эммануилович (1890–1949), поэт, кинокритик, издатель 12, 26, 34

Беленький Абрам Яковлевич (1888–1941), сотрудник НКВД 521

Белецкий Александр Иванович (1884–1961), литературовед 402

Белинский В. Г.* 298, 301, 307, 559; *599*

Белицкий Е. Я.* 7, 116, 119, 134, 169, 173, 175, 181, 185, 279

Белкин В. П.* 136, 167, 327; *583*

Белопольская А. А.* 272

Белопольский Аполлон Григорьевич, служащий Московско-Ярославской железной дороги, друг семьи С. И. Мамонтова *585*

Белуха Евгений Дмитриевич (1889–1943), художник 134

Бельчиков Николай Федорович (1890–1979), литературовед 448, 501

Белый Андрей* 28, 30, 54, 144, 148, 509, 525, 534, 556; *598*

Белых Григорий Георгиевич (1906–1938, расстрелян), писатель 386

Бенкендорф (Будберг) М. И.* 55

Бенкендорф А. Х.* 333

Беннет Арнолд (1867–1931), английский писатель 73, 80, 212

Бенуа Ал-др Н.* 50, 65–66, 81, 90–91, 187, 541

Бенуа Альберт Николаевич (1852–1937, умер за границей), художник 48

Бенуа Анна Карловна (1869–1952), жена Ал-дра Н. Бенуа 91

Беранже Пьер Жан (1780–1857), французский поэт 246

Бергер Юхан Хеннинг (1872–1924), шведский писатель, автор пьесы «Потоп» 83; *578*

Берндорф, германский посол 459, 474

Берзин Эдуард Петрович (1894–1938, расстрелян), начальник треста «Дальстрой» НКВД 564; *600*

Берковский Наум Яковлевич (1901–1972), литературовед 495, 526–527

Бернштам Владимир Вильямович (1870–1931), адвокат, прозаик, публицист 157, 356

Бескин Осип Мартынович (1892–1969), критик, публицист, в 1926–27 гг. зав. отделом художественной лит-ры Госиздата 340, 377

Бескина Ада Моисеевна (1901–1940?, погибла в заключении), сотрудница ГИХЛ, критик, жена А. Д. Камегулова 527

Бескова Элсе (**Beskow Elsa**,1874–1953), шведская детская писательница – *582*

Беспамятнов Виктор Васильевич (1903–1938, погиб в заключении), драматург, секретарь парткома СП Ленинграда 568

Бетлер С.* 260

Бетховен Людвиг ван* 367

Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927), невропатолог, директор Психоневрологического института 150–151, 257

Бёклин Арнольд (1827–1901), швейцарский живописец 558

Бианки Виталий Валентинович (1894–1959), писатель-анималист 183, 324–325, 351, 391, 451

Билибин Иван Яковлевич (1876–1942), художник 75–76

Бирмингем Джордж (1865–1950), ирландский писатель, автор романа «Искатель золота» 162

Бичунский Иосиф Миронович, участковый врач 309–310

Благоволин Сергей Иванович, профессор-гинеколог 569

Благой Дмитрий Дмитриевич (1893–1984), литературовед 477, 487

Благонравов Аркадий Иванович (1898–1975), актер 2-го МХАТа 59; *577*

Блан Луи (1811–1882), французский историк, социалист-утопист 263

Блейк Уильям (1757–1827), английский поэт 371, 388–389

Блинов Л. Д.* 194, 201–202

Блинова Валентина Павловна, куоккальская соседка И. Е. Репина 206–207

Блок А. А.* 5, 7, 11, 18, 26, 30, 32, 38–39, 57, 74, 81, 85, 91–92, 94–96, 99, 104–105, 113, 115, 117–118, 123, 125–126, 132, 147, 163, 188, 197, 209, 213, 216, 241, 254, 292, 319–320, 347, 398, 436, 447, 491, 509, 574–576, 579–580, 583; *590, 602*

Блок Л. Д.* 95, 99, 220–221, 223, 279

Бломстед Вейно, финский художник *586*

Блох Михаил Федорович (1885–1919), скульптор *586*

Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), государственный деятель, один из учредителей общества «Арзамас» 570

Боборыкин П. Д.* 304, 423, 544

Бобринская Александра Алексеевна, жена А. П. Бобринского 143

Бобринская Соня, внучка А. П. Бобринского 142–144

Бобринский Алексей Павлович (1826–1894), граф, министр путей сообщения в 1871–74 гг. 143

Бобров Александр Александрович (1850–1904), профессор хирургической клиники Московского университета, основатель туберкулезного санатория в Крыму 412–414

Бобров Николай Николаевич (1898–1952), писатель 461, 466–467, 469–470

Богданович А. А., Шура* 399, 523

Богданович Владимир Аньёлович (1906–1941), сын Т. Ал. и А. И. Богданович 523

Богданович С. А.* 523

Богданович Татьяна Аньёловна (1902–?), дочь Т. Ал. и А. И. Богданович 523

Богданович Т. Ал.* 238, 249, 260, 264, 272, 300–303, 306, 310–311, 356, 358, 362, 403, 448, 522–524, 530, 545

Бойто Арриго (1842–1918), итальянский композитор, либреттист 204

Бокий Глеб Иванович (1879–1937, расстрелян), зам. председателя ВЧК 363

Боккаччо Джованни (1313–1375), итальянский писатель 81, 393, 423, 525

Бомонт Френсис (1584–1616), английский поэт, драматург, автор пьесы «Испанский священник» (совместно с Дж. Флетчером) 549

Бонч-Бруевич В. Д.* 121, 217, 554, 563

Борисоглебский Михаил Васильевич (1896–1942, погиб в лагере), писатель и художник 183, 246, 302

Борман Жорж (**Георгий Николаевич**, 1828–1918), купец, основатель шоколадной фирмы 40

Боровков Владимир Алексеевич (1883–1938, погиб в заключении), управляющий делами «Ленгиза» 181

Боронина Екатерина Алексеевна (1908–1955), детская писательница, соученица Л. К. Чуковской 296, 327, 330, 340, 354, 357, 359, 403

Боронина Любовь Алексеевна, мать Е. А. Борониной 327, 354, 357

Босвелл Джеймс (1740–1795), английский писатель, мемуарист 286

Боткин Василий Петрович (1811/12–1869), писатель, критик 413

Боткин С. П.* 413

Боткина-Зеленская Елизавета Михайловна, врач туберкулезного санатория в Крыму 413
Бохий, см. **Бокий Г. И.**
Боцяновский Владимир Феофилович (1869–1943), литературовед 13, 250, 263
Браудо Е. М.* 26, 46, 61–63, 71
Браун Владимир Владимирович 82
Браунинг Р.* 292
Брем Альфред Эдмунд (1829–1884), немецкий зоолог, просветитель 529
Бриан Аристид (1862–1932), французский государственный деятель 373
Брик Л. Ю.* 86, 378–379, 385, 399, 476
Брик О. М.* 86, 378, 400, 453, 464, 476
Бродская (урожд. **Гофман**) **Любовь Марковна** (1888–1962), художница, первая жена И. И. Бродского 527
Бродская (урожд. **Мясоедова**) **Татьяна Петровна**, вторая жена И. И. Бродского 268, 527
Бродский И. И.* 133, 192, 205, 268, 269, 285, 527; *585*
Бройдо Григорий Исаакович (1885–1956), председатель правления Госиздата, член коллегии Наркомпроса 312
Броннер Вольф Моисеевич (1876–1939, расстрелян), директор Государственного венерологического института, зав. иностранным отделом Наркомздрава СССР 382
Броннер Елена Борисовна (1881–1937, расстреляна), директор санатория Цекубу в Кисловодске 381–382
Броунинг см. **Браунинг Р.***
Брошниовская Ольга Николаевна, переводчица 362–363
Бруни Лев Александрович (1894–1948), художник 368
Брусянин Василий Васильевич (1867–1919), писатель 18
Брусянина Мария Ивановна (1874–1942), литератор, переводчица 80, 90
Брюсов В. Я.* 126, 183, 196, 207, 216, 323, 378, 382, 469–470; *595*
Брюсова Иоанна Матвеевна (1876–1965), переводчица, жена В. Я. Брюсова 323, 434, 469–470
Брюханенко Наталья Александровна (1904–1982), сотрудница Госиздата, знакомая В. Маяковского 488
Бубнов Андрей Сергеевич (1883–1938, расстрелян), с 1929 г. нарком просвещения РСФСР 497, 549, 552, 558
Буданцев Сергей Федорович (1896–1938, расстрелян), писатель 85
Буденный Семен Михайлович (1883–1973), военачальник, государственный деятель 511
Будогоская Лидия Анатольевна (1898–1984), писательница 362
Буланов Дмитрий Анатольевич (1898–1942, погиб в заключении), художник-плакатист, театральный художник 275
Булатов Михаил Александрович (1913–1963), фольклорист 533–536
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), писатель *582*
Бунин И. А.* 81, 128, 385, 387; *594*
Бунина (урожд. **Муромцева**) **Вера Николаевна** (1881–1961, умерла за границей), жена И. А. Бунина 385
Бурлюк Д. Д.* 83, 286
Бурмин Дмитрий Александрович (1872–1954), профессор, терапевт 389
Бурцев В. Л.* 56
Бурцов Иван Григорьевич (1794–1829), генерал-майор, декабрист 305, 334
Буссенар Луи Анри (1847–1910), французский писатель 215
Бутакова Варвара Иннокентьевна, секретарь К. Ч. 528
Буткевич Анна Алексеевна (1826–1882), сестра Н. А. Некрасова 219
Бутков Яков Петрович (1821–1856), беллетрист 308
Бухарин Николай Иванович (1888–1938, расстрелян), деятель

коммунистической партии 173–174, 273, 299, 538; *579*

Бухникашвили Григорий Варденович (псевд. **Гугули**, 1897–1979), грузинский драматург 509

Бухов А. С.* 446, 487

Бухштаб Борис Яковлевич (1904–1985), литературовед, критик 460

Бучин, издательский работник 134

Бучкин Петр Дмитриевич (1886–1965), художник 191

Буш Эдвин Вильгельмович (1873–1942), профессор-хиурург, главный врач больницы им. М. С. Урицкого 309–311, 333, 335

Бьюкенен Дж.-У.* 191

Быков Петр Васильевич (1843–1930), поэт, критик, библиограф 90

Быстрова Людмила Модестовна (1884–1942, погибла в лагере), зам. заведующего ленинградского Гублита 128, 165, 173–175, 239, 269, 281–282

Быстрянский В. А.* 19–20

Бэрроуз (Берроуз) Эдгар Рейс (1875–1950), американский писатель, автор романа «Сын Тарзана» 129, 139

Бюлер Карл (1879–1963), немецкий психолог 280

Вагинов Константин Константинович (1899–1934), писатель 23, 286, 292, 499; *574*

Вагнер Николай Петрович (1898–1988), поэт, прозаик, драматург 163

Вазари Джорджо (1511–1574), флорентийский живописец, архитектор, историк искусства 81

Вайнемейнен, главный герой финского эпоса «Калевала» 421

Валгрен Вилли (1855–1940), финский скульптор 203; *586*

Ван Гог Винсент (1853–1890), голландский живописец 466, 558

Вано, **Ванно**, см. **Иванов-Вано И. П.**

Варковицкая Лидия Моисеевна (1892–1975), литератор, переводчица, сотрудница ленинградского Госиздата 305, 359–360

Васенко Андрей Богданович (1899–1934), инженер, член экипажа стратостата «Осоавиахим-1» *596*

Василевский И. М. (Не-Буква)* 67, 432

Васильев Фёдор Александрович (1850–1873), художник *585*

Васильева (псевд. **Черубина де Габриак**) **Елизавета Ивановна** (1887–1928), поэт 100; *580*

Васильева-Кильштет, см. **Веселкова-Кильштедт М. Г.**

Васильченко Семен Филиппович (1884–1937, расстрелян), беллетрист, в 1920 г. заведовал изд-вом «Московский рабочий», в 1928 г. был редактором журнала «Читатель и писатель» (ЧиП) 377

Васнецов Юрий Алексеевич (1900–1973), художник, график 546–547

Вассерман, фотограф 86

Ватсон М. В.* 5, 135, 477

Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922), режиссер, актер *578*

Введенский Александр Иванович (1888–1946), идеолог и митрополит русской обновленческой церкви 56

Введенский Александр Иванович (1904–1941, погиб в заключении), поэт 517

Вейс Д. Л.* 82

Вейтбрехт (Черкасова) Нина Николаевна, соученица Л. К. Чуковской по Тенишевскому училищу, актриса, жена Н. К. Черкасова 12

Величковская Анна Николаевна (1854–1920-е), драматург 163

Вельтман А. Ф.* 421, 489

Венгеров С. А.* 18, 245

Венгерова З. А.* 321, 323, 325, 349

Венгерова И. А.* 325, 349

Венгров Н.* 344–345, 357, 365–366, 368, 519, 529, 563–565; *600*

Веневитинов Михаил Алексеевич (1844–1901), археограф, академик 364
Вербицкая А. А.* 6
Вербов М. А.* 160; *585*
Вергилий Марон Публий* 470
Верейская Елена Николаевна (1886–1966), детская писательница 448
Вересаев Викентий Викентьевич (1867–1945), писатель 102, 368
Вересаева Мария Гермогеновна, жена В. В. Вересаева 102
Верлен Поль* 93
Верн Ж.* 418, 519
Верховский Юрий Никандрович (1878–1956), поэт, литературовед 109, 135
Вершик Анатолий Моисеевич, математик *582*
Веселкова-Кильштедт Мария Григорьевна (1861–1931), писательница 224
Веселый Артем (псевд. **Николая Ивановича Кочкурова**, 1899–1938, расстрелян), писатель 382
Веснины, братья **Виктор Александрович** (1882–1950) и **Александр Александрович** (1883–1959), архитекторы 542
Виардо П.* 422
Виельгорский Михаил Юрьевич (1788–1833), граф, музыкальный деятель, композитор, меценат 364
Визе Владимир Юрьевич (1886–1954), географ, геофизик, метеоролог 373
Викстрем Эмиль (1864–1942), финский скульптор 203; *586*
Вильгельм II* 91
Вилькина-Минская Л. Н.* 323–324
Виноградов Анатолий Корнилиевич (1888–1946), писатель 433, 441, 446, 456–457, 460, 463–464, 474–476, 487; *593*
Виноградов Виктор Владимирович (1895–1969), филолог, академик 60; *577, 590*
Виттенбург Павел Владимирович (1884–1968), полярник, исследователь, профессор Географического института, руководитель экскурсионной станции в г. Лахта 48, 373
Вишняк Марк Вениаминович (1883–1975, умер за границей), юрист 27
Владимиров Иван Алексеевич (1870–1947), художник 120
Владимирцов Борис Яковлевич (1884–1931), востоковед-монголовед 31, 61, 74
Воейков Владимир Николаевич (1868–1942, умер за границей), генерал-майор свиты, дворцовый комендант 231
Вознесенский Александр Николаевич (1879–1937), поэт, муж актрисы В. Л. Юреневой* 116, 134, 559
Войков Петр Лазаревич (1888–1927, убит), полпред СССР в Польше 309
Войтоловский Лев Наумович (1877–1941), историк литературы 308–309, 359–360
Волин Б. (псевд. **Бориса Михайловича Фрадкина**, 1886–1957), государственный и партийный деятель, публицист, в 1931–35 гг. начальник Главлита 362, 456, 464, 467, 475, 547, 549, 551–554, 563; *594, 600, 604*
Волков Л., секретарь редакционно-инструкторского отдела Госиздата 79
Волков Леонид Андреевич (1893–1976), актер МХАТа-2 83
Волковыский Н. М.* 13, 35, 47, 57
Волконский Сергей Михайлович (1860–1937), князь, театральный деятель и критик, писатель *585*
Волошин М. А.* 100–102, 104–106, 139, 147–148, 550; *580, 602*
Волошина Мария Степановна (1887–1976), жена М. А. Волошина 105
Волынский А.* 10, 30, 35–37, 42–44, 46–47, 57–58, 61–62, 74, 81–82, 89,

119, 122, 163, 172, 176–180, 185–188, 209, 263; *578, 581, 583*

Волькенштейн Федор Акимович (1874–1937), присяжный поверенный, первый муж Н. В. Крандиевской 124

Волькенштейн Федор Федорович (1908–1985), сын Ф. А. Волькенштейна и Н. В. Крандиевской, физик, член-корреспондент АН 124

Вольпе Ц. С.* 403–404, 429, 449

Вольский К., редактор *577*

Вольтер М.-Ф.* 166, 571

Вольф Маврикий Осипович (1826–1883), книгоиздатель и книгопродавец 447

Вольфсон Лев Владимирович (1882–1953), владелец изд-ва «Мысль» 28, 134

Воровский В. В.* 462; *579*

Воронина Вера Захаровна (1827–?), писательница, друг А. Н. Островского и В. А. Слепцова 425

Воронов Михаил Алексеевич (1840–1873), писатель 444, 458, 460, 464–465, 530; *594*

Воронов М. Гр. 35

Воронский Александр Константинович (1884–1937, расстрелян), критик, публицист, редактор журнала «Красная новь», председатель изд-ва «Круг», главный редактор изд-ва «Academia» 111, 263, 279, 281, 335, 417, 420, 422, 488; *584*

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), князь, генерал-фельдмаршал, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор 420

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969), государственный, партийный и военный деятель 269, 498, 558

Востоков А. Х.* 448, 543

Врангель Петр Николаевич (1878–1928, умер за границей), барон, генерал царской армии 193, 446

Вреден Роман Романович (1867–1933), профессор, хирург-ортопед 402

Врубель А. А.* 75

Врубель М. А.* 30, 66, 85, 268, 273

Всеволожский-Гернгросс (**Гернгросс-Всеволодский***) **В. Н.** (1872–1962), историк театра *596*

Вудхауз Пэлем Грэнвил (1881–1975), английский писатель 343, 353; *590*

Вульфзон Владимир Григорьевич, глава изд-ва «Московский рабочий» 333

Выгодский Давид Исаакович (1893–1943, погиб в заключении), журналист, переводчик 95, 454

Вырубова (урожд. **Танеева**) **Анна Александровна** (1884–1964, умерла за границей), фрейлина императрицы Александры Федоровны 240, 362–363

Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954), прокурор СССР 532

Вяземский П. А.* 257, 539

Вяткин Георгий Андреевич (1885–1938, погиб в заключении), поэт, журналист 384

Габбе Тамара Григорьевна, **Туся** (1903–1960), писательница, фольклористка, редактор 359, 529

Габричевская Наталья Алексеевна (1901–1970), жена А. Г. Габричевского 471–472

Габричевский Александр Георгиевич (1891–1968), литературовед, переводчик 470–472

Гагарин Андрей Андреевич (1886–после 1933, умер в ссылке), офицер, сын А. Г. и М. Д. Гагариных 90

Гагарин П. А.* 17

Гагарина С. А.* 75, 90

Гайдар Аркадий Петрович (1904–1941), писатель 539

Гакстгаузен Август (1792–1866), барон, прусский чиновник, экономист, автор работ об аграрных отношениях в Пруссии и в России 51

Галактионов Иван Дмитриевич (1869–1941), сотрудник Госиздата 230, 279, 297, 301, 312, 323
Галина Константиновна, секретарь В. В. Воровского 462
Галлен Каллела Аксель Валдемар (1865–1931), финский художник 205, 213, 421; *586*
Галлонен Пекка (1865–1933), финский художник 203, 205; *586*
Галушкин А. Ю. * *578*
Гальперина-Гринштейн Олимпиада Борисовна, сестра Е. Б. Анненковой 71, 83
Ганецкий Яков Станиславович (1879–1937, расстрелян), партийный деятель, публицист 438, 474, 513
Ганзен Анна Васильевна (1869–1942), переводчица 13, 183, 521, 545
Ганзен Цецилия Генриховна (1897–1989, умерла за границей), скрипачка *586*
Гапон Георгий Александрович (ок. 1870–1906, убит) деятель революционного движения 1904–05 г.г. 353
Гарди Т.* 16, 22–23, 29, 35, 37
Гардин Владимир Ростиславович (1877–1965), режиссер и актер 333
Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852–1906), писатель 310
Гарина-Михайловская Надежда Валерьевна (1860–1932), издательница, жена Н. Г. Гарина-Михайловского 78, 80
Гаршин В. М.* 144
Гаршина (**Золотилова**) **Н. М.*** 477
Гасвиани Лидия Ларионовна (1902–ок.1938, расстреляна), переводчица 509
Гаусман Лидия Моисеевна, переводчица 37; *575*
Ге Николай Николаевич (1831–1894), художник 466
Гегенава Самсон Сильвестрович (?–ок. 1938, расстрелян), зам. наркома просвещения Грузии 509
Гедеонов Александр Михайлович (1790–1867), директор императорских театров 57
Гейне Г.* 213, 245, 305, 333, 418, 459, 495, 524, 526, 537, 567
Гентт, Гэнтт (**Gantt William Andrew Horsley**, 1892–1980), американский врач, сотрудник АРА 61, 63–65, 73, 74, 223, 252, 342
Герасимов Александр Михайлович (1881–1963), художник, в 1947–1957 гг. президент Академии художеств 559
Герасимова Валерия Анатольевна (1903–1970), писательница, первая жена А. А. Фадеева 550, 564, 572
Геркен Евгений Георгиевич (1886–1962), драматург, переводчик, опереточный либреттист 356
Герцен А. И.* 51, 459, 485, 533, 535, 556, 567; *601*
Герчиков Михаил Герасьевич (1897–1937, расстрелян), председатель Зерносовхозобъединения 439
Гершензон Михаил Абрамович (1900–1942), детский писатель 390–391
Гершензон М. О.* 345
Гессен (псевд. **Арно**) **Арнольд Ильич** (1878–1976), глава изд-ва «Петроград», писатель 31, 181, 323
Гессен И. В.* 9, 32, 34, 54, 251; *575*
Гёте И.-В.* 285, 424, 443, 459, 467, 470, 474
Гефт Израиль Соломонович (1892–1937, расстрелян), зав. издвом «Ленотгиз» 279, 373
Гиацинтова Софья Владимировна (1891–1982), актриса 59, 262, 278, 336
Гизетти Александр Алексеевич (1888–1938, расстрелян), критик, публицист, социолог 163
Гилес Григорий Лазаревич, технический редактор издательства «Academia» и типографии «Молодая гвардия» 478
Гиллер И. Г., сотрудник издательства «Радуга» 121

Гинзбург Лидия Яковлевна (1902–1990), литературовед, критик 257

Гинзбург Софья, критик 416

Гинцбург И. Я.* 191, 241, 274, 479, 521

Гиппиус Василий Васильевич (1890–1942), литературовед 163

Гиппиус З. Н.* 81, 163, 527

Гиппиус Татьяна Николаевна (1877–1957), художница, сестра З. Н. Гиппиус 94

Гитлер Адольф (1889–1945), рейхсканцлер и президент Германии 464

Гитович Александр Ильич (1909–1966), поэт, переводчик 562

Гладнев-Закс Самуил Маркович (1884–1937, расстрелян), глава издва «Прибой» 263

Глазунов Александр Константинович (1865–1936), композитор, дирижер 274

Глебов-Путиловский (наст. имя и фам. **Николай Николаевич Глебов**, 1883– 1937, расстрелян), редактор непериодических изданий «Красной газеты» 454

Глебова Т. И., см. **Каменева Т. И.**

Гливенко Иван Иванович (1868–1931), историк западноевропейской литературы 419

Гликин Исидор Моисеевич (1907–1942)**,** институтский товарищ Л. К. Чуковской 403–404, 428

Глинка Сергей Николаевич (1776–1847), писатель, автор исторических пьес и трудов по истории России 364

Глинский, сотрудник окон РОСТА 361

Глоцер Владимир Иосифович (1931–2009), литературовед *580*

Гнедич П. П* 168

Гогоберидзе Лина, кинорежиссер 509

Гоголь Н. В.* 114, 163, 208, 220, 318, 324, 326–327, 333, 343, 364, 382, 400, 422, 499; *573*

Годунов Борис (ок. 1552–1605), русский царь с 1598 г. 85, 204

Голдер (**Golder Frank Alfred**, 1877–1929), американский историк, в 1920–1923 гг. сотрудник ARA, с 1924 г. директор Гуверовской библиотеки Стэнфордского университета 342

Голичников Вячеслав Андреевич (1899–1955), режиссер ленинградского театра «Комедия» 260–261, 267, 288

Голлербах Э. Ф.* 27; *574*

Головачев Аполлон Филиппович (1831–1877), секретарь журнала «Современник» 219

Головушкин, участник уитменианского кружка 20, 36–37

Голодный Михаил Семенович (1903–1949), поэт 493

Голсуорси Джон (1867–1933), английский писатель 45–46

Гольдони Карло (1707–1793), итальянский драматург 74, 123–124, 130

Гольцев Виктор Викторович (1901–1955), издательский работник, литературовед, сын В.А. Гольцева 561

Гомер* 162

Гоникберг Иосиф Ильич, зав. издательским отделом Петрогосиздата 186

Гонкур (**Goncourt**) **де Эдмон** (1822–1896), французский писатель, автор романа «Актриса» 511

Гончаров И. А.* 46, 304, 476, 523

Горбачев Григорий Ефимович (1897–1938, расстрелян), литературовед и критик 185–186, 239 ; *584*

Горбунов Николай Петрович (1892–1938, расстрелян), академик, управделами Совнаркома, с 1935 г. непременный секретарь АН СССР 397, 434

Горелов Анатолий Ефимович (1904–1991), критик, главный редактор журнала «Звезда» 568

Горенко Инна Андреевна (1883–1905), сестра А. А. Ахматовой, жена С. В. Штейна 28; *575*

Горенко Ирина Андреевна (ок. 1888–ок. 1892), сестра А. А. Ахматовой 28; *575*

Горенко Инна Эразмовна (1856–1930), мать А. А. Ахматовой 28, 60

Горенко Ия Андреевна (1892–1922), сестра А. А. Ахматовой 28; *575*

Горлин Александр Николаевич (1878–1938, погиб в заключении), зав. иностранным отделом Ленгиза 94, 119, 175, 179, 214, 223, 249, 402

Горнфельд А. Г.* 18, 135, 144

Городецкая А. А.* 85; *592*

Городецкая (Бирюкова) Рогнеда Сергеевна, дочь С. М. Городецкого, актриса 393

Городецкий С. М.* 84–86, 393–394, 397–398, 558

Горохов Л. Б., главный редактор «Ленотгиза» 314, 322

Горфинкель Даниил Михайлович (1889–1966), переводчик, редактор *575*

Горький М.* 10–11, 13, 16, 30–31, 37, 45, 54–55, 60, 94, 95, 101, 111–112, 128, 134, 140, 142, 165, 172, 177–178, 185, 188, 190, 215, 221, 250, 259, 277, 286, 325, 348, 352, 354–362, 364–365, 368, 371–374, 377–379, 386, 388, 403, 417–418, 421, 428, 433–434, 441, 443, 446, 448, 453, 456–457, 460, 462–463, 470, 473–475, 478, 484–486, 488–493, 496–498, 502, 509–513, 516, 518, 520, 525, 528–534, 537, 542–543, 550, 553–554, 556, 557, 559, 561, 566–568, 571–572; *574, 576, 580, 585, 591–592, 594, 596, 599–601, 603–604*

Гофман Виктор Абрамович (1899–1942), историк литературы 524

Гофман Э.-Т.-А.* 61, 448

Грабарь И. Э.* 348–349, 541–542, 544, 549–550, 559, 562–563; *600, 604*

Грамматчикова (урожд. **Кони**) **Людмила Федоровна** (1860–1937), общественная деятельница, сестра А. Ф. Кони 88

Грановская Елена Маврикиевна (1877–1968), актриса 265–266, 270, 275, 289–290

Грачев Николай Андреевич, уролог-хирург 103, 106

Грачева (по первому мужу **Страхова**) **Ольга Георгиевна**, жена Н. А. Грачева 103, 106

Гревениц Борис Николаевич, барон, коллежский советник, член Комитета по делам русских в Финляндии 205

Греков Иван Иванович (1867–1934), хирург 107, 285

Грекова Елена Афанасьевна (1875–1937), писательница, жена И. И. Грекова 183

Гржебин З. И.* 14, 19, 44, 72–73, 86, 152, 390; *575, 594*

Грибоедов А. С.* 266, 283, 305, 333–334, 363–364, 370, 382, 494, 526, 562; *589, 600*

Григорович Д. В.* 392; *592*

Григорьев А. А.* 485

Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939, умер за границей), художник 527

Гримм, братья (**Якоб**, 1785–1863 и **Вильгельм**, 1786–1859), немецкие филологи, фольклористы, собиратели народных сказок 148

Грин Александр Степанович (1880–1932), писатель 226

Гринберг З. Г.* 325

Гринберг Моисей Григорьевич, издательский работник 325

Гриц Теодор Соломонович, Тэдди (1905–1959), писатель 420, 462, 517

Гришашвили Иосиф Григорьевич (1889–1965), грузинский поэт 561

Громов Михаил Михайлович (1899–1985), летчик, военачальник 470

Гронский Иван Михайлович (1894–1985), редактор газеты «Известия» (1931–1934) и журнала «Новый мир» (1931–1937), председатель оргкомитета ССП 474, 564
Гроос (Groos) Карл (1861 – 1946), немецкий психолог 306
Гроссман Леонид Петрович (1888–1965), историк литературы 183, 208, 376, 472, 487–488
Гроссман-Рощин Иуда Соломонович (1883–1934), критик 502
Груздев И. А.* 42, 144, 163–164, 352, 402–403, 421–422, 447, 449, 566, 568
Груздева Татьяна Кирилловна (1898–1966), жена И. А. Груздева 449, 566, 568
Грузенберг О. О.* 153, 252
Грузенберг Семен Осипович (1866–1938), философ, психолог 194, 213, 245, 263–264
Грум-Гржимайло Владимир Ефимович (1864–1928), металлург, член-корр. АН СССР 383; *592*
Грушевская Екатерина Михайловна (1900–1948, умерла в ссылке), историк, дочь М. С. Грушевского 543–544
Грушевская Мария Сильвестровна (1860–1948), переводчица, жена М. С. Грушевского 543
Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934), украинский историк, академик 543–544; *597–598*
Губер П. К.* 24, 108, 218
Гуковский Григорий Александрович (1902–1950, погиб в лагере), литературовед 329, 532, 542; *580, 596*
Гуль Роман Борисович (1896–1986, умер за границей), писатель, критик 403
Гулька, см. **Чуковский Н. Н.**
Гумилев Лев Николаевич, **Лева** (1912–1992), сын Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой 9, 28–29
Гумилев Н. С.* 5, 7, 9–10, 16, 28, 30, 32, 35, 86, 96, 113–114, 117, 188, 198, 216, 292, 332, 398, 401; *573–574, 580, 590*
Гумилева Анна Ивановна (1854–1942), мать Н. С. Гумилева 9
Гумилева А. Н.* 7, 9, 28, 332
Гумилева Елена Николаевна (1919–1942), дочь Н. С. и А. Н. Гумилевых 292, 332
Гуревич Ада 471, 533
Гуревич Любовь Яковлевна (1866–1940), литературный критик, писательница 84
Гурьян Ольга Марковна (1899–1973), детская писательница 564
Гусев Сергей Иванович (наст. имя и фам. **Яков Давыдович Драбкин**, 1874– 1933), партийный работник, военный комиссар, в 1925–27 гг. заведовал отделом печати ЦК ВКП(б) 515
Густавсон Свен (Gustavson Sven), шведский славист *575, 587*
Гучков А. И.* 82
Гюго В.-М.* 62, 246, 426

Давыдов Д. В.* 366
Дактиль (Д'Актиль, псевд. **Анатолия Адольфовича Френкеля**, 1890–1942), поэт 239, 240, 244, 247–248, 260, 268, 282
Даль В. И.* 245
Данте А.* 81, 520
Данько Елена Яковлевна (1898–1942), писательница 569
Данько Наталья Яковлевна (1892–1942), скульптор 569
Дарвин Ч. Р.* 138
Дейкун Лидия Ивановна (1889–1980), актриса, режиссер, педагог 59
Дейч Бабетта (1895–1982), американская переводчица, жена А. Ярмолинского 129, 228, 465, 467
Деникин А. И.* 193, 515
Денисова Вера Дмитриевна, актриса Государственного театра оперы и балета (ГОТОБ) 522
Державин Г. Р.* 534

Державин Константин Николаевич (1903–1956), театровед и критик 539
Державин Николай Севостьянович (1877–1953), филолог, историк, академик 308, 341, 537–538; *597*
Дефо Д.* 63
Джеймс Генри (1843–1916), американский писатель 13–16
Джером К. Дж.* 310
Джиральдони Эудженио (1871–1924), итальянский оперный певец, много гастролировавший в России 204
Джойс Джеймс (1882–1941), ирландский писатель 238, 489
Джонсон Самюэль (1709–1784), английский писатель, языковед 286
Джэдд А. *581*
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926), председатель ВЧК-ОГПУ, председатель ВСНХ 395, 473; *592*
Дикий Алексей Денисович (1889–1955), актер и режиссер 59, 83–84, 141
Диккенс Ч.* 32, 37, 41, 43, 59, 116, 226, 428, 437; *576–577*
Димитров Георгий (1882–1949), деятель болгарского и международного коммунистического движения *596*
Дирксен Герберт фон (1882–1955), германский посол в Москве в 1928–33 гг. *594*
Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт-баснописец 301
Дмитриева Елена Ивановна, служащая МОНО 362
Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874–1939), историк-медиевист 26–27
Добраницкая Е. К.* 479
Добраницкие, **Добраницкий М. М.*** и его семья 165, 465
Добровольский Николай Александрович (1878–1918, расстрелян), последний министр юстиции царского правительства 262
Добролюбов Леонид Николаевич, врач санатория «Бобровка» 410, 411, 427
Добролюбов Н. А.* 87, 96, 225, 301, 307, 354, 361; *579–580, 599*
Добрый Яков Борисович, зубной врач 399
Добужинский М. В.* 43, 47, 50, 135, 167, 331, 390
Добычин Леонид Иванович (1894–1936), писатель 256, 263, 265; *588*
Добычина Надежда Евсеевна (1884–1949), создательница и руководительница «Художественного бюро» 133
Доде Альфонс (1840–1897), французский писатель 333–334
Дойл А.-К.* 139, 158, 403
Долгоруков Павел Дмитриевич (1866–1927, расстрелян), председатель центрального комитета кадетской партии, член 2-й Государственной Думы 320
Долгоруков Петр Владимирович (1816–1868), публицист, генеалог 320
Долинин Аркадий Семенович (1880–1968), литературовед 208
Долинина Наталья Григорьевна (1928–1979), писательница, дочь Г. А. Гуковского и Н. В Рыковой *596*
Дорошевич В. М.* 23–25, 32, 75, 399; *574*
Дорэ Гюстав (1832–1883), французский гравер и писатель 76–77
Дос Пассос Джон (1896–1970), американский писатель 305, 510; *596*
Достоевская А. Г.* 208
Достоевский Андрей Андреевич (1863–1933), действительный статский советник, сотрудник Пушкинского Дома, племянник Ф. М. Достоевского 350
Достоевский Ф. М.* 6, 15, 39, 49, 59, 62, 81, 99, 107, 136, 141, 208–209, 253, 280, 285, 304, 321, 330, 333, 343,

398, 486–488, 492, 559; *573, 580, 589–590, 599–600*

Драбкина Елизавета Яковлевна (1901–1974), писательница 514–515; *596*

Драбкина Федосья Ильинична (1883–1957), член РСДРП с 1902 г., мать Е. Я. Драбкиной 515

Дрейден Александр Давыдович, брат Г. Д. и С. Д. Дрейденов 72, 77

Дрейден Г. Д.* 256, 270

Дрейден Симон Давыдович (1906–1991), театральный критик 65–66, 145, 160–161, 167, 237, 242–243, 270–271, 362, 411; *583, 600*

Дрейфус А.* 42

Дроздов Александр Михайлович (1895–1963), критик, прозаик 9

Дружинин Александр Васильевич (1824–1864), писатель, критик 348, 493, 499, 513

Дружинин Василий Григорьевич (1859–1937), исследователь истории раскола и памятников старообрядчества, библиограф 353–354

Дудучава Александр Иосифович (1899–1937, расстрелян), критик, заведующий сектором искусства Наркомпроса Грузии 509

Дудышкин Степан Семенович (1820–1866), критик, журналист 298

Дункан Айседора (1878–1927), танцовщица 10, 138, 446

Дыдзуль Ванда Станиславовна, врач детского санатория в Крыму 408–409, 414

Дымов О.* 41, 146, 257

Дымшиц Софья Исааковна (1886–1963), художница, жена А. Н. Толстого 121, 124

Дьячкова Ольга, одна из учениц К. Ч. в Студии художественного перевода 90; *579*

Дэвис Р.* *593*

Дюма А.* 529, 559

Евгеньев-Максимов В. Е.* 21, 44, 223, 254, 297, 301, 353–354, 358–359, 369–370, 499–500; *588, 591*

Евреинов Н. Н.* 83, 188; *579*

Евреинова, см. **Кашина А. А.**

Ежов-Беляев Иван Степанович (1880–1959), член правления издательства «Academia» 457, 487

Екатерина I (1684–1727), российская императрица *595*

Елагин Иван Перфильевич (1725–1794), поэт, драматург 281

Елена Карловна, см. **Добраницкая Е. К.**

Елисеев Г. З.* 301

Елпатьевский С. Я.* 321

Елькович Яков Рафаилович (?–1937, расстрелян), партийный деятель, редактор «Красной газеты» 260

Енукидзе Авель Сафронович (1877–1937, расстрелян), государственный и партийный деятель 533, 561; *596*

Еракова В. А.* 57

Еракова М. А.* 57

Ермаков Н. Д.* 11, 191, 197, 203

Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965), критик, литературовед 433, 553

Ершов Иван Васильевич (1867–1943), певец и педагог 95, 225, 259

Ершов Петр Павлович (1815–1869), поэт 55, 404, 418

Есенин Константин Сергеевич (1920–1986), журналист, футбольный статистик, сын С. А. Есенина и З. Н. Райх *588*

Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт 248, 251, 259, 269, 291, 299; *588*

Есенина Татьяна Сергеевна (1918–1992), писательница, дочь С. А. Есенина и З. Н. Райх *588*

Ефимов Борис Ефимович (р. 1900), художник-график 14, 346, 432; *596*

Ефимов Иван Семенович (1878–1959), художник, скульптор, один из организаторов кукольного театра 530

Ефремов Сергей Александрович (1876–1939, умер в заключении), литературовед, публицист, академик, вице-президент АН Украины (1921–1928) 543–544; *597–598*

Жаров Александр Алексеевич (1904–1984), поэт 433

Жданов Всеволод Иванович, инженер-металлург, зав. металлургическим отделом Главметалла 383, 387

Желдин Лев Борисович (1905–1959), директор Ленинградского отделения Детиздата 516, 520, 529

Жиральдони, см. **Джиральдони Э.**

Жирмунский В. М.* 40, 63, 178, 350, 542–543

Житков Б. С.* 114, 116, 132–133, 217, 220, 324, 330–331, 351, 391, 407, 451, 484, 517–518, 565–566, 568; *594*

Житков Степан Васильевич (1853–1921), отец Б. С. Житкова, учитель математики 566

Житкова Софья Павловна, жена Б. С. Житкова, племянница М. В. Кобецкого 220, 565–566

Житкова Татьяна Павловна (1852–1928), мать Б. С. Житкова 566

Жуков Иннокентий Николаевич (1875–1948), скульптор, искусствовед 6

Жуковская Наталья Юльевна (1874–1940), писательница, драматург 356

Жуковский В. А.* 292, 427–428, 469, 497; *599*

Журбина Евгения Исааковна (1903–1988), критик, литературовед 490

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958), поэт 517

Завадский Юрий Александрович (1894–1977), актер, режиссер 336, 444

Задунайская Зоя Моисеевна (1903–1983), редактор Ленинградского Детгиза 529

Зазубрин Владимир Яковлевич (1895–1938, расстрелян), писатель, автор «Щепки» 361; *600*

Зайцев Б. К.* *594*

Закс-Гладнев, см. **Гладнев-Закс С. М.**

Залесский Виктор Феофанович (1901–1963), критик *593*

Замирайло Виктор Дмитриевич (1868–1939), художник 72, 75–77, 80–81, 116, 132–133; *583*

Замчалов Григорий Емельянович (1901–1941), детский писатель 519

Замятин Е. И.* 5–6, 8–9, 11, 14, 19–20, 23–24, 26, 30, 36–37, 39, 42–47, 56, 69, 71, 73–74, 82, 88, 90, 92, 99–101, 103–107, 110, 114, 122, 125, 134–138, 141, 144, 151, 154, 166–169, 171–172, 174–175, 178, 180–182, 185–186, 188, 212, 214, 218, 222, 228, 263, 270, 302, 318, 319, 338, 341, 357–358, 372, 574, 578, 582–584; *602*

Замятина Л. Н.* 6, 20, 24, 39, 47, 96, 103, 110, 136, 141, 181, 218, 358

Зарубин, см. **Зазубрин В. Я.**

Заславский Давид Иосифович (1880–1965), партийный публицист 125, 263, 352, 362, 388, 448, 461, 521, 559, 561, 569; *588, 599–601*

Засулич Вера Ивановна (1849–1919), участница революционного движения, публицист 535; *596*

Заяицкий Сергей Сергеевич (1893–1930), поэт, переводчик 263

Зеленая Рина (наст. имя **Екатерина**) **Васильевна** (1902–1991), актриса 77, 432–434, 440

Зелинская Елена Михайловна, жена К. Л. Зелинского 443–444, 459

Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970), литературовед, критик 434 –435, 442–444, 454–455, 459; *593*

Зив Ольга (псевд. **Ольги Максимовны Вихман**, 1904–1963), прозаик, детская писательница *574*

Зильбер Лев Александрович (1894–1966), вирусолог, академик, брат В. А. Каверина 571; *601*

Зильберштейн Илья Самойлович (1905–1988), один из основателей «Литературного наследства», литературовед, коллекционер 342, 352, 360, 362, 373, 457–458, 460, 488, 554, 560; *594*

Зиновьев Г. Е.* 55–56, 142, 165, 178, 185, 212, 228, 345, 547, 555–556, 558; *600*

Златовратский Николай Николаевич (1845–1911), писатель 404

Зозуля Е. Д.* 344, 346, 379, 400, 420, 432–433, 458

Золя Э.* 519, 571

Зоргенфрей В. А.* 135

Зотов Рафаил Михайлович (1795–1871), исторический романист, драматург 421

Зощенко Валерий Михайлович (1922–1986), сын М. М. Зощенко 313, 539

Зощенко Вера Владимировна (1896–1981), жена М. М. Зощенко 260, 313, 339, 343, 352, 538, 562

Зощенко М. М.* 42, 79, 90–91, 260, 284, 312–316, 318–321, 323, 325, 327, 330, 338–340, 343–344, 352, 359, 391, 400–401, 490, 525, 537–539, 542, 555, 562; *590–592, 597*

Зуев, один из псевдонимов К. Ч. 165–166

Зуева (Ратманова) Елизавета Николаевна, мать Е. Н. Кольцовой 533

Зюдерман Герман (1857–1928), немецкий писатель, драматург, автор романа «Frau Sorge» 308

Иванов Вс. В.* 43, 55, 314, 318, 338, 436, 448, 502; *596*

Иванов В. И.* 376, 382

Иванов Вячеслав Всеволодович, **Кома** (р. 1929), филолог, переводчик, сын Т. В. и Вс. В. Ивановых *594*

Иванов Г. В.* 224

Иванов Михаил Всеволодович (1927–2000), сын Т. В. Ивановой и И. Э. Бабеля, художник 309

Иванов-Вано Иван Петрович (1900–1987), режиссер и художник кино 518

Иванов-Разумник Р. В.* 117, 134–135, 307–308, 326, 350

Иванова Лидия, поэт 163

Иванова (урожд. **Каширина**) **Тамара Владимировна** (1900–1995), переводчица, жена Вс. Иванова 291, 293

Иванова Татьяна Всеволодовна (р.1919), дочь Там. Вл. Ивановой, переводчица 291

Ивановский Александр Викторович (1881–1968), режиссер театра и кино *595*

Игельстрем Андрей Викторович (1860–1927), заведующий русской библиотекой «Slavica» в Хельсинки, журналист, сотрудник «Русского слова» 208

Изергин Петр Васильевич, врач санатория «Бобровка» 403, 407–409, 411–413, 419–420, 427

Израилевич Яков (**Жак**) **Львович** (1872–1953), секретарь М. Ф. Андреевой, позже директор Дома писателей им. В. В. Маяковского в Ленинграде 244, 338

Изя, см. **Гликин И. М.**

Икскуль фон Гильдебранд Варвара Ивановна (1851–1928, умерла за границей), издательница, общественный деятель 527

Ильин М. (наст. имя и фам. **Илья Яковлевич Маршак**, 1895–1953), детский писатель, брат С. Я. Маршака 440, 451, 496, 571; *604*

Ильинский Игорь Владимирович (1901–1987), актер 218, 528, 531

Ильф Илья Арнольдович (1897–1937), писатель 388–389, 440, 503

Инбер Вера Михайловна (1890–1972), поэтесса 502

Ионекава Фумико, японская музыкантша, сестра японского русиста Ионекава Масао 485–486

Ионов И. И.* 23, 35, 108, 119–120, 122, 168–169, 173, 175–180, 182–183, 185, 187, 212–213, 217, 231, 245–247, 249, 298, 312, 402, 404, 438, 444, 456, 457–458, 463–464, 474–475, 500

Ионова Александра Михайловна, жена И. И. Ионова 438

Иоффе Абрам Федорович (1880–1960), физик, академик 276; *597*

Иоффе Александр Наумович, сотрудник МОНО 389

Ипполит см. **Ситковский И.К.**

Ирвинг Вашингтон (1783–1859), американский писатель 44

Ирецкий Виктор Яковлевич (1882–1936), прозаик, критик, журналист, в 20-е гг. заведовал библиотекой Дома литераторов 13

Ирина, см. **Карнаухова И. В.**

Ирина, см. **Рейнке И. Н.**

Исаакян Аветик Саакович (1875–1957), армянский поэт 380

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, публицист 304

Кавелина (Корш) Антонина Федоровна, жена К. Д. Кавелина, сестра В. Ф. и Е. Ф. Коршей 304

Каверин В. А.* 97, 257–258, 341, 349, 497–498, 538, 571; *594, 597, 601*

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991), государственный и партийный деятель 434, 465, 516

Казанова Джованни Джакомо (1725–1798), итальянский авантюрист, автор «Истории моего побега» и «Мемуаров» 129

Казанский Борис Васильевич (1889–1962), литературовед, пушкинист 453

Казин Василий Васильевич (1898–1981), поэт 85, 486

Калашников Алексей Георгиевич (1893–1962), зав. редакционным сектором Госиздата, позднее министр просвещения РСФСР 82

Калинин М. И.* 231, 245, 247, 541

Калицкая Вера Павловна (1882–1951), детская писательница 226, 276

Камегулов Анатолий Дмитриевич (1900–1937, расстрелян), литературовед 401

Каменев Л. Б.* 88, 121, 172–174, 184, 228, 245, 345, 422, 460, 467, 478, 484, 487, 501, 531–532, 535, 542–543, 547–549, 554–556, 559; *584, 598, 600*

Каменева Ольга Давыдовна (1883–1941, расстреляна), зав. ТЕО Наркомпроса, жена Л. Б. Каменева, сестра Л. Д. Троцкого 306

Каменева Татьяна Ивановна (1895–1937, расстреляна), вторая жена Л. Б. Каменева, сотрудница издательства «Academia» 547–548, 556

Каменский Василий Васильевич (1884–1961), поэт, драматург, беллетрист 16–17, 83

Каминская Эльга Моисеевна (1894–1975), актриса-декламатор 60–61, 63

Камо (парт. псевд. **Симона Аршаковича Тер-Петросяна**, 1882–1922, убит), профессиональный революционер 515

Канатчиков Семен Иванович (1879–1940, погиб в заключении), председатель редсовета издательства «Федерация», главный редактор ГИХЛ, член редколлегии «Красной нови», в 30-е годы главный редактор «Литературной газеты» 436

Канторович Владимир Абрамович (1886–1923), поэт 99, 125

Капица Леонид Петрович (1864 – 1920), генерал-лейтенант инженерного корпуса, отец П. Л. Капицы 276

Капица Ольга Иеронимовна (1866–1937), мать П. Л. Капицы, детская писательница 275–277

Капица Петр Леонидович (1894–1984), физик, академик 276–277
Каплун Б. Г.* 43
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866, казнен), террорист-революционер 471; *595*
Карамзин Н. М.* 319
Карахан Лев Михайлович (1889–1937, расстрелян), дипломат, полпред СССР в Китае, в Турции 474
Кармен Д. Л.* 84
Кармен Л. О.* 207
Карнакова Екатерина Ивановна (1895–1956, умерла за границей), актриса, жена А. Д. Дикого 59; *577*
Карнаухова Ирина Валерьяновна (1901–1959), фольклористка 101–102, 105–107, 114, 116
Карпинский Александр Петрович (1846–1936), геолог, президент Академии наук СССР 241
Карпов Анатолий Матвеевич, секретарь ленинградского Гублита 177, 281
Карсавин Лев Платонович (1882–1952, погиб в лагере), религиозный философ, историк-медиевист 119
Картавов П. А.* 297
Касаткина Надежда Владимировна (1880–1973), зав. Губернской центральной детской библиотеки МОНО 389
Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель 516
Катенин Павел Александрович (1792–1853), поэт, переводчик, критик 320
Катловкер Бенедикт Адольфович (1872–?), журналист, один из основателей изд-ва «Копейка» 517, 532
Кац Дора Д.* 306
Кацман Евгений Александрович (1890–1976), художник 558–560
Качалов Василий Иванович (1875–1948), актер МХАТа 125, 376–377, 477
Кашендоне 386
Кашина (Евреинова) Анна Александровна (1899–1981, умерла за границей), жена Н. Н. Евреинова 99; *580*
Каширина Зинаида Владимировна (1894–1984), сестра Т. В. Ивановой 291
Каштелян Самуил Борисович, зав. техническим отделом Ленгиза 179, 187, 323, 327
Каянус Роберт (1856–1933), финский композитор, дирижер *586*
Керенский А. Ф.* 499; *586*
Керзон Джордж Натаниел (1859–1925), маркиз, министр иностранных дел Великобритании (1919–1924) 263; *579*
Керн А. П.* 301–302
Кини (Keeny Sprudjion Milton, 1893–1988), американский филолог, сотрудник АРА 73, 80–81, 83, 115–116, 120–121, 130, 134–135, 162
Киплинг Дж.-Р.* 161, 208, 214; *574*
Киреев Д. И., редактор ОГИЗа 457; *594*
Кириллина Елена Владимировна, научный руководитель Музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты» *587*
Кирнарский Марк Абрамович (1893–1941), художник-график 495
Киров Сергей Миронович (1886–1934, убит), государственный деятель, первый секретарь ленинградского обкома 315, 533, 546, 548–551, 553, 558
Кирпотин Валерий Яковлевич (1898–1997), литературовед, критик 529, 539, 569
Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972), поэт 432–433
Киселева Е. А.*, жена Н. А. Перевертанного-Черного 197
Клевер Юрий Юльевич (1850–1924), художник-пейзажист 191
Клейн Герман (1844–1914), немецкий астроном 342
Клейнмихель Петр Андреевич (1793–1869), государственный деятель 96
Клейст Генрих фон (1777–1811), немецкий писатель 497

Клеопатра (69–30 до н. э.), последняя царица Египта из династии Птолемеев 26

Кливанский С. А., журналист 35

Клоотс Анахарсис (1755–1794), деятель периода Французской революции, философ-просветитель, публицист 495

Клюев Николай Алексеевич (1884–1937, расстрелян), поэт 108, 248–249, 330

Ключарев Виктор Павлович (1894–1957), актер МХАТа-2 59, 83–84

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк 330

Клячко-Львов Л. М.* 37, 50, 56, 61–62, 64–65, 68–70, 75–77, 80–81, 92, 99, 110–112, 117, 122, 126, 127, 130, 134, 140, 143–144, 153, 155, 158–159, 165, 167, 183, 187, 222–224, 227, 238, 239, 243–244, 247–248, 264, 270–271, 276, 278, 281–282, 287, 321, 322, 326, 328, 329, 332, 350, 360, 370, 526

Книпович Е. Ф.* 567

Книппер-Чехова О. Л.* 477

Княжнин В. (псевд. **Владимира Николаевича Ивойлова**, 1883–1942), поэт, литературовед 114; *580–581*

Князев Василий Васильевич (1887–1937, расстрелян), поэт 183–184, 280, 329

Кобецкий Михаил Вениаминович (1881–1937, расстрелян), дипломат, с 1924 по 1933 полпред СССР в Дании, соученик К. Чуковского и Б. Житкова по одесской гимназии 116, 220, 565; *581*

Коган П. С.* 80, 467

Козаков Михаил Эммануилович (1897–1954), писатель 568

Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973), кинорежиссер *588*

Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт, переводчик 401

Козлов Петр Кузьмич (1863–1935), географ, исследователь Центральной Азии, академик АН УССР 394–398

Козьма Прутков (коллективный псевд. **Александра** и **Владимира Жемчужниковых** и **Алексея Константиновича Толстого**) 79, 166, 426

Кок Поль Шарль де (1793–1871), французский писатель 263; *588*

Колбасьев Сергей Адамович (1898–1937, расстрелян), писатель 111, 207, 211

Колесников Иван Федорович (1887–1929), художник 191

Колляри Мария Васильевна, жительница Куоккалы 196, 198, 202

Колтон Джон (1889–1946), английский драматург 251, 254, 257, 260–261, 266–268, 270, 277, 280, 283–285, 287–289; *588*

Колчак Александр Васильевич (1873–1920, расстрелян), адмирал 446

Кольцов Михаил Ефимович (1898–1940, расстрелян), писатель, журналист 345–346, 360–361, 365–366, 373, 377–379, 385–386, 388, 420, 432–434, 438–442, 444–447, 463–464, 475, 501, 503, 516, 531, 535–536, 539, 561, 563–564; *596, 600*

Кольцова (**Ратманова**) **Елизавета Николаевна** (1901–1964), жена М. Е. Кольцова 345–346, 385–386, 388, 432–433, 446, 464, 470, 501, 516, 531, 533, 560–561

Комаров Николай Павлович (1886–1937, расстрелян), зам. председателя Леноблисполкома 315

Комарова (урожд. **Стасова**) **Варвара Дмитриевна** (1862–1942), историк литературы, писательница 350

Комаровская Надежда Ивановна (1885–1967), актриса ленинградского Большого драматического театра 125

Кон Феликс Яковлевич (1864–1941), деятель польского революционного движения, сотрудник Коминтерна, в 30-е годы председатель Всесо-

южного комитета радиовещания, издательский работник 488
Конашевич Владимир Михайлович (1888–1963), художник 112, 114–115, 117, 127, 134, 336–337, 502, 517, 519–521, 550–551
Кони А. Ф.* 13–14, 35, 38, 57, 70, 88, 98–99, 205, 225, 274, 286, 290, 303–305, 328, 476–477
Кони Федор Алексеевич (1809–1879), писатель, театральный деятель, отец А. Ф. Кони 57
Конрад Джозеф (1857–1924), английский писатель 68; *577*
Конухес Г. Б.* 14, 64, 73, 90, 132, 149, 152, 262, 280–281, 310–311, 317–319
Копылов Федор Александрович, врач 403, 411, 494
Корбюзье (**Ле Корбюзье**, 1887–1965), французский архитектор 503
Корде д'Армон Шарлотта (1768–1793), убийца Марата 539
Корженевский Николай Леопольдович (1879–1958), гляциолог, физико-географ 478–479
Корнев Михаил Матвеевич (1904–1977), критик, один из руководителей Гослитиздата *596*
Корнейчукова Е. О.* 120, 138, 140, 147, 155, 162, 169–171, 185, 188, 210, 217, 222–223, 261; *587*
Корнейчукова (**Лури**) **М. Э.*** 155, 159, 170, 210, 222, 252, 392, 491–492, 494
Корнилов Борис Петрович (1907–1938, расстрелян), поэт 565
Корнилов Л. Г.* 498
Короленко В. Г.* 21, 33, 39, 105, 144, 215, 343
Короленко С. В.* 394, 396, 398
Корчагина-Александровская Екатерина Павловна (1874–1951), актриса 561
Корш Валентин Федорович (1828–1883), историк литературы, журналист, или **Евгений Федорович** (1809–1897), журналист, издатель, переводчик 304
Кост Е. А., переводчик с немецкого *590*
Костяйнен (правильно: **Костиайнен**) **Оскар**, куоккальский сосед И. Е. Репина, автор статей о Репине в финских журналах и газетах 196; *586*
Кот Мурлыка (наст. имя и фам. **Николай Петрович Вагнер**, 1829–1907), писатель, зоолог 445
Котляревский Н. А.* 57, 230, 259, 470
Коушанский, зубной врач 41, 159
Кочергин, сотрудник ленинградского Горлита 563
Кочетов Юрий, знакомый Л. К. Чуковской по саратовской ссылке 328
Краевский Андрей Александрович (1810–1889), журналист 219
Крамской И. Н.* 476
Крандиевская Анастасия Романовна (1865–1938), прозаик, мать Н. В. Крандиевской 450
Крандиевская-Толстая Наталия Васильевна (1888–1963), поэт, вторая жена А. Н. Толстого 124, 128–129, 379, 449
Красин Леонид Борисович (1870–1926), государственный деятель 85, 377
Краснов Петр Николаевич (1869–1947, казнен), атаман Войска Донского 559
Крачковский Игнатий Юлианович (1883–1951), филолог-востоковед, академик 23, 31
Крепс Евгений Михайлович (1899–1985), физиолог, академик 541
Крестинская Вера Моисеевна (1885–1963), жена Н. Н. Крестинского, полпреда СССР в Германии 306
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959), энергетик, академик 542
Кривич (наст. фам. **Анненский**) **Валентин Иннокентьевич** (1880–1936), поэт, мемуарист, сын И. Ф. Анненского 448
Кривкович Петр Никитич (1828– ?), художник, академический товарищ И. Е. Репина *585*
Кристи Б. П. вероятно, **Кристи М. П.*** 225, 549

Кроленко Александр Александрович (1889–1970), директор изд-ва «Academia», представитель изд-ва «Федерация» в Ленинграде (с 1929 г.) 326–327, 335, 337, 350, 370
Кролль, переводчик К. Чапека *581*
Круг Карл Адольфович (1873–1952), ученый-электротехник 382–383
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939), председатель научно-педагогической секции ГУСа, председатель Главполитпросвета, зам. наркома просвещения (с 1930 г.) 345, 358–361, 364–365, 367–368, 455; *591, 603*
Крученых А. Е.* 487
Крылов Вячеслав Викторович (1940–2005), главный библиограф научной библиотеки РГГУ *598*
Крылов И. А.* 364, 469
Крылов Никита Иванович (1807–1879), юрист, профессор римского права 304
Крылов Фотий Иванович (1896-1948), контр-адмирал, специалист по аварийно-спасательным и подводным работам 521
Крымов Николай Петрович (1884–1958), художник 166
Крючков П. П.* 371, 373, 377, 463–464, 484, 486–487, 489, 529, 553
Ксендзовский Михаил Давыдович (1886–1964), певец 132
Ксения Александровна (1875–1960, умерла в эмиграции), великая княгиня, сестра императора Николая II 169
Кублицкая-Пиоттух А. А.* 95
Кугель Иона Рафаилович (1873–1928), зав. вечерним выпуском «Красной газеты» 253, 263, 270–273, 277, 290, 325, 355, 358, 361
Кугель Рафаил, театральный критик 152
Кудашева Мария Павловна (1895–1985), жена Р. Роллана 571
Кузмин М. А.* 13, 292
Кузьмин Николай Васильевич (1890–1987), художник-иллюстратор, ученик С. Чехонина *578*
Кузнецов Евгений Михайлович (1900–1958), театровед, критик 324
Кузнецов И. П., ответственный секретарь изд-ва «Кубуч» 274
Куинджи А. И.* 191
Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935), государственный и партийный деятель 560
Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868), писатель 400, 497
Кулидж Калвин (1872–1933), президент США 529
Купер Джеймс Фенимор (1789–1851), американский писатель 305
Куприн А. И.* 59, 271, 415; *594*
Куприна-Иорданская М. К.* 82
Курбатов Владимир Яковлевич (1878–1957), историк Петербурга 28
Курдов Валентин Иванович (1905–1989), художник 520
Курчавова Евгения Ивановна (**Женя**), соученица Л. К.Чуковской 546
Кусиков Александр Борисович (1896–1977, умер за границей), поэт-имажинист 23–24
Кустодиев Б. М.* 139, 286, 357–358
Кустодиева Юлия Евстафьевна, жена Б. М. Кустодиева 286
Куцкая Елена Михайловна, жена Г. М. Куцкого 385–386
Куцкий Григорий Михайлович, инженер, член правления объединенных машиностроительных заводов «Гомзы» 383, 385–387
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт 213, 231, 283, 305, 402, 526, 568
Кякшт Евгений Георгиевич (1894–1956), актер 289

Лавренев Борис Андреевич (1891/2–1959), писатель 493
Лаврентьев А. Н.* 123, 261, 498
Лавут Павел Ильич (1898–1979), организатор литературных вечеров 528, 533
Лаганский Еремей Миронович (1887–1942), очеркист, сотрудник петроградского отделения «Крас-

ной нивы» и «Известий» ЦИК и ВЦИК 134, 498
Лагерквист-Вольвсон Сюзанна Эдуардовна, корреспондентка К. Ч. 336
Ладыжников Иван Павлович (1874–1945), издатель *575*
Лажечников И. И.* 477
Лазурский Вадим Владимирович (1909–1994), художник книги и шрифта, мультипликатор 519
Лакло Пьер Шадерло де (1741–1803), французский писатель 511
Ланг Фриц (1890–1976), немецкий и американский кинорежиссер 84; *578*
Ланской Петр Петрович (1799–1877), генерал-адъютант 374
Лассаль Ф.* 447
Лебедев В. В.* 50, 339, 388, 390, 544, 546
Лебедев-Полянский П. И.* 20, 120, 175, 281, 297–298, 385, 487, 554
Лебедева Сарра Дмитриевна (1892–1967), скульптор, первая жена В. В. Лебедева 472
Лебеденко Александр Гервасьевич (1892–1975), писатель 388, 538
Левенсон Даниил Соломонович (1856–?), брат Э. С. Левенсона, отца К. Ч. 222
Левенсон Э. С.* 152, 155, 222; *582*
Леви Василий Филиппович (1878–1953, умер за границей), юрист и художник, коллекционер картин 204–206
Левин Борис Михайлович (1904–1941), писатель 546, 550, 564, 572
Левин Моисей Зеликович (1895–1946), театральный художник 266 , 289
Левинсон А. Я.* 218
Левитан И. И.* 466
Лёвшин Василий Алексеевич (1746–1826), писатель 489
Лейно Энно (1878–1925), финский писатель *586*
Лекаренко Андрей Прокофьевич (1895–1974), художник-иллюстратор 520
Лелевич (псевд. **Лабори Гиллелевича Калмансона**, 1902–1937, расстрелян), критик 154; *582, 584*
Лемке М. К.* 51, 118
Ленин В. И.* 40, 120, 140, 158, 168, 172, 175, 178, 180, 199, 229, 237, 243, 245, 249, 259, 268–269, 307, 323, 345, 405, 439, 443, 462, 488, 512–513, 518, 527, 536, 547, 559; *591, 597, 599*
Ленский Владимир Яковлевич (1877–1937), прозаик, поэт 13
Леонардо да Винчи* 11, 35, 81, 285
Леонов 295
Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель 141; *581*
Лермонтов М. Ю.* 94, 96, 118, 176, 191, 367, 401, 416, 426, 436, 445, 499; *593*
Лернер Н. О.* 23, 27, 36, 46, 61–63, 166–167, 178, 218, 263, 416; *588*
Лесков Андрей Николаевич (1866–1953), литератор, сын Н. С. Лескова 163
Лесков Н. С.* 57, 141, 163, 166, 171, 177, 208, 231, 245, 257, 333; *583*
Лесник (псевд. **Евгения Васильевича Дубровского**, 1870–1941), писатель 324–325
Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий просветитель, теоретик искусства 71
Либаков Михаил Владимирович (1889–1953), актер, художник 59, 84
Либединский Юрий Николаевич (1898–1959), писатель 538
Лившиц Б. К.* 63, 68, 97, 286, 292
Лившиц Яков Борисович (1881–1942), журналист, глава изд-ва «Полярная звезда» 26, 38, 160
Лидин В. Г.* 400
Лидия Моисеевна, см. **Варковицкая Л. М.**
Лилина З. И.* 55, 218, 236, 264, 267, 293, 313, 347, 357
Липочка, см. **Гальперина-Гринштейн О. Б.**
Лисинский Всеволод Николаевич, педагог детского санатория в Евпатории 504

Лисовский Николай Михайлович (1854–1920), библиограф 476
Литвинов Максим Максимович (1876–1951), с 1918 г. член коллегии Наркоминдела, с 1921 г. зам. наркома, с 1930 нарком иностранных дел 365–366, 386–387, 511, 531
Литвинов Михаил Максимович (1917–2006), инженер, сын М. М. и А. В. Литвиновых 489
Литвинова Айви Вальтеровна (1889–1977, умерла за границей), писательница, переводчица, жена М. М. Литвинова 386–387, 489, 511
Литвинова Татьяна Максимовна (1918–2011), дочь М. М. и А. В. Литвиновых 386, 489, 519
Лихачев Владимир Иванович (1837–1906), общественный деятель, душеприказчик М. Е. Салтыкова-Щедрина 225
Ллойд Джордж* 40
Лобанов-Ростовский Никита Дмитриевич (р. 1935), князь, коллекционер *578*
Ловецкий Яков Абрамович (1870– ?), врач-физиотерапевт 222, 264
Лозинский М. Л.* 61, 97, 163, 178, 498, 545, 563, 569
Лозовский Соломон Абрамович (1878–1952, расстрелян), с 1939 г. зам. наркома иностранных дел 474–475
Локс Константин Григорьевич (1889–1956), критик, переводчик 350, 471
Ломовский А. А. (1842?–1871), профессор математики 424
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), ученый-естествоиспытатель, поэт 495
Ломоносов Юрий Владимирович (1888–1952, умер за границей), инженер-путеец, муж Р. Н. Ломоносовой 421; *593*
Ломоносова Раиса Николаевна (1888–1973, умерла за границей), жена Ю. В. Ломоносова; корреспондентка К. Чуковского, Б. Пастернака, М. Цветаевой 238, 248, 264, 268, 270, 293, 294, 421; *593*
Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875), библиограф, цензор 7, 441; *573*
Лонгфелло Г. У.* 139, 245, 258, 342
Лондон Дж.* 135, 139, 176, 186–187, 233, 305
Лосте Губерт (1921–1959), мальчик из Германии 531; *596*
Лофтинг Гью (1886–1947), американский писатель 119–121, 131, 253, 293
Луговая Л. А.* 293–294
Луговой А.* 293
Луговской Владимир Александрович (1901–1957), поэт 561; *594*
Луначарская Ирина Анатольевна, дочь Н. А. Розенель 316–317
Луначарский А. В.* 90, 120, 141, 175, 190, 212, 259, 279, 310, 313–317, 467, 527, 531; *591*
Лундберг Евгений Германович (1887–1965), критик, писатель 54
Лунц Е. Н.* 218
Лунц Л. Н.* 41–43, 47, 97
Лунц Натан Яковлевич (1871–1933, умер за границей), фармацевт, отец Л. Н. Лунца 41
Луппол Иван Капитонович (1896–1943), академик, литературовед, философ
Лури Екатерина Еливферьевна, **Катя** (1916–1987), племянница К. Ч. 155, 491
Лури Еливферий Анастасиевич, муж Корнейчуковой М. Э., сестры К. Ч. 252
Лурье А. С.* 9, 29, 107
Льюис Синклер (1885–1951), американский писатель 73
Любарская Александра Иосифовна (1908–2002), писательница, редактор 529
Лядова Вера Натановна (1900–1993), в 30-е гг. заведующая сектором детской лит-ры изд-ва «Молодая гвардия», отв. редактор «Пионерской правды» 362, 432, 434, 438–439, 444, 457, 461–462, 465, 467, 473–474, 478,

483, 484, 486, 490, 501, 513, 516–517, 522, 531, 539–541

Ляцкий Е. А.* 46

Магарам Николай Иосифович (? –1926, умер за границей), издатель журнала «Русский современник» 136–137, 161, 165–166, 172–173, 185, 222

Магеллан Фернан (ок. 1480–1521), испанский мореплаватель 267

Магидович Игнатий Петрович (умер в заключении), зав. отделом иностранной литературы Московского Детгиза, переводчик Жюль Верна 462, 541, 569

Мазинг Евгений Карлович (1880–1944), ученый в области двигателей внутреннего сгорания, профессор МВТУ им. Н. Баумана 381

Майборода Аркадий Иванович (умер 1844), командир Апшеронского пехотного полка 333

Майская Агния Александровна (1895–1987), жена И. М. Майского 124

Майская Т.* 381

Майский Иван Михайлович (1884–1975), историк, дипломат 124, 185

Майслер Михаил Моисеевич (1903–1942), заместитель директора Ленинградского Детиздата и редактор журнала «Чиж» 529–530

Мак, **Мак-Кац Максим Григорьевич**, зав. отделом информации «Красной газеты» 250, 260, 294

Макдональд Джеймс Рамсей (1866–1937), английский политический деятель 162

Мак-Кей Клод (1890–1948), американский деятель негритянского движения 86, 91–92, 94; *579*

Маккензи Фредерик Артур (1869–1931), английский журналист, писатель, путешественник, историк 142–143

Маклакова (псевд.: **Нелидова, Лидия Филипповна**, 1851–1936), писательница, жена В. А. Слепцова 422–425, 448, 476–477; *604*

Маковский Владимир Егорович (1846–1920), художник-жанрист 489, *585*

Маковский С. К.* *580*

Максвелл Джемс Клерк (1831–1879), английский физик 276

Максимов Михаил Васильевич, купец, сосед И. Е. Репина в Куоккала 199

Максимов Владимир Михайлович, сын М. В. Максимова, друг В. И. Репиной 199; *585*

Максимович Алексей Яковлевич (1908–1942), литературовед,член религиозно-философского кружка 544

Мало Гектор (1830–1907), французский писатель 310

Малявин Филипп Андреевич (1869–1940, умер за границей), художник 268, 527

Мамин-Сибиряк Д. Н.* 116

Мамонтов Анатолий Иванович (1839–1905), издатель, владелец типографии 425

Мамонтов С. И.* 72

Мандельштам О. Э.* 245, 271, 292, 332, 338, 361–362, 384, 401, 428, 487, 490, 534, 537, 556; *593, 598*

Манджос, правильно: **Манжос Екатерина Алексеевна**(1869-1952), врач, теософка 384

Маннергейм Карл Густав (1867–1951), барон, маршал, президент Финляндии *586*

Манцев Василий Николаевич (1889–1939, расстрелян), нарком внутренних дел Украины, с 1924 г. в ВСНХ, Наркомфине, с 1936 г. зам. председателя Верховного Суда РСФСР 554

Марадудин Филимон Петрович, актер 5

Марадудина Мария Семеновна, первая женщина-конферансье, жена Ф. П. Марадудина 5, 503

Марат Ж.-П.* 523, 539

Мария Антоновна, см. **Чагина М. А**.

Мария Федоровна (1847–1928, умерла за границей), вдовствующая императрица, мать Николая II 174–175
Марков Евгений Львович (1835–1903), писатель, журналист 530
Маркс Никандр Александрович (1861–1921), палеограф, фольклорист, генерал-лейтенант 100, 104
Маркс А. Ф.* 176; *580*
Маркс К.* 104, 221, 239, 422, 436
Марпетри (**Мария Петровна**), художница 106, 110
Марр Николай Яковлевич (1864/65–1934), востоковед, лингвист 45
Марциновский Ярослав (1868–1935), австрийский врач, психоаналитик 312, 315; *590*
Маршак Имманюэль Самуилович, **Элик** (1917–1977), физик, переводчик, сын С. Я. Маршака 217, 252
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964), поэт и переводчик 63, 69, 113, 115, 167, 217, 220, 226–227, 252, 294, 322, 326, 330, 335–337, 351, 356–357, 360, 365–368, 370–371, 373, 388–391, 440, 451, 472, 484, 486–487, 489–490, 496, 500, 513, 516, 518–521, 528–529, 531–534, 546, 560, 570–572; *583, 591, 604*
Маршак Софья Михайловна (1889–1953), жена С. Я. Маршака 520, 528
Масарик Томаш Гарриг (1850–1937), президент Чехословакии в 1918–35 гг. 45
Матвеев Николай Сергеевич (1855–1939), художник 72
Матисс Анри (1869–1954), французский художник 558
Матрена Никифоровна, кухарка Кольцовых 345–346
Машков Илья Иванович (1881–1944), художник 550
Маяковская Людмила Владимировна (1884–1972), сестра В. В. Маяковского 400; *592*
Маяковская Ольга Владимировна (1890–1949), сестра В. В. Маяковского 400; *592*
Маяковский В. В.* 18–19, 24, 86, 103, 141, 267, 292, 310, 376–379, 399–401, 453, 464, 518, 527, 569; *578–579, 591–592*
Мгебров Александр Авельевич (1884–1966), режиссер и актер 22, 159–160
Медведев Павел Николаевич (1891–1938, расстрелян), главный редактор ленинградского отделения Госиздата, критик, литературовед 134, 305
Медовиков Петр Сергеевич (1873–1941), педиатр 402
Мейерхольд В. Э.* 84, 91, 222, 259, 260, 324, 338, 363–364, 498; *579, 588*
Мексин Яков Петрович (1886–1943, погиб в заключении), редактор отдела учебников московского Госиздата 82
Мелецкий (**Нелединский-Мелецкий**) **Юрий Александрович** (1752–1829), поэт 333
Мельман Рувим Лазаревич, сотрудник изд-ва «Радуга» 30, 165, 266, 281, 326
Менделеев Д. И.* 221, 380–381
Менделеев Иван Дмитриевич (1883–1936), метролог, философ, сын А. И. и Д. И. Менделеевых 477
Менделеева Анна Ивановна (1860–1942), художница, вторая жена Д. И. Менделеева 423, 477
Менжинская Людмила Рудольфовна (1876–1933), проректор Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской 345, 357, 366–368
Мензбир Михаил Александрович (1855–1935), зоолог, академик 529
Менкен (**Mencken**) **Генри** (1880–1936), американский критик, публицист, сатирик 73
Меньшиков (правильно: **Меншиков**) **Александр Данилович** (1673–1729), российский государственный деятель 532
Мережковские Д. С. и **З. Н.*** 25, 44, 369
Мережковский Д. С.* 108, 271, 374, 527; *594*

Месс Леонид Абрамович (1907–1993), скульптор, школьный товарищ Николая Чуковского 95

Мессинг Станислав Адамович (1890–1937, расстрелян), начальник ленинградского ОГПУ 56, 212, 223, 337, 340

Метальников 352, 356

Метерлинк М.* 94

Мехлис Лев Захарович (1889–1953), с 1930 г. зав. отделом печати ЦК ВКП(б), редактор газеты «Правда», в 1937–1940 гг. начальник Главного управления политической пропаганды Красной Армии и зам. наркома обороны СССР 560–561, 564; *600*

Мечников Илья Ильич, знакомый К. Ч., племянник иммунолога И. И. Мечникова 49

Мечников Л. И.* 424

Мещерский Елим Петрович (1808–1844), поэт 301

Мещеряков Николай Леонидович (1865–1942), заведующий Госиздатом РСФСР 82, 84, 89, 122, 395–397

Микеланджело Буонарроти* 6–7, 11

Микитов, см. **Соколов-Микитов И. С.**

Миклашевская Ирина Сергеевна (1883–1956), музыкант, композитор 115, 133–134, 494

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846–1888), этнограф 124, 154

Милашевский В. А.* 80

Милюков П. Н.* 34, 240, 325, 361; *575*

Минский Н. (псевд. **Николая Максимовича Виленкина**, 1855–1937, умер за границей), поэт 321, 323, 325

Мирский, см. **Святополк-Мирский Д. П.**

Мирский (**Кобахидзе**) **Арий Константинович** (1894–1939, расстрелян), политком Курской железной дороги 103

Мистраль Фредерик (1830–1914), французский поэт 110, 226

Михайлов Михаил Алексеевич (1875–1940), театральный художник 558

Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865), поэт и публицист 548

Михайлов Николай Николаевич (1884–1940), книгоиздатель, основатель изд-ва «Прометей» 18

Михайловский Н. К.* 301, 404; *586*

Михоэлс Соломон Михайлович (1890–1948, убит), актер, режиссер 497

Мицкевич Адам (1798–1855), польский поэт 208

Мовчан Юрий Андреевич, директор 15-й единой трудовой школы, организованной на основе Тенишевского училища 30

Модзалевский Б. Л.* 301, 350, 535

Модзалевский Лев Борисович (1902–1948, убит), историк литературы, архивист, сын Б. Л. Модзалевского 350

Мокульский Стефан Стефанович (1896–1960), театральный критик и литературовед 165–166

Молотов Вячеслав Михайлович (1890–1986), государственный и партийный деятель 434, 439

Мольер Жан Батист (1622–1673), французский драматург 90–91, 329, 382

Монахов Н. Ф.* 74, 90, 122–125, 132, 134, 138, 259, 262, 265, 269, 271, 282

Монахова Ольга Петровна, жена Н. Ф. Монахова 122–123, 132

Монтессори Мария (1870–1952), итальянский педагог 268

Мопассан Ги де* 46, 462, 503; *576*

Мор, правильно: **Моор** (наст. фам. **Орлов Дмитрий Стахиевич**, 1883–1946), график, карикатурист 543

Моргенштерн Илья Федорович, графолог 6–7, 12

Мордухович Евгения, петербургская знакомая Чуковских 127

Моро Эмиль (1852–1922), французский драматург, соавтор пьесы «Мадам Сан-Жен» («Бой-баба») 275; *589*

Морозов Николай Александрович (1854–1946), революционер-народоволец 117

Москвин Иван Михайлович (1874–1946), актер 270
Мотылева-Анненкова Валентина Ивановна (1893–1978, умерла за границей), актриса, танцовщица, вторая жена Ю. П. Анненкова 112, 114, 131, 160
Моэм Уильям Сомерсет (1874–1965), английский писатель 251, 254, 257, 260–261, 266–268, 270, 277, 280, 283–285, 287–289; *588*
Муйжель В. В.* 9, 27, 108, 120, 135
Мур Т.* 177, 279; *589*
Муравьев М. Н.* 460; *602*
Мурильо Бартоломе Эстебан (1618–1682), испанский живописец 145
Муромцев Дмитрий Николаевич (?–1936), юрист, брат В. Н. Буниной 385–387
Мурыгин Н. И. 435
Мусоргский М. П.* 204, 466
Муссолини Бенито (1883–1945), фашистский диктатор Италии 364

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977, умер за границей), писатель 32; *575*
Набоков В. Д.* 32–34, 393; *575*
Набоков Константин Дмитриевич (1872–1927, умер за границей), дипломат, брат В. Д. Набокова 32
Набокова Елена Ивановна (1876–1939, умерла за границей), жена В. Д. Набокова 33
Навроцкая, жена В. В. Навроцкого*, после его смерти издательница «Одесского листка» 34
Нагродская Евдокия Аполлинарьевна (1866–1930, умерла за границей), писательница, дочь А. Я. Панаевой и А. Ф. Головачева 291–292, 309
Надеждин Степан Николаевич (1878–1934), режиссер и актер ленинградского театра «Комедия» 265–266, 270, 286, 288–290
Надсон С. Я.* 271
Накоряков Николай Никандрович (1881–1970), в 30-е годы директор Госиздата 486, 502, 567
Наполеон I Бонапарт* 184
Наполеон III (**Луи Наполеон Бонапарт**, 1808–1873), французский император 332, 537
Наппельбаум Ида Моисеевна (1900–1992), поэт, дочь М. С. Наппельбаума 23, 28, 337; *574*
Наппельбаум М. С.* 7, 13, 26, 187, 342; *574, 584*
Наппельбаум Фредерика Моисеевна (1902–1958), поэт, дочь М. С. Наппельбаума 23; *574*
Наппельбаумы (**М. С.** и его **дочери**) 10, 28
Нарбут Владимир Иванович (1888–1938, расстрелян), поэт 300
Нарбут Георгий Иванович (1886–1920), художник 414
Невский Владимир Иванович (1876–1937, расстрелян), публицист, историк 437
Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964), пианист, педагог 472
Некрасов Н. А.* 5–7, 21, 26, 38, 53, 73, 75, 86–88, 93, 96, 108, 126, 130, 138, 169, 170, 172, 177, 180, 183, 185, 212, 216, 218–219, 223, 228–232, 239, 241, 244, 246, 248–254, 258, 261–263, 266–268, 270, 273–276, 279–280, 282, 284–285, 287, 290–291, 294, 297, 300–301, 303, 306–308, 313, 323, 326–329, 331–333, 337, 342–344, 350, 352, 354–358, 360–362, 365–367, 398, 401, 404, 418, 422, 424–425, 441, 458–460, 468, 484, 487–488, 496, 499, 501, 523, 525–526, 531–532, 534, 568–569; *573–574, 577, 579–581, 584, 588–589, 591–592, 597, 601–603*
Некрасова З. Н.* 219, 355
Немирович-Данченко Вас. И. * 11, 16, 34; *575*
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), режиссер, драматург 503, 539
Нерадовский П. И.* 195, 259, 273–274; *586*
Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), художник 273
Нефф Тимофей Андреевич, фон (1805–1876), художник 258

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882), революционер, организатор тайного общ-ва «Народная расправа» 48, 515
Никитин И. С.* 109; *580*
Никитин Н. Н.* 43, 91, 111, 124
Никитина Евдоксия Федоровна (1895–1973), глава кооперативного изд-ва «Никитинские субботники» 358
Никитина Зоя Александровна (1902–1973), первая жена писателя Н. Н. Никитина, редакционный работник 442, 568
Николай I* 57, 286; *588*
Николай II* 98, 184, 262, 363, 567
Николай Николаевич (1856–1929, умер за границей), великий князь 189
Ницше Ф.* 15
Новиков Николай Иванович (1744–1818), писатель, книгоиздатель 441, 449
Новиков Сергей Петрович (р. 1938), математик, академик *582*
Нордау Макс (1849–1923), немецкий писатель, философ, один из основоположников Всемирной сионистской организации 427
Нордман Н. Б.* 149, 196, 199, 202–203, 282; *585*
Нотгафт Ф. Ф.* 65, 327

О. Л. д'Ор* 17–18, 33–34, 178, 193, 207**;** *575, 584*
Оболенская Екатерина Михайловна (1889–1964), редактор московского Детгиза, жена В. В. Осинского 549, 551
Оболенский Николай Леонидович (1872–1934, умер за границей), муж дочери Льва Толстого М. Л. Толстой (1871–1906) 102
Образцов Сергей Владимирович (1901–1992), актер, режиссер, театральный деятель 564
Обух-Вощатынский Ц. И.* 447
Овидий, **Публий Овидий Назон** (43 до н. э. – 18 н. э.), римский поэт 270
Огарев Николай Платонович (1813–1877), поэт, публицист 283, 524, 568; *601*
О'Генри* 12, 16, 39, 44, 65, 68, 89, 251, 279, 287, 305, 340; *576, 602*
Огнев Н. (наст. имя и фам. **Михаил Григорьевич Розанов**, 1888–1938), писатель 529
Одоевский Владимир Федорович (1803–1869), писатель, философ 119
Одоевцева И. В.* 332
Озаровская Ольга Эрастовна (1874–1933), актриса, исполнительница народных сказок 376, 380–381, 423, 477
Ознобишин Дмитрий Петрович (1804–1877), поэт, переводчик *588*
Ойстрах Давид Федорович (1908–1974), скрипач 505
О'Коннель-Михайловская Рене Рудольфовна (1891–1981), художник-керамист, театральный художник 72
Оксман Юлиан Григорьевич (1894–1970), литературовед 305, 498–499, 524–526, 542, 549, 572; *588*
Олейников Николай Макарович (1898–1937, расстрелян), поэт 391, 517
Олеша Юрий Карлович (1899–1960), писатель 417, 495, 502–503, 539
Олеша (Суок) Ольга Густавовна (1900–1978), жена Ю. К. Олеши 539
Ольга Сергеевна, см. **Щербиновская О. С.**
Ольденбург С. Ф.* 26, 31, 44, 61, 62, 74, 89, 161, 176, 178–179, 185, 188, 230, 259
Ольминский Михаил Степанович, 1863–1933), руководитель изд-ва «Прибой», публицист, историк литературы 301, 362; *589*
Ольшевец Максим Осипович, журналист, редактор «Одесских известий» *590*
Оппель Владимир Андреевич (1872–1932), профессор, хирург, зав. хирургическим отделением больницы им. И. И. Мечникова 402

Орбели Иосиф Абгарович (1887–1961), академик, востоковед, директор Эрмитажа (1934–1957) 120
Орджоникидзе Григорий Константинович (**Серго**) (1886–1937, застрелился), нарком тяжелой промышленности 438
Орешникова Мария Николаевна, жена сына физиолога И. П. Павлова *586*
Орлов Александр Сергеевич (1871–1947), историк литературы, академик 495, 497, 567
Орлов Макар Андреевич (1895–1938, расстрелян), директор Ленгослитиздата 562
Ортодокс (псевд. **Любови Исааковны Аксельрод**, 1868–1946), философ-социолог, литературовед 376, 388
Оршанский Лев Григорьевич, психопатолог, собиратель игрушек и библиофил 66, 73, 328
Осипов Виктор Петрович (1871–1947), академик, психиатр 70
Осипов Николай Евграфович (1877–1934, умер за границей), психиатр, психоаналитик, популяризатор психоанализа *590*
Осовский, правильно **Осинский Н.** (псевд. князя **Валериана Валериановича Оболенского**, 1887–1938, расстрелян), партийный деятель 111, 549; *580*
Остен-Гроссгенер Мария (1909–1942, расстреляна), немецкая журналистка 539; *596–597*
Острецов Иван Андреевич (1895–1940-е), зав. ленинградским Гублитом 173–175, 184, 218, 231, 239, 242, 247, 267
Островская, см. **Татаринова Н. А.**
Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург 382
Островский Сергей Александрович (1869–1929), сын А. Н. Островского, сотрудник Пушкинского Дома 350
Отрепьев Григорий Богданович (самозванец **Лжедимитрий**, ?–1606), беглый дьякон, выдававший себя за царевича Димитрия 561; *586*
Оттен, см. **Поташинский Н. Д.**
Оцуп Н. А.* 332

Павел I* 333, 364, 524
Павлов Иван Петрович (1849–1936), физиолог, академик 178, 206, 223, 274
Пален Константин Иванович (1833–1912), граф, государственный деятель (министр юстиции 1867–78) 304
Памбэ, см. **Рыжкина М. Н.**
Панаев И. И.* 326, 350
Панаева А. Я.* 95, 129, 219, 242, 263, 301, 303, 309, 313, 320, 324, 327, 336–337, 340, 342, 350, 420; *590, 601–603*
Панебратцев* 411
Пантелеев Л. (наст. имя и фам. **Еремеев Алексей Иванович**, 1908–1987), писатель 386, 485
Панферов Федор Иванович (1896–1960), писатель 561; *600*
Панчулидтов, правильно **Панчулидзев Сергей Алексеевич** (1855–1917), кавалергард, помещик 374
Папаригопуло Борис Владимирович (1889–1951), драматург, киносценарист, зав. литературной частью театра «Комедия» 267–269, 288, 356
Парнах (**Парнох**) **Валентин Яковлевич** (1891–1951), поэт, переводчик, брат С. Я. Парнок 547
Парнок София Яковлевна (1885–1933), поэт, переводчица 165
Пассовер Александр Яковлевич (1840–1910), адвокат 303
Пастернак Александр Леонидович (1892–1982), архитектор 471–472
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт 222, 292, 366, 368, 420–421, 437, 448, 455–456, 469, 471–472, 475–476, 493, 503, 509, 537, 561–562; *593*
Пастернак Евгений Борисович (1923–2012), сын Б. Л. и Е. В. Пастернак 471–472, 474

Пастернак Евгения Владимировна (1898/99–1965), художница, первая жена Б. Л. Пастернака 471–472, 474, 509; *593*

Пастернак Зинаида Николаевна (1897–1966), вторая жена Б. Л. Пастернака 455–456, 471–472, 474

Пастернак Ирина Николаевна (1897–1986), архитектор, жена А. Л. Пастернака 472

Пастернак Леонид Осипович (1862–1945, умер за границей), художник, отец Б. Л. Пастернака 537

Патер Вальтер (1839–1894), английский писатель, критик, искусствовед 473

Патушинский Григорий Исаакович, врач в Кисловодске 512

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968), писатель 541

Пахомов Алексей Федорович (1900–1973), художник 467

Паша* 171

Первухин Константин Константинович (1863–1915), художник *585*

Переверзев Валерьян Федорович (1882–1968), литературовед 381

Перевертанный-Черный Н. А.* 197–201, 206

Перельман Яков Исидорович (1882–1942), популяризатор математических и естественных наук 257

Переселенков Степан Александрович (1865–1940), литературовед 245, 355, 360, 500, 524

Перов Василий Григорьевич (1833–1882), художник 271, 429

Пестель Павел Иванович (1793–1826), декабрист 305

Петр I* 45, 449, 536

Петрарка Франческо (1304–1374), итальянский поэт 534

Петров Г. С.* 75, 198, 445

Петров Евгений Петрович (1903–1942), писатель 389, 440

Петров Николай Васильевич (1890–1964), режиссер 249

Петров Николай Николаевич (1876–1964), хирург-онколог 392, 506, 541

Петров П. Д., инспектор ленинградского Гублита 165, 173–174

Петров Сергей Павлович (1889–1937, расстрелян), первый секретарь Чувашского обкома ВКП(б) 536

Петров-Водкин К. С.* 210

Петрова А. *588*

Петроний Гай (?–66 н. э.), римский писатель 81

Пешков М. А.* 371–372

Пешкова Марфа Максимовна (р. 1926), внучка М. Горького, филолог 489

Пиаже Жан (1896–1980), швейцарский психолог 526

Пикассо Пабло (1881–1973), французский художник 558

Пиксанов Николай Кирьякович (1878–1969), литературовед 305, 523–524, 542

Пильняк Б. А.* 23–24, 54–56, 81–83, 85, 88, 263, 376, 435–437, 456, 471–472, 474–475, 485–486, 488, 509–510, 522–523, 564; *577, 582, 593, 596*

Пинес Дмитрий Михайлович (1891–1937, расстрелян), историк литературы и библиограф 326

Пинкевич А. П.* 44–46, 83

Пиолунковский Мечислав В., инженер, с 1915 г. заведующий автомобильным производством Русско-Балтийского вагонного завода 382–383

Пиотровский Адриан Иванович (1898–1938, расстрелян), историк театра, литературовед 123, 269, 271–272, 286

Пирогов Николай Иванович (1810–1881), хирург 14

Писемский А. Ф.* 466

Пискарев А., матрос, автор нескольких стихотворений в «Чукоккале» 353

Платонов Андрей Платонович (1899–1951), писатель 435–436

Платонов Константин Иванович (1877–1969), психоневролог 139

Плеханов Г. В.* 388

Плюшар Адольф Александрович (1806–1865), издатель и книготорговец 421
По Э.-А.* 462
Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, публицист 324
Подгорный Владимир Афанасьевич (1887–1944), актер, педагог 83
Познер В. С.* 306
Покровская Анна Константиновна (1882–1955), зав. отделом детского чтения Института методов внешкольной работы, жена М. Н. Покровского 345, 348, 365–366
Покровские М. Н. и **А. К.** 241
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932), историк, партийный и государственный деятель, зам. наркома просвещения, председатель ГУСа 44, 345, 363, 365
Полевой К. А.* 546
Полежаев Александр Иванович (1804–1838), поэт 556; *598*
Полетика Николай Павлович (1896–1988, умер за границей), историк 213
Полетика Юрий Павлович (1896–1965), корректор, сотрудник журнала «Русский современник» 213
Поликрат Самосский 559; *599*
Полонская Е. Г.* 81, 97, 183, 280
Полонская Кира Александровна (1898–?), жена В. П. Полонского 381, 456
Полонский В. П.* 58, 130, 313, 376, 381, 388, 395, 400, 456–457; *577*
Полонский Я. П.* 333
Поляков В. А.* 399
Поляков Федор Петрович (1860–1925), врач, профессор 146, 148, 150–151, 157–158, 224
Полякова М. Ф., дочь Ф. П. Полякова 150, 157, 158, 224, 242, 243
Пономарева Елена Васильевна, друг А. Ф. Кони 35, 58, 225, 290, 476–477
Попов Всеволод Иванович (1887–1936), педагог 384
Попов Константин Федорович, директор Симеизской туберкулезной клиники 408–409, 448
Попова Вера Николаевна (1889–1962), актриса 59
Порозовская Берта Давыдовна, литературовед, переводчица, автор книг о Кальвине, Лютере, Меншикове 90
Поссарт Эрнст (1841–1921), немецкий актер 265
Поступальский Игорь Стефанович (1907–1990), литературовед, поэт и переводчик 470
Поташинский Давид Давидович, зав. магазином «Кубуч», затем зав. издвом «Кубуч» 274–275, 278, 285
Поташинский (Оттен) Николай Давыдович (1907–1983), писатель, кинодраматург 149
Потебня А. А.* 381
Потемкин (Таврический) Григорий Александрович (1739–1791), князь, государственный деятель 99
Потехин Андрей, секретарь К. Ч. 284, 358, 427
Похитонов Иван Павлович (1850–1923, умер в эмиграции), художник-передвижник *585*
Правдухин Валериан Павлович (1892–1938, расстрелян), критик, писатель 226, 228, 291–292, 298–299, 302, 306–307, 369, 433–434, 454, 456, 502; *593*
Правдухин Николай Павлович (1887–1965), врач-психиатр, литератор, брат В. П. Правдухина 503
Правдухина Анна Нестеровна, мать В. П. Правдухина 291, 503
Прахов Мстислав Викторович (1840–1879), ученый филолог и педагог *585*
Прево Д'Экзиль Антуан Франсуа (1697–1763), аббат, французский писатель, автор романа «Манон Леско» 511
Прево Эжен-Марсель (1862–1941), французский писатель, автор романа «Полудевы» 424

Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888), географ и путешественник 394
Приблудный Иван (1905–1937, расстрелян), поэт 271, 493
Примочкина Наталья Николаевна, литературовед *601*
Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), писатель 473
Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971), поэт 565, 571
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953), композитор, пианист, дирижер 549
Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918, расстрелян), последний царский министр внутренних дел 56, 262
Пруст Марсель (1871–1922), французский писатель 350
Прушицкая Рахиль Исааковна, зав. дошкольным факультетом Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской 357, 368
Прянишникова Зоя Дмитриевна, дочь академика Д. Н. Прянишникова, биолог 448
Пумпянский Л. В.* 449, 505
Пунин Н. Н.* 42–44, 60, 117, 163
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), один из лидеров «Союза русского народа», член 2-й, 3-й и 4-й Государственной Думы, публицист 262
Пушкин А. С.* 6, 9, 30, 39, 40, 96, 102, 108–109, 138, 141–142, 147, 166, 169, 171, 197, 229, 245–246, 298, 301, 320, 329, 333, 350, 366, 373–374, 398, 401, 418, 427, 469, 474, 477, 485, 490, 492, 497, 499, 519, 524, 526, 535, 543, 547, 556, 561–562, 565; *580–582, 584, 586, 592, 595*
Пушкина Наталья Николаевна (1812–1863), жена А. С. Пушкина, во втором браке Ланская 374
Пчелин Владимир Николаевич (1869–1941), художник 527
Пшибышевский С.* 118
Пыпин А. Н.* 350
Пыпин Николай Александрович (1876–1942), историк литературы, сын двоюродного брата Н. Г. Чернышевского, А. Н. Пыпина 350, 355, 563; *601*
Пыпина Екатерина Николаевна, жена Н. А. Пыпина *601*
Пыпины Н. А. и **Е. Н.** 569; *601*
Пяст Владимир Алексеевич (1886–1940), поэт, переводчик 31, 91, 99, 222–223

Рабинович Иосиф Яковлевич, специалист по авторскому праву 107
Рабичев Наум Натанович (1898–1938, расстрелян), первый заместитель председателя Всесоюзного комитета по делам искусств, заведующий Партиздатом 528
Рабле Франсуа (1494–1553), французский писатель 71
Радаков А. А.* 79–82
Радек Карл Бернгардович (1885–1939, погиб в заключении), партийный публицист, член ЦК ВКП(б) 474
Радимов Павел Александрович (1887–1967), художник, поэт 294, 557–559
Радлов Николай Эрнестович (1889–1942), художник-график 43, 216, 258–259, 313, 324, 339, 377, 538; *597*
Радлов Эрнест Львович (1854–1928), философ 259
Радлова А. Д.* 472, 549
Радлова (Зандер) Эльза Яковлевна (1887–1924), художница, первая жена Н. Э. Радлова 258
Разин Иван Михайлович (1905–1938, расстрелян), заведующий сектором детской литературы издательства «Молодая гвардия» 484
Разин Степан Тимофеевич (?–1671), казак, предводитель восстания 491
Разумовская Софья Дмитриевна (1904–1981), редактор 462, 464–465, 484
Райх Зинаида Николаевна (1894–1939, убита), актриса, вторая

жена В. Э. Мейерхольда 259, 549; *588*

Распе Рудольф Эрих (1737–1794), немецкий писатель 332, 337

Распутин Григорий Ефимович (1872–1916, убит), фаворит Николая II и его жены 184, 240, 262, 363

Рафаил Михаил Абрамович (1893–1937, расстрелян), в 30-е годы заведующий Ленинградским отделением ГИХЛ 452, 491, 498

Рафалович Сергей Львович (1875–1943, умер за границей), поэт, театральный критик 72

Рафаэль Санти* 141, 542

Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943, умер за границей), композитор 95

Рахтанов Исай Аркадьевич (1907–1979), писатель 448

Регинин Василий Александрович (1883–1952), журналист 362–363

Редько А. М.* 13, 39, 184, 257, 272, 316, 321, 358, 448

Редько Е. И.* 184, 257, 272, 310, 316, 321, 370, 448

Рейнке Ирина Николаевна (1907–1984), сестра М. Н. Чуковской 253, 256

Рейнке Мария Николаевна (1880–1959), мать М. Н. Чуковской 137, 229, 342, 493

Рейсер Соломон Абрамович (1905–1990), некрасовед 402, 428–429

Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926), поэтесса, журналистка 260, 298

Рейснер Михаил Андреевич (1868–1928), социолог, историк, правовед, отец Ларисы Рейснер 419

Рейх Валентина Францевна, юрист, давала уроки французского языка И. Е. и Ю. И. Репиным *585*

Рембо (**Rimbaud**) **Артур** (1854–1891), французский поэт 372

Рембрандт ван-Рейн (1606–1669), голландский художник 96, 172, 550

Ре-Ми* 252

Ремизов А. М.* 28, 45, 54, 271, 370; *575*

Ренуар Огюст (1841–1919), французский художник 466

Репин Алеша *586*

Репин В. Е.* *585–586*

Репин Гай (Георгий) Юрьевич (1906–?), внук И. Е. Репина 205–206

Репин Ефим Васильевич (1804–1894), отец И. Е. Репина *586*

Репин Илья Васильевич (?–1968, умер за границей), племянник И. Е. Репина 189–190, 192–193

Репин И. Е.* 11, 21–23, 26, 72, 85, 98, 140, 152, 168, 188–196, 199, 202–208, 213 , 216, 225, 238, 241, 247, 251, 268–269, 274, 282–283, 294, 302, 320, 376, 390, 398, 416, 418, 429, 465–466, 479, 524, 527–528, 530, 539, 541, 545–546, 550, 552, 554–559, 562–564; *573, 579–580, 584–590, 598, 600–602, 604*

Репин Ю. И.* 193, 205, 241, 268; *585–586*

Репина В. А.* *586*

Репина В. И.* 21–23, 189–190, 192–194, 199, 204 , 527

Репина Елизавета Александровна, жена И. В. Репина, племянника И. Е. Репина, учительница 189, 195

Репина Надежда Ильинична (1874–1931, умерла за границей), дочь И. Е. Репина 203; *585*

Репина (**Язева**) **Татьяна Ильинична**, (1880–1957, умерла за границей), учительница, дочь И. Е. Репина 207; *585–586*

Репина-Язева (в замужестве **Дьяконова**) **Татьяна Николаевна** (1902–1985, умерла за границей), внучка И. Е. Репина 207; *585*

Репина Татьяна Степановна (?–1880), мать И. Е. Репина *586*

Рети Рихард (1889–1929), чехословацкий шахматист 393

Ржанов Георгий Александрович (1896–1974), зав. отделом печати ленинградского обкома ВКП (б) 298, 361

Ридингер Борис Николаевич (1867 – не ранее 1910), барон, землевладелец в Куоккала, первый

муж Л. И. Шишкиной, дочери И. И. Шишкина 191

Ридингер Евгения Борисовна (1898–1979), дочь Б. Н. Ридингера и Л. И. Шишкиной 200, 206

Риссенен, правильно **Рисанен Ю.** (1873–1950), финский художник *586*

Рише Шарль (1850–1935), французский иммунолог, лауреат Нобелевской премии (1913) 529

Родов Семен Абрамович (1893–1968), критик, один из редакторов журнала «На посту», теоретик «левого напостовства» 171; *582, 584*

Родс Сесил Джон (1853–1902), южноафриканский политический деятель 529

Родченко Александр Михайлович (1891–1956), фотограф-художник 86

Родэ А. С.* 13, 45, 512–513

Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977), поэт 171, 337, 521

Розанов В. В.* 25, 30, 323, 376, 466

Розенблюм В. Н., сотрудник изд-ва «Радуга» 88, 127–128, 330

Розенгейм Михаил Павлович (1820–1887), поэт, публицист 225

Розенель-Луначарская Наталия Александровна (1902–1962), актриса, вторая жена А. В. Луначарского 313–317, 531

Розенко А., заведующий редакцией «Молодая гвардия» 501, 516, 541

Розенталь К., критик *583–584*

Розинер А. Е.* 62, 65–66, 69–70, 75–76, 80, 91, 95, 110, 117–118, 120–121, 125–127, 129, 132, 158, 420

Роллан Р.* 496, 571

Романенко, представитель Главлита 357

Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938), писатель 515

Ромашов Борис Сергеевич (1895–1958), драматург 379, 382, 395, 398

Росси Карл Иванович (1775–1849), архитектор 272

Россовская Вера Александровна (1876–?), ленинградский астроном 423

Ростовцев (Эршлер) Михаил Антонович (1872–1948), актер 132, 537

Ротов Константин Павлович (1902–1959), художник-график 516, 546, 550–551

Рохлин Абрам Вениаминович (1881–1941, расстрелян), партийный деятель, муж А. Э. Рохлиной 152, 374

Рохлин Владимир Абрамович (1919–1984), сын А. Э. Рохлиной, математик *582*

Рохлина Анна Эммануиловна (?–1923), сводная сестра К. Ч., медицинский работник 152, 155; *582*

Рубановский И. М., редактор художественного отдела изд-ва «Academia» 549, 551

Рубенс Питер Пауль (1577–1640), фламандский художник 71, 192, 542

Рубинштейн Ида Львовна (1880–1960, умерла за границей), танцовщица 542

Рубо Франц Алексеевич (1856–1928), художник-баталист *585*

Рудаков Константин Иванович (1891–1949), художник 275, 292, 525

Руднева Евгения Товиевна, редактор журнала «Искусство в школе», жена В. А. Базарова (Руднева) 367

Рузер Леонид Исаакович (1881–1960), зам. главного редактора московского Госиздата 161

Руманов А. В.* 75, 128

Руманов Моисей Вениаминович (умер в 1934 за границей), брат А. В. Руманова 127

Румянцев Николай Ефимович (умер 1919), психолог, педагог 272

Руссо Жан-Жак* 459, 571

Руставели Шота (XII в.), грузинский поэт 561

Рутковская Бронислава Ивановна (1880–1969), актриса 288–290

Рыбников Николай Александрович (1880–1961), психолог, педагог, исследователь детской речи 277

Рыжкина (Памбэ) Мария Никитична (1898–после апреля 1982, умерла за границей), поэт 13, 17, 34, 64, 229
Рыклин Григорий Ефимович (1894–1975), писатель, журналист 549; *592*
Рыков Алексей Иванович (1881–1938, расстрелян), зам. председателя, затем председатель Совнаркома СССР 111, 141, 178, 228, 259, 279, 377; *580*
Рыкова Наталия Викторовна (1897–1928), библиограф, жена Г. А. Гуковского 111; *580, 596*
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт, декабрист 499, 524–525
Рюмлинг Е. А.* 130, 218–219, 232, 252
Рябинин Леонид Сергеевич (1897–1969), член правления изд-ва «Огонек» 344
Рябушинский Николай Павлович (1876–1951, умер за границей), фабрикант, издатель журнала «Золотое руно» 462
Рязанов Давид Борисович (1870–1938, расстрелян), историк, директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса 366, 374, 388, 457

Сааков Александр, знакомый Л. К. Чуковской 253
Сааринен Элиэль (1873–1950), финский архитектор *586*
Сабуров Симон Федорович (1868–1929), антрепренер, владелец петербургского театра «Пассаж», который в 1925 г. преобразован в театр «Комедия» 266
Савенко Савелий (1902–?), кинорежиссер-документалист *600*
Савинков Б. В.* 559
Садовской Б. А.* 390
Саитов Владимир Иванович (1849–1938), библиограф, главный библиотекарь русского отделения государственной Публичной библиотеки 50–51, 230
Саксаганская Анна (1876–1939), прозаик 183
Сакулин Павел Никитич (1868–1930), литературовед 99
Салтыков-Щедрин М. Е.* 79, 177, 225, 245, 263, 301, 307, 320, 404, 425, 476, 492, 562, 566; *588*
Сальери А.* 217, 329
Сальков А. А., судебный эксперт ленинградского уголовного розыска 362
Самойлов Павел Васильевич (1866–1931), актер *585*
Самокиш-Судковская Елена Петровна (1863–1924), художница 221
Санд Жорж (1804–1876), французская писательница 153
Сапир Михаил Григорьевич, сотрудник изд-ва «Кубуч» 213, 227–228, 231–232, 238, 242, 248, 260–261, 275, 322, 323, 326, 328, 333
Сарду Викторьен (1831–1908), французский драматург, автор пьесы «Мадам Сен Жен» («Бой-баба») 275; *589*
Сац Анна Михайловна, мать Н. А. Розенель-Луначарской, сестра композитора И. Саца 314, 316–317
Саянов Виссарион Михайлович (1903–1959), писатель 401–403, 542
Сварог Василий Семенович (1883–1946), художник 134, 559; *581, 585*
Свердлова Клавдия Тимофеевна (1876–1960), заведующая отделом детской литературы ОГИЗа (1925–1931), сотрудница Главлита (1931–1944), вдова Я. М. Свердлова 501, 516
Свифт Дж.* 81, 115, 212
Святловский Евгений Евгеньевич (1890–1942), специалист по экономической географии и статистике 137
Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939, погиб в лагере), критик, литературовед 374, 559, 567; *593, 599–600*
Северянин И.* 10–12, 117
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954), писательница 226, 228, 260, 270, 291–293, 298–299,

302–303, 306–307, 309, 318, 359, 361, 369–372, 433–434, 442, 454, 456, 460, 464–465, 475, 502–503, 539–541; *594*

Селивановский Алексей Павлович (1900–1938, расстрелян), литературный критик, один из руководителей РАППа *593*

Сельвинский И. Л.* 349; *591, 594*

Семашко Николай Александрович (1874–1949), нарком здравоохранения, член Президиума ВЦИК, председатель Деткомиссии 369, 382, 538, 546–547, 549, 551–555, 563–564, 569; *600*

Семенов Сергей Александрович (1893–1942), писатель 337, 493

Сент-Бёв Шарль-Огюстен (1804–1869), французский писатель, литературный критик 523

Серафимович (наст. имя и фам. **Александр Серафимович Попов**, 1863–1949), писатель 532

Сергеев, сотрудник Госиздата 183, 232

Сергеев-Ценский С. Н.* 194, 414–418, 448, 499; *603*

Сергеева-Ценская Христина Михайловна (?–1965), жена С. Н. Сергеева-Ценского 414–415

Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834–1866), революционер, публицист 423

Серов В. А.* 273, 466

Сеттон Томпсон Э.* 429

Сибелиус Ян (1865–1957), финский композитор *586*

Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1978), искусствовед, член-корреспондент АН СССР *586*

Сизов Анатолий Иванович, зав. отделом хроники вечерней «Красной газеты», помощник зав. редакцией «Известий ЦИК» 273

Сильверсван Б. П.* 218

Синг Джон Миллингтон (1871–1909), ирландский драматург 58, 63, 66, 68–70, 72, 78–80, 82–84, 89, 218, 223; *577, 587, 602*

Синклер Э.-Б.* 35, 37, 463; *575*

Ситковский Ипполит Константинович (1903–1938, расстрелян), зав. редакцией журнала «Народное творчество», редактор «Литературного наследства» 457, 460

Скиталец (псевд. **Степана Гавриловича Петрова**, 1869–1941), писатель 415

Слепцов В. А.* 251, 404, 418, 422, 424–425, 437, 438, 441, 457–458, 460, 463, 476–478, 480; *594, 604*

Слепцова Жозефина Адамовна, мать В. А. Слепцова 477

Сливкин Борис Юльевич (погиб в лагере ок. 1937), сотрудник Севзапкино 119

Слонимская Ида Исааковна (1903–1999), жена М. Л. Слонимского 493

Слонимская Ф. А.* 29, 47, 306–307, 325–326, 349

Слонимская-Сазонова Ю. Л.* 325

Слонимский Иосиф Наумович, друг И. И. Бродского, портной 61, 70, 285, 520

Слонимский Л. З.* 42

Слонимский М. Л.* 41–43, 81, 91, 171, 260, 306–307, 321, 325–326, 330, 339, 343, 348–349, 359–360, 401, 447, 462, 493, 496, 498–499, 502, 525, 562, 565–568; *596*

Слонимский Николай Леонидович (1894–1996, умер за границей), дирижер, композитор, брат М. Л. Слонимского 42, 325, 349

Случевский К. К.* 488

Слюсарев Андрей Александрович, историк искусства 290

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857), издатель 76, 118

Смирнов Александр Александрович (1883–1962), историк литературы, шекспировед 61, 151, 178

Смирнов Николай Иванович (1893–1937, расстрелян), партийный работник, руководитель ОГИЗа, затем сотрудник «Молодой гвардии» 474, 516–522, 526, 530–532

Смирнова Вера Васильевна (1898–1977), критик 498

Смышляев Валентин Сергеевич (1891–1936), актер, режиссер, педагог 83
Собинов Леонид Витальевич (1872–1934), певец 146, 147–149, 151–152, 157, 160, 216, 221–222, 224, 563; *582*
Собинова Нина Ивановна (1888–1969), жена Л. В. Собинова 148, 221
Собинова Светлана Леонидовна (1920–2002), дочь Л. В. Собинова, актриса, преподаватель 146, 148, 151–152, 222
Соболев Николай Николаевич (1874–1966), искусствовед, автор книг «Русская резьба по дереву», «Русская набойка» и пр. 484
Соболев Юлий (Юрий) Васильевич (1887–1940), критик, журналист, историк театра 83
Соболева Александра Ивановна, археолог, жена Н. Н. Соболева, помощница К. Ч. 458, 463, 465, 490, 533, 536
Соколов Николай Дмитриевич, адвокат, секретарь ЦИК Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 301; *589*
Соколов Юрий Матвеевич (1889–1941), фольклорист, литературовед 487
Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975), писатель 95
Сокольников Михаил Порфирьевич (1888–1979), искусствовед, художественный редактор издательства «Academia» 262–263, 478, 532
Сократ* 122
Соловьев Василий Иванович (1890–1938, расстрелян), заведующий Госиздатом 434, 438, 473–475, 539
Соловьев Владимир Николаевич, режиссер и теоретик искусства 123
Соловьев Вл. С.* 206, 304, 527
Соловьев Михаил Петрович (1842–1901), с 1896 г. начальник Главного управления по делам печати 424
Сологуб Ф. К.* 7, 10, 38–40, 43, 85, 92–93, 97, 108–112, 114–116, 118–121, 130, 134–135, 140, 161, 166–167, 171–172, 178, 182, 186–187, 226–227, 245–246, 278, 357–358, 575, 579, 582, 584; *589, 600*
Соломон М. *577*
Сольц Арон Александрович (1872–1945), партийный деятель, член Верховного суда СССР 539–541
Сомов К. А.* 43, 466
Сорин Савелий Абрамович (1878–1953, умер за границей), художник 221
Сосновский Лев Семенович (1886–1937, расстрелян), публицист, в 20-е гг. член редколлегии газеты «Правда» 166, 363
Софокл* 23
Софья Владимировна, служащая изд-ва «Всемирная литература» 182
Софья Сергеевна, см. **Шамардина С. С.**
Спасович Владимир Данилович (1829–1906), юрист, публицист 527
Спесивцева О. А.* 114
Спиридонов (псевд. **Тэкки Одулок**) **Николай Иванович** (1906–1938, расстрелян), писатель 158, 520
Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953), политический деятель 185, 377, 405, 438–440, 443, 455, 468, 470, 474–475, 527, 531, 533, 546; *595–596, 600*
Станиславский К. С.* 376–377, 503
Станчинская Э. И. (1881–?), автор «Дневника матери» 277
Старк Эдуард Александрович (псевд. **Зигфрид**, 1874–1942), искусствовед, переводчик, поэт, сын А. Горлина 563
Старчаков Александр Осипович (1892–1937, расстрелян), писатель, литературный критик 498
Стасов В. В.* 205, 357
Стасюлевич М. М.* 67, 477
Стендаль* 117
Стенич Валентин Иосифович (1898–1938, расстрелян), переводчик 400, 502–503, 525

Стенич Любовь Давыдовна (1908–1983), жена В. Стенича 525
Степченко Элеонора Васильевна, редактор изд-ва «Малыш» *577*
Стецкий Алексей Иванович (1896–1938, расстрелян), партийный деятель, с 1929 г. зав. отделом культуры и пропаганды ленинизма 371, 373, 480, 546, 552, 553
Стивенсон Р.-Л.* 502, 530
Столпнер Борис Григорьевич (1871–1937), философ-марксист 376, 381, 388–389
Столпянский Петр Николаевич (1874–1938), историк Ленинграда 306
Стольберг, комендант поселка Раяоки 188–189, 202; *586*
Стольберг Карло Юхо (1865–1952), президент Финляндии (1919–1925) 196, 204, 206, 209
Стольберг Эстер, жена президента Финляндии К. Ю. Стольберга 196, 204, 205
Сторицын Петр Ильич (1894–1941), поэт, театральный критик 228
Стравинский Игорь Федорович (1882–1971, умер за границей), композитор, дирижер 65
Страдивариус (**Страдивари**) **Антонио** (1644–1737), итальянский скрипичный мастер 526
Страхова Софья Владимировна, дочь О. Г. Грачевой 103, 106–107, 110
Стрельников Николай Михайлович (1888–1939), композитор 522
Стрижёв Александр Николаевич (р. 1934), писатель, литературовед, библиограф *583*
Стриндберг А. Ю.* 83; *578*
Струкова Е. П.* 218
Стэнли Генри Мортон (1841–1904), исследователь Африки 267
Суворин А. С.* 189
Суворов Александр Васильевич (1729–1800), полководец 45
Суворов Петр Иванович (1901–1968), художественный редактор в Детгизе 546, 551
Судейкин С. Ю.* 29, 60
Судейкина (**Глебова-Судейкина**) **О. А.*** 9, 27, 29, 60, 93, 96, 107, 114, 121, 140, 162
Суиннберн А.-Ч.* 246
Султанов Ю. Н.* 75; *585*
Султанова-Леткова (**Леткова-Султанова***) **Е. П.** 57, 75, 476–477
Сумароков-Эльстон, см. **Юсупов Ф. Ф.**
Суриков Василий Иванович (1848–1916), художник 532
Сутугина-Кюнер В. А.* 40, 97, 167, 176, 178, 187
Суханов Дмитрий Федосеевич (умер 1942), дворник соседней с «Пенатами» дачи в Куоккала 189, 191, 199, 201–202
Суханова Мария Дмитриевна, дочь Д. Ф. Суханова 191, 193, 196, 216
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903), драматург 549
Сухотин Сергей Михайлович (1887–1929, умер за границей), офицер, муж С. А. Сухотиной (Толстой), принимал участие в убийстве Распутина 102
Сухотина (**Толстая**) **Софья Андреевна** (1900–1957), внучка Л. Н. Толстого, дочь А. Л. Толстого (1877–1916) и О. К. Дитерихс 101–102, 107, 142
Сыркина Ольга Ефимовна, педагог, доцент Института им. А. И. Герцена 477
Сытин И. Д.* 75–76, 117–118
Сюннерберг К. А.* 95

Табидзе Нина Александровна (1900–1964), жена Т. Табидзе 537
Табидзе Тициан Юстинович (1895–1937, расстрелян), поэт 509–510, 524, 536–537, 561
Тагер Елена Михайловна (псевд. **Анна Регат**, 1895–1964), писательница 399, 436
Тагор Рабиндранат (1861–1941), индийский писатель, общественный деятель 26, 53, 284, 313
Тальони Мария (1804–1884), итальянская балерина 71

Тальников Давид Лазаревич (1882–1961), театровед, критик 376–377; *591–592*

Тамамшев Александр Артемьевич (1888–1940), поэт 109

Тамара, см. **Шмелева Т. В.**

Тан В. Г.* 9, 27, 370, 520

Танеев 549

Танеев Владимир Иванович (1840–1921), адвокат, библиофил 425

Тарле Евгений Викторович (1874–1955), историк, публицист, академик 6–7, 249, 342, 523, 545; *573*

Тарханов Иван Рамазович (1846–1908), физиолог 241

Тарханова-Антокольская Е. П.* 274; *586*

Татан (**Черкесов Александр Юрьевич**), внук А. Н. Бенуа 65, 90–91

Татаринова (**Островская**) **Наталья Александровна** (1845–1910), переводчица, мемуаристка 352, 354, 361

Татлин Владимир Евграфович (1885–1953), художник 336, 516

Татьяна Александровна, см. **Богданович Т. Ал.**

Татьяна Николаевна (1897–1918, расстреляна), великая княжна 363

Ташейт Тамара Карловна, дачная знакомая К. Ч. 48, 52–54, 382

Твардовский Владислав Станиславович (1888–1942), художник 224, 227, 235

Твардовский Ф. фон, советник германского посольства 463, 474; *594*

Твен М.* 21, 30, 222, 309–310, 337, 342

Тельман Эрнст (1886–1944, убит), деятель международного коммунистического движения, председатель компартии Германии 464

Теляковский В. А.* 91; *579*

Тенишева Мария Клавдиевна (1867–1928, умерла за границей), княгиня, меценатка, коллекционер 72; *586*

Тименчик Р. Д.* *574*

Тиняков (псевд. **Одинокий**) **Александр Иванович** (1886–1934), поэт 165–166, 291

Тирсо де Молина (1571 или ок. 1583–1648), испанский писатель, драматург 372

Тихеева Елизавета Ивановна (1867–1943), педагог, специалист в области дошкольного воспитания 278

Тихонов А. Н.* 25–26, 31, 41, 43, 45–47, 61, 63–64, 71, 73–74, 78–79, 81–84 , 99, 108, 110, 120–121, 130, 136–138, 141, 144, 151, 154, 160–161, 169, 171–178, 180–182, 185–187, 212–214, 218, 223, 231, 252, 260, 262–263, 265–266, 268, 275, 277, 281, 283, 288, 327, 334, 335, 338, 344–345, 377–378, 448, 456, 458, 462, 474, 484, 487, 502, 511, 513–516, 548, 569; *574, 578*

Тихонов Николай Семенович (1896–1979), поэт 55, 90, 135, 139, 214–216, 279, 447–448, 498, 510–511, 562, 565–568; *591*

Тициан (**Тициано Вечеллио**, ок. 1476/77 или 1489/90–1576), итальянский художник 96

Ткаченко Т. А.* 336–337

Толлер Эрнст (1893–1939), немецкий писатель, драматург 285–286

Толстая Марьяна Алексеевна (1911–1988), дочь А. Н. Толстого, профессор, доктор химических наук 121, 124

Толстая (урожд. **Дитерихс**) **Ольга Константиновна** (1872–1971), жена Андрея Львовича Толстого, сестра А. К. Чертковой 101

Толстая С. А.* 190

Толстой А. К.* 158, 292, 427

Толстой А. Н.* 45, 54, 95, 115, 121, 123–125, 128, 133, 135–136, 138, 144, 167, 171, 185, 190, 222, 258, 259, 261, 262, 338, 339, 341, 376–377, 379, 448–450, 452, 497, 498, 536–537, 539, 550, 567–568, 572; *576, 578, 581, 583–584, 588, 591, 594, 602*

Толстой Дмитрий Алексеевич (1923–2003), сын А. Н. Толстого и

Н. В. Крандиевской, композитор 124, 449–450

Толстой Л. Н.* 10, 36, 60, 102, 109, 128, 136, 141, 177, 186, 190, 199, 203, 208, 216, 221, 285, 305, 327, 336, 340, 343, 348–349, 351–354, 360, 376, 396, 416–417, 433, 450, 451, 477, 485, 491, 513, 530; *580, 585–586, 596–597*

Толстой Никита Алексеевич (1916–1995), сын А. Н. Толстого и Н. В. Крандиевской, физик 124, 129

Томашевская Раиса Романовна, первая жена Б. В. Томашевского, сотрудница Государственного института истории искусств 341, 453, 524

Томашевский Борис Борисович (1909–1974), сын Б. В. Томашевского, переводчик, редактор Гослитиздата 341

Томашевский Борис Викторович (1890–1957), литературовед 245, 302, 340–341, 453, 524, 542–543

Томашенко, правильно: **Тимошенко Семен Алексеевич** (1899–1958), кинорежиссер, сценарист, теоретик кино 488

Томский Михаил Павлович (1880–1936, застрелился), председатель ВЦСПС, заведующий ОГИЗом в 1932–1936 гг. 475, 547, 549

Томский Сергей Сергеевич (1886–1941), писатель 271

Томсон Джозеф Джон (1856–1940), английский физик 276

Томсон Кристина Кэмпбел (1897–1965), английская издательница *589*

Трауберг Леонид Захарович (1902–1990), кинорежиссер *588*

Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1768), ученый, поэт 118; *573*

Тренин Владимир Владимирович (1904–1941), литературовед 420, 488, 569

Третьяков Сергей Михайлович (1892–1937, расстрелян), писатель, один из теоретиков ЛЕФа 512, 514, 525

Третьякова Ольга Викторовна, жена С. М. Третьякова 525

Трифонова О. Н., певица *585*

Троицкий Ан. Н., председатель правления изд-ва «Молодая гвардия» 490, 492–493

Троцкий Л. Д.* 51, 56, 84, 141, 170, 172, 174, 178, 184, 228, 247, 345, 491, 495, 499; *579, 583–584, 595, 600*

Троянский Петр Николаевич (умер в 1923), художник 34

Трубецкой П. П.* 453; *585*

Труханова Наталья Владимировна (1885–1951), переводчица, жена А. А. Игнатьева 416

Тулупов Николай Васильевич (1863–1939), педагог, сотрудник книгоиздательства И. Д. Сытина, редактор отдела детской литературы 84

Тумим Георгий Григорьевич (1870–?), критик 159; *582*

Тургенев И. С.* 73, 125, 129, 245, 304–305, 313, 354, 422, 459, 476–477, 491

Тургенева Мария Леонтьевна (1857–1938), писательница, сестра матери А. Н. Толстого 125

Тургеневы, братья **Александр Иванович** (1784–1845) и **Николай Иванович** (1789–1871), декабрист 475–476

Турнер Генрих Иванович (1858–1941), врач-ортопед 413, 451

Тынянов Ю. Н.* 6, 139, 166, 171, 209, 213–214 , 222, 230–231, 244–245, 248, 250, 257, 283–284, 302, 305, 308, 332, 334, 338, 340–341, 358–359, 370, 372, 390, 392, 402–405, 448–449, 453, 457–458, 460, 463, 476, 493, 495–499, 524, 526–527, 535, 537–538, 542–543, 562, 565–568, 570–571; *573, 588–589, 592, 595–596, 600–601*

Тынянова Елена Александровна (1892–1944), жена Ю. Н. Тынянова, сестра В. А. Каверина 245, 257, 284, 453, 457–458, 463–464, 476, 526, 538, 570

Тынянова Инна Юрьевна (1917–2004), дочь Ю. Н. Тынянова, переводчица 237, 244–245, 257–258, 261, 305, 334, 453, 457, 537
Тэн Ипполит Адольф (1828–1893), французский теоретик искусства 6
Тютчев Ф. И.* 8, 61, 134, 136

Уайльд О.* 15, 26, 38, 41, 68, 238, 509; *602*
Уитмен У.* 10, 12–13, 19, 22, 35–37, 68, 82, 393, 398, 434, 473, 475, 486; *574*
Уичерли Уильям (1640–1716), английский драматург 172, 177, 183, 186
Ульянов Виктор Дмитриевич (1917–1984), племянник В. И. Ленина 345
Ульянова Мария Ильинична (1878–1937), партийный деятель, сестра В. И. Ленина 178, 365
Уманский Дмитрий Александрович, сотрудник ГИХЛа 473
Унковская-Веселовская Екатерина, поэт 56–57
Унковский А. М.* 225
Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938, расстрелян), заместитель председателя Реввоенсовета СССР 558
Уншлихт Юлия, жена И. С. Уншлихта, двоюродная сестра жены Ф. Э. Дзержинского 559
Урванцев Николай Николаевич (1876–1941), актер 356
Уринов Яков Исаакович (1898–1976), кинорежиссер 287; *594*
Урсин (Ursin) Нильс Роберт (1854–1936) , один из основателей социал-демократической партии Финляндии; ее первый председатель 196
Усиевич Григорий Александрович (1890–1918), деятель революционного движения 488
Усиевич (Кон) Елена Феликсовна (1893–1968), критик 487–488, 490
Успенский Г. И.* 23, 72, 245, 404, 437
Успенский Николай Васильевич (1837–1889), писатель 251, 350, 352, 395, 404, 413, 484, 487, 493, 496–497; *604*
Устругова Варвара Карловна (умерла 1944), рассказчица русских сказок 494
Усыскин Илья Давыдович (1910–1934), физик, член экипажа стратостата «Осоавиахим-1» *596*
Утесов Леонид Осипович (1895–1982), актер эстрады 497
Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт 313
Уточкин Сергей Исаевич (1876–1916), один из первых русских летчиков 34
Ухтомский Сергей Александрович (1886–1921, расстрелян), скульптор 35
Уэллс Г.* 236

Фабрициус Ян Фрицевич (1877–1929, погиб в авиакатастрофе), герой гражданской войны, военачальник 565
Фадеев Александр Александрович (1901–1956, покончил с собой), писатель 436, 502, 539; *599–600*
Файнциммер Александр Михайлович (1906–1982), кинорежиссер, сценарист *596*
Фальковский Федор Николаевич (1874–1942), драматург, антрепренер, врач 18
Фаусек Юлия Ивановна (1863–1943), педагог, психолог, заведующая детским домом в Ленинграде, автор многочисленных книг о воспитании по системе Монтессори, а также книг для детей 268
Федин К. А.* 5, 58, 142, 178, 185, 245, 260, 313, 318, 339, 370, 447, 496–499, 537, 571; *576–577, 591, 597*
Федоров Андрей Венедиктович (1906–1997), литературовед, переводчик 356
Федоров А. М.* 411

Федорченко София Захаровна (1880–1959), писательница 111, 357
Федосеенко Павел Федорович (1898–1934), военный пилот-аэронавт, командир стратостата «Осоавиахим-1» *596*
Федотов Павел Андреевич (1815–1852), художник 429
Фельдман Александр Исидорович, отоларинголог, профессор 389
Фельтен Николай Евгеньевич (1884–1940), литератор, издатель произведений Л. Н. Толстого 351–352, 354–355
Фельцман О. Б., психиатр, психоаналитик *590*
Фену Александр Николаевич, полковник, председатель Особого комитета по делам русских в Финляндии 206
Фет А. А.* 136, 256, 292, 319, 320, 327, 352, 354, 488
Фигатнер Юрий Петрович (1889–1937, расстрелян), партийный и государственный деятель 484
Фидман Александр 186, 242, 244
Фидман Владимир Иванович (1884–1949), художник 84
Философов Д. В.* 13, 390
Фине, психиатр 234
Финк Виктор Григорьевич (1888–1973), писатель 119, 160, 163–164, 167
Финкельштейн Варвара Дмитриевна (1872–ок. 1940), педагог, выпустила о своей дочери, умершей в 15 лет, книгу «Нерасцветшая» 169
Флетчер Джон (1579–1625), английский поэт, драматург, автор пьесы «Испанский священник» (совместно с Ф. Бомонтом) 559
Флит Александр Матвеевич (1891–1954), писатель, автор пародий 280
Флоренский Павел Александрович (1882–1937, расстрелян), философ-богослов, математик 101, 106; *580*
Фич-Перкинс Люси (**Perkins Lucy** (**Fitch**) 1865–1937), писательница, автор повести «Маленькие голландцы» 310
Флобер Г.* 15
Фогелер Генрих (1871–1942), немецкий художник 466, 479; *595*
Фомин Александр Григорьевич (1887–1939), литературовед, библиограф 245
Фонвизин Денис Иванович (1744–1792), драматург, писатель 99
Форш Ольга Дмитриевна (1873–1961), писательница 91, 95, 129, 135, 306, 369–370, 372, 402–403, 449, 453, 537–538, 562; *591, 595*
Франковский Адриан Антонович (1888–1942), переводчик, редактор изд-ва «Academia» 350, 545
Франс А.* 76, 298
Фрейд Зигмунд (1856–1939), австрийский врач, психолог 145
Френкель, издатель журнала «Новая Россия» 27
Фриче Владимир Максимович (1870–1929), критик-марксист 80
Фролов Семен Иванович (1878–1950), художник 191
Фроман Михаил Александрович (1892–1940), поэт, переводчик 337, 538
Фрумкина-Гвоздикова Екатерина Евгеньевна (1881–1954), сотрудница Наркомпроса, жена госуд. деятеля М. И. Фрумкина (1878–1938) 307, 348, 366, 368
Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925), политический, государственный и военный деятель 269
Фурье Шарль (1772–1837), французский утопический социалист 107

Хавинсон Яков Семенович (1901–1989), государственный и партийный деятель, журналист 553
Хаггард Г.-Р.*, автор романа «Дитя бурь» 404
Халабаев Константин Иванович, сотрудник отдела русской классики Ленгиза 230, 358

Халатов Артемий Багратович (1896–1937, расстрелян), председатель правления Госиздата (1928–1932), председатель ЦЕКУБУ 373, 377, 428, 437–440, 445, 457, 460–462, 464, 467, 473–475, 489, 492, 512–514, 520, 532–533, 536, 539, 558; *594*

Халатова Татьяна Павловна (1902–1976), жена А. Б. Халатова 489, 536

Халатова Светлана Артемьевна (р. 1926), дочь А. Б. Халатова 489, 539

Халтурин Иван Игнатьевич (1902–1969), специалист по детской литературе 516

Ханин Давид Маркович (1903–1937, расстрелян), зав. отделом детской и юношеской лит-ры Госиздата РСФСР, член правления изд-ва «Молодая гвардия» 389, 484

Ханникайнен Пека (1890–1953), столяр 203; *587*

Харджиев Николай Иванович (1903–1996), литературовед 420, 488–489, 569

Харитон Б. И.* 35, 54

Хармс Даниил Иванович (1905–1942, погиб в заключении), писатель 495–496, 517

Хачатрянц Яков Самсонович (1894–1960), муж М. С. Шагинян 455

Хесин Григорий Борисович (1899–1983), в 1943 г. директор Литфонда СССР, начальник Всесоюзного управления по авторским правам 538

Химона Николай Петрович (1865–1920), художник и педагог 191

Хлебников Велимир* 366

Хлопушина Мария Яновна (?–1970), натурщица И. Е. Репина 196; *585*

Ходасевич А. И.* 80, 130, 214; *581*

Ходасевич В. Ф.* 5–6, 29, 369, 488; *575, 581, 598*

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), поэт, публицист 548

Христиансен Фридрих (**Christiansen Friedrich**), немецкий писатель 447

Цванкин Яков Самойлович (1894–1971), в 30-е гг. председатель правления и заведующий издательством «Молодая гвардия» 438, 464, 468, 473

Цвейг Стефан (1881–1942), австрийский писатель 46; *590*

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941, покончила с собой), поэт, писательница *576, 593*

Цейтлин Михаил Александрович (1907–1982), в 1931 г. ответственный секретарь «Литгазеты» 487

Ценский, см. **Сергеев-Ценский С. Н.**

Цеткин Клара (1857–1933), деятель немецкого и международного коммунистического движения 93

Ционглинский И. Ф.* 95

Цыбульский Марк Ильич, актер МХАТа-2 59, 84

Цявловский Мстислав Александрович (1883–1947), литературовед-пушкинист 570

Чагин Петр Иванович (1898–1967), ответственный редактор «Красной газеты», издательский деятель 260–261, 263, 291, 298, 300, 320, 324–325, 348–349, 352–353, 358, 361, 370, 434, 442

Чагина Марья Антоновна (1898–1984), вторая жена П. И. Чагина 298–299, 324

Чапек Карел (1890–1938), чешский писатель 144; *581*

Чапыгин Алексей Павлович (1870–1937), писатель 491, 498, 537–538

Чарская Л. А.* 54, 135

Чаттертон Т.* 215

Чеботаревская Ал. Н.* 119

Чеботаревская Ан. Н.* 92–93, 111, 119, 336; *579*

Чеботаревская Ольга Николаевна, сестра Ан. Н. Чеботаревской 92, 109, 111

Челлини Бенвенуто (1500–1571), итальянский скульптор, ювелир, писатель 81
Чемберлен Дж.* 42, 240
Чемберс Владимир Яковлевич (1878–1934, умер за границей), художник 72
Черкесова Анна Александровна (1895–1984, умерла за границей), дочь А. Н. Бенуа 65
Черниховский Саул (1875–1943, умер за границей), еврейский поэт 29; *575*
Чернов В. М.* 54, 306
Черносвитова Надежда Кирилловна (? –1920), первая жена П. Л. Капицы 276
Черный Саша (1880–1932, умер за границей), поэт 386
Чернышев Александр Алексеевич (1882–1940), академик, электротехник 514
Чернышева Ядвига Ричардовна, жена А. А. Чернышева 514
Чернышевский Н. Г.* 307, 342, 404, 501, 556; *598–599, 601*
Черняк Яков Захарович (1898–1955), историк литературы 420, 568; *601*
Чертков В. Г.* 101, 190
Черткова Анна Константиновна (урожд. Дитерикс, 1859–1927), детская писательница, жена В. Г. Черткова 101
Черубина де Габриак, см. **Васильева Е. И.**
Честертон Г.* 25, 29–30, 32, 135, 137–138, 358; *581*
Чехов А. П.* 31, 79, 81, 104, 166, 172, 208, 216, 286, 304, 343, 373, 385–386, 414, 494, 509, 514, 564
Чехов Михаил Александрович (1891–1955, умер за границей), актер, режиссер 277, 414
Чехонин С. В.* 63–65, 72, 76, 80, 121–122, 126, 128–129, 132, 134, 153–155, 326, 328, 336, 344, 358, 390, 542; *577–578, 602*
Чижова Татьяна Николаевна (1903–1967), художница 285–286
Чириков Е. Н.* 306
Чистякова Л. А.* 21, 331, 367
Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), юрист, историк, философ 392
Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936), нарком иностранных дел (1918–1930) 346, 365–366; *579*
Чудовский В. А.* 23, 42–44
Чуковская Елена Цезаревна, **Люша** (р. 1931), внучка К. Ч. 429, 519, 543, 555, 562, 565
Чуковская Л. К., **Лида*** 13, 21–23, 37, 40–41, 44, 53, 67, 73, 111, 113, 116–117, 121–122, 133, 138–139, 145, 147, 155, 158–159, 161–163, 167–168, 170–171, 176, 185–187, 189, 197, 217–218, 222, 228, 231–232, 234–238, 242–243, 248, 253, 256, 258, 270, 273, 281, 294–296, 303, 310–311, 315, 317, 321, 322–323, 327–328, 330, 332–337, 340, 343, 352–354, 359, 386, 389, 392–394, 403–404, 408, 428–429, 440, 451, 458, 492, 500, 523, 529, 543, 545, 555, 565–566, 569; *582, 587–589, 591, 594, 601, 603*
Чуковская М. Б.* 8, 16, 29, 40, 50, 52, 62, 64, 70, 80, 90–91, 97–98, 114, 121, 130, 132–134, 138, 146, 149, 151–152, 154–155, 158–159, 161, 163–168, 170, 172, 175–176, 181, 183, 185, 188, 195–197, 210, 214, 216–217, 222, 229, 231–234, 237–238, 242, 247–249, 252, 256–257, 261, 266, 269, 271, 275, 277–278, 282, 293, 294, 300, 302, 306, 309–311, 321, 323, 327, 328–330, 333–334, 342, 354, 356, 359, 361, 379, 383, 386, 389, 399, 401, 407–408, 410–411, 414, 420, 429– 432, 440, 449–450, 454, 458, 460–466, 477, 483, 490–491, 497, 502, 506, 509, 514, 519, 522, 526–527, 535, 545, 549–550, 553, 555, 557, 563
Чуковская М. К., **Мура*** 10, 12–13, 16–17, 22, 25, 29–30, 40–41, 50, 52, 62–65, 67–73, 75, 77–78, 80, 87–88, 90, 95–98, 104, 108, 110–113, 115, 117, 121–122, 125–127, 129, 130, 133–135, 140, 145–149, 152, 154, 157, 159–166,

168–172, 176–177, 181, 186, 188, 213–214, 216–218, 221–223, 228–239, 241–242, 244–245, 247–251, 258, 261–262, 264, 270–272, 275, 277, 282, 284, 288–289, 292–293, 295–296, 300, 303, 306–307, 309–312, 321, 323–324, 328–330, 331, 333–335, 337, 342, 358, 369, 386, 392, 399, 401–404, 406–408, 410–413, 415, 417–420, 426–432, 442, 444–445, 447–448, 451, 454, 462, 465, 483, 505, 535, 569; *603–604*

Чуковская Марина Николаевна, **Марина** (1905–1993), переводчица, мемуаристка, жена Н. К. Чуковского 137–138, 140, 155, 163, 167, 169–170, 222–223, 234, 236, 294, 296, 334, 392, 429, 472, 494, 522

Чуковская Наталья Николаевна, **Тата** (р. 1925), внучка К. Ч. 235–236, 242, 261, 270, 294, 296, 316, 320, 323, 336, 342, 386, 392

Чуковский Б. К., **Боба*** 7, 13, 21, 29–30, 38, 41, 51–52, 55, 64–65, 69, 77–78, 96–98, 125–126, 129–130, 133–134, 140, 146–147, 149, 154–155, 159–164, 170, 172, 197, 217, 223, 229, 233–238, 241–243, 248–252, 258, 260–261, 270–271, 281, 284, 287, 298, 300, 306, 311, 319–321, 324, 328, 330, 337, 342–343, 350–352, 354–355, 379, 386, 389, 392, 406–407, 427–429, 466–467, 496, 519, 534, 545; *577*

Чуковский Н. К., **Коля*** 7, 13, 29, 47, 65–66, 69, 71, 86, 95–97, 113, 122, 129, 135, 137–141, 148, 155, 158–163, 167, 169–172, 176–177, 181, 184, 187, 189, 197, 215, 218, 222–223, 229, 233–234, 236–237, 249–250, 252, 258, 261, 264, 266, 269, 271, 294, 296, 311, 316–317, 321, 329, 331–332, 337, 343, 352–353, 386, 392, 415, 421, 426, 429, 441–443, 448, 468, 493, 502, 519–522, 546, 555, 569; *575, 579, 583, 590–591, 593, 598*

Чулков Г. И.* 8

Чулков Михаил Дмитриевич (1744–1792), писатель, журналист 487, 489

Чумандрин Михаил Федорович (1905–1940), писатель 460, 496

Шабад Елизавета Юльевна (1878–1943), педагог, сотрудник издательства «Молодая гвардия» 98, 347, 444, 501, 516, 539, 541

Шаврова-Юст (Юст-Шаврова*) Е. М. 166

Шагинян Магдалена Сергеевна (1890–1961), историк, скульптор, сестра М. С. Шагинян 443, 455

Шагинян Мариэтта С.* 13, 42, 97, 434, 442–443, 454–455, 475, 539, 564; *594*

Шагинян Мирель Яковлевна (1918–2012), дочь М. С. Шагинян, художница 443, 455

Шайкович Иван Степанович (1873–1946), сербский поэт, филолог-славист, переводчик, профессор сербского языка и литературы в Петербурге (1908–1915), дипломат, участник спасения имущества русских литераторов в Финляндии 200–201, 206–209; *587*

Шайкович Лидия Ивановна (1869 – не ранее 1929), жена И. Шайковича, дочь И. И. Шишкина 201, 206

Шаляпин Ф. И.* 141, 146, 204, 360, 376, 385, 512; *585*

Шамардина Софья Сергеевна (1894–1980), жена наркома И. А. Адамовича 299

Шамиль (1799–1871), руководитель освободительного движения горцев Кавказа 509

Шатилов Борис Александрович (1896–1955), детский писатель 519

Шатуновская Генриетта Соломоновна (1888–1935), жена Я. М. Шатуновского 432–433, 438, 463

Шатуновские Г. С. и **Я. М.*** 346, 362, 431–432, 444, 460

Шахматов Алексей Александрович (1864–1920), филолог 245

Швальбе Ф. Н., секретарь Комиссии по подготовке к изданию

Пушкинского энциклопедического словаря 542

Шварц Антон Исаакович (1896–1954), актер, чтец 559–560, 562, 569

Шварц Е. Л.* 213, 265, 323, 328–329, 360

Швейцер Владимир Захарович (1889–1971), журналист 320

Шебуев Николай Георгиевич (1874–1937), писатель, публицист 432

Шевченко Т. Г.* 110, 166, 223, 226, 331, 352, 509, 524, 533; *591*

Шейнин Михаил Абрамович, председатель Всесоюзного общества «За овладение техникой» 479

Шеклтон Эрнест Генри (1874–1922), английский исследователь Антарктики 267

Шекспир У.* 20, 61, 81, 83, 144, 242, 270, 329, 542–543, 545, 549, 556; *597, 604*

Шенрок Владимир Иванович (1853–1910), историк литературы 327

Шер Надежда Сергеевна (1890–1976), редактор Детгиза 535

Шервинский Василий Дмитриевич (1850–1941), профессор терапевт 265, 448

Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991), писатель, переводчик 183

Шехтель Федор Осипович (1859–1926), архитектор, академик 399

Шибайло Гавриил Иосифович (1902–?), работник Совнаркома РСФСР 535

Шилейко В. К.* 9, 29, 121, 134

Шиллер И.-К.-Ф.* 166, 403, 462, 559; *599*

Шиллер Франц Петрович (1898–1955), литературовед 495

Шилов Федор Григорьевич (1879–1962), коллекционер, владелец антикварного магазина 342

Шишкин И. И.* 201, 203, 206

Шишков В. Я.* 448, 450, 498

Шкапская Мария Михайловна (1891–1952), поэт 24, 214, 341, 566, 568

Шкловская Варвара Викторовна (р. 1927), дочь В. Б. Шкловского 421

Шкловская Варвара Карловна, мать В. Б. Шкловского 244

Шкловская (урожд. **Карди**) **Василиса Георгиевна** (1890–1977), жена В. Б. Шкловского 421, 489

Шкловский Викт. Б.* 7, 144, 171, 177, 209, 244, 302, 319, 338, 340, 341, 385, 389–390, 400, 405, 420–422, 448, 453–454, 476, 487–490, 493, 495, 497, 526, 572; *590, 594–595*

Шкловский Вл. Б.* 497

Шкловский И. В.* 73

Шкловский Никита Викторович (1924–1945), сын В. Б. Шкловского 421

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950, умер в эмиграции), писатель *594*

Шмелева Тамара Владимировна (1903–1994), племянница М. Волошина, мемуаристка 105

Шмидт Отто Юльевич (1891–1956), академик, математик, геофизик, зав. Госиздатом (1921–1924) 82, 141, 145, 357

Шмидт Вера Федоровна (1889–1937), педагог, специалист в области дошкольного воспитания, жена О. Ю. Шмидта 366

Шнейдер Оливия (1855–1920), южноафриканская писательница 530

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984), писатель 540

Шопен Фридерик Франциšек (1810–1849), польский композитор, пианист 477

Шопенгауэр А.* 424

Шоу Дж.-Б.* 47, 123, 238; *576*

Шпенглер Освальд (1880–1936), немецкий философ 30, 46, 208

Шпет Густав Густавович (1879–1937, расстрелян), философ, литературовед, переводчик 388
Штейнман Женя (ок. 1910–1932), товарищ Б. Чуковского 315–316, 324, 350–352, 354, 490
Штейнман Зелик Яковлевич (1907–1967), литературовед, критик 451
Штерн Иуда Миронович (1904–?), в 1932 г. стрелял в машину советника немецкого посольства фон Твардовского 463, 474; *594*
Штернберг, правильно: **Штерберг Арон Яковлевич**, врач, член о-ва им. А. И. Куинджи 189–192, 241
Шубин Владимир Федорович, ленинградский краевед *587*
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976), политический деятель, член II–IV Государственной думы 559
Шульц Герман Михайлович, председатель правления и заведующий издательством «Федерация» 442
Шуппе Людмила Николаевна, жена Н. К. Михайловского *586*

Щеголев П. Е.* 7–9, 18, 60, 63, 71, 87, 91, 96–97, 110, 114, 136, 177, 214, 222, 228, 232, 247, 261–262, 278, 302, 320, 339, 362, 373–375, 523; *580–581, 595–596*
Щеголев Павел Павлович (1903–1936), историк, сын П. Е. Щеголева 8–9, 71, 108
Щеголева Валентина Андреевна (1878–1931), актриса, жена П. Е. Щеголева 60, 71, 339
Щекатихина-Потоцкая Александра Васильевна (1892–1967), художник по фарфору, театральный декоратор 75–76, 132
Щепкин Михаил Семенович (1788–1863), актер Малого театра 535
Щепкина Екатерина Николаевна (1854–1938), историк, феминистка 477
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1952), писательница, переводчица 52–53, 546
Щербиновская Ольга Сергеевна, актриса, жена Б. А. Пильняка 435–437, 471–472, 486

Эванс Эрнестина (1889–1967), американская писательница и публицистка 444
Эврипид (ок. 480 – 406 до н.э.), древнегреческий поэт 22
Эдельфельт Альберт Густав (1854–1905), финский художник 211
Эдисон Томас Алва (1847–1931), американский ученый 221
Эйдеман Роберт Петрович (1895–1937, расстрелян), председатель ЦК Осоавиахима, член Реввоенсовета СССР 558
Эйзлер Абрам Ефимович, владелец изд-ва «Солнце» 12, 97
Эйхвальд Е. Н.* 23
Эйхенбаум Б. М.* 6, 60, 63, 86, 139, 163, 165, 171–172, 174 , 176–177, 182, 209, 214, 222, 230–232, 244–245, 257, 269–270, 302, 338, 341, 358–359, 451, 491, 493, 498, 537–538, 542–543; *573, 579, 584, 596–597*
Эйхенбаум Дмитрий Борисович, сын Б. М. Эйхенбаума, погиб под Сталинградом 177
Эйхенбаум Ольга Борисовна (1912–1999), дочь Б. М. Эйхенбаума 177, 244
Эйхенбаум Раиса Борисовна (1889–1946), жена Б. М. Эйхенбаума 163, 177, 244, 537
Эйхлер Генрих Леопольдович (1901–1953, умер в ссылке), детский писатель, редактор, сотрудник Детгиза 520, 522
Экскузович Иван Васильевич (1883–1942), управляющий Государственными академическими театрами Москвы и Ленинграда (1924–1928) 95, 180, 324

Элиот Джордж (1819–1880), английская писательница 39
Эллингстон (**Ellingston John R.**), сотрудник АРА 143–144
Эльснер Владимир Юрьевич (1886–1964), поэт, переводчик 510
Эмден Эсфирь Михайловна (1906–1961), писательница, редактор детской литературы 516
Энгель Николай Альбертович, зав. ленинградским Облитом 330, 332, 335
Энгельгардт Борис Михайлович (1887–1942), литературовед 245
Энери (**Сухотина Ирина Алексеевна**; 1897–1980, умерла за границей), пианистка, композитор 102
Энкель Магнус (1870–1925), финский художник 211
Эпштейн Моисей Соломонович (1890 –1938, расстрелян), зав. Главсоцвоса, член коллегии Наркомпроса, зам. наркома просвещения 367, 552
Эразм Роттердамский (1469–1536), философ, писатель 560
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель 89, 572
Эрдман Николай Робертович (1902–1970), драматург 562
Эррио Эдуар (1872–1957), французский политич. деятель, в 1932 г. премьер-министр 505, 511
Эртель А. И.* 404
Эули Сандро (1890–1965), грузинский поэт 561
Эфрос Абрам Маркович (1888–1954), искусствовед, переводчик, литературный критик 60, 63–64, 136–137, 141, 166–167, 180, 390, 487, 511, 554, 560
Эша да Кайрош (**Эса ди Кейрош**) **Жозе Мария** (1845–1900), португальский писатель 392

Юденич Николай Николаевич (1862–1933, умер за границей), генерал царской армии 446
Юдин Павел Федорович (1899–1968), философ, академик, в 1932–38 гг. директор Института красной профессуры, в 1937–47 гг. заведовал ОГИЗом РСФСР, одновременно в 1938–44 гг. директор Института философии АН СССР 537, 564
Юзов (псевд. **Иосифа Ивановича Каблица**, 1848–1893), публицист 404
Юлий Цезарь (102–44 до н. э.), римский полководец и государственный деятель 364
Юнгмейстер Андрей Васильевич, директор той одесской прогимназии, где учился К. Ч., преподаватель русского языка 407
Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948), актер 90, 266, 561
Юсупов Феликс Феликсович (1887–1967, умер за границей), князь, один из организаторов убийства Г. Е. Распутина 261–262

Языков Николай Михайлович (1803–1846), поэт 248, 534; *588*
Яковлев К. Н.* 90–91
Яковлев Н. , автор статьи о Салтыкове-Щедрине *588*
Яковлев (наст. фам. **Эпштейн**) **Яков Аркадьевич** (1896–1938, расстрелян), нарком земледелия 445–446
Яковлева Варвара Николаевна (1884–1941, расстреляна), зам. наркома просвещения РСФСР 367
Ямпольский Исаак Григорьевич (1903–1991), критик, литературовед 570
Яремич С. П.* 91, 95, 195
Ярмолинский Абрам Цалевич (1890–1975), директор славянского отдела нью-йоркской Публичной библиотеки 129, 136
Ярнефельт Эро (1863–1937), финский художник 188, 205, 211
Ярославский Емельян (1878–1943), академик, член редколлегии газеты «Правда» 464
Ясинский И. И.* 13
Яшвили Паоло Джибраэлович (1895–1937, покончил с собой), грузинский поэт 561–562

ИНОСТРАННЫЕ ФАМИЛИИ

Adams Henry (1838–1918), американский писатель 170–171

Aldin Cecil Charles Windsor (1870–1935), английский художник, иллюстратор 217

Burnett Frances Hodgson (1849–1924), американская писательница, автор книг для детей 14

Bedford Francis Donkin (1864–1954), английский художник-иллюстратор 64; *577*

Cavendish (**Кавендиш Генри**, 1731–1810), английский физик и химик 276

Cournos John (1881–1966), английский писатель, переводчик 416

Gilbert William Schrenk (1836–1911), английский драматург 294

Harris Frank, наст. имя **James Thomas Harris** (1856–1931), английский писатель, критик, биограф 238

Lee Rose (**мисс Ли**), американская журналистка 471, 475–476

Macaulay Thomas Babington (**Маколей Томас Бабингтон**, 1800–1859), английский писатель, историк 17

Renshaw Donald, руководитель Петроградского отделения АРА 73

Rutherford (**Резерфорд Эрнест**, 1871–1937), английский физик 276

Stark, переводчица, жена А. Н. Горлина 94

Stephen Leslie (1832–1904), английский историк литературы, публицист 116

Sully James (1842–1923), английский психолог, автор книг «Studies of Childhood» («Изучение детства») и «Children's Ways» («Пути детей») 280

СОДЕРЖАНИЕ

1922 5
1923 68
1924 132
1925 183
1926 252
1927 297
1928 348
1929 388
1930 399
1931 426
1932 453
1933 498
1934 525
1935 555

Комментарии 573

Краткий хронограф жизни и творчества К. Чуковского 602

Указатель имен 605